

АРХЕОЛОГ: ДЕТЕКТИВ И МЫСЛИТЕЛЬ

THE ARCHAEOLOGIST: DETECTIVE AND THINKER





Delgrost 53

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН

Лаборатория археологии, исторической социологии и культурного наследия
при НИИКСИ СПбГУ

Археолог: детектив и мыслитель

Сборник статей, посвященный 77-летию *Льва Самойловича Клейна*

ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2004

ББК 63.4
А87

Ответственные редакторы:
Л.Б.Вишняцкий, А.А.Ковалев, О.А.Щеглова

Рецензенты:
д-р ист. наук *М.В.Акинович* (Ин-т истории материальной культуры РАН),
Ю.Ю.Пиотровский (Гос. Эрмитаж)

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
факультета социологии
Санкт-Петербургского государственного университета

Археолог: детектив и мыслитель: Сборник статей, посвященный 77-летию
А87 Льва Самойловича Клейна / Отв. ред. Л.Б.Вишняцкий, А.А.Ковалев, О.А.Щеглова. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. — 502 с. ISBN 5-288-03491-5

Сборник научных трудов в честь выдающегося российского археолога профессора Льва Самойловича Клейна содержит исследования ученых — представителей ведущих научных центров России, Дании, Швеции, Польши, Великобритании, Канады, Австралии, США и Молдовы. Тематика статей отражает основные направления широкого спектра научных интересов Л.С.Клейна, среди которых теория и история археологической науки, спорные вопросы археологии бронзового века Евразии, социо-культурные и этнологические проблемы. Наряду с обобщающими теоретическими и методологическими работами, в сборнике представлены новые научные концепции и вводятся в оборот материалы, имеющие принципиальное значение для решения конкретных задач современной археологии.

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов-гуманитариев, археологов, историков и этнографов, студентов и преподавателей вузов.

ББК 63.4

© Коллектив авторов, 2004
© Издательство
С.-Петербургского
университета, 2004

ISBN 5-288-03491-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие к юбилейному сборнику — жанр по определению комплиментарный. Тот, кто пробегает сейчас глазами этот текст, наверняка, знает, что найдет здесь похвалы в адрес юбиляра, и, видимо, заранее готов простить авторам некоторые преувеличения и безудержную щедрость оценок и характеристик. В данном случае, однако, мы, пишущие эти строки, ни в каком снисхождении не нуждаемся, поскольку речь идет о человеке, переоценить вклад которого в археологию вообще, в российскую археологию в частности, и в питерскую археологию в особенности, практически невозможно. Поэтому, вполне сознавая, что употребление эпитета «великий» по отношению к современнику непременно вызовет далеко не только одобрительные улыбки, но и скептические усмешки, и недовольно поджатые губы, мы все же, нисколько не колеблясь, начнем свое предисловие с констатации того, что нам кажется совершено очевидным: Лев Самойлович Клейн — великий ученый. Применять по отношению к нему эпитеты «крупный», «видный» и даже «выдающийся», на наш взгляд, было бы явной недооценкой той роли, которую он играл и играет в науке и как исследователь, и, что не менее важно, как учитель.

Научная биография Льва Самойловича драматична и парадоксальна. Ученик двух выдающихся исследователей — археолога М.И. Артамонова и филолога, основоположника структурализма В.Я. Проппа, он посвятил себя науке, исследующей не слова, а вещи. Он был и остается теоретиком самой эмпирической из гуманитарных дисциплин — археологии. Создатель и лидер школы, принадлежность к которой столь для многих является предметом гордости и своего рода визитной карточкой, он ни разу не выступал в качестве формального руководителя даже кандидатской диссертации. Будучи, как и все почти советские ученые его поколения, «домоседом» поневоле и проработав все годы молодости и зрелости в одной стране и одном учреждении — Ленинградском Государственном Университете, он стал самым известным и почитаемым за рубежом российским археологом, желанным гостем на кафедрах крупнейших образовательных центров Старого и Нового Света. Наконец, имея репутацию кабинетного ученого, он сумел представить трагедию собственной судьбы как увлекательный эксперимент «включенного наблюдения», и в результате его публицистические произведения о «перевернутом мире» приобрели едва ли не большую популярность у широкого читателя, чем научные труды у специалистов.

Для любой работы Клейна характерны острота и неожиданность постановки проблем, оригинальность и широта подхода к их решению, яркость и ясность аргументации, безупречность логики. Будь то небольшая заметка по частному вопросу или капитальная монография — все эти качества непременно им присущи. Однако мы не будем говорить здесь о замечательных книгах юбиляра, число которых пополняется сейчас каждый год, о его ярких, всегда запоминающихся докладах и выступлениях в дискуссиях, о небывалой разносторонности его исследовательских интересов, о созданных им археологических и культурологических теориях и запущенных «в оборот» идеях. Все это в той или иной мере нашло

отражение в статьях, составляющих этот сборник. Мы же хотели бы сказать о том, чего в этих статьях нет — о влиянии самой личности Клейна на археологов и археологию.

В годы, когда Лев Самойлович работал на кафедре, большинство вновь принятых студентов начинало испытывать это влияние с первых же дней, причем сам Л.С. не прилагал для этого никаких специальных усилий, а, возможно, даже и не подозревал об этом. Происходило это так: новоиспеченному археологу указывали издалека на задумчивого человека в очках, медленно прогуливающегося, заложив руки за спину, по коридору истфака, и шептали: «Вот Клейн идет». Тем, кто, не постеснявшись выказать свое невежество, спрашивал, кто такой Клейн, тут же радостно выдавали целую гору всяческой информации, из которой, при всех возможных разночтениях, всякий раз ясно следовало, по крайней мере, одно, а именно, что на кафедре есть Большой Ученый и за возможность учиться у него, общаться с ним надо немедленно возблагодарить судьбу. С этого момента одобрительный отзыв Клейна становился настоящим счастьем, предметом гордости, а о том, чтобы получить у него незачет или низкую оценку страшно было подумать (если же это все-таки случалось, то переживалось особенно тяжело). Конечно, далеко не все при этом становились формальными учениками Л. С., т. е. писали у него курсовые и дипломы, но подходу к делу, умению работать и думать учились или пытались учиться у него все, кто собирался заниматься наукой. «Это школа дяди Левы Клейна, дяди Левы Клейна, вам говорят...» — пели когда-то о своей *alma mater* студенты кафедры археологии ЛГУ, и это была правда. В 70е или 80е годы такие слова, действительно, вполне можно было бы написать на табличке, украшавшей дверь 73-й аудитории истфака. Теперь, когда «выходцы» из этой двери распространились по всему свету, а сам «дядя Лева» давно уже в нее не входил, виртуальную табличку с места первоначальной дислокации следовало бы снять, размножить, и разослать по странам и городам от Дальнего Востока до Северной Америки. Особенно уместно она смотрелась бы на доме номер 18 по Дворцовой набережной в Петербурге (ИИМК РАН), а также над входом в здание Высшей Антропологической Школы в Кишиневе, но есть и много других, пока не столь известных, адресов.

В этой книге представлены работы друзей, учеников и коллег Льва Самойловича из девяти разных стран. При желании географию было бы очень легко расширить, но мы решили не пытаться объять необъятное. Этим же принципом пришлось руководствоваться и в том, что касается тематики статей. Она, разумеется, определялась исследовательскими интересами Л. С., но при всем ее разнообразии и вполовину не исчерпывает широты этих интересов. Надеемся, что хотя бы частично наверстать это упущение нам с помощью юбиляра удастся при подготовке томов к следующим его круглым датам. Здесь же остается только поблагодарить всех, кто откликнулся на приглашение принять участие в сборнике. Ясных Вам дней, Лев Самойлович, верных друзей, интересных, захватывающих идей и новых книг.

Ваши вечные студенты
Л.Б. Вишняцкий, выпуск 1983 г.,
О.А. Щеглова, выпуск 1980 г.,
А.А. Ковалев, выпуск 1985 г.

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ Л. С. КЛЕЙНА

1955

1. Вопросы происхождения славян в сборнике докладов VI научной конференции Института археологии АН УССР. — Советская Археология (Москва), XXII, 1955, с. 257–272.

Отклики: *Максимов Е.В.* Обсуждение вопросов ранней истории восточных славян в Институте археологии АН УССР. — Краткие сообщения Института археологии (Киев), вып. 5, 1956, с. 72–78.

Брайчевський М.Ю. Про етнічну приналежність черняхівської культури. — Археологія (Київ), X, 1957, с. 11–24.

Брайчевский М.Ю. К истории лесостепной полосы Восточной Европы в I тысячелетии н.э. — Советская Археология (Москва), 1957, № 3, с. 114–129.

1960

2. Кургани біля с. Троіцького. — Археологічни пам'ятки УРСР (Київ), вип. 8, 1960, с. 141–163.

3. Новые данные о хронологических и генетических взаимоотношениях локальных вариантов катакомбной культуры. — Вестник Ленинградского университета, 1960, № 20, с. 144–148.

1961

4. О хронологических и генетических взаимоотношениях локальных вариантов катакомбной культуры. — Исследования по археологии СССР. Сборник статей в честь проф. М.И. Артамонова. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1961, с. 69–78.

5. Научная деятельность М. И. Артамонова. — Исследования по археологии СССР. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1961, с. 5–6 (без указания авторства).

6. Список печатных работ М. И. Артамонова. — Исследования по археологии СССР. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1961, с. 7–11 (составлен совместно с Г.Ф. Корзухиной).

7. Территория и способ погребения кочевых скифских племен по Геродоту и археологическим данным. — Археологический сборник Гос. Эрмитажа (Ленинград), вып. 2, 1961, с. 45–56.

8. О так называемых ямных погребениях катакомбного типа (К вопросу о происхождении катакомбной культуры). — Советская Археология (Москва), 1961, № 2, с. 49–65.

9. Черепа, покрытые смолой, в погребениях эпохи бронзы. — Советская этнография (Москва), 1961, № 2, с. 105–109.

10. Археология сегодня и завтра. — Нева (Ленинград), 1961, № 12, с. 153–159.

1962

11. К определению места курильниц в катакомбной культуре. — Археологические раскопки на Дону. Ростов на Дону, Музей истории Донского казачества, 1962, с. 123–132.

12. Краткое обоснование миграционной гипотезы о происхождении катакомбной культуры. — Вестник Ленинградского университета, 1962, № 2, с. 74–87.

13. Катакомбные памятники эпохи бронзы и проблема выделения археологических культур. — Советская Археология (Москва), 1962, № 2, с. 6–38.

14. Садовый курган, новый выдающийся памятник сарматской культуры. — Вестник Ленинградского университета, 1962, № 20, с. 164–167.

15. Из прошлого в будущее (Естествознание и перспективы археологии). — Природа (Москва), 1962, № 1, с. 68–77.

16. Сказание о невидимом граде Китеже. — Вокруг света (Москва), 1962, № 2, с. 33–36.

1963

17. Происхождение скифов-царских по археологическим данным. — Советская Археология (Москва), 1963, № 4, с. 27–35.

18. Заметки о зарубежной библиографии по археологии за 1950 — 1960 гг. — Советская Археология (Москва), 1963, № 2, с. 259–265.

19. A brief validation of the migration hypothesis with respect to the origin of the Catacomb culture. — Soviet Anthropology and Archaeology (New York), vol. 1, no. 4, 1963, p. 27–36. [*Перев. статьи 1962 г.* — см. № 12].

20. Bronzkori agyag kerékmodellek a Fekete-tenger északi partvidékéröl (Bronze Age clay wheel models from the Northern Black Sea area). — Archaeologiai Értesitö (Budapest), kötet 90, 1963, szám 1, p. 60–63.

1964

21. Об источниках медного импорта раннетрипольской культуры. — Вестник Ленинградского университета, 1964, № 20, с. 133–138.

22. Obecność elementów południowo-wschodnich w póznoneolitycznych kulturach Małopolski (The presence of South-Eastern elements in the Late Neolithic cultures of Poland Minor). — Archaeologia Polski (Wrocław), t. 9, 1964, z. 2, s. 371–399.

1965

23. К сравнительной стратиграфии эгейских и дунайских теллей. — Вестник Ленинградского университета, 1965, № 20, с. 57–63.

1966

24. Прототипы катакомбных курильниц и проблема происхождения катакомбной культуры. — Археологический Сборник Гос. Эрмитажа (Ленинград), вып. 8, 1966, с. 5–17.

25. К оценке прочности и надежности абсолютной хронологии Египта (Архаичный период и Древнее царство). — Вестник Древней Истории (Москва), 1966, № 4, с. 94–105.

26. Археология спорит с физикой. Спор о достоверности и точности радиоуглеродной хронологии. — Природа (Москва), 1966, № 2, с. 51–62, № 3, с. 94–107.

27. Siedlungsgebiete und Bestattungsart der nomadischen Scythenstämme nach Herodot und nach den archäologischen Quellen. — Bibliotheca classica Orientalis (Berlin), Jg. 11, 1966, H. 5, Col. 268–270. [*Автореферат статьи 1963 г.* — см. № 17].

1967

28. Reiche Katakombengräber. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 8, 1967, Nr. 4, S. 210–234.

29. Zagadka grobów katakumbowych rozwiązana?. — Z otchłani wieków (Wrocław), t. 33, 1967, z. 4, s. 212–222.

30. A régészet vitatkozik a fizikaval. — Univerzum (Budapest), 1966, № 12, 1967, № 1, p. 11–21, № 3, p. 22–31. [*Перев. статьи 1966 г.* — см. № 26].

31. Археология под золотой маской. — Юность (Москва), 1967, № 7, с. 93–98.

32. Глазами Шерлока Холмса. — «Знание — сила», 1967, № 12, с. 15–17.

1968

33. О дате Карбунского клада. — Проблемы археологии, вып. 1. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1968, с. 5–74.

34. Происхождение Донецкой катакомбной культуры. Автореф. диссертации ... канд. истор. наук. Ленинград, ЛОИА АН СССР, 1968, 19 с.

35. Вопросы первобытной археологии в произведениях Маркса и Энгельса. — Вестник Ленинградского университета, 1968, № 8, с. 38–43.

36. Связь археологии и этнографии по К. Марксу и современная наука. — Тезисы докладов годичной сессии Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР. Ленинград, 1968, с. 15–17.

37. О типичных приемах современной критики марксизма в археологии. — Советская Археология (Москва), 1968, № 4, с. 138–150.

38. Social responcibilities Symposium: Comment. — Current Anthropology (Chicago), vol. 9, 1968, no. 5, p. 415–417.

39. К семидесятилетию М.И. Артамонова. — Советская Археология (Москва), 1968, № 4, с. 151–156.

40. Выдающийся исследователь скифской культуры (К семидесятилетию проф. М.И. Артамонова). — Вестник Древней Истории, 1968, № 4, с. 190–191 (в соавторстве с В.П. Шиловым).

41. Археология и магнетизм. — Природа (Москва), 1968, № 4, с. 65–75, № 5, с. 49–55.

42. Der Ursprung der Königlichen Skythen nach den archäologischen Quellen. — Bibliotheca classica Orientalis (Berlin), Jg. 13, 1968, H. 1, Col. 27–29. [*Автореф. статьи 1963 г.*]

43. От редакции. — Проблемы археологии. 1. Абсолютная хронология Восточной Европы (Юго-Запад СССР). Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1968, с. 3–4.

· Проблемы археологии. Ленинград, вып. 1 (1968) — в сотрудничестве с М. И. Артамоновым.

1969

44. К постановке вопроса о происхождении славян. — Проблемы отечественной и всеобщей истории. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1969, с. 21–35.

45. Zum Problem der Aussonderung und Gliederung des Streitaxtkulturkreises. — Behrens

H. und Schlette F. (Hrsg.). Die neolithischen Becherkulturen in Gebiet der DDR und ihre europäischen Beziehungen. Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1969, S. 143–148.

46. Die Donez-Katakombenkeramik, eine Schnurkeramik der Becherkultur. — Behrens H. und Schlette F. (Hrsg.). Die neolithischen Becherkulturen in Gebiet der DDR und ihre europäischen Beziehungen. Berlin, Deutshger Verlag der Wissenschaften, 1969, S. 192–200.

47. Towards an economic prehistory of Europe: Comment on F. W. Higham. — Current Anthropology (Chicago), vol. 10, 1969, no. 2–3, p. 303–312.

48. Characteristic methods in the current critique of Marxism in archaeology. — Soviet Anthropology and Archaeology (New York), vol. 7, 1969, no. 4, p. 41–53. [*Перев. статьи 1968 г.* — см. № 37].

49. Arheologia ja füüsika dispuut. — Eesti loodus (Tartu), 1969, № 6, № 7 [*Перев. статьи 1966 г.* — см. № 26].

Отклик: *Punning J.-M., Ilves E. ja Liiva A.* Kuidas hinnata radioaktivse sõnsiniku meetodit? — Ibid., 1969, № 11, p. 667–670.

50. Остаюсь археологом. Трактат о кризисе гуманитарности в археологии и его связи с методами естественных наук. 1. Археология плюс физика. — «Знание — сила» (Москва), 1969, № 2, с. 26–27.

1970

51. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения. — Шаскольский И.П. (отв. ред.). Исторические связи Скандинавии и России в IX–XX вв. Москва–Ленинград, 1969, с. 226–252 (в соавторстве с Г.С. Лебедевым и В.А. Назаренко).

Рец.: *Poppe A.* — Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (Warszawa), r. XX, 1972, № 4, s. 736.

Отклик: *Лебедев Г.С.* Varangica Проблемного семинара Л.С. Клейна. — Stratum plus (Санкт—Петербург—Кишинев—Одесса) 1999, 5: 102–118.

52. Проблема определения археологической культуры. — Советская Археология (Москва), 1970, № 2, с. 37–51.

53. Дискуссия об археологической культуре в Проблемном археологическом семинаре Ленинградского университета. — Советская Археология (Москва), 1970, № 2, с. 298–302 (*в соавторстве с*: С.С. Миняев, Ю.Ю. Пиотровский, О.И. Хейфец).

54. Фридрих Энгельс как исследователь раннегерманского общества. — Советская Этнография (Москва), 1970, № 5, с. 20–32.

55. По поводу информации о методике американских археологических исследований. — Советская Археология (Москва), 1970, № 1, с. 298–300.

56. К проверке оснований гипотезы о генетической связи ямной и катакомбной культур. — Советская Археология (Москва), 1970, № 1, с. 49–57.

57. Катакомбная культура или катакомбные культуры? — Колчин Б.А. и Шер Я.А. (отв. ред). Статистико-комбинаторные методы в археологии. Москва, Наука, 1970, с. 165–169.

58. Archaeology in Britain: a Marxist view. — Antiquity (Cambridge), vol. XLIV, no. 176, 1970, p. 296–303.

Отклики: *Thompson M.* — Ibid., p. 303.

Hawkes C.F.C. Comment on Klejn. — Ibid., vol. XLV, no. 177, 1971, p. 55.

59. On trade and culture process in prehistory: Comment on C. Renfrew. — Current Anthropology (Chicago), vol. 11, 1970, no. 2, p. 169–171.

60. On Renfrew's reply. A letter. — Current Anthropology, vol. 11, 1970, no. 4–5, p. 402.

61. [On sociological research among CA Associates] A letter. — Current Anthropology, vol. 11, 1970, no. 4–5, p. 401.

62. Новочеркасская экспедиция. — Археологические открытия 1969 года. Москва, Наука, 1970, с. 93 (в соавторстве с Ф.Р. Балоновым, Г.Н. Бестужевым, С.С. Миняевым)

63. Über typische Verfahren der gegenwärtigen Kritik an Marxismus in der Archäologie. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 11, 1970, Nr. 3, S. 333–350. [*Перев. статьи 1968 г.* — см. № 37].

64. Остаюсь археологом. Трактат о кризисе гуманитарности в археологии и его связи с методами естественных наук. 2. Археология минус физика. — «Знание — сила» (Москва), 1970, № 2, с. 33–34.

65. В поисках града Китежа. — «Знание — сила» (Москва), 1970, № 11, с. 27–29.

1971

66. Феномен СМ III и вопрос о языке линейного письма А. — Вестник Ленинградского университета, 1971, № 8, с. 110–113.

67. Was ist eine archäologische Kultur? — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 12, 1971, H. 3, S. 321–345, Jg. 13, 1972, H. 3, S. 367–368.

68. Рец. на книгу: *Kalitz N.* Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Budapest, 1968. — Советская Археология (Москва), 1971, № 1, с. 287–291.

69. Курганы под Новочеркасском. — Археологические открытия 1970 года. Москва, Наука, 1971, с. 103 (совместно с В.С. Андреевым, В.А. Булкиным, Б.В. Ивановым, Б.А. Раевым).

70. Headings. — Current Anthropology, vol. 12, 1971, no. 2, p. 70.

71. Why not history? — Current Anthropology, vol. 12, 1971, no. 2, p. 170.

72. La arqueologia en Gran Bretaña: Un punto de vista marxista. — Cuadernos de Antropologia Social y Etnologia (Madrid), año 1, 1971, No.3, p. 25–40. [*Перев. статьи 1970 г.* — см. № 58].

1972

73. Die Konzeption des Neolithikums, Äneolithikums und der Bronzezeit in der archäologischen Wissenschaft der Gegenwart. — Neolithische Studien, I. Berlin, 1972, Akademie-Verlag, S. 7–30.

74. Die Ausbildung der Archäologen in der UdSSR. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 13, 1972, Nr. 3, S. 443–456.

75. Рец. на книгу Г. Мюллера-Карпе «Руководство по первобытной археологии», т. 2. Мюнхен, 1968 (H. Müller-Karpe *Handbuch der Vorgeschichte*, Bd. 2. München, 1968). — Советская Археология (Москва), 1972, № 1, с. 278–281.

76. Рец. на: Studies in Ancient Europe. Essays presented to Stuart Piggott. Edit. by Coles J. N. and Simpson D. D. A. Leichester, 1968. — Советская Археология (Москва), 1972, № 3, с. 385–389.

77. On the logic of cross-cultural analysis: Comment on Köbben. — Current Anthropology (Chicago), vol. 13, 1972, no. 1, p. 131–136, 138–139.

Ответ: *Köbben A.J.F.* — Current Anthropology (Chicago), vol. 14, 1973, no. 1–2, p. 3–4.

78. О приложимости идей кибернетики к построению общей теории археологии. — Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г. Москва, Наука, 1972, с. 14–16.

79. Катакомба скифского времени и салтовский курган на Нижнем Дону. — Археологические открытия 1971 года. Москва, Наука, 1972, с. 133–134 (совместно с Б.А. Раевым, А.И. Семеновым, А.В. Субботиным).

80. Zu einigen Begriffen der Archäologie. Berichtigungszusatz zum Artikel «Was ist eine archäologische Kultur?» in EAZ, 12, 1971, Heft 3. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, Jg. 13, 1972, H. 3, S. 367–368.

81. One more idea on current bibliography. — Current Anthropology, vol. 13, 1972, no. 3–4, p. 346.

1973

82. Marxism, the Systemic approach, and archaeology. — Renfrew C. (ed.). Explanation of culture change: Models in prehistory. London, Duckworth, 1973, p. 691–710.

Отклик: *Munton R.J.C.* Systems analysis: a comment. — Ibid., p. 685–690.

83. Археологические признаки миграций (IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук, Чикаго, 1973. Доклады советской делегации). Москва, 1973, 17 с.

84. Soviet archaeology and the role of Vikings in the early history of the Slavs. Comment on Daniil Avdusin. — Norwegian Archaeological Review (Bergen), vol. 6, 1973, no. 1, p. 1–4.

85. Метаархеология на Западе. — Тезисы докладов Сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР. Ташкент, Фан, 1973, с. 49–52.

86. Кипр и Крит в «Археологии мира». — Вестник Древней Истории (Москва), 1973, № 3, с. 174–182.

87. Рец. на: New perspectives in archeology. Edit. by Binford S. R. and L. R. Chicago, 1968. — Советская Археология (Москва), 1973, № 2, с. 303–312.

88. Рец. на книгу К.-А. Муберга «Введение в археологию». Стокгольм, 1969 (K.-A. Moberg's *Introduction till arkeologi*. Stockholm, 1969). — Советская Археология (Москва), 1973, № 4, с. 294–300.

89. On major aspects of the interrelationship of archaeology and ethnology: Comment on K. C. Chang. — Current Anthropology (Chicago), vol. 14, 1973, no. 3, p. 311–320.

Ответ: *Chang K.C.* — Ibid., p. 319–320.

90. Archaeoastronomy and ethnoastronomy so far: Comment on E.Ch. Baity. — Current Anthropology (Chicago), vol. 14, 1973, no. 4, p. 433–434.

91. Новочеркасские курганы. — Археологические открытия 1972 года. Москва, Наука, 1973, с. 287–288 (совместно с Б.А. Раевым, А.И. Семеновым, В.С. Суворовым).

92. О состоянии и задачах теоретических исследований по археологии в СССР. — Тезисы докладов Сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР. Ташкент, Фан, 1973, с. 6–10 (совместно с В.Ф. Генингом, Ю.Н. Захаруком, И.С. Каменецким, В.М. Массоном, Г.А. Федоровым-Давыдовым).

93. [More detailed suggestions.] A letter to the Editor. — Current Anthropology, vol. 14, 1973, no. 1–2, p. 3–4.

1974

94. Генераторы народов. — Древняя Сибирь, IV, Новосибирск, Наука, 1974, с. 126–134.

95. Kossinna im Abstand von vierzig Jahren. — Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle), Bd. 58, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1974, S. 7–55.

96. Regressive Purifizierung und exemplarische Betrachtung. Polemische Bemerkungen zur Integration der Archäologie mit der schriftlichen Geschichte und der Sprachwissenschaft bei der

ethnischen Deutung des Fundgutes. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 15, 1974, H. 2, S. 223–254.

97. Рец. на: R. Hachmann. Goten und Skandinavien. Berlin, 1970. — Советская Археология (Москва), 1974, № 3, с. 278–284.

98. Рец. на: T. Sulimirski. *Prehistoric Russia.* London, 1970. — Proceedings of the Prehistoric Society (Cambridge, England), vol. 40, 1974, p. 211–214.

99. Погребения кочевников в курганах под Новочеркасском. — Археологические открытия 1973 года. Москва, Наука, 1974, с. 110–111 (совместно с А.Г. Калмыковым, Е.Я. Роговым, А.И. Семеновым).

100. 30 небольших рецензий на работы Б.И. Маршака, В.Б. Ковалевской, А.А. Формозова, М.В. Крюкова, Е.В. Антоновой (2 работы), А.М. Хазанова, В.М. Массона, В.И. Сарианиди, Т.Г. Мовши, А.О Щепинского, З.И. Ямпольского, В.И. Кощлова и Г.В. Шелепова, П.М. Кожина и Б.А. Фролова, Ю.И. Семенова, Л.А. Кочи, З.П. Соколовой, Н.Е. Урушадзе, М.Д. Хлобыстиной, Н.Г. Порфиродова. В.И. Гуляева, А.В. Кузы и Г.Ф. Соловьевой, М.Я. Чорефа и П.Н. Шульца, Б.А. Литвинского (2 работы), А.А. Куратова, Ю.Е. Березкина, И.С. Массимова, Е.Е. Кузьминой, Г.Г. Стратановича, World Archaeology, no. 3.3. — Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie (Baden-Baden), Jg. 7 / 1974, passim.

101. L.S. Klejn recenserar Moberg (Göteborgs universitet, institutionen för arkeologi sürskilt nordeuropoisk). Göteborg, 1974, 10 s. (För programmet «Samhällsformer i Norden Europa 1500 f — 500 e O»). [*Перев. статьи 1973 г.* — см. № 88].

1975

102. Легенда Геродота об азиатском происхождении скифов и нартский эпос. — Вестник Древней Истории (Москва), 1975, № 4, с. 14–27.

103. Проблема смены культур в современных археологических теориях. — Вестник Ленинградского Университета, 1975, № 8, с. 95–103.

104. Германцы в «Археологии мира». — Вестник Древней Истории (Москва), 1975, № 1, с. 197–203.

105. К разработке процедуры археологического исследования. — Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Ленинград, Наука, 1975, с. 42–44.

106. Человек, культура и среда в «новой археологии». — Бадер О.Н. (отв. ред.). Всесоюзный симпозиум «Первобытный человек, его материальная культура и естественная среда в плейстоцене и голоцене (палеолит и неолит)». Тезисы докладов. Под ред. О.Н. Бадера. Москва, Наука, 1975, с. 41–43.

107. О сущности и границах аналитической археологии. — Новейшие открытия советских археологов. Киев, 1975, ч. III, с. 19–22.

108. Рец. на: *Woodall Ned J.* Introduction to modern archaeology. Cambridge, Mass., 1972. — Советская Археология (Москва), 1975, № 3, с. 267–273.

109. Рец. на: *Horedt K., Seraphin C.* Die prähistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg bei Sighişoara — Schässburg (Antiquitas, R. 3; Bd. 10). Bonn, 1971. — Археологія № 17, 1975, с. 107–109 (укр. яз.; совместно с В.А. Дергачевым).

110. Рец. на: Курганы степной части междуречья Дуная и Днестра. Одесса, 1970. — Советская Археология (Москва), 1975, № 1, с. 297–303.

111. Social borders: definitions of diversity. Comment on J.-K. Ross. — Current Anthropology (Chicago), vol. 16, 1975, no. 3, p. 333.

112. Socio-archaeology: Comment on G. Gjessing. — Current Anthropology (Chicago), vol. 16, 1975, no. 3, p. 333.

113. 18 небольших рецензий на работы Ф.Х. Арсланова и А.А. Чарикова, С.Н. Артановского, В.И. Даркевича и Б.И. Маршака, М. Дуглас, Дж. Фернандес, А.А. Формозова, Г.Н. Курочкина, А.И. Мартынова, В.М. Массона, А.П. Окладникова (2 работы), В.В. Отрощенко, С.А. Плетневой (2 работы), Е.А. Поповой, Е.В. Ревуненковой, В.В. Седова, Ю.С. Степанова. — Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie (Baden-Baden), Jg. 8 / 1975, passim.

1976

114. Neolithikum Europas als ein Ganzes. — Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle), Bd. 60 (Behrens-Festschrift), Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1976, S. 9–22.

115. Сарматский тарандр и проблема происхождения сарматов. — Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. Москва, Наука, 1976, с. 228–234.

Отклики: *Засецкая И. П.* Изображение «пантеры» в сарматском искусстве. — Советская Археология, 1980, № 1, с. 46–54.

Засецкая И. П. Проблемы сарматского звериного стиля (историографический обзор). — Советская археология, 1989, № 3, с. 35–47 (особ. с. 42–43).

116. Археология и преистория в системе И. Рауза. — Советская Археология (Москва), 1976, № 1, с. 306–315.

117. The behavior of peoples: a review article. — Current Anthropology (Chicago), vol. 17, 1976, no. 1, p. 132–136.

Ответ: Deuel Th. — Current Anthropology (Chicago), vol. 17, 1976, no. 1, p. 135–136.

118. A test of migration hypothesis: Slavic movement into the karst region of Yougoslavia. Comment on y'Edynak. — Current Anthropology (Chicago), vol. 17, 1976, no. 3, p. 420–421.

119. Ямные и катакомбные погребения Калмыкии. Культурная детерминация и восстановление социальных структур. — Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. Тезисы... Куйбышев, 1976, с. 27–30.

1977

120. A panorama of theoretical archaeology. — Current Anthropology (Chicago), vol. 18, 1977, no. 1, p. 1–42.

Отклики: *Santley R. S. and Turner E. R.* (USA). On theory in archaeology. — Ibid., vol. 18, 1977, no. 4, p. 747–748, 749.

Lahitte (Argentina). On theory in archaeology. — Ibid., p. 748–749.

Brüggeman J. K. (Mexico). Further comment on Klejn's «Theoretical archaeology». — Ibid., vol. 19, 1978, no. 1, p. 164–166.

Brentjes B. (Berlin, DDR). More on Klejn's Archaeological Panorama. — Ibid., vol. 19, 1978, no. 2, p. 423–426.

Ehrich R. (Harvard, USA). More on Klejn's Archaeological Panorama. — Ibid., vol. 19, 1978, no. 2, p. 426–427.

Gjessing G. (Norway). More on Klejn's Archaeological Panorama. — Ibid., vol. 19, 1978, no. 3, p. 632–633.

Leone M. P. (Maryland, USA). On texts and their interpretations. — Ibid., vol. 19, 1978, no. 3, p. 664–665.

Trigger B. (Montreal, Canada). No longer from another planet. — Antiquity (Cambridge, U. K.), vol. LII, no. 206, 1978, p. 193–198.

121. Theoretical archaeology: corrections. — Current Anthropology, vol. 18, 1977, no. 2, p. 371–373.

122. Предмет археологии. — Археология Южной Сибири (Известия кафедры археологии Кемеровского университета, вып. 9). Кемерово, издат. Кемеровского университета, 1977, с. 3–14.

123. К оценке эмпиризма в современной археологии. — Проблемы археологии и этнографии, вып. 1. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1977, с. 13–22.

124. Рец. на: И.С. Каменецкий, Б.И. Маршак, Я.А. Шер. Анализ археологических источников (Возможности формализованного подхода. Москва, 1975). — Советская Археология (Москва), 1977, № 3, с. 309–317.

1978

125. Археологические источники. Ленинград, издательство Ленинградского университета, 1978, 120 с., 10 табл. и рис.

Рец.: *Беляев А.А., Фролов М.В.* — Советская Этнография (Москва), 1980, № 3, с. 163–165;
Григорьев Г.П., Долуханов П.М., Лебедев Г.С., Щеглов А.Н. Отвергнутая рецензия. — Вопросы истории естествознания и техники (Москва), 1991, № 4, с. 146–150.

Отклики: *Захарук Ю.Н.* Об одной концепции археологического источниковедения. — Советская археология (Москва), 1983, № 3, с. 72–81.
Плахин В.Т. Гносеологическая специфика археологических источников. — Алтай в эпоху камня и раннего металла. Барнаул, 1985, с. 15–28.
Колпаков Е.М. Почему «археологические источники»? — Проблемы интерпретации археологических источников. Орджоникидзе, 1987, с. 108–119.
Аникович М.В. О месте археологии в системе общественных наук. — Боряз В.Н. (отв. ред.). Категории исторических наук. Ленинград, Наука, 1988, с. 73–98.
Колпаков Е.М. Проблема специфичности понятия «археологические источники». — Боряз В.Н. (отв. ред.). Категории исторических наук. Ленинград, Наука, 1988, с. 99–114.

126. Археологическая теория. — Проблемы археологии, вып. 2. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1978, с. 8–17.

127. Три процедуры археологического исследования. — Вопросы археологии Урала, вып. 14. Свердловск, 1978, с. 15–24.

128. Temporal models in prehistpry: Comment on J. B. Stoltman. — Current Anthropology (Chicago), vol. 19, 1978, no. 4, p. 732–734.

129. Археология и этногенез: новый подход. — Методологические проблемы изучения этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван, издат. Акад. наук Арм. ССР, 1978, с. 25–33.

130. Проблема объективности в скандинавской археологии. — Вестник Ленинградского университета, 1978, № 8, с. 48–54.

131. Zur historischen Auswertung der Ockergräber. Kritische Bemerkungen zu A. Häusler. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 19, 1978, Nr. 4, S. 227–242.

Ответ: *Häusler A.* Migration oder autochtone Entwicklung? Bemerkungen zu einigen Einwendungen von L. S. Klejn im vorstellenden Beitrag. — Ibid., S. 227–242.

132. On theory of archaeology: a response. — Current Anthropology (Chicago), vol. 19, 1978, no. 1, p. 162–164.

133. Archéologie, racisme et nationalisme. A propos de l'interprétation des vestiges archéologicques (adapt. et condens. par Millotte J.P.). — Dialoguees d'historie ancienne, vol. 4, 1978, p. 377–402. [*Перев. работы 1974 г.*] Проблемы археологии, вып. 2. Сборник статей памяти проф. М.И. Артамонова (1978) — в сотрудничестве с А.Д. Столяром и Г.С. Лебедевым.

1979

134. Понятие типа в современной археологии. — Клейн Л.С. (отв. ред.). Типы в культуре. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1979, с. 50–74.

135. Предисловие к сборнику. — Клейн Л.С. (отв. ред.). Типы в культуре. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1979, с. 3–5 (без указ. авторства).

136. Выступления в дискуссии. — Клейн Л.С. (отв. ред.). Типы в культуре. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1979, с. 156–173.

137. Заключение. — Клейн Л.С. (отв. ред.). Типы в культуре. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1979, с. 174–178 (без указ. авторства).

138. Теории в археологии. — Новые открытия в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, Наука, 1979, с. 30–39.

139. О характере римского импорта в богатых курганах сарматского времени на Дону. — Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, издат. Саратовского университета, 1979, с. 204–221.

140. Проблема «х». — Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства. Кемерово, издат. Кемеровского университета, 1979, с. 18–22.

141. The social anthropology of a Neolithic graveyard in the Netherlands: comment on P. Van de Velde. — Current Anthropology (Chicago), vol. 20, 1979, no. 1, p. 53–55, 57–58.

142. Смысловая интерпретация совместных погребений в степных курганах бронзового века. — Проблемы эпохи бронзы Юга Восточной Европы. Тезисы докладов конференции. Донецк, 1979, с. 18–20.

143. To the index and the idea of the bimonthly issues... — Current Anrthropology (Chicago), vol. 20, 1979, no. 3, p. 658.

· Типы в культуре. Ленинград, издат. Ленинградского университета, 1979, 184 с. (отв. ред.)

1980

144. Возникновение кочевого скотоводства. — Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Материалы I Всесоюзной археологической конференции. Кемерово, издат. Кемеровского университета, 1980, с. 30–36.

Отклик: *Jettmar K.* «Frühe Nomaden» und «nördliche Nomaden». — Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. CXIII, 1983, S. 33–44.

145. Структура археологической теории. — Вопросы философии (Москва), № 2, с. 99–115.

146. Третья гипотеза о происхождении скифов. — Народы Азии и Африки (Москва), 1980, № 6, с. 72–74.

147. Откуда арии пришли в Индию?. — Вестник Ленинградского университета, 1980, № 20, с. 35–39.

148. Archaeology of the 80ties through the objectives of the 70ties. — Norwegian Archaeological Review (Bergen), vol. 13, 1980, no. 1, p. 9–13.

149. On building of a theoretical archaeology: A response. — Current Anthropology, vol. 21, 1980, no. 4, p. 521–526.

150. Panorama de l'archéologie théorique (+ Addendum 1978: Personalité de la France). — Schnapp A. (éd.). L'archéologie aujourd'hui. Paris, Hachette, 1980, p. 262–303. [*Перев. работы 1977 г.* — см. № 120].

151. [Обзор классификационной работы в науках, предмет которых причастен к культуре. Выступление на семинаре 1979 г. в Борке. Изложение в:] Розова С.С. Философское осмысление классификационной проблемы. — Вопросы философии (Москва), 1980, № 8, с. 164.

1981

152. Проблема смены культур и теория коммуникации. — Количественные методы в гуманитарных науках. Москва, издат. Московского университета, 1981, с. 18–23.

153. Проблема преемственности и смены археологических культур. — Преемственость и инновации в развитии древних культур. Ленинград, Наука, 1981, с. 33–37.

154. Ethnogenese als Kulturgeschichte archäologisch betrachtet. Neue Einstellung. — Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte (Coblenz-Festschrift. Beiheft 16 der Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege). Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1981, Teil 1, S. 13–25.

155. 'Ethnos' und 'Kultur' auf dem Symposium Erevan 1978. — Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift (Berlin), Jg. 22, 1981, H. 1, S. 85–101.

156. Язык вещей. — Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, издат. Томского университета, 1981, с. 16–17.

157. Археолого-этнографические сопоставления. — Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, издат. Томского университета, 1981, с. 138–141.

158. Panorama teoretske arheologije, d. 1. — Arheo (Ljubljana), № 1, 1981, s. 1–16 [*Перев. работы 1977 г.*]

159. Archeologická teorie. — Malina J. (red). Archeologie včera a dnes. Česke Budějovice, 1981, č. 2, s. 221–232. [*Перев. статьи 1978 г.* — см. № 126].

160. [Přehled archeologických teoretických pojmů (extract z rukopisu «Archeologické prameny» L. S. Klejna)]. — Malina J. Arheologie včera a dnes. Česke Budejovice, Jihočeske Muzeum, 1981, d. 1, s. 677–705, *passim*.

1982

161. Archaeological typology. Translated by Penelope Dole. Oxford, British Archaeological Reports, 1982 (BAR International Series, no. 153), 321 p. + Errata and corrigenda in a separate pamphlet, 8 p.

Рец.: *Gleusiou S.* — Nouvelles de l'archéologie (Paris), No. 11, 1983, p. 100.
Eggert M.K.H. — Bonner Jahrbücher, Jg. 185, S. 541–544.

162. Attainments and problems of Soviet archaeology. — World Archaeology, vol. 13, 1982, p. 272–295 [В.А. Булкин и Г.С. Лебедев указаны как соавторы].

Отклик: *Miles D.* Yoked to the past. The state of archaeology. — Encounter, vol. LXV, no. 4, dec. 1983, p. 55–60.

163. Panorama teoretske arheologije. — Arheo (Ljubljana), № 2, 1982, s. 1–42. [*Перев. работы 1977 г.* — см.]

164. Введение в специальность. — Программа спецкурсов по археологии и этнографии. Свердловск, издат. Уральского университета, 1982, с. 3–7.

1983

165. От Тигровой балки до Матсья-пураны (Следы неведийских погребальных обря-

дов у индоариев в свете степной и среднеазиатской археологии). — Литвинский Б.А. и др. (ред.). Бактрия — Тохаристан на древнем и средневековом Востоке. Тезисы докладов ... Москва, Наука, 1983, с. 47–49.

1984

166. Археологические следы древнейших индоариев в Причерноморье. — Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Москва, 1984, ч. I, с. 32–35.

167. От Дуная до Индии. Отражение урнового погребального обряда в фольклоре индоариев и проблема фригийской миграции. — Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Москва, 1984, ч. I, с. 35–37.

168. The coming of Aryans: who and whence? — Bulletin of the Deccan College Research Institute (Pune), vol. 43, 1984, p. 57–72.

169. Найдена ли Троя? — Тезисы Всесоюзной авторско-читательской конференции ВДИ. Москва, Наука, 1984, с. 26–27.

170. Корреляция имен в Илиаде. — Тезисы докладов совещания «Комплексные методы в изучении истории с древнейших времен до наших дней», февраль 1985 г. Москва, 1984, с. 122–123.

171. От Днепра до Инда. — «Знание — сила», 1984, № 7, с. 17–20.

1985

172. Рец. на книгу: Дж.Г. Маккуин. Хетты и их современники в Малой Азии. — Народы Азии и Африки (Москва), 1985, № 1, с. 194–198.

173. Перун на Кавказе. — Советская Этнография (Москва), 1985, № 6, с. 116–123.

174. Мед-пиво народной сказки. — Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. Москва, 1985, с. 45–47.

175. Русалки и царь Салтан. — Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. Москва, 1985, с. 47–48.

176. Похороны бога и святочные игры с умруном. — Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. Москва, 1985, с. 48–50.

177. Найдена ли Троя? — «Знание — сила», 1985, № 3, с. 40–43.

1986

178. О предмете археологии (В связи с выходом книги В.Ф. Генинга «Объект и предмет науки в археологии»). — Советская Археология (Москва), 1986, № 3, с. 209–219.

Отклики: *Захарук Ю.Н.* Археология: наука историческая или источниковедческая? — Советская Археология (Москва), 1989, № 3, с. 207–214.

Генинг В.Ф. Археология — целостная научная система или «дилетантские вылазки» и «полуфабрикат знания»? (По поводу концепции объекта и предмета археологии Л.С. Клейна). — Советская Археология (Москва), 1989, № 3, с. 215–228.

179. Илион и Троя (К характеристике источников и формирования гомеровского эпоса). — Народы Азии и Африки (Москва), 1986, № 4, с. 86–116.

Отклики: *Дьяконов И.М.* Местоположение Трои и хетты (По поводу работы Л.С. Клейна). — Ibid., 1987, № 2, с. 209–211.

Цымбурский В.Л. «Миры» терминов «Троя» и «Илион» в гомеровском эпосе (по поводу гипотезы Л.С. Клейна). — Комплексные методы в исторических исследованиях. М.,1987: 168–170.

180. Скептический комментарий к началу европейской истории [О мифичности Троянской войны]. — «Знание — сила», 1986, № 3, с. 41–44.

181. Кто победил в «Илиаде»? — «Знание — сила», 1986, № 7, с. 43–45.

1987

182. Arheološki viri. Ljubljana, Studia Humanitatis, 1987, 174 s. [*Перев. книги 1978 г.* — см. № 125].

183. К вопросу о связи культуры и искусства. — Каган М.С. (отв. ред.). Искусство в системе культуры. Ленинград, Наука, 1987, с. 22–29.

184. Индоарии и скифский мир: общие истоки идеологии (Круглый стол). — Народы Азии и Африки (Москва), 1987, № 5, с. 63–82, 92–96.

(Здесь же отклики Ф.Р. Балонова, Я.В. Василькова, Л.А. Лелекова, Д.А. Мачинского, Д.С. Раевского, С.Р. Тохтасьева — с. 83–92).

185. Классификация и типология. — Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Тезисы докладов... Часть I. Омск, изд. Омского университета, 1987, с. 33–35.

186. Майкоп, Азия, Европа. — «Знание — сила», 1987, № 2, с. 66–76.

1988

187. Arheološka tipologija. Ljubljana, Studia Humanitatis, 1988, 581 s. [*Перев. книги 1982 г.* — см. № 161].

Отклик: *Djuric B.* Arheološka sistematika L. S. Klejna. Spremna beseda. — Klejn L. S. Arheološka tipologija. Ljubljana, 1988, s. 565–572.

Рец.: *Pleterski A.* — Praehistorische Zeitschrift, Bd. 62, 1992, Heft 2: 243–244.

188. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу. — Советская Этнография (Москва), 1988, № 4, с. 13–23.

189. Рец. на книгу: *Кузьмина Е.Е.* Древние кочевники от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986. — Народы Азии и Африки (Москва), 1988, № 3, с. 201–207.

190. Правосудие и два креста. — Нева (Ленинград), 1988, № 5, с. 150–158 (под псевдонимом Лев Самойлов).

1989

191. Проблема преемственности и погребальный обряд. — Археология Восточно-Европейской степи (Рыковские чтения 1984 г.). Саратов, издат. Саратовского университета, 1989, с. 127–129.

192. Путешествие в перевернутый мир. — Нева (Ленинград), 1989, № 4, с. 150–164 (под псевдонимом Лев Самойлов).

1990

193. Ранние индоевропейцы на Кавказе и в северо-понтийских степях. — Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей. Ереван, издат. Ереванского университета, 1990, с. 162–175.

194. Памяти языческого бога Рода. — Язычество восточных славян. Ленинград, Музей этнографии народов СССР, 1990, с. 13–26.

Рец.: *Петрухин В.Я.* Восточнославянское язычество: проблемы подлинные и мнимые. — Живая старина 1994, 1: 55–57.

195. Ахейские песни Илиады (К характеристике источников и формирования гомеровского эпоса). — Путилов Б.Н. (отв. ред.). Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Ленинград, Наука, 1990, с. 212–231.

196. Троянская война в эпосе и истории. Послесловие. — *Кравчук А.* Троянская война. Миф и история. Перев. с польск. Москва, Наука, 1990, с. 196–217.

197. Theoretical archaeology in the making: a survey of books published in the West in 1974–1979. — Fennoscandia Archaeologica (Helsinki), VII, 1990, p. 3–15.

Отклики: *Tilley Chr.* Comments on Klejn: «Theoreticasl archaeology in the making». — Fennoscandia Archaeologica (Helsinki), VIII, 1991, p. 59–61.

Olsen B. Excavating the 1970s 10 years after. — Ibid., p. 62–64.

Lesman Yu.M. L.S. Klejn and the development of theoretical archaeology. — Ibid., p. 65–66.

198. Гомеровские названия греков и Древний Восток. — Народы Азии и Африки (Москва), 1990, № 1, с. 56–67.

199. Данайская Илиада. К характеристике источников и формирования гомеровского эпоса. — Вестник Древней Истории (Москва), 1990, № 1, с. 222–253.

200. О так называемых зооморфных скипетрах. — Проблемы древней истории Причерноморья и Средней Азии. Тезисы... Ленинград, издат. Гос. Эрмитажа, 1990, с. 17–18.

201. Этнография лагеря. — Советская Этнография (Москва), 1990, № 1, с. 96–108 (под псевд. Лев Самойлов).

Отклики: *Кабо В.Р.* Структура лагеря и архетипы сознания. — Советская Этнография, 1990, № 1, с. 108–113.

Левинтон Г.А. Насколько «первобытна» уголовная субкультура? — Ibid., 1990, № 2, с. 96–100.

Гилинский Я.И. Субкультура за решеткой. — Ibid., с. 100–103.

202. Страх. — Нева (Ленинград), 1990, № 1, с. 151–170 (под псевд. Лев Самойлов).

203. Ад глазами француза. — «Знание — сила» (Москва), 1990, № 2, с. 81–83 (под псевд. Лев Самойлов).

204. Тень похищенного золота. — Газета «Смена» (Ленинград), 1990, № 236, 10 октября, с. 4.

Отклики: *Wermusch G.* Der verschollene Goldschatz. — Wochenpost (Berlin), Jg. 37, 1990, Nr. 51 (19. Dez.), S. 14–15.

Goldmann K. Der Schatz des Priamos. — Antike Welt, Jg. 22, 1991, Nr. 3, S. 195–206, besond. 204–205.

205. Reise in die verkehrte Welt. — Lettre International (Berlin), H. 10, 1990, S. 13–18. [*Перев. статьи 1989 г.* — см. № 192].

206. Reise in die verkehrte Welt. — Hamburger Runschau (Hamburg), 1990, 20. Sept., S. 16–17 [*Перев. статьи 1989 г.* — см. № 192].

207. [Изложение доклада Л.С. Клейна «Этнос и культура» на юбилейной сессии памяти М.И. Артамонова]. — Смирнова Г.И., Флёров В.С. Всесоюзный семинар, посвященный 90-летию со дня рождения Михаила Илларионовича Артамонова (Ленинград, 1988). — Советская Археология, 3: 291–296, в частности с. 291.

1991

208. Археологическая типология. Ленинград, издат.: Академия наук СССР, ЛФ ЦЭНДИСИ, Ленинградское археологич. научно-исследоват. объединение, 1991, 448 с. [*наиболее полное издание книги, впервые изданной в Оксфорде на английском в 1982 г. — см. № 161, а затем в Любляне на словенском в 1988 г. — см. № 187*].

Рец.: *Каган М.С.* — Вестник Ленинградского университета, 1993, сер. 6, вып. 1 (№ 6), с. 113–114.

Тульчинский Г.Л. — Книга Л.С. Клейна «Археологическая типология». — Философская и социологическая мысль (Киев), 1993, №2, с. 172–174.

Отклики: *Бочкарев В.С.* (ред.). Классификация в археологии. Терминологический словарь-справочник. Москва, Институт археологии АН СССР, 1990. [Вся часть 2 (с. 65–106) заимствована из рукописи «Археологической типологии» Клейна, как указано на с. 5].

Гудим-Левкович А.Н. Методологические проблемы типологического метода в археологии. — Российская Археология (Москва) 1994, № 2, с. 71–80.

Щапова Ю.Л. Еще раз о топологическом методе в археологии, типах и типологии. — Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Даниила Антоновича Авдусина. Москва, Памятники исторической мысли, 1998: 378–386.

Шпак А.Л. Математическая мизантропия. — Stratum plus, 1999, 5: 208–210.

209. Verkehrte Welt. In Breshnews Lagern. Berlin, Aufbau Taschenbuch Verlag, 1991, 175 S. [*книга, составленная из журнальных очерков-статей 1988–1990 гг.* — см. № 190, 192, 201, 202].

Рец.: *Thinius B.* Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch... In breshnews Lagern. Essays von Lew Klejn. — Die Andere, 1991, Nr. 17, 24. April, S. 9.

Ross J. — Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1991, 18. Juli.

Schuller W. Noch nicht lange her. — Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1991, 20. August.

Schuller W. In Breshnews Lagern. Verkehrte Welt. — Der Wecker, August 1992.

Fahrenholtz M. Das übertraf sogar Dostojewskis «Totenhaus». — Lausitzer Rundschau, 30. September 1992.

210. A Russian lesson for theoretical archaeology: a reply. — Fennoscandia Archaeologica (Helsinki), VIII, 1991, p. 67–71.

211. Рассечь кентавра. О соотношении археологии с историей в советской традиции. — Вопросы истории естествознания и техники (Москва), 1991, № 4, с. 3–12.

212. В защиту «чистой археологии». — Советская Археология (Москва), 1991, № 2, с. 102–110.

Отклики: *Генинг В.Ф.* О стиле дискуссии Л.С. Клейна. Письмо в редакцию. — Российская Археология, 1992, № 4, с. 257–259.

Крепаков Э.А. Некоторые проблемы исторического исследования в археологии (анализ концепции Л.С. Клейна). — Материалы XXXIII Урало-Поволжской археологической студенческой конференции (гл. ред. Р.Д. Голдина). Ижевск, Удм. ГУ, Ин-т истории и культуры народов Поволжья, 2001: 112–113.

213. Языческий подход к лингвистике. — Советское славяноведение (Москва), 1991, № 4, с. 88–92.

214. Расправа с помощью права. — Нева (Ленинград), 1991, № 2, с. 120–143 (под псевд. Лев Самойлов).

Отклик: *Топоров В.* Записки на чужих манжетах или Неутомимый фонтан. 2. Публицистика. — Литератор, 1991, № 22 (76), июнь, с. 7.

215. Vida y arqueología en San Petersburgo (entrevista). — Arqueología (Mexico), 5, enero — junio 1991, p. 129–132 (интервьюировал Юрген Брюггеман — Jüergen Brüeggemann).

216. Археология и рок... — Ленинградский Университет (газета), 1991, № 2 (3267), с. 6–7 (интервьюировал А. Арешин).

1992

217. Древнейшие песни Илиады. — Вестник Древней Истории (Москва), 1992, № 2, с. 15–31.

218. Методологическая природа археологии. — Российская Археология (Москва), 1992, № 4, с. 86–96.

219. Теоретическая археология и раскопки. — Северная Евразия от древности до средневековья. Тезисы конференции к 90-летию ... М.П. Грязнова. Санкт-Петербург, ИИМК РАН, 1992, с. 19–21.

220. Lev S. Klejn. Intervju. — Arheo (Ljubljana), 15, 1992, s. 52–56 (интервьюировала проф. Биба Тержан — Biba Teržan).

221. Todo arqueológo tiene algo de teórico... Una entrevista con Leo S. Klejn. — Trabajos de Prehistoria (Madrid), vol. 49, 1992, p. 11–25 (интервьюир. докт. Г. Руис Запатеро и докт. Х.М. Висент Гарсия).

222. Una conversation con Leo Klejn (entrevista). — Revista de arqueologia (Madrid), año XII, No. 133, 1992, p. 7–9 (интервьюировали докт. М.-И. Мартинес Наваррете, докт. Г. Руис Запатеро и докт. Х. Висент Гарсия).

223. Current political situation in Russïa and the position of archaeology in the country. — Oxford Magazine, no. 84, Eighth week, Trinity term 1992, p. 26–32.

224. Горькие мысли «привередливого рецензента» об учении Л.Н. Гумилева. — Нева, 1992, № 4, с. 228–246.

1993

225. Перевернутый мир. Санкт-Петербург, Фарн, 1993, 224 с. (под псевдонимом Лев Самойлов). [*полное и переработанное издание книги, впервые изданной в Берлине в 1991 г.* — см. № 209].

226. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург, Фарн, 1993, 128 с. + 12 с. фотоилл.

Рец.: *Формозов А.А.* О книге Л. С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене. — Российская Археология (Москва), 1995, № 3, с. 225–232.

227. La arqueología soviética. Historia y teoría de una escuela desconocida. Con prefacio de G. Ruiz Zapatero. Barcelona, Crítica, 1993, 173 p. + 16 p. photoill. [*параллельное испанское издание книги «Феномен советской археологии», см. № 226*].

Рец.: *Brueggemann J.* Arqueología Soviética. — Caligráma (Xalapa, Ver., Mexico), febr. 17, 1995, p. VI.

228. Археологическая типология. Автореферат диссертации (в виде опубликованной монографии) на соискание ученой степени доктора исторических наук. Санкт-Петербург, Институт истории материальной культуры Российской Академии наук, 1993, 16 с.

229. Збручский идол: интерпретация или языческая теология? — Островский А.Б. и др. (ред.). Этносемиотика ритуальных предметов. Санкт-Петербург, Российский этнографический музей, 1993, с. 210–221.

230. Происхождение Масленицы. — Горбачева В.В. (отв. ред.). Традиционные верования в современной культуре этносов. Санкт-Петербург, Российский этнографический музей (Министерство культуры РФ), 1993, с. 104–122.

231. Историзм в археологии. — Археологические вести (Санкт-Петербург), 2, 1993, с. 135–144.

232. Is German archaeology atheoretical? Comments on Georg Kossack. Prehistoric archaeology in Germany: its history and current situation. — Norwegian Archaeological Review (Bergen), vol. 26, 1993, no. 1, p. 49–54.

233. It's difficult to be a god (Yoffee and Sherratt's *Archaeological theory: Who sets the agenda*?). — Current Anthropology, vol. 34, 1993, no. 4, p. 508–511.

Отклик: *Murray T.* On Klejn's agenda for theoretical archaeology. — Ibid., vol. 36, 1995, no. 2, 290–292.

234. Exploring the limits: an interview with Leo Klejn (led by Dr. K. Kristiansen, the Editor).

— Journal of European Archaeology (Glasgow), vol. I, 1993, no. 1, p. 184–194.

235. To separate a centaur: On the relationship of archaeology and history in Soviet tradition. — Antiquity, vol. 67, 1993, no. 255, p. 339–348. [*Перев. статьи 1991 г.* — см. № 211].

236. Археология предреволюционной России. — Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы докладов конференции (11–13 декабря 1990 г.). С.-Петербург, С.-Петербургский университет, 1993, с. 4–6.

237. Проблема российских немцев. — St.-Petersburgische Zeitung, Nr. 6 (27), 7 (28), 8(29), 12(33), Juni — Dezember 1993.

1994

238. Бесплотные герои. Происхождение образов Илиады. Санкт-Петербург, Фарн — Художественная Литература, 1994, 192 с. с илл.

239. Russia's archaeology at the turning point. — 6 Congreso Hispano-Ruso de historia (Madid, 1992). Madrid, Fundacion Cultural Banesto, 1994, p. 193–214.

240. Childe and Soviet archaeology: a romance. — Harris D.R. (ed.). The archaeology of V. Gordon Childe. Contemporary perspectives. London, UCL Press, 1994, p. 75–90, discuss. 90–93.

241. Overcoming national Romanticism in archaeology. [Comment on P. Ligi]. — Fennoscandia Archaeologica (Helsinki), XI, 1994, p. 87–88.

242. Prehistory and archaeology. — Kuna M. and Venclova N. (eds.). Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupny. Praha, Institute of archaeology, 1994, p. 36–42.

243. Time concept in archaeology as seen in the time perspective. — World Archaeological Congress, 3. New Delhi, 1994. Theme papers NS, New Delhi, 1994, p. 1–6.

244. Уроки Амалы и Камалы. — Социальная философия и философия истории: открытое общество и культура. Научная конфер. Тезисы докладов и выступлений. Ч. II. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский гос. университет и Философское общество, 1994, с. 102–104.

245. *Burström M.* (the Editor). An ivory-tower in archaeology? A conversation with Leo S. Klejn. — Current Swedish Archaeology (Stockholm), vol. 2, 1994, p. 7–12.

246. Taylor T. Conversations with Leo Klejn. — Current Anthropology (Chicago), vol. 34, 1994, no. 5, p. 723–735.

247. Свобода от страха. [Открытое письмо президенту России]. — Газета «Сегодня», № 23 (130), 5 февр. 1994 г., с. 10 (это же письмо опубликовано под назв. «Что же случилось с нашей страной?» в газ. «Петербургские ведомости», № 28 (705), 12 февр. 1994 г., с. 3 (в обоих изданиях письмо — под журналистским псевдонимом Лев Самойлов, в соавторстве с Я. Гординым, Д. Граниным, Б. Никольским, Б. Стругацким, М. Чулаки).

248. Das Problem der russischen Deutschen. 1. Der ethnologische Aspekt. — St.-Petersburger Zeitung, Nr. 1(1), 27.07.1994, S. 32.

1995

249. Археологические источники. Второе, дополненное изд. [*книги 1978 г.* — см. № 125]. Санкт-Петербург, Фарн, 1995, 350 с. (в серии: Классика археологии).

250. Рец. на: О.Е. Алексеева, Н.Ф. Саввониди. Иллюстрированный англо-русский — русско-английский историко-археологический словарь. Санкт-Петербург: изд. авторов, 1993. — Советская Археология, 1995, № 2, с. 249–250.

251. Schliemann á Petersbourg. — Dossiers Archéologiques (Dijon), 1995, no. 206, p. 16–27 (par Lev S. Klein).

252. О древнерусских языческих святилищах. — Церковная археология (Материалы

Первой Всероссийской конференции. Псков, 20–24 ноября 1995 года). Часть 1. Распространение христианства в Восточной Европе. Санкт-Петербург — Псков, 1995, с. 71–80 (На обор. титульн. листа: Археологические изыскания [ИИМК], вып. 26, ч. 1).

253. Российская археология на переломе. — Церковная археология (Материалы Первой Всероссийской конференции. Псков, 20–24 ноября 1995 года). Часть 3. Памятники церковной археологии России. Санкт-Петербург — Псков, 1995, с. 86–105 [повторение мадридского доклада 1992 г., напечатанного в 1994 — см. № 239]. (На обор. титульн. листа: Археологические изыскания [ИИМК], вып. 26, ч. 3).

254. Парадигмы и периоды в истории отечественной археологии. Рец. на: Г. С. Лебедев. История отечественной археологии 1700–1917. СПб, изд. Санкт-Петербугского университета, 1991. — Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб, изд. Санкт-Петербургского университета, 1995, с. 173–183.

255. Functions of archaeological theory. — Journal of Theoretical Archaeology (Glasgow), vol. 3–4 (1993–1994), 1995, p. 1–39.

256. Metaarchaeology in the West. Current notions of Western scholars on what is theory in archaeology. — Journal of Theoretical Archaeology (Glasgow), vol. 3–4 (1993–1994), 1995, p. 59–82.

1996

257. Мы кроманьонцы: Дезадаптация человека к современной культуре. — Смыслы культуры. Международная научная конференция 11–13 июня 1996 г. Тезисы докладов и выступлений. Санкт-Петербург, издат. не указ., 1996, с. 205–209.

258. Глядя на наше вчера (Randall McGuire. A Marxist archaeology. San Diego et al., Academic Press, 1992, 326 p.). — Archaeologia Petropolitana, № 1, 1996, с. 99–106.

259. A börtöntudós (Lev Klein, Varga Anna beszélgettet). — 168 óra, évfolyam 32, 1969, VIII, 34–35.

260. Археологическая интерпретация: диалектика принципов. — XIII Уральское археологическое совещание. Тезисы докладов. Уфа, УНФ РАН, 1996.

261. Возможна ли надежная реконструкция? — XIII Уральское археологическое совещание. Тезисы докладов. Уфа, УНФ РАН, 1996.

262. Грекоарии в Северном Причерноморье. — Україна — Греція: досвід дружніх зв'язків та песперктиви співробтництва. (Мариупольский Институт Гуманитарных Наук). Мариуполь, 1996, с. 19–21.

263. Районирование ранней культуры металла: российская археологическая традиция. — Между Азией и Европой. Кавказ в IV–I тыс. до н. э. К 100-летию со дня рождения А.А. Иессена. Санкт-Петербург, ИИМК — Эрмитаж, 1996, с. 39–40.

264. On the Bibliographical directory of world theoretical archaeology: A project. — Trifonov V., Marciniak A. and Zimmerman L. (eds.). Theory and practice of archaeology in Europe (World Archaeological Bulletin, no. 8), 1996, p. 30–40.

265. On archaeology theory: Who's who in setting the agenda? — Current Anthropology (Chicago), vol. 37, 1996, no. 2, p. 366–348.

266. History of archaeology before 1900. European achaeology. — Brian M. Fagan (ed.). The Oxford companion to archaeology. New York — Oxford, Oxford University Press, 1996, s. v. History of archaeology: 286–287.

1997

267. Das Phänomen der Sowjetischen Archäologie: Geschichte, Schulen, Protagonisten. Übersetzt von D. Schorkowitz unter Mitwirkung von W. Kulik. Berlin, Peter Lang, 1997. [Перев. на нем. книги 1993 г. — см. № 226].

Рец.: *Jetmar K.* — Central Asiatic Journal, vol. 42, 1998, 2: 315–318.
Stadelbauer Jörg. — Osteuropa, 7, 1999: 766–767.
Härke Heinr. — Archäologische Informationen 22/1, 1999: 73–75.
Maier Esth. — Hansische Geschichtsblatt 119, 1999: 307.
Holtorf Corn. — Archaeologia Polona, 38: 2000: 257–263.

268. Интерпретации, реконструкции и теория (По поводу статьи А.М. Буровского). — Российская Археология (Москва), 1997, № 1, с. 227–230.

269. Почему я не вор? — Философия и преступность. Тезисы Межфакультетской конференции. Санкт-Петербург, 1997.

270. Почему я не вор? — газета «Вечерний Петербург», 31 марта 1997, с. 3.

271. Российское палеоэтнологическое направление в контексте мировой археологии. — Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Волкова (Вовка). Санкт-Петербург, изд. Санкт-Петербургского университета, 1997, с. 49–52.

272. Lev Samoilov. Lejrens etnografi. — Nordisk Tidskrift for Kriminalvi-denskab, Hrg. 84, Nr. 1, s. 16–32. [Перев. на датск. статьи 1990 г. — см. № 201].

273. «Человек дождя»: коллекционирование и природа человека. — Музей в современной культуре. Сборник научных трудов. Санкт-Петербургская гос. академия культуры. Санкт-Петербург, 1997: 10–21.

274. Марксизм и культура: поздний роман. — Метафизические исследования. Вып. 4. Культура. Санкт-Петербург, Алетея, 1997: 82–91.

275. Культурно-исторический процесс и теория коммуникации. — Грани культуры. Вторая международная научная конференция 4–6 ноября 1997 г. Тезисы докладов и выступлений. Санкт-Петербург, б. и., 1997: 107–110.

276. Культурная антропология: проблемы, теории, понятия. — Ежегодник: факультет этнологии 1997/98: Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 1997. Раздел: Программы курсов: 24–39.

277. История антропологических учений (культурная антропология). — Ежегодник: факультет этнологии 1997/98: Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 1997. Раздел: Программы курсов: 39–52.

278. Влад. Хозиков. Троянская война — вымысел. [Интервью с проф. Л. С. Клейном]. — Санкт-Петербургские ведомости, № 241 (1666), 26 декабря 1997, с. 1, 5.

279. Происхождение нуля или древнейшая эволюция игры в кости между Дунаем и Индом . — Стратум: структуры и катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб, «Нестор» 1997, с. 47–66.

1998

280. Змей с хоботом (Фольклор и этнография в работе археолога). — Памятники старины: открытия, концепции, версии. Памяти Василия Дмитриевича Белецкого 1919–1997. Санкт-Петербург — Псков, Псковское Гос. Объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник — ИИМК РАН, 1998, т. I: 289–296.

281. Archaeologists and migrations: A problem of attitude? Comment on H. Härke. — Current Anthropology (Chicago), vol. 39, 1998, no. 1: 30–31.

282. Археологическая культура: теоретический анализ практики (вместо рецензии). — Российская Археология, 1998, 1: 187–193.

283. Археология и этнография: проблема сопоставлений. — Интеграция археологических и этнографических сопоставлений. Материалы VI Международного научного семинара, посвященного 155-летию со дня рождения Д.Н. Анучина. Ч. I. Омск — Санкт-Петербург, 1998: 97–120.

284. Обсуждение методики раскопок в Европейском университете Санкт-Петербурга. — Археология Петербурга, II/1997. Санкт-Петербург, 1998: 50–51.

285. Генрих Шлиман в Петербурге. — Шлиман, Петербург, Троя. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург, 19 июня — 18 октября 1998 года. Санкт-Петербург, Славия, 1998: 8–15.

286. О происхождении героев «Илиады». — Шлиман, Петербург, Троя. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург, 19 июня — 18 октября 1998 года. Санкт-Петербург, Славия, 1998: 120–155.

287. Святой Августин и Лев Толстой: параллели подсознания. — Природа бессознательного. Материалы межвузовской конференции 26 января 1998 г. Санкт-Петербург, Институт биологии и психологии человека, Санкт-Петербургская гос. академия театрального искусства, 1998: 84–86.

288. Основной инстинкт в современной мифологии (К вопросу о загадочности гетеросексуальной ориентации). — Мифология повседневности. Материалы научной конференции 18–20 февраля 1998 г.. Санкт-Петербург, Русский Христианский Гуманитарный Институт, 1998: 84–101.

289. Высокие технологии в сфере высшего образования: имитация работы. — Применение высоких технологий в науке. Тезисы конференции. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский технологический университет, 1998.

290. Культуролог — это кто? — Культурология: как она есть и как ей быть (Международные чтения по теории, истории и философии культуры, 5). Санкт-Петербург, Эйдос, 1998: 277–282.

291. «Святилища» языческой Руси. — Живая старина, 1998, 1: 5–7 [перепечатка статьи 1995 г. — см. № 252].

292. Место М.И. Артамонова в истории российской археологической мысли. — Скифы, хазары, славяне, Древняя Русь. К 100-летию со дня рождения М.И. Артамонова. Санкт-Петербург 9–12 декабря 1998. Тезисы докладов. СПб, изд. Гос. Эрмитажа 1998: 18–20.

293. Троя, Помпеи и теория археологии. — Аничков Вестник (Санкт-Петербург), в. 6, 1998: 41–45.

294. Портрет Дориана Грея ... без портрета. — «Смена» (газета), 8 апреля 1998, № 77 (21949): 7 (подпись: Лев Самойлов).

295. *Лобанова З.* Мой Телемак! Троянская война не кончена... Профессор Клейн пришел к выводу, что «Илиада» основана на вымышленных событиях. — «Комсомольская правда», № 70 (21804), 15 апреля 1998: 6 [на основе интервью с Клейном].

296. Katz Miriam. Til forsvar for den frie tanke. — Berlinske Tidende, 4. sektion, tirsdag 8. december 1998, s. 2–3 [На основе интервью с Клейном].

297. Мемуар о работе в археологическом кружке исторического факультета Ленинградского университета. — Аничковский Вестник № 11, 1998 (Ассоциации ученических научных обществ «Аничков дворец»). Античная религия и философия. Санкт-Петербург, 1998: с. 91–96.

1999

298. Анатомия Илиады. Санкт-Петербург, изд. Санкт-Петербургского университета, 1999, 555 с.

Рец.: *Коршунков В.А.* — Новое литературное обозрение, 51, 2001:438–440

Цымбурский В.Л., Файер В.В. — Вестник древней истории, 2002, 1 (240): 179–189.

299. Миграция: археологические признаки. — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 1: 52–71.

300. Теория и терминология — взгляд из Ньюкастла. — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 1: 334–338.

301. Философия классификации и археологическая практика в книге Адамсов. — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 2: 368–372.

302. Функции археологической теории. — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 3: 8–25.

303. Заповеди участникам археологического семинара Л. С. Клейна (годы чеканки 1964–1995). — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 3: 389.

304. Критический комментарий Л.С. Клейна к заповедям С. Велиндера. — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 3: 390.

305. Афоризмы о науке. — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 3: 391.

306. Как писать ясно (двадцать правил хорошего стиля). — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 3: 391–392.

307. Норманизм — антинорманизм: конец дискуссии. — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 5: 91–101 (в разделе: 30 лет Варяжской дискуссии (1965–1995).

308. Глубина археологического факта и проблема реконверсии. — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 1999, № 6: 337–361.

309. Концепция времени в традиционной культуре. — Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, Лань, 1999: 3–9.

310. Познанский труд по теории классификации и типологии. — Archaeologia Petropolitana, III: 28-32.

311. Vasiliy Alekseevich Gorodcov V.A. — Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology: The great archaeologists. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clio, 1999, p. 247–262.

312. Nikodim Pavlovich Kondakov. — Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology: The great archaeologists. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clio, 1999, p. 165–174.

313. Gustaf Kossinna. — Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology: The great archaeologists. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clio, 1999, p. 233–246.

314. Heinrich Schliemann. — Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology: The great archaeologists. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clio, 1999, p. 109–125.

315. The early evolution of dice between the danube and the Indus: Contributions to the early history of mathematics. — Acta Archaeologica (København), vol. 70, 1999: 113–135.

316. Св. Августин и Лев Толстой: латентная гомосексуальность. — Голубой айсберг / L'iceberg bleu (Париж), 1999, 2: 32–39.

2000

317. Другая любовь: Природа человека и гомосексуальность. Санкт-Петербург, Фо-

лио-Пресс, 2000, 864 с., 137 рис.

Рец.: *Афанасьев А.* О книге «Другая любовь. — Kyiv gay telegraph, 2000, № 6, с. 4–5.
Дмитриев Н. — Коммерсант, № 118, 1 июля 2000 г.: 13.
Багров Э. — Новое Литературное Обозрение, № 47, январь 2001: 396.

318. Другая любовь: Природа человека и гомосексуальность. Исправленное издание. Санкт-Петербург, Фолио-Пресс, 2000, 864 с., 137 рис.

319. Инвазия с севера на Среднеминойский Крит: оценка достоверности гипотезы. — ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Юрия Викторовича Андреева. Санкт-Петербург, Алетейя, 2000: 98–104.

320. Археологическая периодизация: подходы и критерии. — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 2000, 1: 485–515.

321. Тохарская миграция в свете археологии. — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 2000, 2: 178–187.

322. Типология в связи с модерном (по поводу книги Велиндера, 1991). — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 2000, 2: 584–589.

323. Каталог кораблей: Структура и стратиграфия. — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 2000, 3: 17–51.

324. Археология в седле (Косинна с расстояния в 70 лет). — Stratum plus (Санкт-Петербург — Кишинев — Одесса), 2000, 4: 88–140.

2001

325. Metaarchaeology (Acta Archaeologica, Copenhagen, special issue). 2001.

326. Принципы археологии. Санкт-Петербург, Бельведер, 151 с., 11 рис.

327. Sprevnjeni svet. Ljubljana, 2001, 310 p. [словенск. перев. книги 1993 г. — см. № 225].

328. Etnografija taborišča. — Sprevnjeni svet. Ljubljana, 2001: 230–254 [перевод на словенск. статьи 1990 г. — см. № 201].

329. Mi kromanjonci. — Sprevnjeni svet. Ljubljana, 2001: 255–263 [перевод на словенск. статьи 1996 г. — см. № 257].

330. Kulturnozgodovinski razvoj in teorija komunikacije. — Sprevnjeni svet. Ljubljana, 2001: 264–271 [перев. на словенск. статьи 1997 г. — см. № 275].

331. Russia. — Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology. History and discoveries. Vol. III. ABC Clio, Santa Barnara — Denver — Oxford, 2001: 1127–1145.

332. Gorodcov, Vasiliy Alekseevich (1860–1945). — Ibid., vol. II: 589–590.

333. Kondakov, Nikodim Pavlovich (1844–1925). — Ibid., vol. II: 768–769.

334. Kossinna, Gustaf (1858–1925). — Ibid., vol. II: 775–776.

335. Schliemann, Heinrich (1822–1890). — Ibid., vol. III: 1150–1152.

2002

336. Другая сторона светила: Необычная любовь выдающихся людей. Русское созвездие. Санкт-Петербург, Фолио-Пресс.

337. Histoire d'archéologie russe. — Dossiers d'archéologie (Dijon), no. 270, février 2002: 4–7.



Л.С.КЛЕЙН И АРХЕОЛОГИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

L.S.KLEEJN AND ARCHAEOLOGY IN St.PETERSBURG

1970 г. Текст шуточного соглашения между директором Государственного Эрмитажа, академиком Б.Б.Пиотровским и доцентом кафедры археологии Л.С.Клейном. Читателю предоставляется возможность самостоятельно вникнуть в суть спора и решить, кто же в конце концов выиграл пари...

Соглашение.

Я, нижеподписавшийся, археолог со стажем с 1927 г. Борис Борисович Пиотровский и такие нижеподписавшийся, археолог со стажем с 1948 г., Лев Самойлович Клейн, составили настоящее соглашение в том, что если Лев Самойлович Клейн (1927 г. рожд.) до кончины Б.Б. Пиотровского, срок которой не устанавливается, но не более 1982 г. при большом прилежании, представит ему стройную концепцию теории археологии, то Б.Б. Пиотровский публично отречется от всех своих воззрений и признает Л.С. Клейна ученым и основоположником новой (неоклейновской) археологии, а себя причислит к деятелям доклейновской археологии.

28-II-1970
Ленинград



Акт

Настоящий акт составлен в городе Ленинграде февраля 28 дня 1970 г. в том, что нижеподписавшиеся:

1. Гиб Сергей Яковлевич - доцент кафедры археологии и зам. декана истфака факультета,
2. Бужилов Василий Александрович - аспирант кафедры археологии,
3. Дроздов Владимир Анатольевич - студент-археолог,
4. Хабриц Анна Иосифовна - студентка археолог,
5. Усова Галина Александровна - студентка археолог,
6. Ядова Марина Юлиановна - студентка археолог,
7. Хвощинская Наталья Владиславовна - студентка археолог,
8. Леман Юрий Михайлович - член школьного археологического кружка

общим числом восемь человек присутствовавшие в качестве свидетелей при заключении соглашения между директором Государственного Эрмитажа, профессором доктором исторических наук Пиотровским Борисом Борисовичем и доцентом кафедры археологии Государственного университета, кандидатом исторических наук Клейном Львом Самойловичем о создании общей концепции теории археологии и подтверждают, что в ходе заключения указанного соглашения обе договаривающиеся стороны клевещут в адрес оппонента и друг друга и нашли на заключение данного соглашения добровольно, без всякого давления или принуждения с чьей бы то ни было стороны. Лев Самойлович, как во время предшествующих подписанию соглашения усилий переговоров Б.Б. Пиотровского, требовал раскрытия какого-либо одного теоретического понятия, но при написании соглашения новым требованиям, с чем однако Л.С. Клейн согласился.

Что и удостоверяем своими подписями:

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]
4) [illegible]
5) [illegible]
6) [illegible]
7) [illegible]
8) [illegible]

Подпись свидетельствую
секретарь [illegible]
28.II.70 г.

Г. С. Лебедев[1]

Л. С. КЛЕЙН И ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

G.S.Lebedev L.S. Klejn and and St. Petersburg archaeological school

The scientific and pedagogical activity of L.S. Klejn is considered by the author in the context of the history of the Leningrad-St. Petersburg archaeological school from the late 40es of the last century and up to the present.

Лев Самойлович Клейн поступил на дневное отделение кафедры археологии Исторического факультета ЛГУ в 1947 году, на второй курс (первый он закончил заочно). Самые многочисленные за всю историю кафедры, наборы тех лет вспоминают как «кузницу кадров»: среди однокурсников Клейна — ведущая по сей день «палеолитчица» З.А. Абрамова, блистательный и в те годы А.Д. Грач, не уступавшие ему Я.В. Доманский, Л.В. Тарасюк, А.А. Иерусалимская, Г.И. Смирнова, на долгие десятилетия затем составившие славу Эрмитажа; курсом младше училась Н.А. Грач, на следующем — И.С. Каменецкий, А.Н. Кирпичников; без труда можно пополнить этот перечень имен, вскоре составивших основу послевоенного контингента советской археологии в Ленинграде, да и в Москве. «Восстановительный период» оказался по-своему плодотворным и для национальной археологической школы, куда пришла талантливая и трудолюбивая молодежь.

Гродненский первокурсник, однако, выделялся даже на этом блестящем фоне. Одновременно он поступил и на филфак, где стал одним из любимых учеников гениального В.И. Проппа, выпустившего первое издание «Волшебной сказки», и своими структуралистскими работами парадоксально завоевавшего высочайший научный авторитет и в тогдашнем сталинском СССР, и на еще не вполне враждебном Западе. На истфаке во главе кафедры Л.С. Клейн застал В.И. Равдоникаса; год спустя началась его последняя схватка с «московскими оппонентами» С.В. Киселевым & Со, обрушение и падение этого «столпа теории стадиальности» со всех уровней авторитета и постов. Редкие лекции В.И. Равдоникаса были по-прежнему артистичны и гениальны, запои — сокрушительны, хотя и не прерывали ладожские полевые сезоны. Тем не менее, лидер довоенной ленинградской археологии (не без оснований мысливший себя и одним из основоположников советской=марксистской «истории материальной культуры») уходил в тень забвения, безопасную и даже вполне почетную, но непереносимую; во главе кафедры его сменил М.И. Артамонов, вскоре (еще до защиты клейновского диплома в 1951 году) возглавивший и Государственный Эрмитаж (Столяр 1998, 1994).

Михаил Илларионович Артамонов (1898–1972), чье столетие в конце XX века масштабно отметила петербургская археологическая общественность и в Эрмитаже, и в Университете, и в ИИМК РАН, безусловно был крупнейшей и определяющей личностью ленинградской (петербургско-петроградской) археологической школы, вероятно со времен эмиграции в 1918 году М.И. Ростовцева (1870–1952), и до конца своих дней. С названным, видимо крупнейшим российским археологом первой половины XX века (Бонгард-Левин,

[1] Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия.

Тункина, Зуев 1997), М.И. Артамонова, при отсутствии прямых контактов, бесспорно связывало сознание научной преемственности и равенства в «безвоздушном пространстве науки», по ростовцевскому выражению, не знавшем политических и генерационных границ. Серия уважительных ссылок как на дореволюционные, так и на «эмигрантские» работы М.И.Ростовцева в монументальном издании «Сокровищ скифских курганов» (Артамонов 1966,1988) демонстрирует это отношение достаточно убедительно. Еще отчетливее оно проявлялось, и было передано в непосредственном общении с учениками.

Сам М.И. Артамонов фактически возглавил тогдашнюю «ленинградскую археологическую школу» в ответственный и сложный период очередного «методологического кризиса», назревавшего и развернувшегося в масштабах всего сталинского Союза первого послевоенного десятилетия. Своеобразие положения «советской археологии» в корпусе отечественных гуманитарных наук середины XX века, как уже отмечалось в историографии, заключается в том, что с опережением на несколько лет, здесь этот кризис тоталитарной идеологии разрешился таким неожиданным образом, когда «десталинизацию» методологии, ее освобождение от системы тоталитарных догматов, в археологии (и языкознании) осуществил Вождь и Учитель народов, собственной персоной (Лебедев 1992, 431–432).

Это не означало, однако, благостных и однонаправленных перемен, скорее наоборот, избыточность «степеней свободы» оборачивалась повышением степеней опасности и соблазнов. Студенческие годы Л.С.Клейна на артамоновской кафедре археологии — это годы Волго-Донской экспедиции, методично исследовавшей хазарский Саркел и другие памятники Подонья.

Л.С. Клейн, И.С. Каменецкий и другие студенты, сезон за сезоном проходили здесь практику под надзором наставников-аспирантов, демобилизованного старшины А.Д. Столяра, В.Д. Белецкого и других учеников М.И. Артамонова. Именно здесь нашел себе прибежище в интервале между двумя арестами и заключениями молодой Л.Н. Гумилев. Рабочую силу экспедиции составляли подконвойные зеки, точнее «зечки», почти исключительно женщины, контингент спокойный и благодарный за «непыльную» работу землекопов на археологических раскопках. Исследовали, между тем, памятник, узловой для самого проблемного, начального этапа русской истории. Да и в целом «История хазар» была не самым удобным объектом изучения в годы становления сталинского национально-государственного патриотизма.

«Борьбу с космополитизмом» и другие кампании поздних 1940-х М.И. Артамонов, в качестве университетского проректора и профессора, встретил и пережил со спокойным достоинством; он не писал, в отличие от вполне уважаемых коллег, «антинорманистских» брошюр, не отстаивал славянства скифов и отрицал славянство проблематичных «росов» VI–VII вв. (то ли готских росомонов, то ли сарматских роксоланов). Вообще говоря, устоявшаяся «теория стадиальности» с гиперавтохтонизмом любого наличного этноса (рефлексирующим ялтинскую послевоенную «нерушимость границ») снимала остроту этнической проблематики глубокой древности; в современности было сложнее, но ленинградский истфак выручала корпоративная солидарность, сохранявшаяся интеллигентность, устойчивость неформальных связей этого узкого круга близких друзей А.А. Ахматовой, а пожалуй, именно М.И. Артамонову, ее знаменитый ныне сын обязан более чем кому-либо, сравнительно благополучным своим устройством после окончательного освобождения и возможностью выполнить, а в дальнейшем — опубликовать статьями университетского «Вестника» (а ранее всего — авторскими комментариями в монографии М.И. Артамонова) работы, изданные затем в виде весьма популярных книг Л.Н. Гумилева 1990-х гг.

М.И. Артамонов умел выбирать, воспитывать и взращивать учеников, поручая их ве-

дению проблемы, наиболее значимые на данном этапе развития отечественной археологии. В годы Волго-Донской экспедиции, естественно выдвинулась на первый план «хазарская» проблематика, и сюда был направлен, преодолевая все, казалось бы, непреодолимые обстоятельства, импульсивный талант Л.Н. Гумилева, и значительно более весомый научный потенциал другой артамоновской ученицы, ныне академика С.А. Плетневой (один из ярких примеров «ленинградско-московского» перетекания кадров), и научные интересы последнего в этой когорте учеников, университетского профессора А.В. Гадло (1938–2002).

Глубокая первобытность лежала за пределами непосредственных интересов М.И. Артамонова. Он доверял здесь традиции дореволюционной «этнологической школы» Ф.К. Волкова, безусловному авторитету прославленного ученика основателей дореволюционного археологического образования (в равной мере, Ф.К. Волкова и М.И. Ростовцева) и наиболее авторитетного специалиста ИИМК, П.П. Ефименко, равно как своего сокурсника по Петроградскому университету, П.И. Борисковского и других создателей «советской школы палеолита», в те десятилетия, да и ныне, безусловно, одной из лучших. Однако это не помешало ему заметить и оценить исследовательский потенциал А.Д. Столяра (увлеченного тогда совершенно иной проблематикой), и уже в конце своей деятельности, перевести его из Эрмитажа в Университет, направить на подготовку фундаментального исследования проблем становления палеолитического искусства и в целом — сознания (Столяр 1985), и таким образом обеспечить себе преемника во главе кафедры, после скоропостижной кончины М.И. Артамонова, возглавлявшего ее четверть века (1972–1997).

Л.С. Клейн в этой когорте учеников, отобранной и взращивавшейся М.И. Артамоновым, всегда занимал особое место. Ключевые проблемы ранней истории, интересовавшие учителя — происхождение славян, готы и славяне, происхождение скифов, этногенез индоариев составили сферу многолетних интересов талантливого студента и аспиранта. Наряду с «хазарской проблемой», практически впервые, поставленной и решенной М.И. Артамоновым, этот ученый с первых и до последних лет своей деятельности не упускал из поля зрения симметричную ей, «норманнскую проблему», во всем объеме представляя научную значимость «варяжского вопроса» — начального, а потому ключевого вопроса русской истории (Лебедев 1998); и сюда со временем были направлены, и всячески поддержаны исследовательские усилия Л.С. Клейна. Но неожиданнее и ранее всего самостоятельность и научная зрелость ученика проявились в наиболее сложной и общей сфере археологического знания — общей теории. — Нам нужен теоретик — не раз говорил коллегам М.И. Артамонов, представляя Л.С. Клейна на кафедре (в том числе, и на склоне лет, в присутствии автора этих строк). Первым основанием для такой оценки стал, очевидно, еще студенческий «дебют» Л.С. Клейна в «дискуссии по языкознанию».

Ученик В.И. Проппа и М.И. Артамонова, Л.С. Клейн уже на студенческой скамье проникся глубоким скептицизмом по отношению к еще господствовавшей формально «теории стадиальности» — современные исследователи определяют ее как «сталинизм в археологии « (Аникович 1995), и ее методологическому основанию, «яфетической теории» или «новому учению о языке» Н.Я. Марра (1864–1934). После смерти основоположника, марровскую теорию поддерживали и развивали такие авторитетные специалисты послевоенной поры как академик И.И. Мещанинов, формально на ней основывались научные взгляды В.И. Равдоникаса, П.П. Ефименко, Б.Б. Пиотровский и другие именитые археологи почтительно ссылались и цитировали работы Марра, а главное — под запретом были «антимарровские» положения общенаучного сравнительного языкознания, традиционной индоевропеистики, соответственно — археологического эволюционизма, не говоря о более поздних теориях миграционизма, диффузионизма и пр., скопом предававшихся идеологическому проклятию как «буржуазные»

антиподы единственно верной «марксистской науке». Положение было совершенно аналогичным тогдашнему положению с генетикой, а роль лысенковской теории в биологии, для языкознания и археологии играла теория марровская.

Против нее и выступил юный Л.С. Клейн в курсовой работе 1949 года. Она поразительно подоспела к неожиданной для всех «дискуссии по языкознанию» начатой на страницах «Правды» в следующем 1950 году. Виноградовская статья «Марксизм и вопросы языкознания», подписанная И.В. Сталиным, упразднила «марризм» и вернула филологию в общенаучное русло компаративной индоевропеистики. По слухам, клейновская курсовая, в числе других материалов, легла на стол вождя, и была отложена в стопку обнадеживающих трудов. «Во всех науках корифей», как с тех пор прозвал его Юз Алешковский, может быть, даже одобрительно пыхнул трубкой в усы, при упоминании ленинградского студента.

Это обеспечило достаточно шумную известность Л.С. Клейну на обоих факультетах Университета. Может быть, определенный иммунитет в развернувшихся затем кампаниях. В декабре 1951 года на страницах той же «Правды» в статье «никому не известного П. Иванова» (как потом иронически отозвался об авторе М.И. Артамонов) были «подвергнуты критике работы проф. М.И. Артамонова и других ученых, связанные с идеализацией Хазарского каганата — примитивного государственного образования VII–IX веков» («Правда» №49 (12251) 18 февраля 1952 г.). Цитируемая в данном случае статья уже подводила итоги проведенной критической кампании.

Речь шла о подготовленной к изданию «Истории хазар» М.И. Артамонова. Как и разгромленные вскоре примерно таким же образом «Очерки истории гуннов» А.Н. Бернштама, эти труды университетских археологов, посвященные тюркско-монгольским народам Великой Степи, подверглись яростному натиску торжествующих «почвенников-государственников» последних лет сталинской эры. С позиций примата «великого русского народа», исконности славянства на всей территории европейского «социалистического мира», безусловных как постулаты «Краткого курса истории ВКП(б)», для тогдашних «патриотов» сами попытки исследования любого «неславянского компонента» были безусловной ересью; тем более, артамоновский вывод о выдающейся исторической роли Хазарского каганата — предшественника Киевской Руси.

«11 января 1952 года в Ленинграде состоялось совместное заседание Ученого совета исторического факультета и кафедры археологии университета и Ленинградского отделения ИИМК АН СССР. Собравшиеся заслушали выступление проф. Артамонова, признавшего правильность многих критических замечаний т. Иванова, но отрицавшего первоначально наличие порочной концепции в его работах по истории Хазарии. Только в своем последнем выступлении при обсуждении проекта резолюции проф. Артамонов признал наличие у него порочной концепции по вопросу о Хазарском каганате» (Яковкина 1952). Прения, предшествовавшие этому «последнему слову» были действительно бурными и драматичными. «Член Ученого совета исторического факультета проф. М.К. Каргер подчеркнул в своем выступлении не только научную, но и политическую значимость предстоящего обсуждения». С особою силой он обрушился не только на М.И. Артамонова, В.В. Мавродина, С.П. Толстова, чьи работы подлежали осуждению, но и на сотрудника ЛО ИИМК А.М. Беленицкого «пытавшегося затушевать ошибочные положения проф. Артамонова». Остальные сотрудники оказались более солидарными, и ближайшие ученики и друзья, Г.Ф. Корзухина, И.И. Ляпушкин, А.П. Окладников подтвердили, что «идеализация Хазарского каганата имеет корни в буржуазной историографии», а к тому же органично связана с «так называемым «новым учением о языке» Н.Я. Марра» (Ленингр.ун-т № 4 /786 24 января 1952).

Двадцать лет спустя, пока не натолкнулся на пожелтевшие вырезки этих газет при разборке доставшихся мне бумаг И.И. Ляпушкина (1904–1968), я никак не мог понять, почему до конца своих дней два уважаемых и авторитетных археолога, заведующие двух близких кафедр — археологии, и истории искусств, М.И. Артамонов и М.К. Каргер на моей памяти ни разу не обменялись словом друг с другом. Г.Ф. Корзухина (она ушла из жизни одновременно с М.К. Каргером в 1974 году) как-то обмолвилась, что «они никогда не разговаривают». Никто старался не вспоминать, почему.

Молодой выпускник Университета, Лев Клейн в это время, после недолгой работы в БАН, учительствовал в 34 школе Василеостровского района (она и сейчас стоит, под его окнами), а потом перебрался в областную школу райцентра Волосово, где и встретил смерть И.В. Сталина в марте 1953 года. Годы «оттепели» он провел в родном Гродно, организатором первых школьных археологических экспедиций с разведками по Неману.

М.И. Артамонов пригласил Л.С. Клейна в аспирантуру кафедры археологии ЛГУ в 1957 году. Сам он находился на вершине своей научной карьеры. «Труды Волго-Донской экспедиции» были изданы в серии МИА (знатоки расшифровывали аббревиатуру основанного им издания «Материалы и исследования по археологии СССР» именно как «Михаил Илларионович Артамонов») , эрмитажная типография набирала «Историю хазар», с комментариями Л.Н. Гумилева (Артамонов 1962), новая археологическая экспозиция представляла во всем блеске непривычных тогда гальванокопий «Сокровища скифских курганов» (Артамонов 1966), а оригиналы сохранялись в потрясавшей посетителей Золотой кладовой, выставка холстов Пабло Пикассо на третьем этаже Зимнего дворца проложила путь к созданию постоянной экспозиции импрессионистов, а «шемякинская выставка» 1964 года, положившая конец деятельности М.И. Артамонова на посту директора Эрмитажа, была еще в отдаленном будущем. Самое время было позаботиться о качественном пополнении университетской археологии.

Аспирантура Л.С. Клейна длилась с 1957 по 1960 год. В артамоновском Эрмитаже с 1959 года начал действовать школьный «Клуб юных археологов», и автор этих строк получил один из первой десятки билетов, а через год услышал от эрмитажников: — Иди-ка ты в школьный кружок Клейна при кафедре, именно там учат археологии.

Школьный кружок тех лет, детище аспиранта Л.С. Клейна дал начало поразительно жизнеспособному организму, стабилизировавшему развитие археологической школы на многие десятилетия вперед. В 2002 году объемистый том воспоминаний и эссе выпускников наиболее полного правопреемника кафедрального кружка, объединения археологов при Дворце творчества юных (в ЛДП им. А.А. Жданова переведенного с истфака, уже клейновским аспирантом А.В. Виноградовым в 1972 году) позволяет в достаточном объеме проследить и оценить многоплановый и последовательный путь развития современной «петербургской археологической школы» от Л.С. Клейна до А.А. Ковалева, от дискуссий по ключевым проблемам археологии 1970-х к Федеральному Закону об объектах культурного наследия народов России 2002 года («Археология и не только...», 2002). А ведь «Med logum skall land byggja», «Законом Страна строится», гласит варяжская мудрость «Эдды» викингов (Гуревич 1972, 139–190).

Сам Л.С. Клейн руководил этим школьным кружком ровно до тех пор, пока его выпускники, год за годом не заполнили кафедральные курсы (составляя тогда не менее трети приема), и не приняли на себя ведение занятий со школьниками, в свою очередь распределившись по клейновским секциям Проблемного семинара кафедры археологии.

При этом два года (включая мой первый курс в 1961 году) Л.С. Клейн находился «за штатом» кафедры, выполняя обязанности ассистента и не получая зарплаты. Лишь в 1962

году для него было открыто штатное место преподавателя, ассистента (с 1968 года — доцента), которое он занимал почти двадцать лет.

Кафедра, на которой он получил штатное место, была да и осталась немногочисленной. Тем не менее, с появлением Л.С. Клейна, а затем пополнением состава за счет принятых в штаты выпускников его семинара, уже при жизни М.И. Артамонова в 1961–72 гг. была намечена, а в течение следующего десятилетия — развернута в полном объеме, наиболее полная и стройная за всю историю кафедры структура археологического образования.

Общий курс «Основы археологии», который обычно читал заведующий — М.И. Артамонов, с 1972 года — А.Д. Столяр (один или два семестра в конце 1970-х — доц. Л.С.Клейн) и дополнявшая его «История первобытного общества» (Т.Д. Белановская) развертывались для студентов кафедры в базовые «эпохальные разделы» спецдисциплины, выстроенные по классической «системе трех веков»: археология палеолита (П.И. Борисковский, М.В. Александрова), археология мезолита и неолита (Т.Д. Белановская), археология энеолита (А.Д. Столяр), археология бронзы (Л.С. Клейн, с конца 1970-х В.С. Бочкарев), археология железа (в 1969–91 гг. Г.С. Лебедев). Эти курсы читались последовательно со 2-го по 6-й семестр, на I–III курсах.

Паралелльно устоялись теоретико-методические лекционные курсы «Методика полевых исследований» (А.В. Давыдова, с 1974 года В.А. Булкин), «Методика кабинетных исследований» (Л.С. Клейн), «Статистико-комбинаторные методы» (Я.А. Шер), «Теория археологии» (Л.С. Клейн). Стоит отметить, что теоретико-методические дисциплины читались за счет сокращения в кафедральной программе часов на обязательную на факультете «историю КПСС» и другие методологические «марксистско-ленинские дисциплины».

Таким образом, заложенные в основном, штатным составом преподавателей основы «эпистемы» и «парадигмы» археологии образовывали своего рода каркас понятийной сетки знаний. Далее, штатные преподаватели кафедры или приглашенные специалисты читали «отраслевые разделы» археологии, формирующиеся в основном после эпохи железа: античная (А.В. Давыдова) , скифо-сарматская (М.И. Артамонов, Л.С. Клейн, А.В. Давыдова, А.В. Виноградов) славяно-русская (М.И. Артамонов, П.Н. Третьяков, В.А. Булкин), финно-угорская археология (П.Н. Третьяков, И.В. Дубов). Дополняли их курсы региональной археологии Кавказа (Б.Б. Пиотровский), Средней Азии (В.М. Массон), Сибири (М.П. Грязнов, А.В. Виноградов). Завершали систему подготовки тематические спецкурсы (особо значимыми были авторские курсы М.А. Тихановой, П.Н. Третьякова, А.В. Давыдовой, но и мн.др.).

С 1970 года, сначала в виде обзорных спецкурсов, а потом — лекционных курсов, завершающих подготовку археологов в 9–10 семестрах были поставлены историографические курсы (в счет «сетки часов», отвоеванных кафедрой из обязательного раздела общефакультетской программы), «История мировой археологии» (Л.С. Клейн) и «История отечественной археологии» (Г.С. Лебедев). Как и клейновский курс «теории археологии», эти историографические дисциплины преподавались впервые в отечественной, а на уровне подачи в лекциях Л.С. Клейна, и мировой практике. Концептуальной базой служила «Панорама теоретической археологии», опубликованная Л.С. Клейном в «Current Anthropology» (Klejn 1977) редкий даже для лет брежневской «разрядки» (детанта) опыт успешного и авторитетного выступления советского ученого с квалифицированным обзором мирового научного процесса в общедоступном для зарубежных специалистов, ведущем англоязычном издании. Спецификацией концепции на «российско-советском материале» стал краткий обзор для «World Archaeology», подготовленный Л.С.Клейном вместе с его кафедральными учениками и коллегами (Bulkin, Klejn, Lebedev 1982).

Лекционные курсы и дополнявшие их тематические спецкурсы, равно как многолетние практики в кафедральных, академических, эрмитажных экспедициях, обязательные камеральные, лабораторные и музейные практики студентов кафедры связывала в эти десятилетия тематика курсовых и дипломных работ (во многих случаях быстро перераставших в кандидатские, а затем и докторские диссертации). Работы эти, также в определенной системе задумывались, разрабатывались и обсуждались на «спецсеминарах». Именно по замыслу Л.С. Клейна кафедральные семинары впервые были объединены в эту, довольно продуманную и стройную систему, ядро которой образовал с 1964 года основной, «Проблемный семинар».

Проблемный семинар по археологии стал и остался главным делом, созданным Л.С. Клейном на кафедре и существующим двадцать лет после формального его с нею расставания. Сформированный Л.С. Клейном «незримый колледж» действует независимо от того, с какой регулярностью, когда и где он собирается. В течение трех десятилетий этот семинар, «клейновцы», как самоопределился один из его «ветеранов» В.А. Назаренко, стали и остаются ферментом, удерживающим самостоятельность и продуктивность в той научной общности, которую обычно именуют теперь «петербургская (ленинградская) школа российской археологии» второй половины XX века» (Тихонов1995). Сборник трудов, посвященный Юбилею Л.С. Клейна, вольно или невольно становится и своего рода отчетным обзором деятельности этого семинара «петербургской археологической школы».

Варяжский вопрос — начальный, а потому — ключевой вопрос российской истории, следовательно, отечественного самосознания. Археология — средство объективации этого самосознания, основанного на историческом знании. Поэтому вполне закономерно, Л.С. Клейн свой собственный исследовательский и преподавательский путь в университетской археологии «из-под крыла» своих университетских учителей М.И. Артамонова и В.И. Проппа начал именно с «варяжского вопроса».

Проблема, остававшаяся для Артамонова «полем боя» с 1939 года до последних дней (доклад в ЛОИА 1969 г.) требовала решения, и молодой ассистент кафедры археологии, где М.И. остался заведующим после своего достопамятного конфликта с ленинградскими партийными властями из-за шемякинской выставки в Эрмитаже в 1964 году, начал свою преподавательскую практику (как в свое время, в 1909 г., артамоновский учитель А.А. Спицын) со спецкурса «Варяжский вопрос и археология» (1963–64 уч. год). Наряду с обязательными «программными» курсами методики археологических исследований и археологии эпохи бронзы, этим курсом Л.С. Клейна определялось отныне новое направление исследований и обучения на кафедре археологии М.И. Артамонова.

Проблемный семинар по «варяжскому вопросу», или «Варяжский семинар» начал действовать с 1964 года. В первом составе — В.П. Петренко, Ю.Ю. Пиотровский, В.А. Булкин, В.А. Назаренко, А.А. Пескова и другие; «славистами» стали не все, но все осваивали провозглашенный Л.С. Клейном (не боясь заимствования из тогдашней «западногерманской» науки) «пурификационный подход», принципы интеллектуальной честности и последовательной процедуры исследования, в норме — формирующей не только парадигму научных изысканий, но весь жизненный путь. Показательна судьба одного из первых участников семинара и клейновских учеников, Валерия Петровича Петренко (1943–1991).

Он пришел, с начальной выучкой, полученной у рижских археологов и фантасмагорической по тем временам мечтою — исследовать самый ранний в Восточной Европе норманский могильник, Гробини в Курземе. Курсовые и дипломную работы Петренко писал по добытой в «спецхране» БАН немецкой монографии Биргера Нермана (1941 год издания). Четверть века, со скамьи семинара, и «Касплянской разведки» Пути из Варяг в Греки

1966 года (он принес оттуда свой «гимн оголтелого норманизма», экспедиционную для всех последующих субгенераций песню «Мы по речке, по Каспле идем...») к собственному исследованию Варяжской улицы и сопок Старой Ладоги, пограничного Ивангорода, в конце концов неутомимым напором привели его к курганам Гробини, и вместе с латвийскими археологами он открыл там сенсационно ранние скандинавские памятники, с готландской стелой V–VI вв, одним из древнейших изображений корабля (начальная «русь»).

Свой последний полевой сезон Валерий Петренко провел на раскопках шведской экспедиции в Бирке, центральном памятнике «эпохи викингов». Однако, и главное дело его жизни не оборвалось с этой жизнью, посмертную публикацию основных материалов исследования Гробини взяли на себя и выполнили его латвийские и шведские друзья и коллеги (Petrenko, Urtans 1995).

Автор этих строк присоединился к клейновскому семинару в конце 1965 года, после возвращения из армии (куда был призван со студенческой скамьи накануне Карибского кризиса 1962 года) , чтобы сразу выйти на трибуну «Норманской дискуссии». Л.С. Клейн писал мне о ней в последних «преддембильных» письмах, книги по археологии, которые он посылал на площадку Ракетных войск, дополняли «марксистско-ленинское самообразование», а первым учебным заданием по Семинару стало — проштудировать непереведенную «Secret diplomatic History» Маркса, которую выдали по специальному разрешению в Публичной библиотеке.

Махровый норманизм Маркса стал нашим «секретным оружием», и оно весьма пригодилось, когда Л.С. Клейн развернул блистательный арсенал научных аргументов норманизма, при обсуждении вполне добротной книги И.П. Шаскольского «Норманская теория в современной буржуазной науке» (Шаскольский 1965), устроенном на истфаке ЛГУ 22 декабря 1965 года.

М.И. Артамонов и декан факультета В.В. Мавродин курировали и вели эту дискуссию, а потому она не завершилась показательным разгромом новых, советских «норманистов». Наоборот, семинар Л.С. Клейна получил санкцию на продолжение своей работы. Стратегия исследования «Норманских древностей Киевской Руси», предложенная на дискуссии, вскоре была опубликована в академическом сборнике под редакцией И.П. Шаскольского (Клейн, Лебедев, Назаренко 1970).

Следующие двадцать пять лет ушли на ее реализацию, и «Славяно-варяжский семинар» Л.С. Клейн с начала 1970-х передал в полное ведение своих учеников. В составе его к тому времени работали, кроме названных, Е.Н. Носов, И.В. Дубов, Е.А. Рябинин, К.М. Плоткин, «младшая дружина», составившая ядро ленинградской школы археологов-славистов, обучавшаяся и у старшего поколения этой школы, М.И. Артамонова, И.И. Ляпушкина, П.Н. Третьякова, Г.Ф. Корзухиной, а параллельно вызревал «славяно-готский семинар» учеников последней «ростовцевской» студентки М.А. Тихановой — Д.А. Мачинского и М.Б. Щукина.

Выпускники Проблемного семинара составили ядро «сектора славяно-финской археологии» ЛОИА, созданного в 1974 году. Инициатор и глава сектора А.Н. Кирпичников включился в разработку «варяжской проблемы», и следующая за коллективной статьей серия, также коллективных публикаций по археологии Северной Руси (Кирпичников, Лебедев, Булкин и др. 1978, 1980, 1981) завершилась монографиями, сформировавшими корпус «Варангики» 1980-х (Лебедев 1997). В двухсотлетнем противостоянии «норманизм-антинорманизм» постепенно раскрылась невидимая ранее грань исторической действительности тысячелетней давности: мультикультурная и полиэтничная «Балтийская цивилизация раннего средневековья», культурно-историческая общность IX–XI вв, завершившая фор-

мирование раннесредневековой Европы, а ее составной частью и определяющим компонентом выявилась Верхняя Русь или «Русь Рюрика».

Открытия 1970–90-х гг. в Ладоге, раскопки Рюрикова городища под Новгородом, памятников Пскова и его округи, курганов Приладожья, Ярославского Поволжья, Гнездовского и ярославских «протогородских» поселений, археолого-навигационные исследования водного Пути из Варяг в Греки стали фундаментальными основаниями для позитивного решения «варяжского вопроса», а этим решением оказалась, разработанная и признанная практически всеми действующими исследователями, археолого-историческая периодизация «русско-скандинавских отношений VIII–XIII вв», основа становления и расцвета языческой Балтийской цивилизации, на Пути из Варяг в Греки, по мере христианизации Древней Руси и Северных стран, постепенно интегрировавшейся в историко-культурную общность христианско-феодальной Европы (Лебедев 1985, Лебедев, Жвиташвили 2000, Славяне и скандинавы 1986). Видимо, именно это решение «варяжского вопроса», снявшее (в полном соответствии одному из клейновских теоретических «принципов археологии»), ограничения начальной альтернативы, следует считать на данном этапе — окончательным, итоговым плодом этой деятельности Проблемного семинара (Хлевов 1997).

Л.С. Клейн тем временем, алгоритм, опробованный в славяно-русской археологии, перенес на более глубокий и труднодоступный горизонт первобытных древностей бронзового века. Кандидатская диссертация (1968) основывалась на материалах В.А. Городцова по донецкой катакомбной культуре эпохи бронзы. С 1969 года Новочеркасская экспедиция ЛГУ под руководством Л.С. Клейна начинает исследование степной бронзы, скифо-сарматских курганов, и на этом «переднем крае» формируется новый состав Проблемного семинара: В.С. Бочкарев, Ю.Ю. Пиотровский, Б.А. Раев, Ф.Р. Балонов, А.Д. Резепкин, Н.А. Боковенко, А.А. Ковалев, семинар продуктивно действовал до начала 1980-х годов.

Индо-арийская атрибуция катакомбной культуры — первый исследовательский результат, здесь публикации Л.С. Клейна (Клейн 1980, 1987) завершили работу и дали ответ на проблему, поставленную в исследовании эпохи бронзы «от Скифии до Индии» его современниками (Бонгард-Левин, Грантовский 1983). Они стимулировали и самостоятельную работу нового поколения, которое противопоставило блистательной и проблемной лингвистической монографии Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова более «традиционное», но и более фундированное археологическое обоснование «среднеевропейской» прародины «балкано-малоазиатского» пространства древнейших индоевропейцев (Гамкрелидзе,Иванов 1984, ср. Сафронов, 1989).

Иерархия индо-европейских культур, выстроенная с позиций «индо-арийства донецкой катакомбной» привела Л.С. Клейна во второй половине 1980-х, а главным образом в десятилетии 1990-х к оригинальным и масштабным построениям в «гомерологии» (вот где пригодилось его двойное, археологическое и филологическое образование). Текстология «Илиады» получила новую интерпретацию, именно с позиций соотношения и взаимоотношений древних этно-культурных массивов бронзового века, «эпохи Троянской войны», или по Клейну, «троянских войн», многоэтапных и сложных перемещений племен Европы и Азии в Эгейском мире (Клейн 1994, 1999).

Эта панорама этнокультурной карты Европы эпохи бронзы, как и немного позднее, разработанная М.Б. Щукиным панорама «семи миров» Европы эпохи железа (Щукин 1994) строилась на применении к материалам различных археологических культур и эпох — клейновской «теории секвенций» (Щукин 1979). С середины 1970-х годов Л.С. Клейн открывает в Проблемном семинаре новое и главное направление — «археологическая теория».

Собственно, ядро этого направления определилось уже в начале 1970-х, когда силами

семинара были проведены дискуссии по ключевым понятиям — «культура», «тип», «предмет археологии» (Клейн, Миняев, Пиотровский, Хейфец 1970, Бочкарев 1973, Каменецкий, Маршак, Шер 1975). Семинар, кроме цитированных авторов объединил в постоянном составе самое молодое в то время, поколение археологов — А.Ю. Алексеев, Ф.Р. Балонов, А.М. Бианки, А.В. Виноградов, Л.Б. Вишняцкий, Е.М. Колпаков, вскоре стали самостоятельными исследователями и преподавателями. С их участием шло обсуждение ключевых разработок новой парадигмы, применения «теории коммуникаций» к пространственным (межкультурным) и временным, (генерационным) связям, формирующим «культурные секвенции» , в свою очередь, определяющие аспекты и структуру археологических «типов артефакта» (Клейн 1972, 1975, 1977).

Именно на базе семинара Л.С. Клейн впервые обобщил и дефинировал в качестве научного понятия гносеологическую категорию «археологические источники» (Клейн 1978, 1995). В конце 1970-х место археологии в системе гуманитарных и антропологических дисциплин определялось ее значением и возможностями в фундаментальном обосновании универсального для этих наук понятия «тип». Комплексному междисциплинарному обсуждению этого понятия была посвящена масштабная конференция под руководством Л.С. Клейна, проведенная кафедрой археологии, под эгидой акад. Б.Б. Пиотровского в Эрмитаже; клейновский доклад, комментарии и заключения дискуссий представляли собою сжатое изложение вполне законченной монографической работы по теории типологии («Типы в культуре», 1979).

В этой фазе наивысшего подъема творческой работы Л.С. Клейна настиг, вписанный в стратегию «превентивных антидиссидентских акций» брежневско-андроповской поры, репрессивный удар, положивший конец плодотворной преподавательской деятельности на кафедре археологии исторического факультета ЛГУ (1961–1981). Однако, именно во время тюремного заключения Л.С. Клейна (сравнительно кратковременного, так как инспирированный «органами» приговор не удалось доказательно обосновать, даже силами советской юстиции), в Англии вышли главные его теоретические труды: «Archaeological Typology», и в «World Archaeology» — статья (с соавторами), представлявшая первый вариант монографического «Феномена советской археологии», изданного спустя десятилетие (Klejn 1982, Bulkin, Lebedev, Klejn 1982).

Эти издания, вместе с международным сборником, посвященным Л.С. Клейну как одному из советских «узников совести» (1982) укрепляли его мировой авторитет, определившийся со времени появления «Панорамы теоретической археологии» (1977), и конец «брежневской эпохи» он встретил на свободе. Правда, «освобожденный» и от ученой степени, и от ученого звания.

То и другое, ломая инстинктивное сопротивление академическо-университетской системы, вернули ученики и коллеги уже в постсоветскую эпоху. Русское, исправленное и дополненное издание «Археологической типологии» (1991) стало основанием для присуждения докторской степени (не восстанавливая — кандидатскую), решением Ученого совета ИИМК в 1993 году. Через год — профессура на философском факультете С-Петербургского государственного университета, затем и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Л.С. Клейн прочел гастрольные лекции и курсы в Англии, Франции, Германии, Дании, Австрии, Словении, США, публикации его с 1991 года выполняются, главным образом, в монографическом виде. Парадигма «системной археологии», или «строгой археологии», культурно-исторического подхода, одним словом, «клейновская парадигма» в науке начала XXI века живет самостоятельной, динамичной и полнокровной жизнью.

Свое 75-летие Л.С. Клейн встретил изданием двух новых монографий. «Meta-

Archaeology», озаглавили издатели «Acta Archaeologica» (Копенгаген) его итоговый теоретический труд (Klejn 2001). «Приниципы археологии», сжатая квинтэссенция этой теории, основанная на Мемориальной Кембриджской лекции Л.С. Клейна в честь Дэвида Кларка (1992) вышла для отечественного читателя, предваряя русскую версию основного труда (Клейн 2001).

Многомерная диалектическая противоречивость и амбивалентность принципов, выявленная всем ходом развития мировой археологии в XX столетии, констатирует Л.С. Клейн, требует осознанного и активного отношения исследователя к выбору и применению этих принципов. «Археология становится строгой наукой, и в основе этого — ее осознание двойственности принципов, способность разделить сферы их воздействия и возможность возвести к ним в конечном счете всю сеть ее методов и результатов... активность сознания и активная роль принципов — та, которую Эйнштейн формулировал как вторую задачу теоретика в работе с принципами: дедуцировать следствия из принципов» (Клейн 2001: 109–110).

Выбор, оценка и способ применения принципов, вставшие перед наукой нового тысячелетия как итог ее бурного, драматичного и противоречивого развития в XX веке, охватывают весь диапазон научного знания — от физики до археологии (пограничной между «естественными» и «гуманитарными» науками), от археологии и истории — до психологии (Алахвердов 1993). Параллельно с исканиями гуманитаров, направленными на поиски «строгих» методов, законов и принципов (включая клейновские «принципы археологии»), в рамках деятельности того же «клейновского поколения» развернулся «встречный поиск», гуманитарные изыскания физиков, увлекшие их от освоения общетеоретических моделей к изучению «природы научных революций» в истории собственной науки (Кун 1977: 210–226, Вартофский 1988: 183–211).

Расширение этого процесса, в конечном счете охватившего и археологию (Формозов 1961, 1986, Лебедев 1992, Клейн 1993) ведет, по сути своей к тем же заключениям, что и теоретические изыскания. «Стратегия поиска сверху», и «поиска снизу», строго в соответствии с клейновскими «принципами» дает почти тождественный результат. «Диапазон подходов» или «спектр парадигм», складывающийся в процессе развития науки, строго следуя «принципу дополнительности» Нильса Бора, должен использоваться на различных уровнях исследования в их исторически сложившемся иерархическом порядке. Именно для этого нам необходимо, органично дополняющее «теорию» осознание истории развития науки, оно дает нам понимание структуры ее современного состояния, так реализуется принцип, известный еще античности: «история — наставница жизни», historia magistra vitae est (Лебедев 1992: 442–445).

Внутринаучная рефлексия стала в конце XX века базовой составляющей общенаучного процесса (Лебедев 1993: 4), вызвав к жизни, основою новой теоретической парадигмы «рефлексирующую археологию» (Тункина 2002: 7). Очевидно, этот акт «тождества субъект/объект», отображенный и в заключении «Принципов археологии» Л.С. Клейна, стоит оценить как завершающий момент становления (самосознания) особого культурного явления, «петербургской школы российской археологии» (Лебедев 2002: 54–71).

Анализируя своеобразие «петербургской — ленинградской исторической школы», ее авторитетный современный представитель Д.Н. Аль отмечает, что школа эта отличается «непоколебимым, не подверженным никаким конъюктурным колебаниям методом исследования: источник (досконального изучение его происхождения, достоверности, взаимоотношения со всеми другими относящимися к теме источниками) = факт = концепция... С этой точки зрения петербургская-ленинградская историческая школа противостоит мно-

гим другим школам, допускающим иной метод исследования: концепция (нужная, эффектная и т.п.) = факт (подходящий) = источник (содержащий «нужные» факты) (Аль 2000: 156–165).

Безусловно, и рамках «петербургской» школы как в прошлом, так и в настоящем встречались и встречаются отклонения от этих незыблемых принципов: однако, они как правило, вызывают резкую «реакцию отторжения», как показала недавняя дискуссия о положении дел на истфаке современного Санкт-Петербургского государственного университета (см., напр., «Известия» 19.07.2000, «Новые Известия» 22.07.2000, «Новая Газета» 23.07.2000 и др.).

Дело в том, что принципы эти органично связаны с изначальной «включенностью» историко-этнографических и археологических заданий в «естественно-научный контекст» программ, исторически открывших развитие отечественной археологии, именно петербургских по месту своей организации со времен Петра Великого в начале XVIII века, сибирских и последующих экспедиций Академии наук, а соответственно, методически строгим уровнем требований к историческим исследованиям, преемственностью поколений и проблематики петербургской научной школы (Лебедев 1992: 51–68, 2002: 58–63).

Последнее из обстоятельств определяет, по-видимому еще одну из особенностей «петербургской школы», действенную и для археологической науки: внимательное отношение к предшествующим исследованиям, полноту и объективность научной историографии. Примат источниковедения и историографии сохраняет действенность и определяет научный уровень «петербургской археологической школы» как составной части отечественной исторической науки. И если судить о вкладе в ее развитие персонально Л.С. Клейна, то следует снова напомнить о приоритете его и в научном определении понятия «археологические источники» (Клейн 1978, 1995), и в рефлексивном раскрытии «феномена советской археологии» (Клейн 1993), а к собственному 75-летию ученый закончил монографическую «Историю мировой антропологии» и «Историю мировой археологии» (завершившую путь от «панорамы теоретической археологии» 1977 года).

Видовая особенность «петербургской исторической школы» в целом, которую определил Д.Н. Аль, примат источниковедения и исторического факта над концепцией, совпадает с фундаментальной характеристикой археологического знания как материальной объективации исторического самосознания (Лебедев 1992: 450). С одной стороны, археология проходит и отображает типичные и обязательные этапы развития мировой и российской науки в целом; с другой стороны, в течение XX века именно археологическое знание в российской культуре обеспечивало объективацию (адекватность) российского национального исторического самосознания, причем с наибольшей последовательностью, порою в острой борьбе преодолевая противоположные, и господствовавшие тенденции, этого добивалась именно петербургская археологическая школа. Блистательным образом, базовый для адекватного исторического самосознания, познавательный потенциал археологии продемонстрировали такие ученые как М.И. Ростовцев , («Эллинство и Иранство» 1914, «Скифия и Боспор» 1918, изданная в 1924 г. в Ленинграде, уже после его эмиграции), М.И. Артамонов («История хазар», 1962), И.И. Ляпушкин («Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства», 1968), а в своей последней, предсмертной монографии «Варяги на Руси. И от тех Варяг прозва ся Руская земля» (СПб 2001) — один из выучеников Проблемного семинара, И.В. Дубов (1947–2002).

Именно в тот год, когда ассистент Л.С. Клейн был зачислен в штат кафедры археологии, М.И. Артамонов завершил названный свой труд простой констатацией : «Моя задача заключалась в том, чтобы путем пересмотра всех доступных в настоящее время данных...

установить истину. Она оказалась много сложнее, чем это казалось...» (Артамонов 1962: 459). Ровно сорок лет спустя, этот артамоновский путь «петербургской археологической школы» мы можем окинуть мысленным взором, основываясь на пирамиде трудов Л.С. Клейна. Жизнь становится еще сложнее, но интереснее.

Литература

Алахвердов В.М. 1993. Опыт теоретической психологии. СПб.

Аль Д.Н. 2000. Петербургская — Ленинградская историческая школа // «Феномен Петербурга» / Труды Международной конференции. Отв. ред. Ю.Н.Беспятых. СПб.

Артамонов М.И. 1962. История хазар. Л.

Артамонов М.И. 1966. Сокровища скифских курганов. Л.-Прага.

Археология и не только...2002. — Археология и не только... 30-летие САЭ ЛДП. Составители С.Г.Васильев, А.В.Виноградов, А.А.Иконников-Галицкий, научн.ред. Г.С.Лебедев. СПб.

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. 1983. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. М.,

Бонгард-Левин Г.М., Зуев В.Ю., Тункина И.В. 1997. Скифский роман. М.

Бочкарев В.С. 1973. К вопросу о структуре археологического исследования / Тез. Докл. Сессии Отделения истории Пленума ИА АН СССР 1972 года, Ташкент.

Bulkin V. A., Klejn L.S., Lebedev G.S. 1982. Attaiments and Problems of Soviet Archaeology // World Archaeology, vol. 13, N 3,

Вартофски М. 1988. Модели: репрезентация и научное понимание. М.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тт. 1–2. Тбилиси.

Гуревич А.Я. 1972. Категории средневековой культуры. М.

Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я..А. 1975. Анализ археологических источников. М.

Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А. 1978. Русско-скандинавские связи в эпоху образования Древнерусского государства (IX–XI вв.) // Scando-Slavica, t. 24.

Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А. 1980. Русско-скандинавские связи эпохи образования Киевского государства на современном этапе археологического изучения // КСИА, 160.

Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Дубов И.В. 1981. Северная Русь (некоторые итоги археологических исследований). // КСИА, 164.

Клейн Л.С. 1972. О приложимости идей кибернетики к построению общей теории археологии // Тез.докл. Пленума, М.

Клейн Л.С. 1975. К разработке процедуры археологического исследования // Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Материалы симпозиума Методологического семинара ЛОИА АН СССР, апрель 1975. Л.

Клейн Л.С. 1980. Откуда арии пришли в Индию? // Вестник Ленингр. Ун-та, № 20.

Клейн Л.С. 1987. Индо-арии и скифский мир : общие истоки идеологии // Народы Азии и Африки, № 5.

Клейн Л.С. 1977. Предмет археологии// Археология Южной Сибири. Кемерово.

Клейн Л.С. 1993. Феномен советской археологии. СПб.

Клейн Л.С. 1978. Археологические источники. Изд 1-е. Л., 1978. Изд. 2-е, расшир. и дополн., СПб, 1995.

Клейн Л.С. 1994. Бесплотные герои. Происхождение образов «Илиады» СПб.

Клейн Л.С. 1999. Анатомия «Илиады», СПб.

Клейн Л.С. 2001. Принципы археологии. СПб.

Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. 1970. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения. // Исторические связи Скандинавии и России IX-XX вв. Отв. ред. И.П.Шаскольский. Л.

Клейн Л.С., Миняев С.С., Пиотровский Ю.Ю., Хейфец О.И. 1970. Дискуссия о понятии «археологическая культура» в Проблемном археологическом семинаре Ленинградского университета // «Советская археология», № 2.

Кун Т. 1977. Структура научных революций. М.

Лебедев Г.С. 1985. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. Л.

Лебедев Г.С. 1992. История отечественной археологии (1700–1917). СПб.

Лебедев Г.С., 1994. Опыт периодизации истории отечественной археологии // Проблемы истории отечественной археологии. Тез.докл.конф. 11–13 декабря 1990 г. СПб.

Лебедев Г.С. 1997. Тридцатилетие «Варангики» 1965–1970 // Тез.докл. XIII конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. Москва-Петрозаводск.

Лебедев Г.С. 1998. К 70-летию Л.С.Клейна // Археология Петербурга II/1997. СПб.

Лебедев Г.С. 2002. Петербургская школа российской археологии // Наука в России. Издание Президиума Российской Академии наук. №1/2002.

Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.Б. 2000. Дракон «Нево» на Пути из Варяг в Греки. Археолого-навигационные исследования древних водных коммуникаций между Балтикой и Средиземноморьем. СПб.

Сафронов В.А. 1989. Индоевропейские прародины. Горький.

Славяне и скандинавы. 1986. Отв. ред. Е.А.Мельникова. М.

Столяр А.Д. 1985. Происхождение изобразительного искусства. Л.

Столяр А.Д. 1994. Предисловие // Проблемы археологии. Выпуск 3. СПб.

Столяр А.Д. 1998. Триада жизнедеятельности М.И.Артамонова // Проблемы археологии. Выпуск 4. СПб.

Тихонов И.Л.(ред) 1995. Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. Отв. ред. И.Л.Тихонов. СПб.

Тункина И.В. 2002. Русская наука о классических древностях Юга России. (XVIII — середина XIX века). СПб.

Типы в культуре. 1979. Методологические проблемы классификации, систематики и типологии в социально-исторических и антропологических науках. Отв. ред. Л.С.Клейн. Л.

Формозов А.А. 1961. Очерки истории русской археологии. М.

Формозов А.А. 1986. Страницы истории русской археологии. М.

Хлевов А.А. 1997. Норманская проблема в отечественной исторической науке. СПб.

Щукин М.Б. 1979. К предыстории черняховской культуры. Тринадцать секвенций // Археологический сборник Государственного Эрмитажа, 20.

Щукин М.Б. 1994. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н.э. — I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. СПб.

Шаскольский И.П. 1965. Норманская теория в современной буржуазной науке. Л.

Яковкина Н. 1952. Правильно освещать историю нашей Родины // Ленинградский университет №4(786) 24 января 1952, 3.

Klejn L.S. 1977. A panorama of theoretical archaeology // Current Anthropology. Vol. 18 №1.

Klejn L.S. 2001. Metaarchaeology // Acta archaeologica. Vol. 72:1 — 2001. Acta archaeologica Supplementa. Vol.III — 2001. Kobenhavn.

Petrenko V., Urtans J. 1995. The Archaological Monuments of Grobina. Stockholm-Riga.

Н.И. Платонова[1]

ИСТОКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ АРХЕОЛОГИИ (конец XIX — 1 треть XX века: Н. П. Кондаков, В. Р. Розен, А. А. Спицын, Ф. К. Волков, А. А. Миллер)

N. I. Platonova. The sources of St.Petersburg school of archaeology. (The late XIXth — the 1st third of the XXth centures: N. P. Kondakov, V. R. Rozen, A. A. Spitsin, F. K. Volkov, A. A. Miller)

The article by N. I. Platonova presents the analysis of five well-known Russian scholars' activities. Each of them made a valuable contribution to Russian archaeological thought. Each of them was a prominent teacher and organizer of archaeology in St.-Petersburg in the late XIXth — the 1st third of the XXth centuries. N. P. Kondakov was the most serious theorist of Russian archaeology in the late XIXth century. He tried to understand the origin of the forms of artifacts and to give them historical interpretation. He introduced a concept of "iconographical type", that appears to be very close to W. Tylor's «cultural type» described 50 years later. Later on this subject has been worked out by L.S. Klejn.

V.R. Rozen's school of oriental studies also made some contribution to archaeological thought. V.R. Rozen was a theorist of cultural process. He thought the cultural contacts to be a stimulus for the formation of new cultures. The idea of mixed, multiethnic nature of *all cultures* belonged to him as well.

A.A. Spitzin's views of archaeology are characterized by the author on the base of the archive material that has not yet been published. In Spitzin's opinion archaeology was a part of history, but at the same time he considered it an independent discipline because of its unique data and specific methods. The culture, which reveals itself in various material forms was a subject of archaeology for Spitzin. Many prominent archaeologists, including V.I. Ravdonikas, B.A. Latynin, T.S. Passek, P.N. Tretiyakov were Spitzin's students.

F.K. Volkov founded the school of Paleolithic studies in St.Petersburg. Among his students were brilliant scholars able to work with various sources — archaeological, anthropological, ethnographic, geological, etc. They formed what was called "paleoethnological school". Its ideas and approaches were widespread in the 1920s. They had many traits in common with the "new" social anthropology, which started to develop in the West after the 1st World War. Various ideas suggested by paleoethnologists get the worthy estimation only now, in the context of *modern* archaeology.

A.A. Miller's work was of great importance for the further development of archaeological thought in Leningrad. He was a real Teacher. He worked out new methods of excavating the settlements with complex stratigraphy. A.A. Miller's new field methods and his complex approach to the data exerted a strong influence upon St.Petersburg school of archaeology

Понятие «научная школа» является в историографии весьма популярным. Пользуются им все, хотя границы понятия зыбки, а содержание заметно варьирует от случая к случаю. Чаще всего понятие «школа» подразумевает идейную и методологическую направленность

[1] Институт Истории Материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия.

исследований, унаследованную от предшественников. Хотя нередко так называют просто группу учеников какого-то видного учёного — даже если их собственные пути в науке разошлись очень далеко. В подобных случаях «школа» — это не что иное, как высокая планка, заданная примером учителя.

Подлинной основой для формирования научной школы издавна являлись университеты и их традиции. Именно здесь, в первую очередь, обеспечивалась преемственность идей и подходов в науке. Ведь на практике развитие науки происходит не только в области чистой мысли. Весьма важную роль играет организация, степень групповой сплочённости во имя решения поставленных задач и т.д. Большое значение имеет всё то, что способствует рождению этой сплочённости: выработка жёсткой профессиональной этики; чувство цеховой солидарности; коллективная память — комплекс «преданий», воспринятых в юности, как «свои»; оперативный научный обмен, осуществляемый по формальным и неформальным каналам, и т.д. Когда все эти факторы так или иначе задействованы, в рамках данного научного сообщества образуется сеть многообразных и многоуровневых связей. Здесь происходит постоянное брожение мысли. Здесь быстро аккумулируются результаты, достигнутые на различных направлениях научного поиска. Здесь присутствуют разные виды и уровни научной преемственности — в достаточно сложном переплетении. Возникает сознание общности и сопричастности целому ряду научных идей и достижений. На мой взгляд, именно такую общность, сохраняемую на протяжение двух и более поколений, следует называть *региональной научной школой.*

С этих позиций следует, по-видимому, рассматривать и петербургскую археологическую школу. Тут, действительно, налицо определённое географическое и историческое пространство, в пределах которого развивалась археологическая мысль. Тут наличествует вековая университетская традиция преподавания археологии и разветвлённая сеть археологических учреждений. Наконец, тут имеется и богатый археологический фольклор — своеобразная мифология науки, передающаяся из поколения в поколение и рождающая чувство сопричастности цеху. В этом смысле петербургская школа — «региональная», как и многие другие. Но вряд ли стоит называть её «региональной» в том смысле, что как это делает Г.С. Лебедев.

«Археология России начиналась в Санкт-Петербурге, — читаем мы в его интересной статье, — причём именно как археология региональная, первоначально направленная на изучение древностей ближайшей округи новой столицы России, и в дальнейшем, на каждом этапе развития отечественной археологической науки осуществлявшая масштабные исследовательские операции, *прежде всего в пределах Санкт-Петербургской губернии...* (курсив мой. — Н.П.)» (Лебедев 1995: 56). Вот с этим я никак не могу согласиться.

И археологическая мысль, и археологическая служба, развивавшиеся в имперской столице, имели имперскую природу и иными быть не могли. Разумеется, изучение Санкт-Петербургской губернии здесь тоже велось — велось почти непрерывно. Эти исследования направлялись и контролировались из центра — в меру сил и возможностей археологической службы того времени. Так археологам-краеведам, чьи работы служили ценным вкладом в изучение Северо-Запада России, находилась своя «экологическая ниша» в Отделении русских и славянских древностей ИРАО.

Приведу лишь один яркий пример такого рода. Земский начальник из Гдовского уезда В.Н. Глазов, избранный в члены-сотрудники ИРАО в апреле 1900 г., был в археологии самоучкой и отнюдь не претендовал на учёность. За 19 лет своей деятельности (1898–1916 гг.) он не подготовил самостоятельно ни одной заметки, ни одного сообщения для печати. Однако полевые дневники («журналы раскопок») велись им на редкость подробно и тщатель-

но. Их Владимир Нилович регулярно представлял в Императорскую Археологическую комиссию вместе с коллекциями добытых вещей. А там уж неутомимый А.А. Спицын трудился над обобщением полученных данных и готовил их к печати. В результате материалы В.Н. Глазова вводились в «большую науку», минуя местный, краеведческий уровень. Они оперативно публиковались в центральной археологической периодике — Записках ОРСА РАО, Отчётах ИАК, Материалах по археологии России. Ни одно из этих петербургских изданий никогда не носило регионального характера. Такова была специфика имперской столицы. Изучение памятников Северо-Запада изначально виделось здесь лишь частью (не очень значительной и далеко не самой важной) археологического исследования Российской империи.

В конце XIX в., когда закладывались основы университетского преподавания археологии в России, Санкт-Петербург представлял собой академический и университетский центр, в котором бок о бок развивались археология античности и археология Востока, археологическое византиноведение и первобытная археология, археология железного века и русского средневековья. В самом перечне сфер интересов чувствуется вполне имперский размах. Чувствуется он и в другом: изо всех городов, изо всех уголков огромного государства стягивались сюда, в столицу, научные силы — те, без кого теперь уже невозможно представить себе историю отечественной археологии.

Москвич Н.П. Кондаков и киевлянин М.И. Ростовцев, вятские уроженцы А.А. Спицын и Б.В. Фармаковский, волжанин (потом минусинский ссыльный!) Д.А. Клеменц и остзейский барон В.Р. Розен, потомок козаков с Полтавщины Ф.К. Волков и сын донского помещика А.А. Миллер — для каждого археолога все эти имена накрепко связаны с Санкт-Петербургом. И каждый из названных является по-своему классиком. А сколько было других?.. Но сейчас подчеркнём одно: *археологическая* деятельность названных выше учёных (или, по меньшей мере, её «петербургский» период) начинается не ранее второй половины 1880-х годов. Пик активности приходится либо на 1890–1910-е (Н.П. Кондаков, Д.А. Клеменц, А.А. Спицын), либо 1900–1910-е (Ф.К. Волков, М.И. Ростовцев, Б.В. Фармаковский) и 1920-е годы (А.А. Миллер). Так или иначе, вторая половина 1880-х представляется хронологическим рубежом, отправным моментом, с которого началось появление в петербургской археологии, действительно, крупных имён. Далее вокруг них неизбежно должны были появиться ученики, более или менее сплочённые научные кружки и собственные «школы», которые и послужили основой формировавшейся тогда «петербургской школы археологии».

В конце 1880–1890-х гг. на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, на факультете восточных языков, а также в Историко-филологическом институте начинает читаться целый ряд специальных курсов, посвящённых «древностям» и отдельным разделам «археологии» (Э.А. Вольтер, Н.И. Веселовский, Н.П. Кондаков, А.С. Лаппо-Данилевский, Я.И. Смирнов, С.А. Жебелев и др.). Курсы эти читались по разным кафедрам — истории и теории искусства, кафедре сравнительного языкознания, кафедре русской истории и т.д. (Тихонов 1993: лл. 57–104). Появляются и обширные археологические введения к общеисторическим курсам. Иногда содержавшиеся в них обобщения представляли собой ценный вклад в развитие археологической мысли в России (как, например, археологическая часть курсов русской истории А.С. Лаппо-Данилевского, читанных в начале 1890-х гг.) (Русская история: лл. 2 об.-11; История России...: лл. 273–275, 298–300 и др.). Параллельно в 1887 г. на естественном разряде физико-математического факультета основывается кафедра географии и этнографии под руководством Э.Ю. Петри. С появлением этой кафедры в Санкт-Петербургский университет входит преподавание но-

вой дисциплины: *палеоэтнологии* или *первобытной археологии*, осознававшейся на том этапе, как один из разделов общей антропологии (Тихонов 1995: 105–106).

Конечно, всё это ещё не было полноценным университетским преподаванием археологии. Но это было реальное начало, очень способствовавшее изживанию в археологии любительства и возникновению преемственности научных идей и подходов. Кроме того, следует указать ещё один организационный фактор, связанный с университетом. Значение его для русской археологической науки трудно переоценить. Именно в последней четверти XIX в. в практику достаточно широко входит обычай выделять магистрантам, оставленным при кафедре, стипендии на поездку за границу для завершения образования.

Такие поездки длились порою по много месяцев и даже по несколько лет. По ходу их у молодых российских историков и искусствоведов находилась возможность лично участвовать в раскопках памятников Италии и Греции, работать в музеях, слушать лекции и консультироваться у ведущих археологов того времени — В. Дёрпфельда, А. Мау, П. Вольтерса, Т. Омолля и многих других. Таким образом, основательная филологическая и историческая подготовка, которую давали русские университеты того времени, дополнялась возможностью получить исчерпывающие представления о современном уровне европейской археологии и её проблемах. Это, в значительной мере, компенсировало стажёрам недостаток *систематического* археологического образования в дореволюционной России, обусловленный отсутствием специальных кафедр и необязательным характером лекционных курсов.

Следует оговориться: развитие *общих представлений* об археологии в русской и зарубежной науке второй половины XIX в. шло, в целом, синхронно. В частности, если в России в указанный период наблюдались противоречия между различными понятиями и определениями археологии, то и в Европе дела обстояли немногим лучше. Когда А.С. Лаппо-Данилевский предпринял попытку обзора по литературе всех существующих концепций, ему пришлось столкнуться с тем, что на Западе, как и у нас, параллельно существуют самые различные позиции, и археология трактуется специалистами в широком диапазоне — от археологии как *истории искусств* до археологии как *науки о вещественных памятниках древности* и археологии первобытной — *доистории*, являвшейся уделом учёных-естественников (Археология Восточно-Европейской равнины: лл. 6–17; Методология истории: лл. 4–13).

Тем не менее, в области полевой методики развитие европейской науки, действительно, пошло опережающим темпом в последней четверти XIX в. «Первым примером научно поставленных раскопок», по словам С.А. Жебелева, стало исследование Олимпии (1876–1881 гг.). Именно там на сцену впервые выступил будущий классик античной археологии В. Дёрпфельд, который в дальнейшем «снискал себе славу первоклассного знатока техники раскопочного дела и создал себе целую школу последователей не только среди немецких археологов.» (Жебелев 1923, ч. 2: 65). К 1890-м гг. этот учёный уже успел в общих чертах разобраться в стратиграфии и хронологии Трои после кладоискательских раскопок Г. Шлимана. Он находился в зените своего успеха, и молодым русским антиковедам нашлось, чему поучиться и у него, и у других коллег за границей. «Он [Дёрпфельд . — Н.П.] положительно гениальный лектор. — писал в 1893 г. из Афин молодой Б.В. Фармаковский. — А как архитектор он сообщает такие вещи, которые нам, чистым археологам, и в голову бы не пришли...» (Фармаковская 1988: 49).

В Афинах к то время находился Германский археологический институт, а также Французская, Британская и Американская высшие археологические школы, при которых существовали обширные библиотеки для стипендиатов, читались лекции и т.д. Русского центра

археологических исследований ни в Греции, ни в Италии не было, и это сразу же ставило приезжих из России в зависимое положение от иностранных коллег. К тому же в 1880 — начале 1890-х гг. уровень жизни русских стипендиатов за границей настолько отличался от остальных (не в лучшую сторону!), что поначалу Б.В. Фармаковский с горечью писал на родину:

«Здесь, в Афинах, воочию вижу, как низко ценят у нас служителей просвещения... Мне только первому из русских удалось попасть в кружок Омолля. До сих пор на наших русских археологов смотрели с презрением, как на оборванцев, которыми отчасти русские и являются в сравнении с иностранными учёными.» (Фармаковская 1988: 44–45).

Однако уже к середине 1890-х гг. эти первоначальные противоречия быстро сгладились. Отношение европейских светил к их молодым русским ученикам становилось всё более сердечным и уважительным (а на стажировке в Греции, помимо Б.В. Фармаковского, побывали Я.И. Смирнов, Е.М. Придик, В.К. Мальмберг, Д.В. Айналов, М.И. Ростовцев и др.). Тогда же был, наконец, организован и первый русский археологический центр за рубежом — Археологический институт в Константинополе. А к концу 1890-х гг. в Россию и, в частности, в Санкт-Петербургский университет стали один за другим возвращаться специалисты, профессионально владевшие археологическим материалом и, вдобавок, сочетавшие это с подготовкой в других областях источниковедения. Результат не замедлил сказаться. Вернувшийся из Афин Я.И. Смирнов в письме к С.А. Жебелеву (1897 г.) так описывал свой будущий курс лекций в университете:

«...что-либо, вроде очерка вещественных памятников древнего мира, хотя бы Востока. На первый семестр, нечто вроде *общего хламоведения*. Художества и художественные школы и рост великих мастеров пусть развивают иные, я же полагаю нелишним *дать понятие о реальных остатках древности во всём подавляющем множестве ничтожных, в сущности, вещей*... Теоретически мне такие реальные лекции казались бы не бесполезными, а общего курса истории искусства я ни за что читать не буду» (курсив мой. — Н.П. Цит. по: Тихонов 2001: 30–31).

Другой начинающий археолог, Б.В. Фармаковский, по возвращении из-за границы (где он провёл, в общей сложности, около 6 лет) тут же занял штатное место члена Императорской Археологической комиссии в Санкт-Петербурге. Получив полевую школу сначала в Одессе у Э.Р. Штерна, а затем в Афинах у В. Дёрпфельда, Т. Омолля и других видных археологов, он сумел синтезировать и применить этот опыт на практике — в ходе собственных раскопок древней Ольвии. В начале 1900-х гг. Б.В. Фармаковский начал её изучение широкими площадями, введя поквадратную разбивку раскопов (так называемый «квадрат Фармаковского» — 5х5 м — признанный оптимальным при раскопках античных памятников и применяемый в античной археологии до сих пор). Раскопы закладывались в разных местах, с целью выяснить топографию и хронологию каждого из слоёв города. Исследователь старался установить архитектурный облик Ольвии в различные эпохи, дать картину движения её границ на разных этапах истории, детально изучить древний некрополь и соотнести его с материалами поселения. Таким образом, уже в начале 1900-х годов Б.В. Фармаковский ввёл в практику те принципы изучения античного города, которым не суждено было устареть в течение всего XX в. В дальнейшем эти принципы вошли в наши учебники, как образцовые, составившие основу *современной* методики исследований античности (Блаватский 1967: 74–76). Начало работ Б.В. Фармаковского в Ольвии совпадает с началом знаменитых раскопок А. Эванса на Крите, в ходе которых развивались, собственно, те же принципы и тот же подход к памятнику. Таким образом, наметившееся было отставание русской античной археологии от зарубежной оказалось в считанные годы преодолено.

Однако было бы ошибкой считать, что формирование археологической школы в Санкт-Петербурге шло в начале XX в. исключительно на базе освоения зарубежного опыта. Нет, всё-таки «база» была отечественной. Научный обмен с Западной Европой, который имел место вплоть до I Мировой войны и революции, явился важным, но не единственным стимулом этого процесса. Научные кружки, послужившие изначальной основой будущей «петербургской школы», группировались вокруг Н.П. Кондакова, А.А. Спицына и барона В.Р. Розена, а с конца 1900-х гг. — ещё и вокруг Ф.К. Волкова. Пожалуй, эти имена являются ключевыми для понимания идейных истоков петербургской археологии первой трети XX в. Ведь упомянутые выше Б.В. Фармаковский, Я.И. Смирнов, М.И. Ростовцев, а также С.А. Жебелев, автор первого русского учебника по основам археологии, были уже как бы вторым поколением основоположников, ибо каждый из них в той или иной мере являлся учеником и продолжателем Н.П. Кондакова. Точно так же А.А. Миллер, П.П. Ефименко, С.И. Руденко, Г.А. Бонч-Осмоловский, С.А. Теплоухов, чьи работы оказались стержневыми для отечественной археологии 1920-х гг., принадлежали к «школе» Ф.К. Волкова. И, наконец, В.А. Жуковский, Н.Я. Марр, В.В. Бартольд, С.Ф. Ольденбург, заложившие в России первые основы археологии Кавказа и Средней Азии, являлись непосредственными учениками В.Р. Розена.

В историографическую литературу уже давно и прочно вошли такие понятия, как «школа Кондакова», «школа Розена», «школа Волкова». В данный момент очень важно уяснить, каково идейное и методологическое содержание этих понятий? Что является для них общим и где коренятся различия?



Никодим Павлович Кондаков — создатель школы художественно-исторической археологии в России.

Академик **Никодим Павлович Кондаков**, яркий представитель художественно-исторического, эстетического подхода к памятникам, создатель археологической византинистики, несомненно, являлся ведущим и самым серьёзным *теоретиком* археологии в России конца XIX в. Подход Никодима Павловича к анализу археологического материала заметно отличался от иных, существовавших в то время в России. «Конечной целью исторической науки, — писал он, — должно быть изучение... разнообразия культур, на основании широкого исследования памятников вещественных, данных этнографии, народной словесности, языка и т.п., *но пока всё это будет, археология должна озаботиться тем, чтобы извлечь возможно больше из своего собственного материала, то есть вещественных древностей или материалов, полученных из раскопок* (курсив мой. — Н.П.).» (Кондаков 1896: 7). Предметом археологии (как и истории искусства) для Кондакова являлось не что иное, как *формы предметов в их образовании и дальнейшем развитии.* Главной задачей исследо-

вания признавалось изучение «стиля», «типической формы предмета в её историческом изменении» (Кондаков 1896: 7; см. также: Лебедев 1992: 243–247, 264–267). По сравнению с формулировками его современников — русских археологов «историко-бытового» направления, трактовавших предмет археологии, как изучение «быта народов по памятникам» (А.С. Уваров) или изучение «единичного творчества человека в предметах» (И.Е. Забелин), такое определение являлось огромным шагом вперёд. Н.П. Кондаков интуитивно понял важное значение такого приёма, как установление характера и частоты сочетаний различных форм между собой. Суть его подхода заключалась в том, чтобы подвергнуть вещи сравнительному исследованию с точки зрения *формы, техники, стиля,* выяснить их происхождение и характер развития и уже на этой основе сделать допустимые исторические выводы.

Введение в науку понятия «иконографического типа», положенного Н.П. Кондаковым в основу «иконографического метода», Г.С. Лебедев определяет, как важнейшее открытие в теоретической области — открытие того явления, которое позднее было названо «культурным типом». В зарубежной археологии указанное понятие впервые оказалось сформулировано лишь через полвека после появления работ Н.П. Кондакова — американцем У. Тэйлором. Однако дальнейшее развитие оно получило вновь на петербургской почве — в теоретико-методологических разработках Л.С. Клейна. В конце 1970-х гг. «культурный тип» стал рассматриваться Львом Самойловичем как основной элемент «системной стратегии» археологического исследования (Клейн 1979: 54). Так завершился круг. Для характеристики кондаковского наследия важно подчеркнуть: ещё в начале XX в. Никодим Павлович «не только реализовал исследовательские возможности своего метода на материале византийского искусства, но и наметил *пути его применения* к археологическим материалам, в особенности, славяно-русским» (Лебедев 1992: 266).

Можно сказать, что Н.П. Кондаков одним из первых в России понял и постарался научно обосновать истинное значение *вещеведения*, необходимость в археологии собственной изощрённой методики для работы с вещественными источниками. Однако упрёки в «формализме», адресовавшиеся ему и его «школе» позднее, в эпоху увлечения социологическим подходом, по большей части, несправедливы и основаны на поверхностном знакомстве с предметом. Характерно, что понятие *формы* у Кондакова является достаточно глубоким и ёмким. «Не только внешний вид предмета есть форма... — читаем мы в одной из его программных работ, — сам предмет есть только форма материи, обязанная своим происхождением, во первых, *потребности*, которую мы должны себе объяснить, а, во-вторых, *техническим и материальным условиям*, создавшим и самую форму, и её орнаментацию, и вызвавшим её дальнейшее развитие... Если мы находим, что известный предмет... заимствован, ... то мы должны представить себе это перенимание в связи с обычаем, обрядом, назначением предмета, которое и должно быть выяснено прежде, чем мы будем обсуждать перемены в его форме, так как они могут происходить или от забвенья основного обычая, или от перемены в нём (курсив мой. — Н.П.).» (Кондаков 1896: 7–8).

В историографии отмечалось неоднократно: будучи практикующим археологом и новатором в области методики исследования вещевого материала, Н.П. Кондаков всю жизнь сохранял «весьма устарелые» понятия об относительной ценности археологической находки. Точная фиксация условий находки никогда не выдвигалась им, как непременное и основополагающее требование. «Массовый материал» для него как бы не существовал. Такое пренебрежение к нему помешало учёному распространить свой подход на *все* категории находок и более чётко разделить археологическую науку и искусствоведение. Это сделали за него в дальнейшем его ученики (Тихонов 2001: 28–29). Однако мне представляется, что

подчёркнутое сосредоточение внимания, в первую очередь, на самих *вещах*, на археологических находках, являлось у академика не результатом его ретроградства, а, скорее, полемическим перехлёстом, реакцией на то положение дел в археологии, которое сложилось в России к концу XIX в. Перехлёсты подобного рода бывали свойственны Н.П. Кондакову просто в силу его темперамента.

«...Древностями вещественными занимаются естествоиспытатели, этнографы, антропологи, историки, — писал учёный с немалой долей иронии, — словом, все те, кто наименее подготовлен к их изучению... Когда производится раскопка кургана, исследователь обязан наблюдать все могущие оказаться свойства и особенности: геологические в насыпи, антропологические в костяках, этнографические — в обстановке могилы и прочем, и обо всём этом составляет подробнейшие дневники, но когда добыт уже самый материал, то есть вещественные древности, он перестаёт сам по себе занимать кого бы то ни было, кроме составителя каталога... Наоборот, всякий раз, когда эта же археология... перейдёт к историческому исследованию форм, стиля, бытового назначения, ... когда появляются группировки предметов древности или со стороны бытовой, например, формы уборов, или техники, например, филиграни, эмали, инкрустации, или же стиля, например, в вопросе об орнаменте... оказывается, что вся эта масса доселе мёртвого материала оживает...» (Кондаков 1896: 3–4). По мнению Никодима Павловича, археологической науке следовало бы «изучить памятники ради них самих» — лишь после этого она «станет самостоятельной и решающей» (Кондаков 1887: 228).

Для европейской науки рубежа XIX–XX вв. было характерно бурное развитие того подхода к древностям, который в современной литературе нередко (и, на мой взгляд, неверно!) именуют «этнологическим». Появление этого подхода было связано с повсеместным пробуждением национального сознания и восприятием археологических материалов как источников по истории отечества и родного народа. Однако Н.П. Кондаков подчёркнуто стоял в стороне от этого господствующего течения, достаточно едко отзываясь о «неодолимых внушениях узкого патриотизма», которым «сдабривают» обзоры национальных древностей, взамен научного, сравнительного анализа. Развитие *культуры* — материальной, художественной — понималось им как *непрерывная историческая связь явлений*, которую никак не следует сводить к истории племени. Это чёткое разделение понятий культуры и этноса в творчестве Никодима Павловича стоит отметить особо. В изданной Н.П. Кондаковым совместно с И.И. Толстым первой многотомной энциклопедии отечественных древностей подчёркивалось, что «в общую сокровищницу русской древности вносил свою лепту и огреченный скиф, и корсунский мастер, и генуэзский торговец в Крыму, и немчин в Москве». Поэтому народное искусство «одно раскрывает перед нами общую непрестанную преемственность» (Толстой и др. 1889: I–II).

Из цитированного выше письма Я.И. Смирнова (одного из самых любимых учеников Никодима Павловича) становится ясно, в каком направлении шло развитие «школы Кондакова» в 1890-х гг. От изучения эффектных вещей, выхваченных из общего контекста памятников, археологи сознательно стремились перейти к изучению *«реальных остатков древности во всём подавляющем множестве ничтожных, в сущности, вещей»* — к тому, что сам Я.И. Смирнов шутливо определил, как *«общее хламоведение»*. Здесь большую роль сыграли те члены кондаковского кружка, которые параллельно учились у В. Дёрпфельда, Т. Омолля, А. Мау и других европейцев. У каждого из них было много наставников. Характерная деталь: когда на старости лет Б.В. Фармаковский решил перечислить всех тех, кого он в той или иной степени считал своими учителями, этот список включил 13 имён видных учёных из России, Германии, Франции и Англии (Фармаковская 1988: 108). То же могли бы

сказать о себе М.И. Ростовцев, Д.В. Айналов, В.К. Мальмберг и другие их коллеги. Но не случайно считают, что именно Никодим Павлович оказался для большинства своих «оперившихся птенцов» подлинным Учителем. «Когда я, в 90-х годах, попал студентом 3-го курса в Петербургский университет, — писал об этом М.И. Ростовцев, — я был совершенным младенцем в области археологии, начинающим филологом-классиком. Впервые об истории искусства и об археологии я услыхал от Н.П. ... Атмосфера его лекций была заразительна... Если не прямо от Н.П., то от того кружка, который создался в Музее древностей, я воспринял его энтузиазм к древности, его любовь к памятникам, его метод к строгому и точному знанию... Я впервые стал ощущать, что без археологии в истории древностей далеко не уедешь...» (цит. по: Зуев 1997: 53).

Идеи и методы Н.П. Кондакова, в значительной степени, определили развитие петербургской археологии начала XX в. (преимущественно, античной и скифо-сарматской). Не менее велика его роль в иной сфере — организационной. Никодим Павлович был прирождённым лидером, вокруг которого вечно кипело научное творчество. Став уже сами известными учёными, члены кондаковского кружка по-прежнему продолжали собираться у своего учителя для обсуждения самых насущных проблем. «Дом Н.П. был настоящей «Свободной Академией». — напишет позднее М. И. Ростовцев. — Часто ли мы говорили об археологии, не помню. Вероятно, часто, так как все ею более или менее занимались...» (цит. по: Зуев 1997: 66). В сущности, так продолжалось до самой смерти Н.П. Кондакова. Даже в эмиграции, в последние годы жизни, проведённые в Праге (1922–1925) престарелый академик вновь оказался в центре внимания. Сначала вокруг него возникло «неформальное» сообщество, научный кружок византологов и историков-русистов. Затем он был преобразован в «Кондаковский семинарий» (с 1931 г. — «Институт Кондакова») со своим печатным органом на русском языке (Росов 1999: 5). Вплоть до 1929 г. в Seminarium Kondakovianum охотно печатались, наряду с эмигрантами, и многие учёные, оставшиеся в Советской России. Он служил для разобщённых русских гуманитариев последней связующей нитью, последним мостиком, протянувшимся через границу «старого» и «нового» мира.

Однако на рубеже XIX-XX вв. о таком никому и не думалось. А, наряду с кондаковской «Свободной Академией», в Санкт-Петербурге существовал и другой профессорский дом, ставший для многих учёных тех лет своего рода «академией». Хозяин, барон **Виктор Романович Розен**, декан факультета восточных языков, был не только блестящим историком-источниковедом. По мнению специалистов, то был учёный мирового масштаба, один из самых выдающихся европейских ориенталистов конца XIX в. (Крачковский 1958: 98–100). Как и Н.П. Кондаков, он был ещё и Учитель — великий организатор науки и педагог.

Влияние В.Р. Розена на молодёжь казалось почти безграничным. Его уважали, обожали, побаивались. Делом жизни этого человека было создание школы комплексного востоковедения в России, и за четверть века неустанной работы он её, действительно, создал. За внешней мягкостью, неизменным тактом и деликатностью «барона» скрывалась огромная внутренняя сила. Розен чуждался недоговорённостей, не стеснялся действовать резко, если считал это нужным. Но для всякого, кто удостоился чести стать его учеником и другом (а одно автоматически вытекало из другого — в людях Виктор Романович разбирался хорошо), часы, проведённые в прокуренном насквозь кабинете «барона», вспоминались потом, как самое дорогое в жизни. Становясь затем сами профессорами и академиками, ученики по-прежнему считали своим долгом досконально отчитываться перед Виктором Романовичем во всех своих делах и планах на будущее. Его неожиданная и безвременная кончина в 1908 г. явилась для петербургских восто-

коведов тяжелейшим ударом (Памяти барона В.Р. Розена... 1909; Памяти академика В.Р. Розена... 1947).

Собственно археологические исследования занимали сравнительно небольшое место в работе руководимого «бароном» Восточного отделения ИРАО. В отличие от Н.П. Кондакова, В.Р. Розен сам не занимался раскопками памятников и анализом археологических коллекций. Молодые русские ориенталисты учились у него *методологии комплексного исследования* и умению работать с различными (в том числе и «вещественными») источниками для реконструкции исторического контекста анализируемого памятника. Тем не менее, деятельность В.Р. Розена нельзя обойти стороной при изучении вопроса о формировании петербургской *археологической* школы.

Влияние «школы Розена» на развитие археологической мысли в России отнюдь не исчерпывается результатами полевых работ его учеников и попыток анализа археологических данных в работах историко-филологического цикла. Самым существенным представляется то, что Виктор Романович, как и Н.П. Кондаков, был теоретиком культурного процесса. В числе важных идей, высказанных В.Р. Розеном, была мысль о *«культурном общении» как факторе и стимуле формирования новой культуры.* По сути, бароном предлагалась гипотеза, по-своему объясняющая факт появления культурных инноваций. В этом же русле следовали догадки Розена о *смешанном характере всех культур,* об их многоэтничной природе (Платонова 2002а: 166–167).

По-видимому, в кругах петербургских гуманитариев эта идея в указанный период буквально «носилась в воздухе». Высказывалась она и Н.П. Кондаковым — правда, мимоходом, применительно к русским древностям эпохи раннего средневековья. В «соединении, взаимном ознакомлении, а затем и слиянии» различных племён Начальной Руси Никодим Павлович видел «неиссякаемый источник... преуспеяния, жизненных сил и дарований нации» (Кондаков 1896: 6–7). В свою очередь, В.Р. Розен, на примере Арабского халифата, указывал на сложный, текучий, многоплановый характер культурного процесса в раннем средневековье, на полную бесплодность поисков тут единого «этнического определения» и единого корня. Позднее Н.Я. Марр вспоминал, что для его учителя был характерен «первенствующий интерес к узлам культурного общения различных народов». «Пути культурного общения, — писал он уже после смерти Виктора Романовича, — как бы мелки и неуловимы они ни были — это *главные стимулы брожения, основные, хотя и не всегда замечаемые источники прогресса...* (курсив мой. — Н.П.). К постановке вопросов о путях культурного общения и тянуло неудержимо выдающегося арабиста из тесных для него рамок специальных работ.» (Памяти В.Р. Розена: лл. 1–2).

Стремление отойти в трактовке материала от чисто этнических интерпретаций культурных явлений, разделить «культуру и этнос», обнаружить источники развития внутри самой культуры, а не вне её, нашло воплощение в исследованиях петербургских востоковедов ещё при жизни их учителя. На материалах раскопок Ани, древней столицы армянских Багратидов, Н.Я. Марр старался показать сложный, смешанный характер средневековой культуры Закавказья, плодотворность взаимодействия там христианского (армянского) и исламского элементов. Методике полевых археологических исследований Н.Я. Марра у меня посвящена специальная работа (Платонова 1998: 371–382). Мнения исследователей на этот счёт резко разделились, но в данный момент представляется вероятным, что резко негативная оценка работ Марра-археолога базируется скорее на эмоциях, возбуждённых его позднейшим «новым учением о языке», чем на знании реальных обстоятельств и документов предреволюционного периода его деятельности. В глазах многих русских археологов 1900–1910-х гг. имя Н.Я. Марра стояло в одном ряду с именем Б.В. Фармаковского, и

вряд ли это всецело можно объяснить *их* некомпетентностью в данном вопросе. «У нас в России раскапывателями в духе и стиле Дёрпфельда, — писал С.А. Жебелёв, — являются Б.В.Фармаковский (раскопка в Ольвии) и Н.Я.Марр (раскопка в Ани).» (Жебелев 1923, ч.2: 66).

Это совместное упоминание Б.В. Фармаковского и Н.Я. Марра в первом русском учебнике археологии представляется мне не случайным. Для Н.Я. Марра 1890–1910-х гг. (а именно тогда им велись раскопки в Ани) было характерно повышенное внимание к вопросам топографии и реконструкции архитектурного облика города. Его обмеры отличались точностью. Фотофиксация процесса раскопок всегда была на большой высоте. В ходе работ Марром ставились и решались вопросы относительной хронологии (стратиграфического соотношения) различных архитектурных объектов, мостовых, городского водопровода и т.д. Николай Яковлевич лично вёл дневники (часть их была недавно обнаружена автором этих строк в ПФА РАН). Подробные дневники велись и его учениками — начальниками отдельных участков (свидетельство тому — сохранившийся дневник Д.А. Кипшидзе, в дальнейшем позволивший Н.М. Токарскому полностью реконструировать облик пещерного квартала Ани). И, наконец, при раскопках Марр отнюдь не пренебрегал массовым материалом, что бы ни писали об этом потом его недоброжелатели. Немногие уцелевшие описи анийских находок прямо свидетельствуют как раз об обратном. В них вносились самые «незначительные» предметы — железные гвозди, «черепки с простым круговым орнаментом» и т. п. На мой взгляд, Н.Я. Марра тех лет вполне правомерно было назвать «раскапывателем в духе и стиле Дёрпфельда». Не случись в 1918 г. несчастья — гибели значительной части анийского архива и почти всех коллекций — верно, никому бы и в голову не пришло сомневаться в этом.

Известно, что сам Н.Я. Марр, в отличие от Б.В. Фармаковского, не принимал участия в археологических работах за рубежом. Но, по-видимому, и новейший для той поры опыт полевых исследований, и уровень решаемых ими задач были ему хорошо известны — в силу постоянного общения с коллегами-археологами в стенах Восточного отделения ИРАО. В 1890–1900-х гг. научный авторитет и организаторские способности В.Р. Розена позволили ему сблизить, привлечь к сотрудничеству в этих стенах не только всех петербургских востоковедов, но и специалистов из смежных областей — антиковедов и византинистов. Впоследствии С.А. Жебелев называл важнейшей заслугой Виктора Романовича то, что именно он «положил начало дружескому объединению, на основе общих научных интересов, «восточников» и «западников»... Это объединение, сблизившее представителей различных, но идейно связанных... дисциплин, принесло в своё время добрые плоды...» (Русское археологическое общество... л.42 об.).

Одним из таких «добрых плодов» стала мысль о необходимости объединения различных подходов к археологическому материалу — этнолого-антропологического, историко-бытового («археологического») и художественно-исторического («кондаковского») — в стенах единой «Академии археологических знаний». Есть все основания считать, что, хотя такая академия и была основана лишь после революции (как Академия истории материальной культуры), вопрос о ней обсуждался в академических кругах ещё до октябрьского переворота (Платонова 1989: 6–7). Забегая вперёд, следует отметить: в деле воплощения указанного проекта в жизнь ведущую роль сыграли именно ученики и последователи В.Р. Розена (Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, В.В. Бартольд) в теснейшем сотрудничестве с учениками Н.П. Кондакова (Б.В. Фармаковским, С.А. Жебелевым и др.).

Обратимся теперь к третьей фигуре, которую я считаю ключевой при решении вопро-



Александр Андреевич Спицин — великий систематизатор археологических источников.

са об истоках петербургской археологической школы. Это **Александр Андреевич Спицын** — великий систематизатор отечественной археологии, почти полвека трудившийся над созданием той источниковой базы, без которой она кажется сейчас немыслимой. Проработав без малого 26 лет в Императорской Археологической комиссии, Александр Андреевич успел разобрать целые горы разнопланового археологического материала. Всю жизнь он приводил этот сырой материал в систему, без конца сопоставлял, картографировал, выделял новые культуры, публиковал... На сегодняшний день об этой стороне его деятельности написано достаточно, и заново давать ей развёрнутую характеристику уже нет необходимости (см.: Спицын 1928: 331–342; Саханёв 1928: 343–346; Равдоникас 1931: 54–62; Лебедев 1992: 351–359 и др.).

Мало кто из археологов в нашей стране, в какой бы области ни начинал он работу, смог обойтись без спицынских публикаций и картотек. Всё это так... но нередко встаёт вопрос: а можно ли говорить о наличии у А.А. Спицына собственной «школы»? Каково было идейное содержание его работ и как оно отозвалось на последующих поколениях археологов? Была ли у него вообще цельная система взглядов? Или за огромностью дел, связанных с первичной обработкой материала, классику русской археологии попросту некогда было остановиться и подумать?

Не оставить этот вопрос без ответа помогают материалы о педагогической деятельности А.А. Спицына в университете — его собственноручные наброски и планы лекций, сохранившиеся в архиве. Значительная часть этих текстов оказалась впервые разобрана и прочитана только недавно (Платонова 2003а). С их помощью вполне можно осветить творческую лабораторию учёного, его представления и об археологии в целом, и о положении археологии в России, и об её насущных задачах. Имеются здесь и теоретические постулаты, которые А.А. Спицын определил для себя и которыми он руководствовался в своей работе. Ценность этих материалов велика ещё и потому, что с 1909 г., когда на историко-филологическом факультете был создан Археологический кабинет, именно А.А. Спицын стал его хранителем и первым *официальным преподавателем археологии* в Санкт-Петербургском университете. Уяснив содержание его лекций, мы уясним себе то, какие представления об археологии получали петербургские студенты-историки на рубеже 1900–1910-х гг.?

А.А. Спицын проводил границы между областями различных наук *по характеру источников* и особенностям *методов их исследования*. «Если археология сознала в себе силу показать, что она доросла до степени науки, — читаем мы среди его набросков, — ... она должна показать, что у неё есть свои особые задачи, свой особый материал и определённый строгий метод его обработки. ... Всякое движение мысли вперёд состоит, собственно, в более точном определении существующих терминов и в выработке новой терминологии. Это мы, археологи, особенно ясно сознаём.» (Курс археологии: л. 9).

Единственной синтетической, энциклопедической наукой, аккумулирующей данные, полученные из различных источников, А.А. Спицыну представлялась история. Поэтому

археология для него есть одновременно и самостоятельная наука, и часть истории. Она самостоятельна, ибо ведает своим уникальным материалом, применяет к нему специфические приёмы исследования и имеет свои собственные задачи. Она — часть истории, ибо на её материале должны решаться историко-этнологические проблемы, а именно это, по сути, являлось для Александра Андреевича конечной целью анализа археологических данных. Необходимость и правомерность *этнического* определения культурных остатков (по крайней мере, в археологии сравнительно поздних эпох) представлялась ему очевидной. Археология для А.А. Спицына была сравнима с «этнографией в истории». Культурная группа заранее отождествлялась им с «народностью». (Курс археологии: л. 14; см. также: Задачи археологии и её материал: л. 10).

Впрочем, на практике позиция А.А. Спицына в вопросах определения «народности» оказывалась весьма взвешенной. Он с лёгкостью преодолевал пресловутые «внушения узкого патриотизма», над которыми так едко смеялся Н.П. Кондаков. Александр Андреевич вполне разделял так называемую «позицию спокойного историка», сформулированную его современником, коллегой и близким другом С.Ф. Платоновым. Его патриотизм, его преданность интересам русской археологии отнюдь не побуждали учёного к созданию из неё «великой национальной науки» на манер Г. Коссинны. Профессора Г. Коссинну, с которым они встречались в 1913 г. на Стокгольмском археологическом конгрессе, А.А. Спицын потом называл «персоной весьма сомнительной известности» (Монтелиус о бронзовом веке: л. 1). Для самого Александра Андреевича признание, к примеру, неславянского характера заселения Новгородчины, Полтавщины или даже Киева накануне прихода варягов ничуть не роняло чести и достоинства русского народа, коль скоро (в его понимании) этот вывод реально вытекал из источников (Введение в археологию: л. 9 об.-10).

В лекциях А.А. Спицына мы находим несколько определений археологии. Вначале он определяет её кратко: «наука о развитии *внешней культуры народов* ... на основании изучения памятников древности (курсив мой. — Н.П.)» (Курс археологии: л. 13 об.). Здесь, как будто бы, повторяется в перефразированном виде старое определение А.С. Уварова. Однако место уваровского «древнего быта» — чрезвычайно широкого и аморфного понятия — занимает у Спицына «*внешняя* культура» (или «*внешний* быт»). Это, по сути, эквивалент появившегося несколько позже понятия «материальная культура». Поэтому под спицынским «развитием внешней культуры» подразумевается не что иное, как «история материальной культуры».

Во «Введении в археологию» Александр Андреевич даёт ей более развёрнутое определение: «*Наука, занимающаяся всесторонним изучением памятников древности, существующих и существовавших, то есть изучением древностей со стороны формы, техники, стиля и со стороны состава древних культур и истории вещественного быта народов (вариант: «человечества»)*». (Введение в археологию: л. 12 об.). В данном случае Александр Андреевич пытается охватить своим определением и старое, привычное понятие археологии как бытовой истории, и то, что сам он называет «чистой археологией» — изучение *вещей,* артефактов как таковых (см. ниже). «*Культура,* — заключает он, — *проявляется бесконечно разнообразно в материальных формах, которые и должны составить предмет археологии.*» (Введение в археологию: л. 25).

«Материал археологии — памятники древности. — читаем мы в его «Курсе археологии» 1909 г. — Этот материал требует особой специализации, так как не входит ни в одну из наук и требует особых приёмов добывания, критики и обобщений. Историк при всём своём желании, занятый в огромной и сложной области письменных памятников, ... не может овладеть реальным материалом, расширять его и исследовать. Он делал, делает и будет

делать своё: давать свод имеющегося в письменных памятниках материала по внешнему быту, в пределах этого материала. Это его специальная задача, в свою очередь, недоступная археологу, который не может овладеть материалом писаной истории и подвергнуть его должной критике со стороны текста.» (Курс археологии: л. 13 об.).

В сущности, у А.А. Спицына мы наблюдаем попытку свести воедино две традиции — «бытописательскую» (уваровско-забелинскую) и «художественно-историческую» (кондаковскую). Александр Андреевич явно стремился объединить их достижения, снять все настоящие и кажущиеся противоречия между ними.

«...На верхах наших археологических знаний сложились две школы и два отношения к древностям. — объяснял он студентам. — ...Старая ... говорит: древности интересны сами по себе и только одни, и интересны не все, а те, на которых есть следы творчества и искусства. Вещей мало, дайте как можно больше вещей, чтоб можно было, пользуясь строгим методом, подвергнуть их сравнительному исследованию... Не лишено интереса, но не имеет важности знать судьбу вещей и обстоятельства их находки.

Вторая школа, выросшая из круга занятий практической археологии, ... говорит: добытый материал, прежде всего, ведёт к характеристике народа, его оставившего. Чтобы иметь точную хронологию и картину быта, нужно обращать точнейшее внимание на обряд погребения и обстоятельства находки. Важны все без исключения находки, самые незначительные, так как и они служат к характеристике быта. При раскопке памятник уничтожается и потому они должны быть использованы так, чтобы не было упрёков. *Изучение вещей самих по себе — дело очень серьёзное, но археолог не может ему исключительно отдаться, будучи озабочен своею ближайшею целью — исследования и систематизации* (курсив мой. — Н.П.).

...Любопытно припомнить мои споры с Н.П. Кондаковым. Я ему чрезвычайно благодарен, так как не мог не оценить тех оснований, во имя которых он ставил свои требования ... Я совместил в своих занятиях и ту, и другую точки зрения, признав законность их обеих ... Ясно, что все древности, соединённые одною техникой, содержанием и стилем, должны составить определённую единицу, величину, вид, стройное целое, иногда весьма значительного объёма. Это целое соберёт весьма много вещей, ... целую житейскую обстановку: жилище, одежду, предметы поклонения, украшения... (курсив мой. — Н.П.)» (Курс археологии: лл. 9–11).

При всей сбивчивости, терминологической нечёткости данного определения, тут ясно видна попытка А.А. Спицына представить археологический материал в целом как ряд «единиц», *совокупностей*, в рамках которых различные категории древностей тесно взаимосвязаны и объединены в некую систему («стройное целое»). В связи с этим стоит отметить: Александр Андреевич широко применял на практике понятие «культура» (ни разу не попытавшись раскрыть в печатных работах его содержание). Вероятно, в основе его подхода лежало стремление осмыслить археологический материал с точки зрения кондаковского учения об «иконографических типах».

Во «Введении в археологию», подготовленном в том же 1909 г., А.А. Спицын подробно раскрывает свои представления о двух различных, хотя и тесно связанных между собою, отделах археологии. «...В результате своих работ, — пишет он, — исследователи первого рода (т.е. сторонники художественно-исторического подхода. — Н.П.) имеют картину движения искусства и всякого мастерства, а вторые (т.е. археологи «историко-бытового» направления. — Н.П.) — историю народного вещественного быта. Археология первого рода есть *чистая или общая*, вторая — *прикладная или частная*.

Общая археология в настоящее время заслуживает наибольшего внимания, без хоро-

шего развития её невозможна точная картина быта, так как важнейшие для неё вопросы о времени и месте изготовления вещи не могут быть решены. *Чистая археология есть специальное знание о вещи, которого не может иметь историк* (курсив мой. — Н.П.). *...Может быть, нам следовало бы оставить все другие наши занятия и отдаться исключительно этой стороне изучения вещей...*

Где наши хотя бы самые элементарные изыскания в технике и истории скани, зерни, черни, инкрустации и пр.? Их нет, потому что ещё нет достаточного материала. Вещи известны лишь в отрывках, а, кроме того, есть технические секреты, уже совершенно утраченные...

Чистая археология есть лишь наука будущего. Это не значит, что можно с ней не считаться. Наоборот, каждый археолог должен и вынужден бывает собирать для неё посильный материал; даже малые выводы по форме, технике и стилю могут быть уже чрезвычайно важны для прикладной археологии; важно даже простое описание различия в технике однородных вещей. К такому убеждению приходит всякий работающий археолог, и у всякого из них лежат задачи этого рода на очереди.» (Введение в археологию: л. 12).

Таким образом, А.А. Спицын делил археологию на два отдела: общую (чистую) и прикладную (частную, бытовую). В первый отдел у него входило, собственно, вещеведение (хотя у самого Александра Андреевича этого термина нет) — описание вещей, их формальное, технологическое и стилистическое изучение, типология. Это «специальное знание о вещи», по Спицыну — важнейшая часть археологии. Вещь как источник, по природе своей, неисчерпаема. «...Как бы обстоятельно изучение вещи ни было исполнено, — писал Александр Андреевич, — оно никогда не исчерпывает всего интереса предмета. Новая точка зрения в науке, новый запрос — и вещь снова дополнительно осматривается. Всякий имеет право надеяться увидеть в ней больше, чем видели предшественники.» (Задачи археологии и её материал: л. 7–7 об.).

Второй отдел археологии, по Спицыну — методика добывания и первичной группировки археологического материала, установление позиций, соотношения предметов между собою, выделение и реконструкция отдельных типов, комплексов и культур. Именно эта «частная» археология целиком поглощала его собственные силы. Огромный накопленный материал, по его словам, «тяготил русскую науку», требуя скорейшей систематизации (Курс археологии: л. 8; Введение в археологию: л. 9 об.). Приведённые данные подтверждают предположение, что круг проблем, которыми Александр Андреевич занимался вплотную, диктовался не столько его личными вкусами, сколько представлениями о благе русской науки и об её неотложных нуждах. При этом ему было ясно, что без дальнейшей детальной разработки находок по формам, технике и стилю все реконструкции «внешнего быта» безнадёжно повиснут в воздухе.

Высоко ценя типологический метод, считая его универсальным, А.А. Спицын отчётливо сознавал как силу, так и слабость этого метода: «Типологические работы и *неизбежны для каждого без исключения археолога, и всегда дают прекрасный результат*... Но в то же время они обыкновенно рискованны, по недостатку материала. Особенно опасны общие типологические картины, так как при недостатке данных приходится предполагать промежуточные формы и вообще вступать в область гипотез или вводить слишком отдалённый материал (курсив мой. — Н.П).» (Задачи археологии и её материал: л. 8 об.).

Впоследствии, в 1922 г. Александр Андреевич напишет в своём очерке об основоположнике типологического метода О. Монтелиусе: «Меня в Монтелиусе восхищает его трудолюбие, ширина и смелость мысли, восхищает то, что он не боится гипотезы, но ищет её.» (Монтелиус о бронзовом веке: л. 14 об.). Однако в том же очерке отметит он и другое: «...Весь материал Монтелиуса можно перекраивать и переустраивать на разные лады... [Ж.]

Дешелетт поступил со схемою Монтелиуса очень характерно и любезно: рассыпался перед ним в изысканных любезностях, а на деле совершенно пренебрёг ею, дав иную комбинацию вещам и иную хронологию. Он и имел на то право, так как должен был применить шведскую схему к французскому материалу. ... Мои собственные работы в западных музеях показали мне, что к схеме Монтелиуса необходимо подходить с осторожностью. В шведских кистах оказались вещи одновременно I и IV периодов Монтелиусовой хронологии...» (Монтелиус о бронзовом веке: л. 10).

Из лекций А.А. Спицына становится ясно, что методологические достижения кондаковской школы, наряду с усвоением современного европейского опыта полевых исследований, к рубежу 1900–1910-х гг. отнюдь не являлись в России исключительным достоянием античной или скифо-сарматской археологии. Они оказали заметное влияние и на средневековую, «курганную» археологию — то направление, которое традиционно развивалось у нас в рамках «историко-бытового» подхода. Представителем этого последнего направления изначально являлся сам Александр Андреевич, ученик К.Н. Бестужева-Рюмина. Но уже к моменту начала своего преподавания на историко-филологическом факультете он, по собственному признанию, «совместил в своих занятиях и ту, и другую точки зрения». По-видимому, сближение основных позиций явилось результатом постоянного сотрудничества, осуществлявшегося с конца 1880-х гг. в Санкт-Петербургском университете, в стенах Императорской Археологической комиссии и ИРАО.

Советская историографическая традиция нередко представляла Александра Андреевича этаким подвижником-одиночкой, не имевшим ни учеников, ни постоянных сотрудников. Подобное представление противоречит фактам. Деятельность Александра Андреевича как учителя и наставника молодых археологов была весьма плодотворной. Так, например, всем исследователям Северо-Запада России хорошо известно, что в начале XX в. здесь наблюдался подъём полевых исследований и велась целенаправленная работа по сбору материалов для археологической карты. Принято даже отмечать особую роль Н.К. Рериха в этом деле (Лапшин 2001: 242). Безусловно, энергия молодого Н.К. Рериха сыграла тут немаловажную роль, однако недавние разыскания И.Л. Тихонова показали вполне достоверно, что настоящим координатором работ по обследованию Северо-Запада в 1900–1910-х гг. являлся А.А. Спицын. Многочисленные и, на первый взгляд, разрозненные обследования и раскопки, в действительности, представляли собой реализацию плана, изложенного Александром Андреевичем в записке «О исследовании собственно русских курганных древностей», поданной в Совет ИРАО ещё в 1899 г. Записка содержала целую программу работ, причём предлагалось отказаться от бессистемных раскопок и сосредоточить усилия на выявлении типов погребальных сооружений и вещей, характерных для отдельных славянских племён, а также на установлении их хронологии методом полного изучения памятников на чётко ограниченной территории. Реализацией этой программы и явились работы 1900–1910-х гг., которые велись, по большей части, учениками Спицына по университету и Археологическому институту при его активном участии (Тихонов 1993: лл. 117–120).

Стремление А.А. Спицына иметь учеников и продолжателей своего дела неоднократно подтверждалось им самим. «Уже давно раздаются требования о необходимости университетских кафедр по археологии. — говорил он в 1909 г. — Здесь должен археологический материал приобретать научный вид, здесь должны возникнуть те школы, которые дадут строгих исследователей... Представителем этой свежей, увлекательной и заманчивой науки являюсь волею судеб я в Петербургском университете. Будущее покажет, насколько были основательны надежды русской археологической семьи на кафедру и насколько оправдана

моя личная заветная мечта — иметь несравненно более учеников, чем я уже имею.» (Курс археологии: л. 8 об.).

Александр Андреевич умел увлекать других и сам был прекрасным организатором. Однако, являясь душой всего дела, он не любил, а, по-видимому, и никогда не стремился быть официальным руководителем, начальником. Тем не менее, участие его в делах учеников было постоянным. В личном фонде А.А. Спицына сохранились материалы, дающие представление о том, что, по меньшей мере, на рубеже 1900–1910-х гг. Александр Андреевич постоянно был окружён студенческой молодёжью и выпускниками, активно начинавшими работать в археологии под его руководством. Территориальный охват их полевых исследований накануне I Мировой войны оказался весьма широк — от Северо-Запада России до южной Украины. В позднейшей автобиографии А.А. Спицын отмечал: «Я избегал обширных раскопок ... и потому, что раскопки, а, особенно, отчёты о них требуют большого времени, и потому, что заботился вывести в поле молодых археологов.» (Спицын 1928: 340).

Впоследствии некоторые ученики А.А. Спицына полностью перенесли свои интересы в область русской истории (П.Г. Любомиров, С.Н. Чернов, П.А. Садиков, Н.Ф. Лавров). Последнее ничуть не удивительно, ибо десятилетие 1915–1925 гг. весьма не благоприятствовало археологическим исследованиям, и молодым выпускникам историко-филологического факультета волей-неволей приходилось выбирать из возможных специализаций более доступную. Других, быть может, самых талантливых археологов генерации 1910-х гг., принадлежавших к окружению А.А. Спицына, оторвали от науки эмиграция или гибель.

Среди этих последних следует особенно выделить два имени — А.В. Тищенко и П.А. Балицкий. Блестяще заявив о себе в начале 1910-х гг., оба они так и не успели развернуть свою деятельность из-за войны и революции. А.В. Тищенко, в котором многие коллеги видели тогда будущее светило русской археологии, ушёл добровольцем на фронт и в 1914 г. погиб. Погиб и другой ученик Александра Андреевича, молодой археолог К.А. Щероцкий. П.А. Балицкий после революции уехал на Украину (Саханёв 1928: 346). Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Между тем есть основания именно П.А. Балицкому приписывать авторство неизданной брошюры «Способы и приёмы археологического исследования», в которой детально рассмотрен процесс полевого изучения памятников эпохи неолита-энеолита на юге России и дальнейшей камеральной обработки материала. Написанная, по-видимому, перед самой войной, она фрагментарно сохранилась в спицынском архиве (Способы и приёмы... лл.1–39) Со страниц её перед нами встаёт блестящий молодой исследователь — дотошный, педантичный, строго и логически мыслящий...

Таким образом, «первая генерация» учеников А.А. Спицына рассеялась, не оставив в науке заметного следа. По-видимому, с этим и связаны ходячие представления об Александре Андреевиче как об учёном, не создавшем своей «школы». Советских археологов генерации 1920-начала 1930-х гг. у нас как-то не принято называть его учениками. Обычно считалось: после революции у молодёжи появились иные «властители дум». На фоне их А.А. Спицын выглядел анахронизмом. Но на деле взгляды его на археологию как науку, определившиеся в 1900–1910-х гг., имели прямое и непосредственное продолжение в советское время — уже после разрушения этнолого-антропологической парадигмы археологии, господствовавшей в эпоху НЭПа (см. ниже). Педагогическая деятельность Александра Андреевича в Петрограде после 1917 г. продолжалась ещё более 10 лет, и многие из археологов советского периода успели у него поучиться. Стоит отметить: как минимум, четверо студентов, ставших в дальнейшем очень известными учёными, являлись для старого профессора не просто слушателями его лекций. То были ближайшие ученики, вхожие

в его дом и до самой смерти Александра Андреевича поддерживавшие с ним постоянный контакт. Сегодня многие удивятся, услышав их имена: В.И. Равдоникас, Б.А. Латынин, Т.С. Пассек, П.Н. Третьяков[2].

Не приходится удивляться, что целый ряд спицынских положений оказался вполне созвучен концепциям последующего периода развития отечественной археологии. Если ненадолго оставить в стороне разносную критику предшественников, содержавшуюся в книге В.И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры», и внимательно проанализировать её, так сказать, «положительную» часть, то окажется, что ядром равдоникасовской концепции являются: а) представления об археологии как о *гуманитарной, исторической науке*; б) тождество археологии и *истории материальной культуры*; в) утверждение археологии в качестве *самостоятельной научной дисциплины*, со своим особым *методом*; г) подчёркивание важности изучения *массового материала* и необходимости учёта всех категорий памятников; д) выдвижение на первый план археологической *систематики*, а не «вещеведения» («реконструкция и последовательное изучение «культурных комплексов-разрезов») (Равдоникас 1930: 15, 30–31). Таким образом, конкретные представления об археологии, её предмете и методах, изложенные в 1930 г. марксистом В.И. Равдоникасом, если очистить их от идеологической шелухи, представляются не чем иным, как *преемственным развитием* взглядов, которые 20 лет излагались в университете его далёким от марксизма учителем (так и не будучи нигде опубликованы!). Но при этом совершенно ясно: спицынские представления о важности «специального знания о вещи» воспринятые им от Н.П. Кондакова, всё-таки не смогли пустить корней в Ленинграде в период господства вульгарного социологизма (вне рамок классической и скифо-сарматской археологии, где они имели давние и глубокие традиции). В 1930-х гг. само понятие «буржуазное вещеведение» было у нас настолько идеологизировано, что стало напрямую ассоциироваться с образом врага — к немалому ущербу для отечественной науки.

Тенденция к «объединению подходов», обозначившаяся в лекциях А.А. Спицына, касалась не только «искусствоведческой» и «бытовой» археологии. Можно заметить, что его представление об археологии как науке с трудом мирилось с традиционно обособленным положением первобытной, так называемой «антропологической» археологии («палеоэтнологии», «доистории»), издавна развивавшейся как в Европе, так и в России в рамках комплекса естественных дисциплин. Последнее явно казалось Александру Андреевичу недоразумением.

«В настоящий момент антропология не есть наука с установившимися задачами. — утверждал он. — О них ещё много спору и нет соглашения. Ходячее определение антропологии — это наука об особенностях человека в физическом отношении и о жизни человека первобытного... Ясно, что вторая часть очень неопределённа, и развитие её школами и исследователями должно быть понимаемо в разных объёмах и пределах...

Задачи антропологии расширяются. Она стремится быть общей наукой о человеке, захватывая все науки о нём. По [Э.Ю.] Петри, антропология есть наука энциклопедическая, включающая в себя анатомию, физиологию, учение о душе (психологию и логику), этнографию — этнологию — социологию, географию, лингвистику, историю, философию. По несколько высокопарному выражению [Э.Ю.] Петри, антропология решает вопрос, что такое человек, откуда он и что его ожидает? Дальше идти, кажется, некуда... *Каждая наука может основываться лишь на своём материале, изучаемом своими особыми приёмами, которые принадлежат только ей... Из основных своих настоящих занятий одно антропо-*

[2] Сведения получены автором от Надежды Александровны Спицыной в 1988 г.

логия должна предоставить археологии, другое — этнографии, третье — социологии и т.д., по принадлежности (курсив мой. — Н.П.).» (Введение в археологию: л. 17 об.-18).

Первобытная археология, по мысли Спицына — это неотъемлемая часть археологии в целом и не должна быть от неё оторвана. Характерно, что именно такая, «гуманитарная» точка зрения и возобладала в дальнейшем в отечественной археологической науке середины XX в. Однако история науки, как и всякая история, не развивается по прямой. Именно в конце 1900-х гг., когда А.А. Спицын обосновывал перед студентами свою позицию в данном вопросе, стечение обстоятельств привело в Санкт-Петербургский университет ярого приверженца диаметрально противоположной точки зрения. Этому человеку суждено было заложить фундамент отечественного палеолитоведения и в считанные годы вывести в науку целую плеяду исследователей, сумевших в дальнейшем вполне профессионально работать как с археологическими, так и с антропологическими, этнографическими и геологическими источниками. Так сформировалась *петербургская палеоэтнологическая школа*, идеи и подходы которой на короткое время (в 1920-х гг.) получили в отечественной археологии заметный перевес. Создателем школы стал **Фёдор Кондратьевич Волков**.

Это был человек непростой и нелёгкой судьбы. В молодости его увлекала революционная борьба. Зрелые годы прошли в эмиграции. Лишь амнистия политическим преступникам, последовавшая в 1905 г. (через 28 лет после его бегства из Киева!), вновь открыла ему дорогу на родину. Настоящим учёным он стал в Париже и навсегда сохранил верность идеям французской школы антропологии, прямолинейному эволюционизму XIX в., учителям своим Полю Брока и Габриелю де Мортилье. Самого Ф.К. Волкова сделал Учителем Санкт-Петербург.



Федор Кондратьевич Волков (Вовк) — создатель Санкт-Петербургской палеоэтнологической школы, основоположник отечественного палеолитоведения.

Его докторская степень, присвоенная Парижским университетом, на родине не признавалась. Считалось: в России требования к диссертациям значительно выше европейских. Несомненно, так оно и было в те времена — по крайней мере, в столицах. Ко времени возвращения в Россию Фёдор Кондратьевич представлял собой антрополога и этнолога-слависта с европейским именем. Но на кафедре географии и этнографии Санкт-Петербургского университета он был всего лишь приват-доцентом без степени, читавшим необязательный курс — антропологию, археологию («доисторическую антропологию») и сравнительную этнографию — по два часа в неделю. Платили за это гроши. Оставалось махнуть на всё рукой и работать (Платонова 2003б).

Зарабатывать на жизнь приходилось тяжким трудом — в этнографическом отделе Русского музея Императора Александра III. Бесконечные экспедиции на Украину, полевая работа, сбор коллекций, их систематизация, создание музейных фондов, редактура ежегодника «Материалы по этнографии России», им же самим и созданного. Сильно подводило здоровье — всё-таки в 1908 г. Волкову стукнуло 60! А было ещё председательство в Русском Антропологическом обществе при Санкт-Петербургском

университете — почётная и хлопотная, но никем не оплачиваемая обязанность. Был Антропологический кабинет, оборудованный при кафедре его стараниями (частично — на его же деньги!). И — ученики, ученики, ученики...

Чтение лекций он любил. Считал их «отдыхом» от всего остального. Любил общение с молодёжью — она же, в свою очередь, боготворила его. Да, у вечно нуждавшегося Волкова вечно не было денег даже на извозчика, чтобы без хлопот добраться до университета в сильный мороз. Однако его неизменная обязательность и внутренняя собранность поражали всех, кто узнавал его близко. «Стоит лишь вспомнить фигуру усталого, сгорбленного старичка, с закрытым рукою ртом, возвращающегося... с 16-й линии Васильевского острова или ожидающего трамвая, чтобы оценить, какая большая внутренняя сила была у Фёдора Кондратьевича. — вспоминал позднее его ученик, видный этнограф и антрополог Д.А. Золотарёв. — ...Он умел быть не только учёным и преподавателем, он жил и нашими интересами, побуждая нас жить интересами своего Кабинета и науки. Его Кабинет на 16-й линии был для нас самым приятным местом обсуждения планов работ и различных начинаний...» (Золотарёв 1918. С.356–357).

Вот и ещё одна «Свободная Академия» в Санкт-Петербурге на рубеже 1900–1910-х!.. Археология занимала важное место в кругу интересов волковского кружка. Не случайно среди его учеников оказалось впоследствии так много известных археологов — А.А. Миллер, П.П. Ефименко, С.И. Руденко, С.А. Теплоухов, Г.А. Бонч-Осмоловский... Студенты с самого начала получали от Фёдора Кондратьевича серьёзные темы, разработка которых требовала и новых полевых материалов, и выработки навыков в занятиях классификацией. В 1909 г. юный С.И. Руденко самостоятельно копал Обдорский могильник в северо-западной Сибири, П.П. Ефименко — Мезинскую палеолитическую стоянку, открытую Ф.К. Волковым. Материалы этих раскопок были, в значительной части, обобщены ими самими. Одним из результатов оказался *первый* (весьма удачный) опыт выработки русской научной терминологии для обозначения типов каменных орудий по европейскому образцу (П.П. Ефименко) (Ефименко 1913: 67–102; см. также: Григорьев 1998: 44–48; Формозов 2002: 81).

Параллельно все ученики Волкова непременно либо участвовали в его экспедициях по сбору этнографического и антропологического материала для Русского Музея, либо проводили их сами по его заданиям. Постановка работ оказалась весьма серьёзной. Полвека спустя специалисты особо отмечали добротность научной документации башкирских коллекций, собранных в 1906–1907 гг. С.И. Руденко, хевсурских коллекций Г.А. Бонч-Осмоловского 1910–1911 гг. А ведь и те, и другие собирали в одиночку студенты младших курсов, по сути — мальчишки. Но в подходе их к делу с самого начала присутствовали последовательность и методичность, стремление охватить все области хозяйства, быта, материальной культуры и декоративного творчества народа (Бикбулатов 1973: 10; Платонова 1995: 123–125). Требования Ф.К. Волкова к студенческим работам были очень высоки. Никакие причины не могли оправдать в его глазах незнание нужной литературы и источников. Много лет спустя С.И. Руденко с юмором вспоминал одно столкновение своё с учителем по этому поводу:

«...Использовав кое-какую доступную мне в то время литературу, я передал написанную мною статью на просмотр Фёдору Кондратьевичу. Через некоторое время прихожу за статьёй. Сидим и беседуем по различным вопросам, но ни слова о статье. Наконец, я не выдерживаю и спрашиваю мнение Фёдора Кондратьевича о моей статье. Получаю ответ: «Чёрт знает, что там написал!» Я, естественно, обижаюсь и прошу возвратить мне статью. Получаю ответ на свою просьбу: «Вон там, на этажерке, ваше писательство и несколько

книг, в которых сделаны закладки и отчёркнуто, что вам прочесть». Просматриваю книги и обнаруживаю, что одна из них на английском языке, и заявляю, что я не читаю по-английски. В ответ: «А мне какое дело? Возьмите словарь и читайте!» Так я начал заниматься английским языком...» (Руденко 2003).

Обладая широчайшей эрудицией в своей области, Фёдор Кондратьевич, тем не менее, никогда не позволял себе обрушивать на студентов лавину информации, которую им было бы трудно постичь. Насыщенность содержания в его лекциях сочеталась, по выражению С.И. Руденко, с «удивительной систематичностью» изложения и «выдержанной классификацией» материала. Благодаря этому, лекции Волкова очень легко усваивались. Чтобы войти в курс новейших достижений и веяний в области первобытной археологии, его ученикам вовсе не требовалось ехать в Европу.

Первобытная археология (палеоэтнология) для Ф.К. Волкова была отраслью общей антропологии и входила в цикл естественных дисциплин, изучающих Человека. В его понимании, держаться «научного метода» при работе с археологическим материалом означало применять к нему комплекс методов, подсказанных практикой других естественных наук — в первую очередь, геологии (стратиграфический метод) и биологии (классификация, построение эволюционных рядов). Результатом же исследования должно стать «не только извлечение из земли древних предметов, но и *возможно полное восстановление всей той культуры, остатками которой они являются перед нами*» (курсив мой. Н.П.).» (Волков 1900: 240). Для Фёдора Кондратьевича это понятие «культуры» было очень широким и включало реконструкцию (по возможности) антропологического типа, происхождения, миграций, бытовой обстановки, общественных отношений, верований и «всей вообще соматической и психической деятельности» древних обитателей земли. «Производя раскопки, — писал Волков, — мы, с одной стороны, спасаем древние памятники, но, с другой стороны, безвозвратно и навсегда уничтожаем то, чего не сумели или не захотели спасти по небрежности.» Поэтому было бы желательно, по его словам, брать при раскопках «всё без исключения — из черепков могут быть составлены сосуды, кости должны быть определены, равно, как уголь и куски дерева, на комках глины могут оказаться отпечатки, в пепле — остатки сожжённых трупов...» (Волков 1900: 235, 242–243).

Приведённые отрывки достаточно ясно показывают, что позднейшие (уже советского времени) обвинения Ф.К. Волкова в отсутствии исторического подхода, в нежелании использовать археологические данные для историко-культурных реконструкций являются совершенно надуманными. Было бы правильнее сказать, что в 1900–1910-х гг. для подобных реконструкций ещё не пришло время, ибо не имелось достаточного материала. Комплексный подход Ф.К. Волкова к археологическим памятникам был развит и реализован на практике уже после его смерти, в работах его учеников 1920-х гг. В этот период указанный подход перестал быть достоянием исключительно первобытной археологии. Требование распространить «научные методы» и на область исследования «древностей» и даже на эпоху, отражённую в письменных источниках, было чётко сформулировано А.А. Миллером в стенах РАИМК уже в 1919 г. (Платонова 1989: 13). Та же тенденция отчётливо отразилась и в организационной структуре академии, с самого начала включившей в себя Институт археологической технологии.

Параллельно в указанный период в Ленинграде шла разработка археологической периодизации и типологии материала — то есть именно та непосредственная работа с собственно археологическими источниками, на необходимости которой так настаивал Н.П. Кондаков в своей вечной полемике с «первобытниками» и эволюционистами. И здесь в 1920-х

гг. важнейшая заслуга принадлежала ученикам Ф.К. Волкова — П.П. Ефименко, Г.А. Бонч-Осмоловскому и С.А. Теплоухову. В тот период для всех упомянутых исследователей было характерно усвоенное ими от Ф.К. Волкова представление об археологии (палеоэтнологии), антропологии и этнографии как составных частях *синтетической науки о Человеке*. В 1920-х гг. оно, по сути, стало в Ленинграде доминирующим. Потребовались жесточайшие репрессии начала 1930-х гг., чтобы вовсе изъять его из умов советских учёных (Платонова 1997а: 52–55; 1997б: 147–151).

Масштаб того, что было сделано Ф.К. Волковым в Санкт-Петербурге за какие-то 10 лет, заставляет с особенным вниманием отнестись и к нему самому — бесспорному лидеру петербургской первобытной археологии 1910-х гг. — и к тем историческим условиям, в силу которых заложенная им традиция получила в 1920-х гг. преобладающее значение. Порою бывает достаточно трудно понять, почему один талантливый учёный формирует вокруг себя «школу», а другому, быть может, не менее одарённому, это не удаётся?.. В связи с этим мне кажется уместным привести обширную выдержку из очень «сурового» письма Ф.К. Волкова к одному из его самых любимых учеников — С.И. Руденко. Письмо это, написанное в 1913 г., было адресовано в Париж, где тогда проходил стажировку С.И. Руденко, оставленный при кафедре географии и этнографии Санкт-Петербургского университета для подготовки к профессорскому званию:

«Прежде всего, голубчик, я должен освободить свою душу от большой тяжести... Всякую обиду, незаслуженную грубость и т.п. можно перенесть, но, когда человек, которого уважаешь и которого любишь, вдруг ни с того, ни с сего явится перед тобой в костюме комаринского мужика — это обидно до боли... И мне это до такой степени больно, что я... тщетно ломаю себе голову, стараясь объяснить это чем-то вроде, если не временного общего умопомешательства, то такого состояния, когда молодые телята задирают хвост и вдруг начинают брыкаться всеми четырьмя конечностями... «*Ни Anthony,* пишете Вы мне, *ни Manouvrier я не только не дам черкать свои таблицы, но даже карточки напечатаю по-русски. ... Кроме того, я чувствую себя уже настолько компетентным* (!!!), что люди, даже такие, как Manouvrier, ... *не могут дать мне сколько-нибудь полезного совета...*»...Это фанфаронада, которую Вы неужели же считаете сами сколько-нибудь умной и мало-мальски приличной?!! Что же это, Manouvrier и Anthony будут воровать Ваши открытия, что ли? Или Вы хотите избавиться от непрошеных советов людей, к которым Вы поехали учиться и вдруг через месяц почувствовали себя гораздо компетентнее их?

Вторая фанфаронада — не лучше первой. «*В Живую Старину я уже обращался, ... больше не буду, а подожду того времени, когда мои статьи будут ценить*!» И всё это только потому, что в Живой Старине бюджет на рисунки в прошлом году был израсходован!! ... Как Вам угодно, но в здравом уме и свежей памяти подобной вещи написать решительно невозможно. Что же, Вы не знаете, что Живая Старина не есть частное предприятие и имеет свой *ограниченный бюджетный* кредит? Что же, по-Вашему, должен был делать Редакционный комитет, ... членом которого состою и я? Выбросить чью-то очередную статью?.. Отрядить к Вам депутацию умолять о прощении? Простите меня, голубчик, но ... таких вещей писать нельзя. Я извиняюсь перед Вами за всё, до сих пор написанное, но Вы столько раз называли меня своим учителем и столько раз говорили о своей привязанности, что написать это я считаю своею *обязанностью*. Для того же, чтобы Вам было ещё стыднее, могу сообщить Вам ещё, что медальной коммиссией *за эту именно работу* Вам присуждена серебряная медаль, чему при всём моём желании я воспрепятствовать не мог. Само собою разумеется, что

я и не подумал заявить в Редакционном комитете об Вашем отказе печатать эту статью, и она вскоре будет напечатана...[3]

Ну, пока довольно. В надежде на то, что incident окажется только телячьим выбрыком, сердечно обнимаю Вас. Ваш Ф.Вовк» (Письма Ф.К. Волкова... лл. 26–27).

Письмо это всю жизнь бережно хранилось адресатом вместе с остальными письмами и записками Фёдора Кондратьевича. Быть может, в нём, как ни в одном другом «документе эпохи», виден Волков-Учитель, старший и близкий друг, человек безупречной и строгой порядочности. Человек, сформировавший не одного С.И. Руденко, но и целое направление в отечественной археологической науке... Однако подобная характеристика вполне применима и к другим «главным героям» настоящего очерка — Н.П. Кондакову, В.Р. Розену и А.А. Спицыну. Почему же именно волковская школа получила преобладание в СССР в 1920-х гг. и почему, с другой стороны, это преобладание оказалось таким недолговременным?

На мой взгляд, ответ напрашивается сам. Специфика исторического момента в первое послереволюционное десятилетие привела к тому, что гуманитарный подход в археологии временно оказался не в чести. Не в чести оказалась тогда и сама наука история. Уже в 1921 г., постановлением Совнаркома РСФСР, в университетах были официально упразднены все историко-филологические факультеты. Ещё раньше, в 1919 г., вышло постановление о ликвидации их исторических отделений (Алленова 1986: 73). Считалось, что теперь, с победой революции, историю следует преподавать по-новому. Но как именно по-новому преподавать историю — этого, в действительности, не знал никто, и, пожалуй, большевики знали тут меньше кого бы то ни было! В такой затруднительной ситуации советская власть приняла по-своему уникальное решение: упразднить историю вообще! «Мёртвая история не заслуживает пощады!» — данный лозунг был озвучен не кем-нибудь, а самим «просвещённым» наркомом А.В.Луначарским (цит. по: Волобуев *и др.* 1986: 59). И вот историю начали «упразднять» повсеместно — как в ВУЗах, так и в средней школе — и заменять её так называемым «обществоведением».

Напротив, комплексные географические, геологические, антропологические, археолого-этнографические исследования различных регионов СССР получили в середине-второй половине 1920-х гг. невиданный дотоле размах. Особый упор делался на практическую полезность (по сути — прикладной характер) этих работ. «С перемещением административных и экономических центров, с изменением границ... — писал в 1928 г. С.И. Руденко, — нынешние республики представляют организмы, не всегда в надлежащей мере себя осознавшие и хозяйственно сложившиеся. Правительства республик испытывают настоятельную потребность возможно быстрее получить сводку... того, что известно о природе и населении их страны, ... с тем, чтобы наметить пути наиболее правильного хозяйственного и культурного строительства... Наметить путь дальнейшего развития народного хозяйства возможно только тогда, когда... известно прошлое и установлена причинная связь и зависимость между прошлым и настоящим...» (С.Р. [Руденко С.И.] 1928: 77–79).

Такова была вполне реальная ситуация, сложившаяся в эпоху НЭПа. На короткий период советская администрация была вынуждена в делах управления хотя бы отчасти руководствоваться разумом. Это сразу стимулировало поиск средств анализа социальной действительности и социальных прогнозов. Неожиданно нашлись и деньги на исследования

[3] По-видимому, речь идет о статье С.И. Руденко «Инородцы Нижней Оби: этнографический очерк», изданной в серии «Труды общества землеведения при Санкт-Петербургском университете» в 1914 г. (Руденко 1914: 28–44).

такого масштаба, какие не производились правительством Российской империи и в лучшие времена. В свою очередь, учёные постарались воспользоваться случаем и «отработать» своё. Вот тогда и оказались востребованы ученики Ф.К. Волкова, способные профессионально и на высоком уровне работать в области, как естественных, так и социальных наук. Именно им выпало проводить в 1920-х гг. наиболее значительные полевые и исследовательские работы. С их именами, в первую очередь, и связан переворот в археологическом источниковедении, совершившийся в этот период.

Цитированная выше заметка С.И. Руденко, опубликованная в журнале «Человек», несмотря на свою краткость, заключала в себе продуманную и частично уже воплощавшуюся в жизнь исследовательскую программу. Археологические исследования были лишь частью этой программы, неразрывно связанной со всеми остальными. Так же и теоретико-методологические задачи тесно переплетались здесь с проблемами практической работы. В конечном счёте, закономерности развития культуры должны были выводиться непосредственно из *динамики живой культуры*, чтобы использоваться затем: а) для практических рекомендаций, б) для палеоэтнологических реконструкций. Вряд ли мы ошибёмся, если скажем: подобные установки в русской науке 1920-х гг. и первые шаги «новой» социальной антропологии на Западе после I Мировой войны представляли собой грани одного процесса.

В рамках комплексных антрополого-археолого-этнографических обследований окраин СССР 1920-х гг. главный упор, по словам С.И. Руденко, делался на изучение «*динамики бытовых форм под влиянием внешних воздействий и внутренних факторов*». Такими факторами могли служить культурные влияния соседей, переселения, изменения быта в новой обстановке. Следует подчеркнуть: обширные полевые исследования отнюдь не воспринимались, как самоцель. Они рассматривались, скорее, как источник полноценного сырого материала для эмпирического выведения *закономерностей развития культурной и этнической общности*. От выяснения закономерностей эволюции живых этнических групп учёные предполагали закономерно перейти к проблемам эволюции древних общностей. «...Понятно, — замечал С.И. Руденко, — устремление антропологических отрядов в область палеоэтнологии, причем здесь они обычно от практических вопросов переходят в область разрешения научных проблем и эволюции культур в пределах данной области» (С.Р. [Руденко С.И.] 1928: 78).

Указанный подход к анализу археологического материала в дальнейшем оказался в советской науке прочно забыт. Это было результатом того шельмования, которому подверглись отечественная этнология и палеоэтнология в начале 1930-х гг. Когда эпоха НЭПа кончилась, оказалось, что в услугах «социоантропологов» советское правительство более не нуждается. В самом деле, кому нужны социальные исследования и прогнозы, если в стране пошли в ход массовые высылки? Всякое беспристрастное исследование того, что именно происходит теперь с народом, следовало немедленно запретить, удушить, заклеймить навеки. Логика отрицания передовой русской этнологии эпохи НЭПа вытекала из новых исторических условий совершенно однозначно.

Между тем, научная установка на изучение живой культуры в археологии, получившая распространение в 1920-х гг., была для своего времени, безусловно, свежа и нова. Ресурсы ее и сейчас далеко не исчерпаны. Свидетельство тому — вывод, к которому пришёл Л.С. Клейн во второй половине 1970-х гг., оценивая итоги и перспективы дальнейших исследований в археологии XX в.: «Встав перед задачей реконструкции и познания сложных систем, недоступных прямому наблюдению, археология ... должна обратиться к применению *моделей*, а среди них главными для неё окажутся наиболее схожие и доступные — *этнографические параллели*. Поэтому путь преодоления эмпиризма в археологии требует её ин-

теграции с этнографией на основе программы, разработать которую должна *теоретическая археология*. Без этого невозможен подъём археологии на новый, более высокий уровень.» (Клейн 1977: 13–22). Эта идея, высказанная спустя полвека после опубликования С.И. Руденко своего исследовательского credo в журнале «Человек», свидетельствует, что принципиальная установка, отвергнутая в 1930-х гг., получила дальнейшее развитие уже на новом уровне. Так замкнулся ещё один круг археологической мысли в Санкт-Петербурге.

Комплексные экспедиции 1920-х гг. открывали для археологии новые горизонты. Не случайно совершенствование полевой и исследовательской методики, воспринятой затем «советской» археологией (впрочем, воспринятой далеко не полностью), было начато именно в эти годы — в ходе работ А.А. Миллера, Г.А. Бонч-Осмоловского, С.А. Теплоухова, С.И. Руденко и др. Но всё-таки, говоря о дальнейшем формировании региональной археологической «школы» в Ленинграде в указанный период, совершенно необходимо особо отметить значение экспедиционной и преподавательской деятельности **Александра Александровича Миллера**.

Этот человек принадлежал к самой старшей генерации учеников Ф.К. Волкова — учился у него не в Петербурге, а ещё в Париже, в Высшей Антропологической школе при Сорбонне. Археологические раскопки впервые были начаты А.А. Миллером ещё в 1903 г., но вплоть до конца 1910-х гг. археология не являлась основным полем его деятельности. Служба в Этнографическом отделе Русского музея определяла главное направление его исследований — этнография Кавказа, музейное дело... То, что Миллер — археолог, именно археолог, археолог по преимуществу — это стало ясно позднее. При жизни своего учителя Ф.К. Волкова он вообще как-то неуловимо держался в тени. Лишь после смерти Фёдора Кондратьевича в 1918 г. перед нами неожиданно предстаёт учёный со сложившимися взглядами, которому хватает и опыта, и убеждённости, чтобы в критический момент решительно всюду оказываться на первых ролях. В этот период А.А. Миллер — учёный-кавказовед широкого профиля и один из главных идеологов палеоэтнологического направления в отечественной археологии. Он — директор Русского музея, один из основателей Российской Академии истории материальной культуры, председатель её Этнологического отделения, профессор Археологического института (затем университета), и, наконец, Учитель целого поколения ленинградских археологов.



Александр Александрович Миллер — создатель отечественной археологии поселений XX в., наставник первого поколения советских археологов.

Важнейшим достижением А.А. Миллера в 1920-х гг. оказалась разработка новой методики исследования поселений со сложной стратиграфией. Как отмечал он сам, «...*не имея до сих пор ни в русской, ни в иностранной археологической практике какого-нибудь образцового примера исследований земляных городищ* (курсив мой. Н.П.), пришлось этот

сложный вопрос разрабатывать на месте, во всей ответственности за его применение...». Предложенная в результате исследовательская схема является настолько исчерпывающей, что, по справедливости, даже современному археологу мало что остаётся в неё добавить (Миллер А.А. 1926: 108–112; см. также: Платонова 2002б: 267, 273–274).

Не менее важным представляется общий подход А.А. Миллера к проблемам археологии. К сожалению, исследователь не оставил нам обобщающих трудов. По свидетельству брата, важнейшая часть его архива, в которой находилась и рукопись монографии о Елисаветовском городище, пропала в Казахстане после его смерти в 1935 г. (Миллер М.А. 1958: 129–130). Однако в работах, опубликованных до 1930 г., сохранились методологические экскурсы, вводящие нас в творческую лабораторию учёного. Они и позволяют уяснить его принципиальную позицию по целому ряду вопросов.

Как истинный палеоэтнолог, А.А. Миллер не допускал возможности реконструкции минувших эпох по одним археологическим данным. По его определению, их конечное обобщение должно предваряться наблюдением «самой природы и механизма происходящих в материальной культуре изменений» (Миллер А.А. 1927: 76). Таким образом, интерпретировать памятники следовало, с его точки зрения, на основании тех общих или частных закономерностей, которые устанавливаются на материалах *живой этнографической культуры*. Но, разумеется, источники — этнографические и археологические — следовало для этого *«безупречно исследовать самыми современными методами»*.

Именно здесь следует искать истоки пресловутого «эмпиризма» А.А. Миллера, в котором его так часто обвиняли в начале 1930-х гг. По его мнению, материалы разновременных и разнохарактерных археологических раскопок, накопившихся к 1920-м гг. в наших музейных фондах, «по характеру первоначального оформления» не удовлетворяли «элементарным требованиям, предъявляемым к научному источнику» (Миллер А.А. 1927: 76). Таким образом, параллельно с формулировкой новых задач и вопросов, которые следовало поставить перед материалом, приходилось решать проблему создания *нового корпуса источников*. «Перескочить» через этот важнейший этап, перейти непосредственно к скороспелым обобщениям А.А. Миллеру решительно не представлялось возможным.

В то же время видимая «прерывность» развития древнего общества, фиксируемая по археологическим данным, проблема миграций, проблема независимого возникновения сходных явлений — все это живо интересовало Миллера. Обдумывая ход процесса смены культур, он абстрагировался от привычных шаблонов, готов был допустить возможность быстрых «мутационных» изменений, но всё же главной проблемой для него оставалась возможность «обнаружить подобные превращения археологическим путём», то есть обосновать их фактами истории материальной культуры (Миллер А.А. 1927: 15–19).

В целом можно сказать, что полевая методика, разработанная А.А. Миллером, те навыки строгого и разностороннего анализа источников, которые внедрялись им в практику, в наибольшей степени способствовали формированию такого понятия, как «ленинградская школа археологов» (хотя новые поколения представителей этой «школы» далеко не всегда отдавали себе в этом отчёт). Непосредственными учениками А.А. Миллера стали М.И. Артамонов, А.А. Иессен, отчасти — С.Н. Замятнин, проходивший у Александра Александровича полевую практику, а также Б.Б. Пиотровский, А.П. Круглов, Г.В. Подгаецкий, Б.Е. Деген-Ковалевский и многие другие, которые с гордостью называли себя тогда «миллеровцами», «миллеровской школой» (Миллер М.А. 1958: 127–130).

Подведём краткий итог. Конечно, приведённый обзор подосновы и идейных истоков петербургской археологии XX в. нельзя назвать исчерпывающим. Но, на мой взгляд, деятельность Н.П. Кондакова, В.Р. Розена, А.А. Спицына, а также Ф.К. Волкова и его ученика

А.А. Миллера следует рассматривать, как важнейшие вехи на пути формирования петербургской археологической «школы». Их научные работы, казалось бы, уже сыгравшие свою роль в первой трети XX вв., теперь зачастую открываются нам совершенно новыми гранями, не замеченными ни современниками, ни ближайшими преемниками. Можно констатировать: наследие великих учёных имеет редкостное свойство никогда не устаревать. Целый ряд идей и наблюдений, высказанных в тот период, получает достойную оценку лишь теперь, в контексте *современной* археологии.

Стоит отметить и другое. Помимо редкой одарённости, помимо любви к науке, помимо педагогического дара, свойственного каждому из этих лидеров научных сообществ, все они обладали важнейшими качествами — внутренней силой и безупречной порядочностью. Быть может, на первый взгляд, указанные качества не имеют прямого отношения к науке. Но, по моему глубокому убеждению, эмоциональная атмосфера, аура, окружавшая этих людей, оказывала сильнейшее, *формирующее* воздействие на ситуацию, которая складывалась тогда в археологических кругах Санкт-Петербурга. Не случайно именно вокруг них постоянно кипела исследовательская мысль. Как бы самопроизвольно возникали кружки, семинары, общества, «свободные Академии»... И тогда, и в дальнейшем археологическая наука шла вперёд трудами таких Учителей.

Литература

Алленова В.А. 1986. Реформа высшего исторического образования 1934–1940 годов и предшествующий опыт университетской подготовки кадров историков // Развитие исторического образования в СССР. Воронеж.

Бикбулатов Н.В. 1973. Руденко и башкирская этнография // Археология и этнография Башкирии. 5. Уфа.

Волков Ф.К. 1900. По поводу наших неолитических находок с керамикой до-микенского типа // Киевская старина. Т. LXX. Июль-август.

Волков Ф.К. 1913. Новейшие направления в антропологических науках и ближайшие задачи антропологии в России // Ежегодник РАОПУ. 4.

Волобуев О.В., Кузина А.С. 1986. Методическая секция общества историков-марксистов в борьбе за преподавание истории в школе // Развитие исторического образования в СССР. Воронеж.

Григорьев Г.П. 1998. Петербургская школа изучения палеолита. Прерывистость и незавершённость // Академические научные школы Санкт-Петербурга. К 275-летию Академии наук. СПб.

Ефименко П.П. 1913. Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губернии // Ежегодник РАОПУ. 4.

Жебелев С.А. 1923. Введение в археологию. Ч.1. История археологического знания. Пг.; Ч.2. Теория и практика археологического знания. Пг.

Золотарёв Д.А. 1918. Ф.К.Волков (некролог) // Русский исторический журнал. 5.

Зуев В.Ю. 1997. М.И. Ростовцев. Годы в России. Биографическая хроника // Скифский роман. М.

Клейн Л.С. 1977. К оценке эмпиризма в современной археологии // Проблемы археологии и этнографии. Вып. 1. Л.

Клейн Л.С. 1979. Понятие типа в современной археологии // Типы в культуре. Методологические проблемы классификации, систематики и типологии в социально-исторических и антропологических науках. Л.

Кондаков Н.П. 1887. Византийские церкви и памятники Константинополя // Труды VI АС. III. Одесса.

Кондаков Н.П. 1896. Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода. Т.1. С.-Пб.

Крачковский И.Ю. 1958. Очерки по истории русской арабистики. Т.5. М.-Л.

Лапшин В.А. 2001. Археология Ленинградской области // Археологическая карта России. Очерки археологии регионов. Книга 1. М.

Лебедев Г.С.1992. История отечественной археологии. 1700–1917. СПб.

Лебедев Г.С. 1995: Петербург как центр региональной археологии // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. Труды семинара «Проблемы истории и историографии археологической науки. Вып. 1. СПб.

Миллер А.А. 1926. Краткий отчёт о работах Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК в 1924 и 1925 годах / / Сообщения ГАИМК. 1.

Миллер А.А. 1927. Древние формы в материальной культуре современного населения Дагестана // Материалы по этнографии. Т.4. Вып.1. Л.

Миллер М.А. 1958. Александр Александрович Миллер. 1875–1935 // Вестник института по изучению СССР. 3(28). Мюнхен.

Памяти академика В.Р. Розена. 1947. Статьи и материалы к 40-летию со дня его смерти. 1908–1948. М.-Л.: АН СССР.

Памяти барона Виктора Романовича Розена. 1909. Приложение к Запискам Восточного отделения РАО. Т. 18. СПб.

Платонова Н.И. 1989. Российская Академия истории материальной культуры. Этапы становления // СА. № 4.

Платонова Н.И. 1995. Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский. Этапы творческой биографии // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб.

Платонова Н.И. 1997а. Палеоэтнологическая школа в русской археологии 1920-х годов // Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения Фёдора Кондратьевича Волкова (Вовка). СПб.

Платонова Н.И. 1997б. Об одной попытке уточнения методов в русской археологии // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Сб. ст. памяти В.Д.Белецкого. Т.2. Псков-СПб.

Платонова Н.И. 1998. Николай Яковлевич Марр — археолог и организатор археологической науки // Археологические Вести. 5. 1996–1997. СПб.

Платонова Н.И. 2002а. «Беззаконная комета на научном небосклоне». Н.Я. Марр // Знаменитые университанты. С.-Петербургский государственный университет. Т. 1.

Платонова Н.И. 2002б. Панорама отечественной археологии на «Великом переломе» (по страницам книги В.И.Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры») // Археологические Вести. 9. СПб.

Платонова Н.И. 2003а. Александр Андреевич Спицын: предмет, задачи и методы археологии // Сборник научных статей памяти И.В. Дубова. СПб. (в печати).

Платонова Н.И. 2003б. Фёдор Кондратьевич Волков глазами ученика // Археологические вести. 10. (в печати).

Равдоникас В.И. 1930. За марксистскую историю материальной культуры. Л.

Равдоникас В.И. 1931. Памяти А.А. Спицына. Сообщения ГАИМК. 9–10.

Росов В.А. 1999. Семинариум Кондаковианум. СПб.

Руденко С.И. 1914. Инородцы Нижней Оби: этнографический очерк // Труды общества землеведения при С.-Петербургском университете. 3. СПб.

Руденко С.И. 2003. Памяти Фёдора Кондратьевича Волкова (к 50-летию со дня смерти) (публикация Н.И. Платоновой) // Археологические вести. 10. СПб. (в печати).

Саханёв В. 1928. Александр Андреевич Спицын. К 70-летию со дня рождения // Seminarium Kondakovianum. 2. Prague.

Спицын А.А. 1928. Мои научные работы //Seminarium Kondakovianum. 2. Prague

С.Р. [Руденко С.И.] 1928. Антропологические исследования в экспедициях Особого комитета Академии наук по исследованию союзных и автономных республик // Человек. 1.

Тихонов И.Л. 1995. Петербургская палеоэтнологическая школа (этапы формирования) // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. Труды семинара «Проблемы истории и историографии археологической науки. Вып. 1. СПб.

Тихонов И.Л. 2001. Становление классической археологии в Санкт-Петербургском университете: школа Н.П. Кондакова // Никодим Павлович Кондаков. 1844–1925. Личность, научное наследие, архив. К 150-летию со дня рождения. СПб.

Толстой И.И., Кондаков Н.П. 1889. Русские древности в памятниках искусства. Вып. 1. СПб.

Фармаковская Т.И. 1988. Борис Владимирович Фармаковский. Киев.

Формозов А.А. 2002. О Петре Петровиче Ефименко (материалы к биографии) // Очерки истории отечественной археологии. 3. М.: ИА РАН.

Источники

Введение в археологию.1909 г. РА ИИМК РАН. Ф. 5 (А.А. Спицын). Ед. хр. 96. 36 л.

Задачи археологии и её материал. РА ИИМК РАН. Ф. 5 (А.А. Спицын). Ед. хр. 116. 22 л.

Курс археологии. 1909 г. РА ИИМК РАН. Ф. 5 (А.А. Спицын). Ед. хр. 95. 44 л.

Монтелиус о бронзовом веке. РА ИИМК РАН. Ф. 5 (А.А. Спицын). Ед. хр. 17. 14 л.

Способы и приёмы исследования. РА ИИМК РАН. Ф. 5 (А.А. Спицын). Ед. хр. 114. 39 л.

История России IX-XVIII вв.. Раздел 1: Восточно-Европейская равнина в естественно-историческом отношении. ПФА РАН. Ф.113 (А.С. Лаппо-Данилевский). Оп. 1. Ед. хр. 160. 389 л.

Методология истории. Ч.2. Методы исторического изучения. ПФА РАН. Ф.113 (А.С. Лаппо-Данилевский). Оп. 1. Ед. хр. 288. 144 л.

Памяти В.Р. Розена. ПФА РАН. Ф.800 (Н.Я. Марр). Оп.1. Ед. хр. 942. 6 л.

Русская история. Курс лекций, читанный в Историко-филологическом институте. ПФА РАН. Ф.113 (А.С. Лаппо-Данилевский). Оп. 1. Ед. хр. 153. 336 л.

Тихонов И.Л. 1993: Развитие археологии в С.-Петербургском-Ленинградском университете. (1724–1936 гг.). Дисс. ... канд. ист. наук. С.-Пб. Хранится в Музее истории С.-Петербургского университета.

Письма Ф.К. Волкова к С.И. Руденко. ПФА РАН. Ф.1004 (С.И.Руденко). Оп. 1. Ед. хр. 315. Л.26–27.

Русское Археологическое общество за третью четверть века своего существования (1897–1921). Исторический очерк С.А. Жебелева. РА ИИМК РАН. Ф.2. Оп. 2. Ед. хр. 453.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ

THEORY AND HISTORY OF ARCHAEOLOGY

K. Randsborg[1]

THE RACE FOR A GLOBAL PAST

К. Рандсборг. На пути к всемирному прошлому.

Эпоха Великих географических открытий к началу XVI в. не только расширила экономико-географические границы Мира для европейцев, но и позволила, благодаря знакомству с культурами, стоящими на иных ступенях развития, сформировать новый взгляд на собственное прошлое. Автор предлагает схему изменения взглядов на прошлое от отношения к памятникам, как к наследию предков, через этап рефлексии, когда формируется представление о глубине исторического развития в своем и в соседних регионах, к современным научным интересам. Последние распространяются как на археологию и историю определенного региона (или нации, или еще более крупного образования, например, Европы в целом), так и на удаленные и экзотические регионы. В соответствии с этим строится периодизация восприятия прошлого, в которой каждой стадии отвечают определенные эмоциональные отношения к объекту изучения, возможные подходы и практические действия (табл.1) .Так, «доклассическому» этапу соответствует восприятие древностей или как наследия предков, или как наследия чужаков; в первом случае возникает взаимосвязь и повторное использование предметов или объектов материальной культуры, во втором — отторжение и, возможно, уничтожение. Ранний классический этап предполагает восприятие древностей, как принадлежащих соотечественникам или иностранцам, они вызывают интерес и любопытство и подвергаются описанию или коллекционированию. Последнему, «классически-научному» этапу соответствует восприятие древностей, как общечеловеческого достояния, ему отвечают профессиональный и политический подходы и активное научное изучение.

I. The world at 1500

In the first quarter of the 15th century giant Chinese fleets with trading junks of more than 3,000 tonnes crossed the Indian Ocean to explore the World. Even the giraffes of East Africa and many other exotic animals were brought back to the imperial parks along with the trading goods. However, by the 1430s this adventure was over, and the Middle Empire — that could have won the World with ocean-going sailing ships with closed decks and gunpowder for artillery — decided to turn its back on the rest of the Globe.

In the same decade the Portuguese, in their tiny ships, probed the near coast of West Africa. By 1482 they had erected the castle of El Mina in later Ghana. Before the close of the century they had reached India, and a few decades later, China. Of course, in 1492 Columbus scouted America, and in the early 16th century, the Spanish gazed at the accomplishments of the civilizations of the New World. By these developments, Europe suddenly faced a world — the World — radically different from the old shores of the Mediterranean, the Biblical Near East — long lost to Islam — or the old Carolingian realms in the West, even the North with its North Atlantic vision, or the East of Europe facing Asian challenges.

The exploration of the World by the Europeans was primarily an economic one. But conquest and gain were from the beginning followed by curiosity and a discourse on the nature of the

[1] Institute of Archaeology. University of Copenhagen, Denmark.

creatures met and the cultures encountered. The acknowledgement that the American Indians were in fact human beings raised questions about the Biblical Creation and the migrations of man. The existence of New World civilizations similarly launched new questions about evolution and diffusion of society and culture. The encounter with "Stone Age" American Indians gave rise to a deeper understanding of Europe's own past, in fact to a full appreciation of megalithic tombs and polished stone axes as the works of man — not giants. Indeed, the Portuguese explorations demystified the World. It also linked archaeology and Global history intimately with ethnographic experience, today's anthropology.

II. Historical roots

If we turn to the deep culture of Europe and of the World, we perceive a highly interesting phenomenon. Everywhere — and not doubt ever since the Stone Age — man has noted, been interested in and related to the testimonies of his own historical past. The evidence is physical — thus, archaeological — oral or written. Archaeologically, the interests range from observations of ancient monuments and artefact scatters to an active use of the past, like burial in ancient cemeteries or ritual depositions of evidently old artefacts in later contexts. One such example is a truly beautiful jade mask of the Olmec culture — the first civilization in the Americas — more than 2000 years old when buried in the main pyramid of the Aztec capital, Tenochtitlбn.

In fact, we may suggest a scale of such human interests in the past. It ranges from (1) relations with the monuments of the supposed ancestors (vis-a-vis foreigners), through (2) various reflective stages in which a sense of historical depth бf the own (and neighbouring) regions is being built — typically by the ancient and pre-modern civilizations — to the modern (3) scientific interests. The latter relate both to the archaeology and history of a particular region (or nation, and even to larger entities such as Europe) and to distant and exotic areas (Fig. 1). In particular the Global view is noteworthy.

This not to say that a scientific study of ancient cultures is devoid of emotions. In fact, as nations are loosing their traditional significance, cultural identity seems as important as ever and artefacts and monuments are becoming new foci of attention and dispute. The risk is that we are inventing history for contemporary ends. By doing so were are in fact demoting ourselves to a new stage (1) or perhaps (2) of the just mentioned scale.

A reflective early scholarly stage — our stage (2) in the search for history — was already attained by the non-European civilizations. Ancient Egyptian reliefs show huge offerings of artefacts in temple treasures displayed according to material and type, as in the museums of latter-days. King Nebuchadnezzer II (604-562 BC) of Babylon in fact established a collection of ancient sculpture and inscriptions from all over the empire in a large museum building. This museum even saw guided tours for the general public. In China, collections of fine ancient bronzes and jades are known from the second century BC, and during the Song dynasty illustrated catalogues of artefacts were published, the first one being the famous "Kaogu tu" ("Archaeological Illustrations") of 1092 AD.

The ancient Egyptians and Mesopotamians also carried out excavations and restored old monuments. This was done with the intention of creating a sense of order — the past leading into the present-quite unlike the worried fascination of change in modern Western society. The Chinese have left highly detailed archaeological reports, including the excavation in 430 AD of a Han dynasty double burial near the Great Wall, holding specified ceramic, lacquer and bronze vessels, large human figures of wood coins, and meals for the dead.

In these examples the antiquity or antiquities of other countries and continents are playing no or only a very minor role. However intellectually refined, this approach to the past is but a more

elaborate edition of the old interest in the ancestors. By contrast, the European engagement in the Overseas World after 1500 created a meeting between cultures, indeed a conglomeration of such, of far reaching consequences. It may even be claimed that Globalization found its start in this interlocution. In fact, the West European encounter with foreign cultures already started at the time of the Crusades, with the increasing number of Latin inscriptions on the Cheops Pyramid likely being the World's first turist statistics.

III. The search for a global past

In 1537 the Pope officially recognized that the American Indians were human beings and should be treated as such, indeed, were souls to be saved. From the Renaissance on, the Europeans mirrored themselves in the Overseas World. The Indians of Virginia were thus juxtaposed with imagined ancient Britons, for example.

Thus, the early scientific exploration of the deep material history in Europe — in the form of archaeological finds and monuments — went hand in hand with the beginnings of a Global engagement. Together archaeology and ethnography created both a new understanding of the past and knowledge about the emergence of the presence ("archaeological and anthropological analogy"). At the same time the limitations of written history were demonstrated.

Danish O. Worm, for instance, of the early 17th century, not only created a museum encompassing the cultures of the World, including Europe and Scandinavia, but also a gigantic antiquarian topographical database for all Denmark and Norway with resolution on level of the single parish. This database was not surpassed until the late 19th century.

Observations of the west europeans. The overseas archaeological accomplishments of the British were at first concentrated in North America. Both ethnographica and archaeological artefacts were brought back to Europe, for instance the collections of the Ashmolean Museum in Oxford. In the same line might be seen the well-known excavation of 1781 by the later President T. Jefferson in an Indian burial mound on his Monticello estate in Virginia.

The French were seemingly less active in overseas archaeology than at home. The most interesting early academic discussion was probably by I. La Peyrиre. In 1655 he published the controversial idea — no doubt inspired by overseas experiences — of several divine "creations". La Peyrиre claimed that the Bible only reflected the history of the Hebrews and not the whole World.

Among the lesser powers, Denmark demonstrates a surprisingly early interest in the prehistory and archaeology of sub-Saharan Africa, India, and the Caribbean, not to mention Greenland. Of course, its merchant fleet was the second largest in the World in the late eighteenth century. The first World Anthropology by J. Kraft was published in Denmark in 1760. India's first university and museum were founded in the Danish possession of Serampore, Calcutta, already the seat of the British "The Asiatic Society" of 1784, active in promoting an interest in Asian history and antiquities.

Iberian accomplishments. Very important — though less known — is the Iberian accomplishment. The Portuguese were mainly interested in ethnography, but the Spanish explored the archaeology of their huge overseas possessions early on. The Spanish came across perhaps the most surprising apparitions in the New World: unknown civilizations in various historical stages with monumental architecture and art, in addition to developed systems of recording and communication — evidently human societies and people, even by ethnocentric European standards. Some civilizations, like the Classical Maya, were long gone, others, like the Aztec and the Inca — the last to vanish — were still in their prime.

In fact, already in 1590 J. de Acosta suggested that the human race had spread gradually

across the World, and that the first Indians — resembling the people of northeastern Asia — migrated from the Old World and were "wild men and hunters". de Acosta thus rejected the common idea of Old World civilizations bringing people and culture to the Americas. Certainly de Acosta's views were far more sophisticated than La Peyrиre's (of 1655), which included a separate divine creation of the Indians.

The Spanish in America were no doubt driven by a quest for gold (and land), and the earliest archaeological excavations by the Spanish were in the form of plundering for gold, in particular of rich burials. But already around 1680 the great Spanish collector C. de Sig enza y Gyngora opened a shaft in the Pyramid of the Moon at Teotihuacбn, Mexico to study its construction. This is possibly the earliest recorded excavation in the New World with a clear archaeological purpose — carried out a century before Jefferson's investigation. Bishop B.J. Martнnez de Compacyn collected ethnographic information and carried out properly documented excavations of ancient Inca burials (at Trujillo, Peru) as early as the 1780s. de Compacyn's remarkable reports were illustrated by more than 1400 highly interesting watercolours. This level of visual documentation was rarely met by contemporary standards in Europe itself.

Thus, the European observations on the ethnography, history and archaeology of the overseas regions let to a new understanding of the development of cultures. The first steps were thus taken towards the creation of an archaeology of the World.

IV. Archaeology and the global challenge

Archaeology is fully aware of its Global heritage, indeed of the long, long history of fossil culture landscapes, technology, human organization and communication, the shifting links and increasing interdependence of the societies and cultures of the Globe. As we have noted, archaeology has taken on a Global dimension already long time ago and certainly in step with the European expansion from the Renaissance on.

In the 19th and 20th centuries Europe developed modern archaeological museums and related institutions — in the line of O. Worm's impressive topographical initiative of four hundred years ago. Beyond Europe, North America and other powers imitating Europe created museums. Rudimentary structures were also set up by the colonial powers, for instance in Africa, but these have now fallen into disrepair and are suffering deeply for lack of funding. Scientific Global archaeology is thus developed by Europe and remains mainly a European (and North American) responsibility.

The momentous challenge to archaeology today is the increasing Global modernization and integration, which — at an alarming rate — is destroying the World archaeological heritage. Most destruction is due to economic expansion, plundering of archaeological sites for gain a serious side issue. It is this light that discussions centred on single sites (as UNESCO's so-called World Heritage List), even single items in museums, seem out of place and is certainly distorting the overall picture. The enormous, though hidden, World archaeological heritage is making up the data that World History — before and beyond the book — has been based on, not only for the past five hundred or more years of scientific archaeology, but all the way through the history in man's search to understand the past as a way to approach both the presence and the future.

The challenges are not only academical, administrative and financial, but political as well. Today, the concerns of the World are almost exclusively concentrated on the Natural environment, being directly related to the physical welfare of man as well as the economy. However, a frog missing from a pond may well return if conditions improve, while an archaeological site say ploughed to a depth of just one or one half metre will be gone for ever — just to mention one minor case among millions. Indeed, if we do not have a measure of the elemements of a past

culture landscape, we cannot make administrative decisions as to its protection and investigation, nor proper scientific and historical studies.

In the imperial capital of Xi'an, China, the monuments on the UNESCO turistic heritage list — like the pit with the famous life-size terracotta soldiers — are protected. But this does not preclude the destruction of the ancient city with cultural layers up to twenty metres thick — testimonies to the actual life in the past. At Constantinople/Istanbul one might even dream of joint European-Near Eastern excavations to save a fragment of the deep cultural heritage of this underinvestigated nodal city, also being bulldozed away.

Thus, what I perceive to be the new and worthy cultural task for Europe, as its own house is being increasingly brought into order: To help safeguard and study the World cultural heritage in its entirely, the only source by far to most of the history of mankind. This task is in line both with the scientific study of Europe's own past and with its deep Global interest and engagement in foreign cultures and societies. Investments in the area have indeed proved to be highly rewarding with new, often surprising knowledge accumulating at an exponential rate, both in and — especially — beyond Europe, where true gains are awaiting.

It is to be expected that politicians, the general public and archaeologists alike will come to consider the World the measure of things, and mankind the measure of man, as the poet A. Pope put it in a lovingly simple stanza of the early 18th century: "The proper study of mankind is man."

Global archaeology is beyond the regional, national or even continental measures of things. From beyond the complicated age of Colonialism (of the 19th and 20th centuries), we have sensed the early European interest in the World, and — in spite of white exploitation, that is still ongoing — a tolerance about cultures and people, and an engagement in details to provide proper understanding of the conditions and ingenuity of all humankind. This attitude may be symbolized by the canvassas of Dutch A. Eckhout of the 1640s. Eckhout made a statement on the structure and evolution of culture, at the same time as he was depicting the peoples beyond Europe (and the Near East) as beautiful, intelligent, and sympathetic. (Tabl. 1.) Suggested stages of the interests of man in the "Other" — temporally/spatially.

Tabl. 1. Human interests in the Past.

STAGES	EMOTIONAL LINKS	APPROACHES	ACTIONS TAKEN
1.Pre-scholarly	Ancestors/Foreigners	Communication/Refusal	Reuse/Discarding
2. Early scholarly	Compatriots/Foreigners	Interest/Curiosity*	Recording, collecting
3. Scholarly/Scientific	Fellow human beings	Professional, political	Active studying

*E.g., European interests in Overseas cultures

K. Kristiansen[1]

WHO OWNS THE PAST? REFLECTIONS ON ROLES AND RESPONSIBILITIES

К.Кристиансен. Кому принадлежит прошлое? Размышления о роли и ответственности исследователя

Предыстория понятия «культурного наследия» восходит к далекому прошлому. В известном рассказе Геродота о походе Дария на скифов в конце шестого века до н.э. «могилы славных предков» уже выступают в качестве непреложной ценности, единственной, которую стоит защищать в бою. В этом случае сохранение отеческих могил узаконивало власть скифских царей, обеспечивало племенную идентичность, а представление о бессмертии предков вообще является универсальной составляющей культурной идентификации. Когда память о предшественниках материализована и является частью современности, возникают мифы об общем происхождении, на основе которых в конечном итоге развивается представление об этнической идентичности. Именно мифологизация всего, что связано с культурным наследием и обусловила то, что памятники древности сохранились неразрушенными до сегодняшнего дня.

В истории науки можно проследить чередование периодов рационалистического и романтического (постмодернистского) отношения к культурному наследию. Во время первых преобладает уклон к естетественнонаучному знанию, идеям макроисторизма и эволюционизма. Национальные идеи представляются менее важными, чем принцип интернационализма.

Начиная с 80-х годов прошлого века, наступил очередной период «романтизма». Терминологически это выразилось в замене распространенного в 60–70-е гг. понятия «культурные ресурсы» на понятие «культурное наследие».

Еще 15 лет назад казалось, что сохранение археологического наследия является результатом возрастающего общественного интереса к доисторическим объектам, как к значительным и важным историческим источникам, и только во вторую очередь — как к символическому выражению длинной национальной истории, которая оправдывает право на историческую территорию. В сочетании с возрастающим пониманием важности истории и археологии разрушения памятников стали регулироваться законодательством. События последних же 15 лет на Балканах, на постсоветском пространстве достаточно жестко обнаружили, что большой разницы между подходом к культурному наследию скифских вождей и современных политиков не существует. Так во время Балканских событий прежде всего пострадали памятники, которые считаются символами национальной идентичности — храмы, музеи, библиотеки и исторические здания.

Та же тенденция прослеживается не только в Европе. В Америке и австралии аборигены добиваются права распоряжаться своим культурным наследием: например, вернуть из музеев и хранилищ добытые в результате археологических раскопок материалы могильников для вторичного погребения.

Таким образом, определение понятия культурного наследия, как всемироно-исторического феномена становится чрезвычайно актуальным в международном правовом контексте. Как далеко в прошлое распространяется право национальной группы на наследие? Является это право культурно-историческим или территориально-поли-

[1] Göteborg University, Göteborg, Sweden

тическим? Относится ли право на культурное наследие к числу основных прав человека?

Согласно концепции ООН и Юнеско Всемирный кодекс этики основан н а идеях разнообразия многокультурного мира. Одна из его глав — культурное наследие на службе у прогресса. Это предполагает включение культурной политики в сферу политики по отношению к окружающей среде и экономики. Среди предложений за служиванет особого внимания пункт, где право на культурное наследие расценивается наряду с основными правами человека и должно обеспечиваться и защищаться так же, как и эти основные права.

Автор полагает, что в современном мире, в период возрождения национализма в разных формах, когда существует опасность для науки оказаться заложницей политических интересов, сообщество исследователей должно осознать собственные интересы, приоритеты и ответственность и консолидироваться путем создания международных организаций. Долг исследователя — озвучить историческое многоголосие культур без вмешательства политики. Это — демонстрация демократического разделения ролей между учеными и политиками, но также и проявление уважения к людям прошлого и к памятникам прошлого, которые безгласны и нет никого, кто бы высказался от их лица и в их интересах, за исключением, возможно, ученого, историка и археолога.

The Prehistory of Cultural Heritage

It is 513–512 BCE and Darius, the King of Persia, is with his army on an expedition against the Scythians, who at that time ruled the region, and had conquered and killed Cyrus the Great in 529 BCE. The Scythians, renowned for their tactical skills, retreated, gradually, luring Darius into more and more perilous terrain, so that he finally had to retire with his troops. He had earlier attempted to get at battle on his own premises. Herodotus[1] tells of the lively exchange of words between the frustrated Darius and the Scythian king, Idanthyrsus.

Darius sent a horseman to the Scythian king Idanthyrsus, and said: «You are a strange fellow. Why do you keep flying from me when you might make a choice of courses? If you think yourself strong enough to oppose my power, stop wandering to and fro and stand and fight. If your mind tells you that you are the weaker, then, likewise, stop running away, give gifts — namely earth and water — to one who is your master, and come to words with me.»

To this the Scythian king, Idanthyrsus, answered: «Persian, matters are thus with me. I have never fled from a man in fear in days past nor now. I am not fleeing from you. What I am doing now is no different from what I am wont to do in peacetime. I will also tell you why I do not instantly fight you. We have neither cities nor sown land among us for which we might fear — that they can be captured or destroyed — and so might be quicker to join in battle against you to save them. But if you must come to a fight with us quickly, there are our fathersr graves. Find them and try to ruin them, and you will discover whether we will fight or not — for the graves. Before that, we will not fight, unless some argument or our own takes possession of us. That is all I have to say to you about a fight.

The Scythians had something they were prepared to defend, their forefathers' graves, that legitimised all Scythian kings and ensured tribal identity. The immortality of forefathers, the immortalisation of death, is one of the oldest and most universal themes for cultural identity. When ancestors are made visible and part of the present, a myth of origin is created and consequently a common identity, a sense of ethnic identity is developed. Historical common fate is materialised

[1] Herodotus' legend about the orgins of the Scythians and how it relates to the archaeology was the theme for Leo Klejnrs ph d. I have therefore chosen Herodotus to illustrate another problematic — that of the prehistory of heritage and its use.

in monuments, folklore and symbols. Archaeology teaches us, that this form of cultural heritage is connected to the establishment of hierarchically organised societies, where selected families represent the tribes and where larger regions are united by common myths and rituals, possibly also language.

Since the earliest of times cultural heritage has had material expression and for hundreds and thousands of years people have interpreted and reinterpreted such remains, integrating them into their own history and cosmology. The supernatural, fairytales and folklore are relics of cultural heritage's continual mythologisation and perhaps this, partly, explains why so many prehistoric monuments have been allowed to stand, untouched, throughout the centuries (Burstrum, Winberg and Zachrisson 1996). Today they are protected by the state and its specialists: archaeologists.

But what can this now teach us about the present day problems we encounter when deliberating the issues of preservation and identity? Up until about fifteen years ago archaeological preservation was a relatively unproblematic phenomenon. It was considered to be the result of a natural development towards greater public insight into the meaning and importance of prehistoric remains as historic material sources, and only secondary as a symbolic manifestation of the peoples' and nation's long history, legitimising rights to the land. But the last mentioned was ideological rhetoric, belonging to a nationalistic period that we had now left behind and were liberated from. Instead, the history of preservation was to be regarded as a fight between good and evil, between archaeologists attempts to rescue the past and farming and industry's unruly destruction. And in conjunction with a growing insight and interest into the significance of prehistory and archaeology this destruction was eventually controlled through legislation. This modernist myth showed itself to be just that, a myth.

Developments over the past ten to fifteen years have undermined this innocence. The realities of events in the Balkans, in Russia and in others regions around the world have shown us, brutally, that the differences between the Scythian king and the kings and presidents of own times are less than we thought. Archaeologists do not set the agenda when nationalistic mobilisation is needed. What we thought we had once left behind, during the advancement of Modernity and information society, came right back at us on the periphery of Eastern Europe, only to shortly afterwards advance once again into our own world. Archaeology and our understanding of prehistory is used and manipulated, ruthlessly and unscientifically when deemed necessary. No one can be bothered to listen to the critical voices of the archaeologist when the new nationalist ammunition starts firing (Slapsak 1993; Shnirelman 1996). And in the Balkans we have seen practised what the Scythian king talked about — the symbols of identity and cultural heritage: the churches, museums, libraries and buildings of historic interest are the first things to be destroyed in ethnic battle (Museums and Galleries of Croatia 1993; Archaeology and War. Handbook of Cultural Affairs, 1993; Sulc 2001); and the Assyrians did the same 3000 years ago, when they humiliated and annihilated a people (Larsen 1997).

A more peaceful but a similar development preceded these more recent developments in Europe. In the USA and Australia, aboriginals and indigenous populations have gradually established rights to and control over their own cultural heritage (Layton 1989). Archaeological remains are being returned from the museums, i.e. contents from excavated burials, for reburial. Researchers no longer have privileged, academic claims on the prehistoric remains — these belongs to the indigenous people. They further claim that right all the way back to the earliest of times, regardless of the fact that the present day tribe has perhaps only lived in the region in question for a period of a few hundred years. Several cases of the returning of human remains thousands or ten thousands of years old for reburial in both America and Australia without prior scientific analysis have illuminated this dilemma between two fundamentally different perceptions of heritage and its

study/treatment. Although there are progress in the co-operation between archaeologists and indigenous communities in many places today, these examples in a clear cut way exemplify principal issues in the relationship between archaeology and local communities globally (see also the EAA Code of Ethics). The examples further bring rights issues to a critical point: how far back in time can a group of people or a nation claim rights to its cultural heritage? Is it a territorial/political right, an historical/cultural right, or is there an extraordinary scientific right that should go before these issues?

Hidden behind each of these claims is reference to something universal (Cleere 2001). Cultural heritage is possibly a universal, historical phenomenon, but does this mean that claims to cultural heritage are also universal? And who has the right to decide over other peoplers histories and the traces left behind? Has anyone that right at all? Here we find conflicting opinions and it has not been made easier by the fact that cultural heritage issues have, once again, become political and ethical issues.

Is cultural heritage a human right?

The decennium of culture was declared by the United Nations and Unesco in 1988 and in 1995 a cultural follow up to the Brundtland report was published, without however its impact. The report declares that «progress which is disconnected from its human and cultural context is progress without a soul». A new, global, code of ethics was sought after, which was generated from and respected global diversity, or the idea of multiculturalism. Behind the idea of multiculturalism there are fundamental cultural values that are shared by all, and these should be the foundations for a new, global, code of ethics. At the heart of this issue we find human rights, but a cultural dimension is to be added — cultural heritage, and the multicultural world we live in. One chapter is entitled — «Cultural heritage in the Service of Progress». Here the term heritage is broadened to include a non-material dimension, an anthropological perspective, and it is proposed that cultural politics be integrated into environmental politics and economic development, so that the result is «culturally sustainable» — in Denmark called «The third dimension of environmental politics» (Auken 1994). Finally an international program of action is proposed, which amongst others things is to contain an annual report on culture and development in the world. Amongst the proposals there is one of particular interest, proposal number 7. It is entitled «Rules and regulations for the protection of cultural rights as human rights». Here culture is perceived as an existential starting point on a par with equality, freedom, democracy etc. with equal demands for protection against infringement. But what does this mean in practice? On this issue there are battles already.

The United Nation's report represents an ideological-political answer to the post-modern globalisation that prevails in the world today. In an interesting volume «Cultural Identity and Global Process» the anthropologist Jonathan Friedman (1996) has tried to show that a global oscillation can be observed between 'modernism' and 'post-modernism' — or 'rationalism' and 'romantisicm' if studied over longer periods of time (Kristiansen 1998; Hastrup 2000: 20 ff. chapt. 2-3). It would appear that these periodical 'isms' create different understandings of identity and heritage, and explain how research interests concomitantly change direction. During periods of rationalism (i.e. the Enlightenment, Realism during the second half of the nineteenth century, the period from 1945 to 1980) a natural science perspective dominates; macro-history and evolution are popular historical interpretational frames. National identity is less prominent, and instead internationalisation is emphasised. The intervening romantic periods are marked by a return to perspectives pertaining to the arts and humanities; micro-history and culture-historical interpretational frameworks are given preference. Heritage and national/regional identity play a vital part.

Since the 1980rs these new global trends have permeated anthropological and archaeological research. This can be seen, for example, in the ways in which the phenomenon of landscapes and monuments are perceived. These are no longer discussed in terms of destruction, land use, ecological adaptation, but rather in terms of the monuments' and landscapes' biographies (Roymans 1996; Bradley 2002). The landscape is now primarily understood as a cultural construction where its meaning changes over time, and these shifts of cultural and cosmological significance are used as a starting point for the interpretation, evaluation and conservation of landscapes and monuments. Where archaeologists once quantified and measured cultural resources, they now interpret and discuss cultural values. The landscape, monuments and heritage have become a meeting place for a variety of interests (Bender 1995; Bredalsmo et al 1997; Kristiansen 1998). Objectives have shifted from functionality and objectivity towards a more apparent interpretation of subjective opinion and the significance of meaning; from rationalism to romanticism. This move is exposed in the titles of many recent books and articles on the subject of cultural heritage and identity, published during this period of time, but that were quite absent before 1990. Some recent examples include «Stonehenge — contested landscapes» (Bender 1995), «Dissonant Heritage» (Tunbridge and Ashworh 1996), «Obsessed by the past» (Lowenthal 1998) «Social construction of the past» (Bond and Gilliam 1996) and «Cultural Identity and Archaeology» (Graves-Brown, Jones & Gamble 1996). The same changes are also revealed in a new professional terminology. In the 1960rs and 1970rs it was «Cultural Resources»; in the 1990's it is «Cultural Heritage» — a return to an older terminology in use prior to the Second World War.

The historical insights I have discussed lead to a rather defeatist conclusion: that we, as cultural historians and critical humanists, are ruled by macro-historical processes and cosmologies, which we cannot steer, but at most can only contribute to by keeping under debate. History is not repeated, but some of its components are reused. What we might reach insight into are the historical conditions we momentarily live with, and what they might mean for our actions. Whether modernist or postmodernist, the way we perceive how we use and manage cultural heritage generates consequences. And the majority of those who work professionally with cultural history interpret, think and act within the frames of these 'isms'. We have a responsibility to be explicit about our positions and our points of departure. There is consequently now a wide range of literature, and new journals such as «Public Archaeology», where opinions and points of view on the subject of cultural heritage are debated. (i.e. Anshelm 1993; Beckman 1993; Fowler 1992; Grundberg 2000; Walsh 1992; Gramsch 2000; Tzanidaki 2000; Willem 2000; Layton, Stones & Thomas 2001).

Who's responsibility?

Where does this get us? To greater extent than before preservation issues and research projects dealing with prehistory are subordinate to political, ethnical, local and other interest groups. It gets more and more complicated to do certain types of archaeological research in areas of ethnic and political conflict, unless prepared to adhere to certain scientific stipulations and demands. For example, that a certain people (Serbs, Danes, the inhabitants of Jutland etc) have always inhabited this or that the area since the beginning of time (Shnirelman 1996; Kohl 1993). If one does not acknowledge this there is no access or funding. The universal respect for cultural heritage easily reverses its position, into disrespect for the other, even in the past. History and myth have once again become one and the same — and as such history and archaeology are expected to sustain and support, not to challenge or critizise (Atkinson, Banks and O'Sullivan 1996; Kohl and Fawcett 1995; Diaz-Andreu and Champion 1996; Hamilakos 1999). And in keeping with this trend it is not surprising that the Bible, once again, is deemed an historical authority in some states and schools in the USA.

Out of this romantic or post-modern ideologisation of the past, the scientific community is asserting itself, to a greater extent, as its own interest group. This has been achieved through the establishment of international organisations which, amongst other things, have generated their own «codes of conduct» (EAA 1997; SAA/Lynott & Wylie 1995). With these the aim is to regulate not only the organisation's praxis, but even to devise regulations that allow for corroboration with other interest groups, based on general, universal codes. Such regulations have, however, little chance of being respected amongst those that have a fundamentally different ideology. On top of this there are international conventions and political strategies that want to defend the idea of a universal Western academic and scientific practice. And what other choice is there? Science is both historically and in praxis closely related to democracy; founded on certain fundamental axioms regarded as inalienable, and therefore universal within our own historical context.

But what are the consequences of such a position? My view is one of a growing recognition that archaeologists, anthropologists and historians ought to refrain from participating professionally in political/ideological discussion and conflict on issues of rights claims because there is no objective or non ideological method that can keep separate 'good' and 'bad' use of history. On the one hand it is continually necessary and critical to analyse the relationship between research and society in order to reveal and understand these relations. This means that on the other hand we can hardly advocate for a specific use or political legitimisation of prehistory and history in the present (and in the future) — this ought instead to be dealt with by democratic and legal institutions that are developed specifically for this end. Once again I am reminded of this dilemma by a legal dispute, in the north of Sweden, where the Laplanders and foresters from southern Scandinavian were in disagreement because the Laplanders requested unlimited access to the forest for the grazing of their deer (Zachrisson 1994). The Laplanders proclaimed to have ancient historical rights to the forest and the two parties met, each with their own archaeologist, to prove/disprove, respectively, these historical rights. The archaeologist of the Laplanders argued that these people had been in the region since the Iron Age, whilst the archaeologist of the opposition maintained that the Laplanders first arrived in the region in historical times. In other words, this was a question of different interpretations of material culture and ethnicity.

The examples show that, as a rule, it is impossible to say anything certain about the ethnic and historical continuity of a certain time frame. And it also shows that the whole idea of historical continuity as a neutral factor is an ideological construction, which can neither be used or should be used outside its social and economic context. The Laplanders' and the forester' interdependent circumstances in the present can not be connected to the circumstances prevailing 100, 500 or even 1000 years ago. All social and economic relations over time continually change — and it is these changes that lead to dispute and it is these disputes that have to be decided on, not the constructed term of 'continuity'. And what really should be decided here is; what future the Laplanders in the area are to have. In the end it becomes a political decision, not a judicial one; where history only serves as a general setting.

Making amends in the present for the injustices of the past, for example against minority populations, should not let us forget to practice critical analysis. And political correctness ought not stop us from pointing out those groups and nations in the present that use terms such as 'ethnicity' and 'continuity' in similar ways to those employed at the time of the Third Reich. In a world marked by the expansion of new Nationalism, new Nazism and racism, it becomes an essential task for a critical humanism to point out the complexity and discontinuity of history (Burström 1999; Olsen 2001; Werbart 1998). There are fewer similarities between a Danish Iron Age farmer and a present day farmer than there are between a present day Danish farmer and a Pakistan immigrant. They are both strangers and they are both part of history. But while we gladly

integrate Iron Age farmers into our cultural heritage, in spite of their otherness, we are less generous when it comes to the immigrants. However, European prehistory is also the history of our alienation. It is the history of recurring cultural shifts, a multitude of languages and ethnicities, of social and economic transformations that integrated and created new social and cultural entities out of this historical multiplicity (Kristiansen 1998a).

It is the responsibility of the researcher to give voice to this historical multiplicity without political interference. It is a demonstration of a democratic-political division of roles between research and politics, but also a demonstration of respect for the people of prehistory and their material remains, which have no voice, no spokesperson, apart from, perhaps, the researcher — the archaeologist, philologist, historian. More than any other Leo Klejn has fought for these basic humanistic and academic principles.

In my opinion to understand the other does not imply that one gives up one's own specific historicity. Just the opposite, it means giving voice to history in all its multiplicity, to the many different forms of particularity and cultural heritage that history has created and left behind. It should further occur through constant dialogue which, however, respects certain fundamental axioms, such as those expressed in international conventions and through the academic communities' rules of ethics and codes of conduct. I would like to add to this my ambition to understand the general, the historical regularities, behind historical particularities. I insist that one of the endeavours of research ought to be insight into the general or the universal so that we can understand the particular at all, so that we can legitimise an understanding, an insight and a responsibility that extends beyond cultural heritage, people and nations, here and now, and as such becomes a responsibility for history and for the future. This is, in my opinion, a form of historical existentialism, a continual endeavour to reach the unreachable, to be able to influence history through insight into it and our communication of this insight.

References

Anshelm J. (red.) 1993. Modernisering och Kulturarv. Brutus Östlings Bokförlag Symposium. Stockholm/Stehag.

Ashworth G.J. & Larkham, P.J.(eds.) 1994. Building a New Heritage. Tourism, Culture and Identity in a New Europa. Routledge. London and New York.

Atkinson J.A., Banks, I. and O'Sullivan, J. (eds.) 1996. Nationalism and archaeology // Scottish Archaeological Forum.Cruithne Press, Glasgow.

Auken S. 1994. Miljøpolitikkens tredje dimension // Kronik Politiken 13.juli 1994.

Beckman S. 1993. Om kulturarvets väsen och värde. I J. Anshelm (red.)

Bender B. 1995. Stonehenge – Contested Landscapes (Medieval to Present-Day) // Landscape. Politics and Perspectives. Berg. Providence/Oxford.

Bond G.C. & Gilliam A. (eds.) 1996. Social Construction of the Past. Routledge.

Bradley R. 2002. The Past in Prehistoric Societies. Routledge. London and New York.

Bredalsmo I., Jones M., Olwig K. and Widgren M. 1997. Landskapet som historie // NIKU Temahefte 4. Norsk Institut for kulturminnesforskning, Oslo.

Burström M. 1999. Cultural Diversity in the Home Ground. How Archaeology can Make the World a Better place // Current Swedish Archaeology, Vol. 7.

Burström M.; Winberg B. & Zachrisson T. 1996. Fornlämningar och folkminnen. Riksantikvarämbetet.

Cleere H. 2001/ The uneasy bedfellows: universality and cultural heritage // Destruction and Conservation of Cultural Property. Routledge. London & New York.

Diaz-Andreu M. and Champion T. (eds.) 1996. Nationalism and archaeology in Europé. UCL Press.

EAA 1997. The EAA Code of Practice. European Association of Archaeologists.

Fowler P.J. 1992. The Past in Contemporary Society. Then, Now. Routledge, London and New York.

Friedman J. 1994. Culture, Identity and Global Process. London.

Gramsch A. 2000. 'Reflexivness' in archaeology, nationalism, and Europeanism // Archaeological Dialogues, vol.7, №1.

Graves-Brown P., Jones S. and Gamble C. (eds.) 1996. Cultural Identity and Archaeology. The construction of

European communities. Routledge. Lond and New York.

Grundberg J. 2000. Kulturarsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion til kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Göteborgs Universitet, Institutionen för Arkeologi, Gotarc Serie C, № 23.

Hamilakis Y. and Yalouri E. 1999. Sacralising the Past // Archaeological Dialogues, vol.6, №2.

Handbook of Cultural Affairs. Vol. 5. 1992. Archaeology and War. The War in Croatia. Archaeological Sites.Edited by the Ministry of Education and Culture, Zagreb.

Hastrup K. 1999. Viljen til Viden. En humanistisk grundbog. Gyldendal

Horne D. 1984. The Great Museum. Pluto Press. London and Sydney.

Kohl P. L. 1993. Nationalism, politics, and the practice of archaeology in Soviet Transcaucasia // Journal of European Archaeology. Vol. 1.2.

Kohl P.L. and Fawcett C. (eds.) 1995. Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology. Cambridge University Press.

Kristiansen K. 1998a. Europe before History. Cambridge University Press.

Kristiansen K. 1998b. Between Rationalism and Romanticism. Archaeological Heritage Management in the 1990s // Current Swedish Archaeollogy, Vol. 6.

Larsen M.T. 1997. Gudens skygge. Det assyriske imperiums historie. Gyldendal.

Layton R. (ed.) 1989. Conflicts in the Archaeology of Living Traditions. One World Archaeology. London.

Layton R., Stone P.G. and Thomas J. (eds.) 2001. Destruction and Conservation of Cultural Property. One World Archaeology 41. Routledge.

Lowenthal D. 1998. Obsessed by the Past. The Heritage Crusade and its Spoils. Free Press, New York.

Museums and Galleries of Croatia. 1993. The Destruction of Croatian Cultural Heritage in the 1991/92 War. Museum Documentation Centre, Zagreb.

Olsen B. 2001. The end of history? Archaeology and the politics of identity in a globalized world // Destruction and Conservation of Cultural Property. Routledge. London & New York.

Rowlands M. 1996. The politics of identity in archaeology // Social Construction of the Past. Routledge.

Roymans N. 1995. The cultural biography of urnfields and the long-term history of a mythical landscape // Archaeological Dialogues. Vol. 2.1. Dutch Perpsectives on Current Issues in Archaeology.

SAA. 1995. Ethics in American Archaeology. Challenges for the 1990s. Society for American Archaeologists, Special Report. Edited by Mark J. Lynott and Alison Wylie.

Shnirelman V.A. 1996. Who Gets the Past? Competition for Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia. The Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C. Baltimore and London.

Slapsak B. 1993. Archaeology and the contemporary myths of the past. Journal of European Archaeology. Vol. 1.2.

Sulc B. 2001. The protection of Croatia's cultural heritage during war 1991–95 // Destruction and Conservationof Cultural Property. Routledge. London & New York.

Tunbridge J.E. & Ashworth G.J. 1996. Dissonant Heritage: The Management of the Past As a Resource in Conflict. Sydney.

Tzanidaki J. 2000. Rome, Maastricht and Amsterdam. The common European heritage // Archaeological Dialogues, vol. 7, no.1.

UNESCO 1995. Vår skapande mångfald. Rapport från Världskommissionen för kultur och utveckling.

Walsh K. 1992. The Representation of the Past. Museums and heritage in the post-modern world. Routledge,London and New York.

Zachrisson I. 1994. Archaeology and politics: Saami prehistory and history in central Scandinavia // Journal of European Archaeology. Vol. 2.2.

Werbart B. 1996. All these fantastic cultures? Concepts of archaeological cultures, identity and ethnicity // Archaeologia polona. 34.

Willem W. 1999. Archaeology and heritage managemnet in Europe. Trends and developments // European Journal of Archaeology. 1.3.

J.-C. Gardin[1]

CURRENT PROGRESS IN THEORETICAL ARCHAEOLOGY

Ж.-К. Гардэн. Современные достижения в теоретической археологии.

Теоретическая археология рассматривается здесь как «изучение рассуждений археологов в процессе установления связей между материальными остатками прошлого и приписываемыми им смыслами». Долгосрочная программа исследований по этой теме была начата в 70е годы, и статья начинается с описания истории ее ранних стадий и той критики, которую программа тогда вызвала. Для читателей, мало знакомых с вопросом, даются необходимые библиографические ссылки (часть I). Начиная с 90х годов «логицистский» подход, лежащий в основе этой программы, оказался в центре ряда дискуссий во Франции и за ее пределами. Наиболее продуктивное обсуждение имело место в ходе двух длительных, протянувшихся в нынешнее тысячелетие, семинаров по эпистемологии общественных и гуманитарных наук, кульминацией каждого из которых стали сборники, недавно вышедшие во Франции (часть II). Вклад автора в обе эти книги суммируется здесь как «современные положения» логицистской программы, что и составляет ядро данной статьи (часть III). Перечисляется десять основных положений. В коротком заключительном разделе речь идет о долгосрочных перспективах программы (часть IV).

I Early developments and criticisms: a reminder

My understanding of theoretical archaeology is the following: a study of the reasoning processes followed by archaeologists in establishing a link between remains of the past and the meaning which they assign to them. A few essays were published in the '70s in order to illustrate the proposed approach; they concerned published interpretations of different kinds of materials: arabo-sassanian coins, a Seljuk stele (Gardin & Lagrange 1975), a paleochristian church in Geneva (Lagrange & Bonnet 1978). A book followed, laying down the objectives and methods intended (Gardin 1980), with an emphasis on the 'metatheoretical' level of the programme in a twofold sense: (a) the objects under scrutiny are not the items of material culture studied by archaeologists but the 'uses of argument' observed in their interpretations, in the spirit of Stephen Toulmin's book that bears this title (1958); (b) this inquiry applies to all kinds of theories, irrespective of the various schools or paradigms with which their authors may be associated. A formal framework was proposed to express 'the structure of archaeological theories' in general (Gardin 1990). Later applications of our 'logicist' programme, as it came to be known, indicated that the proposed restructuring of archaeological discourse had the additional virtue of paving the way for electronic publications of a new kind, as a partial answer to the information crisis of our times — an important matter to which I shall return below (§ III–10).

I must apologise for this reminder of 'old stuff'; my excuse is that some minimal knowledge of it is required to understand not only the critiques and misunderstandings to which it gave rise, summarised below, but also, more important, the amplification of the programme that followed in connection with the broader debate opened in the last decade on the epistemological status of the social sciences and the humanities — the main subject of the present paper (§ III). I shall merely recapitulate briefly and in random order the major objections recorded against the logicist

[1] Centre de Récherches archéologiques, Paris, France.

programme (printed in italics), without burdening the reader with bibliographic references; my answers to them will be given only when I think they are still needed today.

(a) The logicist programme is rooted in, and essentially deals with applications of computers for information retrieval in archaeology.

(b) It endorses an extremely narrow, reductionist and positivist view of the subject of archaeology. The first presentation of that programme ended with a chapter on the limitations of the logicist approach and the need for complementary visions of the past, using the tools of Literature (Gardin 1980:176–180). But this part of the argument seems to have been constantly forgotten, as illustrated by the following criticisms.

(c) How can a plea for more Science in archaeological interpretations end up with a call for more Literature? Inconsistency. For my answer to this, cf. § III–8.

(d) The common understanding of 'theoretical archaeology' is that it embraces the production and critical examination of different visions of the past. The lack of concern for the latter in the logicist programme deprives theoretical archaeology of its substance. A matter of definition...

(e) While it describes itself as independent of the various schools and paradigms in archaeology, the logicist approach tends to stand 'above' them and to emit in that capacity value judgements that contradict its claims of neutrality. Certainly true on many occasions, when going from logicist analyses proper to the lessons that can be drawn from them. Judgements are nevertheless legitimate when they concern formal aspects of archaeological constructs that are indeed independent of their content — e.g. the interchangeability of hypothetico-deductive and empirico-inductive presentations of interpretative constructs, notwithstanding the opposite claims of the New archaeology; the faulty belief that inferences drawn from statistical samples are more firmly grounded than those which derive from non-mathematical selections; the large number of inferential steps taken without mention of their roots, in 'traditional' as well as in '(post-)modern' archaeology, and the weakness of their justification by 'common sense', etc.

(f) An obsessive search for formal flaws in reasoning processes results in the development of a kind of casuistry, cutting off theoretical archaeology from the more substantial currents of contemporary research. This objection has been raised more than once in different forms; the crudest one came from archaeologists in France, who regarded the logicist programme as one of the factors responsible for the poverty of French literature on archaeological theory, along with the conservatism of the Classical archaeologists and the descriptivism of the prehistorians (cited in Scarre 1999:158).

II Later progress

The development of the logicist approach to this day has been largely determined by a cross-fertilisation process that began in the '90s, as scholars from other disciplines or other countries were raising similar epistemological issues and willing to include that approach in their discussions.

1 A first manifestation of the kind was a workshop organised in 1994 by Professor Ivo Mattozzi in Bologna for the benefit of fellow historians interested in matters of didactics; the idea was that condensed versions of interpretative constructs could be a useful tool for the transfer of historical knowledge. The book which followed contained a thorough analysis by Maria Novella Borghetti of a long article by P.Bairoch on the origins of the Industrial Revolution; it brought out a recurrent feature of historical constructs in general, whether based on archaeological materials or on written sources, namely a contrast between the impressive size of the data base and the relatively small height of the inference tree built upon it, made up of rather straightforward derivations characteristic of the 'natural logic' described by linguists and logicians (Gardin & Borghetti 1995:113–205).

Another workshop of the same kind followed in 1996, in which extracts of the writings of George Duby were reshaped in a logicist format by Professor Mattozzi, in order to feed our discussion of the proposed evolution. The immediate impact of such seminars on historians or archaeologists is weak, to say the least; however, for the reasons that will be expounded further on, this kind of factual evidence carries relatively little weight in the ongoing debate on the *long term* evolution of thought and discourse in the humanities (see below, § IV).

2 Other signs of interest came shortly afterwards from Poland in the course of a series of lectures on theoretical archaeology arranged by Professor S. Tabaczynski. The discussions which followed brought up standard criticisms or misunderstandings of the kind recalled above (§ I, *b,d,f,* essentially), but with an important step forward, namely an acknowledgement of the fact that our answers to them raised real questions regarding the traditional discursive patterns of the humanities. The substance of those lectures was rapidly published (Gardin 1996); an expanded version later came out in volume 3 of the monumental *Theory and Practice of Archaeological Research* edited by Polish scholars, with an example of logicist analysis applied to my own prose and an English version of a paper on the case for Literature in archaeology (Gardin 1998b).

3 A major expansion of the logicist perspective took place in France during the same period, outside the archaeological community. It originated in two interdisciplinary projects developed independently with a view to clarify a number of burning epistemological issues in the social sciences and the humanities. The first one in time was a seminar organised by a sociologist, Claude Grignon, with the support of an historian, Maurice Aymard, President of the Maison des Sciences de l'Homme in Paris. Its title — 'Le Modèle et le Récit' — reflected C. Grignon's concern about the lack of communication which seemed to prevail between two categories of researchers in the sciences of man, depending on the place of formal reasoning in their work. Some of them, economists for the most part, regarded mathematical modelling as the proper scientific approach of their subjects, while others, mostly historians, tended to oppose it, accustomed as they were to narrative presentations of their findings. Sociologists seemed to be divided on this issue, or convinced that its solution lied in acknowledging the specificity of the human sciences, characterised by an ability or obligation to combine the two modes in order to reach a proper understanding of the behaviour and products of our species. The seminar stretched from 1995 to 2000; it attracted scholars from many disciplines besides the three just mentioned: philosophers, psychologists, mathematicians, anthropologists. Archaeologists did not appear much, except for two or three related in some way or other to the logicist venture. A selection of written contributions was finally collected, illustrating the variety of viewpoints expressed in the course of the seminar (Grenier *et al.* 2001).

Significantly enough, a second epistemological seminar cropped up shortly later in Paris, again in the broad context of the social sciences. It was initiated by Jean-Michel Berthelot, also a sociologist, with a view to editing a book entitled *Epistémologie des Sciences Sociales* for which he had found a publisher. A dozen authors were invited to meet periodically for several months in order to discuss the respective working papers prepared for that book in various fields: sociology, economics, history, geography, linguistics, philosophy (Berthelot, ed. 2001).

I had the good fortune to take part in both seminars, owing to the relevance of the logicist programme to their respective concerns. My contributions took the form of a number of proposals on the specific issues that emerged from our discussions (Gardin 2001a, b); they are summarised below.

III Present positions

1 First comes a trivial reminder: the bulk of our knowledge about the human past is rooted in interpretations of material or textual evidence that have been built up and formulated in natural

language, without any visible contribution of formal thinking, mathematical or other. This is merely stating the obvious. Yet, the progress of mathematical and computer applications in 'Western' archaeology sometimes tends to blur this simple fact: calls to arms are heard periodically, demanding that we scrap the products of 'pre-modern' research in the name of some methodological innovation or other. We need not go very far to demonstrate the shallowness of that view. Most of the knowledge accmulated in the so-called Classical fields of archaeology (Greece, Rome, Egypt) would be wiped out by this criteria. So would our understanding of ancient scripts and languages, obtained through reasoning processes that made no use of the modern mathematical and computer aids to deciphering. Further, the reference to 'Western' archaeology, above, is an invitation to bring into the picture the products of archaeological research in Eastern Europe, India, China, among others. To take but one example, should we regard the 23 volumes of the *Encyclopedia of Soviet archaeology* published in the second half of the 20th century as null and void on the ground that the visions of past societies derived from the description of archaeological remains owe in this case precious little to formal reasoning ? Et cetera.

2 Obvious as it is, that basic point has an important implication, namely that mathematical models are not the only way of reaching verifiable if not 'truly' scientific knowledge — assuming, of course, that some non-formal constructs are indeed verifiable (or refutable, in Popperian terms), in the same sense and to the same extent as the hypotheses put forward by philologists in the deciphering of ancient texts. An easy way to solve or evade the underlying issue consists in forging a name to designate a specific mode of reasoning in the humanities. Historians have been quick to propose one, the 'narrative' mode, 'le récit' in French. The trouble is that many different kinds of texts come to mind under this broad designation: folk tales, news reports, children's books, literary fictions, etc., down to the gossips of daily life. The supporters of the narrative mode in historical or anthropological research would therefore be expected to define a scholarly version of that concept so as to set themselves apart from the lot and justify their privileged status in the world of scientific research. After all, attempts of that sort have been made for other categories of narratives, e.g. folk culture (by Propp, Brémond, Flahaut, etc.), reporting (cf. the higher schools of journalism), or even Literature itself, the sole representative of the narrative mode in Jerome Bruner's analysis of our 'two-and-only-two' modes of knowledge (1986:11–43). True, innumerable articles and books are listed in *Historical Abstracts* as having a bearing on narrativity; but they all exhibit the same epistemological deficiency, namely an emphasis on the rhetorical, literary, stylistic qualities required in the writing of history, but little or no light on the parts of narrative texts that express the cognitive component of scholarly constructs, i.e. the pieces of new knowledge that they are meant to bring forward, rid of their rhetorical clothes.

3 Roughly speaking, the aim of the logicist programme is to make up for this deficiency. It proposes a reformulation of historical narratives in terms of a 'calculus' linking data to theories through a succession of inferential leaps from one set of propositions to another. The 'schematisations' that result have been defined by J.-B. Grize, a Swiss logician, as "models generated by a discourse in natural language". This reference to modelling is justified in two ways. (*a*) Schematisations are an attempt to introduce some degree of formality into our reasoning processes, expressed as computational structures. A book has recently been published on widely different uses of the 'model' concept in various domains of science, pure or applied, natural or human (Nouvel, ed. 2002); clearly, logicist schematisations have a place in that list. (*b*) A reason for this is that they lend themselves to the same kind of tests as mathematical models: formal tests, regarding the coherence of reasoning both within a given text (internal consistency) and in a larger set of comparable constructs (external consistency), and empirical tests, establishing the degree of correspondence between theoretical propositions and new data. Let us dwell for a while on this

twofold property.

4 Computational models currently express mental processes in terms of rewrite rules '(IF) *p* ---> (THEN) *q*' which they use either in predetermined sequences (procedural strategies) or in a more or less random order (declarative strategies). Logicist models use the same format to schematise the uses of argument in archaeological constructs. A significant difference, however, is that the '*p* ---> *q*' formulas in schematisations are not called 'rules' but 'operations' of inference from *p* to *q*; the reason is that they are not regarded as applications of genuine *rules of reasoning*, borrowed from some kind of logical grammar, but merely as the expression of *discursive practices* observed in the archaeological literature. Having stated or established the (set of) proposition(s) summarised by *p*, a given author derives or 'goes to' another one summarised by *q*, implicitly taken to be a 'natural' consequent of antecedent *p*, without dwelling on the nature of the relation expressed by the arrow. True, the terminology of expert systems is less cautious: the knowledge bases compiled on the basis of schematisations do designate their rewrite formulas as 'rules'; but this is somehow justified by the very function of expert systems in the logicist programme, which is to test archaeological theories through simulation experiments conducted *as if* our interpretation processes were the product of actual rules of reasoning (Gardin *et al.* 1987:27–55; Francfort 1992).

Then, what do we mean by the 'coherence' of logicist models ? In a crude sense, this concept has to do with the elimination of formal inconsistencies of the most elementary sort, such as the existence of 'bifurcations' (rather than contradictions proper) expressed in the following way: '(IF) *p* ---> (THEN) q_1, (OR) q_2... ... (OR) q_n', nothing being said about the reasons why, or conditions under which our preference should go to any particular q_i rather than to any other in the list, duly refuted. Another, to me questionable view of coherence would go as far as demanding that the rules of formal logic be respected in archaeological reasoning, as they are in cognitive economics — e.g. transitivity: 'if X is preferred to Y and Y is preferred to Z, then X should be preferred to Z' (Walliser 2000). The logicist perspective imposes nothing of the sort; but it does lay out the angle from which problems of rationality should be approached in the analysis of archaeological constructs, as well as the epistemological issues that arise when those problems are ignored (*infra*, § 8). To put it in a nutshell, our professional status would seem to imply some constraints on the exercise of reason, or at least more of them than are imposed elsewhere. Even though our discursive practices are not rule-based, formally speaking, they nevertheless exhibit regularities that raise their own questions: how do such regularities emerge ? To what extent are they the product of pre-established ways of thought and discourse, institutionalised by communities of varying size ? Why do we abide by them ? In what sense are we justified in claiming that our behaviour in so doing is 'rational' ?

There is indeed *some* sense in that last claim, humorously expressed by popular wisdom in Switzerland: 'seeing what we see [observation] and knowing what we know [background knowledge], we have every reason to think what we think [rationality]' (Gardin 1997). Sociologists from Durkheim and Mauss to Varet and Boudon have done much to broaden in that direction the stricter view of rationality inherited from the natural sciences; so have philosophers in the Wittgenstein tradition, careful to distance themselves from the (post-) modern spokesmen of unleashed thinking. The common matter of interest there is the *process* rather than the *content* of rational behaviour; and it can be argued that the mental operations carried out by scientists are formally comparable in all disciplines, whether they deal with natural or cultural phenomena. A difference remains, however, between the metatheoretical standpoint adopted in this case and the practical concerns of field scientists — archaeologists or other — when they are confronted with competing theories, all 'rational' from the above viewpoint, but under an obligation to chose one

of them or invent a new one in a given context while making a good case for refuting the others.

5 The standard way to meet that challenge consists in summoning new data in the guise of decidability criteria. The so-called tests of correspondence refer to that common practice: among a number of conflicting theories (established) or hypotheses (tentative) about the meaning of archaeological finds, we normally assign more weight or 'value' to the one which seems to account for the wider range of observations. Logicist schematisations are again helpful in this case, for they make it possible to evaluate not only the end product of the reasoning process but also the individual inferences that have been drawn in order to reach or to ground it, at any step or level of the argument. Those basic operations are in principle likely to recur as building blocks of different constructs; hence our interest in collecting them through the analysis of archaeological theories.

Narrative discourse is ill-suited for such tests: the time and effort needed to extract from it the substance of logicist models should be enough to support that view. This observation, however, is not meant as a condemnation of narratives in the historical disciplines; it merely anticipates the argument which will be developed further on for a clearer 'séparation des genres' in the dissemination of archaeological knowledge (§ 8, 9). The advantage of concise and well-structured discourse is particularly visible in those branches of archaeology where the malleability of interpretations is most obvious. A good example is human paleontology. Sweeping changes of ideas about human origins often follow the discovery of a new fossil; cf. the rapid succession of widely different hypotheses generated in turn by *Orrorin tugenensis, Ardipithecus ramidus, Kenyanthropus platyops, Sahelanthropus tchadensis* (alias the much publicized Toumaï). Given this fragility, it seems unwise to write hundreds of pages after each event of the sort in order to present new, tantalising theories of human evolution at large, a few years only after the preceding discovery and most probably before the next. Short papers therefore tend to predominate in that field, narrative in their form, but very close in fact to a logicist presentation of the finds and their interpretation. *Mutatis mutandis*, the same trend can be observed in the vast literature on archaeological fakes. Some of them formerly gave rise to whole books narrating at length the remarkable episodes of their fate in the profession; the progress of archaeometrical techniques has begun to dry up the flood by trivialising the demonstration process.

What has all this to do with the progress of theoretical archaeology ? My only excuse for posing such a naive question is the enduring reluctance of some to admit the relationship and its consequence on the probable future of archaeological discourse — my next points.

6 The emphasis laid above on testability is a way to introduce the subject of validation in our picture — a bone of contention if there ever was one in the human sciences in general. Speaking of archaeology alone, one should keep in mind the contradictory stands taken on that issue in the last half-century, at amazingly short intervals: (*a*) first, in the New archaeology, an emphasis on empirical testing as part of its commitment to the hypothetico-deductive model; (*b*) then, in the Post-processual school, a rapid succession of changing views on the subject, validation being first mentioned as a major pending issue [1982], later reduced to an essentially social matter [1984], and finally discarded as a non-problem [1986] (references in Gardin 1992:93); (*c*) lastly, in Renfrew's cognitive archaeology, a plea for a return to "the well-established techniques of rational inquiry" (1994:9) and a presentation of testability as "the founding stone of scientific research in prehistory" (Bell 1994).

Those oscillations reflect similar hesitations or controversies in the social sciences during the same period. The two epistemological seminars mentioned above and the books that resulted from them (§ II–3) provide ample proof that validation remains a matter of dispute in that broader universe of discourse. Roughly speaking, two schools of thought conflict on this matter. (*A*) The louder one, in writing or speech, underlines the weight of 'contextual' factors (social, cultural,

environmental, etc.) in the evaluation of theories related to human matters and the part played by more or less influential peer groups in that process. (*B*) The other school tends to take a longer view, bringing out the fact that empirical evidence eventually has the last word, however powerful the institutional support hitherto given to disproved theories (the Copernician process). The logicist perspective *per se* does not place us under any obligation to take side in this debate; but our emphasis on the validation tests that are part of the modelling game does hint at an inclination for *B*..., shared, I believe, by a silent majority of field archaeologists in many countries. This by no means implies a denial of the degree of truth contained in *A*. A conciliatory position consists in reducing the conflict to a matter of scale, in time and space. When theories are first produced, they are inevitably submitted to evaluations by various peer groups whose judgements are more or less widely acknowledged in the professional community (*A*). As time passes and more data are collected throughout the world, the weight of empirical evidence alone tends to determine the fate of those theories — invalidation, reinforcement, reshaping, integration, etc. — after a period of time of varying length and across ever wider fractions of the scholarly world (*B*).

The more extreme champions of *A*, however, reject any reference to empirical validation in the sciences of man, on the ground of an inborn incommensurability between the context of discovery and the context of proof in the human sphere (ex.: Passeron 1991:367–370). The relevance of this argument varies according to the field of discourse under consideration: it is probably greater in approaches of art and literature where the concepts of 'accumulation' and 'advancement' of science tend to merge, but it runs counter to the observed course of theory-building and testing in archaeology, not to speak of historical studies in general. Let us therefore leave the matter open at this stage and turn to another aspect of the validation issue.

7 A recurrent criticism of 'traditional' archaeology is that it takes little heed of the formal methods developed over the years in the field of data processing in historical disciplines. The narrative accounts of discoveries and interpretations published in the archaeological literature tend to substantiate that charge inasmuch as the different stages or aspects of theory-building are exposed through the sole resources of the 'natural' reasoning or 'natural' logic studied by J.-C. Passeron (*op. cit.*) and J.-B. Grize (1996), respectively. More specifically, the descriptive part of traditional constructs is the product of a twofold selection process, bearing on material entities and their distinctive features, which is seldom conducted under the control of a formal method, statistical or other. Similarly, the various forms of classification that follow (analogies, taxonomies, clusters, seriations, typologies, etc.) are more often than not intuitive orderings of elements scattered in linear texts rather than formal arrangements produced by mathematical techniques (numerical taxonomy, correspondence analysis, etc.). Finally, the interpretation of the resulting groups, from our basic 'parallels' to the most sophisticated constructs, is again presented in linear discourse without much effort to bring out the inferential leaps of the argument and their justification in terms of a referential left largely implicit (established knowledge, convictions or beliefs, ethnographical precedents, *Zeitgeist*, common sense, etc.)

Those formal weaknesses should be enough to raise doubts about the validity of such constructs. Yet, my starting point in the present discussion (§ III–1) was that the bulk of our archaeological knowledge comes from them, in traditional archaeology. The truth of the matter is that there is no such thing as invalidation based on formal considerations alone. The reason for which traditional findings still hold out is that despite the lack of formality *upstream*, they do receive now and then empirical reinforcements, *downstream*; and this is enough to include them in the category of scientific constructs broadly conceived, as I proposed at the very start of the logicist programme (1980:173–175). A well-known scientist once characterised intuition as 'a provisional challenge to intelligence', by which he meant intuition *inasmuch as it works* in a given

field of scientific observations or experiments. This qualification seems to be the neglected element in post-modern thought on the subject. Intelligence is *not* challenged by intuitive theories which do not work, unlike other human faculties such as imagination or emotion that have less or no regard for this requirement. As for the word 'provisional', it does not imply that a rational explanation will inevitably be discovered but only that the essence of scientific research consists in doing *as if* such was indeed the case on an open-ended time scale.

This broad perspective entails a shift in the place of formalisation in historical constructs. While the emphasis is usually laid on the heuristic function of mathematical tools, upstream, the logicist approach takes it that the design of qualitative models expressing the cognitive content of theories that seem to work, downstream — even if only for a while and within narrow limits — is as good a contribution as any to the progress of formal reasoning in the humanities.

8 The arguments in the preceding sections bring to mind the long-standing debate on 'the conflict of interpretations' revived many years ago by Paul Ricoeur under that title (1969) and nourished to this day by sympathisers of the hermeneutical approach of human matters. They contend that the phenomena studied in the sciences of man exhibit an innate richness and complexity that will resist any attempt to 'reduce' them in terms of formal models or *explanations*, as in the natural sciences. The normal state of affairs instead is said to be an abundance of alternative or complementary rather than conflicting viewpoints, from which we may hope to gain an *understanding* of our objects of study. Standing examples are easily found in studies of literature or art, where the author of a new interpretation of a given work is visibly under no obligation to peruse, refute or even mention the works of his/her predecessors on the same subject. But the historical and anthropological sciences produce constructs of much the same sort that raise interesting questions regarding their epistemological status. Such constructs are often said nowadays to stand somewhere 'between Science and Literature', thus leading to the concept of a Third mode of knowledge within the broad universe of 'narrativity'. I have more than once underlined the vagueness of that concept, nowhere defined in positive, operational terms, and recalled my arguments for a bolder separation of the two genres, rather than this *ad hoc* hybridisation (references in Gardin 2001a). The usual misunderstanding then is to regard this position as a consequence of an alleged worship of Science in the logicist programme (*supra*, § I, *b, c*); my claim instead is that the more talented authors in the hybrid genre would enhance rather than compromise their professional status by becoming frankly 'literary' in the sense advocated for instance by Simon Schama in history and Clifford Geertz in anthropology, among others (Gardin 1995).

However, many historical narratives do not readily lend themselves to logicist modelling: they are made up of myriads of discursive leaps $p \dashrightarrow q$, describing, imagining or postulating innumerable chains of events and minor causes or consequences selected from a huge set of possible worlds. Any analysis of argument carried out at this level of details tends to blur the overall structure, thus defeating its own purpose — much as an analysis of the reasoning processes in meteorological forecasts would not be conducted at the level of the millions of mathematical operations involved. What I am driving at here is the desirable coexistence of *two possible modes of discourse within the scholarly profession*, each serving a worthy but *distinct* function, best fulfilled through the use of *different* discursive tools or semiological systems. (*a*) Logicist models represent the cognitive mode, in the strict sense; they provide a condensed and logically structured expression of the complements or transformations of pre-existing knowledge put forward in scholarly publications, in the form of a data base and a schematisation of the 'reasonable' (Toulmin 2001) not to say 'rational' interpretation process built upon it. (*b*) The more ample accounts of new knowledge in our traditional 'literature', represent the narrative mode, but with the ambiguity previously exposed (§ 2): the written products of the human sciences are *not* included in the kind

of literary works (poetry, theatre, novels) discussed by Jerome Bruner as examples of *his* narrative mode of knowledge (1986:15–43). True, much of our prose clearly and sometimes explicitly indicates an attraction for the world of Literature, acknowledged by the very inventor of the 'Third culture' concept (Lepenies 1987:16); but this is not enough in my view to support the claim for a distinct epistemological status, negatively defined — "not even science or art" (Hodder 1986:page *x*) — an opinion shared by W. Stoczkowski, among others, which he substantiates by a subtle analysis of one of Carlo Ginzburg's most notorious narratives (2001).

9 Let me drive this point home by drawing attention to similar positions coming from rather unexpected sources. (*a*) First, from the natural sciences: a biologist and a writer, brother and sister, have just published a joint book on the theory of evolution divided in two parts, a literary fiction and a scientific post-face. Both parts have been carefully built up so that the reader may either consider the first one alone, thus acquiring an intuitive grasp of evolutionary theory in a hopefully pleasurable way, or go back and forth between the two parts in order to gain a deeper understanding of its scientific basis (Képès & Képès 2002).

(*b*) A neuropsychiatrist known for his widely read books on ethology recently reflected upon his publications in the following terms: "the reason why my books are read by non-professionals and yet abundantly cited in dissertation theses is that I combine two things that academics fail to associate: a 'hard' scientific and clinical structure, around which I arrange flesh, illustrations, anecdotes, *i.e.* narratives most of the time inspired by my patients, my friends or my own childhood" (Cyrulnik 2002, my translation).

(*c*) Then, a message from philosophy: Paul Ricoeur, internationally known as one of the founding fathers of hermeneutics, delivered two years ago a distinguished lecture at the Sorbonne in which he presented his last thoughts on the writing of history (2000). Many of them came as a surprise for those in the audience who had a close knowledge of his previous positions — e.g. a revision of past attacks against positivist historians, now declared 'unfair', together with a plea for a return to the 'école méthodique' of older times; a new emphasis on the importance of proof in historical constructs, which implies a feasibility previously denied; a change of heart on the once fundamental distinction between 'explanation' in the natural sciences and 'understanding' in the humanities, now flatly denied: "in history, there is no irreducible dichotomy between explanation and understanding" (*op. cit.*, p.739, my translation), etc. The most significant point in our present perspective is Paul Ricoeur's reconsideration of "the space of narrative and rhetorical configurations that rule in the literary phase of historiography". He now warns us against "the confusion between narrative coherence and explanatory connexity" and stresses his new concern for "the signs of literarity" in historical constructs, with a view to establish that "narrative codes are no substitutes for explanatory modes, only adding to them a note of readability and visibility", etc. (*ibid.*, p.742).

(*d*) Finally, back to archaeology: fictional accounts of the historical or pre-historical past published by professional scholars have been with us for a long time, but they have seldom been inspired by a desire "to engage in a discussion of issues and trends in archaeological theory embedded in a fictional account". Margaret Conkey has recently brought out in those terms the originality of three novels which she was reviewing in *American Antiquity* (2002:166). Her conclusion is an impassioned defence of literary works of that sort in archaeology: for they are likely "to draw in more students in the classroom than do our overwhelmingly detailed introductory textbooks" (*op. cit.*, p.167). We clearly need both kinds of work, however, not only for "expanding the archaeological imagination" — the title of M. Conkey's review — but also for sharpening our understanding of the relation between the two genres *within science*, archaeological or other. This goal is more easily achieved when the two sorts of intellectual exercise are conducted separately, in distinct though interdependent works, as in the examples mentioned above (*a* and *b*).

10 In the first presentation of the logicist programme, many years ago, a full chapter was devoted to the problem of archaeological publications (Gardin 1980:146–164). But why a 'problem' ? The immediate reason was a conviction expressed by others long before that conciseness and clarity should be the prime virtues of our 'literature'; yet, the basis and structure of archaeological argument tend to dissolve under the constraints or habits of traditional discourse. Another reason, more hazy in my mind then, was that the schematisation of argument envisaged in *Archaeological Constructs* offered an alternative way of presenting our ideas about the past; and I was bold enough to announce that I would eventually publish examples applied to my own research in progress (1980:164, n.8). The first one came out a few years later, in a largely didactic book on logicism and expert systems (Gardin *et al.* 1987: 59–91); another, more detailed one forms the final chapter of a traditional publication related to my fieldwork in Afghanistan (1998a:167–180). In both cases, the narrative and the formal version of the same construct have been designed separately, in keeping with the principle recommended above; each one is built up according to its own logico-discursive recipes, without any attempt to forge an 'intermediate', hybrid product.

A similar course has been followed in a more recent and more ambitious publication (Roux, ed. 2000), which marks a big step forward, not anticipated twenty years ago. A 500 pages book describes the ancient beads found in the Indian subcontinent and the various meanings assigned to them from several viewpoints, technical, economic, social,etc.; a CD ROM is attached to it, which presents the logicist version of the cognitive substance of the book, extracted from its narrative form. The hypertext format enables the reader/user of the publication to take advantage of its navigational facilities for rapid consultations on specific parts of the overall construct. This reformatting raises technical problems of its own, but it illustrates an inborn adaptability of logicist models to such applications, due to their computational structure.

I have deliberately used the 'reader/user' doublet to designate the addressees of such publications. The printed text is intended for *readers* in the strict sense of the word, who are ready to bury themselves in all or some chapters of the book because of a direct relevance to their research objectives of the moment. The *users* of the CD ROM may include readers in this same sense, so accustomed to computer interaction that they find it more convenient to acquire knowledge from hypertext models than from narrative texts; but this form of publication is first and foremost intended for archaeologists who are no more able or willing to read or scan whole texts in search of answers to specific questions. Some scholars are opposed to that evolution; while acknowledging that archaeologists cannot read all the articles and books relevant to their field of research, they feel that they somehow manage to go through them or consult them easily, thanks to such aids to information retrieval as indexes, abstracts, keywords, current contents, reviews, etc. My own experience, narrow as it is, runs counter to this optimistic view; and a growing number of experts in information science seem to share the same doubts (Gardin 2001c). The phenomenon is an aspect of the so-called 'information crisis' of the present times, which is neither limited to the humanities nor essentially related to the new information technology. Essentially, it has to do with the unbalance between the *growing* volume of publications currently produced in our respective areas of research and the *fixed* neuronal capacities of their potential readers. The problem has been elegantly summarised by Professor P. Joliot, a physicist of international standing who teaches cellular bioenergetics at the Collège de France in Paris. "Researchers have not waited for the development of communication networks to be swamped by a flood of publications which exceed their capacities of assimilation. Even if we limit ourselves to articles published in scientific journals, it has long been impossible to accumulate all the available information in one's own domain [...] While the communication and information technology develops explosively, the capacities of our

brain to acquire, store, assimilate and produce information remain unchanged" (Joliot 2001:88–89, my translation).

Going back to the new forms of publication discussed above, the following points should then be stressed. (*a*) Our resorting to an electronic support has nothing to do with the digitalisation of archaeological articles or books presented elsewhere as a 'solution' to the information crisis; the real innovation here lies in expressing their cognitive content as logicist, treelike models prior to their recording on a computer. Only then can they be readily *consulted*, granted that the original linear version would not be *read* more quickly on the screen than on paper. (*b*) I do not even regard this step as a 'solution' to P. Joliot's problem; it is merely a provisional expedient, among others to come, until we are able to face the deep causes of the unbalance which he brings out so well, namely the dramatic growth of the world population, despite decreasing rates here and there, and the corollary even if not proportional increase in the number of research workers active in most fields of scientific research and technology. Our 'crisis', in that perspective, is another consequence of our blind faith in 'Growth', 'la Croissance', to solve the difficulties of which it is in fact the cause. (*c*) Returning to our immediate concerns, let me add a final point regarding the place of printed publications in the contemplated evolution. The call for more 'literary' accounts of the past which is part of the logicist programme (*supra*, § 8 and 9) makes it clear that the promotion of electronic publications of the kind just discussed does not in any way encroach on the territory of printed books or journals. A problem remains, however, of deciding whether cognitive models on CD ROMs or Web sites should eventually be substituted to the traditional narratives of the archaeological literature, once computer modes of scientific communication have become common practice. For example, we might argue that the costly printing of the 500 pages book published by V. Roux *et al.* was after all unnecessary, for three reasons: first, this collective book is by no means a 'literary' work in the eyes of any of its authors; second, its cognitive content is wholly preserved in the CD ROM attached to it, much cheaper than the book; third, the format adopted in the latter makes for easy consultations by even the less advanced in computer literacy, while the more proficient might soon prefer to 'read' compact logicist models rather than their wordy versions in narrative discourse.

The editor's and publisher's viewpoint for the particular series opened by this book is in favour of a provisional compromise between two conflicting factors: on the one hand, a reluctance or sheer incapacity to finance the production of archaeological works whose readership is seldom sufficient to meet the costs; on the other hand, a conviction that the time has not yet come, if it ever will, to consider that the handling of cognitive models on computers has become so common practice that it is possible to do away with traditional texts altogether. A change of perspective is nevertheless already apparent in the following shift: whereas in the above example the model on CD ROM is presented as an adjunct of the text, the future publications in the same series will conceive the text as an adjunct of the CD ROM, containing a short paraphrase of the model in linear discourse, instructions for its use, and any additional information which the author may deem necessary on the circumstances of its production and its consequences for further research.

IV Prospects

The practical developments just discussed are not expected to receive a more favourable reception than their theoretical background twenty years ago. The only reasonable way to conclude this paper would therefore seem to be an explanation of our stubborn continuation of a research programme ignored by most in the profession. Let me first recall that this programme has been framed from the outset in a *long term*, evolutionary perspective, far remove from the revolutionary tone of our frequent paradigmatic changes in archaeology. Several decades will probably elapse

before the findings of the ongoing epistemological debates recalled above will have an impact on the syllabus of courses in archaeology. Yet, there are signs of a personal awareness among younger scholars of the theoretical and practical issues raised in those debates and of their relevance to their work or life. I trust the more free-spirited among them will eventually take up teaching positions where they will be able to share their concerns more widely, whether they are reflected or not in the curriculum.

Another element to keep in mind is the part which the cognitive sciences are likely to play in the evolution of our *Zeitgeist*. A neurologist, Jean Delacour, recently proposed to define the cognitive revolution in retrospect as the joint development of a 'hard' science approach of knowledge processes and its industrial extensions in the field of computers; the logicist programme is obviously a product of the same conjunction. As the findings of cognitive research take an increasing place in our general culture, we may gradually become more open to the concept of a certain epistemological unity of the natural and human sciences, contrary to the hitherto dominant vision of their difference. A manifestation of that trend is the increasing number of books and conferences intended for a relatively broad public which deal with the relation between body and soul, biological and mental phenomena embraced under the word 'conscience', etc. Neurophysiologists provide the more innovative keys, but psychologists, sociologists and philosophers take part in such studies, apparently confident that the idiosyncratic modes of reasoning which they defend will not prove an obstacle to cooperation with scientists of 'the other side'.

Further, in encouraging closer links between the biological and the social sciences, the cognitive movement may contribute to dispel some die hard prejudices about the role of models and formalisation in the build up of science; for the models of biology are often qualitative, relying on a mode of formalisation that is closer to our logicist schematisations of narrative constructs than to the mathematical models of physics. True, one may condemn this loose use of the word 'formal' applied both to logico-discursive and to quantitative models. I take comfort in the fact that scholars trained in formal logic, far from raising that objection, call for more research on the relation between natural logic in ordinary conversations and the field-related logics at work in our schematisations of historical constructs (Grize 2000).

To conclude, the prospects for the logicist philosophy do not seem as bad as its critics claim, in the long run and in a broader context than archaeology alone. Speaking of philosophy — for the first time in this paper... — a reference should be made to a research programme presented by two distinguished American archaeologists on a semiotic approach of interpretative constructs based on Peircean models (Preucel & Bauer 2001). Having myself originally presented the logicist programme under the banner of semiotics (references in Gardin 2000), I was happy to take part in the discussion which took place at a recent meeting of the Society of American Archaeology on this subject (SAA 2001: 22) and I welcome this opportunity to explore in the future the analogies and differences between our respective orientations.

References

Bell J.A. 1994. Interpretation and testability in theories about prehistoric thinking // The Ancient Mind. Elements of Cognitive Archaeology. Cambridge.

Berthelot J.-M. (ed.). 2001. Epistémologie des sciences sociales. Paris.

Bruner J. 1986. Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, MA.

Conkey M. 2002. Expanding the Archaeological Imagination // American Antiquity. Vol. 67: 166-168.

Cyrulnik B. 2002. Interview by J. Lenzini in 'Le Monde', 30 July 2002, p. 24.

Francfort H.-P. 1992. The sense of measure in archaeology. An approach to the analysis of proto-urban societies with the aid of an expert system // Representations in archaeology. Bloomington.

Gardin J.-C. 1980. Archaeological Constructs. An Aspect of Theoretical Archaeology. Cambridge, Paris (Русский перевод: Теоретическая археология. М., 1983).

Gardin J.-C. 1990. The structure of archaeological theories // Mathematics and Information Science in Archaeology: a Flexible Framework. Bonn.

Gardin J.-C. 1992. Semiotics trends in archaeology // Representations in archaeology. Bloomington, Indianapolis.

Gardin J.-C. 1995. L'éloge de la littérature et ses ambiguïtés dans les sciences historiques // Dans les Alpes à l'aube du métal. Archéologie et bande dessinée. Sion.

Gardin J.-C. 1996. Cognitive issues in archaeology // Archaeologia Polona 34: 205-232.

Gardin J.-C. 1997. "Quand on voit c'qu'on voit, quand on sait c'qu'on sait..." // L'Homme. T. 143: 83-90.

Gardin J.-C. 1998a. Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974-1978). Description des sites et notes de synthèse. Paris.

Gardin J.-C. 1998b. Cognitive issues and problems of publication in archaeology // Theory and Practice of Archaeological Research, III. Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the 90s. Warsaw.

Gardin J.-C. 2000. Approches sémiotiques du raisonnement en archéologie: une contribution au problème du 'pont' // Semiotics as a Bridge between the Humanities and the Sciences. New York, Ottawa, Toronto.

Gardin J.-C. 2001a. Entre modèle et récit: les flottements de la troisième voie // Le modèle et le récit. Paris.

Gardin J.-C. 2001b. Modèles et récits // Epistémologie des sciences sociales. Paris.

Gardin J.-C. 2001c. Vers un remodelage des publications savantes: ses rapports avec les sciences de l'information // Filtrage et résumé informatique de l'information sur les réseaux. 3e Congrès du Chapitre français de l'ISKO [International Society for Knowledge Organisation]. Nanterre.

Gardin J.-C., Borghetti M.N. 1995. L'architettura dei testi storiografici: un'ipotesi. Bologna.

Gardin J.-C., Guillaume O., Herman P.Q., Hesnard A.,Lagrange M.-S., Renaud M., Zadora- Rio E. 1987. Systèmes experts et sciences humaines: le cas de l'archéologie. Paris.

Gardin J.-C., Lagrange M.-S. 1975. Essais d'analyse du discours archéologique // Notes et Monographies Techniques du Centre de Recherches Archéologiques. № 7.

Grenier J.-Y., Grignon C., Menger P.-M. (eds.). 2001. Le modèle et le récit. Paris.

Grize J.-B. 1996. Logique naturelle et communication. Paris.

Grize J.-B. 2000. Les discours du savoir. Pour un dialogue avec Jean-Claude Gardin // Revue européenne des sciences sociales. T. XXXVIII. № 119.

Hodder I. 1986. Reading the Past. Current Approaches to Interpretation in Archaeology. Cambridge.

Joliot P. 2001. La recherche passionément. Paris.

Képès F., Képès S. 2002. Dans le tourbillon de la vie. Paris.

Lagrange M.-S., Bonnet Ch. 1978. Les chemins de la memoria: nouvel essai d'analyse du discours archéologique. Paris.

Lepenies W. 1987. Sur la guerre des sciences et des belles-lettres à partir du XVIIIe siècle // MSH Informations 54: 8–17.

Nouvel P. (ed.). 2002. Enquête sur le concept de modèle. Paris.

Passeron J.-C. 1991. Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel . Paris.

Preucel R.W., Bauer A.A. 2001. Archaeological Pragmatics // Norwegian Archaeological Review. Vol. 34. № 2.

Renfrew C. 1994. Towards a cognitive archaeology // The Ancient Mind. Elements of Cognitive Archaeology. Cambridge.

Ricoeur P. 1969. Le conflit des interprétations: essais d'herméneutique. Paris.

Ricoeur P. 2000. L'écriture de l'histoire et la représentation du passé // Annales HSS, juillet- août 2000, № 4.

Roux V. (ed.). 2000. Cornaline de l'Inde. Des pratiques techniques de Cambay aux techno- systèmes de l'Indus [French-English CD-ROM enclosed]. Paris.

SAA (Society for American Archaeology). 2001. Abstracts of the 66th Annual Meeting, April 18–22, 2001. Washington.

Scarre C. 1999. Archaeological theory in France and Britain // Antiquity. Vol. 73: 155–161.

Stoczkowski W. 2001. Raison narrative: des vertus cognitives du récit comparées à celles du modèle // Information sur les Sciences Sociales. T. 40. № 3.

Toulmin S. 1958. The uses of argument. Cambridge.

Toulmin S. 2001. Return to Reason. Cambridge, MA.

Walliser B. 2000. L'économie cognitive. Paris.

Е.М.Колпаков[1], *В.А.Назаренко*[2]

МЕТОДОЛОГИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК

E.M. Kolpakov, V.A. Nazarenko. Methodology of archaeological excavations.

Практика археологии заставляет полагать, что применение самых совершенных методов раскопок не обеспечивает само по себе качественность раскопок и приемлемое понимание памятника. Методически безукоризненно проведенные раскопки могут в ряде случаев приводить к плачевным результатам, вплоть до полного непонимания раскопанного (и тем самым уничтоженного) памятника. Вызвано это, видимо, двумя основными причинами. Первая хорошо известна археологам — это уникальность каждого археологического памятника, не позволяющая по-настоящему стандартизировать процедуру раскопок. Вторая — «методологическая наивность» современных подходов к археологическим раскопкам, основанная на уверенности в том, что правильные методы раскопок сами по себе приводят к правильному результату. Причем методы раскопок изложены только на уровне учебников для первокурсников, а их чтение неизменно вызывает улыбку у опытных археологов.

1. Существует два литературно оформленных подхода к определению цели и выбору метода археологических раскопок. 1) «Традиционный» («индуктивный») — подчеркивающий, что раскопки приводят к безвозвратному уничтожению памятника, и поэтому выдвигающий на первый план требование максимальной полноты полевого изучения памятника и его фиксации. «Копать все, брать все» — известный афоризм этого направления. 2) «Новый» (поскольку был поднят на щит американской «новой археологией») («дедуктивный») — требующий проводить раскопки только для решения определенной научной проблемы, копать только то и столько, сколько необходимо для ее решения и фиксировать только то, что имеет к ней отношение.

Во взаимной критике оба подхода достаточно обозначали слабые места друг друга. Для первого это практическая и теоретическая невозможность зафиксировать «все», неизбежная ориентация исследователя на решение тех или иных научных проблем, субъективно приводящая к соответствующей ориентации всей процедуры раскопок, и т.д. Для второго это сознательное одностороннее изучение памятника, заведомо не позволяющее использовать его для изучения других научных проблем, непригодность подхода в спасательных раскопках, относительная доля которых все увеличивается, привязанность к гипотезно-дедуктивному методу исследования, который не является единственным, и т.д.

Между тем, вопрос о базовых установках, с которыми археологу целесообразнее подходить к раскопкам конкретных памятников, так и остается открытым. (Да и сама дискуссия по этому вопросу, развязанная «новыми археологами» в 60–70 гг., была весьма ограниченной). При этом опытные профессиональные археологи используют в своей работе совершенно определенный подход, не заявляя о нем в литературе (насколько нам известно). Основная его идея состоит в том, что *универсальной и главнейшей непосредственной задачей любых раскопок является выявление и фиксация следов археологизации памятника, восстановление его первоначальной конструкции и процесса ее функционирования.* Все другие задачи следует ставить после решения этой. (Для красоты слога можно назвать это полевой парадигмой археологии).

[1] Санкт-Петербург, Россия

[2] Мюнхен, Германия

Вот для этого подхода мы и попробуем привести некоторые методологические обоснования. При этом мы не считаем, что отсутствие в литературе этих обоснований является решительной слабостью этого подхода. Куда важнее, на наш взгляд, его эмпирическая обоснованность. Практика показала, что он приводит к наилучшим результатам, насколько археологи в состоянии их оценить вообще. В то время как теоретическое рассмотрение всегда осуществляется в рамках какого-либо философского направления, заведомо ограниченного как теоретически, так и практически (по крайней мере, на современном уровне философии науки, поскольку существующие разработки в этой области, при всей их полезности и привлекательности, нельзя считать достаточными с точки зрения опыта и практики науки).

2.1. Первой отправной точкой наших рассуждений является примитивнейший эмпирический факт: в процессе археологического исследования уничтожается сам объект исследования, который всегда уникален. А чтобы доказать любое свое утверждение, археолог должен привести в его пользу эмпирические факты, которые, однако, уже не существуют. Существуют лишь сохраненные археологом фрагменты (вещи, кости, образцы и т.д.), а также чертежи, фотографии, описание, дневник — т.е. археологические коллекции и отчет. Последний, в отличие от коллекции, выступает заместителем ранее существовавших эмпирических фактов. Если надеть на археологию кафтан экспериментальных наук, то можно сказать, что в ней эксперимент невоспроизводим и прямо непроверяем и научное сообщество может оперировать только записью о нем. (Что касается археологических находок, сохраняемых в коллекциях, то без соответствующих сведений из отчета они почти полностью теряют свою информативность и значение). Отсюда особые требования к отчету об археологических раскопках — он должен быть максимально полным аналогом уничтоженного объекта.

Заметим, что, на самом деле, и в гипотезно-дедуктивном подходе это требование смягчается, но не снимается, так как эмпирическая проверка гипотезы фактически предстает перед научным сообществом в виде отчета о раскопках.

2.2. Так ли уж нам важна полнота сохранения раскопанных археологических памятников в отчетной документации? Вообще-то, она вытекает из задач, которые ставятся перед археологией. Так или иначе от археологии требуют участия в обретении истинного знания о человеческом прошлом во всем его многообразии, а не только и не столько добывания древних художественных и материальных ценностей. Как только речь заходит о добывании истинного знания, мы попадаем в царство науки, которая и вырабатывает специально способы достижения истины и критерии истинности, обоснованные общественно-исторической практикой, частью которой является и научная практика.

Одними из основных требований научного метода являются опора на эмпирические факты и доказуемость утверждений. Соблюдение этих требований в археологии невозможно без надежного отчета о раскопках, так как обращение к эмпирическим фактам в археологии в целях доказательства, в конечном итоге, представляет собой обращение к отчету. Таким образом, научность археологии и возможность достижения истинного знания о человеческом прошлом определяются качеством археологического отчета.

2.3. Кроме этого, те же требования к отчету предъявляет задача сохранения культурного наследия. Здесь, кажется, были бы уместны раздающиеся иногда призывы отказаться от археологических раскопок или свести их к минимуму до лучших времен и лучших методов. Однако эти кабинетные идеи противоречат реальности. А в реальности археологические памятники быстро уничтожаются природой и человеком. Например, в Ленинградской области за последние 50 лет, по нашим оценкам, исчезло около половины памятников архе-

ологии. Все же после археологических раскопок от памятника остаются, по крайней мере, коллекции и отчет. И не надо забывать, что методы совершенствуются только в процессе их применения, а не сами по себе, то есть, если не проводить раскопки, то не будет и новых методов.

2.4. Нередко встречается мнение, что многие археологические памятники практически не являются уникальными. Многое повторяется, особенно в памятниках одной культуры, и поэтому упущенное в раскопках одного памятника или не отраженное в отчете о нем может быть восполнено при раскопках другого однотипного памятника. Все это справедливо, но ведь судить о сходстве памятников мы можем лишь после того как уничтожим их раскопками, т.е. по отчетам. Это значит, что подход к раскопкам каждого памятника как уникального объекта является методически грамотным. В противном случае от разных памятников останутся однотипные отчеты об однотипных памятниках.

Добавим к этому, что в идиографических науках, к которым относятся история и археология, факты сами по себе тоже являются конечной целью науки наряду с устанавливаемыми на их основе законами. Поэтому каждый памятник представляет ценность и сам по себе, независимо от его признанной уникальности или типичности.

2.5. Итак, чтобы «сохранить» объект исследования, археологу необходим отчет. Чтобы доказать что-либо с помощью эмпирических фактов, археологу необходим отчет. Чтобы познание прошлого могло осуществляться на научном уровне, в археологии необходим отчет. Чтобы сохранить культурное наследие, необходим археологический отчет. А чтобы отчет был в состоянии выполнять эти функции, он должен быть максимально полным аналогом раскопанного памятника.

Как же это осуществить?

3.1. До сих пор в археологии живет старая идея, что при проведении раскопок нужно просто все честно зафиксировать с наибольшей тщательностью. Однако те, кто не поленился познакомиться с достижениями философии науки XX века, утверждают, что это невозможно. Действительно, в XX веке убедительно показано, что нет абсолютно объективной регистрации эмпирических фактов, что зафиксированные наукой факты всегда теоретически нагружены, что ученый всегда фиксирует лишь ограниченное число фактов об исследуемом объекте, более или менее соотносящихся со знакомыми ему научными представлениями, и т.д. и т.п. Поэтому реализация старой идеи о тотальной фиксации невозможна.

К сожалению, далее обычно делается вывод о том, что тогда фиксировать в раскопках нужно лишь то, что работает на доказательство или опровержение гипотез исследователя, или, более широко, вообще на решаемые археологией проблемы. На наш взгляд, это является результатом абсолютизации и некритического приложения ряда модных разработок философии науки последних 30–40 лет, которые, очевидно, описывают лишь одну из сторон процесса познания. Разумеется, здесь не место обсуждать философские проблемы науки, отметим лишь следующее.

Выяснение и доказательство истины в науке вовсе не ограничиваются экспериментом, ссылкой на эмпирические факты и логическими построениями (что известно, по крайней мере или отчасти, с И. Канта). Не менее (а может быть, и более) важными здесь являются общественно-историческая практика, соответствие весьма далеким частям научной картины, невысказываемые учеными и даже невербализуемые научные представления, рефлексия самого процесса исследования. Подобные вещи обеспечивают признаваемую философами практику науки, а именно: способность ученых наблюдать и регистрировать эмпирические факты относительно независимо от своих теорий, рационально выбирать среди

конкурирующих теорий, находить общий язык между сторонниками разных теорий и т.п. Поэтому, если не занимать догматически какие-либо яркие (т.е. крайние до абсурда) философские позиции, то задача наиболее полного отражения объекта исследования в полевом отчете остается разумной.

3.2. Во всех науках подобные задачи повышения объективности фиксации эмпирических фактов решаются на пути применения специальных процедур исследования и регистрации наблюдений. И в археологии, на самом деле, уже выработано немало приемов, направленных на решение этой проблемы. Это параллельная регистрация раскапываемого объекта в чертежах и фотографиях, это протоколирование самого процесса раскопок в дневнике и фотографиях (теперь и видео), это сама методика раскопок, это тройное дублирование информации о раскопанном памятнике в отчете разными средствами фиксации «текст — чертежи — фотографии». В то же время, очевидно, что археологов не может удовлетворять достигнутое состояние дел в этой области.

Конечно, некоторые улучшения могут быть достигнуты за счет технических средств: массированная цветная и специальная фотосъемка, фиксация с помощью видеокамеры, повышение точности и подробности фиксации, увеличение количества естественнонаучных анализов и т.п. Все это почти исключительно вопрос финансирования, а не методологии, хотя иногда и требует некоторого приспособления методов раскопок. Но главное, все-таки, видится на пути совершенствования процедуры археологических раскопок.

Любое исследование начинается с постановки задачи, в любом исследовании ученый стремится что-то узнать. В археологии здесь существует два основных уже упоминавшихся варианта. Задача раскопок либо добыть как можно больше фактов о раскапываемом памятнике, либо проверить выдвинутые гипотезы. Они, конечно, имеют ряд разновидностей, не меняющих их сути. Например, в первом сбор фактов обычно ориентирован на решение тех или иных культурно-исторических вопросов. Причем, от постановки задачи зависит методика раскопок и то, что археолог сможет увидеть в раскопе и зафиксировать в отчете. Так нельзя ли поставить задачу археологических раскопок так, чтобы это уже само по себе в наибольшей степени способствовало созданию отчета — максимально полного аналога уничтожаемого объекта?

3.3. На наш взгляд, практика археологии может предложить на сегодняшний день следующий ответ на этот вопрос: *универсальной непосредственной задачей любых раскопок является выявление и фиксация следов археологизации памятника, восстановление его первоначальной конструкции и процесса ее функционирования*. Именно такая постановка задачи заставляет археолога выявлять и фиксировать при раскопках максимум данных. Именно тогда в раскопе нет незначимых мелочей — любая деталь, любое пятно или прослойка, любое наблюдение становятся важными для понимания конструкции объекта, его функционирования и археологизации. Например, черепок «без ничего», относящийся к массовому материалу, важен для определения места, на котором стоял сосуд, того, как он падал, и т.п., что, в свою очередь, важно для реконструкции всего сооружения и процесса его разрушения. Поэтому археологу придется копать памятник таким образом, чтобы найти подобную «ерунду» и точно ее зафиксировать.

Заметим, что реализация этой задачи обеспечивает использование в археологии ее фундаментальных понятий. Например, чтобы доказать «закрытость» закрытого комплекса (а это одна из базовых источниковедческих обязанностей археологии), нужно доказать, что вещи, найденные археологом в нем, были упокоены одновременно и вместе, а не попали в него в процессе археологизации, — а для этого необходимо реконструировать первоначальный вид сооружения, процесс его функционирования и разрушения.

3.4. Из такой постановки цели раскопок следует важный вывод для методики археологических раскопок (давно реализуемый на практике многими археологами): метод раскопок может меняться в процессе раскопок в зависимости от открываемых остатков и их понимания и на разных участках раскопа могут применяться различные методы. Если археолог видит, что применяемый им метод раскопок не позволяет понять открываемую с его помощью картину, он обязан далее применить другой метод. Если он подозревает, что применяемый им метод раскопок приводит к тому, что важная информация не открывается и ускользает от фиксации, он обязан далее применить другой метод.

Никакая инструкция по полевой методике не может подробно предписать, как нужно раскапывать тот или иной вид памятников. В ней могут быть предписаны лишь отдельные элементы раскопок и фиксации (как это и сделано в современном Положении об открытых листах). Нельзя научиться производить археологические раскопки по инструкциям и методическим пособиям: этому можно научиться только в процессе самих раскопок. Последнее реализовывалось в археологии всегда: все сначала учатся копать непосредственно в поле у более опытных товарищей. Многие археологи называли археологические раскопки искусством — и это действительно так. Однако сравнивать их лучше не с искусством художника, а с искусством врача или спортсмена: нужны знания, необходимо отлично владеть различными инструментами и приемами и нужно уметь их применять в каждом конкретном случае.

S. Tabaczyński[1]

COCONSTRUCTING THE PAST: THE COGNITIVE STATUS OF ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE

С. Табачински. Реконструкция прошлого: познавательный статус археологических источников.

Главная цель этой статьи — обсудить некоторые вопросы, касающиеся статуса археологических источников, в связи с дискуссией, которая ведется в настоящее время в истории (между модернизмом и постмодернизмом) и постпроцессуалистски ориентированной археологической среде. В первой части статьи рассматривается вопрос о том, доступна ли для археолога прошлая реальность. Вторая часть посвящена особому положению бесписьменых источников, включая археологические, которые рассматриваются как независимые эмпирические свидетельства, могущие служить для проверки (фальсификации по Попперу) и исключения гипотез, предлагаемых на основе как археологических находок, так и внеисточникового знания. В третьей и четвертой частях статьи говорится о понятии истины, о когнитивном статусе и роли археологических повествований (нарративов) в их различных аспектах.

It happened that I have never had the opportunity to meet Professor Leo Klejn celebrating now his Anniversary. Nevertheless, we haven't been isolated. Thanks to the initiative of Herman Behrens from Halle our two short studies about the European Neolithic have been published in the same, initiated by him, first volume of "Neolithische Studien" (1972). Then there was a period in which, for the extra-scientific reasons, any kind of contact became impossible — except the one form accessible to me — that is a systematic reading of Leo Klejn's works found in all the libraries I frequented. I followed with a particular interest especially all the threads concerning the problems of archaeological sources. The problem of archaeological evidence (Klejn 1978) became also the object of a vivid discussions during my frequent scientific stays, including lectures abroad, especially in Italy and in France (Tabaczyński 1987; 1998).

It is for precisely that reason — thanking the Editors of this Festschrift very warmly for the invitation — I'd like in my modest contribution to dedicate just a few remarks to the question of the archaeological sources. I don't intend to attempt to present even a broad outline of this problem. I'd like rather to indicate some selected aspects of the discussion which is currently being conducted in historiography and in some postprocessually oriented archaeological milieux (Ankersmit 1998; Domańska 1997; 1998; 2001; Hodder 1982; 1986; 1999; Johnson 1999; Pearson, Shanks 2001).

My recent experience concerning this kind of problem is linked with an International Symposium about "Archeologia Teorica" organized by University of Sienna in the conference center of Pontignano. But the more recent and more inspiring motif for the presentation here of some reflections are studies of recent vivid discussions about the concept of truth, about the cognitive status of historical narratives and about the informative, persuasive and ideological aspects of these narratives (Tabaczyński 2000).

Speaking about my inspiration for this paper, I have to mention also two other initiatives. The first is linked with the workshop "Quo vadis archaeologia ?" organized in Mądralin near Warsaw

[1] Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

in October 2001 by the European Science Foundation. In the programme of this workshop the problem of the archaeological sources and the cognitive role of archaeology were presented and broadly discussed (Kobyliński 2001).

The second initiative was the annual Biskupin meeting concentrated on the relationships between "Archaeology — Culture and Ideologies". During this meeting I presented briefly some issues concerning the difficulties related to "Dealing with the Human Past in the Present". A precious incentive to undertake these problems is the fact that increasing numbers of the younger Polish archaeologists are interested in the postprocessual approach to the theory and practice of archaeology, including also the cognitive role of archaeological evidence. It is all the more optimistic in that the decisive majority of archaeologists in Poland (and, perhaps, not only there) display some symptoms of "theory fatigue" and thus tend to occupy the comfortable position of observer typical for the narrow horizons of spontaneous, nad've positivism.

[I] ***Sources and non-source-based knowledge: has the archaeologist access to past reality?***

As it appears from any brief review of the main theoretical orientations in today's archaeology, scholars comprehend past reality itself (as well as the possibility of access to it) quite differently (Domańska 1998). Within the thought still dominant in many positivistic circles, the object of archaeological research (and also history) is the "objectively existing" and "unrepeatable" reality. This reality exists objectively not only in an ontological sense (as something that had occurred), but also in a cognitive sense, as an already formed and unchangeable structure of historical facts. The researcher aims to determine these objective facts that are graspable for him (Pałubicka, Tabaczyński 1986).

For a positivist, the social past reality is (like a natural reality), a complete and ready to be investigated structure of facts, ruled by certain universal regularities. A scholar must collect facts, and through them discover the rule underlying the regularities. He constructs their image in the form of a one-level linear narrative, which R.G. Collingwood (1961: 257 f.), not without a certain degree of irony, described as a history of "scissors and paste".

The archaeologist has been convinced about the solid, non questionable, epistemological status of his fossil sources as "containers" (Topolski's term) which preserve truth. This attitude to the evidence called by J. Topolski (1994; 1995; 1996; 1997a: 58) the "myth of historical sources" is expressed through a set of metaphors. These can be conceived as a concretization (or variants) of a more general metaphor regarding a presumption of "access" to the reality of the past which they assume is assured by these sources. There are e.g. first of all the various "optical metaphors". So the sources are compared to a sheet of glass. Carlo Ginzburg used in this context the idea of deformed glass. The metaphor could also be expressed by a mirror "reflecting" the past reality. In any case these metaphors assume the possibility of a vision of the past, even if the available image might often be "distorted".

In the other metaphors, the sources are considered as 'traces" left by the past. This metaphor also — like the optical ones — has in its background the classical (correspondence) conception of truth (a sentence is true if it informs us about something which takes, or took — place in reality). We will return to this problem later. In such an understanding, like in a detective novel, one arrives at the truth by examining the traces. Hence the well known success — also in archaeological milieux — of Carlo Ginzburg's essay "Spie. Radici di un paradigma indiziario" including also the discussion that followed the methodological suggestions of the author in "Quaderni di Storia" (1980; 1981). Three main problems stressed in this debate seem to be of particular interest for archaeologists: firstly the nature of historical cognition and the notion of "paradigma indiziario" as they have been conceived by Ginzburg; secondly the relationship between the "context of

justification" and "context of discovery" and finally the most important one, the fundamental role played by deductive reasoning as defined by Peirce (1932: 137) and described by Simon (1977: 151), Molino (1992: 20) and Peebles (1992: 360 ff).

Topolski (1976a; 1983), in a classification of sources of information on the past, regarded archaeological evidence as belonging among the category of direct sources. They render possible direct cognition of certain aspects of past reality; give access to the information they contain without the need for a third party (unlike an indirect source which we obtain from an informant); do not require investigation of reliability (although they require authentication); fulfil a mediating function in the relationship: past — present — past, but do not have persuasiveness; do not form a "communicative chain" (informational link) between "sender" and "receiver"; and have the character of symptoms.

The classification into direct and indirect sources has its supporters in J.G. Droysen, E. Bernheim, B. Schmeidler, M. Handelsman and seemed one of the more interesting for archaeologists. What is striking for someone who is dealing with these direct sources is Topolski's opinion that direct sources, even if accessible to us directly as physical items (objects, buildings), are pulled out of this reality and deprived of the natural historical context. This means that historians don't observe the past reality as such, but only some objects which in order to become sources should first be interpreted and narrativised.

Topolski's conclusion (1997a, b) is that the direct sources are more distant from past reality than indirect (written) sources which have already been narrativised by the informants (here the production of an historical narrative consists mainly of rephrasing of one narrative into another).

Topolski's opinion — even if matching better to the progressive calling into question of the nad've certainty of cognition diffused till now among many representatives of historical sciences — seems to me from an archaeologist's point of view too pessimistic. Contemporary archaeology deals today not with isolated objects but has the increasing possibility to reconstruct their contexts. Modern projects are now tending to examine not only the physico-chemical mini structures of the items which are the object of its interest but also the maxi structures of — for example — settlement complexes discovered and examined in the context of whole territories. The investigations of a so-conceived "context of the context" has become a quasi standard of much long term research. Assuming — as many historians did — an antiquarian vision of archaeological evidence as collections of separate objects, artefacts, finds deprived of context, Topolski's opinion isn't surprising. The so conceived, archaeological "traces" lead — Topolski stresses — only to single, isolated facts; individually they allow inference about each of them (in the sense of *modus ponens*). But they don't reveal to us a past reality in a manner giving us any overall vision of it.

Because of this Jerzy Topolski proposed the metaphor of the thread. It is a subtle metaphor describing the limited contact between the source and past reality, and a certain link indicating a non determined but stable relationship between the past and the historian's or archaeologist's narratives about it. This "dressmaker's" metaphor stressing the limitations of contact, and weakness of the link with the past reality, simultaneously allows the researcher to situate himself in a realistic discourse. This metaphor sides with neither the classic conception of truth nor with its postmodernist total negation.

Accordingly to Topolski (1997: 65), the metaphorical thread concerns only information about the individual fact of the type — *957: Dobrava ad Mesconem venit.* The information of such a type can be called "basic" and the facts which it concerns — "basic facts". This basic information — despite the superficial appearances — is not the "Protokolsätze" of logical positivism nor does it correspond with Karl Popper's basic propositions. Topolski's basic information (and propositions) assure only a realistic alibi, without which it would be impossible to differentiate between a historical and literary narrative.

But possession of the information about single facts, assuring a link between the narrative constructed by the historian and the past, doesn't mean that he has access to past reality. Topolski answers the question formulated in the title of this chapter in the negative ... The historian does not have access to the past reality. Neither has the archaeologist. A narrative about the past is always a certain integrated whole (or as Topolski states a structure composed of a series of narrative wholes of various scopes). In these wholes the information about the single facts (i.e. information and basic statements) loses their individual character and could be used as elements of possibly quite different narratives. For Ankersmit for example the past is comparable to an amorphous collection of grains of sand from which historians create one form or another comparing them to those created by other historians. According to Ankersmit, one can only consider and assess which of them are more "objective" or more "subjective", which historian's point of view is more holistic or more bold. Thus according to Topolski (1996: 87; 1997: 67, 70) the historical narrative should be defined as the historian's construction supported by documentary evidence.

[II] ***The special position of archaeological sources***

Hoping that the assessment of the cognitive value of archaeological evidence should still be the object of a debate, I should emphasize referring also to Anna Pałubicka's opinion (Pałubicka, Tabaczyński 1986: 167) that:

1. A reconstruction of ancient culture requires an attempt to solve several methodological problems and those related to theory of culture. We may further conclude, that total reconstruction of a past reality, based exclusively on archaeological sources, is practically impossible.

2. It is impossible to reconstruct the whole cultural system through ethnological analogies (these analogies only help to establish a general sense of specific actions and artifacts).

3. This does not mean, however, that we should depreciate the efforts of archaeologists to make order of their data, according to the requirements of contemporary knowledge of sources. These data, however, may serve as negative evidence to exclude interpretations, which cannot be supported by the material evidence of a given culture. In other words, these data could be treated as independent empirical evidence, which potentially falsifies interpretative hypotheses, which are suggested not only by the archaeological sources, even those described in great detail and interpreted in a most sophisticated manner, but are suggested by: (1) accepted social theory, and also by (2) accepted theory of culture, which detects an internal structure of beliefs and functions fulfilled by specific parts of culture, and finally (3) the knowledge of ethnological empirical data, interpreted according to the methods of cultural anthropology.

At this point it seems opportune to make some comments concerning the division of sources into written and non-written. This division is often considered by historians as well as by archaeologists to be the fundamental one. It isn't my intention to enter into the classification problems of all kinds of evidence of the past. I'd like however to recall that roughly speaking there are at least two main manners of conceiving non-written sources including archaeological evidence:

The first of a rather selective character consists of identifying them mainly with so-called material culture whose remains, traces, artefacts, structures have been preserved in (or on) the earth. The simple artefact, building or monument could be described, classified, and interpreted as source of historical information concerning the isolated episodes of the past. "Material culture" has often in practice, till now been treated in historiography as "rhetoric of curiosities" supplementing — like an anecdote or an illustration of the discourse on the material conditions of social existence (Maetzke 1986). In many cases the studies of even isolated component of "material culture" could be of a certain importance. For the history of culture as conceived by Krzysztof Pomian (1995: 1–13) a remarkable role is displayed by the semiophores — that are visible, material

items which are carriers of valuable meaning and often, for this reason, excluded temporarily from the depositional process.

The second manner of approach to the non-written sources of information on the past has an integral and holistic character. It introduces to that category also such entities as multistrata sites, cultural landscapes, antique and medieval plans of cities, and still existing human population which is considered as one of the best and the richest, retrospective sources of reliable information on the human past.

From the holistic point of view the material (non-written) aspects of culture became an autonomous realm of human existence and development. As stressed by Schnapp (1993) **typology** frees archaeology from the onerous dependence on written sources; **technology** — from the dilemma of Nature / Culture; and **stratygraphy** from the paradox local / universal.

The history of human species is written from now on in that which is material, concrete and observable today in (or on) the earth — complexes of monuments, spatial arrangement of towns, cemeteries, buildings — the anthropogenic changes in the natural environment detectable by natural scientists, as well as in that which is not material, written sources, traditions. Narration extends beyond the confines of chronological, territorial and even material barriers. Excavated data inform us about — to refer to the terminology of Lévi-Strauss (1958) — not only those manifestations of which we are aware, but also those of the conditioning of social life in all epochs on all continents of which we are unconscious (cf also Tabaczyński 1996: 13–32).

This dual character of the sources gives an entirely new dimension to historical cognition. Also the living human beings as well as the biological remains of past human populations become an fundamental sources of information about the social past. The living man, carrier of tradition, reflects — according to G. Labuda (1957: 3–51) — directly and simultaneously physical (ergotechnic), social (sociotechnic) and mental (psychotechnic) phenomena. Now we know that this realm of interest is continuously widening.

As stressed by Colin Renfrew (1993; 2000) there are at least three essential premises opening up new cognitive perspectives for the study of ethnogenetic processes. The recent advances in several fields of this study bear upon the question of who and what we are. They concern the nature our collective identity as citizens each of our own nation, as Europeans, and finally as members of the human species. They allow us to understand better the origins of different kinds of diversity. **Genetic diversity** has become the object of intensive investigations of a newly emerged discipline of archaeogenetics which applies molecular genetics including DNA-based analyses as well as mitochondrial DNA and Y-chromosome analysis, to understand better our physical nature. **Linguistic diversity** is studied by modern linguistics which offers a much less simplistic view of the formation and evolution of languages, which is applicable not only to the Indo-European world. **Cultural diversity** is a traditional domain of archaeological studies, but modern, especially processual archaeologists are increasingly attempting on the basis of material evidence not merely to describe, but also to explain. As Renfrew (1993: 20) writes, the „old models based mainly upon very simplistic ideas of the migrations of 'peoples' can no longer be accepted".

Summing up my comments about the metaphors used by J. Topolski, I think that if the archaeological resources will be considered selectively that is in terms of our first approach, the division between direct and indirect sources is too firm (in favour of indirectly transmitted information). For the holistically conceived non-written sources being potentially a projection of the entire historical process, the metaphor of the thread is decisively too weak.

[III] ***Concepts of the truth. Varieties of constructivism***

In the archaeological literature coexist two contradictory concepts of the knowing subject,

which could be — I think — related to the questions we are discussing here. According to the first of them the knowing subject (in our case — the archaeologist, researcher of the past) could be "autonomous with respect to the inherited tradition and with respect to all the particular circumstances in which he is carrying out his cognitive process". In consequence, he is able to neutralize the subjective factors and to understand and to analyze their impact (Amsterdamski 1994: 80).

The second conception admits that the knowing subject couldn't be treated as if being beyond the world constituting the object of his cognitive activity. The autonomy of the knowing subject, his capacity to gain knowledge unmediated by his natural constitution and social position, has been questioned by physics, by biology, neurophysiology as well by linguistics, cultural anthropology, sociology and history, not to mention philosophy.

These two conceptions, although presented in the research practice, seem to be inadmissible simplifications. The first of them is an inductivist illusion, the second — a result of sociological reductionism, treating any kind of human activity as directly determined by social situations and interests.

One has the impression that archaeology — especially in certain Central-European milieux — takes a lazy in the short term position of observer of methodological discussions carried on in historiography, i.e. within a discipline only apparently (mainly for the sake of chronology, but by no means meritorial) distant from archaeology. This concerns e.g. the lively discussion of new, controversial concepts of historical truth (e.g. the postulated existence of many truths in historical narratives), the assumptions about the world (the ontological spaces of historians) and problems of ideology, objectivity and neutrality in the research on the social past.

According to Andrzej Zybertowicz (1995: 7–28) constructivism has risen from a crisis of the idea of the classic method, which premises should have guarantied infallible ways to obtain new knowledge as well as to be a means giving certainty and the assessment of newly created knowledge. He stressed that constructivism is a conception formulated in opposition to philosophical (or epistemological) rationalism, fundamentalism and objectivism.

It is just this block of concepts forms which according to Zybertowicz the objectivist model of cognition. In this model one assumes that knowledge is determined by the relations which are active in the vertical plane: subject — object. The subject is here stronger than the object and determines the content of the subject's consciousness — as long as the latter is ready to reject interests, myths, ideologies and illusions on the way to the truth.

In contrast to this approach, constructivism abandons the vertical plane and assumes that the cognitive contents are to be found and the area of the relationships between the subjects i.e. in the horizontal plane. The horizontality of the cognitive processes means, among other things, that it does not consists of the patterning of a certain kind of the beyond culture reality, but is, above all, an inter-cultural game — including intra- and inter-cultural dialogue (Wrzosek 1995). That is why also constructivism rejects the opposition: real, natural and conventional.

All the distinctions, periodizations, differentiations, categorizations are elements of cultural games, and — as such — have a conventional character (which does not mean that they can be arbitrarily established) and this inter-personal relations can be the object of empirical investigations in social sciences.

[IV] ***Ideology in narratives of the human past***

Those philosophers of science who do not accept the correspondence conception of truth at all, claim that what a historian (archaeologist) writes about the past is his own construction, because nothing of what the historian constructs in his narrative occurred in such a form (Topolski 1994: 75).

The role of ideology belongs to the main and the most discussed problems of the social theory of the science and knowledge. As has been stressed by many recent authors, if theoretical background assures a coherence to the communication layer, so ideology (or ideological substructure) steers the persuasive layer of historical narrative.

Ideology belongs to the main systems steering narrative. No historiography can escape from the ideology, even if the historian wishes to be entirely "objective" and when he is totally convinced that he is relating the truth, because even this aim is itself ideology. And such a tendency is all the more decisive the more it is connected with the historian's conviction about the existence of the unique truth to which we are aiming (Topolski 1996: 366).

In Topolski's model of ideology the dimension of time is considered one of the most important factors differentiating ideological phenomena. While Dilthey considers that the sense of life and existence can only been perceived through the prism of the past (since are formed by our past) and Husserl emphasizes the priority of the present in our thinking, in Heidegger's thinking the future has been emphasized. The Heideggerian DASEIN is — as Carr stressed (1985 and 1997) — plan and possibility comprehended only through their projection into the future.

In Topolski's concept of ideology precisely this dimension of time is a factor differentiating ideology. He stresses that ideology: (1) is embedded in society developing together with rhythms; (2) it embraces above all the categories of identification (national; religious; professional; group etc.); (3) the present situation is assessed in terms of the preferred future; (4) the term political myth — having also futurist tendencies — is sometimes used instead of ideology; (5) ideology (and myth) in this manner forms a powerful network of interpretational inspiration; (6) another network of this kind used to construct the narrative whole is constituted by theories and theoretical conception. Such a network sometimes corrects the ideological one, at the same time its choice is usually ideologically determined.

[V] ***Final remarks***

This paper has considered only a few aspects of the very complex problem of the current situation of archaeology between modernism and postmodernism.

(-) I have treated sources and non-source-based knowledge of the historian from the point of view of the accessibility to the past reality with special attention to archaeological evidence. The archaeological data may serve as negative evidence — in Popper's sense — which potentially falsifies interpretative hypothesis which cannot be supported by the material of a given culture area (Pałubicka, Tabaczyński 1986).

(-) In Topolski's work of 1994 his main claim is that the concept of truth is indispensable in historiography. Archaeology needs it even more. As in historiography, truth in archaeology is always involved in the context of a given archaeologist's belief, and (as in history) the narrative itself is an intricate structure in which one can single out three aspects: the informative; the persuasive (rhetorical); and the ideological (controlling).

This implies — according to the author — the necessity of accepting the existence of many truths, in historical (archaeological) narratives. Their relative value is determined by empirical practice.

(-) Summing up — should we reject all postmodernist's (or post-postmodernist's) ideas without their deeper analysis or should we consider them first "sine ira et studio"? In addition, is it possible or desirable to practice archaeology as if these discussions had never taken place?

References

Amsterdamski St. 1994. Tertium non datur? Warszawa.

Ankersmit F. 1998. Historiography and Postmodernism // The Postmodern History Reader. Routledge, London and New York.

Carr D. 1985.Künftige Vergangenheit. Zum Vorrang der Zeitdimension bei Husserl, Dilthey und Heidegger // Dilthey und die Philosophie der Gegenwart. Freiburg, München.

Cavalli-Sforza L.L. 2000. Genes, Peoples and Languages. New York.

Collingwood R.G. 1961. The Idea of History. Oxford.

Domańska E. 1998. Encounters: philosophy of history after postmodernism. Charlottesville.

Domańska E. 2001. Toward the Archaeontology of the Dead Body (A Contemplative Approach to the Past) // Er[r]go. № 3.

Domańska E. (ed.). 1997. Historia o jeden świat za daleko. Poznań.

Garden J.-C. and Peebles Ch. S. (eds). 1992. Representations in Archaeology. Bloomington, Indianapolis.

Ginzburg G C. 1986. Spie. Radici di un paradigma indiziario // Miti, emblemi, spie.

Morfologia e Storia. Torino.

Gosden C. 1994. Social Being and Time. Oxford.

Hodder I. 1982. The Present Past. An Introduction to Anthropology for Archaeologist. London.

Hodder I. 1986. Reading the Past. Cambridge.

Hodder I. 1999. The Archaeological Process. An Introduction. Oxford.

Johnson M. 1999. Archaeological Theory. An Introduction. Oxford.

Klein L.S. 1978. (Клейн Л.С. Археологические источники. Л.).

Klein L.S. 2001. Metaarchaeology. Copenhagen.

Kobyliński Z. 2001. Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century?. Warsaw.

Labuda G. 1957. Próba nowej semantyki i nowej interpretacji źródeł historycznych // Studia Źródłoznawcze. Vol. I.

Lévi-Strauss C. 1958. Anthropologie structurale. Paris.

Maetzke G. 1986. Źródła archeologiczne jako odwzorowanie procesu społeczno-kulturowego // Teoria i praktyka badań archeologicznych. T. I. Przesłanki metodologiczne. Wrocław.

Mamzer H. 1996. Pytanie o archeologię // Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka? Poznań.

Molino J. 1992. Archaeology and Symbol Systems // . Representations in Archaeology. Bloomington, Indianapolis.

Neustupný E. 1992. Archaeological Method. Cambridge.

Pałubicka A., Tabaczyński S. 1986. Społeczeństwo i kultura jako przedmiot badań archeologicznych // Teoria i praktyka badań archeologicznych. T. I. Przesłanki metodologiczne. Wrocław.

Patrik L.E. 1984. Is there an archaeological record // Advances in Archaeological Method and Theory. Vol. 8.

Pearson M., Shanks M. 2001. Theatre Archaeology. London, New York.

Peebles Ch.S. 1992. Rooting Out Latent Behaviorism in Prehistory // Representations in Archaeology. Bloomington, Indianapolis.

Peirce C.S. 1932. Collected Papers. Vol. VII. Cambridge.

Piekarczyk S. 1971. Z problemów polisemantyzacji kultury. Próba konstrukcji modelu // Studia Źródłoznawcze. Vol. XVII.

Pomian K. 1995. Jak uprawiać historię kultury // Przegląd Historyczny. Vol. 16.

Renfrew C. 1993. The Roots of Ethnicity. Archaeology, Genetics and the Origins of Europe. Roma.

Renfrew C. 2000. Archaeogenetics: Towards a Population Prehistory of Europe // Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe. Cambridge.

Renfrew C., Boylek K. (eds). 2000. Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe. Cambridge.

Schnapp A. 1996. The Discovery of the Past. London.

Shanks M., Tilley C. 1987. Re-constructing archaeology. Cambridge.

Simon H.A. 1977. Models of discovery and other topics in the methods of science, "Boston Studies in the Philosophy of Science", vol. 54, Dordrecht — Boston.

Tabaczyński S. 1987.Archeologia średniowieczna. Problemy. Źródła. Metody. Cele badawcze. Wrocław.

Tabaczyński S. 1992."Paradygmat poszlakowy" i problemy wnioskowania w badaniach archeologicznych // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. Vol. 16.

Tabaczyński S. 1998.Archaeological sources: problems of identification and inference // Dialogue with the data: the archaeology of complex sociaties and its context in the 90s. Warszawa.

Tabaczyński S. 2000.Una svolta metodologica forzata e le sue conseguenze inattese: il caso dell'archeologia polacca // Archeologia Teorica, Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, Sezione Archeologica, Universitŕ di Siena. Firenza.

Thomas J. 1996. Towards a Heideggerian Archaeology? // Archaeological Dialogues. Vol. 3. № 1.

Tilley Ch. 1999. Metaphor and Material Culture. Oxford.

Topolski J. 1976a. Methodology of History. Warszawa, Dordrecht.

Topolski J. 1976b. Refleksje na temat teorii źródła historycznego // Historyka. Vol. V.

Topolski J. 1977. Wstęp // M. Foucault, Archeologia wiedzy. Warszawa.

Topolski J. 1980. Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w Humanistyce. O cechach charakterystycznych przełomu antypozytywistycznego w naukach historycznych // Studia Metodologiczne.

Topolski J. 1983. Teoria wiedzy historycznej. Poznań.

Topolski J. 1993. A non-postmodernist analysis of historical narratives // Historiography between modernism and postmodernism. Contribution to the methodology of the historical research. Poznań.

Topolski J. 1994. Mit źródła historycznego, źródła historyczne w filozofii argumentacji // O nauce i filozofii nauki.

Topolski J. 1996a. Jak się pisze i rozumie historię. Warszawa.

Topolski J. 1996b. Konstruktywizm narracji historycznej. Historyk i źródła // Przegląd Bydgoski. Vol. 7.

Topolski J. 1997a. Czy historyk ma dostęp do przeszłej rzeczywistości. Problem źródeł historycznych // Historia o jeden świat za daleko. Poznań.

Topolski J. 1997b. Rozważania o teorii źródeł historycznych // W kręgu historii, historiografii i polityki. Łódź.

White H. 1973. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore, London.

White H. 2000. An Old Question Raised Again: Is Historiography Art or Science ? (Response to Iggers) // Rethinking History. Vol. 4. № 3.

Wrzosek W. 1998. Losy źródła historycznego (refleksja na marginesie idei R.G. Collingwooda) // Świat Historii. Poznań.

Yates Y. 1990. Jacques Derrida. "There is nothing outside of the Text" // Reading Material Culture. Oxford.

Zybertowicz A. 1995.Konstruktywistyczny model poznania // Przemoc i poznanie. Toruń.

Я.А.Шер[1]

ЕЩЕ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И «ЗАКЛЮЧЕННОЙ» В НИХ ИНФОРМАЦИИ

Ya.A. Sher. Once again about archaeological records and the information they «contain».

The common opinion is that an archaeological monument is a source of information about life of early man. But in fact this is not true. While every archaeological monument had existed long before it has been touched by an archaeologist's hand, archaeological records as a source of information about the past do not exist by themselves. Between an archaeological monument and archaeological records stands a researcher with his particular level of education, general erudition and professionalism. Archaeological records as any other sources of scientific information (e.g. an archive document, a laboratory logbook, etc.) should be available for repeated reference when new questions or new research approaches emerge. The excavations destroy the monument, thus making the repeated reference impossible. For an archaeologist the source of scientific information is not the monument itself but the observations and facts established by the researcher during the excavations and the comparative analysis. They may feature in excavation reports or field documentation drawn up during excavations as well as in the results of various laboratory and analyses (anthropological, paleozoological, palynological, etc.). Archaeology is not a source study but a historical discipline aimed at the reconstruction of the past after ancient material remains.

Я благодарен организаторам данного сборника за приглашение принять в нем участие и рад тому, что своим скромным вкладом смогу выразить свое давнее (знаю Клейна более 40 лет) убеждение в том, что Лев Самойлович Клейн, собственно, и есть «феномен советской археологии». Его научные интересы необычайно широки и разнообразны, особенно, — по меркам нынешней археологии, когда специализация исследователей сужается. Археологическая типология и Гомеровский эпос, сарматские курганы и радиоуглерод, индоевропейская проблема и «другая любовь» — по всем этим и другим темам он пишет статьи и книги, которые неизменно вызывают большой интерес и оживленный отклик.

Среди разных тем, которым Клейн уделял много внимания в своих публикациях, особенно в 60-е — 90-е гг., наибольшую роль играет теоретическая археология. А в этой области особое место занимает тема «Археологические источники», которой посвящены два издания его известной книги (Клейн 1978; 1995). В определенном смысле это — две книги. Во втором издании появилось по крайней мере 6 новых разделов, терминологический словарь, библиография, указатели. Интересным дополнением к книге Клейна стали рецензии и отклики на первое издание (Беляев, Фролов 1980; Захарук 1983; Плахин 1985; Аникович 1988). Среди них особое место занимают «отвергнутая рецензия» (Григорьев и др., 1991) и статья Е.М. Колпакова (1988), снова воспроизведенная в приложении ко 2-му изданию с особым комментарием в редакционном предисловии: «...мы перепечатываем интересную статью его ученика Е.М. Колпакова, построенную как разбор — раздел за разделом — книги Клейна. Статья написана в сугубо критическом ключе — как критика книги, но с пози-

[1] Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия.

ций, определенных Клейном и в том же направлении». Последние слова немного загадочны.

Тема эта интересует многих, в том числе и меня. Задолго до выхода первого издания «Археологических источников» Клейна, мои соавторы и я посвятили одному из аспектов этой темы специальную работу, рукопись которой, уже готовая к изданию, около трех лет пролежала в ожидании разрешения акад. Б.А.Рыбакова на ее публикацию (Каменецкий и др. 1975). Данная статья тоже посвящена этой теме. Она ни в малейшей мере не претендует на полемику с Клейном. Спорить с ним рискованно: он приведет многочисленные доводы в свою пользу и выскажет их с остроумной и тонкой иронией. Поэтому в последующем тексте будет не спор, а попытка рассмотреть понятие «археологический источнию» несколько иначе, чем его рассматривал дорогой юбиляр. Одна из несомненных заслуг Клейна состояла в том, что, заострив в первом издании своей книги внимание на многостороннем (с моей точки зрения, избыточно многостороннем) анализе понятия «археологические источники», он заставил нас задуматься над тем, какова глубинная суть интуитивно ясного понятия «археологический источник» (*источник чего?*). Попытка ответа на этот вопрос, собственно, и составляет содержание данной статьи.

1. Является ли археологический памятник археологическим источником?

В научной и учебной литературе (напомню, что первое издание книги Клейна шло под грифом «учебное пособие») понятия «археологический источник» и «археологический памятник» почти всегда отождествляются. Эта традиция существует достаточно давно. Сложилась ли она по аналогии с древними письменными сочинениями, которые тоже называют то источниками, то памятниками («Слово о полку Игореве» — памятник древнерусской литературы) или как-то иначе, в данном случае неважно. Хотя аналогия представляется вполне естественной: историческая наука сформировалась раньше, чем археология, и одно из основных ее понятий — исторический источник — давно вошло в обиход. Позднее, с развитием археологии, исторические источники стали разделять на два вида: письменные и вещественные, подразумевая под последними, в основном, археологические (или этнографические) материалы.

Такое разделение вообще неудачно, и странно, что на это практически никто не обращает внимания. *Письменные источники тоже вещественные.* Особенно такие, как, например, Бехистунская надпись на высокой скале по дороге в Хамадан, кодекс Хаммурапи на диоритовой стеле или кумранские свитки. Кроме того, к вещественным источникам принадлежат не только археологические, но и многие другие объекты и предметы, относящиеся к разным периодам истории, в том числе и совсем недавней. Например, под Стокгольмом есть огромный двухэтажный ангар — депозитарий этнографического музея (Nordiska Museet), в котором хранится все, выходящее из употребления: от старинной утвари и одежды до сельскохозяйственных машин и пожарных автомобилей устаревших марок. И все это считается вещественными источниками.

Один из не вполне явных, но основных постулатов, из которых исходит в своих рассуждениях большинство современных археологов, состоит в том, что археологические источники и археологические памятники (объекты, материалы, данные) это практически одно и то же. «Вещественный источник — *вещь или вещественные остатки* (курсив мой — Я.Ш.), выступающие в качестве источника информации о других вещах...» (Клейн 1995: 257). «Археологический источник — древний вещественный источник, вещь (или комплекс вещей)...» (там же, 1995: 258). «Археологическая систематика ... складывается из двух основных разделов: а) систематика археологических источников (памятников и их

содержимого) и б) систематика древней материальной культуры...» (там же, 1995: 275).

Как уже говорилось в начале этой статьи, представление о том, что археологические источники это — древние предметы и объекты и что последние содержат в себе некую информацию о прошлом, сложилось в нашей науке стихийно, начиная еще с драматического времени борьбы за внедрение марксизма в археологию. Вспомним: «вещь — исторический источник» (Кипарисов 1933). Я тоже был причастен к такой трактовке. Книга, которую мы написали с И.С.Каменецким и Б.И.Маршаком, без малейших сомнений была нами названа «Анализ археологических источников (возможности формализованного подхода)». Разумеется, имелись в виду древние вещи и объекты.

Такая трактовка понятия «археологический источник» нашла свое отражение не только в теоретических работах (например, Щапова 1991: 121), но и в учебниках (Авдусин 1989; Мартынов 2000), и даже в философских публикациях. Например, «...это материальные остатки прошлого (различные сооружения, орудия труда, утварь, оружие, украшения и т. д.), сохранившиеся полностью или частично. Для того чтобы их можно было использовать в качестве источников, они должны быть особым образом «прочитаны». Это значит, что все орудия и результаты человеческой деятельности рассматриваются как феномены, в которых прямо или косвенно «закодирована» информация об этой деятельности, условиях и предпосылках ее реализации и т. д. Поэтому археологические источники должны подвергаться двоякого рода «декодировке» (вспомним «двойной разрыв» у Клейна — Я.Ш.). Первый этап состоит в описании содержащейся в них информации на каком-либо естественном языке; второй — в переводе этого описания на язык исследователя» (Ракитов 1982: 101–102).

Таким образом, идея о том, что «...основным источником информации являются именно вещественные остатки, которые и приобретают роль археологических источников» (Боряз 1975: 10), была, и в значительной степени остается, можно сказать, общепринятой. Достаточно привести взятые наугад несколько названий археологических публикаций: «Прошлое Казахстана по археологическим источникам», «Интерпретация археологических источников», «Саяно-Алтайский шаманизм по археологическим источникам» и т.д. Эта традиция приобрела, можно сказать, официальный характер запуском в серию издания «Свод археологических источников». Неудивительно, что и Клейн подошел к характеристике археологических источников с этих же позиций, несмотря на подчеркнутое им расхождение с советским археологическим «истэблишментом». Вместе с тем хорошо известно, что позиция большинства еще не является гарантией правильности.

2. Содержится ли в археологических памятниках (источниках) информация?

Второй постулат, из которого исходят в своих рассуждениях многие авторы (в их числе и Клейн), состоит в том, что археологические источники, как и исторические, *содержат в себе* некую «закодированную» информацию о прошлом, а исследователь, вооруженный научными методами эту информацию извлекает. «Источник (информации) — *объект* (курсив мой — Я.Ш.), содержащий информацию...» (Клейн 1995: 253). «... Они содержат информацию о неких иных, более удаленных фактах прошлого, зачастую особенно важных для историка...» (там же, 1995: 60); «...любые источники в известном смысле содержат информацию...» (там же: 69); «...исторический источник можно определить как *объект, существующий к моменту исследовательского восприятия (доступный исследователю) и содержащий для этого восприятия информацию о фактах прошлого*...» (там же: 78); «... информация, заключенная в любых объектах, может условно рассматриваться как сообщения, составленные в неких знаковых системах (или на неких языках)...» (там же: 79); «Ар-

хеологические данные — сумма информации, *извлеченной* (курсив мой — Я.Ш.) из ряда археологических источников и обработанной» (там же:259); «Археология — наука, разыскивающая и изучающая археологические источники *ради извлечения из них информации* (курсив мой — Я.Ш.) о далеком прошлом для истории и других наук» (там же: 266). Та же мысль представлена и в других публикациях Клейна. Например, «Интерпретация — это целый этап (причем поздний этап) в процедуре археологического исследования этап, на котором из предварительно отпрепарированного и обработанного археологического источника специфическими, достаточно строгими методами *извлекается* (курсив мой — Я.Ш.) археологическая и социологическая информация» (Клейн 1997: 228).

Правда, если ограничиться только этими цитатами, то получится не вполне объективное, одностороннее отражение концепции Клейна об археологических источниках. Клейн отлично понимает некоторую неполноту и ущербность такого подхода. «Так есть ли в исторических источниках историческая информация? И да, и нет. Нельзя представить себе, что историческая информация содержится в источнике, будто молоко в кувшине... Она *не существует предварительно в источнике*, но и *не привносится со стороны, а вырастает из информации источников о прошлом* («потенциально исторической информации») *в процессе ее потребления*» (там же: 75). Вот, так — информация вырастает из информации в процессе потребления... Значит все же какая-то информация в источнике содержится. Не как молоко в кувшине, которое уже готово к употреблению, а как-то иначе, но содержится.

По этому вопросу критикующий Клейна Колпаков солидарен со своим учителем: «Археологические памятники и вещи — это *источники-остатки*» (Колпаков 1995: 305); «...извлекать информацию из современных вещей, наверное все-таки легче, чем из древних...» (там же: 308); «...Информация, которая извлекается из вещей или которую пытаются извлечь...» (там же: 309). Но и у Колпакова не все так однозначно. «...в "языковых" текстах информация кодируется, а в вещах информация отражается...» (там же: 310). Содержится ли отражение в зеркале? Вроде бы нет, но на поверхности зеркала отражение тоже кодируется квантами света или волнами разной длины. А содержится ли отражение в сознании? По-видимому, да, в виде взаимодействия групп нейронов, синапсов и иных биохимических процессов, и тогда эти биохимические реакции тоже своего рода код? Вопросы, на которые вряд ли вообще есть прямые ответы.

Допустим, что информация о прошлом «заключена» или «отражена» в источниках (т.е. в памятниках, вещах). Нужно только уметь получить эту информацию, т.е. «прочесть» или «декодировать» ее. Система археологических научных знаний и методов дает в руки специалисту некую «грамотность» или декодировочную таблицу, позволяющую более или менее достоверно «прочесть» или «расшифровать» информацию, заключенную в памятнике (т.е. в источнике). Отсюда неизбежно следует, что если памятник (т.е. источник) изучен с полным соблюдением всех научных и методических требований, то в результате археолог должен получить всю содержащуюся в нем информацию. Однако каждому археологу-практику без каких-либо теоретических рассуждений хорошо известно, что памятник не является неким механическим вместилищем фактов. Мало того, сплошь и рядом случается так, что разные археологи, изучая одни и те же памятники и соблюдая в общем одни и те же требования, получают разную информацию и приходят к разным выводам. Аналогичная ситуация наблюдается и в других науках, включая самые «точные».

Для сравнения поставим вопрос: что является источником информации, например, для физики атмосферы, сама гроза с молнией и громом или показания приборов, регистрирующих физические параметры этого явления природы? Ответ очевиден в пользу показаний приборов. Что является источником информации для врача, сам пациент или показа-

ния температуры, артериального давления, различных анализов, рентгенограмм и т.п.? Да, был, например, легендарный диагност, доктор С.П.Боткин, который безошибочно ставил диагноз без анализов и рентгена. Но ведь источником информации был опять же не столько сам пациент, сколько те, неуловимые непрофессиональным глазом изменения в его облике, неслышимые непрофессиональным ухом шумы в его внутренних органах, которые были вызваны заболеванием. И гроза, и больной человек существовали и существуют за пределами науки, а показания приборов, результаты профессионального обследования пациента (включая анализы) — это уже научная информация.

Итак, памятники, вещи, следы деятельности древних людей — это не источники информации, а предметы наблюдений и исследований, из результатов которых могут формироваться научные факты (подробнее об археологическом факте см. Викторова 1975; Захарук 1977; Шер 1985 и др.). Для того чтобы наблюдения не оставались субъективными впечатлениями, они протоколируются. Дневниковые записи в ходе раскопок представляют собой нечто вроде протокола эксперимента в естественных науках. Личные наблюдения записываются и дополняются чертежами, рисунками, планами, разрезами, фотографиями, результатами анализов и т.п. Такая запись неизбежно содержит в себе какую-то интерпретацию (хозяйственная яма, очаг, следы перестройки, последовательность наслоений и т.д.). Все это — археологическая научная информация. Ее *источником являются наблюдения и рассуждения исследователя, зафиксированные в комплекте документации, составленной в ходе раскопок или иного исследования.* Называть древние памятники или предметы источниками, в которых заключена информация, можно только в метафорическом смысле. Кстати, метафорический язык в описании археологических объектов все еще занимает большое место. Достаточно упомянуть «пламевидное копье», «реповидный сосуд», «бабочковидное или сердцевидное перекрестие». Это говорит о том, что процесс формирования специального языка науки еще далек от своего завершения (подробнее см. Шер 1978).

Следующий вопрос: если информация не содержится в археологическом памятнике (источнике) как молоко в кувшине или как-то иначе, то где и как она возникает и откуда берется? Вопрос не такой простой, каким он может показаться сначала, он сродни вопросу «откуда берется энергия?». Не случайно математический аппарат теории информации, разработанный уже полвека тому назад К. Шенноном и У. Уивером совпадает с уравнениями, описывающими поведение термодинамических систем. Не случайно и там, и здесь употребляется такое понятие как энтропия системы, только с разными знаками: в термодинамике с плюсом, а в информодинамике с минусом (негэнтропия).

Говоря обобщенно, информация возникает там, где в некоей хаотической системе появляется упорядоченность. Как она появляется, при помощи «демона Максвелла» или путем случайного «запоминания» последовательности нуклеотидов, это — вопрос «второй». Попытки ответа на него можно найти в специальной литературе (например, Шредингер1972; Кастлер 1967 и др.).

Каким бы понятием «информация» мы не пользовались, обиходным или строго научным, желательно иметь в виду, что информация *не является самостоятельной субстанцией.* Так же, как тепловая энергия не хранится в полене дров, информация тоже ни в чем не хранится, ни как молоко в кувшине, ни как-либо иначе. Если взять текст на незнакомом языке, из него невозможно «извлечь» никакой информации. Однако для человека, владеющего этим языком, текст будет источником информации. Но источником не как резервуаром, а как одним из элементов системы: источник (текст) — приемник (читатель) — канал связи (язык текста). «Информация — есть характеристика не сообщения, а соотношение между сообщением и его потребителем» (Тростников 1970: 15). Именно поэтому при ис-

следовании одних и тех же памятников, разные исследователи приходят к разным результатам. Для существования информации необходима (но не всегда достаточна) система, состоящая, по крайней мере, из трех элементов: источника приемника и канала связи. Это в идеале. В реальной практике информация зависит от помех (шума) и способов их подавления, от пропускной способности канала связи и многих других «мелочей», которые могут ее исказить. Среди специалистов по информодинамике тоже нет единства в определении информации. Однако даже самые решительные критики других определений признают, что «и человек как интеллектуальная система, и информация как явление существуют только как процесс, только как конкретное взаимодействие с окружением» (Лачинов, Поляков 1999: 174).

Начнем с более простой ситуации, которая значительно ближе к «молоку в кувшине» — с уже давно и хорошо известного письменного источника. В нем информация облечена в словесную форму (летопись, различные надписи, монетные легенды, законы, политические, торговые, религиозные документы и т.п.). Словесную, языковую форму хранения информации можно считать в высшей степени упорядоченной и к тому же снабженной чем-то вроде страховки за счет естественной избыточности языка. Поэтому, имея письменный источник, для «извлечения» информации достаточно знать язык или его дешифровать. Правда остаются нюансы разночтений и комментариев, но это уже в данном случае не принципиально и неизбежно, поскольку всякая информация всегда сопровождается естественным или искусственным шумом. Заключена ли информация в тексте на неизвестном языке? Казалось бы, да, поскольку информация это — упорядоченность, а всякий текст представляет собой упорядоченную последовательность знаков. Однако и здесь информация не существует сама по себе, изолированно от всей информационной системы: источник (текст) — приемник (читатель) — канал связи (язык) и источник помех (лакуны, утраченные фрагменты, варианты чтения и т.п.). Высокий уровень упорядоченности и избыточности создает благоприятные условия для «извлечения» информации из письменного источника, но не более того.

Менее благоприятна ситуация при изучении изобразительных материалов. Упорядоченность и избыточность есть, но их уровень значительно меньше, чем в письме. Поэтому «прочтение» изобразительных памятников связано с преодолением значительно большего количества помех, чем прочтение словесного текста. Соответственно и информация об одном и том же изображении будет возникать разная у разных «читателей».

Некая упорядоченность объектов и предметов обнаруживается и при раскопках археологического памятника. Например, последовательность напластований, расположение костей и вещей в могиле и т.п. Но так же, как упорядоченность знаков в тексте, она становится информацией только после того, как ее «прочтет» археолог, вооруженный методами своей науки. Наблюдая упорядоченность объектов, обнаруженных при раскопках и, мобилизуя свои научные знания и навыки, археолог рассуждает. В данном случае рассуждение археолога является ни чем иным, как переводом его натурных наблюдений в языковую форму. Эти наблюдения и рассуждения в словесной форме записываются в полевой документации и дополняются графическими, фотографическими и иными (тоже разновидности документального языка) материалами.

Зададимся двумя вопросами: 1) что такое «информация о прошлом»? 2) в каком виде эта информация хранится (содержится, отражена) в письменных и археологических источниках (памятниках)? Если информацией о прошлом считать сообщения о древних народах, царствах, войнах, переселениях, т. е. об исторических *событиях*, то такая информация действительно отражена в памятниках письменности в виде словесных сообщений. Но в архе-

ологических памятниках ее нет и не может быть. Если же информацию о прошлом понимать как достоверное историческое *знание*, т. е. как *систему исторических фактов*, то и в письменных источниках такое знание содержится тоже далеко не всегда и уж, во всяком случае, не в готовом виде. Оно *создается* в результате многотрудных исследований историками. Например, Библию читали и читают все, кто умеет читать, но для разных читателей одна и та же Библия является письменным источником *совершенно различных знаний*: религиозных идей — для одних, нравственных норм — для других, достоверного исторического знания — для третьих и т. д. Так же и археологические материалы. Для одних они могут быть источником псевдонаучных сенсаций, например, об искусственных пирамидах (горных пиках) в Тибете или о космических пришельцах, а для других — следами действительных исторических событий. Подчеркнем: *следами*, но не сообщениями.

Из сказанного следует, что «информация о прошлом» не хранится в готовом виде ни в письменных, ни в археологических памятниках и не просто «извлекается» из них, а *создается в процессе их изучения*. Достоверность, полнота и смысл этой информации зависят не только от того, что исследователь читает в тексте или наблюдает при раскопках, но и от целого ряда других условий, прежде всего от его мировоззрения, от его знаний, методической вооруженности и т.д. Информация о прошлом — не такое уж простое понятие. Она включает в себя, по крайней мере, три разных вида сведений:

1. Неизменные исходные данные. В письменных источниках это *сообщения*, из которых состоит текст. Они могут быть не только достоверными, но и фантастическими («стерегущие золото грифы» Геродота), но их подлинность и принадлежность тексту первоисточника бесспорна. В случае археологических памятников это *наблюдения*, сделанные и зафиксированные при раскопках: последовательность слоев или строительных горизонтов, структура жилых или иных сооружений, расположение вещей в могиле или в жилище, результаты физико-химических анализов, антропологические, палеонтологические и иные данные.

2. *Факты*, полученные в результате сопоставления исходных данных, взятых из одного или из разных письменных источников: синхронизация и датировка исторических событий, их география, имена исторических лиц и их взаимоотношения. В тексте источника этих фактов, как правило, нет. Они «конструируются» исследователем из исходных данных путем рассуждений, логических умозаключений, а также мысленными реконструкциями недостающих звеньев. При изучении археологических памятников тоже необходимы сопоставления и рассуждения, с помощью которых исследователь мысленно восстанавливает то, что в непосредственных наблюдениях не представлено: сопоставление стратиграфических колонок, построение типологических рядов, сравнение химического состава предметов, антропологических измерений и т. п. Информация такого рода не может быть неизменной. Она может уточняться, дополняться или вообще опровергаться, если появляются новые данные или более совершенные лабораторные методы исследования. Строго говоря, это уже некий первичный уровень интерпретации исходных данных.

3. *Выводы*, сделанные на основе анализа и сопоставления первых двух видов информации, являются результатом творческого характера научной работы. Если разные исследователи на основе одних и тех же исходных данных приходят к различным выводам, это еще не означает, что кто-то из них не прав. Материалы, которыми владеют исследователи, становятся объектом научных дискуссий, без которых развитие науки невозможно.

Отвечая на второй вопрос (в каком виде информация о прошлом содержится в источниках), мы тоже обнаруживаем далеко не полную очевидность некоторых традиционных положений. Письменность специально предназначена для сохранения и передачи каких-то

сообщений, изложенных средствами языка. В данном случае не имеет значения, кому эти сообщения были адресованы, современникам или потомкам, и какую они несут информацию — достоверную или искаженную. Неважно также, известен или не известен язык, на котором составлен текст: в любом случае текст является носителем какого-то языкового сообщения. Вся работа историка над древним текстом происходит в языковой среде. Ее можно выразить в схеме «древний язык — рассуждения — современный язык». Физические свойства носителя текста играют в данном случае вторичную роль.

Исследование археологического памятника начинается не в области словесных сообщений, а в области морфологических, физико-химических, биологических и иных вещественных свойств предметов и объектов. Ведя раскопки и изучая коллекции, археолог не может ничего прочесть[2], поскольку найденные при раскопках предметы не предназначались для передачи сообщений.[3] В этом состоит главное отличие вещественных памятников от письменных. К изучению древнего текста можно возвращаться неограниченное число раз. Сам текст от этого не меняется. Главный метод исследования археолога — раскопки — приводит к необратимым для памятников изменениям, вплоть до их полного уничтожения. Если пользоваться аналогией с письменным памятником и считать археологический памятник источником информации, то такой «источник» можно «прочесть» только однажды.

Начинаясь в области физических свойств вещей, археологическое исследование переходит в языковую сферу. Наблюдения при раскопках и изучении коллекций, а также различные характеристики, полученные при помощи приборов, мы формулируем в терминах научного языка и излагаем в полевой документации, отчетах, описях и каталогах, картотеках, лабораторных журналах и т. д. Изучение археологических материалов происходит по другой схеме: «наблюдение древностей — анализы — рассуждения — современный язык». К изучению археологической документации можно возвращаться многократно, как и к письменному источнику. Таким образом, между понятиями «археологический памятник» и «археологический источник» нет и не может быть тождества. Археологические памятники более или менее благополучно существовали и существуют за тысячи лет до того, как сложилась наука археология и до того, как на них падает профессиональный взгляд археолога, и их начинают изучать, т.е. археологический памятник может существовать и вне рамок науки (до того, как он стал объектом исследования), а источник научной информации вне науки немыслим.

3. Является ли археология источниковедческой наукой?

В этом вопросе, как и во многих других, Клейн четок и непоколебим. «В понимании предмета науки я решительно расходился с археологическим истэблишментом страны. Я отделял археологию от истории, рассматривал ее как источниковедческую науку, подобную нумизматике или текстологии, тогда как господствовавшая в стране школа Арциховского — Рыбакова[4] считала археологию разновидностью истории» (Клейн 1995: 10). Отве-

[2] В данном случае предметы с надписями следует отнести к классу письменных памятников; изображения, изваяния, символы власти, знаки различия можно считать носителями сообщений, но язык этих сообщений другой — образный или символический.

[3] Здесь можно возразить. Имеется особый тип памятников, специально предназначенных для передачи сообщений — символические памятники: изваяния, менгиры и иные подобные сооружения. Но если в случае текста на неизвестном языке можно рассчитывать на дешифровку и прочтение, то при смысловой реконструкции символических памятников, дальше непроверяемых догадок дело, как правило, не идет в силу высокого уровня разнообразия (энтропия) и почти полного отсутствия избыточности.

[4] Не думаю, что А.В. Арциховский и Б.А. Рыбаков принадлежали к одной «школе». Достаточно прочесть их полемику о новгородской хронологии, чтобы убедиться, что это не так.

чая на критику Колпакова, Клейн с удовлетворением подчеркивает, что при имеющихся разногласиях они оба считают археологию источниковедческой наукой (Клейн, 1995: 327). Свое понимание источниковедческого статуса археологии Клейн высказывал и в других своих публикациях (см., например, Клейн 1986: 209-220;1991: 102-109 и др.). Такое решительное отнесение археологии к источниковедческим наукам «подобным нумизматике или текстологии» вызывает массу вопросов.

Как понимает источниковедение Клейн? В обеих изданиях его книги нет такого раздела, в котором бы было сказано, что такое источниковедение, т.е. понимает ли он источниковедение в общепринятом смысле или у него есть какое-то свое понимание. В основном тексте эта тема отражена только частично и в исторической ретроспективе в пп. 3-4 гл. 1. Но здесь речь идет не о том, что такое источниковедение, а о том, как возникла и развивалась критика источников в истории, но не в археологии. Но во 2-м издании, в словаре есть специальная характеристика. «Источниковедение — особая историческая дисциплина или совокупность дисциплин, задачи которой — разыскивать, собирать систематизировать и препарировать источники ради подготовки их к правильному извлечению из них исторической информации (определить возраст, авторство, тему, понять язык и т.п.)» (Клейн 1995: 264).

Допустим, что археология подобна нумизматике или текстологии. Но по общепринятым представлениям нумизматика и текстология — не источниковедческие дисциплины. Первая относится к так называемым «вспомогательным» (но не источниковедческим) дисциплинам, наряду с геральдикой и сфрагистикой. Вторая — к специальным историко-филологическим дисциплинам. Что же касается источниковедения, то это, прежде всего, — не дисциплина, а одна из многих отраслей исторической науки.

Выделение особой группы «вспомогательных» исторических дисциплин с моей точки зрения вообще давно устарело. Почему, например, текстология или историческая география не относятся к вспомогательным историческим дисциплинам, а нумизматика относится? Мне кажется, что здесь действует какая-то отжившая советская традиция разграничения исторических наук на «главные» (история КПСС и история СССР) и «второстепенные» (все остальные).

Следует ли считать нумизматику вспомогательной дисциплиной, если она в некоторых случаях успешно дополняет данные письменных источников? Например, по монетам был составлен список боспорских царей середины III в. н. э., не упоминавшихся в других источниках.

Не вдаваясь в тонкости полемики об источниковедении и «вспомогательных» науках, поставим вопрос в целом: какой вообще смысл отделять археологию от истории? Любая историческая наука (древняя история, медиевистика, этнография, историческая антропология и т.д.) имеет в своем составе необходимый набор источниковедческих процедур. Не обязательно чисто специфических, некоторые из них пересекаются. Возможно, что в археологии, в силу специфики исходных данных, эти процедуры занимают больше места, чем, например, в новой и новейшей истории. Но это не переводит ее в какой-то особый статус источниковедческой науки. Существует источниковедческий анализ различных исходных данных разных исторических наук, в том числе и археологии. Но никакая из исторических наук не ограничивает свое исследовательское поле источниковедческими задачами. Они решаются везде: и в истории древнейших жителей Русской равнины эпохи верхнего палеолита, и в истории крестовых походов, и в истории многих других эпох и регионов. Самое интересное в данном контексте то, что сам Клейн вполне нормально для любого археолога «забывает» о том, что теоретически он ограничил археологию чисто источниковедческими

функциями, когда, например, анализирует свои сарматские находки и успешно выходит в этом анализе далеко за источниковедческие рамки (Клейн 1976: 228–234).

Мало того, что археология по хронологическому диапазону своих материалов многократно перекрывает все последующие эпохи. Трудно назвать вспомогательной науку, которая охватила промежуток времени более, чем в 4 млн. лет. Как бы детально и всесторонне мы не углублялись в анализ вещей и их археологического контекста, какие бы не строили многоэтажные типологические или классификационные схемы, в конечном счете археология, изучающая объекты и следы человеческой деятельности, является наукой о человеке, о его истории и культуре.

Литература

Авдусин Д.А. 1989. Основы археологии. М.

Аникович М.В. 1988. О месте археологии в системе общественных наук // Категории исторических наук. Л.

Беляев Ф.Ф., Фролов М.В. 1980. Рец.: Клейн Л.С. Археологические источники // СЭ. № 3.

Боряз В.Н. 1975. Природа археологического источника и объект археологии как науки // Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Л.

Викторова В.Д. 1975. Археологический факт // Вопросы археологии Урала. Вып. 13.

Григорьев Г.П., Долуханов П.М., Лебедев Г.С., Щеглов А.Н. 1991. Отвергнутая рецензия // Вопросы истории естествознания и техники. № 4.

Захарук Ю.Н. 1977. О понятии «факт» в археологической науке // СА. № 4.

Захарук Ю.Н. 1983. Об одной концепции археологического источниковедения // СА. № 3.

Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. 1975. Анализ археологических источников: возможности формализованного подхода. М.

Кастлер Г. 1967. Возникновение биологической организации. М.

Кипарисов Ф.В. 1933. Вещь — исторический источник // Известия ГАИМК. Вып. 100.

Колпаков Е.М. 1988. Проблема специфичности понятия «археологические источники» // Категории исторических наук. Л.

Колпаков Е.М. 1995. Почему «археологические источники»? // Клейн Л.С. Археологические источники. Изд. 2-е, дополненное. СПб.

Клейн Л.С. 1976. Сарматский тарандр и вопрос о происхождении сарматов // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М..

Клейн Л.С. 1978. Археологические источники. Л.

Клейн Л.С. 1986. О предмете археологии (в связи с выходом книги В.Ф. Генинга «Объект и предмет науки в археологии») // СА. № 3.

Клейн Л.С. 1991. В защиту «чистой археологии» // СА. № 2.

Клейн Л.С. 1995. Археологические источники. Изд. 2-е, дополненное. СПб.

Клейн Л.С. 1997. Интерпретации, реконструкции и теория в археологии (по поводу статьи А.М.Буровского) // РА. № 1.

Лачинов В.М, Поляков А.О. 1999. Информодинамика или Путь к Миру открытых систем. СПб.

Мартынов А. И. Археология. М.

Плахин В.Т. 1985. Гносеологическая специфика археологических источников // Алтай в эпоху камня и раннего металла. Барнаул.

Ракитов А.И. 1982. Историческое познание. Системно-гносеологический подход. М.

Тростников В.Н. 1970. Человек и информация. М.

Шер Я.А. 1978. О развитии языка археологии // Проблемы археологии. Вып. II. Л.

Шер Я.А. 1985. К характеристике понятия «археологический факт» // Проблемы реконструкции в археологии. Новосибирск.

Шредингер Э. 1972. Что такое жизнь? С точки зрения физика. М.

Щапова Ю.Л. 1991. Археология и морфология // СА. № 2.

В.Б.Ковалевская[1]

КАКУЮ МАТЕМАТИКУ ВЫБИРАЕТ АРХЕОЛОГ?[2]

V.B. Kovalevskaya. What kind of mathematics does an archaeologist choose?

The paper deals with the history and current state of the use of mathematics in Russian archaeology. The first post-revolutionary decades were characterised by the rise of interest to the use of mathematical methods (A.V. Artsikhovsky, M.P. Gryaznov, P.P. Efimenko). The 60s witnessed the beginning of the mathematical analysis on the basis of source studies. Particular attention was given to the search for objective criteria of similarity and difference, as well as to the creation of a generally accepted scientific language and rules of description, analysis and interpretation (V.B. Kovalevskaia, I.S. Kamenetsky, B.I. Marshak, G.A. Fyodorov-Davydov, Ya.A. Sher, D.V. Deopick). This period is characterised also by increasing contacts between Soviet and foreign researchers working in this field, and between archaeologists, biologists, and mathematicians. The current situation is still more complicated. In the final sections of her paper the author describes and analyses the most important recent trends in this field of research.

«Прошлое науки не кладбище с надгробными плитами над навеки похороненными идеями, а собрание недостроенных архитектурных ансамблей, многие из которых не были закончены не из-за несовершенства замысла, а из-за технической и экономической несвоевременности»

А.А.Любищев

Нет слов, тему для сборника, посвященного Клейну, я выбрала чтобы не выходить из того образа, который определил мне Лев Самуилович в качестве одного «из зачинателей формализации археологии в нашей стране» (Клейн 1998: 187). Следовательно, речь должна пойти о развитии математических методов в применении к археологическим материалам в отечественной науке за последние полвека, что происходило на глазах и при участии нашего поколения. Правда, за это время мне не раз приходилось и в самом общем виде и по частным случаям останавливаться на этих вопросах. С одной стороны, все что мне казалось нужным сказать по этому поводу — уже сказано, с другой стороны так сильно меняется ситуация и в сложно сконструированном здании математики и внутри нашего домена — археологии, что тема остается для раздумий и разговоров.

На сегодняшний день история теоретической мысли в археологии и компендиум применявшихся и применяемых методов, почерпнутых из разных областей знания и, прежде всего, из теории вероятностей и математической статистики, теории информации, семиотики, синергетики, также, как использование методов многомерного сравнения, теории размытых множеств, теории систем, графов и т.д. представляет собой столь обширную тему, что в данной статье мы сможем ее затронуть только в одном аспекте — оценить как менялись во времени отношения между археологией и теорией вероятностей и как менялась собственно теория вероятностей и математическая статистика.

[1] Институт Археологии РАН, Москва, Россия.

[2] Работа подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 03-06-80061.

Дело в том, что на протяжении времени естествоиспытатели и гуманитарии в каждый момент воспринимали математику как нечто незыблемое и устоявшееся, видя в ней «Королеву наук», панацею от субъективности и необходимое орудие исследования, в определенной мере этим отнимая у нее право на собственное развитие.

Для многих крупнейших математиков изучение изменений внутри математики становилось объектом анализа и на рубеже XIX–XX вв. в этой области было сломано много копий. Как писал В.А.Успенский, — «Математика иногда воспринимается как скала, неподвижно возвышающаяся над волнами переменчивых представлений, относящихся к другим наукам» (Успенский 1987: 141).

В массиве этой «скалы» содержатся те математические подходы и мерила, цифры и формулы (конструктивная математика по А.А.Маркову — см. Марков 1987: 212), которые могут быть использованы в практических целях, но всегда следует иметь в виду, что в процессе развития науки подходы и мерила могут меняться, на чем мы и хотим остановиться в данной статье. Правда, последнее заставит нас в ряде случаев делать содержательные и хронологические отступления. Первое из них касается используемых «научных парадигм», по которым научная литература очень велика, или же «познавательных моделей» (ПМ), которые в недавнее время систематизированы Ю.В.Чайковским (Чайковский 2001: 103 и сл.). Эти познавательные модели в европейской науки возникали последовательно, хотя и могли существовать параллельно и сравнение их с процессами, протекавшими в археологии, показывает на зависимость от них при интерпретации археологических материалов.

В качестве первой познавательной модели рассматривается «знаковая, или же семиотическая», исходная для европейской науки, видевшая подход к познанию мира как «разгадывание замысла Творца» (Чайковский 2001: 103), когда в науку были введены «понятие закона природы и идея математизации науки» (Чайковский 2001: 103). Мне не кажется удачным название этой ПМ «семиотическая», поскольку Семиотика вошла в качестве нового и очень продуктивного направления в середине XX в., поэтому вернее оставить за 1 ПМ название «знаковая».

С XVI–XVII вв. на смену знаковой приходит вторая механическая познавательная модель, которая рассматривает систему мира как механизм (вспомним «часы» и «облака»), что поднимает тему причины и характера развития, части и целого, отсюда интерес к эволюционным изменениям как в биологических, так и гуманитарных науках.

Дальнейшее развитие европейской науки Ю.В.Чайковский характеризует появлением и существованием наряду со старыми трех новых познавательных моделей — статистической, системной и диатропической (исходящей из разнообразия). Последовательность указанных моделей хорошо подтверждается последовательностью в использовании различных математических подходов в анализе археологического материала на протяжении более чем столетия. Нельзя не отметить, что в подобных исследованиях тормозом продолжает оставаться недоверие исследователей к возможностям точного количественного анализа археологических фактов и явлений, что объясняет медленное течение указанного процесса и вызвано как недостаточным знакомством исследователей с практикой подобного рода аналитических работ, так и с низким уровнем математической подготовки археологов, что в последние десятилетия существенно изменилось в ряде Университетов России. В дореволюционное время в отечественной археологии первобытной, классической и древнерусской, использовались, как и в европейской науке, две первых познавательных модели.

Способствовал возбуждению интереса к применению естественнонаучных методов тот факт, что в созданной в 1919 г. Российской академии истории материальной культуры (РАИМК, а позднее ГАИМК), объединившей в себе большую часть археологов и организа-

ций, занимавшихся охраной и изучением археологических памятников, существовал Институт археологической технологии, который «много сделал для изучения вопросов археологии методами естественных наук и внедрения... техники и методики в работу археологов» (Монгайт 1963: 78). Особую роль для методических исследований московских археологов играл опыт В.А. Городцова, в трудах которого проявлялся интерес естествоиспытателей к использованию современных научных методов в описании и интерпретации археологических фактов.

Восходивший к типологическому методов В.А. Городцова (Городцов, 1927) критический анализ источников (А.В. Арциховский, А.П. Смирнов) и методические приемы, применявшиеся в естественных науках П.Н. Анучиным, за которым шла московская палеоэтнологическая школа (Б.С. Жуков, Б.А. Куфтин, О.Н. Бадер), вызывали закономерный переход к использованию математических методов. А.В. Арциховским в монографии «Курганы вятичей» был использован коэффициент корреляции (для выяснения тесноты связи между количеством бус определенных типов и областью распространения некоторых типов височных колец), что позволяло выделить племенную территорию (Арциховский 1930: 130–150). Им же, для выделения хронологических стадий, были составлены статистические таблицы сопряженности между различными типами вещей для получения комплекса взаимосвязанных украшений внутри древностей одного из древнеславянских племен. Подобные таблицы сопряженности (которые неверно назывались корреляционными) применялись П.П. Ефименко для выяснения относительной хронологии рязанских могильников (Ефименко, 1926), а позднее М.П. Грязновым в типологических работах, посвященных выяснению относительной хронологии бронзовых кельтов с территории Сибири на основании сочетания формы и орнаментации (Грязнов 1941).

По ряду обстоятельств, на которых мне приходилось останавливаться ранее и которые не были обойдены вниманием в ряде работ по истории развития отечественной археологии — предвоенные, военные и первые послевоенные годы не были отмечены интересом к развитию математических методов (Ковалевская 1995: 15–24).

Следующий период всплеска интереса к методам математической обработки массового археологического материала относится к концу 50х годов прошлого века, что уже происходило на памяти и при участии автора, и это позволяет мне внести личную нотку в повествование. Правда, до этого мне придется вернуться к предыдущему периоду, чтобы стала яснее разница между теорией вероятностей и математической статистикой первой трети и середины прошлого века.

Теория вероятностей имеет историю в несколько столетий и сложение ее в качестве науки относится уже к XVII в. Применялась она к демографии, азартным играм, страховому делу, разным областям естествознания — физике, биологи, откуда математическая статистика проникла в гуманитарные науки, когда и встал вопрос о том, отличаются ли те случайности, которые наблюдаются в природе, от тех, которые имеют место в человеческом обществе. Сегодня мы можем уверенно утверждать, что с момента использования в качестве исторического источника любой предмет должен пройти через цепь случайностей. Случай, как правило, определяет факт нахождения именно того могильника (в меньшей степени поселения), который мы исследуем, так же, как и выбор места раскопок. Случай определяет и нахождение интересующей нас вещи в комплексе погребения или на участке раскопа. Кроме того количественные характеристики предмета также проходят путь многократного усреднения, относясь к системам все более высокого иерархического уровня — а, как известно, средние подчиняются гауссовому закону распределения (о чем подробнее речь пойдет далее). Эти представления интуитивно складываются у археолога, по-

зволяя ему, как мы показали ранее, использовать понятия и формулы математической статистики. Но в 20–30-е годы, по аналогии с естественными науками, это было лишь использование математического аппарата в прикладных целях.

Кроме того, нельзя забывать и тот факт, что в пору первых применений статистики в отечественной археологии многие понятия теории вероятностей еще не были разработаны. К этому времени еще не сложилась частотная концепция в теории вероятностей Мизеса, подчеркивавшего необходимость оперирования массовыми случайными явлениями и введшего в качестве основного понятия в теорию вероятностей понятие «коллектива», что хорошо иллюстрируется работой археологов не с отдельными артефактами, а с сериями вещей (Майстров 1967: 303). Лишь в двадцатые годы XX в., началось проникновение в теорию вероятностей идей теории множеств, что было созвучно археологическому подходу в пору повышенного интереса к вещеведению. В 1933 г. в классическом исследовании А.Н. Колмогорова «Основные понятия теории вероятностей» на основании указанных новых подходов была создана аксиоматика теории вероятностей, вошедшая с этого времени во все учебники и исследования по теории вероятностей в качестве краеугольного камня. Как писал А.Е. Майстров аксиоматика Колмогорова «дает возможность всегда перейти от формальной схемы к реальным процессам. Естественно, что любой вывод этой теории может быть истолкован в частотных терминах» (Майстров 1967: 313). Конец 50-х годов характеризовался бурным развитием теории вероятностей на механико-математическом факультете МГУ. Академик А.Н. Колмогорова активно занимался применением математики в лингвистике, Б.В. Гнеденко, Л.Н. Большев и ряд других специалистов-вероятностников вели семинары, на которых решались прикладные задачи, поэтому подготовленный к обработке массовый археологический материал представлял для математиков интересную тему для обсуждения. Что же приводило меня в тупик при ряде обсуждений в математической среде (об археологической среде я скажу далее), так это близость сомнений в правомерности применений вероятностных методов к археологическому материалу, которые почти в адекватных выражениях и аргументации высказывались профессионалами столь разных наук. Лишь значительно позднее мне стала ясна причина — она крылась в неразработанности устойчивых негауссовых распределений и проблемы случайности, но об этом речь пойдет далее.

Сейчас же я вернусь к рубежу 50–60 годов. Я не могу не согласиться с И.Д. Ковальченко, что «обращение к математическим методам прежде всего диктуется состоянием соответствующей науки и потребностями дальнейшего углубления исследований» (Ковальченко 1987: 299). В источниковедческих работах этого времени после длительной борьбы с «вещеведением» в археологии такой подход был актуален и вызван к жизни характером, разнообразием и обилием материала. Казалось бы — и отнесение археологии к кругу исторических дисциплин, и оценка ее в качестве источниковедческой науки (Клейн 1998: 189), предопределяют необходимость выработки объективного научного анализа, черпающего средства из наук, для этого приспособленных. И все таки преграды, связанные с традиционным менталитетом в археологической среде довлели над попытками расширить спектр применяемых методик. Очень образно рассказал об обсуждении доклада автора на секторе скифо-сарматской археологии в 1960 г. мой коллега И.С. Каменецкий: «Реакция была бурной и в целом отрицательной. Чтобы хоть как то охарактеризовать новизну идеи, скажу: для меня свет понимания забрезжил только в четвертом чтении текста доклада. А ведь я был доброжелательно настроенным читателем» (Каменецкий 1979: 51; Доклад — Ковалевская-Деопик 1963: 67–69). Я еще и потому вспомнила этот доклад (а он представлял собой апробирование методических основ кандидатской диссертации), чтобы отметить, наскольк-

ко важна при любом серьезном начинании поддержка сверху. Ее оказывал руководитель сектора проф. Алексей Петрович Смирнов, любивший повторять: «Я в этом ничего не понимаю, но знаю, что за этим будущее». Сегодня нет резона говорить, насколько он оказался прав! И все таки, будь поддержка математизации гуманитарных наук на этих первых порах сильнее, конечно, более эффективно было бы приложение усилий в этом направлении той небольшой тогда группы исследователей, которая этим занималась. Иногда я стараюсь видеть в этом положительную сторону. При отсутствии персональных компьютеров подсчеты занимали уйму времени, а содержательно-историческая интерпретация результатов математической обработки не всегда оправдывала затраченные усилия. «Отдача» оказывалась значительно весомее, а математическая обработка проще при изучении знаковых систем в археологии методами теории информации (Ковалевская 1970).

В пределах Института археологии АН СССР на первых порах кроме А.П. Смирнова поддерживали это направление математизации в археологии из старшего поколения А.В. Арциховский, Б.А. Колчин, В.И. Цалкин и А.Л. Монгайт, правда, не раз остерегавшие автора от излишних надежд на то, что это направление может оказаться востребованным в недалеком будущем. Поскольку очень важно показать преемственность в применении методов математической статистики между 30-ми и 60-ми годами, я приведу несколько цитат из отзыва Артемия Владимировича Арциховского на мою кандидатскую диссертацию от 6 января 1962 г.

«Особое значение имеет глава о применении методов математической статистики. Такие методы мало и недостаточно применялись в археологии. В последние годы молодые советские археологи наконец-то осознали значение для нашей науки этого раздела математики. Диссертант пошла дальше всех, изучив под руководством авторитетных математиков соответственную методику и впервые в СССР систематически изложив цели и способы ее применения в археологии. Эти цели и способы многообразны. Все археологи могут изучить и применить приведенные в работе формулы. Мне представляется особо перспективным изучение кривых нормального распределения и уклонений от них. Как показано автором (стр. 106), археолог при условии нормального распределения (а оно в археологии обычно) может до раскопок предсказать процентные соотношения находок. Тем интереснее уклонения, которые всегда говорят о появлении новых закономерностей, хронологических, культурных или географических. Археологи прослеживали все это в слепую, на ощупь. Математика позволяет действовать сознательно и избегать ошибок, которые иначе неизбежны» (Арциховский 1962: 1).

В точных, кратких и емких фразах, столь памятных выпускникам истфака МГУ по курсу «Основ археологии», А.В. Арциховский высказал свое отношение к «намеченным для нашей науки возможностям» (Арциховский 1962: 2). Интересно, что те моменты, которые в 60-е годы уже вызывали и сомнения и требовали проверки (вопрос о гауссовости или негауссовости распределений археологических выборочных материалов) с позиций 30х годов не вызывали у Артемия Владимировича сомнений. И, действительно, в тех случаях когда эти формулы им использовались в «Курганах вятичей» можно было считать, что нормальное гауссово распределение «в археологии обычно». В методической главе кандидатской диссертации автора на различном археологическом материала I — нач. II тыс. н.э. были рассмотрены экспериментальные данные, позволяющие судить о том, в каких случаях построенные на их основании гистограммы соответствуют кривым гауссова распределения (Ковалевская-Деопик 1965: рис. 1 Е; 3, 4). Выяснилось, что для массового археологического материала таковыми являются размеры предметов (Spaulding 1953: 305–313; Ковалевская-Деопик 1965: 291), характер распределения процента разных групп керамики по

раскопам (взятым по таблице случайных числе), или, например, стеклянных браслетов по ярусам Новгорода (Ковалевская-Деопик 1965: 292, 293).

При характеристике вещей были использованы средние (средняя арифметическая, мода и медиана), полигоны распределения (кривые распределения и гистограммы эмпирического материала). Причем специфика археологического материала: большой разброс значений и присутствие сильно отличающихся по своим характеристикам наблюдений также как и наличие правого «хвоста» в кривых распределения заставляет в ряде случаев средней арифметической предпочесть моду (Интересно, что впервые это предположение было выдвинуто Б.В. Гнеденко в 1958 г.).

Экспериментальные данные позволили определить необходимую и достаточную величину выборки (в зависимости от величины и характера колебаний), используя «скользящие средние» для того, чтобы быть уверенным, что полученный процент отражает закономерности, характеризующие ту совокупность, из которой происходит выборка. Для этих же целей можно использовать ошибку средней, сигму или же доверительные интервалы (подробнее см.: Ковалевская 2000: 234–238), а для сравнения средних ряд методов (Ковалевская 2000: 239, 240), в частности, непараметрических, не зависящих от характера распределения наблюдений.

В работах было показано, что на всех уровнях археологических исследований мы решаем одни и те же задачи упорядочения, систематизации и кластеризации, определяя единицы анализа, ограничивая поле наблюдений, устанавливая критерии и правила перехода от одного уровня исследования к другому, и, естественно, во всех случаях вычисляя статистики (что, естественно, сейчас производится с помощью стандартных статистических программ).

Таким образом, в 50–60 годы было показано на примерах, что ряд археологических явлений подчиняется закону нормального распределения; последнее положение далеко не сразу было принято даже теми археологами, которые занимались применением математической статистики. Тогда же был отмечен тот факт, что редкие события подчиняются распределению Пуассона. Следовательно, как тогда, так и сейчас, мы можем широко применять методы теории вероятностей и математической статистики на описательном уровне при анализе массового археологического материала, пользуясь уже не таблицами, но пакетами стандартных статистических программ при компьютерной обработке. Так же мы можем разными методами оценивать наблюдающуюся в археологии связь между вещами и явлениями. Как писал об этом А.В. Арциховский: «Не менее важна проверка вероятности совместного наступления двух событий, это для археологии обычно является совместным нахождением двух типов в комплексе. Автор говорит (стр. 126), что в 90% случаев частота таких нахождений определялась по теореме произведения вероятностей (так прослеживается простая закономерность). Но в 10% обнаружены уклонения, и именно они, устанавливая особую взаимозависимость некоторых типов, позволяют переходить к более точной хронологии» (Арциховский 1962: 2, 3).

Но рассмотренные здесь статистические разработки по материалам V–IX вв. Кавказа и Юго-Восточной Европы, приведенные автором в диссертации 1961 г. — это частный случай и имеет он значение только в связи с тем, что методические разделы были доложены (1963 г.) и опубликованы (1965 г.).

На Всесоюзном совещании по применению в археологии методов естественных и технических наук весной 1963 г. доклады о математических методах составляли около 15%, и в принятой резолюции была рекомендована «разработка математических методов решения задач по учету, систематизации и статистической обработке массового археологического

материала» (МИА № 129 1965: 345). Следовательно именно в 1963 г. выделилась группа молодых (тогда) исследователей, которая определяла последующие десятилетия глубину и широту использования математических методов в археологии.

Обзор всех применяемых археологами математических методов, которые сейчас ни в коей мере не ограничиваются использованием только математической статистики с 60х гг. до наших дней занял бы у нас слишком много места, поэтому мы отсылаем читателя к некоторым историографическим экскурсам, где рассматриваются все основные работы с середины 20х по середину 80х гг. (Квирквелия 1981: 318–333; Николова Гудим-Левкович Левченко 1990: 244–285).

Рассмотрев разные области археологии (около 70 статей), в которых, хоть и эпизодически, применялись различные методы статистики, О.С. Квирквелия отметила, что выбор областей приложения был достаточно случаен и произволен, как, кстати и набор применявшихся математических приемов. Характеризуя первый этап применения математических методов в археологии О.С. Квирквелия подчеркнула недостаточность системности в подходе археологов. «Работы, построенные на синтезе данных археологии и математики, единичны. Это, пожалуй, лишь статьи В.Б. Ковалевской по наборным поясам и Г.А. Федорова-Давыдова о датировке типов вещей по погребальным комплексам. В остальных работах мы встречаемся с прямым переносом статистико-математических методов исследования на археологический материал, либо с внесением известных коррективов в методы в соответствии со своеобразием археологического материала. Перед археологами стоит задача создания синтетической системы статистико-археологического исследования» (Квирквелия 1981: 333). Характеристика, конечно, излишне строгая, поскольку творческое использование методов теории вероятностей и математической статистики к разным по своей природе археологическим материалам с учетом того, что эти методы сами углубляются — задача серьезная и междисциплинарная по условию.

Эти первые опыты показали, что без применения математической статистики невозможно объективное использование материала для дальнейшего более глубокого его исследования, это первый и необходимый этап, который позволит специалисту, занимающемуся разработкой методик, использовать материалы, обработанные другими археологами, не будучи вынужденным ограничиваться лишь тем материалом, который он лично обработал на всех этапах.

В шестидесятые годы судя по аннотированному списку библиографии издано 12 статей девяти авторов, составивших основную группу археологов, заинтересованных в развитии математических методов в археологии, продолжающих работать в этой области до наших дней. 5 статей являются теоретико-методическими разработками процедуры археологического исследования (Николова и др. 1990: 276, 277). К этому же периоду относится очень важный факт — первое Всесоюзное Совещание по применению методов естественных и технических наук, объединившее усилия профессионалов широкого профиля.

Следующее десятилетие характеризуется бурным ростом числа специалистов (15) и статей (80), связанных с разработкой (15) и применением (65) математических методов в археологии. К этому периоду относится выход в свет фундаментального сборника, посвященного статистико-комбинаторным методам в археологии (1970) и первая коллективная монография «Анализ археологических источников (возможности формализационного подхода)» (Каменецкий, Маршак, Шер 1975).

Для того, чтобы оценить темпы роста информации по рассматриваемой теме мы можем воспользоваться указанной работой по анализу библиографии и привести цифры по следующему пятилетию — было издано 84 статьи 60 авторов. Резко увеличилось количе-

ство авторов, применявших в своих конкретных разработках математические методы и процедуры, разработанных в специальных исследованиях ранее и в этот период (5 статей) или взятых непосредственно из пособий по математической статистике в ее применениях к другим наукам. Именно этот процесс распространения математико-статистических методов вширь характеризует последующее двадцатилетие, когда археологи широко в своих исследованиях пользуются персональными компьютерами и стандартными пакетами статистических программ. Серьезную помощь в этом оказывают первоклассные, высокопрофессиональные учебные пособия по применению формализованно-статистических методов (Федоров-Давыдов 1987; Щапова 1988; Мартынов, Шер 1989; Генинг, Бунятян, Пустовалов, Волков 1990).

Процесс замены специально созданных математиками-программистами в контакте с археологами программ для решения определенных исследовательских задач стандартными пакетами программ это специфика нашего времени, но это не снижает вопроса о выборе наиболее оптимальных методов и правомерности их применения и заставляет меня подчеркнуть мысль о том, что переход к применению стандартных статистических программ (я ни в коей мере не ставлю под сомнение их высокое качество!) имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Хочу в этой связи подчеркнуть точку зрения Д.В. Деопика, что в использовании пакетов стандартных статистических программ заложены неизбежные ошибки, поскольку теряется специфика исследовательской процедуры, когда каждый последующий этап определяется результатами предыдущего. Раскрыть это положение позволяет серия аналитических исследований Д.В. Деопика с начала 70-х гг. до наших дней (см.: Деопик 1972; 1977; 1985; 1998; в печати),когда на разных по своей природе и с пространственно-временной точки зрения материалах, будь то каменные орудия, гончарная или лепная керамика, особенности ее формы или орнаментации, производился формализованно-статистический анализ, ставящий своей задачей извлечь максимум информации для решения сугубо археологических задач. Необходимо отметить, что подобная задача требовала особой строгости в выборе материала, чтобы степень точности математического анализа не оказалась бы значимо выше разрешающих возможностей самого материала.

Это значит, что артефакты должны быть изучены по оптимальному для поставленных целей набору признаков, качественных и количественных с приматом количественных показателей и со специальным анализом их взаимосочетаний, когда статистически взаимосвязанные редкие признаки рассматриваются в качестве одного признака. Поскольку эти признаки должны использоваться в качестве хроно-индикаторов, надежной и точной должна быть полевая документация об археологическом контексте находки. Ставится задача оценки характера распределения однотипных находок в разных стратиграфических условиях, в ямах, свалках, слоях пожарища и в горизонтально залегающем культурном слое, при учете объективных характеристик абсолютного и относительного датирования каждого из выделенных закрытых комплексов, из которых изучен материал. Эти проблемы являются основными в любом археологическом исследовании и подробно рассматриваются Л.С. Клейном (Клейн 2001), но в данном контексте мне важно подчеркнуть, что конкретно-методические источниковедческие разработки в области формального исследования морфологии артефактов Д.В. Деопик, разбирая на одном материале, далее проверяет на другом, интуицию проверяет математикой, совершенствуя методику анализа. Это же происходит и с совершенствованием математического аппарата, когда возвращение через 30 лет к одному и тому же материалу — светлоглиняным амфорам римского времени из Танаиса, приносит весомые результаты по уточнению темпов эволюции отдельных деталей форм, что позволяет предлагать значительно более дробные даты для выделенных типов, опира-

ясь на их поведение в слое, и, соответственно, приходить к более узким датировкам памятника.

Возвращаясь к вопросу о применении стандартных пакетов статистических программ хочу сказать, что остается не снятым вопрос о той специфике археологического материала, которая заставляет сомневаться прикладника-математика в правомерности применения тех или иных математических процедур. Не снят вопрос о том, в каких случаях следует применять по археологической выборке гауссовые или устойчивые негауссовые распределения, тем более, что за последние 10–15 лет в этой области появилась большая специальная литература. Это же касается понятия случайности, которое имеет особо важное значение при обработке археологических фактов и явлений методами теории вероятностей. Ю.В. Чайковский рассмотрение понятия «случайности» начинает с античной эпохи, показывая сколь разный смысл придается этому понятию разными авторами и сколь не разработана эта тема, в частности, в теории вероятностей. Он предлагает классификацию случайности, как через ее апории, то есть через противоположные по значению понятия типа необходимости, согласованности, регулярности, закономерности, измеримости и т.д. (Чайковский 2001: 165), так и по смыслу.

Случайности могут быть результатом неизвестных или непонятных закономерностей (1), результатом скрещения несогласованных процессов (2), объясняться уникальностью (3), неустойчивостью движения, приведшего к их появлению (4), относительностью наших знаний (5), произвольностью нашего выбора (6) (Чайковский 2001: 165–167) — анализ каждого из этих типов находит соответствие в археологии и сейчас для нас важна предлагаемая систематизация как точка отсчета.

Мы уже ранее указали, какие характеристики необходимы и достаточны и в каких случаях корректно использование методик, предполагающих нормальное распределение численностей (Ковалевская-Деопик 1961; 1965: 286–301). Вместе с тем, многие явления в археологии, связанные с развитием культур и типов, анализом редких событий, динамикой сложных систем. являют собой примеры устойчивых негауссовых распределений. Соответственно необходимо учесть эту специфику археологического материала и найти те статистические мерила, которые будут удовлетворять нашим требованиям. Теоретическое обоснование этого подхода к различиям между гауссовыми явлениями природы и негауссовыми явлениями социального мира высказаны в ряде работ С.Д. Хайтуном (Хайтун 1983: 189; 1999: 90–149; 2002: 536–545) и плодотворно развиваются школой Б.И. Кудрина в ряде монографий и статей и обсуждаются на регулярно проводимых конференциях. Прежде чем обратиться к этим разработкам в специальной литературе, вернусь к тому, что в этой области сделано в археологии. Еще в работах 80-90 гг. с помощью гиперболических распределений были обобщены и сопоставлены характеристики химического состава древних стекол (Щапова 1988: рис. 23, 24; Nielsen 1990: fig. 4; Щапова 2002: 468).

Смысл гиперболы применительно к археологическому материалу заключается в том, что одновременно в сгруппированном археологическом материале наблюдаются процессы как нарастания (и убывания) числа массовых и редких типов (каждый из которых развивается по гауссовому распределению), так и проявляются некие ограничения. Рассматривая примеры гиперболических распределений в археологии. мы видим, что при анализе сложных систем с их внутренними связями и характеристиками, мы переходим в область устойчивых негауссовых распределений (H-распределений, гиперболических, ципфовых и т.д.), к сожалению гораздо хуже разработанных, чем гауссовые распределения, но при этом именно в них можно видеть метод анализа наиболее сложных явлений в археологии. Материалы, приведенные в диссертации В.Н. Слонова (Слонов 1995) и подробно рассмотренные мною

ранее (Ковалевская 1995: 141–143), показывают, что наиболее наглядно гиперболическое распределение проявляется тогда, когда мы рассматриваем любое явление на достаточно длительном протяжении времени — происхождение, сложение устойчивого типичного сочетания черт, распад. Предложенное деление последовательности на зоны соответствует закону рассеяния информации по Бредфорду. Можно полагать, что ранговый подход применим к анализу сложившихся типов — ядру системы (правая часть гиперболы), тогда как частотный подход более продуктивен для анализа редко встречающихся, малочисленных типов, характеризующих не центр, а окрестности — в случае гиперболы ее начало, зону неравновесности. Используя эти распределения мы сможем определить интенсивность процесса формирования системы, механизм ее формирования, уровень гетерогенности, длительность жизни отдельных элементов. Пользуясь гиперболами в качестве интегрированных характеристик мы получаем возможность сопоставлять между собой разные системы в синхронии и диахронии. Если учитывать те критерии, которые предлагает для анализа эмпирических распределений Ю.А. Орлов (Орлов 2000: 212, 213) и С.Д. Хайтун (Хайтун 2002: 536–545), опыт применения коэффициента конкордации для сравнения нескольких гиперболических распределений или определение степени вогнутости гиперболы через логарифмирование и вычисление угла наклона полученной кривой, то в настоящее время можно будет ставить и решать интересные нам вопросы при аппроксимации эмпирических распределений не только гауссовыми, но и негауссовыми.

Раздел математики, связанный с устойчивыми негауссовыми распределениями, оказался востребованным в последнее время и не только в гуманитарных науках, но для изучения ряда биологических вопросов и изучения так называемых техноценозов, которые Б.И. Кудрин определяет как «ограниченное в пространстве и времени сообщество технических изделий» (Kudrin and al. 2000: 289). Если снять биологический смысл понятия «сообщество», оставив его только за живыми организмами и заменив его в указанной цитате словом «система, структура, сумма», то определение техноценоза по смыслу не будет отличаться от выделенного в пространстве и времени археологом комплекса находок (предметов материальной культуры, т.е. той же технической реальности), рассматриваем ли мы его в рамках погребения, древнего жилища, могильника или археологической культуры. Мне важно это сейчас подчеркнуть в связи с тем, что видя в качестве специфики техноценоза существующее в нем «определенное соотношение между крупным и мелким, массовым и единичным, уникальным и стандартизированным» (Кудрин 2000: 14), Б.И. Кудрин в качестве аналитического метода предлагает аппарат гиперболических H-распределений, что соответствует рассмотренным нами ранее распределениям Ципфа, Парето и т.д., объединяемым в устойчивые негауссовые распределения. И не только предлагает, но многочисленная школа Б.И. Кудрина на конкретном материале и в самом общем виде разрабатывает эти до недавнего времени затрагиваемые только отдельными математиками сложные и интересные проблемы. То есть именно сегодня, заинтересованный в разработке этих проблем археолог, может обращаться к этой математической области, находящейся в момент своего активного развития и получать ответы на те вопросы, которые стоят перед нами в полный рост. В связи с тем, что разрабатывают ее и практики, воспринимающие математику как техническое орудие, и математики высокого класса, которые далеко не всегда умеют говорить просто, ситуация сегодня насыщена спорами.

Памятуя отповедь Льва Самуиловича по поводу упоминаемых мною распределений Ципфа, Парето, Лотки и т.д., о которых я говорила в 1995 г., я не буду загружать читателя и относящимися к этому же семейству распределениям Виллиса, Ферма-Дирака и Бозэ-Эйнштейна, хотя эти имена нам знакомы уже лучше. Вопрос в том, что кардинально новое

может у нас появиться по отношению к археологическому материалу, что вытекает из факта (я полагаю, что не гипотезы!) правомерности моделирования ряда процессов в археологии исходя из устойчивых негауссовых распределений?

Прежде всего следует обращать внимание на редкие события, поскольку условием негауссового распределения является неравночисленность классов объектов (единичные «ноевы касты», многочисленные — «саранчевые»). Если у нас в одном и том же могильнике выделяется несколько таксонов, например керамики, представленных единицами образцов при наличии ряда массовых таксонов, это не значит, что нами создана «плохая классификация» или же, что мы должны объединить эти единицы искусственно в один сводный таксон. Единицы имеют такое же право на существование, как при социологическом анализе, когда ранжированное общество объединяет двух-трех представителей элиты в один класс, ни суммировать богатства разных классов, получая результаты среднего дохода, неправомерно.

«Несмотря на такое разнообразие единиц и различие их активности, рассматриваемое распределение, тем не менее, не является смесью двух и более распределений и может в аналитическом виде быть выражено одной формулой» — остерегают нас профессионалы (Чебанов 2002: 459). По данным библиометрических исследований, массовые компоненты, в случае археологии массовые типы, составляющие «тело» системы, отнюдь не являются определяющими как и средняя литература по сравнению с гениальной, значит опять таки вывод заключается в повышенном внимании к редким типам. В ранних работах на интуитивном уровне я отмечала этот факт на примере раннесредневековых кавказских материалов. Практический вывод из этих положений заключается в том, что нужно рассматривать не средние, а весь вариационный ряд, выделяя кластеры, и искать в нем структурнозначимые фрагменты, исходя из своих собственно археологических представлений. На основании анализа эмпирических материалов из разных областей знания, мы видим, что наличие негауссового распределения свидетельствует о целостности системы, что подкрепляется данными археологии по В.Н. Слонову (Слонов 1995).

Интересно наблюдение, построенное по эмпирическим биологическим данным, о том, что распределения негауссового типа «определяются характером конкуренции за некоторый ресурс» (Чебанов 2000: 462), что в случае археологии при возможности сравнивать материалы в диахронии, говорит о известной нам смене типов во времени. причем некоторые методы сравнения предлагаются. Так Ю.К. Орлов создал модель Z-распределения для проверки любых эмпирических распределений и написал о возможности их использования «тут и возможность прогноза, и контроль однородности потока событий, и сравнение данных, полученных на разных объектах, и возможность в некоторых случаях оценивать объем потенциального словаря» (Орлов 2000: 311). А С.Д. Хайтун определил, что степень вогнутости гиперболы может быть определена путем логарифмирования через угол наклона к горизонтальной оси полученной прямой линии. Чтобы не кончать статью на перечислении тех возможностей, которые мы получим, построив на различном археологическом материале серии гиперболических распределений (а когда это будет!), очень коротко остановлюсь на том, что можно делать уже сегодня (подробнее см. монографии: Ковалевская 1998; 2000 и ряд статей).

Развитие археологической культуры (да простит меня Лев Самуилович за «развитие») происходит во времени, а структура ее в каждый из диахронных срезов определяется по встречаемости типов во всем их многообразии, что как раз и может быть предметом исследования с помощью как негауссовых распределений, так и гауссовых. Время и пространство в археологии связаны неразрывно, достаточно сказать, что в каждом явлении мы мо-

жем определить начало и конец (во времени) и центр и периферию (в пространстве) при вектором (пути передвижения народов, торговые пути) или диффузном (выражающемся в культурных кругах) распространении изучаемого явления. Если мы на карту поместим встречаемости всех сотен типов вещей, которые позволяют нам судить об интересующих нас событиях, то это значит, что задействовано много сотен распределений, о форме которых мы можем судить с некоторой долей определенности.

Входя в область пространственных отношений археологических фактов и явлений мы находимся в достаточно выигрышном положении. С одной стороны существуют в продаже (правда, отнюдь не дешево!) пакеты различных географических программ, с другой стороны мы имеем возможность использовать отечественные пакеты Geo Draw / Geo Graph для работы с электронными картографическими основами и оригинальную лицензионную программу Map Developer Studio для построения интерполяционных карт, разработанную в ИО Ген РАН, и их последующего статистического анализа и сравнения, адаптированную к решению археологических задач и апробированную в исследованиях последнего десятилетия. Отечественные пакеты Dat Stat и Map Stat предназначены для статистического анализа массива исходных данных и географических распределений, полученных при построении интерполяционных карт, дают возможность получать кластеры связанных по пространственному распространению артефактов в диахронии и сопоставлять их между собой.

С помощью компьютерных географических программ мы можем получить интегрированную характеристику распределения археологических данных в пространстве, поскольку мы оперируем атласами компьютерных карт, насчитывающими многие сотни карт, имеем возможность математически сопоставлять их между собой, строить на их основании комплексные (сложение карт) и синтетические карты (карты главных компонент) — мы можем интерпретировать эти данные с исторической точки зрения.

Рассмотренные очень коротко и схематично возможности использования разного математического аппарата для глубинного анализа механизма порождения и существования такой сложной, неустойчивой и дисимметрической системы, как археологическая культура, во всех ее проявлениях и бурное развитие сегодня проблем негауссовых распределений в математике, являются залогом дальнейших важных и интересных исследований.

Литература

Амиров Ш.М., Деопик Д.В. 1997. Морфология халафской керамики из Ярым Тепе 2 // Bagdader Miteilungen. Band 28.

Арциховский А.В. 1930. Курганы вятичей. М.

Арциховский А.В. 1962. Отзыв на кандидатскую диссертацию Деопик (Ковалевской) В.Б. Стеклянные, каменные и металлические украшения IV-IX вв. Северного Кавказа как исторический источник. М.

Городцов В.А.1927. Типологический метод в археологии // Общество исследователей Рязанского края. Серия методическая. Вып. VI. Рязань .

Грязнов М.П. 1941. Древняя бронза Минусинских степей. I. Бронзовые кельты // Труды ОИПК Государственного Эрмитажа. Т. I.

Деопик (Ковалевская) В.Б. 1963. Применение статистических методов к изучению массового археологического материала // Методы естественных и технических наук в археологии. Тезисы докладов. М.

Деопик (Ковалевская) В.Б. 1965. Применение статистических методов к изучению массового археологического материала Статья с тем же названием // МИА. № 129. М.

Деопик Д.В. Светлоглиняные амфоры Танаиса римского времени: морфология, стратиграфический контекст и математическая обработка (в печати).

Деопик Д.В., Круг Ю.О. 1972. Эволюция узкогорлых светлоглиняных амфор с профилированными ручками // СА. № 3.

Деопик Д.В., Найденко А.В., Прокопенко Ю.А. 1998. Керамика Грушевского городища // Из истории народов Северного Кавказа. Вып. 2. Ставрополь.

Деопик Д.В., Дервиз П.Г. 1985. Морфологический анализ керамики из погребений срубной культуры Нижнего Подонья // СА. № 1.

Ефименко П.П. 1926.Рязанские могильники. Опыт культурно-стратиграфического анализа могильников массового типа // Материалы по этнографии. Т. III, вып. I. Л.

Каменецкий И.С. 1979. Математическая статистика в археологии // Природа. № 9.

Каменецкий И.С., Маршак Б.Я., Шер Я.А.1975. Анализ археологических источников (возможности формализованного подхода). М.

Квирквелия О.С. 1981. Краткий обзор советской литературы по вопросам применения статистико-математических методов исследования в археологии // Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М.

Клейн Л.С. 2001. Принципы археологии. СПб.

Клейн Л.С. 1998. Археологическая культура: теоретический анализ практики // РА. № 1.

Ковалевская В.Б. 1995.Археологическая культура — практика, теория, компьютер. М.

Ковалевская В.Б. 1970. К изучению орнаментики наборных поясов VI–IX вв. как знаковой системы // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.

Ковалевская В.Б. 2000. Компьютерная обработка массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии // Хронология восточно-европейских древностей V-IX веков. Вып. 2. Стеклянные бусы и поясные наборы. М.

Ковалевская В.Б. 2002. Негауссовые распределения и поиск закономерностей в археологии // Философские основания технетики. Вып. 19. М.

Ковалевская В.Б. 1969. О некоторых знаковых системах в археологии. Уз. Тар. ГУ. Вып. 236. Тарту.

Ковалевская В.Б. 1998. Хронология восточно-европейских древностей V-IX веков. Вып. 1. Каменные бусы Кавказа и Крыма. М..

Ковалевская В.Б., Погожев И.Б., Погожева А.П. 1970. Количественные методы оценки степени близости памятников по процентному содержанию массового материала // СА. № 3.

Ковалевская В.Б., Рычков Ю.Г. 1997. Методы компьютерного картирования переселения народов и передвижений вещей (Кавказ и Волга в I тыс. до н.э. — I тыс. н.э.) // Тезисы докладов Научной конференции, посвященной 100-летию П.Д. Рау. Саратов.

Ковальченко И.Д. 1987. Методы исторического исследования. М.

Кудрин Б.И. 2000. Неизбежность и практическая обусловленность трансформации мировоззрения технариев и гуманитариев постулатами третей научной картины мира // Трансцендентность и трансцендентальность техноценозов и практика Н-моделирования (будущее инженерии). Ценологические исследования. Двадцатый выпуск. М.

Майстров Л.Е. 1967. Теория вероятностей. Исторический очерк. М.

Марков А.А. 1987. Что такое конструктивная математика? Введение // Закономерности развития современной математики. М.

МИА. № 129. М., 1965.

Монгайт А.Л. 1963. Возникновение и первые шаги советской археологии // История СССР. № 4.

Николова А.В., Гудим-Левкович А.Н., Левченко В.Н. 1990. Советская аннотированная литература по формализованно-статистическим методам в археологии (1961–1985 гг.) // Формализованно-статистические методы в археологии. Киев.

Орлов Ю.А. 2000. Письмо из Тбилиси // Трансцендентность и трансцендентальность техноценозов и практика Н-моделирования (будущее инженерии). Ценологические исследования. Двадцатый выпуск. М.

Слонов В.Н. 1995. Методы формализованной классификации массовых археологических объектов // Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Архив ИА РАН.

Успенский В.А. 1987. Семь размышлений на темы философии математики // Закономерности развития современной математики. М..

Федоров-Давыдов Г.А. 1987. Статистические методы в археологии. М.

Хайтун С.Д. 1983. Наукометрия: состояние и перспективы. М.

Хайтун С.Д. 2002. Эволюция и негауссовые распределения // Философские основания технетики. Вып. 19. М.

Чебанов С.В. 2002. Распределение с неопределенными центральными моментами, размерная структура природных тел и натуральнозначные функции натуральных аргументов // Философские основания технетики. Вып. 19. М.

Щапова Ю.Л. 1988. Естественно-научные методы в археологии. М.

Щапова Ю.Л. 2002. Развитие, эволюция, Н-распределение и ряд Фибоначчи // Философские основания технетики. Вып. 19. М.

Яблонский А.И. 1986. Математические модели в исследовании науки. М.

Kovalevskaja V.B. 2003. Recherches sur les systèmes semiologiques en archeologie par les methodes de la theorie de l'information // Archeologie et Calculateurs. P. № 970.

Kudrin B., Matyunina Y., Zaitsev E. 2000. Technical evolution and informational selection. Law in Theses // Трансцендентность и трансцендентальность техноценозов и практика Н-моделирования (будущее инженерии). Ценологические исследования. Двадцатый выпуск. М.

Nielsen K.H. 1990. The Application of Correspondence Analysis. Some Examples in Archaeology // Classification, Data Analysis and Knowledge Organization. Models and Methods with Applications. Proceedings of the 14-th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation, e.V.

Spaulding A. 1960. Statistical description and Comparison of Artifact Assemblages // Viking fund publications in anthropology. № 28.

Ю.М. Лесман[1]

КЛАСТЕРНЫЕ, ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ И ДАТИРУЮЩИЕ ТИПЫ[2]

Yu. M. Lesman. Cluster, chronologically significant, and dating types

The author examines two basic strategies of typological research.

1) Cluster typology: From a multiplicity of objects, described by a certain set of parameters, to a structural set of types, which in the future may be subject to interpretations

2) Diagnostic typology: from a multiplicity of objects which have been initially placed in order in accordance with a certain factor, known in advance (most often time, geographical space, sex, and/or age of burial) to a set of types and indicators describing and diagnosing these types, for significance of this factor.

These strategies do not negate, but mutually complement each other.

In Cluster typology type is the cluster in the space of its indicators. (Drawing 1–2). The mathematical apparatus and algorithm of cluster classification was developed primarily within a problem-solving framework of signal classification under conditions of indeterminacy or recognition of forms without a teacher. The simplest dendric (tree) classification with replacement of the basis of classification in conditions of a shift from one level to another is a degenerative case of cluster classification. The resultant classification necessitates a cultural interpretation (in search of purposeful bases). Often cluster classes formed by visual traits can be interpreted as autonomous groups recognized by transmitters of ancient culture. However, even if the cultural meaning of the class is not known, the very degree of its structuredness is already significant for cultural understanding.

In Diagnostic typology type is a free collection of objects with traits of similar significance, which serve as diagnostic indicators. A mathematical apparatus and algorithms of diagnostic classification has been developed for solving problems of recognition of forms according to given samples. Technically this task is considerable simpler than cluster typology. It can be solved in two different ways: by determination or probability. A non-redundant collection of diagnostic types must include only those types for which the meanings of the diagnosed traits can not be obtained by proceeding from a combination of meanings of the remaining types. The fact that the supporting series of objects is almost never a random sampling from the general aggregate considerably complicates the use of diagnostic types. This makes types which have not passed through the examination procedure only diagnostically significant, as opposed to actually diagnostic. For diagnosis of time these are chronological significant and dating types.

A chronologically significant type is a free collection of objects with traits of similar significance from the supporting series, which are localized sufficientlycompactly in time. The dating type is the kind of chronologically significant type for which has been established with a sufficient degree of reliability the time of its existence in the culture or in some segment of the culture, and for which the limits of this segment of culture also have been determined.

As a first example we examine the correspondence between cluster (developed by Brongers, Wijnman 1968: 15–22) and chronological (obtained by the author on the basis of processing of the same material) typology of glass cubes represented in the works of eighteenth century Dutch and Flemish masters. Brongers and Wijnman identified 14 cluster types, each

[1] Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.

[2] Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 04-01-00545а.

of which are represented in images 3–49 (Fig. 3, 4; Tab.). However, the small number of types cannot be regarded as "dating" (only nine types are represented by ten or more images). At the basis of this same collection of traits there have been removed 23 chronologically significant types, each of which is represented on 12–154 images, including nine types on over 100 images (Fig. 3, 5; Tab.). The massive quality is attributable to the fact that 18 of 23 are determined by one or several related meanings of one trait. The reliability of dates at the expense of the growth of massive nature of the types is significantly increased.

A second example examines the correspondence of chronologically significant and dating types on the basis of material of clothing chronology of Novogorod the Great (950–1400 C.E.) The author relies on his own research, in the course of which have been identified 425 chronologically significant types of jewelry. Characterized here is a methodology of determining the criteria which permit examination of types as "dating" (the minimal threshold for massiveness relating to one type of find, chronological and territorial and cultural frameworks of the chronological system's workability).

Предуведомление

Двадцать с небольшим лет назад Л.С. Клейн писал о 20-летнем цикле «в появлении крупных или влиятельных работ по археологической типологии» (Клейн 1991:340). Ожидавшийся Л.С. Клейном спад в теоретико-типологических исследованиях несомненно имел место в 90-х гг. прошедшего века. Кажется, он продолжается и поныне, хотя, возможно, свежая крупная работа уже напечатана, но остается мне не известной. Впрочем, не исключено, что пауза затянется. Отечественная археология переживает свой очередной безтеоретический период, западная же (при всей условности сейчас этого деления) пока еще не вышла из постмодернистского клинча. Какая-то часть профессионального сообщества усвоила достижения (и недочеты) теоретического натиска 70-х — 80-х гг.[3] , но очень многие работают по старинке. Отчасти эта ситуация может объясняться тем, что всплеск исследовательского интереса к методике не следовал хронологически за теоретическими разработками, а скорее предшествовал им. В результате, теоретическая база методических разработок оказалась во многом отставшей от теории, и уж тем более, отстают практические типологические исследования, которые часто в своей методической основе вообще не выходят за рамки достижений 20-х гг. XX в.[4] Эти печальные (не смотря на приятный повод — юбилей Л.С. Клейна) соображения определили тему моей статьи, хотя излагаемое в ней мне самому казалась достаточно ясным, по крайней мере в общих чертах, уже лет 15–20 назад (Лесман 1984; 1990; 1991: 305–314).

Введение

Типологические исследования в археологии, если их рассматривать в самом общем виде, следуют одной из двух методических линий: 1) от множества объектов, описанных некоторым набором параметров, к структурированному (в той или иной мере) набору типов, которые в дальнейшем подлежат интерпретации; 2) от множества исходно упорядоченных в соответствии с некоторым заранее известным фактором объектов к набору типов (и признаков эти типы описывающих), диагностичных для значений этого фактора. Чаще всего таким фактором выступает время или географическое пространство, но это может

[3] Из отечественных работ назову как наиболее интересную, наряду с монографией Л.С.Клейна, опубликованную диссертацию его ученика Е.М. Колпакова (1991).

[4] Самый типичный пример — следование в исследовательских типологиях восходящим к В.А. Городцову жестко структурированным иерархическим схемам.

быть пол и/или возраст погребенных (для инвентаря могильников), а также самый широкий спектр иных аспектов, включая и ранее полученные типологические группы (артефактов, комплексов, сооружений или памятников), сопряженные с типологизируемым множеством. Первую стратегию в самом общем виде можно определить как кластерную типологию, для второй нет принятого названия но наиболее точно будет именовать ее диагностической типологией.

Кластерная типология

Наиболее распространенным является определения типа как устойчивого сочетания признаков (Классификация 1990: 40–43), хотя точнее было бы говорить об устойчивом сочетании определенного набора значений признаков. То же самое, но более операционально, можно выразить и по-другому: тип — это кластер в пространстве признаков. Каждый объект, как при построении новой типологии, так и при включении его в уже существующую, описывается строкой в матрице объекты-признаки[5] . Набор признаков[6] задает многомерное пространство признаков (оси координат этого пространства могут быть как количественными, так и качественными). Объект в таком пространстве представляет собой точку (или некоторую зону, если какие-то из параметров не могут быть определены точно[7]). Скопление точек в многомерном пространстве признаков является отображением типа, вполне наглядным в простейшем случае двумерного пространства с количественными осями (рис. 1.1). Такие скопления и именуются кластерами (англ. cluster — рой, гроздь). Скопления могут образовывать скопления скоплений (рис. 1.3), и тогда типология приобретает иерархический (древовидный) характер (см. напр.: Лесман 1979; Бианки, Дождев 1979; Белецкий, Лесман 1982). При построении пространства признаков для каждой из осей вводятся весовые коэффициенты, значения которых в общем случае могут меняться от этапа к этапу классификационной процедуры. Очевидно, что в зависимости от значений весовых

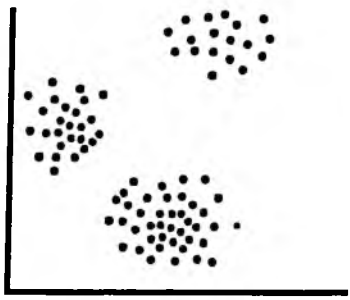


Рис. 1.1

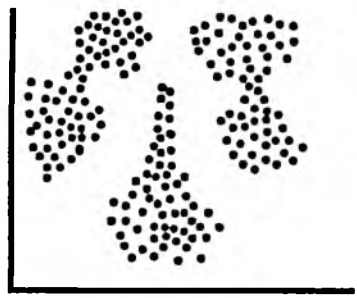


Рис. 1.2

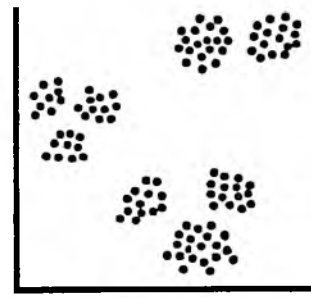


Рис. 1.3

Рис. 1. Кластерные типы в пространстве двух количественных признаков.
1.1. Пример трех шаровидных кластеров; 1.2. Пример вытянутых и гантелевидных кластеров;
1.3. Пример иерархических кластеров.

[5] Применительно к информационно-поисковым системам говорят о языках объектно-признакового типа, как одной из разновидностей искусственных языков.

[6] Разные признаки, включенные в один набор, не должны иметь между собой ни причинно-следственных, ни функциональных связей (в математическом смысле, подразумевающем, что ни один из признаков не может быть вычислен как функция других).

[7] Границы зоны могут носить размытый характер, если значение параметра определяется как случайная величина с определенными вероятностными характеристиками.

коэффициентов может меняться и общая картина распределения точек в пространстве, и, соответственно, структура кластеров. Нулевые значения весовых коэффициентов исключают соответствующий параметр из рассмотрения. Иногда с помощью весовых коэффициентов стремятся добиться предварительного уравновешивания выбранных параметров, а затем задают заведомо неравнозначные величины весовых коэффициентов (например, для ускорения процедуры кластеризации). Очевидно, что в зависимости от выбора величин весовых коэффициентов может быть получено множество различных кластерных классификаций для одного и того же материала, хотя при ограниченном наборе признаков число вариантов классификации все же не бесконечно. Разные классификации могут быть получены и при использовании различных метрик пространства признаков. Фактически уже само введение весовых коэффициентов является изменением метрики. Особенно заметно сказывается изменение метрики при работе с качественными признаками (выбор тех или иных коэффициентов сходства или различия, оптимальность выбора во многом определяется спецификой распределения значений признака). Разные классификации могут быть получены при использовании различных алгоритмов разграничения кластеров. Однако, выбор здесь не велик и ограничивается двумя основными подходами: 1) объединение с ближайшим соседом, что приводит к интерпретации в качестве единых кластеров — скоплений гантелевидного или линейно вытянутого вида (в двумерном случае — рис. 1.2); 2) объединение с ближайшим центром наличного кластера, что ориентировано на класте-

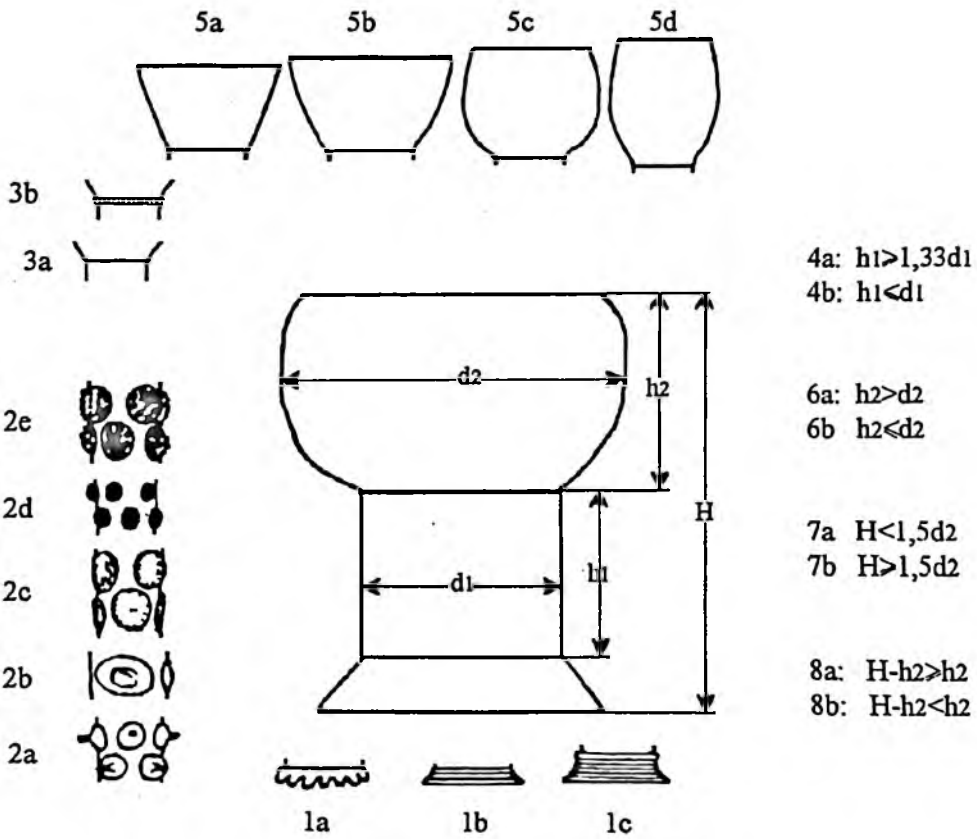


Рис. 2. Признаки описания стеклянных кубков.

ры в форме многомерного гипершара (в двумерном случае — рис. 1.3). Исследователь волен выбрать, что он хочет получить: типы, включающие цепочки взаимосвязанных объектов, но такие, что концы одной цепочки могут существенно (существеннее, чем объекты разных типов) различаться, или компактные типы, включающие близкие по большинству параметров объекты.

Математический аппарат и алгоритмы кластерной классификации разрабатывались преимущественно в рамках решения задач классификации сигналов в условиях неопределенности или, что по сути то же самое, распознавания образов без учителя.

Простейшая древовидная классификация со сменой основания классификации при переходе с одного уровня на другой является вырожденным случаем кластерной классификации (когда на каждом шаге построения кластерной классификации лишь один весовой коэффициент имеет ненулевое значение).

Полученная классификация (или, что бывает существенно реже, классификации) нуждается в культурной интерпретации (в терминологии Е.М. Колпакова в поиске целевых оснований — Колпаков 1991: 81–83). Только после этого, в соответствии с трактовкой большинства исследователей, классификация может быть признана типологией, а классы типами. Нередко кластерные классы, особенно образованные визуальными признаками, исходя из общих закономерностей человеческой психики можно интерпретировать как осознаваемые носителями древней культуры автономные группы. Одним из обязательных условий такой интерпретации является синхронность (с точностью до продолжительности жизни одного поколения) классифицируемого множества объектов. Однако априорно утверждать, что все кластерные классы имеют культурный смысл (осознанный или даже неосознанный) было бы не верно. Возникновение кластерных классов может быть обусловлено и историографическими, и источниковедческими, и естественными причинами, носящими сугубо случайный характер (например, использованием выходов разных по составу пород, которые, однако, визуально неотличимы, идентичны по важным для целей древнего человека свойствам и в равной степени распространенны территориально). В тех случаях, когда кластеры получены и есть основания предполагать, что они отражают реально существовавшую в культуре группировку объектов, или, наоборот, классы отсутствуют и объекты образуют аморфное поле в пространстве признаков, исследовательское значение полученного результата наличествует даже тогда, когда мы ничего не можем сказать о самом культурном значении конкретного класса. Значима для понимания культуры уже сама степень ее структурированности. Так, все попытки типологизации керамики пражской культуры, особенно в ее восточном корчакском регионе, не дали четких кластеров ни в синхронных срезах, ни даже в асинхронном аспекте (выделяемые хронологические типы являются отражением не дискретной, а непрерывной тенденции почти трехвекового развития). Это резко контрастирует с предшествующими и частично совпадающими территориально черняховской и зарубинецкой культурами.

Итак, в кластерной типологии тип — это культурно значимый кластер в пространстве признаков. Генеральная линия кластерной типологии: от признаков к кластерам и от кластеров к их интерпретации. По сути — это критически рассмотренная Л.С Клейном (Клейн 1991) аналитическая стратегия, которая, не смотря на многочисленные к ней претензии, пользуется широкой популярностью у исследователей и нередко дает хорошие результаты. Отвергать ее (как иногда в дискуссионном порыве хочется Л.С. Клейну), представляется, нет резона, а вот дополнить (в чем с ним нельзя не согласиться) резон есть.

Диагностическая типология

Б.К.И. Суарц предложил определять тип как «связанный набор повторяющихся свойств артефактов, служащий диагностическим хронологически-пространственным индикатором не зависимо от того, обладает ли он культурным значением или нет» (Swartz 1967: 490). Такое толкование бесспорно слишком узко для археологического типа диагностической типологии, но работает в ее русле. С одной стороны, почему речь идет только об артефактах (а не об отдельных их чертах, следах, комплексах, сооружениях, памятниках, или целых культурах), с другой — почему только о хронологии и пространстве (а не о социальных, половых возрастных или иных группах, художественных, ремесленных или технологических традициях и т.д.). Эти (и другие) неоправданные ограничения снимаются, если расширить формулировку: в диагностической типологии тип — это сводный набор сходных значений признаков объектов, служащий диагностическим индикатором (в близкой формулировке см. Лесман 1990: 30). Для количественных признаков сходные значения соответствуют интервалам значений. Для порядковых или по крайней мере частично упорядочиваемых по степени близости признаков сходные значения соответствуют смежным значениям. Для качественных признаков, значения которых не поддаются упорядочению, сходные значения подразумевают полное совпадение. Сводный набор может определяться логическим сложением (по принципу «или») для смежных по своему смыслу признаков, логическим умножением (пересечением — по принципу «и»), а также отрицанием одного или нескольких значений признака («кроме»).

При создании диагностической типологии объект, как и в кластерной типологии, описывается строкой в матрице объекты-признаки (при этом желательно иметь максимально широкий набор признаков)[8] . Значения целевого признака (время, пространство, социальные, половые, возрастные группы, типология иных сопряженных с рассматриваемыми объектов и т.д. и т.п.) известно для некоторой достаточно большой опорной серии объектов. Определению подлежат сами типы (как в качестве набора значений косвенных признаков, так и списочно из множества принадлежащих опорной серии объектов), принадлежность к которым объектов, не входящих в опорную серию, позволяет определить для них значение целевого признака.

Математический аппарат и алгоритмы диагностической классификации разрабатывались для решения задач распознавания образов по заданным образцам. Технически эта задача существенно проще кластерной типологии. Она может решаться в двух вариантах: детерминированном или вероятностном. В первом случае выделение диагностического типа означает составление такого набора параметров и их значений, который позволил бы локализовать значения диагностируемого признака (например, описать тип, локализуемый во времени или в некотором географическом пространстве). Безизбыточный набор диагностических типов должен включать лишь те типы, для которых значения диагностируемого признака не могут быть получены исходя из комбинации значений остальных типов.

В вероятностном варианте задачи речь идет о выделении косвенных признаков и типов, определяемых сочетанием признаков, в наибольшей степени взаимосвязанных с изменением известного заранее целевого признака, а также о получении вероятностных распре-

[8] Разработку типовых наборов признаков для описания артефактов различных категорий в последние годы весьма продуктивно ведет семинар под руководством Ю.Л. Щаповой (Щапова, Лихтер, Столярова 1990; История 1994). Предлагаемые ими списки признаков несомненно полезны и позволяют выработать методически и терминологически совместимые системы описания различных объектов, но, конечно, не могут и никогда не смогут охватить все возможное разнообразие признаков.

делений массовости принадлежащих к типу объектов по возможным значениям целевого признака. Критерии связи базируются на расчете информации, которую несет факт принадлежности к типу о значении целевого признака, на χ^2 и пр. (см. напр. Фу 1971: 40–62).

Существенно осложняет применение диагностических типов тот факт, что в реальном археологическом материале опорная серия объектов почти никогда не является случайной выборкой из генеральной совокупности. В результате при переходе от выборки к генеральной совокупности, (то есть к тому множеству объектов, для которых отдельный тип или вся совокупность выделенных диагностических типов может служить индикатором) может понизиться точность диагностики — вплоть до полной ее утраты. Часто заранее не определены даже границы (географические, хронологические, по типам комплексов и т.д.) той генеральной совокупности, которую предполагается диагностировать. Требует определения порог массовости представленного в опорной серии типа, то есть то минимальное количество экземпляров объектов, которое достаточно для надежного (с некоторой вероятностью) определения значения диагностируемого признака, причем этот порог может зависеть от характера распределения типа по значениям целевого признака. Все эти проблемы могут быть решены лишь экспериментально для каждой конкретной задачи: либо на контрольных группах объектов с известными значениями целевого признака, либо на основе внутренних критериев проверки получаемых результатов, если их удается найти. Однако, пока такая проверка не осуществлена, диагностичность типа остается условной. Сами такие типы можно назвать диагностически значимыми в отличии от собственно диагностических.

Обобщенные формулировки, к которым мне приходится прибегать, неизбежно трудны для восприятия. Попытаюсь их конкретизировать на примере типов, диагносцирующих время: хронологически значимых (диагностически значимых для определения хронологии) и датирующих (диагностических для определения хронологии).

Хронологически значимые и датирующие типы

Для выявления хронологически значимых типов необходима достаточно большая совокупность датированных объектов. Датировка может быть абсолютной или относительной (во втором случае в рамках единой последовательности или, по крайней мере, сведена в единую систему[9]). Из неограниченной совокупности признаков подлежат отбору хронологически значимые признаки. При первичном отборе хронологически значимых признаков можно рассчитывать в первую очередь на опыт и интуицию, но проверка значимости, хотя и с некоторыми оговорками, поддается формализации. Хронологически значимые признаки — это признаки, значения (смежные для порядковых или по крайней мере частично упорядочиваемых по степени близости признаков, интервалы значений для количественных) которых самостоятельно или в сочетании с другими признаками достаточно компактно локализуются во времени (измеренном в абсолютных величинах или в относительной последовательности) и . «Достаточная компактность» допускает и случайные выпадения из основного временного интервала, и разрывы между несколькими интервалами. Она может быть оценена статистически, но окончательное решение принимается лишь на уровне датирующих типов. Для стратифицированных раскопов локализация в относительной последовательности означает серию находок в некоторой группе слоев. Относительную после-

[9]Например, стратиграфия отдельных погребений разных могильников, которая может позволить получить относительную хронологию инвентаря и особенностей погребального обряда., если только эти погребения образуют взаимосвязанную структуру (чего может не оказаться, если в изучаемый период произошла хотя бы одна синхронная смена мест погребения, сопряженная с близким к тотальному изменением облика культуры).

довательность могут дать серии стратиграфически связанных комплексов, ремонтов или переделок артефактов, надежных рудиментов, достоверно хронологически интерпретированные сериационные последовательности[10] и, несомненно, даты, полученные неархеологическими методами (на основе собственно письменных источников, датированных на их основе иконографических и нумизматических материалов, а также с помощью естественнонаучных методов).

Хронологически значимый тип — это сводный набор сходных значений признаков объектов из опорной серии, которые достаточно компактно локализуются во времени. Хронологически значимый тип определяется отдельным признаком (в этом случае идентичен хронологически значимому признаку) или группой хронологически значимых признаков, не сводимой ни к их простому набору, ни к комбинации других хронологически значимых типов. Для дат, заданных интервалами, несводимость означает, что дата типа эже, чем пересечение дат признаков. Если даты представляют собой независимые вероятностные распределения во времени, несводимость означает не только то, что реальное распределение не совпадет с формально вычисленным[11], но и, что реальная дисперсия будет существенно меньше вычисленной.

Датирующим типом является такой хронологически значимый тип, для которого с достаточной степенью надежности определено время его бытования в культуре или в некотором сегменте культуры, а также определены границы этого сегмента культуры. Сегмент культуры может иметь самые различные границы (или принципы вычленения): территориальные, хронологические, охватывать некоторую субкультуру, группу памятников или комплексов, один памятник или даже только его часть, ограниченную группу кластерных типов и т.д. Нередко встречаются ситуации, при которых одни и те же типы (идентичные по набору значений признаков) характеризуются различными интервалами бытования в разных культурах или в разных сегментах одной культуры. Эти интервалы могут даже не пересекаться, хотя чаще всего речь идет о не очень значительных различиях (в том числе о разной точности) в определении границ хронологических интервалов или о разной степени надежности определения этих границ. Сам по себе факт синхронности бытования некоторого набора типов в определенном сегменте культуры, при нарушении синхронности в других сегментах, является важной для понимания культуры характеристикой и говорит о внутреннем единстве сегмента, который может таком образом претендовать на статус субкультуры или автономного варианта культуры. *Достаточная степень надежности в определении времени бытования* предполагает определение достаточной массовости типа в опорной серии, алгоритм определения временных границ бытования типа на основе опорной серии, а также временных границ в культуре или ее сегменте.

Хронология и типология стеклянных кубков XVII в. — пример сравнения кластерных и хронологически значимых типов

В качестве наглядного примера сравнения кластерной и диагностической (хронологической) типологий можно рассмотреть стеклянные кубки, представленные на картинах голландских и фламандских живописцев XVII в. Еще в 1960-х гг. было выполнено исследование хронологии стеклянных кубков, изображенных на картинах (более 200 произведений 63 авторов), а также гравюрах (18 листов) и одном каменном рельефе (Brongers, Wijnman

[10] О проблемах интерпретации сериационных графов см. Лесман 1994; 1996; 2002; 2002а.

[11] Дата типа, сводимая к датам признаков или других типов, вычисляется аналогично дате комплекса однократного формирования (Лесман 1997).

1968: 15–22). В общей сложности имеется 260 изображений различных кубков (считая за одну единицу несколько изображений идентичных кубков на одном произведении). Все эти изображения датированы, причем подавляющее большинство с точностью до года. 8 картин с изображениями в общей сложности 12 кубков датируются лишь в пределах дат жизни и творчества художников (условно принято, что художник начинает работать с 20 лет). Общие хронологические рамки: 1596–1688 гг., хотя лучше обеспечен материалами период между 1607 и 1671 гг. (252 изображения). Даты гравюр менее информативны для определения верхних дат бытования изображенных кубков, так как доски гравюр нередко выполнялись на основе более ранних рисунков или живописных произведений. Недолговечность стеклянных кубков (некоторые даже изображены разбитыми) делает материал особенно привлекательным для хронологического исследования. На сколько мне известно, эта работа до сих пор остается уникальным образцом систематического исследования вещевой хронологии на основе датированных изображений. Хотя возможности систематической разработки хронологии вещей (в первую очередь украшений и деталей костюма, вооружения, бытовых предметов) на основе датированных изображений, особенно для периода средневековья (начиная с высокого средневековья) и нового времени, весьма велики (подробнее об этом см. Лесман 1994б), исследователи в лучшем случае ограничиваются тем, что подбирают к рассматриваемым артефактам в разной степени обширные серии датированных аналогий (в качестве лучших образцов можно назвать London 1940; Fingerlin 1971).

Статья Бронгерс и Вийнман называется «Хронологическая классификация...», но фактически авторы выделяли кластерные типы, исходя не столько из датирующих возможностей, сколько из визуального сходства и различия кубков. Хотя обоснование типологии и не изложено в статье, оно поддается восстановлению на основе представленных обобщенных рисунков образцов кубков разных типов. В конструкции кубков выделяются три части: чаша, ножка и поддон. В основу типологии положены:

1)общие пропорции кубков,

2)форма и пропорциях каждой части,

3)соотношение высот чаши и ножки,

4)наличие валика при переходе от чаши к ножке,

5)размеры и оформление поверхности декоративных выступов-сосков на ножке.

Всего авторами выделено 14 типов кубков, каждый из которых представлен на 3–49 изображениях. Типы определенным образом распределяются во времени (рис. 4)[12] . Очевидно, что малочисленные типы не могут рассматриваться как датирующие. Если условно принять, по аналогии с Новгородом (см. ниже), в качестве рубежа массовости 10 экз., достаточно многочисленными для датировки окажутся лишь 9 типов (1,3,4,6,7,10,11,13,14).

Отталкиваясь от того же набора признаков (рис.3, табл.), можно попытаться выделить хронологически значимые типы. Их удалось получить 23 (рис. 5). Датировки большинства типов (2, 4-7, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23) определяются непосредственно временными интервалами между самыми ранними и самыми поздними изображениями[13] , но некоторые даты

[12] Рис. 4 представляет собой переработанный вариант предложенной Бронгерс и Вийнман Table I (Brongers, Wijnman 1968: 19), учитывающий как неточность датировки некоторых произведений (датируются с точностью до периода творчества художника), так и некоторые пропуски в их таблице.

[13] Верхние даты «до 1668 г. включительно» (типы 3, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19) могут рассматриваться лишь как предварительные, т. к. изображения с более поздними датами в рассматриваемой подборке немногочисленны (5 экземпляров), также предварительный характер носят нижние даты «начиная с 1608 г.» (типы 12, 20), так как более ранние изображения представлены всего лишь 6 экземплярами. В этой связи показательно, что самое раннее изображение представляет собой не живописное произведение, а единственный в анализируемой подборке рельеф.

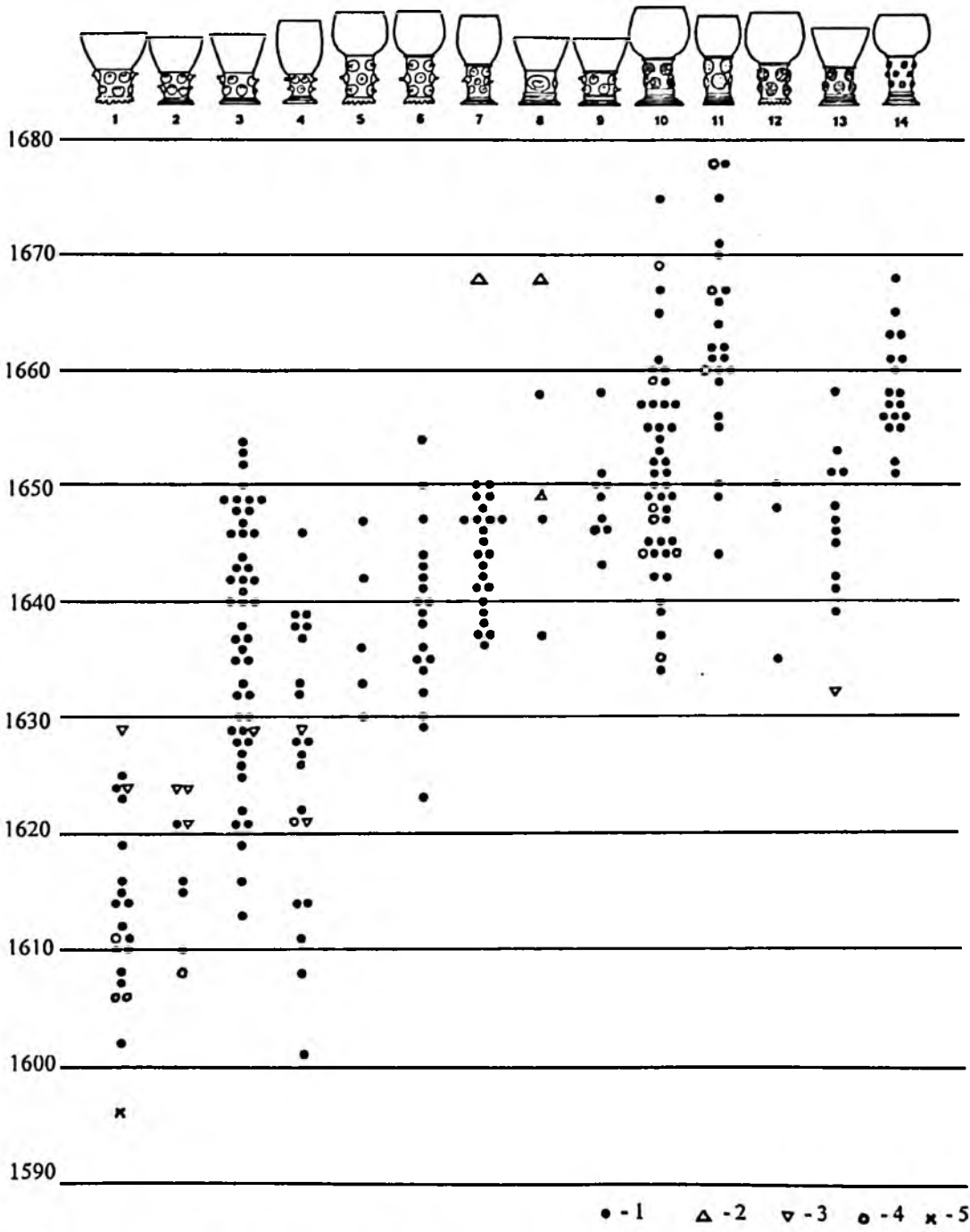


Рис. 3. Хронологическое распределение 14 кластерных типов стеклянных кубков (по Bronges, Vijnman 1968).

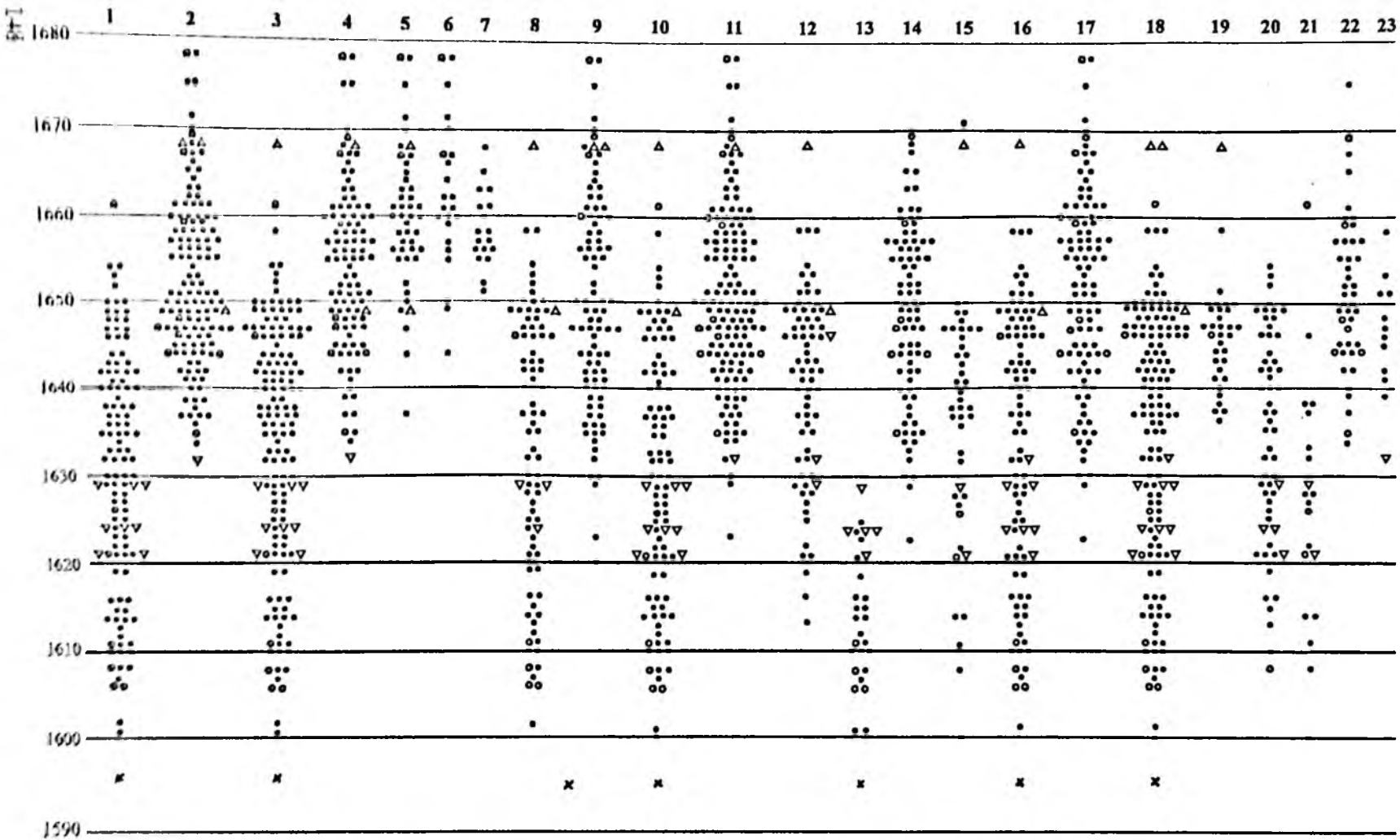


Рис. 4. Хронологическое распределение 23 хронологически значимых типов стеклянных кубков.

Индикация признаков соответствует приведенной на рис. 2.

	Признаки	1			2					3		4			5				6		7		8		Коли-
	Значения	a	b	c	a	b	c	d	e	a	b	a	b	c	a	b	c	d	a	b	a	b	a	b	чество
ТИПЫ классические	1	+			+					+		+				+				+	+			+	21
	2		+		+					+			+			+				+	+			+	8
	3		+		+					+		+			+					+	+			+	49
	4		+		+					+			+					+	+			+		+	17
	5	+			+					+				+			+			+		+	+		5
	6	+			+									+			+			+		+	+		19
	7			+	+						+			+				+	+			+		+	24
	8			+		+					+	+			+					+	+			+	5
	9			+	+					+		+			+					+	+			+	9
	10			+					+		+		+				+			+		+	+		45
	11			+			+				+			+				+		+		+	+		22
	12	+							+		+			+			+			+		+		+	3
	13			+					+		+		+		+					+	+			+	12
	14			+				+			+			+			+			+		+	+		18
ТИПЫ хронологические значимые	1	+	+																						125
	2			+																					134
	3				+																				154
	4					+	+	+	+																105
	5					+																			45
	6						+																		22
	7							+																	18
	8									+															107
	9										+														151
	10											+													82
	11													+											91
	12														+										74
	13															+									28
	14																+								90
	15																		+						44
	16																				+				102
	17																						+		109
	18																							+	149
	19			+	+																				56
	20				+																+				32
	21		+		+					+			+					+	+			+		+	17
	22			+					+		+		+				+			+		+	+		45
	23			+					+		+		+		+					+	+			+	12

требуют более детального рассмотрения. Верхняя дата типов 1 и 21 (представлены соответственно 125 и 20 изображениями) определяется не датой наиболее позднего изображения на гравюре 1661 г., а более ранними живописными полотнами — соответственно 1654 г. и 1646 г., что позволяет предполагать в качестве оригинала, по которому резали гравюру,

изображение, выполненное до 1646 г. Этот вывод сказывается и на датировке типов 3, 10, 18. Для типов 3, 8, 10, 12, 15, 18, 19 наиболее поздним является совместное изображение двух кубков на недатированной картине кисти Г. Вюхта (G. Vucht), жившего в 1648-1697 гг. За дату начала его творчества условно принимается 1668 г., хотя он мог начать работать и на несколько лет раньше. Изображенные им кубки занимают хронологически изолированные позиции в целом ряде типов, к которым они относятся; условно вычисленный разрыв с наиболее поздними изображениями кубков тех же типов составляет (приняв дату «после 1668 г.»): для типов 3, 8, 10, 12, 16, 18, 19 — по 10 лет, для типа 15 (представлен 44 изображениями) — 18 лет. Эти разрывы не могут быть сняты предположением о более раннем начале работы художника (не с двух же лет), что предполагает использование им для картины случайно сохранившихся в быту старых кубков или копированием (возможно, частичном) более раннего произведения. Тогда верхние даты с некоторой долей гипотетичности могут быть определены: для типов 3, 8, 10, 12, 16, 18, 19 — до 1658 г. с возможным расширением примерно до 1668 г., а для типа 15 — до 1650 г. с возможным расширением примерно до 1668 г.

Хронологически значимые типы кубков в большинстве своем более массовы чем кластерные (9 типов представлены на более чем 100 изображений), в первую очередь благодаря тому, что 18 из 23 типов определяется одним или несколькими смежными значениями одного признака. Сочетание нескольких хронологически значимых признаков в пяти случаях позволило получить типы с датами более узкими, чем пересечение дат признаков, в том числе три типа совпадают с кластерными типами Бронгерс и Вийнман.[14] Даты остальных 11 кластерных типов, в том числе и малочисленных, выводятся из дат хронологически значимых типов как пересечение интервалов дат (каждое изображение кубка может рассматриваться как комплекс однократного формирования, включающий серию типов, к которым он относится). Для достаточно массовых кластерных типов они, естественно, совпадают, для малочисленных — несколько шире интервалов между самым ранним и самым поздним изображениями, но, в отличии от последних, могут рассматриваться как даты типов, а не как набор дат немногочисленных изображений. Большая массовость датированных артефактов (за исключением трех совпадений) хронологически значимых типов делает их даты более надежными, чем собственные даты большинства кластерных типов. В случае же вывода даты кластерного типа из дат образующих его хронологически значимых типов — надежность даты существенно возрастает благодаря существенно большей массовости и, следовательно, надежности дат хронологически значимых типов. Появляется также возможность датировать фрагменты кубков, которые невозможно соотнести с каким-либо одним кластерным типом.

---

[14] Тип 19 является сочетанием типов 2 и 3, что позволяет датировать его временем между 1630 и 1658 гг. (возможно 1630–1668 гг.), в то время как все 32 изображения локализуются между 1636 и 1658 (возможно, 1636–1668 гг). Тип 20 является сочетанием типов 3 и 16, что позволяет датировать его временем до 1658 г. (возможно, до 1668 г.), в то время как все 56 изображений локализуются между 1608 и 1654 гг. Тип 21 (совпадает с кластерным типом 4 по Бронгерс и Вийнман) является сочетанием типов 1, 3, 8, 15, 18, что позволяет датировать его временем до 1654 г., в то время как все 17 живописных изображений и две из трех гравюр локализуются до 1646 г. (одна гравюра датируется 1661 г. и, по-видимому, выполнена по более раннему образцу). Тип 22 (тип 10 по Бронгерс и Вийнман) является сочетанием типов 2,4,9,14 и 17 что позволяет датировать его временем после 1630 г., в то время как все 45 изображений локализуются после 1634 гг. Тип 23 (тип 13 по Бронгерс и Вийнман) является сочетанием типов 2, 4, 9, 12, 16 и 18, что позволяет датировать его временем между 1630 и 1658 гг. (возможно, 1630–1668 гг.), в то время как все 12 изображений локализуются между 1630 и 1658 гг.

Новгородская вещевая хронология — пример системы хронологически значимых типов и ее датирующие возможности

Новгород второй половины X–XV вв. дает по-видимому самый яркий в мировой археологической практике материал для создания системы хронологически значимых типов: тысячи индивидуальных находок происходят из сравнительно хорошо стратифицированных и дендрохронологически датированных слоев, формировавшихся более или менее равномерно на протяжении более пяти столетий на значительной территории (Колчин, Янин 1982: 52–58). На протяжении этого времени город не пережил ни одного крупного разгрома, который существенно исказил бы естественный процесс формирования вещевого комплекса, культурный слой в силу своей специфики накапливался достаточно быстро, весьма редко подвергался значительным перекопам, изъятие потерянных вещей затруднялось тем, что на значительной части площади они попадали в непросыхающую навозную жижу (Лесман 1992; 1998), так что потерянными оказывались нередко весьма крупные и вполне пригодные к использованию предметы (например, топоры с топорищами). Стратиграфические горизонты (яруса), к которым привязаны находки, на большинстве раскопов формировались в среднем за 20 и менее лет (Колчин 1963; 1982, Гайдуков 1992б: 33 и др.). Большинство раскопов закладывалось на участках слабо застроенных в XVIII–XX вв. (дворовые пространства), что предохранило культурный слой как от перекопов, так и от деформаций, вызванных фундаментами каменных построек нового времени. Помимо этого, большинство раскопов пришлось на участки с незначительным наклоном древней дневной поверхности, что существенно сокращает ошибки в стратиграфических привязках находок. Все эти особенности культурного слоя позволили получить достаточно надежные даты для подавляющего большинства индивидуальных находок с большинства раскопов,[15] так что не слишком точная по сегодняшним методическим требованиям привязка находок (с точностью до пласта в 20 см и квадрата 2×2 м), а также отсутствие фиксации подавляющего большинства древних перекопов не искажают существенно стратиграфической картины (более сложная ситуация сложилась, из крупных раскопов, лишь на Троицком, где полевые работы ведутся уже более 30 лет, но уверенной стратиграфической картины даже для участков, исследованных в первые годы, пока нет)[16] . Анализ распределения находок позволяет утверждать, что ошибки в стратиграфической привязке подавляющего большинства находок из внутренних для каждого раскопа квадратов не превосходят одного яруса[17], что в хронологическом выражении составляет как правило менее 20 лет. Может быть несколько выше доля перемещенных находок в самых нижних слоях, которые сформировались в то время, когда насыщенный влагой культурный слой только начинал формироваться и перекопы могли достигать большей глубины, не заполняясь стремительно навозной жижей, а также в самых верхних — частично поврежденных более поздними перекопами и частично же утративших органические остатки вследствие аэрации.

---

[15] Даже возможные уточнения дендродат нижних горизонтов самого большого Неревского раскопа (Урьева, Черных 1995: 111–112) могут привести лишь к некоторому сжатию дат нижних горизонтов, но не затронут существенно относительной хронологии слоев и находок.

[16] В отличии от большинства раскопов в Новгороде, Троицкий расположен близ берега Волхова где древняя дневная поверхность имела различный, в том числе достаточно большой, уклон, поэтому слой здесь отлагался весьма не равномерно и не горизонтально, к тому же фундаменты тяжелых каменных построек нового времени в целом ряде мест вызвали его неравномерную деформацию.

[17] В примыкающих к стенкам раскопов квадратах число ошибок в стратиграфической атрибуции находок резко возрастает, как из-за их выпадения из стенок раскопов, так и из-за перемешивания при рытье водоотводных траншей и колодцев.

Разработка типологии и хронологии новгородских находок — предмет многолетнего труда целой группы исследователей (в первую очередь следует назвать представителей старшего поколения сотрудников Новгородской археологической экспедиции Б.А. Колчина, А.Ф. Медведева, М.Д. Полубояринову, М.В. Седову, Ю.Л. Щапову, а также более молодых археологов[18], причем в последние годы, после некоторого спада, наметилось повышение интереса к вещеведческо-типологическим штудиям). Однако почти во всех публикациях внимание уделяется исключительно кластерной типологии находок, что не плохо, особенно при публикации новых, нередко типологически весьма близких находок, но не достаточно с точки зрения осмысления материала. К сожалению, в разработке хронологически значимых типологий я остаюсь одиночкой, хотя сами эти типологии, а также базирующиеся на них даты типов и комплексов принимаются подавляющим большинством коллег[19].

Наиболее разработанной с позиций хронологической типологии на сегодняшний день является типология ювелирных изделий Новгорода. Посвященная ювелирным изделиям монография М.В. Седовой (1981) представляет собой публикацию большинства находок (хотя в нее не вошли большинство изделий немногочисленных категорий, предметы неопределенного назначения, а также некоторые достаточно массовые группы — например, детали весов) и типология играет в ней подчиненную основной задаче роль: структурировать описания вещей одной категории, а также сократить объем описаний и число изображений за счет типологически близких находок. Разработка системы хронологически значимых типов, а также их проверка в качестве датирующих позволили на сегодняшний день выделить в рамках коллекции, насчитывающей около 2400 изделий основных категорий (браслетов, перстней, височно-ушных украшений, булавок, фибул, привесок, деталей ремней, различных бляшек и накладок) 415 только внутрикатегориальных типов[20], каждый из которых включает не менее 10 экземпляров находок и представлен в слоях, датирующихся эже рамок новгородской вещевой хронологии (в пределах конца X — рубежа XIV–XV вв.)[21]. Для сравнения укажу, что в заключительной части своей публикации ювелирных изделий Новгорода М.В. Седова (1981: 186–192) приводит распределение во времени находок 105 типов украшений, но из них лишь 38 представлены 10 и более экз., полностью проанализировав текст книги таких типов можно насчитать несколько больше — до 60. Речь у М.В. Седовой идет, конечно, только о кластерных типах, выделенных обычно по комплексу признаков; как это принято в подавляющем большинстве кластерных типологий, типы не пересекаются. Каждый из 415 хронологически значимых типов выделен на основе одного или, чаще, нескольких признаков, но большинство изделий одновременно принадлежит нескольким типам многоаспектной классификации. Минимальная массовость типа, как и определение границ его датировки (отсев случайно выпавших из реального времени бытования находок) — задача, которая не может быть решена на основе опорной коллекции. Критерием здесь является возможность превращения хронологически значимых типов в датирующие.

Вопрос о датирующих типах из новгородских коллекций может решаться для разных сегментов культуры. Более узкие границы сегмента предполагают ответ на вопрос — явля-

[18] Список работ занял бы слишком много места, поэтому отсылаю к составленной П.Г. Гайдуковым (1983; 1992; 1996) библиографии работ по археологии Новгорода и к ежегодной текущей библиографии, публикуемой им же в сборниках «Новгород и Новгородская земля» (Вып 11–15, Новгород 1997–2001).

[19] В качестве примера укажу на P. Ligi 1993; Е.А. Рябинин 2001: 83–90.

[20] Помимо типов, включающих вещи одной категории, значительное число типов выделяются и для изделий разных категорий (на основе особенностей технологии, конструкции, морфологии и декора).

[21] Наиболее ранние и наиболее поздние дендрохронологически датированные горизонты представлены на слишком малой части исследованной площади и дают слишком малое число находок ювелирных изделий.

ются ли типы, выделенные на материалах рассмотренной серии раскопов, датирующими для всего Новгорода. Более широкие границы сегмента культуры включают всю территорию Новгородской земли и весь спектр памятников (в том числе инвентарь погребений и вещи из состава кладов). Еще более широкие включают другие древнерусские земли, древнерусскую культуру в целом (или только культуру древнерусских городов). Можно ставить вопрос и о выходе за рамки древнерусской культуры в смежные регионы. Попытаюсь охарактеризовать пути поиска ответов на поставленные вопросы и, там где это уже возможно, сами ответы.

Размер опорной серии датированных находок в процессе многолетней[22] работы по выделению в новгородском материале хронологически значимых типов существенно вырос. Выросло и число самих типов. Если ограничится только внутрикатегориальными типами ювелирных изделий, в опубликованном мною в 1984 г. (работа была завершена в 1981 г.) списке было 53 типа (Лесман 1984: 134–137), в списке 1988 г. 135 типов (Лесман 1990: 33–84), сейчас их 425. При этом не только произошло углубление самой типологии, но и расширилась источниковая база: привлечены находки из раскопов, стратиграфия и хронология которых были за эти годы разработаны (из последних укажу Нутный и Дубошин), тотально проработаны музейные коллекции и описи Новгородской экспедиции. Однако почти все типы первого списка с минимальными модификациями вошли во второй, а почти все типы второго списка в нынешний. Часть дат претерпели изменения — они стали шире, но эти изменения охватывают лишь незначительную часть типов, первоначально представленных небольшими сериями (10–11 экз.), затем пополненными новыми находками. Для не включаемых мною в публиковавшиеся списки менее массовых типов (8–9 экз.) предварительно намеченные даты потребовали бы систематической корректировки, что говорит о недостаточной массовости (в рамках работы с хронологией новгородских ювелирных изделий) типов, представленных менее чем 10 находками. Даты типов, представленных менее чем 12 находками носят предположительный характер. Аналогичным образом определяется и критерий отсева случайно выпавших из интервала своего бытования находок (см. Лесман 1990: 31–32), среди которых значительная доля происходит из ненадежных (примыкающих к краям раскопов) квадратов. Таким образом устойчивость всей системы дат хронологически значимых типов к расширению опорной серии артефактов позволяет считать эти типы датирующими в рамках культурного слоя Новгорода. Помимо сугубо функционального значения (датировки отдельных артефактов и их комплексов) этот вывод позволяет использовать даты типов для исследования динамик протекавших в Новгороде культурных процессов, хотя нельзя исключить, что в ряде случаев реальный период бытования типа в живой культуре мог быть уже полученной даты.

Попытка расширить границы рассматриваемого сегмента культуры до всего известного нам по археологическим данным объема культуры Новгородской земли, включая и погребальные памятники сельских районов, и монетно-вещевые клады тоже оказалась удачной. Однако здесь пришлось прибегнуть к иным методам проверки. Независимо датированные комплексы вне культурного слоя Новгорода относительно немногочисленны[23]. Однако специфической особенностью Новгородской земли (особенно ее западных районов) является весьма длительное (вплоть до XIV–XV вв.) сохранение традиции погребать

[22] Первые попытки см. Лесман 1977: 108–112.

[23] Датированные на основе сведений письменных источников и дендрохронологии слои немногочисленных в Новгородской земле городов, монетные находки в кладах и погребениях (с учетом охватывающего XII–XIV вв. безмонетного периода).

умерших с сопровождающим инвентарем (в первую очередь с украшениями). Исследованные погребальные памятники конца X–XV вв. представлены примерно 15 тысячами погребений и, хотя далеко не все комплексы содержали погребальный инвентарь, представляют собой достаточно большой контрольный массив. Суть проверки системы новгородских датирующих типов на такой же датирующий статус для всех памятников древнерусской культуры на территории Новгородской земли, а также для памятников основных иных культурных общностей на ее территории (поздние сопки и длинные курганы, курганы юго-восточного Приладожья, карельские могильники) сводится к проверке на непротиворечивость получаемых с ее помощью дат комплексов. То есть к поиску, а при обнаружении объяснению, фактов совместных находок в комплексах однократного формирования вещей, принадлежащих к типам, не сосуществующим в культурном слое Новгорода. Проверка охватила не только внутрикатегориальные, но и выделенные к сегодняшнему дню межкатегориальные типы ювелирных изделий (даты части из них см. Лесман 1989), а также основные типы (большинство из них — кластерные, выделенные ранее другими исследователями) стеклянных и каменных бус, а также изделий из железа. Она показала, что система в целом непротиворечива — совместные находки разновременных типов очень редки и могут быть сведены к трем разновидностям: 1) ненадежные с точки зрения полевой и музейной документации комплексы; 2) немногочисленные случаи совместных находок разновременных типов, один из которых в Новгороде малочисленен (10–11 экз.) и, соответственно, его дата носит предположительный характер; 3) единичные случаи находок вещей во вторичном использовании.[24] Непротиворечивость имеет не только географические, но и хронологические границы — она охватывает комплексы рубежа X–XI — XIV вв. Для X и XV вв. материал немногочисленных погребальных комплексов недостаточен для проверки (в нескольких несомненных комплексах X в. можно отметить наличие типов, преимущественно межкатегориальных, которые в Новгороде представлены лишь со второй пол. XI–XII вв.). Датированные на основе новгородской вещевой хронологии комплексы позволяют сформировать дополнительный список хронологически значимых типов, не представленных достаточно массово в Новгороде, но серийных в памятниках сельских районов[25]. Проверка на непротиворечивость всей системы дат, включая и эти вторичные хронологически значимые типы, позволяет построить расширенную систему датирующих типов для Новгородской земли XI–XIV вв.

Дальнейшее расширение культурно-географических границ хронологической системы за рамки Новгородской земли (как в пределах древнерусской культуры, так и на соседние регионы) выявляет уже серийные погребальные комплексы с совместными находками типов, не сосуществующих в культурном слое Новгорода. Некоторые расхождения дают и находки в дендрохронологически датированных слоях древнерусских городов. Исследование набора типов, с которыми связаны противоречия и величины возможных расхождений в датах — задача специальных исследований, которые пока не выполнены. Можно лишь отметить, что применительно к датам ювелирных изделий, противоречия связаны в первую очередь с находками вещей, относящимся к кластерным типам, не представленным в Новгороде. Однако противоречия не носят тотального характера и связаны с ограниченным набором датирующих (для Новгородской земли) типов. Это дает возможность рассчитывать на перспективность разработки локальных вещевых хронологических систем, оттал-

[24] Подробнее см. Лесман 1984; 1996. Единственное (из известных мне), но весьма показательное исключение — более длительное бытование в карельских могильниках железных ножей, изготовленных в пакетной технологии (объяснение см. Лесман 1989а)

[25] См. напр. Лесман 1994б; 1995.

киваясь от датирующих типов Новгородской земли, но уточняя и дополняя их на основе местных материалов[26].

Заключение

Для продуктивности любой научной работы необходима максимально четкая постановка задачи (что не предполагает ни ее узости, ни невозможности корректировки постановки в процессе работы). Недостаточная четкость в постановке задачи типологического исследования, к сожалению, обычная для весьма многих археологических разработок, ограничивает, а иногда даже сводит на нет их результативность. Хронология многих объектов эпохи средневековья и нового времени, как, отчасти, и хронология античных древностей, имеют лучшую чем другие эпохи источниковую базу: серийность и разнообразие письменных источников, хорошая сохранность органики на ряде памятников, разработанность дендрохронологических шкал и т.д. Это дало возможность именно среди них выбрать наглядные примеры разработки хронологических типологий, которые конечно же не охватывают всего разнообразия ситуаций и возможностей. Хронологически значимые типы могут выделяться на основе серий комплексов, датированных с помощью радиокарбонного и иных естественнонаучных методов, на основе стратиграфических наблюдений, а также других методов. Однако в целом приемы построения систем хронологически значимых и датирующих типов, как и приемы решения более широкого комплекса задач построения диагностических типологий различного профиля, носят достаточно общий характер. Столь же общий, но иной характер носят приемы построения кластерных типологий. В любом исследовании, в типологическом в частности, принципиально важно отделить котлеты от мух, отдав первое проголодавшимся людям, а второе проголодавшимся паукам или любознательным энтомологам.

Литература

Белецкий С.В., Лесман Ю.М. 1982. О стилистических особенностях орнаментики древнерусской круговой керамики (по материалам Пскова) // Естественные науки и археология в изучении древних производств. М.

Бианки А.М., Дождев В.П. 1979. Опыт применения алгоритма распознавания к задаче классификации кинжалов эпохи бронзы // Новое в применении физико-математических методов в археологии. М.

Гайдуков П.Г. 1983. Археология Новгорода: Указатель литературы: 1917–1980 гг. М.

Гайдуков П.Г. 1992а. Археология Новгорода: Указатель литературы: 1981–1990 гг. Дополнения к указателю за 1917–1980 гг. М.

Гайдуков П.Г. 1992б. Славенский конец средневекового Новгорода: Нутный раскоп. М.

Гайдуков П.Г. 1996. Археология Новгорода: Указатель литературы: 1991–1995 гг. Дополнения к указателям за 1917–1990 гг. Новгород.

История 1994 — История и эволюция древних вещей. Сб. статей под ред. Ю.Л. Щаповой. М.

Классификация в археологии. Терминологический словарь-справочник. М. 1990.

Клейн Л.С. 1991. Археологическая типология. Л.

Колпаков Е.М. 1991. Теория археологической классификации. СПб.

Колчин Б.А. 1963. Дендрохронология Новгорода. // МИА 117.

Колчин 1982. Хронология Новгородских древностей. // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М.

Колчин Б.А., Янин В.Л. 1982. Археологии Новгорода 50 лет. // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М.

Лесман Ю.М. 1977. Древнерусские курганы Верхней Волги (по материалам дореволюционных раскопок). // Проблемы истории и культуры Северо-Запада РСФСР. Л.

Лесман Ю.М. 1979. К применению методики распознавания образов для анализа керамического комплекса. // Новое в применении физико-математических методов в археологии. М.

[26] Подробнее см. Лесман 1996.

Лесман Ю.М. 1984. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (принципы синхронизации). // Археологическое изучение Новгородской земли. Л.

Лесман Ю.М. 1989а. К датирующим возможностям декора Новгородских ювелирных изделий XI–XIV вв. / / Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып.2. Новгород.

Лесман Ю.М. 1989б. К динамике изживания североевропейских традиций в материальной культуре Северо-Западной Руси XI-XIV вв. (железные ножи) // XI всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тез. докл. М.

Лесман Ю.М. 1991. Этюд об украшениях // Л.С. Клейн. Археологическая типология. Л.

Лесман Ю.М. 1992. Характер культурного слоя русских городов как источник для реконструкции системы хозяйства // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып.5. Новгород.

Лесман Ю.М. 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X–XIV вв.) // Материалы по археологии Новгорода. 1988. М.

Лесман Ю.М. 1994а. Сериационная хронология: иллюзии и реальность. <Sciation chronology: illusion and reality.> // Международная конференция по применению методов естественных наук в археологии, посвященная памяти доктора исторических наук Б.А. Колчина. Тезисы докладов. СПб.

Лесман Ю.М. 1994б. Фигуративные изображения XI–XIV вв. как источник для изучения хронологии украшений балтийско-североморского региона // Вспомогательные исторические дисциплины: высшая школа, исследовательская деятельность, общественные организации. Тез. докл.

Лесман Ю.М. 1994в. Кашинные бусы в Новгородской земле: материалы к изучению русско-ордынских связей. // Новгородские археологические чтения. Новгород.

Лесман Ю.М. 1995. Древнерусские браслеты с выпукло-вогнутыми валиками // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 56.

Лесман Ю.М. 1996. Хронология средневековых древностей лесной зоны Восточной Европы (возможности и перспективы разработки) // Arheologia Petropolitana. V. 1. СПб..

Лесман Ю.М. 1997. Вероятностная датировка комплексов однократного формирования // Stratum + Петербургский Археологический Вестник. СПб.-Кишинев.

Лесман Ю.М. 1998. Культурный слой поселений и характер вещевого комплекса // Поселения: среда, культура, социум. Материалы тематической конференции. СПб.

Лесман Ю.М. 2002а. Археология и хронология // Программы специальных курсов по археологии. СПб.

Лесман Ю.М. 2002б. Формализованная сериационная хронология: тщета надежд // Сучасні проблеми археології. Київ. 2002.

Рябинин Е.А. 2001. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб.

Седова М.В. 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). М.

Урьева А.Ф., Черных Н.Б. 1995. Дендрошкалы Новгорода: опыт компьютерной обработки // Новгород и Новгородская земля. Вып 9. Новгород.

Щапова Ю.Л., Лихтер Ю.А., Столярова Е.К. 1990. Морфология древностей. Киев.

Фу К. 1971. Последовательные методы в распознавании образов и обучении машин. М.

Brongers J.A., Wijnman H.F. 1968. Chronological classification of roemers with the help of 17th century paintings in the Low Countries // Rotterdam Papers. A contribution to medieval archaeology. Rotterdam.

Fingerlin I. 1971. Gürtel des höhen und späten Mittelalters. Berlin.

Ligi P. 1993. Vadjapärased kalmed Kirde-Eestis (9.–16. sajand) // Muinasaja teadus. № 2. Tallinn.

London 1940. — London Museum. Medieval Catalogue. London. (Repr. 1967).

Swartz B.K.Jr. 1967. A logical sequence of archeological objectives // American Antiquity. V.32, no. 4

С. А. Васильев[1]

СОВРЕМЕННОЕ ПАЛЕОЛИТОВЕДЕНИЕ И РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

S. A. Vasil'ev. Current Paleolithic studies and Russian archaeology

It has been widely admitted that the Russian school of prehistoric archaeology takes a particular place among national archaeological communities. The paper deals with the general characteristics of the development of Paleolithic research in Russia. In spite of the appearance of some intriguing lines of inquiry in recent years, Russian prehistorians in general tend to gravitate toward the «mainstream» culture-historical archaeology with some reservations and modifications. Meanwhile the Russian school of prehistory has a lot of real achievements, especially in wide-scale studies of Paleolithic cultures.

На протяжении десятилетий отечественная наука об ископаемом человеке развивалась в известной мере изолированно от мировой археологии в силу языковых, идеологических и политических барьеров. Нынешняя эпоха свободных научных обменов и сотрудничества настоятельно диктует необходимость рассмотрения места, занимаемого отечественным палеолитоведением (имеется в виду научное сообщество не только России, но и стран СНГ) в контексте современной археологии. Это тем более важно для переживаемого нами этапа, когда при осуществлении ряда международных исследовательских программ следует четко обозначить базовые принципы анализа конкретных материалов.

Говоря об особенностях подхода исследователей различных стран к изучению древнего каменного века, обычно приводят мнение Ф. Борда (Bordes 1968) о существовании трех школ палеолитоведения — стратиграфо-типологической французской, энвиронменталистской англо-американской и социологической советской. Однако за прошедшие десятилетия глубокие методологические изменения и интенсивное научное сотрудничество привели к возникновению принципиально новой картины.

Как известно, археология палеолита зародилась в XIX в. во Франции под непосредственным влиянием учения об эволюции. С началом XX в. в работах А. Брейля и Г. Обермайера намечается переход от однолинейного эволюционизма Г. Мортилье к изучению ареалов культур, созданию многолинейных схем развития индустрий. Длительная работа по совершенствованию стратиграфических построений и разработке типологии изделий из камня получает завершение в послевоенное время в трудах Ф. Борда и других исследователей, предложивших стандартные статистические схемы классификации. Начиная с 60-х гг., под влиянием, с одной стороны, «поселенческой археологии» А. Леруа-Гурана, и, с другой, «новой археологии» Л. Бинфорда, происходит постепенное угасание «классической» стратиграфо-типологической школы палеолитоведения.

Каковы же общие тенденции, присущие нынешнему этапу развития науки об ископаемом человеке?

Прежде всего, палеолитоведение претерпело кардинальную переориентацию исследовательских установок. Вместо проблем типологического анализа наборов каменного инвентаря и последующего пространственно-временного дробления материала на различ-

[1] Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия

ные классификационные единицы (эпохи, фации, культуры, культурные области и др.), стоявших во главе угла в рамках культурно-исторической археологии, в центре внимания ныне находится контекст находок.

Изменилось само отношение к палеолитическим объектам. Если раньше стоянки по большей части трактовались как следы древних поселений, захороненных в толще пород, то новейшие геоархеологические исследования показали, насколько эти «интерпретационные штампы» далеки от реальности. Абсолютное большинство нижне — и значительная часть среднепалеолитических объектов в действительности представляют собой конгломераты артефактов и костных остатков, претерпевших разного рода перемещения. Соответственно, ряд структур, ранее трактовавшихся как следы искусственных сооружений, на деле оказались естественными феноменами. Детальный анализ остеологических коллекций пещерных комплексов продемонстрировал сложную картину попеременного использования естественных скальных убежищ палеолитическим человеком и хищниками, вносивших свой вклад в формирование фаунистических остатков.

Большие перемены произошли в области реконструкции образа жизни древнейшего человека. Если несколько десятилетий назад эпоха палеолита однозначно трактовалась как время господства охотничьей деятельности, а находимые при раскопках костные остатки считались следами этого рода занятий, то сейчас ясна необходимость учета такого фактора, как практика сбора падали древнейшими гоминидами, лишь постепенно уступавшая место собственно охоте. Очевидно, что палеолитические люди интенсивно использовали места естественной гибели животных, употребляя кости последних в качестве строительного и поделочного материала. Все более отчетливо вырисовывается и роль собирательства, ранее недооцениваемая.

Понимание характера развития палеолитической культуры также изменилось. В области исследования нашего основного источника — каменных индустрий, центр тяжести сместился с типологической проблематики в область изучения технологии операций, производившихся древним человеком с камнем, выявления связи облика артефактов с особенностями сырья, характером его доставки на стоянку, производственными процессами, интенсивностью реутилизации и переоформления вещей, их последующего выброса и захоронения. Мы слишком привыкли к современной технологии использования металлических монофункциональных орудий, чтобы представить себе существование принципиально отличной технологической системы, свойственной изделиям из камня. В ней вещи неоднократно меняли форму, одни и те же предметы могли быть получены различными путями, облик заготовки на разных стадиях производства мог меняться кардинальным образом. Очевидно, что статичное описание морфологии вещей без учета технологии явно недостаточно, так что речь теперь идет о комплексном технико-типологическом изучении древней индустрии, а не о собственно типологии в классическом, «бордовском» понимании этого термина.

Такая переориентация подхода неминуемо привела к переоценке значимости выделяемых археологами вариантов культуры, которые стали трактоваться скорее не в качестве «культурных традиций», а как отражение различия технологических систем и стратегии хозяйственной деятельности. В силу ограниченности выбора подобных стратегий на примитивном уровне развития техники у человека древнекаменного века, мы имеем в итоге конвергентное появление сходных феноменов в различных, зачастую отдаленных друг от друга, областях.

Далее, изменился подход к членению палеолита. Если раньше развитие древней культуры рассматривалось как процесс, проходивший через закономерные ступени, рубежами

которых считались эпохи кардинальных перемен в облике культуры, то ныне подобные «разделительные линии» трактуются скорее как условные, во многом связанные с пробелами в наших знаниях и неполнотой геологической летописи. Открытие серии «аномально» развитых индустрий, факт сосуществования в течение длительных отрезков времени групп индустрий, традиционно относимых к разным подразделениям палеолита, заставили переосмыслить действительную ценность устанавливаемых нами рубежей.

Непременным итогом любого регионального синтеза в прошлом выступала схема членения материала на ряд классификационных единиц, которые в западной литературе обычно именовались «фациями», «индустриями», «традициями» или «вариантами», а в отечественной археологии были известны под именем «археологических культур». При этом молчаливо предполагалось, что чем детальнее разнесены стоянки, чем в большее число «ящичков с этикетками» разложен материал, тем успешнее выполнена работа, и тем более обстоятельными будут наши выводы. Далее производилась так называемая «интерпретация», когда этим единицам классификации приписывался ряд свойств живых существ — «культуры» эволюционировали, мигрировали, мутировали, скрещивались и т.д. При этом предполагалось, что за каждой единицей стоит реальная группа древних людей. В настоящее время очевидно, что данная методология, восходящая к Г. Коссине и А. Брейлю, безнадежно устарела.

Упоминавшиеся Ф. Бордом три основные школы палеолитоведения продолжают свое существование, но в значительно измененном облике. Так, богатая кадрами и традициями французская археология по-прежнему занимает доминирующее положение в континентальной Европе (см. Васильев 1997). Здесь ныне преобладает подход, который можно обозначить как «контекстно-технологический». Он сформировался в основном под влиянием идей А. Леруа-Гурана. Основными темами изучения палеолита считаются:

1. Анализ каменного инвентаря с технологической точки зрения, нацеленный на реконструкцию процессов производства, использования и переоформления орудий, представляемых графически в виде «операционных цепочек»;

2. Изучение планиграфии стоянок и структур обитания, реконструкция систем расселения и хозяйства древнего человека;

3. Исследование соотношения стоянок и источников сырья, прослеживание связей памятников по этому параметру, оценка влияния сырья на облик индустрии.

Традиционную стратиграфо-типологическую линию продолжают лишь отдельные археологи, в основном ориентированные на Институт палеонтологии человека; есть у них последователи и в других европейских странах.

Американское палеолитоведение (см. Васильев, 1998) оказывает в наше время существенное влияние не только на связанные с ним сообщества англоязычных археологов, но практически на всю мировую науку. Основной акцент представители данной школы делают на следующие темы:

1. Проблемы культурной эволюции и расселения древнейшего человека по планете в связи с изменениями природной среды;

2. Реконструкцию хозяйственной деятельности в палеолите с широким привлечением этноархеологических и археозоологических методик, комплексное исследование групп стоянок и палеоландшафта;

3. Изучение причин вариабельности палеолитических индустрий (причем особое внимание уделяется таким факторам как технология, функциональные особенности памятника и роль сырья);

4. Геоархеологические исследования, нацеленные на воссоздание процессов формирования и разрушения культуросодержащих отложений.

Как видим, круг интересов французских и американских археологов становится все более близким. Отметим другую черту современной мировой археологии — огромную роль внедрения методов информатики, охватывающих различные звенья исследования. Особое положение занимает британская археология, находящаяся как бы на «перекрестке влияний», идущих из Франции и из-за океана (см. Васильев 2000).

Говоря о мировом палеолитоведении, нельзя не упомянуть о существовании своеобразных школ археологии Восточной Азии — Китая и Японии (см. Chen Chun 1989; Bleed 1989). Хотя все большее число исследователей этих стран вовлекается в международное сотрудничество, здесь по-прежнему в качестве основной задачи археолога рассматривается установление дробной хронологии и периодизации памятников. Несмотря на широкое заимствование разработанных на западе частных методов, в первую очередь естественнонаучных, теоретические аспекты археологии как будто игнорируются.

Особый путь прошла наука о древнейшем человеке в нашей стране. (Vasil'ev 1996, 2002). Начав свое формирование в 80е г.г. XIX в. в рамках эволюционной парадигмы, русская археология уже в начале XX в. вышла на уровень мировой науки, создав собственную терминологию для описания индустрий и заложив основы ряда направлений научного поиска в области периодизации и культурного расчленения древнего каменного века Восточной Европы и Сибири. Формируется своеобразная палеоэтнологическая школа (Д.Н. Анучин, Ф.К. Волков), близкая по духу американской общей антропологии, в рамках которой совершился переход от однолинейных моделей развития древнейшей культуры к изучению многообразия вариантов палеолита, опознанию особенностей российских материалов (П.П. Ефименко).

Эти линии исследования были органически продолжены в 20е г.г. Русская палеоэтнология этого времени наметила ряд принципиально новых моментов, во многом опередив развитие мировой науки. К ним относятся совершенствование полевой методики (изучение планиграфического распределения остатков, оригинальные приемы вскрытия и фиксации культурных слоев, как на стоянках открытого типа, так и в пещерах, открытие феномена палеолитических жилищ), интерес к технологическому анализу каменных индустрий, выработка методов статистической обработки массового материала (Г.А. Бонч-Осмоловский, М.Я. Рудинский). В области обобщения данных заслуживает внимания выделение локальных археологических культур в верхнем палеолите и изучение связи ранних этапов развития человека с изменениями природной среды (В.А. Городцов, П.П. Ефименко, Г.А. Бонч-Осмоловский).

Переломные события начала 30х г.г. сдвинули акценты в проблематике. На первый план вышли такие моменты как реконструкция облика палеолитических жилищ и поселений, функциональная интерпретация каменных орудий, изучение палеолитического искусства в его социальном контексте. Была разработана оригинальная стадиальная версия развития палеолитической культуры, в которой особое значение придавалось исследованию проблемы культурных изменений у автохтонного населения под влиянием сдвигов в хозяйственной деятельности и социальной организации (П.П. Ефименко, В.И. Равдоникас, П.И. Борисковский, С.Н. Замятнин, С.А. Семенов).

В 50е г.г. в ходе ожесточенных дискуссий стадиальная концепция уступает место партикуляристским культурно-историческим моделям, основанным на понятии локальной археологической культуры как центральной (А.Н. Рогачев, Г.П. Григорьев, В.П. Любин, З.А. Абрамова). Такие построения господствовали в 60–80-е гг., однако в дальнейшем накопление фактического материала заставило поставить вопрос о сложном, многокомпонентном характере вариации каменного инвентаря и необходимости учета воздействия та-

ких факторов, как облик и доступность сырья, функционально-технологические особенности памятников и их участков и т.д.

Для современного этапа развития палеолитоведения в России характерна диверсификация подходов и сближение с мировой археологической наукой. К сожалению, по ряду параметров восприятие новейших методических приемов сдерживается чисто экономическими факторами. Особенно это заметно в области полевой археологии, где недостаток средств препятствует внедрению в практику работ компьютеров, лазерных теодолитов, ГИС-технологий и т.д. В итоге наблюдается растущий с каждым годом разрыв в уровне методики исследования между отечественными и зарубежными археологами, частично компенсируемый при помощи организации совместных экспедиций. В настоящее время осуществление совместных исследовательских программ уже начато в ряде регионов — на Русской Равнине, Кавказе, Алтае, Енисее, Ангаре, в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Сходная ситуация наблюдается в сфере информационного обеспечения, создания банков данных. В этой области заметна активность новосибирских коллег (Деревянко, Холюшкин 1995). Недостаточно представлена российская археология палеолита во всемирной сети Интернет (отрадное исключение представляет тот же новосибирский центр).

Все большее внимание привлекают геоархеологические проблемы — классификация культуросодержащих отложений (Медведев, Несмеянов 1988), выделение поверхностей обитания посредством микростратиграфического анализа (Леонова, Несмеянов 1991; Леонова 1993). В сфере интерпретации функциональных особенностей памятников, реконструкции систем расселения и хозяйства древнего человека отметим первые опыты археозоологического исследования (Миньков 1991), наметки палеоэкологического подхода к расположению памятников на местности (Леонова, Несмеянов, Матюшкин 1993; Матюшкин 1993). Новое звучание получила традиционная тема различения роли активной охоты на мамонта и сбора костей (Аникович, Анисюткин 1995).

В области исследования хронологии палеолита последние годы ознаменовались оживлением работы по создание корпуса радиоуглеродных датировок (Синицын, Праслов 1997; Кузьмин и др. 1998). Стоит тут же отметить отсутствие в нашей стране лаборатории, занимающейся радиоуглеродным датированием на основе ускорителя — методики, ставшей ныне основой построения абсолютной хронологии мустье — верхнего палеолита.

В изучении каменных индустрий все большее распространение получает технологический подход (Гиря 1996), появляются попытки уловить связь облика артефактов с характером и способами доставки сырья (Беляева 1994).

Что касается интерпретации вариантов палеолитической культуры, то здесь успехов, пожалуй, меньше. Хотя неадекватность локально-культурного подхода для описания реальной вариации палеолитических индустрий становится ясна даже ученикам А.Н. Рогачева (Синицын 1992), все же традиции культурно-исторической археологии продолжают доминировать.

Несмотря на относительную изоляцию в рамках национальных школ, ход событий в мировой науке о палеолите демонстрирует во многом параллельное развитие. На мой взгляд, это свидетельствует о наличии определенных закономерностей познания древнейшего прошлого человечества. К ним стоит отнести в первую очередь «пульсирующий» характер проблематики, трактуемой как центральная в каждый исторический период. Имеется в виду попеременное фокусирование творческих интересов исследователей то в области таксономии и классификации, то в сфере реконструкции и интерпретации. Если в России период 20х г.г. характеризуется интересом к классификационным проблемам, то в 30е г.г. во главу угла ставятся вопросы реконструкции палеолита, а с 60х г.г. практически по настоящее

время вновь доминирует классификационная тематика. Иное дело на западе, где до 60х г.г. таксономические штудии привлекали наибольшее внимание, и лишь позднее научные интересы смещаются в сферу реконструкции.

При этом интересно отметить повтор в каждый период набора стандартных обвинений в адрес представителей противоположной точки зрения. Всякий раз во время доминирования «объяснительных» концепций, адепты «строгой археологии» получают упреки в формализме, отрыве изучения артефактов от древнего общества, конструировании самоценных типологий и т.д. Напротив, в эпохи господства классификационных версий, сторонники «реконструктивного» подхода обвиняются в навязывании археологическому материалу схем, заимствованных из других областей знания (история, этнология, социология), забвении интересов собственной науки во имя эффектных, но всегда спорных построений.

Другая любопытная закономерность — последовательное доминирование в науке то «объединителей» (lumpers), нацеленных на выделение генеральных черт развития культуры на больших хронологических отрезках и в обширных регионах, то «дробителей» (splitters), стремящихся детально расчленить материал на мелкие локально-хронологические ячейки. Если анализировать развитие русской археологии в этом аспекте, то до середины 50х г.г., безусловно, господствовали «объединители» (как эволюционисты, так и стадиалисты предпочитали обрисовывать развитие палеолита «широкими мазками», выделяя крупные периоды, эпохи, культурные области). С преобладанием локально-культурного подхода наступает пора «дробителей». Апогей этого — работы Г. П. Григорьева 60х г.г., в которых весь мир палеолита предстает в виде совокупности мелких разграниченных локальных культур. И лишь с 80х г.г. появляются новые веяния, знаменующие собой возрождение интереса к проблеме периодизации. Таким образом, произошла актуализация подходов, считавшихся ранее устаревшими. Это «несовпадение по фазе» развития доистории в России и на Западе приводило то к опережению, то к отставанию одной или другой группы исследователей по конкретным направлениям научного поиска.

Российское палеолитоведение продолжает в целом оставаться на позициях традиционной культурно-исторической археологии, причем в ее «дробительном» варианте, нацеленном на выделение, в первую очередь, локальных вариаций культуры. Новые направления научного поиска с большим трудом находят себе дорогу, что связано как с последствиями долговременной изоляции отечественной науки, так и с огромными еще возможностями «экстенсивного» развития, изучения новых эпох и территорий, подменяющего более глубокий всесторонний анализ уже полученных материалов. Тормозит дело и давняя не расположенность нашей археологии к экологическому подходу, подкрепляемая официальным гуманитарным статусом нашей дисциплины как составной части истории.

При сравнении современной российской и зарубежной археологии палеолита можно выявить немало сходств и различий. Прежде всего, следует отметить, что отечественная ориентация исследований гораздо ближе европейской традиции изучения палеолита как древнейшей составляющей национального прошлого страны, чем американской с ее антропологическим подходом и тенденцией рассматривать конкретные материалы в качестве полигона для проверки гипотез общего плана (Dennell 1990; Clark 1991). Различия между американской и российской археологией в основном лежат в сфере методологии. Если американский археолог, воспитанный в духе общей антропологии, скорее склонен к проблемно-установочной процедуре, заимствованной из естественных наук, то иначе обстоит дело в России. Здесь в качестве исходного пункта и мотива для проведения исследования выступает по большей части сама стоянка или территория, подлежащая обследованию. Это чис-

то гуманитарный поход, ставящий во главу угла доисторические памятники как часть национального культурного и исторического наследства. Основной задачей при этом выступает реконструкция на основе археологических данных уникальной региональной культурной истории. Археологические классификационные единицы выступают, таким образом, как своего рода аналоги народов древности (им приписываются способности к развитию, миграции, делению и т.д.), а археология в целом стремится к созданию некоего суррогата истории для периодов, не освещенных письменными источниками (об этой черте европейского подхода см. Clark, Lindley 1991). Отсюда понятна как сохраняющаяся тяга к этнической интерпретации археологических культур, так и крен в сторону выделения локальных культурных единиц, акцентированию сугубо местных особенностей развития.

Здесь же лежат корни и большей «артефактности» русской археологии, сосредоточенности на анализе наборов каменного инвентаря. Эта «артефактность», однако, не привела ни к созданию стандартных типологий, сопоставимых с французскими схемами, ни к упорядочению номенклатуры на русском языке. Следует упомянуть также заметную разницу в приемах подачи материала в публикациях. В России до сих пор принята расплывчатая гуманитарная манера описания с предпочтением качественных характеристик. Сухой американский стиль, сводящий основную информацию в таблицы и диаграммы, кажется чуждым.

Несмотря на все веяния последних лет, в русской доистории господствует пока по сути традиционный культурно-исторический подход. По-прежнему большинство исследователей трактует комплексы каменного инвентаря как статичные хранилища культурной информации, влияние же на их состав технологических процессов, характера сырья, функциональных особенностей памятников и т.д. неизменно преуменьшается или игнорируется. Экологический подход к изучению палеолита с большим трудом пробивает себе дорогу.

Другая особенность русской археологии — недостаточное внимание к методике и методологии исследования, причем целые новые направления научного поиска остаются пока практически вне поля зрения. Так, в области этноархеологии отечественные исследователи ограничиваются обзорами иностранных публикаций, хотя «этноархеологический потенциал» территории нашей страны, особенно если речь идет об аборигенных народах Севера и Сибири, очень велик. Зарубежные специалисты в последнее время уже начали или готовятся к проведению здесь полевых изысканий. Жаль, что российские исследователи не проявляют сколь либо заметного интереса к этим сюжетам. Само отсутствие понятия об «общей антропологии», разобщенность археологических и этнографических учреждений препятствует, в отличие от США, успеху подобных предприятий. Отметим здесь же явно затянувшееся существование так называемой «истории первобытного общества», которая, вопреки широковещательным декларациям о «синтезе» источников, свелась на практике к дилетантским попыткам этнографов интерпретировать археологические данные в рамках умозрительных схем, восходящих к незабвенному Л. Г. Моргану в изложении Ф. Энгельса. Не в силах оценить реальную сложность работы с археологическими источниками, деятели этого направления всегда старались выбрать из археологических концепций наиболее «живые», соответствующие тем или иным этнографическим представлениям, тезисы. Все это породило среди основной массы археологов скептическое отношение относительно самой возможности привлечения этнографических данных для интерпретации палеолита и данный барьер, вероятно, еще предстоит преодолеть.

По сравнению с другими национальными археологическими школами, русская отличается отсутствием ряда базовых изданий, таких как труды по классификации изделий из камня, словари и справочные пособия (есть лишь краткие перечни русских терминов с

английскими, французскими, немецкими и испанскими эквивалентами: Plisson, Giria, Tchistiakov 1988; Soffer 1991), методические руководства по комплексному исследованию памятников и т.д. Только в недавнее время удалось издать первый современный учебник по археологии палеолита (Деревянко, Маркин, Васильев 1994), подготовлено методическое руководство по полевым изысканиям. Всего этого, конечно, недостаточно и, как следствие, ощутим явный разнобой в подготовке кадров и уровне ведения исследовательской работы.

Другая отличительная черта нашей археологии — абсолютное преобладание работ регионального характера и монографических изданий памятников при крайне незначительном числе проблемных и тематических трудов. Недостаточность печатной базы привела к различной структуре презентации археологического материала у нас и на Западе. В России запасы неопубликованных фактов и идей гораздо более обширны, соответственно, письменная и устная форма презентации имеют иное соотношение. Так, на большинстве западных научных конференций докладчики представляют в основном данные, уже предварительно «обкатанные» в статьях. В России же устная форма передачи информации играет большую роль, как в процессе обучения студентов, так и в профессиональной среде.

Однако есть немало моментов иного плана. Я имею в виду реальные преимущества отечественного палеолитоведения, знакомство с которыми могло бы обогатить западную науку. Не будем забывать, что, в отличие от очень специфических национально замкнутых школ доистории Китая и Японии, русская, несмотря на отмеченные выше различия, остается хоть и своеобразной, но частью европейской науки. К числу безусловных достоинств российской школы относится ее широта, стремление к глобальному анализу имеющихся в нашем распоряжении материалов. Если добавить к этому, несомненно, большую степень информированности русских коллег о достижениях западной археологии, то перспектива взаимовыгодного сотрудничества очевидна. Далее, в российской археологии наиболее разработанным оказался раздел, связанный с рассмотрением развития культуры в пространственном (а не временном, как во Франции) аспекте, и соответствующая понятийная система.

В свою очередь, «русский взгляд» на современную зарубежную археологию способен выявить ряд уязвимых пунктов. Речь идет о проблеме взаимодействия древнего общества и среды, обычно постулируемой как основная цель исследования. Можно назвать лишь очень небольшое число работ, где данная тема действительно связана с конкретным материалом, а не служит поводом для рассуждений спекулятивного плана. В большинстве же случаев господствуют упрощенные детерминистские модели, априорно трактующие сдвиги в культуре, различия в концентрации памятников на местности и т.д. как результат воздействия среды, при этом причинно-следственные связи остаются в тени. Интерес к общим проблемам палеолита, конечно, отраден, однако даже беглое знакомство с литературой убеждает в том, что за громкими заголовками часто скрываются стандартные и довольно скромные по реальному охвату проекты. Так что ряд различий русской и американской школ лежит просто в области терминологии и структуры презентации материала. Иногда создается впечатление, что проблемная установка и ориентация на проверку гипотез — не более чем искусственная приставка к обычной устоявшейся схеме археологического исследования. Смещение акцентов в работе с артефактов из камня на фаунистические остатки действительно привело к очень интересным результатам, но при этом каменные индустрии порой перестают быть объектом углубленного анализа. Таким образом, получается парадоксальная ситуация, когда от нас ускользает тот предмет, в котором мы, как археологи, являемся действительно единственными специалистами.

Если сравнивать российскую школу с другими национальными сообществами исследователей палеолита, то отечественная археология по широте и разнообразию интересов

близка американской, в то же время сосредоточенность на анализе археологических источников роднит ее с классической французской. Все это создает между основными школами доистории отношения дополнительности, что служит, на мой взгляд, базой для перспективного сотрудничества. Подобное «многоцветье» научных школ является при условии налаженного обмена информацией хорошим стимулом к взаимному обогащению методами и идеями, что демонстрирует, например, история взаимодействия французской и американской археологии на протяжении последних десятилетий (Jelinek 1986). Распространенная сейчас «интернационализация» научных направлений ведет к постепенному стиранию граней между собственно национальными школами, и, вероятно, в археологии будущего разграничительные линии будут проходить не по государственным и языковым границам, а по методологическим направлениям поиска. Это приблизит структуру мировой археологии к более продвинувшимся в своем развитии областям научного знания.

Трудно предугадать, в каком направлении пойдет развитие русской доистории. Многое здесь зависит от чисто внешних и непредсказуемых причин — экономической и политической ситуации в стране, степени открытости для международных контактов, отношения властей к фундаментальной науке и проблеме сохранения культурного наследия и т.д. Все же, основываясь на современных тенденциях, можно сказать следующее. Несмотря на все трудности переходного периода, российская наука сумела сохранить основной кадровый потенциал и организационную структуру, что делает ее готовой для расширения в будущем масштаба работ в кооперации с исследователями других стран.

Благодарности. По поводу ряда теоретических аспектов я имел счастливую возможность пользоваться консультациями профессора Л. С. Клейна. Я благодарен также за поддержку Национальному Центру научных исследований и Дому наук о человеке Франции, Римско-германскому Центральному Музею, Институту «Открытое Общество», Программам Фулбрайт (Грант № 22246) и RSEP, Немецкому археологическому Институту, Всемирному Археологическому Конгрессу, Международному Конгрессу доисторических и протоисторических наук, Американскому и археологическому Обществу, Европейской Ассоциации археологов, Северному Совету и Центрально-европейскому Университету (Грант № 791/1995).

Литература

Аникович М. В., Анисюткин Н. К. 1995. Человек и мамонт в палеолите Восточной Европы // I Международное мамонтовое совещание. СПб.

Беляева В. И. 1994. Каменный инвентарь, традиции и среда эпохи верхнего палеолита // Культурные трансляции и исторический процесс. СПб.

Васильев С. А. 1997. Современная французская археология палеолита // Проблемы археологии каменного века. Уссурийск.

Васильев С. А. 1998. Некоторые особенности североамериканской археологии палеолита в связи с проблемой заселения Нового Света // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий, т. 2. Новосибирск.

Васильев С. А. 2000. Современная британская археология палеолита // Археологические вести. № 7.

Гиря Е. Ю. 1996. Технологический анализ каменных индустрий. СПб.

Деревянко А. П., Маркин С. В., Васильев С. А. 1994. Палеолитоведение: введение и основы. Новосибирск.

Деревянко А. П., Холюшкин Ю. П. (Ред.) 1995. Математические методы в археологических реконструкциях. Новосибирск.

Кузьмин Я. В., Алкин С. В., Оно А. и др. 1998. Радиоуглеродная хронология древних культур каменного века Северо-Восточной Азии. Владивосток.

Леонова Н. Б. 1993. Длительность обитания на верхнепалеолитических стоянках // Проблемы палеоэкологии древних обществ. М.

Леонова Н. Б., Несмеянов С. А. 1991. Проблемы палеоэкологической характеристики культурных слоев // Методы реконструкций в археологии. Новосибирск.

Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., Матюшкин И. Е. 1993. Региональная и локальная палеоэкология каменного века // Проблемы палеоэкологии древних обществ. М.

Матюшкин И. Е. 1993. Модель построения локальной палеоэкологической реконструкции // Проблемы палеоэкологии древних обществ. М.

Медведев Г. И., Несмеянов С. А. 1988. Типизация «культурных отложений» и местонахождений каменного века // Методические проблемы археологии Сибири. Новосибирск.

Миньков Е. В. 1991. Охотничье хозяйство населения Северного Причерноморья в эпоху позднего палеолита. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М.

Синицын А. А. 1992. П. П. Ефименко и современная проблематика изучения палеолита // Краткие сообщения Института археологии. № 206.

Синицын А. А., Праслов Н. Д. 1997. Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии. Проблемы и перспективы. СПб.

Bleed P. 1989. Foreign archaeologists in Japan: strategies for exploitation // Archaeological review from Cambridge. Vol. 8. № 1.

Bordes F. 1968. The Old Stone Age. N.Y.-Toronto.

Chen Chun. 1989. Chinese archaeology and the West // Archaeological review from Cambridge. Vol. 8. № 1.

Clark G. A. (Ed.) 1991. Perspectives on the past. Theoretical biases in Mediterranean hunter-gatherer research. Philadelphia.

Clark G. A., Lindley M. 1991. On paradigmatic biases and Paleolithic research traditions // Current Anthropology. Vol. 32. № 5.

Dennell R. 1990. Progressive gradualism, imperialism and academic fashion: Lower Palaeolithic archaeology in the 20th century // Antiquity. Vol. 64. № 244.

Jelinek A. J. 1986. La coopération américano-française en archéologie préhistorique // Les nouvelles de l'archéologie. № 22.

Plisson H., Giria E., Tchistiakov D. 1988. Quelques termes russes de technologie, tracéologie et typologie lithique // Industries lithiques. Tracéologie et technologie. BAR Int. Series. № 411.

Soffer O. 1991. Archaeological dictionary of stone tools. Moscow.

Vasil'ev S. A. 1996. Theory and method in contemporary Russian Palaeolithic archaeology // World Archaeological Bulletin. № 8.

Vasil'ev S. A. 2002. Les études paléolithiques en Russie // Dossiers d'archéologie. № 270.

А.М. Буровский[1]

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

A.M. Burovsky. Non-classical and post-non-classical archaeology

It is proved in the paper that the changes that took place in archaeology during the 20-th century are similar to those occurring in so-called natural sciences. Archaeology ceased to be a self-sufficient discipline in 1950–1960's. Since that time every big archaeological research effort has turned to be an interdisciplinary project involving experts in palaeontology, palaeogeography, sedimentology, and other areas. Their data are used in analyzing materials obtained in the field and are absolutely necessary to solve purely archaeological problems. Consequently, archaeology can no more be considered a "classical" scientific discipline as it used to be at the turn of the century. Any "non-classical" discipline research program stems from a single global model. It cannot not be developed based on specific problems of a narrow scientific ontology. This is completely true as applied to archaeology.

Like many other research disciplines, archaeology is now getting adapted to a new trend — development of a post non-classical science that integrates different disciplines on the basis of global evolutionism. Unfortunately, the problems related to the development of non-classical and post non-classical archaeology are discussed very seldom. In our society, research disciplines make a strict hierarchy based on their capability to contribute to the base of the "scientific and technical progress" and not on inherent value and potential. But, the idea that, from the paradigm viewpoint, archaeology cannot be changed the way other Nature sciences can, especially physics, is a prejudice. Today, archaeology is becoming a post non-classical research discipline.

«...усложнение и стирание граней между отраслями знания есть проявление ноосферы».

В.И. Вернадский

«Я верю, что в сфере религии сектантство уступит место экуменизму; что в политической сфере национализм уступит место мировому правительству, и в сфере изучения людских дел специализация уступит всеобъемлющему подходу»

Арнольд Тойнби

Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука

Начать эту статью придется с разъяснения терминов — потому что археологи специфично понимают сам термин «классический». В их представлении он сразу же прочно ассоциируется с классической археологией, то есть с археологией античного мира. Соответственно, «неклассическая археология» для многих уважаемых коллег — это «вся остальная» археология, почему-то противопоставленная античной.

Автор же статьи имел в виду нечто совершенно иное. Под классической наукой в науковедении понимают науку в том виде, в каком она сложилась в XVII столетии, и в каком она дожила до начала XX века.

[1] Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, Красноярск, Россия

В эпоху «классической» науки Нового времени каждая частная дисциплина, конкретизируя свою проблематику, решает исключительно собственные задачи. Считается, что для «решения задач анализа необходимо изолировать объект этого анализа от всех остальных» (Бицилли 1993).

Археология долгое время развивается, как обычная классическая наука. Археологическая экспедиция организуется для решения своих узких задач, никак не связанных с задачами других научных дисциплин. Поскольку объем научного знания не может не возрастать, происходит дальнейшая дифференциация и детализация внутри самой археологии. Прошли времена В.А. Городцова и А.А. Спицына, которые были «археологами вообще». Сегодняшний археолог — это «бронзовик», «палеолитчик» или «славист» — каждый по существу включенный только в свой предмет и объект.Но, как и во всех отраслях науки, в археологии происходит невидимый миру переворот: классическая наука становится наукой вчерашнего дня.

Парадигмы, на которых стояло все здание науки XIX в., начали изменяться еще перед первой мировой войной. А между двумя мировыми войнами, в 1920–1930-е гг., окончательно сложилась методология, в которой существует глобальная модель, напрочь отсутствовавшая в классической науке. Исследовательская программа складывается, исходя из этой единой глобальной модели, а не из конкретных проблем конкретных научных онтологий.

Классическая наука не стремится к выстраиванию единой картины мира. Мир для нее принципиально разобщен и разорван. Неклассическая предполагает какую-то общую картину, в которой отдельные науки и научные направления играют роль отдельных фрагментов мозаики. Естественно, такой подход заставляет выстраивать иерархию наук — в зависимости от того, какую часть мозаики «закрывает» данное направление.

В середине XX столетия в науке произошел еще один переворот: с легкой руки В.С. Степина современную науку все чаще называют «постнеклассической», подчеркивая тем самым, что «классические» основания научной деятельности претерпели еще одно изменение. Теперь — совсем в другом направлении (Степин 1989, 1992; Степин, Кузнецова 1994).

Начиная с 1950–1960-х гг. содержание частных наук оказывается сопряжено через идею глобального эволюционизма. Изучаемые объекты окончательно начинают рассматриваться как феномены — не зависимые от человека, самоценные и самодостаточные. Любой феномен представляет собой открытую саморазвивающуюся систему. Феномен возникает, и срок его существования конечен. Источником его появления являются предковые (если угодно — родительские) феномены. Он развивается.

Применительно к феномену иначе строятся субъект-объектные связи. В классической науке не предусмотрено ни воздействие субъекта на объект, ни анализ реальности, в которой субъект и объект одинаково оказываются объектами.

«Классическая» наука исходила из субъект — объектного подхода. Отделение исследователя от изучаемого объекта было в XIX в. чем-то само собой разумеющимся. Вопрос об изменении объекта под воздействием эксперимента — и соответственно, об искажении наблюдаемой картины, не ставился.

Постнеклассическая наука заговорила и об этом воздействии, и о том, что исследователь и исследуемое (так сказать, и «субъект», и «объект») принадлежат к более широкому классу явлений. То есть помимо реальности, в которой объект и субъект разделены, существует и другая, более широкая реальность, в которой и тот, и другой не противопоставлены друг другу, активность субъекта не направлена на объект. И более того, допускается реальность, в которой и субъект и объект одинаково оказываются объектами.

Уже почти сто лет назад австриец Гедель ввел в математику «принцип Геделя» — выяснилось, что непротиворечивость арифметики доказать нельзя, оставаясь в рамках самой арифметики (Гильберт, Пернайс 1979: 14). В постнеклассической науке видение любой частной сущности имеет смысл только с позиции более широкой сущности (археологии — с позиции истории, например).

Разумеется, выделение трех этапов развития науки в XX в. достаточно условно. Реально существует только сплошной поток открытий и обобщений, в котором уже исследователь устанавливает какие-то закономерности; в этом смысле имеет смысл говорить только лишь о «потоке» развития от классической к постнеклассической науке — и только.

Любой ученый и философ, внимательно читавший В.И. Вернадского, не будет удивлен произошедшими изменениями. Практически все, что постулирует «постнеклассическая» наука, в той или иной форме представлено в сочинениях В.И. Вернадского (Вернадский 1988). Удивления достойны два других обстоятельства. Во-первых то, насколько мало были восприняты идеи В.И. Вернадского в 1920–1940-ее гг. И что уже сложенные им новые основания науки были фактически «переоткрыты» спустя двадцать-тридцать лет. Во-вторых удивляет, как мало воздается по заслугам ему сейчас, когда истина достаточно широко известна, и лишена всяческих идеологических шор.

Впрочем, человеческая неблагодарность общеизвестна. Что же до удивительной невосприимчивости научного сообщества — я уверенно готов отнести это обстоятельство за счет неблагоприятной для В.И.Вернадского иерархии наук.

Легко заметить, что в каждую эпоху выделяются «главные» и «ведущие» научные дисциплины. Именно этим «главным» наукам, часто воспринимаемым как «передовые» или «самые совершенные» (вплоть до «самых научных»), делегируется право вырабатывать общенаучную методологию. На протяжении всего развития классической науки, с XVII и до начала XX в., в роли «самых научных» выступали различные разделы физики — от механики до квантовой физики. Науки о Земле не входили в число научных дисциплин, которым было делегировано право развития общенаучной методологии. Считалось, что разделы геологии и географии достигают совершенства только по мере освоения методов «точных» наук — физики, химии, математики.

Позволю себе высказать уверенность — будь В.И.Вернадский физиком, судьба его концепции сложилась бы совершенно иначе. Ведь если бы обобщения и модели такого масштаба представил физик (тот, кто полномочен их представлять), такие идеи были бы восприняты несравненно более благожелательно.

Об иерархии наук

Собственно говоря, все заключения о появлении в мире неклассической и постнеклассической науки были сделаны на материале исследования отнюдь не археологии, а физики.

Между одинаково «неклассическими» археологией и физикой существует огромное различие. Различия не в степени «неклассичности», а в том, что всякое изменение методологии физики мгновенно замечается, осмысливается, становится предметом интереса и обсуждения профессионального сообщества. В археологии нет ничего подобного. И дело здесь явно не только в идеологических запретах (хотя, разумеется, и в них тоже). Здесь проявляются и совсем другие обстоятельства. В нашем обществе установлена жесткая иерархия наук, и отнюдь не по каким-то их внутренним достоинствам, а по их способности быть базой для «научно-технического прогресса».

До сих пор очень велико число археологов (и вообще гуманитариев) которые во-первых, вполне честно считают физику «настоящей» наукой, а «археологию» — ненастоящей(

и даже вообще не считают археологию научной дисциплиной). А во-вторых, искренне уверены — закономерности развития науки, установленные на примере физики (и вообще «естественных» наук) к ним не имеют никакого отношения.

На протяжении десятилетий «методология науки» была почти синонимична «методологии физики». «Общенаучная» методология возникала на основе реалий одной науки — но претендовала-то на охват «всего». Это приводит порой к совершенно анекдотическим ситуациям — когда разработки исключительной важности не воспринимаются в основном (а быть может, и только) потому, что создали их «нефизики».

Сама мысль о том, что история или филология когда-либо могли владеть более «передовым», более совершенным методологическим аппаратом, чем отрасли естествознания (в том числе и физика), способно вызвать у физиков приступы хохота. Почти то же самое, с разного рода вариациями, можно сказать и о роли всех гуманитарных наук.

Тем не менее, если картина мира в физике и в космологии оставалась в целом статичной вплоть до начала XX столетия, то картина мира историка-»гуманитария» была принципиально динамичной со времен Августина Блаженного. А филологи и юристы просто в силу необходимости профессиональной работы с текстами и постоянного совершения не только перевода с языка на язык, но и смыслового перевода, начиная с III–V вв. разрабатывали учение о герменевтическом круге, на 15 веков предвосхитив представления о языках наук и о внутреннем смысле объектов и их дешифровке.

В нашей культуре установилось жесткое разделение т.н. «точных» и «естественных» наук, и т.н. «гуманитарных». С точки зрения автора, это разделение само по себе — одна из родовых мет «классической» науки. И если оно когда-то и имело смысл, то уж сейчас-то уж точно не имеет решительно никакого. Но идея разделенности существует. И более того — в школе и в ВУЗе продолжают преподавать классическую науку. Представление о том, что археология — наука «гуманитарная», внедряется еще в сознание школьника, и отнюдь не изгоняется из сознания студента.

А «гуманитарной» науке не положено проходить те же стадии развития, которые проходят «естественные». Им положено иметь какую-то совершенно особенную методологию, ни по каким параметрам не сопоставимую с методологией физики.

Возьму на себя смелость утверждать — стихийная эволюция науки в гуманитарной и естественной областях протекала принципиально в одном направлении, и с примерно одними и теми же последствиями. И современные гуманитарные науки находятся принципиально на той же, что и естественные, — на неклассической и постнеклассической стадии развития.

Вернемся к археологии.

Неизбежная комплексность

С самого момента рождения археологической науки ее потребности властно диктовали использование в ней так называемых «смежных» дисциплин. Без материалов палеонтологии, палинологии, геологии и т.д. археологи работать почти не могут. Уже Г. Шлиман привлекал геологов и палеонтологов в свои экспедиции. Исследования палеолита Брейлем и Капитаном, торфяных могильников Северной Европы Монтелиусом были невозможны без привлечения геологии. Схемы развития первобытной культуры Осборна невозможны без материалов географии, геологии, палеонтологии. В России открытия Костенок и раскопки Томской стоянки осуществлялись естественниками.

Особый вопрос — о развитии «палеоэтнологии» — научной дисциплины, ставившей своей целью изучение развитие этносов и культур во времени. На мой взгляд, эта дисцип-

лина формировалась под несомненным воздействием научной дисциплины и учебного предмета в гимназии и университете — «Естественная история».

Палеоэтнологи пытались написать своего рода «естественную историю в гуманитарных науках». Бернгард Эдуардович Петри высказывался по этому поводу вполне откровенно: «Я натуралист по образованию и дарвинист по методу исследования» (Сирина 1991: 84). С таким подходом к науке и к взаимосвязи наук исследователь легко мог переходить от этнографии к археологии и наоборот, да к тому же активнейшим образом вторгаться в сферы естественных наук.

Преподавание «Естественной истории» — особый вопрос. Могу предположить, что этот предмет сохранился в Новое время как реликт средневековой нерасчлененности сознания... но это, конечно же, — лишь только предположение.

Однако в абсолютном большинстве случаев все «смежные» науки (включая и археологию) не претерпевали в ходе интеграции никаких внутренних изменений. Просто данные «естественных» наук оказываются необходимы для понимания геологических условий, в которых произошло захоронение культурных слоев; для понимания деятельности ископаемого человека необходима максимальная реконструкция природных условий соответствующей эпохи. Каждая дисциплина давала для специалистов в других областях необходимые им данные, но при этом оставалась традиционной классической дисциплиной.

«Отраслевой» подход и жесткая дифференциация наук в эпоху А. Гумбольдта были как нельзя более уместны. Но в конце XX столетия интеграция наук становится насущной необходимостью для решения проблем каждой отдельной науки. Уже в конце 1960-х гг. выявился многофакторный кризис «классической» археологии. Роль «смежников» возросла настолько, что стало не всегда понятно — где же кончается археология, и начинаются смежные дисциплины?

В результате в рамках одной научной программы (типа «археологического изучения данного района» или «археологического изучения памятников данного периода») появляется несколько более частных программ, связанных с деятельностью отдельных наук. Таким образом незаметно модифицировались программы изучения таких памятников, как известные с начала XX века Супоневская и Тимоновская стоянки (Величко, Грехова, Губонина 1977). или комплекс памятников Костенковско-Борщевского района (Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону... 1982). Формально их исследование остается «археологическим». Но роль и значение деятельности «смежников» возрастает настолько, что уже и решение многих задач собственно археологического исследования становится малореальным без данных естественных наук. В результате уже к 1970-м гг. одновременно оформляются сразу два явления:

1. Практически в любой работе археолога, претендующей на широту охвата, на монографичность, становится необходимой естественнонаучная часть. Т.е. появляется необходимость перед тем, как перейти к описанию собственно археологического материала и его интерпретации, ввести геологические, геоморфологические, палеогеографические, териологические, палинологические и прочие описания. Примеры бесчисленны. Существует даже несколько широких обобщающих работ, в которых предприняты попытки создать картину развития человеческого общества эпохи плейстоцена на фоне динамики природной среды (Первобытный человек, его материальная культура и природная среда... 1974; Природа и развитие первобытного общества... 1969).

2. Сколько-нибудь крупная и значительная археологическая экспедиция практически становится комплексной научной экспедицией. Сохранение соответствующего формального статуса и прежнего названия «археологическая» принципиально ничего не изменяет.

Костенковская экспедиция в 1980-е гг. является отнюдь не только археологической, но почти в той же степени — и геологической, и палеонтологической, и палеогеографической. Что и зафиксировано в структуре и содержании обобщающей монографии.

Это явление превращения монопрофильной предметной экспедиции в полипрофильную многопредметную прекрасно прослеживается и на сибирском материале. Возьмем, например, эволюцию чисто красноярской по своим корням Археологической экспедиции Красноярского краевого краеведческого музея (АЭ КККМ). Возглавил экспедицию уроженец с. Кежма Н.П. Макаров; в составе экспедиции за все годы ее деятельности ни разу не оказывался «несибиряк». Допускаю, что это случайность, но она имеет место быть, и я имею право ее интерпретировать. В 1978–1982 гг. экспедиция Н.П. Макарова полностью соответствовала определению «археологическая», и не требовала никаких дополнительных дефиниций. Но вот в 1982 г. начались раскопки пещеры Еленева... И сразу же в составе экспедиции появляются палеотериолог Н.Д.Оводов, палинолог В.Г.Кольцова, орнитолог Н.Г.Мартынович, палеонтолог О.В.Андренко, целая семья Ямских — геоморфолог и специалист по погребенным почвам Ф.Н.Ямских, палинолог В.Г.Ямских, специалист по погребенным почвам А.Я.Ямских. Причем все это — не просто консультанты, приехавшие в экспедицию на несколько дней или часов), а сотрудники, непосредственно работавшие с первичным материалом, вклад которых был отражен в виде соавторства при публикации пещеры Еленева (Макаров, Орлова 1991; Макаров и др.).

Фактически на материалах раскопок 1982–1992 гг. предприняты реконструкции как природной обстановки, так и общественного развития в конце плейстоцена-голоцене; причем одно обусловливает и делает возможным другое. Как прикажете назвать «археологическую» экспедицию Краевого краеведческого музея? «Комплексной»? Но «комплексная» археология, в которой получение нового знания вряд ли вообще возможно без совместной деятельности со смежниками — это ведь и есть «неклассическая археология».

В этой статье я поневоле оперировал российским материалом в большей степени, чем международным, и сибирским в большей степени, чем российским, — просто потому, что этот материал мне больше знаком. Но, конечно же, даже мне немного известны работы англо-саксов в области «экологической археологии». У меня сложилась уверенность, что бессмысленно искать панацеи в работах зарубежных коллег: принципиально в зарубежной археологии положение точно такое же, за одним важным исключением: отсутствовали идеологические ограничения и запреты. В итоге сейчас мы наблюдаем в зарубежной археологии широчайший диапазон классических и неклассических подходов — от частных исследований деталей каменных орудий в совершенно классическом духе и до сложных комплексных исследований, в которых средствами разных наук создается общее знание об обществе и природе. Приходится признать: неклассическая археология существует не в отдаленной перспективе, а в данный момент. Не все археологи занимаются наукой в этой парадигме, но в этом и нет необходимости.

Науки об ископаемом прошлом

Археологи изучают культурный слой. Но поразительное дело! Они раскапывают весь культурный слой, а потом изучают отдельные сделанные в нем находки. В их компетенции находятся ископаемые древности — артефакты, реконструкция их смысла, значения, предназначения (Клейн 1978). А одновременно какими-то иными аспектами культурного слоя занята целая плеяда наук.

Этот слой образуется под воздействием многих факторов как природного (осадконакопление, работа рек и ветра, почвообразование, амплитуда температур и т.д.), так и куль-

турного происхождения, различных по направленности и способу трансформации природных объектов. Исследование культурного слоя дает исходную информацию для целого комплекса научных дисциплин, традиционно относимых как к «естественным», так и к «гуманитарным». Объединяет их только то, что все это — дисциплины об ископаемом прошлом. Культурный слой изучает конгломерат специалистов, имеющих общий объект исследования. Каждый специалист в этом конгломерате — «смежнию» для другого. Археологи называют «смежниками» работающих у них «естественников». Но ведь с тем же успехом можно рассматривать археологов как «смежников» для палеонтологов или для палинологов. Культурный слой изучают и те, и другие. Впрочем, этому я посвятил специальную статью (Буровский 1991а).

При наличии одного объекта, предметом для ученого каждой отрасли становится вовсе не «феномен в целом», а какая-то часть феномена. Все науки об ископаемом прошлом оказываются иерархически соподчинены — в огромной степени в зависимости от того, насколько «широк» «их» объект, и какую часть феномена он охватывает. Ископаемая пыльца, вне всякого сомнения, является частью феномена. Но частью значительно «меньшей», чем ископаемый фитоценоз. А ископаемый фитоценоз значительно «меньше», чем ископаемый ландшафт. Возникает соподчинение научных отраслей, и насколько бы «узким» направлением не был занят исследователь в данный момент, какие бы частные задачи не стояли перед ним, он постоянно имеет в виду более широкую реальность, в которую включена та, которой он занимается в данный момент.

Удивительно не то, что такое соподчинение научных областей происходит. Удивления достоин тот факт, что это обстоятельство почти не обсуждается в научном сообществе, и почти не осмыслено. И что рассмотрение феномена в целом происходит исключительно с позиций отдельных предметных областей. Если вспомнить восточную притчу, то это напоминает попытки построить модель слона с позиции его ушей, хвоста и ног.

Но почему археологи (да и все остальные «смежники»), вовсе и не отрицая положений, высказанных в начале главы, так упорно не хотят сделать следующего естественного шага?

Что умеют «видеть» археологи?

Традиционная монодисциплинарная наука естественным образом воспроизводит культурный тип специалиста: такого, каким он сложился в эпоху Нового времени. Представитель этого типа воспринимает мир в качестве своего рода набора или склада объектов, явлений или процессов. Отметим — ни в школе, ни в ВУЗе не читаются предметы, «собирающие» мир для будущего специалиста. Сама структура образования, без каких-либо поучений, свидетельствует — мир разобщен и разорван на множество разных, между собой не связанных кусков.

Задача молодого человека состоит только в том, чтобы выбрать оптимальные для него специальность, профессию, образ жизни. Специализация предполагает не столько углубление в одну из областей чего-то единого и связанного, сколько выбор не связанных друг с другом реалий — одной из которых в дальнейшем и предстоит заниматься. Предполагается, что с «не своими» реалиями ученому вообще не придется сталкиваться. Картина «разорванного мира» дополняется тесно сопряженными с ней и дополняющими ее остальными элементами культуры: системой ценностей и сценарием жизни. Системой ценностей, в которой единение и общность вообще не рассматриваются в роли сколько-нибудь значимых ценностей, а наиболее ценимы узкопрофессиональные и максимально технологизированные знания. Сценарием жизни, предполагающим однократное и окончательное «науче-

ние». Конечно, в нововременной культуре есть ценность учения, знания, принадлежности к научной школе. То, чем наполнили молодого человека в юности, несомненно, имеет значение. Но нет ценности «последующего научения». Взрослый человек, который продолжает учиться, словно бы проявляет некие инфантильные черты. Дополнять полученное на заре жизни... Нет, это почти неприлично! В сценарии жизни нововременного человека «годы учения» в ранней молодости сменяются к 22–25 гг. зрелостью, «годами работы», продолжающимися до полной физической дряхлости. Такой сценарий жизни не предполагает ни владения разными профессиональными содержаниями, ни ценности обмена этими содержаниями; тем более такой сценарий не предполагает возможности переквалификации или доквалификации взрослого человека, вступившего в свое «время работы».

Такое «частичное» восприятие действительности не просто характерно для нововременной культуры — оно безальтернативно и жестко навязывается членам научного сообщества, и всем вообще носителям культуры: уже хотя бы в виде «предметной» или «отраслевой» организации научного знания. Археолог в процессе профессиональной подготовки овладевает «своей» отраслью знания. И применяет ее к тем явлениям, с которыми сталкивается в процессе профессиональной деятельности.

Каждая отрасль науки весьма слабо связана с другими дисциплинами. Специалист, как правило, способен видеть мир только через призму своей узкой специализации. Более того — на одной и той же территории и работая в одних и тех же условиях, специалисты способны видеть только каждый «свои» объекты, ставить только «свои» задачи.

С 1984 г. я работал в Большемуртинском районе, проводя разведки, а затем раскапывая поселение Дружиниха (Буровский 1989а) и комплекс памятников на р. Подъемной (Гильманшина, Буровский 1989). Параллельно, но вне всякой связи со мной, в с. Юксеево функционировал стационар Института леса, на котором занимались энтомологическими исследованиями. Кроме того, с 1984 по 1991 г. на территории района неоднократно проводились экономические, экологические, лесоводческие исследования. Но не только общественность — даже проводившие эти исследования специалисты ничего не знали о полученных друг другом результатах.

Поскольку на Юксевском стационаре работал мой старинный друг, мы хорошо знали о деятельности друг друга; в 1990 г. один из отрядов моей экспедиции помогал в работе А.В. Гурову. Мною были использованы находки каменных орудий, случайно сделанные им в почвенных профилях в 1989 г. (Гильманшина, Буровский 1989). Но даже и это — на уровне обычного «смежничества», в типично нововременной «разорванной» картине мира.

Это «сибирская специфика»? Но в 1989 г., участвуя в работах Среднеенисейской экспедиции, я обратил внимание, что вокруг большей части сопок проходят более или менее широкие и ровные возвышения; поднятые над днищем долин на 10–20 метров и слишком большие для того, чтобы быть террасами маленьких речек Усть-Есь и Таштып. Да и было каждое из таких возвышений приурочено к «своей» сопке и являлось, повидимому, следствием каких-то происходящих с сопками геологических процессов. Большая часть курганных комплексов сосредоточена на возвышениях вокруг сопок. Но выяснилось, что ни один (!!!) из участников экспедиции не только не мог ответить на мой вопрос о происхождении возвышений, но и никогда не пытался проанализировать явление. Археологи «полузамечали» даже сам факт приуроченности погребений к данной форме рельефа — хотя он просто бросался в глаза. Они охотно соглашались со мной, что «вообще-то» это интересно, но сами заниматься явлением не хотели. Геологи же мгновенно объяснили мне происхождение «диванов» — они, как и следовало ожидать, оказались совершенно классической формой рельефа, — хорошо известным для специалистов продуктом разрушения сопок...

Остается заметить, что точно такие же «диваны» образовывались вокруг всех курганов салбыкской группы. И что с «диванами» связаны многие элементы культуры народов Центральной Азии. Например, хакасы объясняли мне, что расположение погребений на них далеко не случайно, и что именно на «диваны» должны были уходить души шаманов. Все эти сведения я собрал, не прилагая абсолютно каких усилий, просто в ходе самого заурядного, бытового общения. Но археологи этого не знали.

Печально, но факт: исходя из необходимости детально исследовать «свой» предмет, путем применения своей методики (порой даже и методологии), каждая наука слабо пересекается с другими научными дисциплинами. Поэтому специалист часто видит мир через призму своей узкой специализации.

И, разумеется, не только специалиста касается сказанное. Студент в университете видит лишь отдельно взятые отрасли наук, объединенные под одной крышей лишь административно; школьник постигает «основы наук» в совершенно разрозненном и разобщенном виде. В комплексной экспедиции они по крайней мере приучаются ценить соорганизацию наук, понимать то, что физики называют «принципом дополнительности»; они видят более широкое поле деятельности и самоопределения. Но общей для всех дисциплин «философии науки» в комплексной научно-педагогической экспедиции — нет. И общей цели, кроме «раскопать» — тоже нет.

Не говорю уже о том, что наука не преследует цель достижения смыслов, лежащих в области культуры, религии, философии. Для этого она слишком самодостаточна и отделена от других сфер человеческой деятельности. И притом наука делает вид, будто она объективна, а вот искусство и философия — субъективны, и именно этим от науки кардинально отличаются. Этот тип нововременной культуры устойчиво воспроизводится в деятельности самого научно-педагогического сообщества, и столь же устойчиво передается молодежи. Организация деятельности начинающих ученых в науке — надежный способ воспроизводства людей с социальным и психологическим типом носителей нововременной культуры. Получается парадоксальная ситуация — в археологии существует совершенно неклассическая постановка исследовательских задач. Но эта ситуация никак не проговаривается, не осмысливается специалистом. Археолог даже не имеет специального инструментария для такой деятельности. Глобальная модель для него как бы не существует, и он даже не очень понимает, что это такое.

Для автора этих строк основные специфические черты методологии археологии (и вообще всех наук, не входящих в небольшую, но привилегированную обойму «естественных») не в том, что в «естественных науках» происходят какие-то интеллектуальные перевороты, а в археологии — не происходят. Специфика в том, что происходящие движения не отслеживаются, не осмысливаются и никак не анализируются. Нечто происходит — но не вербализуется, не проговаривается, и оказывается совершенно вне сферы сознательного анализа и осмысленного рассмотрения.

Неклассическая археология давно существует де-факто. Но для большинства археологов ее «как бы нет». Тем более — этому не учат. Так, словно археология и впрямь не является научной дисциплиной, или является наукой «неестественной», или, Святая Сила с нами, «противоестественной».

Постнеклассическая археология как недалекое будущее

Уже говорилось, что начиная с 1950–1960-х гг. содержание частных наук оказывается сопряжено через идею глобального эволюционизма.

«Классическая» наука исходила из ставшего такой же «классикой» субъект — объект-

ного подхода. Отделение исследователя от изучаемого объекта было в XIX в. чем-то само собой разумеющимся. Вопрос об изменении объекта под воздействием эксперимента — и соответственно, об искажении наблюдаемой картины, не ставился.

Постнеклассическая наука заговорила и об этом воздействии, и о том, что исследователь и исследуемое (так сказать, и «субъект», и «объект») принадлежат к более широкому классу явлений. То есть, помимо реальности, в которой объект и субъект разделены, существует и другая, более широкая реальность, в которой и тот, и другой не противопоставлены друг другу, активность субъекта не направлена на объект. И более того, допускается реальность, в которой и субъект и объект одинаково оказываются объектами.

Первым, кто сформулировал комплекс представлений глобального эволюционизма, был Владимир Иванович Вернадский. Но не он один разворачивал эту идею. Почти одновременно с работами самого Владимира Ивановича своеобразный «американский космизм» породил концепцию эмерджентной эволюции (Morgan 1927, Le Boutillier 1936). Эта концепция прошла путь с 1920-х годов до 1970-х, от С.Александера и К.Ллойда Моргана до Р.В.Селлерса, У.Монтегю и А.Лавджоя. В 1928 г. британский фельдмаршал Ян Христиан Сматс написал книгу «Холизм», в которой излагал учение о единстве физического и психического мира, где с повышением сложности системы увеличивается ее способность к отражению. Подобные или близкие идеи развивали также американцы М. Маклухан, Л. Андерсон, Д. Бекер и др. (Никитин 1987). Сегодня идея Большой эволюции — то есть Универсальной эволюции неживого, живого и мыслящего вещества, протекавшей по единым законам, — это уже не маргинальная идея, развиваемая кучкой чудаков. Это одна из признанных и вполне «солидных» идей фундаментальной науки. По этой теме проводятся конференции, издаются монографии и учебники. В России проблематикой универсальной эволюции занимается А.П. Назаретян (Назаретян 1991; Назаретян 2002).

Вопрос — занимаются ли постнеклассической наукой археологи? Ведь неклассическая наука в археологии — дело обычное хотя и совершенно не осознаваемое.

И второй вопрос — как приложить положения постнеклассической науки к профессиональным штудиям археолога?

С точки зрения автора, постнеклассическим был этнологический подход Л.Н. Гумилева и учеников его школы (Гумилев 1989). Можно как угодно относиться к теории пассионарности, к пониманию Л.Н. Гумилевым этноса, но вот факт: Гумилев и его сторонники помещают человека в центр эволюционирующей, излучающей, динамичной Вселенной. И человек оказывается связан со Вселенной и ее структурными подразделениями множеством субъект-субъектных, обоюдных отношений (Теория... 2002). Этот подход к объекту можно назвать только постнеклассическим.

Второй подход к созданию археологии как постнеклассической науки предпринят нашим дорогим юбиляром. С 1970-х годов Лев Самойлович отстаивал идею, что археология — наука не самостоятельная. Археология — источниковедческая наука, у нее своя специфика. «Эшелонированная археология» Л.Н. Клейна и его сторонников предполагает, что история материальной культуры, первобытная история, разные разделы исторической науки — это те крупные содержательные блоки знания, которые включают в себя археологию — источниковедческую дисциплину. Перед нами проработанная и детально осмысленная схема соотношения частной научной дисциплины с более масштабной; включение частного знания в более широкий контекст. В теории Клейна нет широких деклараций о жизни биосферы, нет апелляции к имени В.И. Вернадского, но ведь от этого ничего не изменяется.

Трудно сказать, существует ли «школа Клейна». Как организационное целое — наверное, нет. Не существует «лаборатории Клейна» или «кафедры Клейна». Нет и совокупности

ученых, которые профессионально занимались бы развитием теории «эшелонированной археологии». Но вся археологическая школа Санкт-Петербурга пронизана влиянием Клейна. Идеи Клейна не заменяют того, чем занимается палеолитчик, бронзовик или античник. Идеи Клейна заставляют специалиста работать иначе, по другому относиться к «своему» материалу.

Но ведь это же и есть постнеклассика! Постнеклассическая наука вовсе не требует, чтобы каждый специалист бросил бы свою работу и занялся бы исключительно глобальными проблемами. Постнеклассика требует, чтобы частные исследования велись бы, как исследования частности, объединенной с другими частностями как фрагменты единого глобально эволюционирующего мира. И она требует собирания знания в как можно более крупные блоки, проницаемости между разными частными областями.

Теория Клейна обеспечивает и сбор знания в крупные блоки, и связь между областями знания, входящими в блок.

Сбывшаяся неклассика

С точки зрения автора, организовывать или пропагандировать неклассическую науку в археологии поздно. Дело сделано, и вопрос только в том, когда и в какой форме научное сообщество окажется в состоянии понять — что же именно с ним произошло?

Кое-что, наверное, и изменится. Принятие постулатов неклассической науки заставляет нас развести две очень разные позиции: археолога-исследователя ископаемой материальной культуры, и археолога-раскопщика. Археолог с его историческим образованием и набором специальных методик решительно незаменим в первой из этих областей. Но нет решительно никаких оснований считать, что именно он непременно должен быть организатором раскопок культурного слоя, и простым и безусловным использователем деятельности «смежников». Его положение «у кормила» всех научных дисциплин, занятых изучением культурного слоя, возникла исторически — но точно так же может и исчезнуть. Ибо все достаточно «широкие» Науки об ископаемом прошлом имеют равное отношение к исследованию феномена культурного слоя.

Действительно, опыт археологии последних лет показывает, что «смежники» хотят и могут и самостоятельно вести раскопки, и выходить в поле междисциплинарных исследований, и реконструировать все, что связано с феноменом, равно изучаемым всеми Науками об ископаемом прошлом.

Изучение феномена словно бы происходит в три стадии:

1. Раскопки культурного слоя (непосредственное изучение феномена);

2. Профессиональная работа с более частными реалиями, выполняемая в онтологиях частных наук;

3. «Собирание» данных разных наук и построение модели феномена;

На первой стадии работы организует и проводит археолог — раскопщик. Традиционно он должен иметь высшее историческое образование, и быть принятым в профессиональном обществе «историков, вооруженных лопатами». Насколько члены других узкопрофессиональных сообществ способны его заменить — вопрос полемичный.

На второй стадии археологам — специалистам в области реконструкции ископаемой материальной культуры принадлежит одно из наиболее заметных мест. Но только одно.

На третьей стадии весьма успешно действуют как археологи, так и «смежники». Эта ситуация часто воспринимается археологами то ли как возмутительно неграмотные сентенции дилетантов, то ли даже как не оправданное ничем вторжение диких в не присущую им область (что-то вроде взятия Рима вандалами). Характерно такая реакция: «Все они

(ученые-естественники — А.Б.) постоянно имеют дело с палеолитической тематикой и часто работают бок о бок с археологами. Однако в результате этих контактов у уважаемых коллег временами появляется желание решать чисто археологические проблемы» (Деревянко, Маркин, Васильев 1995: 6). Какие именно «проблемы» считаются «чисто археологическими» — естественно, не указано предусмотрительными археологами. Но сентенции типа вышеприведенной — как напечатанные в солидных книгах, так и произнесенные в своем узком кругу сочувствующих и понимающих не могут изменить главного. Рано или поздно реконструкции становятся слишком широкими, «надархологическими».

Об организации науки

Но сейчас на повестке дня стоит новый, еще идущий полным ходом переворот — постнеклассический. Как организовать постнеклассическую археологию? Или, вернее — как способствовать ее превращению в постнеклассическую науку?

В первую очередь, это поиск общенаучных универсалий!

Взгляд на археологию с позиции глобальной — как на науку, изучающую какой-то аспект жизни Вселенной, Земного шара или Мировой истории, — возможен, но затруднен. Для этого необходимо создание таких концепций глобальной эволюции, таких теорий Земли, теорий ландшафтной оболочки, которые позволят легче интегрировать археологию в учения о глобальных сущностях.

Автор предпринял попытку разработать некоторые положения, которые, возможно, помогут сделать шаги в этом направлении. Рассматривая глобальную эволюцию косного, живого и мыслящего вещества, я попытался создать концепцию антропогеосферы — ландшафтной оболочки Земного шара, охваченную преобразующей деятельностью человека (Буровский 1991б; Буровский 1994а).

Понятийный и терминологический аппарат антропоэкологии разрабатывался мною в нескольких работах (Буровский 1989б; Буровский 1994в); он позволяет рассматривать культурный слой как ископаемый центр фрагмента антропогеосферы — антропогеосистемы или антропогеоценоза (Буровский 1990). Археология в этом случае рассматривается как система знаний, позволяющая изучать антропогеоценозы и антропогеосистемы ископаемого прошлого. Другое дело, что для антропоэкологического прочтения археологических источников требуется произвести специальную работу. Легче и менее проблемно включение археологии в какие-то промежуточные блоки между ней самой и универсумом: культурологию, разделы истории, историю антропогеосферы и так далее.

По Клейну, археология — источниковедческая наука, которую следует решительно оградить от «дилетантских копаний историков». Но это ведь имеет и обратную силу. Если даже и «вещеведческую реконструкцию» или «историческую реконструкцию» или «историческую интерпретацию» (по мнению автора, это весьма разные действия) (Буровский 1995а) проводит одно и то же лицо, суть дела вряд ли кардинально изменяется.

Единственно, в чем не прав Л.С.Клейн: с точки зрения неклассической и особенно постнекласической археологии, она тоже является источниковедческой дисциплиной, но уже не только для истории и вспомогательных исторических дисциплин, но для широкого круга дисциплин, входящих в качестве структурных подразделений в антропоэкологию. А войти в позицию антропоэколога, обобщающего данные частных наук, может специалист в области любой из Наук об ископаемом прошлом. Вопрос, как скоро проникнет эта истина в сознание членов научного сообщества. И что окажется сильнее — естественное течение, «рок событий», влекущий нас к синтезу знаний, к антропоэкологии или к подобной ей дисциплине, или окажутся сильнее мелкие околопрофессиональные амбиции.

Об организации преподавания

До сих пор «преподавать археологию» означало: рассказывать школьникам и студентам о некой частной дисциплине, ее сущности, методике, проблематике и истории, включать их в решение задач этой науки.

При этом археология оставалась совершенно отделенной от всех остальных наук (как и все науки — от нее). Сами по себе школьные предметы никак не связаны друг с другом. Логика их введения, тем более — преподавания совершенно непостижима для ребенка (да и для его родителей тоже). Предметные курсы в наши дни вводятся уже в младшей школе, и по принципу: чем раньше, тем лучше. В пятом классе, при переходе в среднюю школу, преподавание наук полностью становится предметным. Появляются курсы математики, истории, географии, ботаники, русского языка, литературы. Практически все они никак не связаны друг с другом. Что общего у «физической географии» и «Истории древнего мира»? Да ничего! Совершенно разная логика преподавания, организации и подачи материала. Тем более, разная терминология, разная проблематика.

В шестом классе история будет уже Средних веков, — хоть какая-то, но преемственность. Но в седьмом появляется уже «История отечества», и начинается курс опять с первобытной истории — теперь на территории России. А потом пошла чересполосица Отечественной истории и истории Европы, почему-то выдаваемой за историю всего Мира.

Разные курсы истории фактически не связаны друг с другом; программы и учебные пособия написаны разными коллективами, и специалистами в разных областях исторической науки.

Специалисты сражаются за место под солнцем — то есть за место в школьных программах. При советской власти побеждали физики и математики, — ковали кадры для ВПК, С «перестройкой» гуманитарные предметы стали занимать более видные места. Но принципиально-то какая разница? Будет больше часов отведено на изучение математики или истории, не изменится главное: для ученика уже в школе мир оказывался разобранным на множество частей. Изучение археологии в школьном кружке или при Доме пионеров открывает только одну перспективу: перспективу специализации. Это перспектива выбора «своего» кусочка мира, и жизни, посвященной изучению этого кусочка.

Археология порой проникает и в школу, отвоевывая себе кусочек программного времени в курсах «Истории древнего мира» или «Региональной истории». Но это ведь не означает конца специализации. Это означает только то, что археологам (вообще-то аутсайдерам в школе) на этот раз удалось потянуть одеяло на себя. А разделение мира на множество частей — тут как тут.

Обучение в ВУЗе с каждым курсом сильнее и сильнее заставляет студента становиться все более крупным специалистом по все более мелким вопросам. Даже археология «в целом» ему уже не очень интересна, а общая картина мира становится все более неважной по мере специализации.

«Преподавать археологию» с точки зрения постнеклассической науки означает нечто совершенно иное. Это значит — преподавать научную дисциплину об одном из фрагментов единого, цельного мира. Здесь и сейчас я не буду рассказывать о создании учебных предметов, охватывающих значительные по объему объекты познания, — для того, чтобы избежать «бича» традиционной школы, — детализации и дробления не связанных между собой предметов. Каждый из таких предметов может рассматриваться как синтезный — так как в него включается содержание двух или трех предметов современной традиционной школы. Но фактически это совсем другие предметы. Они позволяют усвоить такой же объем информации, как и традиционные, но их структура совершенно иная. А самое глав-

ное — эти предметы подчинены единой логике, имеют общую единую направленность. Это — не механическое объединение разных предметов, а единый блок предметов, обеспечивающий их соответствующее содержание (Буровский 1995б). Единственно, что важно и нужно проговорить здесь и сейчас — это что такие предметы создать можно, и построить учебный план из таких предметов тоже можно — даже без потери объема преподаваемого материала. Вопрос в том, насколько и кому нужно проделать такую работу. В такой системе преподавания наук археология не самоценна и не самодостаточна: она — фрагмент некого целого.

Автор статьи предает большое значение введению такого синтезного предмета, как «Естественная история». Содержание предмета не может быть простым возвращением к тому, что делали в русских и немецких гимназиях начала XX века. В версии предмета, который разрабатывали автор статьи и его соавтор, предпринята попытка показать историю материального мира с гипотетического «Большого взрыва» до появления мыслящего вещества, письменности и цивилизации (Буровский 1994б). В ВУЗовских, да и в школьных курсах, возможен другой предмет, который можно назвать «Предисторией» или «Преисторией». Да и самостоятельная научная дисциплина с таким названием уже рождается.

Сейчас споры специалистов ведутся в основном вокруг двух моделей образования: германско-российской, с введением жестких и обязательных университетских программ, основанных на специализации. И англо-саксонской, со свободным выбором студентом предметов в свою индивидуальную программу. Первая система больше гарантирует, вторая система гибче; у каждой есть свои несомненные преимущества.

Но обе эти системы не соответствуют постнеклассической парадигме, и обе они никуда не годятся после Вернадского. В наши дни ученика и студента необходимо учить не только «разбирать» мир в ходе специализации, но и «собирать» его. Уметь видеть в частностях фрагменты целого. А для этого необходим курс «естественной истории», а в ВУЗе необходимо помимо частностей, преподавать и крупные содержательные куски. Например, «Преисторию» и «Теорию и историю культуры».

В заключение замечу, что никогда и никакая наука не может целиком и полностью стать ни неклассической, ни постнеклассической. В ней одновременно должны присутствовать и «классические», и «неклассические» и «постнеклассические» пласты. Ни создание единой картины изучаемого разными дисциплинами феномена, ни выход на глобальные эволюционные построения, не отменяют необходимости в скрупулезных «классических» исследованиях — в том числе в весьма «узких» и специализированных областях. Например, определение костей ископаемых животных, или исследование состава керамического теста. Более того — только на такого рода исследованиях могут базироваться неклассические и постнеклассические составляющие современной археологии.

Литература

Бицилли П.А. 1993. Элементы средневековой культуры. М.

Буровский А.М. 1989а. К характеру интерпретации материалов палеолитического поселения Дружиниха// Актуальные проблемы западносибирской археологии. Тюмень.

Буровский А.М. 1989б. Антропоэкологическая проблематика в контексте изучения тагарской археологической культуры // Скифо-сибирский мир. Социальная структура и общественные отношения. Тезисы докладов. Кемерово.

Буровский А.М. 1990. География культурогенеза //Социогенез и культурогенез древних обществ Западной Сибири. Томск.

Буровский А.М. 1991а. О характере археологических источников// Советская археология. N 3.

Буровский А.М. 1991б. У нас в антропогеосфере // Человек. № 6.

Буровский А.М. 1994а. Антропоэкология. Концепция антропогеосферы: ее сущности, морфологии, структуры, динамики, истории. Красноярск.

Буровский А.М. 1994б. Экология и энергетика культуры //Генетические коды цивилизаций. Материалы Третьей Международной конференции «Человек и природа — проблемы социоестественной истории (7–12 сент.1994). М.

Буровский А.М. 1994в. Естественная история. Учебное пособие. Красноярск.

Буровский А.М.. 1995а. Интерпретация и реконструкция в археологии// Российская археология. N 3.

Буровский А.М. 1995б. Концепция курсов естественной истории и антропоэкологии// Ноосферная школа: концепция и программы. Красноярск.

Величко А.А., Грехова Л.В., Губонина З.П. 1977. Среда обитания первобытного человека Тимановских стоянок. М.

Вернадский В.И. 1988. Философские мысли натуралиста. М.

Гильберт Д., Пернайс Э.С. 1979. Основания математики, логические исчисления и основания арифметики. М.

Гильманшина Д.В., Буровский А.М. 1989. Предварительные итоги изучения каменного века в Сухобузимском и Большемуртинском районах //Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Красноярск.

Гумилев Л..Н. 1989. Этногенез и биосфера Земли. Л.

Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. 1995. Палеолитоведение. Новосибирск.

Клейн Л.С. 1978. Археологические источники. Л.

Макаров Н.П., Орлова Л.А. 1991. Мезолит пещеры Елинева // Палеоэкология и расселение Древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск.

Макаров Н.П., Мартынович Н.В., Оводов Н.Д., Ямских А.Ф., Ямских Г.Ю., Орлова Л.А., Назаров В.И., Цепкин Е.А., Чхиквадзе В.М. 1992. Пещера Елинева — многослойный голоценовый памятник на Среднем Енисее // Проблемы археологии, этнографии, истории и краеведения Приенисейского края. Красноярск.

Назаретян А.П. 1991. Интеллект во Вселенной. Истоки, становление, перспективы. Очерки междисциплинарной теории прогресса. М.

Назаретян А.П. 2002. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. М.

Никитин А.И. 1987. Эволюция американского глобализма: Идейная борьба в США по вопросу о роли Америки в мире. М.

Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. Некоторые итоги полевых работ в 1879–1979 гг. Л. 1982

Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене. М., 1974

Природа и развитие первобытного общества на территории Европейской части СССР. М.,1969

Сирина А.А. 1991. Бернгард Эдуардович Петри как этнограф // Советская этнография. № 3.

Степин В.С. 1989. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. № 10.

Степин В.С. 1992. Становление норм и идеалов постнеклассической науки// Проблемы методологии постнеклассической науки. М., 1992

Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. 1994. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М.

Le Boutillier C. 1936. Religious values in the philosophy emergent evolution. N.Y.

Morgan C.L. 1927. Emergent evolution. L.

P.M. Barford[1]

POLISH ARCHAEOLOGY AND MARXISM: JUST A PASSING PHASE?

П. Барфорд. Польская археология и марксизм: этап уже пройден?

Вопрос о наследии периода господства марксистского подхода в общественных науках чрезвычайно актуален в современной польской археологии и обсуждается в целом ряде публикаций последних лет. Эта тема должна рассматриваться как в контексте истории археологической науки в Польше, так и с точки зрения того наследства, которое рассматриваемый период оставил современным ибудущим исследователям.

В западной историографии существует традиция рассматривать польскую и в целом восточно-европейскую теоретическую археологию периода после окончания Второй Мировой войны как бы в тени советской археологии (Триггер, Мак–Гир и др.). В свое время Л.С.Клейн показал, однако, определенные соответствия в подходах и роли англо-американской процессуальной "новой археологии" 60–70-х гг. и марксистской археологии в Восточной Европе. В этом контексте автор считает необходимым рассмотреть проблему марксизма в польской археологии в нескольких аспектах: формы, в которых марксистское влияние реализовывалось в археологической науке; в какой степени марксисстская парадигма была продиктована внешними социально-политическими условиями; был ли польский марксистский подход в археологии лишь калькой с советских образцов; до какой степени послевоенная и современная археологическая теория в Польше основывалась на марксистской парадигме.

Анализ содержания археологических публикаций, вышедших в Польше с 1945 по 1975 г. заставил автора прийти к достаточно неожиданному выводу о том, что представление о господстве марксистского подхода в это время ошибочно. Две трети археологических публикаций того времени не содержат не только подхода, но даже и марксистской терминологии, практикуется традиционный культурно-исторический или эмпирический подход. Для большей части остальных публикаций автор предлагает использовать темин "декларативный марксизм", когда действительное следование теории подменяется цитатничеством, а использование марксистской терминологии отражает канон оформления текста, а не способ мышления.

Сразу после Второй Мировой войны в Польше появилась так называемая "школа прогрессивной археологии", заимствовавшая интерпретационные достижения марксистской археологии в СССР, успехи которой как в организации широкомасштабных полевых работ, так и в их осмыслении в тот период сомнению не подвергались. Однако заслуживает внимания тот факт, что несмотря на доступность советских работ в области метода и теории, они остались практически невостребованны в Польше, на них нет ссылок в публикациях.

Несмотря на попытки обнаружить независимое проникновение идей марксизма в довоенную польскую археологию, автор приходит к выводу о том, что эти идеи распространились в достаточно упрощенном и вульгаризированном виде, характерном для эпохи сталинизма , лишь после Второй Мировой войны, на волне вовлечения Польши в орбиту советского политического влияния, что и объясняет поверхностный и декларативный характер восприятия марксизма польской археологией 1945–1975 гг. Марксистский подход мог быть заявлен по карьерным соображениям, поскольку соответствующие проекты получали приоритетное финансирование (например, проект

[1] Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Warsaw, Poland

"Тысячелетие Польского государства"), но также и потому, что он обещал новые интерпретационные возможности. Подобно "новой археологии" на Западе , появление "прогрессивной археологии" в Польше отражало объективный конфликт поколений в научном сообществе.

Искусственное и поверхностное внедрение упрощенного марксизма в польской науке пошло на убыль после XX Съезда КПСС . В то же время , за годы , прошедшие после войны, выросло и сформировалось поколение исследователей, получивших базовое образование на основе марксистской философии и органично, хотя и неосознанно, практиковавших марксистский подход в том числе и в археологических исследованиях. Это явление автор обозначает термином "парамарксизм". В 60-е гг. в Польше формируются относительно самостоятельные, отличные от догматического марксизма школы в общественных науках (Л. Коляковский, Познаньская школа марксистской философии), возобновляются традиционные связи и сотрудничество с западно-европейскими историками, особенно с представителями французской Школы Анналов. На этой основе происходит оживление интереса к марксистским идеям и в археологии, и это находит отражение в ряде принципиальных публикаций ("Предыстория Польских земель" под ред Е. Веловейского 1981); идеи, сходные с принципами "новой археологии", независимо начинают разрабатывать сторонники "новой культурной археологии" из Познани.

После распада социалистической системы в Восточной Европе в польской историографии проявляется тенденция негативного отношения к предшествующему периоду и отрицания его достижений и успехов, а марксизм в польской археологии рассматривается как привнесенное насильственно явление. Реакция "поколения Солидарности" на идеологический прессинг предшествующего времени выражается, например, в отрицании экономических факторов образования Польского государства и в исчезновении интереса к теоретическим исследованиям и научной рефлексии. Однако марксистская парадигма, особенно в форме "парамарксизма" в польской археологии, представляет собой этап, во многом обусловивший специфику и оригинальность современной польской археологии.

"...yet the short affair with Marxism did not leave me without trace"

(Klejn 2001: 6)

In recent years, there have been a number of different assessments of the effects of the application of Marxist interpretations on the conceptual development of central European archaeology. The problem of assessing the nature and scope of its effects is clearly one of great interest, but also complexity, since there are a number of reasons why its assessment is impossible to separate from certain attitudes of the observer. The main reason for this is that the appearance of Marxist interpretations in central European archaeology has most often been regarded as a forced methodological revolution accompanying the imposition of a Soviet hegemony in central Europe (Abramowicz 1991:146). As the memories of the end (1989-90) of this episode of central European history fade, one might imagine that the topic of the influence of Marxism would have become easier to discuss, but an examination of the way this discussion has developed in some eastern European countries suggests otherwise.

The development of a Marxist archaeology forms an important chapter in the history of the development of archaeological thought in central Europe and the problem of Marxism has already been discussed in the Polish literature several times. The assessment of the problem however varies not only according to the opinion of the writer, but also shaped by the mood of the times in which they were written. Not surprisingly discussions of the use of Marxist ideology in Polish

archaeology written before 1989 (Gąssowski 1970, 236–273; Kmiecinski 1987) differ somewhat from the treatment of the subject afterwards (Abramowicz 1991, 139–194; Barford 1993, 1995, 1996 and 1997; Kobyliński 1991; 1998, 225–227 and 232–236; Lech 1993; 1996; 1997; 1998; Minta-Tworzowska, and Rączkowski 1996; Tabaczyński 1995). A number of preconceptions seem however to exist in recent Polish and foreign historiography about the nature of Polish archaeology of the entire period of the existence of the «Peoples' Republic of Poland» (hereafter PRL) and in the Stalinist period in particular. Indeed in post-Communist times[2] there is a danger that the theoretical advances of the archaeology of the period are too-lightly dismissed (particularly by the younger generation), due to their political background and the discrediting of the ideologies of past political regimes in the eyes of the majority of Polish scholars. The topic however merits exploration for at least two reasons, firstly as a legitimate part of the history of the discipline, but secondly to assess the effects it may have had on the development of Polish archaeology.

Western historiography of archaeological theory has tended to be rather dismissive of the whole issue. Trigger's (1989) survey of archaeological thought perceives only Soviet theory which presumably implies that the author regards central European developments to be the same, or unimportant. The recent study by McGuire (1992) also ignores the existence of central European Marxist archaeologies in favour of focussing on the Soviet model (Barford 1996). In his survey of archaeological theory in Europe Hodder generalises about the archaeological theory of the region and writes (1991, 5) that;

«the Soviet model for the organisation of scientific research had [.... an] inhibiting effect in Eastern Europe. An obligatory Marxism became defined in the form of a dogmatic vulgar Marxism. Engels was often the main source, and the growth of the productive forces was seen as the main determinant of historical development [...]. Archaeologists found the Marxist theory difficult to apply and they retreated into the culture-historical framework in which they had been trained, albeit with the obligatory Marxist introductory and closing words....»

As we shall see, the situation which this stereotype hides was much more complex in the various individual archaeological schools which Hodder considers under the cover-all term "eastern Europe".

Leo Klejn adopted a different stance in his panoramic survey (1977) of archaeological thought, he made a perceptive comparison between the Anglo-American Processual archaeology of the 1960s and 1970s and the Marxist archaeology of eastern Europe. He wrote (1977, 13) that the latter created a school of archaeological thought which:

"in many ways anticipated the 'New Archaeology' [...] it had the same pious attitude towards theory, the same passion for generalisation and for abstracting the laws of the cultural process at the expense of interest in concrete, historical events, the same contempt for limited comparative typological studies, the same striving for functional definitions and the consideration of phenomena as a complex, the same militant denial of migrations and influences, the same indifference to ethnic boundaries, the same contrasting of itself with traditional archaeology"

The present contribution is an attempt to discuss some of the aspects of the use of Marxism in Polish archaeology over the past five decades and in particular some of the evidence for the use of Marxist paradigms and changes in archaeological methodology this has led to in this period. Four main questions seem of particular interest:

1) the patterns of and forms taken by Marxist influence on archaeology in the past and the manner in which this developed with the passage of time,

[2] In this paper the word «Communist» is used in the way which it normally is in English, and not as according to the official Party view as a state to which the socialist states were still heading up to the fall of the Soviet hegemony.

2) to what degree this use of the Marxist paradigms was dictated by external, social or political, pressure and in consequence to what degree this archaeological Marxism was sincere,

3) to what extent Polish archaeological Marxism was an unreflexive calque of schemes imported from Soviet academic orthodoxy,

4) to what degree post-War and also modern Polish archaeology owes its methodology and thought patterns to Marxist paradigms.

There are many difficulties in any consideration of this complex and controversial topic, and only a few of the most important issues can be touched-upon here.

Sources and Constraints

The most obvious starting point for any discussions of the utilisation of Marxist methodology in Polish archaeology must be the evidence it has left, and in particular the character of the literary production of archaeologists working in the period under study. The case of the effects of Marxism in central European archaeology is however a sensitive issue and for this reason, anecdotal evidence imparted by participants in these processes needs to be seen in the context in which these stories are now passed-on, human memory can play strange tricks particularly when dealing with motivation for past actions or inaction. Even the use of hard contemporary written evidence however can lead to troublesome conclusions, and so in the writer's initial analysis (Barford 1995) it was decided to utilise an artificial cut-off point (1975, three decades after the War and two before the writing of my article) before which it was assumed past actions of people still alive and active could be dealt with as part of the history of the discipline. As it turned out, this assumption was over-optimistic, two decades was apparently not enough distance for some archaeologists who found their work included in the analysis and who had difficulty treating subsequent alterations in views, social models and writing styles as part of the history of the discipline.

In order to assess the effects of Marxist influence on Polish archaeology, one first has to be able to ascertain its scale. While certain preconceptions may suggest that the influence of Marxism would have been relatively strong in certain periods, it seemed worth attempting to determine the pattern revealed by the published output of Polish scholars in the immediate post-War period. The results were in some respects surprising. An analysis of a sample of the archaeological literature produced in Poland in the years 1945–1975 plotted as a histogram (Barford 1993: fig. 1; Barford 1995: ryc. 2) allows the definition of the beginnings and establishment of the use of Marxist models of interpretation. The histogram has graphically shown that the number of publications which exhibit any sort of trace of being influenced by Marxism (either by subject matter or treatment) are in fact very small compared with the total output of the period and fluctuated with time.[3] The histogram shows that in any period between 1945 and 1975 well over 75% of all archaeological writings contained no traces of Marxist ideology. In this case we fail to see a demonstration of the typical western stereotype of what "eastern European" archaeological output should have looked like. This sample suggests that despite the use of Marxist interpretations and vocabulary by some Polish archaeologists and sometimes declarative citations (sincere or otherwise) from the Marxist classics in archaeological writings, the mainstream of archaeology was still firmly in the culture-history mould.

The fluctuations in proportions of articles identified as influenced by Marxism in this analysis also emphasises that it would be wrong to see the entire period of PRL as a semi-static system,

[3] It should be pointed out that my method of gathering and interpretation of this material has not met universal acceptance in Poland — see for example Lech 1997, 177-8 together with my full answer to his somewhat exaggerated criticisms (Barford 1997: 235-6).

even the division of the period into «Stalinist» and «post-Stalinist», is too simplistic. There were a number of phases of the introduction, consolidation and collapse of the Marxist paradigm in Polish archaeology.

In the Polish archaeological literature direct use of Marxism as a model for the interpretation of the past (or in a declarative manner) is relatively easily recognisable. Very often it uses a specific language (and often contains citations of the Marxist classics). One may define the several shades of possible manifestations of archaeological literary production which reveal the following relationships with the use of the Marxist paradigm in archaeological interpretation:

A) Works in which the Marxist paradigms, as a tool for the interpretation of past socio-economic processes, form an integral part of the work.

B) works in which interpretation based on Marxist paradigms forms a small part of the construction of the work.

C) Works of a purely empirical nature with inserted quotations from the Marxist classics,

D) Works the themes of which are possible to treat in a Marxist manner, but are not.

E) Works of a purely empirical nature, concerning the history of particular aspects of cultural history («Culture-historical approach»), with limited attempt at interpretation of cultural processes.

Marxist interpretation can thus be an integral part of the structure of an archaeological study, but may remain to a certain degree a hidden model. «Declarative Marxism» is the declaration of the Marxist roots of the interpretation; in Poland in the period under consideration this declaration may have been incidental to the interpretative method used, or may have had a social and political purpose. The divisions between cynically purely declarative and sincere Marxism are diffuse. In one respect, it is unimportant whether the author using the Marxist paradigms in his written work was doing so from his own personal political or methodological convictions or was using declarative Marxism for career purposes. There are obvious difficulties in separating these extremes, but this is not an avenue which need be pursued, since the end effect of both approaches (seen from outside) on the archaeology produced was the same.

One of the most obvious characteristics of the output of archaeologists attempting the use (or pose the use) of the Marxist paradigms in their interpretation and one which is most apparent even to the outsider (see Hodder's comments above) are the citations of the (broadly understood) Marxist classics which appear in the archaeological literature. There are few good examples of the «Marxist» archaeology in the first decades after the War which do not include at least one quote from the classics. The use of these textual references and citations was obviously a deliberate strategy by the authors concerned and one might expect the patterning of this usage to reflect real processes operating in (or on) Polish archaeology, and it seems worthwhile devoting some attention to this aspect of the "Marxist" archaeological literature (Barford 1995, 22–38). Some of the works written 1945–1975 are without doubt entirely "declaratively" Marxist only in the sense that a text has been made more «politically proper» by the addition of a few nicely-placed quotes from the Marxist classics (and they do indeed usually appear in the first and/or last two pages of the article as Hodder notes). In some cases analysis of the texts suggests that these citations were unconnected with the main text and their insertion was even probably done after the main body of the text was finished. Examination of the works which are being cited and the parts of them that are used shows that certain passages and texts appear with depressing regularity. There is a sort of «canon» of texts which were cited, and the question arises how well those authors who were citing had read the texts they quoted. In other cases the use of these citations seems to reveal a more thorough knowledge of Marxist philosophy and are incorporated as an integral part of the methodology of the work. Other articles fall somewhere between these two extremes,

these include several pieces of work which discuss socio-economic processes, and incidentally contain quotes from the Marxist classics. These remarkable citations and quotes feature in the archaeological writings of the entire period of Communist hegemony in central Europe and the Polish examples are discussed in more detail elsewhere (Barford 1995: 22–38).

A Marxist Archaeology

The term «Marxism» is generally used loosely as a term for a series of views which trace their origins to the teachings of Marx and continued by Engels and other writers. Not all of these views need have been held by Marx himself (and for part of the period discussed here would anyway have been termed «Historical Materialism»). In this understanding, the teachings of ideologists attached to the regime of Stalin (at least for the purposes of this article) also fall within the scope of broadly-defined Marxism.

Marxism has been for a long time a useful quarry for materials to build interpretative tools in archaeology; the inception of a Marxist archaeology (if we disregard attempts by Marx and Engels to apply their theories to late nineteenth century knowledge of German prehistory and the origins of certain forms of social organization) came in Lenin's Soviet Union. It is very clear that this Soviet Marxist archaeology served as the principle model for the Polish version which appeared soon after the end of the Second World War.

The effect of the use of the new ideas was a startling realignment of archaeological methodology. An archaeology based on the application of the principles of historical and dialectical materialism represented a complete break with the traditional manner of doing archaeology in Poland. Before the appearance of this paradigm on the Polish archaeological scene, the culture-historical model was virtually the only one prevailing. Archaeology was a discipline based on the antiquarian premise, of the empirical study of the material traces of past culture. The principle mode of investigation consisted of their classification and seriation, and determining the chronological and geographical distribution of individual components or features of relict cultural assemblages. Emphasis was on the description and classification of changes in the materials rather than on the explanation of those changes in terms of models more sophisticated than poorly-defined models of "migration" or "influence".

It is worth stressing that the Marxist approach brought a consciously theoretical stance to archaeology, and for many of those who were among the first to come into contact with it, the application of a theory (as opposed to method) and a philosophy was an innovation not previously experienced on such a scale in Polish archaeology. The new approach promised a means to determine the underlying laws governing cultural processes, whereas before archaeology was only able to observe their individual or cumulative material effects. The Marxist archaeology prompted therefore a disdain for the limitations of the purely descriptive and comparative typological studies which for the previous century had formed the very basis of the traditional archaeology. The fundamental shift away from the empirical study of the histories of dead archaeological cultures to the reconstruction of the complex socio-economic relationships within the living societies which had created them was a bold and innovative step towards an archaeology which was no longer just the study of traces left by past people, but became an attempt to study the lives and experiences of those people themselves, the study of man. This approach seemed destined to have far-reaching effects on Polish archaeology and was an important step away from the crippling introversion of the culture-history approach.

The archaeologists working in this new paradigm were well aware of the innovatory nature of their proposals, they termed the new model and themselves "Progressive" (Postępowe).[4] Most of the adherents of the Progressive approach belonged to the younger generation of post-War

archaeologists, the vanguard of the new talent of the discipline emerging to face the challenges of the post-War world.

In order to address the question of the external influences on the development of progressive Archaeology in Poland, we may note that in addition to quoting the classics, it is instructive to see how often the works in the bibliography here also cite each other, clearly these works form a body of material linked by a complex series of interrelationships. This is of course a close parallel with the New Archaeology. This hermetic nature of the writings of the period perhaps allow us to see the developments discussed here as forming a «Polish school of Progressive archaeology". Furthermore, one notes that although the Polish works listed here occasionally cite Soviet works, they very rarely cite articles of a methodological nature from other countries of the Soviet Bloc (even though Polish archaeological libraries are full of publications from these other countries).[5]

In the beginning .....

Although the use of Marxist paradigms in Polish archaeology had a readily-understandable social context (the establishment and continued existence of a Soviet hegemony in central Europe) we should consider to what degree it was an external model imposed in ready-made form on the native traditions and to what extent it replaced them. The issue of the origins of Marxism in Polish archaeology has been discussed in recent years; while many have been content to assume that the prime mover in the introduction of the new ideology was the altered geopolitical situation after 1945, others have pointed to more local factors. Tabaczyński (1995: 77–8) has pointed out certain trends in this direction in Polish archaeology and anthropology preceding the Second World War. A more extreme view has been presented by Lech (1997:194) who apparently sees Marxism in Polish archaeology as having an independent origin, owing little to outside influences. In support of his ideas promoting a vision of a Polish origin of Polish Marxist archaeology, Lech (1998:29) refers only to the well-known case of Ludwik Krzywicki (Kołakowski 1988: 516–528; Tabaczyński 1995: 77–8; Abramowicz 1991: 91–3; Wronska 1986: 85–118). It may be noted however that the latter's undoubted Marxist leanings found little or no expression in his archaeological writings (Barford 1995: 11) and that the role of Krzywicki as an intellectual predecessor for a Marxist archaeology was perhaps overemphasised by some archaeologists working in Communist times (e.g., Gąssowski 1970: 122–125). Lech (1997: 194) also draws attention to the possibility that we might find the origins of archaeological interest in Marxism in collaboration between Polish archaeologists and historians whose pre-War work was influenced by Marxism. though this is an idea which still requires further investigation of the pre-War historical literature and its reflection in the post-War development of the new methodology of archaeology.[6]

Although the new Soviet archaeology of the first half of the twentieth century was noted by foreign archaeologists (Tallgren 1932; 1936), apart from the well-known case of the ostentatious Marxism of V.G. Childe, there was little impetus to imitate it in western or central Europe. The period before 1945 is not characterised by the use of Marxism in Polish archaeology. Not even the

[4] Others have more recently attempted to describe it as «Marxist-Processual», but although we may agree that the progressive archaeology paralleled in many ways the Anglo-American «processual archaeology», the use of this term seems likely to add confusion to the picture.

[5] The citation of works by Soviet archaeologists to a certain extent seems declarative and forms a relatively clear pattern, it is notable that those Soviet authors most frequently cited by Polish archaeologists are those who had visited Poland just after the War. Several authors in particular are frequently cited, such as those of Rybakov, Tretjakov, Grekov. Also frequently cited are several Soviet textbooks of Historical Materialism and Political Economy, usually in translation.

[6] It is notable that in his 1996 article (and the parallel text of the 1997/8 article 1996:186-7; 1997/8: 58) Lech gives a quite different view of the establishment of a Marxism in Poland. Here Polish Marxism uncompromisingly comes from the east.

scholars who later became known for their declaratively socialist (Marxist) political views and who ostentatiously applied such concepts in their post-War writings (e.g., Włodzimierz Hołubowicz, Włodzimierz Antoniewicz, Kazimierz Majewski or Ludwik Sawicki) used Marxism in their archaeology before 1939. We first find Marxism appearing in the writings of those Polish archaeologists active in the Soviet Union after September 1939, some of whom later emigrated west into Poland after 1945 (W. Hołubowicz, K. Majewski, Jerzy Kulczycki). These articles (a few published in the Soviet Union, some later printed in Poland in early volumes of the periodical Archeologia) develop Marxist themes, have (sometimes copious) citations from the Marxist classics and set the pattern for later work. It should be stressed though that these articles are exceptional for their period.

An "enforced" methodological revolution

Between 1944 and 1948 there was a slow steady growth of Soviet influence in liberated Poland. The real beginning of Marxism in Polish archaeology may be dated to after 1948, when the state started to dictate the preferred ideological orientation of the humanistic sciences with concerted attempts to impose Marxist ideology (in its Stalinist form) on higher education and culture (Lech 1997; Kobyliński 1998: 225–6). The form taken by the Marxism in archaeology in Poland was strongly influenced by modes of working that had become established in the Soviet Union by the end of the 1930s. In the post-War period intellectual life was dominated by the influence of views associated with Jozef Stalin himself and his circle, dictating especially close parameters within which Polish society as a whole could function in the years 1948–1956. The Marxism which was introduced into Poland (and thus Polish archaeology) in this period was therefore to a large measure dominated by the dogmatism of the vulgarised brand of Marxism preferred by the Bolsheviks (Kołakowski 1978: 789–936) with which in many parts of the Soviet Bloc it was certainly unwise to enter into any kind of discussion.

Archaeology as one of the historical sciences had an active role to play in the building of the future, "in the building of socialism in people's Poland" (Lech 1998: 91). This was not just a case where the ideology of the ruling elite had to be put into practice in the methodology of sciences which it funded. The distant past in particular had important contemporary political consequences for Communist regimes. This was due to the much-vaunted doctrinal view that it was reputedly a scientifically proven fact that all societies were heading inexorably to Communism. The past was thus expected to confirm the idealised picture of the progressive development of human society which had been proposed by Marx and Engels. Not surprisingly, bearing in mind the constraints, this is the general picture which emerged from some of the early studies of the period. This Stalinist version of Marxism was thus to provide the virtually unalterable framework into which history had to fit, and one gets the impression that in some of these schemes, the archaeological material was often reduced to the role of providing decorative detail to an immutable dogma. It would seem (from the reports in some archaeological periodicals of the opening of new displays) that the latter approach however was more apparent in museum displays for public consumption than in the professional literature. These constraints initially led to an unfortunate straightjacketting of the Soviet-inspired Marxist archaeology in Poland and considerably reduced its value as a manner of investigating the past. Even in the Stalinist period, however, there were some works which used the new paradigms to create a novel and indeed provocative picture of the past, to investigate aspects of society which were totally unavailable to the 'traditional' archaeology fixed in its own straightjacket of classification and description.

Once established, for most of the Stalinist period the historical materialistic view gained an increasing foothold in the academic study of the past. This was taught primarily in the form of the

"history of material culture» in the universities and practised in the research institutions. Marxism became one (but several scholars educated in this period now hasten to add "just" one) of the elements in the academic preparation of archaeology students. Antoniewicz (1955: 225–6) mildly complains that the process of ideological (re-) education of the archaeological didactic staff of Warsaw university was a lengthy process and took up time which would otherwise have been used for other research.

Apart from a degree of selection of academic cadres, there seems to have been less direct political pressure involved in the introduction of the new ideas, though some participants in the events which unfolded at this time today anecdotally stress the pressures they were under to conform. It would be false however to see the adoption of Marxist ideas as an interpretive tool in archaeology as being entirely due to repressive political measures. The written evidence demonstrates clearly that many scholars seem to have been able to choose whether or not to get involved in the Marxist interpretation of history; the use of the new ideology did not entirely replace other research methods. One may point to the overwhelmingly large numbers of reports created in Poland in the period after 1945 which merely classify and describe in the manner characteristic of much other European archaeology and conforming to the typical culture-historical mode. Marciniak and Rączkowski (1991: 58–9) have pointed out that while Marxism was being applied at a theoretical level, archaeological praxis was dominated by the positivist theory of cognition, and they state that the reasons for this was not only the previous education of the majority of practicing archaeologists, but also that the vulgarised Marxism common at the time was difficult to apply, and that Marxism was regarded as a concept "foreign to the traditions of Polish archaeological thought" and thus rejected or only accepted with much resentment.

It would seem however that there were at least four reasons for becoming an adherent of the new "progressive" manner of doing archaeology. Firstly some scholars may well have felt it was more than just a smart career move to pay lip service to an officially-approved ideology in a state where in principle at least particular attention was paid to political correctness of the views of all of its citizens. An additional factor is that when in a state-funded discipline it becomes understood that certain types of projects or project applications expressed in a certain manner will receive a more favourable response, there is often no lack of scholars who suddenly regard those precise questions worthy of closer examination. Thirdly however the new paradigm was cognitively attractive in several ways, in principle allowing the creation of a totally new and pioneering vision of the past, breaking out of the culture-history paradigm to ask new questions of the evidence. The «Progressive» archaeology (like the Anglo-American "New Archaeology") allowed the overcoming of the limitations of existing types of archaeology (Klejn 1977: 13; Barford 1993: 258–9; also Barford 1995: 69; Lech 1998: 88); and fourthly (being allegedly based on 'scientific' principles) it was a means for the young scholar trying to make his way in the authoritarian academic world to challenge the power of the older generation of scholars on meritorial grounds backed by an external authority. The new paradigms (in the same way as the American New Archaeology was later to be used) empowered the new generation of young archaeologists in jostling for position in post-War archaeology; it was one of the elements of the inevitable interpersonal conflict and intergenerational struggle with the existing academic establishment (Barford 2001: 81–4). The relative importance of these four factors presumably depended on an individual's situation; while for some the methodological opportunities may have seemed more important, others may have felt under one or other form of pressure to conform to a particular social model.

Space is too limited here for a fuller discussion of the cognitive value of Marxism in Polish archaeology (Barford 1995: 41–65 ; Lech 1997: 195–208, Barford 1997: 242–4; Lech 1998: 85–97). It would however be a simplification to merely stress the «vulgarisation» and "dogmatism" of

Marxist theory applied to central European archaeology (Laszlovsky and Siklódi 1991: 274; Hodder 1991: 5). If we look at the better-quality works however one can see that their writers were attempting more than the simple schematised view of the historical process that they are frequently accused of.

A particular feature of the period was the so-called Millennium project, a major state-funded multidisciplinary programme to investigate the beginnings of the Polish state and people which was instituted in 1948 and ran until the mid 1960s. It had a major archaeological component (Lech 1998: 65–78). A noticeable and paradoxical feature of the project was the virtual lack of any discussion among archaeologists from an explicitly Marxist view of the nature of the state and how it may be archaeologically examined.

Enthusiasm wears off...

In general, the "Marxist" element of Polish archaeology entered a decline which apparently set in soon after Khrushchev's "secret" speech denouncing Stalin at the XXth Party Congress in 1956 after which the dictator's pronouncements and writings ceased to have their former dominating status. The relationship of the new paradigm to the ideology of the political system imposed on Poland by Stalin was evidently felt by many scholars to be too close, so that when it was felt relatively safe to do so, many archaeologists rejected this approach without analysing its further-reaching implications for their research practice. Despite a general increase in archaeological output beginning at about this period, the number of archaeological works containing traces of the use of Marxism drops off, as over the next decade does (proportionally) the number of studies which thematically are suitable for Marxist treatment, there is a marked reduction of articles investigating social, economic, or processual problems. Kobyliński (1998: 234) has drawn attention to an appeal from the organizing committee of a national archaeological conference in 1969 to "undertake investigations into the field of the Marxist theory of social development on a wider scale than hitherto" suggesting that this decline was visible at the time.

Despite this disinterest, the effects of the characteristics of the education of many of the younger post-war generation and then their influence on their pupils was to mean that the influence of Marxism was unlikely to totally disappear from Polish archaeology. While rejecting the ideology (or methodology) itself, a certain residue of the concepts inspired by them have become ingrained in archaeological practice. I have termed (1995:10) this phenomenon "Paramarxism". This term refers to the accidental and subconscious use of concepts derived from Marxist-Progressive approaches, for example by scholars educated in the Marxist tradition by post-War Polish universities or absorbed from older literature and the Paramarxist working-practice of other scholars (for example many important textbooks of archaeology and the historical sciences of the 1960s and 1970s have Marxist or rather Paramarxist leanings); sometimes it is difficult to draw a line between «Progressive» and some work which would perhaps better be considered Paramarxist. Thus although explicit Marxism does not form a large part of the written output of Polish archaeologists, in the period after 1945 it had a much more insidious influence on the interpretation of the data. Approaches derived from Marxist thought introduced in the 1940s and 1950s (with some slight modification since then) seem to underlie much of current Polish archaeological methodology, perhaps more than some Polish archaeologists would care to believe.

We even find subtle traces of the effects of contact with some of these ideas appearing in the works of the senior generation of archaeologists, some of whom (such as Józef Kostrzewski) were far indeed from being Marxists. Another generation produced works which approached the subject they were dealing with in a Marxist vein and using the requisite terminology. An example of this (Barford 1995: 63–64) is the work "Study of social relationships in the Late La Tène and Roman

periods in the Oder and Vistula basins" of Kazimierz Godłowski (1960). Works like these illustrate very well the point that the use of ideas derived from Marxism was not restricted to archaeologists who supported the use of this ideology to create a political regime.[7]

The 1960s were a period of change in Polish archaeology. We see a continuation of the changes taking place in the latter half of the 1950s, and thus (although there were a number of important and influential exceptions), a further decline in the relative frequency of archaeological studies dealing with social and socio-economic matters or questions of social or political organisation. Nevertheless there are a number of such works, and it is notable that even though they were writing in the heyday of Polish Communism, the authors of these did not always feel it necessary to deal with these topics using expressively Marxist (or para- or pseudo-Marxist) methodologies. It was in this period that a new attitude emerges in the Polish archaeological literature which coincides with the diminishing of the degree of Marxist interpretations of the data. From the twentieth anniversary of the Polish Peoples' Republic (1964) a motif appears in some of the literature accentuating the achievements of Polish archaeology, emphasising the connection between (certain members of) the academic establishment and its material support by the Communist state. Here the emphasis is switched from the ideological aspects to the cultural achievements of Communist rule. The political events of 1968 led to a temporary tightening of Party control of the state, followed by emigration of political undesirables; this was the period when Marxism lost most of its remaining credibility in academic circles, with the expulsion of many revisionists from the universities. Among them were leading writers on Marxism (such as Leszek Kołakowski) whose views were perhaps beginning to diverge from what became the officially-acceptable norm.

Despite the prevailing political divisions, Poland was one of the members of the Soviet Bloc whose scholars had comparatively easy contact with western scholars. There were collaborative projects since the early 1960s between Polish and French historians affiliated with the Annales School and with Italian scholars. In both cases one of the principle attractions for the foreign partner was the (real or imagined) possibilities of co-operation with archaeologists and historians from with a "Marxist" background (Lech 1998: 96; Cf Kobyliński 1991: 228). These contacts were to lead to important consequences in the conceptualisation of Polish archaeology in subsequent decades. It is possible that contact with elements in western historiography now beginning to find new stimulus in the writings of the two "bearded sages of the Rhine" (Tabaczyński 1993: 76) may have been influential in reviving interest in Marxist approaches in Poland.

There was a comparative lack of interest among Polish archaeologists as a whole in the development of the "New Archaeology" of Anglo-American circles. There were perhaps three factors which were responsible for this. The first was perhaps the practical problems of getting to know it in Poland particularly in the early stages of its development, the second seems also to have been an attitude that there was nothing so very new in a school which was proclaiming the novelty of ideas which seemed so similar to those of the local Progressive archaeology of the previous decade. A third factor was the increasingly close contact between Polish scholars with the French and Italian milieux with their own approaches to the interpretation of archaeological data and their own generally disdainful attitudes towards the New Archaeology.

Paradoxically, while many Polish scholars felt it safe to drop the declarativly "Marxist" style that some of them had adopted in the years of Stalinism, others now feeling to a certain degree

[7] The comments of Milisauskas (1998: 226) concerning my inclusion of Godłowski's work in my 1995 analysis suggest that he misunderstood what I had written. It was never my intention to categorise archaeologists according to their political beliefs.

freed from the most oppressive elements of official dogma now discovered new interest in ideas deriving from Marxism. The early 1960s saw the beginning of a new phase in the development of Marxist archaeology, typified by some interesting but neglected works of Włodzimierz Hołubowicz (e.g., his undeservedly neglected 1961 discussion on the role of publications in archaeological research) but this scholar's output was halted by his untimely death in 1962. Tabaczyński (1969) attempted an analysis of the economic structures of prehistoric societies which refers to a wide range of literature including from the social sciences and French Marxism. Other works (Wartołowska 1964) however harked back to the models of the previous decade.

In the mid 1960s the «Millennium Project» had finished and Polish archaeology was now moving on to other research themes. To the study of these periods were however brought the historical and socio-economic traditions earlier learnt in the study of Early Medieval archaeology, though often here in these later studies of other periods mainly in their paramarxist form. The sources used in this period were not all derived from Marxist thought (there was a fair amount of theoretical material derived from other philosophical traditions in this school of thought), but the main impetus for its creation seems to have been the appearance of Marxism (Historical Materialism) in the historical sciences. Two good examples of this trend are the highly innovative and influential works of Wiślański (1969) and Tabaczyński (1970). The principle characteristics of these books owes much to the anti- culture-historical trends engendered by the Progressive archaeology (Barford 1995:34–5, 65). In Tabaczyński's work, the emphasis is on production and distribution and among the eclectic literature cited there is much from western anthropology and ethnography as well as works demonstrating the progressive roots of the approach adopted. The work of Wiślański has similar characteristics (with more attention paid to German than anglophone authors).

The processes started in the late 1950s continued in the 1970s. This was the period of the flowering of the Poznan school of Polish Marxist philosophers (Marciniak and Rączkowski 1991: 60–1; Kobyliński 1991: 230–1; 1998, 227 and 240–1; Cf Lech 1998, 95 and 108–110) which despite the linguistic opacity of some of its key texts, has exerted a certain degree of influence on the development of archaeological theory particularly in Poznan and Warsaw. In the 1970s and 1980s it led to the creation of a number of original formulations based on local intellectual traditions. Much of this however remains (primarily for reasons of the language which many of these texts were written in) unknown and unappreciated in the outside world (see Marciniak and Rączkowski 1991, Minta-Tworzowska and Rączkowski 1996 and Kobyliński 1998 for summaries).

Other examples of Marxism influence in the later Polish archaeological literature fail to reflect the changes in Marxist philosophy in Poland throughout the post-War decades and seem to be simply a watered-down version of norms set down in the ideological framework of the Stalinist period. The new thoughts find a rather weak reflection in the working practice of the majority of archaeologists.

It would seem that in the 1970s Marxist ideology was no longer being taken seriously (even as an abstract philosophical system) by the vast majority of the intelligentsia. Lech (1998:95) states that after 1975 «Marxism as a separate methodology used in archaeology definitely disappeared». This however raises the question of whether it ever had been a separate methodology in Polish archaeology (even works of the Stalinist period tend to combine features of several research trends, their quoting of literature is relatively eclectic). There were however works still being written which refer back to Marxist principles. One of the most influential was an article (Pałubicka and Tabaczyński 1987) which makes frequent reference to Marxism, and ends with a subchapter entitled "in search of a Marxist program of research for historical analyses of culture" (Ibid: 137–183) which is one of the more explicit calls for a specifically Marxist approach in the recent Polish archaeological literature.

For a while, Polish archaeology was to be heavily dominated by articles devoted to positivistic empiricism and studies of artefact typologies and culture-histories. These tendencies become more marked in the 1970s and 1980s. Even in the latter period however we find some traces of the Marxist thought-patterns. The fifth volume of the series Prahistoria Ziem Polskich (Wielowiejski ed. 1981) concerning the Late Iron Age and Roman periods is primarily a culture-historical account, but also contains (separate) sections on production and consumption as well as social structure (Wielowiejski ed. 1981: 411–428), which again seem to owe much to the Progressive trends.

It is difficult to say to what extent Marxism was responsible for the adoption of modes of work superficially similar to the New Archaeology in Poland. Lech (1998: 93–4 and 108–110) has suggested that the influence of the latter was strong on what he calls the "New Cultural Archaeology from Poznan", but the degree to which this was in fact the case is debatable. While a direct genetic link between the Marxist archaeology of eastern Europe and the later development of the Anglo-American New Archaeology has even been suggested, an examination of the history of the latter suggests that this is a case of parallel development from the same range of traditions and academic needs. It seems that Anglo-American trends had in general a relatively weak influence on the development of most areas of Polish archaeology until comparatively late (Kobyliński 1998: 238).

Just a passing phase?

The collapse of the communist Bloc after 1989 and the changes which it set in train have led in most countries to a series of reactions against the ideals and ideas of the old regime, and the effects of this are also visible in Polish archaeology. Not surprisingly, in the post-1989 period blatantly notable Marxism has virtually disappeared from Polish archaeology. Two articles reflect the abrupt fading of Marxism in this period. In the first (Kobyliński 1988) the author uses a Neo-Marxist approach to question the validity of post-Processual trends and defends the nomothetic approach akin to processual archaeology. What seems to be the last use of a Marxist model in Polish archaeology (Gąssowski 1992) refers to the Marxist (indeed Leninist) concepts in a discussion of the formation of the early state, the paper would seem to be the contribution that had been missing from the debates of the 1960s. The paper however had been written before 1989. A common attitude towards Marxism among Polish archaeologists in the post-Communist period is well expressed by Parczewski (1999) who denounces attempts to apply to archaeological research theoretical structures which do not come from that discipline which previously originated in "strange ideological-theoretical concepts imposed by force, but currently by foreign fashions" and which in his opinion do not show any clear perspective of real cognitive usefulness in archaeology.

In the past decade or so there has been an intense period of rewriting of history of the discipline. While some scholars have tried to address the specific character of the archaeology of Poland in the period of the so-called People's Republic, and in synthetic studies of the period examine some of the grey areas, others retain a much starker black and white image of the period and are intent on deleting from the collective memory that which they see in entirely black colours while highlighting those traits which they see as in opposition to them.

In the same period of course there has also been a rewriting of the historical narrative to suit the changed times of the present. This includes the creation of a vision of history which is deliberately anti-Marxist. This phenomenon has become particularly prominent in the favoured area of study created by reflections on the origin of the Polish state and people. Although as we have seen Marxism had in effect a surprisingly small part to play in discussions of state-formation in the Communist period, the Progressive archaeology encouraged a picture of the emergence of society in which the emphasis was on a progressive but slow cumulation from generation to generation of various factors which as the historical processes unfolded gradually gave rise to a Polish state.

The formation of this view had two main stimuli, the first was to endow the formation of a people which appeared in the records 'only' a millennium ago a more respectable antiquity (and in the process legitimising the archaeological study of earlier periods), but also mirrored the slow painful and inefficient centrally-planned economic growth of the post-War decades. After 1989 — in a period of rapid expansion of the post-Communist economy — new views were put forward by young scholars of the so-called 'Solidarity generation',[8] who saw the formation of the Polish state as being an almost overnight event caused by the careful political wheeling-and-dealing of a dynamic, enterprising but ruthless and strong leader. This most un-Marxist model may be seen as a new interpretation of the past for the new 'Yuppies' of the newly emerging economies of post-Communist Poland. This is just one example of a number of developments in the discipline which seem to be reactions against the perceived ideological basis of the work of a senior generation.

One of the consequences of the rejection of Marxism as a world view which was to serve as the basis for organising the contemporary society and political system has been a relative lack of attention paid to the lasting effects it had on the conceptualisation of Polish archaeology at a crucial phase in its development. The school of thought that sees in the Marxism applied to the study of past social realities "strange external ideological-theoretical concepts imposed by force" or an "enforced [and thus unwanted] methodological revolution" presumably prefers to think that once the political pressure was removed, Polish archaeology and historiography recovered its former autonomy and character. The period when Marxism real or declared appeared in the works of Polish archaeologists is treated as a temporary historical aberration. This in turn leads to the concept that that this period was characterised by a certain complex of behaviour among scholars which would be best ignored and is not worthy of any detailed analysis, furthermore to attempt to analyse it would even be unsporting. This was the general tenor of some of the discussion which followed the publication of my 1995 article.[9] Those who subscribe to this view apparently wish to distance themselves from the Communist years as a temporary interruption to the continuum of the development of Polish society.

There are however a number of problems with accepting such an extreme view, and many observers perceive that the application of Marxism to Polish archaeology had some form of tangible effect, though there is a lack of agreement quite what that effect was, and its extent. Some have seen it as having imparted a superficial veneer to an archaeology which is otherwise relatively unaltered in its culture-historical aspect (Milisauskas 1998, 226–7), others have suggested that many of the concepts of modern Polish archaeology may owe their present form to paramarxist influence (Barford 1995: 67–9 also Lech 1998: 95 and Barford and Tabaczyński 1996) while others have seen Marxism as having been amalgamated with other models and leading to the creation of a totally new quality of archaeology in Poland (Lech 1998: 108–110; Tabaczyński 2001).

Despite the debate, it seems to me that a case can be made for supporting the view that Paramarxism is more deeply embedded in the fabric of Polish archaeological interpretations than many are aware, or care to admit. Paramarxism is likely to remain largely unrecognised while Marxism in Polish archaeology is not generally considered in that archaeological milieu to be a topic for serious discussion. Only the analysis of the Marxist roots of our present interpretative schemes can allow us to analyse their structure and perhaps reassess these hidden models.

We have seen that the Polish brand of progressive archaeology had its good and bad sides, but it is not entirely clear that this is in fact any more so than any attempt to introduce new models

[8] referring to the name adopted in the 1980s by the political opposition to Communist rule of Poland.

[9] Unfortunately none of those who thought this so strongly cared to put their opinion into writing. The only discussion of my article (Lech 1997) criticises it from an entirely different point of view.

to replace existing modes of doing a science. While there was almost certainly a certain amount of cynical opportunism in some of what was written and done as Progressive archaeology in the 1950s, there was also much that was genuinely innovative. The methods of interpretation of the material of the Polish brand of Progressive Archaeology were a great advance on what went before (and a great advance on much contemporary western European archaeology). Taking into account some of the new perspectives it had to offer, the abandonment of the Marxist paradigms by most Polish archaeologists may be seen in hindsight as perhaps too premature and a great waste of some useful, innovative and talented work. A case can even be made (Barford 1995: 67–9; Kobyliński 1991:238; 1998a:246 and Lech 1997) that the abandonment of the Polish school of «Progressive" archaeology was in a way one of the misfortunes of central European archaeology in the post-War period. If these trends, instead of being summarily abandoned by most archaeologists after various external events (the post-Stalinist "thaw", the events of 1968, and the events of 1989), had continued to develop freely and dynamically to a greater extent than they did (while rejecting the schematism imposed by dogma), it would have undoubtedly had an overall beneficial effect on Polish archaeology. Despite some outstanding theoretical work from a restricted range of scholars, it is the subsequent concentration by many Polish archaeologists to a mode of archaeology based on an introverted and theoretically relatively unreflexive culture-historical model which — seen in a more panoramic context — is the real tragedy of Polish archaeology of the past few decades. The achievements of the period did not however entirely disappear and may be counted among the factors which gives the best Polish archaeology of today its specific character.[10]

References

Abramowicz A. 1991. Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warsaw –Łódź.

Antoniewicz W. 1956. Zakład Archeologii Polski Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945–1955 // Dawna Kultura: 3.

Barford P.M. 1993. Paradigms lost: Polish archaeology and post-War politics' // Archaeologia Polona 31.

Barford P.M. 1995. Marksizm w archeologii polskiej w latach 1945–1975 // Archeologia Polski 40.

Barford P.M. 1996. Dialektyka I dialog: marksizm i paradigmaty w archeologii europejskiej. Na marginesie książki Randalla McGuire'a 1992 «A Marxist Archaeology» // Przegląd Archeologiczny. 44.

Barford P.M. 1997. Malowiarygodny? Odpowiedz na polemike pana Jacka Lecha [Hardly credible? Answer to the polemic article of Jacek Lech] // Archeologia Polski. XLII.

Barford, P.M. 2002. «East is East and West is West»: Power and Paradigm in European Archaeology // Archäologien Europas. Geschichte, Methoden und Theorien // Archaeologies of Europe. History, Methods and Theories (Tübinger Archäologische Taschenbücher 3) Waxmann Münster.

Barford P.M. & Tabaczyński S. 1996. Polish Archaeology: Reality and Challenges of the 1990s // Bulletin of World Archaeological Congress 8.

Gąssowski J. 1970. Z dziejów Polskiej archeologii. Warsaw.

Gąssowski J. 1992. Problematyka wczesnych form państwowości w świetle danych archeologicznych // Geneza i funkcjonowanie wczesnych form państwowości na tle porównawczym. Warszawa.

Godlowski K. 1960. Studia nad stosunkami społecznymi w okresach późnolateńskim i rzymskim w dorzeczu Odry i Wisły. Warsaw-Wrocław.

Hodder I. 1991. Archaeological Theory in contemporary European societies: the emergence of competing traditions // Archaeological Theory in Europe: the last three decades. London.

Hodder I (ed.) 1991. Archaeological Theory in Europe: the last three decades. London.

Hołubowicz W. 1961. Jak publikować źródła archeologiczne. Warsaw-Wrocław.

Klejn L. 1977. A panorama of theoretical archaeology // Current Anthropology. 18.

Klejn L. 2001. Metaarchaeology // Acta Archaeologica. Special issue, vol. 72:1 supplementa III. Copenhagen.

Kobyliński Z. 1988. Explaining or understanding: an attempt at critical analysis of the antinaturalistic paradigm in archaeology // Archeologia Polona. 28.

[10] In preparing this paper I have benefited from discussion of this topic with a number of colleagues. I am of course alone responsible for all opinions expressed and any errors of fact.

Kobyliński Z. 1991. Theory in Polish archaeology 1960-90: searching for paradigms // Archaeological theory in Europe, the last three decades. London.

Kobyliński Z. 1998. Theoretical orientations in archaeology in Poland (1945-1995) // Tabaczyński S. (ed.) Theory and Practice of Archaeological research III. Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the '90s. Warsaw.

Kołakowski L. 1988. Główne nurty marksizmu: powstanie, rozwój, rozkład. London.

Kmiecinski J. 1987. Proceß der Annahme von der marxistischen Theoriie der gesellschaftsentwicklung in der polnischen archäologie und der Urgeschichte // Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica. 8.

Laszlowszky J. and Siklódi Cs. 1991. Archaeological theory in hungary since 1960: theories without theoretical archaeology'// Archaeological Theory in Europe: the last three decades. London.

Prehistoria i przemiany światopoglądowe w Europie // Archeologia Polski 37 (1–2).

Lech, J. 1996. A short history of Polish archaeology // World Archaeological Bulletin. 8.

Lech J. 1997. Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej, lata 1945–1975 // Archeologia Polski. 42 (1–2).

Lech J. 1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century // Archaeologia Polona 35–6 (1997–1998).

Marciniak A. and Rączkowski W. 1991. The development of archaeological theory in Poland under conditions of isolation // World Archaeological Bulletin. 5.

McGuire R. 1992. A Marxist Archaeology. San Diego — New York — Boston –London — Sydney — Tokyo — Toronto.

Milisauskas S. 1998. Observations on Polish Archaeology 1945–1995 // Archaeologia Polona 35–6 (1997–8).

Minta-Tworzowska. D. and Rączkowski W. 1996. Theoretical traditions in contemporary Polish archaeology // World Archaeological Bulletin. 8.

Pałubicka A. and Tabaczyński S. 1986. Społeczeństwo i kultura jako przedmiot badań archeologicznych // Teoria i praktyka badań archeologicznych. Vol. I, przesłanki metodologiczne. Wrocław.

Parczewski M. 1999. Kilka uwag o krakowskiej szkole archeologii historycznej // Sprawozdanie z posiedzenie w dniu 23 listopada 1999, posiedzeń Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk Odział w Krakowie. Tom XLIII/2. Krakow.

Tabaczyński S. 1969. Struktury gospodarcze środkowo-europejskich społeczeństw barbarzyńskich // I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej. Vol. II.

Tabaczyński S. 1970. Neolit Środkowoeuropejski. Podstawe gospodarcze. Wrocław.

Tabaczyński S. 1995. A future for the Marxist paradigm in Central European Archaeology? The Polish case // Whither Archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupný. Prague

Tabaczyński S. 2000. «Wymuszony przewrót metodologiczny» w archeologii polskiej i jego nieoczekiwane skutki //Archaeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznan.

Tallgren A.M. 1932. Zur russischen archäologischen Literatur // Eurasia Septentrionalis Antiqua. 7.

Tallgren A.M. 1936. Archaeological studies in Soviet Russia // Eurasia Septentrionalis Antiqua. 10.

Trigger B. 1989. A History of Archaeological Thought. Cambridge.

Wartołowska, Z. 1964. Metoda dialektyczna w badaniach archeologicznych // Światowit 25.

Wielowiejski J. (ed.) 1981. Prahistoria ziem polskich. Vol. V. Warsaw.

Wiślański T. 1969. Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław.

Wronska J. 1986. Archeolodzy Warszawscy na początku XX w. Wrocław.

L. Janik[1]

"SILENT" FEMINIST CONTRIBUTION TO ARCHAEOLOGICAL COMTHOUGHT

Яник Л. «Молчаливый» феминистский вклад в археологическую мысль

Автор стремится продемонстрировать разницу в мужском и женском подходе к постановке задач археологического исследования и интерпретации археологических источников. В феминистическом подходе «истина всегда конкретна» и теоретические построения входят составной частью в комплексную реконструкцию прошлого. На примере разбора классической статьи Барбары Бендер «От охотника и собирателя к земледельцу» (1978 г.) автор показывает, что многие идеи и принципы постструктуралистской археологии были успешно реализованы еще до того, как они были сформулированы в теоретическом труде «Символическая и структурная археология» (Кембридж 1982). Новым и оригинальным образом Б. Бендер практиковала альтернативный подход к процессуальному пониманию культуры как адаптивной гомеостатической системы, отводя социальным факторам внутри и вне культурной системы место основной движущей силы в происхождении земледелия и производящего хозяйства в целом.

There can be no question that Leo Klein is one of the most influential Russian archaeologists of the Soviet generation whose challenging ideas have stimulated archaeology both within Russia and beyond. It is an honour to be asked to offer this small contribution in recognition of his achievements.

In this short paper, I make some comments about the contribution to the development of archaeological theory by female archaeologists, and thus help foster a more engendered understanding of the history of the discipline, an endeavour which is critical for the successful and unbiased future development of archaeology.

Feminism grew out of the social constraints on women within western societies and has come to represent a major source of critique of the nature of these societies. Archaeology is a product of western society, and it has been argued that there is a gender-based division between the ways men and women do archaeology (e.g. Engelstad 200, Janik and Zawadzka 1998, Smith 1995). This division is accordingly visible within the development of archaeological theory, even though this particular divide has not been explicitly problematised. This has resulted in the perception that men play the leading role in the production of archaeological theory, and theoretical contributions by women, even though they often influence their male counterparts, are not fully recognised. In other words women's works are 'silent' because they are often not a part of established theoretical 'camps', which generate the theoretical debate. In much female archaeological writing, the materiality of the past remains are the prime concern, with theoretical debate apparently being of secondary importance. The opposite is often the case in male archaeological writing. It could indeed be argued that women do not write papers about 'what a good way would be to do archaeology'[2] , as they are in a sense too busy just 'doing it'.

[1] Department of Archaeology, University of Cambridge. Great Britaine

[2] A. Wylie comes to mind at this point however, we have to remember, that she is a philosopher of science.

I would like in this paper to explore these propositions through a consideration of two articles, "Gatherer-hunter to farmer: a social perspective", by Barbara Bender (1978), and "What this awl means: toward a feminist archaeology", by Janet Spector (1991). I suggest that these two papers, although they undoubtedly have been read by many male archaeologists, have not been always fully acknowledged as the influential works they are, because they are not necessarily perceived as being theoretical per se. Furthermore these two papers represent feminist points of view in archaeology, about which Erica Engelstad has pertinently noted: 'gendered archaeology/feminist archaeology does not simply add women's contribution to past societies, but is concerned with interpreting and reworking our unquestioned starting premises and taken-for-granted concepts' (Engelstad 2001: 6004). In line with this conceptualisation of feminist archaeology, I further suggest that these two articles represent two significant turning points in the way archaeologists interpret the past, even though there is no claim to this effect made in either paper. The articles by Bender and Spector broke new ground in archaeological thought, and I argue that they need to be reassessed so that the originality and significance of the contribution can be fully recognised.

One of the major breakthroughs in the modern theoretical genre within archaeology came in 1982 with the publication of the introductory chapter by Ian Hodder in Symbolic and Structural Archaeology (Hodder 1982). Perhaps the two most important stands taken in this work were, in Hodder's words 'The theory discussed in this chapter and in this book is reactionary in that it accepts that culture is not man's extrasomatic means of adaptation but it is meaningfully constituted.' (Hodder 1982:13), and further that 'Explanation is here not equated solely with the discovery of pre-dictable law-like relationships but with the interpretation of generative principles and their coordination within relevant cultural contexts' (Hodder 1982: 14). This important volume of papers gave the archaeological interpretation of the past a new dimension, turning from anthropology to history, from a search for general laws of nature to the understanding of cultural and historical contexts, and shifting the archaeological aim of looking for 'social and economic adaptation and change' to a major concern with 'culture, ideology and structure' (Hodder 1982:14).

Three years before the publication of Symbolic and Structural Archaeology, however, the appearance of Bender's paper in the journal World Archaeology paved the way for establishing the role of social factors, forces and structures within and outside societies that generate the need and desire to change. The paper also stressed the role of the individual, one of the themes so important in post-processual archaeology. 'Culture, ideology and structure', the issues so strongly emphasised as new aims of archaeological inquiry a three years later by Hodder (Hodder 1982: 1–16) are at the core of Bender's paper. These aims appeared to be contradictory to the widely accepted processual understanding of archaeology prevalent at the time.

In her paper, Bender presented examples of processual understanding concerning the origins of agriculture, examples which were linked with understanding culture as a homeostatic system (Bender 1978: 206–209). According to some of these models, change in the system occurs mainly as a result of the influence of factors outside the system e.g. climatic alterations. Other models outlined by Bender accept the possibility that the causes of change lie within the system. In these models, social or symbolic aspects of cultural systems respond to stimuli as an adaptive mechanism, in line with the processual understanding of culture as an adaptive system responding to the biological needs of humans under particular environmental constraints (Bender 1978: 207).

Bender takes issue with all of these models. Firstly, she points out that any given culture

is not a homeostatic entity and argues, after Faris (Faris 1975); 'Because the cultural system has self-transforming properties, because variability is not geared simply to adaptive functioning. A given structure can have internal properties which are only resolved over time. Rather than societies being in equilibrium they are always in a state of becoming' (Bender 1978: 207). Bender proposes using a variety of different archaeological examples: 'Evidence for prehistoric societies has been re-analysed so that the emphasise falls, not on the economy or the technology, but on the development of the social systems' (Bender 1978: 218). She argues that the origin of agriculture is linked with the social need of exchange, building alliances between different parts of communities and different communities. She goes on to posit that the production of a 'surplus' was sought as a response to social obligations within the contexts of exchange, which in turn generated the necessity for social regulation. Social regulation was fulfilled through the creation of positions of leadership which in turn promoted a sedentary way of life, encouraging intensification in the production of surplus, creation of wealth and value. She draws on ethnographic data and theories, and a variety of archaeological data in her interpretation. Bender proposes to use a Marxist approach, this is very different from historical Marxism; Bender's approach is dynamic and flexible.

Bender applied theories put forward by different authors, including among others, the idea proposed by the anthropologist Marshall Sahlins of the important role played by households as the basic unit in the production of 'surplus'. Another important idea of Sahlins' utilised by Bender involved understanding that the survival of the household depended on the larger social structure where social and other relations are based on the kinship; kinship is thus a foundation for other structures which provides safety net if the household failed as a unit (Bender 1978: 210, Sahlins 1972). In addition, Bender used Maurice Godelier's concept of the alliance, as a mechanism of maintaining social relations based on reciprocal social relations giving kinship attributes of flexibility and diversity (Bender 1978: 210, Godelier 1974, 1977). Finally, Bender took up the idea of the role of leadership as presented by Claude Meillassoux and Claude Levi-Strauss (Bender 1978: 212–3; Meillassoux 1960, 1972; Levi-Strauss 1955).

Bender took archaeological examples to back up her argument from the Late Pleistocene in the Levant where obsidian and shells was circulated. She interpreted burial goods, storage pits, and well-constructed buildings as pointing to the existence of leadership, social regulations and ancestor worship. She also argued that her case is supported by evidence for the circulation of Mediterranean shells reaching the Perigord, up to 200 kilometres away from their source, as well as extensive exchange in a variety of goods and materials in central and eastern Europe, e.g. amber, obsidian, marine shells in Ukraine, and chocolate-coloured flint in central and southern Poland. She also drew on examples from the Americas.

I suggest that the importance of Bender's paper has been overlooked due to the factors outlined above. It is a paper about how in pragmatic terms to interpret archaeological remains. While the theoretical perspective is strongly emphasised, it is of importance only as it serves the purpose of the interpretation, rather than being treated as a focal point of the paper. In this way the paper combines theory and archaeological data in interpreting the material remains of the past. In an innovative and original way, Bender put forward an alternative approach to the processual understanding of culture as an adaptive homeostatic system by making social factors within and outside cultural systems a major force in the origins of agriculture. I suggest, however, that the interpretation of the origin of food production should be seen as secondary to the theoretical importance of this paper, an unacknowledged pioneer of post-processual archaeology.

The second paper I would like to discuss as being of a major importance in the development of theoretical debates in archaeology as a discipline, is the article by Janet D. Spector in the influential volume Engendering Archaeology, edited by Joan Gero and Meg Conkey and published in 1991. This groundbreaking collection of papers, from both theoretical and pragmatic perspectives, recognised both women in the past, as members of past communities, and women in the present, as archaeologists. I consider that the article by Spector, article goes beyond gender archaeology; if gender archaeology can be described as just one of a variety of themes within archaeology in which gender is the subject of interest; Spector's paper breaks out from this structure, as it is more about doing archaeology. In terms of confronting the theoretical and practical aspects of why and how we do archaeology, Spector's article is as pioneering as Bender's.

Spector does much more than present an interpretation of past material remains. In a very pragmatic way, she introduces various forms of narrative and social awareness in doing archaeology. In the title of her paper, What This Awl Means: Toward a Feminist Archaeology, Spector introduces the word 'feminist', which I suggest is symptomatic of the way she sees herself and her work in contemporary society. In my opinion it is one of the most self-aware papers relating a practicing archaeologist interpreting archaeological remains and the way meaning is imputed to the lives of people in the past. Just as Feminism questions the role of women in our society, Spector uses a feminist approach in two ways: first by questioning the role of women in the past societies; and secondly by questioning, as a women, her role as archaeologist in the way she constructs interpretations of the past. Her case study comes from Native America and, while she explicitly recognises her biases as a western scientist, generating objective knowledge, she chooses to use Native American life to come closer to an understanding of the past as active and alive by using a particular form of narrative, namely story-telling.

It is symptomatic that this paper, published in 1991 once more precedes theoretical debate about narrative and the voice of ethnic minorities within archaeological interpretation (cf. Joyce 2002). I would like to repeat that I think that the reasons for this paper not being recognised as one of the most important articles in contemporary archaeological thought are similar to those given above in the case of Barbara Bender's social approach to the origins of agriculture. While the roles of women have altered with time, and it is now widely acknowledged that the voices of women should be heard or sought, women are still 'doing archaeology' rather talking about how to do it: therefore the enduring significance of the papers by Barbara Bender and Janet Spector paper is overlooked.

References

Bender B. 1978. Gatherer-Hunter to farmer: a social perspective // World Archaeology vol. 10. № 2.

Englestad E. 2001. Gender, feminism, and sexuality in archaeological studies // International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Science: Amsterdam-Paris-New York-Oxford-Shannon-Singapore-Tokyo.

Faris J. C. 1975. Social evolution, population and production, in (ed.) Polgar S., Population, Ecology, and Social Evolution. Mouton.

Hodder J. 1982. The Present Past. An Introduction to Anthropology for Archaeologist. London.

Godelier M. 1974. Un domaine conteste, l'antropologie economique. Paris.

Godelier M. 1977. Perspective in Marxist antropology // Cambrige studies in social anthropology. Vol.18. Cambridge.

Janik L. and Zawadzka H. 1998. Gender politics in Polish archaeology, in (eds) Diaz-Andreu M. and Sorensen M. L. S. Excavating Women. London, New York.

Joyce R. 2002. The Languages of Archaeology: Dialogue, Narrative, and Writing. Oxford.

Levi-Strauss C. 1955. Tristes Tropiques. London: Pinquin.

Meillassoux C. 1960. Essai d'interpretation du phenomene economique dans les societies traditionnelles d'auto-subsistence. Cahiers d'Etudes Africains. 4.

Meillassoux C. 1972. From reproduction to production, Economy and Society. 1.

Salins M. 1972. Stone Age Economics. London.

Smith L. 1995. Cultural heritage management and feminist expression in Australian archaeology // Norwegian Archaeological Review. Vol. 25. № 1.

Spector J. D. 1991. What this awl means: toward a feminist archaeology, in Gero J. and Conkey M., Engendering Archaeology: Women and Prehistory. Oxford.



ВРЕМЯ И КУЛЬТУРА

TIME AND CULTURE

T. Murray[1]

ARCHBISHOP USSHER AND ARCHAEOLOGICAL TIME

T. Мюррей. Архиепископ Ашер и археологическое время

Согласно хронологии архиепископа Ашера, в 1996 г. должно было миновать 6000 лет с момента сотворения земли. Откликаясь с некоторым опозданием на это событие, я в данной статье размышляю о современных спорах среди археологов о природе и значении археологического времени. Поскольку вопросы, связанные с временем и хронологией, невозможно рассматривать не рассмотрев при этом основные элементы археологической эпистемологии и онтологии, я затрону также и эти предметы.

Историки археологии подробно описали падение хронологии Ашера в 19 в. и приход ей на смену системы трех веков и идеи о большой древности человечества. Обычно признается, что эти новые рамки для хронологии и для восприятия масштаба человеческой истории имели фундаментальное значение для успешного создания первобытной археологии. В этой общераспространенной истории о триумфе науки над суеверием есть большая доля правды, но много в ней и вздора. Археологи постоянно создавали новые системы для упорядочивания времени, а в течение последнего столетия они создали также и абсолютно новые методы для его измерения, но их подход к пониманию времени до самой последней поры почти не претерпевал изменений. Лишь с появлением исследований Бэйли, получивших впоследствии развитие в работах Мюррэя, Шэнкса и Тилли, Баррета, Госдена, Томаса, а в самые последние годы Макглэйда и Оливьера, были сделаны первые шаги к изучению природы времени в археологии вне прямой связи с хронологией. При этом намечаются расхождения во взглядах разных исследователей, повторяющие расхождения в других областях археологической теории и практики. В этой статье я характеризую некоторые из этих расхождений и размышляю о тех последствиях, которые они могут иметь для нашего понимания природы и целей археологии.

Introduction

According to the chronology developed by Archbishop Ussher, October 1996 marked the 6,000th anniversary of the creation of the earth. In a somewhat tardy recognition of this event I will briefly reflect on some contemporary debates among archaeologists about the nature and significance of archaeological time. As it is impossible to consider issues of chronology or temporality without also considering central elements of archaeological epistemology and ontology, I will make some observations on these matters as well.

James Ussher and Chronology

James Ussher (1581–1656) lived a life full of learning and political controversy. Indeed he felt that the purpose of his prodigious knowledge was to examine the value of ideas — either ecclesiastical or secular — in terms of their history. He, like William Camden, Sir Robert Bruce Cotton and other British antiquaries of the time, were quite well aware of the political consequences of history and antiquarian study, not the least of which was the closure of the Society of Antiquaries of London by James I (see Piggott 1976; Trigger 1989:47–48). Ussher clashed with both Charles

[1] La Trobe University, Bundoora, Australia.

I and Cromwell, fought constant battles within the Irish Church, and was frequently engaged in learned disputation with purveyors of Popery (once doing so for 3 days, after which his opponent retired from the field, presumably a shattered man). He saw his colleagues and his King go to the executioners block and, while he sought fame and influence, he did not hesitate to use history to critique what he considered to be abuses in the present. The Dictionary of National Biography summed him up in straightforward terms: «His Augustinian theology commended him to the puritans, his veneration for antiquity to the high churchmen; no royalist surpassed him in his deference to the divine right of kings. All parties had confidence in his character, and marveled at his learning» (70).

James Ussher's life and work provides one of the best examples of the link between arcane historical knowledge and the society which both sustains and frequently threatens its production. Although we are slowly becoming more accustomed to appreciating the tremendous gifts made to archaeology by workers such as Lubbock, Falconer, Childe or Grahame Clark (and somewhat better informed about their shortcomings), archaeologists by and large know little about Ussher, beyond the fact that he was responsible for the 4004 chronology which was to be found in the margins of that most authoritative of all texts, the King James Bible.

Historians of archaeology (the most prolific and influential being Trigger) have devoted little space to the discussion of the chronology (eg. Trigger 1989:31), but Grayson (1983:27–42) and Van Riper (1993:2–14) have done more to set Ussher in his context. Stephen Gould's (1988: 21–59) study of Thomas Burnet, particularly of The Sacred Theory of the Earth (1684), helps us to begin to appreciate the scale of Ussher's (1658) achievement in bringing order to history and authority to the present. By far the best discussion of Ussher is found in Parry (1995) where he is most clearly set in the context of 17th century British antiquarianism. Notwithstanding this, and life published by Elrington (1848) last century, there is still no full-scale modern study. Parry's elegant consideration can be expanded by reference to the Dictionary of National Biography, and Brice (1982). A more nuanced understanding of the relationship between chronology and the history of geology can be fleshed-out by reference to standard works such as Albritton (1980), Berry (1987), the papers in Barnes and Shapin (1979), Jordanova and Porter (1979), and Lindberg and Numbers (1986).

In focusing only on the Biblical chronology and giving scant consideration the rest of Ussher's work, the reasons for the chronology and the manner of its construction and elaboration have largely been overlooked by historians of archaeology. Ussher's interest in chronology first bore fruit at the age of 16, but it was always pursued as part of a broader inquiry into the history of the Church in Ireland and England, and as a basis for vindicating the purity of Anglican doctrine, by demonstrating its antiquity. Indeed, from 1623 he was encouraged in this research by James I who gave him indefinite leave of absence from his Irish duties to study the antiquities of the English Church. Ussher's chronology was not the product of fancy but of deep learning which had very clear political implications. Furthermore, Ussher and his friends, Camden and Sir Robert Bruce Cotton, understood that the primary focus of antiquarian learning had to be in the production of history and with it a validation of identity.

Ussher's chronology, which was rightly considered to be a marvel of the age, was authoritative for two reasons. First, it was the product of a great scholar steeped in the original sources. Second, it provided a sense of chronological relationship between peoples and between peoples and the great events of human history. Thus, the real importance of the chronology was not so much the amount of time involved in it (although that would become a crucial justification for its demise in the 19th century), but in the historical relations it described and validated. Ussher's chronology (which was based exclusively on literary sources) thus allowed for a rational connection to be

established between past and present which also had room for the dictates of revealed religion. This was quite a different task to that undertaken by other antiquaries, or indeed by Ussher himself in other writings, which tended to focus on writing local or national histories built up from monuments, items of material culture and literary sources.

Archaeologists, Chronology, and Time

Historians of archaeology have described in detail the downfall of the Ussherian chronology in the 19th century and its replacement by the Three Age System and a notion of high human antiquity (Graslund 1987; Grayson 1983; Levine 1986; Trigger 1989). It is generally agreed that these new frameworks for ordering chronology and for perceiving the scale of human history were fundamental to the successful creation of prehistoric archaeology as a field of study. There is a great deal of truth in this conventional tale of the triumph of science over superstition, but there is a lot of nonsense as well. Archaeologists have developed new systems for ordering time, and over the last century, they have developed radically new techniques for measuring time as well (see eg Albritton 1980; Berry 1987; Burchfield 1990) but until recently they have scarcely changed their frameworks for understanding time (see Murray 1987, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001).

Beginning with the work of Bailey (1981,1983) and subsequently developed by Murray (1987, 1993, 1997), Shanks and Tilley (1987), Barrett (1994), Gosden (1994), Thomas (1996a, 1996b) and most recently by McGlade (1999) and Olivier (1995, 1999, 2001) archaeologists have taken the first tentative steps towards exploring the nature of time in archaeology beyond a consideration of chronology. Significantly, cleavages in outlook which mirror those found in other aspects of archaeological theory and practice have begun to emerge.

In the following sections I will describe some of those cleavages and reflect on some of their implications for our understanding of the nature and purpose of archaeology. Although there have always been disputes about chronology in archaeology, even in Ussher's time, there are significant differences between disputes about chronology and the discussions of time and temporality which have surfaced since the late 1980s.

Historians and archaeologists have long understood that matters of temporality are crucial for the construction of history, particularly in terms of questions of origin, the nature of change and variation, the building of trajectories, and in promoting discussions of the tempo of human history. In this essay I do not argue that these traditional concerns have been replaced by new construals of the significance of time in archaeology. However, having said this, I will seek to demonstrate that a reconsideration of the fundamental issues raised by an exploration of the nature of archaeological time should change the ways in which these concerns will play out in the future. Perhaps the clearest example of this change in fortunes is the link which is now being made between the existence of different conceptions of time in archaeology and the development of divergent accounts of archaeological ontology and epistemology.

This development reflects a broadening of perspective which stems from two sources of inspiration. The first of these has its roots in postmodernism, the archaeological versions of which (generally referred to as postprocessual archaeology) have drawn on an eclectic mix of sociology and social philosophy, hermeneutical perspectives generally associated with the Frankfurt School, material culture theories, and most recently an attempted application of the philosophical project of Heidegger to archaeology.

The second, which continues a long-standing tension in archaeology between natural science and social theory, stems from an improving understanding of the complex nature of archaeological records both in terms of their formation as well as in their interpretation. This second source is most closely associated with the work of Michael Schiffer and Lewis Binford (particularly the

fallout from the 'Pompeii premise' debate) (Binford 1981) and the extensions which have been made on this by Bailey (1983) and others that have often gone under the rubric of 'time perspectivism'.

It is customary to discuss these differences in perspective as presenting an either/or choice for archaeologists, for example whether or not to follow the notion that the nature of archaeological records as phenomena is only of minor importance when seeking to interpret those records in terms which accord closely with the form and substance of contemporary social theory. In this essay I specifically reject this view, arguing instead that interpretations of archaeological records must not be seen as separate from the nature of the phenomena which make up those records. Or, to put it another way, no set of archaeological phenomena is totally constructed by the theories or perspectives which are the foundations of its description and/or interpretation. I will seek to justify this view by focusing on both ontological and epistemological considerations; however, before doing so I will describe the two divergent positions in greater detail.

Some time stories in contemporary archaeology

Archaeologists should be at the forefront of any discussion about time and humanity. They are not, a fact which has been observed by archaeologists who hold very different views about the nature of archaeological theory (see eg Barrett 1994; Bailey 1981, 1983, 1987, 1997; Murray 1987, 1993, 1995, 1997, 1999; Shanks and Tilley 1987). All have noted that archaeologists have substituted an obsession with chronology for thinking about time and history, an obsession which attained a particularly bizarre form during the early phases of the new archaeology when a positivist science of universals was directly (and naively) contrasted with the 'particularities' of history (see eg Dymond 1974; Trigger 1968). During the last fifteen years alternative images of history in archaeology have been advanced, particularly that of 'total' history which has been linked (in the archaeological literature at least) with the notion of scale and the 'long term' (see eg Hodder 1987; Knapp 1992).There has also been a very useful consideration of the role of narrative and of the need to consider temporality (the notion of the 'lived' time of the actors) based on the work of Ricoeur (1984) and others (see eg Barrett 1994). Much of this discussion of temporality has also focused on the notion of cultural and social landscapes exhibiting a multiplicity of temporalities and on the idea that these must also be considered if one is to understand social action in the past.

This focus on temporality and its links to history has also been marked by an increased interest in the philosophy of history, particularly in the works of Collingwood and Hayden White (see eg Hodder 1991a). and an increased opposition to the perceived dominance of the 'science time' of chronology in the archaeological imagination. Time in this reading is much more complex and interesting than simply acting as a unit of measurement — it is perhaps the central feature of human existence. This opposition takes its most straightforward form in one of Shanks and Tilley's aphorisms:

4.1 There is no singular time, but temporalities. Time is related to social practice. It is part of the social construction of reality. As with space, it does not simply form a container for action but is a medium giving form to action and establishing action as meaningful. Different structures of temporality are implicated in different practices (1987:211).

In this reading time is a social and cultural construct, not some abstraction which can be used to unproblematically order behaviours, or to play a key role in describing the ontology of archaeological records. This focus on exploring the 'social time' of past lives is now being developed to enhance the traditional reconstructivist goals of archaeology. This approach has prompted useful re-evaluations of the archaeology of landscape and of ritual (see especially Barrett 1994; Mizoguchi

1993), and has supported attacks made on the conventional assumption that no social archaeology of the long-term is possible (see especially Shanks and Tilley 1987, Chapter 5).

Other advocates of this view have tended to reinforce the separation of 'science time' and 'social time' by stressing the view that the detailed analysis of archaeological records as phenomena is of secondary importance to the consideration of the material culture which in part comprises those records. For archaeologists such as Thomas (1996a, 1996b), developing an interpretation of the interactions between people and material culture is the goal of archaeology, a goal which can be readily achieved through the re-constitution of the past within the present, both through acts of empathy (in the style of Collingwood), and through more the conventional means of ethnographic analogy. Significantly much of this developing focus on 'social time' reflects the influence of contemporary social theory and it should in essence be considered as an attempt by archaeologists to reposition the goals of social archaeology to more closely accord with that theory.

It is significant to note that the advocates of a deep engagement with 'social time' have shown little interest in the implications of changing perspectives on 'science time'. Indeed, the two positions on time have been seen to be almost mutually exclusive. But, notwithstanding the interest attaching to notions of temporality and of 'social time', it is apparent that the divide between 'science time' and 'social time' is not nearly as sharp as Shanks and Tilley or Thomas require. The most obvious objection to a sharp separation is that the phenomena accepted as being the objects of analysis by social archaeologists are first constructed as a time series using theoretical perspectives which need not necessarily have anything in common with the perspectives that foster the interpretation of those phenomena. Moving from this mundane point that chronology orders the phenomena that are the subject of interpretation, we also find that 'science time' is much more than simple chronology, in that it also establishes the minimum units for the description and comparison of phenomena which together constitute that which is to be interpreted or explained, again no matter the theoretical perspective adopted at this stage.

The usefulness of the distinction is further called into question when we consider that all time stories can be more readily affected by 'science time' than by different views of 'social time'. A paradigmatic example of this impact is provided by the upheavals which have followed the introduction of radiometric dating to the European Neolithic and Bronze Age (see eg Renfrew 1973). Another more recent example is the practice of 'chronometric hygiene' (see eg Spriggs and Anderson 1993), which has a demonstrated potential to fundamentally alter the ways in which archaeological phenomena constituted by radiometric dating can be 're-read'.

Notwithstanding these fairly basic qualifications, the argument that doing social archaeology, and enhancing an archaeological contribution to social theory, requires us to focus our interpretive efforts on constructing and theorising 'social time' has gained currency among practitioners. Of particular interest is the idea that archaeologists might begin to approach a social archaeology of the long-term, which was previously seen as being the preserve of 'science time'. But separating 'science time' from 'social time' does not of itself provide a framework within which archaeologists might go about writing history. Indeed, such a separation is artificial and can make the goal of achieving a social archaeology of the long-term more, rather than less, difficult to achieve.

The artificiality of this separation is partially exemplified by the goal of seeking ever-finer scales of chronological resolution through the development of dating systems, or the refinement of data recovery technologies. Archaeological science has been a constant source of inspiration in this area as new sources of data are created not just by asking different questions but also by developing technologies which allow us to find answers among previously unprospected remains. The same kind of benefits can also flow from a serious engagement with methodologies of data recording and analysis, especially in the field of distributional archaeology (see Ebert 1992;

Rossignol and Wandsnider 1992). Although distributional archaeology remains more a method than the basis of a theorised social archaeology which moves us beyond the basics of cultural ecology, the methods that have been developed to establish chronology in difficult archaeological contexts (such as open sites) merit serious attention. Such approaches might avoid the essential circularity of the opposition of 'science time' and 'social time', but to do this they have to avoid the trap of equating time with chronology.

The other reason why such a theoretical separation between 'science time' and 'social time' will do more harm than good stems from an inconsistency within the 'social' approach as it currently stands. One of the most problematic aspects of conceptually equating time with chronology is that this marginalises significant discussions about the links between history as prehistoric archaeologists might seek to write it, and issues of disciplinary epistemology. If we accept the epistemological position of 'mitigated objectivism' (Wylie 1992), as both Hodder and Shanks and Tilley have, then the notion that all archaeological data are subjective must be ruled as inadmissible. From this flows, quite properly, the notion that concepts of time are crucial to discussions of process, causality, and identity. Thus, framing interpretation around the 'time of the actors' is always contingent on the fact that 'science time' both constructs phenomena and helps us establish the validity of interpretations. Therefore the empirical character of archaeological records is entirely consequential for both the development and assessment of knowledge claims made by archaeologists, notwithstanding the capitalist roots of 'science time' (Squair 1994). I shall return to this issue below.

Over the same period other archaeologists have sought the basis of an archaeology which addresses both concerns, but does so in way which embraces the idea that the empirical phenomena of archaeology can and should constrain interpretation (see eg Bailey 1981, 1983, 1987, 1997; Murray 1987, 1995, 1997, 1999, 2001). In the context of this search the differences between archaeology and palaeobiology are thought to be instructive, because archaeology is characterised by the persistence of core concepts of time and history, while in palaeobiology there has been fundamental change in its modus vivendi over the same period (see eg Behrensmeyer and Schindel 1983; Eldredge and Gould 1972; Gingerich 1982). But is this persistence the product of few changes, or have the changes been great but has disciplinary inertia at the conceptual level been a more powerful force?

Advocates of these alternative approaches to temporality (and they are so diverse in their interests and emphases that it is inaccurate to refer to them as a school of thought) have focused on a congeries of changes in our understanding of the nature of archaeological phenomena. All agree that archaeological phenomena can no longer be considered as being the subject of commonsense understandings — they are complex phenomena which are the product of both natural and cultural formation processes (see eg Schiffer 1987; Stern 1993,1994). There is a high level of disagreement among archaeologists about whether this effectively means that archaeological records are unintelligible in conventional anthropological terms, and about whether entropy makes reconstructions of the past that can be evaluated in empirical as well as theoretical terms at the levels required by social archaeology, simply impossible to achieve (see eg Binford 1981; Murray 1987, 1999, 2001; Schiffer 1985).

Equally contested is the question of whether the 'behaviours' that have been the traditional focus of anthropological archaeology have any empirical (as distinct from theoretical) content. Further, it is an open question as to whether the data we seek to understand are simply palimpsests of many 'behaviours' occurring within the envelope of archaeologically observable time, that emit a signal which is superficially intelligible to us, but which might (because it is a time-averaged composite) have little if anything to do with the specific 'behaviours' of the actors. None of these

issues, which go right to the heart of the ontology of archaeological records and thus are highly consequential for the building of archaeological theory, is even close to resolution. Therefore, a diversity of views arise when archaeologists seriously consider the power of empirical data to constrain interpretation and, through inductive strategies, to be an active principle in the development of alternative frameworks of interpretation (see eg Murray 2001).

Behavioural palimpsests are the creation of both the formation processes of archaeological records and of our capacity to measure time. These phenomena, created by 'science time', may well not exist in the contemporary world, nor is it likely that they would have been apparent at the scale of the 'time of the actors'. While 'social time' might be theorised in terms which do not differ greatly from the conventions of total history, radiometric time would now seem to pose very difficult problems regarding the constitution of process, temporality and causation in archaeology. Bailey has usefully summarised aspects of this issue:

Above all, new dating methods have demonstrated that human cultural history extends over a timespan of at least two million years. This poses in a new way the issue of how we are to make use of knowledge of the past, what questions we should ask of it, and whether by archaeological investigations of human activities over this timespan, we can learn something new about human nature not available from other sources (1983:165).

Most discussion of archaeological time undertaken by archaeologists interested in linking 'science time' and 'social time' has tended to focus on the possibility (or the lack of it) of providing links between macroscale and microscale temporal frameworks — Bailey's 'time perspectivism' (see eg Fletcher 1992). These discussions have tended to follow Bailey's original formulation and the original focus on developing an archaeological account of uniformitarianism:

(a) that there are essentially only two scales of behaviour — long-term and short-term; (b) that long-term processes are dominated by environmental and biological interactions, by relationships between genetics, demography, and economic exploitation of the natural environment, whereas short-term processes are dominated by social and psychological processes, by social rules and relationships and individual goals and motivations; (c) that behaviour at these different scales requires different sorts of explanations expressing varying degrees of proximate and ultimate causation and varying emphasis on historical (in terms of the past), functional (in terms of the present), or teleological (in terms of the future) causes (1983:180).

Twenty years later thoroughly-worked studies incorporating this approach are still few. But real questions arise about whether this focus on long and short time scales adequately captures the complex reading of temporality which has sprung from the 'science time' of radiometric dating. These questions hark back to problems of palimpsest but stem from a related concept, that of the minimum chronological unit (or minimum archaeological stratigraphic unit) (see Murray 1997; Stern 1994).

This concept arises from a consideration of the link between the resolving powers of archaeological records (ie. the minimum analysable unit of time expressed in any record) and the constitution of observable archaeological phenomena. On the one hand it allows us to describe the structural properties of archaeological records as phenomena (which should properly become the objects of analysis), on the other it permits us to investigate the ways in which such properties constrain interpretation. In this reading the distinctiveness of archaeological records as records of human action is seen as something with which interpretation has to directly engage rather than (as is traditional) simply explain away. Again, the implications of these viewpoints for theory building and for the development of our understanding of how archaeologists might write history, have only been vaguely described. Nonetheless we should recognise that lying within these alternative readings of disciplinary ontology lie the bases of new forms of association between archaeology and other disciplines.

I have already mentioned the link between concepts of time (be they either 'science time' or 'social time') and the description of archaeological ontology. I have also sketched the links between time in ontology and time in epistemology, particularly in the sense that an understanding of the nature of archaeological phenomena should play a significant role in how we assess claims to knowledge of the past. At the same time I have been outlining a case for history and process, and identifying points of cleavage between archaeologists about the forms history-writing done by archaeologists should take. Given the wide variety of records routinely investigated by archaeologists (from the long-term of the Palaeolithic to the microscale of the 19th century) it is entirely proper that such points of cleavage should exist. The idea that a single overarching explanatory or interpretative scheme should operate in archaeology is as outmoded as the positivist account of science we have been struggling to overcome since the 1960s. But there are other elements which are helping to define the framework within which archaeologists might write history.

In recent years, particularly with the rising popularity of non-linear modelling and what is popularly known as 'chaos theory', archaeologists have begun to re-examine the nature of causality in ways which dramatically affect the kinds of histories we might seek to write. These are complex issues which can only be skated around in the present context (but see the papers in Van der Leeuw and McGlade 1996; McGlade 1999; Murray 1997, 1999); however, it is possible to extract from all the jargon of 'self-organised criticalities', fractals, bottlenecks, and entropic systems, a rising sense of convergence in the analysis of complex natural and cultural systems. Whereas positivist science insisted upon a model of universals as the exemplar of science (usually mathematics or physics), the science of non-linear dynamics explicitly recognises that all systems (natural and cultural) are historical, given that time is irreversible and precise reconstruction of the past impossible.

This factor of convergence has many interesting implications for history-writing by archaeologists, especially in the very vexed area of causality. Classic Humean linear systems of causality, where causal pathways can be unambiguously described, have never been particularly kind to disciplines like archaeology where causation is extraordinarily complex and where very few unambiguous traces survive. This is especially true of the history of systems which evolve horizontally rather than vertically, in the sense that there is no simple linear trajectory from simple to complex (see Roth and Ryckman 1995; Shermer 1995). Just how archaeologists are to work their way towards a more diverse account of causality, and the impacts this will have on our understanding of core issues of process and identity is still a very open question, but it seems to me that it is a development we should be positive about. It is, perhaps, a sign of the times that theoretical archaeology has at long last sought to peek beneath the veil of chronological conventionalism and to actively engage with time (see eg McGlade 1999; Olivier 1995, 1999).

Interpretation, Imagination and Making Choices

Although we all understand that discussions about time in any discipline are inevitably complex, recent archaeological perspectives tend to divide quite neatly in terms of the significance which is granted to the empirical structure of archaeological records as the primary means by which we assess the validity and usefulness of knowledge being claimed about the past. For time perspectivists such as Bailey, time and the issue of time-scale essentially structure the phenomena we as archaeologists observe, and in doing so, are fundamental to the formulation of archaeological questions, and to the definition of archaeological goals. The temporal structures of archaeological records thus play a significant role in describing the ontology of archaeological records. The differences between the structural properties of archaeological records and those of other records

of human action (those stemming from written documents, participant observation, and statements made by informants), differences which are still being described and explored, have led to claims that the archaeological records are ontologically singular records of human action (Murray 1993, 1997).

By contrast Shanks and Tilley, and those who have followed what is loosely called post processual archaeology, accept the theoretical significance of time but see it as being dependent (rather than independent) of the perspectives of the people who created the material remains which survive into the present, or who had to live with monuments (such as Stonehenge) and other evidence of actions that provided structure to cultural or social landscapes (see eg Ashmore and Knapp 1999; Gosden and Head 1994; Tilley 1994). But can (or should) the empirical character of archaeological records (including those dimensions created by a consideration of 'science time') constrain interpretations of prehistoric social life (see eg Murray 2001)?

In some circles, especially in the early days of postprocessual archaeology, there was an assumption that relativism would mean the end of objective archaeological knowledge and that the only bases for choosing between competing knowledge claims about the past would be via coercion, cultural or political prejudice, trickery, or ignorance. Wylie (1992) very usefully outlined the ongoing process of convergence between opposing 'processual' and 'postprocessual' views about the nature of archaeological epistemology to a position she describes as 'mitigated objectivism'. In this account the cultural properties of science are recognised, the theory-ladeness of observation accepted, but the power of archaeological observables (ie. empirical data) to constrain interpretation is acknowledged. In a sense there is a natural tension which exists in any science between our expectations as scientists (which clearly have a high 'cultural' component), and our ability to interrogate data and to 'hear' the answers to our questions.

It seems clear enough that postpositivist science should be built around an understanding of how this tension plays itself out, and on critical reflection about the plausibility of research programs and the answers they give us. Wylie and others (see eg Hodder 1991b; Renfrew 1989; Murray 2001) have argued that this notion of relativity gives no support to a notion of 'anything goes' in interpretation. Indeed, paying much closer attention to the mechanics of archaeological epistemology through the analysis of why arguments are or are not plausible makes arguments of all kinds (whatever their source) more transparent. Thus, they have to work a great deal harder to establish the clarity and force of their links to the empirical phenomena which are the subject of archaeological analysis.

However, the current state of discussion about time in archaeology has still some way to go before the union of 'science time' and 'social time' within a complex process of interpretation (which surely must be the primary consequence of constraint) can be effected. Part of this has to do with the fact that the discussions (right across the board) are still rudimentary and unsophisticated. But the most important reason stems from the cultural traditions of archaeology itself, traditions which place dramatically different constraints on archaeological knowledge than those which stem from the structural properties of archaeological records as empirical phenomena. It is clear that an integrated understanding of time in archaeology will require an intensive re-engagement with the history, philosophy and sociology of archaeology.

In recent years it has become more common for archaeologists to explore the socio-political aspects of the production and consumption of archaeological knowledge. New histories of archaeology are appearing which gain much of their focus from a concern with establishing the 'presentness' of pasts, as they have been reconstructed by archaeologists or by antiquarians. There is a great deal to be said for continuing to pursue these explorations, especially when they are undertaken by archaeologists for the purpose of enhancing our understanding of the disciplinary

culture of archaeology. Such an understanding should have considerable impact on the way we form our views about the nature and purpose of our discipline and be a vital force in shaping and re-shaping the ways we respond to the challenge of making meanings about archaeological places and things.

Another reason for exploring the social and cultural contexts of archaeological knowledge is to better understand the processes whereby views of the past held by archaeologists and antiquarians have shaped broader social and political concepts and categories, and in so doing have influenced society as well as having been influenced by it. These complex interactions (which emphasise that scientific knowledge is cultural) make it essential that we identify and scrutinise the sources of authority claimed both by practitioners in their dealings with society and by members of society when they are dealing with each other.

Concluding remarks

There can be no doubt that the context within which archaeologists discuss temporality and chronology is far different from that which prevailed barely 30 years ago, let alone in the heyday of English antiquarianism when Ussher produced his now discredited chronology. It also seems clear enough that we are still quite a way from developing an understanding of temporality in contemporary archaeology, given the fact that discussion of time stories is still a relatively recent phenomenon in our archaeology. It takes no great leap of consciousness to appreciate that there is a great deal at stake in these discussions — both in terms of the nature of our discipline vis a vis other disciplines concerned with the analysis of human affairs, and in terms of the interests of the wide variety of publics who consume our product. At the very least discussions of temporality directly impact on our understanding of history and of identity, and Ussher would have had no trouble understanding the social and political implications of changing the focus of a discipline and the expectations of its public.

Acknowledgments

Peter Hiscock, Chris Chippindale, Wil Roebroeks and Laurent Olivier offered constructive criticism of an earlier version of this paper. Nicola Stern and Josara de Lange assisted with a subsequent version. Once again I have profited from talking about archaeological time with Geoff Bailey, a conversation which has been going on since 1981. Parts of this paper was written while I was a guest of the Institut L'Art et L'Archeologie, Université de Paris 1. I thank Alain Schnapp for arranging this visit, and Anick Coudart and Sander van der Leeuw for their valuable assistance and advice during my stay.

References

Albritton C.C. Jr. 1980. The Abyss of Time: Changing Conceptions of the Earth's Antiquity Since the Sixteenth Century. San Francisco.

Ashmore W. and B. Knapp 1999. Archaeological landscapes: constructed, conceptualized, ideational // Archaeologies of landscape: contemporary perspectives. Oxford.

Bailey G. 1981. Concepts, time-scales and explanations in economic prehistory // Economic Archaeology. Oxford.

Bailey G. 1983. Concepts of time in quaternary prehistory // Annual Reviews of Anthropology. Vol. 12.

Bailey G. 1987. Breaking the time barrier // Archaeological Review from Cambridge. Vol. 6: 5–21.

Bailey G. (ed.). 1997. Klithi : Palaeolithic settlement and Quaternary landscapes in northwest Greece. Cambridge.

Barnes B. and S. Shapin (eds.). 1979. Natural Order: Historical Studies of Scientific Culture. London.

Barrett J.C. 1994. Fragments from Antiquity. Oxford.

Behrensmeyer A.K. and D. Schindel. 1983. Resolving time in paleobiology // Paleobiology. Vol. 9: 1–8.

Berry W.B.N. 1987. The Growth of a Prehistoric Timescale, 2nd edition. Oxford.

Binford L.R. 1981. Behavioral Archaeology and the 'Pompeii Premise' // Journal of Anthropological Research. Vol. 37: 195–208.

Burchfield J.D. 1990. Lord Kelvin and the Age of the Earth. 2nd edition. Chicago.

Brice W.R. 1982. Bishop Ussher, John Lightfoot and the Age of Creation // Journal of Geological Education. Vol. 30.

Burnet T. 1684. The sacred theory of the earth: containing an account of the original of the earth, and of all the general changes which it hath already undergone, or is to undergo, till the consumation of all things. The first two books concerning the Deluge and concerning Paradise. London.

Dictionary of National Biography. 1965. James Ussher 1581–1656. Oxford.

Dymond D.P. 1974. Archaeology and History: A Plea for Reconciliation. London.

Ebert J.I. 1992. Distributional Archaeology. Albuquerque.

Eldredge N. and S.J. Gould. 1972. Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism // Models in Paleobiology. San Francisco.

Elrington C.R. 1848. The life of the Most Rev. James Ussher, D.D., Lord Archbishop of Armagh, and primate of all Ireland. With an account of his writings. Dublin.

Fletcher R.J. 1992. Time perspectivism, Annales and the potential of archaeology // Archaeology, Annales, and Ethnohistory. Cambridge University Press: Cambridge.

Gingerich P. 1982. Time resolution in mammalian evolution: sampling, lineages and faunal turnover. Proceedings of the 3rd North American Paleontological Convention. Vol. 1.

Gosden C. 1994. Social Being and Time. Oxford.

Gosden C. and Head L. 1994. Landscape — a usefully ambiguous concept. Archaeology in Oceania 29: 113–116.

Gould S.J. 1988. Time's Arrow, Time's Cycle. Harmondsworth.

Gräslund Bo. 1987. The birth of prehistoric chronology : dating methods and dating systems in nineteenth-century Scandinavian archaeology. Cambridge.

Grayson D. 1983. The establishment of Human Antiquity. New York.

Hodder I. 1991a. Reading the Past, second edition. Cambridge.

1991b Interpretive archaeology and its role. American Antiquity. Vol.56. № 1.

Hodder I. (ed.) 1987. Archaeology as Long-Term History. Cambridge.

Jordanova, L. and R. Porter (eds) 1979. Images of the Earth. British Society for the History of Science: Chalfont St Giles.

Knapp B. (ed.) 1992. Archaeology, Annales, and Ethnohistory. Cambridge.

Levine P. 1986. The amateur and the professional antiquarians, historians, and archaeologists in Victorian England, 1838–1886. Cambridge.

Lindberg D.C. and R.L. Numbers. 1986. God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science. Berkeley.

McGlade J. 1999. The Times of History // Time and archaeology. London.

Mizoguchi K. 1993. Time in the reproduction of mortuary practices // World Archaeology. Vol. 25. № 2.

Murray T. 1987. Remembrances of Things Present: Appeals to Authority in the History and Philosophy of Archaeology. Unpublished PhD Dissertation, Department of Anthropology, University of Sydney.

Murray T. 1993. Archaeology and the threat of the past: Sir Henry Rider Haggard and the acquisition of time // World Archaeology. Vol. 25. № 2.

Murray T. 1995. Gordon Childe, archaeological records, and rethinking the archaeologist's project // Childe and Australia. St. Lucia.

Murray T. 1997. Dynamic modelling and new social theory of the mid-to-long term // Time, Process, and Structural Transformation. London.

Murray T. 1999. A return to the 'Pompeii premise' // Time and archaeology. London.

Murray T. 2001. On 'normalizing' the Palaeolithic: An orthodoxy questioned // Studying Human Origins. Disciplinary history and epistemology. Amsterdam.

Olivier L. 1995. The shapes of time: an archaeology of funerary assemblages in the West Hallstatt province. Unpublished PhD dissertation, University of Cambridge.

Olivier L. 1999. The Hochdorf 'princely' grave and the question of the nature of archaeological funerary assemblages // Time and Archaeology. Cambridge.

Olivier L. 2001. The archaeology of the contemporary past // Archaeologies of the contemporary past. London.

Parry G. 1995. The trophies of time : English antiquarians of the seventeenth century. Oxford.

Piggott S. 1976. Ruins in a Landscape: Essays in Antiquarianism. Edinburgh.

Renfrew C. 1973. Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe. Harmondsworth.

Renfrew C. 1989. Comments on «Archaeology into the 1990s» // Norwegian Archaeological Review. Vol. 22. № 1.

Ricoeur P. 1984. Time and Narrative. Chicago.

Rossignol J. and L. Wandsnider (eds.). 1992. Space, Time, and Archaeological Landscapes. New York.

Roth P. A. and T.A. Ryckman. 1995. Chaos, Klio and scientistic illusions of understanding // History and Theory. Vol. 34: 30–44.

Schiffer M.B. 1985. Is there a 'Pompeii Premise' in archaeology? // Journal of Anthropological Research. Vol. 41: 18–41.

Schiffer M.B. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record. New York.

Shanks M. and C. Tilley. 1987. Social Theory and Archaeology. Cambridge.

Shermer M. 1995. Exorcising Laplace's demon: chaos and antichaos, history and metahistory // History and Theory. Vol. 34: 59–81.

Stern N. 1993. The Structure of the Lower Pleistocene Archaeological Record // Current Anthropology. Vol. 34. № 3.

Stern N. 1994. The implications of time-averaging for reconstructing the land-use patterns of early tool-using hominids // Journal of Human Evolution. Vol. 27: 89–105.

Spriggs M. and A. Anderson. 1993. Late Colonisation of East Polynesia // Antiquity. Vol. 67: 200–217.

Squair R. 1994. Time and the privilege of retrospect // Archaeological Theory: Progress or posture? Aldershot.

Thomas J. 1996a. Time, Culture and Identity. London.

Thomas J. 1996b. A precis of Time, Culture and Identity. Archaeological Dialogues. Vol. 3. № 1.

Tilley C. 1994. A phenomenology of landscape: places, paths and monuments. Oxford.

Trigger B.G. 1989. A History of Archaeological Thought. Cambridge.

Ussher J. 1658. The annals of the world. Deduced from the origin of time, and continued to the beginning of the Emperor Vespasian's reign, and the totall destruction and abolition of the temple and common-wealth of the Jews. London.

Van der Leeuw S. and J. McGlade (eds.). 1996. Time, Process, and Structural Transformation. London.

Van Riper A. B. 1993. Men among the Mammoths. Chicago.

Wylie A. 1992. On 'Heavily Decomposing Red Herrings': Scientific Method in Archaeology and the Ladening of Evidence with Theory // Metaarchaeology. Reflections by Archaeologists and Philosophers. Dordrecht.

S. Shennan[1]

NEO-CULTURE HISTORY: THE EVOLUTIONARY ARCHAEOLOGY OF CULTURAL TRADITIONS

С. Шеннан. Нео-культурная история: эволюционная археология культурных традиций

Статья представляет собой попытку возродить в англо-американской археологии традицию культурной истории в новой форме, на основе дарвиновскх принципов наследования, мутирования, отбора и дрейфа. Этот подход выходит за рамки упрощенного культурного эссенциализма традиционной культурной истории с ее миграционистскими и диффузионистскими объяснениями. Отправной точкой дарвиновской культурной истории является идентификация гомологичных культурных линиджей, традиций, соединенных исторической преемственностью. Идентифицировав эти традиции, мы можем начать исследовать процесс, приводящий к их изменению. Линиджи, относящиеся к разным аспектам материальной культуры, могут передаваться от поколения к поколению по отдельности или как части более крупных поведенческих комплексов, и это необходимо исследовать. В этом контексте можно также поставить вопрос о том, соответствуют ли линиджи материальной культуры лингвистическим и генетическим. Вопросы, порождаемые таким подходом, обсуждаются в статье как на теоретическом уровне, так и на конкретных примерах.

I first came across the work of Prof. Klejn when I read his famous paper in *Current Anthropology* about western archaeological theory. Later I was fortunate enough to meet him on a visit to what was then still Leningrad and a couple of years later to take him to see Stonehenge when he came to give a lecture at the Dept. of Archaeology at the University of Southampton. Needless to say, I was fascinated by the man and his ideas, as well as amazed and appalled by the experiences he had managed to survive. This paper is offered in admiration, on a theme which, I hope, he will find of interest, the nature and future role of culture history from an evolutionary perspective.

Evolution in the human species operates largely on what is inherited culturally, in the form of cultural traditions. Thus, without identifying and characterizing those traditions we have no basis for understanding how or why human evolution has taken the course it has done. The only source of direct information about such traditions for most of human history is archaeology. If this makes archaeology essential for understanding the evolutionary processes at work in the human past, it also specifies what the first task of archaeology should be: documenting those traditions or cultural evolutionary lineages.

The object of this paper is to look at how such traditions may be identified and characterized archaeologically and what general features, if any, they may have in common. To raise such issues, of course, is to return to subjects that were central to the discipline of prehistoric archaeology when it first developed as a distinct discipline began in the late 19th and early 20th centuries. This is not the place to go into that history. The important thing to note is that when the New Archaeology emerged in the 1960s it rejected any interest in norms and traditions. It took the view that, in broad

[1] Institute of Archaeology, University College, London, United Kingdom.

terms, the key to understanding culture change was to see the artifacts produced by human communities in terms of their role as means of adaptation, rather than as reflections of population replacement or cultural influence. The result of taking this perspective was the conclusion that the cultural complexes defined by the culture historians either didn't exist or didn't matter. Since the end of the 1980s, however, the growing attempts to create a 'Darwinian' archaeology have led to renewed interest in the issues that culture history raises.

The Darwinian analysis of cultural traditions

This paper will address a number of key issues in the evolutionary archaeology of cultural traditions.

- How do we construct demonstrably homologous cultural lineages? That is to say, traditions linked by historical continuity based on the transmission of information through time.
- What evidence do we have for the extent to which lineages relating to different aspects of material culture and other practices are transmitted together through time as parts of larger cultural packages?
- Can we distinguish whether particular cultural traditions originate or change as a result of hybridizing and mixing processes or branching and splitting processes?
- What basis, if any, do we have for the view that histories of artifact forms and cultural practices evidenced in material culture will be similar to histories of languages and genes?

Constructing cultural lineages

The key question here is how to distinguish homologous from analogous similarity and it is common to all evolutionary analysis, biological as well as cultural. If two artifacts or reconstructed cultural practices are similar to one another, is the reason for this that they are linked through the transmission of information, or because they represent convergent solutions to particular situations? We cannot define *a priori* a set of functional attributes or types which are the result of adaptive processes and a different set of stylistic features which simply reflect learning and interaction histories. Every practice that is socially learned, whether it is a way to hunt or a way to decorate a pot, in other words, whether it is obviously functional or not, will have a history of descent. Adaptation can only be properly understood on the basis of a diachronic approach that recognizes this. Equally, it is not helpful to see style as a residue after the function has been taken out. Style is simply a 'way of doing'. Some of these 'ways of doing' are designed to have immediate practical consequences, but that does not mean that they lack a historical signature.

In fact, the problem of distinguishing homologies from analogies exists in two different versions. In the diachronic version the problem is that of deciding whether a particular sequence, for example, the pottery types in successive layers of a site, are linked together by a process of cultural inheritance, so that one can be considered ancestral to another. In its synchronic, or snapshot, form the issue is to decide, for example, whether similar-looking kinds of pottery dating to a given period and found in a number of different sites or regions are similar because they have a common ancestor or because of independent, convergent development.

The methodological solution proposed by O'Brien and Lyman (2000) to the problem of identifying homologous cultural lineages through time is the application of the techniques of occurrence and frequency seriation. These involve the measurement of similarity between archaeological assemblages in terms of the *occurrence* of shared cultural attributes or types, or their *frequency*. If particular attributes or types make it possible to seriate the assemblages in which they occur, then those attributes or types can be said to be linked historically by a process of descent or information transmission, and the resulting ordering represents a cultural lineage.

The extreme case of cultural transmission is when there are no selective forces acting on the tradition at all, in other words the attributes concerned are 'neutral'. In these circumstances, the only factors affecting changing frequencies of attributes through time are the rate of innovation and random processes of cultural drift. Neiman (1995) showed by computer simulation that these processes are all that is needed to generate precisely the kind of 'battleship curve' on which the seriation procedure is based .

However, it is important to emphasise that drift is not the only process that produces 'battleship curves'. So long as cultural inheritance has a significant role in affecting the occurrence of artifact types and cultural practices through time, then the classic 'battleship curve' seriation pattern of changing frequencies will exist (Shennan and Wilkinson 2001).

Cultural coherence and the transmission of cultural packages

A continuum of possibilities exists as regards cultural coherence. At one extreme, whole cultures may be transmitted from one generation to the next, hermetically-sealed from others, each characterised by its own world view.

This is the possibility favoured by ethnic nationalists, past and present, going back to the German Romantics of the early 19th century, and by others who regard cultures as unique constellations of meaning, understandable solely in their own terms. Unsurprisingly, in the light of what we know about the origins of culture history, it is also the position closest to that of the first archaeological culture historians. Even those who came afterwards and subscribed to the approach but not its ideological background still tended to see archaeological cultures as essences. They defined their cultures in terms of uniform characteristic artifact types and ignored the fact that distributions of these types did not coincide with one another. This characterization of the nature of cultural traditions seems implausible given that diffusion of information between cultural traditions certainly occurs, and that it is simply impossible to identify perfectly coherent spatial blocks in which all the different cultural attributes mapped have exactly the same distribution.

At the other end of the spectrum of possibilities we have a situation where there is no spatial or temporal coherence: people always make their own decisions about how to carry out any specific activity on the basis of their own trial-and-error experience and the alternatives to which they are exposed. The temporal coherence we see in the archaeological record, together with the importance of social learning in human cultures, indicates that this extreme is as unlikely as the first.

More likely than either of the two extremes are two intermediate possibilities (Boyd *et al* 1997). One is the suggestion that there are core traditions whose components stick together over time and provide a basic cultural framework. The core has a major influence on social life but does not organize everything, so that there also exist 'peripheral' cultural elements not closely tied to the core. The other is the idea that there may be no single cultural core but rather 'multiple packages' — a series of separate groups of cultural elements, each with its own distinctive pattern of descent and quite possibly very different rates of change. There is no reason to think that either the 'cultural core' view or the 'multiple packages' view is right or wrong. It seems plausible to suggest that in some cases genuine, powerful cultural cores exist and in others they do not. The point is not to decide the issue *a priori* in principle but to find out which is relevant in a particular case and why.

Boyd *et al.* (1997) cite a number of anthropological cases where such core traditions seem to have been maintained over long periods of time. One example is a study by Rushforth and Chisholm (1991) of the traditions of North American groups speaking Athabaskan languages. The authors found a link between the social behaviour of the groups and the languages spoken, which they explained by proposing that language and social traditions were related historically by 'culture

birth', in that both originated together in a single ancestral group. They concluded that the cultural beliefs and values of these groups were 'genetically related' to one another, in the sense that they, 'originated in and developed from a common ancestral cultural tradition that existed among Proto-Athabaskan ... peoples ... this cultural framework originated once ... and has persisted (perhaps with some modifications) in different groups after migrations separated them from one another' (Rushforth and Chisholm 1991: 78).

A recent archaeological characterization of such cultural core, albeit not conceived in quite these terms, is Ortman's (2000) study of metaphor and material culture in the American Southwest. On the basis of generalisations derived from cognitive linguistic research on the nature of metaphor, he proposes that pottery designs from the Mesa Verde area of the American Southwest during the Great Pueblo period (AD 1060–1280) were conceptualized as textile fabrics. The basis for the claim is a comparative analysis of the designs on pottery and on preserved basketry and other woven materials. Ortman shows, for example, that details which were not intentionally woven into textiles but arose as inevitable consequences of particular weaving processes were actually deliberately produced in pottery designs. He also demonstrates that pottery designs not related to known weaving patterns, or combining them in impossible ways, are very rare in the ceramic assemblages. The fact that they occasionally occur suggests that potters occasionally tried them but that they were regarded as unacceptable by others and never caught on.

Ortman's conclusion is that,

' "Pottery is a textile" describes an ancient mental phenomenon that really was shared among Mesa Verde potters and that is decipherable from archaeological remains alone, without the benefit of native consultants'.

The question is obviously, why did they have such a view? The answer appears to be that it is part of a larger worldview based on container imagery. The underground ritual kiva structures of Mesa Verde were sometimes decorated in ways similar to the pottery decoration, while their roofs were constructed in a way that appeared similar to a coiled basket. This in turn may relate to the fact that in some modern Pueblo cultures kivas are regarded as representing a cosmos made of an earth bowl and sky basket.

As Ortman points out, the result of this sort of situation is that these different cultural attributes are transmitted through time as a linked set, not easily infiltrated by novelty that is not in keeping with it, as his example of the rejection of non-textile pottery designs illustrates. Interestingly, such non-textile designs were clearly 'thinkable' occasionally by potters working within this tradition but were not acceptable for wider adoption and transmission.

The power and usefulness of the contrasting 'multiple packages' idea is well illustrated by a recent examination of the adoption of bow and arrow technology in prehistoric western North America (Bettinger and Eerkens 1999). It revolves around the idea that identifying precisely what features are transmitted together as a package is itself an extremely informative exercise that can tell us about cultural transmission processes operating in the prehistoric past. Bettinger and Eerkens' study addresses the question: why is it that in Central Nevada the weight and the width of projectile points were strongly correlated with one another, while in eastern California correlation between the two was non-existent? The explanation that the authors propose centres on a difference in transmission mechanisms. In eastern California, bow-and-arrow technology was spread and maintained by a process that included trial-and-error experimentation. In other words, the lack of correlation between weight and base width arose because people experimented with the two variables until they got what they wanted, in a situation where there were no strong design constraints determining what the relationship should be. In Central Nevada, on the other hand, the technology was acquired and maintained without local evaluation and experimentation. That is to say, the

correlation between weight and base width arises because all the attributes of arrow point design were adopted and subsequently copied locally as a package. The idea is borne out by the fact that the same pattern of strong correlation between point attributes in Nevada and lack of correlation in eastern California is also found when other attributes are analysed.

In summary, there will be a number of different factors leading to the maintenance or disintegration of patterns of correlation between sets of attributes characterising a particular artifact type, or between practices in different areas of life. These include external limiting constraints, such as functional requirements; particular world views; and the extent to which the different activities or elements are transmitted from one person to another in similar ways; as well as variations in the pattern and strength of social sanctions concerning appropriate ways of doing things.

The origins of cultural traditions: branching or blending?

In the previous sections of this paper it has been argued that evolutionary lineages based on cultural inheritance can be recognized in the archaeological record, and that they can come in packages of varying sizes. It is now necessary to look at how these lineages and packages originate, and in particular whether their origins are characterised by 'branching' or 'blending'. Within biology, the course of evolution is generally represented by branching phylogenetic trees showing the splitting of existing species and the consequent creation of new ones. Branches which diverged at an early date will be differentiated by a large number of mutations which have occurred independently on the two branches since the time they split. As you move towards the tips of the tree, species which are closely related will share most mutations which occurred in that specific evolutionary line. They will be differentiated by only a small number of very recent ones.

Historical linguists have been producing such phylogenetic tree diagrams showing the relationships between languages, based on histories of shared linguistic 'mutations', for well over 150 years. Recently it has been suggested that the model can be applied to non-linguistic culture too. Thus, Durham's (1990, 1992) proposal of 'Evolutionary Culture Theory' is based specifically on the assumption that such splitting is the key process of culture change. The paradigmatic example where this kind of approach has been applied concerns the cultural patterns arising from the human colonisation of the Pacific (see below).

These attempts to derive branching classifications of human cultures and societies have been strongly criticised by some. Moore (1994) has argued that phylogenetic taxonomies linking cultural traditions, languages and biological attributes presuppose the homogeneity and boundedness of human societies, which are highly questionable. Moore's alternative to seeing the histories of human populations, languages and cultures in terms of phyletic classification is to see them in terms of what he calls 'rhizotic theories', which emphasise 'the extent to which each human language, culture or population is considered to be derived from or rooted in several antecedent groups, a process which he calls 'ethnogenesis'. The outcomes of such 'rhizotic' processes are representations of descent relationships not as a branching tree but a braided stream, with different channels flowing into one another and then splitting again. Terrell et al (1997) make a broadly similar set of points in their critique of phylogenetic approaches, arguing that they assume that the societies concerned were 'primitive isolates'.

In short, the key argument made by both Moore and Terrell *et al* against the phylogenetic approach is that populations have always interacted; that 'tribes' have constantly formed and re-formed; and that homogeneous long-lasting cultural/ethnic units have never existed, even though the oral traditions of many groups would have us believe that they have done. However, even if we grant all these points, the question is whether they have the implications that Moore and Terrell claim, in terms of the overwhelming role of blending as a cultural process. Whether or not long-

lasting cultural/ethnic *units* have ever existed, long-lasting cultural traditions with recognizable coherence certainly have done, as the archaeological record demonstrates very well. Ortman's study of textiles as a metaphor for pottery shows clearly the way in which blending processes may be hindered. The basketry and textile metaphor which seems to have operated as a general world view created a powerful pressure for coherence that led to the exclusion, for example, of pottery decoration that did not correspond to the metaphor. Other processes may produce the same effect. Thus, the fact that much cultural learning takes place in childhood means that what Dennett (1995: 350–1) calls 'mental filters' are installed in people at an early age and can render them less susceptible in later life despite exposure to new possibilities. Conformist transmission — when in Rome, do as the Romans — certainly has this effect.

The way barriers between traditions can be difficult to cross and therefore be maintained over time has been clearly shown by Pétrequin's (1993) study of neolithic technical traditions in the area of eastern France/ western Switzerland. This is a zone where two broad traditions with different histories came together. One was the Central European Neolithic tradition, which had spread from Greece through Central Europe via the Balkans; the other was the Mediterranean tradition, which had spread from the same source but along the north coast of the Mediterranean and then up the Rhone valley. In the zone where the two traditions met a shifting cultural frontier was formed.

Pétrequin showed that there was a great deal of interaction across the boundary, in terms of the exchange of raw materials. Nevertheless, a cultural border was maintained despite the interaction. Thus, in the third millennium BC, the Corded Ware pottery beaker, which originated on the eastern side of the frontier, became known on the western side and 'clumsy attempts [were made] at imitating them'(1993: 46), before they were rejected. Certain aspects of the Corded Ware ceramic assemblage were adopted but Pétrequin shows how difficult was the acceptance and learning of a new technical process. In other words, it is not sufficient to introduce a new form into local cultural environments and assume that people can easily 'reverse engineer' it and produce it themselves. The relevant skills need to be taught and learned and this will not be easy when it does not fit in with local traditions.

The sort of process much more likely to lead to blending will arise when transmission and selection forces leading to the maintenance of cultural traditions do not exist. A prime candidate, therefore, is cultural drift, which presupposes that the only processes affecting a particular tradition are innovation and interaction rates, i.e., who is in contact with whom. Neiman (1995) has demonstrated the operation of this process in a study of decorative variation in Woodland period pottery assemblages of the first millennium AD in the North American Mid-West. Drift represents the chance element affecting the prevalence of practices: even if we assume that all potters and/or all decorative motifs are equally likely to be taken as models in an episode of social learning and subsequent ceramic production, in any finite population not all potters or motifs will be copied the same number of times.

Innovation in this case refers to the introduction of novelty into the decorative repertoire of a particular group. This can come from local innovation or from the adoption of new motifs from other groups. To the extent that groups are in contact with one another, the drift-driven changes in the different groups should go in step with one another. Neiman carried out a simulation to demonstrate that, for a given population size, higher levels of inter-group transmission produce lower values of inter-group divergence. A specific consequence follows from the theory and its mathematical specification when drift and neutral innovation are the only forces operating: as differences between assemblages decrease, variation within assemblages will increase, and vice versa (1995: 27).

An analysis of the differences between a number of Woodland ceramic assemblages from different sites, for a series of seven successive phases, showed a trend of decreasing then increasing difference between them. It also showed the pattern of inverse correlation between intra- and inter-group variation just mentioned: as inter-assemblage differences went down, the variation within assemblages increased. Neiman therefore concluded that the trends through time in inter-assemblage distance were indeed a function of changing levels of inter-group transmission, which started low, reached their highest level in Middle Woodland times and sank to new low levels in the Late Woodland period. The Middle Woodland was also the time of a phenomenon known as the 'Hopewell Interaction Sphere', evidenced by the widespread appearance of exotic trade goods.

In fact, although at first sight Neiman's study appears to support the 'blending' view, it does not do so in a straightforward way. On the basis of precisely the sort of argument which has been made in this paper, he argued that successful transmission of ceramic traditions requires a long-lasting relationship between teacher and learner. Accordingly, he went on to suggest that since the attribute being studied was decoration on cooking pots, the changes in level of inter-group transmission must relate to changes in the level of long-term residential movement of potters between groups. That is to say, the most likely way to get cultural blending is by the mixing together within the same community of people from different cultural backgrounds. What is interesting about this is that it implies a link between people and pots of the kind imagined by the culture historians. Equally interesting though is the further implication that there are likely to be major evolutionary differences between societies where material culture production is domestic and those where it is in the hands of specialists. In the latter case the producer-consumer identity is broken; the consumer choice of objects produced by others does not involve a long learning period and may be much more open to outside influence.

It appears that inherited cultural traditions in particular areas of life are at least to some extent insulated from external influence and are not simply a product of interaction rates. In other words, even when change affected by outside influences occurs, 'phylogenetic continuity' is maintained. In this light it seems plausible to suggest that splitting rather than blending processes are likely to have played a greater role in cultural origins. Where they are based on blending, it is likely to have been blending of a very particular kind. Whether these suggestions are more likely to apply in societies without developed specialist production, or simply more likely to be archaeologically detectable in these circumstances, is not entirely clear.

Rosenberg (1994: 330) has suggested that the formation of new cultural cores is more likely to occur in small groups physically separated to some degree from their larger parent population, because the social sanctions which help to maintain the existing core are likely to be weaker. The new core which emerges will have a strong stochastic element to it: founder effects, in terms of those elements of the cultural repertoire which exist within the small sub-population; chance effects of transmission in the small population, relating for example to the number of children particular families have; and the compatibility of specific elements of the old cultural core with the new practices. Such situations arise particularly in the context of migration processes, Rosenberg argues, which have consistently produced punctuated change.

In fact, even if we imagine the origin point of a new core tradition as arising from a blending process, say members of two or three different groups which have been decimated by warfare coming together and producing a hybrid tradition, everything we have seen suggests that it will propagate itself through time by being resistant to outside influence and expand by a process of fission.

On the other hand, where we are dealing with what we have called 'multiple packages' as opposed to cultural cores, it is far from obvious that these conclusions follow. This is clearly an

important area for future research, to establish the relative frequency of cores versus multiple packages as types of cultural lineage, and then to explore the transmission and selection processes associated with the individual packages. One process which is almost certainly important arises from the fact that when significant socio-economic centres exist they become centres for the diffusion of prestigious innovations, which represent individual packages with their own dynamics.

Genes, languages and cultures

If integrated culturally-inherited packages can come in different sizes and contain a greater or lesser variety of different things inside them, then the largest package it is possible to imagine is one which includes not only most cultural practices but also a specific language, not to mention the addition of a package of specific genes. Such a package implies that specific cultural practices and genes, as well as a language, are all being passed on through time together. The main mechanism that provides the basis for such all-encompassing packages is demographic expansion. In effect, some cultural feature, such as a subsistence innovation, provides members of the population with a selective advantage, and an essentially accidental association of cultural practices, language and specific genes at the origin becomes propagated with the expanding population. The relation between cultural practices and language history in the case of Athabaskan-speaking groups and its explanation in terms of the common origin of both has already been mentioned. Over time the result is diversification as populations become separated from one another and independent changes occur within them. In other words, the origin and spread of maximal packages depends on a demographic branching process. It is important to understand that it is the transmission processes, and the selective forces acting on what is transmitted, that determine whether the various different elements of the packages stay 'in step' with one another. In fact, the implicit assumption is usually that selection on most of the elements (except that responsible for the expansion) is weak or non-existent.

By and large it is language that has played the dominant role in such discussions, and particular examples where this sort of phenomenon is argued to have occurred include the spread of the Austronesian languages into the Pacific, the spread of the Bantu languages in Africa and of the Uto-Aztecan languages in western North America (Kirch and Green 2001, Ehret 1998, Bellwood 1997). At least part of the reason for this role is that the processes of change in language are better understood than those affecting other areas of cultural practice, and the fact that a diversifying tree model generally seems to fit linguistic change extremely well (Ross 1997), not to mention that vertical transmission is usually assumed to play an important role in language learning.

In this context of evaluating the existence and implications of combined gene, language and culture packages and their relation to population histories, it is worth concluding this section with two examples of phylogenetic approaches, both concerned with what we have already noted as a classic example of cultural and linguistic branching processes: the human colonization of the Pacific.

Pacific phylogenies

Gray and Jordan's study (2000) contrasts what has become known as the 'express train' model of Polynesian expansion with the 'entangled bank' model. The former suggests a rapid dispersal of Austronesian speakers from a homeland in Taiwan around 6000 years ago, the latter that the Polynesian colonisers derived from a population in eastern Melanesia which had been there for tens of thousands of years, and that the cultural and linguistic patterns which are visible among the Polynesian islands arise at least as much through continuing contact subsequent to initial colonisation, as through the colonisation process itself.

Gray and Jordan took the series of archaeological/geographical steps suggested by the 'express train' model and mapped these onto the language tree. Their analysis indicated that the links

predicted by the model represented a very close fit to the language tree, much closer than would be predicted to occur by chance. As they point out, proponents of the 'tangled bank' or 'braided stream' model argue that culture, language and genes are constantly combining and recombining, so that patterns of language relationships say very little about the history of language speakers, and only reflect geographical proximity. Gray and Jordan's results largely conflicted with this latter pattern: proximity on the language tree did not correspond to geographical proximity. They did note cases where discrepancies existed between the language tree and the predictions of the express train model and suggested that these could have arisen through contact and resultant borrowing. Overall, however, 'The patterns apparent in linguistic relationships are integrally tied to the movements, contacts and activities of language speakers' (Gray and Jordan 2000, 1054) However, it should be noted that although both the archaeology and the language relationships fit very well with this model of expansion from Taiwan, the genetic information is not so clear, suggesting that Polynesian populations include genetic features that must have originated in eastern Indonesia a long time ago (see Richards 2001).

The second example is the work of Kirch and Green (2001), which also uses historical linguistics to construct an evolutionary tree of the relations between different Oceanic languages. This is linked to the archaeological record of Pacific colonization, on the assumption that the language of the first colonizers of a remote island group will be the ancestor of the language spoken there in the present, so long as the initial population was reasonably substantial and there is no archaeological evidence for replacement of the founding cultural tradition. The language tree is also used to infer the dispersal centres for successive stages of Pacific colonization associated with specific language sub-groups, in particular the Polynesian homeland of Samoa-Tonga.

Once this history of colonization and cultural and linguistic descent has been constructed, Kirch and Green use linguistic, ethnographic and archaeological evidence to reconstruct Ancestral Polynesian culture, including economy, society and religion, by a process of *triangulation*. This involves evaluating each line of evidence independently to see the conclusions they lead to, then bringing them together. However, even this is not an end in itself, but a step towards further goals:

'These are the study and explanation of cultural change, "evolution" if you will, represented by the diversification and differentiation of the myriad Polynesian cultures that descended from the ancestral "Hawaiki". By defining the cultural content of the ancestral node or root, we set the stage for a more comprehensive analysis of subsequent cultural change, through the individual trajectories of daughter cultures and societies'.

Conclusion

The long archaeological tradition of studying culture history becomes revitalised by recognising that cultural inheritance is part of a Darwinian evolutionary system. Indeed, documenting culture histories once again becomes a central archaeological task. Seriation also regains an important role as a basis for distinguishing historical lineages from through-time patterns created by other processes. The evolutionary approach to cultural traditions transcends the essentialism of the old culture historical approaches with their implicit ethnic foundations by showing that cultural packages come in different sizes. A consequence of this is that the different cultural practices and artifact forms that are found within a population at a given time may have different descent histories. Some may be transmitted together and others not, and they may be affected by very different selective pressures. This is perhaps especially likely to be the case in complex societies, and represents an obvious subject for investigation.

Nevertheless, there are cases where large sets of cultural attributes are linked together in time and space — core traditions — and there are grounds for thinking that these may often, if not

always, be associated with particular populations, perhaps especially in those cases involving relatively recent history where links with languages can be established. However, we should be very careful about referring to these as ethnic units, if by this we mean political or social units, since by and large the spatial scale of these traditions far exceeds the likely scale of any such units (Wotzka 1997), nor do we have any basis for assuming that the people concerned had any ethnic consciousness. It seems likely that the main processes associated with the origin and spread of these large packages are branching ones relating to demographic expansion. The situation with multiple packages is a lot less clear and needs a great deal of work. Part of that involves demonstrating that such multiple packages do in fact exist and here, as with analyzing patterns derived from population histories, cladistic techniques may be very useful. Indeed, we can conclude by agreeing with Gray and Jordan that,

'In the future, phylogenetic methods may provide a common methodology and analytical framework to integrate data from ethnography, archaeology, linguistics and genetics. This is an important step towards a unified approach to biological and cultural evolution' (2000: 1054).

References

Bellwood P. 1997. Prehistoric cultural explanations for widespread language families // Archaeology and Linguistics. Melbourne.

Bettinger R. L., and J. Eerkens. 1999. Point typologies, cultural transmission, and the spread of bow-and-arrow technology in the prehistoric Great Basin // American Antiquity. Vol. 64: 231–242.

Boyd R., M. Borgerhoff-Mulder, W.H. Durham and P.J. Richerson .1997. Are cultural phylogenies possible? // Human By Nature. Mahwah, NJ.

Dennett D. 1995. Darwin's Dangerous Idea. London.

Durham W.H. 1990. Advances In Evolutionary Culture Theory // Annual Review of Anthropology. Vol. 19.

Durham W.H. 1992. Applications of Evolutionary Culture Theory // Annual Review of Anthropology. Vol. 21.

Ehret C. 1998. An African Classical Age: Eastern and Southern Africain World History, 1000 BC to AD 400. Charlottesville.

Gray R.D. and F.M. Jordan. 2000. Language trees support the express-train sequence of Austronesian expansion // Nature. Vol. 405: 1052–1055.

Kirch, P.V. and R.C. Green. 2001. Hawaiki, Ancestral Polynesia: an Essay in Historical Anthropology. Cambridge.

Moore, J.H. 1994. Putting anthropology back together again: the ethnogenetic critique of cladistic theory // American Anthropologist. Vol. 96: 925–948.

Neiman F.D. 1995. Stylistic variation in evolutionary perspective: inferences from decorative diversity and inter-assemblage disstance in Illinois Woodland ceramic assemblages // American Antiquity. Vol. 60: 7–36.

O'Brien M.J., and R.L. Lyman. 2000. Applying Evolutionary Archaeology. New York.

Ortman S. 2000. Conceptual metaphor in the archaeological record: methods and an example from the American Soluthwest // American Antiquity. Vol. 65: 613–645.

Pétrequin P. 1993. North wind, south wind: Neolithic technological choices in the Jura Mountains, 3700–2400 BC // Technological Choices. London.

Richards M. 2001. Comment on J. Terrell et al., Foregone conclusions? In search of 'Papuans' and 'Austronesians' // Current Anthropology. Vol. 42: 117–118.

Rosenberg M. 1994. Pattern, process and hierarchy in the evolution of culture // Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 13: 307–340.

Ross M. 1997. Social networks and kinds of speech-community event // Archaeology and Language I: Theoretical and Methodological OrientationsLondon.

Rushforth S. and J.S. Chisholm. 1991. Cultural Persistence: Continuity in Meaning and Moral Responsibility among Bearlake Athabascans. Tucson.

Shennan S.J., and J.R. Wilkinson. 2001. Ceramic style change and neutral evolution: A case study from Neolithic Europe // American Antiquity. Vol. 66: 577–593.

Terrell J.E., T.L. Hunt and C. Gosden. 1997. The dimensions of social life in the Pacific: human diversity and the myth of the primitive isolate // Current Anthropology. Vol. 38: 155–196.

Wotzka H.P. 1997. Masstabsprobleme bei der ethnischen Deutung neolithischer 'Kulturen' // Das Altertum 43: 163–176.

H. Härke[1]

MATERIAL CULTURE IN POST-SOVIET RUSSIA: AN ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVE

Х. Хэрке. Материальная культура в пост-Советской России: взгляд археолога.

После распада Советского Союза российская материальная культура, здания и символы претерпели коренную трансформацию. Эти изменения можно сопоставить с другими, известными по археологическим данным, случаями культурных изменений, происходивших после крушения империй и государств, в особенности Западной Римской империи. Такое сопоставление вызывает вопросы о природе и причинах изменений в материальной культуре, а также о выявлении миграций (или их отсутствия) по археологическим источникам.

Since 1993, I have been able to observe at first hand the numerous changes which have affected Russia in the post-Communist period. I was struck early on by the potential implications of this massive and rapid process of culture change for the interpretation of the archaeological past. This paper is an attempt to present some of my observations, and discuss some of the implications. I would also hope that this paper represents the kind of lateral thinking in archaeological theory which Professor Klejn has been a master of, and which he has clearly enjoyed when practised by others.

The aim of this paper relates to the explanation of culture change. There has been a long-standing debate, going back several decades at least, on the question if major culture change as observed in the archaeological record should be explained in terms of new populations bringing in their own material culture styles, or in terms of purely stylistic change with little or no attendant population change. While the so-called culture-historical archaeology tended towards the former (Childe 1950; Piggott 1965), Anglo-American processual archaeology as well as official Soviet archaeology disliked explanation by reference to external causes and 'events' (such as migrations) and preferred internal processes such as social or ideological change (Clark 1966; Binford and Binford 1968; Clarke 1968; Renfrew 1973; for Soviet archaeology, see Mongait 1961; Klejn 1993). It should be noted, however, that this shift in perspectives affected Anglophone archaeology far more than Continental European and non-European intellectual traditions (Härke 1998). Whilst this debate quietened down in the 1980s when post-processual archaeology pursued different questions, it flared up again in the 1990s (Anthony 1990; Chapman and Hamerow 1997). Over the last decade, this debate has become a dominant theme in post-Roman archaeology.

In post-Roman archaeology, one of the key challenges is to explain the profound material culture change in the fifth century AD in the northwestern provinces of the former West Roman Empire (modern France, Belgium, western Germany and England). This change in material culture used to be taken at face value, and in conjunction with historical and linguistic evidence, it has been the basis of the standard model of large-scale migrations and populations replacements in the wake of the decay and collapse of the West Roman Empire (Collingwood and Myres 1936; Myres 1986; Musset 1965; Todd 2001). Since the 1980s, and particularly during the 1990s, this model has been increasingly under attack, with alternative models favouring elite replacement and a

[1] University of Reading, Reading, United Kingdom

continuity of rural populations. In this model, material culture change would be the consequence of the new elites imposing their own tastes, or being imitated by subject populations. This debate has been particularly marked in the case of Anglo-Saxon England (Arnold 1984; Hines 1990; Higham 1992; Burmeister 2000; overview by Härke, in press), but the scale and geographical extent of Frankish and other migrations has also been questioned increasingly (James 1979, 1988; Wieczorek et al. 1996). What makes the case of post-Soviet Russia so interesting and relevant to the study of post-Roman Europe is the fact that both may be approached as cases of empire or state collapse, or in more general terms, as 'systems collapse' (Renfrew 1979).

Apart from this main perspective, this paper is also intended to draw attention to an ongoing process which needs to be documented before its manifestations disappear altogether. In contrast to the rapidly growing literature on the political, social and economic changes in Russia over the last decade, there appears to have been very little interest so far from Russian or foreign ethnographers and sociologists, let alone archaeologists.

In the absence of any relevant publications, the evidence and information on which this paper is based have been obtained entirely by direct observation, and by personal communications from Russian citizens and foreign visitors to Russia whom I asked about certain aspects of the process and its background. These observations have been conducted between 1993 and the present during visits to Moscow and nearby towns, and to numerous towns and rural areas in the North Caucasus. This body of information has been compared with observations made during several visits and a three-month stay in the Soviet Union between 1978 and 1980, taking in Moscow and Kiev as well as smaller towns and rural areas in the Ukraine. Unfortunately, I have no first-hand knowledge of the era of 'perestroika' which is interesting because of its transitional nature; for this, I have to rely on incidental information supplied by eyewitnesses of the period. This is the main reason why the changes resulting from the 'perestroika' are not included in the discussion below.

My main interest has been archaeological: in other words, it focused on observable changes in material culture and the built environment, rather than on the underlying political and economic changes about which I know much less. This, and the occasional and transitory nature of my observations, imply the danger of misunderstandings by the outside observer. But then, this is exactly the key problem faced by all archaeologists who study the past via the archaeological evidence: they do this necessarily from the perspective of outsiders, and attempt to draw conclusions from incomplete observations. The personal nature of my observations is also the reason for the personal style of writing, including the use of the first person singular which is otherwise frowned upon in scholarly writing: it is meant here to signal the absence of a claim to total objectivity and complete knowledge.

Small finds and coins

Some of the most marked changes which the contemporary observer will have noticed happened in the realms of dress, food, and household and sports goods, but not all of these will show up equally well in the archaeological record.

Soviet-era clothing was practical and utilitarian, but often of unsatisfactory quality if personal experiences and comments by friends at the time are anything to go by. It was also almost entirely of Soviet manufacture, although some other Eastern bloc items could be seen in the shops. Western dress items were, to all intents and purposes, unavailable; this is also true of adidas clothing even though this firm had official 'Pepsi Cola status', i.e. its products were imported by the Soviet authorities, but did not really reach a significant number of shops.

Dress appears to have been one of the first aspects of material culture where western influences were visible after the collapse of the Soviet system. By 1993, imports and imitations of western

fashion items had reached even rural areas. By the late 1990s, western brands of clothing were *de rigueur*. Brands such as adidas and Reebok have become so frequent that it seems at times as if their shellsuits and sneakers have become the new Russian national dress. In reality, many of these goods are counterfeit production from Asia. The baseball cap, never seen in the Soviet Union during the Brezhnev years, has become the most frequent type of summer headgear; the most popular type in Stavropol in 1997/98 bore the logo 'USA California'. It is interesting to note, however, that some ethnic groups have been impervious to this change, including the Roma (gypsies) who have stuck to their own dress styles throughout the Soviet period and through all the recent changes.

The range of food and produce available in the Brezhnev era was narrow and included few imported goods, and supplies were intermittent. I remember long queues for basic foodstuffs in towns, and problems to find e.g. fresh fruit even in a large and comparatively well-supplied city such as Kiev. In small towns and rural areas, the range of available foodstuffs was even narrower, and colleagues asked us to take butter and cheese from Kiev to friends living in Chernigov; and the only non-alcoholic drink I was able to purchase in Ukrainian village shops in the middle of the summer was tomato juice. There was some imported produce from other East European countries, but nothing from the west, except for the grain imports which were invisible to the consumer, and Pepsi Cola which I saw advertised, but did not see in any shop (except the 'valuta shops' for foreign nationals in Moscow).

This situation changed dramatically in the mid-1990s. From then on, all basic foodstuffs have been available virtually all of the time in most places of the observed areas. Local produce is now available in shops and on the markets as it never was in Soviet times, with the most noticeable improvements being for meat and fresh fruit. There is a also a wide range of everyday and luxury produce imported from western, central and southeastern Europe (mainly Turkey, Austria, Germany and Poland, but also Britain, Italy, the Czech Republic etc. as well as overseas) — or dressed up to look as if it was from the west. This includes foodstuffs which had never reached the USSR, e.g. kiwis, pineapple and other exotic fruit.

The growing proportion of imported goods has archaeological implications because of the marked contrast in packaging between local and imported produce. The former tends to arrive in shops in large, sparsely marked containers (boxes, sacks, etc.) from which it is dispensed into smaller, unmarked containers (clear plastic bags, unmarked glass bottles or jars, etc.); this goes for a wide variety of products, not just sugar, flour, etc. Imported produce arrives in small, heavily packaged units (incl. paper trays, plastic wrappings etc.) which proclaim type, brand and origin. Sample inspections of rubbish containers on a large housing estate in the provincial capital of Stavropol between 1997 and 2001, and comparison with typical consumption patterns in households of friends living on the same estate confirmed that this differential packaging leads to a massive overrepresentation of the remains of imported, particularly western, goods in the refuse, whereas remains of Russian produce and goods tend to be unmarked or less clearly marked, or entirely organic in composition.

An interesting implication of imports and changing packaging methods is the change of old habits and customs, with consequences for the formation of the archaeological record. The use of tea bags and instant coffee, mostly imported, became very popular in the second half of the 1990s, and by 2000 all my friends and colleagues had abandoned the traditional, more time-consuming methods of preparing coffee and tea, and even restaurants had begun to switch. The widespread availability of bottled mineral water, most of it Russian and often sold in large plastic bottles (1 litre), has ended the old method of buying 'gasified water' from vending machines and drinking it from glasses which were kept at the machines for the use of the customers. The once ubiquitous

vending machines have rapidly disappeared from Russian towns, and the very few which have not been removed are not functional.

Pet food represents a less obtrusive change, but one that serves as an indicator of a much larger underlying change. The lack of pet food and the scarcity of meat in Soviet times had been one of the main factors which inhibited the keeping of pets. Since the mid-1990s, the number of dogs kept on housing estates has increased dramatically, and that is roughly the time when tinned pet foods became available. By 1998, the pet-food producer Chappi sponsored a dog show on Russian television. The two interlinked patterns have resulted not just in yet another contribution to the increase of containers and packaging, but also in a marked shift of the types of dogs: while the old stray dogs (many of which still roam the towns and villages) are mongrels, the new pets tend to be pedigree dogs such as boxers, spaniels, etc. This change might well show up in the animal bone records of future excavations.

Other consumer goods and toys tell a similar story. For the joint Soviet-German archaeological project in the Ukraine which I was involved in around 1980, the German team members brought with them virtually everything they might need, right down to washing powder, toilet paper, iron nails, pencils, etc. In principle, such items were available in the Soviet Union, but there were many local shortages (the infamous 'deficits'), and the quality was frequently unsatisfactory. Now such consumer goods are widely available, and the majority of them appear to be imported. Toys, particularly mechanical and electrical toys, were scarce in the Soviet Union, and this gap has now been filled by large-scale imports from western and Asian countries. This includes imports which would previously have been impossible for political reasons, such as plastic models of German World War II tanks and planes.

Electrical and electronic goods are another material indicator of change. To give just one example: as late as 1980, pocket calculators were prized, expensive possessions, and they were Soviet-made. Foreign visitors bringing calculators with them had them entered in their customs declaration so as to make sure that they were taken back out of the country. Similarly, all electrical goods were rare in the Soviet period, and generally they were old-fashioned (i.e. well behind the western state of development) and unreliable. Since the second half of the 1990s, the full range of electrical and electronic consumer goods has been available in Russia, and all of them, without exception, are of western or Asian (in particular Japanese) manufacture. The reason for this is that western goods are considered by Russian consumers to be cheaper and better, and now there is no Russian electronics industry left. Mobile phones, an indispensable practical and fashion item in Russia since the late 1990s, are an interesting case because, apart from offering more reliable and less cumbersome communication, they also allowed ordinary Russians to circumvent the state monopoly and control of communications. By 1998, even the new central communications installations were imported from the west: the town of Stavropol, for example, bought and installed a German telephone exchange.

Sports were big and popular in the USSR, but sports equipment was very difficult to obtain, and what was available, was often channelled through the large state-run sports associations. Foreign sports equipment was unavailable to the individual, although there was some very selective import of high-quality western sports equipment for top competitors. This changed only comparatively slowly in the 1990s; for example, it was only in 1996 that I spotted the first basketball on sale in a shop in Kislovodsk. Since then, there has been a dramatic expansion of sports and leisure activities which are seen as fashionable in the west, such as in-line skating, snowboarding, and jetskiing, all with their associated dress and equipment styles. This has led to the development of a new sports scene which is expressly individualistic, and completely dominated by western material culture — in stark contrast to the state-organised sports scene of the Soviet era.

Foreign currencies (valuta) were strictly controlled in the Soviet Union, and the rouble was not a freely convertible currency. This changed rapidly after the Soviet collapse: the rouble became a convertible currency, and money in foreign denominations could be obtained more or less freely, with the US Dollar and the Deutsche Mark being the most widely available. For a short while, the US Dollar even had the status of second official currency. Even after the end of that experiment, major business transactions and purchases are still reckoned, and not infrequently conducted, in Dollars. Because of the rouble's history of inflation and instability, savings are usually kept in Dollars, and they are kept at home because there is an almost universal distrust of Russian banks. In other words, there is now a broad horizon of 'hoards' in US Dollars throughout post-Soviet Russia, but probably with marked concentrations in urban areas.

Rubbish pits

The increasing amounts of rubbish from the packaging of imported goods pushed the old waste disposal system to its limits. In central parts of Stavropol, a German system, with larger containers and purpose-built lorries, was introduced in 1997, but the old system was still in use in peripheral housing estates as late as 2001. In the streets of Stavropol, the old Soviet-period rubbish bins, made of cast iron or sheet aluminium, have been gradually replaced since 1998 by orange plastic bins of a type which I know from Germany and some other western countries.

Wheeled vehicles and other transport

Cars were luxury items in the Soviet Union: aspiring car owners had to order their desired car and wait for a long time, often years, before it was delivered. Western makes were not available, although the Lada factory produced the Zhiguli saloon in cooperation with the Italian firm Fiat, which made this the most sought-after model of the Brezhnev era. Some motor vehicles from other Eastern bloc states acquired a similar prestige, e.g. the Jawa motorcycles from Czechoslovakia. Since the end of the Soviet Union, there has been an explosion in private car ownership, with a continuously increasing proportion of cars being of foreign make; they made up about 35 to 40% of the rolling traffic in Moscow at the end of the 1990s, with a significantly lower proportion in smaller towns and rural areas. Japanese four-wheel drive vehicles are particularly popular among those who can afford them because their suspension can cope better with the often atrocious Russian roads, but otherwise the imported cars cover a wide range of western and Asian makes and models.

Lorries and motorcycles have been far less affected by this change. In the case of lorries, the reason appears to be the heavy import duties; in the case of motorcycles, it is possibly the lack of western or Japanese models with sidecars. Russian-made sidecar combinations are still a popular all-purpose transport in the countryside, with the sidecar being used for passengers or goods. The majority of buses and coaches are still Russian or Soviet-made, but foreign makes are slowly making inroads. New buses in the town of Stavropol are Mercedes models made in Turkey.

It should be noted, however, that a considerable proportion of the motor vehicles of foreign make in Russia were not new (i.e. directly from the factory) when imported, but used. Closer inspection of many cars and buses reveals stickers of car dealers abroad, old registration numbers or nationality symbols, logos of former corporate owners (particularly in the case of buses and coaches), etc. In some cases, these appear to have been left by the new owners to gain prestige, or because painting them over would have been too expensive or time-consuming. The most striking case I have come across in Stavropol at the end of the 1990s was a Volkswagen pick-up truck in military green which still bore the tactical markings of its former Bundeswehr unit. Such secondary

use may confuse future archaeologists, but it may also be an interesting parallel for the interpretation of scattered artefact distributions in other cases of systems collapse.

Overall, there has been a perceptible shift from public to private transport in Russia, and while the former is still dominant, the numbers of cars now parked around Russian housing estates (which have not been built to accommodate private transport) are impressive and create increasing problems. There have been other shifts in the modes of transport. For example, internal air travel is no longer state-run nor subsidised, and as a consequence has become much more expensive than it was in the Soviet period. This led to a noticeable drop in the number of passengers on internal flights during the second half of the 1990s. By contrast, the comparatively cheap petrol (at approx. US-American prices) has encouraged the use of cars for long-distance travel.

The virtual explosion in private car ownership has had consequences for infrastructure. Petrol stations which had been rare in the Soviet Union (compared with the west) increased in numbers dramatically in the second half of the 1990s. By 1997, new petrol stations were being built everywhere, and these have all been designed on the western model, with parallel bays which facilitate throughput, and often covered by a large roof. This design is in clear contrast to the Soviet-period lay-out of petrol pumps in line, usually without a roof cover over the pumps. The two designs should be easy to distinguish in the archaeological record, as should be the origin of the new design. Many of the new petrol stations carry logos in Latin script, even in the case of Russian companies (see below). By the end of the 1990s, old-style petrol stations were increasingly abandoned or built over.

Settlements and buildings

No less profound changes have affected the built environment, and these are likely to prove more durable in the archaeological record. Soviet towns, like urban settlements elsewhere in the world, were multi-layer palimpsests, with old and new buildings side by side in the town centres, and new housing estates of concrete high-rise blocks of flats on the peripheries. Russian villages of the same period were marked by a continuity of pre-Soviet buildings, in particular wooden houses, with some intrusive multi-storey buildings dropped into their middle or into the nearby countryside. While this description is, of course, an oversimplification, it is a bit easier to characterize the post-Soviet changes which affected settlement types, and the types and functions of buildings.

Seen through the eyes of an archaeologist, probably the most dramatic change in post-Soviet Russia has been the emergence and rapid growth of new suburbs of the 'Santa Barbara' type. Santa Barbara is a frequent nickname for new estates, derived from the American television series of the same name which was such a hit in Russia in the 1990s. Essentially, this is a totally new settlement type consisting entirely of two new house types: single-family homes, and (less often) low houses with a small number of flats each (usually four or six). The growth of this phenomenon has created vast new suburbs on the outskirts of all Russian towns, some of them purpose-built, but many growing up on former allotments where they replace old garden sheds and huts (dachas). In addition, an increasing number of new family homes have been inserted into existing, pre-Soviet town quarters with low buildings, usually replacing older houses.

The background of the building boom is, at least, twofold. The legal basis was created by the rapid lifting of Soviet-period limitations on dacha sizes and functions. The practical and economic basis was the availability of building materials which had been notoriously scarce in the Soviet Union. In the provincial capital of Stavropol, the first builders' shop opened in 1994 or 1995; and all the building materials, paints, fittings etc. on sale in that shop have been West European and Scandinavian (or occasionally East European, for example Polish, with a western-looking logo).

One might speculate that there is a third, social aspect to this phenomenon: the re-assertion of the family and of individuality in post-Soviet Russia — this, at least, is how an archaeologist would interpret the evidence.

The new house styles found in the new suburbs are not at all uniform — not surprising in the absence of direct antecedents. Some of the earliest houses which I saw in 1993 in the North Caucasus appeared to have been inspired by western, mainly American television soap operas. From about 1998 onwards, there has been clear evidence of architect-designed rows of German or Scandinavian-style family homes in the North Caucasus, and a German firm of architects advertised in Russian leisure magazines. New business buildings, in particular the obtrusive bank buildings in Moscow and in larger provincial towns, appear to have been inspired by western post-modern styles. The most recent addition (since c. 1997) to this range is a 'neo-traditional' style which harks back to older Russian architectural elements such as spires and onion-roofed towers, but incorporates these into the design of a family home.

For the formation of the archaeological record, it is important that the new house types are preferentially clustered in the 'new settlements' on the outskirts of towns. There is, of course, some overlap, with new houses being inserted in some quarters within existing settlements. Still, the pattern is clear enough to be interpreted by future archaeologists in terms of distinct populations or social groups.

In addition to new settlements and buildings, there has also been widespread renovation and abandonment of Soviet-period buildings. The economic collapse of the early 1990s has created a horizon of disused factories and abandoned facilities across the country. The collapse of internal tourism, initially for economic reasons, later because of the widespread redirection of holiday travel to destinations abroad, led to many hotel projects being abandoned in the first half of the 1990s, leaving half-finished ruins in the countryside (for example on the southern outskirts of Stavropol) and in tourist towns (for example Kislovodsk). Where tourism recovered, some of these ruins were completed around 2000.

Existing flats and buildings have been subject to some changes. The renovation of flats, encouraged by the growth of private ownership of flats and by the availability of building materials, has created concentrations of modern, invariably western fittings and furnishings in the typical, large blocks of flats of the Soviet period. At the same time, the building of new family homes has led to the desertion of some flats, but given the scarcity of accommodation in Russia, this is rarely a permanent desertion in each case. Office buildings and hotels are not infrequently partitioning internal space for secondary use. Sanatoriums in Kislovodsk hit by the slump in tourism were renting out rooms in the mid-1990s to businesses which basically just needed a desk and a telephone. Mobile telephone use and the recovery of tourism put an end to this particular re-use. Centrally funded institutions (such as the Academy of Sciences) which have been affected by the crisis and decline in state funding began renting out some of their office space. Secondary use of public buildings has long been identified as a widespread feature in the Late Roman Empire and the early post-Roman period.

An increasingly prominent feature of Russian buildings, be they new or renovated, is security. Many blocks of flats, particularly in Moscow, had acquired an outer security door, with access code, by the end of the 1990s. Even before that, many flats had been fitted with steel doors. New houses are often built with high perimeter walls, steel gates, and/or CCTV cameras. While enclosed yards are quite typical of rural houses in the North Caucasus, the development of this type into a 'fortress' style appears to be a new element of the post-Soviet period, and together with the other security measures mentioned, it reflects the increase in crime as a result of the weakening of central state institutions.

Ritual

There has been another building boom in Russia: the renovation of existing, and building of new, churches and mosques. This is an equally new phenomenon, after the deliberate neglect or secular use of religious buildings in the Soviet Union. New religious buildings have been constructed mostly in styles which are traditional for the respective religion, but there have been some innovative, interim measures such as the construction of corrugated-iron mosques in the North Caucasus (seen in 1993). This entire horizon of building is a clear reflection of the renaissance of religion in Russia in the post-Soviet period, and will undoubtedly be interpreted as such by future archaeologists.

Symbols, inscriptions and wall-paintings

The Cyrillic script facilitates the identification of foreign-language influences because these stand out clearly. Latin script was used in the Soviet Union extremely sparingly, and was generally limited to signs on Intourist hotels and a few roadsigns in areas with international tourism (the spa towns of the North Caucasus and the Black Sea coastal resorts being one such area). The names of the few western goods allowed in (such as Pepsi Cola) were transliterated into Cyrillic letters. As far as symbols were concerned, those of Communism (such as the red star and the hammer-and-sickle symbol) were everywhere, as were political murals and slogans on large banners or hoardings.

By 2001, these formerly ubiquitous symbols had become exceedingly rare, and one has to look for them now. Most Communist murals and virtually all slogans have disappeared, although there are a few interesting cases of adaptation of inscriptions and slogans to the new political conditions. Communist symbols survive in less exposed places, for example as engravings or in relief on Soviet-period architecture. But there are still some symbols which are highly visible, such as the red stars on top of the Kremlin towers. In some cases, practical and financial considerations may have slowed down or inhibited the replacement of the old symbols; thus, the Soviet star still features on the belt buckles of all soldiers of the Russian Army.

Many of the new official symbols are re-activated old symbols from the pre-Soviet period, foremost among them the flag and the double eagle. By contrast, many, perhaps most, of the non-official symbols and icons appear to be of foreign, mostly western origin; these include Walt Disney figures (Donald Duck, Mickey Mouse, etc.) as well as the swastika (on posters of the National Front and in graffiti). The conspicuous places once occupied by political murals and slogans are now taken up by a different pictorial display with western cultural affiliations: large-scale commercial advertisements on hoardings. Such advertisements do not only use clear elements of western (or imagined western) lifestyle, such as the Marlboro cowboy displayed at several prominent places in the middle of Moscow by the second half of the 1990s: they also use Latin script in the case of imported western brands.

From an archaeological point of view, this is a clear change in symbolism, and it is significant for several reasons. For a start, most ordinary Russians will not be able to read Latin script; they will only be able to decipher a few letters and guess the rest. In other words, for most of the audience Latin script is a not a textual, but a symbolic message promising western goods and lifestyle. Secondly, its use goes beyond logos. In advertisements, Latin script is used for additional text where, strictly speaking, a Latin logo on its own would have done. It is also used for titles of magazines and journals, such as Playboy, GEO etc. There is, thus, an attempt to use Latin script as widely as possible for western, or western-derived, products — this is the exact opposite of what happened to the Pepsi Cola logo in the Soviet period. And as western goods are everywhere (at least in the European part of Russia), whilst Russian goods are rarely advertised, Latin script is to be found everywhere.

Thirdly, and perhaps most significantly, Latin script is being used for designations of Russian shops, companies, and products — in other words: foreign script is used in purely 'native' contexts. I saw the first case of this transfer as early as 1993 in Cherkessk where a small kiosk at the bus station bore the letters SHOP: clearly a message aimed at the natives, not at foreign travellers (there weren't any). This practice spread rapidly, and by the later 1990s, it had become very widespread. The Russian oil companies LUKoil and ROKADA use Latin logos, as do, on a smaller scale, shops and firms everywhere; to name just a few from Stavropol: INFA computer shop, 'beauty' cosmetics salon, 'Ursa' distributors. Security guards in shops, banks and other installations often carry the Latin lettering 'Security' or 'Special Security' on chest or shoulders of their otherwise Russian paramilitary uniforms. Most interestingly, Latin script is also widely used in graffiti. I saw the first example of this in 1997, but I have no doubt that its beginnings are much earlier.

An archaeologist confronted with this very noticeable change of script and symbolism in the archaeological evidence would have no problems associating this with a change in trade patterns, but he may also infer some immigration, or at the very least a change in cultural models which is shown by the use of Latin script for Russian goods and services, and for symbolic messages (in graffiti).

The adoption of a foreign symbolic system implies the danger of misunderstandings and errors, and the possibilities of mixture and hybridization. Most typical are misinterpretations resulting from an incomplete knowledge of Latin script or western culture. The first example which I saw was the logo ADVANTAGE COLLECЧEN on a hand-knit jumper in a rural area of Cherkessia in 1993. Such linguistic errors have since become widespread on T-shirts throughout Russia. A different type of incomplete grasp of western symbols and language is demonstrated by a bag which was sold in Stavropol around 1998: it showed the American and the British flags side by side, and underneath them the lettering "American" (instead of America, or more precisely, USA) and "England" (instead of Britain), respectively. The use of a Swedish flag outside a shop for Finnish sauna installations (seen 1998 in Stavropol) may be a misunderstanding, or simply due to the unavailability of a Finnish flag.

Hybridization should be expected in such a situation, but there is little evidence of it so far, perhaps because of the short period of western influence in Russia, or possibly because the higher prestige of the western symbolic system discourages its dilution with 'native' symbols.

Conclusions

There are other interesting aspects of this culture change which have archaeological implications, such as chronological and geographical variations in the process. In addition, there have been phenomena, such as population decline and increased mobility and migration, which can throw light on past cases of empire collapse. But there is no space to deal with these issues within the limitations of this paper.

The process of material culture change as described above is not noticed as such by many Russians, not even Russian archaeologists, although most colleagues readily saw the point when I discussed my observations with them. To an outside observer, the overall effect of the changes has been nothing short of stunning. In some respects and in some places, Russia has changed beyond recognition. Since realizing this, I have wondered how, exactly, future archaeologists might interpret the evidence of this change. Will some of them conclude that it was the consequence of large-scale immigration from western Europe, Turkey, the USA and Japan? The formation of the archaeological record is likely to magnify the problem because it leads to an overrepresentation of imported goods, and to a clustering of new house types in new settlements outside existing towns. The time-scale of the change can only be described as blindingly fast in archaeological terms, which might

enhance the impression of drastic change brought about by population replacement rather than by acculturation in the wake of political and economic change. At the same time, the speed of the change will probably defeat chronological resolution and make it impossible to differentiate the various stages of the process.

Similar processes have happened elsewhere in eastern Europe, and China appears currently to be in the grip of a remarkably similar transformation of material culture and symbolic system (pers. comm. B. Birks). It is also worth remembering the process of Americanisation of western Europe after World War II. But the latter process was on a different time scale, and it did not involve two different symbolic systems. What makes post-Soviet Russia such an interesting case, and one that is different from China, is the preceding collapse of the political and economic system, and the disintegration of an 'empire' built on that system. This makes Russia a useful test case not just for the process of material culture change, but more specifically for the archaeological implications of 'systems collapse': the breakdown of a complex political, social and economic system, such as a state or an empire.

This suggestion raises a number of issues and questions. First, quite a few of my Russian colleagues would dispute that the USSR had been an empire, and that direct comparisons with, for example, the collapse of the Western Roman Empire and its aftermath are misleading. Second, it is the successor states of the collapsed Soviet Union which have adopted the material culture of the technologically and economically more developed western bloc. In other words, this is not a case which is directly analogous to the 'Barbarisation' of the Late Roman Empire and its successor states. It could even been argued that the Russian case is more similar to the process of Romanisation rather than to the collapse of *Romanitas*.

However, the third and most important issue is the social, economic and technological context of the Russian case which puts it in a rather different category from the collapse of prehistoric and early historical empires. Modern media, market economy and bulk transport provide conditions for the rapid dissemination of ideas and goods which are totally different from contexts in which the dissemination of ideas required personal contact, and the spread of material culture relied on personal mobility (if only that of traders).

Still, at a more general level, post-Soviet Russia is an important test case for our ideas on the underlying causes and contributory factors of culture change, and it deserves study both to refine our archaeological models, and as a case of modern culture change in its own right.

Acknowledgements. I am very grateful to Drs I. Arzhantseva and D. Korobov (both Moscow) who were kind enough to read, and comment on, an earlier, shorter version, but they are in no way responsible for any errors and misunderstandings of mine which are almost inevitable in this kind of 'ethnoarchaeology'. I am also indebted to A. Lychagin (Stavropol) for long discussions of the general phenomenon and its manifestations described here. Many other Russian friends and colleagues helped with information and explanations even though they may not have been aware of it at the time.

References

Anthony D.W. 1990. Migration in archaeology: The baby and the Bathwater // American Anthropologist. Vol 92: 895–914.

Arnold C.J. 1984. Roman Britain to Saxon England. London and Sydney.

Binford S.R., Binford L.R. (eds.). 1968. New perspectives in archaeology. New York.

Burmeister S. 2000. Archaeology and migration: Approaches to an archaeological proof of migration // Current Anthropology. Vol. 41. № 4.

Chapman J. and H. Hamerow (eds.). 1997. Migrations and invasions in archaeological explanation. Oxford.

Childe V.G. 1950. Prehistoric migrations in Europe. Oslo.

Clark G. 1966. The invasion hypothesis in British archaeology // Antiquity. Vol. 40: 172–189.

Clarke D.L. 1968. Analytical archaeology. London.

Collingwood R.G., Myres J.N.L. 1936. Roman Britain and the English settlements to about 600 A.D.. Oxford.

Härke H. 1998. Archaeologists and migrations: A problem of attitude? // Current Anthropology. Vol. 39. № 1.

Härke H. in press. Population replacement or acculturation? An archaeological perspective on population and migration in post-Roman Britain // The Celtic Englishes III (Anglistische Forschungen). Heidelberg, forthcoming.

Higham N. 1992. Rome, Britain and the Anglo-Saxons. London.

Hines J. 1990. Philology, archaeology and the adventus Saxonum vel Anglorum // Britain 400–600: Language and history. Heidelberg.

James E. 1979. Cemeteries and the problem of Frankish settlement in Gaul // Names, words and graves: Early medieval settlement. Leeds.

James E. 1988. The Franks. Oxford.

Klejn L.S. 1993. (Клейн Л.С. Феномен советской археологии. СПб.).

Mongait A. 1961. Archaeology in the U.S.S.R. Harmondsworth.

Musset L. 1965. Les invasions: Les vagues germaniques. Paris.

Myres J.N.L. 1986. The English settlements. Oxford.

Piggott S. 1965. Ancient Europe. Edinburgh.

Renfrew C. (ed.). 1973. The explanation of culture change: Models in prehistory. London.

Renfrew C. 1979. Systems collapse as social transformation: Catastrophe and anastrophe in early state societies / / Transformations: Mathematical approaches to culture change. New York [Reprinted in: Renfrew C. 1984. Approaches to social archaeology. Edinburgh].

Todd M. 2001. Migrants and invaders: The movement of peoples in the ancient world. Stroud.

Wieczorek A., P. Périn, K. Welck, and W. Menghin (eds.). 1996. Die Franken: Wegbereiter Europas. (Exhibition catalogue, Reiss-Museum Mannheim.) Mainz.

B. G. Trigger[1]

SETTLEMENT PATTERNS IN THE POSTMODERN WORLD: A STUDY OF MONUMENTAL ARCHITECTURE IN EARLY CIVILIZATIONS

Б. Триггер. Изучение монументальной архитектуры ранних цивилизаций.

Каждая ранняя цивилизация создавала монументальную архитектуру, стилистически отличную от архитектуры других цивилизаций. В статье рассматривается вопрос о том, как эти формы материальной культуры использовались порождавшими их обществами, служа и для усиления коллективной идентичности людей, живших в древних государствах, и для утверждения политического господства высших классов. Выделяются черты монументальной архитектуры, общие всем ранним цивилизациям, а также более специфичные черты, характерные для крупных государственных образований, таких как древний Египет, Перу инков, Китай династии Шань, либо городов-государств (Месопотамия, долина Мехико, йоруба, классические майя). В заключение рассматриваются способы использования монументальной архитектуры для усиления политической солидарности и власти высших классов в отдельных ранних цивилизациях. Специфика здесь частично объясняется различиями экологических условий, в которых развивались ранние цивилизации.

Leo Klejn is a holistic archaeologist who throughout his distinguished career has sought to understand the past in all possible detail. He has also, with great intellectual courage, refused to subscribe to dogmatic theories in his interpretations of archaeological data. In his study "Metaarchaeology" he observed that some truth is to be found not only in every theory of human behaviour but also in its opposite (Klejn 2001). While Western, unlike Soviet, archaeology has never been dominated by a single theory, it has not since the 1960s been free of theoretical dogmatism. In recent years, it has been divided into processual and postprocessual camps, which respectively advocate ecological and cultural approaches to the behavioural interpretation of archaeological data. In Britain these approaches tend to be viewed as mutually exclusive and battling each other for survival. In North America, because of the greater familiarity most archaeologists have with anthropology, they tend to be viewed as complementary. Yet this understanding has resulted not in any concerted attempt to integrate these two approaches but in a naive eclecticism.

Over the past twelve years, I have carried out a detailed comparative study of early civilizations in an effort to understand better the contribution that each of these approaches can make to understanding human behaviour and interpreting archaeological data (Trigger 1993, 2003). The most interesting accomplishment of this project was to document how these two major options were not the only ones required for a holistic explanation of human behaviour. This challenges the widespread assumption that in some way processual and postprocessual approaches alone hold the key to understanding archaeological data. In this paper I will present some of my findings and general conclusions as they relate to one of the archaeologically most visible features of complex societies. As a branch of settlement archaeology, the study of monumental structures has since the

[1] McGill University, Montreal, Canada.

1950s shared in the transition from predominantly behavioural to predominantly cultural explanations or to a mixture of both.

In "Monumental Architecture: A Thermodynamic Explanation of Symbolic Behaviour" (Trigger 1990a), I argued, in conformity with the basic premises of processual archaeology, that all peoples seek to conserve energy in activities that relate to the production and distribution of food and the other material resources needed to sustain human life. Such behaviour, I maintained, made the violation of this principle, in the form of conspicuous consumption — the expenditure of vast amounts of goods and energy for non-utilitarian purposes — a universally understood expression of authority and wealth. That, I argued, explained the universality of monumental architecture as symbols of power in early civilizations.

That paper, which aroused speculation that at last Trigger was about to become a processual archaeologist, was written somewhat tongue-in-cheek. I believed what I argued. Yet by labelling my construction a "thermodynamic explanation" I had, in mimicry of many early processualists who discussed anything other than subsistence behaviour, built into my argument without acknowledging it to my readers a non-adaptive, and hence a non-ecological, explanation. In this case it was Thorstein Veblen's (1899) notion of conspicuous consumption. More precisely, I was arguing that conspicuous consumption universally made metaphorical sense as an inversion of optimal foraging theory and more generally of Zipf's (1949) principle of least effort. For my explanation to work, Veblen's concept of conspicuous consumption had to be cross-culturally valid. While I presented anecdotal evidence to suggest that conspicuous consumption was cross-culturally recurrent with respect to a number of early civilizations, I did not establish it on the basis of independent evidence as a cross-cultural regularity, as processual archaeology required. I therefore left myself open to the charge of misrepresenting an unsubstantiated assumption as a general law to explain empirical observations.

Worse, the concept of conspicuous consumption was not only not thermodynamic in nature, it was psychological and therefore a form of explanation that Lewis Binford (1972: 198) had explicitly declared to be illegitimate in archaeology. While most formalist economists probably believe that conspicuous consumption is a behavioural universal, new cultural anthropologists, such as Clifford Geertz (1973), would argue that Veblen's concept is more likely to apply only to Western society. So I was inviting condemnation from both processual and postprocessual archaeologists. In the course of my comparative study of seven early civilizations, which I began about the time I published the paper on monumental architecture, I spent much time considering how archaeologists could grapple with these sorts of problems.

It is clear from archaeological and historical evidence that in every early civilization powerful and wealthy individuals and institutions sponsored the production not only of monumental architecture but also, mainly for their own use, of elaborate jewellery, clothing, furniture, religious objects, burial equipment, and ornamentation. Manufacturing such goods required a heavy investment in highly skilled craft workers and acquisition of rare and expensive raw materials. Objects of this sort exhibit varying degrees of stylistic uniformity, but those produced in any one early civilization are sufficiently different from those produced in another that experts, and even the informed public, have little trouble distinguishing them when they are displayed in museums.

These creations, the finest of which are widely admired in modern times for their beauty and expert crafting, were the subject of one of the British archaeologist Grahame Clark's last books, titled *Symbols of Excellence: Precious Materials as Expressions of Status* (1986). An inveterate reactionary, Clark lamented the passing of preindustrial hierarchical societies, which required "graded insignia to legitimize the exercise of power". Clark observed that the finest of these items were produced in those societies in which spending power was concentrated in the fewest hands;

in modern industrial societies, where democratic values resulted in larger numbers of people demanding access to high-quality goods, these were of declining quality.

In early civilizations, elite art styles are clearly different from those exhibited by objects made by and for commoners. The craftship is superior and the designs are more formally defined. Elite art styles appear to have evolved and defined their artistic canons quickly once upper-class patrons or purchasers became available (Kemp 1989: 19–63; Townsend 1979). They tended to bear little resemblance to the plebian art styles from which they evolved. This suggests that elite art styles developed as markers to help differentiate the upper from the lower classes. The use of elite styles in public places and for state purposes further symbolized the domination of early civilizations by the upper classes.

Monumental architecture also displayed idiosyncratic stylistic variation from one early civilization to another. It is no harder to distinguish the monumental architecture of early civilizations than to distinguish their art. The systematic study of stylistic differences in art and architecture is the principal concern of art historians.

Yet architecture is constrained to a significant degree by what is known about engineering, which in early civilizations was limited. Only a few early civilizations utilized true arches or domes, and then invariably on a small scale. Corbelled vaulting was more widespread, but not universal. Only in China was massive pole-and-beam construction employed, anticipating the structural steel frames of modern skyscrapers. The limited tensile strength of the materials used to erect monumental buildings generally meant that only narrow spaces could be roofed over without internal supports. If they were to be tall, buildings had to be solid for most of their height and their sides gently sloped to ensure their stability. In many early civilizations, low platforms, used to raise the floors of buildings above damp ground or the danger of flooding, developed into truncated, solid 'pyramids' that rendered the structures built on top of them visible from afar and affirmed their social importance.

Early civilizations produced relatively few categories of monumental architecture. Temples, palaces, and upper-class tombs all tended to evolve from earlier houses and in many early civilizations were literally called gods' houses, kings' houses, and houses of the dead. City walls, fortresses, and frontier defences were derived from the fortifications of earlier times. Almost no structures served general public functions in early civilizations, as did the libraries, stadiums, arenas, theatres, and baths that first appeared in Classical Western civilization. Mesoamericans built elaborate stone ballcourts, but these were religious structures and invariably part of temple complexes. The limited variety of structures and the derivation of all of them from the houses and fortifications of a previous era are characteristics of the initial stage that early civilizations represent in the development of complex societies; even if later preindustrial societies varied in the extent to which more specialized facilities were produced.

Building large structures required new forms of engineering knowledge and craft skills. This was especially so if the constructions were of stone, baked brick, or other materials not used by commoners to construct their own dwellings. Erecting such structures also required government officials to mobilize, direct, and provision labour forces and ensure that materials and workers were coordinated in an efficient manner. The erection of monumental architecture thus helped to develop administrative skills that could then be used for other purposes (Mendelssohn 1974).

The visibility of monumental architecture caused these constructions, created on the orders of the upper classes, to dominate the landscape in a way that identified them with society as a whole. This would have further naturalized and reinforced the social hierarchy. One must not, however, press functionalist interpretations too far. The interiors of temples, palaces, and tombs often were elaborately constructed and decorated, yet they were seen by only a handful of people,

or by no one once a tomb was sealed. Some work of this sort may have been intended to reinforce the self-esteem of the upper classes who alone had regular access to it. Other decoration was intended to be seen only by the gods or by the dead and had a supernatural purpose.

In addition to these limitations, general functionalist arguments, while important for understanding material culture, tend to be superficial and are not easy to ground in the evidential realities of specific early civilizations. Such arguments are best sustained by ascertaining cross-culturally how functional relations change or remain constant as one variable is substituted for another. In the course of my research on what I determined were the best documented examples, I defined two types of early civilizations: city-state systems and territorial states. The difference between these two types was not simply size, but also involved their political and economic organization. The socioeconomic differences between city-states and territorial states revealed by my study were ones that leave clear differences in the archaeological record and permit the two types to be distinguished even when no written documentation is available.

City-state civilizations, as found in Mesopotamia, among the Yoruba, in the Valley of Mexico, and among the Classic Maya, consisted of a cluster of small, adjacent states, each composed of an urban centre and surrounding agricultural land. Urban centres were inhabited by from 20 to 80 percent of the total population of each city state. Secondary administrative centres, if they existed, tended to be small and of limited importance. Many farmers, as well as most non-farmers, lived in urban centres in order to benefit from the protection they offered against endemic interstate warfare. Full-time craft workers also generally lived in cities and produced goods that were available to anyone who could afford to purchase them at local markets. This gave even farmers a chance to obtain well-made goods. A small number of these specialists crafted superior goods for the state and the upper classes. Long-distance trade tended to be carried on by merchants who normally operated independently of the state, an arrangement that made it possible to obtain both prized and essential raw materials even during prolonged episodes of interstate warfare (Trigger 1993: 8–10).

Territorial states, as found in ancient Egypt, Inka Peru, and Shang China, were much larger polities governed by hierarchies of officials acting at the central, regional, and local levels. The urban centres of territorial states were occupied by a much smaller proportion of the total population than were those of city states: usually less than ten percent. These centres were occupied only by members of the upper classes, government officials, soldiers, retainers, and craft workers employed by the government. Farmers, being relatively well protected from foreign attack, lived in villages located near the fields they cultivated. They also manufactured the goods they needed from locally-available raw materials during slack periods in the yearly agricultural cycle. Because these goods were manufactured by part-time specialists, they were generally inferior to the best that was available to farmers in city-state systems. Such goods were generally exchanged among adjacent rural households or bartered at local markets.

The central government controlled the acquisition of valuable raw materials by monopolizing mining operations and foreign trade, which were activities supervised by government officials. These raw materials were transformed by elite craft workers attached to state institutions into high quality luxury goods, which the king and his officials distributed among the upper classes and used to reward a few commoners who had served the state in some outstanding way. Control of production and distribution of luxury goods by the central government played a major role in holding the state together (Trigger 1993: 10–12).

Historical evidence for the seven early civilizations I studied does not support Colin Renfrew's (1997) claim that city-state civilizations evolved into territorial states or Joyce Marcus's (1998) counterclaim that early civilizations began as territorial states, which broke apart to form city

states. As Gordon Childe (1928) recognized in his comparative study of Egypt and Mesopotamia, both types formed at an early stage in the development of complex societies and persisted over long periods. In the course of time, some city-state systems were politically unified and the urban centres of some territorial states began to produce goods for an expanding market economy. The result, however, was not the transformation of city-state systems into territorial states or territorial states into city-state systems but the convergent development of a new and more complex form of preindustrial society (Trigger 1985).

It is also argued that there were more than two varieties of early civilization and in particular that some early civilizations were more heterarchical, or politically polycentric, and less hierarchical in their political structure than either of my types (Kenoyer 1997; Maisels 1999: 186–259; Possehl 1998). The existence of such early civilizations would make states an optional, rather than an inevitable, consequence of increasing social complexity and leave open the utopian possibility that states and economic inequality are only accidental features of modern industrial societies. Yet the proposed examples of such early civilizations are poorly documented and the interpretations not well enough supported to render them persuasive. Such arguments resemble the idiosyncratic interpretations of Classic Maya societies as theocracies that prevailed prior to the decipherment of the Maya script (Thompson 1954).

In recent years it has been debated whether Shang China was a city-state system or a territorial state. Archaeological evidence is limited, but what is available concerning settlement patterns and the production of elite goods strongly suggests that the Shang kingdom constituted a territorial state as I define that concept. China may have differed from Egypt in having a number of territorial states during the Shang period, as Peru seems to have had prior to the Inka hegemony. The organization of the early Zhou state indicates that, rather than being a city state, it too was a territorial state co-existing alongside the Shang kingdom and sometimes dominated by it (Trigger 1999).

In city-state systems, individual states varied in power and wealth. Hegemonic states prospered by extracting tribute from neighbouring city states and rearranging intercity trading patterns to their advantage. Their prosperity was reflected in the larger size of their urban centres and the unusual scale and magnificence of their monumental architecture. The Assyriologist Leo Oppenheim (1964: 117) observed that "real prosperity came to a Mesopotamian city only when it had in its midst the palace of a victorious king". The sanctuaries and palaces of such a city were sumptuously adorned and traders, craft workers, and retainers flocked there to serve its ruler. On the other hand, military defeat usually led to a cessation in the construction, enlargement, and repair of monumental structures.

The urban centres of city states were relatively compact. All of them appear to have contained some agricultural or forested land within their limits. In the Valley of Mexico, adjacent kitchen gardens were a regular feature of commoners' dwellings and among the Maya residential units generally were surrounded by large gardens. This increased the size of such cities and lowered their population density. Yoruba and Mesopotamian cities were encircled by defensive fortifications. Yoruba city walls were constructed of earth and made nearly impregnable by planting them with thornbushes. Mesopotamian city walls were built of mudbrick and their height and thickness were interpreted as statements concerning the relative power and wealth of their city states. The fortifications around the city of Uruk were regarded in later times as a testament to the former greatness of that city and as the most enduring physical accomplishment of its hero-king Gilgamesh.

The urban centres of city states were marked by large buildings or complexes of buildings. In the Valley of Mexico, Mesopotamia, and among the Maya these were temples, some of which were erected on high platforms and hence were visible from afar. In the Valley of Mexico and

Mesopotamia, these temple complexes were often separated from the rest of the city by an enclosure wall. Palaces, which served both as royal residences and administrative centres, were located either adjacent to the central temple complex or in some other part of the city. Generally, palaces were only one or two storeys high. At the centre of Yoruba cities was the *afin*, or palace, which contained meeting places for hereditary government officials, major shrines, and the royal residential complex. The afin was surrounded by a wall, which enclosed not only its building complexes but also variable amounts of forested and agricultural land used for ritual purposes (Ojo 1966). All these monumental buildings were constructed and controlled by the upper classes. In Mesopotamia in early times temple construction may have been the responsibility of individual temple corporations, but, by the historical period, building and maintaining temples was a prerogative of the monarch. In the other city-state systems, the central monumental structures were built and maintained in the name of the king.

Royal tombs were in general a minor feature of city-state civilizations. Aztec rulers were cremated and their ashes deposited in city temples. The bodies of Yoruba kings were often interred in wooden chambers under small mounds in special royal burial grounds, which were sometimes located outside the city. Mesopotamian rulers were buried in small underground chambers, often located in or near the central temple complex. Maya rulers likewise constructed relatively small tombs that were excavated into the rock in the city centre. Over or near the tomb of each Maya ruler a temple was constructed. In these temples, each dead king was identified with a major cosmic deity from whom the royal family claimed descent. Thus these temples served as places to worship both dead kings and major cosmic deities, much as was done in Cambodia prior to that civilization's conversion to Buddhism (Coe 1961). By identifying dead kings with major cosmic deities, Maya rulers seem to have been coopting what otherwise would have been communal temples for their own use.

Monumental architecture displayed a distinctive style in each city-state system. This style reflected the shared knowledge, tastes, and identity of an upper class that intermarried, exchanged gifts, and forged alliances, as well as competed, on a regional scale. Yet the upper classes of each city state developed urban layouts and constructed monumental architecture that displayed distinctive features and provided each city state with its own stylistic identity. When constructing monumental buildings, the Maya often utilized a modular arrangement consisting of a north-south alignment of royal funerary temples, a plaza and ballcourts, and "palaces", which may have served as dynastic cult centres as well as administrative and royal residential complexes (Freidel 1992: 122–125). Nevertheless, the style of these various architectural features and how they were articulated differed from one urban centre to the next. Although Maya monumental architecture appears to have varied stylistically more than in the other city-state systems we have studied, any form of intercity diversity emphasized the separate identity of each city state in a way that helped to unify all its people in a context in which economic and military competition among the upper classes of neighbouring city states was the norm.

In city-state systems monumental architecture also expressed dynastic ambitions and achievements, and sometimes was used as a strategy for coping with weaknesses or disaster. Temples I and II at Tikal were part of an elaborate building programme that celebrated Tikal's defeat in AD 695 of its longtime hegemon and oppressor, the ruler of Calakmul. That victory, which did much to restore the political power that Tikal had possessed in the Early Classic period, was celebrated architecturally in a manner that was both innovative and impressive (Harrison 1999: 125–146). Conversely, the Ur III rulers, who dominated southern Mesopotamia, expressed their control over neighbouring city states by erecting a series of ziggurats, or temples built on solid brick platforms, of unprecedented size to honour the gods of these polities. Monumental architecture was not

limited to reflecting political reality. Seventeen years after the southern Maya city of Copan was defeated and its ruler captured and killed by the nearby vassal state of Quirigua in AD 738, its new king undertook a massive programme of architectural renewal that was intended to restore at least in outward appearance Copan's former prestige (Fash 1991: 139–151). The Late Classic rulers of the small Maya state of Palenque partly compensated for their limited revenues and the small size of the buildings they were able to erect with the exceptional beauty and harmonious proportions that their architects gave to these structures (Freidel & Schele 1988: 64–67). Architecturally Palenque sought to rise above its rulers' material limitations.

In territorial states, urban centres were occupied by a much smaller percentage of the total population; normally less than 10 percent. The layout of major administrative centres tended to be segmentary and dispersed rather than nucleated in the fashion of urban centres in city states. Rulers and members of the high nobility sought to live apart from the rest of the population. Their residences often were surrounded, at a considerable distance, by settlements of elite specialists and retainers.

The most impressive surviving structures associated with the Egyptian Old Kingdom administrative centre of Mennefer (Memphis) are the royal pyramids and tombs of the upper classes. The oldest of these structures, which include the Step Pyramid complex of King Djoser, were located just beyond the edge of the Nile Valley due west of Mennefer. The later pyramids of the Fourth Dynasty, build on the Giza Plateau some 20 kilometres to the northwest, included the two largest single structures constructed anywhere until modern times. The principal administrative centre at Mennefer was an official palace surrounded by a rectangular mudbrick wall that was used to celebrate major royal rituals, such as enthronements of kings and the Sed festival, which sought to renew the physical powers of aging rulers. To the south of this palace was the temple of Ptah, the creator god of Mennefer. These two structures appear to have been surrounded by the residences of officials and the houses and work places of civil servants, soldiers, skilled artisans, and retainers. Royal residential palaces were located to the west near the pyramid site of the reigning king, as well as elsewhere throughout Egypt. To the northeast at Iwnw (Heliopolis), the state temple of the solar creator deity Atum was built on top of a high, squarish mound that measured over 300 metres on each side (Quirke 2001: 73–114). In the Fifth Dynasty, successive kings erected substantial solar temples west of Mennefer, in which they were individually identified with the sun god. Between these major political and ritual locations were various less important administrative centres, upper-class rural dwellings, and peasant villages.

According to Inka traditions, their capital city Cuzco had been designated by their solar creator god to be the centre of the world. It was here that the original Inka rulers had lived and from which their kingdom had grown. At the centre of Cuzco was a royal residential and administrative zone composed of stone palaces belonging to the reigning and former kings, temples, cloisters for celibate women who served the gods, and two centrally located squares used for state celebrations and communal religious rituals. Most of this zone was located between two small rivers and the continuously built-up area covered no more than half a square kilometre. Like all Andean communities, Cuzco was divided into an upper moiety and a lower one. The upper half was occupied by the reigning king and the descendants of recent rulers and the lower half by the descendants of earlier monarchs. The section associated with the lower moiety included the Qorikancha, or main temple of the sun god, which was associated with the founding of Cuzco by the first Inka ruler.

This central core was surrounded by cultivated fields and then by a ring of settlements that housed the higher-ranking non-Inka nobility of the region, as well as visiting nobles from other parts of the kingdom, soldiers, craft workers employed by the state, and retainers. Beyond these

settlements were more farming communities and the elaborate rural residences of Inka kings and high-ranking nobles, mostly located in the Urubamba Valley. One of the most distant of these residences was Machu Picchu, which was built at a lower altitude as a winter residence by the Inka king Pachakutiq.

The structures the Inka government erected most frequently were palaces and temples. Both were built in the form of *kancha*s, or walled courtyards surrounded on the inside by one-room buildings. Although magnificently constructed of fitted stones and covered by elaborately thatched roofs, these buildings were larger and fancier versions of Andean rural farmhouses. Still larger *kallanka*s, or halls, were built as places where public rituals could be celebrated indoors in bad weather or work teams could rest while travelling from one place to another on state business. The largest and most ambitious structure in the Inka state was Saqsawaman, which was a ritual centre as well as a fortress where the Inka upper class of Cuzco could defend itself in case of attack (Gasparini & Margolies 1980). The mummified bodies of dead kings and queens continued to reside in their palaces and rural residences, where they were attended by their descendants who did not become kings. Unlike Egypt, no buildings were erected specifically as royal tombs.

The most imposing structures erected by Shang rulers during the early and middle Shang Dynasty were massive enclosures of stamped earth. They appear to have served as royal administrative centres. Inside these enclosures, large stamped-earth platforms supported palaces and other government buildings. The king and his household, as well as other high-ranking members of the royal family, may have lived within these vast enclosures together with administrators, guards, and retainers. Temples, especially those associated with the worship of royal ancestors, were located inside palaces. Around these enclosures, but not immediately adjacent to them, were dispersed villages occupied by elite craft workers, many cemeteries for the various classes in society, and, at a greater distance, farm villages. The late Shang administrative capital at Anyang appears to have been even more dispersed. Near its centre was an elaborate palace complex but no evidence of a walled enclosure. Scattered around this complex were upper-class residences, sites occupied by elite craft workers, elite burial sites, settlements occupied by both members of the upper classes and commoners, and farming villages (Chang 1980: 70–135).

When dealing with territorial states, we also must consider the role played by monumental architecture beyond their capital cities. Territorial states had one or more main administrative centres. If these centres were multiple, the king and his court moved from one to another on a regular basis. In addition, the administration of a territorial state required regional, or provincial, as well as local centres. In Egypt, during the Old Kingdom, a single capital was located at Mennefer. At, and in the vicinity of, Mennefer tombs, temples, and palaces were constructed by the government in the Early Formal Style. In most provincial centres, administrative offices, storage facilities, and temples appear to have been built in variable local styles. The king may have presented these temples with cult statues of deities made in government workshops and have wholly or partially supported their operation from taxes collected by the central government. He also may have directed larger subsidies to cult centres that were located in places that were of special historical or strategic importance, which resulted in larger and more elaborate temples being built there. The government also constructed forts and defensive barriers along the frontiers to control foreign trade and keep the population of Egypt caged within the borders of the state and hence more subject to royal authority. It has been argued that these fortifications greatly exceeded in size what was necessary and this has been interpreted as reflecting the natural tendency of the Egyptian state to hypertrophize, or needlessly increase the size of, its constructions (Adams 1977: 187–188). Yet oversized forts would have intimidated foreigners, while at the same time they would have both awed and reassured Egyptians; hence royal construction of such structures probably paid off politically and militarily.

Monumental architecture emphasized the unity of the Egyptian realm in a literal fashion. In the Old Kingdom, state construction was concentrated on the frontiers and at the centre of the state in the Mennefer area. In particular, it was focused on the tombs of successive kings, who in death as well as life, guarded the fertility of the land and the unity of the kingdom. The king, a singularity in a belief system largely structured in terms of assymetrical dualities, performed the same role on earth as did the creator god from whom all things were believed to be derived in respect of the cosmos. Mennefer was, like the king, a singularity symbolizing the unity of the Egyptian state. The original name of the administrative centre was Ineb Hedj, or White Wall, which referred to a whitewashed mudbrick palace enclosure that according to Egyptian tradition had been constructed there by Menes, the first king of the First Dynasty. Located a short distance north of the border between Upper and Lower Egypt, Ineb Hedj's name and walls symbolized the dominance of Upper Egypt, associated with the colour white, over Lower Egypt, associated with the colour red. This arrangement was also an example of assymetrical duality, which was based on the idea that the cosmic order was maintained by the dominance of one quality over its opposite, in this case Upper over Lower Egypt.

Beginning in the Middle Kingdom, the Egyptian government built and decorated stone shrines in the formal style to honour gods throughout Egypt. In the New Kingdom whole temples were constructed by government craft workers (Kemp 1989: 65–83) and, while Mennefer remained an important administrative centre, additional capitals were established in the south at Waset (Thebes) and in the northeast at Pi-Ramesses. The construction by government craft workers of temples in provincial centres represented a new strategy for re-asserting the control of the central government over the whole of Egypt following the breakdown of central control at the end of the Old Kingdom. The establishment of extra capitals in the south and north of Egypt during the New Kingdom appears to have been related to maintaining the lucrative tributary systems that the Egyptians had established at that time in Nubia and southwestern Asia.

Inka government officials resided in all provincial centres, where they were provided with official residences and storage facilities, and temples were constructed for the worship of Inka deities. The Inka also established major regional centres throughout the core of their state. Huanuco Pampa is the best preserved and studied of these centres (Morris & Thompson 1985). Within them all major structures were built in the Inka style. An official residence, used by the king on visits and perhaps by the Inka governor of the local province at other times, houses for women dedicated to religious service, assembly halls, and temples were constructed of carefully fitted stone blocks with trapezoidal niches, while workers' houses and the granaries, located on the outskirts of the settlement were built of field-stone masonry. Each of these centres also contained a large open square and an *ushnu*, or raised platform, that symbolically connected the earth and the sky world. Skilled stone cutters were sent from Cuzco to train local masons how to construct Inka-style buildings.

Some provincial centres were called "New Cuzcos". They were equipped with all the buildings and ceremonial loci that the Inka king needed to perform essential rituals throughout the year, whether he was residing in Cuzco or away from the capital waging war or inspecting provinces. These centres included Quito and Tomebamba in the far north, where Wayna Qhapaq, the last established Inka ruler, lived for long periods, Huanuco Pampa in the Central Highlands, Inkawasi, a short-lived centre on the central coast of Peru, Hatun Colla near Lake Titicaca, and Charcas in modern Bolivia. The topography and architecture of these centres often did not visibly resemble Cuzco, but the communities had enough features in common to make them equivalent in the judgement of Inka ritualists. Forts were constructed along the landward frontiers of the Inka state to prevent incursions by foreign peoples and perhaps, as in Egypt, to reduce the chances of

malcontents escaping from Inka control. Most of these forts appear to have been utilitarian in design and construction (Hyslop 1990).

The Inka kingdom was much larger and geographically more diverse than was ancient Egypt. Fertile valleys and grasslands were separated by uninhabitable mountains and deserts. Despite the extensive use of corvee labour from distant locations for Inka construction projects in the Cuzco area, relatively few Inka subjects born in far away regions would ever see Cuzco. Regional centres, with buildings constructed in the official Inka style and Inka-style buildings in other provincial capitals constituted symbols of royal power throughout the kingdom. Most of these structures, and those exhibiting the highest quality construction, were located in the highland core of the kingdom. This was the region that benefitted most from Inka rule, which provided its inhabitants with direct access to lowland resources. The Inka also relied on the people of this region to provide the military support necessary to hold the kingdom together.

The Shang state appears to have had multiple capitals, including an ancestral cult centre at Shangqui in the southeast, and an administrative centre at Zhengzhou, and later at Anyang, to the northwest. Texts describe Shang rulers travelling extensively about their kingdom, defending it against invaders, asserting their authority, and hunting and dining with subordinate officials. Hereditary officials belonging to lineages related to the royal family governed provinces from their own administrative compounds. Both the words that later meant town (*yi*) and state (*guo*) appear initially to have referred to these fortified upper-class residences (Hsu & Linduff 1988: 268–269). The central government was also concerned with defending the borders of the kingdom, especially from pastoralists living to the north and west.

Conclusion

Monumental architecture was a creation of the upper classes in early civilizations and served various political purposes. Monumental buildings asserted the power of rulers, the size and splendour of these structures often correlating with the power and wealth of those who ordered their construction. The centrality, size, and distinctive style of such structures also emblematically promoted political cohesiveness by enhancing a sense of belonging to a specific polity among all classes.

Rulers in territorial states had the resources to erect much larger buildings than did rulers of city states. The common theme of their structures was royal power. The largest ones were royal palaces, tombs, administrative compounds, and forts rather than temples. These structures frequently were isolated from lower-class settlements, being located at the centre of a dispersed urban settlement or on its outskirts. Such buildings and their locations expressed the power and exclusiveness of the king and highest officers of state.

The construction in all early civilizations of buildings that were larger and more elaborate than was functionally necessary suggests that conspicuous consumption was universally equated with power in these societies. Monumental architecture provided enduring evidence of such power. These structures were highly visible but the upper classes were able to control access to them, what went on inside them, and how visible such activities were to other people. Such visibility, exclusivity, and induced mystery enhanced the power that commoners attributed to them.

The universality of monumental architecture in early civilizations runs contrary to what relativist cultural anthropology or postprocessual archaeology would predict. The creation of such structures was grounded not in reasoning that was specific to individual cultures but in cognitive and behavioural tendencies that are pan-humanly grounded. These tendencies would have have included the cross-cultural recognition of hierarchy as a normal human condition, of conspicuous

consumption of resources as an expression of status and power, and of the construction of elaborate, labour-consuming structures as a powerful form of conspicuous consumption. Such behaviour was grounded, not in the ecologically adaptive considerations that constitute the theoretical focus of processual archaeology, but in metaphorical thinking that is common to all human groups (Lakoff 1987; Tilley 1999) and in competitive behaviour that seems to have been largely repressed in small-scale, hunter-gatherer societies, where a general inability to accumulate food surpluses made generalized reciprocity desirable. In such small societies gossip, public criticism, and fear of witchcraft kept greed and self-assertiveness under control. Yet these cultural mechanisms ceased to be effective as societies grew larger and more complex. This demonstrates that specific behavioural tendencies are not equally easy to control under all social conditions (Lee 1990; Trigger 1990b).

Such findings challenge archaeologists and anthropologists to work more closely with neuroscientists to learn more about general patterns in human cognition: a trend now well-established in British archaeology as a result of efforts by Steve Mithen (1996), Colin Renfrew and Chris Scarre (1998), and others. The challenge, however, is to transform often self-serving speculation about the nature of human cognition into scientifically grounded propositions.

The difference in the nature and deployment of monumental architecture in city-state systems and territorial states also suggests the continuing importance of functional explanations grounded in sociopolitical theory. In particular, a renewed interest in one long-ignored type of functionalist analysis — information theory — seems in order (Flannery 1972; Johnson 1978, 1981; Rathje 1975). The various strategies that individual territorial states pursued with respect to using monumental structures as symbols of power can in some instances be explained as adaptations to different ecological conditions, while other strategies may represent free cultural variation.

Only in style do we find the idiosyncratic variation in architecture from one culture to another that cultural anthropologists and postprocessual archaeologists regard as typical of human behaviour. The challenge in the case of style is to understand how and why there is so much consistent patterning within each cultural tradition. Clearly style has to do with cognitive identification and the use of such identification to convey important messages about class differentiation, political power, and social cohesion. Once again, the answer to such questions appears to lie within the domain of cognitive science (Gellner 1982). What is most striking is how little ecological theory explains about architecture in early civilizations and how broad a range of other types of theory archaeologists must consider in order to understand monumental architecture comprehensively and rigorously. The key to understanding human behaviour and the archaeological record is not associated exclusively with the ecologism of processual archaeologists, the cultural approaches of postprocessual archaeologists, or some combination of both. The existence of cross-cultural uniformities that cannot be accounted for ecologically requires that attention be paid to the operation of the human mind and the varied needs and predispositions of the human organism. This constitutes an interest in what nineteenth-century anthropologists would have called "psychic unity" (Brown 1991). Theoretical economy is self-defeating if it ignores or distorts the complexity of what must be explained.

Acknowledgement. This paper is based on the Albert and Charlotte Spaulding Memorial Lecture which I delivered at the University of California, Santa Barbara, February 28, 2002. I thank Brian Fagan, his colleagues, and the graduate students at Santa Barbara for their hospitality during my visit and also Dr Barbara Welch for her comments. For more detailed documentation, see Trigger 2003.

References

Adams W.Y. 1977. Nubia. London.

Binford L.R. 1972. An Archaeological Perspective. New York.

Brown D.E. 1991. Human Universals. Philadelphia.

Chang K.C. 1980. Shang Civilization. New Haven.

Childe V.G. 1928. The Most Ancient East. London.

Clark J.G.D. 1986. Symbols of Excellence. Cambridge.

Coe M.D. 1961. Social Typology and the Tropical Forest Civilizations // Comparative Studies in Society and History. Vol. 4: 65–85.

Fash W.L. 1991. Scribes, Warriors and Kings. London.

Flannery K.V. 1972. The Cultural Evolution of Civilizations // Annual Review of Ecology and Systematics. Vol. 3: 399–426.

Freidel D.A. 1992. The Trees of Life: Ahau as Idea and Artifact in Classic Lowland Maya Civilization // Ideology and Pre-Columbian Civilizations. Santa Fe.

Freidel D.A. & L. Schele. 1988. Symbol and Power: A History of the Lowland Maya Cosmogram // Maya Iconography. Princeton.

Gasparini G. & L. Margolies. 1980. Inca Architecture.Bloomington.

Geertz C. 1973. The Interpretation of Cultures. New York.

Gellner E. 1982. What is Structuralisme? // Theory and Explanation in Archaeology. New York.

Harrison P.D. 1999. The Lords of Tikal. London.

Hsu C.Y. & K.M. Linduff. 1988. Western Chou Civilization. New Haven.

Hyslop J. 1990. Inka Settlement Planning. Austin.

Johnson G.A. 1978. Information Sources and the Development of Decision-making Organizations // Social Archeology. New York.

Johnson G.A. 1981. Monitoring Complex System Integration and Boundary Phenomena with Settlement Size Data // Archaeological Approaches to the Study of Complexity. Amsterdam.

Hyslop J. 1990. Inka Settlement Planning. Austin.

Kemp B.J. 1989. Ancient Egypt. London.

Kenoyer J.M. 1997. Early City-States in South Asia // The Archaeology of City-States. Washington.

Klejn L.S. 2001. Metaarchaeology // Acta Archaeologica. Vol. 72. № 1.

Lakoff, G. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago.

Lee R.B. 1990. Primitive Communism and the Origin of Social Inequality // The Evolution of Political Systems. Cambridge.

Maisels C.K. 1999. Early Civilizations of the Old World. London.

Marcus J. 1998. The Peaks and Valleys of Ancient States // Archaic States. Santa Fe.

Mendelssohn K. 1974. The Riddle of the Pyramids. London.

Mithen S.J. 1996. The Prehistory of the Mind. London.

Morris C. & D.E. Thompson. 1985. Huanuco Pampa. London.

Ojo G.J.A. 1966. Yoruba Palaces. London.

Oppenheim A.L. 1964. Ancient Mesopotamia. Chicago.

Possehl G.L. 1998. Sociocultural Complexity Without the State // Archaic States. Santa Fe.

Quirke S. 2001. The Cult of Ra. London.

Rathje W.L. 1975. The Last Tango in Mayapan // Ancient Civilization and Trade. Albuquerque.

Renfrew C. 1997. Review of Early Civilizations, by B. Trigger // American Journal of Archaeology. Vol. 101: 164.

Renfrew C. & C. Scarre (eds.) 1998. Cognition and Material Culture. Cambridge.

Thompson J.E.S. 1954. The Rise and Fall of Maya Civilization. Norman.

Tilley C.Y. 1999. Metaphor and Material Culture. Oxford.

Townsend R.F. 1979. State and Cosmos in the Art of Tenochtitlan. Washington.

Trigger B.G. 1985. The Evolution of Pre-Industrial Cities // Mélanges offerts ŕ Jean Vercoutter. Paris.

Trigger B.G. 1990a. Monumental Architecture // World Archaeology. Vol. 22: 119–132.

Trigger B.G. 1990b. Maintaining Economic Equality in Opposition to Complexity // The Evolution of Political Systems. Cambridge.

Trigger B.G. 1993. Early Civilizations. Cairo.

Trigger B.G. 1999. Shang Political Organization // Journal of East Asian Archaeology. Vol. 1: 43–62.

Trigger B.G. 2003. Understanding Early Civilizations. New York.

Veblen T. 1899. The Theory of the Leisure Class. New York.

Zipf G.K. 1949. Human Behavior and the Principle of Least Effort. Cambridge, MA.

А.А. Ковалев[1]

ДРЕВНЕЙШАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ ЗАГРОСА В КИТАЙ И ПРОБЛЕМА ПРАРОДИНЫ ТОХАРОВ[2]

A.A. Kovalev. The ancient migration from Zagros to China and the problem of the origin of the Tokhars

The available archaeological materials belonging to nomad peoples who surrounded Chinese statelets during Yin period (13 — 11 cc. BC) can be pooled into one typological unity. The author has proposed it should be called the Chaodaogou culture (Kovalev 1987 (in russ.), Kovalev 1992). This culture is characterized by axes with elliptical shaft-hole, mushroom-shaped and rectangular projections on the butt (fig. 1), also by "plated" daggers with the guard as thick as the blade (fig. 2) and by knives and other things decorated with goat head made in an expressive style (fig. 3). Numerous artifacts from Mongolia, Xinjiang, South Siberia also belong to this culture. Judging by the presence of some typical Chaodaogou things in the complexes of Karasuk culture the latter cannot be later than the 11th c. BC (fig. 4).

In the earlier cultural context the typical attributes of Chaodaogou culture from West Iran and the North East of Iraq (the Zagros highlands) are known. A shaft-holed axe and a "plated" dagger were the base of the armament of the ancient Elam in the second half of the 3rd millennium BC (Tallon 1985). "Plated" daggers are known only from Iran complexes of that period (fig. 5). Luristan axes with cylindrical shaft-hole and mushroom-shaped projections on the butt (fig. 6) can be dated from the last third of the 3rd millennium BC, according to the analogies from dated complexes (fig. 9, 10).

During the ancient Babylon period axes with projections on the butt, rectangular blade and elliptical shaft-hole (fig. 7, 8) were spread in the North-West of Iraq. The traditions of manufacturing such axes and axes with mushroom-shaped projections could have influenced the origin of axes of "Chinese" Chaodaogou culture. The majority of pins and other ornaments from the North-Eastern Iraq bearing goat-head decorations of an expressive style similar to that of Chaodaogou (fig. 11) should be dated to the first half of the 2nd millennium BC, according to the analogies from dated complexes (fig. 11 (9–12)).

Thus, the migration of ancient Zagros population to highlands surrounding the Central Plain of China could have occurred not later than the middle of the 2nd millennium BC. This migration can be connected with the movement of the Tokharian-speaking population. The study of the relations between the Tokharian and Uralic languages leads to a conclusion that there was no influence of Tokharian language or it was mediated. On the other hand the Uralic substrate can be traced in the Tokharian language. The author believes that during the Bronze Age the Tokharians were located far from the area occupied by the protouralic and protofinno-ugrian peoples (the forest zone of Eurasia) and assimilated a part of the Ural population which appeared to the South from this region. In addition, the peculiarities of the Tokharian grammar and syntax can be explained as a result of contacts with languages of Dravidic and the North Caucasus groups (Krause 1951, 1955; Menges 1964, 1967). Thus a more detailed investigation of the relations between the Tokharian and the Elam and Hurrian languages is necessary (hurr. Kiklip-atal ~ tokh. A *kuk(ä)li-(y)ap?-atäl; hurr. Kikkuli ~ tokh. A *kuk(ä)li?; hurr. -aš-ši-il ~ tokh. A Com. –aśśäl; hurr. -an-na ~ tokh. B p. -(a)ne), as well as a new study of the problem raised by W. B. Henning: the possibility of Tokharians

[1] Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Россия

[2] Текст приведен в авторской редакции. Прорисовки с фотографий и рисунки с натуры выполнены А.А. Захаровой.

(Kushans) identification with Gutians (and "Tukrish") which inhabited Zagros highlands during the Early and Middle Bronze Age (Henning 1978).

В 1956 году М. Лёр выдвинул предположение о происхождении «ордосских» втульчатых топоров от переднеазиатских прототипов (Loehr 1956: 29–31). Сходство таких изделий, находимых на далеком востоке Азии, с «луристанскими бронзами», констатировалось и в дальнейшем (У Энь 1985: 144), однако не получило удовлетворительного культурно-исторического объяснения. Нельзя считать таковым и широкие «карасукско-киммерийские» обобщения Н.Л.Членовой (Членова 1972: 131–135, 1991), критике методологии которых посвящено в последнее время немало работ (см. Kovalev 1992, Хаврин 1994, Чжун Сук Бэ 2000). Известные на сегодняшний день материалы позволяют детально рассмотреть характер и особенности культурных связей древних народов Западного Ирана и Северо-Восточного Китая во II тысячелетии до н.э..

Публикации китайских археологов открыли возможность типологического выявления отдельных культурных общностей скотоводческих племен бронзового века, характеризующихся единством территории и времени бытования. Древнейшая общность такого рода охарактеризована мною под условным названием «культура Чаодаогоу» (Ковалев 1986: 46; Kovalev 1992: 48–62). Она включает втульчатые топоры с перпендикулярным расположением втулки и подпрямоугольной лопасти и обязательным выступом (подпрямоугольным или грибовидным) на обушке, кинжалы с пластинчатым перекрестьем, не утолщенным по сравнению с лезвием и рукоятью, и навершием в виде головы барана, горного козла или бубенчика, дугообразнообушковые (или "хвостатые") ножи с утолщенной выделенной гардой без подрезки, с кольцевыми, двукольчатыми навершиями, либо навершиями в виде головы барана или козла, а также ложечки с подвесками. Основным иконографическим элементом "звериного стиля" культуры Чаодаогоу были изображения головы горного козла с утрированно вытянутой мордой, рельефно (иногда — в виде трубки) выделенными ноздрями и глазами, длинными ушами, а также с отходящими от глаза, сильно вытянутыми вверх и опущенными к «шее» животного рогами. Реже в такой манере изображалась голова барана. Орнамент на бронзовых изделиях наиболее часто включал различные сочетания параллельных линий, рядов треугольничков, квадратов, и уплощенной, составленной в ряде случаев из параллелограммов "веревочки" (которую часто передают на рисунках косой штриховкой).

Предметы с вышеуказанными признаками встречены в комплексах (погребениях и кладах), от гор Луляньшань на юго-западе до Ляохэ на северо-востоке, в нагорьях, окружающих с северо-запада и севера Центральную Равнину.

В провинции Ляонин такими комплексами и локализованными находками являются: комплекс из Янхэ (уезд Синчэн) (три ножа, топор) (Ли Цзяньминь, Фу Цзюньшань, 1978) (рис. 1 (11)), комплекс из Дахунци (уезд Синьминь) (три топора) (Го Дашунь 1987: 95–96, рис. 11; 1994: рис. 1(2,3,4)) (рис. 1 (6–8)), комплекс 1988 года из Ваньлю (уезд Факу) (найден при строительстве кирпичного завода) (нож(? — гарда, видимо, сточена), топор) (Хэ Сяньу и др. 1989: 1085, рис. 13) (рис. 1(9)), комплекс(?) 1989 года из Ваньлю (уезд Факу) (нож) (Пэй Юэцзюнь и др. 1990: 39, рис. 7 (1,3,4)), комплекс из Фэнцзя (Цяньвэйчжэнь, уезд Суйчжун) (семь ножей, два топора) (Ван Юньган и др. 1996), нож из Чаояншань (волость Эршицзяцзы, уезд Цзянпин) (Цзинь Фэнъи 1983: 689, рис. 13(1)), нож из Ваньлю (уезд Факу) (с поселения?), найденный в период 1979–86 гг. (Цао Гуйлинь, Сюй Чжиго 1988: 20, рис. 2(7), фото 8, Цао Гуйлинь 1988: 42, рис. 1(14)), нож из Болочисян (уезд Чаоян) (Цзинь Фэнъи 1988: 32, рис. 11(4), 14, Го Дашунь 1994: рис. 3(11)), три ложечкообраз-

ных предмета из района Чаояна (Го Дашунь 1994: рис. 3(7,12,14)), нож из Фушунь (Го Дашунь 1994: рис. 1(1)).

В Автономном Районе Внутренняя Монголия известны могила в Шуйцюань (волость Ванцзяинцзы, знамя Аохань) (кинжал) (Шао Готянь 1993: 23, рис. 8(5,7,9,10)), могила Наньшаньгэнь М101 (уезд Нинчэн, Чифэн) (топор) (Нинчэн сянь Наньшаньгэнь... 1973: табл. 8(8)), могила Сицзыбэйшаньцзуй М7501 (уезд Нинчэн, Чифэн) (топор) (Цзинь Фэнъи 1990: 23–26, рис. 3–6, 41–48), комплекс из Сяохэйшигоу 1985 года (уезд Нинчэн, Чифэн) (топор) (рис. 1(5)) (предметы, входящие в состав этого комплекса — топор, втульчатый клевец, черешковый нож, экспонировались в 1992 году на выставке в музее АР Внутренняя Монголия, приуроченной к Первой конференции по древним культурам народов Северного Китая, причем на отдельной витрине; в издании Бэйфан миньцзу (Бэйфан миньцзу 1995: 15–17, № 49, 54, 55) эти предметы имеют ту же атрибуцию («раскопано в Сяохэйшигоу, Нинчэн, Внутренняя Монголия, в 1985 году»), что и предметы из могилы, открытой в том же сезоне в Сяохэйшигоу, однако из публикации могилы (Сян Чуньсун, Ли И 1995) следует, что в состав ее инвентаря они не входили); случайные находки: нож из окрестностей Чифэна (Го Дашунь 1987: 93, рис. 9(1)), кинжал (находка 1982 года) из сейма Шилингол (Тюгоку наймоко... 1983: 27, №19) (рис. 2(2)); кинжал, найденный в знамени Эджин-Хоро (Алтан-Ширэт) (сейм Икэчжао) (Тянь Гуаньцзинь, Го Сусинь 1986: 4, рис. 1(1), табл. XXVI,1) (рис. 2(3)); нож из Дунли (коммуна Байиньчан, знамя Найман) (Ли Дяньфу 1983: 103, табл. VII, 4), нож из Тацзыгоу (близ Линьдуна, знамя Байрин-Цзоци, округ Чифэн) (Ван Вэйсян 1994).

В провинции Хэбэй к таким комплексам относятся комплекс из Чаодаогоу (уезд Цинлун) (кинжал, топор, три ножа) (Чжэн Шаоцзун 1962, 1994: 30–31, рис. 1(8)) (рис. 1 (5), 2 (7), 3(5)), Сяохэнань (район Сяодун, уезд Синлун) (топор) (Ван Фэн 1990, Чжэн Шаоцзун 1994а: 46–48, 93, 1994б), комплекс из Симуфо (уезд Линшоу) (нож), ложечка со стоянки Тайсицунь (уезд Гаочэн); ножи, обнаруженные в Суйли (1959 г.), в Лунгуань (1961 г.), в Дагучэн (уезд Хуайлай) в 1960 г., в уезде Вэйчан (1959 г.), «в Суйюани», в Чжанцзякоу (1959 г.), в Гуюани (1959 г.), в Шанду (1958 г.) (Чжэн Шаоцзун 1994: 32, 34, 36, 37, рис. 7, 10, 12, 22, 34, 37, 53, 54, 60), кинжал из Чжанбэя (Чжэн Шаоцзун 1984; 37, рис. 1(1)), нож из Шицзыкоу (уезд Хуайань) (Лю Цзяньчжун 1988).

В округе города Пекина — могила М3 в Байфу (уезд Чанпин) (топор) (Чу Шибинь 1976: рис. 8(1)).

На территории провинции Шаньси обнаружены комплексы Хоуланьцзягоу (уезд Шилоу) (нож) (Го Юн 1962), Линьчжэюй (уезд Баодэ) (кинжал, два топора) (У Чжэньлу 1972) (рис. 1(14,15)), Гаохун (уезд Люлинь) (кинжал, топор, три ножа) (Ян Шаошунь 1981), Цаоцзяюань (уезд Шилоу) (кинжал, топор, две ложечки) (Ян Шаошунь 1981а: 50–53, рис. 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28) (рис. 1(7), 2(4)), Шандунцунь (уезд Цзисянь) (кинжал, топор, две ложечки) (Янь Цзиньчжу 1985), Шанчэнцунь (уезд Усян) (нож) (Ван Цзиньсян, Ян Сяохун 1992), Идэ (уезд Шилоу) (топор) (Ян Шаошунь 1980), уезд Шилоу («ложечка») (Ян Шаошунь 1976).

Из находок в провинции Шэньси известны клад(?) из Яньтоуцунь (уезд Суйдэ) (нож) (Хэй Гуан, Чжу Цзеюань 1975) (рис. 3(1)), комплекс из Цюйтоуцунь (волость Шаодаохэ, уезд Яньчуань) (кинжал, топор) (Янь Чэньфэй, Люй Чжижун 1988: 103, рис. 2, 6, Дай Инсинь 1993: 226–227, рис. 6(1,9)) (рис. 1(16), 2(5)), комплекс из Лицзята (уезд Цзычжан) (нож) (Ци Тяньгу, 1989), комплекс из Тяньдусян (уезд Фуфэн) (топор-клевец) (Хоу Жобин 1983: 20–21, рис. 1(1–4)). Втульчатый топор с выступом на обушке в форме «заклепки» обнаружен в могиле М3 могильника близ деревни Хэйдоуцзуй волости Сиян уезда Чуньхуа (рис. 1(1)), в могиле М2 того же могильника найден проушной топор с таким же выступом

на обушке и секира с дугообразным лезвием, также с небольшими выступами на втулке (см. ниже); такой же проушной топор с выступом на обушке обнаружен близ деревни Бэйпоцунь волости Циньхэ того же уезда (Яо Шэнмин 1986, Чжу Фэнхань 1995: 664, рис. 70 (77, 78), Чуньхуа сянь вэньу чжи: 68–70). Еще один подобный проушной топор с выступом найден в могиле М7 могильника Лаонюпо близ Сиани (Лю Шиэ, Сун Синьху 1988: 10, рис. 17(9)). Памятник Лицзяя (уезд Цинцзянь), который принял за эпонимный для выделенной им культуры У Энь, к сожалению, не опубликован. Хотя, судя по описанию, здесь обнаружен один втульчатый топор (короткая втулка выступает вниз, о наличии выступа на обушке не упомянуто) (Дай Иньсинь 1993: 226), ни кинжалов, ни ножей с вышеуказанными признаками здесь не найдено, так что объединять это поселение (и относящийся к нему могильник) с комплексами «северного» облика из Шаньси и Шэньси, как это делает У Энь (Wu En 2002) нет оснований; не случайно Дай Иньсинь в описании называет Лицзяя «шанской крепостью» (Дай Иньсинь 1993: 213–233).

Ряд из упомянутых комплексов содержит датирующие предметы, произведенные на Центральной Равнине. Датировка некоторых комплексов по сочетаемости в них бронзовых сосудов уточнена в статье Чжан Чаншу (Чжан Чаншу 1979).

Комплекс Хоуланьцзягоу по обнаруженным в нем бронзовым сосудам «дин», «цзюэ», «гу», «янь», бронзовым клевцу и секире были отнесены публикатором к позднешанскому периоду (Го Юн 1962). Чжан Чаншоу датирует его точнее, первым периодом Иньсюй (Чжан Чаншоу 1979: 290, см. Чжун Сук Бэ 2000: 111).

Комплекс из Линьчжэюй датирован публикатором по входящим в его состав бронзовым сосудам «ю», «дин», «бу» поздним периодом Шан (У Чжэньлу 1972: 64), а Чжан Чаншоу считает, что он относится к третьему периоду Иньсюй (Чжан Чаншоу 1979: 191).

К позднешанскому времени можно отнести и топор из комплекса Идэ, исходя из датировки найденной с ним вместе секиры «юэ» (Ян Шаошунь 1980).

Комплекс Яньтоуцунь датируют поздним периодом Шан, входящие в его состав секиры «юэ», бронзовые сосуды «дин», «бу», «ху», «гу», «цзя», бронзовые наконечники стрел, долото и кельт (Хэй Гуан, Чжу Цзеюань 1975). По Чжан Чаншоу (1979: 191), комплекс скорее всего относится к третьему периоду Иньсюй.

Комплекс Лицзята на основании найденных в нем бронзовых сосудов «дин», «гу», «цзя», «цзюэ», «бу», а также двух бронзовых клевцов можно датировать также поздним периодом шанской культуры (см. Ци Тяньгу 1989).

Комплекс Шанчэнцунь авторы публикации датируют ранним периодом Иньсюй, основываясь на аналогиях входящим в комплекс бронзовым сосудам «гу», «ху», «цзюэ», а также двух бронзовым клевцам «гэ» (Ван Цзиньсян, Ян Сяохун 1992).

Могильник Хэйдоуцзуй автор публикации датировал ранним периодом Западного Чжоу, что затем было повторено в ряде изданий (Яо Шэнмин 1986, Чуньхуа сянь вэньу чжи: 68–70, Гао Сишэн 1994: 35). Лю Цзюньшэ отнес могильник Хэйдоуцзуй к третьему периоду Иньского городища (Лю Цзюньшэ 1995: 7). Во всех этих случаях аргументация датировки не приведена. Развернутую аргументацию мы встречаем только в фундаментальном труде Чжу Фэнханя (1995: 664). Основой для датировки могилы М2 является отмеченная Чжу Фэнханем аналогия входящего в комплекс сосуда «юэ» сосудам из Сяотунь М188 (R2019) и М331 (R2028, 2029), что позволяет датировать сосуд из Хэйдоуцзуй временем «ранее первой фазы 2 периода Иньсюй». Отметим, что иньскую артибуцию и раннюю датировку этого сосуда «юэ» подтверждает и характер надписи на нем. Лапидарная инскрипция включает три знака: крестообразный знак «я», вписанный в него иероглиф «ю» и пиктограмму (Чуньхуа сянь вэньу чжи: 68). Все это, несомненно, представляет родовую эмблему. Компо-

зиция и содержание надписи характерны именно для иньского времени (Крюков 2000: 99–111). Могила М3 датируется по найденному в ней сосуду «ху», аналогию которому Чжу Фэнхань видит в сосудах из комплексов Аньяна «от второй фазы 2 периода до первой фазы 3 периода Иньсюй». Насколько можно понять из публикации, в могиле Лаонюпо М7 датирующих вещей не обнаружено, однако обнаружение иньских предметов в других могилах этого могильника дает возможность отнести его формирование к иньскому времени (за исключением чжоуской могилы М45) (Лю Шиэ, Сун Синьху 1988: 21–22).

Комплекс Сяохэнань на основании обнаружения там проушных клевцов с бородкой, клевца «чо» с треугольным бойком, а также крышки от сосуда «гуй» надежно датируется концом иньского периода, то есть концом XI века до н.э. (Варенов 1994). Надпись на крышке сосуда «гуй» дала основания А.В.Варенову предположить, что этот комплекс был оставлен мятежным иньским населением, отступившим на северо-восток под давлением чжоуских войск (Варенов 1996).

Комплекс Сяохэйшигоу 1985 года (если вообще признавать его комплексом), надлежит датировать иньским временем, так как вместе с топором здесь был найден проушной клевец с бородкой «ху», имеющей одно прямоугольное отверстие, по бойку которого проходит нервюра, заканчивающаяся уже на проухе (Бэйфан миньцзу: 16, №54, л. илл. 41). Этот предмет находит себе прямые аналогии в комплексе Сяохэнань, а также в материале иньских погребений могильника Цзинцзецунь (М1, М2) (Варенов 1994: 44, рис. 5). Клевцы с трапециевидным обухом, экземпляры которых найдены в рассматриваемом комплексе и в Сяохэнань, очевидно, представляют собой «северный», яньский вариант шанских клевцов: еще одна находка подобного клевца была сделана в 1957 году в особом районе Чэндэ (провинция Хэбэй) (Дай Шутянь 1998: 392, 402, рис. 3(6))

Клевец, происходящий из комплекса Тяньдусян, датируется по найденным вместе с ним клевцу «гэ» и бронзовому ножу рубежом эпох Инь-Чжоу (Хоу Жобин 1983: 20–21).

Могила М3 в Байфу, в которой было обнаружены бронзовый сосуд «дин», глиняный трипод «ли», раннечжоуские клевцы «гэ», наконечники копий, элементы конской упряжи чжоуского происхождения, датируется ранним периодом Западного Чжоу, скорее всего второй половиной X века до н.э. (см. Чжун Сук Бэ 2000: 129).

Комплекс Наньшаньгэнь М101 прежде всего на основании найденных там клевцов «гэ» с треугольным окончанием бойка, а также бронзовых сосудов «дин», «гуй», «бо» датируется второй половиной IX — VIII вв. до н.э. (Ковалев 1998, Чжун Сук Бэ 2000: 130–133).

Тем же временем датируется и могила Сицзыбэйшаньцзуй М7501, поскольку в ее инвентарь входил бронзовый сосуд «гуй», изготовленный, видимо, в IX веке до н.э. (см. Цзинь Фэнъи 1990: 40)

Кроме этого, ряд предметов, которые имеют признаки, определяющие для «культуры Чаодаогоу», обнаружены в надежно датированных иньских комплексах.

В могиле Фу Хао (Сяотунь М5) обнаружен типичный «чаодаогоуский» бронзовый нож с навершием в виде головы козла (Иньсюй Фу-хао му 1980: 103, табл. 66(1)) (рис. 3(6)). Имя Фу Хао представлено в надписях, относящихся ко времени У-дина (1238–1180), этой же дате соответствует и облик керамических и бронзовых изделий, обнаруженных в захоронении, поэтому большинство археологов сегодня придерживается датировки этого комплекса в пределах начала второго периода Иньсюй (обзор дискуссии о датировке могилы Фу Хао см.: Варенов 1981, см. также Linduff 1996: 15, note 16).

Чаодаогоуские ножи с кольцевидным навершием найдены в яме Н092, могилах М040, М164 в Сяотуни, а в могиле 1311 в Хоуцзячжуани обнаружен такой нож с навершием в виде головы козла (Ли Цзи 1949: 11, 12, 32, 33, табл. 22(27–29), 32(1)).

В могиле М24 могильника Дасыкунцунь иньского времени был обнаружен втульчатый клевец с подпрямоугольным выступом на обушке (Ма Дэчжи, Чжоу Юнчжэнь, Чжан Юньпэн 1955: 50, табл. 13(6)).

В последнее время раскопки в Аньяне дали еще ряд находок «чаодаогоуских» предметов. Это бронзовый втульчатый топор с грибовидным выступом на обушке и бронзовый нож с выделенной гардой и навершием в виде кольца с тремя выступами из могилы М539 в Дасыкунцунь, относящейся ко второму этапу Иньского городища (Ян Сичжан 1992: 513, 514, рис. 7, 9(3), табл. 5(2,7)) (рис. 1(12)). На местонахождении Люцзячжуань были исследованы могила [95–96]М9 (второй период Иньсюй), в инвентарь которой входил бронзовый втульчатый клевец с подпрямоугольным выступом на обушке (Мэн Сяньу, Ли Гуйчан, Сан Сюэши 1997: 36, рис. 11, 6), и могила ALM13, содержавшая нож с выделенной гардой и кольцевидным навершием (третий период Иньсюй) (Мэн Сяньу 1997: 23, рис. 14, 4).

Датировке и культурной атрибуции комплексов, в которых представлены бронзовые предметы с указанными признаками, посвящено немало работ, опубликованных в Китае, России и странах Запада (см. напр. У Энь 1985, 1993, Гао Сишэн 1994, Ли Боцянь 1998, Лю Цзюньшэ 1993, 1995, Линь Юнь 1987, 1990, Люй Чжижун 1987, Дай Иньсинь 1993, Варенов 1987, Ковалев 1986, Чжун Сук Бэ 2000, Csorba 1996, Kovalev 1992, Linduff 1996, Wu En 2001). При том, что исследователи, как правило, уделяют большое внимание датировке каждого отдельного комплекса (находки) на основе верифицированной хронологии Аньяна и иных памятников Центральной равнины, их попытки выявить типологическое единство всех исследуемых памятников либо отдельных их групп выглядят неубедительно. Прежде всего потому, что не прилагается усилий для выделения на сколь-нибудь статистически значимом материале специфических признаков предметов, бытовавших в одно время на ограниченной территории. Так, для характеристики выделяемых культурных групп и вариантов используются типологически никак не организованные копья, ножи с подрезкой, с грибовидным навершием, украшения, предметы собственно китайского производства, а типологическое единство предметов, объединенных вышеуказанными признаками, без объяснений разрывается. Несомненно, что с накоплением нового материала появится возможность определения более специфичных типологических общностей, однако сегодня хронологически и территориально можно обособить только лишь указанные в начале этой статьи признаки бронзовых предметов, кореллирующих между собой в закрытых комплексах. Комплекс черт, характеризующих «культуру Чаодаогоу», таким образом, отражает комплекс традиций древнего населения, бытовавшего хотя и на обширной, но ограниченной территории в иньское время (XIII–XI вв. до н.э.), причем только традиция изготовления топоров с выступом на обушке переживает этот период, о чем свидетельствуют материалы комплексов Байфу М3 и Наньшаньгэнь М101 (правда, судя по этим находкам, поздние топоры на Северо-Востоке Китая имели гораздо более короткую лезвийную часть). В соответствии с этим необходимо интерпретировать и датировать «каменноложский» курган №1 могильника Подкунинские горы (Усть-Абаканский район, Хакасия), где был обнаружен бронзовый нож с выступающей гардой и навершием в виде головы козла (Kotozekov 2000: 281–295) (рис. 4(1–8)), Ладейское погребение близ Красноярска, в который входило бронзовое шило с навершием в виде головы козла (Членова 1972: табл. 19(1–12)) (рис. 4 (9–14)), «фигурную могилу» №2 из Тэвш-уул (Увэрхангайский аймак, Монголия), где были найдены золотые фигурные «заколки» с головой барана в «чаодаогоуском» стиле (Волков 1972: 555–556, Новгоро-

дова 1989: 137–138)[3], а также многочисленные случайные находки ножей и кинжалов с вышеуказанными признаками, происходящие из Монголии, Забайкалья, Саяно-Алтая, региона Среднего Енисея (см. неполные перечни в: Kovalev 1992: 61–62, Линь Юнь 1990: 33), Синьцзяна (Синьцзян гудай... 1985: 3, № 59, Ван Бинхуа 1986: 887, Му Шуньин 1993: 185, № 100, 101).

Общее количество бронзовых предметов, относящихся, согласно указанным критериям, к «культуре Чаодаогоу», учитывая депаспортизованные экземпляры, хранящиеся в государственных и частных коллекциях (в настоящей работе приводятся рисунки нескольких таких предметов, опубликованных в: Loehr 1949: № 5, 6, Rawson 1987: 69, №12, Bunker, Chatwin, Farkas 1970: 86, № 54, Ueda 1954: Pl. IX, 1, Watson 1971: №23, Ван Дань 1992: № 1, 5, 16, 17) (рис. 1 (6, 10, 13), 2 (1, 6)), 3(2–4)) составляет более трех сотен. В том числе имеются и украшения с изображением головы козла в соответствующей манере (см. напр. Andersson 1932: T. XIII, 1, Го Дашунь: 1994: рис. 3 (12, 14)) (рис. 3 (7, 8)). Очевидно, что мы имеем дело с мощным центром металлообработки с устойчивыми традициями, производившим определенный набор предметов вооружения и украшений на протяжении нескольких веков. В то же время местные корни комплекса морфологических признаков этих предметов отсутствуют. В Центральной и Восточной Азии до XIII века до н.э. неизвестны как топоры с трубчатой втулкой и выступом на обушке, так и кинжалы с пластинчатой рукоятью, и выгнутые ножи с выступающими гардами, и изображения козлов в вышеуказанной манере. Собственно китайский (Шан-Инь) комплекса вооружения принципиально отличается от вышеописанного. В иньской культуре ведущими видами оружия были плоский танговый бронзовый клевец, втульчатое копье, кельт, крупный изогнутообушковый нож с уступом на переходе от лезвиной части к рукояти. Этот комплекс восходит, вероятно, к сейминско-турбинской традиции (Ковалев 2002). Ни втульчатых топоров, ни кинжалов в иньское время на территории Центральной равнины не производилось.

Если, выделив устойчивый комплекс признаков, объединяющих артефакты в один «культурный тип» или «культуру», мы подразумеваем, что он появился в результате воплощения устойчивого комплекса традиций, «мысленного шаблона» древнего населения (Клейн 1991: 211–247), то возникает возможность установить происхождение этого комплекса традиций. Доказательством такого происхождения будет обнаружение устойчивых и специфичных черт «культурного типа» в более раннем культурном контексте. Основанием для такого утверждения может быть только то, что общими признаками традиций (и в целом идей) является их ограниченность во времени и в пространстве носителей. Если же археолог представляет (как это бывает чаще всего), что занимается происхождением не идей, а, к примеру, самих горшков от горшков или брака горшков с чайниками, а ножей от промискуитетных связей других ножей с кинжалами, серьгами и топорами, то у него исчезают всякие основания для исторически значимых выводов, поскольку законов и обычаев жизни и размножения горшков etc. как элементов неживой природы наука пока не установила. Только лишь после того, как будет таким образом установлено происхождение традиции, можно переходить к вопросу о способе ее передачи.

[3] Понимаю, что этот вывод не соответствует представлениям многих исследователей о периодизации и абсолютной хронологии карасукской культуры, а также культуры плиточных могил, однако считаю единственно правильным исходить в вопросах абсолютного датирования из того, как датируются обнаруженные в комплексах предметы, относящиеся к культурам, хронология которых достоверно установлена. Более подробно осветить этот вопрос не позволяет объем настоящей статьи. Во всяком случае, нож из кургана Подкунинские горы 1 изготовлен, судя по орнаменту рукояти (горизонтальные ряды вдавленных треугольников, включая ряд под гардой), местными мастерами, но является репликой предметов чаодаогоуского типа и не может датироваться более поздним временем, чем XI век до н.э..

Таким образом, для целей выявления миграционной либо, к примеру, диффузионной причины появления трассовой секвенции (Клейн 1999) можно оперировать лишь с установленными в соответствии со строгой методикой феноменами происхождения идей преобразования материального, включая морфологию, технологию и т.д. Условием выдвижения археологической гипотезы о наличии миграции является установленное внешнее происхождение каких-либо традиций, а для доказательства миграции археологическими методами необходимо установить, что передача этих традиций могла быть осуществлена только миграционным путем. На сегодняшний день у нас есть только два сугубо археологических критерия миграционного (путем передвижения носителей) способа распространения традиции: появление традиции (комплекса традиций), присущих населению какой-либо территории, в сильноудаленном регионе без следов ее постепенного распространения на промежуточных территориях; появление в новом регионе традиции, которая, как уже было отдельно доказано, имеет неразрывную связь с определенным этносом (применительно к материальному это обычно выражается термином «этноопределяющий признак»). Этот подход был уже реализован автором в работах по происхождению традиции каменных северокавказских топоров эпохи средней бронзы, происхождению традиции изготовления глиняных курильниц афанасьевской культуры, происхождению скифов, происхождению культуры оленных камней, происхождению оленных камней западного региона, происхождению традиции комплекса лезвийных орудий культуры Шан-Инь (Ковалев 1996, 2000, 2001, 2002, Ковалев, Резепкин 1995, Kovalev 1999).

Устойчивые и специфичные черты «культурного типа (типов)», обозначенные нами выше при характеристике т.н. «культуры Чаодаогоу», в более раннем контексте представлены только лишь в одном регионе — также до сих пор еще недостаточно обследованном. Речь идет о нагорьях Луристана и Курдистана, Загросе. Причем наиболее специфичные свойства искомой культурной традиции берут, видимо, начало в эламской культуре. Это — сочетание втульчатого топора и пластинчатого кинжала в качестве основы набора вооружения воина.

В эпоху ранней бронзы в Сузах бытовали различные типы топоров с цилиндрической втулкой (Tallon 1987, 1: 71–81, № 1–37) (рис. 9(6), 10(5, 6, 9)). Здесь же, в Сузах, обнаружены не менее 17 экземпляров бронзовых кинжалов особого типа, относящихся к тому же периоду (рис. 5 (2, 3, 8–12, 14, 15). Эти предметы вооружения представляют плоскую фигурную пластину, как правило, с расширениями на месте «гарды» и «навершия». Иногда рукоять украшена орнаментом. (Tallon 1987, 1: 115–118, № 102–118). Как было установлено при изучении остатков органического вещества на рукоятях этих кинжалов, рукояти для удобства употребления обматывались кожаным ремешком (Tallon 1987: 116, fig. 9, 10). Конструкция этих эламских кинжалов уникальна не только для Древнего Востока, но и для синхронных культур Степной Евразии, однако представляет прямую аналогию более поздним «степным» кинжалам, в первую очередь — «чаодаогоуским», гарда которых также представляет собой единое целое с лезвием. Судя по концентрации находок и составу металла, вышеуказанные кинжалы и многие из топоров имеют местное, эламское происхождение. Показательно, что при раскопках Суз в слоях раннебронзового периода были обнаружены всего лишь три «месопотамских» кинжала со штифтами для крепления деревянной рукояти (подтип А2) (Tallon 1987: 117).

За пределами Суз пластинчатые кинжалы вышеописанного облика найдены исключительно в памятниках на территории Ирана, где они датируются временем не позднее рубежа III–II тыс. до н.э.

Четыре пластинчатых кинжала без признаков гарды, но с расширяющимся навершием

обнаружены в гробнице Дар-Танха 1 раннебронзового 1 периода (Vanden Berghe 1972: 22–33, fig. 6 (6–9), Pl. XI (5–8)) (рис. 5 (5,6)).

В галерейной гробнице того же времени Калле Ниссар AI №16 был найден пластинчатый кинжал без гарды, подобный найденным в Дар Танха и втульчатый топор типа A3 по Дейе (Vanden Berghe 1973: Pl. 4, 5) (рис. 5(7)).

Пластинчатый кинжал без выделенной гарды и расширением на навершии обнаружен регионе Пушт-и Кух в индивидуальной каменной цисте 20 могильника Мир Хайр, отнесенного Ванден-Берге к раннебронзовому II периоду (2400–2300 годам до н.э.) (Vanden Berghe 1979: 30, fig. 18(2)).

Пластинчатый кинжал «эламского» типа с выделенной гардой найден на поселении Камтарлан II, в слое, датирующимся периодом Тепе Гийян IVC-III (Schmidt et al. 1989, 1: 191, 2, Pl. 120, f) (рис. 5(4)).

Пластинчатый кинжал с выделенной гардой (№ H4388) был обнаружен при раскопках поселения Тепе Гиссар в слое IC, относящемся к первой половине III тыс. до н.э. (Schmidt 1937: 56, Pl. XVI) (рис. 5(13)).

Таким образом, пластинчатые кинжалы с обмоткой рукояти, как с выделенной гардой, так и без нее, были распространены исключительно в Эламе и соседних с ним регионах Ирана в эпоху ранней бронзы. Отсутствие иссследованных памятников среднебронзового века в нагорьях Загроса оставляет открытым вопрос об их бытовании на протяжении II тыс. до н.э. К сожалению, известно немного случайных находок кинжалов такого типа — скорее всего из-за их непрезентабельности. Один из богато украшенных экземпляров опубликован П.Амье (Amiet 1976: 7, №4) (рис. 5(1)). Гравировкой на этом кинжале изображены треугольные фестоны и многочисленные полосы с косой штриховкой, имитирующей шнур. По форме и орнаменту он представляет наиболее полную аналогию одному из сузских кинжалов (Tallon 1987, 2: № 113).

Округлые, грибовидные или приостренные выступы на обушке появляются на переднеазиатских топорах различных типов самое позднее с конца III тыс. до н.э.. Все найденные на территории Китая бронзовые топоры с подпрямоугольным либо грибовидным выступом на обушке имеют также перпендикулярную втулке лопасть. Поэтому поиски прототипов «чаодаогоуских» топоров можно начинать среди переднеазиатских орудий с той же особенностью. Для целей исследования рассмотрим две группы топоров из Передней Азии. Первая группа — топоры типов B2a, B2b, B3, B5, C1, C3a, C3b, по Дейе с округлым, конусовидным либо крюкообразным выступом на обушке. Вторая группа — топоры с грибовидными выступами на обушке, прямым обрезом втулки, однако же не с овальной, а цилиндрической втулкой и оттянутым вниз краем лопасти.

Два топора с округлыми выступами на обушке найдены на луристанском памятнике Чигха Сабз, в могилах M7 x2 (секира типа B3), M7 x3 (топор с расширяющейся лопастью типа B5), относящихся к периоду Тепе Гийян IVC-III (2000–1600 гг. до н.э.) (Schmidt et al. 1989, 1: 28, 190, 2, Pl. 120, a, 125, d) (рис. 7 (1, 2)). Известно немало аналогичных секир типа B3, все с выступами, у подавляющенго большинства втулка выступает наверх (что характерно для многих чаодаогоуских топоров); в связи с тем, что некоторые из них имеют надписи правителя Суз Аттахушу (конец XIX века до н.э.), П.Кальмейер обозначил их как «топоры Аттахушу» (Maxwell-Hyslop 1949: 100–101, Deshayes 1960: № 1396–1407, 3088, Calmeier 1969: 46–48, Amiet 1976: 20–23, № 22–29, fig. 22–24, De Waele 1982: № 12, Ванден Берге 1992: №200). Наличие надписей и находки этих секир в датированных комплексах дают основания датировать их первой третью II тыс. до н.э.. Таким же образом надо датировать и топоры с трапециевидной лопастью типа B5, втулка которых совершенно анало-

гична втулке топоров-секир типа B3 (Deshayes 1960, II: 164, Calmeier 1969: 132–133).

Топоры типов B2a, B2b, C1, C3a, C3b имеют не цилиндрическую, а овальную втулку: признак, характерный для всех чаодаогоуских топоров (см. Deshayes 1960). Кроме того, втулка топоров типов B2a, b выступает наверх. Топоры типов C3a, b имеют прямоугольную лопасть, некоторые — продольную нервюру на лопасти. Один из топоров типа C3b с крюкообразным выступом имеет надпись царя Ларсы Рим-Сина I (1822–1763 гг. до н.э.) (Deshayes 1960, II: 74, Calmeier 1969: 50, Amiet 1976: 18, fig. 18) (рис. 8(1)). Топор типа C3a с орнаментацией и крюкообразным выступом на обухе происходит из могилы 131 на поселении Чагар Базар, впущенной из слоя 1 (1800–1700 гг. до н.э.) (Mallowan 1937: 99, Maxwell-Hyslop 1949: 103, Pl. XXXIV, 13, Philip 1995: 127). Семь топоров типа C3a без выступов были обнаружены при раскопках поселений Телль Эль-Зейб, Телль Халава и Телль Сулейме в контексте, относящемся к старовавилонскому периоду (Philip 1995: 126–127) (рис. 7(3–8)). Топоры типа C1 с лопастью, выступающей вверх относительно втулки, имеют, как правило, округлый выступ на обушке. Они известны в Месопотамии и Иране в комплексах начиная со времени III династии Ура до старовавилонского периода (см. Philip 1995: 124–125). Топоры типа B2a, B2b, лопасть которых присоединена к середине втулки, различаются между собой только степенью расширения лопасти. Они имеют либо округлый, либо крюкообразный выступ на обушке. Судя по находкам в датированных комплексах, эти топоры бытовали в период Исин-Ларса и старовавилонский период (см. Tallon 1985: 82, Philip 1995: 127–131) (рис. 8(2–7)).

Хранящиеся в государственных и частных коллекциях переднеазиатские топоры с грибовидными и подпрямоугольными выступами на обушке, имеющие перпендикулярную втулке лопасть, в подавляющем большинстве имеют также прямой нижний обрез втулки. Сама втулка цилиндрическая (и никогда — овальная), вверх не выступает, ее верхний край оформлен нервюрами, в большинстве случаев валики огибают и нижний ее край. Встречается орнамент в виде «веревочки», «змейки», штрихованных полос и треугольных фестонов. (Deshayes 1960: № 1363–1365, Pl. XIX, 12, № 3074, 3075, 3079, 3083, 3084, 3092(?), Pl. LXIV, 3, 4, 5, 7, 13, Pl. LXV, 4 (?); Dussaud 1930: 249, fig. 7, pl. XLII, 1; De Waele 1982: 18, № 7; p. 20, № 10; Maxwell-Hyslop 1949: 95, pl. XXXVIII, 2, p. 100, pl. XXXIX, 7; Deshayes 1965: 94, № 6, Fig. 6; Meier-Arendt 1984: 24, № 11, 12; Moorey 1971: 44, № 8 (?); Birmingham 1963: 73, № 48.244, Fig. 3c; Rickenbach 1992: 54, 55, № 14, 15 (?), 16 (?)) (рис. 6). К сожалению, ни одного такого топора в комплексе не обнаружено. Однако, как показано ниже, аналогии морфологическим особенностям этих топоров позволяют с большой долей вероятности отнести их ко времени, более раннему, чем рассмотренные топоры типов B2a, B2b, B3, B5, C1, C3a, C3b по Дейе — не позднее самого начала II тыс. до н.э. (Все топоры, упомянутые ниже, имеют цилиндрическую втулку с прямым обрезом нижнего края, если это не отмечено особо).

Серединой III тысячелетия датируется топор из Ура (по облику лопасти — тип A4 по Дейе), который имеет не только нервюры по нижнему и верхнему краям втулки, но и обушок в виде сегментовидного гребня (Deshayes 1960: № 1335).

Топор с косо срезанной внизу втулкой и орнаментом в виде «веревочки» был обнаружен в кладе бронзовых вещей при раскопках памятника Телль Хуэйра в северо-восточной Сирии, в помещении 47 Малого храма, датирующегося временем Месилима (XXVI век до н.э.) (Moortgat-Correns 1978: 45–46, Abb. 7) (рис. 9(1))

Втульчатые топоры типа A1a по Дейе с подпрямоугольными, несколько изогнутыми лопастями держат в руках персонажи мозаики из перламутра, найденной в Мари и датирующейся раннединастическим периодом III B (Parrot 1935: 132–140) (рис. 9(2)).

К той же эпохе относится топор типа A1a с нервюрой по верхнему обрезу втулки, обнаруженный при раскопках Ура (U11915) (Deshayes 1960: № 1269).

Длинновтульчатый топор простейшей формы типа A1a по Дейе входил в инвентарь погребения 1 могилы 14 в раскопе WF, Ниппур. Это погребение впущено из слоя XII B, относящегося к позднеаккадскому времени (Gibson, McMahon 1995: 13–14, fig. 28–30).

Топор U12484 типа A1a, обнаруженный при раскопках могилы PG/1422 в Уре, Дейе относит к периоду РД III, а Ниссен — ко времени III династии (Deshayes 1960: № 1265, Tallon 1987: 72).

К началу III династии Ура относится стела с изображением царя Ур-Намму (рубеж XXII-XXI веков до н.э.), несущего топор, который имеет перпендикулярную втулке прямоугольную лопасть, а также нервюры по верхнему обрезу втулки (Moorey 1971б: 65, Fig. 1) (рис. 10(1)). П. Мури по аналогии синхронизирует с этой стелой три втульчатых топора с валиками на втулке и подпрямоугольной лопастью из Телль Сифр, Ирак. (Moorey 1971б: 64–65, fig. 1, pl. XXII (1–3)) (рис. 10(3)). Топоры типа A4 по Дейе со схожим оформлением втулки обнаружены при раскопках Мари (в частности, помещения 104 храма), где датируются началом II тыс. до н.э. (Parrot 1959: 85), такой же топор случайно обнаружен на памятнике Терка (Mount-Williams 1980: 5, pl. VII, №21) (рис. 10(2)).

Топор с тройной нервюрой по верхнему краю и валиком по нижнему краю втулки, имеющей косой нижний обрез, а также с тремя приостренными выступами на обушке был обнаружен при раскопках Ашшура в комплексе времени третьей династии Ура (Maxwell-Hyslop 1949: 107, Deshayes 1960: № 1362) (рис. 10(8))

Две стелы с изображением топоров типа A1 по Дейе известны из Нгирсу (Телло): одна из них относится к аккадскому периоду, а другая посвящена деяниям царя Лагаша Гудеа (XXII век до н.э.) (Tallon 1987: 72).

Перейдем к датированным находкам на памятниках Ирана.

Как уже отмечалось выше, топор с цилиндрической втулкой и подпрямоугольной лопастью типа A1 по Дейе — характернейшее орудие Элама второй половины III тыс. до н.э (Tallon 1987, 2: № 1–20). К этому же времени относятся и эламские топоры с трапециевидной лопастью, валиками по нижнему краю втулки и нервюрой по верхнему краю (Tallon 1987, 2: № 21–27, 31, 36–38) (рис. 9(6), 10(5, 6)). На одном из сузских топоров, отнесенному Ф. Таллон к XXV веку до н.э., нанесен прочерченный орнамент в виде треугольных фестонов и имитации «веревочки» (Tallon 1987, 2: № 33) (рис. 10(4)).

Втульчатый топор с расширяющейся лопастью и нервюрой по нижнему краю втулки обнаружен на памятнике Тепе Хазине в слое I раннединастического периода (Deshayes 1960: № 1294).

Топор типа A1 был обнаружен в галерейной гробнице в Тахт-и Хан (Пушт-и Кух), относящейся к 2600–2400 гг. до н.э. (Vanden Berghe 1973б: fig. 27 (10))

Топор с трапециевидной лопастью типа A2 по Дейе найден на луристанском памятнике Камтарлан I, в могиле I x1, впущеннной из слоя, синхронизирующегося с периодами Сузы Dc-De (2600–2300 гг. до н.э) (Schmidt et al. 1989, 1: 189, 2, Pl. 119, a).

Два топора типа A3 по Дейе — один с нервюрой по верхнему обрезу втулки, другой — с валиками по нижнему и верхнему ее краю — были обнаружены в галерейной гробнице Дар Танха 1 в регионе Пушт-и-Кух, которую Л. Ванден-Берге относит к середине III тыс. до н.э. (Vanden Berghe 1972: 22–33, fig. 6 (1,2), Pl. XI (1,2)) (рис. 9(8,9)).

В ходе работ на памятниках Бани Сурма и Калле Нисар в регионе Пушт-и-Кух при раскопках галерейных гробниц того же времени (ранняя бронза I) были обнаружены не менее 10 втульчатых топоров типа A3 по Дейе с прямым и косым обрезом втулки и нервю-

рами по ее краям (Vanden Berghe 1968: fig. 38; 1973: 26, Fig. 3, Pl. 5; 1983: Afb. 14) (рис. 9(3–5)), и один топор подтипа A2a (Калле Нисар AI, могила 16) (Vanden Berghe 1973: Pl. 5) (рис. 9 (7)).

В индивидуальных каменных цистах на памятнике Калле Нисар AII, которые автор раскопок датировал следующим периодом (ранняя бронза II, 2400–2000 г. до н.э.) было найдено как минимум два топора с прямоугольной лопастью подтипа A1a по Дейе и один топор типа A3 с валиками по нижнему и верхнему краям втулки (Vanden Berghe 1973: 28, Fig. 13 (1,3,4,5), Pl. 16, 18) (рис. 10(9)). Такой же топор типа A3 был найден и в цисте 1 могильника Гулулал-и Гальби того же периода (Vanden Berghe 1983: Afb. 19(9)) (рис. 10(7).

На поселении Камтарлан II, в слое времени «средней бронзы», синхронизирующимся с периодами Тепе Гийян IVC-III (точнее 2000–1600 гг. до н.э.), в могиле B x1 обнаружен топор типа A3 по Дейе с имитацией трех нервюр по верхнему обрезу втулки (Schmidt et al. 1989, 1: 20–21, 191, 2, Pl. 125, c) (рис. 10(10)). Показательно, что здесь мы имеем дело уже с имитацией нервюр, украшавших большинство топоров с грибовидными выступами.

Сегодняшнее состояние изученности переднеазиатских бронзовых топоров не оставляет нам иного выхода, чем, опираясь на эти формальные аналогии, отнести вышеуказанные топоры с грибовидными выступами на обушке (рис. 6) ко второй половине III тыс. до н.э. Поскольку эти топоры изготавливались, скорее всего, в нагорьях Луристана, где памятники средней бронзы практически неизвестны (Ванден Берге 1992: 29), необходимо предполагать наличие промежуточных форм между такими изделиями и широко известными «ритуальными» топорами с короткой втулкой, сильно изогнутой лопастью и «пальцевидными» (грибовидными) выступами на обухе, относящимися уже к концу II тыс. до н.э. (Ванден Берге 1992: 35). Эти поздние топоры сохраняют, кроме того, и цилиндрическую втулку — крайне неудобную конструктивную особенность для боевого топора, что укрепляет нашу уверенность в их генетической связи с топорами раннебронзовой эпохи.

Таким образом, известные на сегодняшний день даные позволяют предполагать не только существование в Западном Иране или Северо-Восточном Ираке традиции изготовления топоров с грибовидными выступами на обушке в первой половине — середине II тыс. до н.э., но и то, что в это время, под влиянием традиций изготовления топоров типов B2a, B2b, B3, B5, C1, C3a, C3b, в указанном регионе могли появиться топоры не только с грибовидным выступом, но и овальной и выступающей вверх втулкой, прямоугольной лопастью, максимально приближенные к чаодаогоуским экземплярам. Эта гипотетическая инновация произошла, скорее всего, не в Луристане, где традиция сохранила цилиндрическую форму втулки до начала железного века, а в более северных областях Загроса.

Из того же региона, что и рассмотренные выше топоры с выступами на обухе и пластинчатые кинжалы, происходят многочисленные бронзовые предметы со скульптурными изображениями голов горного козла с рогами, концы которых упираются в шею животного, длинными ушами и глазами в виде выпуклых колец. Прежде всего это муфты для так называемых точильных камней (Vanden Berge 1968б: 11–12). В комплексах эти муфты известны только лишь начиная с XII века до н.э. Однако все такие артефакты, обнаруженные в комплексах, воспроизводят не только голову, но туловище животного (Vanden Berghe 1970: Fig 117(8), 119; 1971: 21, 27, 28). Муфты такого вида справедливо отнесены Л. Ванден Берге на основании результатов собственных раскопок к эпохе позднейшей бронзы (Ванден Берге 1992: 35, 36). Однако известна находка бронзовой муфты, с навершием в виде отдельной головы козла, которая покрыта орнаментом в виде имитации «веревочки» и треугольных фестонов (Orthmann 1982: № 76) (рис. 11 (13)). В эту муфту вставлен не точильный камень, а каменный нож (!). Судя по орнаменту, этот бронзовый предмет относится к

более раннему времени, чем муфты с изображением протомы туловища козла. Вновь приходится выразить сожаление в связи с отсутствием исследованных в Загросе памятников эпохи средней бронзы.

Кроме бронзовых муфт, голова козла, исполненная в вышеуказанной манере, нередко украшает «луристанские» булавки и браслеты (Vanden Berghe 1968б: 19–20, Basmachi 1963: табл. 2, 5, 6, 13 — обратим внимание, что в настоящей работе приведены рисунки таких предметов, происходящих с территории Ирака (хранятся в Иракском музее), а не Ирана, то есть не «луристанских»!) (рис. 11 (1–8, 14–16). Хронология этих предметов неясна, однако опубликованная Ф.Басмачи (Basmachi 1963: табл. 2, 5) бронзовая булавка с изображением головы козла и протомы хищника (рис. 11 (7, 8)) должна быть отнесена самое позднее к первой половине II тыс. до н.э. На стержне этой булавки нанесен орнамент в виде горизонтальных полос косой штриховки, образующей «елочку», и треугольных фестонов. Этот орнамент не только напоминает костяные булавки эпохи средней бронзы восточноевропейских степей, но и находит себе полную аналогию в материале луристанского памятника Чигха Сабз, где пять таких бронзовых булавок без навершия были обнаружены в могиле J7 x4, относящейся к периоду Тепе Гийян IVC-III (конец III — первая треть II тыс. до н.э.), а одна — в слое того же времени (Schmidt et al. 1989: 28, pl. 121, l, 122, a-e) (рис. 11 (9–12)). Таким образом, можно предполагать, что навершие в виде головы горного козла, стилизованной в вышеописанной манере, появляется на переднеазиатских браслетах и булавках в эпоху средней бронзы. Известны и булавки с головками в виде фигуры козла наподобие изображениям на бронзовых муфтах (Ванден Берге 1992: № 263), их необходимо датировать более поздним временем.

Если считать, что в нагорьях Загроса в конце III — первой половине II тыс. до н.э. производились бронзовые топоры с грибовидными выступами на обушке, пластинчатые кинжалы, предметы со скульптурными изображениями голов горного козла в особом стиле, то в соответствии с выдвинутыми нами критериями необходимо не только сделать вывод о происхождении комплекса традиций «культуры Чаодаогоу» от «загроского», но и предположить миграцию древнего населения Загроса в первой половине II тыс. до н.э. на три-четыре тысячи километров в восточном направлении, в степи Центральной Азии, поскольку никаких «промежуточных» памятников, свидетельствующих о диффузии этих культурных традиций, не обнаружено.

В дополнение к вышеизложенному необходимо указать на некоторые иные параллели в материальной культуре «китайских» и «загроских» кочевников эпохи бронзы.

Во-первых, характерные для раннебронзового века скотоводов Передней Азии орнаментальные мотивы, включая скульптурную или гравированную имитацию шнура, треугольные фестоны или зигзаги, выпуклую «змейку», нервюры, используются также и для украшения «чаодаогоуских» бронз. Конечно, при этом нельзя говорить об идентичности дизайна сравниваемых изделий. Существенные формальные отличия, более того, должны рассматриваться как неизбежное следствие большого хронологического и территориального разрыва рассматриваемых памятников. По общему контуру (вогнутый верхний край, легкая наклонность лопасти) наиболее напоминает переднеазиатские топоры с грибовидными выступами топор, найденный в М3 могильника Хэйдоуцзуй (Шэньси) (рис. 1 (1)). Если справедливо мнение о том, что такая форма топоров в Передней Азии передает образ головы лошади (см. Dussaud 1935: 248–249), то аналогичное предположение можно выдвинуть и в отношении топора из Хэйдоуцзуй. С другой стороны, сравнив чаодаогоуские топоры (рис. 1), можно легко убедиться, что все декоративные свойства этих изделий, кроме выступа на обушке, варьируют в очень широких пределах. Это относится и к контуру лопа-

сти, и к длине втулки, и к наличию (отсутствию) выступающего вверх ее края, и к оформлению соединения втулки и лопасти (иногда лопасть как бы «насажена» на втулку с помощью «муфты», иногда «вырастает» из втулки). Поскольку мы не знаем таких топоров, изготовленных ранее XIII века до н.э., а аналогичные топоры с выступами из Ирана должны датироваться временем, на три-четыре века более ранним, да и то неизвестно, являлись ли именно эти экземпляры прототипами «восточных» изделий, можно предполагать, что первоначальные топоры «чаодаогоуской» традиции могли быть гораздо ближе к переднеазиатским.

Во-вторых, по периоду бытования и территории распространения к «чаодаогоуским» памятникам примыкают ряд находок с территории провинций Шэньси и Цинхай, также сопоставимых с переднеазиатскими. Бронзовые втульчатые топоры — оружие, характерное для памятников культуры Каюэ (Цяюэ), распространенной в северо-восточной части провинции Цинхай и датирующейся позднеиньским — западночжоуским временем (см. Ковалев 2001). На территории Шэньси и Цинхая обнаружены бронзовые втульчатые секиры с отверстиями и выступами на обушке. Одна из таких секир найдена в комплексе культуры Каюэ (Цяюэ) в могиле (вероятно, позднеиньского времени) М117 могильника Паньцзялян близ деревни Сясихэ (уезд Хуанчжун, волость Лицзяшань) (Гао Дунлу, Хэ Чжэнъя 1995: 48, 58, рис. 26, 34 (4), фото см. Бэйфан миньцзу 1995: № 58) (рис. 12 (8)). Еще одна секира обнаружена в могиле М2 в Хэйдоуцзуй, уезд Чуньхуа провинции Шэньси (Яо Шэнмин, 1986, предметы из комплекса см. также в Чуньхуа сянь вэньу чжи, с. 70) (рис. 12 (10)). Этот комплекс, по найденным там сосуду «юэ» с надписью и шанской танговой секире, датируется вторым периодом Иньсюй (см. выше, Чжу Фэнхань 1995: 664). Из случайных находок известна секира, хранящаяся в Шанхайском музее (Гао Сишэн 1994: 35), а также секира, найденная в уезде Юйлинь провинции Шэньси (?) и переданная в Пекинский музей (Ма Сигуй, Чэн Чансинь 1978: 18, Бэйфан миньцзу 1995: № 59, с. 18) (рис. 12 (9)). Все четыре «китайские» алебарды имеют на обухе различной формы выступы наподобие выступам «чаодаогоуских» топоров и аналогичную чаодаогуским находкам орнаментацию, что наряду с хронологией и территорией распространения находок дает основания относить их к чаодаогоускому комплексу традиций.

Лезвия секир из Паньцзялян и Хэйдоуцзуй прикрепляются ко втулке в трех местах — в середине и по краям, образуя отверстия — проемы. То, что средняя часть лезвия облегчена устройством дополнительных округлых отверстий, не мешает увидеть прямую аналогию переднеазиатским алебардам, «ε» — образное лезвие которых закреплялось к древку также в трех местах, что воспроизводят и переднеазиатские экземпляры с бронзовой втулкой (Maxwell-Hyslop 1949: 116–121). На Древнем Востоке прослеживаются все этапы развития этого вида оружия — от лезвия, закреплявшегося на деревянном древке, через лезвие с тремя муфтами для крепления рукояти, до орудия со сплошной трубчатой втулкой. Три муфты, которые охватывают древко, воспроизведены в качестве типологического рудимента на всех четырех «китайских» экземплярах, из чего следует, что спирально загнутые края лезвиий пекинской и шанхайской алебард — переосмысление более ранней традиции, в соответствии с которой концы лезвия должны были переходить в муфту. Таким образом, можно утверждать, что этот вид вооружения проник в Восточную Азию с Ближнего Востока. Наиболее схожими с «китайскими» являются две случайные находки из Ирана (Moorey 1974: 44, fig. 10; Deshayes 1965: 105, № 26) (рис. 12 (1, 3)), а также секира, обнаруженная в мегалитическом кургане-«тумулюсе» 2000–1800 гг. до н.э. в Хавране (Nasrallah 1950: 325–326, fig. 12) (рис. 12 (2)).

На втулке секиры из Пекинского музея отлита скульптурная группа, изображающая нападение тигра на травоядное животное. Тот же сюжет мы видим и у композиции на руко-

яти ковша, обнаруженного в комплексе иньского времени из Цзецзягоу (уезд Цинцзянь, провинция Шэньси) (Ли Чжунсюань 1982: 41–43) (рис. 12 (12)). Окончание рукояти ковша оформлено в виде типичной чаодаогоуской головы барана, орнамент — имитация «веревочки». Черпак со скульптурным изображением тигра и человека на рукояти, оканчивающейся головой барана, происходит из комплекса иньского времени Юндоуцунь (уезд Яньчуань, провинция Шэньси) (Цзи Найцзюнь 1992, Бэйфан миньцзу 1995: № 66). Такой же черпак с фигурой хищника (конец рукояти обломан) найден в комплексе иньского времени из Пяньлоцунь (б. уезд Люйлян, ныне уезд Шилоу, провинция Шаньси) (Се Циншань, Ян Шаошунь 1960). Эти предметы можно в первом приближении отнести к тому же «чаодаогоускому» комплексу традиций. В этой связи необходимо указать, что скульптурные группы, изображающие нападение кошачьих на травоядных животных, нередки на обушках «луристанских» топоров и иных изделиях загроских скотоводов. В качестве примера можно привести бронзовую булаву, фотография которой опубликована П.Кальмейером (рис. 12 (7)) (Calmeyer 1969: 21, Taf. 1 (5)).

Наконец, внимание вызывает находка в «чаодаогоуском» комплексе Цаоцзяюань бронзовой трубочки диаметром 1,4 и длиной 14,3 см (Ян Шаошунь 1981б: 53, рис. 22) (рис. 12 (11)). Эта трубочка украшена орнаментом, состоящим из продольных полос имитирующих веревочку выпуклин, разделенных валиками. Точно таким же образом украшены более ранние бронзовые «луристанские» булавы (см. напр. Calmeyer 1969: 23–24), на которых ряды выпуклин иногда перемежаются с валиками, а иногда — со «змейками». Несколько таких булав известны из слоев периода РД III в Сузах, включая комплекс у могилы 555 с бронзовым поясом и бронзовым топором типа А4, а также из раскопок царских могил Ура (Carter 1980: 22, fig 22, pl. 5; Tallon 1987, 1: 130–134) (рис. 12 (4–6)).

Установленную с помощью археологического метода миграцию древнего населения из Загроса в степи Центральной и Восточной Азии можно соотнести с единственной несомненной миграцией эпохи бронзы с запада на границы современного Китая — переселением народа, говорящего на индоевропейском «тохарском» языке. Поскольку эта миграция, по лингвистическим данным, произошла не позднее II тыс. до н.э., с предками исторических тохар традиционнно связываются различные археологические культуры эпохи энеолита — средней бронзы (см. напр: Krause 1951: 199, Lane 1970: 73–84, Иванов, Гамкрелидзе 1984: 935–938, Adams 1984: 401, Frye 1991: 137, Thomas 1985: 147–148). В последнее время в литературе вновь (см. Adrados 1982: 7, Клейн 2000: 180) появилось мнение о тохарской атрибуции афанасьевской культуры, восходящей в свою очередь к ямной культурно-исторической общности (Семенов 1993). В 2000 году опубликована статья Л.С.Клейна о тохарской атрибуции карасукской культуры, которую он, в свою очередь, выводит из восточноевропейской фатьяновской культуры эпохи средней бронзы (Клейн 2000). Мнение Л.С.Клейна о происхождении карасукской культуры от фатьяновской подвергнуто резкой критике в статье Вл.А.Семенова (Семенов 2002).

Вопрос о том, могут ли эти культуры претендовать на «тохарскую» атирбуцию, должен быть разрешен прежде всего исходя из того, могли ли иметь носители карасукских либо афанасьевских традиций тесные контакты с народами Восточной Азии, в языке которых прослеживается явное тохарское влияние. Влияние тохарского (тохарских?) языков, прежде всего — в части «культурных» и религиозных терминов — прослеживается на языки алтайской семьи, в частности общетюркский (Rona-Tas 1974; Reinhart 1994; Wang 1995, 1998). Кроме этого, тохарское происхождение можно предполагать у ряда древнекитайских слов, относящихся к домостроению, колесничному делу, хозяйству (Поливанов 1916; Lybotsky 1998). Кроме того, можно исходить из того, что именно тохароязычные племена

скрываются под именем «юэчжей», населявших в III веке до н.э. Ганьсуский коридор вплоть до излучины Хуанхэ. Согласно наиболее авторитетному и соответствующему историческому контексту (ШЦЧ: 27) мнению танского «Ко ди чжи»: «Земли областей Лян[чжоу], Ганьсу[чжоу], Су[чжоу], Янь[чжоу], Ша[чжоу] — первоначально государство юэчжи» (ШЦ: 9, 2888, прим. 1, КДЧ: 219); перечисленные танские области охватывали Ганьсуский коридор именно восточнее Дуньхуана (ЧГЛШДТЦ, V: 61–62). Той же точки зрения придерживался и Ху Саньсин (см. ТЦДЛЧЦД: 72) (См. Pulleyblank 1966, Zürcher 1968: 359–361, Боровкова 2001: 44–56, Ковалев 1999: 81–82, Lin 1998, а также противоположную точку зрения, изложенную в Крюков 1988: 236–241). Таким образом, афанасьевская либо карасукская культуры из списка претендентов на тохарскую атрибуцию исключаются. Памятники афанасьевской культуры, на что справедливо обратил внимание Л.С.Клейн (Клейн 2000: 181), не обнаружены к юго-востоку далее Центральной Монголии, влияние афанасьевских традиций на «китайские» памятники не прослеживается. Никакого отношения (за исключением находок «импортов») к афанасьевской культуре известные памятники Синьцзяна (вопреки Молодин, Алкин 1997, Семенов 2002: 116) не имеют (см. Варенов 1998, Kovalev 2000), да и обнаружение памятников этой культуры на западе современного Китая ничего не даст для доказательства «афанасьевского» происхождения юэчжей, которые, по историческим данным, были оттеснены в Синьцзян, а не произошли оттуда. Что же касается карасукской культуры, то и она не имела непосредственных связей с Центральной Равниной, на что справедливо указывает, в свою очередь, уже Вл. А. Семенов (Семенов 2002: 116). Наоборот, Средний Енисей находился на периферии деятельности центральноазиатских племен, влиявших на древнекитайскую цивилизацию (Kovalev 1992). Так называемая «карасукская общность» — плод воображения иссследователей, незнакомых с китайскими памятниками.

Таким образом, тохарскую атрибуцию можно предполагать только лишь — из известных — для культуры Чаодаогоу (в соответствии с обоснованной выше ее хронологией и территорией распространения) и для сейминско-турбинской общности, которая, видимо, как уже отмечалось, оказала влияние на формирование иньской цивилизации (Ковалев 2002).

Тохароязычность носителей сейминско-турбинского культурного феномена отстаивает В.В.Напольских (Напольских 1997: 152–157). На его взгляд, носители сейминско-турбинской культуры являются «паратохарами» (не оставившими своих прямых потомков) и происходят от «пратохаров» — афанасьевцев, которых, в свою очередь, он вслед за Вл.А.Семеновым отправляет на встречу с древними китайцами. Если в части интерпретации археологического материала афанасьевских памятников эта гипотеза не выдерживает критики, то в части исследования особенностей языковых контактов древних уральцев и тохаров (что, собственно, и привело исследователя к выводу о тохарской атрибуции сейминско-турбинского феномена) работа В.В.Напольских заслуживает самого пристального внимания.

Подвергнув тщательному критическому анализу лексические сопоставления уральских и тохарских языков, приведенные в литературе последних десятилетий (Joki 1973; Rédei 1986: 24, 40–43, 58; Van Widekens 1962, Хелимский 1985), В.В.Напольских отобрал наиболее, на его взгляд, убедительные примеры заимствований тохарской лексики в уральские языки. Оказалось, что все эти заимствования, если и имели место, происходили в эпоху после распада уральского и финно-угорского языков, но «охватили при этом все (эндо-) уральские группы». Иссследователь считает, что даже те «тохаризмы», которые имели трансуральское распространение («металл», «ворона», «семь»), все же распадаются по суффиксации на отдельные этимологические гнезда, что свидетельствует о сепаратных заимствованиях. Поэтому только лишь сейминско-турбинский культурный феномен, «могущий охва-

тить все (эндо-) уральские группы в этот период», может претендовать на тохарскую атрибуцию.

Такой вывод действительно можно сделать, если предположить именно тохарское происхождение приводимых В.В.Напольских слов. Однако само по себе предпринятое В.В.Напольских углубленное исследование «тохаризмов» в уральских языках в результате делает очевидным то, что эти заимствования в подавляющем большинстве случаев тохарскими не являются, и влияние тохарского на уральские языки если и было, то было ничтожно и опосредованно.

Во-первых, перечень более-менее достоверных «тохаризмов», приводимый автором в монографии, насчитывает 9 слов. Во-вторых, для шести из этих слов можно с тем же успехом предложить этимологические «альтернативы», что и делает В.В.Напольских. Появляются серьезные сомнения в приоритетности тохарских источников для следующих слов:

ф.-перм. *kertз «железо» < тох. B kertte «меч», имеющие надежное иранское (авестийское) сопоставление kareti «нож» при вероятности заимствования тохарского слова из иранского языка;

ПФУ *met(e) «мед» < тох. B. mit «мед» при наличии балто-славянского аналога (лит. medus, др.-ц.-слав. medŭ);

ф.-перм. *solз «соль» < тох. A sâle при наличии балто-славянского *sol-;

ПУ *warз «ворона» < тох. B. wrauña при наличии общего балто-славяно-тохарского термина с сохранением соответствующих изоглосс в отдельных языках (см. Гамкрелидзе, Иванов 1984: 540);

ППерм *kȯjan / *kȗjan «волю» < тох.: AB ku, косв. пад. A: kon «собака» при ПИЕ *k[h]u̯on / k[h]on «собака» с переносом значения в ряде и.-е языков (но не в тохарских!) на «волка» и при наличии кельтского соответствия др.-ирл cù, род. пад. con «собака», «волк» (см. Гамкрелидзе, Иванов 1984: 589–590).

Приведенное А.Йоки и поддержанное Т.В.Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым (Joki 1973: 316, Гамкрелидзе, Иванов 1984: 937) соответствие волж./перм. *o/uška «бык» и тох. B okso ничем не лучше сравнения с тем же термином в ряде других индоевропейских языков (см. Гамкрелидзе, Иванов 1984: 566). Наиболее вероятна связь волжско-пермского слова с авест. uxšan «бык», что соответствует и общим представлениям о времени и месте сепаратных контактов волжско-пермских языков с иранскими.

Ряд неоднократно обсуждавшихся лингвистами этимологий вызывают сомнение не только с формальной, но и с содержательной, исторической (см. напр. о роли исторических реконструкций Трубачев 2002: 118–161) точки зрения.

Обозначение металла в ряде уральских языков, восходящее, по мнению вышеуказанных исследователей, к тохарскому (R: wäs; B: yasa), не может быть свидетельством близких контактов носителей «прототохарского» языка с уральскими в то время, когда «прототохары» освоили металлургию меди. Дело в том, что в уральских языках семантика соответствующих лексем охватывает понятия «медь», «бронза», «латунь», «железо», «металл» вообще, «украшение» (Menghes 1965: 132–134, Напольских 1997: 154–155). В тохарских языках слова A: wäs; B: yasa сохранили изначальное для и.-е *Hu̯es значение «золото». Поскольку это слово представляет собой древний миграционный термин шумерского происхождения (шум. guškin «золото» (Aalto 1959), логично сделать вывод о том, что заимствование его через тохарский язык если и имело место, то на той стадии, когда в местообитание прауральских племен поступал только лишь один вид металла — золото, использовавшийся для целей украшения, что и привело в дальнейшем к переносу названия, через общие понятия «металл», «украшение», на новые виды металлов, осваиваемые уральскими народами. Для

передачи такого термина не было необходимости непосредственного контакта между протоуральцами и прототохарами. Однако, если признавать тохарское происхождение соответствующих уральских терминов, то придется признать, что тохары, получив основы металлургии золота из Междуречья, были как минимум посредниками в торговле золотом с лесными уральскими племенами, причем не позднее начала II тыс. до н.э., до освоения последними металлургии.

Невозможно с исторической точки зрения принять и этимологию ПУг *luw «лошадь» < тох.: A lu, B: luwo «зверь, животное» при наличии в тохарском языке древнего индоевропейского термина для обозначения лошади (A: yuk, B: yakwe < ПИЕ *ek[h]ɻos (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 544).

Нереально предполагать одновременное сепаратное заимствование прототохарского либо иного иноязычного термина, обозначающего «ворону», сразу четырьмя древнеуральскими языками (Напольских 1997: 154). Сходство названия столь распространенной птицы в уральских и балто-славянских языках, а также в тохарском (если исходить из того, что для уральских языков это — заимствование) может быть объяснено только лишь контактами на этапе уральского единства, когда пратохарский язык вряд ли мог самостоятельно существовать.

Протоугорское и протосамодийское числительные, обозначающие «семь», могут иметь различные корни. ПУг *Säpt может иметь индоиранскую этимологию, а ПСам *sej(k)twə– тохарскую B (если только не было обратного влияния — самодийской формы на тох. B: şuk(t)!) (Janhunen 1983: 119).

В связи с тем, что обозначения «имени» в уральских языках восходят к общему корню (Напольских 1997: 146), заимствование специфически тохарской формы для термина «имя» (тох. A: ñom, B: ñim) в протоуральский в форме *ńim совершенно нереально, поскольку предполагает синхронность общеуральского языка с одной стороны и обособившегося прототохарского — с другой (вопреки Гамкрелидзе, Иванов 1984: 937). Скорее, мы имеем дело с контаминацией в результате влияния уральского субстрата на тохарский, о чем — ниже.

Итак, убедительных лингвистических свидетельств влияния пратохарского на известные сегодня языки уральской семьи не существует. В то же время установлен целый ряд обратных заимствований — из уральских языков в тохарские (пратохарский); убедительными представляются выводы о существенном влиянии «угорского» языка (языков?) на вокализм, синтаксис и грамматику тохарских (Krause 1951: 197–198, Krause 1955: 35–37, Van Videkens 1962, 1964: 591–595, Menges 1965, 1967; Naert 1964, 1965a, 1965б, 1968; Thomas 1985: 151–154). С другой стороны, непреложным фактом являются многочисленные заимствования в финно-угорские языки из арийских, причем на разных этапах их истории (Joki 1973, Harmatta 1977, Rédei 1986, Гамкрелидзе, Иванов 1984: 921–935, Напольских 1997: 147–152). В качестве заимствований на самом раннем этапе контактов от индоиранских языков передавались прежде всего культурные термины, включая термины скотоводства, земледелия, транспорта, счета, социальные термины, что характеризует продолжительнось и прочность контактов индоиранцев с финно-угорскими племенами.

В то же время детальное исследование В.В.Напольских методом «лингвистической палеонтологии» выявило, что прародиной уральских народов необходимо считать «территорию, ограниченную на западе Уральским хребтом, на севере — примерно полярным кругом, на востоке — районом нижнего течения Ангары и Подкаменной Тунгуски и среднего течения Енисея, на юге — примерно современной южной границей западносибирской тайги от северных предгорий Саян и Алтая до нижнего течения Тобола и Среднего Урала» (Напольских 1997: 125–135). В дальнейшем финно-угорские народы продвинулись запад-

нее, расселившись в лесной полосе Восточной Европы (Напольских 1997: 135–140).

Вышеизложенное приводит нас к выводу, совершенно противоположному аксиоматике Л.С.Клейна. Не «тохары двигались из Европы на восток по лесной полосе далеко от степей (ареала ариев)» (Клейн 2000: 183), а арии долгое время, начиная с эпохи бронзы — периода прафинноугорского единства — населяли лесостепную полосу Европы (включая Приуралье), на рубежах которой (во всяком случае к моменту появления там финноугров) никаких тохаров не было!

Естественно, ни о какой тохарской атрибуции сейминско-турбинского феномена, тем более учитывая особенности передачи термина «золото», не может быть и речи.

Таким образом, уральский субстрат в тохарском мог появиться только лишь за счет контактов пратохаров с носителями уральских языков, населявшими территории вне уральской, а также финно-угорской прародины. С этой точки зрения, правомерно предположить, что часть уральского населения могла продвинуться в более южные области, в Среднюю или Центральную Азию (по предположению К.Менгеса (Menges 1967: 92) — во Внутреннюю Азию), где и находилась на момент вторжения тохаров.

С другой стороны, нельзя игнорировать тесные генетические связи, а также более поздние контакты дравидских, алтайских и уральских языков (см. напр. Bouda 1953, 1956, Andronov 1971, Menges 1964, 1967, 1977, Tyler 1968, Vacek 1987), а кроме того параллели эламского и протодравидского (см. Vacek 1987: 142–144). Протодравиды многими исследователями отождествляются с носителями культуры Алтын-Депе, впоследствии продвинувшимися на юг и создавшими цивилизацию долины Инда (Массон 1983: 48–51, Vacek 1987: 145, Mughal 1989: 51–70). Таким образом, многие специфические инородные черты тохарские языки могли получить не только за счет «уральского» компонента. Ряд грамматических особенностей, которые обычно отмечают в связи с влиянием уральского субстрата, могут с тем же успехом быть объяснены сравнением с другими аглютинирующими языками, в частности с дравидским (Menges 1967). Об этом писал еще В.Краузе (Krause 1951, 1955: 35–37), однако же выразив недоумение в связи с тем, что при этом пришлось бы признать соседство предков дравидов и тохар. К. Менгес, специально исследуя связи алтайского, уральского и дравидского праязыков, подтвердил наблюдения В.Краузе. Особенности тохарского склонения, при котором, в частности, локатив образуется с помощью дополнительного суффффикса, могут, по мнению Краузе и Менгеса, быть возведены как к уральскому, так и к дравидскому прообразу (Krause 1951: 189; 1955: 35, Menges 1964: 81–82; 1967: 91). Только лишь дравидское происхождение может иметь разделение в тохарском существительных по склонению на два класса — высший (боги, духи и люди), а также низший (животные и предметы) (Krause 1955: 36, Menges 1964: 82).

По мнению К.Менгеса, дравидское население занимало в древности гораздо более северные территории, чем сегодня, что снимает проблему возможности контакта с тохарами (Menges 1964: 82–83, 98; 1977: 172–173).

Еще одна инородная черта, корни которой находят в уральском контексте — словообразование путем словосложения типа «глаз-нос» = «лицо». Этот признак проявлен не только в угрофинских языках, но и в абхазо-адыгских, более того — в осетинском, наряду с аглютинативной системой падежей, как следствие северокавказского его окружения (Krause 1955: 37).

Итак, не будет ничего удивительного в присутствии пратохарского в эпоху бронзы на рубежах Средней и даже Передней Азии. В этой связи необходимо обратить внимание на статью У. Б. Хеннинга, опубликованную в 1978 году под вызывающим названием «Первые индоевропейцы в истории» (Henning 1978). К сожалению, эта работа, как и доклад Хеннин-

га на ту же тему еще в 1962 году, не вызвала надлежащего отклика. У.Б.Хеннинг выдвигает предположение о генетической преемственности этнонимов Guti (Gutium) и Kučâ (Kuči) (Henning 1978: 215–217). Таким образом, по его мнению, именно пратохары скрываются под именем скотоводов-кутиев, властвовавших над Месопотамией в XXII веке до н.э. и известных по историческим источникам до конца II тыс. до н.э. (см. Hallo 1971). Страна кутиев локализуется, согласно вавилонским источникам, в горной местности севернее Элама, а соседями кутиев названы «Tukriš», которые ассоциируются с народом «Toχâr» Центральной Азии (Henning 1978: 220–225). Хеннинг попытался интерпретировать с точки зрения склонений тохарского языка имена собственные кутийских вождей (Henning 1978: 227–228).

Бульшую часть статьи У.Хеннинга занимает подробное исследование происхождения этнонимов тохароязычных народов. Необходимо отметить, что дуализм наименований «тохары» — «кушаны» для обозначения «тохароязычных» народов доказывается как сопоставлением текстов античных и китайских письменнных источников, так и анализом письменных памятников на тохарских и тюркских языках (см. Иванов, Мельчук 1959: 153, Ставиский 1977: 33–35, 101–103, Henning 1978: 224–226), и уж совершенно определенно название «тохары» в Средней Азии носила одна из групп «юэчжийского» населения (Ср. историю и расположение народов по Пьянков 1997, Боровкова 2001: 163–180).

У.Хеннинг упоминает правителя страны «Tukriš» Kiklipatalli (или Kiklip-atal) конца III тыс. до н.э., известного по позднему хеттскому тексту из Богазкёя (Henning 1978: 220).

Согласно установившемуся мнению, имя этого персонажа относится к группе весьма распространенных личных имен хурритского происхождения с элементом «аталь», включая имена ряда хурритских правителей конца III — первой трети II тыс. до н.э. (Аталь-шен, Тиш-аталь, Аталь-шенни) (см. Вильхельм 1992: 33–40). Однако первая часть этого личного имени может быть объяснена через специфически тохарский термин «колесница», «повозка» тох. A: kukäl, B: kokale. Этимология хурритского элемента «- аталь» неясна. Это дает возможность предложить параллель с тох. A: âtäl — «мужчина», в свою очередь находящемуся в родстве с германским *adalo (др.-норв. edal, нем. Adel (знать), edel (благородный), др. в.-н. adal (племя), англосакс. adelu (благородное происхождение) (см. Бенвенист 1995: 292–294). Тогда «Kikl-i-p-» можно рассматривать как генетив тохарского A прилагательного от «kukäl» на -i (kuk(ä)li-(y)äp?). Эта же этимология, казалось бы, возможна и для личного имени митаннийца Kikkuli, собственно специалиста по колесничному делу (см. Kammenhuber 1961).

Еще в 1908 году тохарскую этимологию предложил М.Блумфилд (см. Lane 1970: 73) для суффиксов, образующих слова Mi-ti-ra-åš-ši-il, A-ru-na-åš-ši-il u Na-šå-at-ti-ja-an-na, производные от имен индоарийских богов «Митра», «Варуна», «Насатьи», в тексте договора между митаннийским царем Куртиваза и хеттским правителем Суппилулиумасом I (см. Weidner 1923: 30–31, 54–55). Согласно мнению М.Блумфилда, здесь использован суффикс комитатива тох. A–aśśäl, а также суффикс мн. ч. тох. A: -añ (можно привести еще и суффикс парного числа тох. B: -(a)ne, в этом случае точное соответствие приведенному обозначению близнецов-Насатьев тох B: ñaktene «божественная пара»). Логичные объяснения роли этих словообразовательных элементов в контексте хурритского языка, на мой взгляд, не отвергают возможной связи их с «пратохарским». Дело в том, что для передачи «органического дуализма» братьев-близнецов Насатьев использован, по мнению Тиме и Дьяконова, хурритский элемент –na, обозначающий множественность, а имена Митры и Варуны, как считали Гетце и Дьяконов, сопровождаются комплексом хурритских элементов, указывающим на принадлежность, отношение (Goetze: «[Gods] belonging to (accompained by)

god Mitra, [gods] belonging to (accompained by) god Varuta [in particular:] god Indra, the gods Nāsatyā») (Гиндин 1972: 293–294). Таким образом, реконструированное из хурритских элементов значение совпало со значением соответствующих суффиксов в тохарском А. Тем самым не исключается возможность появления специфически тохарских суффиксов под воздействием языков неиндоевропейского населения Передней Азии — хурритов и их соседей. В этой связи перспективным могло бы стать сравнительное исследование хурритского и тохарского словообразования.

Итак, тохарская интерпретация археологически засвидетельствованной миграции II тыс. до н.э. скотоводов Загроса в горно-степные районы Центральной и Восточной Азии не исключена. Более того, в свете изложенных обстоятельств необходимо возобновить лингвистические исследования возможных древних связей прототохар и неиндоевропейских народов Кавказа, Передней и Средней Азии.

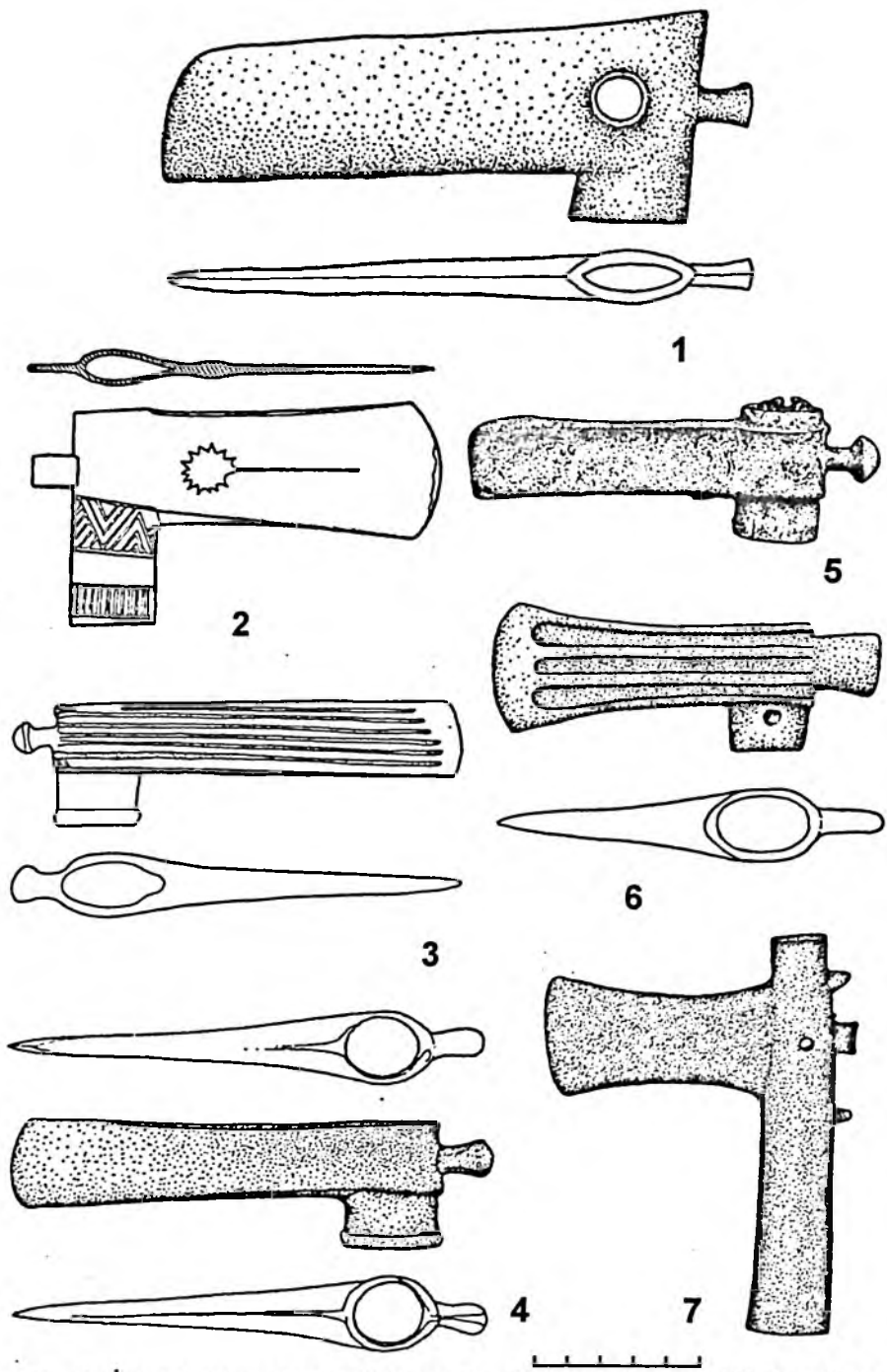
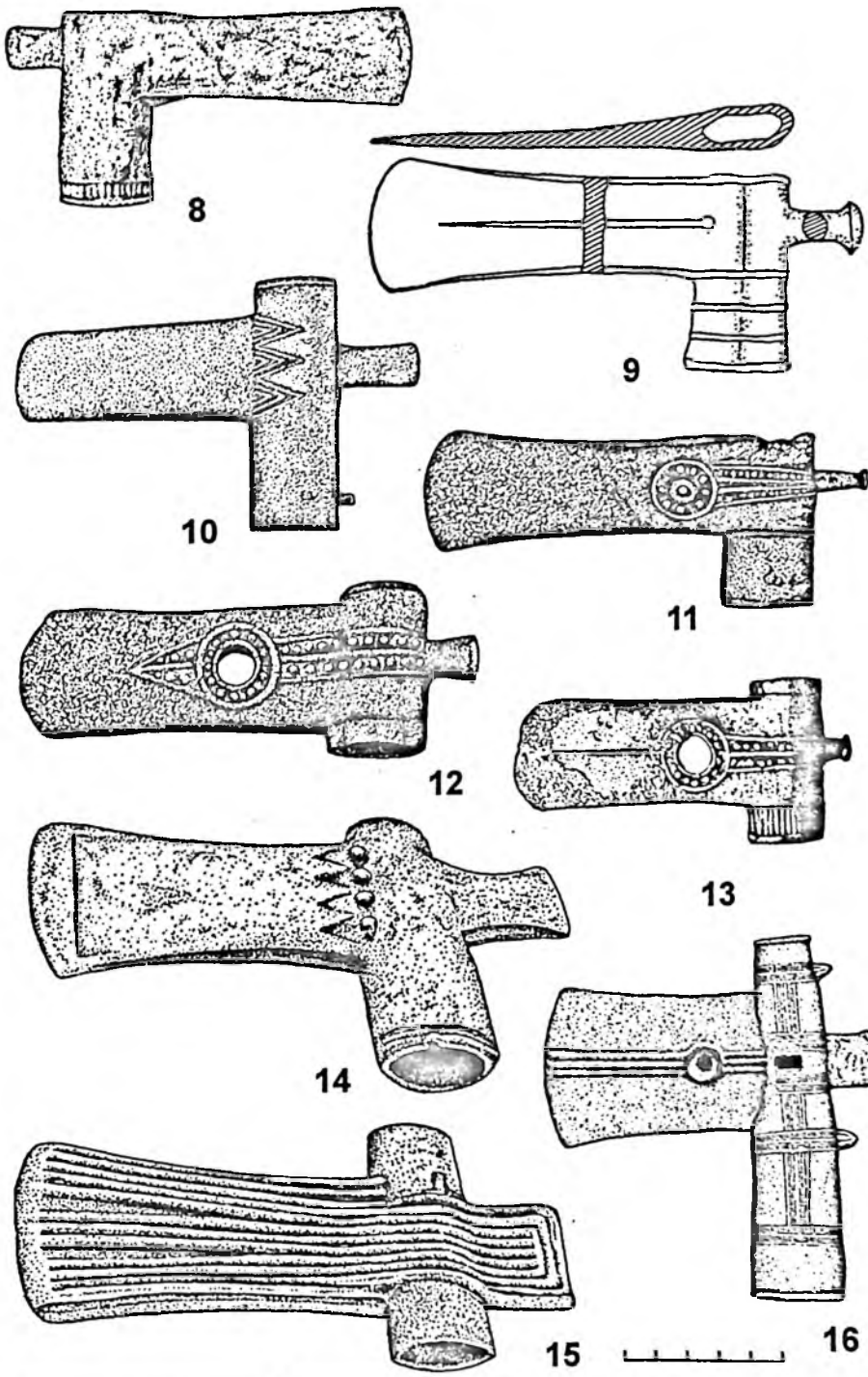


Рисунок 1 — Бронзовые топоры культуры Чаодаогоу: 1 — Хэйдоуцзуй, могила М3, (уезд Чуньхуа, Шэньси) (по Чуньхуа сянь вэньу чжи... рис. 4(3)); 2–4 — Дахунци, комплекс (уезд Синьминь, Ляонин) (по Го Дашунь 1987: рис. 11, 1994, рис. 1 (2)); 5 — Сяохэйшигоу, комплекс(?) 1985 года (уезд Нинчэн, Чифэн, АР Внутренняя Монголия) (по фотографии Бэйфан миньцзу 1995: № 49); 6 — коллекция Цзилиньского (Гиринского) университета (по Ван Дань 1992: рис. 4(2)); 7 — Цаоцзяюань, могила (уезд Шилоу, Шаньси) (по фотографии из Ян Шаошунь 1981a: рис. 25); 8 — Чаодаогоу, комплекс (уезд Цинлун, Хэбэй) (по фотогорафии из Watson 1971: fig. 24 (b)); 9 — Факу, поселение (уезд Факу, Ляонин) (по Хэ Сяньу и др. 1989: рис. 13(2); 10 — Ордос, коллекция НИИ



культурного наследия и археологии АР Внутренняя Монголия (по фотографии Тянь Гуаньцзинь, Го Сусинь 1986: табл. XLII, 1); 11 — Янхэ, комплекс (уезд Синчэн, Ляонин) (по фотографии Ли Цзяньминь, Фу Цзюньшань 1978: рис. 2); 12 — Дасыкунцунь, могила M539 (Аньян, Хэнань) (по фотографии Ян Сичжан 1992: табл. 5(2)); 13 — коллекция Британского музея (по фотографии Watson 1971: fig. 23); 14, 15 — Линьчжэюй, могила (уезд Баодэ, Шаньси) (по фотографии У Чжэньлу 1972: рис. 1); 16 — Цюйтоуцунь, комплекс (уезд Яньчуань, Шэньси) (по фотографии Янь Чэньфэй, Люй Чжижун 1988: рис.6 и рисунку Дай Инсинь 1993: рис. 6(1)).

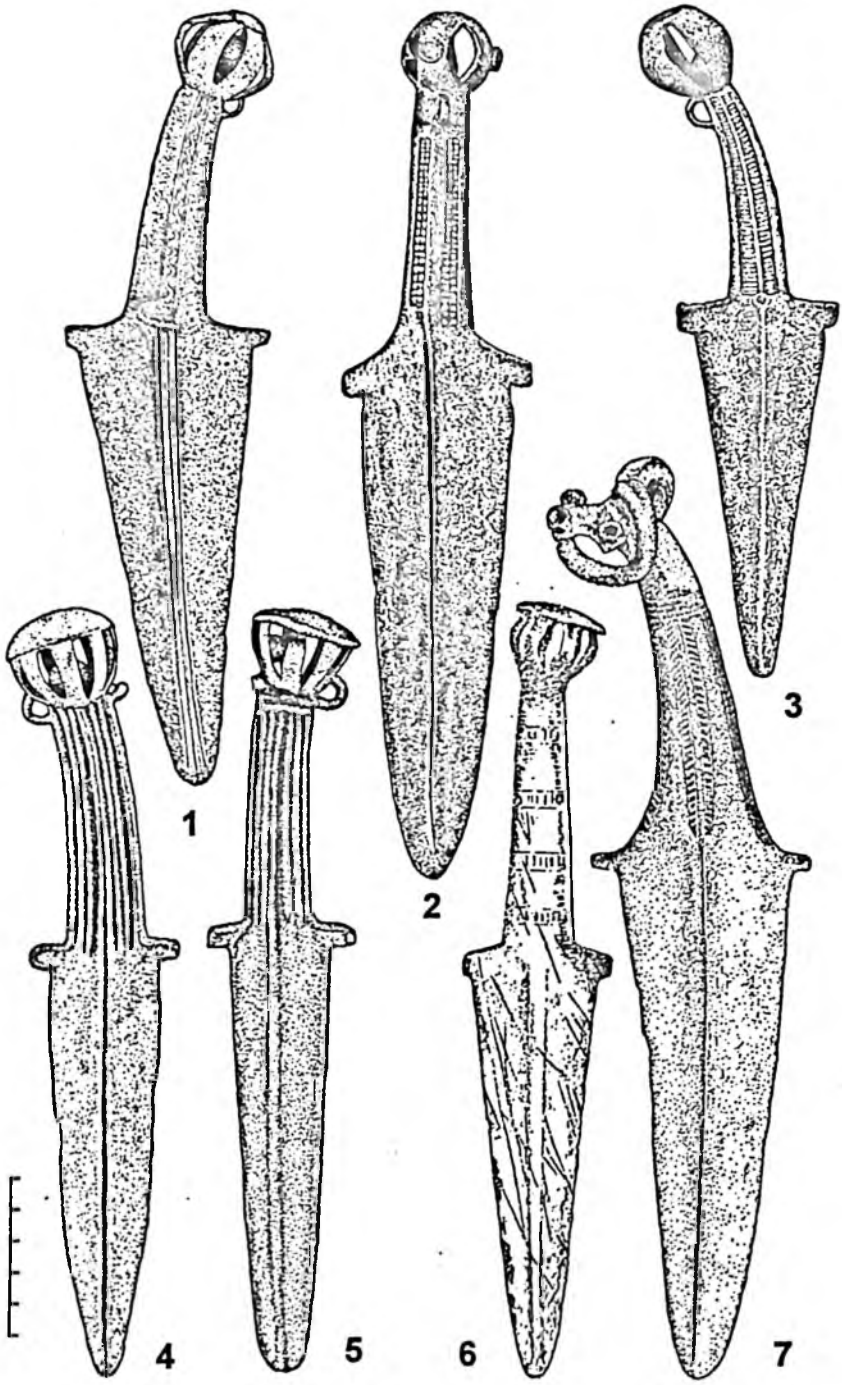


Рисунок 2 — Бронзовые кинжалы культуры Чаодаогоу: 1 — коллекция Токийского национального музея (по фотографии Ueda 1954: Pl. IX, 1); 2 — сейм Шилингол (АР Внутренняя Монголия) (по фотографии Тюгоку наймоко... 1983: 27, №19); 3 — знамя Эджин-Хоро (Алтан-Ширэт) (сейм Икэчжао, АР Вутренняя Монголия) (по фотографии Тянь Гуаньцзинь, Го Сусинь 1986: табл. XXVI,1); 4 — Цаоцзяюань, могила (уезд Шилоу, Шаньси) (по фотографии Ян Шаошунь 1981а: рис. 13); 5 — Цюйтоуцунь, комплекс (Яньчуань, Шэньси) (по фотографии Янь Чэньфэй, Люй Чжижун 1988: рис. 2); 6 — коллекция Савьера (по Loehr 1949: № 6); 7 — Чаодаогоу, комплекс (уезд Цинлун, Хэбэй) (по фотографии Бэйфан миньцзу 1995: № 3).

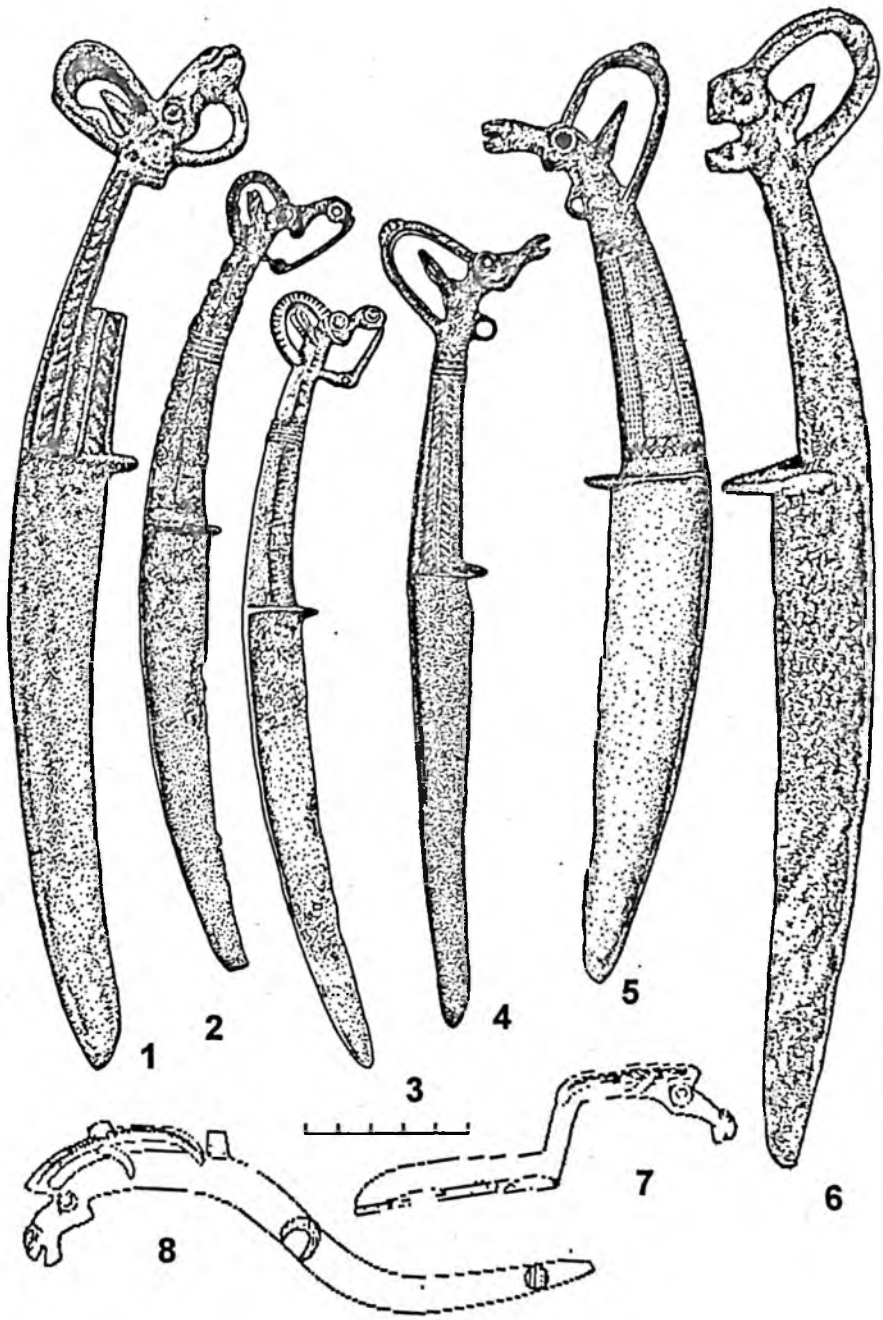


Рисунок 3 — Бронзовые ножи культуры Чаодаогоу (1–6), бронзовые предметы с изображениями головы козла (7, 8): 1 — Яньтоуцунь, комплекс (уезд Суйдэ, Шэньси) (по фотографии Хэй Гуан, Чжу Цзеюань 1975: рис. 3); 2, 4 — коллекция Британского музея (по фотографии Rawson 1987: № 12); 3 — по фотографии So, Bunker 1995: № 15; 5 — Чаодаогоу, комплекс (уезд Цинлун, Хэбэй) (по фотографии Бэйфан миньцзу 1995: № 37); 6 — могила Фу-хао (Сяотунь М5) (Аньян, Хэнань) (по фотографии Иньсюй Фу-хао му 1980: табл. 66(1)); 7, 8 — бассейн Ляохэ (Ляонин) (по Го Дашунь 1994: рис. 3 (12, 14)). 1–6 — масштаб 2:5; 7, 8 — масштаб около 11:25 (?).

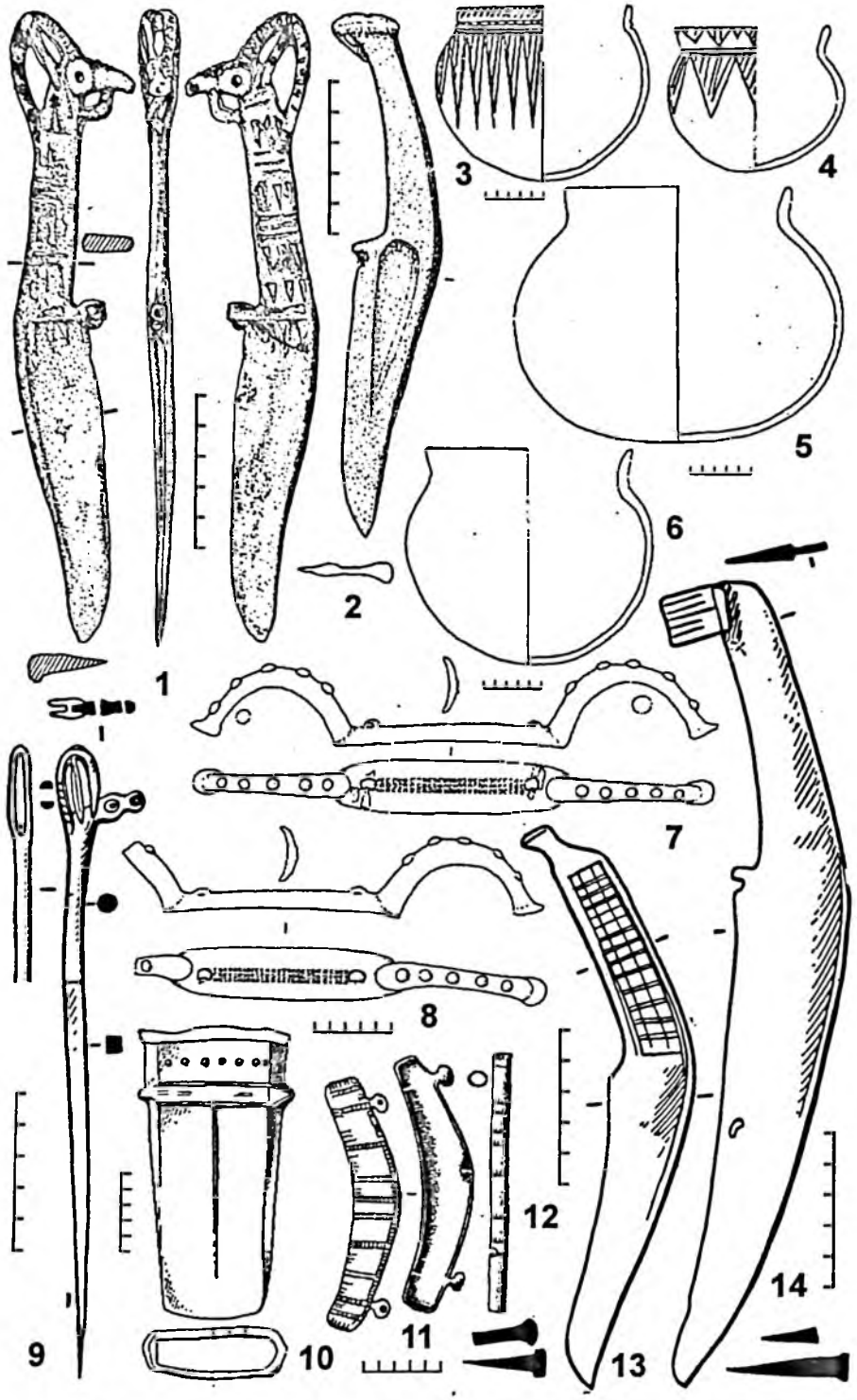


Рисунок 4 — Карасукские комплексы с предметами «чаодаогоуской» традиции: 1–8 — Подкунинские горы, курган 1, парное погребение (Усть-Абаканский район, Хакасия) (1 — рисунок с натуры, 2–8 — по Kotozekov 2000: Abb. 6, 7); 9–14 — Ладейское погребение (Красноярск) (по Членова 1972: табл. 19 (1–12)). 3–6 — керамика, остальное — бронза.

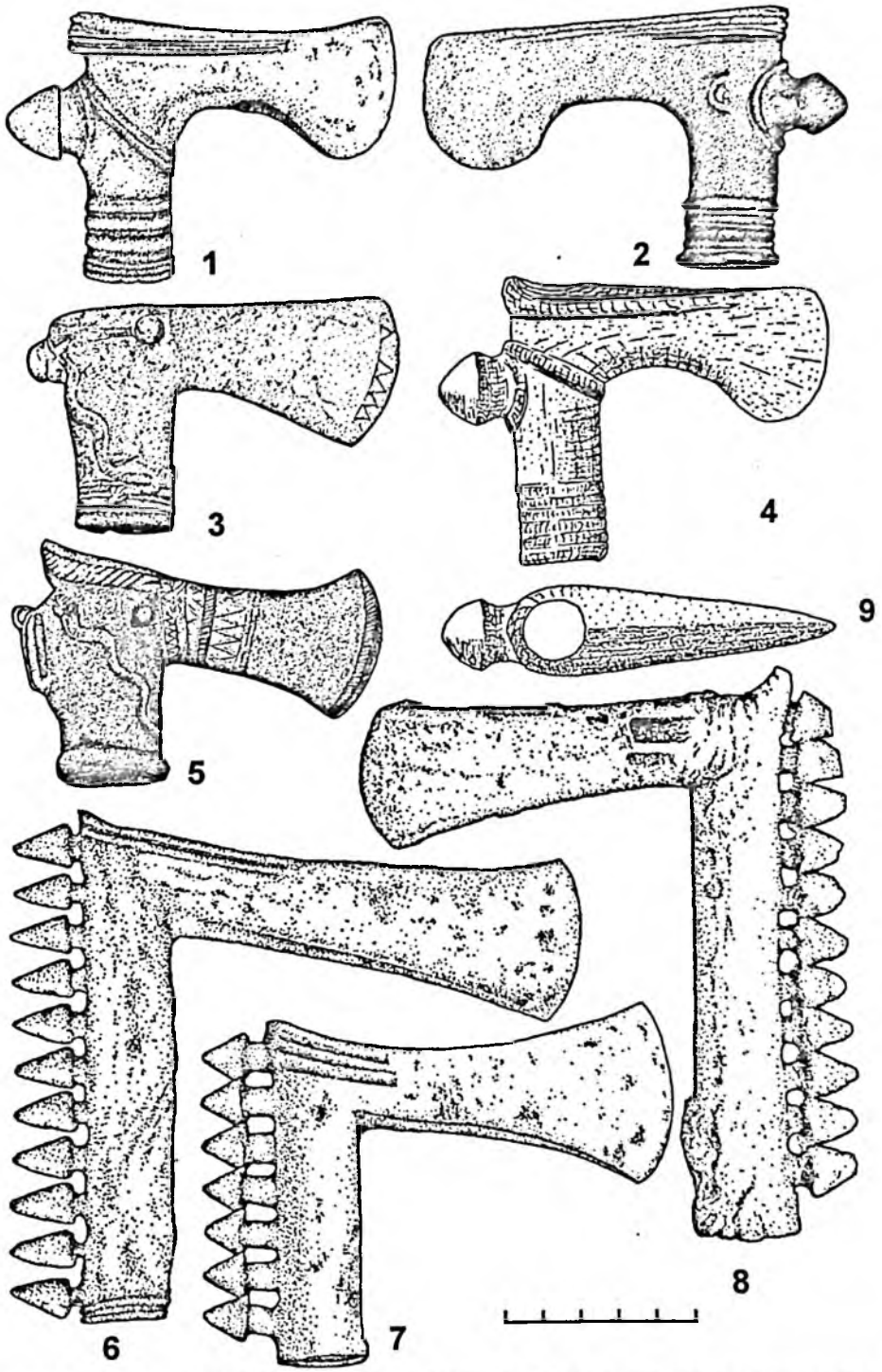


Рисунок 6 — Бронзовые топоры из Ирана с грибовидными, подпрямоугольными выступами на обушке: 1, 6 — коллекция Тегеранского музея (по фотографии Deshayes 1960: № 3075, 3084); 2 — коллекция Королевского музея, Брюссель (по фотографии Maxwell-Hyslop 1949: Pl. XXXVIII, 2); 3, 7 — коллекция Годара (по фотографии De Waele 1982: № 7, 10); 4 — коллекция Музея Никольсон, Сиднейский университет (по Birmingham 1963: fig. 3c); 5 — коллекция музея Ритберг, Цюрих (по фотографии Rickenbach 1992: № 14); 8 — Нихаванд, Иран (по фотографии Dussaud 1930: pl. XLII, 1).

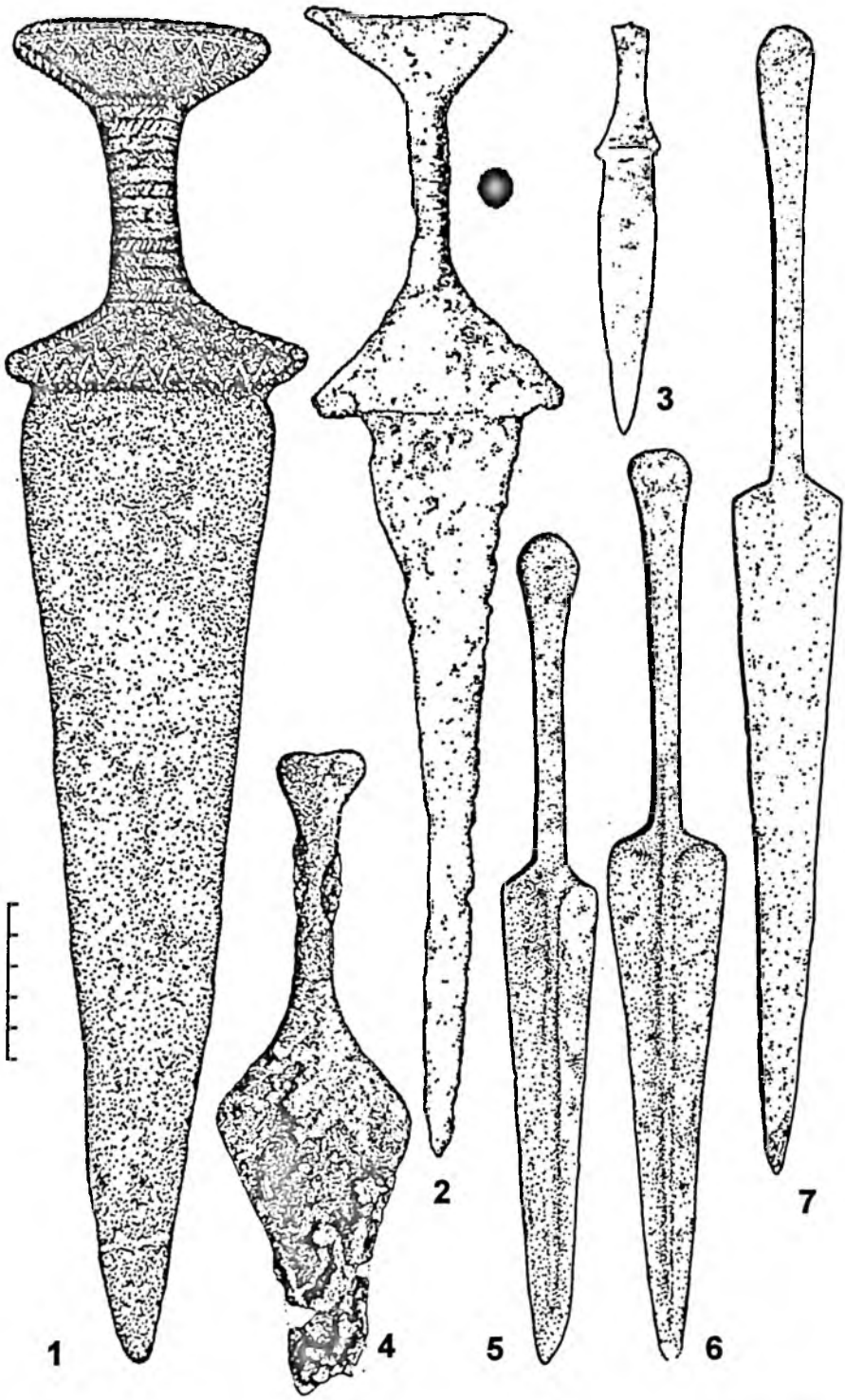
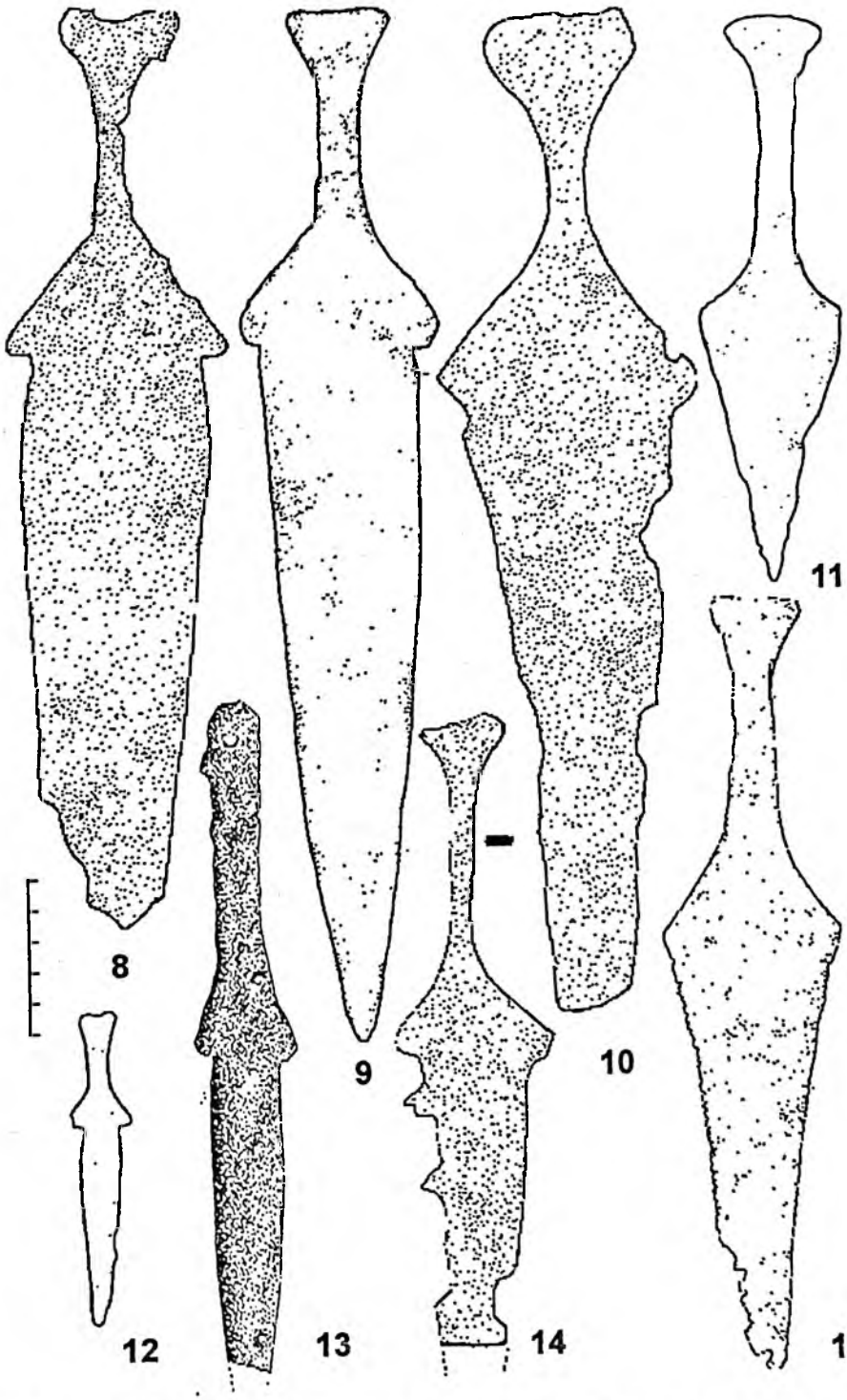


Рисунок 5 — Пластинчатые бронзовые кинжалы из Ирана: 1 — коллекция Давид-Вайль, Лувр (по Amiet 1976: № 4); 2, 3, 8–12, 14, 15 — Сузы (коллекция Лувра) (по Tallon 1985, 2: № 102, 103, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116); 4 — Камтарлан II, поселение (Луристан) (по Schmidt et al. 1989, 2: Pl. 120, f); 5, 6 — Дар-Танха 1,



коллективная гробница (Луристан) (по фотографии Vanden Berghe 1972: Pl. XI (7, 8)); 7 — Калле Ниссар AI, коллективная гробница 16 (Луристан) (по фотографии Vanden Berghe 1973: Pl. 5); 13 — Тепе Гиссар, слой 1C (Луристан) (по Schmidt 1937: Pl. XVI).

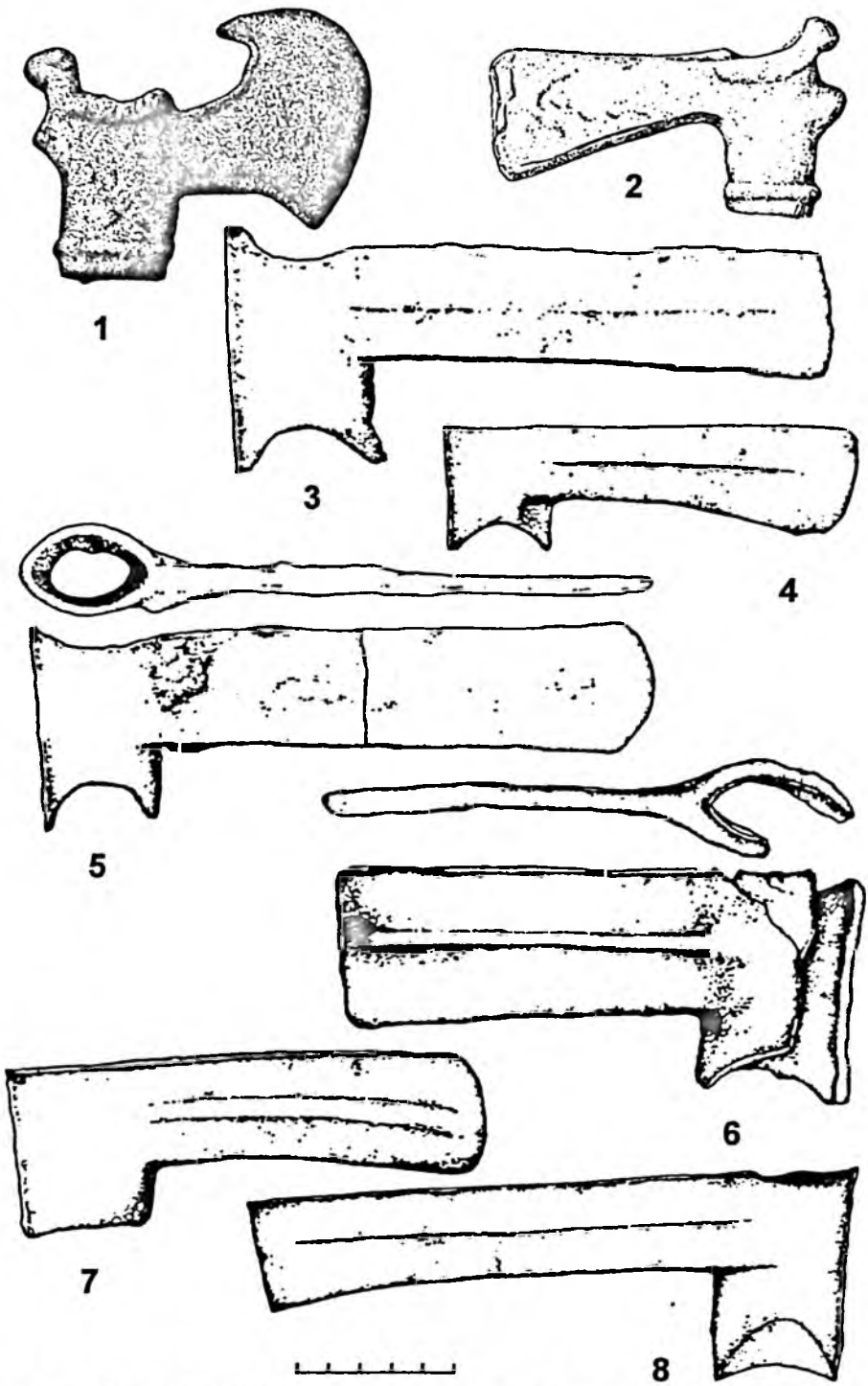


Рисунок 7 — Бронзовые топоры из комплексов первой трети II тыс. до н.э. (с выступами на обушке из Луристана (1, 2), с овальной втулкой и прямоугольной лопастью типа С3а по Дейе из Хамрина (Ирак)): 1 — Чигха Сабз, могила М7 х2 (по фотографии Schmidt et al. 1989, 2: Pl. 125, d); 2 — Чигха Сабз, могила М7 х3 (по Schmidt et al. 1989, 2: Pl. 120, a); 3, 5 — Телль Халава, слой II (могила 41 и помещение 55) (по Philip 1995: fig. 4(2, 3); 4, 6, 7 — Сулейме (слой III, могила 97; слой II, могила 59; слой III, могила 155) (по Philip 1995: fig. 4 (4, 5, 7); 8 — Телль эль-Зейб, могила 20 (по Philip 1995: fig. 4 (1)).

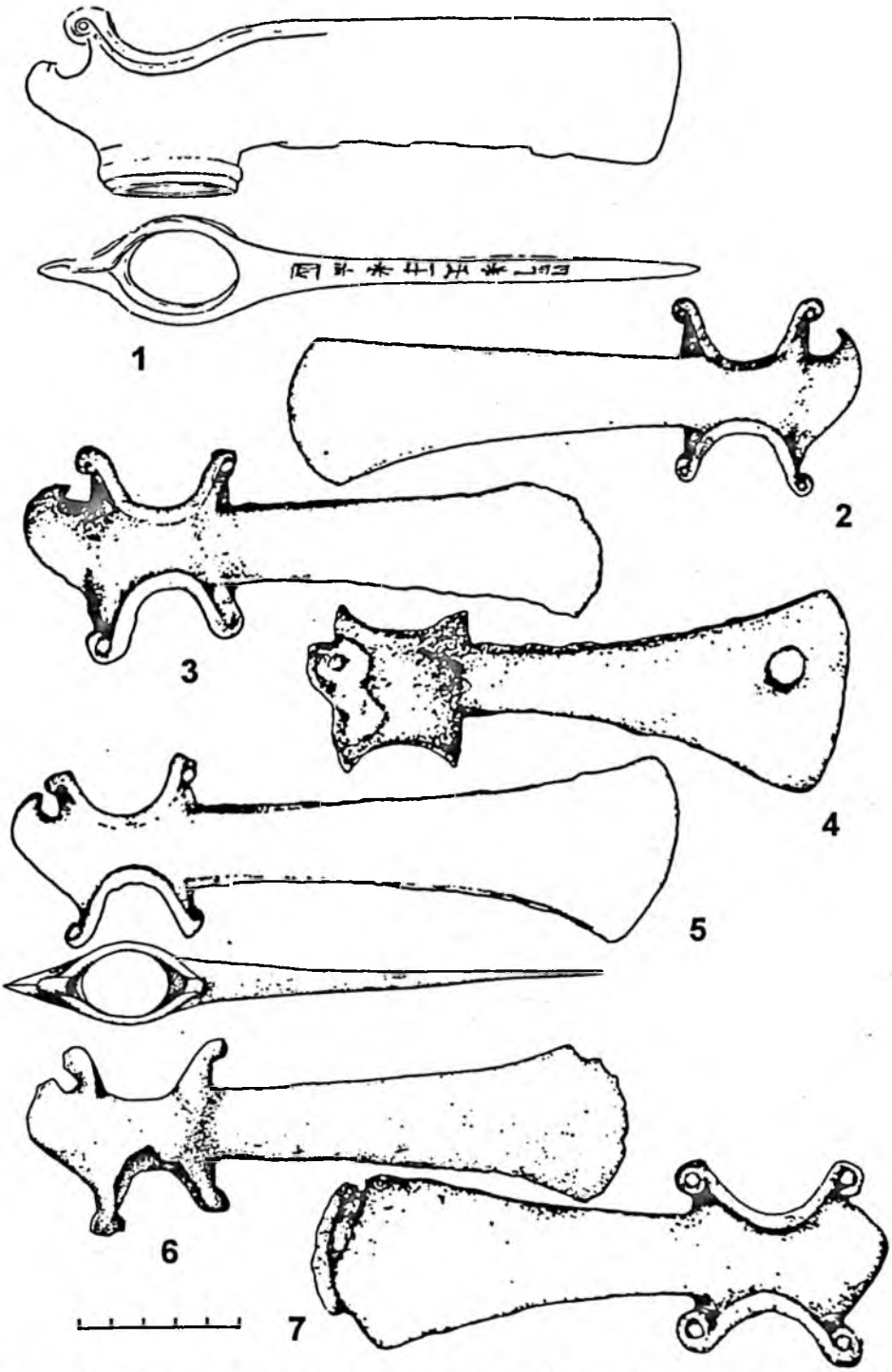


Рисунок 8 — Бронзовые топоры с овальной втулкой первой трети II тыс. до н.э.: 1 — типа C3b по Дейе с надписью правителя Ларсы Рим-Сина I (1822–1763 гг. до н.э.), Багдадский музей (по Amiet 1976: fig. 18); 2–5 — Телль Халава (Хамрин, Ирак) (слой II, помещение 17, могила 5; слой II, помещение 142; слой II, помещение 17; слой II, могила 43) (по Philip 1995: fig. 5 (1–3), 6(1)); 6 — Сузы (по Tallon 1985, 2: № 45); 7 — Телль Сулейме, слой II, помещение 53, могила 31 (Хамрин, Ирак) (по Philip 1995: fig. 5(4)).

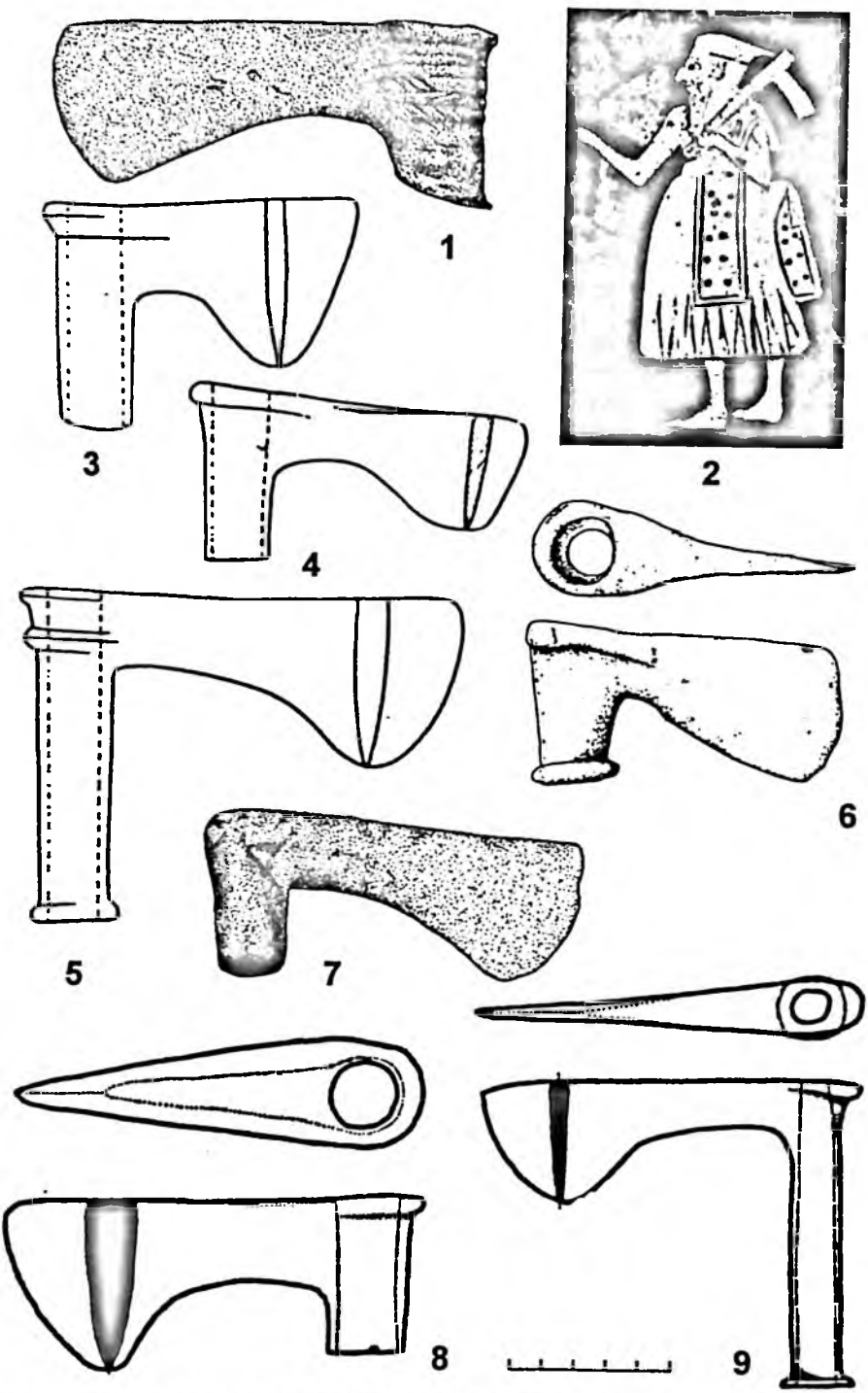


Рисунок 9 — Аналогии бронзовым топорам с грибовидным выступом на обушке, период РД III, Аккадский период: 1 — Телль Хуейра, Сирия, помещение 47 Малого храма (по фотографии Moortgat-Correns 1978: Abb. 7); 2 — Мари, мозаика (Сирия) (по Parrot 1935: Pl. XXVIII, 1); 3–5 — Бани-Сурма, Калле Нисар, коллективные гробницы (Луристан) (по Vanden Berghe 1973: fig. 3); 6 — Сузы (хронология неясна)(по Tallon 1985, 2: № 23); 7 — Калле Нисар AI, коллективная гробница 16 (Луристан) (по фотографии Vanden Berghe 1973: Pl. 5); 8, 9 — Дар Танха 1, коллективная гробница (Луристан) (по Vanden Berghe 1972: fig. 6 (1,2)). 1, 3–9 — бронза; 2 — перламутр, б/м.

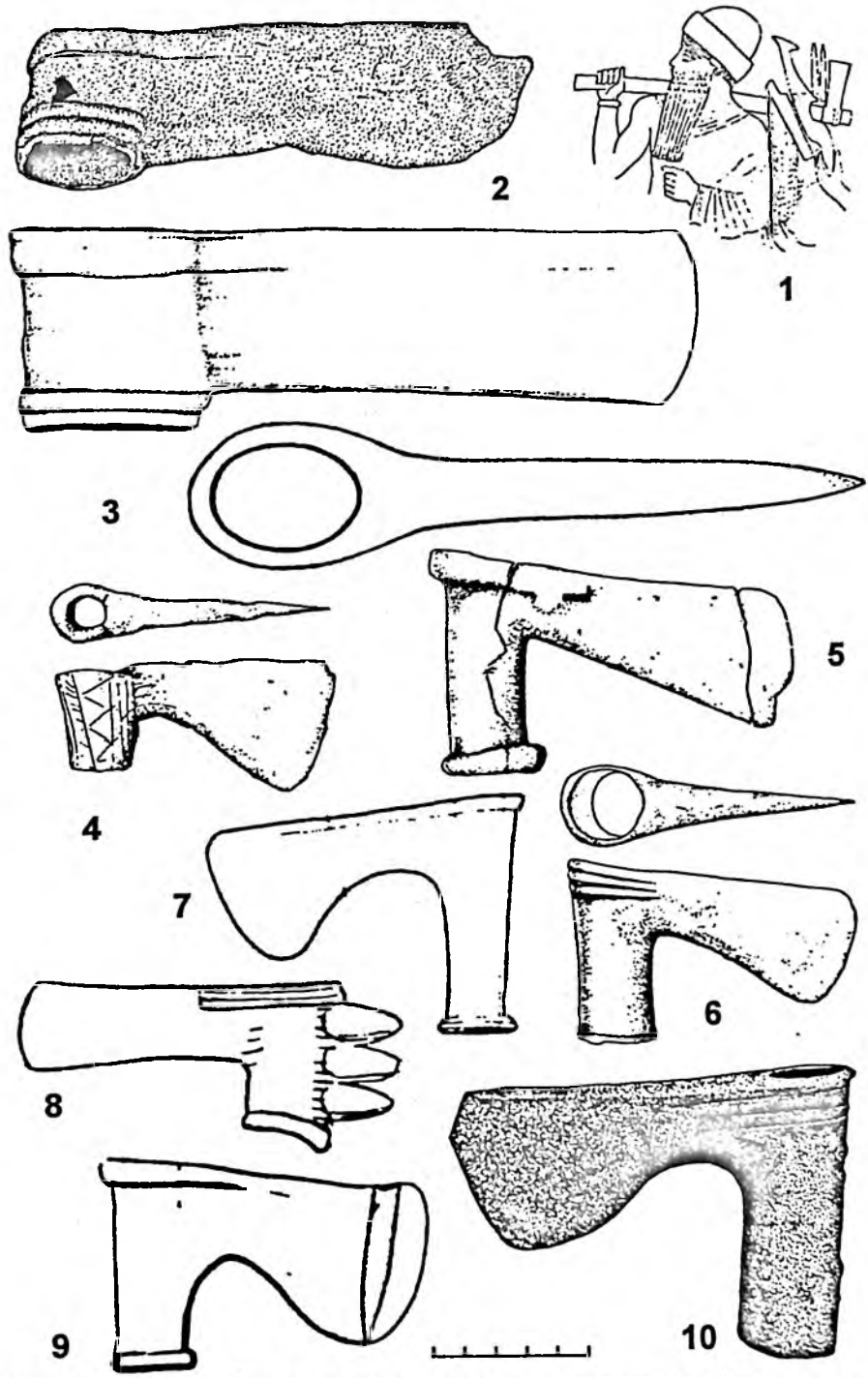


Рисунок 10 — Аналогии бронзовым топорам с грибовидным выступом на обушке, период после падения династии Аккада (хронология находок из Суз предположительно): 1 — рисунок на стеле, Ур (по Moorey 1971б: Fig. 1); 2 — Терка (Сирия) (по фотографии Mount-Williams 1980: pl. VII, №21); 3 — Телль Сифр (Ирак) (по Moorey 1971б: fig. 1); 4, 5, 6 — Сузы (по Tallon 1985, 2: № 33, 26, 27); 7 — Гулулаль-и Гальби, могила 1 (Луристан) (по Vanden Berghe 1983: Afb. 19(9)); 8 — Ашшур (по Maxwell-Hyslop 1949: pl. XXXV, 17); 9 — Калле Нисар AII, каменная циста 13) (Луристан) (по Vanden Berge 1973: Fig. 13(1,3)); 10 — Камтарлан II (Луристан), могила B x1 (по фотографии Schmidt et al. 1989, 2: Pl. 125, c). 1 — камень, б/м; 2–10 — бронза.

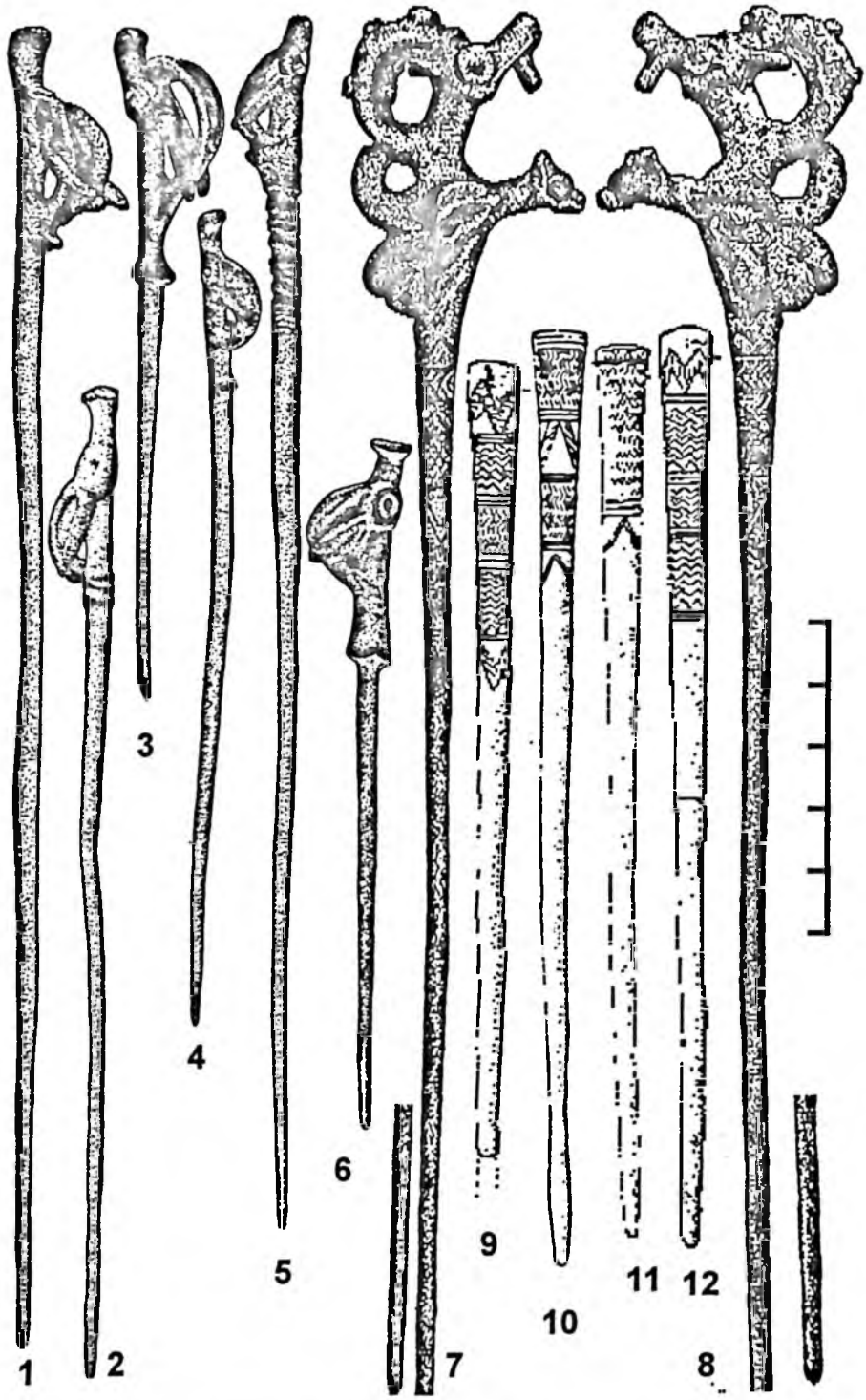
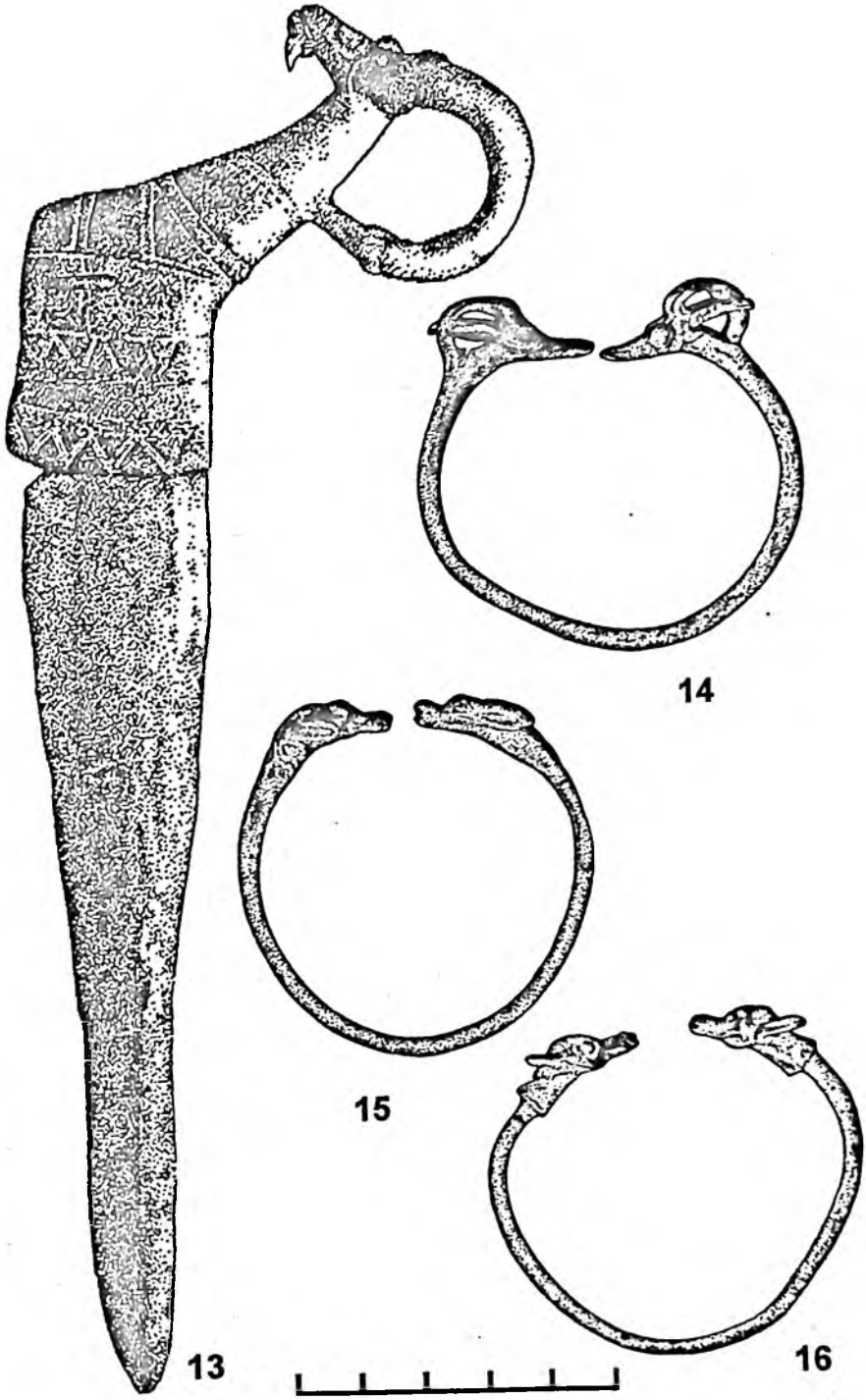


Рисунок 11 — Бронзовые предметы из Ирана и Ирака с изображениями головы козла, а также аналогии: 1–8, 14–16 — коллекция Иракского музея (по фотографиям Basmachi 1963: табл. 2, 5, 6, 13); 9–12 — Чигха Сабз, могила J7 x4 (Луристан) (по Schmidt et al. 1989: pl. 121, l, 122, a-d); 13 — коллекция Байц (по фотографии Orthmann 1982: № 76). 1–12, 14–16 — бронза; 13 — бронза, камень, б/м.


13
14
15
16

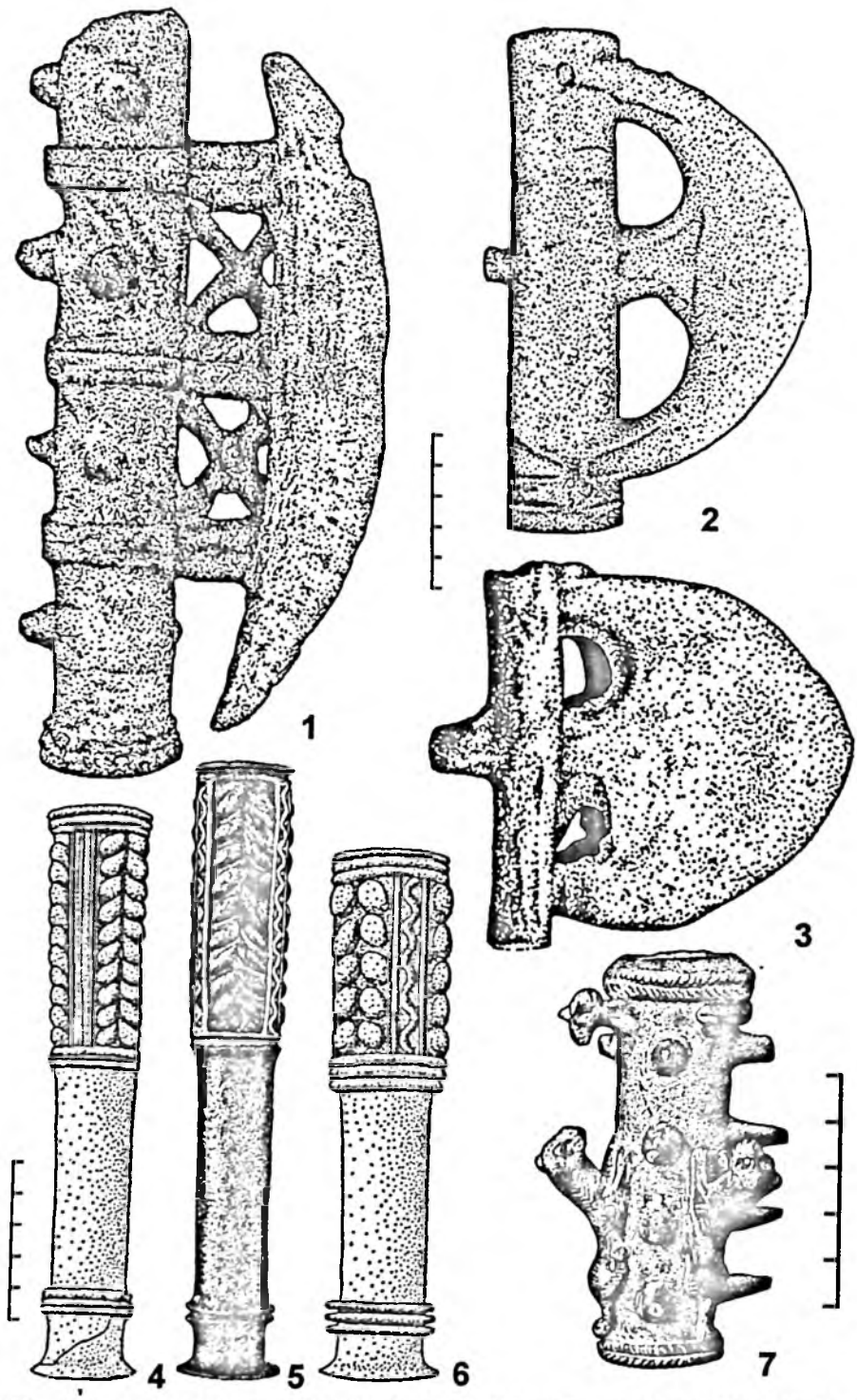
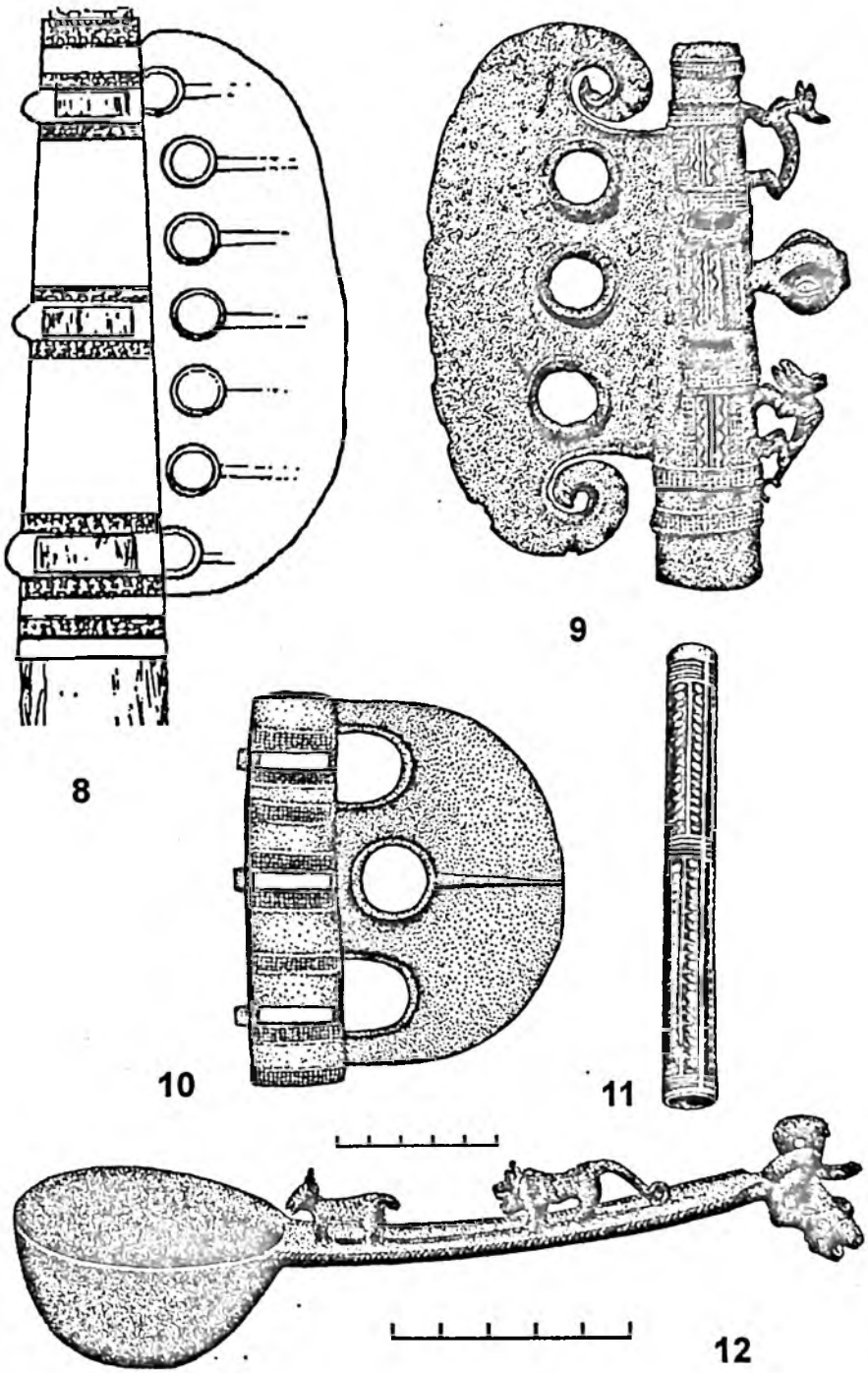


Рисунок 12 — Бронзовые предметы из Передней и Восточной Азии. 1 — коллекция Эдама (по фотографии Moorey 1974: fig. 10); 2 — тумулюс Дера (Хавран, Сирия) (по фотографии Nasrallah 1950: fig. 12); 3 — Иран (по фотографии Deshayes 1965: Pl. VII, 13); 4, 6 — коллекция Шмидта (по Calmeier 1969: Abb. 22, a, b); 5 — Сузы, могила 555, период IVA(?) (по фотографии Carter 1980: pl. 5 (4)); 7 — по фотографии Calmeier 1969: Taf. I, 5; 8 — Паньцзялян (Сясихэ, уезд Хуанчжун, Цинхай) (по Гао Дунлу, Хэ Чжэнъя 1995: рис. 34 (4)); 9 — предположитель-



но из уезда Юйлинь, Шэньси, коллекция Пекинского музея (по фотографии Бэйфан миньцзу 1995: № 59); 10 — Хэйдоуцзуй, могила М2 (уезд Чуньхуа, Шэньси) (по фотографии Чуньхуа сянь вэньу чжи: 70); 11 — Цаоцзяюань, комплекс (уезд Шилоу, Шаньси) (по фотографии Ян Шаошунь 1981б: рис. 22); 12 — Цзецзягоу (уезд Цинцзянь, Шэньси) (по фотографии Бэйфан вэньу 1995: № 175–176).

Литература

Боровкова Л.А. 2001. Царства «Западного края» во II–I веках до н.э. Восточный Туркестан и Средняя Азия по сведениям из «Ши цзи» и «Хань шу». М.

Ванден Берге Л. 1992. Древности страны луров. Каталог выставки. Санкт-Петербург.

Варенов А.В. 1987. Древнейшие кинжалы Китая // Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия истории, филологии и философии. 1987. № 10. Вып. 2

Варенов А.В. 1981. Некоторые проблемы археологических исследований эпохи Инь в Китае (по материалам находок в могиле Фу Хао) // Двенадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Часть II. М.

Варенов А.В. 1984. Оружейный клад из Китая с «карасукским» кинжалом // Гуманитарные науки в Сибири. №3

Варенов А.В. 1996. Древнекитайская археология, эпиграфика и история о конце эпохи Шан-Инь и начале Чжоу // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы IV Всероссийского научного семинара, посвященного 60-летию со дня рождения В.И.Васильева. Новосибирск—Омск.

Варенов А.В. 1998. Южносибирские культуры эпохи ранней и поздней бронзы в Восточном Туркестане // Гуманитарные науки в Сибири. 1998. №3.

Вильхельм Г. 1992. Древний народ хурриты. Очерки истории и культуры. М.

Волков В.В. 1972. Раскопки в Монголии // Археологические открытия 1971 года. М.

Гиндин Л.А. 1972. Некоторые ареальные характеристики хеттского. I // Этимология 1970.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры (т. 1–2). Тбилиси.

Иванов Вяч. Вс., Мельчук И.А.1959. Примечания // Тохарские языки. М.

Клейн Л.С. 1991. Археологическая типология. Л.

Клейн Л.С. 1999. Миграция: археологические признаки // Stratum plus. №1. СПб, Кишинев, Одесса.

Клейн Л.С. 2000. Миграция тохаров в свете археологии // Stratum plus. № 2. СПб, Кишинев, Одесса.

Ковалев А.А. 1986. "Карасукские" кинжалы, оленные камни и древние кочевники китайских летописей // IV Всесоюзная школа молодых востоковедов. Тезисы докладов. Москва.

Ковалев А.А. 1996. Происхождение скифов согласно данным археологии // Между Азией и Европой. Кавказ в IV–I тыс. до н.э. Материалы конференции,, посвященной 100-летию со дня рождения А.А.Иессена. СПб.

Ковалев А.А. 1998. Древнейшие датированные памятники скифо-сибирского звериного стиля (тип Наньшаньгэнь) // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербурга. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения А.Д.Грача. СПб.

Ковалев А.А. 1999. О связях населения Алтая и Ордоса в V–III веках до н.э // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул.

Ковалев А.А. 2000. О происхождении оленных камней западного региона // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. М.

Ковалев А.А. 2001. О происхождении культуры оленных камней // Евразия сквозь века.

Ковалев А.А. 2002. О происхождении комплекса форм бронзовых лезвийных изделий Древнего Китая (эпоха Ся-Шан) // Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова. Книга I. СПб.

Ковалев А.А., Резепкин А.Д. 1995. Курильница из дольмена в урочище Клады и проблема происхождения курильниц афанасьевской культуры // Проблемы изучения окуневской культуры. Тезисы докладов конференции. СПб

Крюков В.М. 2000. Текст и ритуал. Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. М.

Крюков М.В.1988. Глава 6. Восточный Туркестан в III в. до н.э — VI в. н.э // Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье. Очерки истории. Под ред. С.Л.Тихвинского, Б.А.Литвинского. М.

Линь Юнь. 1990. Переоценка взаимосвязей между бронзовыми изделиями шанской культуры и северной зоны // Китай в эпоху древности. Новосибирск.

Массон В.М. 1983. Диалектика взаимодействия традиций и инноваций и культурный процесс в древней Бактрии // Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии: Информационный бюллетень. Вып. 4.

Молодин В.И., Алкин С.В. 1997. Могильник Гумугоу (Синьцзян) в контексте афанасьевской проблемы // Гуманитарные исследования: итоги последних лет. Новосибирск.

Напольских В.В. 1997. Введение в историческую уралистику. Ижевск.

Новгородова Э.А. 1989. Древняя Монголия (некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории)..

Поливанов Е.Д. 1916. Индоевропейское *medhu ~ общекитайское mit // Записки Восточного отделения Русского археологического общества. Т. XXIII.. Вып. I–II. Петроград.

Пьянков В.И. 1997. Средняя Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. М.

Семенов Вл.А. 1993. Древнейшая миграция индоевропейцев на восток (к столетию открытия тохарских рукописей) // Петербургский археологический вестник. № 4.

Семенов Вл.А. 2002. Фатьяновская культура — карасукская культура и «миграция тохаров в свете археологии» // Северная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура. Барнаул.

Ставиский Б.Я. 1977. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. М.

Трубачев О.Н. 2002. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. Изд. второе, доп. М.

Хелимский Е.А.1985. [Рец. на] Symposium saeculare Societatis Fenno-Ugricae (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Vol. 185. Helsinki. 1983) // Советское финно-угроведение. Т. XXI. 1985. Вып. 4.

Членова Н.Л. 1972. Хронология памятников карасукской эпохи. М. 1972. (МИА 182).

Членова Н.Л. 1991. Находки комплексов с кинжалами карасукского типа в северных районах Китая, их датировка и связи с Севером и Западом // Международная ассоциация истории и культуры Центральной Азии. Информационный бюллетень. Выпуск 18.

Чжун Сук Бэ 2000. О хронологии комплексов с кинжалами эпохи поздней бронзы из Северного Китая // Археология, палеоэкология, палеодемография Евразии. М.

Чжэн Шаоцзун 1994. Сообщение об открытии бронз северного стиля в Сяохэнань уезда Синлун провинции Хэбэй // Древние культуры Южной Сибири и Северо-Восточного Китая. Новосибирск.

Хаврин С.В. 1994. Карасукская проблема? // Петербургский археологический вестник. № 8. СПб.

Aalto P.1959. Ein alter Name des Kupfers // Ural-Altaische Jarbücher. B. XXXI.

Adams D.Q.1984. The Position of Tocharian Among the Other Indo-European Languages // Journal of the American Oriental Society. Vol.104.

Adrados F.R. 1982. Die räumliche und zeitliche Differenzierung des Indoeuropäischen im Lichte der Vor- und Frühgeschichte. — Innsbruck, (Innsbrücker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Vorträge und Kleinere Schriften; 27);

Amiet P.1976. Les antiquités du Luristan. Paris. 1976.

Andersson J.G.1932. Hunting Magic in the Animal Style // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. Vol. 4.

Andronov M. 1971. Comparative studies on the Nature of Dravido-Uralian Parallels, A Peep into the Prehistory of Language Families // Proceeding of the second international conference-Seminar of Tamil Studies

Basmachi F. 1963.The Luristan Bronze objects in the Iraq Museum // Sumer. Vol. XIX. № 1-2. (In Arabic).

Birmingham J. 1963. Iranian Bronzes in the Nicholson Museum, University of Sydney // Iran. Vol. 1.

Bouda K. 1953. Dravidisch und Uraltaisch // Ural-Altaische Jahrbücher. Bd. XXV.

Bouda K. 1956. Dravidisch und Uraltaisch // Lingua. Vol. 5.

Bunker E.C., Chatwin B., Farkas A. 1970. Animal Style Art from East to West. NY.

Calmeyer P. 1969. Datierbare Bronzen aus Luristan und Kirmanshah. Berlin. (Untersuchungen zur Assyriologie und vorderasiatische Archäologie (Erganzungsbände zur Zeitschrift fur Assyriologie und vorderasiatische Archäologie. Neue Folge.). Band 5).

Carter E. 1980. Excavations in Ville Royale I at Susa: the third millenium B.C. occupation // Cahiers de la Délégation archéologique Française en Iran. T. 11.

Csorba M 1996. The Chinese Northern frontier: reassessment of the Bronze Age burials from Baifu // Antiquity. Vol. 70. N. 269. September 1996.

De Waele É. 1982. – Bronzes du Luristan et d'Amlash. Ancienne collection Godard. Louvain-la-Neuve. (Publications d'historie de l'art et d'archéologie de l'Universitete catholique de Louvain; XXXIV).

Deshayes J. 1960. Les outils de bronze de l'Indus au Danube, IV au II millénaire. Paris, 1960.

Deshayes J. 1965. Noveaux outils Iraniens // Syria. T. XLII.

Dussaud R. 1930. Haches ŕ douille de type asiatique // Syria. T. XI.

Frye R.N. 1991. Iranian and Other Nomads in Ancient Central Asia // Pakistan Archaeology. N. 26. Vol. 1.

Gibson McG., McMahon A. 1995. — Investigation of Early Dynastic-Accadian Transition: Report of the 18th and 19th Seasons of Excavation in Area WF, Nippur // Iraq. Vol. LVII.

Hallo W.W. 1971."Gutium (Qutium)" // E.Ebeling u. B.Meissner (Red.), Realllexikon der Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie / Nach E.Ebeling und B.Meissner herausgegeben von E.Weidler und W. von Soden, Berlin; New York. 1957–1971. Dritter Band.

Harmatta. 1977. Irániak és finnugorok, irániak és magyarok // Magyar östörténeti tanulmányok. Budapest.

Henning W.B. 1978. The First Indo-Europeans in History // Society and History. Essays in Honour Karl August

Wittfogel / Ed. by G.L.Ulmen. Hague; Paris ; New York.

Jahnunen J. 1983. On early Indo-European-Samoyed Contacts // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Vol. 185.

Joki A.J. 1973. Uralier und Indogermanen. Die ältesten Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. Helsinki. (Suomalais Ugrilaisen Seuran Toimituksia, № 151).

Lane G.S. 1970. Tocharian: Indo-European and Non-Indo-European Relationschips // Indo-European and Indo-Europeans. Paper Presented at Third Indo-European Conference at the University of Pennsylvania / Ed. by G.Cardona, H.M.Hoenigswald, A.Senn, Philadelphia. P.

Linduff K.M. 1996. Art and Identity: The Chinese and Their "Significant Others" in the Third ad Second Millenium BC // Cultural Contact, History and Ethnicity in Inner Asia. Papers presented at the Central and Inner Asia Seminar. University of Toronto. March 4, 1994 and March 3, 1995. Ed. by Michael Gervers and Wayne Schlepp // Toronto Studies in Central and Inner Asia. Acta. № 2.

Loehr M. 1949. Ordos Daggers and Knives. New Material, Classification and Chronology. First Part: Daggers // Artibus Asiae. Vol. XII. № 1–2

Loehr M. 1956. Chinese Bronze Age Weapons. The Werner Jannings Collection in the Chinese National Palace Museum, Peking. Ann Arbor; London.

Lubotsky A. 1998. Tocharian Loan Words in Old Chinese: Chariots, Chariot Gear, and Town Building // The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia. Volume one. Archaeology, Migration and Nomadism, Linguistic. Philadelphia.

Kammenhuber A. 1961. Hippologia Hettica. Wiesbaden.

Kotožekov G. 2000. Ein Bronzezeitlicher Grabkomplex aus dem Gräberfeld Podkuninskie Gory // Eurasia Antiqua. Band 6. 2000.

Kovalev A. 1992. "Karasuk-Dolche", Hirschsteine und die Nomaden der chinesischen Annalen im Altertum // Maoqinggou. Ein eisenzeitliches Gräberfeld in der Ordos-region (Innere Mongolei) / Nach der Veröffentlichung von Tian Guanjin und Guo Suxin beschr. und komm. T.O.Höllmann und G.W.Kossack u. Mitarb.. Mainz am Rein (Materialen zur Allgemeine und Vergleichende Archäologie. Bd. 50.

Kovalev A. 1999. Überlegungen zur Herkunft der Skythen aufgrund archäologischer Daten // Eurasia Antiqua. Bd. 5 (1998).

Kovalev A. 2000. Die ältesten Stelen am Ertix. Das Kulturphänomen Xemirxek // Eurasia Antiqua. Bd. 6 (1999).

Krause W. 1951. Zur Frage nach dem nichtindogermanischen Substrat des Tocharischen // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, Bd. 69.

Krause W. 1955. Tocharisch. Leiden ; Köln, 1955. (Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Bd. IV, Dritter Abschnitt);

Lin Meicun. 1998. Qilian and Kunlun — The Earliest Tokharian Loan-words in Ancient Chinese // The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia. Volume One. Archaeology, Migration and Nomadism, Linguistic. Philadelphia.

Mallowan M.E.L. 1937. The Excavations at Tell Chagar Bazar and an Archaeological Survey of the Habur Region, Second Campaign 1936 // Iraq. Vol. 4.

Maxwell-Hyslop R. 1949. Western Asiatic Shaft-hole Axes // Iraq. Vol. XI.

Meier-Arendt W. 1984. Archäologische Reihe Bronzen und Keramik aus Luristan und anderen Gebieten Irans im Museum für Vor- und Frühgeschichte. Auswahlkatalog (Red. by W. Meier-Arendt). Frankfurt am Main.

Menges K.H. 1964. Altaisch und Dravidisch // Orbis. T. XIII. № 1.

Menges K.H. 1965. Zu einigen ural-altajisch-tocharischen Wortbeziehungen // Orbis. T. XIV. № 1.

Menges K.H. 1967. Uralisches in Tocharischen // Ural-Altaische Jahrbücher. Bd. 39.

Menges K.H. 1977. Dravidian and Altaic // Anthropos. Vol. 72.

Moorey P.R.S. 1971a. Catalogue of the Ancient Persian Bronzes in the Ashmolean Museum. Oxford.

Moorey P.R.S. 1971б — The Loftus Hoard of Old Babylonian Tools from Tell Sifr in Iraq // Iraq. Vol. XXXIII.

Moorey P.R.S. 1974. Ancient Persian Bronzes in the Adam Collection. London.

Moortgat-Correns U. 1978. Tell Chuera in Nordost-Syrien. Bericht über die sechste und siebende Grabungskampagne 1973 und 1974 // Les annales archéologiques arabes syriennes. Vol. XXVII–XXVIII (1977–1978)

Mount-Williams L. 1980. Terqa Preliminary Reports, № 8. Object Typology of the Third Season: The Third and Second Millenia // Syro-Mesopotamian Studies. Vol. III..

Mughal M.R. 1989. The Development of Protohistoric Research in Pakistan: 1970–85 // Journal of Central Asia. Vol. XII. № 1 (July, 1989).

Naert P. 1964. Contacts lexicaux entre le tokharien et ses voisins non-indoeuropeéns // Orbis. T. 13. № 1.

Naert P. 1965a. Contacts lexicaux entre le tokharien et ses voisins non-indoeuropeéns // Orbis. T. 14. № 2.

Naert P. 1965б. Contacts lexicaux entre le tokharien et ses voisins non-indoeuropeéns // Orbis. T. 14. № 2.

Naert P. 1968. Contacts lexicaux entre le tokharien et ses voisins non-indoeuropeéns // Orbis. T. 17. № 2.

Nasrallah J. 1950. Tumulus de l'age du bronze dans le Hauran // Syria. T. XXVII. P. 314–331.

Orthmann W. 1982. Iranische Bronzen der Sammlung Beitz. Bonn, 1982. (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde; Bd. 37)

Parrot A. 1935. Les fouilles de Mari. Premiere campagne (Hiver 1933–1934). Rapport preliminaire (second article) // Syria. T. XVI

Parrot A. 1959. Le Palais. Documents et Monuments. Paris. (Mémoiries Arhéologiques de Mari. II).

Philip G. 1995. New Light on North Mesopotamia in the Earlier Second Millenium B.C.: Metalwork from the Hamrin // Iraq. Vol. LVII.

Pulleyblank E.G. 1966. Chinese and Indo-Europeans // Journal of the Royal Asiatic Society. № 1–2.

Rawson J. 1987. Chinese Bronzes: Art and Ritual. L.

Rédei K. 1986. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte.

Reinhart J. 1994. Die Tocharischen Entlehnungen im Altaischen und die Chronologie der tocharischen Lautgesetze // Tocharisch. Akten der Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft (Berlin, September, 1990) / Hrsg. von B. Schlerath, Reykjavik. (Tocharian and Indo-European Studies. Supplementary Series; vol. 4).

Rickenbach J. 1992. Magier mit Feuer und Erz. Bronzekunst der frühen Bergvölker in Luristan, Iran. Zürich.

Róna-Tas A. 1974. Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen? // Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker. Protokollband der XII. Tagung der Permanent International Altaistic Conference 1969 in Berlin / Hrsg. von G.Hazai und P.Zieme, Berlin.

Schmidt E.F. 1937. Excavations at Tepe Hissar Damghan. Philadelphia.

Schmidt E.F., van Loon M.N., Curvers H.H. 1989. The Holmes Expeditions to Luristan (vol. 1–2). Chicago. (The University of Chicago Oriental Institute Publications; vol. 108).

So J.F., Bunker E.C. T. 1995. Traders and Raiders on Chinas Northern Frontier. Seattle-London.

Tallon F. 1987. Métallurgie susienne I. De la fondation de Suse au XVIIIe avant J.-C. (1 ; 2) // Paris, (Notes et documents des musées de France ; 15).

Thomas W. 1985. Die Erforschung des Tocharischen (1960-1984). Stuttgart,

Tyler S.A. 1968. Dravidian and Uralian: the lexical Evidence // Logos. T. 44.

Ueda H. 1954. The Bronzes of Shang Dynasty and Sui-Yuan Bronzes // Ancient Art of the Northern Eurasia. Kyoto. (Report of the Osaka Municipal Museum).

Vacek J. 1987. The Dravido-Altaic Relationship (Some Views and Future Prospects) // Archív orientalní. Vol. 55.

Van Windekens A.J. 1962. Éleménts ouraliens en tokharien // Orbis. T. XI. № 2.

Van Windekens A.J. 1964. Sur quelques mots tokhariens provenant de langues asiatiques indo-européennes et non-indoeuropéennes // Orbis. T. XIII. № 2.

Vanden Berghe L. 1968f. Belgische opgravingen en navorsingen in de Pusht-i-Kuh, Luristan; 3-e campagne: oktober 1967 — januari 1968 // Phoenix. Vol. 14. № 1.

Vanden Berghe L. 1968á. Het archeoligisch onderzoek naar de bronscultuur van Luristan. Opgravingen in Pusht-I Kuh I Kalwali en War Kabud (1965 en 1966). Brussel. 175 p., ill. (Verhandelingen van de Koninklijke vlaamse academie voor wetenschapen, letteren, en schone kunsten van Belgie. Klasse der Letteren. Jg. XXX. Nr. 64)

Vanden Berghe L. 1970. Belgische opgravingen in Luristan. Archaeologische navorsingen in de Pusht-i-Kuh; 5-e campagne, 1969 // Phoenix. Vol. 16. № 2.

Vanden Berghe L. 1971. Recherches archéologiques dans le Pusht-i-Kuh, Luristan. — Bastan Chenasi va Honar-e Iran (Revue d'Archéologie et d'Art Iraniens), Printemps 1971

Vanden Berghe L.1972. Recherches archéologiques dans le Luristan. Cinquéme campagne: 1969. Prospections dans le Pusht-i-Kuh central (Rapport préliminaire) // Iranica antiqua. Vol. IX.

Vanden Berghe L. 1973a. Excavations in Luristan Kalleh Nisar // Bulletin of the Asia Institute. № 3.

Vanden Berghe L. 1973б. Le Luristan a l'Age du Bronze // Archéologia. V. 63.

Vanden Berghe L. 1979. La Necropole de Mir Khair au Pusht-I Kuh, Luristan // Iranica Antiqua. Vol. XIV.

Vanden Berghe L. 1983. Luristan, een verdwenen bronskunst uit West-Iran. Gent.

Wang Pengling 1995. Tokharian Words in Altaic Regnal Titles // Central Asiatic Journal. Vol. 39. № 2.

Wang Pengling 1998. A Linguistic Approach to Inner Asian Ethnonyms // The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia. Volume one. Archaeology, Migration and Nomadism, Linguistic. Philadelphia.

Watson W. 1971. Cultural Frontiers in Ancient East Asia. Edinbourgh.

Weidner E.F. 1923. Politische Dokumente aus Kleinasien. Die Staatsverträge in akkadische Sprache aus dem Archiv von Boghazköy. Leipzig. (Boghazköy Studien. H. 8).

Wu En. 2001. Zu verschiedenen problemen der Bronzezeitkulturen entlang der Grossen Mauer // Migration und Kulturtransfer. Der Wandel vor- und zentralasiatischen Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend. Akten des Internationalen Kolloquiums. Berlin, 23. bis 26. November 1999. Herausgegeben von Ricardo Eichmann und Hermann Parzinger. Bonn.

Zürcher E. 1968. The Yüe-chih and Kanişka in the Chinese Sources // Papers on the date of Kanişka. Leiden..

Бэйфан миньцзу. 1995. Чжунго мэйшу фэньлэй цюаньцзи. Чжунго цинтун ци цюаньцзи. 15. Бэйфан миньцзу. (Полное систематизированное собрание искусства Китая. Полное собрание бронзовых изделий Китая. Том 15. Северные народы.). Пекин.

Ван Бинхуа. 1986. Синьцзян дун бу фацзюэ дэ цзи пи тун ци (Несколько групп медных предметов, обнаруженные в восточной части Синцзяна) // Каогу. №10.

Ван Вэйсян. 1994. Нэймэнгу Линьдун Тацзыгоу чуту дэ ян шоу тун дао (Медный нож с головой барана, раскопанный в Тацзыгоу, Линьдун, Внутренняя Монголия) // Бэйфан вэньу. № 4.

Ван Дань. 1992. Цзилинь дасюэ цзан бэйфан цинтун ци («Северные» бронзовые предметы, хранящиеся в Цзилиньском университете) // Бэйфан вэньу. № 3.

Ван Фэн. 1990. Хэбэй Синлун сянь фасянь Шан Чжоу цинтун ци цзяоцан (Клад в яме с бронзовыми предметами эпохи Шан-Чжоу обнаружен в уезде Синлун, Хэбэй) // Вэньу. № 11.

Ван Цзиньсян, Ян Сяохун. 1992. Шаньси Усян сянь Шанчэнцунь чуту исе вань Шан тун ци (В Шанчэнцунь уезда Усян, Шаньси раскопана группа бронзовых предметов позднего периода эпохи Шан) // Вэньу. №4.

Ван Юньган, Ван Гочжун, Ли Фэйлун. 1996. Суйчжун Фэнцзя фасянь Шан дай цзяо цан тун ци (Медные предметы, сокрытые в яме эпохи Шан обнаружены в Фэнцзя уезда Суйчжун) // Ляохай вэньу сюэкань. № 1.

Гао Дунлу, Хэ Чжэнъя. 1995. Цинхай Хуанчжун Сясихэ Паньцзялян Цяюэ вэньхуа муди (Могильник культуры Цяюэ Паньцзялян в Сясихэ уезда Хуанчжун провинции Цинхай) // Каогусюэ цзикань. Выпуск 8.

Гао Сишэн. 1994. Лунь Чжоуюань дицю чуту дэ цзи чжун исин цинтун бинци (О раскопанных в районе Чжоуюань некоторых бронзовых предметах вооружения причудливых форм) // Вэнь бо. №1.

Го Дашунь. 1987. Шилунь Вэйинцзы лэйсин (Касательно памятников типа Вэйинцзы) // Каогусюэ вэньхуа лунцзи. Выпуск 1.

Го Дашунь. 1994. Ляохэ люю «бэйфан ши цинтун ци» дэ фасянь ю яньцзю (Открытие и изучение «бронзовых изделий северных типов» в бассейне Ляохэ) // Нэймэнгу вэньу каогу. № 1-2.

Го Юн. 1962 Шилоу Хоуланьцзягоу фасянь Шан дай цинтун ци цзяньбао (Краткое сообщение об обнаруженных в Хоуланьцзягоу уезда Шилоу бронзовых предметах эпохи Шан) // Вэньу. №4.

Дай Иньсинь. 1993. Шэнь бэй хэ Цзинь сибэй Хуанхэ лян ань чуту дэ Инь Шан тун ци цзи югуань вэньти дэ таньсуо (Медные предметы эпохи Шан-Инь, раскопанные по обеим берегам Хуанхэ на севере провинции Шэньси и северо-западе провинции Шаньси, а также обсуждение относящихся [к этой теме] вопросов) // Каогусюэ яньцзю. Цзинянь Шэньси шэн каогу яньцзюсуо чэнли саньши чжоунянь (Археологические исследования. К тридцатилетию основания Научно-исследовательского института археологии провинции Шэньси.). Сиань.

Дай Шутянь. 1998. Хэбэй шэн вэньу яньцзюсо цан тун гэ чу лунь (Предварительное обсуждение медных клевцов «гэ», хранящихся в научно-исследовательском институте культурного наследия провинции Хэбэй) // Хэбэй шэн каогу вэньцзи. Шицзячжуан.

Иньсюй Фу-хао му. 1980. Чжунго шэхуй кэсюе чжуанкань. Каогу яньцзюсо. Иньсюй Фу-хао му (Академия общественных наук Китая. Научно-исследовательский институт археологии. Могила Фу-хао в Иньской столице.). Пекин.

КДЧ — Ко ди чжи (Всеобъемлющее описание земель). Т. 1–2.Пекин: Чжунхуа шуцзюй чубаньшэ. 1991. (Сер. Цуншу цзичэн, выпуск первый).

Ли Боцянь. 1998. Цун Линши Цзинцзе Шан му дэ фацзюэ кань Цзинь-Шэнь гаоюань циньтун вэньхуа дэ гуйшу (Принадлежность культур бронзового века плато Цзинь-Шэнь с точки зрения открытия шанских могил в Цзинцзе, уезд Линши) // Ли Боцянь. Чжунго цинтун вэньхуа цзегоу тича яньцзю (Углубленное изучение устойства культур бронзового века Китая). Пекин, 1998.

Ли Дяньфу. 1983. Цзилинь шэн Кулунь, Найман лян ци Сяцзядянь ся цэн вэньхуа ичжи фэнь бу ю нэй хань (Распространение и внутреннее содержание памятников культуры нижнего слоя Сяцзядянь в знаменах Кулунь, Найман провинции Цзилинь) // Вэньу цзыляо цункань. Том 7.

Ли Чжунсюань. 1982. Шэньси Суйдэ фасянь хэ шоуцан дэ Шан дай цинтун ци (Бронзовые предметы эпохи Шан, обнаруженные и хранящиеся в Суйдэ, Шэньси) // Каогусюэ цзикань. Т. 2.

Ли Цзи. 1949. Цзи Сяотунь чуту чжи цинтун ци. Чжун пянь. Фэнжэнь ци. (О бронзовых изделиях, найденных в Сяотуни. Часть вторая. Лезвийные орудия.) // Чжунго каогу сюэбао. Том 4.

Ли Цзяньминь, Фу Цзюньшань. 1978. Ляонин Синчэн сянь Янхэ фацзюе цинтунци (Бронзовые предметы обнаружены в Янхэ, уезд Синчэн, Ляонин) // Каогу. № 6. С. 387.

Линь Юнь. 1987. Шан вэньхуа цинтун ци ю бэйфан дицю цинтун ци гуаньси чжи цзай яньцзю (Рассмотрение вновь [вопроса] о взаимосвязях между бронзами культуры Шан и северной зоны) // Каогусюэ вэньхуа вэньцзи. Пекин

Лю Цзюньшэ. 1993. Сянь Чжоу вэньхуа ю Гуаншэ вэньхуа дэ гуаньси (Связи пречжоуской культуры и культуры Гуаншэ) // Вэнь бо, № 2.

Лю Цзюньшэ. 1995. Сянь Чжоу вэньхуа ю Гуаншэ вэньхуа дэ гуаньси (Связи пречжоуской культуры и культуры Гуаншэ) // Вэнь бо, № 1.

Лю Цзяньчжун. 1988. Хэбэй Хуайань Шицзыкоу фасянь Шан дай лу шоу дао (В Шицзыкоу, уезда Хуайань, Хэбэй, обнаружен нож эпохи Шан с головой оленя) // Каогу. № 10.

Лю Шиэ, Сун Синьху. 1988. Сиань Лаонюпо Шан дай муди дэ фацзюэ (Раскопки могильника эпохи Шан Лаонюпо, Сиань) // Вэньу. № 6.

Люй Чжижун. 1987. Шилунь Шэнь-Цзинь бэй бу Хуанхэ лян ань дицю чуту дэ Шан дай цинтунци цзи югуань вэньти (Предположительно о бронзовых предметах эпохи Шан, раскопанных в районе севера провинций Шэньси и Шаньси по обеим берегам Хуанхэ, а также относящиеся [к этой теме] вопросы) // Чжунго каогусюэ лунцзи. Сиань.

Ма Дэчжи, Чжоу Юнчжэнь, Чжан Юньпэн. 1955. Ицзиусань нянь Аньян Дасыкунцунь фацзюе баогао (Отчет о раскопках 1953 года в Дасыкунцунь, Аньян) // Каогу сюэбао. Том 9.

Ма Сигуй, Чэн Чансинь. 1978. Бэйцзин ши синь чжэнцзи дэ Шан Чжоу цинтун ци (Бронзовые предметы эпох Шан-Чжоу, вновь собранные в Пекине) // Вэньу цзыляо цункань. Т. 2.

Му Шуньин. 1993. Чжунго Синьцзян гудай ишу (Древнее искусство Синцьзяна, Китай). Пекин. Мэн Сяньу. 1997. 1983-1986 нянь Аньян Люцзячжуань Инь дай мачжан фацзюэ баогао (Сообщение об исследовании могил иньского времени в Люцзячжуань, уезд Аньян, в 1983–1986 годах) // Хуася каогу, № 2.

Мэн Сяньу, Ли Гуйчан, Сан Сюэши. 1997. 1995-1996 нянь Аньян Люцзячжуань Инь дай ичжи фацзюэ баогао (Сообщение об исследовании поселения иньского времени в Люцзячжуань, уезд Аньян, в 1995–1996 годах) // Хуася каогу, №2.

Нинчэн сянь Наньшаньгэнь... 1973. Ляонин шэн Чжаоуда мэн вэньу гунцзочжань, Чжунго кесюэюань каогу яньцзюсо дунбэй гунцзодуй. Нинчэн сянь Наньшаньгэнь дэ шигуань му (Рабочая группа по культурному наследию сейма Чжаоуда, Ляонин, Северо-восточный археологический отряд Института археологии Академии общественных наук Китая. Могила с каменной обкладкой в Наньшаньгэнь, уезд Нинчэн) // Каогу сюэбао. №2.

Пэй Юэцзинь, Сюй Чжиго, Цао Гуйлинь, Чжао Сянъюнь. 1990. Факу сянь Ваньлю сянь ичжи ши цзюэ баогао (Сообщение об опыте раскопок памятника, сокрытого в Ваньлю, уезд Факу) // Ляохай вэньу сюэкань. № 1.

Се Циншань, Ян Шаошунь. 1960. Шаньси Люйлян сянь Шилоу чжэнь ю фасянь тун ци (В сельском округе Шилоу уезда Люйлян провинции Шаньси вновь найдены медные предметы) // Вэньу. № 7.

Синьцзян гудай... 1985. Синьцзян гудай миньцзу вэньу (Национальное культурное наследие древнего Синьцзяна) // Синьцзян уйгур цзычжицю шехуй кэсюэ юань каогу яньцзюсо бянь (Научно-исследовательский институт археологии Академии общественных наук Синьцзян-Уйгурского Автономного Района – изд.). Пекин.

Сян Чуньсун, Ли И. 1995. Сяохэйшигоу шигуань му дяоча цинли баогао (Упорядоченное сообщение об исследовании могилы с каменной обкладкой в Сяохэйшигоу) // Вэньу. №5.

ТЦДЛЧЦД — «Тунцзянь» дили чжу цыдянь (Словарь географических комментариев к «Тунцзянь» (Фэн Хуймин — сост.). Цзинань.

Тянь Гуаньцзинь, Го Сусинь. 1986. Ордосы ши цинтунци (Бронзы ордосского стиля). Пекин.

Тюгоку наймоко... 1983. Тюгоку наймоко хоппо киба минзоку бунбутсу тен (Выставка культурного наследия северных кочевых народов. Внутренняя Монголия, Китай.). Токио.

У Чжэньлу. 1972. Баодэ сянь синь фасянь дэ Инь дай цинтун ци (Бронзовые предметы эпохи Инь, вновь обнаруженные в уезде Баодэ) // Вэньу. №4.

У Энь. 1985. Инь чжи Чжоу чу дэ бэйфан цинтун ци (Северные бронзы, относящиеся к эпохе Инь — начало Чжоу) // Каогу сюэбао, №2.

У Энь. 1993. Чжукайгоу вэньхуа дэ фацзюэ цзи ци ии (Открытие культуры Чжукайгоу и его значение) // Чжунго каогусюэ луньцун. Чжунго шэхуй кэсюэюань каогу яньцзюсо 40 нянь цзинянь (Сборник статей по археологии Китая. К 40-летию научно-исследовательского института археологии китайской академии общественных наук.) // Пекин.

Хоу Жобин. 1983. Фуфэн чуту дэ цинтун бин ци ю шэнчань гунцзю (Бронзовые предметы вооружения и орудия труда, раскопанные в уезде Фуфэн) // Каогу ю вэньу. № 6.

Хэ Сяньу, Чжэн Чэнь, Чжао Чанлинь, Цао Гуйлинь. 1989. Ляонин Факу Ваньлю ичжи фацзюэ (Раскопки памятника Ваньлю в уезде Факу, Ляонин) // Каогу. № 12.

Хэй Гуан, Чжу Цзеюань. 1975. Шэньси Суйдэ Яньтоуцунь фасянь исе цзяоцан Шан дай тун ци (Группа захороненных в яме медных вещей эпохи Шан обнаружена в Яньтоуцунь, уезда Суйдэ, Шэньси) // Вэньу. №2.

Цао Гуйлинь. 1988. Факу сянь цинтун ци вэньхуа ичжи дэ каогу фасянь (Археологические исследования памятников культуры бронзового века в уезде Факу) // Ляохай вэньу сюэкань. № 1.

Цао Гуйлинь, Сюй Чжиго. 1988.– Ляонин Факу сянь Ваньлю сянь ичжи дяоча баогао (Сообщение об исследовании памятника, сокрытого в Ваньлю, уезд Факу, Ляонин) // Бэйфан вэньу. № 2.

Цзи Найцзюнь. 1992. Шэньси Яньчуань чуту и пи Шан дай цинтун ци (В уезде Яньчуань, Шэньси, раскопана группа бронзовых предметов эпохи Шан) // Каогу ю вэньу. №4.

Цзинь Фэнъи 1983. Ляонин Цзяньпин сянь дэ цинтун шидай муцзан цзи сянгуань иу (Погребения бронзового века и связанные с ними находки в уезде Цзяньпин, Ляонин) // Каогу. № 8.

Цзинь Фэнъи. 1988. Далинхэ люю чуту дэ цинтун шидай иу (Находки бронзового века, раскопанные в бассейне реки Далинхэ) // Вэньу. № 11.

Цзинь Фэнъ.и 1990. Нинчэн сянь синь фасянь дэ Сяцзядянь шан цэн вэньхуа муцзан цзи ци сянгуань иу дэ яньцзю (Исследование могил культуры верхнего слоя Сяцзядянь, вновь обнаруженных в уезде Нинчэн, а также связанных с ними находок // Вэньу цзыляо цункань. Т. 9.

Ци Тяньгу. 1989. Шэньси Цзычжан сянь чуту дэ Шан дай цинтун ци (Бронзовые предметы шанского времени, раскопанные в уезде Цзычжан провинции Шэньси) // Каогу ю вэньу, №5.

ЧГЛШДТЦ — Чжунго лиши дитуцзи (Исторический атлас Китая). В 6 томах. Шанхай, 1982

Чжан Чаншоу. 1979. Инь-Шан шидай дэ цинтун жунци (Бронзовые сосуды эпохи Инь-Шан) // Каогу сюэбао. №3.

Чжу Фэнхань. 1995. Гудай Чжунго цинтун ци (Бронзовые изделия Древнего Китая). Тяньцзинь.

Чжэн Шаоцзун. 1962. Хэбэй Цинлун Чаодаогоу фасянь и пи цинтун ци (Комплекс бронзовых предметов обнаружен в Чаодаогоу, Цинлун) // Каогу. № 12.

Чжэн Шаоцзун. 1984. Чжунго Бэйфан ши цинтун ци дуаньцзянь дэ фэнци цзи синчжи яньцзю (Исследование периодизации и типологии бронзовых кинжалов северных типов Китая) // Вэньу. №2

Чжэн Шаоцзун. 1994. Чанчэн дидай фасянь дэ бэйфан ши цинтун даоцзы цзи ци югуань вэньти (Бронзовые ножи северного типа, обнаруженные ва регионе Великой Стены, а также относящиеся к ним вопросы) // Вэньу чуньцю. №4.

Чу Шибинь. 1976. Бэйцзин дицю дэ ю и чжунъяо каогу шоухо — Чанпин Байфу Си Чжоу мугуань му синь цзяньбао (Еще одно важное достижение археологии в районе Пекина. — Новое сообщение о западночжоуских могилах с деревянными камерами в Байфу уезда Чанпин // Каогу. №4

Чуньхуа сянь вэньу чжи — Чуньхуа сянь вэньу чжи (Описание памятников культуры уезда Чуньхуа) (Чжао Шэнчунь — гл. ред.). Сиань. Б.г. (Шэньси шэн вэньу чжи).

Шао Готянь. 1993. Нэймэнгу Аохань ци фасянь дэ цинтун ци цзи югуань иу (Бронзовые предметы, обнаруженные в знамени Аохань, Внутренняя Монголия, а также относящиеся к ним памятники) // Бэйфан вэньу. №1.

ШЦ — Ши цзи (Записи историка) / Сыма Цянь — авт. Пэй Инь, Сыма Чжэн, Чжан Шоуцзэ — комм. Т. 1–10. Изд. четырнадцатое. Пекин: Чжунхуа шуцзюй чубаньшэ. 1996.

ШЦЧ — Шуй цзин чжу (Речной канон с комментариями) / Ли Даоюань — автор. Издание третье. Чанша: Юэ Лу шуинь чубаньшэ. 1996.

Ян Сичжан. 1992. 1980 нянь Хэнань Аньян Дасыкунцунь М539 фацзюэ цзянбао (Краткое сообщение об исследовании могилы М539 в Дасыкунцунь, уезд Аньян, провинция Хэнань) // Каогу, №6

Ян Шаошунь. 1980. Шаньси Шилоу Идэ синь фасянь Шан дай тун ци (Медные предметы эпохи Шан вновь найдены в Идэ, уезда Шилоу, Шаньси) // Вэньу цзыляо цункань. Вып. 3

Ян Шаошунь. 1981а. Шаньси Люлинь сянь Гаохун фасянь Шан дай тун ци (В Гаохуне уезда Люлинь, Шаньси обнаружены медные предметы эпохи Шан) // Каогу. №3.

Ян Шаошунь.1981б. Шаньси Шилоу Чуцзяю, Цаоцзяюань фасянь Шан дай тунци (В Чуцзяю, Цаоцзяюань уезда Шилоу, Шаньси обнаружены медные предметы эпохи Шан) // Вэньу. №8.

Янь Цзиньжу. 1985. Шаньси Цзисянь чуту Шан дай цинтун ци (Бронзовые предметы эпохи Шан раскопаны в уезде Цзисянь, Шаньси) // Каогу. №9

Янь Чэньфэй, Люй Чжижун. 1988. Шэньси Яньчуань сянь вэньхуа гуань шоуцан дэ цзи цзянь Шан дай цинтун ци (Несколько бронзовых предметов, собранных управлением культуры уезда Яньчуань, Шэньси) // Каогу ю вэньу. №4.

Яо Шэнмин. 1986. Шэньси Чуньхуа сянь чуту дэ Шан Чжоу цинтун ци (Бронзовые предметы эпох Шан-Чжоу, раскопанные в уезде Чуньхуа, Шэньси) // Каогу ю вэньу. №5.

Ю.Е. Березкин[1]

СИБИРСКО-СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ МИФОЛОГИИ[2]

межрегиональные параллели и статистика

Yu. E. Berezkin. Two sets of motifs in siberian and north american mythologies

More than 1000 folklore motifs have been selected from 25,000 Siberian, Eskimo and Amerindian texts. Two sets of such motifs are of particular interest for the research on prehistoric connections between Eurasia and North America.

The first group includes motifs recorded in Southern Siberia and further to the West and South, sometimes down to India, Mediterraneum and Eastern Europe. They are practically unknown in the Northeastern Siberia but reappear again in North America to the east of the Rockies, in particular across the Plains and the Great Lake region. The Southern Siberian texts are recorded at both Turkish-speaking and Mongolian (especially Baikal Buriat) oral literatures. These motifs are unknown to the Tungus, Paleoasiatic and Eskimo groups, and they could hardly be brought to America during some recent contacts across Bering Strait. Among these motifs are *Snake threatens nestlings* (see wording for the motifs below), *Weather birds, Escape from Polyphemo's cave, Lodge-boy and Thrown-away, Recognition of wife or son, Potiphar's wife, Mosquito and Thunder, Drowned woman remains alive, Ursa major as seven men.*

Most of these motifs are rather peculiar and their independent emergence in Eurasia and North America does not seem plausible. Their almost complete absence in South America and Australia emphasizes the historical significance of Eurasian — North American links. In both Altai and North American tales the *Weather birds* motif is found inside similar context, i.e. the story of difficult tasks suggested to man by his bride's family, his father-in-law or his rivals. In America, this motif demonstrates correlation with Athabascan languages, both Northern and Southern. For other motifs of this group correlation with particular language families is unclear. The Algonkians could be among the responsible for their recent dissemination but the distant relation of this language family to Californian Yurok and Wiyot makes the Algonkians an improper object for any deep-timed historical reconstructions (the original homeland of this family about 4000 b.p. could be somewhere in Columbia basin).

All of these motifs are rare along the Pacific Rim both in Asia and in America and probably penetrated into the inner areas of North America via central Alaska.

Another set of motifs connects Western Siberia, Northeastern Siberia, western Alaska, Northwestern Coast and Plateau. Among the motifs of this group are *Feigned death to eat alone* with some other trickster episodes, *Blind hunter, Bear and Deer, Unrecognized sister married, Tragic incest.* The links between Western Siberian Uralic and the American Salishan clusters are the most intensive. The correspondings motifs are absent in Central-Eastern Siberia, which was occupied by Tungus and Turkish-speaking Yakut who recently arrived from the south. Parallels with Chukotka, Western Siberia and America in the folklore of the

[1] Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, Санкт-Петербург, Россия.

[2] Каталог мифологических мотивов, служащий базой данных работы, подготовлен при поддержке IREX (1992-1993), Smithsonian Institution (1992), РГНФ (грант 97-00-00085), Dumbarton Oaks Libraries & Collections (2000). Резюме более 25 тысяч фольклорно-мифологических текстов составлены на основе примерно 2500 публикаций на восьми европейских языках. Объектом исследования являются встречающиеся в текстах наборы мотивов. Под мотивом понимается любой эпизод или образ или комбинация эпизодов и образов, которые обнаружены в двух или более различных текстах.

Lower Amur groups are probably connected with the pre-Tungus substratum. The patterns of the areal distribution of motifs suggest that still about 2000 b.p. they were widely known across Siberia and that they penetrated into North America following the coastal route.

The two sets of motifs not only have different areal distribution both in Eurasia and in America but are unsimilar in respect to their genre. «Southern Siberian» motifs are typically included into heroic tales while the protagonists of the tales with «Western Siberian» motifs are often tricksters or «victims». The Eurasian — American links for the «Southern Siberian» motifs seem to be earlier (Yakut-Tungus, Paleoasiatic, Eskimo and to some extent Athabascan areas divide major regions of the spread of these motifs in the Old World and in the New World). The spread of the motifs of «Western Siberian» group into America probably continued till rather recent times but it is difficult to assess when the corresponding dissemination first began (Bear and Deer motif with its distant from each other Western Siberian and Californian — Plateau clusters must be quite early). The motifs of both groups have only few parallels in South America and are hardly connected with the very initial stages of the peopling of the New World.

Wording of motifs

Bear and Deer. Two women live together, both have children. One goes with another to have some activity (usually to gather wild plants), kills and devours her. Victim's children escape. Both women are usually associated with animals (the predator and the herbivorous or a stronger and a weaker predators).

Blind hunter (K333). Man or youth kills an animal. His wife or (grand)mother lies that he has missed, eats meat herself.

Death feigned to eat alone (K1867). Man shams death and eats grave offerings.

Drowned woman remains alive. Young woman's own mother, mother-in-law, co-wife or other rival throws her into the water and takes her place. The woman is not dead under the water, answers a call, comes out to nurse her baby. Husband finds her and takes her back.

Escape from Polyphemo's cave (K603). Person gets into dwelling of master of animals or monstrous shepherd. The host plans to kill him. Person escapes sticking to the belly of one of the animals which are going out. In Eurasia, the host is the cyclope, in North America he is the owner of the buffaloes.

Lodge-boy and Thrown-away (Z210.1). One of two small boys lives in a lodge with his father or mother. Another has been thrown away, grows up by himself, comes to play with his brother. Tries to free himself being caught, then agrees to live in the house. In Western Siberia Lodge-boy has guise of a puppy.

Mosquito and Thunder (for Eurasian versions, A2236.I). Dangerous person asks bloodsucking insect where has it taken his meal, whose blood it was, or whose blood tastes better. Insect lies or is unable to answer. In most of American and in some Buriat versions the person is Thunder, and the myth explains why now lightning strikes trees, not people. In Eurasian versions Swallow usually bites off the tongue of the insect making him unable to speak.

Potiphar's wife (K2111, T418). Woman makes vain overtures to young man and/or falsely accuses him of sexual abuse. Her husband believes that the young man is guilty, kills or tries to kill him.

Recognition of wife or son (H161, H324). Man has to pick out his transformed wife or child from identical companions.

Snake threatens nestlings. Serpent or aquatic monster attacks the nestlings of powerful bird. The bird is helpless against it but the man kills it. Thankful bird helps him.

Tragic incest. Brother and sister remain alone and marry each other. When their children get to know about the incest, they kill their parents, or father kills children, or parents suicide.

Unrecognized Sister Married. Sister and brother live alone. Brother rejects the incest. Sister makes him take her for unknown girl, marries him.

Ursa major as seven men. Every star of Ursa mayor is a separate person. Usually the constellation represents seven men.

Weather birds. Man gets to the nest of a giant bird or birds. When the birds come, they bring with them clouds, rain, hail, etc. In North America and in some Altai versions the male and the female birds bring different kinds of weather (e.g. the rain and the snowfall) and the nestlings tell the hero about this beforehand.

Поиск сходных мотивов в мифологиях удаленных регионов — занятие столь же захватывающее, сколь и рискованное, чтобы не сказать сомнительное. В 19 веке в Германии им увлекались Л. Фробениус и П. Эренрайх, в России — Г.Н. Потанин. Немало работ посвятил этой теме Ф. Боас. Взгляд на мировой фольклор, так сказать, с птичьего полета действительно завораживает. С этой позиции прекрасно заметны не только наивность безыскусного краеведения, видящего в «легендах и мифах» «творческую фантазию народа», но и шаткая основа тех научных направлений, которые пытаются увидеть в фольклоре и мифологии отражение универсальных закономерностей, присущих человеческой психике. Почти любая особенность, объявленная либо универсальной, либо напротив свойственной лишь какой-нибудь одной мифологии, на поверку оказывается распространенной в пределах гигантских территорий и в пределах столь же гигантских — отсутствующей. Сколь ни странно подобное заявление, но единственная парадигма, которая в данном случае не может быть с порога отвергнута как *явно* противоречащая фактам — миграционистская. Мы можем только гадать, почему возник тот или иной мотив, но вполне способны проследить его территориальное распространение и сделать на этой основе определенные заключения.

Вебер (1990: 395) считал, что в науке одно объяснение лучше другого постольку, поскольку оно *более очевидно*. Изучение ареального распределения мифологических мотивов тем и привлекательно, что *очевидность* соответствующих фактов в ряде случаев не вызывает сомнений. Подобное сходство не выявлено в результате аналитической процедуры, сопряженной с возможностью ошибки, и порой кажется, что на этой основе нетрудно прийти к определенным историческим заключениям.

Ясно, что ситуация вовсе не такова, но и обычное возражение — одинаковые мотивы возникли спонтанно — тоже спорно. Любые заключения относительно многократного и независимого возникновения мотива в отдельных ареалах или же его диффузии из одного первоначального центра носят вероятностный характер. В случае простых, широко представленных по миру мотивов более вероятно их конвергентное происхождение, в случае сложных и своеобразных, имеющих сплошной ареал — диффузия из единого центра. Именно этот тезис отстаивал Боас (Boas 1940: 461). Однако правдоподобность не равнозначна полной достоверности, а малая вероятность — полному отсутствию таковой. И как поступить, если мотив сложен и своеобразен, но его ареал не сплошной?

Одна из возможностей использовать данные сравнительной мифологии для построения обоснованных и проверяемых гипотез связана с применением статистики. Исследователь культуры, как правило, не в состоянии определить факторы, которые вызвали инновации, а лишь рассматривает обстоятельства, способствующие развитию одних черт и исчезновению других (Adams 1981). В случае же с мифологией мы не только не можем наблюдать зарождение мотивов, но и ничего не знаем о механизмах, которые определяли их дальнейший отбор. Поэтому всякое мнение относительно генетических или типологических причин повторяемости одних и тех же мотивов — как сложных, так и простых — спекулятивно. Вопрос надо ставить по поводу не происхождения мотивов, а сходства традиций. Если близость традиций коррелирует с какими-то внешними обстоятельствами (социально-по-

литическая организация, природное окружение, формы хозяйства), то возможны функционально-типологические объяснения. Если такой корреляции нет, генетическая близость традиций, имеющих относительно больший процент одинаковых элементов, становится весьма вероятной.

Однако и статистика не всегда эффективна и вряд ли позволяет реконструировать этническую историю. Этнография показывает, что мифологические тексты легко заимствуются даже там, где контактирующие общности существенно различаются по культуре и языку. Поэтому усредненные данные о распространении сотен мотивов мало помогают при изучении этнической истории в пределах, например, Северной Европы или Мезоамерики, где отдельные культуры постоянно контактировали друг с другом. Внутрирегиональные различия прослеживаются и здесь, однако невозможно сказать, в какой мере они вызваны реликтами некоего древнего состояния, а в какой — недавними контактами. Ситуация выглядит по-другому там, где статистически значимое сходство или различие между наборами мотивов их недавней диффузией объяснить нельзя. Наличие значительного числа общих элементов на межрегиональном уровне логично отнести на счет тех же причин, что и на уровне внутрирегиональном — заимствование мотивов одной соседней группой от другой. Однако поскольку существует уверенность, что обитатели соответствующих регионов в недавнюю эпоху никакой культурной общности не составляли, время предполагаемого единства должно быть отодвинуто в прошлое. Какое именно — это может подсказать только археология. Вообще следует подчеркнуть, что тенденции, прослеживаемые в фольклорно-мифологическом материале, не имеют собственной хронологии — ни относительной, ни тем более абсолютной. Хронологический каркас исследования должен быть создан на основе других дисциплин, а работа с текстами лишь способна выявить дополнительные аргументы в пользу определенных исторических сценариев.

Боас был пионером использования статистики при оценке степени близости мифологий (Boas 1895). Он работал на материалах американского северо-запада, и вполне понятно, что, полученный результат его не удовлетворил. Общность мотивов могла здесь в равной мере определяться как их недавней диффузией, так и единым происхождением соответствующих этнических групп, поэтому Боас от данного метода затем отказался (Boas 1940: 309). Им, однако, воспользовались Иохельсон (Иохельсон 1904; Jochelson 1904; 1908) и в меньшей степени Богораз (Bogoras 1902:604–682), применив статистику для оценки интенсивности древних связей в регионе Берингоморья. Оба доказывали на этой основе гипотезу «эскимосского клина», разделившего индейцев и палеоазиатов, которую Боас ранее высказал в осторожной форме (Слободин 2001: 19; Boas 1891: 19–20; 1940: 444–445, 528–529). Чтобы отделить диффузию от общего наследия, Иохельсон попросту исключил из рассмотрения связанные с Вороном тексты аляскинских эскимосов на том основании, что они, по всей вероятности, заимствованы от индейцев. Естественно, что при подобном способе создания базы данных нужный результат был гарантирован, на что и обратили внимание сперва Э. Чаунинг (Chowning 1962: 2–3) и затем Ф. Де Лагуна (De Laguna 1995: 324).

В статистике Иохельсона имелись и другие неточности. Например, распространенный на северо-востоке Азии мотив *невесты в реке* (персонаж принимает свое отражение за женщину и хочет на ней жениться) не имеет точных соответствий в тех индейских текстах, на которые ссылается этот автор (Jochelson 1904: 424). Мотив стрелы, открывающей путь на небо, действительно связывает коряков с индейцами и отсутствует у эскимосов. Однако Иохельсон свел воедино мотив стрелы как таковой и мотив *цепочки из стрел*, специфичный именно для индейцев, а в Азии впервые появляющийся лишь в Приморье у орочей и

удэгейцев (далее в Меланезии). Но главное не в этих исправимых дефектах, а в уязвимости самой идеи статистической оценки связей между этносами, контакты между которыми осуществлялись как в древности, так и в недавнем прошлом.

Альтернативный подход состоит в том, чтобы оценивать связи на уровне не этносов, а регионов. Предварительные результаты использования данного метода были опубликованы (Березкин 2001a; 2001b; 2002). Статистика доказывает близость сибирских и североамериканских мифологий по сравнению с амазонскими или меланезийскими. Главная трудность состоит здесь в том, чтобы определить, действительно ли выбранные мотивы независимы от природно-хозяйственных факторов. Сейчас, продолжая выявление и оценку дальних межрегиональных связей, мы хотели бы пойти по более традиционному пути, сосредоточив внимание лишь на небольших группах мотивов. Знакомство с южноамериканскими и австралийскими материалами поддерживает уверенность в том, что рассматриваемые параллели специфичны именно для определенных областей Северной Америки и Евразии. Это повышает вероятность исторической обусловленности аналогий между соответствующими традициями.

ЮЖНОСИБИРСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Змей угрожает птенцам. Птицы несущие бурю

Начнем с нескольких текстов, записаных у индейцев северной части Великих Равнин — ассинибойн, кроу, хидатса и арикара. Кроу вместе с близкородственными хидатса и с ассинибойн относятся к языковой семье сиу, хотя и к ее разным ветвям. Кроу-хидатса — наряду с мандан — были в числе первых сиу, проникших с востока в ареал Равнин. Археологически эти группы прослеживаются примерно до 1200 н.э. (Wood 2001), возможно, до 1000 н.э. (Dyck, Morlan 2001: 129). Арикара относятся к семье кэддо, в конце I тыс. н.э. распространявшейся по Равнинам с юга. Незадолго до эпохи европейских контактов хидатса, мандан и арикара образовали на средней Миссури особую культурную общность. Учитывая тесные контакты между тремя этносами, общие элементы в их мифологиях легко объяснимы, несмотря на разность происхождения. Что касается ассинибойн, то это одна из групп собственно сиу, продвинувшихся на Равнины немного позже, чем кроу. Археологи прослеживают культуру ассинибойн примерно до 1100 н.э. (Dyck, Morlan 2001: 129). Эти индейцы сперва воевали с наступавшими с северо-востока алгонкинами кри, а затем вошли с ними в союзнические отношения и соответственно стали врагами остальных сиу.

У перечисленных этнических групп — и в Америке только у них — встречается история о чудовище, которое регулярно пожирает птенцов Громовой птицы. Та бессильна перед чудовищем, но человек убивает его, получая от птицы вознаграждение. Как и в любых текстах, данный мотив сочетается здесь с другими, которые логически с ним слабо связаны и могут встраиваться также и в иные сюжеты с иным ареальным распространением. Вот резюме соответствующих повествований.

Ассинибойн (Lowie 1909a, № 25b: 181–182). По дороге домой двое братьев находят кусок обгорелого змеиного мяса. Старший ест его, превращается в змея, уползает в реку. К младшему прилетает Громовая Птица, просит сесть ей на хвост, приносит в свой дом на горе. Человек видит груду костей, это останки птенцов. Птица просит человека убить железное чудовище, пожирающее ее детей, обещает за это помочь возвратить брата. (Здесь попутно отметим, что эпитет *железный* не свидетельствует о заимствовании сюжета у европейцев. Это обычная для записи конца 19 в. замена традиционного «кремневый»). В ответ на просьбу птицы, человек оснащает стрелы перьями из ее хвоста и поражает чудови-

ще стрелой в единственное уязвимое место. После этого превратившийся в змея брат сперва принимает вид черепахи, затем выходит на берег и, наконец, снова становится человеком. Другой текст (Lowie 1909a, № 25c: 182–183) отличается от предыдущего лишь деталями. Герой вначале назван *Ситконски*, то есть носит имя местного трикстера, что необычно (далее он подобным образом не именуется). Чудовище имеет рога и второе лицо на затылке, уязвимы шея и рот. Эпизод с поеданием мяса не предшествует истории с чудовищем и птицей, а следует за ней. Превратившийся в змея спутник героя требует, чтобы проходящие мимо бросали ему в реку дары. Громовая птица безуспешно пытается убить змея. Герой же создает лягушек и те убивают черепаху, в которую змей превратился.

Кроу (Lowie 1918, № 1: 144–145). Дотронувшись до чего-то в траве, охотник ощущает удар, оказывается на скале у гнезда Громовых Птиц. Двое птенцов прикрывают его, когда прилетает их мать, а затем их отец, каждый приносит с собой дождевую тучу. Лысоголовый орел приносит человеку оленя, чтоб он поел. Объясняет, что птенцов Громовой Птицы глотают два чудовища, выползающие из озера. Человек убивает чудовищ, бросив им в пасть раскаленные камни. Гром созывает всех птиц, просит разрезать тела. Это удается цапле. Птицы поедают чудовищ. Еще один текст кроу (Lowie 1918, № 2: 146–148) близок предыдущему. Человек оказывается на скале среди озера. Двое птенцов велят ему держаться за их крылья, говорят, что сперва прилетит их мать с дождем, затем отец с градом. Кондор приносит человеку оленя. Громовая Птица-самец объясняет, что каждое лето птенцов пожирают два выползающих из озера змея (букв, «длинные выдры»). После убийства чудовищ Громовая Птица предлагает человеку стать кондором. Однажды лось утаскивает его в реку, там его бьют подводные обитатели, снова делают человеком. Он возвращается домой.

Хидатса (Beckwith 1938, № 7: 92–94). Текст аналогичен вариантам кроу. Громовые Птицы приносят охотника в гнездо на скалу среди озера. Птенцы рассказывают, что каждый год из озера выползает змея с головами на обоих концах тела, пожирает птенцов. Человек поражает обе головы стрелами, попав в уязвимые места. У мандан, с которыми хидатса на протяжении последних веков жили в тесном контакте, данный мотив отсутствует, хотя есть похожий: двое охотников женятся на дочерях Грома-орла и легко убивают чудовищных змею, бобра и кролика, с которыми тесть боролся всю жизнь (Beckwith 1938, № 4: 57–62).

Арикара (Parks 1996, № 15: 209–215). Птенцы Громовых птиц (самец и самка) переносят спящего человека на вершину скалы. Молнии вылетают из их глаз, искры сыпятся от взмахов крыльев. Птенцы дают герою две стрелы, просят убить змея с головами на обоих концах тела, велят целиться в пятно под челюстью каждой головы. Этот змей регулярно выходит из озера и пожирает птенцов. Герой убивает змея. Громовые птицы просят его убить и того змея, которым стал человек, поевший змеиного мяса (это отдельная история, напоминающая записанную у кроу). Змей, однако, проглатывает человека, затем отпускает домой, но лишает магической силы.

Обратим снова внимание на варианты кроу. В них есть следующая деталь: птенцы рассказывают человеку, что их мать принесет с собой дождевую тучу, а отец — град. Поскольку речь идет о существах, воплощающих грозу, данная подробность выглядит несущественной, но это не так. Представления о громовых птицах широко распространены у народов Сибири и Америки, но в большинстве текстов нет эпизода с рассказом птенцов о родителях. Там же, где он имеется, птицы вовсе не обязательно являются воплощениями грозы, скорее это просто гигантские пернатые существа типа рух из «Тысячи и Одной Ночи».

В Америке мотив *птицы, несущие бурю* преимущественно связан, однако, не с сиу, к которым принадлежат кроу, а с народами атапаскской языковой семьи. Он содержится в

мифе самой северной атапасской группы, аляскинских кучин. В одном случае (McKennan 1965: 102) Джатеакуойнт женится на дочери Медведя. Тесть требует достать перья орлов-людоедов. Джатеакуойнт убивает птенца-самку, спрашивает самца, как прилетят его родители. Тот отвечает, что отец — с дождем и градом, мать — с пургой. Джатеакуойнт убивает копьем взрослых орлов, превращает птенца в обычного орла. Во другом тексте (из Игл; Schmitter 1910: 21–23) имя героя не называется, это некий старик. Птенец отвечает, что мать прилетит со снегом, отец — с градом. Герой убивает копьем взрослых птиц и приносит перья.

В близких вариантах эпизод встречается у других атапасков Аляски, Юкона и севера Британской Колумбии. У танана (Chapman 1914, № 30: 101–102) юноша просит женатого брата уступить ему жену. Женатый велит ему сперва залезть на гору. Юноша забирается в гнездо скопы на дереве на горе. Убивает там птенца-самца, спрашивает самку, как прилетят ее родители. Птенец отвечает, что отец прилетит со снегом, а мать с дождем. Человек убивает птиц, возвращается домой, убивает брата, забирает женщину. У верхних танана (McKennan 1959: 179–180) Цаоша (Бобр) женится на двух дочерях Медведя. Тот просит достать перья орлов-людоедов, чтобы оснастить ими стрелы. Цаоша лезет в гнездо, убивает птенца-самца, спрашивает самку, как прилетают ее родители. Она отвечает, что мать появится с облачком и снежком, отец — с тучей и градом. Цаоша убивает взрослых орлов, велит птенцу отныне питаться крысами, белками, куропатками. Очень близкая история записана у тагиш (Norman 1990: 111–113) и у каска (Goddard 1912, № 1: 46–49), в последнем случае тестем является не медведь, а людоед-солнце. Одна из версий коюкон на западе Аляски включает как европейские, так и местные мотивы (Jette 1908–1909: 498). Богач велит бедняку убить опасного орла. Бедняк лезет в гнездо. Птенец отвечает, что его мать прилетит с мокрым снегом, отец — с градом. Бедняк убивает обоих взрослых орлов, приносит богачу орлиные ноги. В другом варианте (Wright 1908: 33–34) мотива *трудного задания* нет. Двое братьев приходят к старухе и ее дочерям, те убивают старшего. Младший видит огромное гнездо. Орленок говорит, что его родители несут ветер, тьму, гром, мать — дождь, отец — град. Юноша убивает птенца и взрослых птиц. У хэа (Petitot 1886, № 13: 141–144) герой также по собственной инициативе лезет в гнездо орлов достать перья. Он убивает птенца-самку, спрашивает самца, как прилетят родители. Тот отвечает, что отец принесет свет, мать — тьму. Обе птицы прилетают с грозой. Герой убивает их и птенца, достает перья.

В некоторых атапаскских версиях из центральной Канады встреча с птицами происходит после того, как человек лезет на дерево за стрелой и в итоге оказывается на небе. Спускаясь по веревке обратно, он попадает не на землю, а в птичье гнездо. За этим следует расспрос птенца и его ответ касательно того, как прилетят мать и отец. Далее герой убивает птиц-родителей, а птенца превращает из чудовищной птицы в нормальную — таковы версии бивер (Goddard 1916: 233–234) и слейви (Petitot 1886, № 5: 321–327) . У чипевайян (Goddard 1912, № 1: 46–49; Lowie 1912: 189–192) и йеллоунайф (Petitot 1886, № 3: 352–361) птенец защищает человека от своих родителей и затем спускает на землю.

На северо-западе Северной Америки мотив убийства героем взрослых чудовищ и превращения птенцов в неопасные существа присутствует также у тлинкитов в регионе Северо-Западного побережья (Swanton 1909, № 31: 97) и у кутенаи на востоке Плато (Linderman 1997, № 9: 90–107). У тлинкитов старуха сообщает сыну Огневого Сверла, что птицы-людоеды убили братьев его матери. Тот приходит к птенцам, узнает от них, что их мать прилетит в желтом, а отец в черном облаке. Герой убивает взрослых птиц, их детям велит питаться не человечиной, а сурками. У кутенаи Старик предупреждает Койота не глядеть на гнездо громовых птиц, мимо которого они идут. Койот нарушает запрет, оба оказываются в

гнезде. Птенцы отвечают, что их мать прилетит с дождем, отец с градом. Старик притворяется, что устал и его можно съесть первым, убивает самца и самку, птенцам велит спустить его и Койота на землю. После этого он убивает птенцов и из глаз одного вылетают птицы меньшего размера — нынешние громовые птицы, которые не убивают людей.

Таким образом, мотив *птицы, несущие бурю* известен практически всем северным атапаскам на Аляске и в Канаде, а также тем группам индейцев, которые издавна контактировали с атапасками. Языки тлинкитов и атапасков вообще родственны, пусть и весьма отдаленно, а кутенаи (в языковом отношении — изолят) были, возможно, вытеснены атапасками из более северных районов Канады (Brunton 1998: 224). Рассматриваемый мотив отсутствует, однако, у западных, северных и юго-восточных соседей атапасков — эскимосов и алгонкинов, в частности кри. Расселение северных атапасков происходило 2500–1500 л.н. из района на стыке Аляски, Юкона и Британской Колумбии (Campbell 1997: 110–112; Dumond 1977: 52–53; Wright 1981: 91–92). Отсутствие *птиц, несущих бурю* в мифологиях кри и эскимосов говорит о том, что мотив вряд ли был заимствован атапасками от поглощенного ими в таежной зоне субстрата. Скорее он издавна присутствовал в их мифологии.

Из зоны тайги ареал распространения мотива тянется на юг через Великие Равнины вплоть до Техаса и Юго-Запада, где наиболеее характерен для южных атапасков — апачей и навахо. В пределах Равнин он зафиксирован у арапахо и близко родственных им гровантр. Как и все алгонкины, эти группы, соседи кроу, скорее всего проникли на Равнины из области Великих Озер (Goddard 2001: 76–77). Их первое появление на севере ареала может быть связано с культурой безант, начало которой датируется 7 в. до н.э. (Dyck, Morlan 2001: 123–128).

Миф гровантр (Cooper 1975, № 11482–487; Kroeber 1907b, № 20: 82–90) ближе всего атапаскским. Тесть дает зятю трудные поручения, одно из которых — достать перья для стрел. Зять забирается в гнездо Громовых Птиц, спрашивает птенцов, как появятся их родители. Те отвечают, что отец прилетит в черной туче, мать — в белом облаке. Взрослые птицы не в силах поразить человека молниями, он сам ранит их стрелами, приносит перья домой. У арапахо данный мотив включен в рассказ о подвигах близнецов и тоже известен в двух сходных вариантах (Dorsey, Kroeber 1903, № 139, 140: 346, 353). После того, как близнецы забираются в гнездо Громовой Птицы, птенцы говорят, что их отец прилетит с черной тучей и ливнем. Близнецы убивают и птицу-отца, и птенцов, приносят перья. У вичита (по языку — кэддо) на юге Равнин мотив лишь с оговорками может быть сопоставлен с остальными (Dorsey 1904a, № 16: 122–123). Чудовищный стервятник уносит человека на остров, бросает в гнездо на дереве. Человек выбрасывает из гнезда двух птенцов, воплощающих плохую погоду, оставляет двух других, воплощающих хорошую. Слезает с дерева, ударяет по воде тетивой. Она расступается, он возвращается домой; Стервятник вновь нападает, герой убивает его.

Записанные на Юго-Западе варианты тоже помещают эпизод с птицами в ряд приключений близнецов. Хотя сама история происхождения близнецов иная, чем на Равнинах, «птичьи» мотивы в подобных текстах одинаковы с теми, которые характерны для более северных групп индейцев («мать прилетит с тихим дождем, отец с сильным ливнем»; чудовищные птенцы превращаются в обычных орлов, сов или воронов). Среди индейцев пуэбло подобные тексты есть, кажется, только у хопи (Stephens 1929, № 7: 17–18), но они зафиксированы у большинства южных атапасков, в том числе у восточных апачей чирикауа (Opler 1942: 3–9, 12) и хикарилья (Mooney 1898: 200–209; Russel 1898: 255–258), у западных апачей (Goddard 1918: 16–19), у навахо (Matthews 1994: 119–121) и даже у изолированных от прочих апачей липан на юге Техаса (Opler 1940, № 1: 19–21). У западных апачей мотив

бывает связан не с приключениями близнецов, а с сюжетом «разорителя гнезд» (Goddard 1918: 67–68; 1919: 132–135), причем в этих случаях попавший к орлам герой помогает им победить чудовищ. Отличие от вариантов кроу в том, что страшными врагами орлов оказываются не змеи, а шершни, травы, тыквы и т.п. В целом достаточно вероятно, что на Юго-Запад мотив *птицы, несущие бурю* был принесен именно атапасками. Надо ли видеть след атапаскской миграции также и на Великих Равнинах (тексты кроу, гровантр, арапахо, может быть, вичита), сказать сложно. Археологически проникновение атапасков с севера на Равнины предположительно связывается с культурой авонлеа, датируемой 2 в. до н.э. — 12 в. н.э. (Dyck, Morlan 2001: 125–127). В то же время основной маршрут их продвижения на юг мог пролегать по восточным районам Большого Бассейна, откуда около 500 л.н. шошони и вытеснили апачей и навахо в ареал Юго-Запада (Perry 1980; Wright 1978: 132).

При полном отсутствии параллелей в других областях Нового Света оба мотива — *птицы, несущие бурю* и *змей угрожает птенцам* — имеют точные аналогии в Старом. На Алтае первый мотив включен в тот же контекст, что и в Америке — дающий трудные поручения тесть посылает зятя за перьями птицы, чтобы оснастить ими стрелы. Эти же самые тексты содержат и другой рассматриваемый мотив — *змей угрожает птенцам*.

Наиболее явные параллели представлены у челканцев (Кандаракова 1988: 44–72). Мака-Маатыр женится на младшей дочери великого хана. Двое других зятьев подговаривают хана дать ему трудные поручения, жена объясняет, как их выполнить. Первое поручение — достать перо беркута. Мака-Маатыр отсекает стрелой головы семиглавого змея, который выходит из озера, чтобы пожрать птенцов беркута. Те прячут его от родителей. Говорят, что их отец прилетает с редким снегом, мать — с крупным дождем (это слезы беркутов). Обе птицы несут оленей в когтях. Птенцы объясняют, что Мака-Маатыр спас их, беркут не убивает героя, а дает перо.

В собственно алтайских (алтай-кижи) версиях птицы приносят ветер и дождь, но самец и самка друг другу не противопоставляются. В одном тексте (Алтайский эпос 1935: 129–171) Караты-Кан дает трудные поручения Кускун-Кара-Матыру. Первое — достать семерых жеребят, похищенных птицей Кан-Кереде (от индийского «Гаруда»). Кускун-Кара-Матыр приезжает на небо, видит на серебряном тополе гнездо Кан-Кереде. Ее птенцов каждый год поедает семиглавая змея. Один птенец плачет (его сегодня съедят), другой смеется (его съедят позже). Змея выходит из моря, герой отсекает ей головы стрелой. Старший птенец протягивает крыло, Кускун-Кара-Матыр переходит по нему через море в гнездо. Птенцы отвечают, что их родители прилетят с дождем (слезы) и ветром (взмахи крыльев), прячут героя под крылом. Взрослые птицы отдают ему жеребят. Затем Кан-Кереде спасает Кускун-Кара-Матыра, а он берет ее дочь-птенца в жены. Согласно другой записи (Никифоров 1915: 31–64), Аин Шаин Шинширге получает все новые трудные задачи от Тойбон-хана и «девяти хороших зайсанов». Третье из них — привести с неба шаманку, она же — птица Кан-Кереде. Герой застает в доме ее двух дочерей, те прячут его, говорят, что мать принесет ветер (это веянье ее крыльев) и дождь (капли ее пота). Когда Кан-Кереде прилетает, она соглашается не проглатывать Аин Шаин Шинширге. У первоначально очень близких алтайцам по языку барабинских татар герой также убивает дракона и спасает орлиных птенцов, выполняя трудные задачи хана (Дмитриева 1981: 5, 67–68).

Мотив *змей угрожает птенцам* широко распространен от Кавказа до Центральной Азии. Он отмечен у кабардинцев, абазинов, осетинов, ингушей, грузин, армян, курдов, турок, персов, казахов, каракалпаков, узбеков, таджиков Систана, белуджей, различных групп памирцев (Алиева 1978, № 11: 111–119; Грюнберг, Стеблин-Каменский 1976, № 8–10: 113–139; 1981, № 2: 24–39; Дзагуров 1973, № 45: 162–177; Джалил 1989, № 2: 46–59; Долидзе

1954: 28–33; Жирмунский 1974: 278; Зарубин 1932б № 6, 14: 69–90, 173–190; Каракалпакские сказки 1959: 3–13; Мальсагов 1983, № 1, 3: 23–28, 33–39; Розенфельд 1958: 112–117; Сидельников 1952: 178–190; 1971, 1: 7–33, 3: 66–75; Тревер 1937: 22–23; Тугов 1985, № 33: 75–80; Турецкие народные сказки 1959: 15–26; Шевердин 1984: 167–177). Этот мотив есть также в Поволжье, Западной Сибири, Монголии. В ряде сказок подчеркивается связь гигантской птицы с погодой. Так в осетинской (Дзагуров 1973: 172–173) залезший в гнездо герой спрашивает птенцов, «Что это за ливень?», а те отвечают, что это слезы их матери, думающей, что птенцы погибли. Далее следует вопрос про солнечные лучи (блеск ее глаз) и ветер (хлопанье ее крыльев). Похожий эпизод (слезы — дождь, взмахи крыльев — буря) есть в грузинской, киргизской, казахской, каракалпакской сказках и эпосе (Брудный, Эшмамбетов 1989: 20–21; Долидзе 1954: 32; Каракалпакские сказки 1959: 10; Сидельников 1971, 3: 71; Эр Тоштюк 1958: 150).

В Евразии встреча героя с гигантской птицей часто описывается в контексте рассказа о предателях-братьях или побратимах. Например, у чувашей (Чувашские сказки 1937: 67–83) герой побеждает и делает побратимами «медного, серебряного и золотого орлов». Затем побеждает карлика, идет по кровавому следу к отверстию в преисподнюю (обычный для данного сюжета мотив). Побратимы спускают героя в нижний мир, поднимают добытых им женщин и отпускают веревку. Герой видит змея, ползущего к гнезду Орла Залетного, убивает чудовище. За это Орел поднимает его на землю. Там герой убивает изменников, женится на старшей из трех сестер. Похожие варианты есть в других сборниках чувашских сказок (Григорьев 1971: 57–64, 78–85), а также у тувинцев (Самдан 1994, № 2: 227–248), бурят (Уланов 1974: 39–41; Элиасов 1973, № 8: 78–81) и у всех переднеазиатско-кавказских народов. Другие бурятские (Забанов 1929: 19; Тугутов, Тугутов 1992, № 2: 30–33; Хангалов 1960, № 107, 111: 156–158, 250–253), монгольские и калмыцкие варианты (Неклюдов, Тумурцерен 1982: 58; Lqrincz 1979, № 129.III; 130.V: 77) не связаны с мотивом предательства побратимов, а напоминают пересказанные выше алтайские тексты, то есть к птице героя отправляет тесть, дающий ему трудные поручения. Таков и мансийский вариант (Лукина 1990, № 134: 346–352), в котором Усынг-отыр обещает дочь тому, кто убьет двух птиц-людоедов, живущих на вершине лиственницы посреди горячего моря. Эква-пырись забирается по стволу горностаем, мышью, убивает топориком Не Имеющую Сердца и Печени Железную Лягушку, жившую под гнездом и обгрызавшую птенцам перья, когда те собирались взлетать. За это птицы обещают больше не убивать людей, отвозят героя назад.

Не станем умножать евразийские примеры. Важно, что южная Сибирь является областью, где данный мотив хорошо представлен, и одновременно границей, дальше которой на северо-восток он уже не встречается. Американский и евразийский ареалы распространения мотива разделены тремя этно-культурными регионами, в которых он отсутствует — якутско-тунгусским, палеоазиатским и эскимосским. Даже в селькупской версии при общем сходстве со многими евразийскими (типа приведенной выше чувашской) эпизода со спасением птенцов птицы нет (Головлев 1995: 495–498). Правда на Чукотке от науканского эскимоса записан рассказ о том, как человек идет искать сына (Меновщиков 1985, № 41: 97–101)[3]. На горе он видит гнездо орлов, согревает и кормит птенцов. Те сперва прячут его от матери, затем объясняют ей, что человек их спас. Благодарная орлица несет героя к «небесным горам», где живет орел, похитивший юношу. В пути человек кормит орлицу китовым мясом, а когда оно кончилось, отрезает кусок собственной плоти. Последний мотив редок в Южной Сибири, но повсеместно распространен в более южных и западных

[3] Мое внимание на этот текст обратил Г.А. Левинтон.

областях Евразии. Уникальность науканской истории заставляет подозревать, что она представляет собой контаминацию местного сюжета и русской сказки. Если же нет, то это скорее самостоятельное ответвление центральноазиатской традиции, нежели промежуточное звено между Азией и Америкой.

Вообще мотив могучей птицы на вершине горы или дерева, чьим птенцам помогает герой, в Евразии распространен шире, чем его вариант — защита героем птенцов от змеи. Древнейшая версия содержится в шумерском мифе об орле Анзуде, птенца которого украшает и кормит Лугальбанда (Афанасьева 1997: 192–203. В южно- и центральноамериканском фольклоре подобных историй нет. В Южной Америке известны как мотив птиц, олицетворяющих дождь и грозу, так и мотив гигантской птицы-людоеда, но они никогда не сочетаются. Мотивы «мать прилетит с дождем» и «герой помогает птенцам» на этом континенте отсутствуют.

Бегство из пещеры хозяина стад

Два рассмотренных мотива не исчерпывают набор паралелей, связывающих Южную Сибирь с Северной Америкой. Вот еще одна — *бегство из пещеры хозяина стад*. Оказавшись в жилище чудовищного пастуха или владельца диких животных, персонаж опасается, что хозяин его убьет. Чтобы выбраться на свободу, он цепляется снизу к одному из животных, выходящих из загона или пещеры, или прикрывается его шкурой. В Евразии мотив встречается в фольклоре практически всех тюркских народов, равно как и многих других от Атлантики до Центральной Азии (Алиева 1978, № 7: 85–86, 359–360; Афанасьев 1985, № 302: 340–341, 451; Жирмунский 1974: 589–601; Турсунов 1975). Гомеровская версия и указания на еще одну в «Сатириконе» свидетельствуют о том, что мотив не был принесен на запад в ходе одних лишь поздних тюркских миграций, но уже в древности был известен вплоть до Средиземноморья. Однако к северо-востоку от южносибирского региона его нет. Запись, сделанная среди юкагиров (Николаева и др. 1989, ч. 1, № 31: 95–115), имеет русское происхождение.

Если евразийские сказания о циклопе вряд ли требуют пересказа (большей частью они похожи на древнегреческое), то их американские параллели пока не привлекали внимания фольклористов. Эти параллели сосредоточены на севере Великих Равнин и касаются только эпизода выхода из пещеры. Соответствующий мотив K603 (бегство героя, спрятавшегося под животом или под шкурой копытного животного), который в Евразии неизменно включен в историю ослепления одноглазого великана (сюжет AT1137), для Северной Америки Томпсоном не отмечен (Aarne, Thompson 1964; Thompson 2000: 365).

Одна из версий записана на востоке Плато на границе с Равнинами у кутенаи (Boas 1918, № 65: 213–219, 303–304). Ворон прячет бизонов, люди голодают. Бобр притворяется мертвым, Ворон спускается его клевать, пойман, приведен в дом. Криком пугает Койота, вылетает через дымоход. Сорока замечает, в какую сторону он полетел. Кролик и Заяц приходят к жилищу двух старух, превращаются в щенка и в камень. Одна из старух подбирает камень, чтобы использовать его как наковальню, забирает также щенка. В проходе висят пузырь и погремушка, издающие звук при проходе бизонов. Юноши, принимающие свой истинный облик, продырявливают пузырь, забирают погремушку, выгоняют бизонов. Чтобы выбраться из пещеры, они цепляются зубами к тестикулам самца. Старухи следят за выходящими бизонами, стоя по сторонам, бьют быка, уплощая его тело. Теперь бизоны пасутся в степи и доступны охотникам.

Черноногие — соседи кутенаи и алгонкины по языку — занимали северо-запад Равнин. Соответствующий миф зафиксирован у них в двух вариантах. В первом (Spence

1985: 208–212) герой — Напи, трикстер, главный персонаж местного фольклора. Серый Ворон прячет бизонов. Напи превращает себя в собаку, сына вождя в палку. Маленький сын Ворона подбирает собаку, жена Ворона — палку. Собака и Палка находят подземную нору, выгоняют оттуда бизонов. Сами выходят, прицепившись к шерсти старого бизона. Напи превращается в дохлую выдру, ловит Ворона, вешает в дымоходе. С тех пор вороны черные. Во втором варианте (Wissler, Duvall 1908, № 1: 50–52) Ворон также прячет бизонов, но герой — Бобр. Он превращается в дохлого бобра, ловит Ворона, коптит в дымоходе (с тех пор вороны черные). Оказавшись на свободе, Ворон нарушает обещание отпустить бизонов. Тогда Бобр превращается в палку-копалку, его друг Маленький Пес — в щенка, их подбирает дочь Ворона. Приняв облик пса и человека, они выгоняют бизонов из подземной дыры. Ворон стоит наготове, чтобы убить похитителей его стад. Палка и щенок прячутся в шерсти бизона, незаметно минуют Ворона.

У гровантр (упоминавшихся в связи с мотивом *птицы, несущие бурю*) мотив добывания бизонов соединен с рассказом о похищении лета — обычно самостоятельным (Kroeber 1907b, № 4: 65–67). Старуха прячет бизонов и лето. Нишант (трикстер, аналогичный Напи) велит маленькому мальчику плакать и требовать мяса и земли без снега. Превращается в щенка, которого, вопреки приказу старухи, подбирает ее дочь. Снова став человеком, Нишант насилует девушку, старуха бежит на крик. В это время Нишант проникает в жилище, выпускает бизонов, выбрасывает мешок с летом наружу. Чтобы выйти самому, цепляется за мошонку последнего бизона и прячется у него под животом.

На юг Равнин рассматриваемый мотив проник, по-видимому, недавно. Он зафиксирован у кайова и далеких от них в лингвистическом отношении, но интегрированных политически и культурно кайова-апачей. Хотя кайова отдаленно родственны по языку восточным пуэбло (тева, тива и другим таньо), их непосредственные предки пришли с севера Равнин, о чем свидетельствуют как племенное предание, так и набор известных кайова мифологических мотивов. В одном из текстов (Parsons 1929, № 9: 21–26) белый Ворон прячет животных под землей. Трикстер Сендех (аналогичен Нишанту и Напи) посылает на разведку Сову и Стрекозу (с тех пор их глаза навыкате). Сам превращается в щенка, дочка Ворона подбирает его. Он открывает кремневую дверь, выгоняет бизонов на землю. Превратившись в репей, прилипает к шерсти бизона, Ворон его не находит. Затем превращается в дохлого лося. Ворон спускается его клевать, зажат между ребрами, брошен в огонь, становится черным. В мифе кайова-апачей (McAllister 1949, № 9: 52–53) люди чувствуют, что от Ворона пахнет жиром. Стрекозе удается проследить, где тот живет. В пещере под очагом спрятаны бизоны, отверстие закрыто камнем. Койот превращается в щенка, дочка Ворона его подбирает. Ворон замечает, что глаза щенка слишком умные. Став самим собой, Койот открывает пещеру, выпускает бизонов. Ворон ждет, чтобы убить его, но Койот выскальзывает наружу, спрятавшись под ногами последнего бизона. Ворону он велит отныне питаться падалью.

Данный сюжет зафиксирован также у других групп апачей, живущих на крайнем юге Равнин (липан) и на сопредельных территориях Юго-Запада (хикарилья). Как и кайова, апачи, атапаски по языку, продвинулись на юг недавно, возможно, лишь в 15 в. У липан (Opler 1940, № 11: 122–125) освободителем бизонов является Койот, у хикарилья (Goddard 1911, № 20, 21: 212–214) — некий человек, тоже превратившийся на время в щенка.

Опознание жены или сына

Чтобы вернуть или получить невесту, жену или сына, человек должен опознать ее или его среди нескольких одинаковых людей или животных. Этот мотив (H161, H324, Thompson 1955–1958; 2000: 352) есть у коми (Новиков 1938, № 41: 146–148, 149–153) и у народов Поволжья, в частности у чувашей (Григорьев 1971: 70–77; Чувашские сказки 1938: 89–94: 17–26, 177–187). Восточнее Урала он представлен у бурят (Тугутов, Тугутов 1992, № 16: 63–68) и байкальских эвенков (Воскобойников 1967, № 10: 35–37), у барабинских татар (Дмитриева 1981, № 6: 111–115), у киргизов (Брудный, Эшмамбетов 1989: 108–115). В отличие от других рассмотренных, он известен ульчам на Дальнем Востоке, которые — судя по встречающимся в рассказе реалиям — заимствовали его с юга (Аврорин 1981, № 2: 130). В японском фольклоре мотив весьма популярен (Ikeda 1971, № 400: 96–97).

В Америке область распространения мотива ограничена Великими Равнинами, где он зафиксирован у алгонкинов, включая степных оджибва (Skinner 1919, № 4: 293–295), черноногих (Josselin de Jong 1914: 52–59) и арапахо (Dorsey, Kroeber 1903, № 144–146: 388–395, 395–404, 404–418), у сиу, включая кроу (Lowie 1918: 110–115; Simms 1903, № 12: 289–290), мандан (Bowers 1950: 276–281), оглала (Walker 1917: 183–190; 1983: 109–118), санти (McLaughlin 1990: 170–178), омаха и понка (Dorsey 1888: 74; 1890: 55–57, 172–175, 604–609), осэдж (Dorsey 1904c, № 23: 27–30) и у кэддо, ключая арикара (Parks 1996, № 9: 162–165), пауни (Dorsey 1904b, № 79: 284–393; 1906, № 16: 62–71) и вичита (Dorsey 1904a, № 29: 199–206). Опознать чаще всего требуется жену или сына, принявших облик бизонов. В миф сэлишей группы томпсон (Teit 1917, № 36: 56–62) мотив мог попасть в ходе недавних контактов между индейцами Плато и Равнин. В фольклоре других индейцев ареала Плато он не встречается.

Как в Евразии, так и в Америке герой подвергается соответствующему испытанию после того, как приходит в мир, где живут нечеловеческие существа.

Комар и Гром

Следующие два мотива, которые мы рассмотрим в связи с южносибирскими текстами, имеют единичные параллели также и в Южной Америке.

Первый связан с рассказом о существе (чаще всего комаре или ином насекомом), которое питается кровью. Некий персонаж спрашивает Комара (или Овода и т.п.), где тот ел или чья это кровь. Комар лжет или не может ответить. Благодаря этому персонаж не убивает сейчас людей, а иначе делал бы это. Для Америки данный мотив никем пока не был выделен в качестве особого сюжетообразующего элемента. В большинстве индейских текстов рассказывается о Громе, который расспрашивает Комара, Муху или Москита, где те напились крови. Насекомое отвечает, что пило древесный сок, поэтому ныне молния поражает деревья. В данной форме мотив представлен в ареале Плато у шусвап (Teit 1909, № 35: 709), томпсон (Teit 1898, № 11: 56), лиллуэт (Teit 1912, № 12: 311–312) и калапуя (Jacobs 1945, № 12: 132), у центральных и восточных алгонкинов Канады и США, в частности у кри (Ray, Stevens 1971: 92), оджибва-чиппева (Barnouw 1977, № 42: 158) и микмак (Parsons 1925, № 17: 84–85), у пенути — конкретно винту и майду — северо-центральной Калифорнии (Dubois, Demetracopoulou 1931, № 70: 393, 400). В Южной Америке тот же мотив известен яруро на севере Льяносов (Wilbert, Simoneau 1990c, № 52: 82) и харакмбет на юге перуанской Монтаньи (Califano 1995, № 18: 186). В Чако у матако в сохранившемся тексте отсутствует этиологическая концовка. Дождь залил землю и устраивает праздник по этому случаю. Комары явились в красных плащах, но не сказали, что достали их, напившись человеческой крови. Они боялись, что вызовут у хозяина отвращение (Metraux 1935: 141).

Только на северо-западе Северной Америки у северных атапасков Аляски, Юкона и Британской Колумбии встречаются версии, в которых опасность представляет не Гром, а иной персонаж. В мифе танайна великан берет в спутники человека. Они приходят к людям, которые варят кровь. Человек лжет Дятлу, будто это пихтовый сок. Поэтому дятлы долбят деревья, а не людей (Tenenbaum 1984: 73–75). В мифе талтан Комар лжет Древоточцу, что напился крови деревьев. Если бы он сказал правду, Древоточцы бы пожирали людей (Teit 1919–1921, № 22: 243).

В Южной Сибири у монгольских и тюркских народов повсеместно распространен миф о том, как опасный и могущественный персонаж посылает Комара, Шмеля или иное насекомое узнать, чья кровь вкуснее. Посланец выясняет, что человеческая, и летит назад. Дабы спасти людей, Ласточка вырывает ему язык. Сам посланец или отправитель обычно пытается убить Ласточку, но лишь хватает за хвост, который с тех пор раздвоен (Баранникова и др. 2000: 14). Отправителем может являться многоголовый змей, владыка демонов, людоед Дельбеген, птица Хан-гаруди и пр. Одна из бурятских версий (Тугутов, Тугутов 1992, № 21: 80) особенно близка индейским, ибо тоже объясняет, почему молнии поражают деревья. Громовержец Хугдэ-мэргэн посылает осу к хозяину земли Ульгэну узнать, в кого бить громом. Тот отвечает, что в человека. Ласточка просит Осу повторить, что сказал ей Ульген, и оторвав ей язык, объясняет Хугдэ-мэргэну, будто Оса хотела похвалить вкус сока лиственницы. С тех пор молнии метят в деревья. Нередко встречается противопоставление человека змее. В соответствующем бурятском тексте (Тугутов, Тугутов 1992, № 21: 78–79) царь птиц Орел посылает Ласточку и Осу узнать, чье мясо вкуснее. Оса признается Ласточке, что человечье. Ласточка просит ее показать язык, вырывает его. Говорит Орлу, что самое вкусное мясо — змеиное. Ныне орлы питаются змеями, а осы только жужжат. С разными вариациями этот рассказ записан у алтайцев (Гарф, Кучияк 1978: 49–50), хакасов (Алексеев 1980: 103; Катанов 1963, № 582: 157), тофаларов (Шерхунаев 1975: 254), бурятов (кроме уже упомянутых, текст в Баранникова и др. 2000, № 24: 91–93), монголов (Бенигсен 1912: 21; Потанин 1881, № 15: 159; 1883, № 14: 183).

Как и в случае с историей змея, пожирающего птенцов, данный мотив, помимо Южной Сибири — Монголии, зафиксирован в Поволжье, в частности у удмуртов (Клабуков 1948, № 17: 56) и чувашей (Вардугин 1996: 249; Егоров 1995: 132), на Кавказе, в частности у абхазов (Бгажба 1983: 94), ингушей (Потанин 1883, № 14: 768) и черкесов (Thompson 1955–1958, мотив A 2236.1), а также у тюркских кочевников Центральной Азии — казахов (Сидельников 1971,2: 165–166; 3: 221–223) и киргизов (Брудный, Эшмамбетов 1989: 369–370). Он, однако, определенно отсутствует в восточной и северо-восточной Сибири, равно как и у эскимосов, и, кажется, не известен в Передней Азии и Иране.

Логически мотив *Комар и Гром* альтернативен преобладающему североевразийскому мотиву *Грома-преследователя*, который гоняется за нечистой силой и поражает ее всюду, где она прячется, в том числе бьет в деревья. Характерно поэтому, что в Северной Америке *Гром-преследователь* почти не встречается. Мне удалось обнаружить лишь две версии — у собственно алгонкинов (Schoolcraft 1999: 100–102) и у микмак Новой Англии (Hagar 1897: 104–105).

Домашний и Выброшенный (Lodge-boy and Thrown-away)

Мотив *Домашний и Выброшенный*, — один из наиболее распространенных в Северной Америке. Обычно он помещен в начало истории близнецов, совершающих подвиги и освобождающих мир от чудовищ. В конце рассказа близнецы превращающаются в небесные объекты — солнце и месяц, те или иные звезды, гром и молнию и т.п. На севере Равнин

некоторые эпизоды из мифа разыгрывались в ходе главного годового ритуала — так называемого Танца Солнца.

В качестве примера возьмем тексты все тех же кроу (Lowie 1918: 74–85, 85–94, 94–98). В отсутствие охотника к его жене приходит какая-то женщина. Каждый раз жена забывает сообщить мужу о гостье. Прийдя в очередной раз, гостья отказывается есть на предлагаемой ей посуде, говорит, что ее тарелка — живот беременной. Хозяйка кладет угощение себе на живот, гостья вспарывает его и бросает одного близнеца вблизи входа в дом, а второго — в реку. Мальчика, брошенного около дома, воспитывают мыши. Вернувшийся муж часто слышит его голос, прикармливает его. Наконец, сын появляется и остается с отцом. Он встречает второго мальчика, имеющего большие острые зубы и выходящего из воды играть с братом. Выпрашивает у отца двойные порции пищи, просит сделать ему второй лук, наконец, рассказывает о смерти о брате и о смерти матери, которая для отца оставалась загадкой. Речной мальчик утверждает, будто под водой у него есть другой отец. Всякий раз, когда отец и Домашний брат пытаются его поймать, поднимающийся туман помогает ему скрыться в воде. Наконец, отец с братом ловят его и спиливают острые зубы. После этого он признает земного отца. Далее следует история о том, как братья убивают опасных существ, включая убийцу матери, и оживляют мать. Та превращается в Луну, отец в Утреннюю Звезду, Домашний Мальчик в одну из звезд Большой Медведицы, Речной — в Вечернюю Звезду.

В другом варианте к женщине приходит слепой гость со вторым лицом на затылке. Младенец из чрева матери говорит ему, где в доме вход. Двуликий убивает женщину, положив ей на живот раскаленный камень. Чтобы поймать сына, человек бросает в реку мясо бизона. Речной человек забирает у Речного мальчика его острые зубы и велит вернуться к настоящему отцу.

В примерно том же, что у кроу, контексте мотив *Домашний и Выброшенный* есть в мифах многих североамериканских индейцев, живших к востоку от континентального водораздела и в прилегающих областях Юго-Запада и Большого Бассейна. У микмак (Parsons 1925, № 1: 56–59; Speck 1915a: 61–62), хидатса (Beckwith 1938: 30–43), арапахо (Dorsey, Kroeber 1903, № 139, 140: 341–355), кайова-апачей (McAllister 1949, № 6: 30–44), вичита (Dorsey 1904a, № 12: 88–102), северных шошони (Lowie 1909b, № 24: 280–283), апачей липан (Opler 1940, № 2a: 22–25), тива в Ислета (Parsons 1932, № 14: 392–403) второй брат выброшен в воду. У меномини (Skinner, Satterlee 1915, № II8: 337–342), чиппева (Schoolcraft 1999: 183–190), оджибва (Radin 1914, № 45: 81–83), северных кри (Bell 1897: 2–8), саук и фокс (Lasley 1902: 176–178), кикапу (Jones 1915, № 9: 67–75, 135–138), сенека (Curtin, Hewitt 1918, № 34: 176–180), черноногих (Josselin de Jong 1914: 38–52; Wissler 1936: 20–29; Wissler, Duvall 1908, № 1: 40–53), гровантр (Cooper 1975, № 10: 462–482), омаха и понка (Dorsey 1888: 76–77; 1990: 215–219), айова (Skinner 1925, № 1: 427–441), кэддо (Dorsey 1905, № 17: 31–36), натчез (Swanton 1929, № 5: 222–223), криков (Swanton 1929, № 2: 4–5) и семинолов (Greenlee 1945: 142–143), вероятно, у алабама и коасати, миф которых известен отрывочно (Martin 1977: 69–71), второй брошен в дупло, в пень, в кусты. У пауни есть оба варианта, но преобладает первый (Dorsey 1904b, № 25: 88–94; 1906, № 39–41: 142–155, 493–495). У вичита, пауни, натчез, криков и семинолов второй мальчик возникает из последа первого.

В притихоокеанских областях Северной Америки мотив почти не известен. Близкий эпизод есть только у цимшиан в истории о жене, симулирующей смерть, чтобы соединиться с любовником (K1539). После убийства женщины зачатый ею сын сосет кишки мертвой матери, вырастает в гробу и подбирает стрелы, которые пускают другие дети. Племянники ее бывшего мужа находят и ловят мальчика, он вырастает и, по одной из версий, добывает

солнце (Boas 1902: 7–10; 1916, № 29: 214–215). В версиях данного мифа у других индейцев СЗ побережья эпизоды подобранных стрел и трудной поимки мальчика отсутствуют. В Центральной и Южной Америке точные параллели *Домашнему и выброшенному* также не зафиксированы, но в мифе ягуа в западной Амазонии (и только у них) есть нечто похожее (Chaumeil, Chaumeil 1978: 162; Payne 1992: 199; Powlison 1972: 75; 1993, № 1: 57). Жителей селения убивают враги. Вернувшаяся с огорода старуха находит пепелище на месте дома своей беременной дочери, а в куче мусора — плачущего младенца. Позже находит второго мальчика, возникшего из последа. Братья вырастают и мстят врагам.

Иного рода соответствия североамериканским текстам представлены в Сибири, особенно у бурят Прибайкалья. В этом районе отдельные роды считают себя потомками одного из двух героев — Булагата или же Эхирита. Миф рассказывает о происхождении этих героев и связан с Байкалом. Можно полагать, что мы имеем дело с местной традицией, заимствованной бурятами после того, как они заселили берега озера. Монгольские и восточнобурятские параллели мне не известны.

По Хадахнэ (1926: 32–33; комм. в Жуковская 1980: 97), сын западного тэнгри повздорил с сыном восточного. Оба спустились на землю, первый стал сивым быком Бохо-нойоном, второй — пестрым Тарлан Ээрен буха. Они стали гоняться друг за другом вокруг Байкала. Дочь Тайжи-хана прогнала их, но забеременела от взгляда (или мычания) Бохонойона и родила мальчика. Бохо-нойон признал его своим сыном, поместил в железную люльку. Две сестры-шаманки Асыхан и Хосыхан устроили для Бохо-нойона камлание с жертвоприношением и получили мальчика, дав ему имя *Булагат Буха дорогхо олдогкон* («Из-под быка найденный Булагат»). Он стал ходить на берег Байкала, где познакомился с другим мальчиком, жившим в береговой щели. Асыхан хитростью заполучила и его, дала имя *Эхирит Ээрен гутар эсэгэ эрийн габа эхэ* («Эхирит, имеющий отцом пестрого налима, матерью — береговую щель»).

Четыре версии приведены М.Н. Забановым (Забанов 1929: 21–28). 1) Буха-нойон-бабай, обратившись в серого пороза, держит под грудью железную люльку. Шаманки Асухан и Хусыхан получают ее, Асухан усыновляет ребенка, называет Булагат. Дочь восточного тенгрия Хармуста, не известно от кого забеременев, спустилась на землю в облике козы, родила двух сыновей и дочь, оставила их на берегу Байкала. Эти дети выходят из воды играть с Булагатом. Асыхан дает ему еду и хмельной напиток, все четверо засыпают на кошме. Шаманки несут их домой, по дороге один мальчик просыпается и кричит, «Возьми меня, молочное море-мать и скалистые горы-отец!» Волны хлынули на берег, девочка стала нерпой и уплыла, один мальчик стал белкой, убежал в горы. Оставшегося усыновила Хусыхан, назвала Эхирит. 2) Обратившись в пороза, Буха-нойон-бабай переплыл на южную сторону Байкала к Тайжи-хану бодаться с пестрым порозом. Ночами он становился человеком и приходил к дочери хана. Хан прогнал порозов. Буха-нойон вынул из утробы девицы ребенка, рогами бросил на северную сторону Байкала, победил соперника. Шаманка Асухан взяла мальчика, назвала Булагат, тот ходил играть с другим мальчиком, выходившим из вод Байкала. Шаманка Хусыхан сделала кушанье из своего молока, попросила Булагата дать его водяному мальчику, тот заснул. Хусыхан схватила его, назвала Эхирит. До этого его воспитывал налим, береговая щель служила ему колыбелью, поэтому налима называют его отцом, а щель — матерью. 3) От западного тенгрия был зачат серый пороз Хохо-буха, который сбил пестрого пороза из стада Тайжи-хана, затем переплыл Байкал и ушел от преследования хана. На конце стрелы он нашел мальчика Булган-хара. Шаманка Асухан усыновила его. Дочь хана забеременела, когда в щель юрты был виден свет солнца, положила ребенка в бочку и бросила в море. Бочка разбилась о берег. Булган-хара стал играть с мальчиком,

который из нее вышел. Асыхан попросила Булган-хара накормить друга, тот заснул на войлоке. Когда Асыхан его понесла, тот закричал, «Молочное море, спаси! Отец, небо, спаси!» Асыхан по пояс была втянута в воду, но вышла и назвала мальчика Эхирит. 4) Дочь Хун-Тайжи видит, как пришедший с юга Байкала сивый пороз бодается с пестрым. Она погнала сивого и забеременела. Родившегося ребенка спустила в ящике в море. Перешагнув бычье ярмо, снова забеременела, оставила ящик с мальчиком на морском берегу. Эти дети стали выходить из воды и играть с другими детьми. Бездетная шаманка Асухан оставила для них войлок и кушанья. Дети заснули на войлоке, она принесла их домой, назвала Булагат и Эхирит.

Жамбалова (2000: 191–192) дает сборную версию по различным источникам. «Согласно одному из вариантов», дочь Тайжи-хана сообщает о своей беременности Бохо-нойону. Тот таинственным образом вынимает из ее чрева близнецов, сажает себе на спину и переплывает Байкал. Одного из мальчиков не признает своим и помещает в береговую щель. Второго кладет в железную люльку, держит под грудью в специально вырытой яме, позволяя ему сосать свою шерсть. Шаманки Асуйхан и Хусыйхан получили мальчика, назвали его Булагат. Далее следует история с Эхиритом.

В еще одном варианте (Шаракшинова 1980: 114–130), Буха-нойон спустился на землю, где встретил Мэшэгэ-мэргэна. Тот выменял его волшебную лошадь на быка, которого Буха-нойон вскоре, рассердившись, убил. Сняв с убитого шкуру, он облачился в нее и, придя в стадо Тайжа-хана, вступил в единоборство с пестрым быком. Ханская дочь стала прогонять чужого быка, забеременела от его взгляда (или пены) и родила двух сыновей. По приказанию Тайжа-хана, новорожденных положили в люльки, привязали их к стрелам и выстрелили на юг. Одна упала у подножия Саян, другая — в Байкал. Детей нашли и усыновили две бездетные шаманки Асуйхан и Хусыхэн.

В варианте Тугутовых (Тугутов, Тугутов 1992: 139, 141) полученный шаманками от быка Булагат играет на берегу Байкала и знакомится с мальчиком, который говорит, что его отец — налим, а мать — береговая щель. Когда мальчик понял, что пойман, он стал звать на помощь Байкал, называя его отцом. Мальчика назвали Эхирит.

Главное, что объединяет булагат-эхиритские версии с американдейскими, — это мотив мальчика, который выходит из водоема играть с другим. Отец (у индейцев) или приемная мать (у бурят) сперва подозревает о существовании второго ребенка, обращая внимание на странности в поведении первого, затем прибегает к хитрости, чтобы поймать второго. У бурят нет единого мнения, являются ли оба мальчика сыновьями Буха-нойона, или же водный мальчик происходит от другого отца. Такого рода неопределенность тоже типична для индейских близнечных мифов. Бурятские версии сходны с индейскими и общей концепцией — речь идет о происхождении двух главных племенных первопредков, героев.

Западносибирские версии в жанровом отношении ближе к сказке, но центральный мотив есть и в них. У манси (Казакова 1994: 44–47; Лукина 1990, № 130: 338–339) речь идет о традиционной для обских угров фольклорной паре из положительной Мось-нэ, имеющей сына, и отрицательной Пор-нэ, имеющей Мальчика в Образе Пестрого Щенка. Пор-нэ затолкала ребенка Мось-нэ в бочку, спустила в воду. После этого мальчик-щенок уходит жить к Мось-нэ. Носит еду к землянке у реки, объясняя, что там живут старик и старушка, а их сын — его товарищ по играм. Это и есть уплывший в бочке сын Мось-нэ. Мальчик-щенок пытается его схватить, но тот вырывается. В следующий раз сама Мось-нэ насильно приводит сына к себе. Он соглашается жить у нее, а не с «отцом из землянки». Далее Мось-нэ благополучно выходит замуж, а Пор-нэ разрывают лошадьми. Щенок снимает с себя собачью одежду и делается красавцем.

В селькупской версии (Пелих 1972: 351–352) у вдовы две дочери. Волховка сватает одну за своего сына, но женщина не отдает. Умирая, она оставляет старшей дочери гребень, младшей — колечко, учит, что с ними делать. Сестры бегут, до селения добирается только старшая. Она выходит замуж и рожает, но при родах свекровь залепляет ей хлебом глаза и бросает ребенка в прорубь, а вместо него приносит щенка. То же происходит во второй раз, после чего свекровь велит мужу женщины оставить жену с щенками в лесу. Та жует колечко, возникает дом. Сыновья-собаки бегают к реке и рассказывают, как из проруби выходят два мальчика и играют с ними. У женщины болит нога, она просит собак отнести ее к проруби, выманить парней подальше от воды. Ее нога поправилась, она забирает сыновей, а когда приезжает ее муж, она ему все рассказывает. Тот разрывает мать конями, кочка на болоте — ее голова.

Ни булагат-эхиритские, ни западносибирские версии не содержат начального эпизода индейских мифов — гибели матери близнецов. Мотив ребенка, подмененного щенком, позволяет привлечь серию других сибирских и центральноазиатских текстов, в которых женщина искалечена, а ее ребенок выброшен в воду. В этих текстах нет противопоставления Выброшенного Домашнему, но мотив *выманивания из воды* — тот же, что и в рассмотренных мифах. Таковы в частности тексты прибайкальских эвенков. В одном из них (Воскобойников 1958: 104–107) старшая сестра выходит за Ворона, средняя за Сову, младшая за человека, обещает мужу родить сына с золотым затылком. Старшие сестры завидуют младшей, выбрасывают ее сына в реку, подкладывают щенка. Муж велит отрубить жене ногу. Мать сестер видит выходящего из реки мальчика с золотым затылком, приманивает его луком, ловит. Он вырастает, встречает мать, которая мучается от тяжелой работы. Отец узнает сына, прогоняет старших жен. В другом тексте (Воскобойников 1973, № 24: 111–114) трое сестер замужем за тремя мужчинами. Первая обещает сшить рукавицы, вторая — унты, третья родить золотого ребенка. Первые две подменяют ребенка щенком, ребенка бросают в реку. Муж отрубает жене ногу, руку, одну грудь, оставляет одну. Женщина видит выходящего из реки мальчика, подманивает его грудным молоком, хлебом, маленькими луками, оставляя их все дальше от берега. Когда хватает его, рыбы кричат, что кормили его икрой и печенью. Мать сперва отрицает, что у сына был отец, затем лжет, что он упал с лиственницы, наконец, говорит правду. Сын приходит к сестрам матери, рассказывает ее историю, счищает с себя грязь, из-под нее блестит золото. Его отец калечит злых сестер тем же способом, как раньше жену, возвращается к ней, она выздоравливает.

Подобные записи сделаны в Монголии (Беннигсен 1912: 44–55), Туве (Потанин 1883, № 84, 181: 341–348, 600–618), на Алтае (Кандаракова 1988: 125–127) и далее на запад. В Приморье много сходного в орочской версии (Аврорин, Лебедева 1966, № 13: 139–142), на Колыме — в юкагирской (Иохельсон 1900, № 17: 39–41). Вообще мотив новорожденного мальчика или нескольких детей, выброшенных (часто — в воду), а затем с трудом выманенных и пойманных, широко представлен как в Евразии, так и в Амазонии. Однако мотивы противопоставления Выброшенного Домашнему и наличия у Мальчика из реки некоего водяного отца наряду с земным отцом более специфичны и ограничены территориально.

Федра. Семь звездных братьев. Живая утопленница

Кроме перечисленных шести мотивов, в южносибирскую группу входят как минимум еще два, относительно которых мы ограничимся кратким указанием на источники. Мотив *Федры* (или *жены Потифара*, K2111) известен в Евразии от Средиземноморья через Иран (Грюнберг, Стеблин-Каменский 1981, № 2: 24–39), Индию (Penzer 1924–1928, vol. 2: 120–124, vol. 4: 104–107)[4] и Среднюю Азию (Брудный, Эшмамбетов 1989: 75–88; Розенфельд, Рычкова 1990, № 16: 74–78) до Бурятии (Тугутов, Тугутов 1992, № 13: 57–58). Женщина

ложно обвиняет юношу в посягательстве на нее и/или безуспешно предлагает ему себя, а ее муж верит ей или сам полагает, что виновен юноша. В Северной Америке мотив распространен в основном к востоку от континентального водораздела, начиная от атапасков бивер в канадской Альберте (Ridington 1988: 126–136) и до Юго-Востока США, где записан у туника (Haas 1950, № 4: 31–57; Swanton 1911: 321–322) и билокси (Dorsey, Swanton 1912, № 28: 99–107). Он знаком кри (Petitot 1886, № 1: 451–459; Ray, Stevens 1971: 112–120), оджибва (Radin 1914, № 14–15: 27–31), собственно алгонкинам (Spence 1985: 184–187), кикапу (Jones 1915, № 10: 75–89), степным кри (Bloomfield 1930, № 28: 268–279), наскапи (Speck 1915b, № 1: 70–74), монтанье (Desbarats 1969: 6–12), сенека (Curtin, Hewitt 1918, № 114: 543–555), черноногим (Clark 1966: 254–259), ассинибойн (Lowie 1909a, № 7a: 150–154), хидатса (Beckwith 1938: 81–91), санти (Riggs 1893: 139–143; Wallis 1923, № 17: 78–83), оглала (Wissler 1907, № 7: 196–199). На Северо-Западном побережье мотив зафиксирован у цимшиан (Boas 1916, № 30: 781–782) и хайда (Boas 1916: 783), обе версии явно восходят к одному источнику. На юге Плато мотив встречается у сахаптин — как западных (Farrand, Mayer 1917, № 9: 157–159), так и восточных (Phinney 1934: 163–165). Единственная южноамериканская версия записана в устье Ориноко (Roth 1915, № 197: 255–256). Мотив Федры в североамериканских текстах чаще всего служит завязкой сюжета, эпизоды которого обнаруживают параллели в тюркской эпике, в частности в сказаниях об Алпамыше (Жирмунский 1974). Это особая тема, которую мы не станем сейчас рассматривать.

Другой мотив — представление о Большой Медведице как о нескольких людях — семи братьях, царях, воинах и т.п. Он характерен для южносибирско-монгольского региона, Казахстана и Средней Азии, Северного Кавказа, Индии (Беннигсен 1912: 55–57; Брудный, Эшмамбетов 1989: 373–374; Никифоров 1915: 250; Потанин 1881: 125; 1883: 711–715; Gibbon 1964: 239–241), а в Америке — для индейцев Великих Равнин и прилегающих районов Среднего Запада, в частности виннебаго (Smith 1997: 28–30), сарси (Simms 1904: 181–182), черноногих (Fraser 1990: 55; Josselin de Jong 1914: 43–37; Knox 1923:401–403; Spence 1985: 182–184), ассинибойн (Lowie 1909a, № 21, 23b: 161–162, 177, 179–180), гровантр (Kroeber 1907b, № 27: 105–108), кроу (Lowie 1918: 126, 205–211, шейенов (Gibbon 1964: 237), арапахо (Dorsey, Kroeber 1903, № 105: 208–209), кайова (Gibbon 1964: 237; Parsons 1929, № 3: 9–11), команчей (Saint Clair 1909, № 18: 282), вичита (Dorsey 1904a, № 8–10: 63–80). В более северных областях Сибири и Северной Америки Большая Медведица есть лось (в Азии) или медведь (в Америке), преследуемый охотниками. С последними иногда отождествляются лишь звезды ручки ковша. В Южной Сибири — Центральной Азии *Космическая охота* тоже известна, но зверь ассоциируется там не с Большой Медведицей, а с Поясом Ориона («Три маралухи», «Три архара»). В северной Сибири мотив семи людей-звезд практически не встречается. Лишь у чукчей Большая Медведица есть шестеро пращников и лиса, грызущая оленьи рога (Богораз 1939: 25). Кетское название Кассиопеи или какого-то другого объекта (*Дејтыгын*) подозрительно напоминает тюркские *Иттыган, Титаган, Четтыкан* и т.п. («Семь ханов»), но не относится к Большой Медведице (Алексеенко 1976: 85–86). Именная часть ненецкого (*Со'ом*) не этимологизируется и, возможно, вообще не обозначает людей (Хомич 1976: 20).

Мотив *живая утопленница* связывает Евразию и центральные области Северной Америки, хотя в Южной Сибири, видимо, не известен. Чтобы устранить истинную жену, соперница сталкивает ее в воду и занимает ее место. Женщина не умирает на дне водоема, отве-

[4] Я признателен Я.В. Василькову, который помог отыскать индийские версии, не включенные в мой предыдущий обзор (Березкин 2000).

чает на зов, выходит нянчить младенца. Муж возвращает ее. Мотив использован в таджикской сказке на сюжет «Сестрицы Аленушки и братца Иванушки» (Амонов 1972: 50–58), а в Америке представлен на Великих Равнинах и в ареале Великих Озер у ассинибойн (Lowie 1909a, № 8b: 157), арапахо (Dorsey, Kroeber 1903, № 5: 8–12), осэдж (Dorsey 1904c, № 22: 26–27), вичита (Dorsey 1904a, № 17: 124–127), оджибва (Jones 1919, № 66, 67: 609–653; Spence 1985: 176–180), фокс (Jones 1907, № 8: 101–111). Он также известен на Юго-востоке у сиуязычных билокси (Dorsey, Swanton 1912, № 26: 79–81) . Версия вичита на юге Равнин лишена деталей, характерных для большинства более северных версий. Мотив лишь частично совпадает с мотивом *подмененной жены* (К1911). Последний распространен гораздо шире, но не включает случаи, когда ложная жена не принимает настоящей облик, а лишь устраняет ее.

ЗАПАДНОСИБИРСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Иные параллели с американскими мифологиями сконцентрированы в Западной Сибири. Соответствующие мотивы отсутствуют как в якутско-тунгусских, так и в тюрко-монгольских областях, но снова появляются на северо-востоке Азии и далее в Северной Америке.

Слепой охотник

Боас, как было сказано, полагал, что в случаях сплошного распространения достаточно сложного и специфического мотива возможность его независимого возникновения в отдельных частях ареала маловероятна. Едва ли не лучшим примером ему служила подборка текстов, содержащих историю слепого охотника (Boas 1940: 342, 441–442). В них жена, мать или бабка нацеливает стрелу слепого мужчины на дичь. Стрела поражает зверя, но женщина лжет, будто мужчина промахнулся, ест мясо одна. Многие американские версии содержат дополнительную подробность: птица (часто гагара) сажает охотника себе на спину и ныряет с ним, в результате чего он прозревает. Прозревший наказывает женщину.

Основная зона распространения этого мотива охватывает американскую Арктику, Субарктику и Северо-Западное побережье. У всех эксимосов от западной Аляски до Гренландии слепого юношу обманывает его мать или бабка, тогда как сестра тайком его кормит. Обретя зрение с помощью гагары, герой обычно загарпунивает кита и цепляет мать или бабку за линь, чтобы ее унесло в море (Меновщиков 1985, № 230: 445–449; Boas 1888: 625–627; 1901–1907, № 4: 168–171; Hall 1975, № PM56: 245–247; Hawkes 1916: 157–158; Holtved 1951, № 37: 152–165; Keithahn 1958: 76–79; Kroeber 1899, № 6: 169; Lucier 1958, № 11: 96–98; Norman 1990: 81–86; Nungak, Arima 1969: 51; Rasmussen 1930a: 77–80; 1930b: 108–109; 1931: 232–236; 1932: 204–205; Spencer 1959: 396–397). У северных атапасков и индейцев Северо-Западного побережья стрелу человека направляет его жена, добычей является не медведь, а олень или лось. Эпизод с гагарой — тот же. В конце муж либо просто оставляет, либо убивает жену. Подобные тексты записаны у кучин (Boas 1916: 827–828), танайна (Vaudrin 1969: 15–18), танана (Smelcer 1992: 113; 1993: 57), атна (Smelcer 1997: 37–39), верхних танана (Smelcer 1992: 113–114), хэа (Petitot 1886, № 32: 226–229), тутчоне (McClelland 1975: 78), талтан (Teit 1919–1921, № 34: 226–228), иак (Krauss 1982: 88–89; Smelcer 1993: 57–60), тлинкитов (De Laguna 1972: 888–889), хайда (Boas 1916: 826–827), цимшиан (Boas 1916, № 37: 246–250, 825–826), беллакула (McIlwraith 1948: 661–662), квакиутль (Boas 1910, № 33: 447–452), чилкотин (Farrand 1900, № 21: 35–36) и карьер (Boas 1916: 827). В одном из текстов тлинкитов (Swanton 1909, № 84: 243–245), у береговых

сэлишей залива Пьюджет-Саунд (Ballard 1929: 138–140) и далее в ареале Равнин у ассинибойн (Lowie 1909a, № 48: 204–205) есть эпизод с птицей, которая возвращает слепому или изуродованному человеку здоровье, ныряя с ним под воду, но не эпизод стрельбы по невидимой цели. Однако еще южнее у арапахо (Dorsey, Kroeber 1903, № 125–127: 282–287), южных юте (Lowie 1924, № 49: 78), айова (Skinner 1925, № 36: 496–497) и осэдж (Dorsey 1904c, № 26: 32) этот мотив появляется вновь, хотя зрение слепой возвращает не ныряя, а иным способом, а у осэдж о прозрении слепого вообще не говорится.

У эскимосов чугач на юге Аляски записан лишь эпизод с гагарой, возвращающей зрение мальчику (Birket-Smith 1953: 151). Если это обрывок более сложного мифа, тот должен был напоминать другие эскимосские тексты, поскольку в индейских, как было сказано, героем является не юноша, а взрослый мужчина.

Известна единственная южноамериканская версия, происходящая из южной Амазонии (пареси). Три жены слепого просят его стрелять в тапира, лгут, что он промахнулся, сами едят мясо. Племянники говорят охотнику правду. Он вызывает холод и дождь, жены умирают, превращаются в сов (Pereira 1987, № 163: 662–663).

Ни у палеоазиатов, ни даже на юго-западе Аляски мотив слепого охотника не зафиксирован. Однако он есть в Сибири у юкагиров, эвенов (ламутов) и хантов. Можно осторожно предположить, что до распространения тунгусов и якутов по Восточной Сибири данный мотив встречался от Оби до Колымы. От субстрата или соседей его унаследовали ламуты, чья мифология вообще более отлична от южносибирских, нежели эвенкийская. Ламутская (Новикова 1958: 72–73; 1987: 76–77) и юкагирские (Жуков, Чернецов 1994: 66–68; Николаева и др. 1989, ч. 2, № 48: 29–33) версии детально похожи. Как и везде за пределами Северной Америки, эпизода с возвращением зрения птицей в них нет.

Хантыйские версии *слепого охотника* отличаются от остальных тем, что в них протагонистом является не герой, а трикстер. В одном из вариантов (Пелих 1972: 376–377) старик катается с горы, откладывая свои глаза в сторону, старуха их прячет. Старик думает, что глаза склевали сороки. Старуха велит ему стрелять в лося, лжет, будто он промахнулся; сама ест мясо, говорит, что не жир шипит, а сырые дрова. Следует аналогичный эпизод с пойманной щукой. Старик строит новую избушку, прокапывает в нее ход, говорит, что к старухе приехал брат, сам изображает его. Старуха кормит мнимого брата, рассказывает о своих проделках. Мнимый брат советует не мучить мужа. Отъевшись, старик застревает в подземном ходе, старуха проталкивает его кочергой, возвращает глаза. Согласно другой версии (Лукина 1990, № 65: 189–191), жена замечает, как муж вытаскивает свои глаза, приговаривая «Сэмлек рэм-рэм-рэм». Далее примерно как в первом варианте. Из разговора жены мнимый брат узнает, что глаза спрятаны в сундуке. Он их находит и ругает жену.

Мнимый покойник

Эта история со слепым — один из эпизодов западносибирского трикстерского комплекса, имеющего развернутые параллели в Америке, но отсутствующего в Восточной Сибири, где с местным трикстером (Ивуль у эвенков) связаны совершенно иные эпизоды. Наиболее систематические палеоазиатско-американские аналогии демонстрирует мотив *мнимый покойник* (имитация смерти с целью есть в одиночестве, K1867), зафиксированный в близких версиях у западносибирских угров и самодийцев, юкагиров, палеоазиатов и далее на Аляске и на Северо-Западном побережье Северной Америки. Вот резюме соответствующих текстов.

Ненцы (Васильев 1992: 5–6; Куприянова 1960, № 13: 98–99; Лар 2001: 273–277). Еомпу (Лмпу, Лмбо) говорит матери, жене или бабке, что умирает, просит оставить для него

туесок с икрой. Позже брат или приемный сын Лмпу видит, как мнимый покойник ест икру. Он кричит, что идут медведи или черт, Лмпу выскакивает.

Энцы (Поротова 1982: 149–150). Дла приплывает к чуму, где живут старушка и мальчик Бунля. Старушка приглашает его жить у них. Дла притворяется умирающим, старушка зовет шамана. Дла вскакивает, убивает шамана, забирает его одежду. Снова притворяется мертвым, в могилу ему кладут лососевую икру. Бунля сообщает старушке, что Дла смеется и ест икру, та не верит. Бунля кричит, что идут медведи есть покойника, Дла выскакивает из могилы.

Ханты (Лукина 1990, № 31: 125–127). Ими-хиты, или Альвали говорит тетке, что умирает, просит положить его под лодку с сетью, топором, котлом. Та приезжает, видит мокрую сеть, разведенный огонь, думает, что чужие воспользовались дарами. Дядя трикстера (его ипостась — медведь) сообщает тетке, что племянник ее обманывает, учит, что делать. Тетка делает вид, что на нее нападает медведь, племянник выскакивает, Медведь бьет ее, тетка их разнимает, устраивает пир.

Северные манси (Куприянова 1960: 92). Эква-пыгрись живет с бабкой, обещает умереть в такой-то день. Бабка хоронит его у рыбьего запора. Однажды навещает, плачет. Внук хватает ее платок, возвращается с ней домой.

Кеты (Дульзон 1966, № 12: 39). Каскет притворяется умирающим, просит свою бабушку похоронить его на другом берегу реки. Приехав на могилу, бабушка видит, что его губы «красные как икра». Оказывается, что Каскет жив. Теперь, якобы, умирает бабушка, Каскет бросает ее в реку. Течение приносит ее в рыбную курью. Разные рыбы предлагают ей вытолкнуть ее на берег. Она сначала отказывается, а когда рыбы скопилось много, бьет ее, возвращается в свой чум, сообщает Каскету, что она ожила.

Селькупская версия сюжета не записана — видимо, потому, что фольклор селькупов вообщен изучен хуже, чем обско-угорский и кетский. Возможно, что началу сюжета здесь соответствует история о ленивом сыне старика и старухи, который готов быть похороненным, только бы не работать (Дульзон 1966, № 48: 31)[5]. Сюжет, однако, явно отсутствует у якутов и эвенков, по фольклору которых источники достаточно представительны. У юкагиров сюжет появляется снова, хотя не ясно, остался ли он здесь со времени предполагаемого урало-юкагирского языкового единства или — в существующей форме по крайней мере — заимствован от чукчей или коряков.

Юкагиры (Bogoras 1918, № 4: 48–49). Старик притворяется умирающим, велит жене отвезти его труп в покинутый дом, оставить там вместе с имуществом. Когда старуха везет труп, она перепрыгивает через ручей и издает неприличный звук. Муж смеется, ее сын обращает на это внимание, но старуха не верит. Через несколько дней мальчик видит дым над покинутым домом, старуха заглядывает туда и видит, как муж ест жирного лося. Она ощипывает куропатку, оставляя крылья, велит ей лететь, исцарапать мужа когтями. Тот в страхе бежит домой. Жена бьет его, затем они едят вместе.

Чукчи (Bogoras 1902, № 10: 648). Ворон делает вид, что умер. Его жена Мити везет труп на нарте к предназначенной для погребения землянке, по дороге пускает ветер. Ворон смеется, сын замечает это, говорит матери, та упрекает мальчика, оставляет на могиле мешки с мясом и жиром. Лиса замечает, как Ворон готовит еду (или просто видит дым), сообщает об этом Мити. Та отрезает себе одну грудь, пришивает вместо нее ощипанную куропатку, сваливается на Ворона через дымовое отверстие. Тот пугается, возвращается домой.

Коряки — карагинский диалект (Жукова 1988, № 38: 143–145). Большой Ворон (Кут-

[5] На этот текст указала мне Е.С. Новик.

кыняку) притворяется умирающим, просит Мити оставить на могиле толкушу, ступку, жир, дрова. Вылезает из могилы, ест толченое мясо с жиром, при приближении сыновей залезает в могилу назад. В облике ворона прилетает есть вяленое мясо. Сыновья узнают его, вносят все мясо в дом, Куткыняку со стыдом возвращается.

Береговые коряки (Jochelson 1908, № 65: 224). Большой Ворон (Кикинняку) запрягает в нарты мышей, приезжает к оленным людям. Те, смеясь, нагружают на нарту много мяса. Неожиданно для них Кикинняку уезжает с поклажей. Дома притворяется умирающим, просит сыновей не сжигать труп, а оставить с провизией в пустой землянке. Сыновья обнаруживают, что там он ест в одиночестве. Его жена ощипывает куропатку, отрезает себе груди, привязывает их к куропатке, показывает ее мужу. Тот перепуган, возвращается к жене.

Алюторцы (Кибрик и др., 2000, № 2: 21–24). Куткинняку притворяется умирающим, велит Мити не закапывать его, а оставить в старой землянке со всем имуществом. Ставит петли, готовит и ест один зайцев и куропаток. Мити посылает сыновей навестить отца. Те дважды видят его живого, каждый раз он пытается притвориться мертвым. Мити приходит бить мужа, они мирятся, возвращаются домой.

Ительмены, три варианта (Меновщиков 1974, № 167–169: 508–512). Ворон (Кутх) говорит, что умрет, велит Мити положить на могилу еду, уходить, не оглядываясь. Съев все запасы, делает вид, что вернулся с того света назад. В одном случае его дочь Синаневт замечает, что покойник смеется, но ей не верят. Затем она видит в могиле огонь.

Чаплинские эскимосы, Чукотка, четыре варианта (Козлов 1956: 190; Меновщиков 1985, № 33, 34, 101: 76–78, 244–245). Охотник притворяется умирающим, просит похоронить его с сетью. Песец или куропатка рассказывает его жене, что ее муж ловит рыбу и ест один. Жена забрасывает в землянку мужа привязанную к ремню деревянную ворону или ощипанную куропатку. Тот пугается, выходит, возвращается к жене и дочерям. В одной из версий трикстера зовут Эмемкут, в других — Кукылын, его жену — Мити. В одном случае она сама становится куропаткой и влетает в могилу.

У американских эскимосов данный мотив отсутствует, поэтому весьма вероятно, что азиатские заимствовали его у палеоазиатов. На Аляске мотив вновь появляется у атапасков коюкон и танайна.

Коюкон (Jettй 1908–1909: 363–364). Ворон притворяется умирающим, просит своих племянников оставить его, позже прислать на это место двух его жен. Поедает спрятанные племянниками запасы мяса, возвращается домой с женами. В другом тексте (De Laguna 1995, № 37: 266) Ворон притворяется мертвым, чтобы узнать, что станут делать другие. По его желанию, другие бьют недоверчивых или говорящих о покойнике плохо. Женщины плачут и царапают себя (происхождение погребального плача?).

Танайна (Rooth 1971: 189, 208, 235). Ворон влетает в кита, убивает его изнутри, кита прибивает к берегу. Ворон говорит людям, что кита опасно есть, советует откочевать. Притворяется умирающим, велит оставить его одного, рядом положить снегоступы. Поедает кита в одиночку.

Тлинкиты (Boas 1895, № XXV/1: 315). Йетль (Ворон) и Кинцино приходят в селение, где много рыбьего жира. Йетль делает вид, что умирает, велит Кинцино сказать людям, что те должны покинуть селение, не взяв с собой жир. Кинцино кладет Йетля в гроб, крепко завязывает, сам поедает жир. Когда Йетль разбивает гроб, весь жир уже съеден.

Цимшиан (Boas 1916, № 17: 72–73). Ворон превращает кусок гнилой ивы в раба, велит тому сказать людям, что пришел великий вождь. Делает вид, будто ему в ухо пролился рыбий жир и поэтому он умирает. Раб отсылает людей, кладет Ворона в гроб, крепко завязывает, сам ест лучшую треску. Потом освобождает Ворона, оба наедаются вволю.

Квакиутль, два варианта (Boas 1910, № 12: 135–141; 1916, № 40: 707). Норка притворяется умирающим, отвергает все способы погребения, просит оставить его гроб на островке. Девушки обнаруживают, что он там жадно ест лососевую икру. Норка объясняет, что ожил, благодаря своей колдовской силе.

Береговые сэлиши, пограничная с квакиутль группа комокс (Boas 1895, № 4: 73–74). Норка притворяется, будто умер, однако продолжает говорить, отвергая несколько способов захоронения. Просит оставить его гроб на островке. Жена Норки выходит за Енота. Норка просит лососей подплыть поближе, убивает их, ложится спать. Волк уносит лососей, мажет ими Норку по губам, чтобы тот думал, будто сам съел их. Боас кратко упоминает еще одну сэлишскую версию (чехалис?), героем которой также является Норка (Boas 1916: 707).

В сибирских текстах данной серии есть подробность, которая отсутствует в пересказанных выше индейских, но снова появляется за пределами Аляски и Северо-Западного побережья в тех рассказах, где речь идет об имитации трикстером смерти с целью жениться на родственнице — как правило, дочери. Подобный мотив чрезвычайно популярен в Северной Америке, особенно в пределах Великих Равнин, Калифорнии, Большого Бассейна и Юго-Запада (Березкин 2001b: 341, рис. 41). Во всех этих случаях бегство мнимого покойника с места погребения или следы жизни на могиле первым обнаруживает мальчик — сын или младший брат трикстера.

Другие трикстерские эпизоды

Важные параллели в фольклоре индейцев обнаруживает энецкая серия трикстерских мотивов, с которой сходна хуже известная нганасанская. У энцев протагонистом является Дла (Поротова 1982: 149–158). Наряду с уже пересказанной историей с имитацией смерти, она включает ряд других эпизодов, описания которых начинаются и заканчиваются словами типа «Вот какой Дла» или «После этого Дла пошел туда-то». Отдельные рассказы не имеют точно установленной последовательности. Центральная фигура в них — это «истинный» трикстер, одновременно сильный и слабый, умный и глупый, «свой» и «чужой». У ненцев сходные эпизоды циклизируются вокруг Лмбу (Лар 2001: 273–277). Подобные трикстерские циклы в наибольшей степени характерны для Камчатки — Чукотки — Северо-Западного побережья Северной Америки и далее для основной территории США от Среднего Запада до Тихого океана. Антропоморфность западносибирского трикстера делает его особенно похожим на соответствующих персонажей у алгонкинов, хотя трудно сказать, насколько существенна эта черта. Важнее другие признаки, отмеченные В.Н. Топоровым (1982: 1984) на примере кетского Каскета. Подобно многим американдейском трикстерам, соответствующие западносибирские персонажи не имеют родителей и родственников, не являются ни противниками, ни друзьями людей. Правда Топоров рассматривал кетского трикстера как персонажа пары «Каскет — Тотаболь», в которой удачливый Каскет противопоставлен глупому неудачнику. Противопоставление неудачнику, однако, типично не для трикстера, а для героя. Трикстер, — в том числе и западносибирский — чаще действует в одиночку, совмещая «полярные свойства обоих братьев-близнецов» (Абрамян 1983: 166).

Отметим несколько характерных трикстерских эпизодов, известных преимущественно в Америке и северо-восточной Азии, отсутствуюших в Восточной Сибири и вновь появляющихся в Западной.

Наперегонки с валуном. Персонаж соглашается бежать наперегонки с тем, кто не умеет, как ему кажется, бегать (пень, валун, огонь). Это редкий мотив, представленный почти

исключительно в Новом Свете. У центральных и восточных алгонкинов, индейцев центральных районов горного Перу и патагонцев камень в результате давит трикстера либо (в Перу) огонь сжигает его. В Западной Сибири у энцев Дла просит у бабки хорошую одежду, надевает ее на пень и предлагает ему бежать наперегонки. Пень убегает, унося одежду (Поротова 1982: 151–152, 156–158). История с одеждой связывает энецкий миф с другой серией характерных для Северной Америки эпизодов, в которых трикстер дарит скале свою накидку, а затем забирает ее назад, после чего скала начинает его преследовать.

Неумелое подражание. Персонаж видит, как другие действуют с помощью магии или приемов, отвечающих их природе. Он подражает их действиям, но терпит фиаско. У североамериканских индейцев, а также у азиатских эскимосов, юкагиров, орочей и удегейцев персонаж ходит в гости и поражен тем, как хозяева добывают еду. Позвав их к себе, безуспешно пытается повторить их действия (Березкин 2001b, рис. 24). У ненцев (Куприянова 1960, № 11: 81–86) лыжник-остяк сует руку в прорубь, вытаскивает на каждом пальце по осетру. Разделяется пополам, обходя дерево. Оставляет по дороге руки и ноги. Вешает лыжи на травинку, лыжи сами входят в чум, олень сам свежуется. На голове отца лыжника сидит орел, на голове матери — ястреб. Мать будит отца, пырнув его ножом. Остяк входит в рот отца, выходит изо рта матери. Ехэна Хоба все это видит. Его брат-дурачок просит взять его с собой. Подражая остяку, пытается отрезать себе руку и ногу. Позвав остяка в гости, велит жене сделать вид, что та ударяет его ножом. Велит лыжам двигаться, но это остяк заставляет их войти. Пытается войти в рот отца, рвет ему рот. Пурга уносит чум дурака.

Свежеватели туши. Небольшое животное (не хищник) обманом убивает копытного зверя, как правило, залезая ему в зад и отрезая сердце. Просит другого снять шкуру или ищет нож, чтобы это сделать. Другое животное свежует тушу или дает нож, но забирает или пытается забрать мясо себе. В Северной Америке мотив популярен на западе от Плато до Юго-Запада, на востоке известен только катавба. У ненцев (Воскобойников, Меновщиков 1951: 87–88; Сенкевич 1935: 68; Тонков 1936: 201–203) Олень и Мышь решают играть в прятки. Мышь находит Оленя по рогам. Олень не находит Мышь, глотает с травой. Та прогрызает ему живот, просит Ворона снять шкуру. Ворон лишь клюет глаза. Мышь ложится спать, велит другим зверям снять шкуру, оставить ей жир. Те оставили только рога и копыта.

Отложенные глаза. Персонаж вынимает свои глаза и откладывает на время в сторону. Другой их уничтожает или уносит. Потерявший глаза возвращает их или же добывает новые. Мотив известен корякам, керекам, ительменам, азиатским эскимосам. В Новом Свете он встречается в основном на севере Северной Америке, а также в Гвиане и в восточном Эквадоре. В Западной Сибири он содержится в уже упомянутых в связи с мотивом *слепого охотника* текстах хантов.

Мнимый младенец. Персонаж превращается в младенца, затем принимает свой истинный облик и похищает ценности. В Америке в ареале Плато и в сопредельном районе Большого Бассейна Койот превращается в деревяшку и подобран женщинами, которые держат в запруде лососей. Затем он становится младенцем, усыновлен женщинами, выпускает лососей. В мифе миштеков южной Мексики Создатель в образе младенца проникает к женщине, чтобы добыть клубок нитей «измерить мир» (Solano González, Ramírez Castañeda 1985: 172–177). На Аляске и на Северо-Западном побережье Ворон превращается не в младенца, а в мусоринку, хвоинку, которую глотает дочь того, кто спрятал солнце. Рожденный ею младенец снова становится Вороном, уносит солнце и выпускает его. В одном из текстов юпик (Krenov 1951: 193–195) Ворон, однако, сперва становится щепкой и затем младенцем — без повторного рождения. Этот вариант связывает оба цикла — Ворона (похи-

щение солнца) и Койота (похищение рыбы). У ненцев, энцев и нганасан (Лар 2001: 275; Поротова 1980: 21–24; 1982: 153–154) Дла (нганасанский Дяйку, ненецкий Лмбу) превращается в младенца и внушает старушке веру в то, что она родила ребенка. Позже просит мужа старушки забить лучшего или единственного оленя, положить мясо в лодку. Уплывая со всеми запасами, кричит приемным родителям, что он не их сын, а Дла (Дяйку, Лмбу). Этот же сюжет есть у долган (Ефремов 2000, № 17: 277–279), где трикстера зовут Лаайку и он именуется «одиноким псом» (параллель с индейским Койотом??). Правда здесь он не увозит запасы, а просто уплывает от стариков. Якутские или эвенкийские тексты подобного рода мне не известны, и похоже, что у долган речь идет именно об аборигенной, таймырской составляющей их фольклора.

Медведица и Олениха

Хотя не все западносибирско-американские параллели можно классифицировать как трикстерские проделки, они в любом случае не относятся к числу героических мифов. Перед нами другой набор мотивов, нежели в Южной Сибири. Примером западносибирско-американских аналогий за пределами трикстерского комплекса служит мотив *Медведица и Олениха*, в Северной Америке представленный в регионах Плато, Калифорнии, Большого Бассейна и Юго-Запада. Рассказывается о двух женщинах, которые живут вместе и имеют детей. Одна обычно ассоциируется с медведицей (реже с иным хищником), другая — с травоядным животным (часто с оленихой) или с более слабым хищником. Первая выходит с подругой из дома, убивает и съедает ее, рассуждает со своими детьми о том, как умертвить и когда съесть детей убитой. Те обнаруживают останки матери и мстят, обманом убивая детей убийцы, либо только спасаются бегством.

В Западной Сибири мотив представлен у обских угров, ненцев, селькупов, кетов и нганасанов. Во всех случаях после описываемой серии эпизодов следуют другие, которые нас сейчас не интересуют.

У северных манси (Куприянова 1960: 109–112; Лукина 1990, № 128: 334–336) Мось-нэ и Пор-нэ живут вместе, у обеих по двое детей — девочка и мальчик. Следует иметь в виду, что имена персонажей связаны с характерным для обских угров делением на две фратрии — пор и мось. Предком пор считался медведь, предком мось — заяц или гусыня (Мифология хантов 2000: 203–204). Итак, Пор-нэ зовет Мось-нэ рвать траву для стелек, предлагает покататься с горы, убивает, проехав по спине Мось-нэ железными лыжами. Дети убитой находят в траве кишки матери, бегут к ее сестре. Пор-нэ велит «другой Пор-нэ» убить детей Мось-нэ, но та (случайно?) убивает детей самой Пор-нэ. Дети Мось-нэ бегут.

В мифе хантов, известном в двух версиях (Лукина 1990, № 28: 101–104; Пелих 1972: 367–368) Лиса и Зайчиха (ассоциация с фратрией мось) живут вместе, у обеих дети. Обе идут рвать кудель. Лиса предлагает кататься с горы на санках, ломает Зайчихе хребет. Сын и дочь убитой видят, как Лиса кормит мясом их матери своих детей и предлагает съесть детей Зайчихи. Как и в мансийской версии, те убегают, причем подросшая девочка в дальнейшем именуется *женщина Мось*.

Секлькупский миф от хантыйского практически не отличается (Пелих 1972: 367–368). В кетском (Алексеенко 2001, № 133: 240–244; Дульзон 1972, № 75: 83–86) двоюродные братья живут вместе, один женат на женщине, имеет двух дочерей, второй на кулмасам (ведьме), имеет одну дочь. Колмасам зовет подругу заготавливать кору жимолости для стелек, напрашивается искать насекомых у нее в голове, вонзает в ухо прутик, везет труп на нарте. Старшая дочь убитой замечает ноги матери, понимает, что колмасам ест ее. Колмасам обещает своей дочери съесть и детей убитой. Те кладут на крышу землянки ровдужное

покрывало с проткнутыми отверстиями. Колмасам думает, что видит звезды, и выходит лишь в полдень. Спрашивает у разных предметов, куда направились беглецы, клейница ей рассказывыает. Старик перевозит детей женщины через реку на жерди, велит внукам опрокинуть жердь, когда переправляется колмасам. Она тонет.

В мифе нганасанов (Поротова 1980: 13–19) у людоедки и у женщины по две дочки. Людоедка ведет женщину за тальником, просит наклониться над водой, отрезает ей голову. Дома дочери убитой слышат, как людоедка обещает своим дочерям, что она сама будет есть взрослый мозг, а они — детский. Девочки оставляют вместо себя набитые хворостом одеяла, убегают, бросают позади себя украшения матери, создавая гору и озеро. Старичок перевозит их в лодке через реку, топит преследовательницу.

В мифе ненцев (Головнев 1995: 475–476) Парнэ и Ненэй-не идут рвать траву на стельки. Парнэ царапает Ненэй-не лицо, сует головой в воду и убивает. Дочь Ненэй-не успокаивает младшего брата, но сама слышит, как дети Парнэ просят мать дать им почки. Та отвечает, что завтра они получат мясо детей Ненэй-не. Те оставляют вместо себя на постели набитые золой сапоги матери и убегают. Девочка бросает доску для кройки шкур, железный скребок и огниво, предметы превращаются в горы. Дети просят старуху переправить их через реку, хвалят ее лицо и осанку. Та посылает за ними лодку. Парнэ ругает внешность старухи, сын старухи опрокидывает лодку, Парнэ тонет.

Чтобы оценить степень сходства западносибирских мифов с американдейскими, приведем лишь пару примеров. У кламат (макро-семья пенути) на юге Плато женщина-Гризли и Антилопа живут вместе, у каждой по двое сыновей. Обе ходят копать коренья. Гризли говорит Антилопе, будто у той в волосах насекомые, напрашивается их искать, раскусывает семена, чтобы произвести характерный звук, перегрызает ей шею. Дома предлагает сыновьям Антилопы съесть мясо матери. Те душат сыновей Гризли дымом, оставляют их раскрашенные трупы стоять, будто они смеются. Убегая, забывают предупредить шило не говорить Гризли, что они убежали. У реки Журавль протягивает ногу как мост, дети Антилопы по нему переходят на другой берег. Когда перейти реку пытается Гризли, Журавль сталкивает ее в воду (Barker 1963, № 1: 7–13; Gatschet 1890: 118–123). В мифе като (атапаски северной Калифорнии) Медведица и Олениха — старшая и младшая жены Сойки, обе ходят за клевером. Медведица напрашивается искать у Оленихи в голове, подбрасывает ей в волосы песчинки и грызет их, производя характерный звук, затем ломает Оленихе шею. Сын и дочь убитой находят в корзине с клевером глаза матери, предлагают медвежатам залезть в пустую колоду, пекут их там, дают мясо Медведице, говоря, что это скунсы. Убегают, просят Цаплю протянуть свою шею через ручей, переходят на другой берег. Когда переходит Медведица, Цапля стряхивает ее в воду и топит (Goddard 1909, № 17: 221–222).

В Северной Америке подобные мифы встречаются в пределах компактной области на западе континента и не имеют никаких параллелей ни к востоку от континентального водораздела, ни на севере. Кроме кламат и като, они записаны у различных групп сэлишей, включая шусвап (Teit 1909, № 21, 62: 681–683, 753), томпсон (Teit 1898, № XXII: 69–71), лиллуэт (Teit 1912, № 19: 322–323), комокс (Boas 1895, № 9: 81), снохомиш (Haeberlin 1924, № 31: 422–425), скагит (Hilbert 1985: 130–136), верхних чехалис (Adamson 1934: 43–46), коулиц (Adamson 1934: 211–213), у многих индейцев, чьи языки предположительно объединены в макро-семью пенути, включая клакамас (Jacobs 1958, № 15: 141–156), катламет (Boas 1901, № 15: 118–128), кус (Jacobs 1940, № 13: 152–155), калапуя (Jacobs 1945: 115–119, 360–363), такельма (Sapir 1909, № 13: 117–123), винту (DuBois, Demetracopoulou 1931, № 36: 352–354), мивок (Gifford 1917, № 2, 13: 286–292, 333–334; Kroeber 1907a, № 10: 203–204; Merriam 1993: 103–109, 111–112), майду (Dixon 1902, № 9: 79–83) и нисенан (Uldall,

Shipley 1966, № 2: 21–25), у других — помимо като — атапасков Калифорнии, включая лассик (Goddard 1906, № 2: 135–136) и синкион (Kroeber 1919, № 11: 349, 351), у представителей ряда языковых групп, условно объединяемых в макро-семью хока, включая яна (Sapir 1910, № 24: 207–208) и помо (Barrett 1933, № 87–90: 327–354; Oswalt 1964, № 5: 57–65), а также у некоторых юто-ацтеков ветвей нума и така, включая моно (Gifford 1923, № 23: 357–359), северных шошони (Lowie 1909b, № 9: 253–254), госиюте (Smith 1993: 37–38) и серрано (Benedict 1926, № 16: 15–16). В ареале пуэбло подобные тексты отмечены в его восточной половине, а именно у керес в Лагуна (Boas 1928: 274; Parsons 1931: 137), тива в Ислета (Parsons 1932, № 16: 403–404) и тева в Сан-Хуан и Таос (Espinosa 1936, № 30: 97; Parsons 1926, № 60: 155–157; 1940, № 52: 109–111). Близкие варианты записаны также у квакиутль (Boas 1895, № 14: 168) и тюбатулабаль (Voegelin 1935, № 14: 211–213).

Южноамериканские версии из Чако напоминают североамериканские, но убийцей и жертвой там обычно бывают персонажи мужского пола — Ягуар, Гривистый Волк и Олень. Такие мифы записаны у чамакоко (Wilbert, Simoneau 1987, № 101–103: 403–418) и матако (Calnfano 1974: 49; Wilbert, Simoneau 1982, № 2–4: 38–44). У северокалифорнийских шаста (Dixon 1910, № 26: 30–31; Farrand 1915, № 11: 220–221) антагонист и протагонист тоже не женщины, а мужчины (Койот и Енот).

Инцест сиблингов

Некоторые параллели, связывающие Западную Сибирь, северо-восток Азии и северо-запад Америки, включают также Нижний Амур — Приморье, причем зафиксированы там не у нанайцев, теснее других связанных с маньчжурами, а у ульчей и особенно удэгейцев и орочей. Речь идет о сюжете инцеста брата с сестрой, включающего некоторые специфические эпизоды.

Трагический инцест. Брат и сестра вступают в брак. Когда рожденные в нем дети узнают о своем происхождении, они убивают родителей, либо отец убивает детей, либо родители сами кончают самоубийством. Манси: сестра притворяется другой женщиной, брат убивает ее и сына (Лукина 1990, № 124: 327–332). Удэгейцы: сестра ставит юрту поодаль, притворяется другой женщиной, брат убивает сестру, выбрасывает в тайгу сына и дочь (Арсеньев 1995: 166–167). Орочи: как у удэгейцев (Арсеньев 1995: 167–169), либо сын отправляет родителей в море в лодке без весел (Маргаритов 1888: 28–29). Ульчи: брат и сестра сперва не знают о своем родстве; сын, затем дочь и родители превращаются в злых духов (Смоляк 1991: 78–79). Марково: сестра ставит юрту поодаль, притворяется другой женщиной, брат убивает сестру (Bogoras 1918, № 7: 131–132). Лиллуэт, береговые сэлиши, квилеут: девушка пачкает углем неизвестного любовника, опознает брата, они убегают вместе; когда сын догадывается об инцесте родителей, те сжигают себя (Andrade 1931, № 56: 165–171; Boas 1895, № 4: 37–40; Teit 1912, № 34: 340).

Хитрость сестры. Сестра с братом живут одни. Брат не соглашается на инцест. Сестра идет на хитрость, вследствие которой брат принимает ее за незнакомую девушку, женится. Манси: брат делает себе куклу из дерева, сестра уничтожает ее, уверяет брата, что она — ожившая кукла, рожает от него сына (Лукина 1990, № 123: 326–327). Удэгейцы, орочи, Марково — см. *трагический инцест.* Чукчи: люди вымирают, остаются брат и сестра; сестра ставит чум поодаль, притворяется другой женщиной, потомки сиблингов вновь населяют страну (Bogoras 1928, № 11: 312–316).

Дж. Бирхорст, автор популярных обзоров мифологий Нового Света (по широте охвата никакие другие не идут с ними в сравнение), писал, что мотивы *ныряльщика*, *потопа*, *похищения огня* и *Орфея* были принесены из Азии, а остальные — видимо, нет (Bierhorst 1985: 7–14). С этим трудно согласиться — американский фольклор связан с евразийским множеством ниточек, образующих сложно переплетенный, запутанный клубок. Мы остановили свой выбор на мало или вовсе не замеченных параллелях. Что же касается таких мотивов как *ныряльщик* (Earth-Diver), а также *космическая охота* (Cosmic Hunt) или же *магическое бегство* (Obstacle Flight), которые уже привлекали внимание известных фольклористов, то конфигурация их ареалов, безусловно, соответствует гипотезе прихода индейцев в Америку через Берингию. Однако их слишком широкая распространенность в Сибири затрудняет выявление подробностей. Приведенные же материалы позволяют взглянуть на проблему более детально.

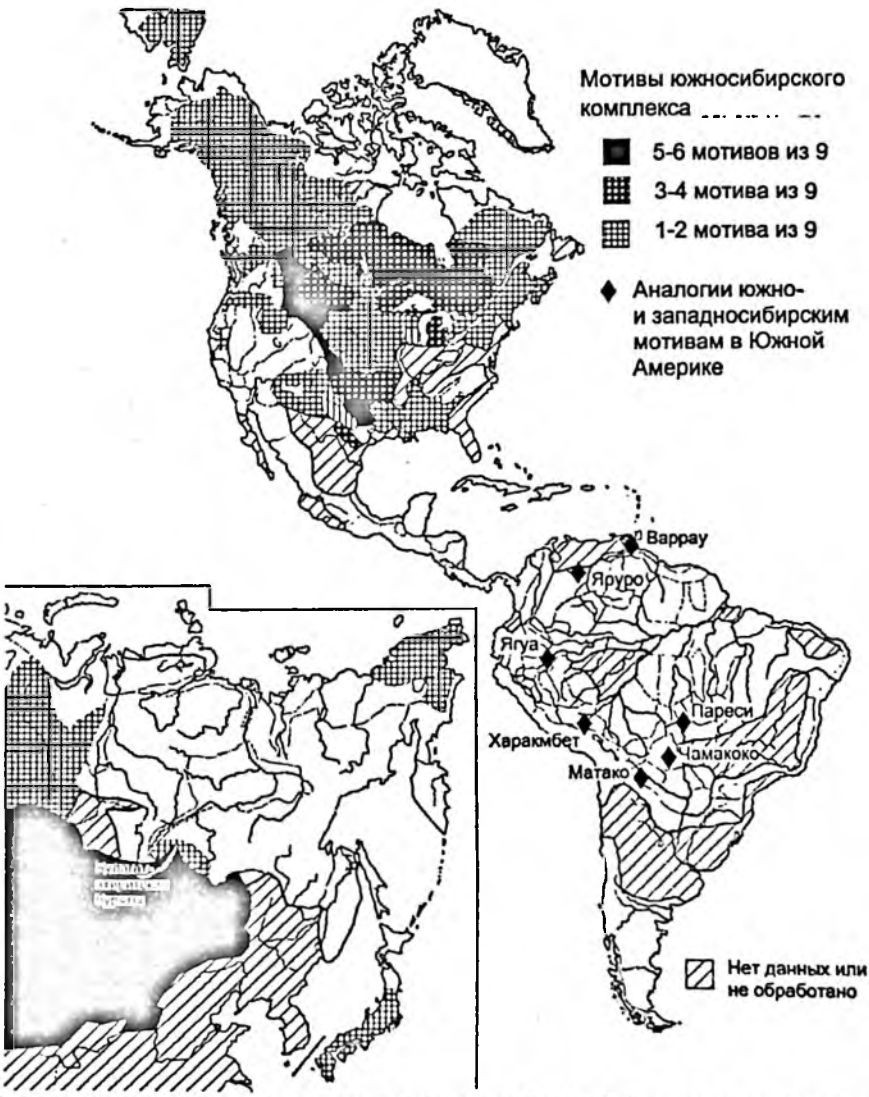


Рис. 1. Мотивы южносибирского комплекса в Азии и в Северной Америке. 1. 5–6 мотивов из 9. 2. 3–4 мотива из 9. 3. 1–2 мотива из 9. 4. Только мотив *Яркое созвездие — семеро людей*. 5. Аналогии южно- и западносибирским (см. рис. 2) мотивам в Южной Америке.

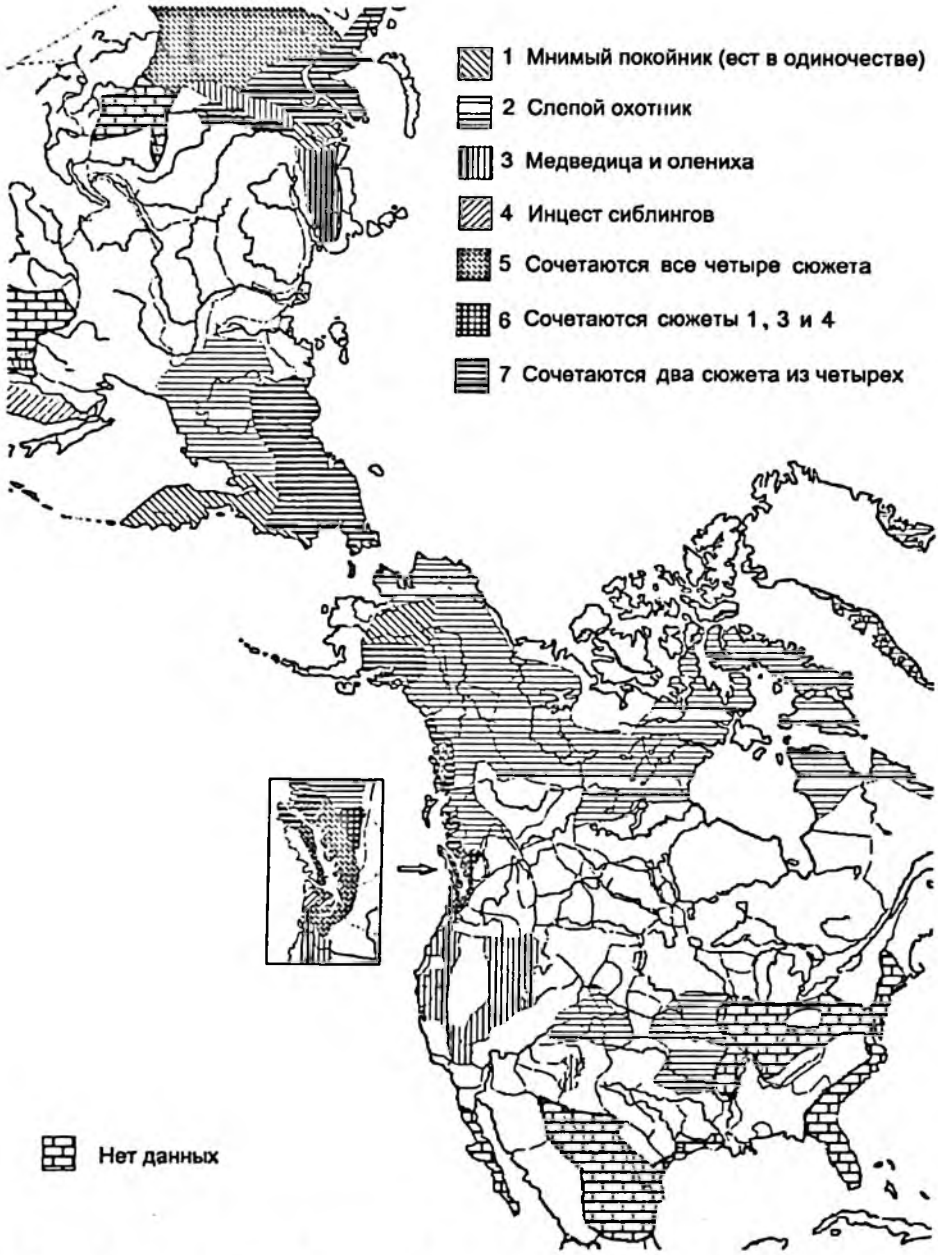


Рис. 2. Сюжеты западносибирского комплекса в Азии и в Северной Америке. 1. Мнимый покойник (имитация смерти с целью есть в одиночестве). 2. Слепой охотник. 3. Медведица и Олениха. 4. Инцест сиблингов. 5. Сочетаются все четыре сюжета. 6. Сочетаются сюжеты 1, 3 и 4. 7. Сочетаются два сюжета из четырех.

Все «южносибирские» мотивы указывают на общие черты в мифологии двух — и только двух — регионов мира: внутренней Азии (и в частности Южной Сибири) и Северной Америки к востоку от Скалистых Гор, особенно севера Великих Равнин. Это видно на карте-схеме (рис. 1), где область с максимальным числом параллелей залита черным цветом. По мере удаления от нее число параллелей сокращается сперва до трех-четырех, затем до одной-двух.

Сибирские мифологии насыщены индийскими, иранскими и ближневосточными мо-

тивами, проникавшими сюда через согдийских проповедников-манихейцев (Кызласов 2001), равно как и другими путями (Евсюков 1987; Новикова 1992; Сагалаев 1984; Torgorov 1989). Некоторые сказочные мотивы вообще представлены в Евразии столь широко, что об ареале и времени их *первоначального* бытования судить решительно невозможно. Южная Сибирь — Монголия могли быть здесь как донором, так и реципиентом. К 19–20 векам этот регион выделялся главным образом тем, что волшебная сказка еще сохраняла там тесную связь с актуальными мифологическими представлениями. Поэтому, говоря об области концентрации американских аналогий, осторожнее указывать не на Прибайкалье или Алтай, а на аридный пояс Евразии в целом. В данную зону, однако, не входят ни Восточная Азия (во всяком случае Япония и российский Дальний Восток), ни Якутия, Колыма и Чукотка.

«Южносибирские» мотивы отличаются сходной типологией персонажей. Протагонисты принадлежат к числу героев, племенных прародителей. Исключение составляет мотив *бегство из пещеры хозяина стад*, в американских вариантах которого протагонист носит имя популярного трикстера. Однако и в этих эпизодах речь идет не о трикстерской проделке, а о важнейшем культурном деянии — освобождении бизонов. Вся эта серия мифов сходна и тем, что во многих версиях действуют Гром, Громовая или иная могучая птица и противостоящее ей — или каким-то образом с нею связанное — водное змееобразное чудовище. Мотив *змей угрожает птенцам* в одних и тех же азиатских сказках сочетается как с мотивом *птицы, несущие бурю*, так и с *Федрой*.

Рассмотренные мотивы в Евразии и в Америке включены в несколько различный контекст: пещера циклопа и пещера похитителя бизонов; ветер и дождь приносят две птицы или одна; Комар специально послан узнать вкус крови или случайно встречается с Громом; миф открывается сценой убийства матери близнецов, или соответствующий мотив с остальными прямо не связан. Это не делает, на наш взгляд, параллели менее значимыми. Невозможно сказать, как долго длинная цепочка эпизодов способна сохранять свою целостность, но ясно, что ожидаемое «долголетие» каждого из эпизодов в отдельности должно быть больше. После распада культурного единства, объединявшего предков народов внутренней Азии и предков североамериканских индейцев, в каждом из ареалов постепенная перекомпановка мотивов в текстах происходила уже независимо. Что же касается причин распада такого единства, то их может быть две: либо относительно поздний уход каких-то групп из центральной Азии далеко на северо-восток и дальше в Америку, либо внедрение новых, инокультурных групп (проточукотско-корякских, протоэскоалеутских, а затем тунгусских и якутских), разделивших более ранний евразийско-американский культурный континуум.

Что касается западносибирских параллелей, то хотя в Северной Америке они имеют значительный ареальный разброс, многие тяготеют к ее западным областям. Эти параллели встречаются на северо-востоке Азии, в американской Арктике и на северо-западном побережье (рис. 2), то есть именно там, где южносибирские мотивы почти отсутствуют. В самой Евразии мотивы западносибирского комплекса распространены лишь на севере Евразии, тогда как южносибирского — значительно шире, от Прибайкалья до Средиземноморья. Наконец, различна жанровая атрибуция соответствующих текстов — преимущественно героических в одном случае и преимущественно трикстерских — в другом.

В связи с сибирскими материалами высказывалось мнение, что мотив «мнимого покойника» относится «к эпохе уральского единства» (Васильев 1992: 6–7), однако палеоазиатские и американские параллели предполагают большую древность. Западносибирско-колымские аналогии представляют интерес в свете предполагаемого урало-юкагирского языкового (Симченко 1975: 169–170; Fortescue 1998) и антропологического (Козинцев 1988: 89–90; Моисеев 1999) единства, разорванного якутской и тунгусской миграциями. Близкое сходство рассказов

об инцесте брата с сестрой, записанных на Чукотке и в Приморье, при отсутствии данного сюжета в эвенском и эвенкийском фольклоре заставляет относить и эти контакты к удаленному времени. Васильевский (2001: 35–36) возводит традиции коряков и чукчей к раннеголоценовым комплексам типа Уптар и Дручак-В и связывает их с югом Дальнего Востока.

Хотя рассматриваемые параллели в Америке сконцентрированы на Северо-Западном побережье, они не сводятся к циклу Ворона и вообще лучше всего представлены не у тлинкитов и хайда, а южнее, у сэлишей (рис. 2). Вполне вероятно, что мотивы данной группы проникали в Америку на протяжении длительного времени, а их носителями являлись разные группы осваивавших побережье людей, начиная с создателей древнейшей фиксируемой на северо-западном побережье культуры листовидных бифасов и галечных орудий (10,000–9000 л.н., Ames, Maschner 1999: 63–64; Fedje, Christensen 1999). На юге Северо-Западного побережья эта культура сохранялась примерно до 5000 л.н., и именно с ней, возможно, связаны своим происхождением сэлиши.

Что касается южносибирских параллелей, то их редкость в тихоокеанской зоне Америки позволяет думать, что они проникали в более южные районы через центральную Аляску — Юкон — Альберту, а не вдоль побережья. С этими параллелями можно осторожно сопоставить американоидные признаки, прослеживаемые на черепах бронзового века из южной Сибири (Козинцев и др. 1995; Kozintsev a.o. 1999).

Отдельные соответствия в Южной Америке обнаруживают обе группы мотивов. Таковых, однако, немного, и они имеют значительный территориальный разброс. Если подобные параллели не случайны (а независимое появление столь своеобразного мотива как *Комар и Гром* не слишком вероятно), они дают некоторые ориентиры во времени. Эти мотивы не входят в «базовый фонд» амазонской мифологии, имеющей параллели в Австралии — Меланезии и связанной скорее всего с древнейшими этапами заселения Нового Света. Но они вряд ли могли появиться и после того, как тропические и умеренные области обеих Америк оказались достаточно плотно заселены, что произошло — судя по числу датированных памятников — примерно 9000–7000 л.н. Южносибирский комплекс может быть связан либо с кловисом, либо — что кажется вероятнее — с более поздними палеоиндейскими культурами.

Литература

Абрамян Л. 1983. Первобытный праздник и мифология. Ереван.

Аврорин В.А. 1981. Ульчские тексты для грамматических и этнографических исследований // Морфология имени в сибирских языках. Новосибирск.

Аврорин, В.А., Е.П. Лебедева. 1966. Орочские сказки и мифы. Новосибирск.

Алексеев Н.А. 1980. Ранние формы религии тюрко-язычных народов Сибири. Новосибирск.

Алексеенко Е.А. 1976. Представления кетов о мире // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л.

Алексеенко Е.А. 2001. Мифы, предания, сказки кетов. М.

Алиева А.И. 1978. Сказки адыгских народов. М.

Алтайский эпос. 1935. Алтайский эпос Когутэй. М.-Л.

Амонов Р. 1972. Таджикские народные сказки. Душанбе.

Арсеньев В.К. 1995. Из научного наследия В.К. Арсеньева // Краеведческий бюллетень (Южно-Сахалинск). № 3.

Афанасьева В.К. 1997. От начала начал. Антология шумерской поэзии. СПб.

Баранникова Е.В. и др. 2000. Бурятские народные сказки. О животных. Бытовые. Новосибирск.

Беннингсен А.П. 1912. Легенды и сказки Центральной Азии. СПб.

Березкин Ю.Е. 2000. Восточно-средиземноморская мифология в Америке // УХУУЙФЙБ. Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб.

Березкин Ю.Е. 2001а. Ареальное распределение мотивов в мифологиях Америки и северо-восточной Азии (к вопросу о заселении Нового Света, краткие результаты текущих исследований) // Труды Факультета Этнологии Европейского ун-та. Вып. 1. СПб.

Березкин Ю.Е. 2001b. Мост через океан. Заселение Нового Света и мифология индейцев и эскимосов Америки. Lewiston, New York.

Березкин Ю.Е. 2002. Мифология аборигенов Америки: результаты статистической обработки ареального распределения мотивов // История и семиотика индейских культур Америки. М.

Бгажба Х.С. 1983. Абхазские сказки. Сухуми.

Богораз В.Г. 1939. Чукчи. Т.2. Религия. Л.

Брудный Д., К. Эшмамбетов. 1989. Киргизские народные сказки. Фрунзе.

Васильев В.И. 1992. Образ культурного героя в самодийской фольклорной традиции // Уральская мифология. Тезисы докладов международного симпозиума (5–10 августа 1992 г.). Сыктывтар.

Васильевский Р.С. 2001. Генезис и взаимодействие культур Северной Пацифики // Археология, этнография и антропология Евразии. № 3(7).

Вебер М. 1990. Избранные произведения. М.

Вардугин В.И. 1996. Мифы древней Волги. Саратов.

Воскобойников М.Г. 1958. Фольклор эвенков Бурятии. Улан-Удэ.

Воскобойников М.Г. 1967. Фольклор эвенков Прибайкалья. Улан-Удэ.

Воскобойников М.Г. 1973. Кто дал эвенкам солнце. Сказки, предания и устные рассказы эвенков. Иркутск.

Воскобойников М.Г., Г.А. Меновщиков. 1951. Сказки народов Севера. М.-Л.

Гарф А.Л., П.В. Кучияк. 1978. Танзаган — отец алтайцев. Алтайские сказки. М.

Головнев А.В. 1995. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров. Екатеринбург.

Григорьев С.Г. 1971. Чувашские сказки. М.

Грюнберг А.Я., И.М. Стеблин-Каменский. 1976. Сказки народов Памира. М..

Грюнберг А.Я., И.М. Стеблин-Каменский. 1981. Сказки и легенды Систана. М.

Дзагуров Г.А. 1973. Осетинские народные сказки. М.

Джалил О. 1989. Курдские сказки, легенды и предания. Сост., запись и пер. с курд. Ордихане Джалила. М.

Дмитриева Л.В. 1981. Язык барабинских татар. Л.

Долидзе Н.И. 1954. Грузинские народные сказки (сто сказок). Тбилиси.

Дульзон А.П. 1966. Кетские сказки. Томск.

Дульзон А.П. 1972. Сказки народов сибирского севера. I. Томск.

Евсюков В.В. 1987. Древнеиндийский миф о затмениях и его типологические соответствия в фольклоре тюрко-монгольских народов // Традиционные верования и быт народов Сибири. XIX — начало XX в. Новосибирск.

Ефремов П.Е. 2000. Фольклор долган. Новосибирск.

Забанов М.Н. 1929. Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-булагатов. Верхнеудинск.

Зарубин И.И. 1932. Белуджские сказки. Л.

Егоров Н.И. 1995. Чувашская мифология // Культура Чувашского Края. Ч. 1. Учебное пособие. Чебоксары.

Жамбалова С.Г. 2000. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят. Новосибирск.

Жирмунский В.М. 1974. Тюркский героический эпос. Л.

Жукова А.Н. 1988. Материалы и исследования по корякскому языку. Л.

Жукова Л.Н., О. Чернецов. 1994. Хозяин земли: легенды и рассказы лесных юкагиров. Якутск.

Жуковская Н.Л. 1980. Бурятская мифология и ее монгольские параллели // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. М.

Иохельсон В.И. 1900. Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора. Часть 1. СПб.

Иохельсон В.И. 1904. Об азиатских и американских элементах в мифах коряков // Землеведение. Вып. III.

Казакова, Е.А. 1994. Фольклор манси. М.

Кандаракова Е.П. 1988. Алтайский фольклор. Горно-Алтайск.

Каракалпакские сказки. 1959. Каракалпакские народные сказки. Нукус.

Катанов Н.Ф. 1963. Хакасский фольклор (из книги «Образцы народной литературы тюркских племен», т. IX, СПб, 1907). Абакан.

Кибрик, А.Е., С.В. Кодзасов, И.А. Муравьева. 2000. Язык и фольклор алюторцев. М.

Клабуков А. 1948. Удмуртские народные сказки. Ижевск.

Козинцев А.Г. 1988. Этническая краниология. Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л.

Козинцев А.Г., А.В. Громов, В.Г. Моисеев. 1995. Американоиды на Енисее? Антропологические параллели одной гипотезе // Проблемы изучения окуневской культуры. Тезисы докладов конференции. СПб.

Козлов Н.В. 1956. Сказки народов Северо-Востока. Магадан.

Куприянова З.Н. 1960. Ненецкий фольклор. Учебное пособие для педагогических училищ. Л.

Курдованидзе Т.Д. 1988. Грузинские народные сказки. Кн. 1. М.

Кызласов Л.Р. 2001. Сибирское манихейство // Этнографическое обозрение. № 5.

Лар Л.А. 2001. Мифы и предания ненцев Ямала. Тюмень.

Лукина Н.В. 1990. Мифы, предания, сказки хантов и манси. М.
Мальсагов А.О. 1983. Сказки и легенды ингушей и чеченцев. М.
Маргаритов В.П. 1888. Об орочах Императорской Гавани. СПб.
Меновщиков Г.А. 1974. Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. М.
Меновщиков Г.А. 1985. Сказки и мифы эскимосов Сибири, Аляски, Канады и Гренландии. М.
Мифология хантов. 2000. Мифология хантов. Энциклопедия уральских мифологий, т. 3. Томск.
Моисеев В.Г. 1999. Происхожение уралоязычных народов по данным краниологии. СПб.
Неклюдов С.Ю., Ж. Тумурцерен. 1982. Монгольские сказания о Гесере. Новые записи. М.
Никифоров Н.Я. 1915. Аносский сборник. Собрание сказок алтайцев. Омск. (Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества 37).
Николаева, И.А., Л.Н. Жукова, и Л.Н. Демина. 1989. Фольклор юкагиров верхней Колымы (хрестоматия). Части I и II. Якутск.
Новиков А.И. 1938. Фольклор народа коми. Т. 1. Предания и сказки. Архангельск.
Новикова К.А. 1958. Эвенский фольклор. Сказки, предания и легенды, песни, загадки. Магадан.
Новикова Н.И. 1991. Об иранском влиянии в культуре обских угров // Советская этнография. № 4.
Пелих Г.И. 1972. Происхождение селькупов. Томск.
Поротова Т.И. 1980. Сказки народов сибирского севера. Вып. 3. Томск.
Поротова Т.И. 1982. Сказки народов сибирского севера. Вып. 4. Томск.
Потанин Г.Н. 1881. Очерки северо-западной Монголии. Выпуск II. Материалы этнографические. СПб.
Потанин Г.Н. 1883. Очерки северо-западной Монголии. Выпуск IV. Материалы этнографические. СПб.
Розенфельд А.З. 1958. Персидские народные сказки. Ташкент.
Розенфельд А.З., Н.П. Рычкова. 1990. Сказки и легенды горных таджиков. М.
Сагалаев А.М.1984. Мифология и верования алтайцев. Центральноазиатские влияния. Новосибирск.
Самдан З.Б. 1994. Тувинские народные сказки. Новосибирск.
Сенкевич В.В. 1935. Фольклор обского севера // Советская Арктика. № 5.
Сидельников В.М. 1952. Казахские народные сказки. М.
Сидельников В.М. 1971. Казахские народные сказки. Т. 1–3. Алма-Ата.
Симченко Ю.Б. 1975. Некоторые вопросы древних этапов этнической истории Заполярья и Приполярья Евразии // Этногенез и этническая история народов Севера. М.
Слободин С.Б. 2001. Гипотезы о миграциях в Берингии в исследованиях XVI — XIX веков // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4.
Тонков В. 1936. Ненецкие сказки. Архангельск.
Тревер К.В. 1937. Сэнмурв-Паскудж, собака-птица. Л.
Тугов В.Б. 1985. Абазинские народные сказки. М.
Тугутов И.Е., А.И. Тугутов. 1992. Небесная дева лебедь. Бурятские сказки, предания и легенды. Иркутск.
Турецкие народные сказки. 1959. М.
Турсунов Е.Д. 1975. Тюрко-монгольские версии сказания об ослеплении циклопа // Советское тюрковедение. № 3.
Уланов А.И. 1974. Древний фольклор бурят. Улан-Удэ.
Хадахнэ К. 1926. Легенды о сотворении мира и человека // Жизнь Бурятии. № 1–3.
Хангалов М.Н. 1960. Собрание сочинений. Т. 3. Улан-Удэ.
Хомич Л.В. 1976. Представления ненцев о природе и человеке // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л.
Чувашские сказки. 1937. Чувашские сказки. М.
Шаракшинова Н.О. 1980. Мифы бурят. Иркутск.
Шевердин М.И. 1984. Караван чудес. Узбекские народные сказки. Ташкент.
Шерхунаев Р.А. 1975. Сказки и сказочники Тофаларии. Кызыл.
Элиасов Л.Е. 1973. Бурятские народные сказки. Улан-Удэ.
Эр Тоштюк. 1958. Эр Тоштюк. Киргизский народный эпос. Фрунзе.
Aarne A., S. Thompson. 1964. The Types of the Folklore. A Classification and Bibliography.Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen. Helsinki.
Adams R.N. 1981. Natural selection, energetics, and «Cultural materialism» // Current Anthropology. Vol. 22. № 6.
Adamson T. 1934. Folk Tales of the Coast Salish. (Memoires of the American Folklore Society. Vol. 27).
Ames K.M., H.D.G. Maschnere. 1999. Peoples of the Northwest Coast. Their Archaeology and Prehistory, London.
Andrade M.J. 1931. Quileute Texts. New York.
Ballard A.C. 1929. Mythology of the Southern Puget Sound // University of Washington Publications in Anthropology. Vol. 3. № 2.
Barker M.A.R. 1963. Klamath Texts. Berkeley, Los Angeles.

Barrett S.A. 1933. Pomo Myths. Milwaukee.
Barnouw V. 1977. Wisconsin Chippewa Myths and Tales. Madison.
Beckwith M. 1938. Mandan-Hidatsa Myths and Ceremonies. Boston.
Bell R. 1897. The history of Che-che-puy-ew-tis // Journal of American Folklore. Vol. 10: 1–8.
Benedict R. 1926. Serrano tales // Journal of American Folklore. Vol. 39. № 151.
Birket-Smith K. 1953. The Chugach Eskimo. København.
Bierhorst J. 1985. The Mythology of North America. New York.
Bloomfield L. 1930. Sacred Stories of the Sweet Grass Cree. Ottawa.
Boas F. 1888. The Central Eskimo // 6th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Instituition (1884–1885).
Boas F. 1891. Dissemination of tales among the natives of North America // Journal of American Folklore. Vol. 4. № 12.
Boas F. 1895. Indianische Sagen von der Nordpazifischen Küste Amerikas. Berlin.
Boas F. 1896. The growth of Indian mythologies // Journal of American Folklore. Vol. 9. № 32.
Boas F. 1902. Tsimshian Texts. Washington D.C.
Boas F. 1901–1907. The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay. (Bulletin of the American Museum of Natural History. Vol. 15, parts 1–2).
Boas F. 1910. Kwakiutl Tales. New York.
Boas F. 1916. Tsimshian mythology // 31th Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution, 1909–1910. Washington D.C.
Boas F. 1918. Kutenai Tales. Washington, D.C.
Boas F. 1928. Keresan Texts. New York.
Boas F. 1940. Race, Language, and Culture. Chicago, London.
Bogoras W. 1902. The folklore of Northeastern Asia, compared with that of Northwestern America // American Anthropologist. Vol. 4. № 4.
Bogoras W. 1918. Tales of Yukaghir, Lamut, and Russianized Natives of Eastern Siberia. New York.
Bogoras W. 1928. Chuckchee tales // Journal of American Folklore. Vol. 41. № 161.
Bowers A.W. 1950. Mandan Social and Ceremonial Organization. Chicago.
Brunton B.B. 1998. Kootenai // Handbook of North American Indians. Vol. 12.
Califano M. 1974. El concepto de enfermedad y muerte entre los mataco costaneros // Scripta ethnologica 2(2).
Califano M. 1995. La concepción del mundo entre los *Huachipaire* (Harakmbet). El *KÜREDN-NDÁRI* (cielo) // Scripta ethnologica 17:181–190.
Campbell L. 1997. American Indian Languages. The Historical Linguistics of Native America. New York, Oxford.
Chapman J.W. 1914. Ten'a Texts and Tales from Anvik, Alaska. Leyden, New York.
Chaumeil J., J.-P. Chaumeil. 1978. Los mellizos y la lupana en mitologia Yagua // América Indígena 2(3).
Chowning, A. 1962. Raven myths on Northwestern North America and Northeastern Asia // Arctic Anthropology. Vol. 1. № 1.
Clark E.E. 1966. Indian Legends from the Northern Rockies. Norman.
Curtin J., J.N.B. Hewitt. 1918. Seneca fiction, legends, and myths. Part 1 // 32th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution (1910–1911).
Cooper J. 1975. The Gros Ventres of Montana. Part 2. Religion and Ritual. Washington D.C.
De Laguna F. 1972. Under Mount Saint Elias. The History and Culture of the Yakutat Tlingit. Part 2. Washington D.C.
De Laguna F.1995. Tales from the Dena. Indian Stories from the Tanana, Koyukuk, & Yukon Rivers. Seattle, London.
Desbarats P. 1969. What They Used to Tell about. Indian Legends from Labrador. Toronto.
Dixon R.B. 1902. Maidu myths // Bulletins of the American Museum of Natural History Vol. 17. № 2.
Dixon R.B. 1910. Shasta myths // Journal of American Folklore. Vol. 23. № 87, 88.
Dorsey G.A. 1904a. The Mythology of the Wichita. (Carnegie Institution of Washington, Publ. 21).
Dorsey G.A. 1904b. Traditions of the Skidi Pawnee. Boston, New York.
Dorsey G.A. 1904c. Traditions of the Osage. Chicago.
Dorsey G.A. 1905. Traditions of the Caddo. (Carnegie Institution of Washington, Publ. 41).
Dorsey G.A. 1906. The Pawnee Mythology. Part 1. (Carnegie Institution of Washington, Publication 59).
Dorsey G.A., A.L. Kroeber. 1903. Traditions of the Arapaho. Chicago.
Dorsey J.O. 1888. Abstracts of Omaha and Ponka myths // Journal of American Folklore Vol. 1. № 1.
Dorsey J.O. 1890. The Cegiha Language. Part 1. Myths, Stories, and Letters. Washington, D.C.
Dorsey J.O., J.R. Swanton. 1912. A Dictionary of the Biloxi and Ofo Languages. Washington D.C.
Dubois C., D. Demetracopoulou. 1931. Wintu myths // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 28. № 5.

Dumond D.E. 1977. The Eskimos and Aleuts. London.
Espinosa A.M. 1936. Pueblo Indian folk tales // Journal of American Folklore. Vol. 49. № 191–192.
Farrand L. 1900. Traditions of the Chilcotin Indians. New York.
Farrand L. 1915. Shasta and Athapascan myths from Oregon // Journal of American Folklore. Vol. 28.
Farrand L., T. Mayer. 1917. Sahaptin tales // Memoires of the American Folk-Lore Society. Vol. 11: 135–179.
Fedje D.W., T. Christensen. 1999. Modeling paleoshorelines and locating Early Holocene coastal sites in Haida Gwaii // American Antiquity. Vol. 64. № 4).
Fraser F. 1990. The Bear Who Stole the Chinook. Vancouver.
Fortescue M. 1998. Language Relations across Bering Strait. Reappraising the Archaeological and Linguistic Evidence. London, New York.
Gatschet A.S. 1890. The Klamath Indians of Southwestern Oregon. Washington D.C
Gibbon W.B. 1964. Asiatic parallels in North American star lore: Ursa Mayor // Journal of American Folklore. Vol. 77. № 305.
Gifford E.W. 1917. Miwok myths // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 12. № 8.
Gifford E.W. 1923. Western Mono myths // Journal of American Folklore. Vol. 36. № 142.
Goddard I. 2001. The Algonkian languages of the Plains // Handbook of North American Indians. Vol. 13.
Goddard P.E. 1906. Lassik tales // Journal of American Folklore. Vol. 19. № 73).
Goddard P.E. 1909. Kato texts // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 5. № 3.
Goddard P.E. 1912. Chipewyan texts // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 10. № 1.
Goddard P.E. 1916. The Beaver Indians // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 10. № 4.
Goddard P.E. 1918. Myths and tales from the San Carlos Apache // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 24. № 1.
Goddard P.E. 1919. Myths and tales from the White Mountain Apache // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 24. № 2.
Greenlee R.F. 1945. Folktales of the Florida Seminole // Journal of American Folklore. Vol. 58. № 228.
Haas M.R. 1950. Tunica Texts. Berkeley, Los Angeles.
Haeberlin H. 1924. Mythology of Puget Sound // Journal of American Folklore. Vol. 37. № 145–146.
Hagar F. 1897. Weather and the seasons in Micmac mythology // Journal of American Folklore. Vol. 10. № 37.
Hall E.S. 1975. The Eskimo Storyteller: Foklore from Noatak, Alaska. Knoxville.
Hawkes E.W. 1916. The Labrador Eskimo. Ottawa.
Hilbert V. 1985. Haboo. Native American Stories from Puget Sound. Seattle, London.
Holtved E. 1951. The Polar Eskimos. Language and Folklore. I. Texts. København.
Ikeda H. 1971. A Type and Motif Index of Japanese Folk-Literature. Helsinki.
Jacobs M. 1940. Coos myth texts // University of Washington Publications in Anthropology. Vol. 8. № 2.
Jacobs M. 1945. Santiam Kalapuya myth texts // Kalapuya Texts. University of Washington Publications in Anthropology. Vol. 11: 83–142.
Jacobs M. 1958. Clackamas Chinook Texts. Part 1. Bloomington.
Jetté J. 1908–1909. On Ten'a folk-lore // Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain. Vol. 38: 298–367, vol. 39: 460–505.
Jochelson W. 1904. The mythology of the Koryak // American Anthropologist. Vol. 6. № 4.
Jochelson W. 1908. The Koryak. The Jesup North Pacific Expedition. Leiden, New York.
Jones W. 1907. Fox Texts. Leyden.
Jones W. 1915. Kickapoo Tales. Leyden.
Jones W. 1919. Ojibwa Texts. New York.
Josselin de Jong J.P.B. de. 1914. Blackfoot Texts from the Southern Piegans Blackfoot Reservation Teton County, Montana. Amsterdam.
Keithahn E.L. 1958. Alaskan Igloo Tales. Seattle.
Knox R.H. 1923. A Blackfoot version of the Magic Flight // Journal of American Folklore. Vol. 36. № 142).
Kozintsev A.G., A.V. Gromov, V.S. Moiseyev. 1999. Collatoral relatives of American Indians among the Bronze Age Populations of Siberia? // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 108. № 2.
Krauss M.E. 1982. In Honor of Eyak. The Art of Anna Nelson Harry. Fairbanks.
Krenov J. 1951. Legends from Alaska // Journal de la Société des Américanistes 40: Kroeber A.L. 1899. Tales of the Smith Sound Eskimo // Journal of American Folklore. Vol. 12. № 46.
Kroeber A.L. 1907a. Indian myths of South Central California // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 4. № 4.

Kroeber A.L. 1907b. Gros Ventre myths and tales // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol 1 (part 3).
Kroeber A.L. 1919. Sinkyone tales // Journal of American Folklore. Vol. 32. № 124.
Lasley M. 1902. Sac and Fox tales // Journal of American Folklore. Vol. 15:
Linderman F.B. 1997. Kootenai Why Stories. Lincoln, London.
Lőrincz L. 1979. Mongolische Märchentypen. Budapest.
Lowie R.H. 1909a. The Assiniboine. New York.
Lowie R.H. 1909b. The Northern Shoshone // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 2. № 2.
Lowie R.H. 1918. Myths and Traditions of the Crow Indians. New York.
Lowie R.H. 1924. Shoshonean tales // Journal of American Folklore. Vol. 37. № 143–144.
Lucier C. 1958. Noatagmiut Eskimo myths // Anthropological Papers of the University of Alaska. Vol. 6. № 2.
Martin H.N. 1977. Myths and Folktales of the Alabama-Coushatta Indians of Texas. Austin.
Matthews W. 1994. Navaho Legends. Salt Lake City.
McAllister J.G. 1949. Kiowa-Apache tales // Publications of the Texas Folklore Society. Vol. 22.
McKennan R.A. 1959. The Upper Tanana Indians. New Haven.
McKennan R.A. 1965. The Chandalar Kutchin. Montreal: Arctic Institute of North America. 156 p.
McIlwraith T.F. 1948. The Bella Coola Indians. Toronto.
McLaughlin M.L. 1990. Myths and Legends of the Sioux. Lincoln, London.
McClelland C. 1975. My Old People Say. An Ethnographic Survey of Southern Yukon Territory. Ottawa.
Merriam C.H. 1993. The Dawn of the World. Myth and Tales of the Miwok Indians of California. Lincoln, London.
Metraux A. 1935. El universo y la naturaleza en las representaciones míticas de dos tribus salvajes // Revista del Instituto de Etnologia de la Universidad Nacional de Tucumán 3(1).
Mooney J. 1898. The Jicarilla Genesis // American Anthropologist. Vol. 11. № 2.
Norman H. 1990. Northern Tales. Traditional Stories of Eskimo and Indian Peoples. New York.
Nungak Z., E. Arima. 1969. Eskimo Stories from Povungnituk, Quebec, illustrated in soapstone carvings. Ottawa.
Opler M.E. 1940. Myths and Legends of the Lipan Apache Indians. New York.
Opler M.E. 1942. Myths and Tales of the Chiricahua Apache Indians. New York.
Oswalt R.L. 1964. Kashaya Texts. Berkeley, Los Angeles.
Parks D.R. 1996. Myths and Traditions of the Arikara Indians. Lincoln, London.
Parsons E.C. 1925. Micmac folklore // Journal of American Folklore. Vol. 38. № 147.
Parsons E.C. 1926. Tewa Tales. New York
Parsons E.C. 1929. Kiowa Tales. New York.
Parsons E.C. 1931. Laguna tales // Journal of American Folklore. Vol. 44. № 171.
Parsons E.C. 1932. Isleta, New Mexico // 47th Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution (1929–1930).
Parsons E.C. 1940. Taos Tales. New York.
Payne T.E. 1992. The Twin Stories: Participant Coding in Yagua Narrative. Berkeley, Los Angeles, Oxford.
Penzer N.M. 1924–1928. The Ocean of Story. Volumes I-X. London.
Pereira A.H.S.J. 1987. O Pensamento Mítico do Paresí. Segunda Parte // Pesquisas, Antropologia 42:
Perry J.P. 1980. The Apachean transition from the Subarctic to the Southwest // Plains Anthropologist. Vol. 25:
Petitot É. 1886. Traditions Indienne du Canada Nord-Ouest. Paris.
Phinney A. 1934. Nez Percé Texts. New York.
Pokotylo D.L., D. Mitchell. 1998. Prehistory of the Northern Plateau // Handbook of North American Indians. Vol. 12.
Powlison P.S. 1972. Tendencias épicas en la mitología Yagua // Actas y Memorias del 39 Congreso Internacional de Americanistas 6:
Powlison P.S. 1993. La Mitología Yagua. Yarinacocha, Pucallpa.
Radin P. 1914. Some Myths and Tales of the Ojibwa of Southwestern Ontario. Ottawa.
Rasmussen K. 1930a. Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos. Copenhagen.
Rasmussen K. 1930b. Observations on the Intellectual Culture of the Caribou Eskimos. Copenhagen.
Rasmussen K. 1931. The Netsilik Eskimos. Social Life and Spiritual Culture. Copenhagen.
Rasmussen K. 1932. Intellectual Culture of the Copper Eskimos. Copenhagen.
Ray C., J. Stevens. 1971. Sacred Legends of the Sandy Lake Cree. Toronto.
Riggs S.R. 1893. Dakota Grammer, Texts, and Ethnography. Washington, D.C.
Rooth A.B. 1971. The Alaska Expedition 1966. Myths, Customs and Beliefs among the Athapascan Indians and the Eskimos of Northern Alaska. Lund.
Roth W.E. 1915. An Inquiry into the Animism and Folklore of the Guiana Indians // 30th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution (1908–1909).

Russel F. 1898. Myths of the Jicarilla Apache // Journal of American Folklore. Vol. 11: 253–271.
Saint Clair H.H. 1909. Shoshone and Comanche tales // Journal of American Folklore. Vol. 22. № 85.
Sapir E. 1909. Takelma Texts. Philadelphia.
Sapir E. 1910. Yana Texts. (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology 9).
Schmitter F. 1910. Upper Yukon Native Customs and Folklore. Washington.
Schoolcraft H.R. 1999. Algic Researches: North American Indian Folktales and Legends. Mineola, New York.
Simms S.C. 1903. Traditions of the Crow // Field Columbian Museum, Publication 85, Anthropological Series II(6).
Simms S.C. 1904. Traditions of the Sarcee Indians // Journal of American Folklore. Vol. 17:180–182.
Skinner A. 1919. Plains Ojibwa tales // Journal of American Folklore. Vol. 32. № 124.
Skinner A. 1925. Traditions of the Iowa Indians // Journal of American Folklore. Vol. 38. № 150.
Skinner A., J.V. Satterlee. 1915. Folklore of the Menomini Indians. New York.
Smelcer J.E. 1992. The Raven and the Totem. Anchorage.
Smelcer J.E. 1993. A Cycle of Myths. Native Legends from Southeast Alaska. Anchorage.
Smelcer J.E. 1997. In the Shadows of the Mountains. Ahtna Stories from the Copper River. Glennalen.
Smith A.M. 1993. Shoshonean Tales. Salt Lake City.
Smith D.L. 1997. Folklore of the Winnebago Tribe. Norman.
Solano González A., E. Ramírez Castañeda. 1985. Tno'o Savi Mixtli. Cuentos Mixtecos de Guerrero. Tradición oral indigena. México.
Speck F.G. 1915a. Some Micmac tales from Cape Breton island // Journal of American Folklore. Vol. 28. № 107.
Speck F.G. 1915b. Some Naskapi myths from Little Whale River // Journal of American Folklore. Vol. 28. № 107.
Spence L. 1985. North American Indians. A facsimile of the original edition (Edinburgh, London, 1914). New York.
Spencer R.F. 1959. The North Alaskan Eskimo. Washington, D.C..
Stephens A.M. 1929. Hopi tales // Journal of American Folklore. Vol. 42.
Swanton J.R. 1909. Tlingit Myths and Texts. Washington D.C.
Swanton J.R. 1911. Indian Tribes of the Lower Mississippi Valley and Adjacent Coast of Gulf of Mexico. Washington D.C.
Swanton J.R. 1929. Myths and Tales of the Southeastern Indians. Washington D.C.
Teit J.A. 1898. Traditions of the Thompson River Indians of British Columbia. Boston, New York.
Teit J.A. 1909. The Shuswap // Memoires of the American Museum of Natural History. Vol. 4: 443–813.
Teit J.A. 1912. Traditions of the Lillooet Indians of British Columbia // Journal of American Folklore. Vol. 25. № 98.
Teit J.A. 1917. Thompson tales // Memoires of the American Folk-Lore Society. Vol. 11: 1–63.
Teit J.A. 1919–1921. Tahltan tales // Journal of American Folklore. Vol. 32. ą 123; vol. 34, № 133–134.
Tenenbaum J.M. 1984. Dena'ina Sukdu'a. Traditional Stories of the Tanaina Athapaskans. Fairbanks.
Thompson S. 1955–1958. Motif-Index of Folk Literature. Vol. I-VI. Copenhagen, Bloomington.
Thompson S. 2000. Tales of the North American Indians. Mineola, New York.
Toporov V. 1989. About a probable Ob-Ugrian reflection of the Iranian Mithra // Uralic Mythology and Folklore Budapest, Helsinki.
Uldall H.J., W.F. Shipley. 1966. Nisenan Texts and Dictionary. Berkeley, Los Angeles.
Vaudrin B. 1969. Tanaina Tales from Alaska. Norman
Voegelin C.F. 1935. Tübatulabal texts // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 34. № 3.
Walker J.R. 1917. The Sun Dance and other ceremonies of the Oglala division of the Teton Dakota // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 16. № 2.
Walker J.R. 1983. Lakota Myth. Lincoln, London.
Wallis W.D. 1923. Beliefs and tales of Canadian Dakota // Journal of American Folklore. Vol. 36. № 139.
Wilbert J., K. Simoneau. 1982. Folk Literature of the Mataco Indians. Los Angeles.
Wilbert J., K. Simoneau. 1987. Folk Literature of the Chamacoco Indians. Los Angeles.
Wilbert J., K. Simoneau. 1990. Folk Literature of the Yaruro Indians. Los Angeles.
Wissler C. 1907. Some Dakota myths // Journal of American Folklore. Vol. 20. № 77–78.
Wissler C. 1936. Star Legends among the American Indians. New York.
Wissler C., D. C. Duvall. 1908. Mythology of the Blackfoot Indians // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 2. № 1.
Wood R.A. 2001. Plains Village tradition: Coalescent // Handbook of North American Indians. Vol. 13.
Wright A. 1908. An Anthapascan tradition from Alaska // Journal of American Folklore. Vol. 21. № 80).
Wright G.A. 1978. The Shoshonian migration problem // Plains Anthropologist. Vol. 23
Wright J.V. 1981. Prehistory of the Canadian Shield // Handbook of North American Indians. Vol. 6.

В.А. Коршунков[1]

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ВЕСЕННИЕ ОБРЯДЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН[2]

V.A. Korshunkov. Children's folklore and spring rites of East Slavs.

The paper is devoted to the study of the calendar and ritual basis of *poteshkas* (game songs), with which the grown-ups amuse small children. The principal question the author tries to answer can be formulated as follows: What ethnographic realities are embodied in the texts of children's folklore, in their subjects and images, in folklore lexicon itself? The children's folklore is considered as a valuable source, the analysis of which allows us to reveal some realities of traditional culture. The analysis of the folklore material makes it possible to assert that embodied in *poteshkas* are spring rites and ritual texts devoted to the arrival of spring bringing birds. One of the major points made by the author is that the children's folklore is an important ethnographic source which might enable us to penetrate much further in the depth of time than many other kinds of folklore and ethnographic records have done during the last two hundred years.

Ныне уже не требуется подробно обосновывать тот факт, что в сохраняющихся до нашего времени детских играх, песенках, приговорках могут быть обнаружены древние мифологические смыслы и весьма архаичные обрядовые реалии. Так, Н.И. Толстой отмечал, что «детские игры хорошо сохраняют древние элементы и формы ритуалов и обрядов», и сетовал на недостаточное внимание исследователей к этому важному виду народного творчества (Толстой 1984:63). А.Ф. Белоусов, обращая внимание на календарные обряды, писал, что «многочисленные свидетельства собирателей показывают процесс постоянного перехода календарных обычаев, обрядов и песен в детскую среду» и замечал, что не только исполнявшийся детьми обряд «заклинания весны», но и другие детские «заклички» «могли быть связаны с какими-то давно забытыми ритуалами» (Белоусов 1989:23,24; Соколова 1979:78,269) Но в целом фольклористы и этнографы не проявляют большого интереса к изучению обрядовых основ детского фольклора и тем более — к реконструкциям обрядовых реалий на основе таких фольклорных данных. Характерно суждение В.И. Чичерова, который называл детские потешки примитивными песенками-приговорками, хотя и допускал, что у детского фольклора могут быть обрядовые истоки (Чичеров 1957:140–142).

Эта небольшая статья должна суммировать давно уже ведущиеся мною исследования по изучению календарно-обрядовой основы вот этих самых потешек — то есть игровых песенок, которыми старшие забавляют совсем маленьких детей. Обычное восприятие собирателями-фольклористами и исследователями детских потешек таково: по словам О.И. Капицы, «Ладушки», «Сорока» «создавались для детей; об этом говорит содержание и форма этих песенок» (Капица 1928:7). На самом деле всё не столь просто и не так очевидно , о чем автор неоднократно высказывался в последнее время (Коршунков 1991; 1994; 1995;1998;1998а;2000;2002; 2002а; 2002б).

---

[1] Вятский Государственный Университет. Вятка. Россия.

[2] Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской Федерации, шифр гранта ГОО-1.6.-471.

Источниками служат тексты из разных мест восточнославянского мира, преимущественно русские, как опубликованные, так и неопубликованные, архивные (в том числе и собственные записи). В текстах выявляются инвариантные мотивы и образы, но при этом внимание уделяется и редкостным, архаичным вариантам, которые объяснимы только с точки зрения обрядов. Для сравнения с календарно-обрядовой практикой используются этнографические материалы и исследования (Соколова 1979; Кошелев 2001; Агапкина 2000; 2002)

Задача в самом общем виде может быть сформулирована так: какие этнографические реалии запечатлены в текстах детского фольклора, в их сюжетах и образах, в самой фольклорной лексике? Детский фольклор используется как полноценный источник, анализ которого позволяет выявить эти реалии традиционной народной культуры. При этом надлежит реконструировать архаические варианты народной обрядности. И прежде всего следует обратиться к обрядам весенним, связанным со встречей приносящих весну перелетных птиц.

Встреча весны у многих индоевропейских народов отмечалась особыми обрядами и именно тогда, когда прилетали птицы. Позднее на Руси встречу весны и птиц справляли обычно в один из трех дней: 1, 9 или 25 марта (по старому стилю). К этому празднику пекли обрядовое печенье — как правило, в виде птиц. Ему давали птичьи названия: «жаворонки», «кулики», «тетёрки», «грачики» и т.д. Этнографы указывали, что в прошлом веке и в начале века нынешнего дети, а также иногда и девушки, играли с печеными «птичками» — подбрасывали их, порой поднимали себе на голову. А после рассаживали их на весенних проталинах, на гумне на соломе, на палках, кольях забора, верхушках стогов и закликали их, распевая коротенькие протяжные песенки-заклички.

Некоторые детские потешки («Ладушки», «Сорока», «Дроздок») завершаются странной и, как правило, не связанной по смыслу с предыдущим текстом концовкой: «Шу, полетели, на головушку сели!..» Как удалось установить, в Сибири подобные слова дважды были отмечены (А.А. Макаренко и Г.С. Виноградовым) в качестве обрядового приговора на праздновании встречи прилетающих по весне птиц. В потешках, кстати, речь обычно идет тоже о птицах. Правда, сорока, о которой идет речь в потешке «Сорока» — птица не перелетная. Но обряд встречи весенних перелетных птиц часто справлялся 9 марта — то есть, по православному календарю, в день сорока мучеников или, как говорили в народе, в «Сороки». Из-за созвучия названия птицы и обозначения этого дня сороку непременно вспоминали в приметах и поверьях при встрече весны и птиц. Итак, похоже, что в потешках могли отразиться некоторые весенние обряды.

Исследование слова «ладушки» показывает, что, вопреки высказывавшимся мнениям, это слово встречается не только в потешке. Оно фигурирует в обрядовых по происхождению рефренах старинных народных песен и даже в авторской поэзии (конечно же, в фольклорных стилизациях — например, у А.К. Толстого в стихотворном произведении «Змей Тугарин: Былина»). Его этимология не может быть связана со словом «ладонь», и едва ли также это слово — форма множественного числа от уменьшительно-ласкательного «ладушка» в значении «ребенок». Можно показать, что это вариант обрядового припева (типа «лада», «ладу», «дидо-ладо»). Эти обрядовые припевы, очевидно, связаны с совершенно определенными обрядами — с теми, в которых актуализировались темы женского начала, плодородия и чадородия. В этой связи уместно поставить вопрос о предполагаемой славянской языческой богине любви, чадородия и весеннего плодородия Ладе. Многие ученые считают, что средневековые тексты (исходно — латинские), в которых говорится о Ладе и ее мужской ипостаси боге

Ладо (Ладоне), — источники недостоверные. Эти ученые отрицают существование таких божеств у славян. Анализ средневековых текстов и этимологическое исследование этих имен, подкрепляемые фольклорно-этнографическими и лингвистическими данными, позволяют, как кажется, утверждать, что бог Ладо (Ладон) — действительно, книжный фантом, «подпоручик Киже». Имя этого псевдобога (латинизированное слово «Lado», родительный падеж единственного числа — «Ladonis») — по-видимому, всего лишь результат недопонимания мыслившим латинскими парадигмами иноземцем славянского звательного падежа («Ладо» — от славянского существительного женского рода «Лада»). А богиня Лада, похоже, у славян на самом деле была. Просто ей не повезло: большинство серьезных ученых, не стремясь проводить различия между мужской и женской ипостасями, привыкли числить Ладу среди псевдобожеств славянского язычества — наряду с такими сомнительными персонификациями, как Леля, Коляда, Купала и т.п. Так что упоминания о богине Ладе в наши дни встречаются обычно в книгах, не претендующих на глубину и научную достоверность. Между тем, несомненно, требуется специальное исследование всего круга вопросов, связанных с образом и культом Лады. Представляется, что мифологический персонаж, которого могли именовать Ладой, был очень близок по своей сути к иным женским персонажам восточнославянского язычества и народно-бытового православия: олицетворениям лихорадки и Масленицы, Параскеве-Пятнице, св. Евдокии и др. (Коршунков 1996; 1997) Во всяком случае, можно было бы, пожалуй, написать работу с названием «Памяти языческого бога Ладо»[3], а вот безоговорочно зачислять туда же и Ладу едва ли следует.

Анализ текста «Ладушек» (во всех известных вариантах) приводит к таким результатам. Еда и питье, которыми угощает бабушка — судя по всему, обрядовые. В исчезающих уже, но все же зафиксированных вариантах упоминается хлестанье лозой или веником (при этом бабушка остается «добренькой») — а это явно хлестанье обрядовое, ради магически понимаемого обретения здоровья. Такое ритуальное действие хорошо известно при других весенних обрядах, но конкретно при встрече птиц имеющимися в нашем распоряжении поздними по времени этнографическими материалами XIX–XX веков оно не засвидетельствовано. В связи с вопросом о ритуальном хлестаньи обращает на себя внимание фразеологизм «дать березовой каши» и название весеннего месяца «березозол», поскольку при встрече весны и птиц почитаемым деревом могла быть именно береза. Во всяком случае, можно продемонстрировать, что текст «Ладушек» поразительно ярко запечатлел обрядовые весенние реалии и обрядовые формулы.

В связи с одной из моих предварительных публикаций В.В. Головин, вполне соглашаясь с тем, что в потешках удалось найти отражение обрядовых реалий, высказывал мнение, что там оказался запечатлен не весенний обряд встречи птиц, а зимний праздник повивальных бабок и рожениц «бабьи каши» (Головин 1991: 35–38; 2000:140–141). Действительно, судя по всему, «бабушка», упоминаемая в «Ладушках», — это бабка-повитуха, а каша, которой она угощает детей, — это ритуальная каша, употреблявшаяся при рождении и крещении ребенка и еще при годовых праздниках повитух, рожениц и маленьких детей. Птица сорока в народной традиции явно ассоциировалась с повивальной бабкой. В потешке «Сорока» эта птица наделяет «гостей» — малых детей — кашей. К тому же в некоторых вариантах этой потешки речь идет о ритуальной бане, в которой повитуха парила роженицу с

[3] По аналогии с Клейн Л.С.1990. Памяти языческого бога Рода // Язычество восточных славян. Л., 1990. С. 13–26

младенцем. Всё это заставляет видеть в тексте некоторых вариантов «Ладушек» отражение не только весенних календарных обрядов, но и обрядов родинно-крестильных (которые, впрочем, имели и календарную приуроченность — зимнюю, святочную либо же, как можно полагать, и весеннюю тоже). Кстати, средневековые авторы, писавшие о Ладе и Ладоне, отмечали, что славянки их поминают и на крестинах. Так что, очевидно, и при встрече весны особо отмечали повитух и рожениц.

В потешке «Сорока» нередко встречается иная концовка («Тут пень, тут колода, тут мох, тут болото...»), которая схожа с типичными заговорными формулами отсылки болезни. А известно, что при встрече весны проводились обряды и произносились заговорные тексты, предохраняющие от нападения мифологически понимаемых болезней: в эти дни «иной мир» представлялся распахнутым, и оттуда вместе с весенними птицами на Русь устремлялись губительные крылатые демоны.

Интересная особенность есть у некоторых украинских вариантов потешки «Сорока». В них явно можно проследить известный этнографам обычай отламывать головку испеченной к встрече птиц тестяной «птичке». Под конец исполнения потешки взрослые, играющие с малышами, начинают крутить ребенку мизинец. Мизинец в «Сороке» — это ленивый младший братец, и его нужно наказать. Наказание нешуточное: взрослый приговаривает, что сорока лентяю голову скрутила, и так вертит пальчик ребенка, что тот начинает плакать. Такие действия вроде бы противоречат самой сути потешки как игры-забавы. Смысл их становится понятен, если иметь в виду обрядовое происхождение «Сороки».

Известны иные украинские и белорусские детские песенки, в которых говорится о прилетающих «издалека» птичках. Они характеризуются красным цветом своей одежды, а еще о них иногда говорится, что они слепые. Красное, судя по всему, — признак приобщенности к «иному миру», откуда, согласно народным представлениям, прилетают весной перелетные птицы. Интересно, что именно на Украине вплоть до XIX в. сохранялись следы красного траура. А «слепыми» бывали некоторые архаичные виды весеннего обрядового «птичьего» печенья, с которым встречали весну и перелетных птиц, — у тестяной птичьей фигурки делали только лишь углубления на месте глазок (впоследствии туда начинают помещать угольки, ягодки, изюминки). Слепота — это тоже примечательный и явный признак «иномирности», потусторонности (Коршунков 1991а).

Любопытно, что удается найти отражения весенних обрядов и обрядового фольклора в жаргонном слове «тюха» или «птюха». Это название пайки хлеба[4], восходящее к представлению о весеннем обрядовом «птичьем» печенье (Коршунков 1991б).

Выходит, что весенние обряды и обрядовые тексты оказались запечатленными в фольклорных произведениях, исполнявшихся для малых детей. Всё это определенно позволяет поставить вопрос о детском фольклоре как о важном этнографическом источнике, с помощью которого, судя по всему, можно проникать намного дальше вглубь времен, чем позволяют это сделать произведенные за двести последних лет фольклорно-этнографические фиксации.

---

[4] Словцо «тюха» бытовало в начале 1980-х годов в тюрьмах и лагерях Ленинграда и окрестностей. Я впервые услышал об этом от Л.С. Клейна, воспоминания которого, впоследствии опубликованные, вызвали у меня интерес к этимологии некоторых русских жаргонизмов. В сталинское же время это слово звучало несколько иначе — «птюха» (говорили также: «птенчик, жавороночек» и т.п.). Названия пайки «птюха», «птюшка» отмечены, в частности, Жаком Росси (Росси 1991: 320), книга которого была высоко оценена Л.С. Клейном (Самойлов 1990: 81–83; 1993: 192–199).

Литература

Агапкина Т.А. 2000. Этнографические связи календарных песен: Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян. М.

Агапкина Т.А. 2002. Мифологические основы славянского народного календаря: Весенне-летний цикл. М.

Белоусов А.Ф.1989. Детский фольклор: Лекция для студентов-заочников. Таллинн.

Головин В.В. 1991. «Ладушки»: Вопросы генезиса // Дети и народные традиции: Материалы Пятых Виноградовских чтений. Ч. 1. Челябинск.

Головин В.В. 2000. Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. Ebo.

Капица О.И. 1928. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры: Изучение. Собирание. Обзор литературы. Л.

Клейн Л.С. 1990. Памяти языческого бога Рода // Язычество восточных славян. Л.

Коршунков В.А. 1991. «На головушку сели!» // Русская речь. № 1.

Коршунков В.А. 1991а. Образ прилетающей птицы в восточнославянском детском фольклоре // Дети и народные традиции: Материалы Пятых Виноградовских чтений. Ч. 1. Челябинск.

Коршунков В.А. 1991б. Тюха: От обрядового печенья до лагерной пайки // Проблемы устной истории в СССР. Киров.

Коршунков В.А. 1994. Обрядовое хлестание в детской потешке // Мир детства и традиционная культура М.

Коршунков В.А. 1995. Детский фольклор и календарные обряды // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 8–9.СПб.

Коршунков В.А. 1996. Были ли у славян бог Ладо и богиня Лада? // Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера: (К 450-летию преподобного Трифона, вятского чудотворца): Материалы Международной науч. Конфер. Т. 2. Киров.

Коршунков В.А. 1997. Славянская богиня Лада и гипотеза о ее скандинавском происхождении // Шведы и Русский Север: Историко-культурные связи . Киров.

Коршунков В.А. 1998. Фольклорно-этнографический комментарий к восточнославянским потешкам про сороку // Традиционная культура и мир детства: Материалы международной науч. конфер. «XI Виноградовские чтения». Ч. 2 Ульяновск.

Коршунков В.А. 1998а. Сорока-повитуха в русском фольклоре // Фольклорный текст–98: Сб. докл. науч. конфер. Пермь.

Коршунков В.А. 2000. «Весела, как вешний жавороночек»: Обрядовая подоплека устойчивого сравнения / / Русская речь. № 2.

Коршунков В.А. 2002. Словесные и игровые аспекты восточнославянских детских потешек // Культура и письменность славянского мира: Сб. материалов науч. конфер. 24 мая 2002 г. Т. 1. Смоленск.

Коршунков В.А. 2002 а. Детский фольклор и традиционная народная культура: (Лексика, образы и сюжеты восточнославянских детских потешек как источник для изучения весенних обрядов славян) // Вузовская наука начала XXI века: гуманитарный вектор: Юридические науки. Литературоведение. Языкознание. Психология: Материалы I Всеросс. науч. заоч. конфер., Екатеринбург.

Коршунков В.А. 2002б. Девы-трясавицы, святой Сисиний и детский фольклор // Сквозь границы: Культурологический альманах. 1. Киров.

Кошелев Я.Р. 2001. Весенне-летние народные праздники на Смоленщине. Смоленск.

Росси Ж. 1991. Справочник по ГУЛАГу: В 2 частях. Изд. 2-е, доп. М. Ч. 2.

Соколова В.К. 1979. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов: XIX — начало XX в. М

Самойлов Л. [Клейн Л.С.] 1990. Ад — глазами француза // Знание — сила.. № 2.

Самойлов Л. [Клейн Л.С.] 1993. Перевернутый мир. СПб.

Толстой Н.И. 1984. Фрагмент славянского язычества: Архаический ритуал-диалог // Славянский и балканский фольклор: Этногенетическая общность и типологические параллели. М.

Чичеров В.И. 1957. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI–XIX веков: (Очерки по истории народных верований). М.



ВЕЩИ ГОВОРЯТ

MAKING SILENT THINGS SPEAK

В.А. Дергачев[1]

КУЛЬТУРНАЯ ФУНКЦИЯ СКИПЕТРОВ И МОДЕЛЬ ИХ ВОЗМОЖНОЙ АРХЕОЛОГИЗАЦИИ (ПО ДАННЫМ ГОМЕРОВСКОГО ЭПОСА)

V.A. Dergachev. Cultural functions of scepters and a model of their archeologization (based on the Homeric epos).

The Homeric epos demonstrates a complicated and ramified structure of symbols. The latter play an important role at all possible levels and in all possible realms of human life. The author undertakes an attempt to reveal both social and cultural functions of this symbolism and to characterize the rituals associated with it. Particular attention is paid to the functions of scepters. This problem is considered with the use of archaeological materials.

«... и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, <...> и каждого имя напиши на жезле его»<...>

Ветхий Завет. Числа 17,2

От автора

Настоящая работа возникла в результате длительных поисков, предпринятых автором по анализу и осмыслению одной из редких, чрезвычайно сложной для понимания, но вместе с тем исключительно информативной в культурно-историческом отношении категории археологических объектов, интерпретирующихся обычно как скипетры или жезлы. Речь идет о каменных зооморфных навершиях эпохи энеолита, известных от Заволжья и Северного Кавказа до Восточного Средиземноморья и изначально вызвавших и продолжающих будить нескончаемые дискуссии по самым сложным проблемам древней истории Европы. Это проблема места и времени одомашнивания лошади и возникновения всадничества (навершия — изображения взнузданной лошади); проблема возникновения вождеств (навершия — инсигнии власти); проблема военной экспансии степных скотоводческих обществ в ареал древнеземледельческих цивилизаций Карпато-Подунавья и Балкан (распространение скипетров — результат экспансии) и пр.[2]

Основные, предварительные результаты по типологизации и интерпретации (археологический аспект) этих зооморфных наверший были изложены автором в докладе на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова (Дергачев 2002). По сути, мои выводы полностью подтверждают мнения тех исследователей, позиции которых отраженны в предшествующем абзаце.

Между тем, атрибутирование зооморфных наверший к категориям социальной символики — скипетрам, априори предполагает целый комплекс присущих им социо-культур-

---

[1]Институт археологии и этнографии АН Молдовы, Кишинев, Молдова.

[2]Основная литература к проблеме о зооморфных навершиях приведена в недавней работе Б. Говедарица и Е. Кайзер (Govedarica, Kaiser, 1996). Социальные и культурно-исторические аспекты интерпретации наверший полнее всего рассмотрены в работах В.Н. Даниленко и Н.М. Шмаглий (Даниленко, Шмаглій 1972; Даниленко 1974: 72 и след.), а также во многих публикациях Н.Я. Мерперта, М. Гимбутас, М. Гарашанина и иных исследователей.

ных качеств и свойств, раскрытие которых вне компетенции археологических методов анализа. Это обстоятельство и побудило автора обратится к письменным источникам, которые, в отличие от археологических, могут содержать в себе и оценку социального значения этой символики, и описания связанных с ними ритуалов. И в этом отношении наиболее благодатным источником оказался именно гомеровский эпос.

Обращаю еще раз внимание читателей, что для меня, археолога, гомеровский эпос — не более чем средство распознания общей модели культурной функции скипетров как таковых, безотносительно их конкретного этокультурного контекста; модель, которая, с теми или иными оговорками, вполне приложима при оценке социальных процессов, свойственных древним обществам, изучаемым по археологическим остаткам и обнаруживающим подобную символику.

Своеобразная знаковая символика, опредмеченная в разного рода навершиях, скипетрах, жезлах, знаменах и проч., составляет неотъемлемую часть обширной системы средств общения или, по М.К. Петрову (Петров 1999: 39 и след.), социокода культуры, призванных обеспечить континуитетность — непрерывную жизнедеятельность того или иного социального организма во всех свойственных и обязательных для них ячейках восприятия и передачи информации от прошлых к будущим поколениям.

Следуя данным этнографии и археологии, интересующая нас знаковая символика возникает еще в недрах архаичных обществ, находящихся на уровне присваивающего хозяйства. Но в наибольшем объеме она реализуется лишь с переходом к производящим формам хозяйствования, когда специализация производств, развитие ремесел, торговли, а вследствии этого — накопление богатств и возникновение войн, неминуемо приводят к усложнению социальных отношений, сопровождаясь введением более или менее разветвленной системы знаковой символики, имманентно отражающей — фиксирующей и регламентирующей разворачивающиеся социальные процессы во всех их проявлениях и на всех уровнях связей (Щепаньский 1969:115 и след.).

О чрезвычайной значимости опредмеченной социальной символики в жизни древних обществ, находящихся на разных стадиях перехода от родоплеменных к предклассовым или классовым отношениям, свидетельствует то, что в различных проявлениях она широко представлена и в культурах нео-энеолита, и в культурах эпохи бронзы или эпохи железа. Причем, в разных материалах, в разных изображениях она присутствует практически по всей эйкумене и первичных, и вторичных центров древних цивилизаций. Вспомним энеолитические навершия-скипетры в виде стилизованных голов лошади, оговоренные в начале работы (Рис. 1), каменные навершия в виде медведя, характерные для Прибалтийской зоны (Europaeus 1928; Крайнов 1972: 203 и след.), навершие в виде кабана с Алтая (Иессен 1941: 9 и след.), а с другой стороны — составные золотые навершия-скипетры из погребений Варненского могильника (Ivanov 1978. Fig. 3; 4). В эту же категорию вписываются полое навершие-булава с золотой окантовкой из Майкопского кургана (Пиотровский 1995), медный жезл из Тепе-Гисара III (Рис. 2) с зооморфными изображениями (Brentjes 1976: 35). Из Восточного Средиземноморья можно назвать парадные каменные топоры-навершия из клада L из Трои II (Рис. 3) или, скажем, каменное навершие в виде леопарда (Рис. 4) из Ситагруа (Renfrew 1970:131, Tab. XIX b). С микенской цивилизацией связывают каменное навершие-скипетр в виде прыгающего леопарда (Рис. 5) из Малия (Matz 1969: Pl.62), агатовое навершие-булава с Кипра из коллекции Чеснола или более поздний по времени золотой скипетр с изображениями птиц, найденный также на Кипре близ Куриона (Casson 1937: 64 и след., Pl.VI; XI). И список этот можно дополнить множеством других находок.

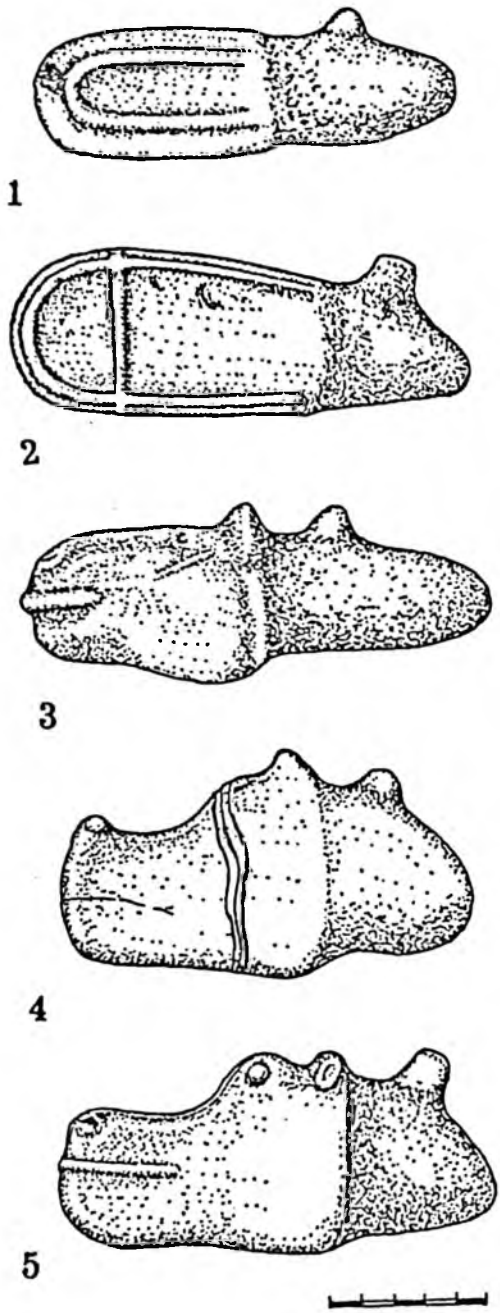


Рис. 1. Каменные навершия-скипетры энеолита Восточной Европы: 1 — Вэлень (Важа); 2 — Архара; 3 – Суворово; 4 – Сэлкуца; 5 – Терекли Меклеб

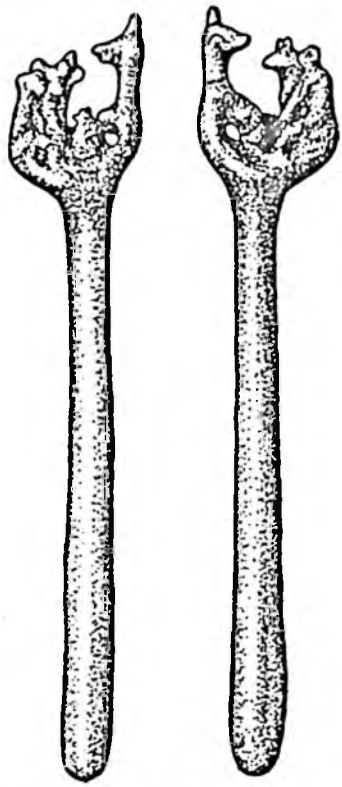


Рис. 2. Медный жезл-скипетр из Тепе Гисара III (по B. Brentjes).

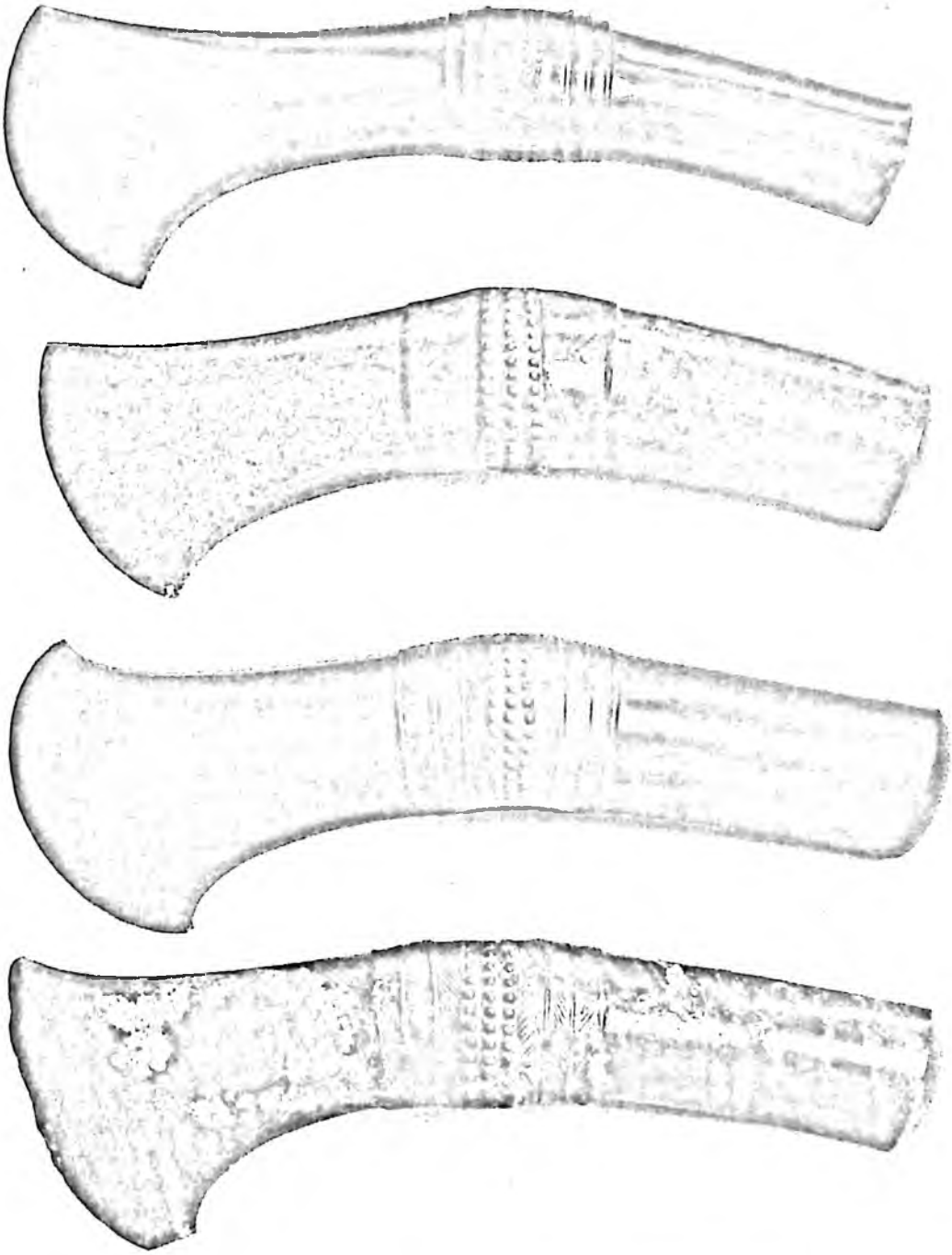


Рис. 3. Каменные церемониальные топоры из Трои II. Клад «L». (Der Schatz aus Troja. Katalogbuch Ausstellung in Moskau 1996/97).

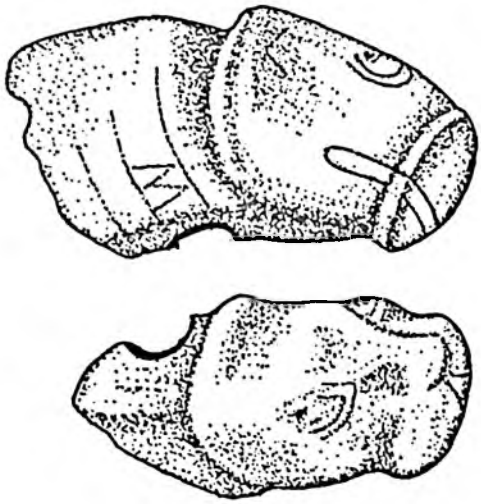


Рис. 4. Каменное навершие-скипетр из Ситагруа (по C. Renfrew — прорисовка с фотографии).

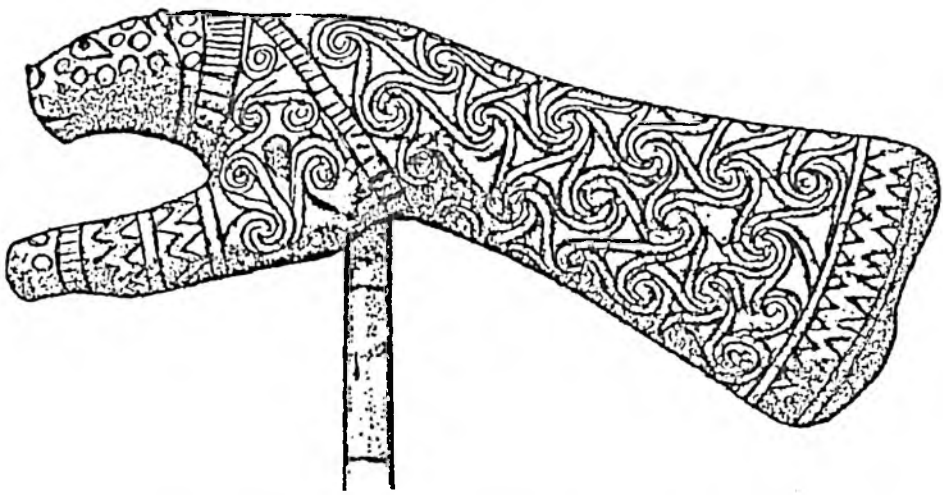


Рис. 5. Каменное навершие-скипетр из Малия (по Fr. Matz).

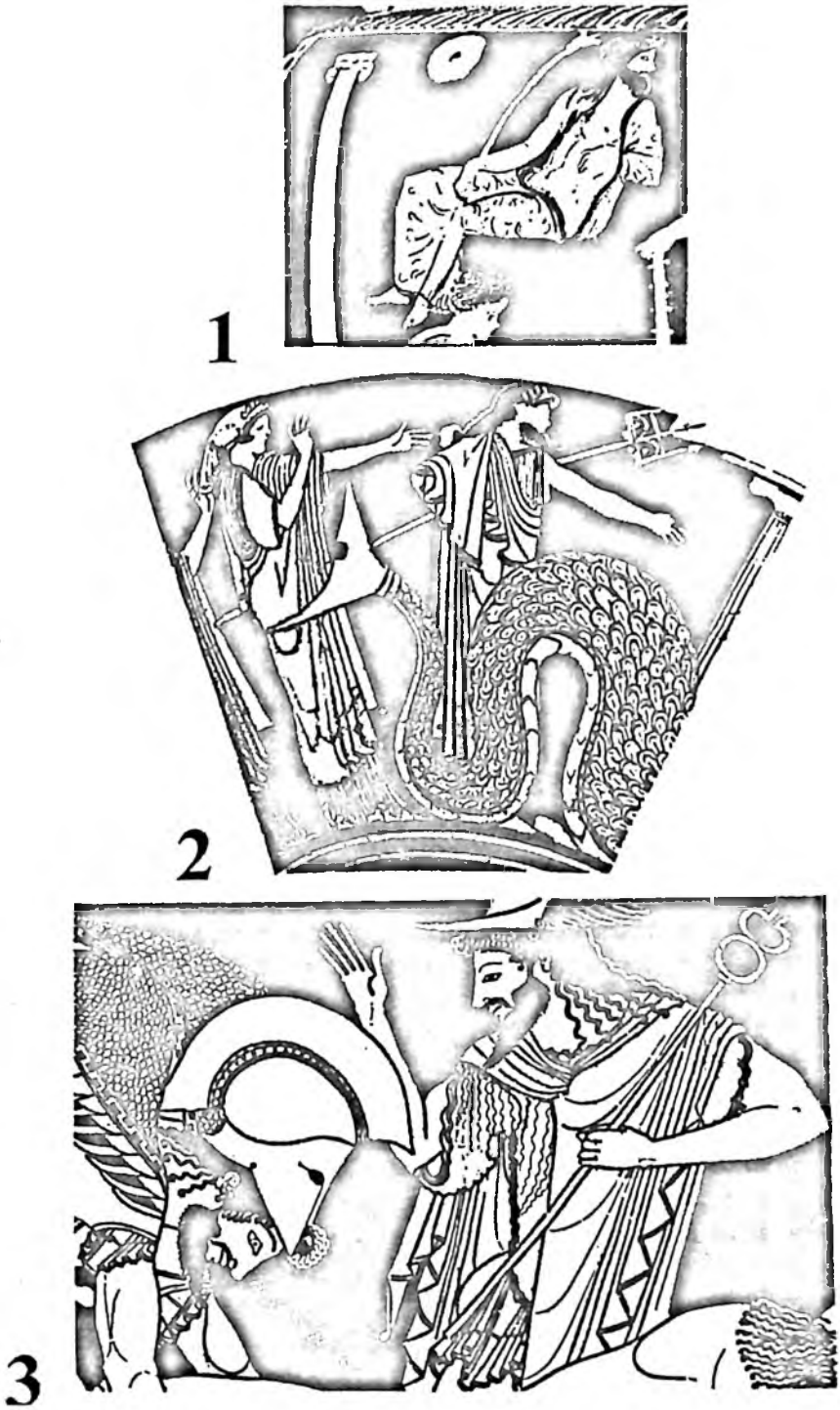


Рис. 6. Представители Олимпа со своими жезлами: 1 — Зевс; 2 — Посейдон; 3 — Гермес. Фрагменты изображении на греческих сосудах VI-IV вв. до н. э. (The Metropolitan Museum of Art Buletin. 1994).



Рис. 7. Царь Аркесилай со скипетром, наблюдающий за погрузской корабля. Изображение на лаконской чаше (по М.И. Максимовой и Т.В. Блаватской).

Примечательно однако то, что в различных наименованиях интересующие нас категории материалов неизменно фигурируют практически во всех эпических произведениях, и в особенности в героическом эпосе. Жезлы, булавы, венцы, знамена и прочие опредмеченные символы являются непременным атрибутом власти или отличия героев, царей и предводителей в эпосах «О Гильгамеше», «Авесте», «Ригведе», «Махабхарате». Особенно часто встречаются упоминания интересующих нас скипетров и жезлов в книгах Ветхого Завета и гомеровском эпосе: и в «Илиаде», и в «Одиссее». Но если, за редкими исключениями, в книгах Ветхого Завета скипетры или жезлы лишь констатируют высокий социальный ранг держателей этих атрибутов, то в «Илиаде» и «Одиссее» те же символы обнаруживают исключительно разнообразный контекст, позволяющий раскрыть не только социальную и культурную функции этих атрибутов, но и проследить основные, связанные с ними ритуалы, во всем многообразии их проявления и в мирной жизни, и в ситуациях военного состояния общества.

Между тем, как ни парадоксально, несмотря на очевидную познавательную значимость, проистекающую из самого определения — социальная символика, культурная функция этих категорий материалов практически остается неизвестной. Насколько я информирован, не считая множества публикаций, констатирующих причастность тех или иных находок к кругу социальной символики (пример тому — зооморфные скипетры энеолита), эта тема специально не рассматривалась ни в археологической, ни в этно-культурологической литературе, по крайней мере, русскоязычной. Иное дело антропо- или зооморфные культовые изображения (пластика, скульптура), которые тоже «социальны», но приоритетно связаны с кругом культовой символики, рассмотрены во множестве работ, но которые в данном случае нас не интересуют.

Предлагаемый материал включает анализ социальной символики, обозначенной в гомеровском эпосе как жезлы, скипетры.

Задача анализа двуединая. Во-первых, благодаря частоте встречаемости и разнообразию контекстов, надлежит хотя бы в общих чертах определить основные социальные и — шире — культурные функции этой символики на примере конкретного, пусть даже отчасти мифологизированного общества, каковым он представлен в эпосе. Во-вторых, учитывая «информативность» эпоса, а также множество иных источников, как бы дополняющих сведения Гомера о судьбах героев эпоса, попытаться, хотя бы на уровне общей тенденции, разработать модель возможной археологизации или возможного депонирования действующей в реальной жизни символики в археологических артефактах.

Решение обеих названных задач позволит, надеюсь, хотя бы отчасти упростить возможность восприятия сходной социальной символики, характерной обществам энеолита-бронзы Европы и возможных свойственных им социальных процессов. Иными словами, предлагаемое исследование имеет конкретный — прикладной — характер, без которого интерпретация археологического материала в процедурном отношении зачастую оборачивается простым мифотворчеством.

Гомеровский эпос: проблема источников

Полагаю, что гомеровский эпос не нуждается в особом представлении. Характер источника и отраженные в нем события постоянно были и продолжают оставаться в поле зрения многих разнопрофильных специалистов (Лосев 1960; Ленцман 1963; Блаватская 1966; Андреев 1976 и многие др.), включая археологов (Клейн 1998; 2000 и др.).

Автор отчетливо сознает разновременный, многокомпонентный состав и «Илиады», и, возможно, «Одиссеи», вызвавший множество противоречий и в описании событий, и в характеристике их персонажей, и, в частности, как увидим далее, в оценке и характеристике интересующих нас социальных символов. Однако для нас эти обстоятельства не столь существенны. Мы будем обходить «острые углы», поскольку социальная и культурная функция интересующих нас символов в общих чертах, думается, была единой — в предгомеровский, гомеровский или постгомеровский периоды. Менялась форма их изображения, но не сама суть. Ведь в качестве реминисценций они существуют и во многих современных культурах.

Следуя конкретным задачам нашего анализа, вынужден оговорить лишь два обстоятельства.

Первое из них касается самого характера эпоса. «Илиада», как известно, представляет собой сказание о Троянской войне. Это военная эпопея, содержащая описание отчасти реальных, отчасти мифологизированных, но конкретных, с точки зрения самого Гомера, событий, где, подчеркиваю, в соответствии с военной ситуацией отношения между различными участниками событий строго структурированы как между собой, так и по иерархической лестнице: боги, герои, цари, старейшины, простые воины. Иное дело «Одиссея», представляющая своего рода «приключенческий роман», полный «фантастических» ситуаций, рассказывающий о судьбе одного из главных героев и его «Возвращении»[3]. Независимо от возможной символики образа Одиссея и самого произведения, для нас в данном случае важно то, что возвращение Одиссея происходит как бы на фоне обыденной мирной жизни ахейского общества. Иными словами, в «Илиаде» — война, а в «Одиссее» — мирная жизнь.

[3] О символике образа Одиссея и произведения в целом — см. Артог 1998. Любопытную версию о символике этого произведения высказал автору В.А.Бочкарев — тема «Путешествие и возвращение из потустороннего мира».

Второе обстоятельство сугубо источниковедческого свойства. Оно касается верификации использованных нами источников и принятых в них обозначений интересующих нас символов, с целью исключения возможных отклонений от исходного — греческого текста, нежелательных для нашего последующего анализа.

Должен оговориться. Речь идет не столько о содержательном анализе соответствующих греческих текстов, практически невозможном для автора, сколько о простом сравнительном сопоставлении принятых в оригинале терминов с обозначениями, принятыми в использованных нами переводных версиях[4].

Для сравнительного сопоставления, помимо привлеченного для цитирования русскоязычного перевода «Илиады» (перевод Н.И. Гнедича) и «Одиссеи» (перевод В.А. Жуковского)[5], было использовано двуязычное английское издание «Илиады» на греческом языке в подстрочном переводе A.T. Murray[6], а также издание «Илиады» и «Одиссеи» на греческом и румынском языках в версифицированном переводе Ge. Murnu[7].

Сводные данные об основных обозначениях социально значимых символов в греческих текстах «Илиады» и «Одиссеи» и их соответствующие переводы в использованных автором версиях представлены в Табл. 1 («Илиада») и 2 («Одиссея»).

Как следует из составленных таблиц, и в «Илиаде», и в «Одиссее» интересующая нас знаковая символика, за исключением атрибута Посейдона — τρίαιναν, обычно фигурирует в двух единственных обозначениях: σκήπτρον и ῥάβδον (или сложносоставное от последнего — χρυσό+ρραπις). Оба эти термина обнаруживают разное, но вместе с тем зачастую однозначное или близкое по смыслу значение. Так, в частности, и слово σκήπτρον, и слово ῥάβδον, как следует из соответствующих контекстов эпоса и из использованного справочника (GEL. сс.1562, 1609), в одних случаях могут означать простые бытовые предметы: палка (опорная), посох (странника), трость, трость для ловли рыбы. Вместе с тем, в других случаях, оба эти слова могут обозначать различные инсигнии или атрибуты, предназначенные и используемые их держателями для психического или физического воздействия на окружающих (жезлы, скипетры, волшебные трости-палочки), т.е. предметы, которые попадают в категорию социально значимых символов (Табл.1;2).

Показательно, однако, другое. Оказывается, что на уровне обозначения простых утилитарных предметов термины σκήπτρον и ῥάβδον взаимозаменяемы, а обладателями обозначенных предметов могут быть и люди — смертные, и представители Пантеона. А вот на уровне обозначения социально значимых символов использование тех же терминов в текстах «Илиады» и «Одиссеи» оказывается строго разграничено. Обладателями σκήπτρον, подчеркиваю, как знаков особого положения, выступают только люди смертные — как живые, так и умершие — в царстве Аида. Обладателями же ῥάβδον и/или сложносоставного от него — χρυσόρραπις, как специфическими объектами воздействия на смертных, в обоих произведениях эпоса выступают только представители Пантеона. Имеются лишь два исключения из этого правила. Один случай, когда форма σκηπανίω привлечена для обобщенного обозначения атрибута Посейдона (Il. XIII, 59), имеющего обычно свое собственное обозначение τρίαιναν (англ., рум. — trident, рус. — трезубец). Второй случай, когда

---

[4] Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность коллегам M. Alexianu и В.П. Никонорову, за неоценимые консультации по древнегреческому языку. Сердечный поклон также В.А. Бочкареву, Ю.Ю. Пиотровскому, Ю.А. Виноградову, за полезные замечания и советы в процессе редакции рукописи.

[5] Использовано издание «Гомер: Илиада. Одиссея». Серия — «Библиотека всемирной литературы». Изд. Художественная литература. М. 1967.

[6] Homer. The Iliad. London. William Heinemann Ltd. I — 1988; II — 1976.

[7] Homer. Iliada. 1–3. 1999; Homer. Odiseea. 1–3. 2000.Ed. Teora. Bucureeti.

Табл. 1. Термины, обозначающие социально значимые символы и простае предметы в греческом тексте и переводных версиях "Илиады" *(Курсивом даны термины, отсутствующие в оригинале)*

ИЛИАДА		ПЕРЕВОДЫ			Принадлежность/ держатель
Книга/ строка	Обозначение	A.T.Murray	Н.И. Гнедич	Ge. Murnu	
1	2	3	4	5	6
I, 279	σκηπτοῦχος	a sceptred k.	скиптроносец	domn de toiag	Агамемнон
II, 46	σκῆπτρον	the sceptre	скипетр	sceptru	-«-
101	σκῆπτρον	the sceptre	скиптром	sceptrul	-«-
102	-	-	*скиптр*	-	-
109	τῷ ὅ γ'	Thereon he…	на скиптр	în sceptrul	-«-
186	σκῆπτρον	the staff	скипетр	sceptrul	Агам./Одис.
187	σὺν τῷ	therewith	скиптром	cu dînsul	-«-
197	-	-	*скиптроносца*	-	
199	σκήπτρῳ	with his staff	скиптром	cu sceptru-l	-«-
206	σκῆπτρόν	the sceptre	скиптр	sceptru	Агамемнон
221	-	-	*скиптроносца*	-	-
247	-	-	*скиптроносцев*	-	-
265	σκήπτρῳ	his staff	скиптром	cu sceptrul	Агам./Одис.
268	σκήπτρου	the staff	скиптра	cu sceptrul	-«-
284	-	-	*скиптроносцу*	-	-
VII,412	σκῆπτρον	his staff	скипетр	sceptrul	Агамемнон
IX,38	σκήπτρῳ	the sceptre	скипетром	sceptrul	-«-
99	σκῆπτρόν	the sceptre	скиптр	sceptrul	-«-
156	σκήπτρῳ	his sceptre	под скиптром	нет	-«-
298	σκήπτρῳ	thy sceptre	под скиптром	нет	-«-
XIV,93	σκηπτοῦχός	a sceptred k.	скиптродержец	sceptru	-«-
XXIII,568	σκῆπτρον	the staff	скиптр	sceptrul	Вестн./Агам.
895	-	-	*скиптроносный*	-	-
X,321	σκῆπτρον	thy staff	скиптр	sceptrul	Гектор
328	σκῆπτρον	the staff	скипетр	sceptrul	-«-
II,279	σκῆπτρον	the sceptre	скиптром	sceptrul	Агам./Одис?
III,218	σκῆπτρον	his staff	скиптра	sceptru	?/Одссей.?
I,15	σκήπτρῳ	a staff	на жезле	cârja	Жрец Хрис
28	σκῆπτρον	thy staff	скиптр	cârjă	-«-
374	σκήπτρῳ	a staff	на жезле	cârjă	-«-
I,234	σκῆπτρον	this staff	скиптром	toiagul	Судьи/Ахил?
241	τότε δ' οὔ	in their	на нем	toiagul	-«-
239	-	-	*скиптр*	-	-
245	σκῆπτρον	the staff	скиптр	sceptrul	-«-
XVIII,505	σκῆπτρα	the staves	скипетры	toiagul	Судьи
VII,277	σκῆπτρα	their staves	скиптры	toiagul	Вест./Идей
-«-	-«-	-«-	-«-	-«-	Вест./ Талф.
II,86	σκηπτοῦχοι	sceptred k.	скипртоносцы	de sceptre	Все
II,58	-	-	*скипртоносного*	-	-
IV,338	-	-	*скипртоносца*	-	-
IX,710	-	-	*скипртоносцы*	-	-
X,195	-	-	*скипртоносцы*	-	-
XX,219	-	-	*скипртоносца*	-	-
XXIII,289	-	-	*скипртоносца*	-	-
678	-	-	*скипртоносца*	-	-
VI,159	σκήπτρῳ	his sceptre	под скипетр	нет	Их бог
XIII,59	σκηπανίῳ	his staff	жезлом	sceptrul	Посейдон
XII,27	τρίαιναν	trident	трезубец	tridentul	-«-
XXIV,343	ῥάβδον	the wand	жезл	toiagul	Гермес
345	δ' αὖτε..	with his..	жезл	toiagul	-«-
Простые бытовые предметы					
XVIII,416	σκῆπτρον	staff	жезлом	toiag	Гефест

Табл. 2. Термины обозначающие, социально значимые символы и простые предметы в греческом тексте и переводных версиях "Одиссеи".*(Курсивом даны термины отсутствующие в оригинале)*

ОДИССЕЯ		ПЕРЕВОД		Принадлежность/ держатель
Книга/ строка	Обозначение	В.А.Жуковского	Ge.Murnu	
II,231	σκηπτοῦχος	скиптроносный	нет	Абстр./Одис.
V,9	σκηπτοῦχος	скиптроносный	нет	-"-
III,412	σκῆπτρον	скиптроносный	sceptrul	Нестор
VIII,41	σκηπτοῦχοι	скиптродержавных	de sceptru	Алкиной
47	σκηπτοῦχοι	скиптродержавных	de sceptru	Владык.-судьи
II,37	σκῆπτρον	скипетр	sceptru	Глаш./Телемах
80	σκῆπτρον	скипетр	toiagul	-"-
XI,91	σκῆπτρον	жезлом	sceptru	Птц.Тиресий
569	σκῆπτρον	скипетр	sceptru	Герой Минос
IV,64	σκήπτούχων	скиптродержавных	de sceptru	Абстакт
177	-	*скипетр*	-	-
XV,686	-	-	*sceptrul*	-
V,48	ῥάβδον	жезл	vargă	Гермес
49	-	*жезлом*	-	-"-
87	χρυσόρραπι	жезла з.	cu varga d.a.	-"-
X,277	χρυσόρραπίς	жезла з.	cu varga d. a.	-"-
331	χρυσόρραπίς	жезла з.	cu varga d.a.	-"-
XXIV,2	ῥάβδον	жезл	nuia	-"-
X,238	ῥάβδῳ	жезла	cu varga	Цирцея
293	ῥάβδῳ	жезлом	cu varga	-"-
319	ῥάβδῳ	жезлом	cu jarda	-"-
389	ῥάβδον	жезлом	cu varga	-"-
XIII,429	ῥάβδῳ	тростью	cu varga	Афина
XVI,172	ῥάβδῳ	жезлом	varga	-"-
456	ῥάβδῳ	трости	cu varga	-"-
IV,506	τρίαιναν	трезубец	tridentul	Посейдон
V,292	τρίαιναν	трезубцем	tridentul	-"-
Простые бытовые предметы				
XII,251	ῥάβδῳ	уда	beldie	Рыбак
XIII,438	σκῆπτρον	посох	toiag	Афина/Одиссей
XIV,31	σκῆπτρον	посох	băț	Одиссей
XVII,199	σκῆπτρον	палку	băț	Свин./Одиссей
337	σκηπτόμενος	посохом	băț	Одиссей
XVIII,103	σκῆπτρον	Палку	toiag	Одис.\Ирос

Табл.3. Термины, использованные в "Илиаде" и "Одиссее" для обозначения социальных символов (левое поле) и простых-бытовых предметов (правое поле), с учетоми их обладателей: смертных или представителей Пантеона (последние два случая - исключения)

Книга/ Строка	Термины в значении знаковых символов			Термины в значении бытовых предметов	
	У смертных	У представителей Пантеона		У смертных	У представителей Пантеона
	Разных	Разных	Посейдона	Разных	Гефест
Il. I,15	σκήπτρῳ				
28	σκῆπτρον				
234	σκῆπτρον				
245	σκῆπτρον				
279	σκηπτοῦχος				
374	σκήπτρῳ				
II,46	σκῆπτρον				
86	σκηπτροῦχοι				
101	σκῆπτρον				
186	σκῆπτρον				
199	σκήπτρῳ				
206	σκῆπτρόν				
265	σκήπτρῳ				
268	σκήπτρου				
279	σκῆπτρον				
III,218	σκῆπτρον				
VII,277	σκῆπτρα				
412	σκῆπτρον				
IX,38	σκήπτρῳ				
99	σκῆπτρόν				
156	σκήπτρῳ				
298	σκήπτρῳ				
X,321	σκῆπτρον				
328	σκῆπτρον				
XIV,93	σκηπτοῦχός				
XVIII,505	σκῆπτρα				
XXIII,568	σκῆπτρον				
Od.II,37	σκῆπτρον				
80	σκῆπτρον				
231	σκηπτοῦχος				
III,412	σκῆπτρον				
IV,64	σκηπτούχων				
V,9	σκηπτοῦχος				
VIII,41	σκηπτοῦχοι				
47	σκηπτοῦχοι				
XI,91	σκῆπτρον				
569	σκῆπτρον				
Il.XVIII,416					σκῆπτρον
Od.XIII,438				σκῆπτρον	
XIV,32				σκῆπτρον	
XVII,199				σκῆπτρον	
337				σκηπτόμενος	
XVIII,103				σκῆπτρον	
Od.XII,251				ῥάβδῳ	

Il.XXIV,343		ῥάβδον			
Od.V,48		ῥάβδον			
87		χρυσόρραπι			
X,238		ῥάβδῳ			
277		χρυσόρραπις			
293		ῥάβδῳ			
319		ῥάβδῳ			
331		χρυσόρραπις			
389		ῥάβδον			
XIII,429		ῥάβδῳ			
XVI,172		ῥάβδῳ			
456		ῥάβδῳ			
XXIV,2		ῥάβδον			
IL.XII,27			τρίαιναν		
Od.IV.506			τρίαιναν		
V,292			τρίαιναν		
Il.XIII,59			σκηπανίῳ		
VI,159		σκήπτρῳ			

форма σκήπτρΣ использована для обозначения атрибута, присущего Богу (Il. VI, 159). Случай особый, и я не берусь его комментировать. Тем более, что сопоставление трех имеющихся переводов обнаруживает разночтения, что, очевидно, объясняется сложностью самого исходного текста.

Как бы то ни было, во всех остальных случаях употребление терминов σκήπτρον и ῥάβδον и их производных для обозначения различных социально-значимых символов не вызывает сомнения.

Для наглядности нами составлена Табл. 3, которая включает все встречающиеся упоминания интересующих нас терминов и их производных. Таблица разбита на два столбца. В левом поле помещены все случаи использования указанных терминов в значении социально значимых символов с их разграничением на атрибуты, свойственные смертным (левый столбец), и атрибуты, характерные представителям Олимпа (правый столбец). В правом поле той же таблицы помещены те же термины, привлеченные в текстах для обозначения простых бытовых предметов с соответствующим подразделением на предметы, находящиеся в пользовании смертных (левый столбец) или в руках представителей божественного. Все термины и образованные ими понятия, для возможности верификации, даны в исходной, использованной в текстах форме.

Как следует из составленной таблицы, все встречающиеся в тексте термины σκήπτρον, независимо от формы, употребленные в значении социально значимых символов, приходятся на первый столбец левого поля и встречаются только применительно к смертным. В отличие от него термин vfbdon и его производные, взятые в том же значении, приходятся только на представителей Пантеона и заполнили второй столбец того же левого поля. Сюда попадают и упоминания атрибута Посейдона (τρίαιναν), хотя в одном случае на обобщенном уровне, в виде исключения, этот атрибут обозначен в форме σκηπανίΣ.

Иное дело, те же термины, но в обозначении простых бытовых предметов, которые в разных или в одних и тех же значениях встречаются и у смертных, и, в одном случае, у представителя Пантеона (Табл. 3).

Так что разграничительное использование терминов σκῆπτρον и ῥάβδον как социально значимых символов в обозначении плоскостей человеческое-божественное представляется вполне очевидным и бесспорным.

Между тем, обнаруженное четкое разграничение в использовании в греческих текстах терминов σκῆπτρον и/или ῥάβδον, как на уровне обозначения простых бытовых предметов в отличие от социально значимых символов, так и на уровне разграничения земного — человеческого, от божественного, в оговоренных выше переводах эпоса часто нарушены или смазаны. В разной степени эти отклонения от оригинала встречаются и в английском переводе «Илиады» А.Т. Murray, и в русских переводах Н.И. Гнедича и В.А. Жуковского, и в румынском переводе Ge. Murnu.

Эти отклонения от оригинала объясняются несколькими причинами. Первая из них — частая подмена (Табл.1,2) имеющегося в оригинале термина σκῆπτρον и его производных на якобы синонимическое английское ***staff*** (в переводе А.Т. Murray — Il.I, 15, 28, 234, 245, 374; II, 186, 199, 265, 268; III, 218 и др.); русское ***жезл*** (в переводе Н.И. Гнедича — Ил. I, 15, 374 или В.А. Жуковского — Од. XI, 91); румынское toiag (в переводе Ge. Murnu — Il. I, 233,279; VII, 277 и др.; Od. II, 80/114)[8] и даже — ***cerjz*** (в том же переводе — Il. I, 28, 374), при одновременном частом сохранении исходного, заимствованного из того греческого, широко использующегося в современных языках: в английском — ***the sceptre*** (у А.Т. Murray — Il. I, 279; II, 46, 86, 101, 206 и многие другие), румынском — ***sceptru*** (у Ge. Murnu — Il. I, 245-246; II, 46, 86, 101, 199 и др.; Od. II, 37/59, III, 412/552; VIII, 41/51, 47/66 и др.) и русском ***скипетр*** (у Н.И. Гнедича — Ил. I, 28, 234, 245; VI, 159, VII, 277,412 и многие др. или у В.А. Жуковского — Од. II, 80, 231; III, 412; IV, 63 и др.). Причем, даже в случаях, когда речь идет об одном и том же конкретном объекте, скажем, σκῆπτρον жреца Хриса в одном случае у Гнедича он передан через исходную греческую форму – «скиптр» (Ил. I, 28), а в двух других случаях, тот же σκῆπτρον обозначен термином «жезл» (Ил. I, 15, 374). Или, скажем, применительно к скипетру Агамемнона. В одном случае у Murray это — ***staff*** (Il. II, 186, 199, 265, 268), а в другом — ***sceptre*** (Il. II, 46, 101, 206 и др.). Или у Murnu относительно скипетра, данного Телемаху глашатаем — в одном случае сохранена исходная греческая форма (Od. II, 37/59,), а в другом применяется форма ***toiag*** (Od. II, 80/114). И подобные случаи одновременного использования разных терминов применительно к одному и тому же конкретному объекту встречаются и в переводе А.Т. Murray, и в переводе Ge. Murnu (Табл.1; 2).

Ситуация, однако, усложняется еще и тем, что в русской и румынской версиях термины жезл и toiag привлечены не только для замещения имеющегося в оригинале термина σκῆπτρον, но зачастую и для перевода термина ῥάβδον и его сложносоставной формы χρυσόῤῥαπις (χρυσό — приставка-эпитет, означающий золотой/золотая). Но этот термин, в свою очередь, как уже отмечалось выше, может означать и простые бытовые предметы (трость, палка) и инсигнии власти или отличия (в смысле — жезл, или рум. — toiag, англ. — wand). В тексте эпоса термин ῥάβδΣ лишь единожды встречается в значении простого утилитарного предмета — трость для ловли рыбы — адекватно отражены и в переводе В.А. Жуковского — уда — удочка (Od. XII, 251), и в переводе Ge. Murnu — bildie (Od. XII, 251/252). Во всех же остальных случаях термины ῥάβδον или χρυσόῤῥαπις приходятся на предметы, обладающие магическими свойствами воздействия на смертных или их души. А обладателями этих предметов выступают только представители божественного — Гермес,

[8] В версифицированном переводе «Одиссеи» Ge. Murnu нумерация строк греческого текста и переводного варианта нарушены. Здесь и далее — числитель — номер строки по исходному тексту, знаменатель — номер строки по переводному варианту.

Афина и др. В переводе Н.И. Гнедича термин ῥάβδον передан словом «жезл» (Ил. XXIV, 343, 345), хотя, как уже отмечалось ранее, этот же переводчик слово «жезл» дважды использовал для замещения исходного в оригинале — скипетр. У В.А. Жуковского термин ῥάβδον обычно переведен термином «жезл» (Од. V, 48, 87; X, 238, 293 и др.). Но при этом в двух случаях переводчик передает этот же термин словом «трость» (Од. XIII, 429; XVI, 456). А в румынском переводе Ge. Murnu тот же термин чаще всего переводится словом vargr — трость (Od. V, 48/65, 87/116; X, 238/329, 277/386 и др.), но, в тоже время, используется и термин toiag (Il.XXIV, 343, 345), который в свою очередь привлекается для замены и термина σκήπτρον, взятого как в бытовом, так и в значении символов власти, о чем сказано выше (Табл. 1;2).

Допускаю, что перечисленные выше отклонения вовсе не существенны для простого читателя. Вполне возможно, что некоторые из них уместны в случаях версифицированных переводов для более углубленного эмоционального восприятия эпоса и его архаического языка. Но одно дело литературный памятник, а другое — эпос как научный источник. Ведь для нас, в данном конкретном случае, рассматриваемые выше термины не более чем категории или понятия, отражающие определенные культурные и социальные явления с четко обозначенными границами или свойствами.

Поэтому корректность моих наблюдений целиком оставляю на суд компетентных специалистов. Но в дальнейшем, для соблюдения очевидного для меня заложенного в греческом тексте четкого разграничения в обозначении плоскостей социально значимой символики, для обозначения символов, свойственных смертным, мы будем сохранять исходный для оригинала термин — **с к и п е т р**, а для обозначения атрибутов представителей божественного будем использовать термин **ж е з л**. На обобщенном уровне, под последний термин попадают все атрибуты представителей Пантеона, обладающие магическими свойствами и обозначенные обычно в греческом оригинале словом ῥάβδον или χρυσόρραπις, а также два случая, когда, как исключение, атрибуты Бога (?) (Il. VI, 159) и Посейдона (Il. XIII, 59) переданы, соответственно, как σκήπτρΣ и σκηπανίΣ.

Особый случай отклонения от оригинала видится в переводе, точнее, интерпретации термина skkptron применительно к предмету, обладателем которого выступает представитель Олимпа Гефест (Il. XVIII, 416). В использованных нами переводах для обозначения этого предмета привлечены термины ***staff*** (англ.), ***жезл*** (рус.), ***toiag*** (рум.), т.е. термины, которые переводчики чаще всего используют для обозначения социально значимых символов. Между тем, как следует из соответствующего контекста «Илиады» и его переводов, речь идет не более как о простой, необходимой всякому хромающему на обе ноги, опорной палке или посохе в простом бытовом значении этого слова. Более того, несмотря на сравнительно многократное упоминание Гефеста в эпосе, ни в одном случае мы не найдем указаний на наличие у него каких-либо предметов для воздействия на окружающих, не считая, разумеется, его кузнечного искусства. Поэтому использование терминов ***staff, жезл, toiag*** применительно к данному конкретному случаю представляется неоправданным. И поэтому в дальнейшем нашем исследовании этот случай будет исключен из анализа социально значимых символов.

Наконец, характерные отклонения от первоисточника обнаруживаются в случаях, когда переводы выполнены без обозначения имеющихся в греческом тексте символов. Или, наоборот, когда символ или его производные от основного термина σκήπτρον введены переводчиками произвольно. Так, например, Ge. Murnu в пяти случаях перевод осуществлен без обозначения имеющихся в оригинале термина σκήπτρον и его производных (Il. VI, 159; IX, 156, 298; Od. II, 231; V, 9). И наоборот, термин sceptru в одном случае имеется в перево-

де (Од. XV, 686), но отсутствует в первоисточнике. А у Н.И. Гнедича скиптроносцы (Табл.1; 2) приводится без соответствия оригиналу (Ил. II, 58, 197, 221, 247, 284; IV, 338; IX, 710; X, 195; XX, 219; XXIII, 289, 678, 895 и др.). Естественно, все эти случаи не могут учитываться нами в дальнейшем исследовании[9].

Таковы основные оговорки, напрашивающиеся из сравнительного сопоставления терминов, обозначающих в гомеровском эпосе социально значимые символы, привлекаемых нами для дальнейшего анализа на предмет раскрытия их культурной функции.

Итак, следуя «Илиаде» и «Одиссее», жизнь гомеровского общества была буквально пронизана культом знаковой символики. Опредмеченная (в прямом или переносном смысле) в разного рода вещах, поясах, жезлах, скипетрах и проч., в соответствии с космогоническими представлениями, эта символика свойственна практически всем возможным уровням жизни общества: и в божественном — на небесах, в водном пространстве Океана или в подземном царстве Аида; и на земле — в мирской жизни.

Несмотря на многообразие форм, в социальном плане наиболее значимыми выступают две категории символов. Одну из них представляют скипетры (гр. σκήπτρον), которые, за единичными исключениями, о чем было сказано выше, свойственны лишь смертным как в земной, так и в посмертной жизни. Вторую категорию представляют жезлы, свойственные представителям Пантеона и обозначаемые обычно термином vbbdon и его производными. В эту же категорию попадает также атрибут Посейдона, имеющий свое специальное название τρίαιναν.

В общей сложности, интересующие нас жезлы и скипетры и производные от них термины — прямо или опосредованно — в обоих частях эпоса встречаются в около 60-ти случаях: 35 из них приходятся на «Илиаду» (Табл. 1), остальные на «Одиссею» (Табл. 2). Цифры эти по отношению к объему произведений весьма незначительны и к тому же весьма относительны. Дело в том, что, как увидим далее, все упоминания жезлов и скипетров фактически приходятся на 15–20 конкретных объектов. Но число обладателей подобных регалий значительно больше и зачастую легко определяется по контексту произведений.

Приступая к анализу интересующих нас жезлов и скипетров, первое, что обращает на себя внимание, — это различная частота встречаемости этих терминов и их производных как по каждому из произведений, так и относительно друг друга.

Так, в «Илиаде» свойственные смертным скипетры и производные от них понятия упоминаются в 30 случаях, а жезлы представителей божественного, независимо от их обозначения, — всего в пяти (Табл.1). В «Одиссее» же свойственные смертным скипетры упоминаются в 10 случаях, а жезлы, в различных обозначениях, — в 14-ти.

Единственным объяснением трехкратного преобладания упомянутых в «Илиаде» скипетров и производных от них понятий против «Одиссеи» может быть одно — специфика сюжетов сопоставляемых произведений: военное состояние общества, каковым оно выступает в Троянском цикле, при котором, что вполне логично, социальная символика имеет более разветвленную сеть и, соответственно, рассматриваемая терминология встречается чаще; в отличие от которой «Одиссея» характеризует как бы обычную, хотя и весьма насыщенную приключениями, но — мирную жизнь, где символика эта также значима, но имеет более ограниченную структуру, поэтому и упоминается реже.

Этот же вывод напрашивается и из соотношения частоты встречаемости терминов, обозначающих разноуровневые плоскости бытия, то есть символику божественного и символику смертных.

---

[9] Оговорка этих случаев важна для читателей, которые не располагают греческим текстом.

Заметное преобладание символики богов — жезлов — в «Одиссее» по отношению к присущим богам скипетрам и жезлам — в «Илиаде» (при том, что объем этих произведений находится в обратной пропорции — «Илиада» 15.693 строк, а «Одиссея» 12.110)[10] можно отнести за счет жанра «Одиссеи», где главный герой постоянно попадает в разного рода ирреальные или псевдореальные ситуации, которые можно объяснить лишь вмешательством небожителей.

Но шестикратное преобладание терминов «скипетр» над терминами, обозначающими жезлы богов в «Илиаде», говорит само за себя. Это прерогатива смертных — смертных, находящихся в состоянии войны. Воевали и пользовались символами люди, а не боги. Последние хотя и вмешивались в дела людей, оперируя своими жезлами, делали они это лишь потому, что сами же воюющие наделили их себеподобными качествами и атрибутами. Вспомним возмущение по этому поводу самого Зевса:

«Странно, как смертные люди за все нас, богов, обвиняют!
Зло от нас, утверждают они; но не сами ли часто
Гибель, судьбе вопреки, на себя вовлекают безумством?»(Од. I, 32-34).

Важно обратить внимание, что вывод о бульшей значимости знаковой символики именно обществом, находящемся в военном состоянии, подтверждается и данными Ветхого Завета, в котором такие знаковые символы, как знамена, жезлы или скипетры, чаще всего упоминаются в тех текстах, в которых речь обычно идет об организации военных подразделений (Исход), о назначении военных предводителей (Числа), установлении или утере военного превосходства (Исая).

Жезлы богов

Помня о том, что присущие богам качества присвоены им самими смертными, рассмотрим основные свойства, которыми, согласно эпосу, обладают божественные символы — жезлы.

Конечно, все хорошо помнят, что и в событиях Троянской войны, и в невероятных приключениях Одиссея прямо или опосредованно участвовали практически все представители Олимпа: от главных лиц до их знакомых и побочных жен. За редкими исключениями, каждый из них имел свои, весьма не постоянные, симпатии и антипатии, содействуя или противодействуя тому или иному герою — смертному. При этом каждый из них, взаимодействуя между собой или со смертными, достаточно часто пользовался свойственными им атрибутами.

Из представителей Олимпа, владевших и оперировавших жезлами и в Троянском цикле, и в «Одиссее», Гомер называет Зевса, его брата Посейдона, вестника олимпийца Гермеса, а также Афину и чародейку Цирцею.

Хорошо известно, что три первых персонажа действительно были наделены жезлами, составляющими их основной, главный и обязательный атрибут. Точно так же известно, что жезлы не входили в атрибутику ни Афины, ни Цирцеи. Поэтому наделение последних со стороны Гомера несвойственными им символами определенно носит образный характер.

По своему внешнему виду жезлы богов состояли из удлиненного стержня-рукоятки и навершия в верхней части, форма или изображение которого и выступало в качестве идентифицирующего символа того или иного конкретного бога.

Основным эпитетом жезлов и «законных» и «незаконных» их владельцев выступает термин «золотой» (Од.V, 87; X, 277; 331; XVI, 172; XXIV, 3). Не будем оспаривать подоб-

[10] По Н.А. Флоренсову (1991: 55) соответственно 15.790 и 12.096.

ное определение, возможно, они действительно были золотыми, подобно ржи, плодам вина или эгиде Афины (Од. VIII). Для нас куда важнее форма наверший жезлов, которая, как уже отмечалось, предопределена индивидуальными свойствами самого их владельца.

В соответствии с этим принципом, благодаря множеству описаний и древним изображениям, мы знаем, что действительно навершие жезла — «громовержца» и «метателя молний» Зевса имело форму в виде знака громовой молнии (Рис. 6,1); навершие жезла «землеколебателя» и царя водной стихии Посейдона представляло собой тройной гарпун или «трезубец» (Рис. 6,2), который в трех случаях так и обозначен (Ил. XII, 27; Од. IV, 506; V, 292). Особую форму — две змеи, сплетенные в виде восьмерки (Рис. 6,3), имело навершие жезла Гермеса — вестника олимпийца, имевшего отношение к хтоническим силам и обязанного, помимо поручений Зевса, сопровождать души умерших в Аид, что и отражено на жезле изображением змей[11].

Можно также напомнить о жезлах — тирсах, свойственных Дионису и его сопровождающим. Его жезл состоял из удлиненного стержня, увитого плющом, листьями винограда и увенчанного сосновой шишкой (фаллосом-?). Но Дионис лишь вскользь упоминается у Гомера (Ил. VI, 134; XIV, 325; Од. XXIV, 74).

Итак, помня о том, что рассматриваемые жезлы не более чем образы реальных символов, вложенных в руки богов самими же людьми, из приведенных примеров отчетливо обнаруживается, что жезл, а именно оформление его навершия, напрямую взаимосвязано с образом самого носителя жезла: это его имя, его качества и свойства, это личный идентифицирующий знак. Это нечто вроде рубца от клыка кабана на колене Одиссея, по которому его старая рабыня Евриклея (Од. XIX, 439 и след.), или сам его отец, старец Лаэрт (Од. XXIV, 331 и след.) идентифицирует спустя 20 лет личность самого Одиссея. Наличие следов памятной раны подтверждает саму персону Одиссея, единственного возможного носителя подобного знака-рубца.

Обращает на себя внимание своеобразная, отличительная, как увидим далее, от скипетров смертных, функция жезлов богов. Причем, она полностью зависит от уровня — иерархии самих их владельцев.

Практически все упомянутые в эпосе жезлы богов имеют магическую силу. Но возможности главных богов Зевса и Посейдона практически не ограничены и, соответственно, распространяются как на природные стихии, на других представителей Олимпа, так и на смертных. А вот возможности Афины, Гермеса или Цирцеи распространяются только на смертных. Рассмотрим эти моменты на конкретных примерах.

Следует признаться, что жезл всемогущего Зевса в эпосе даже не упоминается. Но в принципе, Зевсу таковой и не нужен. Ведь, чтобы сотрясти Олимп, устрашить своих подопечных или наказать смертных, Зевсу, согласно Гомеру, достаточно движения «черных бровей» (Ил. I, 528–530) или «маха всесильной руки» (Ил. IX, 687; XIII, 243).

А вот второе лицо — брат Зевса Посейдон — своим жезлом-трезубцем может надвое расколоть могучую скалу (Од. IV, 506 и след.), вызвать бурю (Од. V, 291 и след.) или (подразумевается) сотрясти саму землю (Од. V, 365). Им же, как известно, были разрушены сами стены Трои, которые прежде он же и строил (Ил. XII, 15 и след.). Вместе с тем, своим жезлом он способен творить и доброе, вселяя свежие силы в утомленных Аяксов (Ил. XIII, 59 и след.). Любопытен ритуал воздействия жезлом. Во гневе раскалывая скалу, Посейдон ударяет трезубцем о скалу (Од. IV, 506), а поддерживая смертных героев он лишь прикасается к ним жезлом (Ил. XIII, 59–60).

[11] О жезле Гермеса, имеющего также и свое специальное обозначение см.: F. Dier de Velasco 1988:39.

Иное дело культурные функции жезлов остальных представителей Олимпа. Они также обладают магической силой, но сила их, однако, распространяется не на стихии природы, а только на смертных: живых и умерших. А главные их свойства — перевоплощать, переобразовывать.

Интерес представляет жезл Гермеса, дважды упомянутый в «Илиаде» и пять раз в «Одиссее». По свидетельству Гомера, главные свойства его жезла:

«...у смертных, по воле всесильной,
Сном смыкает он очи или отверзает у спящих» (Ил. XXIV, 343–344; Од. V, 47–48; XXIV, 2–4).

Благодаря этому свойству, Гермесу удается незаметно провести старого Приама в лагерь Ахиллеса для выкупа тела Гектора. В заключительной главе «Одиссеи» с помощью того же жезла Эрмий — Гермес отправляет души убитых Одиссеем женихов в Аид:

«Им он махнул, и, столпясь, полетели за Эрмием тени
С визгом; как мыши летучие, в недре глубокой пещеры<...>
Так, завизжав, полетели за Эрмием тени...» (Од. XXIV, 5–9).

Магическими, преобразующими свойствами над смертными обладает жезл-трость Афины, касанием или ударом которого она перевоплощает Одиссея, облагораживая его внешний вид (Од. XVI, 173 и след.), или же превращая его в «хилого старца» (Од. XIII, 430–434; XVI, 456–457). Сходными качествами обладает и жезл-трость чародейки Цирцеи, прикосновением или ударом которого она способна обратить спутников, да и самого Одиссея, в «щетинистых», «хрюкающих свиней» (Од. X, 238 и след.; 294, 319) или же вернуть им изначальный вид (Од. X, 388 и след.).

Таковы основные особенности и функции божественных жезлов. Любопытно, что, согласно Ветхому Завету, магическими свойствами оживлять умерших обладали и жезлы божественных пророков (4-я Царств, 4, 29, 30).

Скипетры смертных

Как уже отмечалось, термин — скипетры и его производные в «Илиаде» встречаются 30 раз, а в «Одиссее» — в 10 случаях. Как значимая социальная категория, эта символика вплетена в контекст разных обстоятельств: военная и мирная жизнь; в разные временные отрезки: в ретроспективе или на момент повествования; и даже разных, с точки зрения плоскостей бытия: в реальной жизни или царстве Аида. Частота встречаемости и разнообразие контекстов позволяет с большей или меньшей полнотой раскрыть культурную функцию этой знаковой символики и в обыденной мирной жизни общества, и на случай экстремальной — военной ситуации.

Но прежде всего обратимся к некоторым общим моментам: внешнему виду и общим параметрам социальной функции скипетров.

Подобно ранее рассматриваемым жезлам богов, скипетры смертных и в «Илиаде», и в «Одиссее» представлены как реальные конкретные предметы, объективированные в том или ином материале.

Призванные отражать высокий социальный ранг его владельца, рассчитанные на зрительное воздействие на окружающих, скипетры представляют собой эффектные предметы, пышно украшенные драгоценными и иными броскими разноцветными материалами. Это подтверждается встречающимся эпитетом «золотой» (Ил. I, 15, 374; II, 268; Од. XI, 91, 569) и единственным относительно полным описанием одного из конкретных скипетров, «который ахейские мужи носят в руках судии»,

<...>который ни листьев, ни ветвей

Вновь не испустит, однажды оставив свой корень на холмах,
Вновь не прозябнет, — на нем изощренная медь обнажила
Листья и кору<...>
Вкруг золотыми гвоздями блестящий« (Ил. I, 234-246).

В конструктивном отношении скипетры, подобно жезлам, предполагают наличие стержня-рукояти и какого-то особого навершия. Следует полагать, что рукоять скипетра была достаточно длинной, чтобы при встречающихся в тексте случаях ритуального поднятия скипетра он был хорошо виден многотысячному собранию военных. Но об этом прямо свидетельствует и случай, когда Агамемнон выступал стоя, «опираясь на скипетр» (Ил. II, 109). В целом скипетры характеризуются как очень презентативные, прочные («во веки не гибнущий») (Ил. II, 46, 186), тяжелые предметы. Причем, настолько тяжелые, что от удара скипетром, нанесенного Одиссеем по «хребту и плечам» Терсита, у последнего

«<...> из очей его брызнули крупные слезы;
<...> по хребту полоса, под тяжестью скиптра златого,
Вздулась багровая» (Ил. II, 265–266).

Ударом своего тяжелого царского скипетра (жезла), которым можно голову «раскровить», грозится Менелай в трагедии Еврипида во время остановки армады в Авлиде (Ифигения в Авлиде, 311-312).

Подобную тяжесть скипетрам могло придавать либо навершие, либо материал рукояти. К сожалению, в эпосе не содержится ни описания, ни даже упоминания наверший скипетров смертных. Само по себе это обстоятельство невольно наводит на мысль о том, что рассматриваемая знаковая символика относится преимущественно к реалиям прошлого, реалиям, широкое массовое распространение которых предшествует во времени как самому Гомеру, так и событиям Троянской войны, хотя сам феномен скипетров, как символа царской власти, хорошо задокументирован и в постгомеровский период и, как известно, сохранился вплоть до современности. Важно отметить, что на возможность хронологического предшествия темы скипетров в гомеровском эпосе давно обратил внимание еще Эд. Мейер, работа которого осталась для нас недоступной (Андреев 1976: 49 и след.).

Ориентируясь на изображения наверший жезлов богов, изображения наверший — скипетров, известных по археологическим находкам или изображениям на греческой керамике классического периода, учитывая постоянно встречающиеся в гомеровском эпосе эпитеты, характеризующие специфические качества того или иного царя, вождя или героя (к примеру: Эвмей — «богородный свинопас»; Ахиллес — «быстроногий»; Гектор — «шлемоблещущий», «конеборный»; Одиссей — «хитроумный»; Нестор — «мудрый»; «конник гиренский»; Подалир и Махоон — «врачеватели» и проч.), определенно можно утверждать, что в случае наделенности этих героев скипетрами, навершия последних должны были бы изображать из себя нечто особенное, свойственные каждому из этих героев качества: физические, профессиональные или психические. Это могло бы быть любое простое или сложное антропо- или зооморфное изображение или любой иной специфический предмет, который в сочетании с иными второстепенными (объемными, цветовыми) элементами, в целом с максимальной полнотой отражал бы индивидуальные особенности скипетроносителя. А материалами для их опредмечивания определенно были бы редкие полудрагоценные породы камня, металлы или дерево, украшенные престижными броскими аппликациями, вставками с редкими красителями.

Второй момент общего порядка — это вопрос о специфике культурной функции скипетров.

Рассматривая выше жезлы богов, мы пришли к выводу, что главная их функция — это магическое воздействие на силы природы и на самих смертных. Иными предстоят из эпоса функции скипетров. Они носят в себе сугубо общественную — человеческую нагрузку. Хотя наличие скипетра, что вполне естественно, будит у его обладателя чувства самовлюбленности и самовозвышения (выпады Ахилла против Агамемнона). Эти символы рассчитаны на окружающих, на участников ритуала — членов совета, участников собрания и всех окружающих в повседневной жизни (даже при погрузке корабля — Рис. 7). Иными словами, скипетр — один из центральных, зримых объектов ритуала власти. Кстати говоря, из этого положения напрашивается простой логический вывод, а именно, что вся эта система знаковой символики изначально была введена именно представителями формирующейся власти безотносительно от форм или сфер проявления таковой: гражданской — административной, военной или религиозной.

Пользуясь определениями В. Тэрнера (1983: 33 и след.), можно сказать, что, если скипетры выступают в качестве ритуального символа, то ритуальная тема в нашем случае — сама власть в различных уровнях социальной жизни. А если при этом власть еще и законная, то категории **скипетр — закон — власть** выступают как однопорядковые, однозначные понятия. Соответственно, скипетры не что иное, как символы, идентифицирующие законодержателя, символ законновладеющего властью в присущей обществу социальной иерархии и, добавим, в конкретных условиях ее реализации. Одних, скажем, в условиях мирной жизни, и, предположительно, совершенно иных — в условиях военного времени.

Скипетры в условиях мирной жизни

Рассмотрим данные о скипетрах и скипетродержателях применительно к условиям мирной жизни. К сожалению, эти данные весьма фрагментарны. Причем, представлены они как бы в двух временных отрезках: на момент повествования или же как предшествующие описываемым событиям. Первые из них, как и следовало бы ожидать, приходятся на «Одиссею», вторые присутствуют как в «Одиссее», так и в «Илиаде». В качестве дополнительной информации приводятся также данные, почерпнутые из более поздних авторов VII–V вв. до н. э., сюжеты произведений которых содержат информацию о легендарных скипетродержателях гомеровского эпоса.

Следуя эпосу, обладателями скипетров в условиях мирной жизни Ахеи выступают легендарные цари далекого прошлого, представители культов и представители разноуровневых ветвей административной власти.

Из легендарных героев и царей далекого прошлого, владевших скипетрами, Гомер называет четырех. Это Пелоп или Пелопс и его сыновья — Атрей и Фиест, последовательные владельцы скипетра, который впоследствии достался Агамемнону (Ил. II, 101–107). Другое упоминание скипетра связано с сыном Зевса — душой давно умершего легендарного мудрого Миноса, увиденного Одиссеем в царстве Аида, где он творит суд над душами умерших (Од. XI, 568 и след.).

Из представителей культов — держателей скипетров — в эпосе упоминаются два персонажа. В одном случае речь идет о жреце храма Аполлона Хрисе, символ которого у Н.И. Гнедича обозначен по его исходной форме — скипетр (Ил. I, 28), а дважды он обозначен как жезл (Ил. I, 15, 374). Другим обладателем скипетра, так же обозначенного в переводе как жезл, выступает бывший в прошлом птицегадатель города Фивы Тиресий, с образом которого Одиссей встречается в Аиде (Од. XI, 90-91).

Более полные данные содержатся в эпосе о представителях гражданской власти, среди

которых скипетродержателями называются цари, воеводы или владыки-судьи, члены совета — старцы.

Чаще всего фигурируют, разумеется, цари. Среди здравствующих и действующих на момент повествования в «Одиссее» называются Нестор, царь Пилоса (Од. III, 412), Алкиной, царь феакийцев (Од. VIII, 41, 391). В прямую не называется в тексте, но определенно подразумевается в качестве скипетроносца (что и нашло отражение в переводе В.А. Жуковского — Од. IV, 177) Менелай, царь Лакедемона. По опосредованным данным, выступление Ментора перед советом старцев Итаки (Од. V, 231 и след.), заступничество Афины перед Зевсом (Од. II, 5 и след.), обладателем скипетра (в качестве царя Итаки) является Одиссей, на всем протяжении его 20-летнего отсутствия. Более чем двадцатилетним держателем скипетра в качестве царя Аргоса выступает Агамемнон — до начала Троянской экспедиции (Ил. II, 107–108) и до момента его возвращения в отчизну (Еврипид. Ифигения в Тавриде, 185). Наконец, хотя в эпосе не называется прямо, скипетродержателем, вне сомнения, является Приам, царь Трои, что подтверждается и более поздними свидетельствами, вложенными Еврипидом в уста Гекубы, жены Приама (Троянки, 148 и след.). Обращаю внимание на то, что во всех этих случаях перечисленные персонажи выступают обладателями скипетров не как участники Троянской войны, а в качестве царей того или иного города — полиса или народа. Напомним, что в переводе Н.И. Гнедича эпитет «скиптроносец» сопровождает еще целый ряд персонажей прошлого, сыновья и внуки которых сражаются под Троей (Ил. IV, 338; XXIII, 289, 678 и др.). Но в греческом тексте «Илиады» эти эпитеты отсутствуют (Табл.1).

Из иных лиц, более низкого ранга, наделенных скипетрами, в »Одиссее» называются владыки-судьи (Од. VIII, 41, 47), которых, как явствует из последующего текста, двенадцать, и которые находятся под главенством упомянутого выше царя Алкиноя (Од. VIII, 390–392).

Другой контекст ритуального присутствия скипетров — совет старейшин Итаки (Од. II, 25 и след.), из которого, однако, не ясно, идет ли речь о скипетре, принадлежащем совету в целом, или же каждому из его членов в отдельности. Сходный контекст, где старейшины-судьи — члены городского совета оперируют скипетрами, описывается также в сцене, изображаемой Гефестом на щите Ахилла (Ил. XVIII, 505 и след.).

Таков «Табель о рангах» скипетродержателей, находящихся или находившихся как бы вне или за кадром боевых сражений Троянской эпопеи.

Следуя прямым или опосредованным данным, все скипетроносцы выступают как бы законно избранными, призванными выполнять свои законные обязательства.

Всемогущие скипетроносцы-цари пекутся о своем государстве, «под скипетром» держат народы, могут застроить и одарить друзей целой областью (Од. IV, 169 и след.), отдают приказы, распоряжения, устраивают пиры и «отказаться не властен никто» (Од. VIII, 43), совершают жертвоприношения и возлияния богам, встречают, одаривают, согласно обычаю, и провожают заезжих «иностранных гостей» и многое, многое другое. И ко всему этому **обязывает** само наличие скипетра. Не зря ведь умирающий царь Пелей воскликнул:

«Нет тебя, царство, нет тебя!

Ты же зачем, скипетра бремя? Прочь». (Еврипид. Андромаха, 122).

В отличие от царей, скипетроносные владыки-судьи, подчиняясь царю, правят вверенными им областями, «правдиво-строгий» суд творя (Од. VIII, 390–391).

Усердно трудятся скипетроносные члены городских советов-старцев. В одном случае они рассматривают тяжбы двух спорящих (Ил. XVIII, 500 и след.). Старцы Итаки обсуждают, по настоянию Телемаха, беспорядки, творимые женихами Пенелопы в доме отсутству-

ющего Одиссея (Од. II, 9 и след.). Но что любопытно, из-за отсутствия главного скипетроносца — царя

«<...>на совет не сходились ни разу с тех пор, как отсюда

Царь Одиссей <...> удалился», признается один из членов совета (Од. II, 25 и след.). А отсутствовал Одиссей, как известно, целых 20 лет.

Однако адекватное соответствие понятий **скипетр — закон — власть** наиболее полно отражено, причем, дважды — в одном случае в устах Ментора (доверенное лицо Одиссея в Итаке) на совете старцев (Од. II, 230 и след.), а во втором — в устах самой Афины, покровительницы Одиссея, в ее обращении к Зевсу:

«Кротким, благим и приветливым быть уж теперь ни единый

Царь скиптроносный не должен, но, правду из сердца изгнавши,

Каждый пускай притесняет людей, беззаконствуя смело» (Од. V, 8–10).

Из приведенного фрагмента отчетливо проступает мысль, что отсутствие скипетроносца царя — это отсутствие самой правды, т.е., закона, а это равносильно хаосу — беззаконию.

Таковы, основные, весьма фрагментарные, но достаточно выразительные данные о социальной функции скипетров в условиях мирной жизни. Значительно объемнее предстают скипетры как символы власти в условиях военных событий Троянской эпопеи, где они обнаруживают более насыщенный и разнообразный контекст, что само по себе предполагает большую их значимость.

Скипетры в условиях Троянской войны

Война — есть война. Тем более, война «международная» с участием с каждой стороны десятков городов-государств, множества «племен и колен», более тысячи (1186) кораблей и в общей сложности около 100 тысяч сражающихся (Клейн 2000: 21). Следуя Геродоту (VII, 20), лишь Ксерксу удалось спустя столетия собрать большее войско для покорения Передней Азии.

Организация, обеспечение и управление столь многочисленной армадой предполагает четкую структуру власти и по горизонтали, и по вертикали. И эта структура, несмотря на кажущуюся на первый взгляд аморфность (случай Ахилла, который из-за конфликта с Агамемноном долго воздерживался от участия в сражениях), вполне очевидна.

Каждый, кто хотя бы раз прочитал гомеровский эпос, помнит, что все представители ахейской коалиции формально и де факто действовали под общим предводительством Агамемнона — главнокомандующего объединенных сил. Со стороны троянцев носителями этих функций выступает Гектор, сын Приама — царя Илиона.

Следующими по нисходящей идут цари, вожди — предводители 29 групп кораблей. Надо понимать, что они также ранжированы между собой, ведь число приведенных ими кораблей варьировало от 90 — Нестор, 80 — Диомед или Идоменей, до 12 — Одиссей, 11 — Эвмел, или даже и того меньше.

Низшую ступень в этом ряду как будто бы занимали воеводы. Они выступают как предводители отдельных групп кораблей, соподчиненные общему предводителю. Пример тому, корабли миромидян (50, по 50 гребцов-воинов). Они прибыли под общим предводительством Ахиллеса, но находились под прямым руководством четырех различных, специально поставленных Ахиллом, воевод (Ил. XVI, 168 и след.). Следует полагать, что воеводы также были разных рангов. Ибо, если в последнем случае на каждого воеводу приходилось по пять кораблей и соответственно по 250 воинов, то, следуя списку кораблей, на каждого из воевод-беотийцев приходилось в среднем по 10–12 кораблей с личным составом более

1200 воинов (Ил. II, 494 и след.).

Помимо ранжированного по вертикали «официального» корпуса власти, на период военной кампании действовал своего рода «военный совет», созывавшийся по мере необходимости главнокомандующим — Агамемноном или по инициативе членов совета. Членами совета являются лучшие из лучших: цари, вожди, герои и приближенные главнокомандующего. Важно обратить внимание, что членство в совете определялось не числом приведенных ими кораблей (скажем, Аякс Телемонид привел всего 15 кораблей, а Одиссей еще меньше — 12), сколько его авторитетом, особыми личными качествами вождя — предводителя, и, как увидим далее, не в последней очереди — близостью к персоне главнокомандующего.

Следуя эпосу, у троянцев функции «военного совета» на период военных действий выполнял совет старцев или старшин, с приглашением, очевидно, основных вождей — предводителей.

Согласно Гомеру, скипетродержателями в Троянской войне было весьма ограниченное число лиц.

Первыми среди них по иерархии, само собой, были «главнокомандующие». Со стороны троянцев — Гектор. К сожалению, его скипетр упоминается лишь два раза, да и то в одном и том же фрагменте (Ил. X, 321, 328).

Скипетродержателем является Агамемнон, «главнокомандующий» ахеян. Причем, именно на принадлежащий ему скипетр приходится порядка половины (Табл.1) всех обозначенных в Илиаде скипетров и производных от них терминов. И это обстоятельство, на взгляд автора, также подтверждает правоту тех специалистов, которые рассматривают тему «скипетров», да и самого Агамемнона, в качестве образов, предшествовавших Троянской войне, вплетенных в общую канву эпоса как эпическое в эпическом (Андреев, 1976: 49 и след.).

Следующими, вслед за главными по иерархии обладателями скипетров, выступают лучшие из лучших, т.е. приближенные к главному, самые знаменитые цари и вожди, которые одновременно предстают и как члены постоянно созываемых Агамемноном Советов.

Двоих из оперирующих скипетрами членов Совета Гомер называет сам — это Ахилл и Одиссей. Правда, из контекста и в первом (Ил. I, 241), и во втором (Ил. II, 279) случаях не совсем ясно, являются ли находящиеся в их руках скипетры их собственными символами. Но в эпосе, увы, всего лишь однажды, четко обозначено выражение, когда по завершению Совета

«Все поднялись, покорились Атриду,...

Все скиптроносцы ахеян» (Ил. II, 85-86)[12].

Хотя состав Советов в каждом случае несколько разный (ситуация-то военная: кто-то в страже, кто-то уже погиб и пр.), опираясь на приведенную формулу, основных скипетродержавцев — членов Совета, можно определить из соответствующих контекстов, где принимающие участие в советах называются поименно.

Помимо Агамемнона — «председателя», в список скипетроносцев, в качестве членов «военных советов», можно отнести Нестора, Одиссея, Менелая, Аякса Олиева, Аякса Телемонида, Фразимеда, Диомеда, Идоменея, Ахиллеса, по-видимому, Патрокла, Мериона, Филактета и Паламедона. Возможно, еще две-три персоны, но число их не превышает 13–15 человек (Ил. II, 404 и след.; IX, 10 и след.; 89 и след.; X, 17 и

[12] В переводе Н.И. Гнедича формула «все скиптроносцы» или «все скиптроносцы ахейские, сколько звано к совету» приводятся еще в IX (710) и X (195) книгах, но формула эта отсутствует в греческом оригинале.

след.; 72 и след.; 195 и след.). Важно обратить внимание, на то, что, как увидим далее, большинство перечисленных персонажей числятся среди бывших претендентов на руку Елены, связанных, в свое время, отцом Елены единой клятвой. Как бы то ни было, число скипетродержавных членов Совета достаточно ограничено, даже, если их число соотнести с общим числом предводителей кораблей — более 40. Отсюда вполне можно допустить, что остальные предводители — не члены «военного совета», так же могли быть наделены какими-то инсигниями власти, более низкого уровня, которые, однако, не были удостоены вниманием автора/авторов эпоса.

Заслуживает внимание тот факт, что и по контексту, и по общей логике, здесь следует понимать, что речь идет не о ранее рассмотренных скипетрах, свойственных Нестору, Одиссею, Менелаю или Агамемнону в качестве царей над тем или иным городом-государством, а о каких-то особых, других скипетрах, врученных им как участникам и предводителям войск на период военной экспедиции.

Несмотря на кажущуюся шаткость этого положения, оно целиком подтверждается случаем Гектора, который, не будучи царем, все же наделен скипетром (Ил. X, 321, 328), но наделен им лишь временно, в качестве предводителя троянской каолиции войск.

Помимо скипетров «главнокомандующих» Агамемнона и Гектора и скипетроносных членов «военного совета» ахеян, в эпосе упоминаются еще два скипетра, которыми оперируют вестники-глашатаи: Идей — вестник троян и Талфибий — вестник ахеян (Ил. VII, 275 и след.). Вот и весь список скипетродержателей военного времени.

Напомним, что, за одним оговоренным исключением, эпос не дает представления о внешнем виде скипетров вообще и о их навершиях в частности: ни о гражданских, ни о скипетрах военного времени.

Но, по логике развития этого типа предметов и по аналогии с жезлами богов, каждый из скипетров должен был бы отличаться какими-то особенностями, отражающими и идентифицирующими индивидуальные, неповторимые качества своего владельца, то ли связанные с его происхождением, то ли с его профессиональными, психическими или иными свойствами, отраженными в эпитетах героев, царей и вождей. Однако подобное предположение вполне допустимо к скипетрам царей, представителей административной — гражданской власти, где каждый сам по себе и независим от остальных. Другое дело, военная кампания — одна, общая, на период которой скипетроносцы вполне могли бы быть снабжены сходными по изображению скипетрами, пусть даже с какими-то особыми, второстепенными, индивидуальными чертами.

Своеобразными должно быть выглядели и скипетры вестников, которые, в одном случае, идентифицировали Идея, как представителя троянского, а Талфибия, как представителя ахейского станов или их «главнокомандующих».

Акцентируя внимание на эти обстоятельства, мы должны помнить, что в гомеровскую эпоху опознавательная, идентифицирующая знаковая символика была чрезвычайно развита. Вспомним, к примеру, различительное оформление носовых частей или окраску разных групп кораблей, прибывших в Авлиду в описании Еврипида (Ифигения в Авлиде, 235 и след.). Вспомним идентифицирующие изображения на щитах вождей и признание старика Антигоне в другом произведении того же автора:

«Я вижу на щитах изображенья
Взглянув на них, я узнаю вождей» (Финикиянки, 141 и след.).

* * *

Следующие два аспекта, которые подлежат рассмотрению, — это вопрос о лицах или органах, наделяющих скипетрами и полномочиями скипетродержателей.

Сведения Гомера о лицах, наделивших Агамемнона скипетром, противоречивы, а касательно скипетров остальных вождей — членов «военного совета» — вовсе отсутствуют.

О происхождении скипетра Агамемнона Гомер дает три версии. Четырежды указывается, что скипетр Агамемнону дал («даровал», удостоил чести) сам Зевс (Ил. II, 205–206) или Кронион Олимпиец (Ил. IX, 37-38; 98–99), что одно и тоже. В двух же других случаях говорится об «отцовском, вовеки не гибнущем скипетре» (Ил. II, 46, 186). Но имеется еще третья версия, которую мы приводим полностью. Будучи изготовлен Гефестом,

«Скиптр сей Гефест даровал молненосному Зевсу Крониду;
Зевс передал возвестителю Гермесу, аргоубийце;
Гермес вручил укротителю коней Пелопсу герою;
Конник Пелопс передал властелину народов Атрею;
Сей, умирая, стадами богатому передал Фиесту,
И Фиест, наконец, Агамемнону в роды оставил,
С властью над тьмой островов и над Аргосом, царством пространным.» (Ил. II, 102–108).

На **Табл. 4** представлена родословная рода Агамемнона и «родословная» его скипетра, из которой вполне очевидно, что передача скипетра, следуя принятой генеалогии, шла

Генеалогия

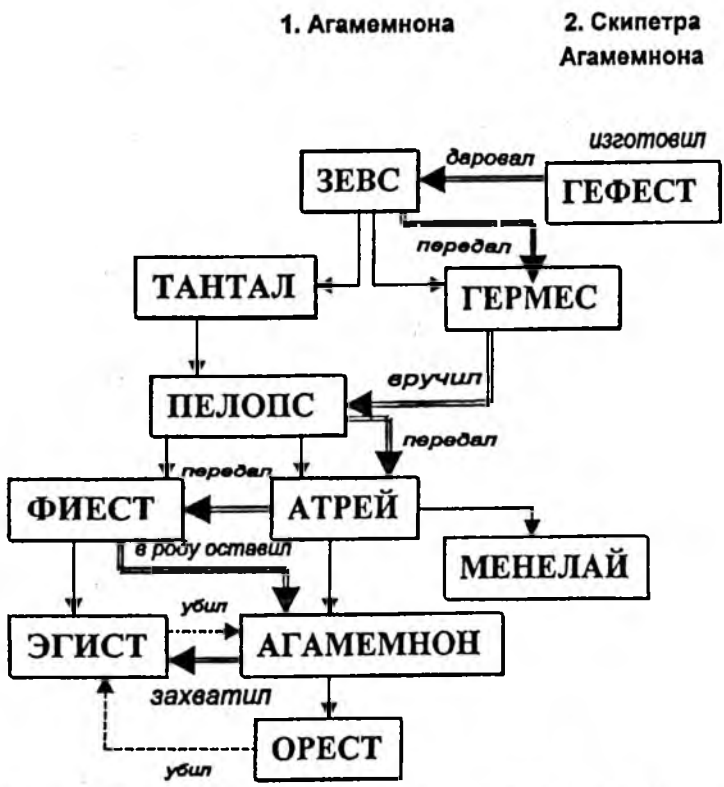


Табл. 4. Генеалогия Агамемнона (1) и его скипетра (2). (Ил. II, 101–108).

не по прямой родственной линии, а избирательно: от Зевса — сыну Гермесу; от Гермеса — сыну брата Тантала, племяннику — Пелопсу; от Пелопса — сыну Атрею. Последний передал скипетр своему брату — Фиесту, а этот — племяннику (сыну Атрея) — Агамемнону. Далее родословная обрывается, ибо, как известно, Эгист, сын Фиеста убил Агамемнона, незаконно присвоив себе и его царский скипетр (Еврипид. Электра, 320 и след.), а Эгист, в свою очередь, был убит Орестом — сыном Агамемнона (Табл. 4).

Какой из версий отдать предпочтение? Конечно, читатель, как предлагал Геродот, волен верить любой из них. Но мне представляется, что в эпосе спутаны два разных скипетра. Из приведенного отрывка совершенно очевидно, что речь идет о скипетре Агамемнона, полученном им в качестве царя. На это указывает дополнение «С властью над тьмой островов и над Аргосом, царством пространным». И здесь, опосредованно, через дядю — Фиеста — брата отца Агамемнона, вполне вписываются упомянутые выше определения «отцовский, вовеки не гибнущий скипетр».

Иное дело скипетр, которым Агамемнон был удостоен в качестве «главнокомандующего» военной коалицией против Трои. Честь эта была оказана ему, бесспорно, Зевсом Олимпийцем. Но не более чем честь. Ибо скипетр этот законно мог быть вручен ему только народом — его представителями, т.е. царями — вождями — советом, принявшими решение о самой военной экспедиции ахеян.

К счастью, механизм избрания предводителей, а соответственно, и наделение их символами власти отчетливо обнаруживается в «байке», рассказываемой Одиссеем пастуху-свинопасу Евмею:

«С Идоменеем, царем многославным, от критян был избран
Я с кораблями идти к Илиону; и было отречься
Нам невозможно: мы властью народа окованы были» (Од. XIV, 237–239).

Об этом же рассказывает и Менелай, о себе и о своем брате — Агамемноне, в трагедии Еврипида:

«С Агамемноном — братом, двух героев?
Без похвальбы сказать могу: в таком
Числе еще не видел мир и войска,
В каком я вел на кораблях ахейцев
Под Илион. Им не навязан был я,
Я выбором гордится молодежи
Могу как вождь» (Елена, 392 и след.).

Наконец, о специальном наделении Агамемнона и Менелая «двумя тронами» и «двумя скипетрами» для совершения морской экспедиции против Трои, «свидетельствует» и Эсхил в начале «Агамемнона».

Думается, этих свидетельств достаточно, чтобы признать то, что наделение скипетрами осуществлялось от имени народа инициаторами самой экспедиции в рамках созываемых ими советов, действовавших от имени «самого» народа. Прямые подтверждения этому обстоятельству можно найти и в выпадах Менелая против Агамемнона, решившего жертвовать свою дочь Ифигению для дальнейшего успешного продвижения кораблей из Авлиды (Еврипид. Ифигения в Авлиде, 337 и след.). И этот механизм наделения скипетрами, думается, касается как самого «главнокомандующего», так и остальных скипетродержателей. Другое дело, вестники с одной и с другой стороны, которые, очевиднее всего, наделялись скипетрами, соответствующими «главнокомандующим».

Что касается полномочий скипетродержателей, то они достаточно полно раскрываются через короткую, емкую формулу, дважды встречающуюся в «Илиаде». Она обращена к

Агамемнону. В одном случае она произносится Одиссеем:

«... Зевс прозорливый
Скиптр даровал и законы ...» (Ил, II, 205–206).

Во втором случае формула эта звучит в устах Нестора:

«...ты царь, и тебе вручил Олимпиец
Скиптр и законы, да суд и совет произносишь народу» (Ил. IX, 98–99).

Итак, **скипетр — закон — суд и совет**. Думается, комментарии здесь излишни. Как и в случае с царскими скипетрами в условиях мира, скипетр в военной обстановке есть символ полновластия его обладателя. Полновластия, выражающегося в праве скипетродержателя принимать решения и отдавать распоряжения (творить закон); проверять их исполнение, поощряя или наказывая исполнителей (творить суд), созывать и определять состав «военного совета» и, добавим, самостоятельно выполнять жертвоприношения и возлияния богам, т.е. выполнять функции жреца.

Обращает на себя внимание то, что в обеих приведенных формулах слово «скипетр» стоит на первом месте, т.е. получается, что именно благодаря наличию скипетра, главный из ахеян — Агамемнон, становится практически единоначальником, обладающим властью над всем и вся. И тогда получается, что именно благодаря скипетру он наделяется автором/авторами эпоса, богами да и самими сподвижниками такими эпитетами, как: «пастырь-владыка народов», «многих народов царь» или «повелитель мужей пространнодержавный», «строитель рати ахейской» или «властью верховный», «державный», «слишком могущественный», или «муж совета» и проч., которые, разбросанные по всему тексту «Илиады», с разными нюансами отражают его, скипетроносца Агамемнона, полномочия.

Не менее значительными были полномочия остальных скипетродержателей — лучших из лучших — приближенных к «Главному» — членов совета. Разница лишь в том, что они властны над всеми нижестоящими по рангу, но при этом полностью находятся в подчинении «Главного». Вспомним конфликт Ахиллеса с Агамемноном и мудрое напоминание Нестора:

«Ты, Ахиллес, воздержись горделиво с царем препираться:
... Мужеством ты знаменит ..,
Но сильнейший здесь он (Агамемнон — В.Д.)» (Ил. I, 277 и след.).

Неоспоримое превосходство Агамемнона открыто признается самим Ахиллесом, когда в ответ на предложение Клитемнестры подать ей руку как будущей теще, ни о чем не ведающий Ахиллес отвечает:

«Что говоришь? ... Мне оскорбить царя,
Рукой его касаяся святыни!» (Еврипид. Ифигения в Авлиде, 833–834).

Верховенство Агамемнона над всеми скипетроносцами неоднократно подчеркивается во множестве других ситуаций, не исключая и скипетроносного брата Менелая:

«Что же мне ты прикажешь и как повелишь, Агамемнон?» (Ил. X, 61).

И, надо признаться, к чести скипетроносца Агамемнона и окружающих его скипетродержателей, несмотря на обширность полномочий, они вполне справляются с ними.

Самостоятельно или совместно с приближенными — членами совета, они строят рати, «возбуждают» воинов; заботясь о безопасности стана, строят оборонительный ров с частоколом; высылают лазутчиков; принимают послов из иного стана; ведут переговоры с Ахиллесом; обеспечивают поступление вина и продуктов; заботятся о погребении усопших, врачевании раненых. Главенствуя над всеми, Агамемнон постоянно созывает Советы, распоряжается через глашатаев и вестников, приостанавливает сражение для погребения убитых, справляет жертвоприношения и возлияния богам, устраивает пиры, лично участвует в сражениях и прочее.

Обращают на себя внимание ближайшие к Агамемнону сподвижники – скипетроносцы «второго ранга». Они — его главные советники, они всегда в гуще событий и в стане, и в сражениях. Они же первые на пирах. Из них же избираются посольства (Ил. IX, 79 и след.). Они первыми вызываются совершить опасную ночную вылазку (Ил. X, 219 и след.). Они же, наконец, как известно, вошли в корпус деревянного коня, обеспечив взятие Трои. И все это приходится на скипетроносцев, близлежащих сподвижников Агамемнона, а это все те же — Нестор, Менелай, Одиссей, оба Аякса, Идоменей, Диомед, Фразимед и другие.

Но что любопытно, при практически неограниченной власти, обладание скипетром предполагает и многие особые качества — обязательства, включая готовность жертвовать собой и ближними ради успеха общего дела. Показательны в этом плане обвинения Диамеда, обращенные к Агамемнону в минуты его слабости, вызванной успехами данайцев, и готовностью Агамемнона отплыть в отечество:

«Дар лишь единый тебе даровал хитроумный Кронион:
Скипетром власти славиться дал он тебе перед всеми,
Твердости ж не дал, в которой верховная власть человека!» (Ил. IX, 37 и след.).

Ситуация эта снова повторяется и в момент, когда, преодолев оборону ахеян, Агамемнон предлагает спустить на воду часть кораблей и возмущенный Одиссей бросает ему:

«Смолкни, чтоб кто-нибудь здесь не услышал...
Кто говорить разумеет согласное с разумом здравым,
Кто скиптродержец, кому повинуются столько народов» (Ил. XIV, 90 и след.).

И в конце концов, не ради ли общего успеха вынужден был Агамемнон жертвовать собственной родной дочерью Ифигенией — жертва, призванная обеспечить кораблям попутный ветер из Авлида на Трою (Еврипид. Ифигения в Авлиде). И с этой точки зрения наличие скипетра конечно же «бремя», и это бремя распространяется и на мирное время (см. выше восклицание царя Пелея), и тем более в условиях войны. В чем, собственно, признается и сам Агамемнон по «свидетельству» того же Еврипида:

«О, эту честь,
А с ней и жезл (скипетр) охотно бы я отдал!» (Ифигения в Авлиде, 86 и след.).

Но с другой стороны, тот же скипетр позволял всемогущему держателю возвыситься в собственных глазах и возгордиться. И этого не избег и сам Агамемнон. Ведь, обладая неограниченной властью, он в то же время выступает главным распорядителем богатств, полученных при разграблении городов-государств на пути в Илион, а в случае конечной победы — и над богатствами самой Трои. Благодаря всемогущей власти, он груб и угрожает жрецу Хрису (Ил. I, 26 и след.), всем «вне ратоборства» слоняющимся (Ил. II, 391 и след.). Он оскорбляет Ахиллеса, силой отбирая доставшуюся ему по жребию Брисеиду (Ил. I, 318 и след.). И тут же, в трудное для ахейцев время, Агамемнон «под скипетр» обещает Ахиллу множество богатств, жен — как на момент, так и на случай победы над Троей (Ил. IX, 115 и след.).

Показательно, что, пользуясь своим положением, Агамемнон постоянно протежирует своего родного брата — Менелая, отговаривая его ввязываться в безнадежный для него бой с более сильным Гектором (Ил. VII, 109 и след.). А когда Менелай вызывается совершить ночную вылазку в стан врага, Агамемнон, «страшася» за брата, предотвращает участие брата в этой опасной вылазке (Ил. X, 240 и след.).

Обвинения в самовластии, необузданности и жадности главного скипетроносца постоянно звучат в устах простолюдина Терсита (Ил. II, 212 и след.), в устах Ахиллеса (Ил. I, 121 и след.; IX, 307 и след.; XVI, 49 и след.). Жесткие обвинения предъявляет возгордившемуся скипетроносцу сам его брат — Менелай, который, еще не зная о причинах жертвова-

ния Ифигении, резко обличает отрицательные перевоплощения брата, заканчивая словами: «Тебя же жезл (скипетр) ахейский ослепил» (Еврипид. Ифигения в Авлиде, 337 и след.; 413).

Таковы, в общих чертах, основные социальные функции скипетров в условиях военизированного общества. Подобно условиям мирной жизни, скипетры здесь выступают в качестве индивидуальных — именных знаков, отражающих то или иное, но строго определенное положение его носителя в действующей иерархической структуре, символизируя законные права и обязанности его держателя. Скипетрами наделяются от имени той или иной заинтересованной социальной группы или, формально, от имени всего народа, под исполнение строго определенных полномочий и задач. Обладание скипетром — это обладание властью в известных, оговоренных параметрах; это определенные обременительные обязательства, но в то же время это и возможность реализации собственного тщеславия, самовозвышения и не в последней степени — самообогащения.

Отмеченные выше положения характеризуют социальный аспект значимости скипетров как один из доминантных символов власти. Власти — в целом; в условиях гражданского или в условиях военизированного общества. Между тем, как культурные функции, в широком смысле этого понятия, лучше, полнее всего раскрываются через ритуалы или тот конкретный культурный контекст, который представляет своего рода операционное поле реализации заложенных в этих символах значений и целей.

Скипетры в системе ритуала власти

По определению В. Тэрнера: «Ритуал — это стереотипная последовательность действий, которые охватывают жесты, слова и объекты, исполняются на специально подготовленном месте и предназначаются для воздействия на сверхестественные силы или существа в интересах и целях исполнителей». Согласно тому же автору: «Ритуальный символ — это <...> элементарная единица специфической структуры в ритуальном контексте». Отличительная особенность ритуала и ритуального символа — полисемантичность, характеризующаяся многозначностью, асоциативностью, способностью к «конденсации» и «поляризации», отраженных в них действиях, идей и значений (Тэрнер 1983: 32 и след.).

Следуя разработкам В. Тэрнера, а также учитывая ранее выявленные социальные параметры ахейских скипетров, можно утверждать, что последние по сути выступают в качестве доминантных ритуальных символов, а контекст их реализации — сам ритуал власти. Ритуал власти, который в свою очередь структурно предполагает множество более дробных, кратных ритуалов, в совокупности ориентированных на успешную реализацию целого и, соответственно, преследуемых целей.

Эти дробные ритуалы «создают» необходимые условия для выражения «определенной» конкретной темы («постулаты или идеи»), передаваемой посредством ритуального символа в сочетании с определенными жестами, словами и иными средствами воздействия на окружающих. Учитывая полисемантичность ритуала и самого ритуального символа, подразумевается, что и центральная фигура ритуала, и прочие участники последнего, в особенности адресат ритуала, должны быть в равной степени сведущи в семантике символа, дабы адекватно воспринимать заложенную в ритуале тему.

Несмотря на относительно ограниченное число упоминаний скипетров, гомеровский эпос в целом дает представление о достаточно разнообразных ритуалах, в которых символика власти играет одно из центральных мест. Расчитанные на окружающих, выступая в качестве коммуникационно-трансляционных средств, зримо сообщающих или предупреждающих окружающих о высоком официальном ранге или полномочиях его носителя, ски-

петры являются непременным атрибутом, наличествующим во всех официальных встречах, независимо от их характера и уровня.

Условно все эти официальные встречи можно обозначить как ритуалы представительств. Подобное обозначение, возможно, не самое удачное, но, с точки зрения автора, оно призвано отразить двууровневость власти державшего в своих руках скипетроносца. Дело в том, что всякий, наделенный скипетром, по сути как бы выступает в двух ипостасях. К примеру, скажем, Агамемнон, вышедший со скипетром перед ахейцами. Все догадываются или точно знают, что он главный предводитель. Но через скипетр, о котором опять-таки все знают, что Агамемнон наделен им лично Зевсом (народом), он, Агамемнон, выступает как бы не только от своего лица, но и от лица самого Крониона Олимпийца (или самого народа).

Или, скажем, случай с вестовыми, приостанавливающими сражение при помощи скипетров. Возможно, сражающиеся знают лично и Идея — глашатая троян, и Талфибия — глашатая ахеян. Но скипетры в их руках через свою символику определенно указывают сражающимся, что первый из названных представляет самого Гектора, а второй — самого Агамемнона, и сражающиеся приостанавливают бой (Ил. VII, 274 и след.).

К ритуалам представительства относятся, бесспорно, церемонии скрепления договоров, официализирующих покорение того или иного народа, акт признания новой власти. Вспомним встречающиеся в эпосе выражения „под скипетр его покорил их Кронион« (Ил. VI, 159). Сюда же попадают официальные встречи местных властей со случайно заехавшим „иностранным« гостем (Од. VIII, 4 и след.); «рабочие» заседания «советов старейшин», проходящих всенародно (Од. II, 8 и след.), а в условиях военного времени — все оперативные заседания «военных советов» или «общевойсковых» собраний, на которых решаются основные вопросы момента.

Скипетрами приостанавливают сражения (Ил. VII, 275 и след.); под скипетр договариваются о временном перемирии (Ил. VII, 405 и след.); всенародно клянутся (Ил. I, 234, 245) и дают обещания на будущее (Ил.IX, 156, 298; X, 321, 328). Под скипетр судят в рамках городского суда (Ил. XVIII, 501 и след.) или на состязаниях по поводу погребения Патрокла (Ил. XXIII, 566 и след.). Под скипетр/жезл просят и умоляют (Ил. I, 12 и след.). Наконец, скипетром можно «обуздать» взбунтовавшихся (Ил. II, 198–199) и оскорбляющих главного скипетроносца (Ил. II, 265, 268), используя его просто как ударное орудие.

Вполне естественно, что все эти ритуалы осуществлялись в торжественной обстановке, в специально отведенных местах. В условиях мирной жизни — это агора, центральная площадь города, место сбора совета старейшин и народа. Описывая участие Телемаха в работе совета старцев Итаки, Гомер акцентирует, что «сел он (Телемах — В.Д.) на месте отцовом» (Од. II, 14), из чего следует, что места на агоре были именными, согласно рангу и положению. На центральную площадь города созывает народ и скипетроносцев для встречи со случайно заехавшим Одиссеем Алкиной, царь феаков (Од. VIII, 5 и след.). На центральной площади города, всенародно, творят суд старейшины-судьи в сцене, изображаемой Герфсом на щите Ахилла (Ил. XVIII, 496–506).

Местом совершения ритуала мог быть дом самого царя, куда «для угощения» приглашаются гости и все «скиптродержавные» владыки и судьи (Од. VIII, 10 и след.). В собственный же дом принимает Телемаха престарелый Нестор:

«Вышед из спальни, он сел на обтесанных, гладких, широких
Камнях, у двери высокой служивших седалищем, белых,
Ярко сиявших, как будто помазанных маслом, на них же
Прежде Нелей восседал,...
Ныне ж на камнях Нелеевых Нестор воссел, скиптроносный» (Од. III, 406 и след.).

Обращает внимание, что в условиях военного времени советы и «общевойсковые» собрания с присутствием скипетроносцев также проходили на «площади собраний», «в местах учрежденных» (Ил. II, 99, 206 и след.). Впрочем, в зависимости от обстановки, эти собрания могли проходить и непосредственно близ корабля, возможно, близ корабля главного скипетроносца (Ил. I, 12). В одном случае, совет созывается близ корабля Нелида, т.е. Нестора (Ил. II, 54). В другом случае, при стесненных обстоятельствах, совет созывается «перед стеной изрытой», прямо на поле недавних боев, где члены совета «Сели на чистой поляне, на месте, свободном от трупов» (Ил. X, 199). Всенародно, близ места погребения, оперируют скипетром члены суда, судящие результаты состязаний по поводу погребения Патрокла (Ил. XXIII, 250 и след.; 568). Впрочем, при общих беспорядках скипетром можно убеждать и даже орудовать прямо в толпе, как это делает Одиссей:

«Взял от владыки ... скипетр;
С оным скиптром пошел к кораблям аргивян меднобронных;
Там, властелина или знаменитого мужа встречая,
К каждому он подходил и удерживал кроткою речью: ...
Если ж кого-либо шумного он находил меж народа,
Скиптром его поражал и обуздывал грозною речью...» (Ил. II, 185–199).

В соответствии с обстановкой, на крепостной стене, «на Скейской возвышенной башне» созывает совет старейшин Приам — царь осажденной Трои (Ил. III, 149).

Об обстановке прохождения всех этих ритуалов можно лишь догадаться. Ведь его исполнение представляло собой своеобразную театральную инсценировку с четким разграничением функций: функций актеров — носителей той или иной информации (или темы ритуала), исполняемых разноуровневыми скипетродержателями, и функции воспринимающей зреющей и слушающей аудитории, которая, в зависимости от уровня ритуала, могла объединять ограниченное число приглашенных или же всех желающих — общегородские, общевойсковые собрания. Вполне естественно, что помимо специально учрежденных мест, подобные ритуалы включали и соответствующую торжественному моменту костюмацию, по крайней мере, главных героев; определенную форму выступления, адекватную манеру держать себя на «сцене», разнообразную жестикуляцию, а соответственно моменту — и своеобразную реакцию присутствующей аудитории. И все это — при цветовом разнообразии богато убранных одежд, личного снаряжения скипетроносцев со своими, индивидуально изготовленными, вычурными «конегривыми» султанами на шлемах, богато украшенными щитами, разнообразным личным оружием, каждое из которых в свою очередь включало множество символов, указывающих на происхождение, личные качества и прочие неповторимые достоинства его носителя.

Обратим для начала внимание на микенский стеатитовый «кубок принца» или «кубок вождя» из Айя Триада[13]. Две фигуры, одна из которых держит в руках скипетр, но сколько торжественности в самой сцене изображенного!? Принимающий рапорт мужчина нарядно одет и украшен многочисленными и разнообразными украшениями. Он стоит как бы навытяжку, держа в протянутой правой руке упирающийся в землю высокий, по видимому, скипетр. Его левая рука, свободно свисает, слегка согнутая в локте. В той же позе, но в полном снаряжении, стоит «рапортующий». Его тело несколько отклонено назад, как бы дистанцируясь от главного лица. В правой согнутой руке он держит удлиненный меч, упирающийся в плечо, острием вверх. В левой, опущенной, руке, он держит опирающийся на плечо удлиненный посоховидный предмет, возможно, тоже скипетр с расширенным навершием. Он

[13] О существующих версиях интерпретации изображений на этом кубке см.: Андреев 2002: 222 и след.

щает на себя внимание лестница позади первого лица. Комментирующие эту деталь авторы считают, что эта лестница символизирует собой какое-то крепостное сооружение (Matz 1969: 139; Rutkowski 1980:153). Но, учитывая убедительные разработки М. Элиаде (2000: 249 и след.), думается, что в этой лестнице следует видеть скорее всего символ „центра мироздания«, подчеркивающий высокий ранг принимающего рапорт; символ, который в данном случае адекватнее соответствует общей смысловой нагрузке изображенной композиции.

А сейчас вернемся к Гомеру и из разных фрагментов постараемся востановить общий ход одного из возможных «ритуальных» собраний скипетроносцев.

Вот Агамемнон собирается выступить перед ахейцами:

«Вспрянул Атрид ...; воссел он и мягким оделся хитоном,
Новым, прекрасным, и сверху набросил широкую ризу;
К белым ногам привязал прекрасного вида плесницы,
Сверху рамен перекинул блистательный меч среброгвоздный;
В руки же взявши отцовский, вовеки не гибнущий, скипетр,
С ним отошел к кораблям медянодоспешных данаев» (Ил. II, 41–47).

Итак: все новое, прекрасное, блестящее... А ведь был у Агамемнона еще «великий ... плащ пурпуровый» (Ил. VIII, 221). Прикройте глаза и вообразите, «имагинизируйте», как сказал бы М.Элиаде.

Но вот созванные глашатаями члены совета и(или) народ сходятся. Рассаживаются на «учрежденных местах». Прежде рассаживают «благодумных старейшин» (Ил. II, 53). «Воедино собравшись» (Ил. I, 57), когда «собрание сделалось полным» (Од. II, 9), глашатаи «гласом гремящим, говор мятежный» смиряют (Ил. II, 98). Можно начинать. Подразумевается, что все скипетроносцы сидят по своим местам, при своих регалиях. Чтобы выступить, они поднимаются со скипетром в руках, «выходят перед собранием» (Ил. II, 78). Поднятие скипетра означает всеобщее внимание и соблюдение тишины (Ил. XXIII, 568). Не обладающие скипетрами, желающие выступить, получают скипетр от «ведущего», очевидно, совет — глашатай, советник (Ил. XVIII, 505; Од. II, 38).

Но вот собрание начинается:

«... восстал Агамемнон,
С царственным скиптром в руках, олимпийца Гефеста созданьем» (Ил. II, 100–101). И далее следует полная, ранее приведенная «родословная» скипетра Агамемнона, о которой, само самой подразумевается, уже хорошо известно всем присутствующим.

Но, выступает главнокомандующий. А он, следуя Гомеру, весьма и весьма зазнавшаяся фигура и царь «вещал к восседящим ахеям», «опираясь на скиптр» свой (Ил. II, 109).

А вот другой контекст, другое шумное собрание:

«... Но восстал Одиссей градоборец,
С скиптром в руках; и при нем светоокая дева, Паллада,
В образе вестника став, повелела умолкнуть народом,
Чтоб и в ближних рядах, и в далеких данайские мужи
Слышали речи его и постигнули разум совета» (Ил. II, 278–282).

Вообразите себе сцену: красочную, шумную; общеизвестный всем Одиссей, да еще при нем сам образ девы Паллады! Учтите при этом еще определенный голос, интонацию, жестикуляцию, и не в последнюю очередь — суть самих произносимых слов, да и сам вид выступающего Одиссея.

«Он, благомыслия полный, витийствовал ... перед сонмом» (Ил. II, 283).

А вот другая ситуация. По инициативе троян обсуждается вопрос о возможном вре-

менном перемирии для погребения убиенных. Погребение — дело святое для всех, для обоих станов. И Агамемнон вещает:

«Что до сожжения мертвых, нисколько тому не противлюсь.
Долг — ничего не щадить для окончивших жизнь человеков,
И умерших немедленно должно огнем успокоить...
...Так произнес — и горй небожителям поднял он скипетр» (Ил. VII, 408–412). Замечаете постепенный переход в крещендо: «не противлюсь», «должно», и, наконец, «горй небожителям»? Обращает внимание безоговорочность обещания, которая подкрепляется жестом поднятого скипетра.

Подобного жеста-клятвы требует от Гектора на совете троянцев Долон, готовый совершить за солидное вознаграждение ночную вылазку в стан ахеян.

«Но, Приамид, обнадежь, подыми твой скиптр и клянися,
... и Гектор поднял свой скипетр и клялся Долону» (Ил. X, 321, 328).

Но на скипетрах клянутся и во гневе, и тогда «на землю скипетр» бросают, хоть скипетр тот «вкруг золотыми гвоздями блестящий». Так поступает Ахилл, угрожая Агамемнону, после чего он спокойно садится «меж царями» (Ил. I, 245 и след.). Сходный, стереотипный жест позволяет себе выступивший перед собранием старцев Итаки Телемах, который «во гневе» «повергнул на землю свой скипетр». Правда, при этом у него «слезы из глаз устремились», но «народ состраданья проникло» (Од. II, 80-81).

А вот просящие просто «держат в руках», по видимому, протянутых, свой скипетр (жезл), да впридачу прикладывают к ним еще атрибуты вышестоящих покровителей (Ил. I, 14, 374). А сражение приостанавливается вестниками, одновременным протягиванием скипетров между сражающимися (Ил. VII, 275–277).

Собрание завершилось:

«Все поднялись, покорились Атриду, владыке народов
Все скиптроносцы ахеян ...» (Ил.II, 85-86).

А при благоприятном исходе совета собравшиеся еще «вскрикивали весело». В отдельных же случаях, после совета, по настоянию его членов или инициативе главного (Ил. IX, и след.) можно было еще попировать, где опять таки «рядом по чину сидят за столами» (Од. IX, 8).

И последнее, что обращает на себя внимание. О достоинствах человека судят по тому, как он держит свой скипетр. Вот воспоминания Атенора об участвовавших ранее в переговорах с троянцами по поводу Елены Менелае и Одиссее:

«Стоя, плечами широкими царь Менелай отличался;
Сидя же вместе, взрачнее был Одиссей благородный.
.....Но когда говорить вставал Одиссей многоумный,
Тихо стоял и в землю смотрел, потупивши очи;
Скиптра в деснице своей ни назад, ни вперед он не двигал,
Но незыбно держал, человеку простому подобный» (Ил.III, 210–219).

Более того, даже сам внешний молодцеватый бравый вид молодых Телемаха и Писистрата, сына Нестора, ассоциируется у Менелая с их происхождением от скипетродержавных мужей. Вот его обращение:

«Оба, конечно, вы дети царей, порожденных Зевесом,
Скиптродержавных; подобные вам не от низких родятся» (Од. IV, 63–64).

А, скажем, у Еврипида смерть скипетроносца равноценна гибели самого царского дома:

«Увы, увы! Атридова дома повержен
Сияющий скипетр. Увы.» (Ифигения в Тавриде, 185–186).

Таковы основные культурные функции скипетров и с точки зрения их как инсигний власти, и в широком повседневном культурном контексте, свойственном ахейскому обществу и в мирной, и в военной ситуациях.

Царская власть и скипетры в системе «наследования»

Последнее обстоятельство, которое подлежит рассмотрению, это вопрос о «наследовании» или о судьбах скипетров. Вопрос этот для нас, археологов, принципиальный, поскольку его освещение, как увидим далее, позволяет обратиться к модели возможного депонирования этой символики в археологических артефактах; модель, которая, как было оговорено в начале работы, составляет одну из главных задач настоящего исследования.

Вопросы о системе власти и правилах наследования царского сана в гомеровском обществе неоднократно рассматривался в специальных работах (Лосев 1960: 91 и след.; Ленцман 1962; Блаватская 1966; Андреев 1976: 46 и след.). Напомним, что в гомеровском эпосе нет четкого ответа на вопрос о системе наследования царской власти. С одной стороны, источник говорит о наследовании сыном царской власти как о чем-то само самой подразумевающемся:

«В вольнообъятой Итаке, по воле Крониона, будешь

Нашим царем, уже имея на то по рожденью и право» реплекует Телемаху Антиной — один из женихов Пенелопы (Од. I, 382–383).

В других случаях наследование царского сана отца предполагает определенные условия, как это вытекает из пассажей, посвященных многочисленным детям Приама или его внуку, сыну Гектора (Ил. VI, 403, 478; XX, 180, 303 и след.)[14].

Но вместе с тем, как слудует из высказывания Телемаха,

«Но меж ахейцами вольнообъятой Итаки найдется

Много достойнейших власти и старых и юных; меж ними

Вы изберите, когда уж не стало царя Одиссея», определенно просматривается возможность избрания иного нового царя (Од. I, 390–393). Этот же вывод напрашивается и из вопроса самого Одиссея, адресованного своей матери, тень которой он встречает в Аиде:

«Царский мой сан сохранился ли им? (Телемахом — В.Д.) Иль другой уж на место

Избран мое...?» (Од.XI, 175–176).

Конечно же, царская власть может быть узурпирована, как это сделал Эгист, убивший Агамемнона. Но этот поступок подлежит наказанию, и Эгист в конце концов через семь лет понес его, будучи убитым сыном Агамемнона (Од.I, 295; III, 197, 250 и след., 305).

Но что для нас — археологов — важно, так это то, что царский сан (и не только) определенно наследуется в потустороннем, подземном, мире Аида. Гомер приводит тому множество свидетельств, но наиболее четко это обстоятельство сформулировано в устах тени Ахиллеса, который с грустью признается Одиссею:

«Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,

Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,

Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый» (Од. XI, 489–491).

Момент — принципиальный, Гомер точно знает, где находится вход в царство Аида — на самом краю океана: «Там киммериян печальная область, <...> никогда не являет оку людей там лица лучезарного Гелиос<...>» (Од. X, 504 и след., XI, 12 и след.). Но сам же Гомер, да и мы знаем, что исходной точкой отправки в Аид является совершение погребального обряда, без которого туда — в Аид — попасть просто невозможно. Отсюда посто-

[14] См. также Андреев 1976:57.

янная забота о телах погибших воинов, как о «святом долге» (Ил.VII, 408 и след.), о чем так часто говорится в эпосе. И именно этим объясняется то, что одного из первых, кого Одиссей встречает у ворот Аида, это тень не погребенного Ельпенора, душу которого просто не впускают в Аид. И он настойчиво просит — умоляет Одиссея по возвращении из Аида совершить над его телом погребальный обряд (Од. XI, 60 и след.), т.е. придать его тело земле.

Мы ведь, археологи, хорошо знаем — и по истории, и по нашей повседневной жизни, — что «уровень» погребальной обрядности целиком и полностью зависит от социального ранга погребаемого и это отчетливо отражено и в самом эпосе. Достаточно сравнить погребальный обряд, совершенный над телом Патрокла, и обряд, о котором молит упомянутый выше Ельпенор.

Напомним, что Патрокл не царь, не вождь, а всего лишь друг Ахилла и под Троей не обладал даже собственными доспехами (Ил. XVI, 130 и след.). Так вот, для совершения погребальной обрядности над его телом

«Страшную леса громаду сложив ,
... сложили костер, в ширину и длину стоступенный;
Сверху костра положили мертвого, ...
Множество тучных овец и великих волов криворогих,
Подле костра заколов, обрядили ...
...а кругом разбросал обнаженные туши;
Там же расставил он с медом и со светлым елеем кувшины,
... четырех он коней гордовыйных ...
... поверг на костер,
Девять псов у царя, при столе его вскормленных, было;
Двух и из них заколол и на сруб обезглавленных бросил;

Бросил туда ж и двенадцать троянских юношей славных» (Ил. XXIII, 127 и след.). Затем, после сожжения, «драгоценные кости» собрав, «великий, пристойный» курган соорудили. И все это с массовым оплакиванием, с торжественными шествиями, с непрерывным возлиянием на горящий костер, и в конце — с множественными дорогими подарками участникам церемонии и победителям устроенных состязаний (Ил. XXIII).

А вот о каком погребении просит у Одиссея Ельпенор, который по рангу был простым воином — «младший из всех на корабле» одиссеевом (Од. X, 551 и след.) и у которого кроме доспехов ничего собственного нет. А умоляет он Одиссея:

«Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень,
Холм гробовой надо мною насыпите близ моря седого» (Од.XI, 74–75).

Обратите внимание — «бросить труп», «холм — гробовой», а не курганный, «доспехи» и «море седое» — и все. Но власть властью, иное дело судьба скипетров — символов этой власти.

Ранее мы уже отмечали, что, очевидно, в силу реминисцентности темы скипетров, Гомер определенно смешивает два разных понятия: скипетры — символы царской власти, входящие в атрибутику государственной власти, которыми, по-видимому, наделялись все или наиболее могущественные правители этих государств, и скипетры именные — личностные инсигнии, которыми представители культов (жрец Хрис, фивский птицегадатель Тиресий), герои или предводители войск наделялись за определенные заслуги или под определенные конкретные полномочия. Соответственно, надо полагать, что первые из них, т.е. скипетры, входящие в атрибутику государства, могли передаваться от царя к царю независимо от системы наследования: непосредственно от отца к сыну и иному родственнику

или чужому — вновь избранному. Подобную ситуацию демонстрирует «родословная» царского скипетра Агамемнона, приведенная выше, и графически представленная на Табл. 4. Впрочем государственные инсигнии могут быть присвоенны и насильственно, как это сделал Эгист, узурпировавший царскую власть Агамемнона, о чем с гневом говорит Електра, дочь Агамемнона, в трагедии Еврипида:

«... сам убийца
Руками неомытыми схватил
Отцовский жезл (скипетр) — он в колеснице ездит,
В которой ездил царь, и как он горд!» (320 и след.).

Иными словами, царские скипетры, как и прочие государственные инсигнии (вспомним средневековые и современные инсигнии государственности: корона, скипетр, держава, знамя, большая гос. печать, гос. щит и меч), могут переходить от одного царя к другому. Но сами по себе они вечны, пока существует само государство. И только лишь с гибелью этого государства они могут депонироваться в археологических артефактах или в музейные экспонаты царских дворцов, разорванных во времени династий властителей.

Совершенно иначе обстоит дело со скипетрами именными — личностными, которые не подлежат передаче другому лицу. Они не наследуются и не передаются ни сыну, ни брату, тем более чужому. Это больше чем личное оружие, которым можно обменяться или подарить другу. Это буквально «Alter Ego» или сам «Я». Скипетром наделяют на всю жизнь, хотя функции обладателя скипетра, могут быть временными, скажем, на период военной экспедиции. По завершению таковой сам скипетр остается за человеком на всю оставшуюся жизнь — и на эту, и на ту, посмертную, потустороннюю. Это как титул Академика или титул Главнокомандующего, которые всегда — и чем выше, тем обязательнее, будут выгравированы на погребальной плите. Это как престижные медали и ордена, которые, включенные в ритуал погребения (вспомним погребальные процессии знатных и менее знатных держателей таковых), символически переходят вместе с останками умершего в потусторонний — загробный мир.

И именно поэтому отмеченные выше моменты, связанные с «родословной» «отцовского» скипетра Агамемнона. вполне уместны к нему в качестве царя Микен и Аргоса, но они совершенно не укладываются в контекст троянских событий, где основная функция Агамемнона — функция главнокомандующего коалицией ахейских войск. А скипетром и соответствующими функциями главнокомандующего, как неоднократно отмечает сам Гомер и герои эпоса, Агамемнон был удостоен лично Олимпийцем Кронионом (Ил. II, 197, 205–206; IX, 37–38, 98–99). В этом и заключается отмеченное уже ранее противоречие о скипетре/скипетрах Агамемнона, который выступает в двух ипостасях: с одной стороны, в качестве царя Микен и Аргоса, а с другой стороны, в качестве временного главнокомандующего и соответственно, по всей логике, должен был бы быть обладателем двух скипетров — царского, державного и именного — на период военной кампании. Причем, первый из них — царский скипетр, учитывая непредсказуемость морской военной экспедиции, вероятнее всего должен был остаться в государстве, в царском дворце Агамемнона (что и позволило Эгисту незаконно присвоить его с момента убийства Агамемнона). Это подобно тому, как особо дорогие своей памятью лук и стрелы

«...не брал с собою
Их никогда Одиссей на войну в корабле чернобоком:
...верно храня, их берег он

В доме своем; но в отечестве всюду имел при себе их» (Од.XXI, 38–41). А государственный скипетр все же не лук. Именно так поступает и сам Ксеркс, перед вступлением на

земли Эллады перепоручивший скипетр своему дяде — наставнику Артабану. Вот его обращение к последнему «... исполнившись мужества, храни мой дом и мою власть. Тебе одному из всех я поручаю мой скипетр« (Геродот VII, 52).

Думается, комментарии излишни. Ибо во всех случаях титул «скипетроносец» именное обозначение. Титул этот не распространяется ни на предшественников, ни на последователей. Даже если среди них и были таковые, это не имеет значения, это остается за кадром. А именной знак, именной титул, как уже отмечалось, неминуемо должен был сопровождать носителя такового не только в жизни, но и в той — другой, посмертной жизни. Как титул того самого Академика или инсигнии доблести в их символическом погребении. И на это недвусмысленно указывает и сам Гомер в пассаже о встрече Одиссея с тенью скипетроносца Тиресия в Аиде:

«Скоро предстал предо мною и Тиресия фивского образ;

Был он с жезлом (скипетром) золотым, и меня он узнал...» (Од.XI, 90–91).

Зная характер погребального обряда времени, это означает одно — при совершении сожжения трупа умершего прорицателя его скипетр (жезл) находился при нем — рядом или сверху. В противном случае, ни тень Тиресия, ни образ его скипетра (жезла) не были бы допущены в Аид.

Итак, вывод один. Скипетры в качестве именных символов власти, подобно личному окружению в случаях смерти их держателя непосредственно включались в ритуал погребения в качестве сопровождающего погребального инвентаря. Их сожжение и последующее захоронение остатков сожжения обеспечивало два обстоятельства: 1 — перенос тени умершего и образов, включенных в ритуал вещей в царство Аида и 2 — перенос отмерших элементов живой жизни или культуры в категории сугубо археологической номенклатуры, ибо при благоприятных обстоятельствах всякое древнее погребение имеет шанс быть зарегистрировано в качестве археологического комплекса, фрагментарно содержащего и остатки носителя скипетра, да и остатки самого скипетра. И счастье археолога, что древние народы практиковали не только сожжение, но и, зачастую, обряд трупоположения, благодаря которому скипетры, да и остальной инвентарь, как и останки погребенного, подвергались меньшему разрушению.

Модель возможного депонирования ахейских скипетров в археологических комплексах

Напомним основные, установленные и очевидные для нас, качества и свойства ахейских скипетров, необходимые для разработки модели их возможной материализации в качестве археологических артефактов.

В гомеровском эпосе, освещающем организацию и проведение военной экспедиции против Трои, знаковые символы в виде скипетров обнаруживают достаточно развитую структуру, фиксирующую и отражающую строго ранжированную систему военной власти. Эта знаковая система ориентирована на психологическое воздействие на окружающих в целях поддержки и реализации самой структуры власти через множество разработанных стереотипных ритуалов, включающих и многие иные знаковые системы — слова, жесты и пр.

Скипетрами в военной ситуации наделялись лица, обладающие особыми военными качествами, под особые, строго определенные полномочия. Они — скипетры — выступают в качестве именных знаков, идентифицирующих ранг, законные права и обязанности его носителя. Предполагается, что скипетры каждого конкретного социального ранга могли быть сходными в их изобразительной части — навершии. Но в их оформлении могли быть и отдельные различительные черты, акцентирующие особые индивидуальные каче-

ства каждого носителя в отдельности. В качестве именных — личных знаков отличия, подобно личному оружию, скипетры, в случае смерти его носителя, включались в ритуал погребения и предавались земле, символизируя, тем самым, сохранение погибшим титула скипетроносца в потустороннем, посмертном пространстве.

Таковы исходные данные об ахейских скипетрах в военной ситуации и возможная их судьба на случай смерти его держателя. Более того, из эпоса нам хорошо известно, что в случае гибели героя, предводителя, простого воина, равно как и скипетродержателей, их тела через обряд трупосожжения предавались земле непосредственно в зоне военных действий, близ стана, в специально отведенных местах. В случае же возврата участников экспедиции на исходную родину или любое другое место дальнейшего проживания, скипетры, надо полагать, уже утратившие свое прямое назначение, но дорогие памятью о былом признании, о былых доблестных делах, наверняка сохранялись и в последующей жизни в качестве семейных реликвий до смерти и погребения их держателей.

Благодаря тому, что Гомер и иные античные авторы сохранили для нас «биографии» всех предводителей-скипетродержателей троянской войны от момента их отправки из Ахеи и вплоть до возвращения на родину, последующей локализации и смерти, нам представляется счастливая возможность проследить весь путь движения скипетров от выхода скипетродержателей из гаваней соответствующих городов до места их возможного оседания в землю. А это, по сути, и есть модель возможного депонирования некогда действовавших в реальной жизни элементов культуры в культуру или элементы культуры археологической.

Определимся с перечнем скипетродержателей ахейской коалиции. В одном из предшествующих параграфов мы уже отмечали, что помимо Агамемнона, как главного скипетродержателя, через формулу »все скипетроносцы ахеян» (Ил. II, 86) и соответственно через постоянно-поименно упомянутых участников многократно созываемых военных советов (см. ранее) в список скипетроносцев ахеян можно включить: Нестора, Одиссея, Менелая, Идоменея, Диомеда, обоих Аяксов, Ахилла, Мериона, Фразимеда и Патрокла, предположительно — Филоктета, Протесилая и совсем условно — Сфенела. Всего 15 героев. Последние три предводителя относительно редко упоминаются в «Илиаде», но на то имеются свои причины, о чем будет сказано далее.

Важным аргументом в особом положении перечисленных персонажей является то, что помимо Агамемнона, Нестора, его сына — Фразимеда и Одиссея все перечисленные герои в свое время были претендентами на руку Елены. А, как известно, Тиндерей, отец Елены, опасаясь обидеть претендентов или вызвать их возможную вражду к себе или будущему зятю, следуя совету Одиссея, связал всех их всех единой клятвой оберегать честь ее будущего супруга (МНМ.1, 431)[15]. Елена стала женой Менелая. А остальные претенденты, связанные клятвой, в возникшем конфликте по предопределению выступают инициаторами и главными советниками-скипетродержателями возглавленной Агамемноном экспедиции.

Рассмотрим сейчас судьбу каждого из названных героев и возможную судьбу принадлежащих им скипетров. Графически вся эта информация представлена в **Табл. 5.**

Напомним, что у нас имеются основания полагать, что скипетры как Агамемнону, так и его сподвижникам были вручены от имени «народа» на каком-то из советов, организованном в самой Ахеи. Иными словами, мы исходим из вполне допустимого предположения,

---

[15] Поскольку многие моменты из жизни перечисленных героев-скипетроносцев в гомеровском эпосе не отражены или отражены лишь фрагментарно, автором здесь и далее использованы данные из соответствующих статей двухтомного энциклопедического издания «Мифы народов Мира» (далее — МНМ.),[М. Изд-во Советская Энциклопедия. Т. 1 (1991); Т. 2 (1992)], где приводятся полная информация по всем персонажам.

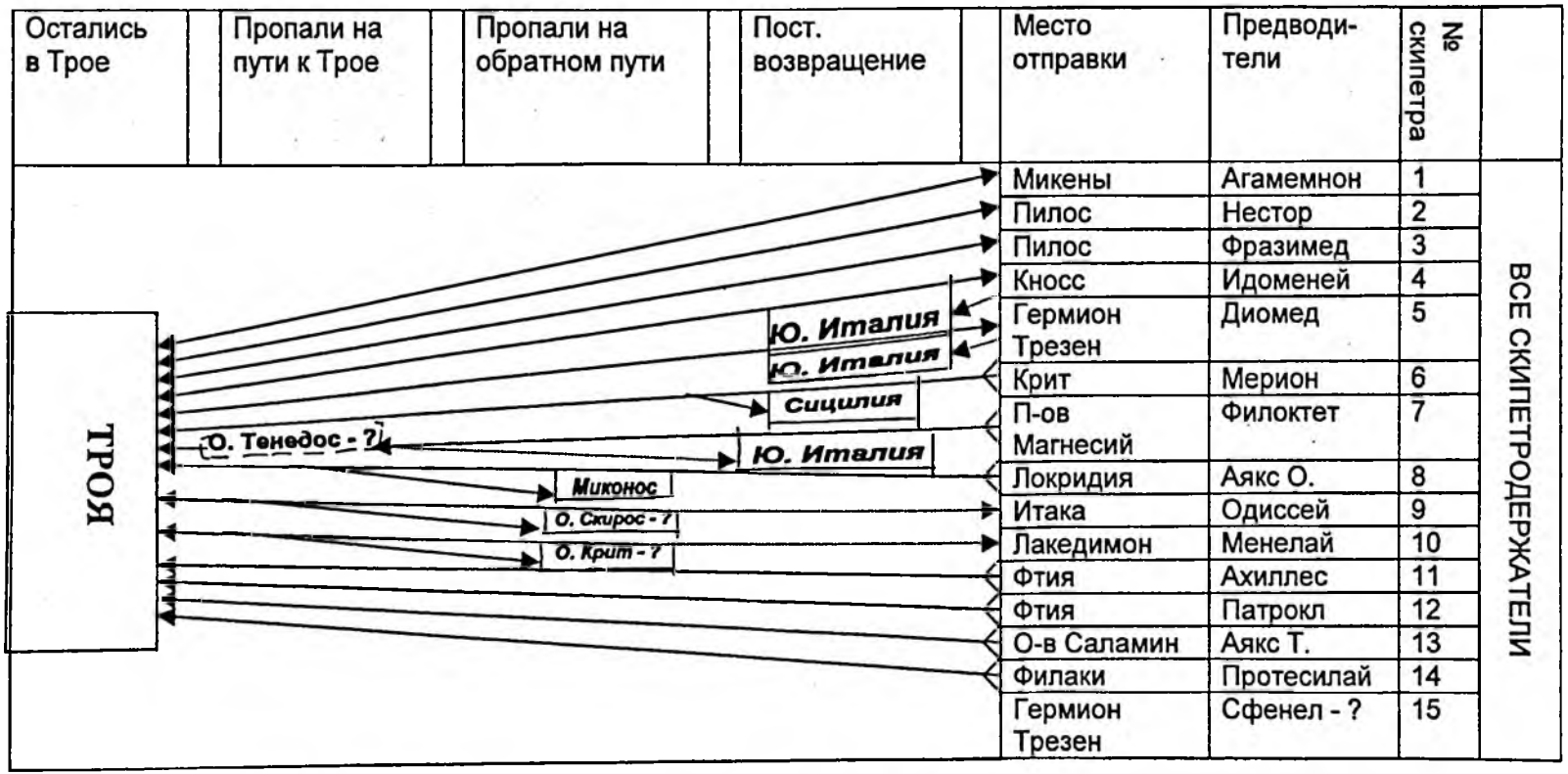


Табл. 5. Схема движения скипетродержателей из Ахси на Трою и обратно и возможные места «оседания» их скипетров.

что, отправляясь на кораблях из того или иного города и гавани, номинализированные «советники» уже были наделены своими символами-скипетрами. Итак.

1. Агамемнон **(Табл. 5, 1)** — царь Микен (Аргоса), муж одной из дочерей Тиндерея (Клитемнестры), брат Менелая. Соответственно — одно из первых заинтересованных лиц, главный инициатор похода против Трои. Соответственно — главный предводитель всех войск и держатель главного, Зевсова, скипетра. Положим, отправился в экспедицию из Микен. Успешно провел кампанию и благополучно вернулся домой. И тут же, на пиру, в собственном доме был коварно убит собственной женой Клитемнестрой и/или ее «другом» Эгистом (МНМ.1, 32). Убит «мгновенно», «как быка убивают при яслях» (Од. IV, 535 и след; XI, 411). Погребенный в спешке, без соблюдения элементарных обычаев — «Тусклых очей и мертвеющих уст запереть не хотела» (Од.XI, 426), скипетр «главнокомандующего» (не тот первый — царский, который Эгист «неомытыми руками» себе незаконно присвоил) мог быть сброшен в могилу или же просто выброшенным. Но для нас, для археологов, вполне очевидно, что этот скипетр остался где-то в Микенах, где-то в Аргосской земле.

2.–3. Нестор и его старший сын Фразимед/Фрасимед **(Табл. 5,2,3)** не числятся среди «женихов» Елены. Но Нестор — царь Пилоса, один из инициаторов похода на Трою. Оба активные помощники Агамемнона. Выбыв из Пилоса, они благополучно пережили военную кампанию и вернулись на родину, на побережье Мессенского залива (МНМ.2, 213). Там они, по всей вероятности, и были в свое время погребены вместе, следует полагать, со своими скипетрами. По крайней мере, о могиле Фрасимеда близ Пилоса известно из свидетельств Павсания (VI. 36,2).

4. Идоменей — царь Крита **(Табл. 5,4)**, один из бывших женихов Елены. Отчалил с Крита. Героически воевал под Троей и благополучно вернулся на Крит, но с Крита был изгнан и окончил свою жизнь на юге Аппенинского п-ва — в Калабрии (МНМ.1, 489). Его царский скипетр, должно быть, достался изгнавшему его с родины приемнику. А вот «троянский» свой скипетр он вполне мог взять с собой в Калабрию. Там он, очевидно, и остался в земле. Но не рекомендую искать его именно там.

5. Диомед — царь Фракии **(Табл. 5,5)**, один из бывших женихов Елены. Будучи царем Фракии, предводительствовал кораблями из Гермионы, Трезеи и др. (Ил. II, 560). Так что в море он отправился из одного из этих городов. Под Троей совершает множество невероятных подвигов, ранив саму Афродиту и бога войны Ареса. Благополучно возвращается в Аргос. По одной из поздних версий был вынужден бежать из Аргоса и окончил жизнь в Италии (МНМ.1, 379). Остается надеяться, что из памяти к славным деяниям его троянский скипетр был положен рядом с телом героя.

6. Мерион, племянник Идоменея **(Табл. 5,6)**. По одной из версии, один из бывших претендентов на руку Елены. Вместе с Идоменеем предводительствовал критскими кораблями. После Трои, по одной из версий, поселился в Сицилии (МНМ.2, 129).

7. Филоктет — царь Мелибеи **(Табл. 5,7)**, один из женихов Елены. Отправившись в поход с полуострова Магнесия, по дороге, то ли на острове Лемносе (Ил.II, 720–726), то ли на острове Тенедосе Филоктет был ужален змеей и почти 10 лет жил в страшных муках, в одиночестве, на одном из этих островов. Следуя прорицанию, Филоктет хитростью был выведен под Трою, где участвовал в финальном штурме города. После войны отплыл в Южную Италию (МНМ.2, 256). Так что скипетр Филоктета вполне мог быть утрачен на одном из названных островов, а если нет, то в конечном варианте мог дойти и осесть в Южной Италии.

8. Аякс Олиев — царь Локриды **(Табл. 5,8)**, один из женихов Елены. Славный лучник, несколько буйный и дерзкий. Отвоевавшись, погиб, наказанный Посейдоном, на обратном

пути у острова Миконоса (Кикладские о-ва) (МНМ.1, 146). Там, очевидно, и потонул его скипетр.

9. Одиссей — царь Итаки **(Табл. 5,9).** Приближенный Агамемнона. Успешно прошел всю военную кампанию. А обратно — известно. Добирался с невероятными приключениями целых 20 лет. Ситуации были такими, что было ему не до скипетра. Трудно сказать, где бы он мог его потерять. Но выплыв из воды на острове Схерия (Скирос — ?), он был голым-голехоньким, в чем мать родила. Проснувшись в лесу и услышав голоса принцессы Невсикаи «Выполз; потом жиловатой рукою покрытых листами/ Свежих ветвей поломал, чтоб одеть обнаженное тело» (Од. VI, 128–129). Так что к этому моменту троянского скипетра точно при нем уже не было.

10. Менелай — царь Лакедемона **(Табл. 5,10),** брат Агамемнона, муж Елены. Инициатор похода против Трои. Успешно прошел всю троянскую кампанию. А обратный путь был сложным и длился целых 18 лет: и бросало его буйное море и на Крит, и на Кипр, и в Финикию, и в Египет (Од. IV). Так что его скипетр вполне мог затеряться и в водном пространстве, а мог дойти и до родины.

11.–12. Ахилл и Патрокл **(Табл. 5,11,12).** Первый — герой, сын царя мирмидонян Петея. Не входил в число женихов Елены. Второй — друг и побратим Ахилла, числится среди женихов Елены. Оба славно воевали под Троей, где и погибли. Первым погиб Патрокл, которому Ахилл устроил пышные похороны, завещав, чтобы после смерти его, останки сожжения были включены в ту же золотую урну (Ил. XXIII), что и было выполнено впоследствии (Од.XXIV, 36–86). Могила героев находится у мыса Сигей, при входе в Геллеспонт со стороны Эгейского моря. Спустя столетия, у могильного кургана Ахилла и Патрокла устраивали памятные погребальные игры Александр Македонский, а позже — римский император Каракалла (МНМ.1, 139.140).

13. Аякс Телемонид — царь острова Саламин (Табл. 5,13). Один из женихов Елены. Под Троей одерживает множество славных побед, но, разгневанный в споре о правах на доспехи погибшего Ахилла, готов погубить всех ахейских вождей. Афина насылает на него безумие, и он перебивает стадо скота. Опомнившись и осознав свой позор, он кончает жизнь самоубийством. По решению Агамемнона, тело Аякса не было предано огню. Его могила находится на Ретейском мысу (МНМ.1, 147).

14. Протесилай — царь г. Филаки **(Табл. 5,14),** один из женихов Елены. Погиб одним из первых, сраженный Гектором (Ил.II, 697–699). По Геродоту, его могила находилась в Элеоунте на Херсонесе (Геродот, IX, 116). Но подобная информация Геродота не имеет своих объяснений (МНМ.2, 342). Поскольку тело Протесилая должно было быть сожжено под Троей, будем считать, что и его скипетр остался в троянской земле.

15. Сфенел — один из предводителей, вышедших из Гермиона или Трезена **(Табл. 5,15)** под общим командованием Диомеда (Ил.II, 560–564). Числится среди женихов Елены. Под Троей — относительно скромный герой, выступающий, обычно, помощником и возницей Диомеда. После войны благополучно вернулся в Аргос, вывезши, заодно, деревянную статую Зевса из дома Приама (МНМ.2, 479).

Вот, вкратце, «документальная» характеристика судеб всех ахейских скипетродержателей и возможная судьба их символов.

Изложенная информация в упорядоченном виде графически представлена в **Табл. 5,** которая включает в себя пять пространственных полей, организованных по вертикали. Верхнее поле включает имена всех возможных скипетроносцев и места их выхода в море для похода на Трою. Крайнее нижнее поле — зону боевых действий, т.е. Троя и ее окрестности. Три промежуточных поля представляют зону возможного оседания героев и их скипетров

в пути на Трою (второе снизу); в пути к дому после победы (третье снизу), и поле возможного оседания скипетров, не вернувшихся в пункты отправления (№№ 6,7), или же успешно вернувшихся на родину, но впоследствии, переехавших в иные края (№№ 4,5). Линии со стрелками указывают адреса движения героев из исходных пунктов на Трою и обратный путь.

Как следует из таблицы, из 15 возможных скипетродержавцев лишь четверо вернулись домой, осев на прежней родине: Агамемнон, Нестор, его сын Фразимед (№№ 1–3) и условно включенный в список Сфенел (№ 15). Два скипетроносца благополучно вернулись на родину, но потом переехали в Южную Италию — Идоменей и Диомед (№№ 4,5). Не на Крит, а на Сицилию вернулся Мерион (№ 6). Филоктет по пути на Трою надолго застрял на о. Лемносе или Тенедосе и вернулся не в Грецию, а в Южную Италию, так что его скипетр мог осесть или на островах, или в Италии (№ 7). В дороге на обратный путь погиб Аякс Олиев (№ 8). Где-то в дороге утратил свой скипетр Одиссей, достигший, однако, своей Итаки (№ 9). Менелай мог утратить свой символ в обратной дороге, но мог и сохранить его до самого дома (№ 10). Остальные четыре скипетродержателя — Ахилл, Патрокл, Аякс Телемонид и Протесилай пали под Троей, и их скипетры должны были остаться в троянской земле (Табл.5, №№ 11–14).

Таким образом, из 15 скипетродержателей, отправившихся со своими скипетрами из Ахеи и Крита, в конечном счете четверо вернулись и остались в Греции (Табл.5, №№ 1–3, 15), четверо «осели» в троянской земле (№№ 11–14), один — в Сицилии (№ 6), два — где-то в Эгейском море (№№ 8,9). Оставшиеся два скипетра могли быть утеряны в дороге (№№ 7,10) или же один вернулся в Ахею (№ 10), а второй попал в Южную Италию (№ 7).

Вот вам, коллеги-археологи, модель возможного пространственного разброса скипетров ахейских предводителей. Очевидность этой ситуации еще более наглядно выступает из составленных карт.

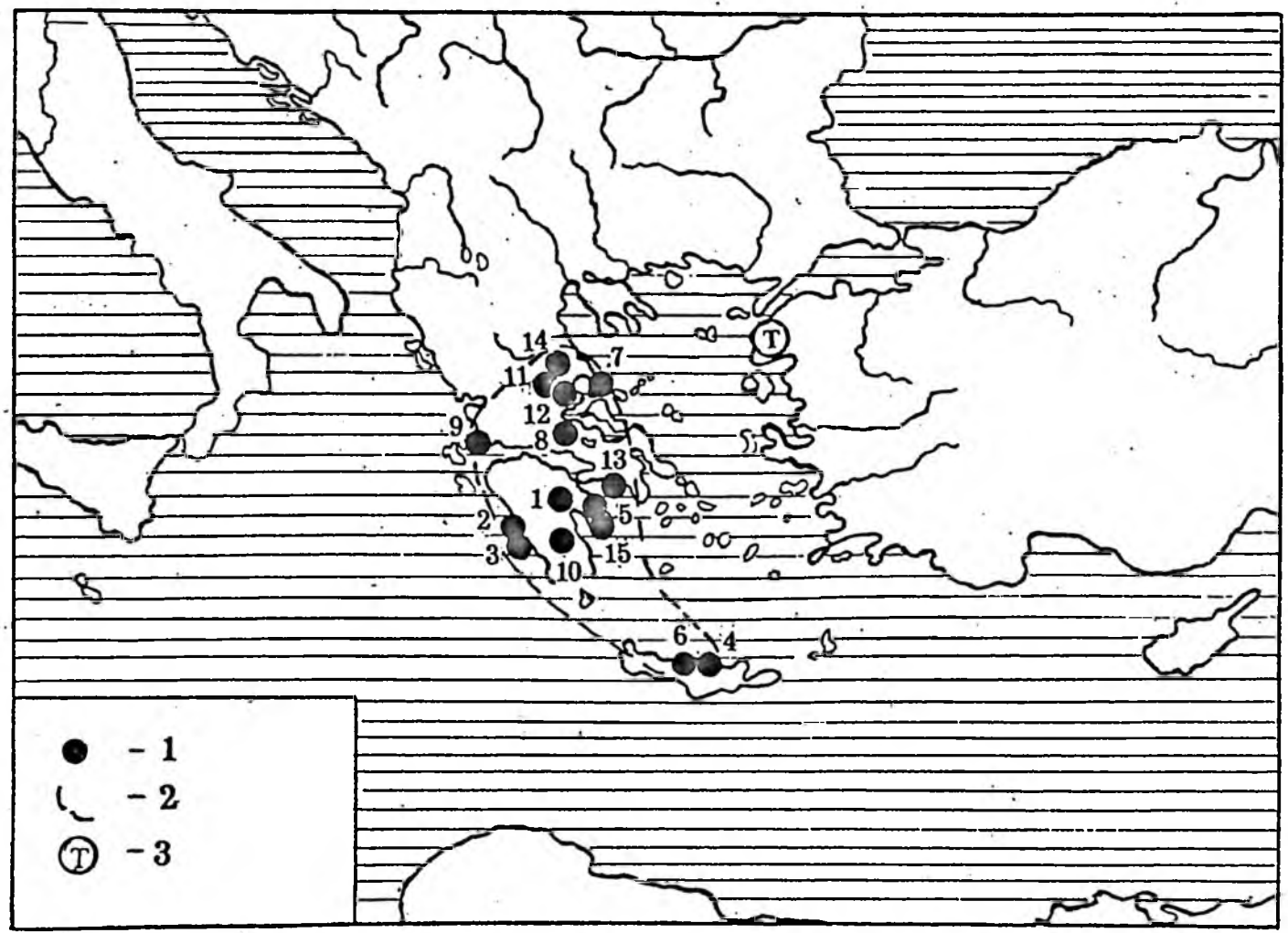
На **Карте 1** занесены местонахождения скипетроносцев, а, соответственно, и скипетров, в момент отправки предводителей к Трое. Как следует из карты, все местонахождения обнаруживают чрезвычайную компактность, а их ареал включает Пелопонес, Центральную Грецию и остров Крит.

На **Карте 2** представлено возможное распространение скипетров в качестве предполагаемых археологизированных объектов. Различия очевидны и весьма выразительны. Исходный ареал скипетров (Карт.1) объединяет четыре или, возможно, пять объектов (Карт. 1, №№ 1–3, 10, 15), а все остальные скипетры по одиночке или группами разбросаны за пределами их первичного ареала от Малой Азии — Трои (№№ 11–14) до Италии и Сицилии (№№ 4–7) и, возможно, Африки (№ 10).

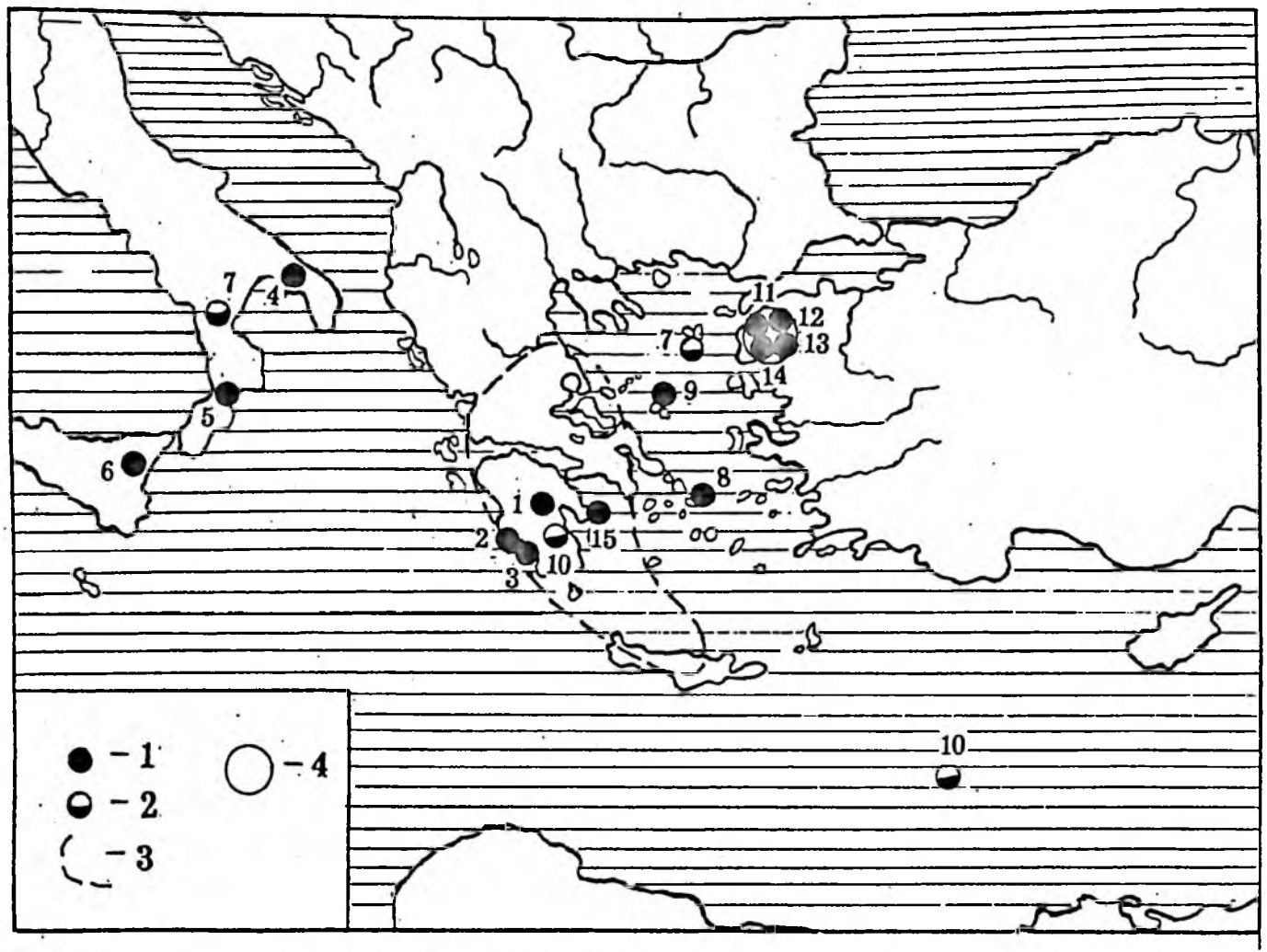
Таковы возможные результаты археологического депонирования скипетров ахейцев, следуя условиям успешного завершения Троянской войны, каковой она представлена в гомеровском эпосе.

Но вообразим себе, что эта война была проиграна ахеянами. Соответственно, подавляющее большинство скипетродержателей вместе со своими символами осели бы под Троей и в ее окрестностях. Или же, скажем, победив, ахеяне продолжали бы свою экспедицию, колонизируя земли Малой Азии. Результат был бы тот же самый, только с большим территориальным разбросом археологизиованных скипетров. Но что для нас, археологов, принципиально важно, так это то, что в обоих этих случаях в исходный ареал — ареал первичной отправки скипетродержателей — могли бы археологизироваться лишь редкие единичные находки. Вот и интерпретируйте, господа археологи.

Как бы то ни было, главный вывод, вытекающий из анализа гомеровских скипетров и



Карт. 1. Местонахождения скипетров на момент отправки их держателей на Трою. 1 — места отправки скипетродержателей: 1 — Агамемнона, 2–3 — Нестора и Фразимеда, 4 — Идоменея, 5 — Диомеда, 6 — Мериона, 7 — Филоктета, 8 — Аякса Оилеева, 9 — Одиссея, 10 — Менелая, 11–12 — Ахилла и Патрокла, 13 — Аякса Теламонида, 14 — Протесилая, 15 — Сфенела; 2 — исходный ареал скипетров; 3 — Троя.



Карт. 2. Места возможного археологического депонирования скипетров.

1 — Возможное депонирование скипетров: 1 — Агамемнона, 2-3 — Нестора и Фразимеда, 4 — Идоменея, 5 — Диомеда, 6 — Мериона, 8 — Аякса Оилиева, 9 — Одиссея, 11–12 — Ахилла и Патрокла, 13 — Аякса Теламонида, 14 — Протесилая, 15 — Сфенела); 2 — исходный ареал скипетров; 3 — Троя. 2 — Варианты возможного депонирования скипетров: 7 — Филоктета. 10 — Менелая. 3 — Исходный ареал скипетров; 4 — Троя.

модели их возможной археологизации, заключается в том, что в качестве социальной символики, свойственной структуре военной власти в случае военной экспансии, эта символика, подобно оружию, независимо от места их изготовления, археологизируется, преимущественно, в зонах военных действий, в зонах реализации военных интересов; зоны, которые зачастую могут не совпасть с ареалом обитания самих носителей этих символов или их вооружения.

Эта схема общая, универсальная для всех времен и всех войн. Вспомним многочисленные местонахождения разнообразного киммерийского и скифского оружия, зафиксированного по всей Малой Азии до Египта. Но в данном случае мы знаем об экспансии этих племен из письменных источников и сведений древних авторов. Но письменные источники практически ничего не сообщают об экспансии тех же киммерийцев и скифов на запад, в Центральную Европу, а их оружие и снаряжение всадников сотнями, тысячами экземплярами зафиксированы по всей Южной и Средней Европе до севера Италии и Эльбы (Chochorowski 1993: 36. Мара 1). Но зачем заглядывать так далеко. Спросите себя, где приоритетно реализовалась (археологизировалась) символика и оружие третьего Рейха? И наоборот... Так почему же взятые из той же схемы знаковой символики, в тех же условиях, скипетры энеолитические рассматриваются как Дунайские лишь потому, что количественно их здесь больше, нежели на Востоке — в Поволжье? И это при том, что подобной интерпретации определенно противоречит и само корректное восприятие понятия — культурный тип. Но тема эта — энеолитические скипетры — тема особая и ей будет посвящена специальная работа.

Литература

Андреев Ю.В. 1976. Раннегреческий полис (гомеровский период). Ленинградсий университет. Л.

Андреев Ю.В. 1998. История и миф в предании о Троянской войне // Шлиман, Петербург, Троя. СПб.

Андреев Ю.В. 2002. От Евразии к Европе. Крит и эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III — начало I-го тыс. до н.э.). СПб.

Артог Ф. 1998. Возвращение Одиссея // Одиссей. М.

Блаватская Т.В. 1966. Ахейская Греция. М.

Даниленко В.Н. 1974. Энеолит Украины. Киев.

Даниленко В.М., Шмаглій М.М. 1972. Про один поворотний момент в історії енеолітичного населення Південної Европи // Археологія. № 6. Київ.

Дергачев В.А. 2002. Типология и интерпретация зооморфных скипетров энеолита Восточной Европы // Степи Евразии в древности и средневековье. Тезисы конференции посвященной 100-летию со дня рождения М.П.Грязнова. Ч. 2. СПб.

Иессен А.А. 1941. Каменная скульптура медведя из Туркмении. Гос. Эрмитаж. Тр. отдела истории первобытной культуры. Т. 1. Л.

Клейн Л.С. 1998. Анатомия «Илиады». СПб.

Клейн Л.С. 2000. Каталог кораблей: структура и стратиграфия // Stratum plus. № 3. СПб., Кишинев, Одесса.

Крайнов Д.А. 1972. Древняя история Волго-Окского междуречья. М.

Ленцман Я.А. 1963. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М.

Лосев А.Ф. 1960. Гомер. М.

Петров М.К. 1991. Язык, знак, культура. М.

Пиотровский Ю.Ю. 1995. Булава с каменным навершием из Майкопского кургана (Ошад) // Эрмитажные чтения. Памяти Б.Б.Пиотровского. СПб.

Тэрнер В. 1983. Символ и ритуал. М.

Флоренсов Н.А. 1991. Троянская война и поэмы Гомера. М.

Щепаньский Я. 1969. Элементарные понятия социологии. М.

Элиаде М. 2000. Миф о вечном возвращении. М.

Brentjes B. 1976. Civilizatia veche a Iranului. Bucuresti.

Casson S. 1937. Ancient Cyprus. Its Art and Archaeology. London.

Chochorowski Ja. 1993. Ekspansja kimmeryjska na tereny Europy Srodkowej. Krakow.

Diez de Velasco F. 1988. Un aspecto del simbolismo del kerykeion de Hermes // Gerrion. Madrid. № 6.

Europaeus R. 1928. Tierkopfförmige steinwaffen // Reallexikon der Vorgeschichte. XIII. Berlin.

Govedarica B., Kaiser E. 1996. Die äneolithischen abstrakten und zoomorphen Steinzepter Südost- und Osteuropas // Eurasia Antiqua. B.2. Berlin.

Ivanov I.S. 1978. Les fouilles archéologiques de la nécropole chalcolithique a Varna (1972–1975) // Studia Prachistorica. № 1–2. Sofia.

Matz Fr. 1969. Creta, Micene, Troia. Bucureşti.

Renfrew C. 1970. The Burnt House at Sitagroi // Antiquity. № 174.

Rutkowski B. 1980. Arta egeeana. Bucureşti.

GEL. = A Greek-Englich Lexicon. Oxford. A the Clarendon Press. 1966.

В.С.Бочкарев[1]

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ПЕТЕЛЬ-УШЕК У НАКОНЕЧНИКОВ КОПИЙ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ

V.S. Bochkarev. On the function of loops in the Late Bronze Age spearheads of East Europe and Siberia.

The author analyzes the chronology and evolution of metal spearheads with loops, paying special attention to the question of the function of the latter. In archaeological literature they are usually considered as means of attaching heads to shafts. However, the author's conclusion based on a wide range of analogies is that they were used to attach various badges and emblems.

В эпоху поздней бронзы на Алтае, в Южной Сибири и в Восточной Европе появились наконечники копий, на втулках которых было отлито по одному или два ушка (рис.1–3). В исконном или чаще трансформированном виде такого рода изделия просуществовали почти все второе тыс. до н. э. В некоторых регионах они дожили до эпохи раннего железа. Кроме Северо-Восточной Евразии ушковые наконечники были также распространены на Британских островах, на территории Китая, Кореи и Японии (Greenwell, Brewis 1911: 448–450; Takaysu Higuchi 1986: 14–20). Как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях ушки всегда рассматривались в качестве важного типологического элемента: учитывалось их количество, форма, размеры, местонахождение на изделии и т.д. При этом, однако, почти не затрагивался вопрос об их функциональном назначении. Нам удалось разыскать лишь несколько коротких высказываний по этому поводу. Одно из них принадлежит английским исследователям В.Гринвеллу и В.Брюису. Эти авторы пришли к выводу, что к ушкам британских копий привязывались ремни, с помощью которых наконечники крепились к древкам (Greenwell, Brewis 1911: 448). Рассмотрев восточноевропейские материалы, аналогичное заключение сделал Б.Г.Тихонов. Он в частности писал следующее: »Наконечники копий этой подгруппы повторяют форму вильчатых копий; нижний край втулки часто отлит с утолщающимся ободком и снабжен ушком для привязывания к древку» (Тихонов 1960: 27). Иначе определила назначение ушек на одном из бородинских копий О.А.Кривцова-Гракова (Кривцова-Гракова 1949: 9). Она предполагала, что к нему могли привязываться кисти или какие-нибудь иные подобные им украшения.

Никаких аргументов в пользу своей точки зрения Б.Г.Тихонов не привел. Не сделала этого и О.А.Кривцова-Гракова. В отличие от них В.Гринвелл и В.Брюис обосновали свою позицию. Они заметили, что в тех случаях, когда наконечники снабжались ушками, у них отсутствовали отверстия для гвоздей (штифтов) и наоборот. Из этого наблюдения был сделан следующий вывод: поскольку штифты использовались для крепления наконечников к древкам, то при их отсутствии ушки выполняли такую же функцию (Greenwell, Brewis 1911: 448). Предполагалось, что к ушкам привязывались ремни, нижние концы которых закреплялись на древках.

[1] Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия.

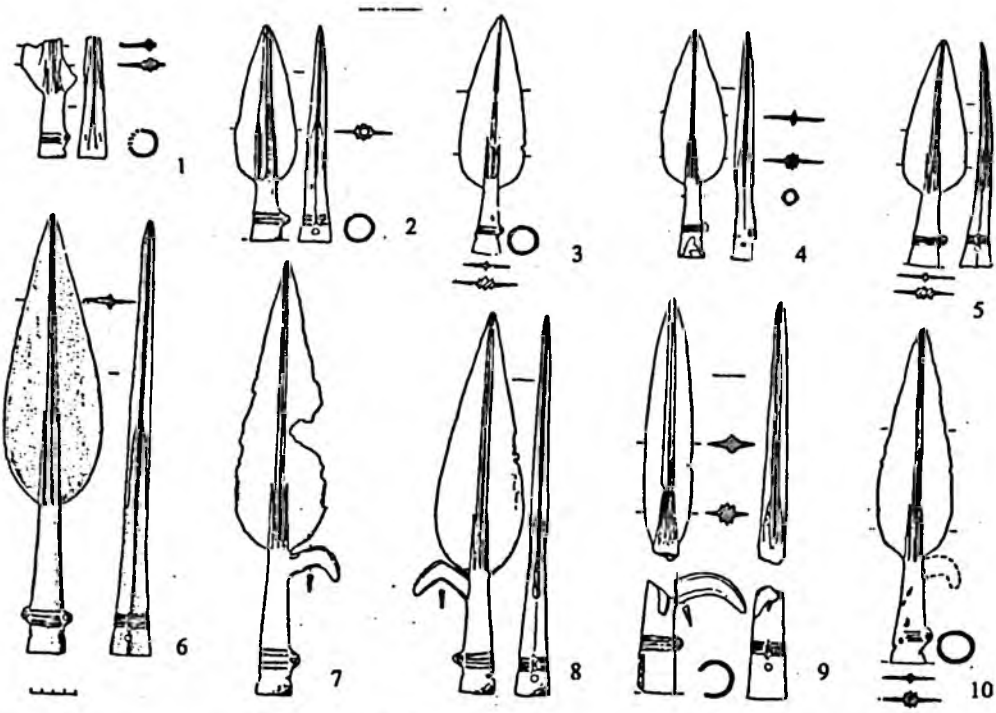


Рис. 1. Наконечники копий турбинского типа

1, 2 — Решное; 3, 4 — Турбино 1; 5 — Западная Сибирь; 6–8, 10 — Ростовка; 9 — р.Чарыш. (по Е.Н.Черныху, С.В.Кузьминых).

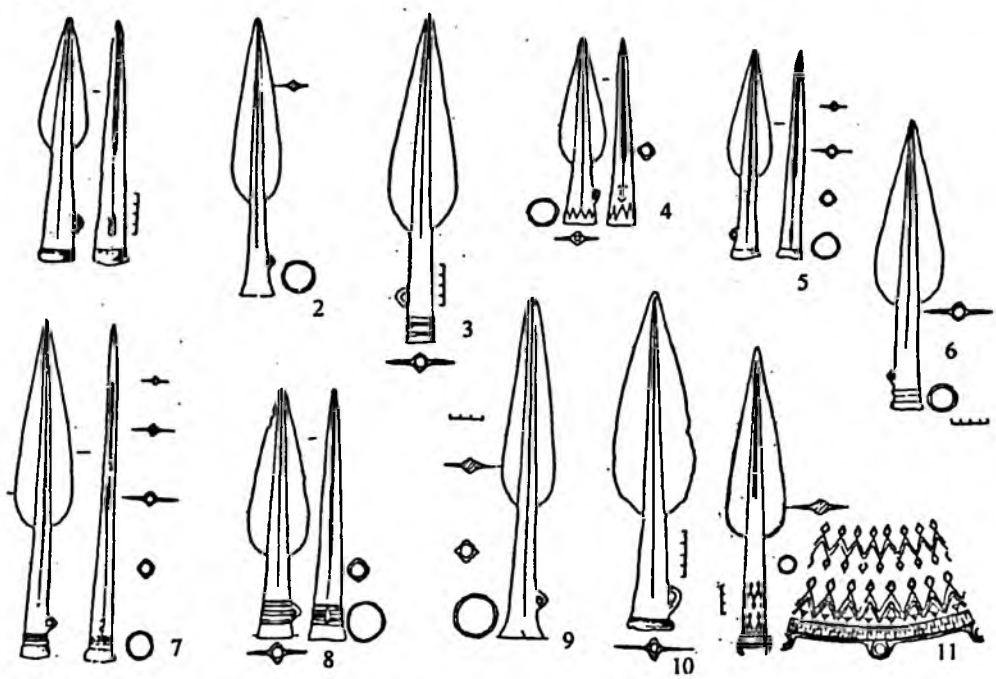


Рис. 2. Наконечники копий сейминского типа

1 — Курск; 2 — Засечное; 3 — Симбирская губ.; 4 — Карамыш; 5, 7 — Сейма; 6 — Каргулино; 8 — Решное; 9 — Каменск-Уральский; 10 — Подгремячинская; 11 — Бородинский клад. (по Е.Н.Черныху, С.В.Кузьминых).

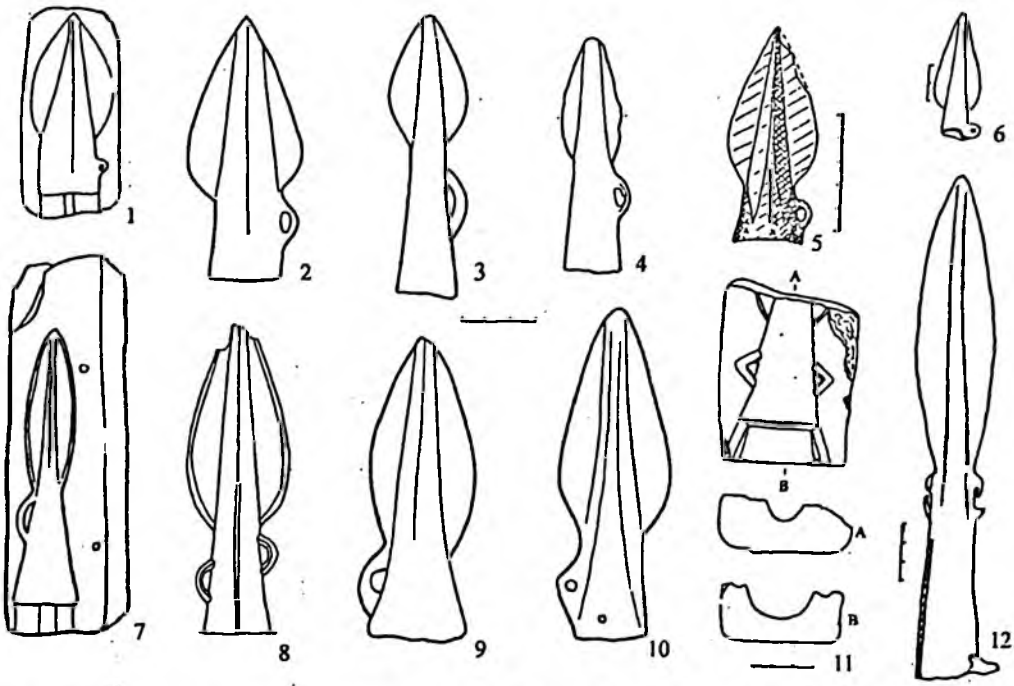


Рис. 3. Наконечники копий с ушками эпохи поздней бронзы в Восточной Европе: 1 — Старая Мать; 2 — Красный Яр; 3 — Каменная Балка; 4 — собрание государственного Эрмитажа; 5 — Ульяновск; 6 — Тетюшский у.; 7 — Малые Копани; 8 — Яндашево; 9 — Бочкаревка; 10 — Кассиво; 11 — Подборновское пос.; 12 — Б.Толкай 5 — по Г.М.Бурову; 6 — по Е.Н.Черныху; 8, 11 — по С.В.Кузьминых; 9 — по В.А.Иванову, М.Ф.Обыденнову; 12 — по П.Ф.Кузнецову).

С логической точки зрения, вывод В.Гринвелла и В.Брюиса кажется вполне правильным. Однако его автоматически нельзя переносить на материалы Северо-Восточной Евразии. Дело в том, что эти материалы, в отличии от британских, не предоставляют убедительных данных об инверсии ушек и штифтов. Разумеется, среди наконечников из Восточной Европы и Южной Сибири можно найти много экземпляров, снабженных только ушками или только отверстиями для штифтов. Вместе с тем известна целая серия изделий, у которых два этих элемента оказались совмещенными (рис. 1:1–10). Особенно это характерно для наконечников турбинского типа. Как правило, они имеют одно или два ушка. Отверстия для штифтов всегда располагаются ниже ушек, на некотором расстоянии от края втулки. Они имеют круглую форму, а диаметр их не превышает 0,5 см. Назначение этих отверстий известно: через них и древко пропускались деревянные или металлические штифты, концы которых слегка выходили за пределы втулок и тем самым удерживали наконечники на древках (рис. 4:1). Этот способ крепления втульчатых орудий отличается простотой и надежностью. Судя по всему, он не требовал какой-либо дополнительной оснастки. Поэтому появление на одних и тех же изделиях штифтов и ушек, видимо, объясняется тем, что они предназначались для различных целей.

Штифтовый способ крепления стал широко известен в Восточной Европе с начала эпохи средней бронзы, т.е. задолго до появления ушек. В то время и позднее наконечники копий, дротиков и других втульчатых орудий (долот, крюков и т.д.) отковывались из медных или бронзовых заготовок (Дегтярева, Попова, Кизина, Астрединов 1998: 86). В III–II тыс.

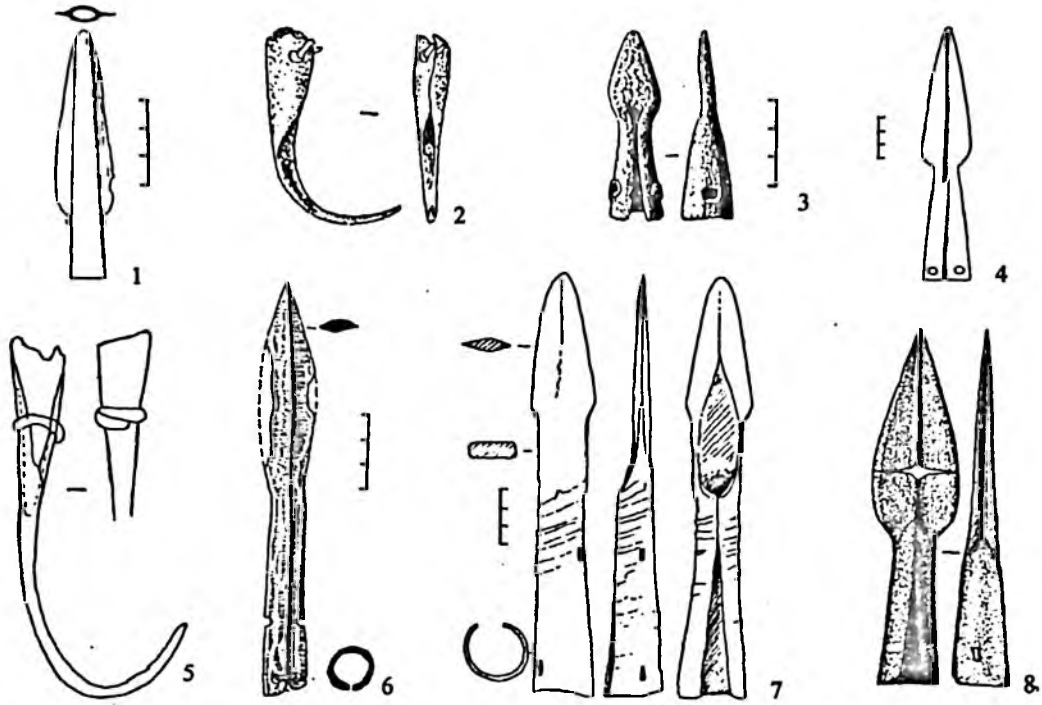


Рис. 4. Наконечники копий и крюки эпохи бронзы

1 — Сколье дель Тонно, Италия; 2 — Мосоловское пос.; 3 — Балановский мог.; 4 — Покровский мог.; 5 — Ивановское пос.; 6 — Балымский клад; 7 — Сторожовка; 8 — Кондрашкинский к.

(1 — по Г.Мюллеру-Карпе; 2, 8 — по А.Д.Пряхину; 3 — по О.Н.Бадеру; 4 — по О.А.Кривцовой-Граковой; 5 — по Н.Л.Моргуновой, О.И.Пороховой; 6 — по В.И.Козенковой; 7 — по С.В. Ляхову).

до н. э. эта технология была широко распространена в Передней Азии, в Восточном Средиземноморье и на Кавказе. Вероятно, с юга она проникла на территорию Восточной Европы. Хотя эта технология была сравнительно трудоемкой и сложной, она имела ряд существенных недостатков. Один из них заключался в том, что с помощью ковки и кузнечной сварки трудно было получить достаточно прочную втулку. Дело в том, что такая втулка сворачивалась из довольно тонкого и не слишком упругого металлического листа. При сильном ударе или при длительном употреблении она могла разомкнуться по линии соединения продольных краев листа. Чтобы избежать этой поломки, в древности использовали несколько приспособлений. Их следует коротко охарактеризовать, так как в литературе они иногда принимаются за средство крепления наконечника к древку.

К числу таких приспособлений относятся кованые или литые кольца, которые одевались на нижние части втулок. Они сжимали втулки и не давали возможности им разомкнуться. В странах Древнего Востока использовались как литые, так и кованые кольца, а в Микенской Греции — литые (Avila 1983: 8 , Taf. 2,10–14; 13, 78–80). Отверстия для штифтов пробивались выше или ниже колец. Иногда они размещались на самом кольце. На Кавказе кольца-обоймы известны на двух бронзовых наконечниках копий триалетской культуры (Picchellauri 1997:54 taf. 70, 1194–1195) Правда, они сделаны из драгоценных металлов и поэтому могли иметь чисто декоративное значение. Среди восточноевропейских материалов удалось найти лишь один случай использования кольца. Речь идет о кованом крюке, найденном на Ивановском поселении в Оренбуржье (Моргунова, Порохова 1989: 169,

рис. 58). Верхняя часть его втулки стянута петлей, согнутой из толстого металлического дрота (рис. 4:5).

На Кавказе и в Восточной Европе вместо колец использовали ме-таллические скрепы и ремни. Они вставлялись в специальные прорези, которые часто принимают за отверстия для штифтов. С помощью скобы была стянута втулка наконечника копья из так называемого былымского клада, найденного в Кабардино-Балкарии (Козенкова 1995: 37. Табл. V: 10). Выше металлической скобы расположены два симметричных отверстия для штифта (рис. 4:6). Примечательно, что они ориентированы строго по диаметру втулки. В отличие от них, прорези для скобы смещены ближе к несомкнутым краям втулки. Былымский наконечник хорошо демонстрирует разделенность функций штифтов и скоб. Впрочем, не исключено, что металлические штифты могли также использоваться для скрепления втулок. В пользу этого предположе-ния свидетельствует устройство кованого крюка из Мосоловского поселения в Среднем Подонье (Пряхин 1990: 50, рис. 25, 2). В верхней части втулки этого крюка пробито два почти симметрично расположенных отверстия, в которые был вставлен металлический штырь. Его концы выведены наружу и загнуты навстречу друг другу. Надо полагать, что такая форма штифта препятствовала расхождению краев втулки крюка (рис. 4, 2).

Кроме металлических скоб, для этих же целей использовались завязки из ремней и, возможно, других органических материалов. Хотя эти материалы плохо сохраняются в археологических памятниках, все же известны два достоверных случая их использования. Один из них зафиксирован воронежскими археологами. При исследовании богатого воинского погребения в Кондрашкинском кургане был найден медный наконечник копья с разомкнутой втулкой (рис. 4:8). Описывая эту находку, авторы публикации, в частности, отмечают:» У нижнего края втулки, напротив друг друга проделаны небольшие подпрямоугольные отверстия, через которые был пропущен кожаный ремень. Следы от ремня фиксировались с внешней стороны втулки» (Пряхин, Беседин, Левых, Матвеев 1989: 6, рис. 4:1).Назначение этого ремня не вызывает сомнений — он стягивал края втулки. После того, как он истлел в земле, эти края разошлись и в таком виде наконечник дошел до наших дней. Интересен он еще двумя деталями: местонахождением отверстий и их формой. Также, как прорези для скобы у былымского экземпляра, они немного смещены от линии диаметра втулки. Это указывает, что их не использовали для штифта или штифтовой завязки. Обращает на себя внимание их прямоугольные очертания. Видимо, такая форма прорезей обусловлена самими свойствами такого материала, как кожа. Из нее было удобно вырезать ремни прямоугольного или квадратного сечения.

Другой наконечник с остатками кожи был найден в погребении эпохи средней бронзы в Саратовском Поволжье (Ляхов 1996: 78, рис. 2). Он примечателен тем, что его втулка была обмотана кожаным ремешком. Кроме того, в верхней и нижней частях втулки были пробиты две пары прямоугольных отверстий (рис. 4:7).

Автор публикации, отметив эти особенности наконечника, не определил их назначение. Это попытались сделать С.Н.Братченко и С.М.Санжаров. По их мнению, ремешок использовался как дополнительное средство крепления наконечника к древку (Братченко, Санжаров 2001: 81). Но материалы, приведенные выше, подсказывают другое решение этого вопроса. По всей вероятности, ремешок использовался для того, чтобы стянуть и закрепить в сомкнутом положении продольные края втулки. В пользу этого говорит то обстоятельство, что остатки ремешка прослеживаются по всей длине втулки. Его концы, видимо, крепились в прямоугольных отверстиях, пробитых в нижней и верхней частях втулки.

Можно выделить еще ряд наконечников, для скрепления втулок которых использова-

лись завязки из каких-то мягких материалов. Правда, они опознаются по некоторым косвенным признакам, так как сами завязки, по понятным причинам, не сохранились. Как нам кажется, такого рода признаки хорошо выражены у двух наконечников из Покровского (курган. 15, погр. 2) и Балановского (могила15) могильников. У первого их них в нижней части втулки проделаны два сравнительно больших отверстия округлой формы (рис.4:4). По мнению О.А.Кривцовой-Граковой, они предназначались для штифта(Кривцова-Гракова 1955: 63; рис. 14:8). С этим, однако, трудно согласиться. Дело в том, что эти отверстия сдвинуты от линии диаметра втулки и расположены вблизи ее несомкнутых краев. Если через них пропустить штифт, то он пройдет через сегмент древка, минуя его центральную часть. От такого крепления толку не будет. Но подобное расположение отверстий необходимо для того, чтобы стянуть и связать разомкнутые края втулки. Здесь следует напомнить, что аналогичным образом размещены прорези для скобы и ремня у былымского и кондрашкинского наконечников.

Видимо, схожую конструкцию имел балановский наконечник из одноименного могильника в Чувашии (Бадер 1963: 177–178, рис. 115:1). Можно предполагать, что его втулка была стянута кожаным ремешком квадратного сечения (рис. 4:3). В пользу этого свидетельствует местоположение отверстий на втулке, их размеры и форма. Интересно отметить, что края отверстий были утолщены и притуплены. Вероятно, это было сделано для того, чтобы предотвратить перетирание ремешка.

Эти же признаки позволяют включить в рассматриваемую серию большую группу наконечников из Закавказья (около 40 экземпляров). Краткие сведения о них приводит К.Пицхелаури (Picchelauri 1997:. 54, 57–59; Taf. 71: 1209–1211, 1216, 1227; Taf. 79: 1426–1430, 1432, 1435; Taf. 80: 1453, 1454, 1457, 1460, 1463, 1466–1468; Taf. 81: 1469, 1471, 1472, 1478, 1479; Taf .82: 1506, 1509, 1510, 1515, 1517–1519, 1521, 1525, 1532; Taf. 83: 1540, 1548, 1549, 1555, 1558). По местной периодизации они датируются эпохами средней и поздней бронзы. Все эти наконечники снабжены круглыми или реже прямоугольными отверстиями, которые располагаются вблизи продольных краев втулок. Особо следует выделить наконечники с двумя парами отверстий (Picchelauri 1997: 58, Taf. 81: 1466, 1467, 1469, 1548). В этом отношении они напоминают саратовский экземпляр. Очевидно, две завязки должны были гарантировать более прочное и надежное скрепление втулки.

Проведенный обзор не исчерпывает всех доступных сейчас материалов. Но на наш взгляд, он и так достаточно хорошо показывает, что многие кованые наконечники копий и дротиков были снабжены специальными приспособлениями для стягивания втулок. Эти приспособления не имели прямого отношения к средствам крепления древков. Вместе с тем, выяснилось, что, за редким исключением, такие наконечники не имели штифтовых отверстий. К этому следует добавить, что нет их также и у многих цельнолитых наконечниках эпохи поздней бронзы Восточной Европы (Klocko 1995: abb. 7:3,4; 10:1; 11:3,5,6; 14:2; 15:4; 18:3; 19:2; 20:3). Очевидно, все эти изделия крепились к древкам не с помощью штифтов, а каким-то иным способом. Из этого следует, что отсутствие штифтовых отверстий у наконечников с ушками еще не означает, что ушки заменяли штифты. С другой стороны, совмещение этих элементов на одних и тех же изделиях говорит в пользу того, что они предназначались для различных целей.

Данные, приведенные выше, вызывают скептическое отношение к точке зрения, согласно которой ушки использовались для крепления древков. Возникшие сомнения побуждают искать решения этого вопроса в другом направлении. С этой целью обратимся к рассмотрению древнейших образцов ушковых наконечников Северо-Восточной Евразии.

Такие наконечники известны в сейминско-турбинских памятниках, основная масса которых протянулась полосой вдоль южной кромке лесов от Алтая до устья Оки. Согласно новым данным, они появились в Восточной Европе в начале второго тыс.до н. э. , а в Сибири, вероятно, и несколько раньше (Бочкарев 2002:115). Эти памятники представлены рядом могильников и большой серией единичных находок. В них содержится богатый и яркий материал, в котором доминирующее положение занимают металлические предметы вооружения — кинжалы, боевые топоры-кельты, наконечники копий и т. д.(Черных, Кузьминых 1989: 37–125).

Сейминско-турбинские наконечники принято подразделять на два основных типа. К первому из них относятся изделия с вильчатым стержнем пера (турбинский тип), а ко второму — с ромбическим (сейминский тип) (рис. 1–2) .Каждый из этих типов стал родоначальником нескольких разновидностей наконечников, которые получили распространение уже во второй половине второго тыс. до н. э. Прежде чем приступить к рассмотрению этих наконечников, необходимо хотя бы коротко затронуть вопрос об их функциях.

В оружиеведческой литературе обычно выделяют не менее пяти категорий древкового оружия: стрелы, копья, дротики, пики и т. д.(Farot 2000: 40–48). В древности наибольшее распространение получили первые три категории. Во всяком случае, их называют чаще всего при описании вооружения различных евразийских культур эпохи бронзы. Между тем, в археологии еще не разработаны надежные критерии их идентификации. Чаще всего в качестве разграничительных признаков используются данные о длине наконечников. Самые крупные из них причисляют к копьям, а самые маленькие — к стрелам. Дротикам отводят серединную позицию (Кирпичников 1966: 23). В принципе, эта градация имеет объективные основания. Проблема, однако, заключается в том, что пока не удается определить метрические показатели этих подразделений. В особенности это касается наконечников копий и дротиков.

Изучение материалов эпохи поздней бронзы Восточной Европы показало, что наконечники стрел легко выделяются благодаря своим небольшим размерам. Вместе с тем выяснилось, что для идентификации наконечников копий и дротиков требуется корреляция нескольких признаков. К их числу относятся данные о морфологических особенностях изделий (тип наконечника), диаметре его втулки (по нижнему срезу) и длине. Некоторые разъяснения необходимо сделать в отношении второго признака, так как в литературе его значение должным образом еще не оценено. Из исторических и этнографических источников известно, что копья и дротики различаются между собой по нескольким показателям. В частности, они имеют разную длину и толщину древков. Последний параметр определяет диаметр втулки наконечника. У наконечников копий он должен быть заметно больше, чем у дротиков и, конечно, стрел. Анализ конкретного материала, особенно стрел, подтверждает это положение.

Корреляция указанных признаков позволила выделить среди цельнолитых наконечников эпохи поздней бронзы Восточной Европы три достаточно компактных группы (рис. 5).В первую из них, в основном, вошли наконечники турбинского и сейминского типов, во вторую — их поздние дериваты (рис. 3) и в третью — наконечники красномаяцкого типа (рис. 6).

С большой долей вероятности изделия первой группы могут быть причислены к наконечникам копий. Они отличаются крупными размерами их длина колеблется в пределах 20–40 см), классическими пропорциями и формой, а также большим диаметром втулки (3 и более см). Почти прямо противоположные характеристики имеют наконечники красномаяцкого типа (группа 3).

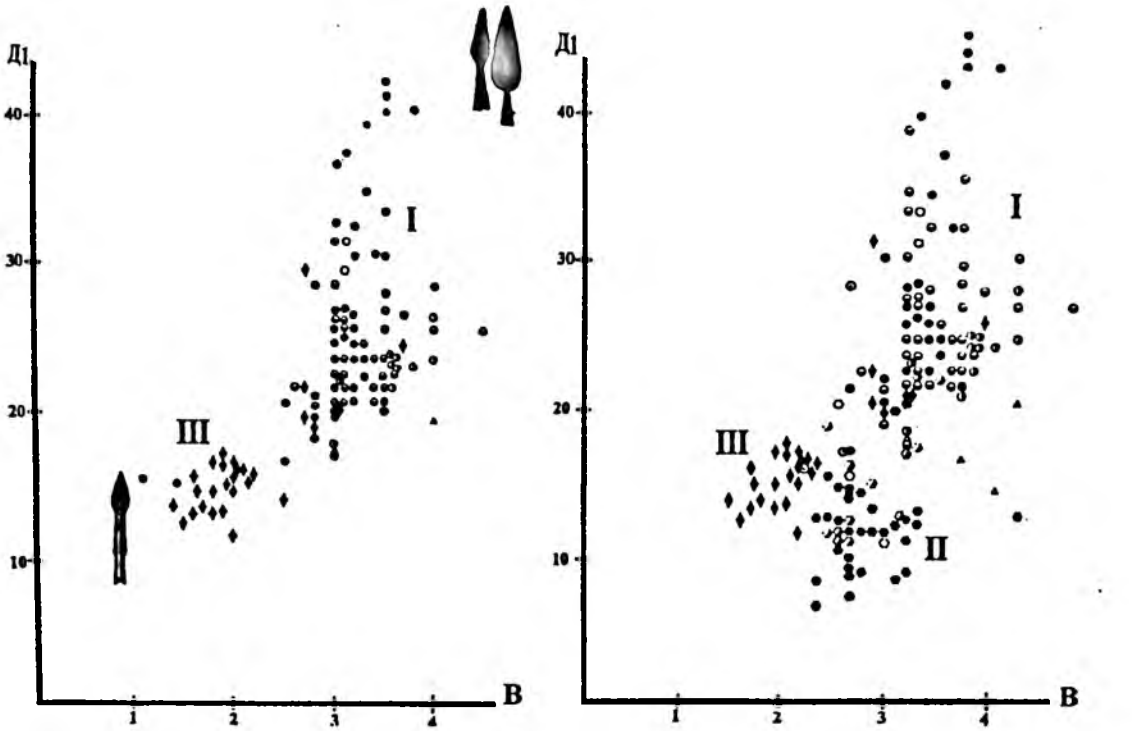


Рис. 5. Восточноевропейские копья эпохи поздней бронзы. Корреляция длины и диаметра втулок наконечников.

Д1 — длина наконечников; В — диаметр их втулок (размеры в см).

В подавляющем большинстве случаев это небольшие изделия длиной 12–18 см и с малым диаметром втулки — 1,4–2 см. Особо следует отметить форму их пера. Оно имеет ромбическую головку, от которой резко сужается книзу и далее идет параллельно краям втулки почти до самого ее устья. Нижняя узкая часть пера не затачивалась и, видимо, выполняла функцию стабилизатора. Эти морфологические особенности, а также размеры указывают на то, что большинство изделий красномаяцкого типа могли использоваться в качестве наконечников дротиков. Исключение составляет только несколько крупных экземпляров с большим диаметром втулки. Они, видимо, использовались как наконечники копий или специальных наверший. Один из них снабжен у основания пера двумя коваными кольцами, напоминающими волюты-перекрестья кинжалов сосновомазинского и красномаяцкого типов.

Интересен состав второй группы. По преимуществу в нее вошли длинноперые наконечники, многие из которых снабжены ушками. Большинство из них датируется началом второй половины второго тыс. до н. э. Обращают на себя внимание размеры этих изделий. Их длина варьирует в пределах 7–18 см, а диаметр втулки — 2–3 см . Согласно первому из этих показателей они равны или, как правило, меньше красномаяцкого типа, а согласно второму — занимает промежуточную позицию между изделиями первой и третьей группами. Если придерживаться принятых здесь критериев, то их нельзя относить ни к дротикам, ни к копьям. По всей вероятности, они представляют особую разновидность изделий, интерпретация которых будет дана ниже.

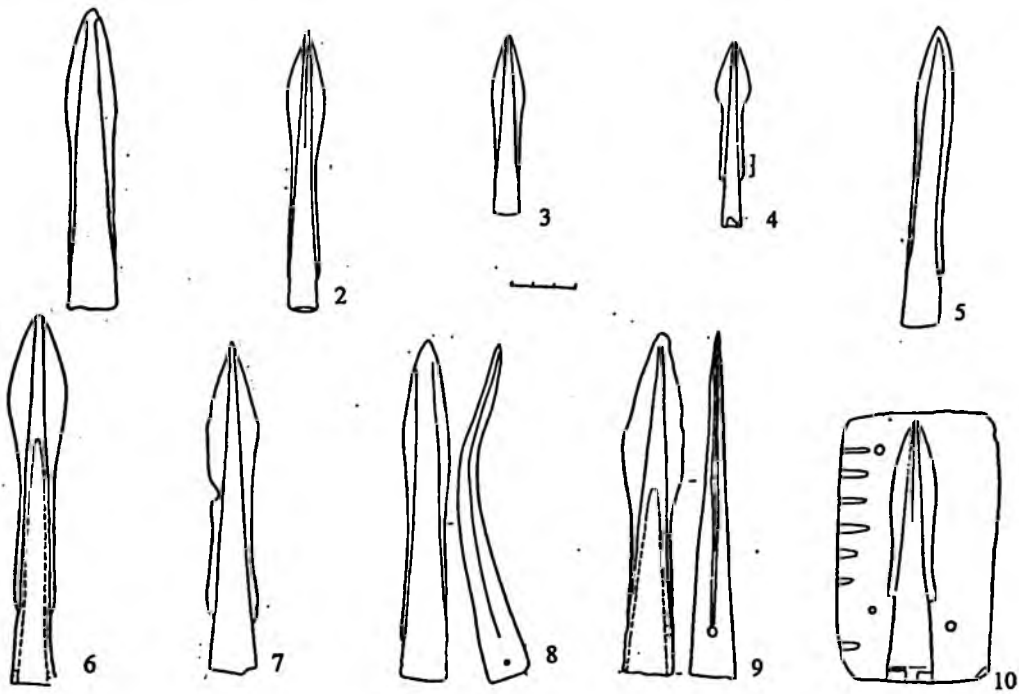


Рис. 6. Наконечники копий красномаяцкого типа
1 — Романково; 2 — Херсонские Кучугуры; 3 — Киевская и Подольская губ.; 4 — Красная; 5 — Мигея; 6 — Игрень; 7 — Кальмиус; 8 — Селище; 9 — Лозово; 10 — Кр. Маяк.

Итак, проведенный анализ позволил выделить несколько категорий древкового оружия. Каждая из них опознается по достаточно определенным типологическим и, что особенно важно, параметрическим критериям. Выяснилось, что в течение эпохи поздней бронзы наборы этого оружия менялись. Так, настоящие дротики (красномаяцкий тип) появились сравнительно поздно (около 13 века до н. э.) и просуществовали короткий промежуток времени. Кстати, они никогда не имели ушек. В раннюю пору эпохи поздней бронзы использовались стрелы и копья. Классическими образцами копий этого времени могут считаться наконечники турбинского и сейминского типов, к рассмотрению которых мы сейчас возвращаемся.

Изделия первого из указанных типов известны в количестве 41–42 экземпляров. Заметно больше наконечников второго типа — 60 экземпляров. Как уже говорилось, основное различие между этими типами обусловлено особенностями строения стержня пера. У турбинских наконечников стержень имеет вид техзубой вилки с осень удлиненным средним зубом, а у сейминских — он представляет собой конусовидный штырь ромбического или округло-ромбического сечения (рис. 1–2).

Кроме того, каждый из этих типов имеет еще ряд мелких особенностей, на которые редко обращают внимание. Но их следует охарактеризовать, так как они важны для нашей темы. Одним из таких отличительных признаков являются пропорции наконечников. Эти пропорции, или индексы, выделяются по очень простой формуле: Д2 / Д1 х 100, где Д1 — длина наконечника, а Д2 — длина его пера. Сравнение индексов наконечников трех типов

Типы	Индексы				
	51–55	56–60	61–65	66–70	71–75
Покровский	50%	37,5%	12,5%		
Сеймминский	4,5%	20,5%	47,7%	27,3%	
Турбинский		3,7%	22,2%	55,6%	18,5%

Рис. 7. Процентные соотношения индексов у трех типов восточно-европейских наконечников копий эпохи поздней бронзы.

— покровского, сеймминского и турбинского — дало следующие результаты (рис. 7). Оказалось, что в турбинском типе преобладают длинноперые наконечники (индексы: 65–70–75), а в сеймминском — изделия средних пропорций (индексы: 55–60–65). Также примечательно, что среди турбинских наконечников полностью отсутствуют экземпляры с самыми низкими индексами (50–55), а среди сеймминских — с предельно большими (70–75). Что касается наконечников покровского типа, то они, в основном, представлены короткоперыми изделиями (индексы: 50–55–60). В этом отношении они близки более древним наконечникам абашевской культуры.

Другие отличия связаны с устройством втулки изделия. У большинства наконечников сеймминского типа (66,6%) ребро со стержня переходит на выступающую часть втулки. Иногда оно опускается почти до самого его устья (рис. 2:1–10). Между тем, у турбинских наконечников ребро никогда не выходит за пределы стержня пера.

Следует отметить еще одну характерную черту изделий сеймминского типа. Края втулок многих из них снабжены манжетами , раструбами или 2–3 сравнительно массивными валиками (рис. 2:1–5,6,7,9–11). Чаще всего встречаются валики и особенно манжеты. У некоторых экземпляров верхний край манжеты имеет зубчатую кромку. В этом отношении они близки кованому наконечнику верхнекизильского типа из Турбинского могильника (Бадер 1964:63, рис. 40). Он также снабжен манжетой с зубчатым краем. Но она выполнена в технике ковки и представляет собой отворот (обшлаг) нижней части втулки. Этот экземпляр относится к числу древнейших образцов наконечников с манжетами.

Что касается наконечников турбинского типа, то приустьевая часть их втулок оформлена предельно просто. Она представляет собой гладкую трубку, которая постепенно расширяется и утолщается книзу.

Перечисленные отличия двух основных сеймминско-турбинских типов наконечников имеют вполне рациональное объяснение. Судя по всему, они вызваны локально-хронологическими причинами. Картографирование показало, что находки турбинского типа хорошо и примерно в равных количествах представлены как в Южной Сибири (включая Алтай), так и в Восточной Европе (Черных, Кузьминых 1989: рис. 38). Правда, к западу от Урала их ареал сравнительно узок и не выходит за пределы лесной зоны (единственное исключение — Бородино). Кроме того, во всех достоверных случаях они всегда приуроче-

ны к сейминско-турбинским памятникам и, соответственно, не встречаются в инокультурных комплексах. Поэтому в Восточной Европе эти наконечники исчезают вместе с сейминско-турбинскими древностями. Иначе сложилась их судьба в Южной Сибири. Там они получили прямое продолжение и развитие (рис. 7:3–5, 7–9).

По-другому обстоит дело с наконечниками сейминского типа. Они практически отсутствуют в Сибири. Все их находки, за исключением четырех (три на территории Казахстана и один в Омской области) сосредоточены в Восточной Европе (Черных, Кузьминых 1989: рис. 41). Причем, они встречаются во всех основных ландшафтных зонах (в лесной полосе, степи и лесостепи). В соответствии с этим наконечники с ромбическим стержнем пера оказались связанными не только с памятниками сейминско-турбинского типа, но и с целой свитой волго-уральских культур начальной поры эпохи поздней бронзы. В некоторых из этих культур было налажено их производство. К сказанному следует добавить, что они явились прототипами для нескольких разновидностей восточноевропейских наконечников более позднего времени.

Географическая обособленность и разнородность культурной среды лишь отчасти объясняют своеобразие этих типов. Здесь имеет значение также хронологический фактор. Есть основание предполагать, что наконечники сейминского типа возникли несколько позднее турбинских и на основе последних. Эта идея была впервые высказана О.Н.Бадером. Он также пришел к выводу, что Турбинский могильник в целом старше Сейминского (Бадер 1964: 142–151). В специальной работе мы попытались развить эти положения О.Н.Бадера и привести некоторые дополнительные аргументы в их пользу (Бочкарев 1986: 78–109). В частности, в ней утверждалось, что Турбинский могильник синхронизируется с абашевской культурой, а Сейминский — с постабашевской свитой волго-уральских культур. Ростовкинский могильник и поселение Самусь-4 предположительно относились к более позднему времени, чем Сейма (Бочкарев 1986: 108). Сейчас, в свете новых данных, в эту схему необходимо внести некоторые уточнения и поправки. В основном, они касаются хронологической позиции Сеймы и Ростовки, а также их временному соотношению с волго-уральскими культурами начальной поры эпохи поздней бронзы. Прежде всего отметим, что эти новые данные подтверждают более поздний возраст Сеймы и Ростовки по сравнению с Турбинским могильником. Во-вторых, придется признать, что они являются одновременными памятниками и вместе с тем старше, чем Самусь-4. Доступные сейчас материалы позволяют синхронизировать Сейму и Ростовку с синташтинской и отчасти петровской культурами в Южном Зауралье и с памятниками покровского типа в Поволжье и в Среднем Подонье.

Эта уточненная хронологическая схема излагается здесь предельно кратко, в тезисной форме. Но некоторые аргументы в ее пользу можно найти в работах других авторов (Кузьмина 1995: 27–51).

Если признать хронологический приоритет Турбинского могильника, то тогда то же самое придется сделать в отношении наконечников копий одноименного типа. Дело в том, что в этом могильнике очень хорошо представлены наконечники с вильчатым стержнем пера (11 экземпляров) и совсем отсутствуют наконечники с ромбическим стержнем пера. Последние появляются в памятниках, которые согласно нашей схеме относятся к более позднему времени, чем Турбино.

Принимая во внимание эту хронологию, а также большое сходство турбинского и сейминского типов, можно поставить вопрос об их генетической преемственности. Ранее это уже было сделано О.Н.Бадером. Он же подчеркивал, что в морфологическом отношении эти наконечники стоят друг к другу гораздо ближе, чем к каким-либо другим изделиям

подобного рода. Что касается их различий, которые мы так усиленно подчеркивали на предыдущих страницах, то они имеют особую структуру.

Сравнительный анализ показывает, что турбинский тип представляет собой более целостное образование, чем сейминский. Он состоит из меньшего числа признаков, а частоты их встречаемости выше. В результате эти признаки более устойчиво коррелируют друг с другом, а сам тип легче опознается. Одним словом, в нем просматривается более строгое следование единой норме. Напротив, у наконечников сейминского типа разброс признаков гораздо шире, их больше и они реже сопрягаются друг с другом. Нередко они теряют те связи, которые для турбинского типа являются обязательными (например, связь ушка с орнаментом) Кроме того, у этих наконечников появляются новые элементы, которые в одних случаях являются результатом влияния местной волго-уральской металлообработки (например, укороченное перо, зубчатая манжета), а в других — техническими усовершенствованиями (появление ромбического стержня, более глубокая втулка, укрепление ее края валиками).

Чтобы правильно оценить эти различия, необходимо их соотнести с чертами сходства, которые связывают наконечники турбинского и сейминского типов. Как уже говорилось, это сходство столь значительно, что различия указанных типов выглядят как расхождения исходной формы (турбинский тип) и ее деривата (сейминский тип).

Таким образом, хронологические и типологические данные позволяют видеть в турбинском типе первичное звено развития, а в сейминском — вторичное. Конечно, эта последовательность имеет абсолютное значение только с точки зрения генезиса типов. В реальности они какое-то время сосуществовали, о чем свидетельствуют материалы некоторых могильников (Сейма, Решное).

В соответствии с выводом о первичности турбинского типа, древнейшие образцы ушковых наконечников, очевидно, нужно искать в составе этого типа. Чтобы их выявить, необходимо продолжить сравнительный анализ наконечников копий, а также привлечь другие категории металлических изделий, снабженных ушками.

Судя по статистическим данным, ушковые наконечники доминируют как в турбинском, так и в сейминском типах. В первом из них они составляют 72,5%, а во втором — 79,6%. Заметно выше их доля в сибирской коллекции наконечников с вильчатым стержнем — 90,4%. По форме ушек, их размерам и местоположению на втулке особых различий между этими типами нет. Существенные отличия обнаруживаются в другом отношении. Оказалось, что у наконечников с вильчатым стержнем ушки всегда сопрягаются с орнаментальным пояском (Бадер 1963: 63; Бочкарев 1986: 97; Черных, Кузьминых 1989: 65), а в сейминском типе такое сочетание отмечено только у 15,3% наконечников.

В связи с этими данными необходимо коротко охарактеризовать сам орнаментальный поясок. Прежде всего следует отметить, что он относится к числу самых распространенных мотивов сейминско-турбинской орнаментации. Им украшались наконечники копий и особенно часто топоры-кельты. Он представляет собой узкую горизонтальную полоску, заполненную продольными валиками (линейный, или турбинский поясок), вертикальными валиками (сейминская лесенка) или же выпуклым зигзагом (рис. 9).

Хорошо заметна избирательность в распределении первых двух разновидностей пояска. Так, у наконечников копий, украшенных пояском, в 98 5 случаях встречается его первая разновидность. По каким-то причинам эти изделия никогда не украшались сейминской лесенкой. Это кажется особенно странным, если учесть, что в декоре кельтов того времени она получила очень широкое распространение. Лесенка зафиксирована лишь у двух сибирских наконечников, которые, однако, датируются уже постсейминским временем (рис. 8: 7).

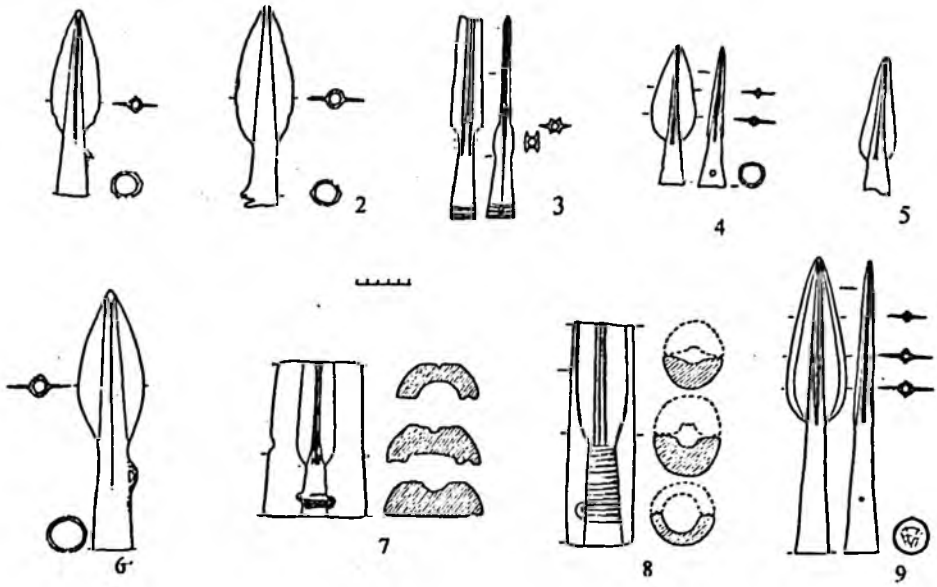


Рис. 8. Образцы копий эпохи поздней бронзы в Северной Евразии.
1 — Заосиново-4; 2 — Турбино; 3 — Тюриково; 4 — Золедеево; 5 — Изых; 6 — Ялычики; 7 — Иртыш; 8 — Самусь-4; 9 — Осинкинский мох (1–9 -по Е.Н.Черныху, С.В.Кузьминых).

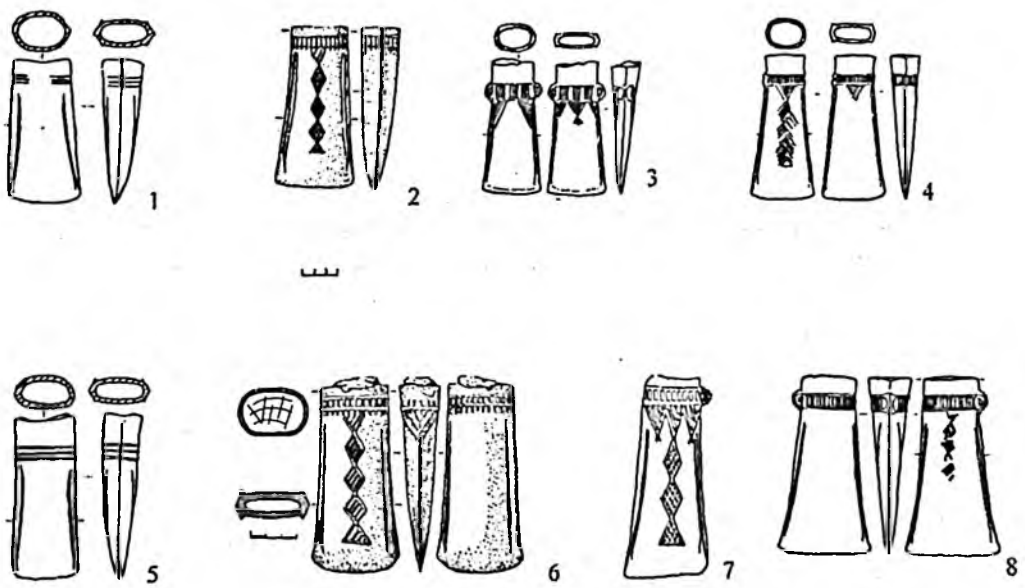


Рис. 9. Топоры-кельты эпохи поздней бронзы в Северной Евразии.
1, 5 — Турбино-1; 2, 6 — Сейма; 3 — Смоленское; 4 — Колбинский хребет; 7 — Зарни-Яг; 8 — Ростовка (1–8 — по Е.Н.Черныху, С.В.Кузьминых).

Несколько иную картину дают кельты. В их орнаменте встречаются все три варианта пояска, но резко преобладает линейный поясок (34 %) и особенно лесенка (62,6 %). К этому нужно добавить, что кельты, украшенные линейным пояском, никогда не имеют ушек, а их орнаментальные композиции отличаются простотой. Эти орудия выделены в отдельный, турбинский тип (рис. 9:1, 5). Кельты с лесенкой объединены в другой тип, названный сейминским (рис. 9: 2–4, 6–8). В большинстве своем они характеризуются усложненной орнаментальной композицией, а также появлением у ряда экземпляров одного или двух ушек.

Приведенные материалы показывают, что распределение двух основных вариантов пояска не было хаотичным и случайным. Напротив, каждый из них оказался прикрепленным к определенному типу изделий и с ним был связан ряд характерных особенностей этого типа. По этой причине вряд ли будет правильно рассматривать этот поясок в качестве ординарного декоративного мотива. По всей вероятности он имел какую-то особую семантическую нагрузку.

Можно привести еще один довод в пользу того, что поясок играл особую роль в оформлении некоторых категорий сейминско-турбинского оружия. Как уже говорилось, изучение соотношения ушек и пояска у наконечников с вильчатым стержнем показало, что первый из этих элементов всегда сопрягается со вторым. Но обратная связь между ними не является обязательным правилом. Об этом свидетельствуют находки безушковых наконечников турбинского типа, украшенных пояском (Черных, Кузьминых 1989: рис. 26:3; рис.35:1–2). В принципе, аналогичная картина наблюдается у сейминско-турбинских кельтов. В огромном большинстве случаев поясок у этих орудий не сопровождается ушками, но ушкам практически всегда сопутствует поясок (Черных, Кузьминых 1989: рис. 17:4; 18:3–5; 19; 20:1,3; 23:1–2 — рис. 9:3,4,7,8).

Опираясь на приведенные данные, можно заключить, что наличие пояска является важны, или даже непременным условием появления ушек у наконечников с вильчатым стержнем и у сейминско-турбинских кельтов. В целом же, следует констатировать, что в своих исконных формах ушки были тесно связаны с пояском и в значительной степени зависели от него.

Но с течением времени орнамент претерпевает существенные изменения. Меняются также ушки. Иными становятся соотношения этих двух элементов в убранстве наконечников копий и кельтов. О том, как происходили эти процессы, позволяют судить материалы второй половины второго тыс. до н. э. из Восточной Европы и Южной Сибири.

Их краткий обзор целесообразно начать с наконечников сейминского типа. Абсолютное большинство этих изделий (85 %) уже не украшались пояском, хотя очень многие из них продолжали снабжаться ушками. В последующий период у поздних дериватов этих наконечников поясковый орнамент полностью исчезает, но ушки встречаются довольно часто (рис.3 :1–11). Еще позднее исчезают и сами ушки, правда, не окончательно. Они переходят в прорези на пере наконечников (рис. 14:1–4, 6). Такой ход их трансформации может показаться неожиданным. Но он подтвержда- ется анализом восточноевропейских наконечников, а также независимыми материалами с Британских островов и территории Китая. Эти материалы в очень ясной форме демонстрируют все звенья эволюции ушковых наконечников в прорезные.

Отсутствие полноценных источников не позволяет составить ясное представление о ходе развития наконечников копий и дроти- ков на территории Южной Сибири. Известно лишь, что здесь, на основе наконечников турбинского типа возникает несколько новых разновидностей этих изделий. Некоторые из них имеют ушки и поясковый орнамент, а у дру-

гих они отсутствуют (рис. 8, 3–5, 7–9). К этому следует добавить, что в Южную Сибирь в небольшом количестве проникают прорезные наконечники копий и дротиков.

Несравненно более многочисленные и разнообразные материалы по интересующей нас теме предоставляют топоры-кельты. Следует только иметь в виду, что процессы их эволюции и трансформации отличались сложностью и локальным своеобразием.

На территории Восточной Европы сейминско-турбинские кельты сменяются орудиями дербеденовской и лобойковской групп (рис.10:1–6). Первая из них занимает районы Приуралья и Среднего Поволжья, а вторая — Левобережной Украины и Среднего Поднепровья. С типологической точки зрения, лобойковскую группу можно рассматривать в качестве локального варианта дербеденовской (Бочкарев 2002: 117). Кельты обеих групп снабжались ушками (дербеденовские — одним, а лобойковские — двумя), а также поясковым орнаментом. Поясок является обязательным признаком дербеденовских кельтов и сравнительно часто встречается у лобойковских. Он представлен как традиционными вариантами (сейминско-турбинскими), так и новыми — косой лесенкой, многорядным зигзагом, вложенными углами и т.д. По числу вариантов лобойковско-дербеденовский поясок значительно превосходит сейминско-турбитнский. Но в самом этом факте можно усматривать признаки упадка пояскового орнамента. Дело в том, что его разнообразие достигалось, в основном, за счет отступления от старых канонов, свойственных сейминско-турбинским образцам. В нем заметно смешение нескольких разнородных мотивов, некоторая беспорядочность в использовании различных вариантов пояска. Кроме того, у многих лобойковских кельтов ушки и поясок уже не соответствуют друг другу, как по местоположению, так и по размерам. Наблюдается также замещение пояска другими орнаментальными мотивами. Иногда он вообще исчезает или перемещается в другие части композиции.

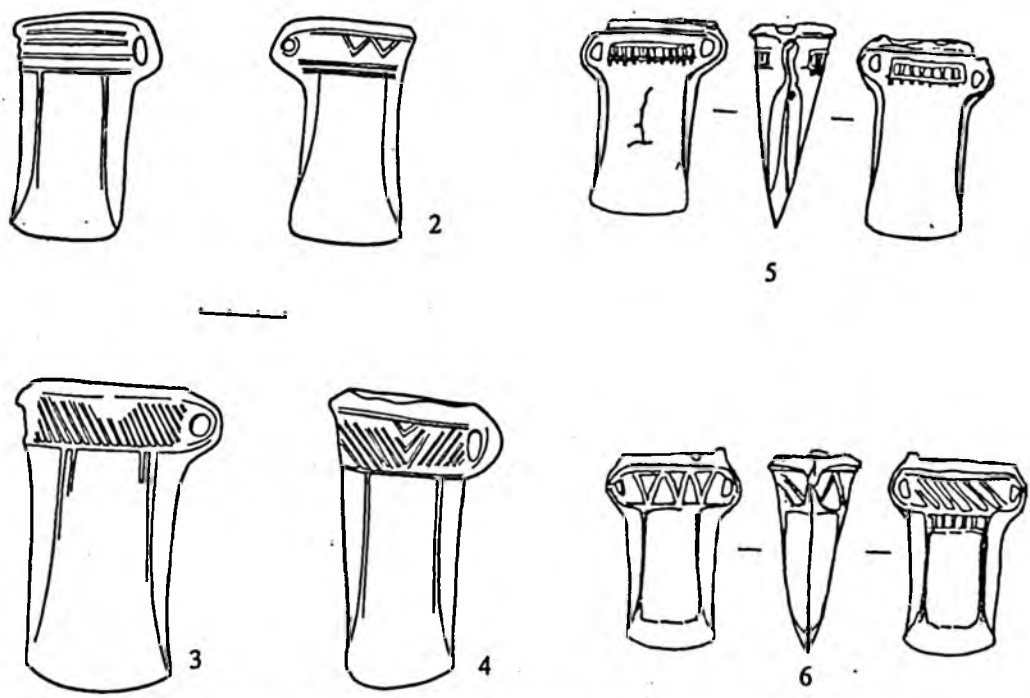


Рис. 10. Топоры-кельты дербеденовского и лобойковского типа.
1 — Муз. Татарии; 2 — Г. Уральск; 3 — Оренбургская губ. (?); 4 — Дербеденовский клад; 6 — Нижнехортицкий клад (1 — по Б.Г.Тихонову; 5–6 — по З.Х.Попондопуло).

Начиная с позднесабатиновского времени (около 13 века до н. э.), поясковый орнамент практически выходит из употребления. Но ушки на кельтах сохраняются до конца эпохи бронзы. Правда, их форма постепенно меняется (с округлой на овальную), а сами они, как правило, увеличиваются в размерах. Поздние восточноевропейские кельты иногда украшались орнаментом, у которого незаметна уже какая-либо связь с ушками.

Приблизительно в то же самое время, что и в Восточной Европе, в Западной Сибири и на Алтае также появляются две новые группы кельтов — самусьская и кижировская (Черных, Кузьминых 1989: 146–157, рис. 75–80:1–6). По мнению многих исследователей, эти группы возникли в результате прямого развития сейминско-турбинских кельтов.

Самусьские кельты пока нам известны только по находкам литейных форм, многие из которых сохранились в обломках. Судя по этим материалам, они представляли собой безушковые орудия, в основном украшенные линейным пояском (рис. 11:1). Их генетическая связь с кельтами турбинского типа вообще не вызывает сомнения.

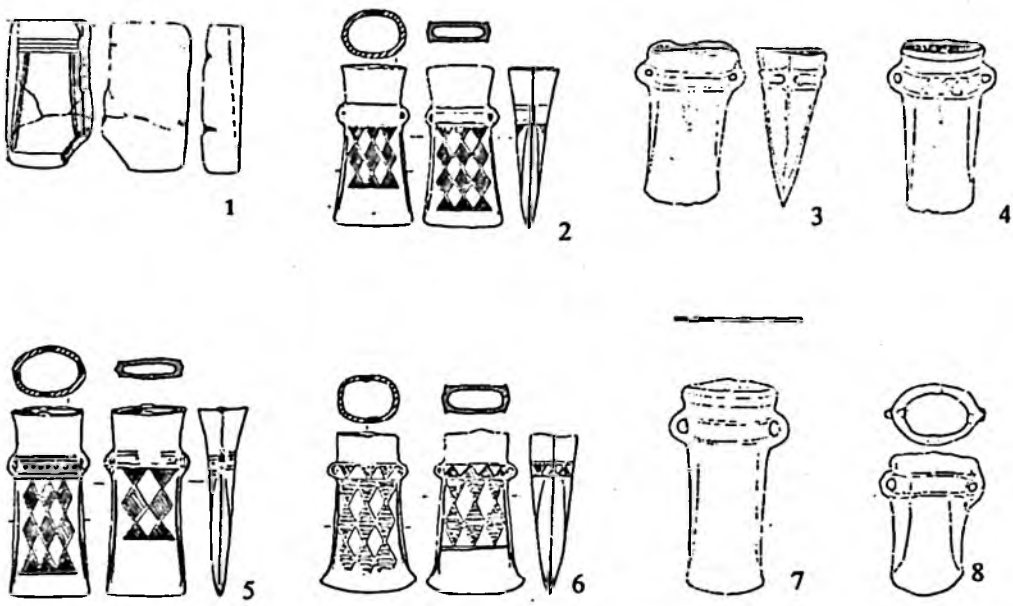


Рис. 11. Топоры –кельты эпохи поздней бронзы в Северной Евразии.
1 — Самусь-4; 2 — Косиха; 3 — Кижирово; 4 — Войновка-Гилевая; 5 — Белоярское; 6 — Лугавское; 7 — Коя; 8 — Тазмин улус
(1–4 — по Е.Н.Черныху, С.В.Кузьминых; 5–8 — по М.П.Грязнову).

Столь же уверенно можно говорить о том, что кижировские кельты восходят к сейминским прототипам. Их коллекция состоит,в основном, из металлических изделий (рис.11:2–4).Практически все эти изделия имеют поясковый орнамент, который представлен множеством вариантов. В этом отношении они напоминают лобойковско-дербеденовские кельты.

Кижировские кельты отличаются двумя характерными чертами: ложными (несквозными) ушками и очень богатым, насыщенным орнаментом, который иногда называют ковровым. Во многих случаях орнамент заполняет почти всю поверхность широких (боковых) граней кельта. Расширение зоны орнамента, усложнение его структуры снижает роль пояска как центра композиции. Он как бы растворяется среди других элементов орнамента.

Анализ материала показал, что в большинстве случаев ложные ушки сопрягаются с

ковровым орнаментом. Однако, обратная зависимость между этими элементами не носит столь регулярный характер. Исходя из этого, можно предположить, что деградация ушек у кижировских кельтов была связана с распространением коврового орнамента. В подтверждение этой гипотезы можно сослаться на кельты сейминского типа, у которых также отмечена зависимость ушек от определенного вида орнамента. У этих орудий она выразилась в том, что само появление петель-ушек было вызвано стремлением усилить орнаментальное убранство изделий и придать ему какое-то дополнительное значение. Конечно, важны были не сами ушки как таковые, а , надо полагать, подвески, которые к ним крепились. Иначе обстояло дело у кижировских кельтов. В процессе их формирования сейминский орнамент достиг такой насыщенности и выразительности, что ушки (подвески) становятся излишними. Они теряют свое практическое значение и превращаются в рудимент. Их воспроизводят по инерции, вообще свойственной типологическому развитию.

Несколько иное соотношение ушек и орнамента наблюдается у так называемых карасукских кельтов, которые в эпоху поздней бронзы были распространены в Минусинской котловине (рис. 11:5–8). По данным М.П.Грязнова, они развились из кельтов сейминского типа, в состав которых он также включил кижировские орудия (Грязнов 1941: 251–254: Табл. I–III). Все эти кельты снабжены двумя ушками, которые расположены ниже края втулки и всегда примыкает к пояску. Эти признаки их, действительно, сближают с некоторыми сейминскими кельтами. Но во всем остальном они достаточно оригинальны. В частности, их поясок мало похож на сейминско-турбинские образцы. В половине случаев он представляет собой ничем не заполненную горизонтальную полосу, выделенную тонкими валиками. У остальных кельтов в пространстве пояска размещаются простые криволинейные узоры (однорядный зигзаг, вложенные углы и т.д.). В целом, орнаментальное убранство этих кельтов значительно уступает наряду сейминских и тем более кижировских орудий. Используя некоторые восточноевропейские аналогии, обедненность орнамента «карасукских» кельтов можно объяснить возросшей ролью ушек (подвесок) в оформлении этих орудий.

Завершая обзор, подведем некоторые итоги. Прежде всего отметим, что у сейминско-турбинских наконечников копий и кельтов достаточно хорошо выражена зависимость ушек от орнамента. Можно даже утверждать, что само их возникновение было стимулировано потребностью усилить орнаментальное убранство кельтов. Вероятно, орнамент и подвески, которые крепились к ушкам, имели какое-то важное символическое значение. Позднее, примерно с середины второго тыс. до н.э., ушки превратились в самостоятельный и самодостаточный элемент убранства. Это приводит к постепенному затуханию и деструкции орнамента, особенно его поясковой разновидности. Ушки (подвески) как бы его заменяют и вытесняют. Но есть пример, который демонстрирует противоположный ход событий. Речь идет о кельтах кижировской группы. Избыточный характер их орнаментации вызвал отмирание ушек. И последнее замечание. Взаимосвязанное изменение орнамента и ушек позволяет предположить, что они имели очень близкое , или даже идентичное назначение.

Эти выводы, если, конечно, их признать правильными, до минимума сводят вероятность того, что ушки, действительно, использовались для крепления изделий к древкам и рукояткам. Относительно копий такая возможность была уже отвергнута с помощью других аргументов. Дополнительные доводы также можно привести для топоров-кельтов. Напомним, что в нашей литературе ушки этих орудий обычно рассматриваются как сугубо утилитарное приспособление. Полагают, что через них пропускались завязки, которые и удерживали топорище (Грязнов 1941: 252; Тихонов 1960: 42). Многим исследователям такой способ их применения кажется единственно возможным. Однако в действительности он не подкреплен каким-либо достоверным археологическим материалом. Между тем, та-

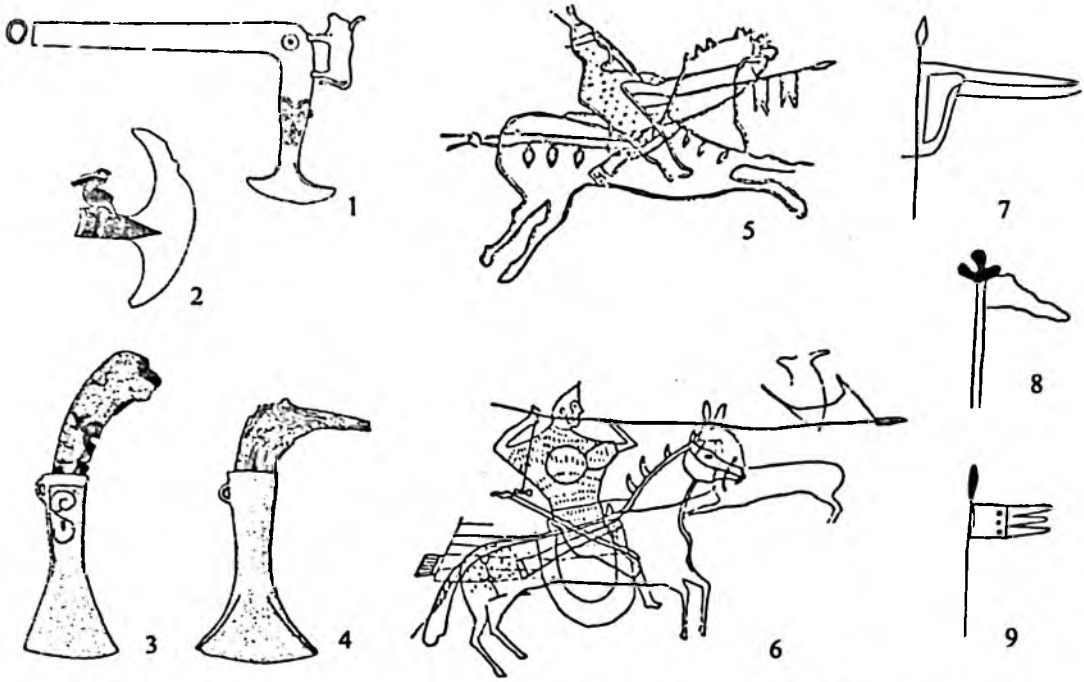


Рис. 12. Материалы эпохи поздней бронзы и средневековья из различных мест Северной Евразии.
1–4 — Мог. Шичжайшань, Китай; 5, 6 — Сулекская писаница, Хакассия; 7 — Погорельщинский клад; 8 — Болгарская рукопись 14 века; 9 — Ковер из Байе (1–4 — по Шпеннеману;5–6 — по В.А.Могильникову; 7–9 — по И.Г.Добровольскому И.В.Дубову, Ю.К.Кузьменко).

кой материал сейчас известен. Имеются в виду находки из могильников культуры диян, которая в 4 веке до н. э. — 1 веке н. э. была распространена на территории южнокитайской провинции Юньнань (Отчет... 1959; Итс 1976: 9; Деопик 1979: 62–67). В этих находках хорошо представлены бронзовые одноушковые кельты, у некоторых из которых сохранились крупные фрагменты деревянных топорищ (рис. 12:3,4).

Оказалось, что у каждого такого кельта коленчатая рукоять была повернута в противоположную от ушка сторону. Интересен кельт с цельнолитой металлической рукояткой, которая вообще не требовала закрепления (рис.12: 1). Но он также был снабжен ушком, расположенным на противоположной стороне от рукоятки.

Эти материалы были проанализированы немецким археологом Д.Шпеннеманом, который справедливо заключил, что ушки диянских кельтов не предназначались для крепления топорищ. В этой связи он также рассмотрел европейские находки кельтов и пальштабов, у которых сохранились фрагменты рукояток. По его мнению, они не дают достоверной информации о назначении ушек этих орудий (Spennemann 1985: 129–135).

Конечно, эти данные китайских источников нельзя механически переносить на материалы других территорий и другого времени. Их следует рассматривать как своего рода этнографические параллели. В таком качестве они помогают понять, что конструктивные особенности многих восточноевропейских и сибирских кельтов противоречат традиционным представлениям о функциональном назначении ушек.

Такое несоответствие обнаруживается у двуушковых кельтов, которые были широко распространены в Северо-Восточной Евразии. Так вполне очевидно, что одно из ушек этих орудий занимало ту же позицию по отношению к рукояти, что и у кельтов культуры диян.

Иными словами, очень мало вероятно, что его использовали для крепления топорища.

О непригодности ушек для этой цели свидетельствует ряд других признаков кельтов Восточной Европы и Сибири. К их числу относится следующие детали: расположение ушек ниже края втулки, малый диаметр их отверстий, наличие двух, а то и трех ушек у кельтов-тесел и т. д. Некоторые из этих признаков также характерны для диянских кельтов.

В целом, кажется достаточно очевидным,что традиционное мнение, согласно которому ушки кельтов и копий использовались для крепления рукоятей и древков, не выдерживает критики. Судя по всему, они предназначались для другой цели. Однако определить ее достаточно сложно, так как прямые данные на этот счет практически отсутствуют. Имеются только косвенные свидетельства, некоторые из которых уже были рассмотрены. Теперь предстоит проанализировать остальные.

Обратимся вновь к исконным формам ушковых наконечников копий — изделиям турбинского типа. Как уже говорилось, их ушки всегда сопровождались поясковым орнаментом. Кроме того, по местоположению и размерам они достаточно точно соответствуют друг другу. По этому поводу О.Н.Бадер заметил, что « ушко во всех случаях как бы обнимает поясок» (Бадер 1964: 63). Эта же черта характерна для кельтов сейминского типа. В целом, создается стойкое впечатление, что ушки являются своеобразным продолжением и завершением пояска. Поэтому не случайно, что некоторые из них также орнаментировались. Большой интерес вызывает наконечник копья турбинского типа, найденного южнее города Омска (Черных, Кузьминых 1989: рис. 31:1). К его орнаментальному пояску примыкает скульптурное изображение хищника кошачьей породы (рис. 13:5). С функциональной точки зрения, эта фигурка не поддается однозначному толкованию. По одной версии, она пред-

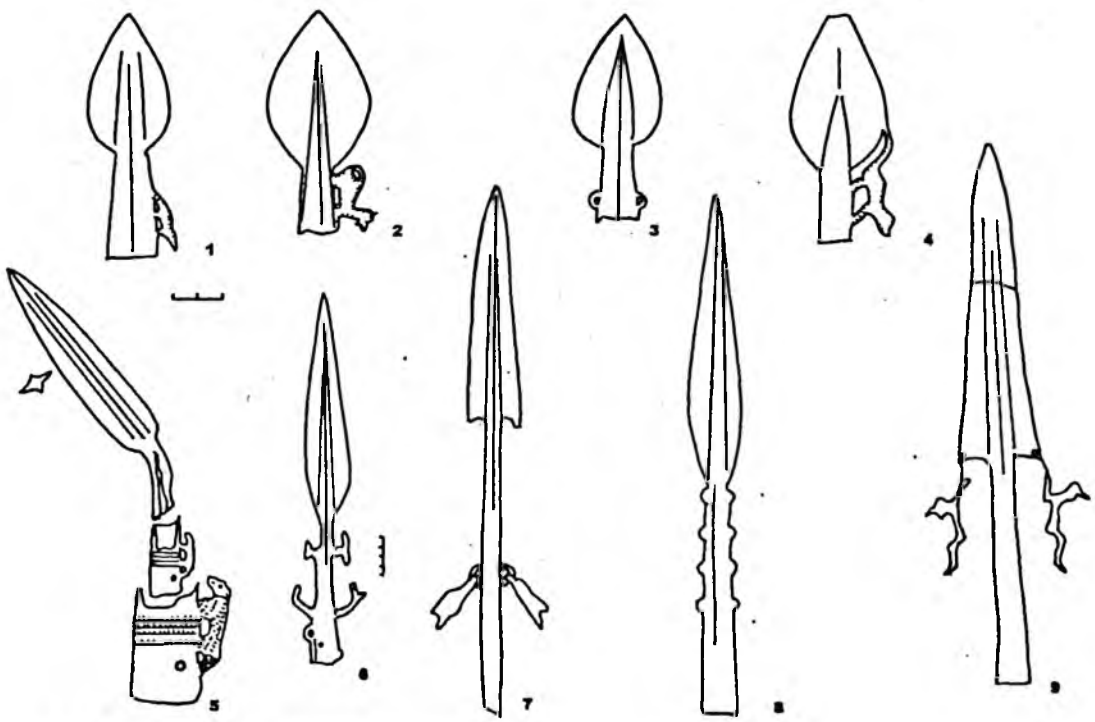


Рис. 13. Варианты использования ушек у копий.

1–4, 7–9 — Мог. Шичжайшань, Китай; 5 — Омск; 6 — Джатыгар (1–4, 7–9 — по Отчету 1959г.; 5, 6 — по Е.Н.Черныху, С.В.Кузьминых).

ставляет собой зооморфное ушко. В пользу этого говорит ее связь с пояском и сквозное отверстие между лапами зверя. Через него можно было пропустить шнурок или узкий ремешок. Зооморфные ушки совсем не характерны для сейминско-турбинских бронз. Омский экземпляр является исключением. Но они известны среди материалов более позднего времени. Их можно встретить на некоторых тагарских кельтах (Грязнов 1941: табл. VI: 3,7–9), на клевцах раннего железного века Восточной Европы и Сибири (Членова 1967: табл. 7, 11, 15; Кузьминых 1986: табл. LVI, 1, 5, 7–12) и особенно часто — на кельтах и наконечниках копий культуры диян (рис. 13:3,4). Надо полагать, зооморфное обрамление предназначалось не для самих ушек как таковых. В любом случае они оставались вспомогательными приспособлениями

Это обрамление задумывалось как часть комплекса, в состав которого еще входила подвеска.

По другой версии фигурку омского наконечника можно рассматривать как слитное нерасчлененное воспроизведение ушка вместе с зооморфной подвеской. Такого рода отливки изредка встречаются на клевцах раннего железного века, копьях и кельтах культуры диян (рис. 13:1,2). На местах, где обычно у этих изделий помещались ушки, отлиты скульптурки животных, лишенных каких-либо приспособлений для крепления завязок.

Возможно, аналогичным образом следовало бы трактовать две пары литых фигурок на втулке наконечника копья сейминского типа из Северного Казахстана (рис. 13:6), (Черных, Кузьминых 1989: рис. 44:6). Они также не имеют сквозных отверстий, а их ярусное расположение напоминает горизонтальные ряды ушек на одном из наконечников культуры диян (рис. 13:8). Кроме протом животных, североказахстанский наконечник был еще снабжен ушком. Сочетание этих двух элементов также встречается в материалах других культур, но весьма редко.

Рассмотренные варианты интерпретации омской находки не противоречат друг другу. Они исходят из одной и той же предпосылки, согласно которой ушки наконечников копий использовались для крепления различного рода подвесок. Вывод о таком их предназначении был уже изложен и отчасти обоснован на предыдущих страницах. Сейчас в его пользу могут быть приведены некоторые дополнительные аргументы. Для начала отметим, что с его помощью удается удовлетворительно объяснить некоторые, казалось бы, странные особенности целого ряда наконечников. Имеются в виду асимметричная позиция ушек относительно друг друга (рис. 3:8,11), их размещение в верхней части втулки (рис. 3:7,12), иногда под самым пером, малый диаметр их отверстий и т. д. Эти особенности явно противоречат традиционным представлениям о функции ушек. Но они вполне соответствуют потребностям оснастить копье подвесными изделиями символического назначения.

Как уже не раз заявлялось, подвески закреплялись на ушках. Но сведения о самих этих изделиях крайне скудны. Вероятно, это связано с тем, что они изготавливались из мягких, органических материалов, которые не сохраняются до наших дней. Все же некоторые данные о них имеются, правда, в памятниках другого времени. Так, у одного из наконечников культуры диян к ушкам были подвешены два бронзовых колокольчика с железными язычками (рис. 13:7). Подобные колокольчики, также закрепленные на ушках, встречаются на скифских навершиях (Артамонов 1966: рис. 58, 61; Переводчикова 1980: 41). Возможно, это сходство не случайно. По мнению некоторых исследователей, ряд характерных элементов культуры диян возникли в результате влияний, идущих из евразийских степей (Деопик 1979: 62–67; Tzebucy Chinu-Peng 1998: 299–300). Кроме того, нельзя исключить возможность, что диянский наконечник также использовался в качестве навершия.

Привлекают внимание и несколько зооморфных наверший раннего железного века из

Хакасско-Минусинской котловины. Они интересны тем, что через их ушки были продеты цепочки, состоящие из двух- трех бронзовых колец. По мнению В.Л.Егорова, «за прилитые к навершию кольца привязывались развевающиеся на ветру полоски материи или кисти из конских хвостов» (Егоров 1967: 252) Этот вывод он делает по аналогии с древнеперсидскими штандартами и скифскими военными значками, которые снабжались подобными атрибутами. Попутно он замечает, что к ушкам наконечников копий эпохи поздней бронзы «прикреплялись кисти из конских волос, служивших каким-то отличительным воинским знаком или имевших охранное значение» (Егоров 1967: 252).

Из контекста работы В.Л.Егорова можно понять, что ушковые наконечники копий он склонен рассматривать в качестве одной из разновидностей штандартов. В самой работе это положение не обосновывается. Но оно кажется вполне вероятным, учитывая историческую перспективу развития наконечников копий, оснащенных подвесными значками и эмблемами. Для эпохи раннего средневековья достаточно надежно установлено, что они были одним из источников возникновения боевых стягов и штандартов (Алярд 1911; Рабинович 1972: 176; Дмитриев 2002: 47 и сл.). У многих из этих регалий долгое время, а кое-где вплоть до наших дней сохранялись копьевидные навершия древков. М.Г.Рабинович, анализируя древнерусские материалы, отметил, что «древком стяга могли служить и обыкновенное копье — «стружие»... Позднейшие навершия знамен в виде прорезного копьеца являются развитием этой формы» (Рабинович 1972: 176). Стяги и знамена, древки которых увенчаны копьевидными наконечниками, зафиксированы на рисунках Радзивиловской летописи, граффити восточных монет из Скандинавии и Восточной Европы и на некоторых других западноевропейских памятниках (рис. 12:7,9). Примечательно, что в качестве наверший древков так же использовались христианские кресты и трезубцы — родовые знаки Рюриковичей (рис. 12:8).

Не в меньшей степени описанное явление характерно для Центральной Азии (Дмитриев 2002: 53–63, рис. 5; Esin 1972: 14–33). В качестве примера сошлемся на знаменитую Сулекскую писаницу из Хакассии (Степи Евразии... 1981: 42, рис. 21:4–5). На ней, кроме прочих изображений, есть две фигуры всадников с копьями наперевес. Одно из копий снабжено двумя флажками, а другое — одним (рис. 12: 5, 8).

Эти данные, полученные из достоверных исторических источников, позволяют по новому оценить функциональное назначение ушковых наконечников копий эпохи поздней бронзы Северо — Восточной Евразии. Конечно, сами по себе они принадлежали к числу очень дорогого и престижного оружия. Но дело не только в этом. Благодаря подвесным регалиям они приобретали особый статус и важное символическое значение. Вероятно, этим обусловлен ряд их признаков, которые кажутся необычными для рядовых наконечников копий. Так, некоторые из них были отлиты из серебра, украшены золотой инкрустацией и орнаментом (рис. 2:11), снабжены фигурками животных (рис.13:5) Наконечник из Северного Казахстана с двумя парами скульптурок птиц и протомами лошадей (?) выглядит как настоящий штандарт (рис. 13:6). К этому следует добавить, что часть из этих наконечников отличается преувеличенно большими размерами (длина свыше 40 см.) или, напротив, очень малыми (длина менее 10 см.).

Конечно, трудно сказать, как выглядели значки, эмблемы и вымпелы, которые крепились к ушкам наконечников копий. Можно предполагать, что они по преимуществу изготовлялись из мягких материалов (кожи, войлока, ткани), способных развиваться на ветру. В этой связи интересно отметить, что на ушке одного из наконечников сейминского типа из Засеченского могильника сохранился небольшой фрагмент ткани (Челяпов 1992: 7).

Очевидно, что этим подвескам придавалась строго определенная форма. Судя по некото-

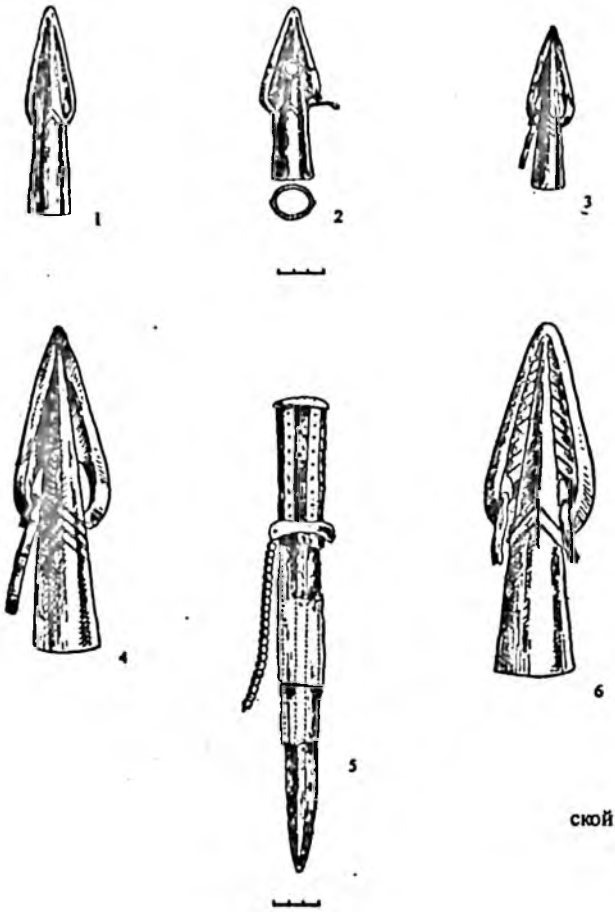


Рис. 14. Наконечники копий и кинжал Ананьинской культуры 1–6 — Старший Ахмыловский мог. (1–6 — по В.С.Патрушеву, А.Х.Халикову)

рым историческим и этнографическим аналогиям это могли быть ленточки, флажки, бунчуки или какие-то зооморфные изображения в духе сейминско-турбинского звериного стиля.

О конкретной семантике таких копий-наверший можно лишь догадываться. Спектор возможных решений здесь весьма велик. Сейчас, однако, важно зафиксировать сам факт их существования. Если его удастся подтвердить другими данными, то мы получим еще один дополнительный источник об уровне развития общества эпохи поздней бронзы Восточной Европы и Южной Сибири.

В заключении рассмотрим еще два небольших сюжета, которые уже были затронуты. Напомним, что благодаря корреляции нескольких признаков среди восточноевропейских наконечников эпохи поздней бронзы удалось выделить три группы изделий. Представители первой из них были идентифицированы как наконечники копий, а третьей — как дротиков. В функциональном отношении остались неопределенными изделия второй группы (рис. 3:1–10). По длине они равны или по большей части меньше наконечников дротиков, а по диаметру втулки — их превосходят. Если следовать этим показателям, их можно было бы интерпретировать как изделия со сдвоенными функциями. Такая разновидность древкового оружия известна по историческим данным. Но возможно и другое решение. Не исключено, что их использовали в качестве наверший, штандартов или, так называемых, командирских копий. В пользу этого говорит наличие у многих из них одного или двух ушек, овальная форма втулки у некоторых из них, малая длина наконечников (менее 10 см) и т. д.

И последнее. Выше было высказано предположение, что ушковые наконечники со временем трансформировались в наконечники с прорезями на пере. В Среднем Поволжье в ананьевской культуре прорезные наконечники оставались в употреблении и в эпоху раннего железа. У некоторых из них в прорезях сохранились остатки кожаных ремней (Патрушев, Халиков 1982: табл. 24:20; 35:32,66; 50:1б — соответственно в настоящей статье рис. 14:1–4, 6). По мнению А.Х.Халикова, с помощью этих ремней наконечники крепились к древкам (Халиков 1977: 185). Очевидно, это не так. С помощью ремней к прорезям крепились подвески. О том, как это могло выглядеть, демонстрирует один из наконечников все той же культуры диян (рис. 13:9).

Литература

Алярд К. 1911 . Книга о флагах. СПб.

Артамонов М.И. 1966. Сокровища скифских курганов. Л. -Прага.

Бадер О.Н. 1963. Балановский могильник. М.

Бадер О.Н. 1964. Древнейшие металлургии Приуралья. М.

Бочкарев В.С.1986. К вопросу о хронологическом соотношении Сейминского и Турбинского могильников.// Продлемы археологии Поднепровья. Днепропетровск.

Бочкарев В.С. 2002. Металлические топоры-кельты Европы поздней бронзы// Степи Евразии в древности и в средневековье. СПб.

Братченко С.Н., Санжаров С.М. 2001. Рідкісні брозові знаряддя з каткомб Сіверськодонетчини та Донщины III тис. до н. е. Луганськ.

Грязнов М.П. 1941. Древняя бронза Минусинских степей. Труды отдела истории первобытной культуры. Т. 1. Л.

Дегтярева А.Д., Попова Т.М., Кизина Н.Г., Астрединов В.М. 1998. Технологические особенности изготовления металлического инвентаря погребения воина-колесничего Кондрашкинского кургана // Доно-Донецкий регион в эпоху средней и поздней бронзы. Воронеж.

Деопик Д.В. 1979. Всадническая культура в верховьях Янцзы и восточный вариант «звериного стиля» // Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М.

Дмитриев С.В. 2002. Знаменный комплекс в военно-политической культуре средневековых кочевников Центральной Азии // Parabellum №14. СПб.

Добровольский И.Г., Дубов И.В., Кузьменко Ю.К. 1991. Граффити на восточных монетах. Л.

Егоров В.Л. 1967. Древний штандарт из Хакасско-Минусинской котловины. СА 1.

Итс Р.Ф. 1976. Золотые мечи и колодки невольников. М.

Кирпичников А.Н. 1966. Древнерусское оружие. В.2 САИ Е-1–36. М.

Козенкова В.И. 1995. Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры (систематизация и хронология). Западный вариант. САИ. В 2–5.М.

Кривцова-Гракова О.А. 1949. Бессарабский клад М.

Кривцова-Гракова О.А. 1955. Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы. МИА М.

Кузьмина О.В. 1995. Соотношение абашевской и покровской культур // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпох энеолита-бронзы Средней и Восточной Европы. СПб.

Кузьминых С.В. 1986. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке. М.

Ляхов С.В. 1996. Уникальное погребение эпохи средней бронзы из кургана у пос. Сторожовка // Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 году. Саратов.

Моргунова Н.Л., Порохова О.И. 1989. Поселения срубной культуры в Оренбургской области. // Поселения срубной общности. Воронеж.

Отчет о раскопках могильника Шичжайшань, уезд Дзиньнин провинции Юньнань. 1959. Т. 1, 2. Пекин.(на кит.яз.)

Патрушев В.С., Халиков А.Х. 1982. Волжские ананьинцы. М.

Переводчикова Е.В. 1980. Типология и эволюция скифских наверший // СА 2. М.

Пряхин А.Д., Бесединн В.И., Левых Г.А., Матвеев Ю.П. 1989. Кондрашкинский курган. Воронеж.

Пряхин А.Д. 1990. Мосоловское поселение металлургов-литейщиков эпохи поздней бронзы. Воронеж.

Рабинович М.Г. 1972. Древнерусские знамена (X–XV вв.) по изображениям на миниатюрах // Новое в археологии. М.

Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. 1981. М.

Тихонов Б.Г. 1960. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье. МИА 90. М.

Халиков А.Х. 1977. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII–VI вв. до н.э.). М.
Челяпов В.П. 1992. Засечснский курганный могильник. Рязань.
Черных Е.Н., Кузьминых С.В. 1987. Древняя металлургия Северной Евразии. М.
Членова Н.Л. 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.
Avila. R. 1983. Bronzene Lanzen und Pfelspitzen der griechischen Spatbronzezeit // PBF 5. 1. Munchen.
Greenwell W, Brewis W. 1911. The Origin, Evolution and classification of the Bronze Spear — head in Great Britain and Ireland // Archaeologia. Vol.LXI. Part II. London
Esin E. 1972. Notes on Turkish flag-pole finials // Central Asiatic journal. Vol. XVI. №. 1. Wiesbaden.
Farot Z. 2000. Die bronzezeitlichen Lanzenspitzen des Schveiz // UPA b. 66. Bonn.
Klocko V. K.1995. Zur bronzezeitlichen Bewaffnung in der Ukraine // EA, b. 1. Berlin.
Picchelauri K. 1997. Waffen der Bronzezeit aus Ost Georgien // AE, b.4 .Berlin.
Spennemann D. 1985. Kleine Mitteilange. Germania. 1.
Takayasy Higuchi 1986. Archaeological Approach to Ancient Bronze // East Asia Bulletin of the Metals Museum. v. 11. Sendai.

Е.В. Избицер[1]

МОДЕЛИ «ПОВОЗОК», «ФЛЕЙТЫ ПАНА» И СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ КУЛЬТУРА

E. Izbitser. «Wagon» models, «flutes of Pan», and the Severokavkazskaya culture

Sets of bird bones and clay models of different types have been found in burials of the Catacomb Grave and the Northcaucasian (Severokavkazskaya) cultures (the Middle Bronze Age period). Traditionally, the bird bone sets have been define as «flutes of Pan» and clay models define as «wagon« models. The author offers an interpretation of the «flutes of Pan» as symbols of anthropomorphic figurines; demonstrates their association with «wagon» models in burial inventories; connects the origin of these categories to the burial rite of the Northcaucasian culture; suggests, that both categories, «flutes of Pan» and «wagon» models reflect the direct participation of the Northcaucasian culture bearers in the forming the Catacomb Grave cultures in different regions of the Pontic-Caspian steppes.

The «flutes of Pan» are the last manifestation of an idea of composite anthropomorphic figurines. The most complete prototypes of such figurines (clay body and an inserted bone head) have been found in åastwest Anatolia, at Hoyücek Tepe (fig.7:1). Without fundamental changes, it was reproduced in North Caucasian examples (Ulski 5/1, fig. 1:11–14) and, finally, in symbolic shape, it was reflected in burials of the Catacomb Grave cultures. The Hoyücek Tepe idols date to the end of the 6th — beginning of the 5th millennium B.C. and the Ulski 5/1 figurines date to the second half of the III millennium B.C. Despite the considerable chronological gape between these two sites, the Anatolian finds provide a compelling basis for an interpretation of the North Caucasian artifacts.

Каждая из тем, обозначенных в заглавии данной статьи, дискуссионна сама по себе: спорна интерпретация глиняных предметов как моделей повозок; по традиции, наборы птичьих костей обозначаются исследователями как «флейты Пана»; северокавказская культура — одна из наименее изученных культур эпохи средней бронзы. Не касаясь всех проблем, связанных с данными темами, рассмотрим, как интерпретация «флейт Пана» и сочетание их в комплексах с моделями «повозок» дают возможность проследить компонент северокавказской культуры в сложении катакомбных памятников на ряде территорий степей Восточной Европы и Северного Кавказа. Большинство моделей «повозок» и «флейт Пана» открыто в катакомбных погребениях, тем не менее, анализ инвентаря и некоторые черты погребального обряда позволяют связать происхождение этих предметов с северокавказской культурой.

«Флейты Пана» — наборы трубчатых птичьих костей разной длины, иногда со срезанными эпифизами и заполированными концами. Часть из них орнаментирована поясками, нанесенными охрой или черной краской, оставшейся, по предположению ряда исследователей, от ниток, обвивавших косточки. Специальной работы, посвященной «флейтам Пана» не существует, но известно, что они встречаются в погребениях раннего горизонта катакомбных культур, с наибольшей их концентрацией на Нижнем Дону (Кияшко 1979: 49; Кияшко 1999) и часто связаны с детскими погребениями.

К моделям повозок относят различные по форме глиняные предметы. В определенной

[1] The Metropolitain Museum, New York, USA

степени модели сравнимы с кузовами этнографических повозок, хотя ни одна их них не может считаться моделью деревянных повозок, конструкция которых частично восстановлена по находкам в степных погребениях эпохи ранней и средней бронзы. Модели по форме выделяются в четыре типа. (Избицер 1993: 23). Наибольший интерес для нашей темы представляют модели I и II типов.

Первые экземпляры моделей обоих типов были открыты Н.И.Веселовским в 1909 г. в Закубанье, в кургане 5 (Иван-курган) Ульского аула, в погребениях 1 и 4 (ОАК за 1909–1910 гг, стр. 152, сл). Оба погребения современные исследователи относят к северокавказской культуре (Марковин 1960: 30–31, 68; Трифонов 1991: 136, сл.).

В п.1 среди прочего инвентаря, сопровождавшего «скелет не вполне взрослого человека», находилась миниатюрная глиняная модель, описанная Н.И.Веселовским как «предмет в виде повозочки» (ОАК... с. 153; рис. 1:9). Подобные корытцеобразные предметы (тип I) обозначаются исследователями также как модели колыбелек или лодочек.

В п. 4, связанным с захоронением подростка, была найдена, по словам Н.И.Веселовского, «глиняная повозка, раздавленная землей» (ОАК... с. 154; рис.2:1). Близкие по форме подпрямоугольные в плане, со скругленным сводом и подпрямоугольными большого размера отверстиями в передней и боковой (боковых) стенках предметы (тип II), относят к моделям хижин или, вслед за Н.И.Веселовским, к моделям повозок.

Из 15 учтенных погребений, содержавших модели I типа, в шести находились и «флейты Пана». Это катакомбные погребения Ростов/Дон 6/5, Ростов/Дон 6/11 (Брашинский 1967; рис. 3), Лысянский II 5/1 (Парусимов 1997; рис. 4), Чограй VIII 3/3 (Андреева 1984; рис.5), Чограй IX 2/8 (Андреева 1986), Каланчак 2/9 (Евдокимов 1978; рис. 6). Во всех погребениях модели «повозок» и «флейты Пана» располагались вместе. Так, по описанию И.Б. Брашинского, в Ростов/Дон 6/5 «поделка из необожженной глины, напоминающая повозочку из ульского кургана», лежала среди набора трубчатых птичьих костей разного размера с обломанными и срезанными эпифизами (Брашинский 1967). В Ростов/Дон 6/11, Лысянский II 5/1 и Каланчак 2/9 птичьи кости также находились рядом с моделью »повозки». В Чограй VIII 3/3 три трубчатые слегка заполированные птичьи кости, «у которых один конец был ровно срезан» (Андреева 1984: 204) и модель I типа были помещены в модель «повозки» II типа, а в Чограй IX 2/8 птичьи кости лежали непосредственно внутри модели (Андреева 1986).

С моделями II типа, открытыми, помимо Уляп 5/4, в четырех катакомбных погребениях, «флейты Пана» встречены в Раздольная 6/3, Нехаев 1979) и в уже упоминавшемся погребении Чограй VIII 3/3 (рис.5,6). В Раздольная 6/3 четыре трубчатые птичьи косточки, как и в Чограй VIII 3/3, лежали внутри модели.

Таким образом, «флейты Пана» входят в стандартный набор инвентаря с моделями I типа, а через них, возможно, и с моделями II типа.

Ключевым комплексом для нашего исследования является погребение Уляп 5/1. В погребении находки птичьих костей отмечены не были, но, как указывалось выше, в состав инвентаря входила миниатюрная глиняная модель «повозочки» I типа. Помимо «повозочки», украшений (рис. 1: 1–7) и миниатюрного сосудика (рис. 1:8), инвентарь погребения включал две разнотипные алебастровые статуэтки (рис. 1: 10–11) и не менее шести однотипных глиняных статуэток, из которых четыре сохранились наиболее полно Отличительной чертой глиняных статуэток является «отсутствие головок и наличие внутри каждой специального канальца» (Пиотровский 1984: 38, сл; рис.1:12–15). Вставные головки статуэток изготавливались из другого материала. Наличие такого типа статуэток, широкие аналогии которым уводят в эпоху неолита и энеолита Передней Азии, Средиземноморья и

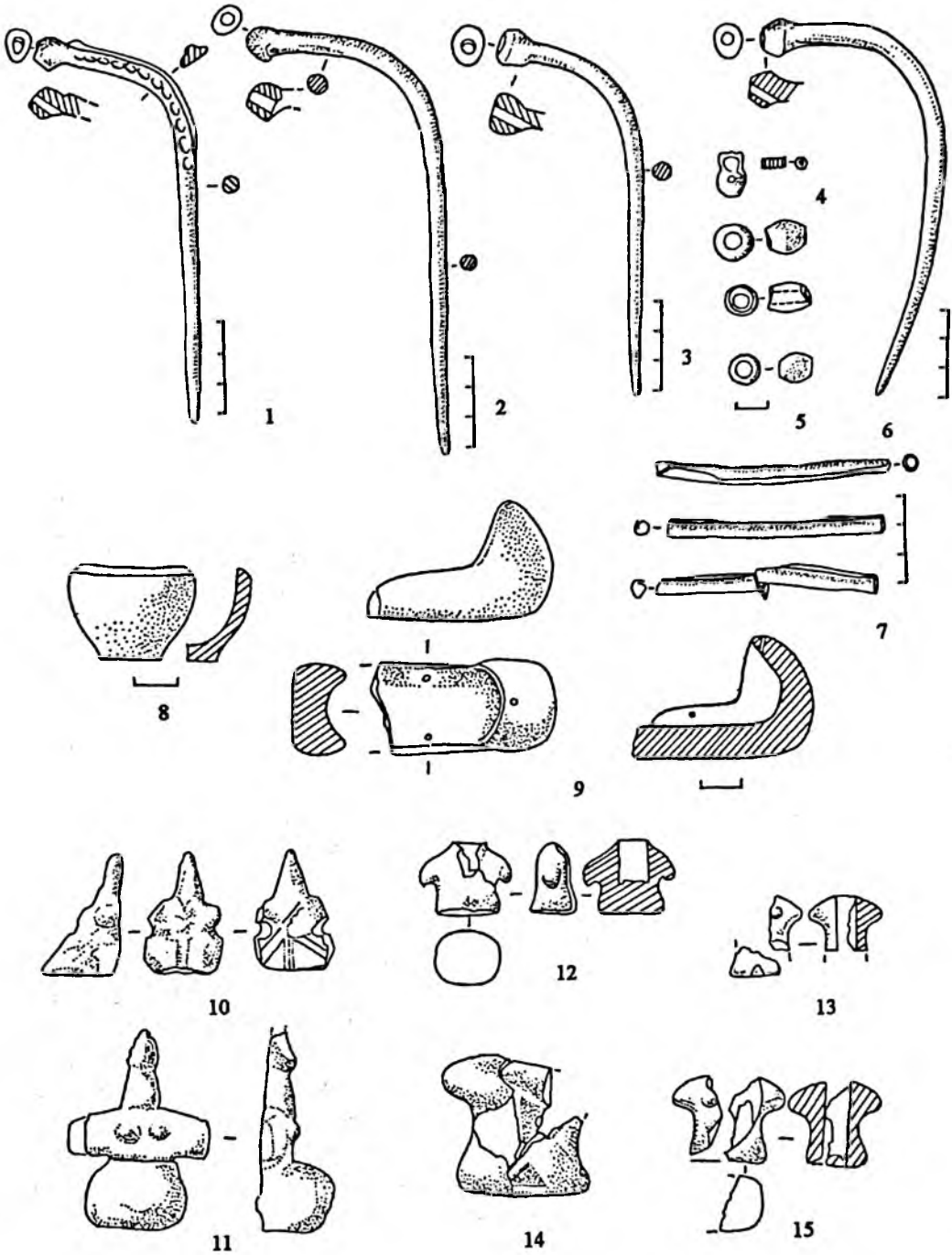


Рис. 1. Уляп, курган 5 погребение 1 (раскопки Н.И. Веселовского 1909 г.):
1–5, 8 — бронза; 6, 7, 11–14 — глина; 9, 10 — алебастр.

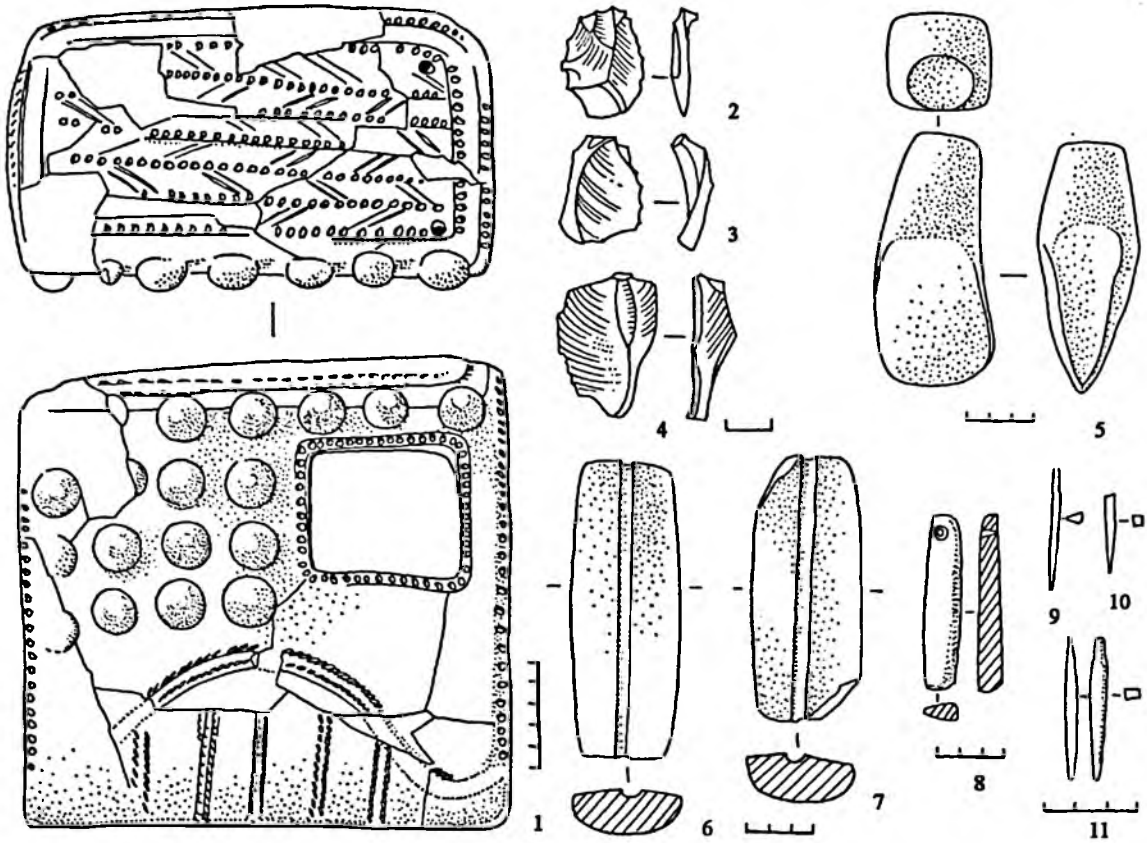


Рис. 2. Уляп, курган 5 погребение 4 (раскопки Н.И. Веселовского 1909 г.):
1 — модель «повозки», 2–4 — кремневые отщепы; 5 — каменный топор;. 6, 7 — абразивные инструменты; 8 — оселок; 9, 10, 11 — бронзовые шилья.

Балкан, дало возможность в середине 80-х годов заново поставить вопрос о контактах населения Северного Кавказа с этими отдаленными территориями (Пиотровский 1984).

В начале 90-х годов при раскопках двух святилищ на поселении Гойюджек Гуюк в юго-западной Анатолии были сделаны находки, которые, как нам представляется, являются основой для понимания назначения »флейт Пана» из степных погребений. Открытые там глиняные статуэтки наиболее близки по форме глиняным фигуркам из ульского погребения. Круглые в сечении выемки, расположенные в центре между плечами статуэток, предполагали отделяющиеся головки. Перовоначально авторы раскопок считали, что головки изготавливались из глины или камня. Но на этом же участке сохранилась статуэтка, у которой в качестве вставной головки был использован фрагмент трубчатой косточки животного (Duru 1993a, рис. 7:1). Косточка была гладкой, без следов каких-либо насечек. Фрагменты аналогичных косточек с прочерченными на них лицами были найдены на этом же и соседнем участках (рис.7: 2–6). Стало ясно, что подобные предметы являлись вставными головками глиняных статуэток. Датируются находки концом 6 — началом 5 тыс. до н.э. Ульское погребение, по крайней мере, на две с половиной тысячи лет моложе. Но в данном случае большой хронологический разрыв между анатолийскими и северокавказскими находками не имеет решающего значения. Несмотря на разницу в датах и то, что в Гойюджек Гуюк для

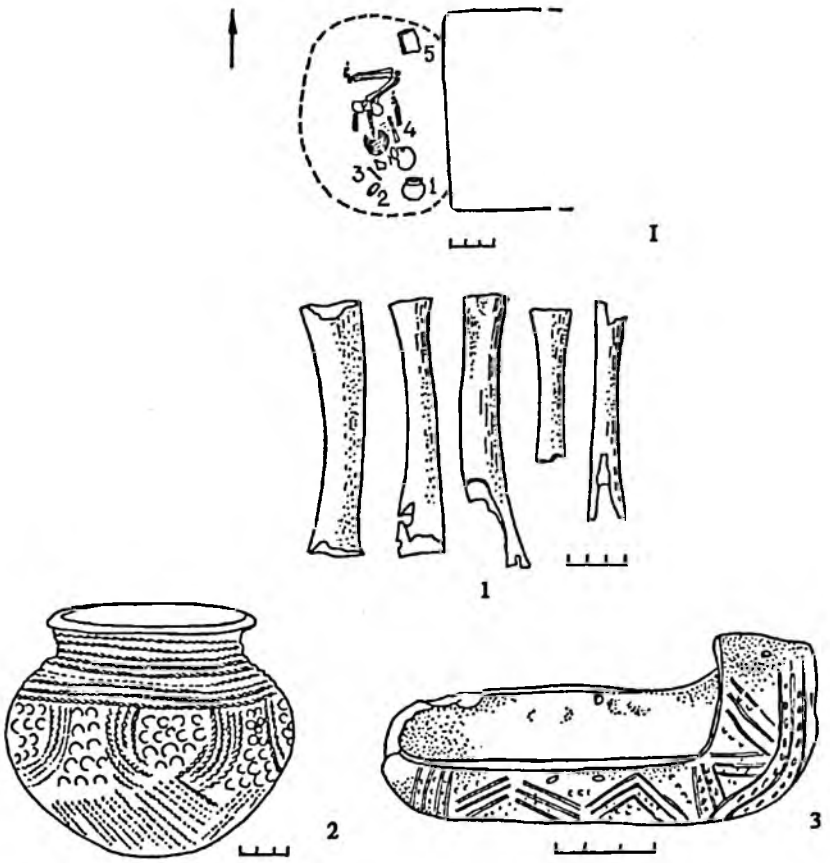


Рис. 3. Ростов/Дон, курган 6 погребение 11 (раскопки И.Б. Брашинского, 1967 г.).
I — п.11: 1 — сосуд, 2 — модель «повозки», 3 — птичьи кости, 4 — бронзовые украшения, 5 — жаровня; 1 — птичьи кости, 2 — сосуд; 3 — модель «повозки».

головок использовались косточки ног козленка (или ягненка) (Duru 1993б: 56, fig. A41), можно предположить, что в п.1 к.5 Ульского аула были положены глиняные антропоморфные изображения, которые, так же как и в Гойюджек Гуюк, имели вставные костяные головки. С такими головками следует отождествить «флейты Пана» — наборы птичьих костей, происходящие из степных погребений эпохи средней бронзы. Так же, как и в Гойюджек Гуюк, среди наборов птичьих костей из степных погребений встречаются косточки и с двумя срезанными эпифизами, и с одним срезанным эпифизом, и с двумя сохраненными эпифизами. Глиняные статуэтки ульского погребения имеют разную высоту и, как правило, «флейты Пана» состоят из косточек разной длины. Это дает основание предположить, что кости птиц, первоначально представлявшие головки идолов, со временем стали символами самих идолов.

Прямым указанием на то, что наборы птичьих костей использовались в качестве антропоморфных символов, явились находки в катакомбных погребениях могильника Новый на Нижнем Дону. В кургане 132, в п.14 и п.15 были найдены наборы птичьих костей, убранство которых состояло из миниатюрных бронзовых пронизей и пастового бисера (Ильюков 1987: 63; 2000: 110–111).

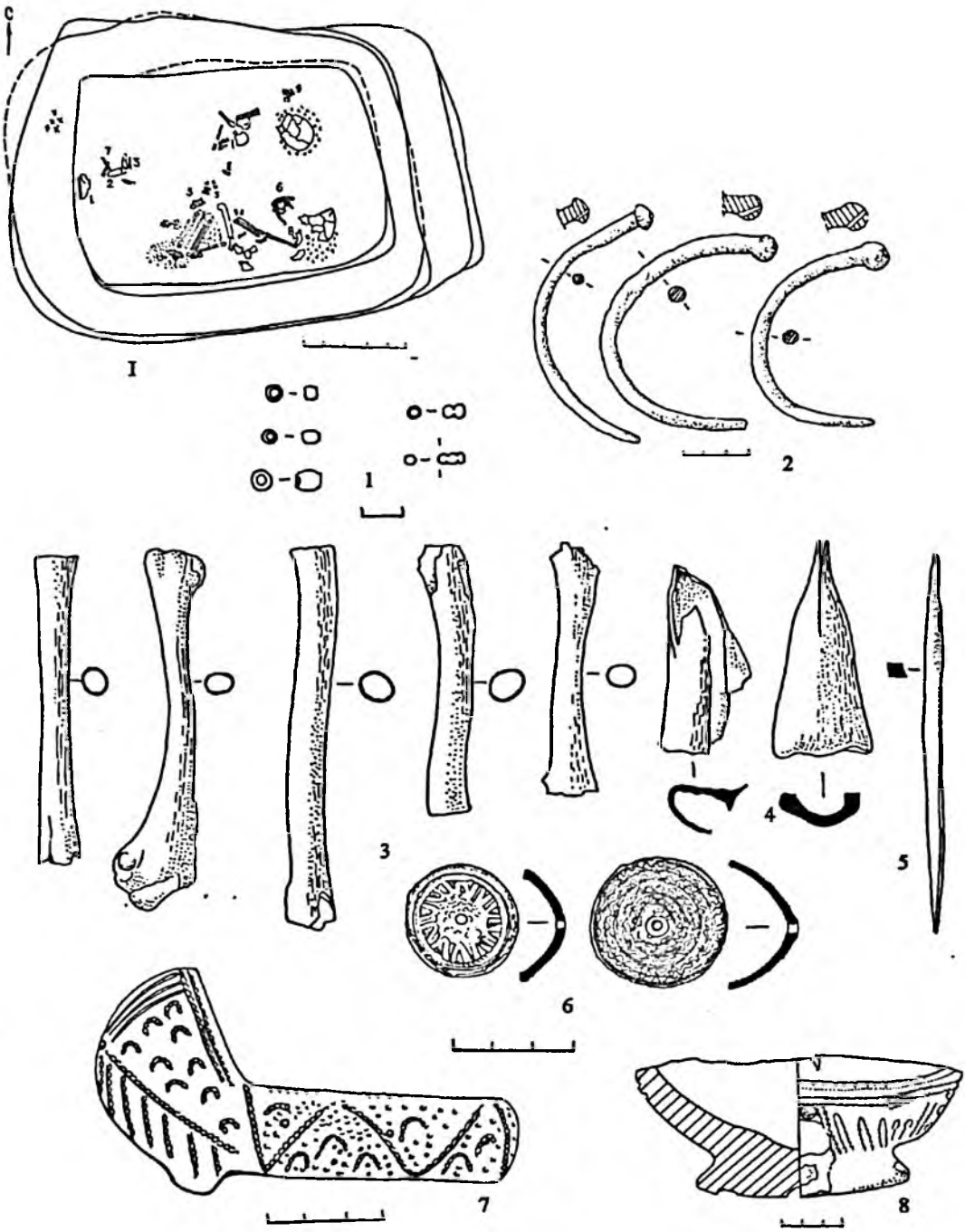


Рис. 4. Лысянский II, курган 5 погребение 1 (раскопки И. Парусимова).

I — п.5: 1 — курильница, 2 — модель повозки, 3 — шило, 4 — бронзовые бусы, 5 — кости животного, 6 — бронзовые бляхи и булавки, 7 –«флейта», 8 — пастовая бусина, 9 — астрагалы. 1 — бусы, 2 — бронзовые булавки, 3 — «флейта», 4 — кости животного, 5 — бронзовое шило, 6 — бронзовіе бляхи, 7 — модель повозки, 8 — курильница.

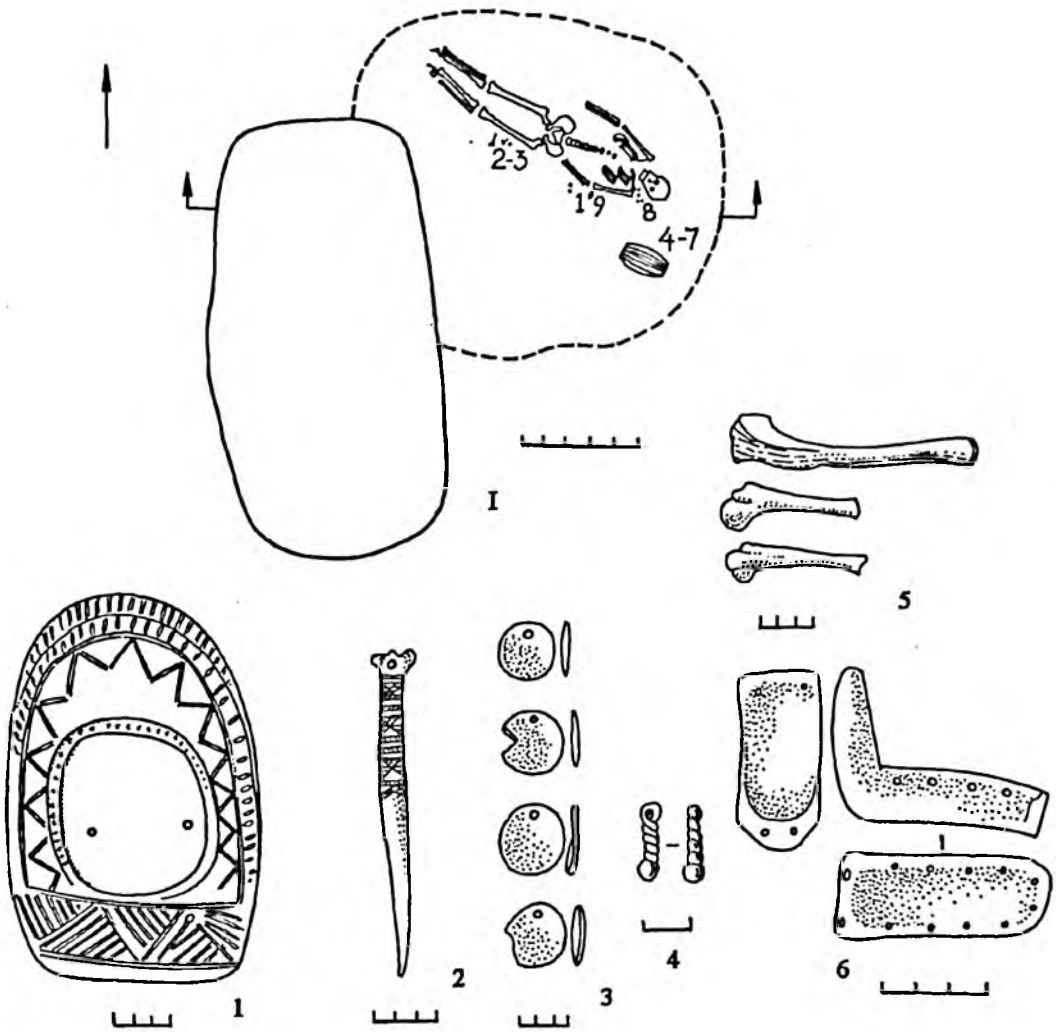


Рис.5. Чограй VIII, курган 3 погребение 3 (раскопки М.В.Андреевой, 1979 г.).

I — п.3: 1 — бронзовые подвески, 2 — роговая булавка, 3 — костяные подвески, 4 — глиняная модель «кибитки», 5 — «флейта Пана», 6 — глиняная фигурка, 7 — галька, 8 — бронзовые бусы, 9 — фрагмент раковины. 1 — бронзовые подвески, 2 — роговая булавка, 3 — костяные подвески, 4 — глиняная модель кибитки», 5 — «флейта Пана», 6 — глиняная фигурка

Таким образом, идея составной статуэтки (глиняное туловище и костяная головка-вставка), конструктивно полными прототипами представленная на поселении Гойюджек Гуюк, без существенных изменений была воспроизведена в антропоморфных пластических изображениях северокавказской культуры и, наконец, отражена в погребальной обрядности катакомбного населения.

Исходя из предположения о связи «флейт Пана» с глиняными статуэтками, следует вывод о том, что их происхождение, также, как и моделей «повозок» I и II типов, связано с

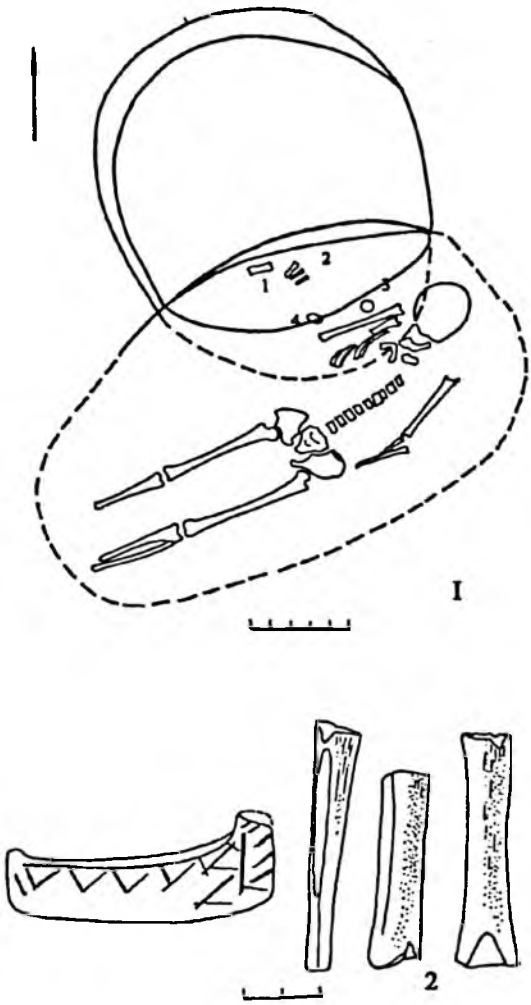


Рис. 6. Каланчак, курган 2 погребение 9 (раскопки Г.Л. Евдокимова, 1978 г.).
I — п.9: 1 — «колыбелька», 2 — «флейта Пана», 3 — смола, 4 — комок охры.

северокавказской культурой.[2] Наиболее ранний экземпляр модели I типа входил в состав инвентаря погребения Уляп 5/1. Для моделей «повозок» II типа хронологический приоритет погребения северокавказской культуры Уляп 5/4 подтверждается анализом орнамента, покрывающим стенки трех моделей (рис.8). Безусловно композиционное сходство орнамента, а анализ проработанности орнамента, составляющих его элементов и техники ис-

[2] Анализу северокавказской культуры посвящено несколько работ, но, как отмечалось, ни вопросы происхождения культуры, ни установление локальных вариантов, ни этапы ее развития не могут считаться разрешенными, в то время как даже само название культуры дискуссионно (Марковин 1994, с. 255). Существующие локальные периодизационные схемы принимаются исследователями частично и с большими поправками, тогда как обобщающие работы значительно устарели. При отсутствии детального анализа имеющегося материала предложенное определение «северокавказской культурно-исторической общности» вместо «северокавказской культуры» (Марковин 1976: 200; 1994: 257) в равной степени условны и на сегодняшний день взаимозаменяемы, поэтому употребление того или иного термина не имеет принципиального значения. Применительно к нашей теме, говоря о северокавказской культуре, мы подразумеваем памятники степного Предкавказья, с ямой как формой могильного сооружения, вытянутым на спине положением погребенных и соответствующим набором погребального инвентаря.

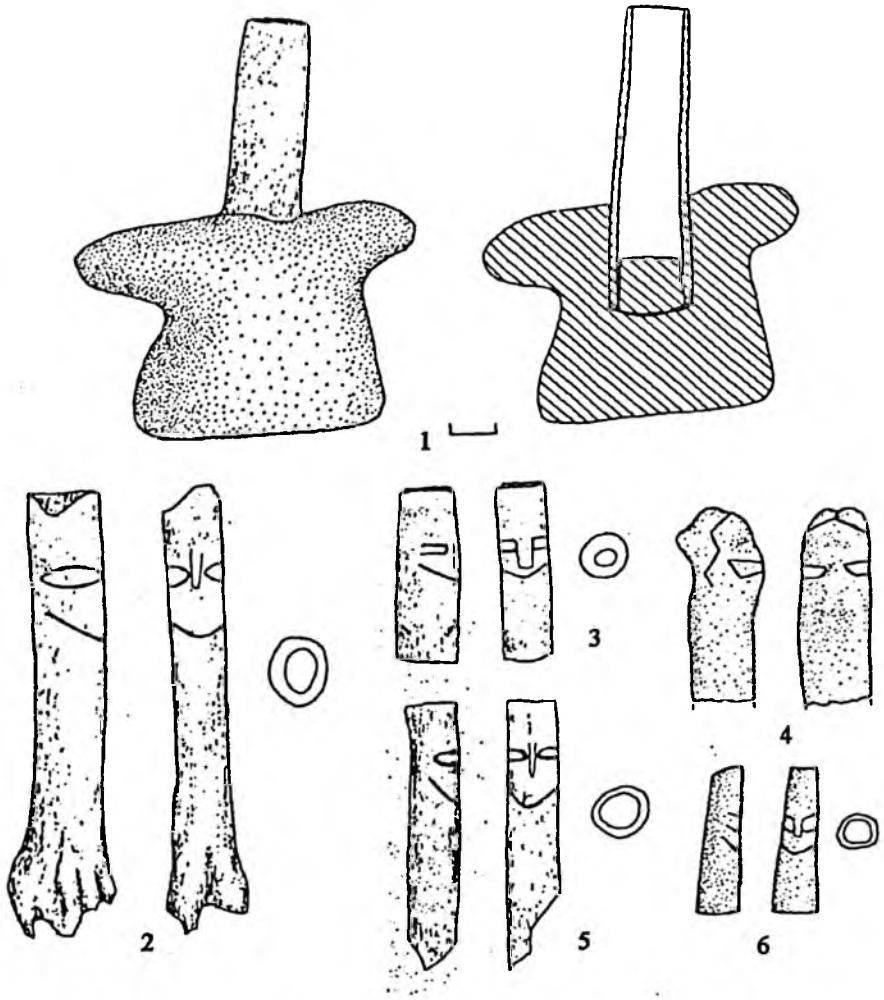


Рис. 7. Гойсек Гуюк (раскопки Р. Дуру, 1990):
1 — глиняный идол с костяной Вставной головкой; 2–4 — костяные вставные головки.

полнения позволяет говорить, прежде всего, о временном отличии. Так, боковые стенки модели из Уляп 5/4 украшал частично сохранившийся налепной криволинейный валик, покрытый оттисками веревочки, пространство ниже валика заполнено оттисками такой же веревочки, сгруппированными по два (рис. 8,I:2, 4). На модели из Темижбек 3/9 (рис. 8,II:2,4) на месте валика прочерчены две параллельные дуги, а пространство ниже дуг заполнено сгруппированными по три (у краев — по две) также прочерченными линиями. На модели из Чограй 3/3 (рис. 8,III:2,4) на месте валика прочерчена слабоизогнутая полоса на одной стенке и горизонтальная полоса — на другой, пространство ниже уровня этих полос заполнено параллельными линиями, сгруппированными по две. Так же сопоставимы композиция и элементы орнамента на передней и задней стенках моделей (рис. 8, I–III:1, 3). Инвентарь и обряд указанных погребений не противоречат более ранней датировке погребения Уляп 5/4.

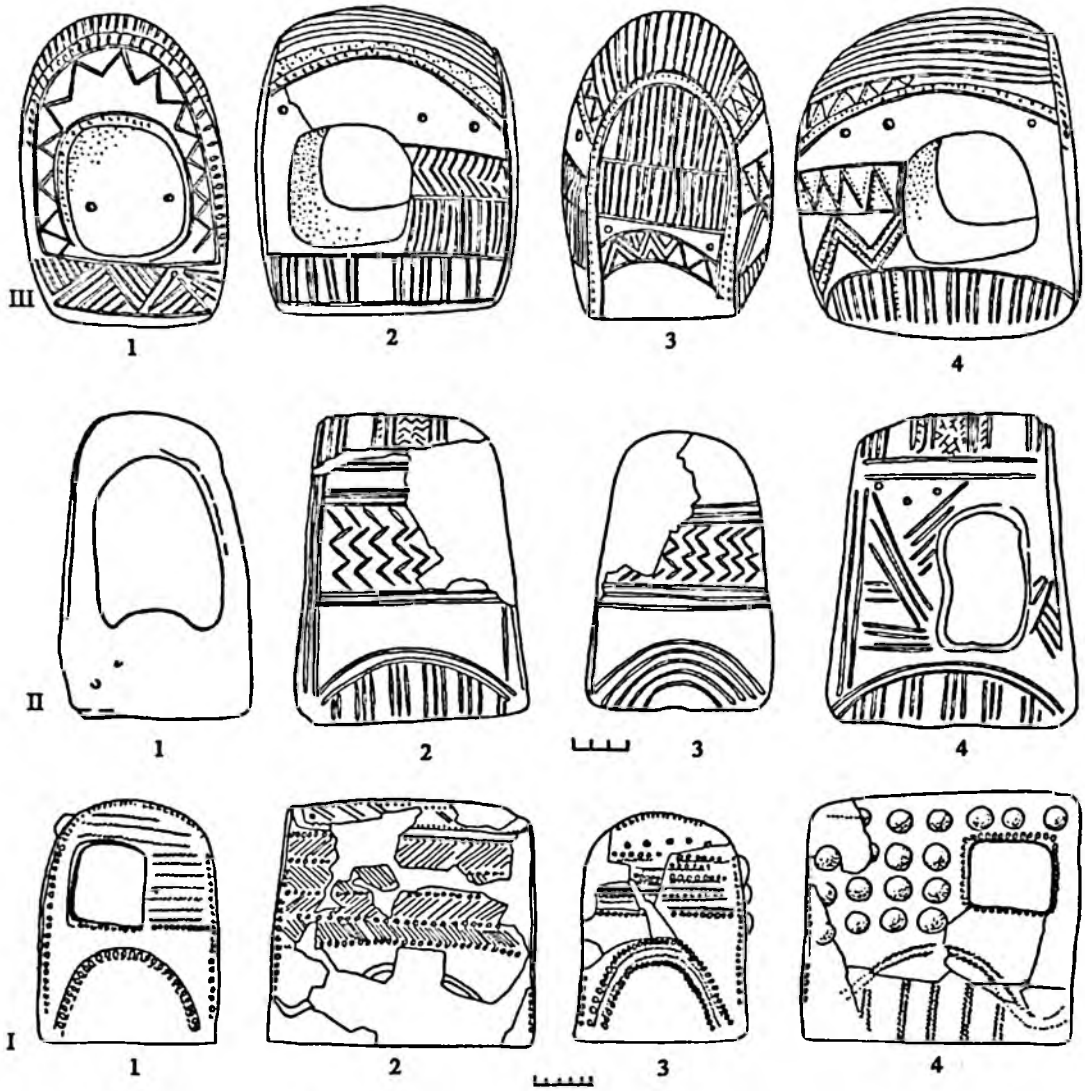


Рис. 8. Модели «повозок» II типа:
I — Уляп, курган 5 погребение 4 (раскопки Веселовского, 1909); II — Темижбек, курган 3 погребение 9 (раскопки Г. А. Николаева, 1980; III — Чограй VIII, курган 3 погребение 3 (раскопки М.А. Андреевой, 1979).

Учитывая, что антропоморфные изображения относятся к ритуальной, духовной стороне жизни, можно говорить о том, что «флейты Пана», так же как и появившиеся в среде северокавказской культуры модели «повозок», отражают элемент непосредственного участия северокавказской культуры в сложении раннекатакомбных памятников на территории Предкавказья и Поднепровья.

Предположение о непосредственном участии северокавказского населения в сложении катакомбных памятников районов Нижнего Дона и Северского Донца высказывалось ранее на основе анализа форм и орнаментации керамики, наличия северокавказских украшений и металла (Братченко 1976; 2001; Смирнов 1996). «Флейты Пана» и модели «повозок» являются дополнительными категориями, маркирующими продвижение части севе-

рокавказского населения на Нижний Дон и далее в Поднепровье. В катакомбных погребениях с «флейтами Пана» и моделями «повозок» погребенный часто лежит вытянуто на спине, в позе, характерной для погребений северокавказской культуры, а инвентарь включает украшения северокавказского типа, такие, например, как бронзовые посоховидные булавки, медальоны, сильновыпуклые орнаментированные бляхи.

Как для погребений с «флейтами Пана», так и для погребений с моделями «повозок» отмечается связь с захоронениями детей. Еще Н.И.Веселовский обратил внимание на возраст погребенного и миниатюрные размеры инвентаря в Уляп 5/1 (Веселовский 1907: 9). Если наборы птичьих костей или модели «повозок» открыты в парных погребениях, то это погребение взрослого и ребенка. Из учтенных погребений с моделями I и II типов лишь в трех случаях модели I типа сопровождали захоронения взрослых, причем все три катакомбных погребения происходят из одного могильника[3].

В уже упоминавшихся погребениях Новый 132/14 и Новый 132/15 (оба погребения связаны с захоронениями детей), помимо птичьих костей были найдены сырцовые стилизованные антропоморфные статуэтки (Ильюков 2000: 105, сл.). Перечисляя антропоморфные изображения, открытые в погребениях эпохи средней бронзы, автор раскопок Л.С.Ильюков обратился и к находкам Н.И.Веселовского. Но с глиняными изображениями из Уляп 5/1 Л.С.Ильюков связывает не птичьи косточки, а сырцовые статуэтки (там же: 109). В связи с этими находками интересно отметить наличие в погребениях антропоморфных изображений нескольких типов. В Уляп 5/1 — это глиняные и алебастровые (разных типов) статуэтки, а в Новый 132/14 и Новый 132/15 — сырцовые статуэтки и символизировавшие антропоморфные изображения птичьи косточки.

Наличие в одном комплексе нескольких типов антропоморфных изображений позволяет вспомнить и о предполагаемой связи молоточковидных булавок с антропоморфными изображениями, — теме, давно и плодотворно разрабатываемой В.Я.Кияшко (Кияшко 1992). Для территории Нижнего Дона отмечается композиционная связь между орнаментом на молоточковидных булавках и на птичьих костях (Кияшко 1999).

Как правило, на птичьих костях из погребений Нижнего Дона орнамент нанесен черной или красной краской. В Прикубаньи, в катакомбном погребении 28 Тимашевского кургана, включавшим набор бронзовых украшений — подвесок, медальонов, бус северокавказского типа, сохранился «фрагмент костяного предмета с врезным елочным орнаментом со следами охры на поверхности» (Динков 1988: 239, рис. 1,3). Судя по рисунку, это фрагмент косточки с сохранившимся эпифизом, которую можно сопоставить с костями из «флейт Пана». На это указывает и наличие охры. Следы охры на птичьих костях в ряде случаев особо отмечались исследователями. По описанию И.Б.Брашинского, в Ростов/Дон 6/5 на птичьих костях и «повозочке» (модели I типа) были мелкие кусочки красной краски (Брашинский 1967). В Новый 132/15 у трех косточек были налепы из комочков охры (Ильюков 2000: 111). Елочный орнамент, элементы которого нанесены на фрагмент косточки из Тимашевского кургана, характерен алебастровых статуэток северокавказской культуры (Нечитайло 1978, рис. 1).

Существование нескольких типов антропоморфных статуэток, отмеченное для погребений, характерно и для поселений. На том же поселении Гойюджек Гуюк, откуда происходят идолы, сходные с ульскими, в тех же святилищах найдены глиняные статуэтки других типов. Один из них (Duru 2001: Fig. 10) также выказывает удивительное сходство с алебастровой статуэткой из Уляп 5/1 (рис. 1, 10). При хронологическом диапазоне более, чем в

[3] Ростов/Дон 6/5, Ростов/Дон 6/11 (Брашинский 1967), Ростов/Дон 2/6 (Демченко 1967).

две с половиной тысячи лет можно лишь отметить сходство сравниваемых статуэток. Но показательно присутствие обоих типов на поселении в Анатолии и в погребении на Северном Кавказе. С территории юго-западной Анатолии происходит и более близкая по времени аналогия находкам из степных погребений датируемая концом третьего тысячелетия до н.э. Сильно стилизованная алебастровая статуэтка сходна с сырцовыми статуэтками из могильника Новый. Она имеет форму сигаровидного тулова тругольной формы окончаниями с разной величины. Вдоль тулова проходят ряды параллельных зигзагов (Alp, 1965, Nr. 11). Сырцовые статуэтки также имеют расширяющееся тулово, оканчивающееся выделенным треугольником и покрыты орнаментом, состоящим из вертикальных рядов зигзага (Ильюков 2000: рис. 1,3–4).

Возможно, отмеченные параллели позволят сузить территорию предполагаемых контактов и источник происхождения антропоморфной пластики северокавказских погребений.

На основе вышеизложенного, перспективной представляется отдельная работа, посвященная «флейтам Пана», которая позволит детально изучить все аспекты, связанные с вещевым комплексом, в центре которого находятся эти символы антропоморфных изображений. Другим направлением исследований по-прежнему остается изучение северокавказской культуры, связи с предшествующими ей на Северном Кавказе культурами и контакты (опосредованные или непосредственные) с определенными регионами Ближнего Востока.

Литература

Андреева М.В. 1984. Глиняная модель повозки из погребения катакомбного времени // СА. № 3.

Андреева М.В. Ульянова О.А., 1986. Отчет о работах Арзгирского отряда Ставропольской экспедиции в Ставропольском крае в 1986 г. НА ИА РАН. Р-1, 11910

Брашинский И.Б. Отчет о работе Южно-Донской экспедиции в 1967 г. Архив ИИМК ф.35, оп.1, 1967, № 75.

Братченко С.Н. 1976. Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы (периодизация и хронология памятников). Киев.

Братченко С.Н. 2001. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганськ.

Веселовский Н.И.1907. Алебастровые и глиняные статуэтки домикенской культуры в курганах Южной России и на Кавказе //ИАК, вып. 35, СПб.

Демченко А.И. 1967. Отчет о раскопках в 4-м микрорайоне зап. ж/м г. Ростова-на-Дону. Архив ИИМК Ф. 35, Оп.I 1967. № 36 (дневник раскопок).

Динков А.Б. 1988. Катакомбное погребение из Тимашевского кургана в Прикубанье // СА. № 1.

Евдокимов Г.А., Николова А.В., Рассамакин Ю.Я., Полин С.В. Отчет о работе Краснознаменской экспедиции ИА АН УССР в 1978 г. НА ИА АНУ, 1978/16.

Ильюков Л.С. 1987. «Цилинндрики» из птичьих костей среднего бронзового века Нижнего Подонья // Актуальные поблемы историко-археологический исследований. Киев.

Ильюков Л.С. 2000. Сырцовые миниатюрные статуэтки эпохи средней бронзы Нижнего Подонья // Labores Pariunt Honores : спеціальний випуск міжвузівського збірника наукових праць «Проблеми археології Поднепров'я». Дніпропетровськ.

Избицер Е.В. 1993. Погребения с повозками степной полосы Восточной Европы и Северного Кавказа, III-II тыс. до н.э. Автореф. канд. дисс. Санкт-Петербург.

Кияшко А.В. 1999. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волгоград.

Кияшко В.Я. 1979. Параллели развития погребальных обрядов эпохи ранней бронзы в Приазовье и на Западном Кавказе // Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Донецк.

Кияшко В.Я. 1992. К вопросу о молоточковидных булавках // Донские древности, вып. 1. Азов

Марковин В.И. 1960. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н.э.). Москва.

Марковин В.И. 1976. Степи и Северный Кавказ: об изучении взаимосвязей древних племен // Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. Москва.

Марковин В.И. 1994. Северокавказская культура // Эпоха средней бронзы Кавказа: ранняя и средняя бронза Кавказа. Москва.

Нехаев А.А. 1979. Отчет о раскопках в Кореновском и Выселковском районах Краснодарского края в 1979 г. НА ИА РАН. Р-1, 7551.

Нечитайло А Л. 1978. Антропоморфные алебастровые статуэтки в ранних памятниках северокавказской культуры // СА . №2. ОАК за 1909–1910 гг. СПб, 1913.

Парусимов И.Н. 1997. Труды Новочеркасской археологической экспедиции, вып. 1. Новочеркасск.

Пиотровский Ю.Ю. 1984. Комплекс антропоморфных изображений Ульского аула и вопросы контактов населения Северного Кавказа в эпоху средней бронзы // Археологический сборник ГЭ, вып. 25.

Смирнов А.М. 1996. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. Москва.

Трифонов В.А. 1991.Степное Прикубанье в эпоху энеолита-средней бронзы (периодизация) // Древние культуры Прикубанья. Ленинград.

Alp S. 1965. Frühbronzezeithliche Marmoridole aus Sudwestanatolien // Belleten, XXIX, № 113–116. Ankara.

Duru R. 1993a. A new variety of idol from the Burdur region: the bone-head idol // Aspects of art and iconography: Anatolia and its neighbors: Studies in honor of Nimet Özguç. Ankara, 1993.

Duru R. 1993áb. Bone incised with a human's face // Woman in Anatolia. 9000 years of the Anatolian woman. Istanbul.

Duru R. 2001. Höyücek excavation // Istanbul university's contributions to archaeology in Turkey (1932–2000), edited by Oktay Belli. Istanbul.

А. Д. Резепкин[1]

ПОСЕЛЕНИЕ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ ЧИШХО И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИСХОЖДЕИЯ И ХРОНОЛОГИИ МАЙКОПСКОЙ КУЛЬТУРЫ

A.D. Rezepkin. The Early Bronze Age cite Chishkho and some questions of the origins and chronology of the Maikop culture.

The dwellings of the Chishkho site were round in plan, their walls consisted of vertically set stakes braided with twigs and coated with clay from both sides. Most fragments of collapsed walls are heavily fired and have imprints of twigs and small trimmed beams (table 3 — 4). The thickness of the fragments reaches 15 cm. The inventory of Chishkho includes bowls of the Early Novosvobodnaya type, identical to those found in the early interments of the Klady burial mound (table 2 — *3–5*; table 4 — *12,14*). These bowls alongside a flint arrowhead of a peculiar «flag-like» shape (table 3 — *3*) enable us to date Chishkho to the second (Inozemtsevo-Kostroma) stage of the Maikop culture. It was at this stage that the Maikop and Novosvobodnaya culture began to exert influence upon each other. It is notable that the ceramics of this time display some polished ornamental patterns which are known also from Middle Uruk. Therefore one may suppose that the second stage of the Maikop culture experienced some influence not only from Early Novosvobodnaya but also from the Mesopotamian civilization of the Middle Uruk and cannot be earlier than the latter. However, the Maikop ceramics had mainly Syrian-Anatolian not Mesopotamian roots, as is evidenced by the similarity of Arslan Tepe VII vessels with those from the Ust-Djegutinsky burial mound and Bolshetenginskoe site. There were probably several cultural impulses coming from the Near East at different times.

В 1996 г. Майкопской экспедицией ИИМК РАН на южном берегу Краснодарского водохранилища близ аула Тауйхабль на размываемом водой поселении были раскопаны одно целое и одно наполовину размытое жилища (рис. 1, 2). При самой тщательной зачистке основания турлука не удалось выявить ни одной ямы для столбовой конструкции. То же самое отмечают и другие исследователи турлучных жилищ эпохи ранней бронзы (Круглов, Подгаецкий 1941: 170; Кореневский 1995). К. А. Днепровским при раскопках жилищ на Серегинском поселении также не отмечено никаких следов ям для столбов (Днепровский 1991). В жилище 1 на Серегинском поселении основания стен постройки местами сохранились на высоту до 15 см толщина их — до 30 см. В них прослежены отпечатки вертикально стоявших жердей в два ряда в 10–15 см. друг от друга (Днепровский, Яковлев 1988).

Раскопанные жилища на поселении Чишхо были округлой в плане формы. По всем этим признакам жилища Чишхо практически аналогичны жилищам из поселений Галюгай 1 на Тереке и Серегинскому в Закубанье. Существенным отличием было только то, что развал турлука занимал всю площадь жилищ, а не только его периметр, как это было на Серегинском поселении (Днепровский 1991). Еще меньше обмазки было отмечено на поселении Галюгай 1 (Кореневский 1995). Сами стены, если учесть, что толщина некоторых кусков обмазки достигала 15 см, по крайней мере в основании были толщиной не менее

[1]Институт истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург, Россия.

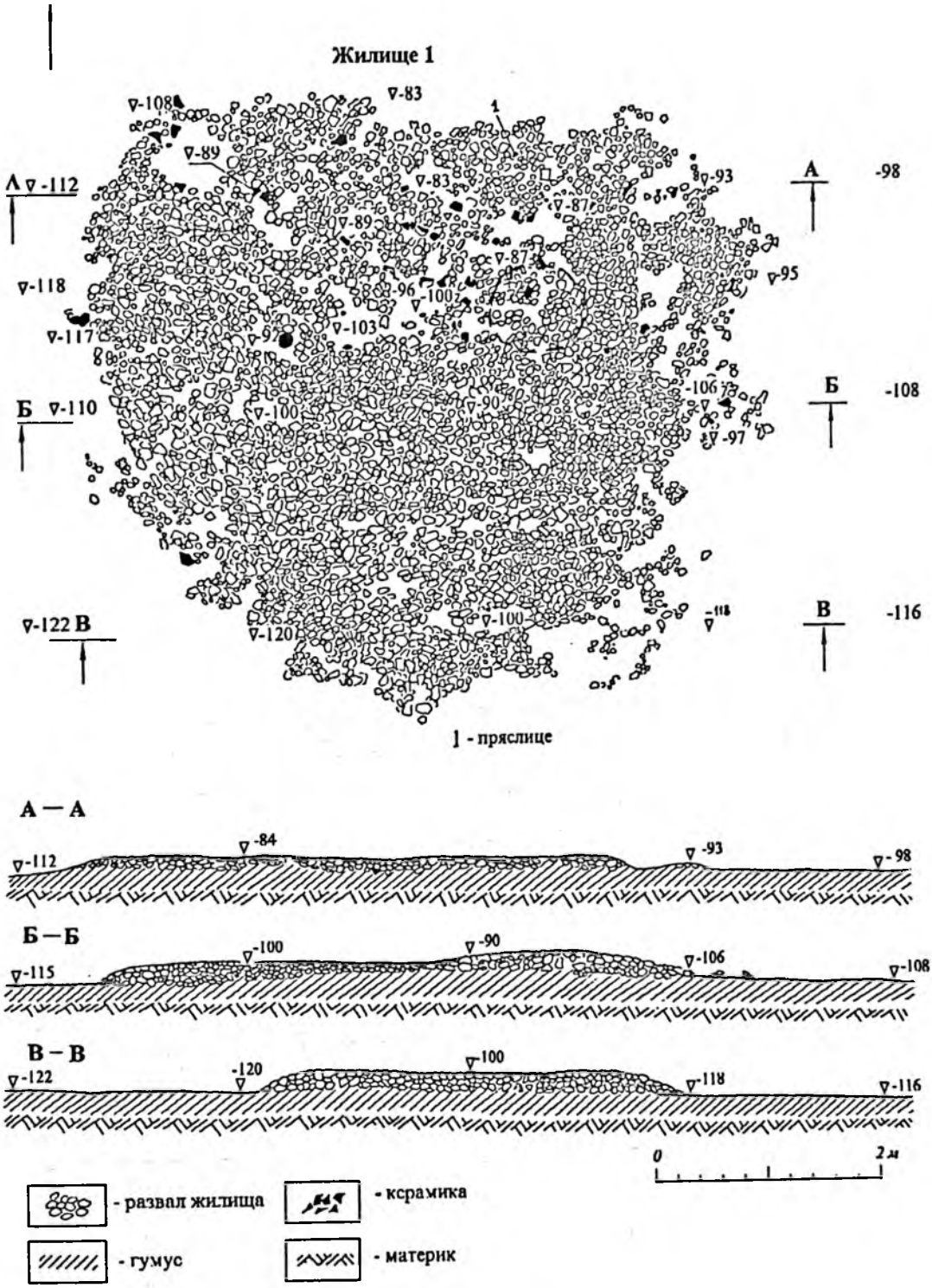


Рис.1. Пос.Чишхо, жил.1

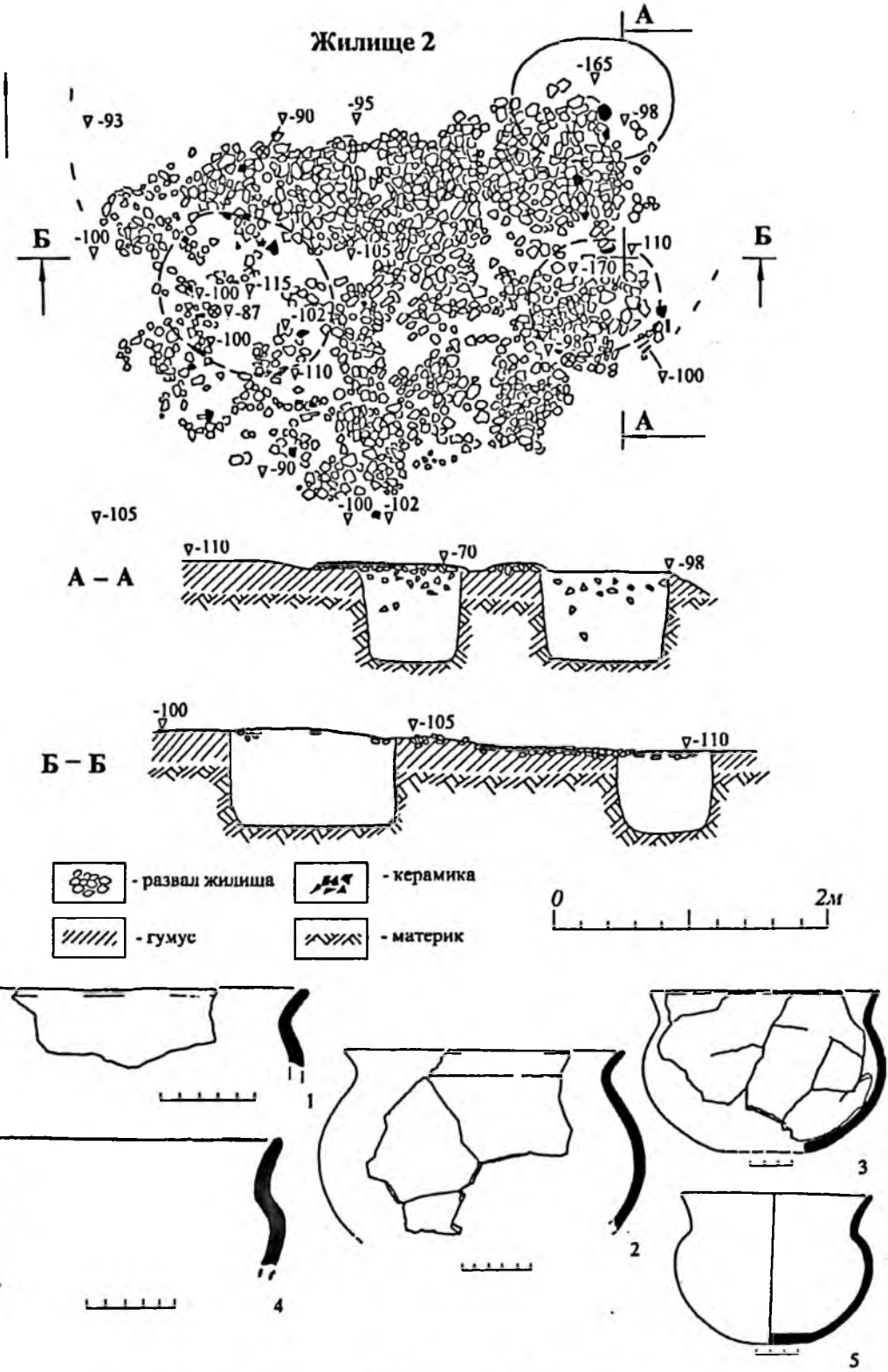


Рис.2. Пос.Чишхо, жил.2: 1,2 — сосуды, 3–5 — кубки.

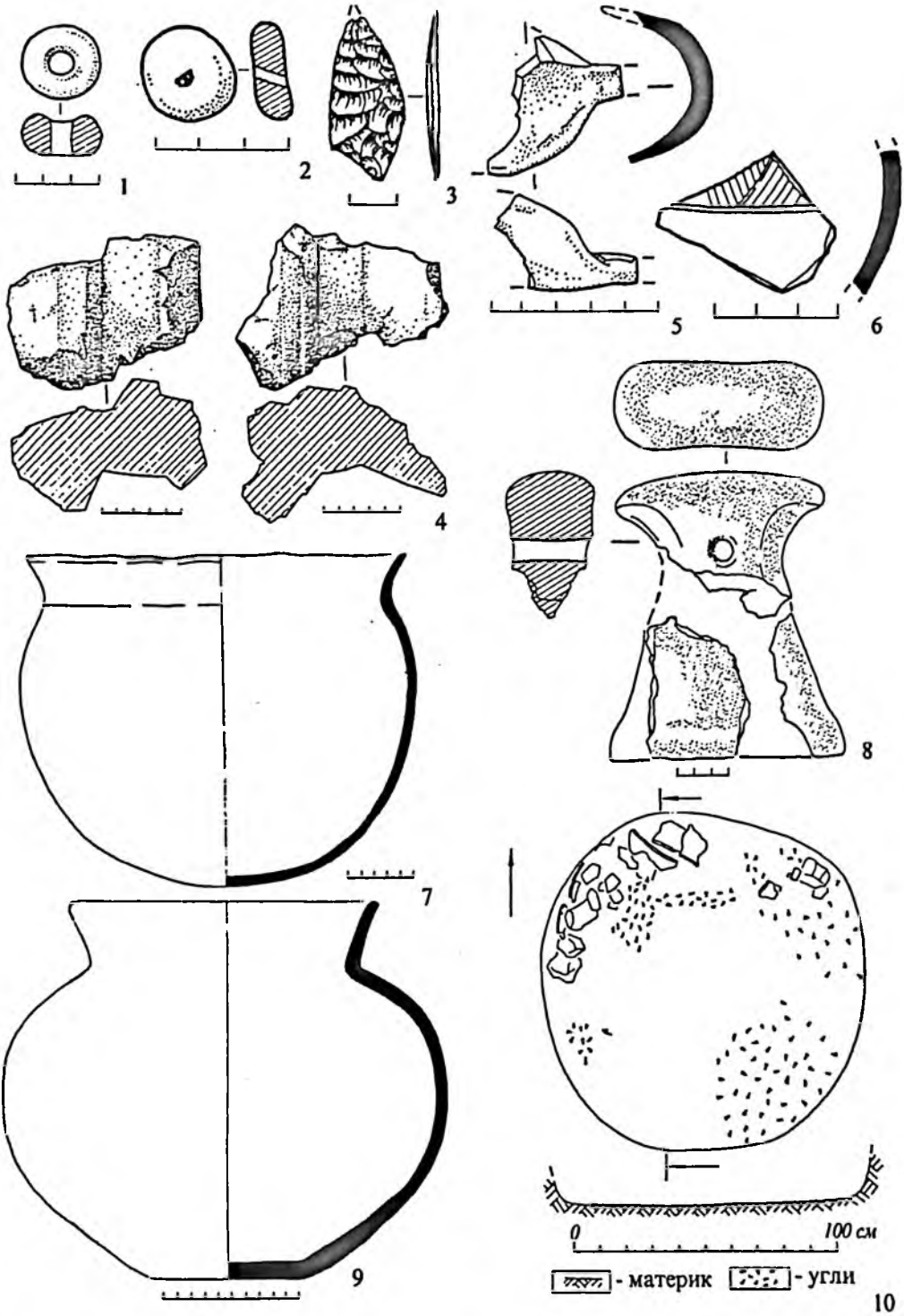


Рис.3. Пос.Чишхо жил.1: 1 — пряслице, 2 — глиняная бусина, 4 — фрагменты турлука с отпечатками брусьев, 6 — фрагмент керамики с пролощенным орнаментом, 8 — глиняная очажная подставка. Жил.2: 5 — обломок глиняной ложки, 9 — сосуд, 3 — кремневый наконечник стрелы из размытого жилища. Пос.Пхагугапе: 7 — сосуд из хоз. Ямы размытого жилища, 10 — дно ямы с фрагментами сосуда .

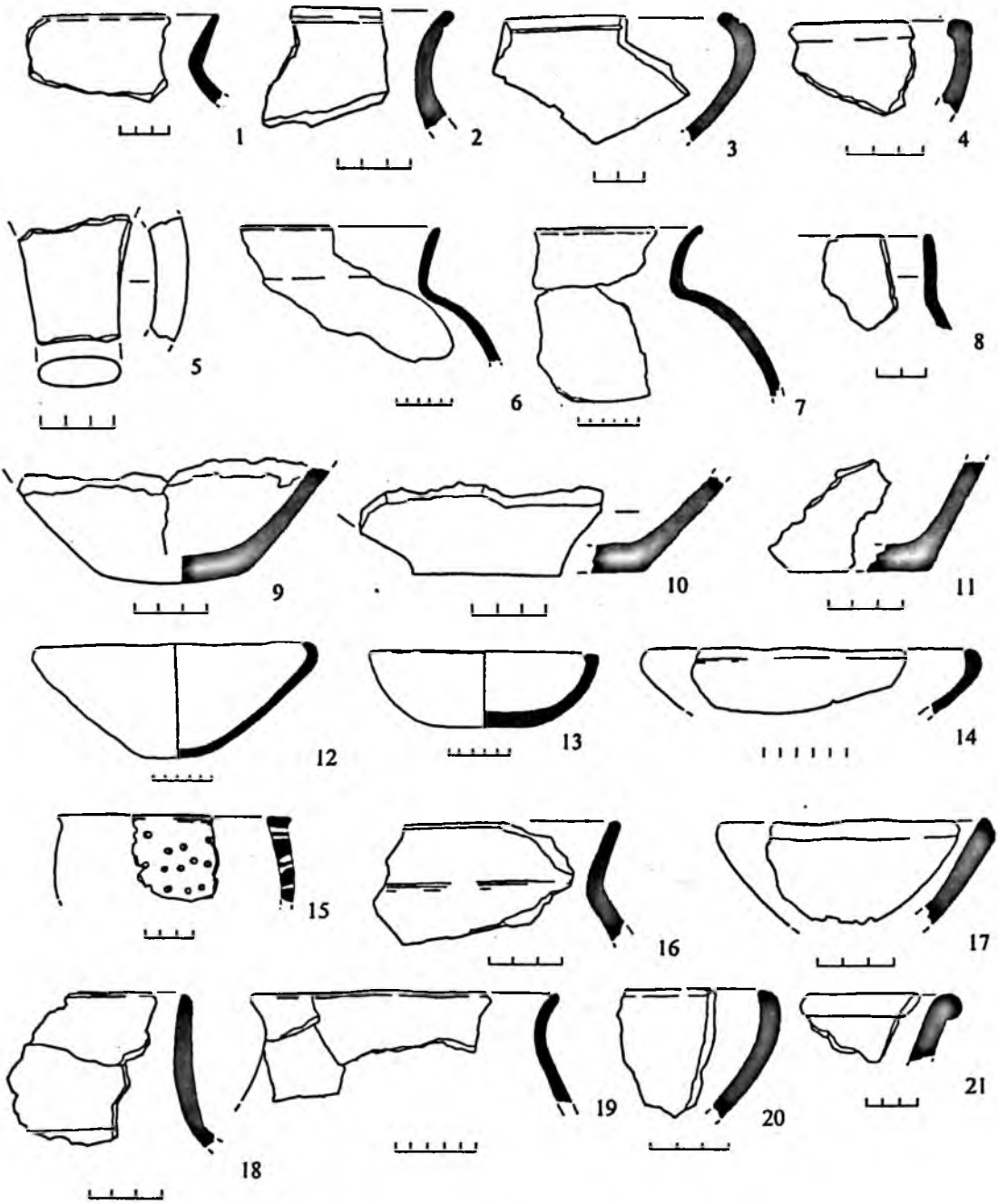


Рис.4. Пос.Чишхо: керамика. Жил.1–1 — 11, жил.2—12–21.

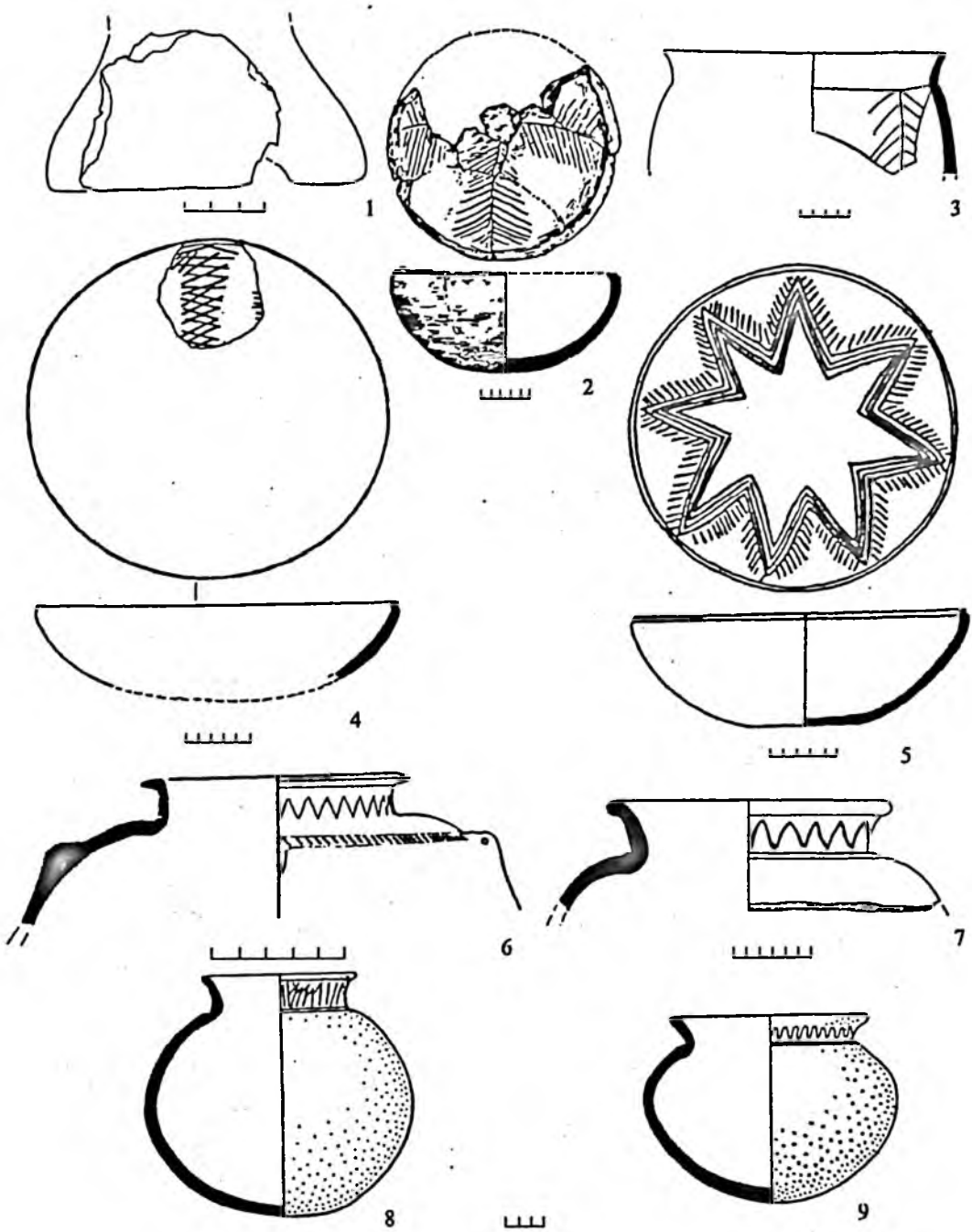


Рис.5. Пос.Чишхо: жил.2 — обломки нижней части глиняной подставки, пос.Уашхиту: миска, 3,4 — пос.Чишхо: фрагмент сосуда и миски из разрушенного жилища, 4 — могольник Клады; к.11,п.49, Tell Rubeidheh: верхняя часть сосуда, пос.Псекупс: верхняя часть сосуда, 8,9 — курган у с. Красногвардейское, п.4.

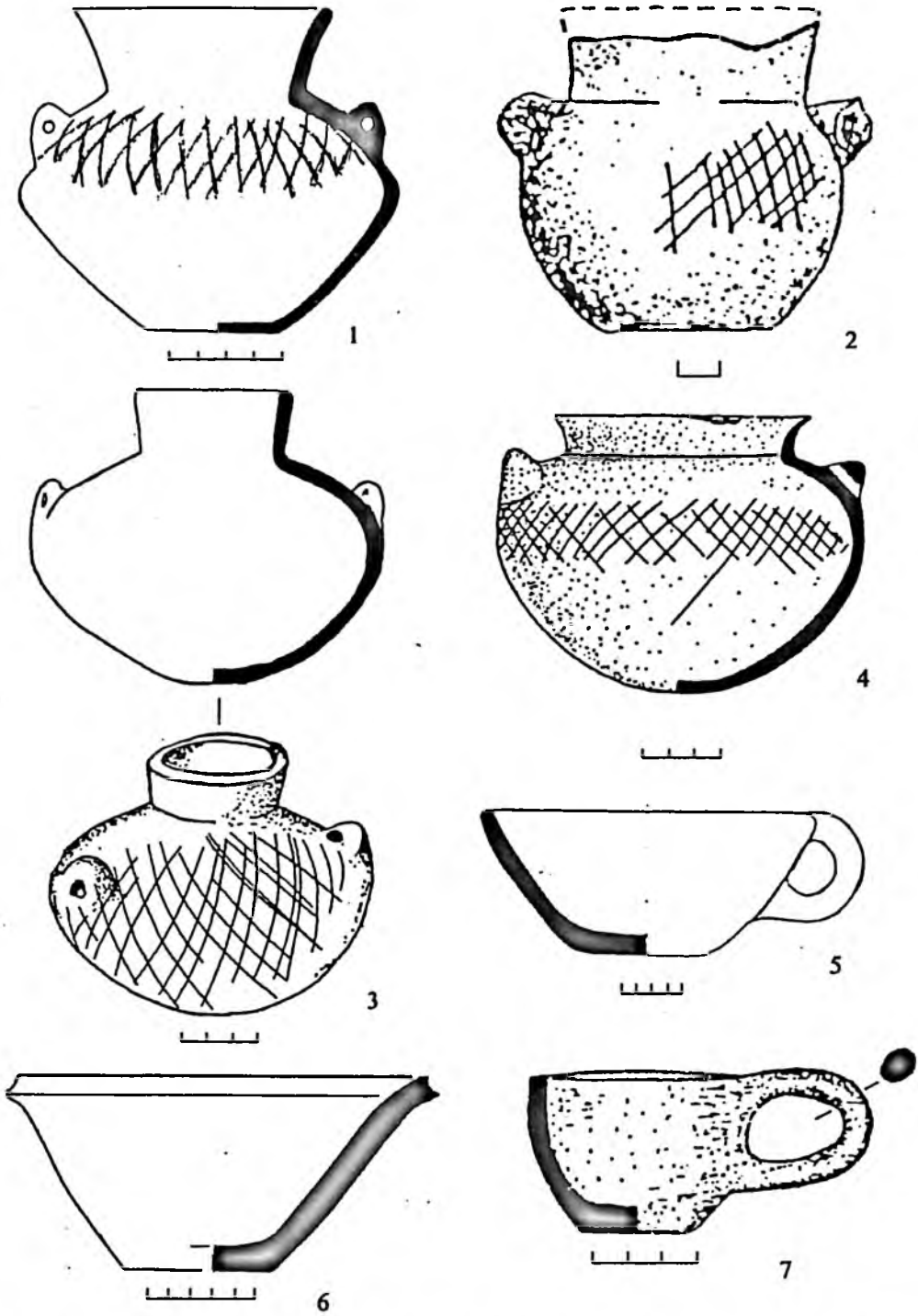


Рис.6. Tell Tello: 1 — сосуд, 2 — Вост.Маныч. Кург. Гр. 111, к.16, п.13, сосуд, 3 — кург. У с. В.Акбаш (верхний сосуд прорисован с фото: Крупнов 1957, с.61.рис.15–3), 4 — койсуг.к.5, п.18, 5,6 — Арслан тепе У1-А,сосуды 7 — кург. Радутка, п.24.

20 см. Поскольку ни в одном из известных случаев нахождения турлучных конструкций в них не было зафиксировано ямок от столбов, то можно предположить, что деревянный каркас из небольших столбов и жердей ставился прямо на землю. Можно также предполагать, что по крайней мере нижняя часть стен состояла из двойного каркаса, пространство внутри которого забутовывалось глиной и ветвями, либо смешано, либо послойно. Затем вся конструкция обмазывалась с обеих сторон добавочным слоем глины. Верхняя часть такой конструкции в свою очередь могла служить основанием для каркаса крыши, который вероятно, состоял из толстых жердей либо балок небольшого сечения переплетенных прутьями или камышом и обмазанных снаружи нетолстым слоем глины, с отверстием для дымохода.

Обнаруженный в жилищах инвентарь был небогат. В жилище, которое сохранилось полностью, среди кусков турлука и под ним были обнаружены фрагменты от нескольких сосудов. Форму одного сосуда удалось восстановить полностью. Он имеет плоское дно, округлое тулово, и выступающий под довольно острым углом прямой венчик. Цвет темно-розовый, поверхность пачкающаяся, тесто хорошо отмученное, без примесей, обжиг отличный (Рис. 3: 9). Там же была найдена глиняная «очажная» подставка с грибообразной в профиле верхней частью. Ее реконструируемая высота около 17 см. (Рис. 3: 8). Найдены фрагменты от двух верхних частей сосудов, аналогичных вышеописанному (Рис. 4: 6,7), венчики, вероятно от таких же сосудов (Рис. 4: 1,2) и обломки днищ сосудов, как с плоским (Рис. 4: 10, 11), так и с уплощенным дном (Рис. 4: 9). В хозяйственной яме обнаружен фрагмент прямого венчика от небольшого тонкостенного сосуда отличного обжига, тесто без примесей, цвет красновато-бежевый (Рис. 4: 8). Найден обломок плоской ручки розового цвета хорошего обжига с примесью мелкого песка (Рис. 4: 5). Часть из найденных верхних частей мисок имеет под венчиком глубокий желобок (Рис. 4: 3). Другие имеют утолщенный и выступающий вовнутрь венчик (Рис. 4: 13). Все они отличаются хорошим обжигом. Обнаружен один обломок стенки сосуда с пролощенным «елочно-паркетным» орнаментом. Чернолощеный, хорошего обжига, без видимых примесей (Рис. 3: 6). В этом же жилище обнаружены две глиняные поделки: одна в виде плоской бусины с косым отверстием , вторая — в виде кружка с крупным отверстием посередине, одна из сторон которого вогнута. Вероятно это пряслице (Рис. 3: 1,2).

Второе жилище находилось метрах в 150 от первого. На этом расстоянии, в нескольких местах между жилищами наблюдались скопления размытого турлука, то есть пространство между исследованными жилищами было также заселено, следовательно мы вправе оба раскопанных жилища отнести к одному поселению. На сохранившейся части второго жилища слой турлука был более тонким и никаких следов очага не было обнаружено. Зато внутри жилища находились три хозяйственные ямы (Рис. 2) и в целом здесь было найдено больше находок, чем в жилище 1. Прежде всего из находок следует отметить 5 кубков разной степени сохранности найденных в яме № 3. Все они среднего обжига, в тесте с примесью известняка и мелкого песка, хорошего лощения, темно-серого и серо-коричневого цвета (Рис. 2: 1,3–5). В ямах 1 и 3 обнаружены фрагменты нижних частей от трех «очажных» подставок (Рис. 5: 1) аналогичных подставке из жилища 1 (Рис. 3: 8). В яме 1 найден обломок глиняной ложки (Табл. 3: 5), там же — один обломок миски с прямым венчиком (Рис. 4: 17) и два — с загнутым вовнутрь краем (Рис. 4: 14,20). В яме 3 найдены две целых миски — одна глубокая, с небольшим уплощенным дном и загнутым вовнутрь краем (Рис. 4: 12), другая с плоским дном и утолщенным венчиком, загнутым вовнутрь (Рис. 4: 13). Найдено несколько обломков венчиков (Рис. 4: 16,18), по форме, тесту и обжигу таких же, как и из жилища 1 (Рис. 4: 16,18). Обнаружены также верхняя часть «цедилки» и часть венчика с

отогнутым краем от крупного сосуда отличного обжига красно-охристого цвета без видимых примесей (Рис. 4: 15, 21). Недалеко от жилища 1 среди размываемых обломков турлука были найдены также: кремневый наконечник стрелы флажковидного типа (Рис. 3: 3), верхняя часть сосуда с отогнутым венчиком и слабовыпуклыми плечиками. Сосуд темного лощения, отличного обжига, в тесте примесь мелкого песка. В изломе черепок внутри серый, по краям — красновато-коричневый. От основания шейки нанесен пролощенный орнамент в виде отходящих под острым углом от центральной полосы с обеих ее сторон двух рядов параллельных линий, изображающих как бы перевернутое «древо жизни» (Рис. 5: 3). Фрагмент венчика чернолощеной миски отличного обжига, без видимых примесей, в изломе коричневого цвета с внешним желобком под краем венчика. На внутренней части фрагмента был нанесен пролощенный орнамент в виде двух рядов полос, косо пересекающих друг друга (Рис. 5: 4).

На расстоянии около двух км к западу от пос. Чишхо, на берегу водохранилища, происходит размывание еще одного поселения эпохи ранней бронзы — Пхегугапе. Наряду с многочисленными переотложенными водой фрагментами типично майкопской керамики прекрасного обжига и разных форм, здесь были обнаружены остатки хозяйственной ямы, также почти полностью размытой (Рис. 2: 10). В ней находились обломки сосуда, профиль которого удалось восстановить. Сосуд округло-шаровидной формы, с круглым дном, широкой шейкой и довольно сильно расширяющимся горлом и венчиком волнистой формы. Тесто свктло-бежевое, с примесью известняка, лощение хорошее (Рис. 2: 7).

Приведенные данные по инвентарю поселения Чишхо показывают, что оно не похоже на уже известные поселения майкопской культуры, такие как Галюгай I и II, Большетенгинское. Отличие прежде всегов том, что здесь нет ни одного круглодонного сосуда, столь типичного для майкопа. И вместе с тем, имеется большое количество ранненовосвободненской керамики, имеются в виду кубки (Рис. 2: 1,3–5), миски (Рис. 2: 12–14). Столь большой удельный вес ранненовосвободненского компонента имеется только еще в одном поселении — Серегинском. В нем представлены все основные формы ранней новосвободной — кубки, амфоры, миски (Днепровский 1991: рис. 7: 1–8; рис. 6: 4, 9; рис. 5: 1, 5, 8). Помимо публикуемого здесь материала по кубкам и мискам, прямые аналогии всем трем категориям керамики имеются в основных погребениях курганного могильника «Клады». К сожалению, полностью опубликовать его удалось только в Германии. Кубки и миски в «Кладах» найдены во многих погребениях (Rezepkin 2000: Taf. 8–3, 6, 8; Taf. 9–3,7,10; Taf. 15–7, 8). Там же найдены и амфоры (Rezepkin 2000: Taf. 12–11; Taf. 19–3; Taf. 30–9). Но в отличие от Серегинского поселения, где все же преобладает майкопская керамика, на поселении Чишхо доля майкопа и новосвободной примерно одинаковы. На мой взгляд, на примере обоих поселений мы наблюдаем процесс синкретизма двух культур, причем Серегинское поселение, полагаю, представляет несколько более ранний этап этого процесса, поскольку здесь представлены также и все основные формы керамики и майкопской культуры, включая и такой важный элемент в керамике майкопа, как круглодонность (Днепровский 1991: рис. 1–8; рис. 3: 5, 6; рис. 4: 7, 9). Но вполне вероятно, что это говорит не о каких-то существенных временных различиях между этими поселениями, а о контактах двух культур разной степени интенсивности. В пользу этого предположения говорит тот факт, что на обоих этих поселениях обнаружена керамика с пролощенным орнаментом (Рис. 2: 6; Рис. 5: 3; Днепровский 1991: 8). А это в настоящий момент является временным индикатором, позволяющим оба поселения отнести к одному, иноземцевско-костромскому (второму) этапу развития майкопской культуры (Резеп-

кин 1989: 11, 12; Rezepkin 2000: 5–8, 21). В связи с этим интересен комплекс керамики, опубликованный из практически разрушенного еще одного майкопского поселения — Уашхиту 1. По целому набору элементов форм керамики К. А. Днепровский совершенно справедливо считает его аналогичным Серегинскому (Днепровский 1991: 10). В данном случае особенно важной представляется находка миски (Рис. 5: 2) с пролощенным орнаментом (Днепровский 1991: 10, 11; рис. 13–20). В «Кладах», в кургане 11 в погребении 49 также была найдена миска с пролощенным орнаментом (Rezepkin 2000: Taf. 16: 4, 6). Орнамент представляет собой форму восьмиконечной звезды, вершины которой упираются в венчик миски. Сама «звезда» сформирована их четырех параллельных линий и от внешней линии, перпендикулярно сторонам лучей этой «звезды», идут короткие, параллельные друг другу линии (Рис. 5: 5). Обе миски одного типа: с уплощенным дном и глубокой канавкой под венчиком. Это один из самых распространенных типов мисок в майкопской культуре. Орнамент на миске из Уашхиту имеет прямую аналогию орнаменту, нанесенному на плечике сосуда из Чишхо, это то же «древо жизни» (Рис. 5: 2) и также расположенное основанием к устью сосуда, а вершиной ко дну. Похожий рисунок выгравирован и на печати из майкопского погребального комплекса у с. Красногвардейское. Вместе с печатью в погребении находились и сосуды с пролощенным орнаментом (Нехаев 1986: 246–247, рис. 3–1). Очень интересной представляется находка кубка с пролощенным орнаментом в виде косой сетки из погребения 10 кургана Уашхиту. Он действительно находит прямые аналогии кубкам из погребений первого и второго горизонта могильника «Клады» (Днепровский, Кореневский 1996: 11). Вообще в «Кладах» мной всего найдено (отреставрировано и опубликовано) 57 кубков, 16 серо — и в основном чернолощеных мисок с плоским дном и прямым, либо, как правило, загнутым вовнутрь краем, 5 амфор с плоскими в сечении по горизонтали ушками на плечиках, подобных тем, что найдены на Серегинском поселении и во впускном погребении 1 кургана 1 у хутора Чернышова (Бианки, Днепровский 1988: 73, 80, рис. 5). Только амфоры из «Кладов» все чернолощеные, а в третьем горизонте — с орнаментом (Rezepkin 2000). Думаю, нет смысла кубки именовать «тюльпановидными горшками» (Днепровский, Кореневский 1996: 7). Во-первых, подавляющее большинство из них по обьему не соответствует даже небольшим горшочкам, во-вторых, в основном, их форма мало соответствует названию, в третьих, за сосудами этой категории в Европе давно уже утвердился термин «кубок». Коротко и по функции ясно. Из 57 кубков в «Кладах», тесто в подавляющем их большинстве содержит мелкотолченый известняк, либо органику. Некоторые — без видимых примесей, но совершенно иной технологии, чем майкопская керамика — не окислительного, а восстановительного обжига. Как правило, таким тестом обладает чернолощеная керамика третьего горизонта «Кладов». Как я уже неоднократно писал, (а не В. А. Трифонов, на которого видимо по ошибке ссылаются К. А. Днепровский и С. Н. Кореневский 1996: 11) керамика этого облика, равно как и многие погребальные конструкции и погребальный обряд, находят аналогии среди круга культур воронковидных кубков, в частности, баальбергской, в Средней Европе (Резепкин 1987: 29–30; 1991: 189–193; Rezepkin 2000: 26–30). К. А. Днепровский и С. Н. Кореневский считают, что «эффект сходства создается за счет «незамысловатости конструкций сосудов и, видимо, схожих технологических деталей» и что «характерных образцов керамики баальбергской группы среди тюльпановидных горшочков Предкавказья мы не знаем» (Днепровский, Кореневский 1996: 11). Но авторы знают, что в статье опубликованной мною еще в 1991 году я привел таблицу, в которой сопоставил не только кубки но и

амфоры ранних этапов (А-Б) развития баальбергской группы памятников, с кубками и амфорами из «Кладов». Если обратиться к этой таблице, (Резепкин 1991: 190, рис. 13), то можно увидеть, какова степень сходства. В этой таблице под номером 1 представлена керамика из «Кладов» а под номером 2 из баальбергской группы ранних этапов. И эти формы, особенно амфоры, очень трудно назвать «незамысловатыми». Если к этому добавить похожие до идентичности погребальные сооружения, которые, впрочем, тоже «незамысловаты» — это яма, часто со скругленными углами, с частым присутствием в ней и над ней элементов каменной конструкции, сам погребальный обряд — скорчено, на боку (как правило, правом) кисти рук перед лицом, в баальберге и у степных ранних новосвободненцев ориентация широтная (Preuss 1966; Резепкин 1988: 92, рис. 1: I-III,V). В Предгорной зоне, где контакты с майкопской культурой были более тесными, в большинстве своем ориентировка была уже в южный сектор. Так что дело здесь не в «независимых процессах развития керамического ремесла» (Днепровский, Кореневский 1996: 12), а в наличии гипотезы, которая обьясняет появление на Северо-Западном Кавказе очень большой серии специфических погребальных комплексов, а сейчас уже обнаружено и новосвободненское поселение с инвентарем, кардинальным образом отличающимся от инвентаря памятников майкопской культуры (Резепкин 1987; 1998: 111–114). В данном случае для нас важно то, что на одном из кубков встречен пролощенный орнамент в виде косой сетки (Днепровский, Кореневский 1996: 10, рис. 8: 6). Комплексы с керамикой, орнаментированной пролощенным орнаментом, я отношу не к самому раннему майкопу, а ко второму, иноземцевско-костромскому этапу развития майкопской культуры (Резепкин 1989: 8, Табл. 1; 11–12; Rezepkin 2000: Abb. 1–3). Керамика с пролощенным орнаментом, как мы видим, встречена в «Кладах» во втором стратиграфическом горизонте, на поселениях Чишхо, Серегинское, в остатках поселения и погребальных комплексах Уашхиту. хотя на Галюгае I и II не найдено керамики с пролощенным орнаментом, материал этих поселений находит многочисленные параллели в керамике Серегинского поселения (Днепровский,Кореневский 1996). В частности, на поселениях Серегинском и Галюгае I и II обнаружена керамика с волнообразной формой венчика (Днепровский,Кореневский 1996; 9, рис.7–10; Кореневский 1995; 51,132, рис.46; 4,7,8; 137, рис.51; 149, рис.64; 3). Она, по классификации Кореневского, относится к классу 2, то есть, к кухонной керамике с примесями в тесте, более слабого обжига и лощения в отличие от классической майкопской. Как уже отмечалось выше, сосуд с такой же волнистой формой венчика найден на соседнем с Чишхо плселении Пхагугапе в яме из совершенно размытого водохранилищем майкопского жилища. Даже по таким, весьма специфическим формам керамики (Рис. 3: 7), также можно сделать вывод об относительно одновременном существовании этих поселений на Северном Кавказе. Я согласен с той мыслью, что чернолощеная косая сетка на «горшочках группы Т-1 видимо, прежде всего есть отражение собственно майкопского декора керамики» (Днепровский, Кореневский 1996: 11). Но пролощенный орнамент начинает бытовать со второго этапа развития майкопской культуры (Резепкин 1989; 1993: 82). А поскольку ее южное происхождение сомнений не вызывает, то встает вопрос о поисках истоков этого вида орнамента вместе с тем кругом памятников либо культур, которые явились источником импульса на Северный Кавказ того, что мы называем майкопской культурой. Эта задача поставлена уже давно (Мунчаев 1975: 329; Андреева 1977). Сейчас, думается, появляется возможность более углубленно посмотреть на характер импульсов из Переднего Востока и попытаться выделить их культурно-временные характеристики. Прежде всего это касается керамики

с пролощенным орнаментом. Недавние исследования ряда урукских поселений на севере, в верховьях Евфрата, к примеру таких, как телль Sheikh Hassan, позволили установить, что они были основаны еще в первой половине IV тыс. до н.э. и существовали в течении нескольких столетий, в период среднего урука. Это позволило североурукские поселения подразделить на два этапа, привязав их к соответствующим слоям пос. Eanna: ранние — к слоям IX-VII, поздние — к слоям VII–VI — это конец среднего Урука. Данные даже из самых поздних североурукских поселений, таких как Habuba Kabir South или Hassek Hoyuk подтверждают, что они были уже заброшены перед апогеем культурного развития позднего урука (Helwing 2000, p.92). На одном из этих поселений «Tell Rubeidheh», материал из которого соотносится со слоями VIII–VI пос. Eanna и слоями XX–XVII пос. Inanna, обнаружена керамика с пролощенным орнаментом (Cuyler Young, Killik, ed. 1988, p.52, 73, Fig. 102, p.74, Fig.109,110,114). Особенно интересен один из сосудов этого поселения. Его вертикальное горло украшено таким же зигзагообразным пролощенным орнаментом (Рис. 5: 6), какой был нанесен на горло сосудов из майкопского погребения с печатью, раскопанного А.А.Нехаевым (Нехаев 1986, с.246, рис.2–6). Они несколько иной формы, без ручек-ушек, но в данном случае важно наличие на сосуде орнамента, нанесенного на той же части сосуда, в той же технике и композиции (Рис. 5: 8,9). Такой же орнамент в виде пролощенного зигзага на шейке горла имеется еще на одном сосуде (Рис. 5: 7) из Псекупского поселения майкопской культуры, расположенного недалеко от поселений Чишхо и Пхагугапе (Ловпаче, Дитлер 1988: 129, Табл. XI–II). Еще один тип пролощенного орнамента — косая сетка, был мной обнаружен на сосуде, хранившимся в фондах Лувра (инв..№AO1579). Сосуд происходит из пос. Tello, относящегося к эпохе среднего урука (Boese 1995: 254). Этот сосуд-амфорка (Рис. 6: I) интерересен тем, что ближайшая аналогия ему находится в Калмыкии (Рис. 6: 2). Сосуд опубликован Н.И.Шишлиной (Шишлина 1997). На Нижнем Дону, в одном из впускных погребений (к.5,п.18) Койсугских курганов (Максименков 1973: 250, рис.1–2) также была найдена амфорка с пролощенным орнаментом в виде косой сетки только дно у нее было не плоское, как у предыдущих, а уплощенное и ручки-ушки на плечиках имели не горизонтальное, а вертикальное отверстие (Рис. 6: 4). Второе впускное погребение в этом же кургане №27 содержало типичный круглодонный майкопский сосуд охристого цвета и отличного лощения с прямой шейкой, под углом отходящуй от тулова (Максименко 1973: 251,рис.2–2). Еще одна амфорка с аналогичным орнаментом и такими же ручками — ушками на плечиках была найдена во впускном погребении у с. В.Акбаш (Рис. 6: 3). Орнамент на тулове был также пролощен (Крупнов 1950: 208–209,рис.14) а не прочерчен, как пишут С.Н.Кореневский и А.О.Наглер (Кореневский, Наглер 1987: 76). На Нижнем Дону В.Е.Максименко было раскопано еще одно, по обряду аналогичному предыдущему: скорчено, на боку, кисти рук перед лицом — погребение 24 из кургана «Радутка». Оно, как и погребение с амфоркой, было впускным в основную насыпь (Максименко 1973: 252) и что в данном случае представляет особый интерес, в нем, в качестве погребального инвентаря находился сосуд в виде глиняной кружки конической формы (Рис. 6: 7). Хорошая аналогия этой форме опять же находится на севере Месопотамии на хорошо известном памятнике Арслан тепе (Malatya) в слое VI-A (Рис. 6: 5). Правда, этот горизонт поселения относится к позднему уруку, но в этом же здании, вместе с кружкой был найден сосуд (Рис. 6: 6), типичный для среднего урука (Palmieri 1981). На Нижнем Дону, пролощенный орнамент встречен на керамике не только из погребальных комплексов. Есть он и наимпортной майкопской керамике в виде прямых и пересекающих-

ся линий из энеолитического поселения Константиновское (Кияшко 1994: 45,110, рис.24–1). Там же, вместе с керамикой найдены и глиняные « очажные подставки», столь характерные для майкопской культуры (Кияшко 1994: рис.23,6–8). Причем их форма аналогична форме подставок из майкопских поселений Галюгай и Серегинское (Днепровский, Кореневский 1996).

Абсолютная датировка вышеупомянутого пос. Tell Seikh Hassan, полученная на анализе 27 калиброванных радиоуглеродных дат, позволяет памятники конца среднего урука, соотносимых со слоями VIII–VI пос. Eanna, датировать второй третью IV тыс. до э. (Boese 1995: 256, 272. Abb.15).Радиоуглеродные даты из двух нижних стратиграфических горизонтов «Кладов» и поселений Галюгай I и II, имеют хотя и довольно широкий хронологический диапазон, но все же в целом они ложатся в тот же временной промежуток (Rezepkin 2000). Они также ближе не к Арслан тепе VI–A , этот горизонт по калиброванным датам имеет дапазон 3300–2900 г.г. до н.э., а к более раннему горизонту — Арслан тепе VII. Из этого слоя имеется шесть радиоуглеродных калиброванных дат, которые уложились в 3640–3535 гг. до н.э. (Nogera 2000: 74), Находка в майкопском погребении у с. Красногвардейское цилиндрической печати и керамики с пролощенным орнаментом, не противоречит предлагаемой датировке горизонта майкопских и ранненовосвободненских памятников второй третью IV тыс. до н.э., которые я в свое время выделил в иноземцевско-костромской этап развития майкопской культуры (Резепкин 1989). Дело в том, что подобные находки имеются в уже упомянутом Телле «Sheikh Hassan» (Boese 1995: 95–96, 104, Fig 8). По данным других исследователей, распространение цилиндрических печатей на Северо -Востоке Месопотамии произошло также в эпоху среднего урука (Mazzoni 2000: 101).

Хотя на Галюгае I и II не найдено керамики с пролощенным орнаментом, материал этих поселений находит многочисленные параллели в керамике из Серегинского поселения (Днепровский, Кореневский 1996).В частности, на поселениях Серегинском и Галюгае I и II обнаружена керамика с волнообразной формой венчика (Днепровский, Кореневский 1996: 9, рис. 7–10; Кореневский 1995: 51, 132, рис. 46: 4, 7, 8; 137, рис. 51; 149, рис. 64: 3). Она, по классификации С. Н. Кореневского, относится к классу 2, то есть, к кухонной керамике с примесями в тесте, более слабого обжига и лощения в отличие от классической майкопской. Как уже отмечалось выше, сосуд с такой же волнистой формой венчика найден на соседнем с Чишхо поселении Пхагугапе в яме из совершенно размытого водохранилищем майкопского жилища. Даже по таким, весьма специфическим формам керамики (Рис. 2: 7), также можно сделать вывод об относительно одновременном существовании известных майкопских поселений на Северном Кавказе. Как видно, погребальные комплексы и поселения майкопской культуры, имеющие керамику с пролощенным орнаментом, по месопотамской хронологии можно отнести ко второй половине среднего Урука. Именно на этой фазе развития урукская экспансия достигла верховьев Евфрата на севере и влияние Урука к северу от Тавра стало заметным. Следовательно, можно предположить, что те памятники майкопской культуры, на которых найден пролощенный орнамент, в своем происхождении корнями уходят в те регионы, а это центральная часть Восточной Анатолии, которые были подвержены непосредственному влиянию среднего Урука и соответственно, могут быть датированы на данный момент не ранее второй половины среднего Урука.

Но в своей основе майкопская керамика все же несет в себе иные корни, не месопотамские, а сиро-анатолийские. Впервые на это обратила внимание еще в 1977 году М. В. Андреева (Андреева 1977). И действительно, практически все основные формы керамики: миски с венчиками различной конфигурации, сосуды шаровидной формы с резко отогну-

тыми венчиками, пифосы — представлены в Сиро-Анатолийском позднем халколите, в частности, на том же поселении Арслан-тепе в седьмом горизонте (Frangipane 2000: 456, Fig. 2; Helwing 2000: 159, Fig. 3). Этот горизонт предшествует слою VI-A, где уже заметно сильное влияние Урука. Вероятно к нижним слоям горизонта Арслан-тепе VII можно будет отнести такие памятники, как Большетенгинское поселение (Каминская, Динков 1993) и погребения в ямах из Усть-Джегутинского курганного могильника (Мунчаев, Нечитайло 1968). Таким образом, мы, во первых, имеем пока довольно слабые, но на конкретном археологическом материале все же достаточно определенные ориентиры в хронологических параметрах второго, иноземцевско-костромского этапа развития культуры, и во вторых, можем предположить, что культурный импульс с Переднего Востока был не один, и, вероятно, самый ранний не содержал в себе культурных элементов Урука, а был скорее всего восточноанатолийского происхождения.

Литература

Андреева, М. В. 1977. К вопросу о южных связях майкопской культуры // Советская археология. № 4. М.

Бианки А. М., Днепровский К. А. 1988. Об одном из вариантов погребального обряда майкопской культуры // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп.

Днепровский К. А. 1991. Серегинское поселение эпохи ранней бронзы. Древности Северного Кавказа и Причерноморья. Москва.

Днепровский К. А., Кореневский С. Н. 1996. Сравнительный анализ керамики Галюгаевского и Серегинского поселений майкопской культуры // Историко-археологический альманах 2: Армавир-Москва.

Днепровский К. А., Яковлев А. А. 1988. Новое поселение эпохи ранней бронзы в Закубанье // Материальная культура Востока. Вып. 1: Москва.

Каминская И. В., А. Б. Динков. 1993. Большетенгинское поселение в долине р. Уруп // Древности Кубани и Причерноморья. Краснодар.

Киящко В. Я. 1994. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в V-III тыс. до н. э.) // Донские древности. Вып. 3. Азов.

Кореневский С. Н. 1995. Галюгай-1 — поселение майкопской культуры. М.

Кореневский С.Н., Наглер А.О. 1987 Некоторые вопросы изучения энеолита Центрального Предкавказья и Моздокских степей // Проблемы интерпретации археологических источников. Орджоникидзе.

Круглов А.П., Подгаецкий Г.В. 1941. Долинское поселение у г. Нальчика // МИА 3.

Крупнов Е.И. 1950. Археологические исследования в Кабардинской АССР в 1948 г. // Ученые записки КБНИИ. Т.V. Нальчик.

Крупнов Е.И. 1957. Древняя история и культура Кабарды. М.

Ловпаче Н.Г., Дитлер П.А. 1988. Псекупское поселение номер 1 // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп.

Максименко В.Е. 1973. Новые материалы по ранней бронзы на Нижнем Дону.СА.№1

Мунчаев Р. М. 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.

Майкопская культура. 1994 // Археология СССР. Часть 1. Глава 2. М.

Мунчаев Р. М., А. Л. Нечитайло. 1968. Комплексы майкопской культуры Усть-Джегутинском могильнике // СА №3. М.

Нехаев А. А. 1986. Погребение майкопской культуры из кургана у села Красногвардейское // СА №1. М.

Резепкин, А. Д. 1987. К интерпретации росписи из гробницы майкопской культуры близ станицы Новосвободной // Краткие сообщения Института археологии 192. Л.

Резепкин А. Д. 1989. Северо-Заладный Кавказ в эпоху ранней бронзы. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Л.

Резепкин А. Д. 1991. Курган 31 могильника «Клады» // Проблемы генезиса и хронологии майкопской культуры. Древние культуры Прикубанья. Л.

Резепкин А. Д. 1993. К относительной хронологии энеолитических и ранне-бронзовых памятников Северного Кавказа // Вторая Кубанская археологическа конференция. Тез. докл. Краснодар.

Резепкин А. Д. 1998. Сравнительный анализ майкопских и новосвободненских поселений на Северо-Западном Кавказе // Поселения. Среда, культура, социум. СПб.

Шишлина Н.И. 1997. Погребальные традиции населения Калмыцких степей в эпоху ранней бронзы // Археологический сбрник. Погребальный обряд. Труды ГИМ. Вып.93. М.

Boese J. 1995. Ausgrabungen in Tell Sheikh Hassan 1 // Schriften zur forderasiatischen Archaologi. Bd 5.Saarbrucken.

Cuyler Young T., Killik R.G.,Watson P.J.,Payne S.,Downs D.,McAdam E.,Mynors H.S.,Miller R.,Crawford H.E.W,Moon J.A.,Arnold K.1988. Tell Rubeidheh. An uruk village in the jebel hamrin. Iraq Archaeological Reports — 2. Baghdad.

Frangpene M. 2000. The Late Chalcolltic /EB I sequence at Arslan-tepe. Chronological and cultural remarks from a frontier site // Chronologies des pays du Caucase et de L'Euphrate aux IV–III millenaries. Paris.

Helwing B. 2000. Cultural interaction at Hassek Hoyuk, Turkey. New evidence from pottery analysis // Paleorient. 25.1

Mazzoni S. 2000. From the late chalcolithic to EB 1 in North-West Syria // Chronologies des pays du Caucase....

Nocera G-M. 2000. Radiocarbon datings from Arslantepe and Norsuntepe: the fourth-third millenium absolute chronology In the Upper Euphrates and transcaucaslan region // Chronologies des pays du Caucase et de L'Euphrate aux IV-III millenaries. Paris.

Palmieri A. 1981. Excavations at Arslan-Tepe (Malatya) // Anatolian Studies. Vol.XXXI

Preuss J. 1966. Die Baalberger gruppe in Mitteldentschland. v. 21. Halle.

Rezepkin A. 2000. Das frûâronzezeltllche Gräberfeld von Klady und die Malkop-Kultur in Nordwestkaukaslen. Archäologle In Euraslen. Bd.10. Berlin.

Стёганцева В.Я.[1]

РЕПОВИДНАЯ КЕРАМИКА КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ
(к постановке проблемы)

V. Ya. Stegantseva. Turnip-shaped pottery of the Catacomb culture

Found and described in the beginning of the XXth century, the turnip-shaped pottery of the Catacomb burials has repeatedly attracted attention of archaeologists. In the 60s the whole group was divided into two categories, the first of which is known as neckless vessels, and the second one as short-necked vessels. The first group is distributed on the right bank of the Don and Seversky Donets, while the second one on the left bank of the Don, though several specimens of the second group were found on the right bank, too. This kind of pottery seems to have spread from the North Caucasus steppe in north-west direction. The turnip-shaped pottery can be considered a part of an interesting cultural phenomenon widely spread in archaeological sites of the Near East and Eastern Mediterranean in 4100–1900 BC. At the same time stone vessels of similar shapes and their ceramic copies were spread in Egypt and surrounding areas.

Вот уже почти полвека основным признаком предкавказской, а точнее западноманычской катакомбной культуры, является реповидный сосуд. Присутствие в погребальном инвентаре реповидного, или похожего на реповидный, сосуда часто становится достаточным основанием для отнесения погребения к манычскому типу (Марина, Фещенко 1989; Смирнов, 1996). Термин «реповидный», «репчатый» впервые употребил В.А. Городцов, описывая находки, полученные в ходе раскопок курганов в Бахмутском уезде в 1903 году (Городцов, 1905). Он отметил сходство бахмутских сосудов с единичными в то время находками Веселовского на Кубани.

В конце сороковых годов, после раскопок на Маныче, М.И. Артамонов датировал погребения катакомбной культуры на основании сходства реповидной керамики с сосудами, найденными в дольменах ст. Новосвободной (Артамонов, 1949). А.А Иерусалимская учла реповидные сосуды как одну из составляющих инвентаря предкавказской катакомбной культуры и отрицала сходство их с дольменными (Иерусалимская, 1958).

С.Н. Братченко в своей диссертации, опубликованной в 1976 году, в числе других типов катакомбной керамики Нижнего Подонья рассмотрел реповидные сосуды и включил их в классификацию керамики, привел сведения о размерах и их соотношении. Реповидные формы были разделены на две группы: бесшейные (I В) и короткошейные сосуды (II Д). Внутри этих групп исследователь выделил по два типа: I В1 — сосуды с прямым краем (рис. 1: 7); I В2 — сосуды с утолщенным краем в виде «отложного "глухого воротничка"»[2] (рис. 1: 4, 8, 10, 12); II Д1 — сосуды с прямым тонким венчиком; II Д2 — сосуды с «венчиком, отогнутым наружу в виде ободка» (рис. 1: 1–3, 5–6, 9, 11) (Братченко, 1976). Несмотря на то, что выборка состояла всего из 28 реповидных сосудов, классификация вполне актуальна и сегодня. Авторы более поздних работ дополняли и уточняли ее (Арапов, 1992;

[1] Институт истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург, Россия

[2] Позже для обозначения этого типа сосудов стал употребляться термин «сосуд типа "жабо"», к сожалению, неправильно определяющий сходство «воротничка» сосуда с деталью одежды.

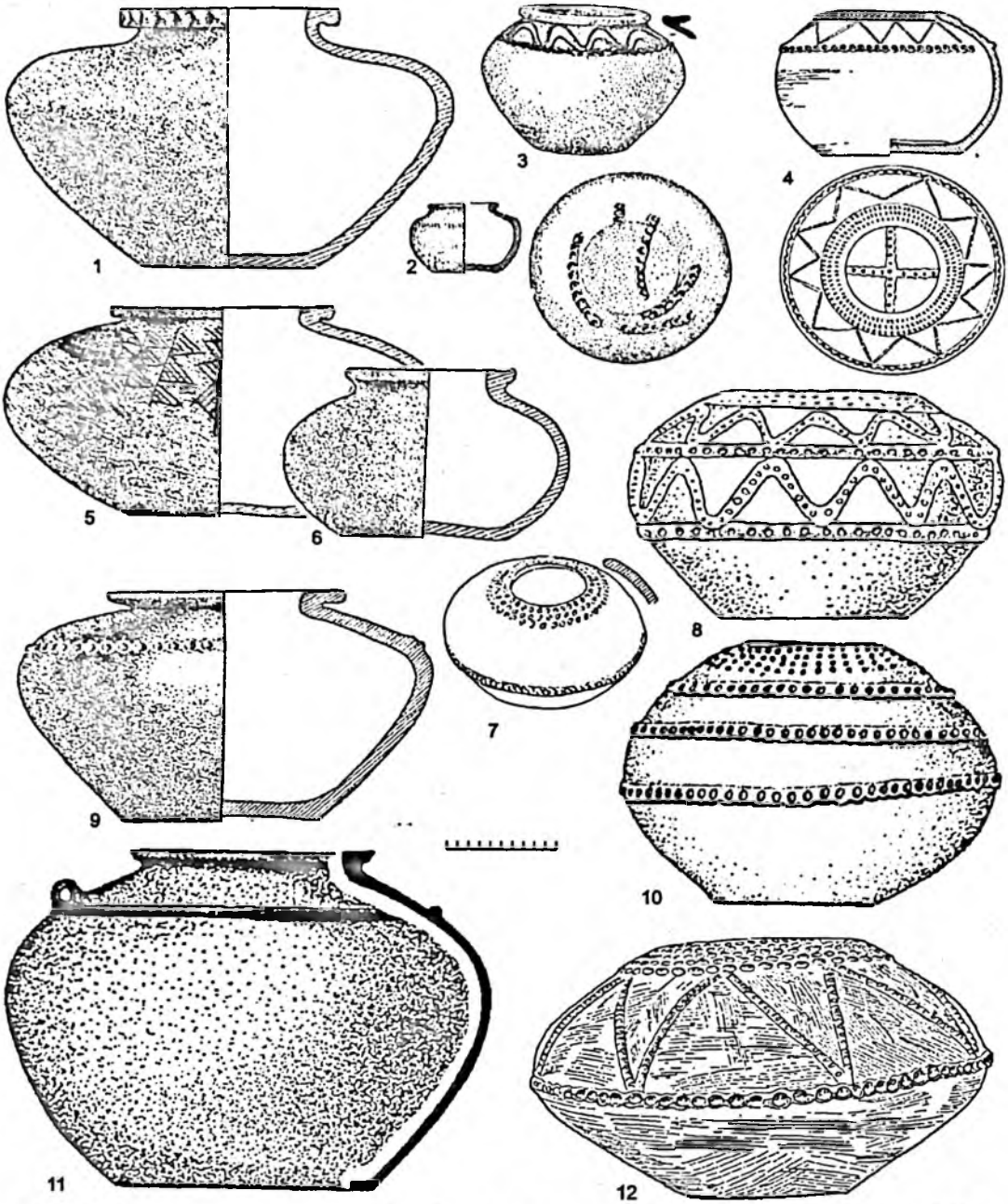


Рис. 1. Реповидная керамика катакомбной культурно-исторической общности; 1 — Шахаевский I могильник, курган 1, погребение 10; 2 — Шахаевский I могильник, курган 4, погребение 32; 3 — Шахаевский II могильник, курган 1, погребение 8; 4 — Сторожевой курган, погребение 14; 5 — Шахаевский I могильник, курган 1, погребение 6; 6 — Шахаевский I могильник, курган 2, погребение 9; 7 — Новочеркасск, курган 1, погребение 2; 8 — Ростов-на-Дону, Круглый курган, погребение 3; 9 — Шахаевский I могильник, курган 2, погребение 12; 10 — Александровск, курган 1, погребение 6; 11 — Веселая Роща III, курган 21, погребение 13; 12 — курган у хут. Большой Мишкин, погребение 2.

1–2, 3, 5–6, 9 — Нижний Маныч; 4, 7–8, 12 — Правобережье Дона; 10 — Северский Донец; 11 — Ставрополье.

1–2, 3, 5–6, 9 — по Федоровой-Давыдовой; 4 — по Романовской; 7–8, 12 — по Братченко; 10 — по Смирнову; 11 — по Державину.

Смирнов, 1996). В ходе широкомасштабных работ новостроечных экспедиций был получен большой объем материалов, характеризующих памятники катакомбной культуры на весьма обширных территориях. Реповидная керамика была обнаружена в погребениях Северского Донца, Северо-Восточного Приазовья, Донского Правобережья, Маныча и Сала, Калмыкии, верховьев Кубани, Прикубанья, Ставропольских степей. Исследовательская база увеличилась более чем на порядок[3].

Основной признак реповидных сосудов состоит в том, что ширина у них превышает высоту. Выпуклые стенки, плоское дно, общая массивность, часто солидные размеры дополняют впечатление. Объем сосудов варьирует от 1 до 35 литров, преобладают 3–9-литровые. Необычная, непривычная форма для сосудов, входящих в состав погребального инвентаря. Необычная, странная форма для культуры, известной, в основном по погребальным памятникам, и вследствие этого считающейся принадлежащей народам, ведшим кочевой образ жизни.

При изучении этой керамики сразу бросается в глаза резкое отличие между группами I и II. Оно состоит не только в форме венчика. Совершенно по разному выглядит поверхность сосудов. Горшки группы I имеют серый цвет, покрыты расчесами гребенчатого штампа снаружи и изнутри. Горшки группы II более гладкие, желтые, желтовато-серые, расчесы чаще всего заглажены снаружи и изнутри. Сосуды первой группы орнаментированы рядами пальцевых вдавлений (рис. 1: 4, 7, 10) и налепными валиками, с вдавлениями пальцев или палочки, изредка прочерченным (рис. 1: 4), или шнуровым орнаментом. Валики располагаются горизонтально, в верхней и средней части тулова (рис. 1: 4, 8, 12), изредка в виде горизонтального зигзага (рис. 1: 8, 12). Иногда на дне с внутренней стороны бывает такой же валик , расположенный в виде креста (рис. 1:4). Приблизительно половина сосудов второй группы не орнаментирована, почти столько же украшены налепными валиками с пальцевыми вдавлениями или насечками палочки (рис. 1: 2–3, 9, 11), иногда вдавления и насечки украшают край венчика (рис. 1: 1). Единичные экземпляры орнаментированы прочерченными линиями и оттисками штампа (рис. 1: 3, 5). В одном случае налепные валики были расположены хаотично в нижней части тулова и на дне снаружи (рис. 1: 3). На дне бывают оттиски грубоплетеной цыновки. Иногда на плечиках находится одна, изредка две петлевидные вертикально поставленные ручки с горизонтальным отверстием. При общей массивности сосудов маленькие ручки носят вотивный характер. Этот признак больше характерен для Калмыкии и Ставрополья.

Термин «реповидный» возник по отношению к сосудам группы I, но очень быстро был распространен и на сосуды группы II, находимые обычно в погребениях манычской катакомбной культуры. На Левобережье Дона реповидные сосуды обычно входят в состав унифицированных наборов глиняной посуды: реповидный сосуд — курильница, реповидный сосуд — высокогорлый сосуд — курильница, реповидный сосуд — жаровня и т.д. Изредка стенки реповидных сосудов используются в качестве жаровен. Производственные наборы металлических орудий: нож — шило, нож — тесло, нож — шило — тесло — долото, — почти всегда сопровождаются реповидными сосудами. Чаще всего реповидные сосуды сопровождают погребения, совершенные в катакомбных сооружениях типа I 3, II 3, II 5 (по классификации С. Н. Братченко).

Существует достаточно четкая локализация групп реповидной керамики. На Северском Донце и Правобережье Дона встречаются преимущественно бесшейные реповидные сосуды группы I. На левом берегу Дона, в нижней части междуречья Маныча и Сала при-

[3] приблизительно в 200 раз только на Нижнем Дону.

сутствуют реповидные сосуды группы II с коротким горлом и утолщенным, отогнутым наружу, т.н. «ободковым» венчиком, иногда профилированным под крышку. Мне неизвестно пока ни одного случая обнаружения горшков первой группы на Левобережье Дона, несколько сосудов второй группы были обнаружены на Правобережье и Северском Донце, причем по мере удаления от Дона к северу и северо-западу число находок уменьшается (рис. 2). Имеется впечатление движения реповидной керамики второй группы в вышеуказанном направлении. Так богатые комплексы металлических орудий, раскопанные в бассейне Северского Донца (Братченко, Санжаров, 2001) сопровождаются именно манычски-

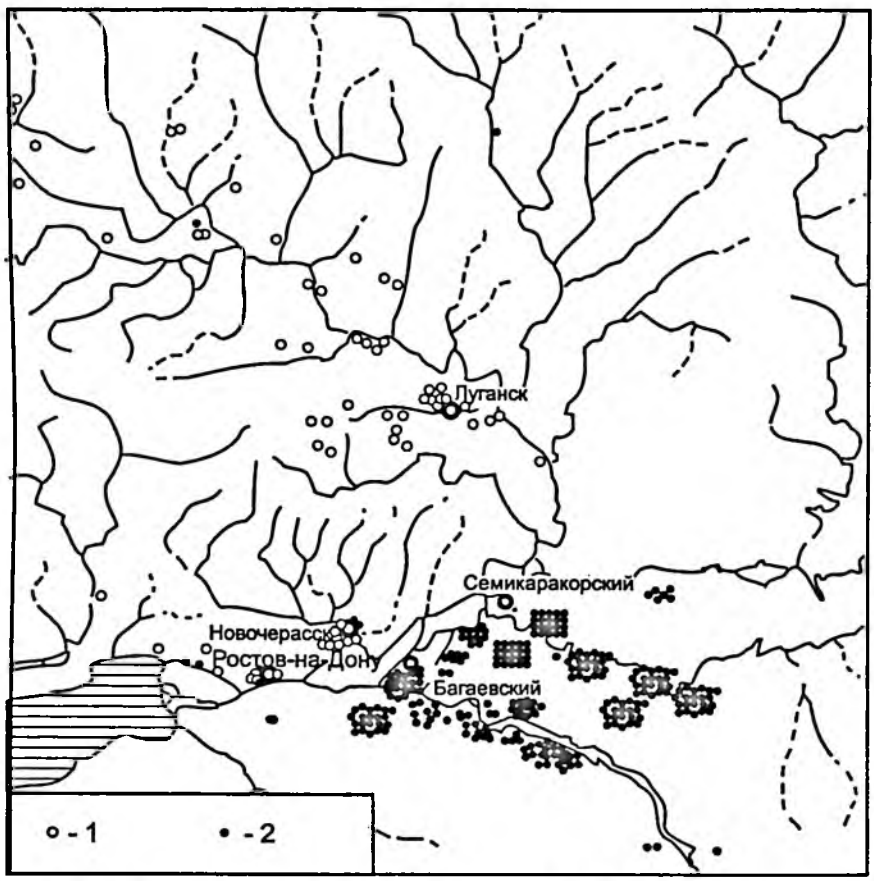


Рис. 2. Распространение реповидной керамики на Нижнем Дону и Северском Донце. Условные обозначения: 1 — сосуды группы I; 2 — сосуды группы II.

ми реповидными сосудами, с ободковым венчиком, гладкой поверхностью, налепными валиками с защипами в одном случае, и прочерченным орнаментом в другом.

Внутри каждой группы можно различить ранние и поздние типы сосудов. Ранние имеют более строгий облик, чистые линии. Поздние сосуды несут на себе следы влияния соседних культур, на Северском Донце появляется орнамент, характерный для среднедонской катакомбной культуры: шнуровые фестоны, обращенные вверх, и сосуды, слошь покрытые елочным орнаментом (Смирнов, 1996: рис. 34); на Левобережье Дона сосуды теряют четкость формы, становятся более широкодонными, появляется небрежность в лепке и об-

работке поверхности.

Количество реповидной керамики неодинаково по регионам. Наибольшая концентрация имеется в нижнем течении Маныча и Сала, на территории распространения западноманычской катакомбной культуры. К северу и западу количество реповидной керамики уменьшается. В степях Ставрополья показатель встречаемости довольно высок. На территории Калмыкии встречаемость реповидных форм неодинакова. В могильниках Восточного Маныча она ничтожно мала, а в центральных районах Калмыкии — гораздо выше (табл. 1, рис. 2).

Таблица 1. Встречаемость реповидной керамики в различных регионах катакомбной культурно-исторической общности

№ п/п	Наименование могильника	Число катакомбных погребений	Число погребений с реповидными сосудами	Показатель встречаемости реповидной керамики[4]	Общий показатель для региона
1	Сагванский I	89	19	0,21	0,50
2	Шахаевские I, II (Федорова-Давыдова 1974, 1983, 1986)	44	14	0,31	
3	Ажиновские (Мошкова, Федорова-Давыдова 1971; Рябова 1983)	20	11	0,55	
4	Алитуб	19	16	0,84	
5	Крепенские I, II	44	23	0,52	
6	Солонка	6	3	0,5	
7	Северные I, II	21	12	0,57	
8	Южный	15	7	0,46	
9	Каракашево	7	4	0,57	
10	Ростов, Западный, 1965			0,16	0,15
11	Кудинов	6	2	0,3	
12	Новочеркасская ГРЭС	14	2	0,14	
13	Шибельная гр. 1963–64 гг.	16	2	0,13	
14	Б. Мишкин	6	1	0,16	
15	Ростов, Красный металлист (Ларенок, 2000)	36	1	0,027	
16	Сторожевой (Романовская, 1986)	6	1	0,16	
17	Сев-Вост. Приазовье[5]	30	2	0,06	0,06
18	Лолинский I, II (Синицын, Эрдниев, 1963, 1966)	40	7	0,17	0,18
19	Архаринский II (Синицын, Эрдниев, 1963, 1966)	20	4	0,2	
20	Элистинский (Синицын, Эрдниев, 1971)	36	6	0,16	
21	Чограй 1965–1967 (Синицын, 1974	854	4	0,005	0,005
22	Степное Ставрополье (Державин, 1991)	188	24	0,13	0,13
23	Северский Донец (Смирнов, 1996)	428	45	0,11	0,11

[4] Отношение числа катакомбных погребений с реповидной керамикой к общему числу погребений.

[5] Под этим наименованием объединены данные о могильниках Покровский, Пятихатки и др, опубликованные в каталоге «Курганы Северо-Восточного Приазовья»

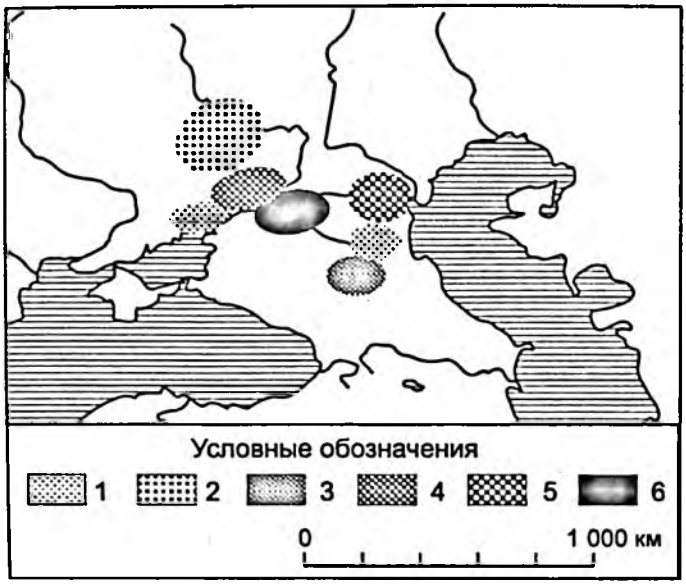


Рис. 3. Встречаемость реповидной керамики в различных регионах катакомбной культурно-исторической общности. Условные обозначения: 1–6 - показатели встречаемости (1 — 0,05–0,06; 2 — 0,11; 3 — 0,13; 4 — 0,15; 5 — 0,18; 6 — 0,50) (см. таблицу 1)

М.И. Артамонов обратил внимание на сходство манычских реповидных сосудов с керамикой дольменов Новосвободной и считал, что первые имеют южное происхождение. Аналогий реповидным формам керамики имеется довольно много, правда, все они располагаются довольно далеко от территорий распространения катакомбной культуры.

Первые реповидные формы появляются в Египте в додинастическое время. Сначала эти формы придавали сосудам из различных пород камня. Керамические подражания каменным сосудам существовали почти в то же время и на тех же памятниках (Ayrtun 1911; Flinders Petrie 1901; Brunton 1937). Причем каменные сосуды имели меньшие размеры по сравнению с глиняными. Считается, что орнамент на глиняных сосудах появился как подражание пятнам и прожилкам каменных (Бороздина-Кузьмина 1926). Превышение ширины над высотой, плоский ободковый венчик, на плечиках — маленькие вертикальные ручки с горизонтальными отверстиями (вполне пригодные для подвешивания), каменные изделия иногда снабжались профилированными крышками с выступом, входившим в горло сосуда. Реповидные формы были распространены по всей территории Египта с IV тыс. до н.э. до 1900 г. до н.э. Они встречались на поселениях и в могильниках в таких количествах, что многие музеи мира, в том числе Государственный Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина имели возможность приобрести их для своих коллекций. Чуть позже подобные формы появляются в Уре (Wooley 1955), Уруке (Heinrich 1936), в Библе (Montet 1928–1929), на Крите (Evans 1921, 1928), в Алалахе (Анатолия), в памятниках Нубии, Судана, Ирана, Ирака, Триалети, даже Испании. Часть сосудов реповидных форм являлись египетскими импортами, часть изготовлялись на месте. Некоторые исследователи называют их подражанием каменным египетским сосудам (Yeivin 1960:194). Близкие к реповидным формы встречены в Новосвободной и Балановo.

Таким образом, реповидные сосуды катакомбной культурной общности являются частью обширного культурного явления, широко распространеного в археологических памятниках Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.

Складывается впечатление, что нельзя относить всю реповидную керамику к манычской катакомбной культуре. Каждая из выделенных в свое время групп складывалась на

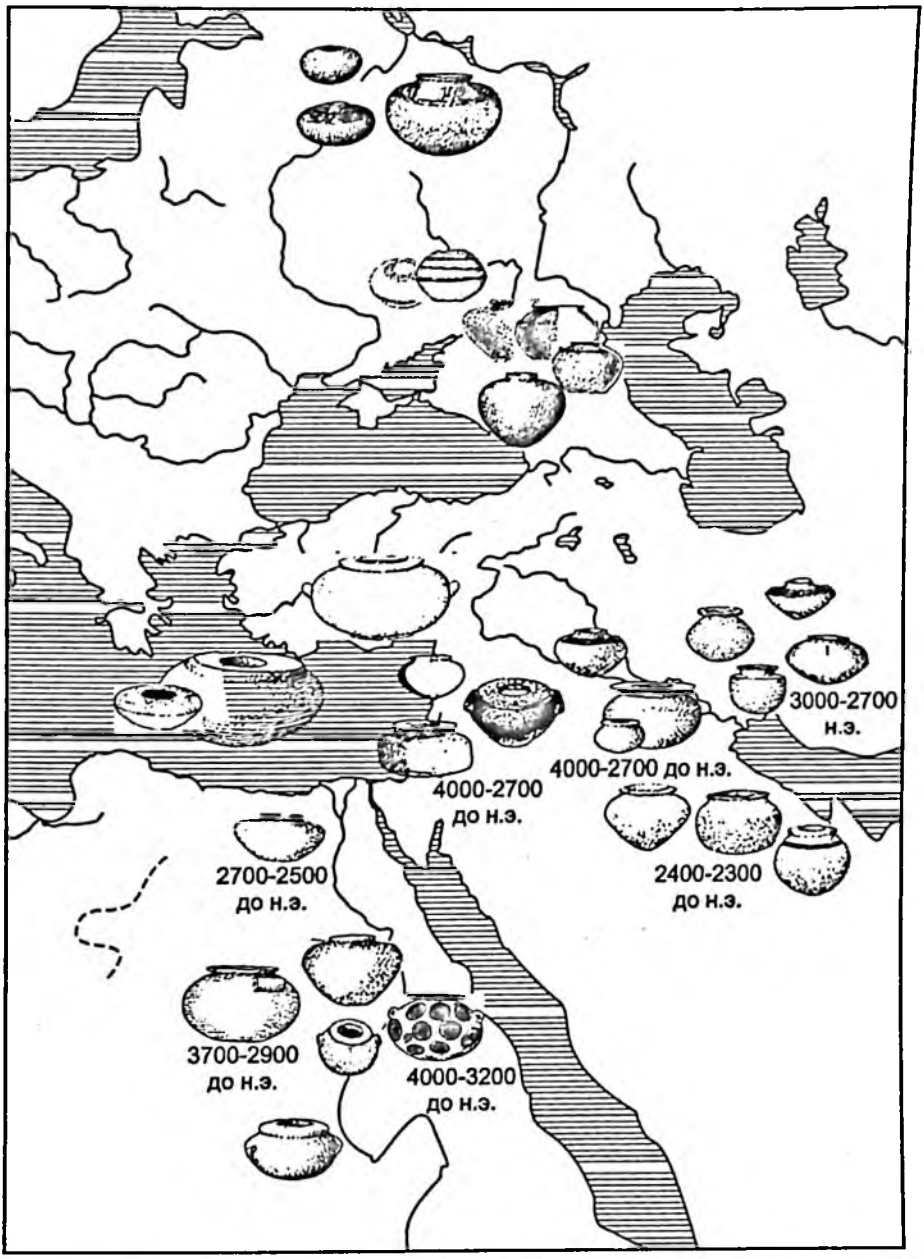


Рис. 4. Реповидные формы каменных и глиняных сосудов на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе.

своей территории, в своей культуре, и единичные находки сосудов чуждых типов можно объяснить влияниями и межкультурными контактами. Поэтому богатые комплексы металлических орудий северокавказского облика, раскопанные в бассейне Северского Донца (Братченко, Санжаров, 2001) сопровождаются именно манычскими реповидными сосудами. К манычскому типу можно относить реповидные сосуды только второй группы. Этот тип керамики распространен на довольно широкой территории, включающей Донское Левобережье, Калмыкию, Ставрополье и Краснодарский край. При этом калмыцкие и ставропольские сосуды имеют свои особенности, отличающие их от реповидной керамики западнома-

нычской культуры. Возможно, реповидные сосуды первой группы больше связаны с культурой многоваликовой керамики, во всяком случае есть экземпляры, орнамент которых ближе именно к многоваликовому.

Более пристальное изучение реповидной керамики западноманычской катакомбной культуры позволит выделить внутри этой группы типы, которые, возможно, позволят уточнить относительную хронологию и отдельные черты погребального обряда.

Литература

Арапов С.В. 1992. Культура Северо-Западного Прикаспия в эпоху средней бронзы. Автореф. Дисс. ... канд. ист. наук. Москва.

Артамонов М.И. 1949. Раскопки курганов на р. Маныч в 1937 г. // СА. №11.

Бороздина-Кузьмина Т.Н. 1926. Глиняные сосуды и чаши архаического Египта бывшего собрания В.С. Голенищева // Памятники Государственного Музея Изящных Искусств. Вып. V. Москва.

Братченко С.Н. 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев.

Братченко С.Н., Санжаров С. М. 2001. Рідкісні бронзові знаряддя з катакомб Сіверськодонеччини та Донщини III тис. до н.э. Луганськ.

Городцов В.А. 1905. Результаты археологических исследований в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии 1903 года // Труды XIII АС. Т.1. Москва.

Державин В.Л. 1991. Степное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. Москва.

Иерусалимская А.А. 1958. О предкавказском варианте катакомбной культуры // СА. №2.

Курганы Северо-Восточного Приазовья. 1998. Каталог. // Материалы и исследования Таганрогской археологической экспедиции. Вып. III. Ростов-на-Дону.

Ларенок П.А. 2000. Охранные раскопки кургана на территории базы производственного объединения «Красный металлист». Ростов на Дону.

Марина З.П., Фещенко Е.Л. 1989. Новые погребения манычского типа в Днепровском Левобережье // Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск.

Мошкова М.Г., Федорова-Давыдова Э.А. 1974. Работы Цимлянской экспедиции 1970 г. // Археологические памятники Нижнего Подонья. Т.1. М.

Романовская М. А. 1986. Сторожевой курган // Археологические открытия на новостройках. Вып. 1. Москва.

Рябова В.Я. 1983. Работы Ажиновского отряда в 1976 г. // Древности Дона. Москва.

Синицын И.В, Эрдниев У.Э. 1963. Археологические раскопки в Калмыцкой АССР в 1961 г. // Труды Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории. Вып. 1. Элиста.

Синицын И.В, Эрдниев У.Э. 1966. Новые археологические памятники на территории Кадмыцкой АССР (по раскопкам 1962–1963 гг.) // Труды Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории. Вып. 2. Элиста.

Синицын И.В, Эрдниев У.Э. 1971. Элистинский могильник (по раскопкам 1964 г.) // Труды Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории. Вып. 3. Элиста.

Синицын И.В. 1974. Древности Восточного Маныча. В 2-х томах. Саратов.

Смирнов А.М. 1996. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. Москва.

Федорова-Давыдова Э.А; Горбенко А.А. 1974. Раскопки Шахаевской курганной группы в 1971 г. // Археологические памятники Нижнего Подонья. Т. II. Москва.

Федорова-Давыдова Э.А. 1983. Раскопки курганной группы Шахаевская II на р. Маныч // Древности Дона. Москва.

Федорова-Давыдова Э.А. 1986. Раскопки курганной группы Шахаевская I в 1972 году // Археологические открытия на новостройках. Вып. 1. Москва.

Ayrtun E.R. 1911. Pre-dynastic Cemetery at el-Mahasna // Memoir of Egipt exploration fund 31.

Brunton G. 1937. Mostagedda and the Tasian culture. London.

Evans A. The Palace of Minos at Knossos. I. London.

Petrie, W.M. Flinders. 1901. Diospolis Parva, the Cemeterie of Abadieh and Hu. London.

Heinrich E. 1936. Kleinfunde aus den archaischen Tempelsschichten in Uruk // Auagrabungen des Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka. Bd 1.

Montet P. 1928–1929. Byblos et l'Egypte. Quatre campagnes de foilles a'Gebel. Texte. Atlas. Paris.

Wooley C.L. 1955. Excavation at Ur. London.

Yeivin S. 1960. Early contacts between Canaan and Egypt // Israel exploration jornal. Vol. 10. № 4.

М.Б. Щукин[1]

УМБОН ИЗ КУРГАНА «САДОВЫЙ» ПОД НОВОЧЕРКАССКОМ

M. Shchukin. A Shield-Boss from the Sadovyj Barrow near Novocherkassk

The paper represents a new publication of an iron shield-boss found in 1962 during the excavation of the Sadovyi barrow in the Lower Don area. The author, who was a participant of the excavation, describes the history of the discovery and discusses some possible analogies to the shield-boss that can be found in the Cenrtal European Germanic world. According to his conclusions certain German-Sarmatian contacts took place in the first half and the middle of the Ist century AD. This conclusion is substantiated by some historical and numismatic data.

— Как же дальше жить?
— Заниматься археологией.
Л. С. Клейн

Приведенный эпиграф нуждается в некоем объяснении. Лето 1962 года. Я был тогда студентом между вторым и третьим курсами, Л.С. Клейн — молодым преподавателем Кафедры Археологии Ленинградского Университета, куратором нашего курса. Мне было предложено принять участие в раскопках курганов в Низовьях Дона, проводимых большой новостроечной экспедицией Института Археологии Академии Наук СССР во главе с С.И. Капошиной, одним из отрядов которой, включавшей студентов-практикантов ЛГУ и должен был руководить Лев Самойлович.

Отряд ленинградских археологов появился в Новочеркасске как раз после известных, хотя ныне почти забытых событий — восстания рабочих Новочеркасского Металлургического Комбината, демонстрация которых, протестующих против введенных новых расценок их труда, первая в Советское время, была жестоко расстреляна и осуждена. Нам довелось уведеть и следы автоматных очередей на стенах зданий и отпечатки траков танков на центральных улицах Новочеркасска. Восстание было подавлено. Отсюда и вопрос одного из рабочих экспедиции, студента Театрального Института, эмоцианально переживавшего произошедшее, и ответ Льва Самойловича. Ныне все это выглядит неким анахронизмом, но так было.

Отряд Л.С. Клейна раскапывал несколько курганов приблизительно в километре к югу от Новочерскасска и от находящегося на его окраине знаменитого сарматского кургана «Хохлач», открытого еще 1864 г. Находки из него — золотые, усыпанные бирюзовыми вставками гривна. браслеты, диадема , римские бронзовые сосуды и прочее — хранятся в Эрмитаже, широко известны, использовались самыми различными исследователям, хотя монографически пока так и не изданы. Наиболее полная сводка дана И.П. Засецкой в каталоге выставки, проводившейся во Франции в 1995 г (Zassetskaia 1995:55-66) .

«Садовый» курган находился практичечески в пределах прямой видимости от «Хохлача» и был второй по заметности насыпей этой группы. До начала раскопок его высота была более 2 метров, а диаметр — около 48 м. Уже первая бульдозерная траншея, разрезавшая

[1] Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.

насыпь, показала, что мы будем иметь дело с разграбленным захоронением, грабительская «мина», ведущая к центральному погребению, читалась достаточно отчетливо. Была надежда, что нечто могло сохраниться на «тризне», ручка сарматского бронзового котла уже виднелась в срезе траншеи.

Лев Самойлович поручил мне самостоятельно разбираться со стратиграфией кургана, вести дневник, его копия у меня сохранилась, делать чертежи бровок, нивелировки и прочее. Сам же он занялся более интересующими его курганами эпохи бронзы, дававшими весьма интересные находки. Я же понемногу копал «Садовый» зачастую оставаясь один на один с бульдозером, который то и дело ломался, делая сам зачистки стенок и дна трех траншей, разреазвших курган, добросовестно выявляя контуры грабительской «мины» на каждом ее уровне, остатки недавно еще стоявшей на кургане ветряной мельницы, старожилы ее еще помнили, впускные погребения современной эпохи и прочее. Так длилось шалковалко в течение всего августа, пока 10 сентября не случилось неожиданное.

С утра в этот день мы с Львом Самойловичем обсуждали в очередной раз стратиграфию одной из бровок, бульдозером сносилась в это время северная пола кургана, где вряд ли можно было ожидать находок Да и отвлеклись то мы всего на несколько минут, но раздался призывающий нас крик, Оказалось, что нож бульдозера срезал дно большого серебряного сосуда-лутерия, который накрывал клад, сделавший «Садовый» знаменитым — серебряные чаши-фиалы с барельефными медальонами на дне, изображающими мифологические или бытовые сцены, сбор винограда в частности, золотые, усыпанные бирюзой малые и большие фалары конской упряжи в «сарматском зверином стиле». Выборки из комплекса «Садового» неоднократно публиковались в разных статьях и каталогах выставок, я не буду их перечислять, это заняло бы слишком много места и времени. Но уже тогда мне-студенту, самой интригующей находкой показались некие обломки железного предмета, обнаруженные при расчистке входа грабительской «мины» в могильную яму, действительно начисту разграбленную. Поначалу мы приняли эти обломки за остатки железного котелка, но придя



Л.С. Клейн на раскопках «Садового» кургана. 1962 г.

на базу и попытавшись их соединить, поняли, что имеем дело с железным умбоном щита. Такие умбоны весьма характерны и многочисленны в Центральной и Северной Европе, но абсолютно отсутствуют во всей зоне Евразийских степей. Кочевникам-всадникам, будь они катафрактариями-копейщиками, либо конными лучникам, щит такого рода лишь мешал бы, у них обе руки должны были быть свободными для владения пикой или луком. Каким же образом щит с умбоном, свойственный технике боя кельтских и германских воинов, а также варварских аукселяруев-наемников римской армии, оказался в могиле сарматского аристократа из «Садового» ?

Находка эта позволяет приоткрыть такие стороны жизни обитателей Придонских степей, которые невозможно было бы даже вообразить, не обрати мы внимание на эти проржавевшие куски железа.

Когда возник конфликт — кто будет публиковать находки, кому принадлежат авторские права — начальнику экспедиции С.И. Капошиной или начальнику отряда Л.С. Клейну, а конфликт был острым, я сразу сказал, что как бы там ни было, меня интересует лишь умбон — подобрать ему аналогии, определить хронологию и прочее. Вот лишь сейчас я имею возможность как-то реализовать свои тогдашние интуитивные пожелания.

В результате же конфликта оказалось, что оба исследователя по разным поводам, то и дело обращались к материалам «Садового» (Kaposhina 1963; Капошина 1963; 1965; 1967; 1967а; 1968; 1969; 1973; Клейн 1962а; 1962б; 1976; 1979), а полной публикации памятника так и не появилось Об умбоне же во всех этих работах речи не шло.

Только Б.А. Раев (Raev 1986: 39; Pl. 1), занимаясь импортными вещами в сарматских курганах Нижнего Подонья, посветил умбону из в «Садового» один абзац. Он указал на несколько находок умбонов щитов в Пантикапее, а в римской и боспорской армиях таковые действительно употреблялись, но все приводимые им иараллели и отличны морфолологически — более низкие, с более широким кантом — и относятся в основном к иной эпохе, к III-IV вв н.э.(Блаватский 1951; 1960; Сокольский 1955).

Умбон из «Садового» сфероконической формы, диаметр нижней части сфероконуса 10 см, высота — 74 см, ширина плоского канта, крепящего с помощью заклепок умбон к щиту — 3 см. Сохранность умбона составляет желать лучшего, но форма реконструируется достаточно легко. (Рис. 1:1).

Вторая находка германского умбона в богатом сарматском захоронении Подонья (Рис. 1:2) была сделана спустя почти 20 лет. Это погребение 28 кургана VII в Высочино (Беспалый 1985; Raev 1986: Pl. 64,1; 65,5; 66,1; 68,1). Но все равно их всего лишь два, что не идет ни в какое сравнение с обилием их в Центральной Европе.

Что касается хронологического определения умбонов из «Садового» и Высочино, то это не вызывает особых затруднений. В Центральной Европе аналогии весьма многочисленны, особенно на памятниках пшеворской и оксывской культур, известны их находки и в Германии, и в Скандинавии.

Сравнительно недавно достаточно подробный трехтомный каталог их был составлен Норбертом Цилингом (Zieling 1989). Существует целый ряд попыток типологического изучения умбонов (Zieling 1989:15–28), из которых наиболее общепринятыми долгое время были и остаются классификации Дитриха Бонзака для умбонов эпохи Латена (Bohnsack 1938) и Мартина Яна для римского времени (Jahn 1916). Практически почти все исследователи, писавшие или специально об оружии (Wołągiewiczowie 1963; Elantowska 1961; Redlich 1960; Weski 1982), или соответствующие разделы обобщающих работ (Leube 1976Ж 334–343; Godłowski 1981: 78–90; Raddatz 1985: 281–361), или в связи с публикацией памятников, пользовались классификацией названых авторов.

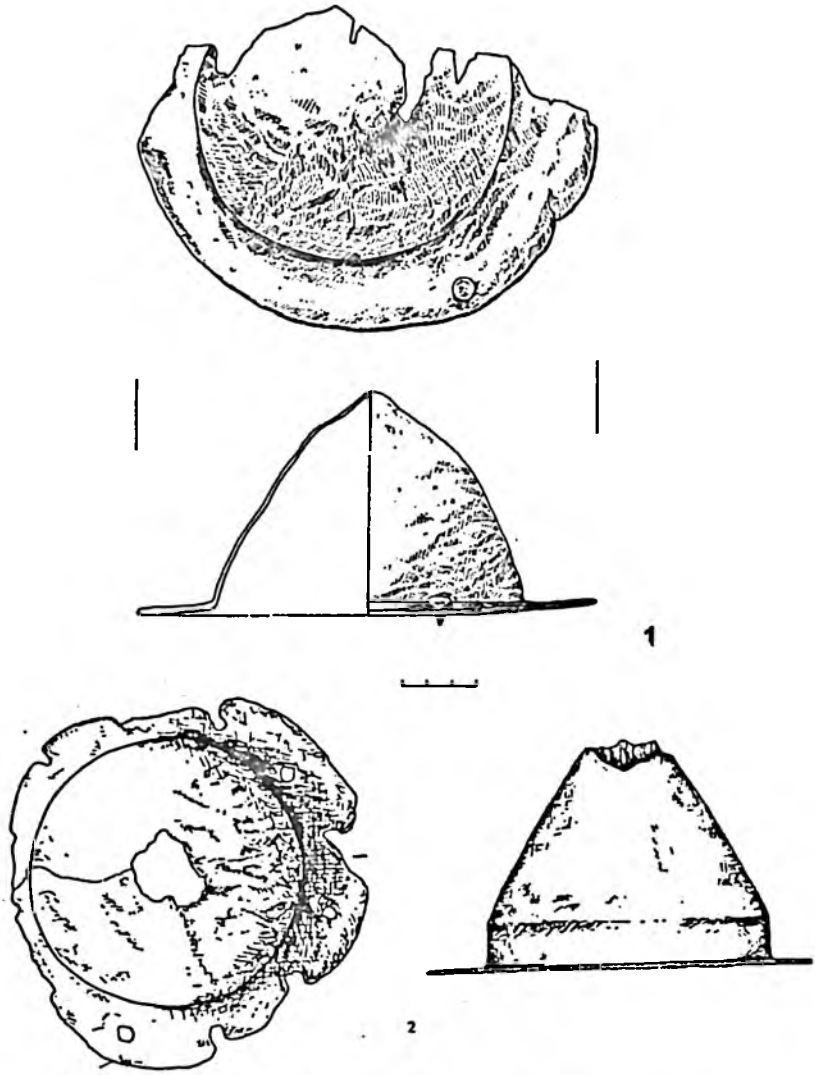


Рис. 1. Умбоны из кургана «Садовый» и Высочино

Умбон из «Садового» по своим пропорциям и форме ближе всего к типу 4с Мартина Яна, что соответствует типу 9 Дитриха Бонзака, а умбон из Высочино, с более выраженным ребром калотты (польские авторы называют такие умбоны «стожковатыми», напоминающими стог сена), относится к типу 5 римского времени по Мартину Яну.

Норберт Цилинг предлагает близкую, хотя и более детализированную классификацию, обозначив типы заглавными буквами латинского алфавита от А до К с соответствующим подразделением на «формы» и варианты внутри каждого типа. При работе с каталогом и типологией немецкого исследователя, у меня сложилось впечатление, что при всей фундаментальности труд не лишен недостатков: не очень определенны критерии различия типов, форм и вариантов, нет изучения соотношения их пропорций, все остается «на глазок», на интуицию. Иначе было и трудно, все умбоны из-за их количества заново не обмеришь, да и обмеры не были бы точны из-за покореженности значительной части их ржавчиной, фрагментированности и пр. Кроме того всякая классификация на мой взгляд — вещь в доста-

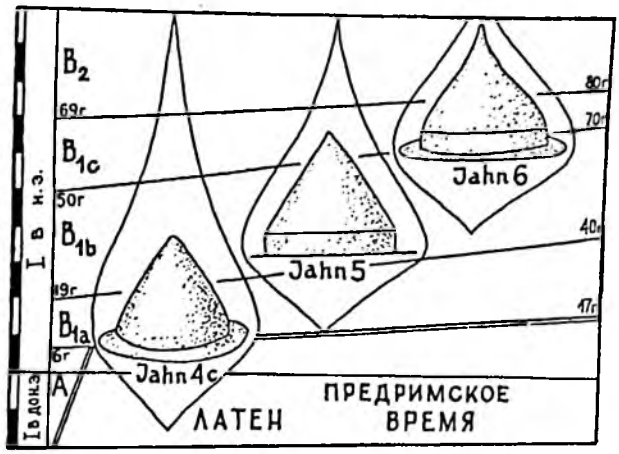


Рис. 2. Хронологическое положение умбонов по Мартину Яну.

точной мере условная, субъективная. Не будем сейчас вдаваться в теоретические проблемы типологии, о чем Л.С. Клейн написал достаточно много, не буду перечислять и приводить соответствующую литературу. Безусловная заслуга Цилинга состоит в том, что он дал наиболее полную сводку находок на 1989 год с указанием комплексов, в которых они были найдены, указанием места находок на картах, литературой, где они опубликованы. Это хорошая база для дальнейших типологических и хронологических изысканий, но не более того. Во всяком случае не стоит держать этот труд за «Библию» умбоноведения.

Типы 4с и 5 Мартина Яна соответствуют типу I-1 у Цилинга (Zeiling 1989: 27, Abb.1a), а их он Европе насчитывает 135 экземпляров от ступени D-2 позднего Латена до ступени B-2 римского времени, то есть приблизительно в пределах от 60-х годов I в до н.э. до 70-х годов II в н.э (Щукин 1994: 52–57, рис. 53). На мой взгляд, умбон из Высочино по пропорциям ближе к типу I-2 (Zieling 1989: Taf.12–13), но, поскольку у высочинского экземпляра утрачена верхушка, а именно она служит критерием различия этих типов (острая у I-1 и скругленная у I-2), то и с определением типа возникают некоторые затруднения. Придется, очевидно, рассматривать оба вместе.

Умбон же из «Садового», высокий, без выраженного ребра калотты, сопоставим с типом I-2a Цилинга (Zieling 1989: Taf.13,3) с формой сравнительно немногочисленной среди находок Центральной Европы. Цилинг называет 7 комплексов и все относятся непосредственно к рубежу нашей эры (Zieling 1989: 114–115). Два происходят с могильника Grossromstedt в Южной Германии (Eichhorn 1927: 288, Abb.97: 296), четыре — с памятников пшеворской и оксывской культур, в том числе с эпонимного могильника последней (Bohnsack 1938: Abb. 32, S.52; PZP 1981: Tabl. XX,4; Wołągiewiczowie 1963: Tabl. Ia, s.99; Wiklak 1965: 180, Ryc.3; 4a-1), а один попал во Францию, в Clamanges на Марне, где найден в сочетании с позднелатенской фибулой с ажурным приемником (Kelten in Gallien 1978: 61, Abb.108).

Тип I-2 встречен в 9 комплексах. Четыре на могильниках Schönberg и Harsfeld в Нижнем Поэльбье (Hoffman, Schmidt 1959: 327, Abb.21–23; Wegewitz 1937: Taf.9, Abb.42, S.91; Taf.15, Abb.42, S.37). Впрочем, умбон из погребения 65 в Harsfeld можно было бы отнести скорее к типу I-2a (Wegewitz 1940: Taf.332,2). Два умбона происходят с могильника Wederath на Рейне, где один найден вместе с бронзовым асом Августа (27 г до н.э. — 14 г н.э.) или Тиберия (14–37 гг) и с позднелатенской фибулой, а второй — с обломками керамики terra sigillata того же времени (Haffner 1974: Taf.184f; Haffner 1971: Taf.6, Abb.4).

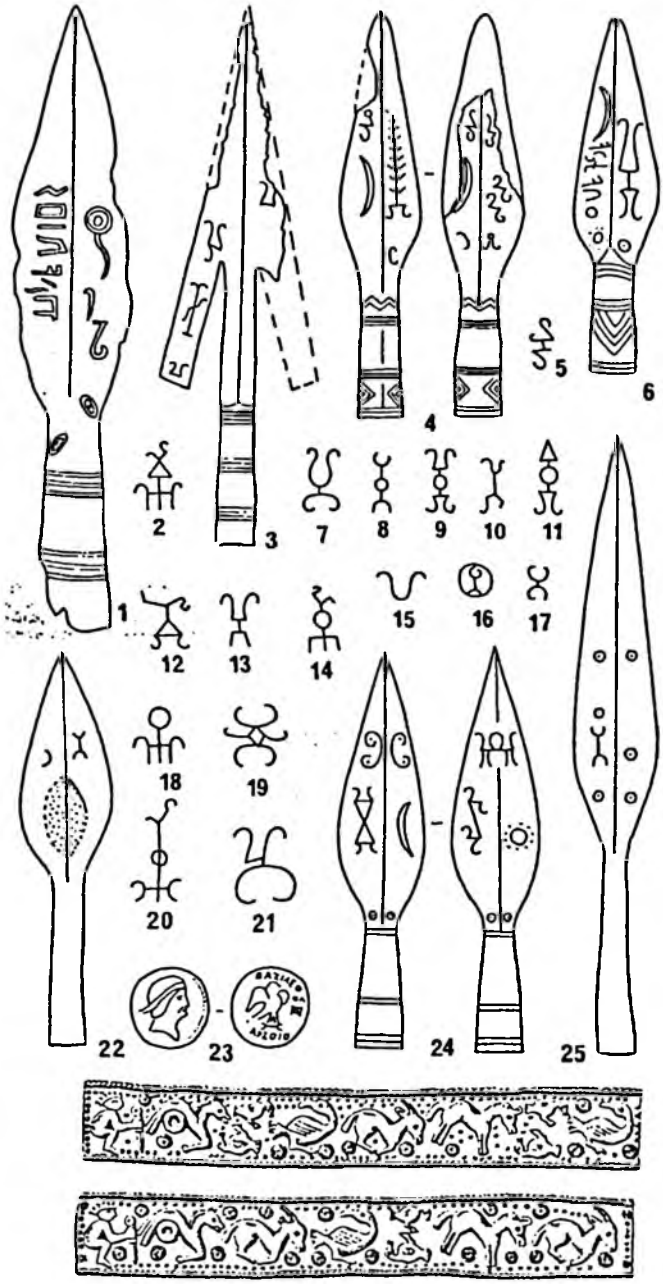


Рис. 3. Германские копья с тамгообразными знаками и руническими надписями: 1 — Сушично, 3 — Розвадув, 4 — Задовице, 6 — Мюнхенберг-Дамсдорф, 22 — Валле, 24 — Вжесна, 25 — Бодзаново.

Сарматские тамги, наиболее сходные со знаками на копьях: 2 — тамга Тиберия Евпатора (154–170 гг н.э.), 4 — Эланская в Прикубанье (на бронзовом котле), 7 — Задрость под Тернополем (на каменной стеле), 8 — на монете Инесмея, 9, 11, 17 — Рошава Драгана в Болгарии, 10, 21 — Неаполь Скифский, 12 — Ольвия (на каменном льве), 13 — Ал-Кая в Крыму. 15 — Скалистое в Крыму, 14, 18, 19, 20 — Пантикапей «энциклопедия», 16 — Грушка в Молдавии (на дне серебряной чаши или фалара из сарматского захоронения), 23 — монета царя Фарзоя. 26 — золотые обкладки кубка из Хемилигойе в Дании

Три умбона найдены на памятниках пшеворской культуры. Здесь наиболее показательны комплекс погребения 3 могильника Wesólki и погребение 1 в Domoradzice. В первом случае умбон сочетается с позднелатенской прогнутойте фибулой варианта М по классификации Костшевского и мечом в ажурных ножнах стиля opus interrasile — комплекс рубежа эр (Dąbrowscy 1967: 12–14, ryc.6f; Werner 1977: Abb.13). Во втором случае — с римским бронзовым ведром Eggers 7, с глазчатой фибулой, фибулой Альмгрен 68/69 и с трехчастной восмерковидной пряжкой (Jasnosz 1978: 50, ryc.14; PZP 1981: Tabl. 10,13). Набор характерный для ступени В-1 римского времени и это, очевидно, наипоздней ший датируемый комплекс с умбонами типа I-2.

Данута и Рышард Волонгевичи, изучая древнее оружие Польского Поморья, отметили, что умбоны типа 4с по Мартину Яну и типа 9 по Бонзаку не случайно попали в обе классификации, и эрохи Латена, и римского времени. Чаще всего они сочетаются с прогнутыми позднелатенскими фибулами вариантов М-О (Wołągiewiczowe 1963: 56). Тем самым они относятся к сложному периоду перехода от эпохи Латена к римскому времени, растянувшемуся почти на сто лет — от 60/50-х годов I в до н.э. по 50/70 гг н.э. (Щукин 1991). С середины I в н.э., после 50-х годов, в комплексах ступеней В-1с и В-2 они практически уже не встречаются за исключением, быть может, Chojna в Западном Поморье конца I в н.э. (Jahn 1916: 117; Wołągiewiczowe 1963: 65).

Умбоны типа 5 по Мартину Яну в основном распространены на ступени В-1b, двадцатых-семидесятых годов I в н.э., и лишь один экземпляр позже — Прусиново в Поморье, датируемое по совместно найденой шпоре рубежом I–II вв н.э. (Jahn 1921: 31; Müller 1957: 52, Taf.11e; Wołągiewiczowe 1963: 66).

Оба типа были объединены Норбертом Цилингом в единую группу конусовидных умбонов (тип I-1), которая оказалась одной из самых многочисленных в Европе, он насчитал 135 комплексов (Zieling 1989: 105–113).

Из них 6 определенно датируются еще эпохой позднего Латена, точнее где-то в интервале от 60–50-х годов I в до н.э. до первых десятилетий I в н.э. (Щукин 1991), сочетаясь с фибулами Альмгрен 44, начальным вариантом «глазчатых» фибул (Jamka 1964; Щукин 1994: Рис. 94), с фибулами Альмгрен 19 и с позднелатенскими вариантов М и N классификации Костшевского на могильниках Grossromstedt, Wahlitz, Sobocisko и Wymyslowo.

Ступенью В-1 датируется 14 комплексов по совместным находкам с сильнопрофилированными фибулами Альмгрен 28 и 77, а также с импортными римскими сосудами Eggers 8, 21, 24 и 133 и по другим вещам. Очень показательны совместные находки с фибулами серии Альмгрен 67–69, имеющими надежные даты по стратиграфии римского лагеря Кемптен (Kossak 1962). Фибулы Альмгрен 67/68 бытовали в 20–40-х годах, Альмгрен 68 — в 40–70-х, а Альмгрен 69 — в 50–80-х годах I в н.э. (Щукин 1991; Щукин 1994: 39). Они найдены вместе с умбонами на могильнике Bornitz в Германии, Lab и Kostolna в Словакии, Gledzianowe в Польше и в известном погребении 3 могильника Гринев в Верхнем Поднестровье (Kosak 1982).

В датировки Н.Цилинга можно было бы внести некоторые уточнения. Так дата погребений из Dobrichov (Zieling 1989: 664) с бронзовой ситулой Eggers 24 и из Pelszyska с ковшом Eggers 133 (Nosek 1947) может быть ограничена ступенью В-1а, датируемой с 6 по 20 гг н.э. или с 10 по 40 гг н.э., на что указывают корреляционные таблицы Рышарда Волонгевича (Wołągiewicz 1970: Diagr.A,3; Щукин 1994: рис.7; 8; 21, с.55; Щукин 1991), а погребения из Bornitz и Prositz — с сильнопрофилированными фибулами Альмгрен 77, которые скорее относятся уже к ступени В-1b (40–70 гг) и продолжают бытовать на ступени В-2 (70–170 гг), что опять же можно наблюдать на корреляционных таблицах Волонгевича,

демонстрирующих сочетаемость фибул с римской импортной посудой и выявляющих волны поступления их в Барбарикум (Wołągiewicz 1970: Diagr. A,27).

Продолжают бытовать умбоны типа I-1 и на ступени B-2. Норберт Цилинг насчитывает 11 датируемых таким образом комплексов (Zieling 1989: 111). Ступень B-2 обычно датируют 70–170 гг н.э., но все приведенные Н.Цилингом комплексы относятся скорее к самому началу этой ступени. Ко II в н.э. умбоны этой формы, очевидно, уже вышли из употребления.

Таким образом получается, что параллели умбону из «Садового» типа I-2a относятся преимущественно еще ко времени до рубежа н.э. (Zieling 1989: 114–115; Zieling 1989 I: Tabelle 1, S.1049) и он оказывается одним из самых ранних предметов комплекса кургана, а не самым поздним, как казалось ранее (Клейн 1962). Тогда он скорее всего попал в могилу представителя поколения, следующего за первым владельцем-сарматом, достался понаследству.

Нужно, правда, учесть, что на территории Польши римское время и соответствующие изменения в культуре наступают позже, чем в Подунавье и Порейнье. Латенские, предримские формы здесь могли существовать до 50-х годов I в н.э. (Dąbrowska 1976; Щукин 1991), но существенно это положение дел не меняет. Все равно это одна из наиболее ранних вещей комплекса из «Садового».

Параллели умбону из Высочино дают более широкий разброс дат от последних десятилетий I в до н.э. до конца I в н.э., но максимум распространения этих форм приходится на ступень B-1, преимущественно, очевидно, на 20–70-е года I в н.э.

Поразительная редкость находок щитов с умбоном в степях в какой-то мере объяснима. Ни сарматскому конному лучнику, ни всаднику-катафрактарию, сражавшемуся длинной пикой, державшейся двумя руками, как это, например, показано на известном рельефе Трифона из Танаиса (Ростовцев 1913: Табл.LXXXIV,3; Mielczarek 1993: Fig.20), щит с умбоном был не нужен, даже мешал бы. Обе руки всадника должны были бы оставаться свободными для лука или пики.

Щиты с умбонами — оружие в основном пехотинцев. Особенно широко они использовались кельтами, римлянами и германцами. Причем именно последние, предпочитавшие индивидуальную схватку, широко использовали либо конические заостренные умбоны интересующих нас типов, либо умбоны с шипом-тарчем. Выпуклый умбон прикрывал кисть руки, держащей щит за металическую или за сделанную из органических материалов рукоятку. В центре щита с внутренней стороны для этого имелось специальное отверстие.

Сравнительно небольшие размеры щита (около 50 на 60 см в диаметре) позволяли оперировать им и как наступательным оружием, не только парировать удары, но и наносить их острием умбона. Эту технику боя германцев-батавов, участвовавших в качестве аукселяриев римской армии в борьбе против британцев, описывает Корнелий Тацит: «И вот батавы стали обрушивать удары своих мечей на британцев, разить их выпуклостями щитов, колоть в ничем не прикрытые лица» (Tac. Agricola 36).

Встречаются изображения этой техники боя и в искусстве германских племен, правда, более позднего времени, например, на шлеме из Венделя в Швеции (Schlette 1972: 67).

Один из участников Славяно-Сарматской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Сергей Левинсон, биолог, коллекционер холодного оружия, фехтовальщик и любитель восточных единоборств, найдя себя ныне именно в этом виде спорта, став тренером, летом 1976 совершил поход по высокогорным селениям Хевсурии на Кавказе и встретился с людьми, которые еще могли продемонстрировать способы фехтования с маленьким щитом и палашом. Для современного фехтовальщика здесь все выглядело необычно: стойка прямо, лицом к противнику, на полусогнутых ногах, передвижения короткими прыжками, щит и меч, скрещенные перед грудью в полусогнутых руках. В это скрещение боец и пытается пой-

мать оружие противника, задержать его на секунду и ответить ударом мечом или щитом. Резкие удары то мечом, то щитом без замаха, иногда со стремительным поворотом на 360 градусов. Все это больше напоминало технику каратэ, чем современное фехтование.

Возможно так же сражались и древние германские воины, любители индивидуальной схватки и личного геройства. Основной же тактикой сарматского войска всегда была или конная лава лучников, или удар бронированного кулака рыцарей-катафрактариев, прорывающих вражеский строй и сеющих панику в рядах.

Каким же образом в могилы знатных сарматов из «Садового» и Высочино попало это чуждое им оружие? Так далеко от основного ареала его распространения.

При расчистке входа грабительской мины в могильную яму в «Садовом» были обнаружены небольшие кусочки какого-то материала, напоминающего тонкий слой лаковой краски, поблекшей красной и черной. Заметно было даже, что они образуют узор из красно-черных спиралей. Набрался неполный спичечный коробок таких пленок. Какой-либо закономерности в их расположении при расчистке выявить не удалось, все находки в этом месте слишком сильно перемешаны, но щит, вероятно, был красивым. Не знаю, сохранилась ли в Ростовском музее эта коробочка ?

Дело было однако не только в этом. Любопытны и условия находки щита в Высочино. Он был помещен не в саму могилу, а в тайник под ее полом, вместе с наиболее ценными серебряными сосудами. Значит щит тоже представлял собой определенную ценность. Был дорог как память? О чем?

Разрушенность погребения в «Садовом» не позволяет определить местоположение щита в могиле, но, если верно наше допущение о возможности некоторого запаздывания во времени, это могло бы свидетельствовать о том же — ценили и хранили.

Почему? Об этом можно только гадать. Это мог быть и трофей, взятый в бою у какого-нибудь знаменитого германского воина, мог быть и дар некоего соратника-побратима, с которым обменялись оружием во время совместного похода против общего врага, либо подарок какого-нибудь собутыльника-бастарна или другого германца, с которым вместе кутили в таверне где-нибудь в Ольвии, Тире, Аквинкуме или в Карнунтуме. Всего этого мы знать не можем.

О том же, когда и при какой политической обстановке того или иного рода сармато-германские контакты могли осуществляться, можно сказать несколько больше.

Сопоставление этнокарт Северного Причерноморья, описанного Страбоном, жившим до 24 г н.э.и делавшим вставки в свою «Географию» до 18 г н.э. и Плинием Старшим, погибшем при извержении Везувия в 79 г., достаточно наглядно демонстрирует, что в интервале где-то между 18 и 79 гг н.э. произошло определенное смещение сарматских племен в западном направлении (Scukin 1993; Щукин 1994: Рис.71, с.209–211)

Страбон между низовьями Дуная (Истра) и Днепром (Борисфеном) расселяет языгов, сарматов-царских и ургов, между Днепром и Доном (Танаисом) — роксоланов, между Доном, Волгой и восточным побережьем Каспия — аорсов, южнее на реке «Ахардее, изливающемся с Кавказских гор» (скорее всего Кубани) помещает племена сираков. (Strabo VII, III,17; XI, V, 7–8).

У Плиния (Plin. H.N. IV,16–83) все племена расположены западнее. Языги оказываются в Среднем Подунавье, «там, где зимние стоянки легионов в Карнунте», то есть или на территории современной Словакии, или на Большой Венгерской Низменности. «Выше Истра и примыкающего побережья Понта» расселены и аорсы-амаксобии, и роксоланы, и впервые достоверно упомянутые источником аланы (Plin. H.N. IV,80).

Переселились, очевидно, и сираки, на Кавказе они в источниках более не поминаются, а

указываются у Плиния на сравнительно небольшом участке «в районе Ахиллова Дрома» (Plin. H.N. IV,83), который большинство комментаторов склонно сопоставлять с Тендровской косой между устьем Днепра и Перекопским перешейком, в непосредственной близости от Ольвии.

И Страбон, и Плиний, представители разных поколений, достаточно хорошо знали, каждый для своего времени, ситуацию в Северном Причерноморье. Страбон, правда, лучше знал предшествующее ему время эпохи Митридата Евпатора рубежа II-I вв до н.э., когда Северное Причерноморье было фактически частью Понтийской державы. Дед Страбона был полководцем Евпатора, а с некоторыми документами той же эпохи географ мог познакомиться и через другого своего родственника бывшего главным жрецом храма в Коммагене. Храмы, как известно, были и архивохранилищами. Но делал очевидно писатель и поправки на свое время, непосредственно на рубеж эр. (Щукин 1994: 152–161).

Плиний же должен был хорошо знать ситуацию 50–70-х годов I в н.э., поскольку был знаком с наместниками Мезии Флавием Сабином и Плавтием Сильваном, а также беседовал с плененным боспорским царем Митридатом, проживавшим в Риме (Скржинская 1977). Все трое были активными участниками событий и людьми информированными по долгу службы.

Сдвиг сарматских племен на запад подтверждается и археологически. Если для рубежа нашей эры — начала I в н.э., нам известно сравнительно небольшое число сарматских памятников к западу от Днепра и они сосредоточены главным образом в Буджакской степи, например, погребение 4 в Холмском (Гудкова, Фокеев 1989: 8–10, рис.2; Гросу 1988), Турлаки (Гросу 1988: рис.36,7–9, табл.4), погребение 9 в Старых Дубосарах и др. (Щукин 1994: 197), а также на севере Молдавии в так называемой Бельцской степи и на Буковине — Скаены-Безены и Новые Костешты (Гросу 1982: 8, 10; Рикман 1966: рис.2), Бурякивка (Малеев, Піоро 1973), Островец (Смішко 1962), Киселов (Винокур, Вакуленко 1963) и некоторые другие (см.Щукин 1989а; 1989б; Shchukin 1989: 314–326; Щукин 1994: 196–197), то с середины I в н.э. число сарматских захоронений к западу от Днепра резко возрастает (Щукин 1989: 70–73, рис.1–2; Гросу 1990).

Некоторые из них достаточно хорошо датированы находками импортной бронзовой посуды — Старые Куконешты, Ульмень-Олтеница и др. (Гросу 1982: 11; Bechir 1977, fig.25,2; Щукин 1989; Щукин 1994: 210).

С середины I в н.э. сарматские захоронения появляются и в лесостепном Поднепровье, распротраняясь почти до широты Киева, на территории, занятой прежде носителями зарубинецкой культуры. На всех крупнейших могильниках последней в тот же момент прекращают совершать захоронения (Щукин 1972). В пожарах гибнут зарубинецкие городища в районе Канева, в слоях разрушений найдены железные наконечники сарматских стрел (Максимов 1982: табл.X, XIX,8; Щукин 1994: 196).

Южнее, в нижнем Поднепровье закладывается сарматский могильник Усть-Каменка (Костенко 1995; Махно 1960), гибнет самое северное из цепочки позднескифских городищ Нижнего Поднепровья, Знаменское, а на его валах совершены сарматские захоронения. Прочие городища скифов устояли, но на них поспешно возводятся дополнительные укрепления, а вся территория нижнеднепровских скифов оказывается окруженной кольцом сарматских памятников (Щукин 1970).

С середины I в н.э. достаточно надежно фиксируется и появление сарматских памятников на Большой Венгерской низменности между Дунаем и Тиссой. Попытки связать это явление с более ранними событиями оказались не очень состоятельными (Мочи 1954; Moczy 1974; Shchukin 1989: 315, 481; Щукин 1994: 223–224, рис.74).

Таким образом и археология фиксирует нам процесс широкого и мощного движения сарматских племен в западном напралении. Возможно истоки и первотолчки этого движе-

ния следует искать где-то далеко на востоке, поскольку и на Кавказе, и в Подонье, и в Поднепровье, и на Днестре появляются элементы культуры явно связанные с Востком. Это и сам обычай изображать родовые тамги на разных предметах, и некоторые погребальные обряды, и бирюзово-золотой стиль украшений (ярко представленный в массивных, усыпаных бирюзовыми вставками изделиях «Хохлача», «Садового», Дач, Кобякова и других курганов), нефритовые скобы ножен мечей, и другое. С.А.Яценко насчитал 39 таких элементов (Яценко 1993). Большинство их проявляется в богатых захоронениях аристократии, само появление которых тоже есть определенное нововведение эпохи. Назовем еще раз некоторые из них, расположенные к западу от Дона: Запорожский курган (Шилов 1983), Соколова Могила в низовьях Южного Буга (Ковпаненко 1986), Пороги и Мокра на Днестре (Симоненко, Лобай 1991; Щербакова, Кашуба 1993), Ногайчинский курган в степном Крыму (Симоненко 1993: 70–74, рис.1–27; Ščepinskij 1994), Рошава Дрогана в Болгарии (Буюклиев 1986; Werner 1994).

Явно восточное происхождение имеют и находимые в этих аристократических комплесах роскошные вещи «бирюзово-золотого звериного стиля», на сходство которых с предметами из Сибирской коллекции Петра I, с находками из Тилля- Тепе в Афганистане и с другими памятниками уже неоднократно обращалось внимание, в том числе и Л.С. Клейном (Ростовцев 1929; Клейн 1976; Щукин 1989; Treister, Yatsenko 1998; Яценко 2000; Simonenko 2001 и др.)

Выход на историческую арену алан тоже вероятно связан с этим же процессом. Возможно истоки следует искать или в событиях, имевших место в Средней Азии при возникновении простиравшегося от Арала до Индии Кушанского царства, что случилось по данным китайских хроник (Бичурин 1953, т.II: 227–228) «через сто с небольшим лет» после разрушения около 135 г до н.э. Греко-Бактрийского царства юэджами, саками и другими кочевниками, выходцами с севера (Щукин 1994: 208), или в происшествиях в еще более отдаленных северо-восточных районх Центральной Азии. А именно в конфликте между Кангюем и зависимой от него Аланью в 25–50-х годах I в н.э. (Яценко 1993б: 83; Яценко 1993в: 98). Не исключено, что те и другие события тоже как-то взаимосвязаны.

Я не буду сейчас вдаваться в детальный разбор дискуссии о проблеме происхождения алан и времени их появления в Причерноморье, свою позицию в этом вопросе я уже высказывал. (Щукин 1994: 204–212) Появились и новые работы на этот счет (Туаллагов 1997; Габуев 1999). Поскольку аланы неожиданно фиксируются то на Дунае (Сенека, Плиний), то на Кавказе (Флакк, Лукан, Иосиф Флавий), можно думать, что первоначально речь идет о каких-то сравнительно неболших подвижных группах, возможно о вышедших с востока представителях несколких знатных аристократических родов с их дружинами, объединенных и династическими браками, и договорами их составлявших, не исключено, некий союз типа «рыцарского ордена». Они-то, возможно, и носили имя «алан» ,пользовались большим влиянием и авторитетом и имели к тому же широкие династические и прочие связи как в среде Причерноморских сарматов, так и на исходных территориях Срединной Азии.

Было бы наивным видеть в каждом погребенном с вещами бирюзово-золотого стиля или с предметами восточного происхождения именно алана. Скорее, в силу престижности и славы аланов, привнесенные ими с Востока элементы культуры стали своеобразной «парижской» модой в интернациональной аристократической среде всех сарматов. Имя алан стало постепенно переходить и на другие руппировки кочевников, вытесняя прежние наименования. Ситуация сходная с распространением позднее терминов «русы», «Русь» или «тюрки» и «хазары». Примеров из истории можно привести достаточно много. Думается,

что процессы были несколько более сложными, чем это представляется, например, С.А.Яценко (Яценко 1993а; 1993б; 1993в).

Когда же и при каких обстоятельствах германцы и сарматы могли иметь взаимные контакты, приведшие к захоронению германских щитов в могилах сарматов ? Таких возможностей в интервале от 16 г до н.э. когда источники фиксируют первое нападение сарматов на римскую провинцию Мезия (Dio Cass. LX, 30, 3.) и до конца I в н.э. было несколько. Наиболее же подходящая ситуация сложилась, как кажется, в результате событий 49–79 гг.

Тогда, в 49 г. н.э. возник, спровоцированный римлянами, конфликт между сарматскими племенами сираков и аорсов в Прикубанье, красочно описанный Корнелием Тацитом. (Tac. Ann. XII, 15–19; Щукин 1994, с. 204–212). Возможно отмеченный выше сопоставлением этнокарт Страбона и Плиния, а так же археологически, сдвиг сарматских племен на запад, в какой- то мере был результатом именно этого конфликта. Разбитые аорсами и римлянами сираки или некая их часть покинули Прикубанье и они зафисированы Плинием уже в районе Тендровской косы, а аорсы и роксоланы расширили свои владения на запад вплоть до Молдовы. Впрочем, процесс массового сарматского проникновения на запад мог быть и более растянутым во времени, в нем могли принять и выходцы из далекой Азии. Как протекали на самом деле события мы достоверно не знаем.

Но мы знаем, что в том же 49 г или чуть позже в Ольвии начал чеканить медные и золотые монеты некий базилевс и протос архонт с иранским именем Фарзой (Щукин 1994, с. 212–218. Там дальнейшая литература). Не без оснований считается, что он был вождем одного из сарматских племен, возникло «царство Фарзоя». О присутствии в городе каких-то сарматов свидетельствуют и хранящиеся в Эрмитаже две мраморных скульптуры львов, буквально испещренные сарматскими тамгами (Драчук 1975).

Судя по распространению монет и концентрации находок вещей с тамгами Фарзоя и его преемника Иненсмея «царство» размещалось между Днепром и Прутом, а на севере приблизительно до линии Бердичев-Тернополь. Некоторые косвенные данные позволяют предполагать, что это варварско-ольвийское политическое образование играло заметную роль в регионе и во внешней политике Рима (Щукин 1982).

Ровно через год, в 50-м году, происходит и другое знаменательное событие тоже достаточно подробно описанное Тацитом (Tac. Ann.XII, 29–30) — сарматы-языги появляются в Центральной Европе, в Среднем Подунавье, где их и фиксирует Плиний — «там, где зимние стоянки легионов в Карнунте» (Plin. H.N. IV.80).

Появлению языгов предшествовала некоторая предыстория, события которой, пожалуй, следует вкратце напомнить читателю. Еще где-то между 9–6 гг до н.э Маробод,. вождь германского племени маркоманнов, обитавшего тогда в бассейне Майна, увел своих людей подальше от римских границ на пустовавшие в тот момент по ряду обстоятельств земли кельтов-бойев, в современную Богемию-Чехию. Обосновавшись там он организовал обширный союз племен, объединивший многочисленные племена вплоть до побережья Балтики, представлявшим весьма существенную угрозу Риму.

В 5 г. н.э. рнимляне попытались покончить с этой угрозой, на ее ликквидацию было брошено 14 легионов, почти вся армия. Наступали двумя корпусами — с запада по долине Майна и с юга, из Паннонии, беря в клещи сердцевину «державы Маробода», Бойехайм-Чехию. Н,о когда до встречи двух корпусов римских войск оставалось всего лишь пять дней пути, в тылу южного, руководимого Тиберием, будущим принцепсом, пасынком Октавина Августа, вспыхнуло знаменитое Паннонско-Далматинское восстание местного населения. Теперь угроза исходила отсюда и римляне поспешно заключили в 6 г н.э. с Марободом некий мирный договор, вероятно на весьма выгодных для последнего условиях.

С той поры он оказывается постоянным союзником римлян и в 9 г. н.э., и, когда херуски, жители в основном среднего и нижнего течения Рейна, во главе с их вождем Арминием, подняли антиримское восстание и вырезали в Тевтобургском лесу три легиона римской армии, Маробод от участия в подобных действиях отказался, что естественно должно было воспринято как предательство общегерманских интересов. С Арминием дошло до открытого военного столкновения в 18 г., а через год, вероятно не без наущения римлян, на Маробода напал молодой вождь племени готонов Катуальда. Готоны находились тогда где-то на севере Германии или в Западном Польском Поморье, в низовьях Одера, точно нам не известно.

Маробод был вынужден бежать к римлянам, а вскоре и сам Катуальда был разбит гермундурами и тоже бежал к своим покровителям римлянам. Оба германских вождя были поселены на территории Империи, один в Равенне, а второй в Форум Юлия в Галлии, они еще долго прожили в качестве почетных пленников. Пришедшие же с ними дружины, дабы не смущать спокойствие в провинциях, были переданы вождю племени квадов Ваннию, обитавших за Дунаем, в районе современной Братиславы. Было создано своего рода «буферное государство». которое находилось на известном и древнем торговом «янтарном пути» ведшим от Адриатики в Прибалтику. Тридцать лет Ванний наживался пошлинами, что вызывало недовольство его северных соседей.

В 50 году гермундуры и многочисленные племена лугиев, судя по всему обитателей нынешней средней и южной Польши, представленных археологически носителями так называемой пшеворской культуры, напали на Ванния. Тот же в ответ призвал на помощь конников язигов-сарматов (Tac. Ann. XII, 29–30). Последние в это время представлены вероятно теми сравнительно немногочисленными сарматскими памятниками, которые мы обнаруживаем для рубежа эр в Буджакской степи между низовьями Днестра и Дуная и в Бельцкой степи между Днестром и Прутом на севере Молдовы и в западной Украине — Холмское, Скаены- Безены, Бурякивка, Киселов, Островец и прочие. Почему-то этот регион был во все времена притягательным для кочевников, вспомним хотя бы татар-липков, живших в XIV–XVII вв. около Каменца-Подольского.

Языги, вероятно, были теснимы новой волной сдвига сарматских племен на запад, о которой шла речь выше, и не без удовольствия откликнулись на призыв Ванния. Именно с той поры сарматские памятники появляются в Альфёльде, на Большой Венгерской Низменности между Дунаем и Тиссой. Сармато-германский контакт в ходе этих событий явно состоялся.

В то же время, или чуть раньше,. археологически отмечается продвижение носителей пшеворской культуры в юго-восточном направлении — в верхнее и среднее Поднестровье, где отлагаются памятники специфической синкретичной группы Звенигород-Гринев со смешением пшеворских (германских), сарматских и фракийских элементов. (Свешников 1957; Kropotkin 1977; Козак 1983; 1984; Kozak 1982; Shchukin 1989: 276–286; Щукин 1994: 227–232). Их вполне можно сопоставить с неоднократно отмеченными источниками в этом регионе германцами-бастарнами. Особенно показателен, например, комплекс погребения 8 могильника Гоева гора в Звенигороде (Кропоткин 1974). Захоронение совершено по пшеворскому ритуалу (трупосожжение с согнутым оружием), в пшеворском сосуде-урне, но в качестве крышки использованы фрагменты дакийских сосудов, а наряду с пшеворскими шпорами в могилу помещен согнутый сарматский меч с кольцевым навершием. Имеются на этом могильнике и несколько трупоположений женщин с сарматскими зеркалами (Свешников 1957; Shchukin 1989: fig.11,21–27; Щукин 1994: рис. 70).

Любопытное сочетание дакийских, кельтских и сарматских элементов можно видеть и на ажурной обкладке ножен меча из Гринева (Kozak 1982). С сарматским искусством пере-

кликается, например, фигура грифона, напоминающая изображения на некоторых изделиях бирюзово-золотого стиля инесколько более поздние квадратные ажурные бляхи из Южной Осетии (Техов 1959). Умбон из этого погребения Норберт Цилинг отнес к типу I-1, а умбон из погребения 3 в Звенигороде, не без некоторых сомнений, к типу H-1 (Zieling 1989: 979–987), последний однако скорее сопоставим с типом I-1.

Все сказанное может служит иллюстрацией к свидетельству Тацита: «Из-за смешанных браков облик бастарнов становится все безобразнее и они приобретают черты сарматов» (Tac. Germ. 46).

Звенигородская группа по фибулам Альмгрен 68 и другим вещам с достаточной определенностью датируется 40–70 годами н.э. (Shchukin 1989, Part ii, fig.11, p.284–285; Щукин 1994, рис.79, с.230). Таким образом, одним из наиболее реальных мест возможных контактов сарматов с германцами-бастарнами в середине I в н.э. были районы Верхнего Поднестровья, Буковины и Северной Молдавии. Кстати, один из умбонов Звенигорода (Свешников 1957, рис.21,6) и умбон из Гринева (Kozak 1982, Abb.1–4), близки находке из Высочино.

Впрочем, контакты были и более глубокими, и более далекими. Больший интерес для нашей темы представляют две находки наконечников копий. Один найден в Бодзаново на территории Польши (Zielonka 1958; Ščukin 1993: fig.3: 25; Щукин 1994, рис. 78: 5), другой совсем далеко — в Валле в Норвегии (Kaczanowski 1988: Ryc. 3: 1; Herteig 1995). На обоих серебром инкрустированы тамги Фарзоя (Ščukin 1993: fig. 3: 22, 25; Щукин 1994, рис.78). Копья не сарматские, германские. Очевидно этот выдающийся сарматский политический деятель и воин пользовался большим авторитетом и славой не только среди соплеменников и ближайших соседей, но и среди германских воинов. Ведь тамга была знаком не только принадлежности к роду и знаком собственности. Знак был магическим, в нем очевидно концентрировалась вся сила и удачливость владельца, его «фарн». Изображая этот знак германские воины, по их понятиям, воспринимали вероятно и часть качеств героя — владельца знака.

Оба комплекса, и Бодзаново , и Валле, относятся к ступени B-2 европейской хронологической системы, то есть совершены захоронения где-то в интервале 70–170-х годов н.э., а в начале этого периода Фарзой был еще безусловно жив.

Как и при каких обстоятельствах контактировали эти германские воины с сарматами, в том числе, вероятно, и выходец из далекой Норвегии, мы не знаем, но сам факт какого-то контакта фиксируется, кажется, достаточно надежно (Shchukin 1994).

С этого же периода и до ступени C-1a, то есть до начала III в, вообще широко распространяются в германской среде инкрустированные серебром наконечники копий, Петр Качановский насчитал 59 пунктов от Норвегии до Волыни, где на наконечниках сочетаются и рунические надписи, и тамгообразные знаки (Kaczanowski 1988). При всем внешнем сходстве, за исключением упомянутой тамги Фарзоя, ни один не находит непосредственного совпадения с известными мне знаками из Северного Причерноморья, в деталях они различны. Возможно германцы восприняли от сарматов только саму идею тамгирования (Ščukin 1993: fig. 3).

К сожалению, С.А. Яценко (2001), создавший основательный каталог тамгообразных знаков от Монголии до Причерноморья, не рассматривал специально находки из Центральной и Северной Европы, а могли бы выявиться до чрезвычайности любопытные совпадения. Но это тема уже для другой работы.

Еще одним свидетельством сармато-германских контактов могут служить два серебряных кубка с золотыми пластинками-накладками из «княжеского» погребения в Хемлин-

гойе в Дании (Werner 1966; Lund Hansen 1995: fig.4: 6a-b, S.141–145), где на накладках изображены олени с подогнутыми ногами, вполне в стиле скифо-сарматского искусства, а между ними человеческие фигурки в странной полуприсядшей позе, воруженных кинжалами с кольцевидным навершием, характернымы именно для сарматов рубежа эр.

О сармато-германских контактах этого времени кроме упомянутых копий со знаками Фарзоя (а в Валле наконечник копья тоже пшеворского облика) могут свидетельствовать, по мнению А.Невенгловского, и некоторые трупоположения Нижней Силезии. В них найдены проволочные браслеты с завязанными концами, вещи для Центральной Европы ранее не характерные, но известные на сарматских памятниках Венгрии (Niewęglowski 1981: 55), а также появление в пшеворской культуре подвесок в виде миниатюрных ведерок, служивших, возможно, для помещения в них неких ароматических веществ и известных в I в до н.э, — I в н.э. в сарматской среде Северного Причерноморья, правда, по большей части в бронзовом исполнении, в отличие от железных пшеворских (Бажан, Каргопольцев 1989).

На территории же гермундуров о сармато-германских контактах может свидетельствовать находка зеркальца VI типа по А.М.Хазанову (1963: 63–64) в погребении 783 могильника Кляйнцербст вместе с происходящей из Норика пряжкой (Schmidt-Thielbeer 1967: Taf. 118, b-c). Наиболее же тесные контакты особого рода можно предполагать с готонами-готами, носителями вельбаркской культуры Польского Поморья и густовской группы Нижнего Одера и побережья Грайфельдерского залива между Одером и Ютландией (Shchukin 1989: 292–302; Щукин 1994: 190–201, 244–278).

В погребения этих культурных групп не было принято помещать оружие и о контактах в этой области мы ничего не знаем, но зато некоторые элементы новой культуры, формирующейся на севере Европы с начала нашей эры, явно имеют Южноевропейское, а скорее, Северопричерноморское происхождение. Это выражается, в частности, в появлении здесь браслетов с шишечками на концах, а затем, в специфической форме, браслетов со змеиноголовыми окончаниями, подвесок в виде крупной бусины в бронзовой или золотой оплетке и другого, а также в начавшемся широком использовании на Севере Европы техники зерни и филиграни. (Shchukin 1989: 244–278).

В этой связи особый интерес представляет не очень многочисленная, но чрезвычайно яркая группа находок, на которую обратил внимание в свое время Эрик Нюлен (Nylén 1968). Картина их распространиня действительно интригующа до чрезвычайности. Имеются ввиду 6 золотых торквесов с колбовидными окончаниями, украшенных зернью и филигранью тонкой работы. Один — болотная находка в Дронинглунде в Дании (Müller 1900), второй обнаружен при раскопках небольшого гордища Хавор на острове Готланд в составе клада римских бронзовых сосудов ступени B-2 (Nylén 1968), третий найден случайно при строительстве дороги в Трольхэттене в западной Швеции (Andersson 1995: 102), пара подобных гривен происходит из разрушенных крестьянами погребений на берегу Тясмина в Среднем Поднепровье у села Залевки (Бобринский 1887) вместе с мелкими золотыми предметами, сарматскими мечами с кольцевидным навершием, фрагментами сарматской керамики (Щукин 2000), еще одна выявлена в разрушенном захоронении в Ольвии (Ouvaroff 1855: Pl. XIV). Сходство всех их между собой столь велико, что можно подозревать, либо руку одного мастера, либо производство в одной мастерской. Рассмотрение хронологии приводит к заключению, что наиболее вероятное время создания этих вещей приходится на 20–70-е гг. I в. н.э. (Щукин 2000: рис.4).

Не менее любопытен и тот факт, что начиная со ступени B-1a, а главным образом на ступенях B-1b , B-2 и C-1a , то есть где-то в интервале 10 — 220 гг. в Скандинавии и Северной Европе широко распространяются украшения из драгоценных металлов, исполненные

в технике зерни и филиграни — грушевидные подвески, биконические бусы, S-видные скрепы ожерелий и прочее. Ни в предшествующее, ни в последующее время такого явления не наблюдается. (Andersson 1995; Müller 1956; Nylén 1968; Щукин 2000). Распространение немногочисленных таких изделий вдоль Эльбы вплоть до Чехии как бы маркирует движение готонов Катуальды, хотя, это, естественно, лишь косвенное археологическое отражение событий. А что маркируют находки гривен в стиле Хавур в Залевках и в Ольвии ? Наличие некоего кельтского вклада в них тоже достаточно очевиден.

Техника зерни и филиграни не была секретом ни для кельтов, ни для римлян, но наиболее активно она использоавлась греческими мастерами Восточного Средиземноморья, создавшими такие шедевры эллинистического ювелирного искусства, как серьги из Куль-Обы, Феодосии и прочие. Но это было еще в IV в до н.э. Тенденция эта не прерывалась очевидно и в последующее время (Musche 1988). Более того мы имеем вполне очевидные свидетельства, что греческие, боспорские или иные мастера, владевшие техникой зерни и филиграни, работали и по заказам варваров-сарматов Прикубанья, создавая весьма специфические вещи в виде фибул-баранчиков, зайчиков и прочие (Анфимов 1986: 171, 180).

Тогда встает вопрос — не попали ли некие группы таких мастеров в результате реконструированных выше событий в Скандинавию и северную Европу, работая здесь на новых заказчиков, производя в знакомой им технике грушевидные подвески, биконические бусы, гривны типа Хавур ? Другого объяснения наблюдаемого феномена я, признаться, не вижу. Вряд ли Скандинавы сами изобрели заново технику зерни и филиграни. Германо-сарматский контакт в I в н.э. очевидно имел место быть, а в этом контексте находки германских щитов в могилах сарматской знати становятся не столь уж удивительными. Возможны, впрочем, и иные версии.

Литература

Анфимов Н.В. 1987. Древнее золото Кубани. Краснодар. 1987.

Бажан И.А., Каргапольцев С.Ю. 1989. Об одной категории украшений-амулетов римского времени в Восточной Европе // СА. № 3.

Беспалый Е.И. 1985. Курган I в.н.э. у г.Азова // СА. № 4.

Бичурин Н.Я. (Иакинф). 1953. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Том II. М.-Л.

Блаватский В.Д. 1951. Харакс // МИА № 19.

Блаватский В.Д. 1960. Раскопки Пантикапея в 1954–1958 гг. // СА. № 2.

Бобринский А. 1887. Курганы и случайные находки близ местечка Смелы. Том I. СПб.

Буюклиев Х. 1986. Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старозогорски окръг // Разкопки и проучвания. Кн. XVI, София.

Винокур И.С., Вакуленко Л.В. 1967. Киселовский могильник I-II вв н.э. // КСИА. Вып. 112.

Габуев Т.А. 1999. Ранняя история алан. Владикавказ.

Гросу В.И. 1982. Периодизация памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья.// АИМ 1977–1979. Кишинев.

Гросу В.И. 1990. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев.

Гудкова А.В., Фокеев М.М. 1984. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная I-IV вв н.э. Киев.

Драчук В.С. 1975. Система знаков Северного Причерноморья. Киев.

Капошина С.И 1963. Курганы сарматской знати на Нижнем Дону // Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований Академии Наук. Москва.

Капошина С.И. 1965. Итоги работ Кобяковской экспедиции // КСИА. Вып. 103.

Капошина С.И. 1967. Связи сарматских племен Нижнего Подонья в I в до н.э. и в первые века нашей эры // Античное общество. Москва.

Капошина С.И. 1967а. Италийский импорт на Нижнем Дону // Записки Одесскогорхеологического общества. Том II (35).

Капошина С.И. 1968. Сарматы на Нижнем Дону // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Ленинград.

Капошина С.И. 1969. Кельтский котел из Садового кургана в Новочкркасске // КСИА, вып.116.

Капошина С. И. 1973. Научное значение находок из Садового кургана // Археологические раскопки на Дону. Ростов-на-Дону.

Клейн Л.С. 1962а. Садовый курган — новый выдающийся памятник сарматской культуры // Вестник ЛГУ. Серия языкознания, истории и литературы. Вып. 4.

Клейн Л.С. 1962б. Садовый курган -новый выдающийся памятник сарматской культуры // ВДИ № 2.

Клейн Л.С. 1971. Сарматский тарандр и вопрос о происхождении сарматов // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. Москва.

Клейн Л.С. 1979. О характере римского импорта в богатых курганах сарматского времени на Дону // Античный мир и археология. Саратов.

Ковпаненко Г.Т. 1986. Сарматское погребение I в н.э. на Южном Буге. Киев.

Козак Д.Н. 1983. Памятники рубежа и первых веков нашей эры в Поднестровье и Западном Побужье // Славяне на Днестре и Дунае. Киев.

Козак Д.Н. 1984. Пшеворська культура у Верхньому Подністров'і і Західному Побужжі. Київ.

Козак Д.Н. 1991. Етнокультурна історія Волини (I ст. до н.е. — IVст. н.е.). Київ.

Костенко В.И. 1993. Сарматы в Нижнем Поднепровье (по материалам Усть-Каменского могильника). Днепропетровск.

Кропоткин В.В. 1974. Пшеворское погребение I в н.э. из с. Звенигород (Львовская обл.) // КСИА. Вып. 40.

Максимов Е.В. 1982. Зарубинецкая культура на территории УССР. Киев.

Малеев Ю.М., Піоро І.С. Сарматське поховання в с. Бурякивка на Тернопільщини // Археологія. Вип. 12.

Махно Е.В. 1960. Розкопки пам'яток епохи бронзи та сарматського часу у с. Усть-Кам'янка // АП УРСР. Вип. 9.

Мочи А. 1954. К вопросу о периодизации раннесарматской эпохи // ААН. Т. 4. Fasc.1–4.

Мурзакевич Н.Н. 1847. Записки Одесского общества любителей истории и древностей. Том I. Одесса.

Раев Б.А., Яценко С.А. 1993. О времени первого появления аланов в юго-восточной Европе // Скифия и Боспор. Новочеркасск.

Рикман Э.А. 1966. Поздние сарматы Днестровско-Дунайского между речья // СЭ. N 1.

Ростовцев М.И. 1929. Срединная Азия, Россия, Китай и звериный стиль // Seminarum Kondakivianum. Прага. 1929.

Свешников И.К. 1957. Могильники липицкой культуры в Львовской обл. (раскопки у сел Звенигород и Болотное) // КСИИМК. Вып. 68.

Симоненко А.В. 1993. Сарматы Таврии. Киев.

Симоненко А.В., Лобай Б.И. 1991. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в н.э. Киев.

Скржинская М.В. 1977. Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего. Киев.

Смішко М.Ю. 1962. Сарматські поховання біля с. Острівець, Станиславської обл. // МДАПВ. Вип. 4.

Сокольский Н.И. 1955. О боспорских щитах // КСИА. Вып. 58.

Техов Б.В. 1959. Об ажурных поясных пряжках из Юго-Осетии // СА. № 4.

Туаллагов А.А. 1997. К вопросу о присхождении ранних алан // Stratum + ПАВ. Спб.-Кишинев.

Хазанов А.М. 1963. Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА. № 4.

Шилов В.П. 1983. Запорожский курган (к вопросу о погребениях аорской знати) // СА. № 1.

Щербакова Т.А., Кашуба М.Т. 1993. Сармато-аланские древности. (Курганные захоронения близ с. Мокры). Тирасполь.

Щукин М.Б. 1970. К истории Нижнего Поднепровья в первые века нашей эры // АСГЭ. Вып.12.

Щукин М.Б. 1972. Сарматские памятники Среднего Поднепровья и их соотношение с зарубинецкой культурой // АСГЭ. Вып. 14.

Щукин М.Б. 1982. Царство Фарзоя. Эпизод из истории Северного Причерноморья // СГЭ. Вып. XLVII.

Щукин М.Б. 1989а. Сарматы на землях к западу от Днепра и некоторые события I в н.э. в Центральной и Восточной Европе // СА. № 1.

Щукин М.Б. 1989б. На западных границах Сарматии. (Некоторые проблемы и задачи исследования) // Кочевники евразийских степей и античный мир (проблемы контактов). Новочеркасск.

Щукин М.Б. 1991. Некоторые проблемы хронологии раннеримского времени. (К методике историко-археологических сопоставлений) // АСГЭ. Вып. 31.

Щукин М.Б. 1994. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в до н.э.- I в н.э. в Восточной и Центральной Европе. СПб.

Щукин М.Б. 1995. Две реплики: о Фарзое и надписи из Мангупа, царе Артавасде и погребении в Косике // ВДИ. № 4.

Щукин М.Б. 2000. Находки у с. Залевки и проблема происхождения Северо-Европейского филигранного стиля I–II вв н.э. // Stratum plus. № 4. Время великих миграций. СПб., Кишинев, Одесса.

Щукин М.Б. 2001. Залевки и Тур Хайердал // 70 лет Отделу Археологии Эрмитажа. Тезисы докладов юбилейной сессии. СПб.

Яценко С.А.1993а. Аланская проблема и центральноазиатские элементы в культуре кочевников Сарматии рубежа I-II вв н.э. // ПАВ. Вып. 3.

Яценко С.А. 1993б. Аланы в Восточной Европе в середине I — середине IV вв н.э. (локализация и политическая история) // ПАВ. Вып.6.

Яценко С.А. 1993в. Основные волны новых элементов костюма в Сарматии и политические события I в. до н.э.- III в н.э. Происхождение стиля «клуазонне» // ПАВ. Вып. 4.

Яценко С.А. 2001а. О мнимых «бактрийских» ювелирных изделиях в Сарматии I–II вв н.э. // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 3. Волгоград.

Яценко С.А. 2001б. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. Москва.

Andersson K. 1993. Romarotida i guldsmide i Norden. I. Katalog. Uppsala.

Andersson K. 1995. Romarotida i guldsmide i Norden. III. Švriga smycken, tecknisk analys och verkstadgrupper. Uppsala.

Bichir G. 1977. Les sarmates au Bas-Danube // Dacia. T. XXI .Bucuresti.

Bohnsack D. 1938. Die Burgunden in Ostdeutschland und Polen wärend der letzten Jahrhunderts v. Chr. Leipzig.

Dąbrowscy I., i K. 1967. Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego i wpływów rzymskich w Wesólkach, pow. Kalisz. // Polski badania archeologiczne. Tom 15. Wroclaw etc.

Dąbrowska T. 1976. Początek okresu wpływów rzymskich w Polsce Wschodnej. // Prace Archeologiczne 22. Kraków.

Eichorn G. 1922. Der Urnenfriedhof auf der Schanze bei Grossromstedt // Mannus-Bibliothek. Nr. 41. Leipzig.

Elantkowska J. 1961. Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w okresie rzymskim na Śląsku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Archeologia-Etnografia. Zesz.2. Poznań

Godłowski K. 1981. Kultura przeworska. In: Prahistoria ziem polskich. Tom V. Wroclaw etc.

Godłowski K. 1985. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie rzymskim. Wroclaw etc.

Haffner A. 1971. Das keltisch-römische Gräberfeld von Wederath-Belgium // Trier Grabungen und Forschungen. Bd VI,1. Mainz.

Haffner A. 1974. Zum Ende der Latenezeit im Mittelrheingebiet unter besonderer Berücksichtigung des Trierer Landes // Archäologisches Korrespondenzblatt. 4.

Herteig A.E. 1955. Bildrag til jaraderens busetninshistorie par toten. Oslo.

Hoffman W., Schmidt B. 1959. Die wichtigsten Neufunde des Jahres 1956 aus dem Lande Sachsen-Anhalt // Jahreschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd 43. Halle.

Jahn M. 1916. Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v. Chr. bis 200 n. Chr. Wurzburg.

Jasnosz S. 1978. Osiagnięncia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w badaniach nad okresami późnolateńskim i wpływów rzymskich // Fontes Archaeologici Poznanieses. Tom 27. 1976 (1978).

Kaczanowski P. 1988. Chronologia inkrustowanych grotów broni drzewcowej z okresu wpęywów rzymskich z obszaru europejskogo Barbaricorum // Scripta Archaeologica. Kraków

Kaposhina S.I. 1963. A Sarmatian Royal Burial at Novocherkassk // Antiquity. Vol. 37. №148.

Kelten in Gallien. 1978. Die Kelten in Gallien. Ausstellung im Museum für Völkerkunde. Wien.

Kmieciński J. 1962. Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej na Pomorzy Wschodnim w okresie wczešnorzymskim. Tódź.

Kossak G. 1962. Frühe römische Fibeln aus dem Alpenvorland und ihre chronologischen Kulturverhältnisse // Aus Bayerns Frühzeit. Festschrift Fr. Wagner. München.

Kozak D.N. 1982. Eine Bestattung aus der ersten nachchristlichen Jahrhundert am Oberlauf des Dnjestr // Germania. Bd 60. 2. Halbband.

Kropotkin V.V. 1977. Denkmäler der Przeworsk-Kultur in der Westukraine und ihre Beziehungen zur Lipica — und Cernjachov-Kultur // Symposium Ausklang der Latene-Zivilisation und Anfänge der germanische Besiedlung in Mittleren Donaugebiet. Bratislava.

Leube A. 1976. Bewaffnung und Kampfesweise. In: Die Germanen. Bd 1. Berlin. S. 334–343.

Lund Hansen U. 1995. Himlingfje — Seeland -Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und intenationalen Beziehungen. København.

Mielczarek M. 1993. Cataphracti and Clibinarii. Studies on the heavy armoured cavalry on the ancient world. Lodz.

Moczy A. 1974. Die Einwanderung der Iazygen // Acta Antiqua. T. XXV. Fasc.1–4. Budapest.

Musche B.1988. Vorderasitischer Schmuck zur Zeit der Arschakiden und Sasaniden. Leiden.

Müller A. 1956. Die birnen- und kügelförmigen Anhänger der älteren römischen Kaiserzeit // Offa. Bd 1956.

Müller A. 1957. Formenkreise der älteren römischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelseeplate und Ostsee. Berlin. 1957.

Müller S. 1900. En fremed halsring af guld fra förromersk tid // Aarbüger. 1900.

Niewęglowski A. 1981. Obrządek porzgebowy ludności kultury przeworskiej na przelome er. Wroclaw etc.

Nosek S. 1947. Novy materialy do poznania kultury wenedzkiej // Swiatowit 1939–1945 (1947).

Nylén E. 1968. Die älteste Goldschmiedekunst der nordlischen Eisenzeit und ihr Ursprung // Jahrbuch der Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz. Jg. 15.

Raddatz K. 1985. Die Bewffnung der Germanen von letzten Jahrhundert v. Chr. bis zur Völkerwanderungszeit // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Bd II. Principat 12.

Raev B.A. 1986. Roman Imports in the Lower Don Basin // B.A.R. International Series 278. Oxford.

Redlich C. 1960. Fragen der Socialgeschichte der Westgermanen im Spiegel ihrer Bewaffnung // Westfallische Forschungen. Bd.12 (1959).

Schmidt-Thielbeer E. 1967. Das Gräberfeld von Wahlitz, Kr. Burg. Berlin.

Ščepinskij A.A. 1994. Über die Aristokratie der Sarmaten im nordlichen Schwarzmeergebiet // Zeitschrift für Archäologie, Bd. 28. Berlin.

Ščukin M.B. 1993. A propos des contacts militaires entre les Sarmates et les Germains l'époque Romaine (d'aprés l'armament et spécialment les *umbo* de boucliers et les lances) // L'armée Romaine et les Barbares du III-e au VII-e siècle. Paris.

Simonenko A. 2001. Chinese and East Asian Elements in Sarmatians Cultures of the North Pothic Region // Silk Road Art and Archaeology. Vol. 7. Kamakura.

Schlette F. 1972. Germanen zwischen Thorsberg und Ravenna. Berlin.

Shchukin M.B. 1989. Rome and the Barbarians in Central and Eastern Europe Ist Century B.C.- Ist Century A.D. // B.A.R. International Series 542. Oxford.

Shchukin M. 1994. Shilds, swords and spears as evidence of German-Sarmatian contacts and Barbarian-Roman relations // Beiträge zu Römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Lublin-Marburg.

Spekke A. 1957. The Ancient Amber Routs and Geogrphcal Discovery of the Eastern Baltic. Stockholm.

Treister M., Yatsenko S. 1988. About the Centres of Manufacture of Certain Series of Horse-Harness Roundels in «Gold-Torquise Animal Style» of the I-st — II-nd Centuries AD // Silk Road Art and Archaeology. Vol. 5. Kamakura

Vaday A. 1980. Neure Angaben zur Frage der sog. Schildkopfarmringes. // Slovenska archaeologia. 28.

Verma E.M. 1989. Ringschmuk mit Tierkopfenden in der Germania Libera. // B.A.R. Internationalen Series 507. Oxford.

Wegewitz W. 1937. Die Langobardische Kultur im Gau Moswidi (Niederelbe zu Beginn unserer Zeitrechnung) / / Die Urnenfriedhöffe in Niedersachsen. Bd II, Heft 1/2. Hildesheim-Leipzig.

Wegewitz W. 1940. Die Langobarden an der Niederelbe // Reinerth (Hrsg). Vorgeschichte der Deutschen Stämme. Bd II. Leipzig.

Werner J. 1966. Das Aufkommen von Bild und Schrift in Nordeuropa. München.

Werner J. 1977. Spätlatenishe Schwerter norischer Herkunft // Symposium Ausklang der Latčne-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet. Bratislava.

Werner J. 1994. Chinesischer Schwerttragbügel der Han-Zeit aus einem thrakischen Hauplingsgrab von šatalka (Bulgarien) // Germania. Jg 72 .1. Halbband.

Weski T. 1982. Waffen in germanischen Gräbern der älteren römischen Kaiserzeit südlich der Ostsee // B.A.R. International Series. 147. Oxford.

Wiklak K. 1965. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej i wenedzkiej w Leznicy Wielkij, pow. Sęczyca // Wiadomości archeologiczne. Tom 31.

Wołągiewicz R. 1970. Der Zufluss römischer Importe in das Gebiet nördlich der mittleren Donau in der älteren Kaiserzeit // Zeitschrift für Archäologie. Jg. 4.

Wołągiewiczowie M.D. i R. 1963. Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery // Materiały zachodnio-pomorskie. Tom. X, Szczecin.

Zassetskaja I.P. 1995. Le kourgane «Khokhlatch» ou trésor de Novotcherkassk // L'or de sarmates. Abbaye de Daoulas.

Zeiling M. 1989. Studien zu germanische Schilden der Spätlatčne und römische Kaiserzeit im freien Germanien // B.A.R. International Series 505. Oxford.

Zielonka B. 1958. Cmentarzysko w Bodzanowie w pow. aleksandrowskim // Przegląd Archeologiczny. T. X, 1954–1956. S.331–337.

А.Н.Ашешова[1], *С.В.Белецкий*[2], *С.Л.Плотников*[3]

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ГОРОДИЩЕ ВОРОНИЧ
(предварительное сообщение)

A.N. Asheshova, S.V. Beletsky, S.L. Plotnikov. The church of St.George on the site of ancient settlement of Voronich

In 2002 the Pskov Expedition of the Institute for the History of Material Culture (Russian Academy of Sciences) started the excavation of the church of St.George on the site of ancient settlement of Voronich near the Trigorskoe village (the Pushkinogorsky district of the Pskov oblast). The south-western quarter of the construction was studied which has led to the discovery of the church foundation made of boulders.

Thirty burials were discovered in the cemetery layer as well as in isolated pits. Neither the interments predating the XVIIth century nor those younger than the beginning (the first half?) of the XVIIIth century were found under the church building.

The results of the excavation confirm the information found in written records that the church was built in 1760–1764 and ceased to exist as a result of a fire soon after 1917. Judging by the available evidence, it was this church that stood on the site of the Voronich settlement in 1824-1826 when A.S. Pushkin visited the Trigorskoe village. The poet certainly knew the church that was clearly seen from the side of the Trigorskoe park. However, there are no images of this temple among his schematic drawings devoted to Trigorskoe. One may think that this fact reflects Pushkin's attitude to the church of Trigorskoe: probably the latter was not of much interest to him.

Nonetheless, the importance of the church of St.George in Pushkin's life is sometimes exaggerated. It is thought that he ordered here a liturgy after Bairon, but in fact it was A.N. Wulf who did so, while Pushkin addressed to the priest of the Resurrecton church. An opinion was also put forward that P.A. Osipova, a parishioner of the church of St.George, had ordered there a liturgy after Pushkin in the evening before his funeral, but written records contain no evidence confirming this.

В монографии Л.С. Клейна, изданной в 2002 г., отдельная глава посвящена А.С. Пушкину. Комментируя круг друзей и знакомых поэта, Л.С. Клейн коротко останавливается на приятельских отношениях Пушкина с Алексеем Николаевичем Вульфом — дерптским студентом, сыном тригорской помещицы Прасковьи Александровны Осиповой, ставшим прототипом Ленского в романе «Евгений Онегин» (Клейн 2002:106).

В полевом сезоне 2002 г. Псковская областная экспедиция ИИМК РАН начала раскопки ц.Святого Великомученика Георгия на городище Воронич близ усадьбы Тригорское.[4] У алтарной апсиды этого храма нашли последнее упокоение и близко знавшая Пушкина П.А. Осипова (†1859), и А.Н. Вульф (†1881). Помещая в сборник, посвященный 75-летию

[1] Государственный Музей-квартира А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, Россия

[2] Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия

[3] Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

[4] Раскопки производились на средства Государственного Пушкинского заповедника и при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Интеграция» (проект Э-0336). В работах принимали участие студенты-практиканты кафедры музееведения Санкт-Петербургского Государственного университета культуры и искусств, а также волонтеры («доброхоты», по терминологии Пушкинского заповедника) из Зеленограда, Набережных Челнов, Перми, Ижевска и Пикалева.

Л.С. Клейна, статью о раскопках Георгиевской церкви мы хотели бы не только поднести юбиляру результаты новейших раскопок, но и подчеркнуть последнее по времени увлечение Л.С. Клейна, обратившегося в своих трудах к пушкинистике.

Ц.Св.Георгия на Ворониче: обзор источников

Храм Св.Георгия (Егория) являлся главной святыней средневекового псковского пригорода Вороноча (совр. дер. Воронич Пушкиногорского района Псковской обл.).

Прямое указание на существование «Егорья святого из Вороноча изнутри города» имеется только в писцовой книге 1585–1587 гг. (Далекое прошлое... 1998:85). Однако псковские летописи в сообщениях о событиях XV в. отмечают обращение жителей города за помощью именно к Св.Георгию: «вороночани, помоливъшеся Богу и святому страстотерпцу Христову мученику Георгию» (Псковские летописи... 1941:31–32, под 6916/1408г.), «вороночани ... моляхуся Богу и святому великому мученику Христову Георгию» (Псковские летописи... 1955:41, под 6934/1426г.). Поэтому факт существование в Ворониче Егорьевской церкви уже в начале XV в. сомнений не вызывает. С учетом же того, что пригородская печать города Вороноча, в легенде, на реверсе которой обозначено «Печять святого Егория» (Белецкий 2001: 136, рис.69, *5)*, датируется XIV в., можно предположительно относить появление «Егорья святого» к начальному периоду существования города. По данным археологических раскопок, город Вороноч возникает на своем нынешнем месте в XIII в. (Белецкий В.Д.1998:33–34; Белецкий 1999:23–27).

До наших дней церковь на площадке городища Воронич не сохранилась. В литературе отмечалось, что храм погиб в пожаре 1913 (Гордин 1956:.160; 1968:195; 1970:147) или 1915 г. (Гейченко 1988: 185). Однако Н.С.Новиков детально проанализировал документы Великолукского филиала Государственного архива Псковской области и убедительно доказал, что ц. Св. Георгия существовала еще в 1917 г.; исследователь полагал, что «храм сгорел не от удара молнии, а после октябрьского переворота» (Новиков Н.С. 1998:.88–89). В начале 1980-х годов по инициативе С.С.Гейченко фундаменты храма были расчищены от дернового покрытия и обозначены на поверхности современной валунной кладкой.

Самое раннее из известных изображений ц.Св.Георгия помещено на плане городища Воронич, снятом инженер-полковником И.Ф.Годовиковым в 1857 г.[5] (рис.1). В комментарии к плану отмечено, что на площадке городища находятся «деревянная церковь с колокольнею во имя Св. Великомученика и победоносца Георгия, построенная в 1794 г.», дома, службы и сады священно- и церковнослужителей, сельское кладбище (Годовиков 1880:.40–41). На плане изображена вытянутая с запада на восток деревянная постройка с апсидой, обращенной на восток, имевшая квадратный четверик, западный притвор и паперть, над которой была возведена колокольня. У храма было три входа, два из которых (северный и южный) вели непосредственно в четверик, а третий (западный) — через паперть в притвор; все три входа имели небольшие крылечки.

Очевидно, что описание именно этой постройки сохранилось в метрике церкви Св. Великомученика Георгия «в пригороде Ворониче, на горе при речке Сороте», составленной 8 января 1887 г. священником храма, о.Андреем Великотным.[6] В метрике отмечено, что «церковь основана в 1764 г., как видно из надписи на кресте, стоящем в Алтаре при

[5] Альбом И.Ф.Годовикова, л.IV-Д. Хранится в ПОМЗ. В посмертно изданном комментарии к чертежам, помещенным в альбоме, отмечено, что планы были сняты в 1857 г. (Годовиков 1880:.27).

[6] РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336, л.1об. О биографии А.Г.Великотного, более полувека — с 1841 по 1892 г. — священствовавшего в Георгиевской церкви, см.:Никифоров 2001: 150–152.

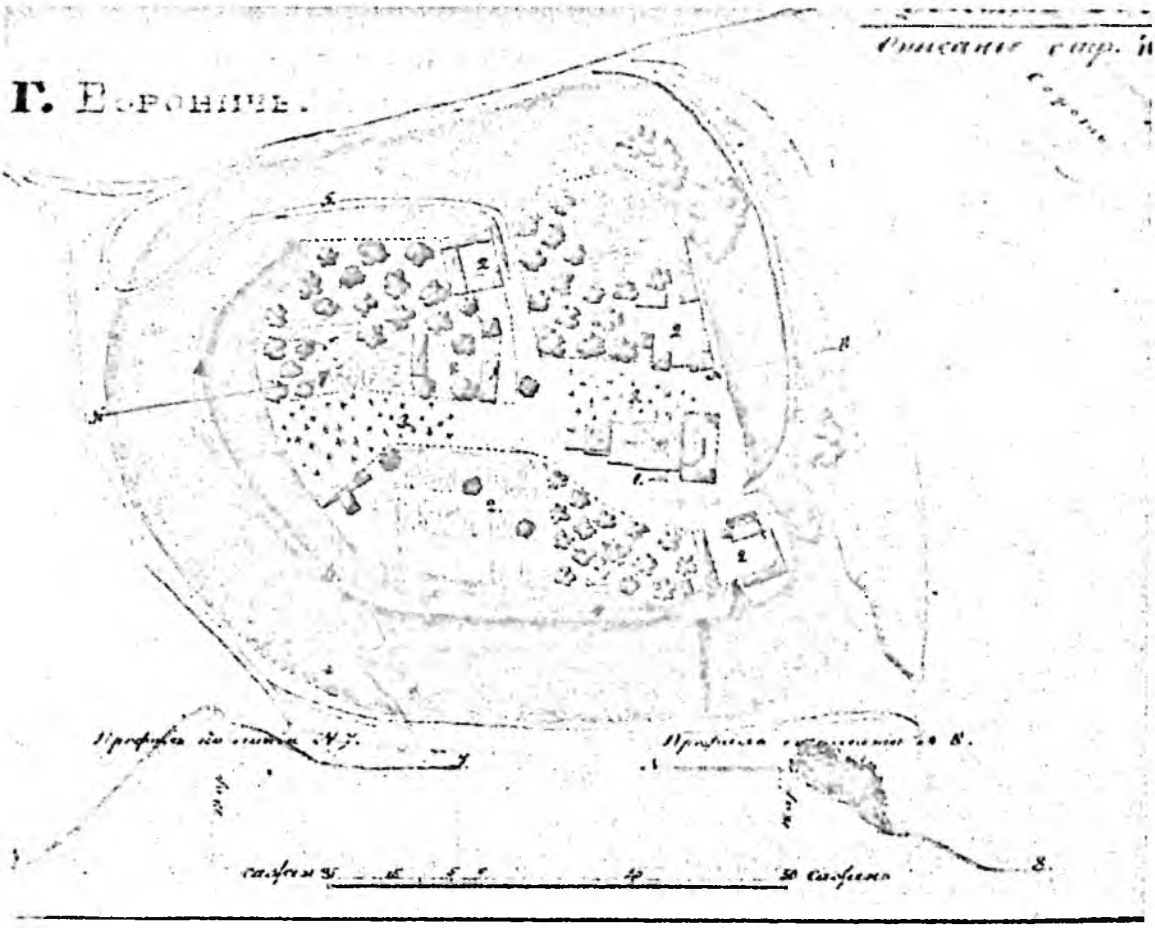


Рис.1. Городище Воронич. План 1857 г.

жертвеннике» (РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336, л.1об). К 1764 г. отнесено также строительство колокольни (РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336, л.9об.). Храм деревянный, одноэтажный, одноапсидный, одноглавый, не имеет пристроек. У постройки имелись одна паперть и три двери — северная, южная и западная. Алтарная апсида храма была отделена от четверика деревянной стеной. Стена разделяла также четверик и притвор. В алтаре было два окна, забранных железными решетками. Двускатная кровля храма и купол были покрыты листовым железом. Крест на куполе железный, четырехконечный, цепей нет. Именно этот храм мы видим на фотографиях начала XX в. (рис.2), опубликованных в книге Л.И.Софийского. (Софийский 1912: рис.50).

Таким образом, Георгиевская церковь, существовавшая на Вороничe во второй половине XIX — начала XX вв., не имеет отношения к Егорьевской церкви, известной здесь с XV в., а появившейся, вероятно, в более раннее время.

Строительная история Георгиевской церкви в XVIII — начале XX вв.

Строительная история Георгиевской церкви в XVIII–XIX вв. рассматривается в Исторической Записке (далее — Записка), составленной Псковскими реставрационными мастерскими в связи с заказом Государственного Пушкинского заповедника на благоустрой-

ство городища Воронич (Архив ГПЗ, д.1033, л.1). Авторы Записки проанализировали описи имущества ц.Св.Георгия 1802–1803 и 1827 гг., клировые ведомости храма 1794–1914 гг., и лист страховочной оценки 1910 г. В текст Записки в виде Приложения включена краткая информация о содержании источников и пересказ некоторых из них.[7] Полные тексты использованных документов не опубликованы.

Авторы Записки отметили, что в клировых ведомостях разных лет содержатся разные даты строительства храма (Архив ГПЗ, д.1033: л.4): в ведомостях 1803, 1817, 1836 и 1914 гг. указано, что церковь построена в 1760 г.; в ведомостях 1846, 1860 и 1900 гг. датой строительства назван 1764 г., а в ведомостях 1838 и 1865 гг. — 1765 г. (Архив ГПЗ, д.1033: л.14–17). В листе страховой оценки Георгиевской церкви 1910 г. строительство храма отнесено к 1760 г. (Архив ГПЗ, д.1033:л.18). На основании содержащейся в письменных источниках информации в Записке выделено пять строительных этапов в истории здания.

Первый этап, по мнению авторов Записки, охватывает период от 1760 г., когда было получено разрешение на строительство храма, до 1764 г., когда, храм был освящен. Таким образом, авторы Записки объяснили наличие в источниках двух дат строительства храма (Архив ГПЗ, д.1033:л.8). Дата «1765 г.» в Записке никак не комментируется.

Вторым этапом строительной истории Георгиевской церкви авторы Записки считают интервал времени от 1764 до ремонтных работ 1822 г. Правда, в Записке отмечено, что «первый известный ремонт храма относится к 90-м годам XVIII в.» (Архив ГПЗ, д.1033:л.4, Новиков Н.С. 1998), однако эти работы авторы Записки «этапными» для строительной истории храма не считают, отмечая только: «Со времени ремонта церкви в 1790-х годах до 1815 г. она оставалась в хорошем техническом состоянии» (Архив ГПЗ, д.1033: л.5). К работам 1822 г. авторы относят покрытие храма тесом и закладку одного окна в апсиде (Архив ГПЗ, д.1033: л.8), добавляя: «А вот на ремонт колокольни денег не хватило, и к 1827 г. она попросту была разобрана» (Архив ГПЗ, д.1033:л.5)[8]. Правда, о закладке в 1822 г. окна в апсиде сведений в источниках нет: это заключение опирается на расхождение сведений разновременных описей о количестве окон в храме. Действительно, в описи 1802–1803 гг. отмечено, что «внутри церкви и притвора окон десять» (Архив ГПЗ, д.1033:л.13), в то время как в описи 1827 г. перечислено «окон вверху четыре..., внизу пять окон» (Архив ГПЗ, д.1033:л.14). то есть — на одно окно меньше. Однако в описи 1802–1803 г. «три окна» в алтаре (Архив ГПЗ, д.1033:л.14) отмечены особо, наряду с десятью окнами «внутри церкви и притвора», так что остается не ясно, включены ли три алтарных окна в число десяти окон храма, или же нет.

Завершение ***третьего этапа***, согласно предлагаемой в Записке периодизации, приходится на 70–80-е годы XIX в., когда тесовое покрытие храма было заменено на покрытие листовым железом, на окнах были установлены железные решетки, а деревянный крест был заменен на железный. ***Четвертый этап***, по мнению авторов Записки, относится к 1890-м годам, когда были покрашены голубой масляной краской фасады храма и был отремонтирован иконостас. Завершение ***пятого этапа*** авторы Записки связывают с ремонтными работами 1909 г., когда был декорирован барабан, обшиты железом двери и перестроена колокольня. В таком виде, по мнению авторов Записки, храм просуществовал до его разборки в первой половине XX в. (Архив ГПЗ, д.1033: л.10–11).

---

[7] Большинство документов хранится в Государственном архиве Псковской области (г.Псков) и его филиале (г.Великие Луки Псковской обл.). Сравнение пересказа метрики 1887 г., приведенного в Записке, с подлинной метрикой, хранящейся в РА ИИМК РАН (Р-III, № 5336) показала, что пересказ в целом соответствует содержанию источника, однако воспроизведением текста документа не является.

[8] Правда, в другом месте авторы Записки относят разборку колокольни к тому же 1822 г.

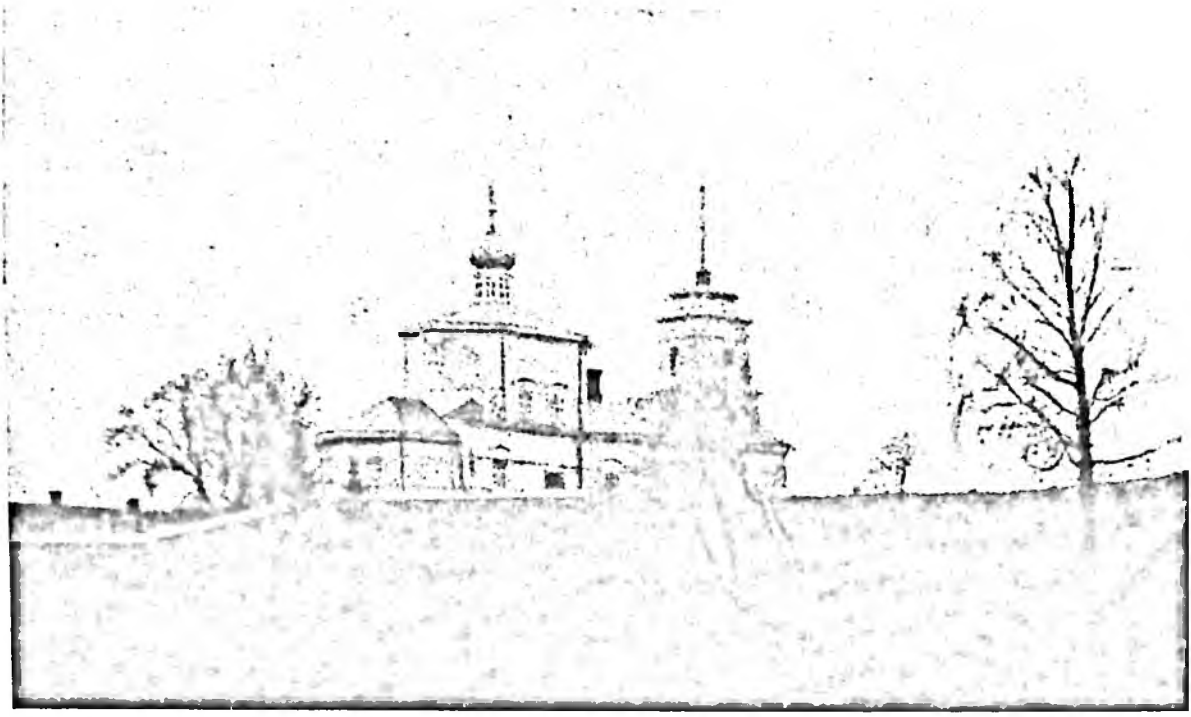


Рис.2. Георгиевская церковь на Ворониче.

Сведения о гибели храма в пожаре авторы Записки считают сомнительными: «Время закрытия церкви и ее разборки не известно, но в списке религиозных объектов и молитвенных зданий Пушкиногорского района Ленинградской области на 1 июля 1931 года она уже отсутствует. Была ли она только закрыта или уже уничтожена — не известно» (Архив ГПЗ, д.1033:л.9). Опираясь на наблюдения Н.С.Новикова, авторы Записки подчеркивают: «Мнение о том, что церковь Великомученика Георгия сгорела в пожаре 1913 или 1915 года не подтверждается» (Архив ГПЗ, д.1033: л.9).

Изложенная версия строительной истории храма легла в основу проекта воссоздания Георгиевской церкви на городище Воронич. Однако этот проект был разработан не с опорой на подлинные фундаменты постройки, а на основании валунной кладки 1980-х годов. Для воссоздания храма требовалось археологическое изучение подлинных фундаментов.

Раскопки Георгиевской церкви в 2002 г.

Раскопки Георгиевской церкви были начаты Псковской областной экспедицией ИИМК РАН в 2002 г. Раскоп площадью 92 м² был заложен на участке, занятом современной валунной кладкой, «накрыл» юго-западную четверть постройки (рис.3).

Фундаменты постройки были обнаружены на отметках от + 117 до –10.[9] С учетом рельефа современной дневной поверхности глубина залегания валунов составляет от 0,1 до 0,6 м от поверхности дерна. В площади раскопа открыты участки фундамента южной и восточной стен притвора, южной и западной стен паперти «под колокольню», а также часть

[9] За репер («0») принята поверхность юго-западного угла цокольной части памятника на могиле А.Н.Вульфа.



а — вид с северо-востока; б — вид с юго-востока. Фото начала XX в.

западного крыльца храма (рис.4). Валуны в фундаменте притвора положены насухо. Валуны фундамента восточной стены притвора перекрыты прослойкой серого слоя с обильной примесью кирпичного щебня и частиц известкового раствора. Фундамент паперти представляет собой два уровня валунов. Первоначальная кладка положена насухо. Валуны поздней кладки были пролиты известковым раствором, а между ними встречены фрагменты кирпичей. Из валунов и битого кирпича на известковом растворе сложен и фундамент западного крыльца. В слое пожара, перекрывающем фундамент храма, собраны многочисленные прокаленные гвозди, костыли, скобы и куски кровельного железа, капли и мелкие слитки оплавленной меди,[10] фрагменты ошлакованных кирпичей, оплавленное оконное стекло и слитки стекла, а также куски цементной обмазки цокольной части здания. В этом же слое найдены немногочисленные фрагменты поливной керамики XIX — начала XX вв. и фрагменты стеклянных бутылок того же времени. Подстилающий пожар аморфный слой серо-коричневой земли с обильной примесью песка и включениями угольков, представляет собой многократно переотложенный лопатами могильщиков кладбищенский слой. Его подстилал материковый песок.

Очевидно, что Георгиевская церковь была возведена не ранее XVIII в. По крайней мере, однажды она пережила капитальный ремонт и погибла в пожаре начала XX в. Однако, вопрос о времени строительства исследованной раскопками постройки остается открытым. В литературе фигурируют разные даты строительства — 1760, 1764, 1765 и 1794 гг. Как соотносится храм, возведенный во второй половине XVIII в. с храмом второй половины XIX — начала XX вв. неясно, поскольку описания ц. Св.

[10] Возможно, слитки оплавленной меди представляют собой оплавившиеся оклады икон.

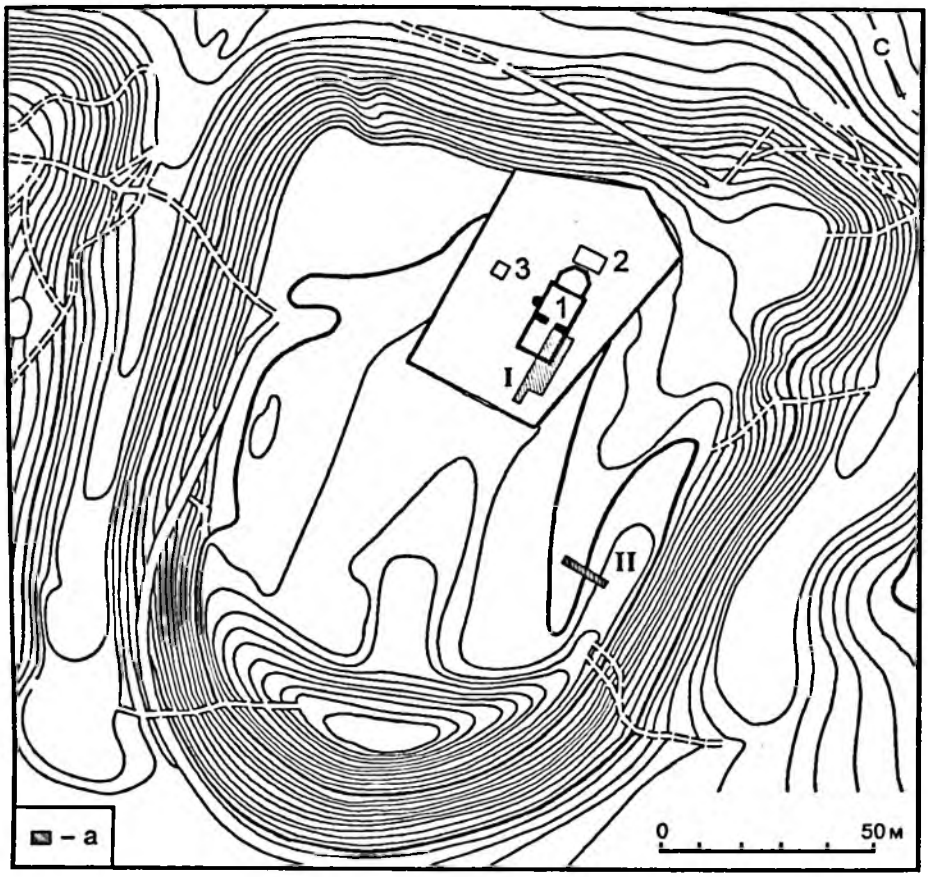


Рис.3. Городище Воронич. 1 — фундамент Георгиевской церкви, музеефицированный в 1980-е годы; 2 — могилы А. М. Вындомского, А. Н. Вульфа, П. А. Осиповой и И. С. Осипова; 3 — могилы С. С. и Л. Д. Гейченко. а — раскоп 2002 г.

Георгия на Ворониче, в источниках конца XVIII — начала XIX вв. и второй половины XIX в. расходятся между собой[11].

В свете сказанного, решающее значение в определении времени строительства Георгиевской церкви приобретает то обстоятельство, что храм был возведен на участке действующего кладбища. В метрике 1887 г. отмечено, что пол в храме деревянный (РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336, л.5об.). и никаких надгробных памятников внутри постройки не имеется (РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336, л.8об.). Таким образом, все погребения, открытые под постройкой, были совершены до начала строительства храма.

[11] Так, в описи церковного имущества 1802–1803 гг. отмечено, что в алтарной апсиде храма три окна (Архив ГПЗ, д.1033, л.14), в то время как в метрика 1887 г. фиксирует наличие в алтаре всего двух окон (РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336, л.4). Означает ли это, что к 1887 г. одно из трех окон было заложено, или же речь идет о двух различных постройках, неясно. В Записке, сопровождающей проект воссоздания Георгиевской церкви, отмечено, что одно из трех окон в апсиде храма было заложено во время ремонта 1822 г. (Архив ГПЗ, д.1033, л.10). Однако из имеющихся источников этот вывод не следует.

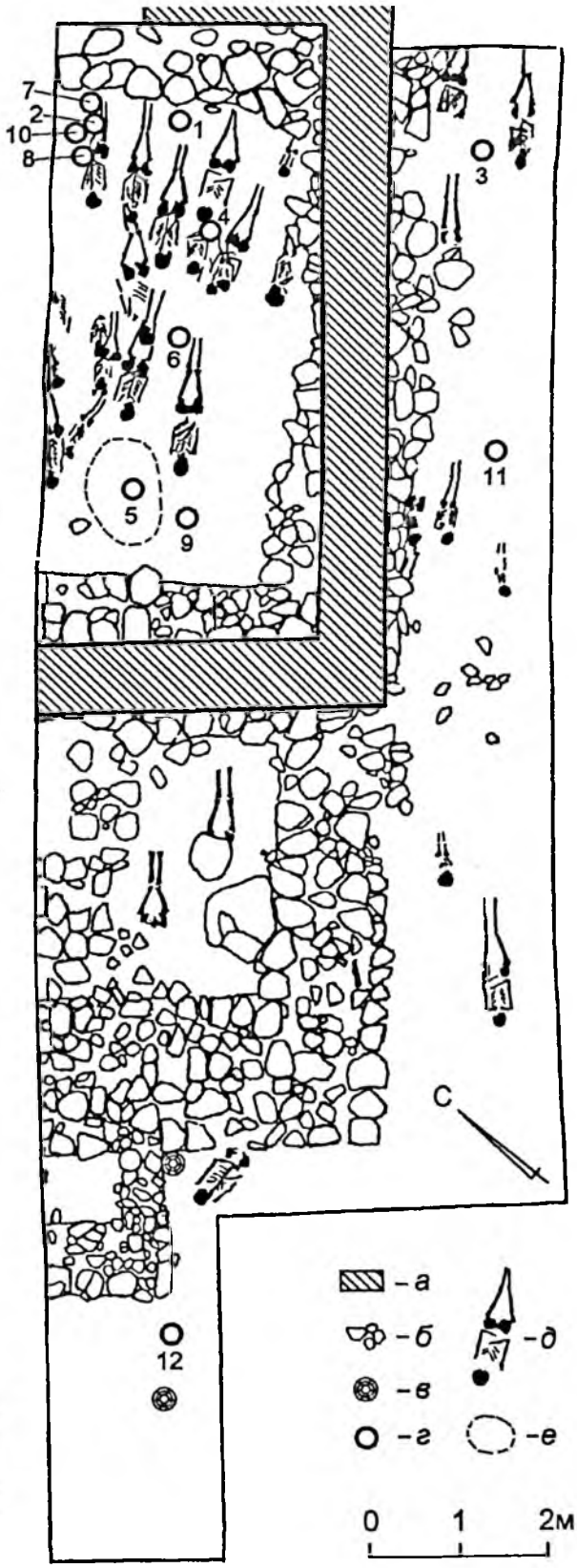


Рис.4. Городище Воронич. План раскопа 2002 г. Условные обозначения: а — валунная кладка 1980-х годов; б — валунная кладка фундамента Георгиевской церкви; в — деревянный столб; г — монеты (номера соответствуют номерам в табл.1); д — погребения; е — перекоп, заполненный строительным мусором

Погребения в раскопе 2002 г.

В кладбищенском слое, а также в ямах, прорезавших поверхность материка, открыто 30 погребений, сохранившихся (полностью или частично) в анатомическом порядке. Погребения, судя по найденным в них предметам[12], хронологически близки друг другу. Основными находками в них были нательные кресты.

Кресты-тельники XVI — начала XVII вв.[13] и более раннего времени (Седова 1981: с.51, 53 рис.16, 17; Беленькая 1993: 11–19, рис.1–2; Николаева 1960: 275–281; Гриценко, Пуцко 2000:218–220) в раскопе отсутствуют. Большинство найденных крестов соответствует типологии крестов-тельников XVII в., разработанной Э.П.Винокуровой (Винокурова 1999). В погр. № 13 найден крест типа VI, подтипа 2, варианта 1 (Винокурова 1999: 342, рис.18) — с концами шлемовидной формы, дугами на средокрестии и лучами в дугах.[14] Такой же крест происходит из погр.17а, открытого рядом с храмом. В погр. № 19а обнаружен крест типа VI, подтипа 2, варианта 2 (Винокурова 1999:344, рис.19). Винокурова не уточняет датировку различных подтипов и вариантов крестов типа VI, так что можно думать, будто речь идет о крестах-тельниках исключительно XVII в. Действительно, подобные кресты обнаружены при археологических раскопках памятников XVII в.[15] Однако четыре таких креста найдены в погребениях, открытых при раскопках некрополя 70-х годов XVII — первой половины XVIII вв. Моисеевского монастыря в Москве (Векслер, Беркович 1999: 200, рис.15, *7*), где, судя по контексту изложения, крестики такого типа обнаружены в ранних погребениях некрополя. Подобные кресты датируют обычно XVII–XVIII вв. (Островский 1995: 57, рис.1, 2).

В погр. № 3, 15, 17, 18 и 22 найдены кресты, соответствующие варианту 1 типа I по Э.П.Винокуровой (Винокурова 1999: 334, рис.7). Подобные кресты серийно представлены на памятниках близ Звенигорода (Станюкович 2000:18, рис.2:13,15–18). Аналогичные кресты известны по материалам раскопок в Пскове,[16] в том числе — при раскопках скудельни у ц.Иоанна Милостивого[17] и кладбища у ц.Богоявления с Запсковья.[18]

По мнению Э.П.Винокуровой, датировка крестов типа I в пределах XVII — XIX вв. затруднена (Винокурова 1999:335). Однако сама же Винокурова отмечает, что «более крупные и грузные кресты с массивным ушком-бусиной, с широким буртом ... относятся к позднему времени, скорее всего, к XIX в.», в то время как «кресты XVII в. более тонкие и изящные по формовке, имеют гладкое кольцевидное ушко, тонкий поясок обводки по кон-

---

[12] Пользуемся случаем поблагодарить сотрудника ОИРК ГЭ Л.А.Завадскую за участие в обсуждении датировки предметов из раскопок некрополя под Георгиевской церквью.

[13] Кресты-тельники серийно представлены в материалах раскопок кладбища 1570-х — 1610-х годов близ Радонежа (Чернов 2000: 66–71, рис.2–7), однако аналогии для крестов из раскопок Георгиевской церкви на Ворониче среди этих материалов отсутствуют.

[14] Аналогичные кресты известны по материалах раскопок Пскова (напр.: ПОМЗ, фонды Отдела археологии, инв. № П-91-Сов.II/А-9–4–1/№ 9). Именно такие кресты, в частности, преобладают в составе клада крестов-тельников из раскопок ц.Дмитрия Солунского в Довмонтовом городе (хранится в фондах ОИРК ГЭ). Близкие по форме кресты имеются также в собрании МИР (напр.: инв.№ СП-МИР/А-3890-IV).

[15] Такие кресты обнаружены в братском захоронении совершенном осенью-весной 1685–1686 гг. в Албазинском остроге (Артемьев 1999: 294, рис.76, *б*). Подобные кресты найдены на памятниках в окрестностях Звенигорода (Станюкович 2000:18, рис.2, *7, 9, 12*). Аналогичный крест найден также при раскопках скудельницы XVI-XVII вв. при ц.Иоанна Милостивого в Пскове (ПОМЗ, фонды Отдела археологии, инв. № П-86-Петр.2/уч.В, погр.26/№ 52; информацию о результатах раскопок см. Седов и др. 1987:104).

[16] ПОМЗ, фонды Отдела археологии, инв. № П-87-Л-XIII/И-11–595–7/№13; П-93-Бог./уч.Б, кв.5, пл.11/№ 28; П-93-Бог./уч.Б, кв.6а, пл.9/№ 4; П-86-Л-Х/Е-158–8/№ 209.

[17] Там же, инв. № П-86-Петр.2/уч.В, погр.64/№ 73; П-86-Петр.2/уч.В, погр.36(35)/№ 58.

[18] Там же, инв. № П-93-Бог./уч.Б, кв.10, пл.12/№ 63.

туру» (Винокурова 1999:335–336). Действительно, при археологических раскопках тонкие и изящные кресты, аналогичные публикуемым, происходят, по преимуществу, из слоев или комплексов XVII в.(Кильдюшевский 1983: □ .109, рис.3, *4–5*; Кренке 2000: 210–212, рис.2, *7, 10, 11*; Артемьев 1999: 294, рис. 76, *2, 10, 13*) .

Но исключать из периода бытования этих предметов начало XVIII в. не приходится, поскольку подобные кресты серийно представлены в некрополе Моисеевского монастыря (Векслер, Беркович 1999: 200, рис.15:2).[19] Аналогичный крест найден также в погребении у ц.Богоявления XVII в. в Твери, сгоревшей в пожаре 1725 г. и более не восстанавливавшейся (Новиков А.В. 2001: 303–306, рис.304, *4*).

В типологию Э.П.Винокуровой, как будто бы, не вписывается четырехконечный крестельник из погр. № 19, имевший трехлепестковые завершения концов. Правда, исследовательница оговаривает, что кресты, концы у которых имеют вид трилистника, являются вариантом крестов с кринообразными (трехлопастными, лилиеподобными) концами, однако помещенная в таблицу схема креста имеет с публикуемым предметом мало общего(Винокурова 1999: 347, рис.22). Кресты с концами в виде трилистника, совершенно аналогичные кресту из погр. № 19, известны по комплексам конца XVII и начала XVIII в. (Векслер , Беркович 1999: 200, рис.15, *5*; Новиков А.В. 2001: 304, рис.5; Артемьев 1999: 294, рис. 76, *9*).[20]

Таким образом, кресты-тельники из раскопок кладбища на городище Воронич можно определенно датировать концом XVII — началом XVIII вв. Заметим, впрочем, что датировки для позднесредневековых крестов обычно определяются в широких пределах XVI–XIX вв. (Беляев1995:102–103, рис.21, 22).[21] Это объясняется тем, что подавляющее большинство подобных предметов, хранящихся в музейных собраниях, депаспартизовано. Даже при раскопках позднесредневековых кладбищ большинство найденных крестов происходит из переотложенного слоя (Беляев 1994: 306, подписи к табл.106–108). а предметы, обнаруженные в хорошо датированных комплексах (Кренке 2000: 210–212; Артемьев 1999: 113–114), единичны.

Прочие находки в погребениях немногочисленны. Медная цельнолитая шаровидная пуговица с выступом из погр. № 18, вероятнее всего, имитирует золотые и серебряные пуговицы XVI-XVII вв., украшенные драгоценными камнями и жемчугом. (Медведева, Платонова , Постникова-Лосева , Смородинова , Троепольская 1987:48, 49, № 54, 58). Близкие по форме медные шаровидные пуговицы (как гладкие, так и рифленые) найдены в братском захоронении совершенном осенью-весной 1685–1686 гг. в Албазинском остроге (Артемьев1999: 292, рис.74, *6, 9–11, 13–15*). Там же найдены медные шаровидные пуговицы без выступа. (Артемьев 1999: 292, рис.74, *8, 12, 16*). Сходной формы шаровидные пуговицы без выступа известны с домонгольского времени (Седова 1981:154, рис.61,*3–7*). Перстень из погр. № 19, по мнению Л.А.Завадской, следует относить к концу XVIII в. Однако

---

[19] По данным Векслера и Берковича, такие кресты представлены в материалах раскопок 13 экземплярами (Векслер, Беркович 1999:199 – тип I, подтип 1). Правда, в некрополе Моисеевского монастыря эти крестики, как будто бы, составляют раннюю серию.

[20] Подобный крест имеется в собрании МИР (инв.№ СП-МИР/А-3402-IV). Аналогичные кресты найдены при раскопках в Пскове (ПОМЗ, фонды Отдела археологии, инв. № П-93-Бог/уч.Б, кв.5, пл.10/№ 16). Подобные кресты найдены также в Старой Стрелецкой слободе XVI-XVII вв. близ Звенигорода (Станюкович 2000:18, рис.2, *5, 8*).

[21] Автор предлагает для некоторых крестов узкие даты (Беляев 1995:109, примеч.24–27), однако соотнести описания с изображениями не удается, поскольку ссылки даны на полевые шифры находок, а фотографии в таблице не аннотированы.

изображение подобного перстня имеется на групповом портрете участников русского посольства в Англию 1662 г. (Медведева Г. и др. 1987: 33). Кроме того, сходные перстни найдены в слоях XIV в. в Новгороде (Седова1981: 140, рис.54, *I*; 80, *II*), так что ограничивать нижнюю дату перстня из погр. № 19 екатерининской эпохой не приходится.

Среди разрушенных погребений, кости которых в изобилии встречены в кладбищенском слое, захоронения ранее XVII в. также отсутствовали.[22] В кладбищенском слое найдены кресты типа I, по Э.П.Винокуровой, и монеты XVIII-XIX вв. Одному из переотложенных погребений принадлежала серебряная серьга со стеклянной голубой бусиной; подобные серьги были широко распространены в XVII — XVIII вв. (Медведева и др. 1987: 52, № 61), но доживали и в XIX в.[23]

Несколько особняком среди других крестов варианта 1 типа I, найденных в кладбищенском слое, находится крест-тельник с широкими короткими ветвями и таким же широким древом. Э.П.Винокурова выделяет кресты с подобными пропорциями в подвариант 4 (Винокурова 1999: 345, рис.8, *4*). Совершенно аналогичные по форме и пропорциям кресты-тельники найдены в слоях и комплексах XVII в. при раскопках в Пскове.[24] Подобные кресты серийно представлены также в коллекциях Музея истории религии (Санкт-Петербург).[25]

Разрушенные лопатами могильщиков погребения в любом случае следует относить ко времени более раннему, чем погребения, сохранившиеся в анатомическом порядке. Иными словами, кресты-тельники типа I в тенденции оказываются более ранними, чем кресты типа VI. Тем не менее, погребения с крестами типа VI не являются самыми поздними среди открытых захоронений. Безинвентарное погр. № 5 совершено позднее, чем погр. № 13, в котором найден крестик типа VI. Погр. № 13 и 19а совершены позднее, чем погр. № 19, частично разрушенное при совершении погр. № 19а., при этом в погр.№ 19 и 19а также найдены крестики типа VI. Погр.№ 17а, в котором найден крест типа VI, было совершено ранее, чем безинвентарное погр.№ 2. Кроме того, погр.№ 8 перекрывает погр. № 11, а погр.№ 7 совершено позднее, чем погр. № 20; все четыре погребения безинвентарны.

Таким образом, находки из погребений, открытых под Георгиевской церковью и рядом с ней, позволяют относить совершение захоронений к концу XVII — началу (первой половине?) XVIII в. И хотя ни одного захоронения старше XVII в. под притвором храма не обнаружено, полученные раскопками данные не противоречит имеющимся в письменных источниках сведениям о строительстве храма в начале 1760-х годов.

Однако такой датировке, как будто бы, противоречат найденные в слое под притвором храма монеты XVIII–XIX вв.

Монеты в раскопе 2002 г. и строительная история Георгиевской церкви

Всего в площади раскопа обнаружено 12 монет. Старшая из них (№ 1) отчеканена в 1730 г., а младшая (№ 12) — в 1852 г. (табл.1).

---

[22] Фрагменты керамики XIII-XVI вв. и единичные предметы эпохи средневековья (арбалетный болт, шиферное пряслице), найденные в кладбищенском слое, связаны с отложениями городищенского времени, уничтоженными на территории прицерковного кладбища.

[23] Конструктивно близкие серьги изображены на портрете крестьянки, написанном неизвестным художником в 1820-е годы (Медведева и др. 1987: 53).

[24] ПОМЗ, археологический отдел фондов, инв.№ ППМ-81/43; фонды Отдела археологии, инв. № П-92-Бог/уч.Б, кв.34, пл.12/№ 12.

[25] Напр.: инв.№ СП-МИР/А-3512-IV; СП-МИР/А-3387-IV; СП-МИР/А-3536-IV; СП-МИР/А-3421-IV и др.

Таблица 1. Монеты из раскопок Георгиевской церкви на городище Воронич в 2002 г.

№	Номинал	Год чеканки	Место находки	Глубина находки	Слой
1	денга	1730 г.	Притвор	+15.	Кладбищенский
2	полушка	1735 г.	Притвор	–25	Кладбищенский
3	денга	1739 г.	К югу от притвора	–4	Кладбищенский
4	денга	1748 г.	Притвор	+30	Кладбищенский
5	1 копейка	1798 г.	Притвор	+28	Серый с примесью кирпичного щебня и известкового раствора (перекоп)
6	2 копейки	1811 г.	Притвор	+35	Кладбищенский
7	2 копейки	1811 г.	Притвор	+57	Кладбищенский
8	2 копейки	1813 г.	Притвор	+67	Поддерновой
9	2 копейки	1817 г.	Притвор	+29	Кладбищенский
10	2 копейки	18?? г.	Притвор	–8	Кладбищенский
11	5 копеек	1837 г.	К югу от притвора	–10	Кладбищенский
12	3 копейки	1852 г.	Близ западного крыльца	+86	Поддерновой

Три монеты (№ 3, 11 и 12) найдены вне пределов постройки. Они могли попасть в слой как в период, предшествующий возведению храма, так и в период его функционирования. В любом случае, на определение времени возведения храма эти монеты непосредственное влияние не оказывают. Остальные девять монет (№ 1, 2, 4–10) обнаружены в пределах внутреннего пространства притвора, так что решающим для датировки храма оказывается определение механизма попадания в слой именно этих предметов. Действительно, если монеты оказались в кладбищенском слое в момент совершения захоронений[26], то время возведения храма отодвигается ко второй четверти — середине XIX в.

Для решения поставленного вопроса существенным является время обращения монет и место находки каждой из монет. Две из трех монет второй четверти XVIII в. (№ 1, 4) залегали в кладбищенском слое выше уровня погребений. Третья монета (№ 2) обнаружена близ поверхности материка на уровне залегания погр.№ 6, однако топография находки не исключает того, что монета «выпала» из северной стенки раскопа. Монета 1813 гг. (№ 8) найдена в поддерновом слое, а монета 1811 г. (№ 7) обнаружена в верхних сантиметрах кладбищенского слоя. Сильно корродированная двухкопеечная монета (№ 10), отчеканенная в годы правления Александра I, обнаружена на отметке –2 от репера. Она найдена при разборке слоя, над погр.№ 12–13; топография находки не исключает того, что монета могла «выпасть» из северной стенки раскопа. Двухкопеечная монета 1811 г. (№ 6) найдена в кладбищенском слое на отметке +35. Это означает, что она залегала в слое почти на 20 см выше ближайшего к месту находки монеты погр.№ 5 (открыто на отметках от +16 до +2). Двухкопеечная монета 1817 г. (№ 9) обнаружена в кладбищенском слое на отметке +29 от репера. Она также залегала в слое на 30–40 см выше топографически ближайшего погр.№ 10 (открыто на отметках от –4 до –13). Обе монеты найдены не только заметно выше погребений, сохранившихся в анатомическом порядке, но и не ниже поверхности, на которую были

[26] Имеется ввиду хорошо известный обычай бросать монеты в могилу «на окуп места»(Зеленин 1995:.92, 303).

положены валунные фундаменты притвора (от +20 до +30). Иными словами, эти монеты происходят из верхних сантиметров слоя, залегавшего под полом храма.

Найденная на отметке +28 от репера копейка 1798 г. (№ 5) найдена в перекопе, прорезавшем кладбищенский слой. Очевидно, что монета попала в слой после того, как на данном участке прекратили совершать захоронения.

Таким образом, ни одна из монет XVIII–XIX вв. не может быть определенно отнесена ко времени совершения захоронений, открытых под зданием Георгиевской церкви.[27] Монеты № 1, 2 и 4, отчеканенные, соответственно, в 1730, 1735 и 1748 гг., могли оказаться в слое до 1760 г., то есть — ранее самой ранней из предлагавшихся в литературе датировок строительства храма, к тому же стратиграфическое положение двух из них (№ 2 и № 10) не вполне ясно. Монеты № 7 и 8 теоретически могли попасть в слой в процессе музеефикации фундамента храма в 1980-е годы. Монеты № 6 и 9 могли оказаться под полом храма во время ремонтных работ, связанных с заменой в притворе деревянных половиц пола. Наконец, принадлежность монеты № 5 к слою кирпичного щебня и известкового раствора, позволяет относить ее ко времени проведения капитального ремонта храма.

Чрезвычайно интересен состав нумизматических находок из раскопок Георгиевской церкви. Среди монет, найденных в слое под зданием храма, отчетливо выделяются две хронологически компактные серии. В первую из них объединяются монеты второй четверти XVIII в. (№ 1, 2, 4), чеканившиеся по 10-рублевой стопе, утвержденной именным указом от 22 декабря 1730 г. (Узденников 1994:96, 97). Вторую серию составляют монеты, чеканившиеся в 1810-е годы по 24-рублевой стопе (№ 6–10 — см. Узденников 1994: 205), утвержденной высочайшим манифестом от 29 августа 1810 г. (Мельникова, Узденников, Шиканова 2000:166–167).

Вне серий остается копейка 1798 г. Обращение ее совместно с монетами ранней серии маловероятно: монеты, отчеканенные в царствование Павла I, отделены от монет ранней группы несколькими денежными реформами (Узденников 1994: 98–99). Сомнительно также обращение этой копейки совместно с монетами 1810-х годов, поскольку при проведении денежной реформы М.М.Сперанского старые медные монеты изымались из обращения и переплавлялись (Спасский1970: 205).

Таким образом, найденные в слое под притвором Георгиевской церкви монеты могли выпадать в слой как «поштучно», так и путем нескольких (не менее трех) «вбросов».

Монеты ранней серии, как уже отмечалось, могли оказаться в слое ранее 1760 г. Таким образом, на решение вопроса о времени строительства храма эти монеты, как будто бы, не влияют. Тем не менее, нельзя не отметить любопытную особенность ранней серии: все составляющие ее монеты чеканились в годы правления Анны Иоановны и Елизаветы Петровны. При этом, по крайней мере некоторые погребения, открытые под притвором Георгиевской церкви, определенно относятся к времени более раннему, чем вторая четверть XVIII в. Однако ни одной монеты, отчеканенной в годы царствования Петра I или в более раннее время, в площади раскопа пока не обнаружено. Таким образом, мы не распо-

---

[27] Определение монет, найденных в погребениях XIV–XVIII вв., как «оболов Харона» (то есть — денег, предназначенных для уплаты за перевоз через реки подземного царства) справедливо (Векслер, Петухов 2002:.203–206). Однако мы бы не решились обозначать в качестве «обола мертвых» (понятие, более привычное, нежели «обол Харона») монеты, найденные в заполнении могильной ямы: их появление связано с совершенно иными поверьями. В любом случае, «каждую находку ритуальной монеты в погребении (или в засыпке могильной ямы) следует рассматривать индивидуально» (Векслер, Петухов 2002: 205). В свете сказанного, определять все монеты, найденные на территориях кладбищ (тем более, происходящие из подъемного материала), как «оболы мертвых», будет по меньшей мере, неосторожно (Быков 2001: 145–146).

лагаем убедительными свидетельствами того, что в момент совершения погребений на Георгиевском кладбище Воронича в могилы бросали монеты. И, следовательно, связывать монеты № 1, 2 и 4 с совершавшимися на кладбище захоронениями затруднительно.

После сказанного, решимся предположить, что монеты ранней серии могли попасть в слой, подстилающий Георгиевскую церковь, непосредственно перед началом строительства храма. Разумеется, медные монеты, чеканившиеся по 10-рублевой стопе, находились в обращении в 30–50-е годы XVIII в. (Спасский 1970: 191–192) и начали изыматься с началом денежной реформы 1757 г., в ходе которой старые монеты перечеканивались (Узденников 1994: 98). Тем не менее, этот процесс растянулся во времени на несколько лет, а перечеканке были подвергнуты, главным образом, копейки 1755–1757 гг. (Узденников 1994: 98). Иными словами, в начале 1760-х годов в Псковской провинции, то есть — в «захолустье», по меткому определению С. Ф. Платонова (Платонов 1998:33), аннинская и елизаветинская медь могла находиться (и, безусловно, находилась) в обращении.

Таким образом, монеты ранней серии подтверждают, что исследованный раскопками 2002 г. храм был построен в начале 60-х годов XVIII в.

Очевидно, что наиболее достоверной из трех имеющихся в источниках дат — 1760, 1764 и 1765 гг. — является дата, обозначенная в «надписи на кресте, стоящем в Алтаре при жертвеннике» (РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336, л.1об) — 1764 г. Наличие в источниках двух дат — «1760 г.» и «1764 г.» — изящно объяснили авторы Записки, разделившие во времени начало и завершение строительства храма (Архив ГПЗ, д.1033, л.10). Следовательно, 1764 г. следует признать годом завершения строительных работ и освящения Георгиевской церкви. Правда, остается непонятным происхождение даты «1760 г.», однако она содержится уже в клировой ведомости 1803 г. (Архив ГПЗ, д.1033, л.15), так что эта дата могла восходить к независимому источнику.

Появление в источниках даты «1765 г.», безусловно, нуждается в объяснении. Прежде всего, очевидно, что эта дата, как и дата «1764 г.», должна восходить к надписи на кресте — основному источнику сведений о времени строительства храма, имевшемуся в Георгиевской церкви в середине — второй половине XIX в. Возможно, появление даты «1765 г.», связано с особенностями надписи. К сожалению, полный текст ее в источниках не приводится и достоверно восстановить его, видимо, уже невозможно, поскольку крест, вероятнее всего, погиб в пожаре вместе с прочим церковным имуществом. Поэтому мы вынуждены вступать в область гипотез. Если дата «1764 г.» в надписи на кресте была обозначена буквами, а не цифрами, она должна была иметь вид ѧψз҃д. В том случае, если в надписи на кресте содержалась дата «1765 г.», она имела бы в буквенном обозначении вид ѧψз҃ε. Очевидно, что д и ε невозможно спутать даже в том случае, если надпись была сильно поврежденной. Зато неверное прочтение буквенных обозначений цифр возможно в том случае, если буквенной дата в надписи обозначалась не от Рождества Христова, а от Сотворения мира. Дата «1764 г.» при переводе в летосчисление от Сотворения мира (1764+5508=7272) должна была иметь вид ѧзсов. Дата «1765 г.» в переводе на летосчисление от Сотворения мира (1765+5508=7273), имела бы вид ѧзсог. При плохой сохранности надписи ѧзсов, утратившая нижнюю петлю буква в (2) могла быть принята за г (3), что при переводе даты неизбежно вело к ошибке на один год. Таким образом, нельзя исключать, что дата «1765 г.» появилась в источниках в результате неверного прочтения надписи на кресте.

Монеты поздней серии хронологически компактны: две отчеканены в 1811 г. (№ 6, 7), одна — в 1813 г. (№ 8), одна — в 1817 г. (№ 9). Дата чеканки еще одной монеты не установлена из-за плохой сохранности находки (№ 10), однако нет сомнений в том, что монета была отчеканена в годы царствования Александра I. Разумеется, период обращения монет

поздней серии в провинции мог быть достаточно продолжительным, однако показательно то, что в слое под храмом не обнаружено ни одной монеты, выпущенной с началом денежной реформы Е.Ф.Канкрина (1840-е годы; см.: Мельникова и др.2000: 183–184). Таким образом, вероятной верхней хронологической границей для поздней серии монет оказываются 1820-е годы.

В этой связи вспомним, что в 1822 г., по наблюдениям авторов Записки (Архив ГПЗ, д.1033, л.10), в Георгиевской церкви производились ремонтные работы. Правда прямых указаний на проведение ремонта именно в 1822 г. источники не содержат: единственным основанием для такого вывода является расхождение сведений клировой ведомости за 1815 г. (отмечены ветхость кровли и колокольни; см.: Архив ГПЗ, д.1033, л.15) и описи имущества 1827 г. (отмечены покрытие тесом и отсутствие колокольни; см.: Архив ГПЗ, д.1033, л.14). Тем не менее, совпадение интервала времени, в пределах которого чеканились монеты поздней серии (1811–1817, но не позднее 1825 гг.) и хронологического интервала, в пределах которого могли быть проведены ремонтные работы в храме (между 1815 и 1827 гг.) вряд ли является случайным. Напомним, что в 1824 г. у апсиды Георгиевской церкви был погребен, И.С.Осипов, второй муж хозяйки Тригорского П.А.Осиповой, прихожанки Георгиевской церкви, много делавшей для укрепления прихода.[28] Вероятность того, что вскоре после похорон мужа П.А.Осипова выделила средства на ремонт храма (у апсиды которого покоился также прах ее отца, А.М.Вындомского, скончавшегося в 1813 г.), представляется нам достаточно высокой. В таком случае, монеты поздней серии могли попасть под притвор Георгиевской церкви во время ремонтных работ, связанных с заменой полов в храме.

Павловская копейка. Вне серий, как уже отмечалось, находится копейка 1798 г. Ее стратиграфическое положение вызывает особый интерес: монета найдена в перекопе, прорезавшем кладбищенский слой и состоявшем из серого слоя с обильной примесью кирпичного щебня и частиц известкового раствора. Вероятнее всего, перекоп, заполненный строительным мусором, связан с проведением в храме капитального ремонта. Если этот так, то павловская копейка позволяет датировать ремонтные работы концом XVIII или самым началом XIX в., то есть — тем временем, когда владельцем Тригорского был А.М.Вындомский.

Н.С.Новиков отмечал, что 1794 г. «в Георгиевской церкви проводился капитальный ремонт на средства, собранные прихожанами», причем из-за собранных средств разразился конфликт между А.М.Вындомским, хранившим церковную казну у себя дома, и священником Георгиевской церкви, о.Федором Яковлевым (Новиков Н.С.1998: 80). Оправдываясь, хозяин Тригорского писал: «Под моим попечением собрана сумма 905 р. 1 к. и я должен исправить *многие надобности*» (курсив наш — *Авт.*, цит. по Новиков Н.С.1998: 80). Если связывать перекоп, заполненный строительным мусором, с ремонтными работами 1790-х годов, то существенным оказывается присутствие в заполнении перекопа кирпичного щебня и частиц известкового раствора. Дело в том, что вплоть до 1909 г. Георгиевская церковь не отапливалась (Архив ГПЗ, д.1033, л.8), так что относить кирпичную крошку и частицы раствора за счет сооружения печей в храме не приходится. Тогда возможным объяснением наличию строительного мусора оказывается гипотеза о сооружении во время ремонта из кирпича цокольной части деревянного храма. Следовательно, ремонтные работы

[28] В 1830 г. П.А.Осипова отмежевала Георгиевской церкви часть принадлежавших ей земель (Архив ГПЗ, д.1033, л.6). В связи с попыткой перевести принадлежавших ей крестьян из прихода Воскресенской церкви в приход Георгиевской церкви П.А.Осипова отмечала, что священнослужители Георгиевской церкви «исполняют свои обязанности неупустительно, тогда как в Воскресенской... иногда более месяца не бывает службы» (цит. По: Новиков Н.С. 1998: 85).

1790-х годов носили характер полной перестройки здания храма и явно не ограничились одним строительным сезоном. Именно в процессе перестройки Георгиевской церкви, растянувшемся на несколько лет, и могла попасть под пол притвора храма павловская копейка.

Любопытным подтверждением сказанному является дата строительства Георгиевской церкви, приведенная И.Ф.Годовиковым — 1794 г. (Годовиков 1980:40). В письменных источниках эта дата отсутствует, и происхождение ее неясно. Напомним, однако, что Годовиков проводил топографическую съемку городища Воронич в 1857 г., то есть — еще при жизни П.А.Осиповой (†1859). Священнослужители Георгиевской церкви вряд ли могли назвать ему дату «1794 г.»: в самом храме в середине XIX в. уже существовала устойчивая традиция (связанная с надписью на кресте) относить строительство храма к 1764 г. Не от владелицы ли Тригорского получил инженер-полковник Годовиков информацию о возведении церкви на городище в 1794 г.? В таком случае, речь могла идти именно о перестройке храма, проведенной А.М.Вындомским в 1790-е годы, а мы получаем драгоценное свидетельство тому, что П.А.Осипова считала строителем Георгиевской церкви на городище своего отца.

Пушкин и ц.Св.Георгия на Вороничe
(вместо заключения)

— Случай! — сказал один из гостей.
— Сказка! — заметил Германн.
А.С.Пушкин. Пиковая дама

Таким образом, результаты раскопок 2002 г. не противоречат существующим представлениям о возведении Георгиевской церкви во второй половине или в конце XVIII в. Судя по всему, именно этот храм стоял на площадке городища Воронич в 1824–1826 гг., когда сосланный в родовое имение Пушкин посещал обитателей Тригорской усадьбы.

На схематичном рисунке Пушкина «Тригорское» (Цявловская 1980:12–13) Георгиевская церковь не показана, обозначен только дом П.А.Осиповой и одно из строений в черте дер.Воронич. Однако Пушкин, безусловно, знал храм на городищенском кладбище, прекрасно видный со стороны Тригорского парка (рис.5; ср. Софийский 1912: рис.51). У алтарной апсиды Георгиевской церкви находились захоронения ушедших из этой жизни владельцев Тригорского. Здесь в 1831 г. венчалась с бароном Вревским дочь Прасковьи Александровны Евпраксия Николаевна Вульф (Зизи), с которой Пушкин был связан близкими дружескими отношениями. Георгиевскую церковь, наряду с Воскресенской на погосте в дер.Воронич (правда, не указывая посвящения храмов), упоминает поэт в письме брату Льву от 7 апреля 1825 г.: «Я заказал обедню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти). Анна Николаевна также, и в обеих церквах Тригорского и Воронича происходили молебствия» (ПСС, 1937. т.13:162). Из письма Пушкина П.А.Вяземскому от 7 апреля 1825 г. следует, что поэт заказал обедню по Байрону священнику Воскресенской церкви о.Иллариону Раевскому («попу Шкоде»)[29]; при этом Пушкин отмечает: «Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба Божия боярина Георгия» (ПСС 1937, т.13:160). Таким образом, священнику Георгиевской церкви о.Корнилию Воронецкому заказывала обедню А.Н.Вульф. Правда, в литературе иногда отмечается, что обедню по Байрону в Георгиевской церкви заказывал А.Н.Вульф (Васильев 2000:25), но это, конечно

[29] Высказывалось мнение, что обедню по Байрону в Георгиевской церкви на Вороничe заказывал Пушкин (Васильев 1997:15).

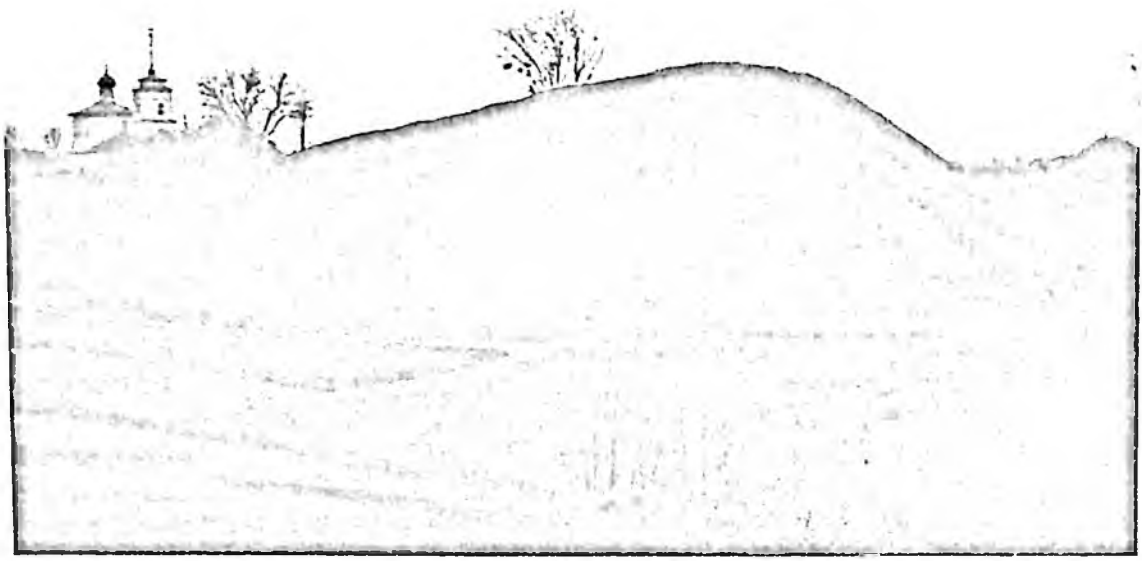


Рис.5. Георгиевская церковь на городище Воронич. Вид со стороны парка усадьбы Тригорское. Фото начала XX в.

же, ошибка, возникшая из-за совпадения инициалов Анны Николаевны и Алексея Николаевича.

В заключение процитируем фрагмент рассказа хранителя Пушкинского заповедника С.С.Гейченко «Без боязни обличаху»[30]:

«Наконец замелькали в тумане огоньки церквей Воронича и в большом тригорском доме.

— Теперь, почитай, приехали, – сказал Козлов. — Вот и имение Прасковьи Александровны! (...).

— А ну, постой, поворачивай к дому Осиповых, — распорядился жандарм.(...)

Подъехали к дому. Услыхав под окном звон почтовых колокольцев, кто-то распахнул двери. Ракеев и Козлов вошли в тускло освещенные сени и стали стряхивать с шуб снег.

Показался лакей в домашней ливрее и закутанная в большой теплый платок маленькая старушка, лицо ее было еле видно. Ей явно нездоровилось.

— Кто это? — тревожно спросила она вошедших, остановив свой взгляд на жандарме.

Приезжие поклонились. Офицер звякнул шпорами:

— Я капитан Ракеев, сударыня! Господин Тургенев уже здесь? — Помолчав, Ракеев добавил: — Я к вам, госпожа Осипова, с недоброй вестию... Привез Александра Сергеевича... тело... по предписанию государя императора...

Вновь услышав страшные слова, Прасковья Александровна схватилась за голову, бросилась в комнаты с воплем:

---

[30] Купюры в тексте цитаты обозначены (...), многоточия без скобок принадлежат С.С.Гейченко.

— Знаю, знаю… убили, господи, убили!

Показался Тургенев, прибывший в Тригорское четыре часа тому назад. Выбежали дети, слуги, дом наполнился плачем и стенаниями.

Ракеев был милостив. Он разрешил отслужить в Тригорском панихиду, очень уж все просили, да и согреться хотелось.

Скоро в церкви на Ворониче загудел траурный колокольный звон. Так начались похороны Пушкина» (Гейченко1986:92).[31]

В Георгиевской церкви на городище Воронич близ усадьбы Тригорское в принципе могли отслужить первую на Псковской земле панихиду по Пушкину. А.И.Тургенев, сопровождавший тело поэта в Святые Горы, записал 5 февраля 1837 г. в своем дневнике: «Отправились сперва в Остров, за 56 верст (от Пскова — *Авт.*), оттуда за 50 верст к Осиповой в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера; почтальона оставил я на последней станции со своей кибиткой. Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом… Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречал тело на дороге, которое скакало в монастырь» (Пушкин в воспоминаниях … 1998:202).

Таким образом, траурный кортеж по дороге в Святогорский монастырь действительно побывал в усадьбе Тригорское.

Правда, в письме к А.И.Нефедьевой от 9 февраля 1837 г. Тургенев не упоминает о том, что гроб с телом Пушкина завозили в Тригорское: «За 55 верст от Острова мы заехали, оставив гроб на последней станции с почтальоном и Дядькой, к госпоже Осиповой, в 3 часа пополудни… Она уже накануне узнала от дочерей, в П.Бурге живущих, о кончине П(ушкина), и встретила меня как хорошего знакомого и друга П(ушкина). Мы у ней отобедали, а, между тем, она послала своих крестьян рыть могилу для П(ушкина) в монастырь за 4 версты… После обеда мы туда поехали, скоро прибыло и тело» (Пушкин в воспоминаниях … 1998:217). Может сложиться впечатление, что гроб с телом поэта был привезен в Святогорский монастырь непосредственно «с последней станции». Однако в действительности никакого противоречия в сообщениях нет. Гроб с телом Пушкина, как это следует из дневника, был привезен в Тригорское более чем через три часа после приезда туда самого А.И.Тургенева. Следовательно, в момент выезда Тургенева в Тригорское, сани с гробом, почтальоном и дядькой поэта, Н.Т.Козловым действительно были оставлены на последней перед Тригорским почтовой станции. Таким образом, в письме Тургенева к Нефедьевой содержится рассказ, сокращенный, по сравнению с записью в дневнике.

Н.И.Грановская, специально изучавшая последний путь Пушкина, никак не комментирует остановку саней с гробом на последней перед Тригорским почтовой станции (Грановская 1999: 205). И в этой связи заметим, что Тургенев в письме к Нефедьевой упоминает о своем приезде в Тригорское во множественном числе («мы заехали»), оговорив при этом, что гроб был оставлен на последней станции «с почтальоном и Дядькой». Таким образом, попутчиком Тургенева в момент приезда в Тригорское был жандармский ротмистр. Следовательно, сани с гробом оставались на почтовой станции без официальных лиц, сопровождавших тело поэта в его последнем пути. Грановская подчеркивает, что «при перевозке мертвого тела длительные остановки на станциях (почтовых — *Авт.*) не разреша-

[31] С.С.Гейченко предполагал также, что панихиду по Пушкину «в своем церковном приходе на Вороничe» собирался отслужить дядька Пушкина, Никита Тимофеевич Козлов, однако служба должна была произойти уже после совершения погребальной церемонии в Святогорском монастыре(Гейченко 1986:112; 1981:232). Подтверждения в источниках эти сведения, как будто бы, не находят.

лись (стоять можно было только у церкви)» (Грановская 1999, с.205). Судя по воспоминаниям младшей дочери П.А.Осиповой Е.И.Фок, Тургенев приехал в Тригорское потому, что плохо знал дорогу (Последний год ... 1989:.593). Возможно, именно в этом стечении обстоятельств скрывается причина того, что гроб с телом Пушкина не отправили с последней станции непосредственно в Святогорский монастырь, а привезли в Тригорское. Очевидно, ни Н.Т.Козлов, ни почтальон с ямщиком не получили в момент отъезда официально сопровождавших гробниц никаких внятных распоряжений[32], и из-за существующего запрета на длительные остановки гроба были вынуждены покинуть станцию и везти тело Пушкина следом за Тургеневым, то есть — в Тригорское. Иными словами, появление в Тригорском саней с гробом следует объяснять случаем, но никак не целенаправленным, осознанным действием лиц, сопровождавших тело Пушкина.

Конечно, П.А.Осипова, прихожанка ц.Святого Великомученика Георгия, могла заказать панихиду по Пушкину в Георгиевской церкви на Вороничe. Однако, Е.И.Фок в своих воспоминаниях о приезде в Тригорское траурного кортежа ничего о панихиде не говорит: «Матушка недомогала, и после обеда, так часу в третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно: едет к нам возок с какими-то двумя людьми, а за ним длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям: видим, наш старый знакомый Александр Иванович Тургенев. По французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенько дороги в монастырь и прозябши, вместе с везшим гроб ямщиком приехали сюда... Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилась везти теперь же в Святые Горы» (Последний год... 1989:593).

Правда, по прошествии более чем 60 лет (записки Е.И.Фок относятся к 1898 г.) какие-то детали могли ускользнуть из памяти автора воспоминаний,[33] тем более, что Екатерине Ивановне в начале 1837 г. было всего 13 лет. Но ничего не сообщает о панихиде в Тригорском и А.И.Тургенев, дневниковые записи которого одновременны событиям, связанным с похоронами Пушкина. Вероятнее всего, звон погребальных колоколов над городищем Воронич в день последнего «приезда» Пушкина в Тригорское — это не более, чем образ, красивая легенда, ставшая заключительным эпизодом сложившейся в литературе апокрифической биографии великого русского поэта (Ср.: Клейн 2002:87).

Литература

Артемьев А.Р. 1999. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII — XVIII вв. Владивосток.

Беленькая Д.А. 1993. Медная пластика городов Московской Руси (XIII–XV вв.) // КСИА 208.

Белецкий В.Д.1998. Археологические работы в Государственном заповеднике имени А.С.Пушкина // Далекое прошлое Пушкиногорья. Вып.2, СПб

Белецкий С.В. 1999. Новые исследования псковского пригорода Вороноча // Далекое прошлое Пушкиногорья. Вып.4, СПб.

Белецкий С.В. 2001. Введение в русскую допетровскую сфрагистику. СПб.

Беляев Л.А.1994. Древние монастыри Москвы (кон.XIII — нач. XV вв.) по данным археологии. М.

Беляев Л.А. 1995. Древности Данилова монастыря (Церкви во имя Воскресения Словущего и Даниила Столпника) // Культура средневековой Москвы XIV–XVII вв. М.

Быков А.В. 2001.«Оболы Харона» русских кладбищ второй половины XVII — первой половины XVIII вв. (на примере подъемного материала из Вологды) // Девятая Всероссийская нумизматическая конференция. ТД и С. СПб.

[32] «Царь приказал Тургеневу сопровождать тело. В ту зиму Тургенев был в немилости. Это первое царское поручение так его взволновало, что его обычная суетливость перешла все пределы» (Тыркова-Вильямс 1998:.503).

[33] Судя по воспоминаниям Е.И.Фок, Тургенев и сани с гробом Пушкина появились в Тригорском одновременно, что противоречит сведениям, имеющимся в дневнике Тургенева.

Васильев М.Е. 1997. Минувшее проходит предо мною... М.

Васильев М.Е.2000. Минувшее проходит предо мною... Исторические очерки // Михайловская Пушкиниана. Вып.9, часть 2, М.

Векслер А.Г., Беркович В.А. 1999. Материалы археологических исследований некрополя Моисеевского монастыря на Манежной площади в Москве // Культура средневековой Москвы. XVII век. М.

Векслер А.Г., Петухов С.П. 2002. «Обол Харона» в погребениях средневекового некрополя церкви св.Троицы в Старых Полях (г.Москва) // Десятая Всероссийская нумизматическая конференция. ТД и С., М.,

Винокурова Э.П. 1999. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы. XVII век. М..

Гейченко С.С.1981. Пушкиногорье. М.

Гейченко С.С. 1986. У Лукоморья. Л.

Гейченко С.С. 1988. Приют, сияньем муз одетый. М.

Годовиков И.Ф.1880. Описание и изображение древностей Псковской губернии. Вып.1. Псков.

Гордин А.М. 1956. Пушкинский заповедник. М.

Гордин А.М. 1968. Пушкинский заповедник. Л.-М.

Гордин А.М. 1970. Пушкин в Псковском крае. Л.

Грановская Н.И. 1999. С Пушкиным от Царского Села до Михайловского. Очерк-путеводитель. СПб.

Гриценко Т.А., Пуцко В.Г. 2000. Русская металлопластика с Куликова поля // Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула.

Далекое прошлое Пушкиногорья. 1998. Вып.1, СПб.

Зеленин Д.К. 1995. Избранные труды. Очерки русской мифологии. М.

Кильдюшевский В.И.1983. Раскопки на улице Гоголя в 1977 г. // Археологическое изучение Пскова. М.

Клейн Л.С. 2002. Другая сторона светила. СПб.

Кренке Н.А. 2000. Нательные крестики из раскопок во дворе старого здания Московского университета // РА, 2000, № 1

Мельникова А.С., Узденников В.В., Шиканова И.С. 2000. Деньги в России. История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. М

Медведева Г., Платонова Н., Постникова-Лосева М., Смородинова Г., Троепольская Н. 1987. Русские ювелирные украшения 16–20 веков из собрания Государственного ордена Ленина исторического музея. М.

Никифоров В.Г. 2001. Земли родной минувшая судьба. История усадеб «Пушкинского уголка» и судьбы их обитателей // Михайловская Пушкиниана. Вып.17. М.

Николаева Т.В. 1960. Произведения мелкой пластики XIII-XVII веков в собрании Загорского музея. Каталог. Загорск.

Новиков А.В. 2001. Некрополь у церкви Богоявления на Загородском посаде в г.Твери // Тверской археологический сборник. Вып.4. т.II.

Новиков Н.С. 1998. Летопись Тригорского без легенд // Михайловская Пушкиниана. Вып.5. Б.м.

Островский А.Б. 1995. Православные нагрудные кресты (зримые черты символов) // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып.8–9. СПб.

Платонов С.Ф. 1998. Далекое прошлое Пушкинского уголка // Далекое прошлое Пушкиногорья. Вып.1. СПб.

Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники.1989. М.

Псковские летописи. 1941.Вып.1, М.-Л.

Псковские летописи. 1955. Вып.2, М.

Пушкин А.С. ПСС. М.-Л. 1937.

Пушкин в воспоминаниях современников.1998. Т.2. СПб.

Седов В.В. и др. 1987. Археологические раскопки в Пскове // АИП, вып.7, Псков.

Седова М.В. 1981.Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.

Софийский Л.И. 1912. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Псков.

Спасский И.Г. 1970. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. Л

Тыркова-Вильямс А. 1998. Жизнь Пушкина. Т.2. 1824–1837. М.

Станюкович А.К. 2000. Произведения русской средневековой металлопластики из округи Звенингорода (новые открытия) // Вестник клуба «Раритет». № 1

Узденников В.В. 1994. Монеты России XVIII — начала XX века. Очерки по нумизматике. М.,

Цявловская Т.Г. 1980. Рисунки Пушкина. М.

Чернов С.З. 2000. Погост Афанасия и Кирилла Александрийских в Радонеже по данным археологических исследований 1997–1998 гг. // РА. № 1.

Архивные Материалы

Архив ГПЗ, д.1033
РА ИИМК РАН, Р-III, № 5336

Сокращения:

ГПЗ	—	Государственный Пушкинский заповедник
ИИМК РАН	—	Институт истории материальной культуры Российской Академии наук
КСИА	—	Краткие сообщения Института археологии АН СССР (РАН)
МИР	—	Музей истории религии (Санкт-Петербург)
ОИРК ГЭ	—	Отдел истории русской культуры Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург)
ПОМЗ	—	Псковский объединенный музей-заповедник
ПСС	—	Полное собрание сочинений
РА	—	Российская археология
РА ИИМК РАН	—	Рукописный архив ИИМК РАН
ТД и С	—	Тезисы докладов и сообщений

Фото на с. 485: Л.С. Клейн руководит бригадой женщин-заключенных на раскопках могильника Саркела 1950 г.



УЧЕНЫЙ В «ПЕРЕВЕРНУТОМ МИРЕ»

WORLD UPSIDE DOWN

А.Г.Козинцев[1]

О ПЕРЕВЕРНУТОМ МИРЕ
(историко-антропологический комментарий к книге Льва Самойлова)

A.G. Kozintsev World upside down: marginalia on a book by Leo Samoilov

Leo Samoilov, in his tragic and provocative book on the late Soviet prison community, a member of which he himself was, pointed to numerous parallels linking it with certain late archaic stratified societies. In his view, which is consonant with modern "evolutionary psychology", deficit of culture causes human behavior to become more natural (in the biological sense) and regress to an earlier stage of social evolution. However, the emergence and rapid evolution of stratification in the prisoners' community over 130 years, as witnessed by Dostoyevsky, Chekhov, Solzhenitsyn, and Samoilov, among others, suggest that the process was historically determined rather than "regressive". At no stage can the prisoners' behavior be described as less cultural and accordingly more natural. This raises more general issues relevant for current debates over "human nature". In my view, no such thing exists. Species-specific behavioral norm is incompatible with culture.

Уникальность материалов, собранных Л.Самойловым в его книге о «перевернутом мире» — лагерной субкультуре начала 80-х гг. (Самойлов 1990:96–108) — заставит исследователей разных специальностей еще не раз обратиться к этому труду[2]. Основываясь на ряде интереснейших параллелей, Л.Самойлов приходит к мысли о том, что спонтанно возникшая структура лагерного сообщества (назовем ее лагерной системой, ЛС) как в общих чертах, благодаря наличию трех каст, так и в ряде деталей воспроизводит первобытное общество на стадии разложения. Объясняется это, как он считает, тем, что биологическая природа человека не изменилась за последние 40 тыс. лет (по новым данным — минимум за 100 тыс. лет, учитывая, что древнейшие находки людей современного типа имеют именно такой — среднепалеолитический — возраст). Дефицит культуры (в узком смысле слова) в закрытом сообществе приводит, по мнению Л.Самойлова, к возрождению дикаря.

Прежде, чем комментировать гипотезу Л.Самойлова с антропологической точки зрения, стоит взглянуть на эволюцию ЛС в России за гораздо более короткий отрезок времени — 130 лет (1849–1982). Наша задача облегчается тем, что четыре автора — Достоевский, Чехов, Солженицын и Самойлов — описали нам четыре хронологически последовательных момента этого процесса, разделенные интервалами по 3–5 десятилетий. Разумеется, их труды — лишь наиболее крупные вершины среди огромного массива литературы о тюрьме и каторге в нашем государстве. Но и они оказываются вполне достаточны для оценки масштаба происшедших изменений.

1. Мертвый дом. На предреформенной каторге сохраняются все основные особенности социальных отношений финальной стадии крепостнической эпохи. Хотя все носят кандалы и лоскутную одежду, сословные границы непреодолимы. Все попытки Достоевского установить с каторжанами из простонародья отношения на равных терпят неудачу: его либо отвергают, либо вызываются ему прислуживать. Об ЛС никто и не помышляет; люди в

[1] Музей антропологии и этнографии РАН, Санкт- Петербург, Россия

[2] Дискуссию по статье Л.Самойлова см.: Сов. этнография, 1990, вып.1, с.108-113; вып.2, с.96-103.

массе забиты, богобоязненны и покорны судьбе. Перебранки иногда носят почти пасторальный характер (наряду с матерщиной употребляются такие выражения, как «чума бендерская» и «язва сибирская»). В довершение картины, арестанты не только не наказывают доносчиков, но даже уважают их.

2. Сахалин. Хотя на пореформенной каторге кандалы и розги сохраняются, но начальство стало чуть помягче — засечь человека до смерти теперь нельзя. Обстановка становится менее патриархальной: бедняки и простоватые работают и за себя, и за других, а шулера и ростовщики пьют чай и играют в карты. Формального статуса ни те, ни другие, по-видимому, еще не имеют, однако это уже зародыш ЛС. В основе стратификации, впрочем, не физическая сила и не агрессивность, а деньги.

3. ГУЛАГ. В сталинских лагерях ЛС уже существует, хотя и не в окончательно сложившемся виде. Имеются «воры в законе», «паханы» и «мужики». Не совсем ясно, являются ли интеллигенты (и вообще «фраера») частью ЛС, как полагает В.Р.Кабо (Кабо 1990:109), или же, как склонен считать А.И.Солженицын, туда входят лишь блатные. Последние в союзе с охраной терроризируют «фраеров» и паразитируют на них. С «ворами в законе» соперничают «суки», роль которых возросла в годы войны благодаря поддержке лагерного начальства; при их победе воцаряется «беспредел» и ЛС уступает место хаосу. Прежние социальные роли еще важны, но ЛС начинает перемалывать попавший в сферу ее влияния контингент и переформировывать его на новой основе. Так, бывший доцент-филолог может стать паханом (Солженицин).

4. Лагеря эпохи финального социализма. В лагерях общего режима функционирует окончательно сложившаяся ЛС, которая охватывает весь лагерный контингент. С появлением низшей касты — «чушков» (неприкасаемых) иерархия приобретает классический трехчленный характер. В пределах каждой из трех мастей («воров», «мужиков» и «чушков») выделяются более мелкие подразделения. Быть вне ЛС невозможно, статус каждого заключенного четко определен и формализован. Прежняя социальная роль оказывается значимой (но не решающей) лишь при распределении по мастям. В лагерях строгого режима ЛС носит менее формальный характер, причем основной критерий статуса — лагерный стаж. Меньшая выраженность ЛС, по-видимому, сближает такие лагеря со сталинскими.

Итак, откуда же взялась ЛС? Разумеется, из прошлого. Но не из палеолитического, а из гораздо более близкого — предреволюционного. Едва ли дефицит культуры (в узком смысле слова) у лагерников последних десятилетий советской поры, когда ЛС переживала расцвет, ощущался сильнее, чем у арестантов Мертвого дома, где ЛС не существовала даже в зачатке. В «зоне», по крайней мере, все умеют читать и писать. По-видимому, к главным причинам зарождения и последующего усиления ЛС следует отнести либерально- прогрессивные, а затем и лево-радикальные тенденции государственной политики вообще и либерализацию лагерных порядков по отношению к уголовникам в частности. Если в Мертвом доме политзаключенные были освобождены от телесных наказаний (поскольку были дворянами), то охрана ГУЛАГа с полным основанием считала «социально близкими» именно блатных. Что же касается лагерей последней четверти XX века, то при всей мрачности нарисованной Л.Самойловым картины вряд ли кто-либо из лагерников (кроме разве что «чушков») согласился бы променять даже такое существование на кандалы и розги.

С другой стороны, и армейская дедовщина, как и ЛС, расцвела лишь в последние годы существования советского режима. Тут основным фактором было не столько смягчение дисциплины, сколько кризис господствующей идеологии (Банников 2002). Оба фактора можно свести воедино. Когда власть утрачивает способность или желание принуждать и/или убеждать, короче говоря, когда давление сверху ослабевает, образовавшийся вакуум

неизбежно заполняется «по инициативе снизу». В этом случае власти выгодно установить со стихийно возникающими "низовыми" структурами отношения симбиоза, в результате чего возникает своеобразная система двухступенчатого паразитизма (союз охраны с «ворами» — в лагерях, командиров с «дедами» — в армии).

Мы назвали внешние условия возникновения ЛС. Внутреннее же условие очевидно: физическая сила, агрессивность и безжалостность в сочетании со способностью к паразитизму должны приносить выгоду. В качестве примера паразитической структуры, функционирующей на маленькой замкнутой территории за счет грубой силы, можно привести институт бандитов-вождей на позднем этапе истории о-ва Пасхи (XIX в.). «Власть всегда узурпируется несколькими смутьянами, более дерзкими и злыми, чем остальные; они ежегодно сменяют друг друга, тираня народ, усугубляя его нищету и ускоряя его полное уничтожение». Символом власти служило яйцо крачки. Завладевший им претендент признавался вождем. Он получал абсолютную власть, его люди служили ему, как рабы, а его конкуренты вместе с их сторонниками оттеснялись в дальний конец острова, где гибли от голода и холода. Вождь же со своими людьми грабил островитян, в результате чего остров дошел до бедственного положения (Федорова 1993:87–88)[3]. Сравнение рапануйских вождей с «суками» и «ворошиловскими стрелками» можно дополнить сопоставлением фильмов «Холодное лето 1953 г.» и «Семь самураев».

Все прочее, в частности, трехкастовая структура и разветвленная символика — свойство многих самоорганизующихся замкнутых коллективов (Щепаньская 1993: 22,174). Л.Самойлов не зря сравнил одежду «воров» с эсэсовской формой. Объединившиеся в организацию бандиты — большие мастера «архетипического» маскарада и совпадения тут нередки. Фашисты, как известно, возродили целый пласт древней символики — свастика, руны, мечи, топоры, черепа, не говоря о засушенных человеческих головах или о том, что Бухенвальд по планировке воспроизводит Аркаим. Словом, раздолье для поклонников Юнга... Вся эта неоязыческая стихия отражает глубокое презрение ее создателей к христианству. Поэтому не исключено, что расцвет подобной символики в уголовной субкультуре связан помимо всего прочего и с ослаблением религиозности. Хотелось того атеистам или нет, массовой антирелигиозной пропаганде сопутствовало широкое распространение за пределы уголовного мира матерной брани, первоначально имевшей, как известно, магическое значение.

А теперь настало время сказать о биологической природе человека. Если бы мы подходили к поведению четырех описанных выше поколений лагерников с биологическими мерками, то должны были бы признать, что перед нами — разные виды. Действительно, например, в приматологии стиль социального поведения служит устойчивой видовой характеристикой. Но попытаемся выяснить, какой же из описанных стилей наиболее естествен для человека? Можно ли, в частности, утверждать, что поведение уголовников 80-х гг XX века соответствует природе человека, тогда как их предшественники, жившие 130 лет назад, вели себя менее «атавистично», поскольку лишены были возможности эту природу проявить? Некоторым историкам еще недавно казалось, что существует некое естественное для человечества состояние. Стоит его достичь — и история, как смена формаций, закончится. Одни видели такое состояние в капитализме, другие — в бесклассовом обществе. А что, если самое-то естественное состояние и есть ЛС? Не завершится ли исторический процесс всемирным беспределом?

Подобные рассуждения кажутся мне беспочвенными. Прежде всего потому, что вопрос о естественном состоянии человека и общества столь же бессмыслен, как и вопрос о

[3] За эту параллель я признателен Ю.Е.Березкину.

том, на каком языке заговорит ребенок, если при нем не произнести ни слова. О биологической природе человека можно говорить лишь в применении к его анатомии и физиологии, но не в применении к его социальному поведению. Видоспецифическая норма общественного поведения принципиально несовместима с языком и культурой.

Обезьяна по природе — обезьяна, но человек по природе — не человек. Он вообще никто. Человек он только по культуре. Он рождается на свет, не будучи запрограммирован ни на какую эпоху — ни на родовой строй, ни на рабство, ни на крепостничество, ни на социализм, ни на капитализм. От природы он не добр и не зол, не воинствен и не миролюбив. Он может стать и дикарем, и профессором. Кем угодно. Как ребенку безразлично, какой язык усваивать, так и человеку с еще несложившейся поведенческой программой безразлично, кому верить — жрецу, священнику, комсомольскому секретарю или пахану. Уходит одна мораль — приходит другая. Вакуум заполняется не биологией, а другой культурой. В данном случае слово «культура» следует понимать в самом широком смысле: бескультурье — тоже культура, хотя и плохая. Но «никакой культуры» быть не может, как не может быть «никакой погоды».

Можно, конечно, предположить существование социального отбора людей с наследственной предрасположенностью к тому или иному типу поведения. Четверть века назад я пытался в противовес тогдашней официальной концепции отстаивать именно такую точку зрения (Козинцев 1977: 44–49). С тех пор позиции социобиологии и т.н. «эволюционной психологии» (в западном ее понимании) упрочились и за рубежом, и у нас; я же теперь считаю подобные гипотезы не столько ошибочными, сколько излишними. Мы по-прежнему очень мало об этом знаем, что, кстати, тоже не случайно. Слишком уж ничтожна роль селективного фактора в сравнении с огромной пластичностью человеческого поведения, с неисчерпаемой способностью людей усваивать любые жизненные стратегии и менять их. Стойкость поведенческой программы — такая же усвоенная, а не природная, черта, как и внушаемость. Именно отсутствие какой-либо родовой наследственной отягощенности и позволяет человечеству с надеждой смотреть в будущее несмотря ни на что.

Литература

Банников К.Л. 2002. Антропология экстремальных групп. М.

Кабо В.Р. 1990. Структура лагеря и архетипы сознания // Советская. этнография. Вып.1.

Козинцев А.Г. 1977. Социальная среда и биологическая дифференциация человечества // Советская. Этнография. Вып.4.

Самойлов Л.(Клейн Л.С.). Перевернутый мир. Санкт-Петербург, 1993.

Самойлов Л. (Клейн Л.С.). Этнография лагеря // Сов. этнография. 1990. Вып.1.

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. IV. Гл.2.

Федорова И.К. 1993. Остров Пасхи. 1993. СПб.

Щепанская Т.Б. 1993. Символика молодежной субкультуры. СПб.

Банников К.Л.[1]

РЕЖИМНЫЙ СОЦИУМ. АНТРОПОЛОГИЯ ДЕСТРУКТИВНОСТИ[2]

K.L. Bannikov. Regimented communities. Anthropology of destructiveness

The present paper focuses on the sociocultural communities genetically formed under mechanical suppression of the free will of individuals socialized in various cultural traditions and value systems. The social pattern of the regimented communiteis (soldiers, prisoners, etc.) is a great confrontation of the two systems of organized violence. The first system is the forcible conscription for military service or impriason term under inhuman conditions when individual rights and liberty are suppressed by the system of the control in totality. The second system is the dominant relations between peoples of different social strata. Both systems complement each other. The totality of facts related to the violence in the sociocultural structures needs immediate and detailed investigating in social anthropology.

The scientific investigation of aggression and violence in contemporary Russia is rather specific: resulting from the structural transformation of all socio-political systems, violence and aggression invading all social strata are developing much faster than our knowledge about them. A discussion on the work by L. Klein presented in Ethnological Review edited at Russian Academy of Sciences (Etnograficheskoe Obozrenie) pioneered this way in the Russian anthropology of the perestroika period. Nevertheless, despite its particular significance for Russia, the problem of aggression, deviant social behavior, and status violence still remains unresolved. In Western anthropology, such works have established an independent division where the concepts and methods borrowed from other disciplines — psychology, sociology, ethology, and ethnology — were combined. These works consider aggression as a structure-forming, normalizing, and cultural factor. The analysis of informal social communities such as those of prisoners, marginal people, and policemen, as well as the theoretical studies of the deviant and protesting behavior are presented in the works on the problem discussed. Thus, a set of key problems necessary for the analysis of extreme communities as an anthropological phenomenon can be defined as follows: (1) norms of aggression and semiotics of violence in the social interaction, (2) person dependence on his social role performed, and (3) transformation of the personal value system during the transition from one sociocultural environment to another.

The analysis of these problems aids answering the questions on why educated and civilized people when joining the army adopt really inhumanly cruel forms of social contact, why their victims take violence as a social norm, and how it is possible to revive human moral values.

There are many archetypal correlations between social symbolism of non-formal hierarchy of regimented communities and archaic societies. But that is not reason to explore evolutionists scheme. I prefer identity terms 'archaic' and 'archetypal' rather then 'archaic' and 'primitive'. On expected data we can trace re-actualization of archetypes of unconsciousness in circumstances of cultural vacuum as only base for consolidation of chaotically gathered community under suppression of legal violence. Social relationship in regimented communties is not primitive. Strange forms of relationships are produced by natural adaptation function of deep structures of unconsciousness, which were realized in non-natural atmospheres of their mechanical and violent consolidation. The problem of cultural vacuum is solved by re-actualized archetypal paradigms as a factor of sociogenesis.

[1] Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия.

[2] При поддержке Фонда Джона и Кэтрин Макартуров. (Грант № 02-73281)

Сколько в России всевозможных казарм — тюремных и солдатских, коммуналок, бараков сезонных рабочих, рудокопов. Вот теперь еще и беженцев. Что происходит в казармах? Вообще, что такое казарма? Это понятие архитурное или социальное?

Когда одна часть общества решает строить казармы для другой части, то архитектоника пространства становится инструментом тотального контроля обитающего в нем социума, в результате чего происходит трансформация самой культурной сущности человека, и тогда казарма — это архитектура сознания. Поэтому темы архитектуры казармы и антропологии ее обитателей обуславливают друг-друга. Антропология — это архитектура социума.

В России проблема казармы как проблема антропологическая, то есть осмысленная через трансформацию самой человеческой природы. реализовалась в литературе. У истоков этой антропологической традиции мы видим «Записки из Мертвого дома» Ф.М.Достоевского. «Достоевский, прежде всего, великий антрополог, исследователь человеческой природы, ее глубин и тайн. Все его творчество — антропологические опыты и эксперименты. Достоевский — не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы. <...> Он проводит свои антропологические исследования через художество...», — пишет о нем Н.А.Бердяев (Бердяев 1993:4,5).

Таких исследователей человеческой природы в нечеловеческих условиях на протяжении всего XX века было много: не было недостатка тюрем в стране, и образованных людей в тюрьмах. Александр Солженицин, Варлам Шаламов, Лев Разгон, Анатолий Рыбаков, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Игорь Губерман и другие — в литературно-публицистическом ключе описывали эксперименты которые власть проводила с человеческой природой.

Л.С. Клейн — первый, кому удалось вывести эту фундаментальную антропологическую проблему из области литературы и публицистики в поле академической науки, вызвав хотя и не продолжительную, но, бесспорно, одну из самых ярких дискуссий в отечественной антропологии. Исследуя эту проблему традиционным этнографическим методом включенного наблюдения, он назвал одну из своих работ «Этнография лагеря», но в ней же вышел на более глубокий уровень проблемы — проблемы универсалий человеческой природы, поэтому данный подход, по сути своей антропологический.

Люди в казармах представляют собой концентрированную в пространстве на продолжительное время человеческую массу, собранную и локализованную механически, т.е. насильственно, и без учета их личностных особенностей и культурных принадлежностей.

Круг этих людей, замкнут и постоянен. Они одеты в одинаковую форму, вместо имен им присвоены номера. Перемещение их тел в пространстве, перемена функций и даже поз регламентированы общим распорядком, регулярными построениями, и прочими средствами тотального контроля. Эта человеческая масса изолирована от гражданского общества, но внутри нее ни один из индивидов не имеет возможность уединения. Они вынуждены вместе не только работать, но также есть, спать, строем передвигаться по территории, по команде справлять «естественные надобности», вместе и по команде мыться, читать, писать письма, чинить одежду — одним словом вместе *быть*. Их бытие тотально и режимно. Оно тотально унифицировано и подчинено режиму.

Когда в одной казарме насильственно собираются представители чуть ли не всех культур нашего мультикультурного отечества, то плотности тел на кубометр пространства соответствует такая же степень плотности культур — ведь за каждым «телом» лежат пласты культурных традиций. При этом ни одна из них не является общественно значимой. Концентрирование тел и культур в квадрате казармы — это процесс, и процесс опасный, срав-

нимый с процессом сжатия взрывчатки. Он ведет к взрыву культуры. Его не стоит путать с «культурным взрывом», даже если он и приводит к формированию самобытных казарменных субкульутр. Примерно как Вавилоново столпотворение, которое тоже не есть всего лишь неудачный строительный проект.

В естественных условиях «человеческий концентрат» не существует. Он стремятся к распаду, и выражением тенденции автораспада представляется агрессия, которая становится нормой поведения. Люди в казармах агрессивны. Мотивы агрессии, тем более поводы ее проявления могут быть самыми разные, но причина едина — вакуум жизненных смыслов, охватывающий каждого, кто лишен свободы выбирать среду своего присутствия. Поэтому сознание каждого в культурном вакууме в той или иной форме взрывается, как взрывалось бы его тело в вакууме физическом. Энергия этого «взрыва» - человеческая деструктивность, которая ищет выхода и не находит. Как в ядерном реакторе. Поэтому перед перспективой сосуществования эти люди, не способные разбежаться должны как-то строить свои отношения. Ключевое слово — «строить». Но из чего?

Что же происходит внутри этого человеческого «реактора»? Как взаимодействуют между собой ее отдельные человеческие «атомы»? В какие структуры они выстраиваются и как в них функционируют? Что движет их самоорганизацией? Ответы на эти вопросы представляют собой предмет особого антропологического интереса.

Надо сказать, что интерес к проблеме личности в культурном вакууме, в которой есть нечто от экзистенциализма, руководил изысканиями и классиков антропологии — Арнольда ван Геннепа (Gennep 1960) и Виктора Тэрнера (Turner 1957), которые видели в открытом ими феномене лиминального состояния возможность наблюдать человеческую природу в наиболее чистом виде, когда люди выпадают из контекста своей культуры и оказываются «ни здесь, ни там, ни то, они — в промежутках между положениями и предписаниями»(-Тэрнер 1983).

Одной из центральных тем, рассмотренных в дискуссии инициированной трудами Л.С.Клейна, была тема архаизации общественного сознания заключенных и общей схожести лагерной субкультуры и социальной структуры с первобытными культурами.

Общественное сознание режимных социумов тотального контроля отличается «архаическим синдромом», феномен которого представляет собой комплекс архаических явлений, представлений, стереотипов, представлений и норм поведения (Потестарность...1997:209) Есть мнение, что данный синдром «способствует размыванию или сужению сферы рационального, усиливает воздействие иррациональнго и чувственно-эмоционального восприятия окружающей действительности, укрепляет мифологическое мышление» (Потестарность...1997:209). Но думается, что архаизация сознания не только может предшествовать «размыванию сферы рационального», но, напротив, быть следствием этих процессов. С одной стороны, архаический синдром, охватывает не только режимные общества тотального контроля, но любые общества в период социальных кризисов, сопровождающийся дезинтеграции всех институтов и систем, включая системы права и власти.

У общества, ввергнутого в состояние хаоса дезинтеграции, и у тоталитарного социума, несмотря на такую разницу «числителей» есть один общий «знаменатель» - вакуум утраченных социальных смыслов. В ситуации кризиса он наступает вследствие социо-нормативной дезинтеграции, в ситуации тотального контроля — вследствие автоматизации деятельности индивидов, снимающей с них всякую ответственность за свою жизнь.(Асмолов 1996). Она уже принадлежит не им.

Архаический синдром вызывает вакуум социо-культурных смыслов, не зависимо от

того, чем бы он ни был вызван. При этом, употребляя определение «архаический» в контексте соотнесения его с процессами десоциализации и семиотической деградации следует понимать, что это не имеет отношение к самим архаическим культурам.

Здесь под архаизацией сознания понимается возврат не к древним культурным нормам, сложившимся в результате культурной эволюции архаических сообществ до уровня актуального оптимума их культуры жизнеобеспечения, но выхолащивание результатов этих культурогенных процессов вплоть до чистых архетипических алгоритмов — элементарных функций сознания, проецирующихся в образах, но лишенных культурного содержания. В этом проявляет себя обратимость культурных процессов вплоть до возврата сообщества в нулевую фазу культурогенеза (Кабо 1990:111). Поэтому по состоянию общественного сознания сообщества заключенных или солдат гораздо более архаичны чем самая архаическая культура.

Архетипические явления, вообще, аисторичны. Их нельзя рассматривать в эволюционных и исторических категориях. Архетипы культуры вневременны, поэтому в чистом виде не существуют. Поэтому архетипическая структура в указанных сообществах с развитием новых социальных отношений начинает наполняться новыми социокультурными смыслами. В реактуализации архетипов коллективного бессознательного как регулятора социально-нормативных отношений, представлена попытка преодоления вакуума смыслов.

Итак, в условиях культурного вакуума и кризиса нормативно-правовых традиций основа для взаимодействия оказывается единственная и всеобщая — архетип. В реактуализации архетипа мы видим принцип самосохранения культуры и тенденции культрогенеза.

Но что же происходит с конкретным человеком, попавшим в поле действия архаического синдрома? Человек, попавший под пресс тотального контроля, не может действовать как субъект информации, то есть как лицо, обращающееся с информацией творчески. Его деятельность автоматизирована, а в среде автоматизации деятельности остается не востребованным конституирующий человека фактор — его интеллект. Социальная функция заключенного, и, особенно, солдата — подчиняться на уровне рефлекса, реактивно выполнять адресованные ему команды-сигналы, а не размышлять над их содержанием. Приведение человека к такому состоянию, в котором автоматизация деятельности не вызывала бы у него психологический дискомфорт, то есть адаптация к среде тотального контроля, может быть осуществлена лишь через десоциализацию.

Если в процессе социализации человек с рождения начинает усваивать сложные объемы культрно-значимой информации, совершенствуясь в способности с ней оперировать и формировать новые смыслы, ориентируясь на жизнь в мире открытых связей, общение с разными людьми, укрепление самоидентификации и широкую свободу действий, то в казармах он вовлечен в ровно противоположные процессы, обусловливающие его десоциализацию. Это изоляция от внешнего мира; постоянное общение с одними и теми же людьми, с которыми индивид работает, отдыхает, спит; утрата прежней идентификации, которая происходит через ритуал переодевания в спецформу; переименование, замена старого имени на «номер» и получение статуса; замена старой индивидуальной обстановки на новую, обезличенную; отвыкание от старых индивидуальных привычек, ценностей, обычаев и привыкание к новым общим; утрата свободы действий (Goffman 1971).

Если личность как субъект культуры — это всегда аккумулятор и ретранслятор множества культурных потоков, узел смыслов, в котором переплетаются синхронные и диахронные информационные потоки культуры, то подавление свободы социализированной личности приводит к прерыванию этих потоков (Арутюнов 1989). Именно это и происходит в режимном социуме, и десоциализация личностей неизбежно сопровождается последова-

тельной десемиотизацией всей сферы межличностного общения. О чем говорит упрощение вербальных коммуникаций тех же солдат до терминов-эквивалентов физиологической коммуникации, в которой физиологические акты становятся символами фаз служебного взаимодействия: «Я тебя вые...у!» — «А мне нас...ть!». Когда же и эти термины не срабатывают, то общество переходит от слов к действиям и санкционирует мужеложство как акт разграничения социальных статусов его субъекта и объекта, или когда одежда париев пачкается экскрементами, или же когда их заставляют их в туалетах постоянно «драить очко», и т.д. Общество, так или иначе, организует постоянный символический контакт пария с экскрементами, дабы обозначить периферию социума по принципу «антисуществам — антивещество».

Но все-таки, издеваясь над парием, его не убивают. Издевательство есть творческий подход к насилию, и это позволяет надеяться, что поэтому распад культуры в десемиотизации не является окончательным и необратимым. Видимо, механизмы самосохранения культуры заложенные в самой феноменологии символического мышления.

Когда физиологический контакт становится символом контакта социального контакта, а орган самца приобретает значение символа власти, то можно говорить о первом уровне полисемантики социального взаимодействия, который в свою очередь означает начало культурогенеза. Отсюда сходство с первобытными статусными символами власти в знаковой актуализации полового органа: среди солдат и среди заключенных распространена практика его хирургической трансформации и «украшения» имплантациям различных инородных предметов с целью демонстрации социального статуса (Губерман 1991). Л.С. Клейн ее сравнивает с «ампалангами», которые описывал Н.Н. Миклухо-Маклай у малайских племен(Самойлов 1990:103).

Тот же смысл фаллических демонстраций этологи наблюдают у приматов (Бутовская 1999) Таким образом пример актуализации физиологии в сфере социально-статусной семиотики сам по себе не сводит культуру к физиологическим процессам, вопреки утверждениям З. Фрейда и его школы. Эти утверждения, как раз наоборот, доказывают обратное.

Сама постановка вопроса о функционировании физиологии на уровне языка знаков переводит проблему сексуального поведения в область семиотики культуры. «Коренная ошибка фрейдизма, — пишет Ю.М.Лотман, — состоит в игнорировании того факта, что стать языком можно только ценой утраты непосредственной реальности и переведения ее в чисто формальную — "пустую" и поэтому готовую для любого содержания сферу. Сохраняя непосредственную эмоциональную (и всегда индивидуальную) реальность, свою физиологическую основу, секс не может стать универсальным языком. Для этого он должен формализоваться, полностью отделиться, — как это показывает пример признающего свое поражение павиана, — от сексуальности как содержания. <...> Попытки возвратить в физиологическую практику все те процессы, которые культура производит, в первую очередь, со словом, делают не культуру метафорой секса, как утверждал Фрейд, а секс — метафорой культуры».(Лотман 2000:141). Культурогенез, естественно, не исчерпывается символизацией физиологии и физического контакта, но характеризуется.

Было бы ошибкой считать символизацию агрессии однозначным преодолением насилия. Культура вообще не поддается однозначным интерпретациям. Семиотика насилия, придающая элементарной деструктивности смысловую многомерность, открывает возможность перехода от манипуляций с телами к манипуляцией со смыслами, в которой возможно как аккумулирование деструктивности, так и ее преодоление.

Культура демонстрирует нелинейность и обратимость своего развития, но в этом открывает и глубинные системы своего самосохранения, коренящиеся в законах всякого су-

ществования, данных людям в архетипах сознания — в способностях к системному восприятию мира, или восприятию мира как системы. (Лотман 2000:258, Юнг 1998: 331).

Режимные общества отличаются высоким уровнем агрессивности и роли агрессии в организации межличностного взаимодействия, и, соответственно, высокой степенью ритуализированности агрессии и конфликта. Следовательно, можно предположить, что архаизация сознания и повышенное социальное значение агрессии — явления взаимосвязанные.

В агрессии и конфликте заложен потенциал системообразования, поэтому они не обязательно деструктивны, но так же могут быть и конструктивным фактором культуры. М.Л. Бутовская обращает внимание на логику ксенофобии в филогенезе: недоверие к чужакам является психологическим механизмом, призванным обеспечивать социальную целостность группы, ее защиту от экспансии чужого извне.(Бутовская 1999: 44). Так что фундамент негативного восприятия иноэтничности архетипичен.

Ксенофобии — характерная черта закрытых социумов и культур. Наверное, возможно проследить зависимость степени фобии в обществе от степени его закрытости. Формы реализации социальных фобий у солдат и заключенных имеют аналогии с древним миром.

Древняя история знает социальную аналогию опущенных у солдат и заключенных. Рене Жирар приводит в качестве примера феномен фармака, игравшего архетипическую роль «козла отпущения» в греческом полисе.

«Предусмотрительные Афины содержали на свой счет несколько несчастных для жертвоприношений этого рода. В случае нужды, то есть, когда город поражало или грозило поразить какое-то бедствие: эпидемии, голод, чужеземное вторжение, внутренние распри, в распоряжении коллектива всегда имелся фармак. <...> Жертва считается той скверной, которая заражает все вокруг себя и смерть, которой действительно очищает общину, поскольку возвращает туда мир. Поэтому «фармака» и проводили чуть ли не повсюду — чтобы он впитал всю нечистоту и взял ее на себя; после этого «фармака» выгоняли, или убивали во время церемонии, в которой участвовало все население» (Жирар 2000: 118–119).

В концепции Жирара смысловое значение обрядов с участием фармака — социальная идентичность, интеграция и очищение социума от скверны путем изгнания ее персонификатора. «Данный обряд — это повторение спонтанного самосуда, который вернул в общину порядок, поскольку против жертвы отпущения и вокруг нее воссоздал единство, утраченное во взаимном насилии. <...> Вся злоба прежде раздробленная на тысячи разных индивидов, вся ненависть, прежде направленная куда попало, теперь сходится к единственному индивиду, к *жертве отпущения*» (Жирар 2000:101, 118–119).

Фармак по смысловому значению своей персоны в древнегреческом социуме представляет социально-историческую аналогию армейскому чмо. Жертва появляется на фоне потребностей общества в идентичности и консолидации, что не умаляет ее архетипического значения. Напротив, она служит еще одним подтверждением социогенной роли коллективного бессознательного, восстанавливающего идентичность общества на грани его распада: «мы не знаем, кто мы есть, но точно знаем, что мы — не есть чмо».

В отношениях к опущенным явно прослеживается тема их обезразличивания вплоть до половых признаков. Опущенные в режимных однополых мужских сообществах занимают символическую нишу женщин, чем общество воспроизводит основу социального структурирования половое деление.

Вместе с тем в социальной феноменологии третируемых коллективно и постоянно париев проявляется архетип жертвоприношения, в котором социум жертвует своей частью ради целого, и формирует образ антипода, чтобы выводить идентичность от обратного. В образе инородца, врага, чмо - чужого общество воспроизводит образ того, чем оно не явля-

ется, и чего, в соответствии с общественными стереотипами быть не должно. Поэтому социум нуждается в асоциальном, как в факторе, обеспечивающем его идентичность и консолидацию. Именно поэтому этимология слова *фармак* восходит к *фармакон* — яд и лекарство «в одном флаконе».

В процессах десемиотизации социального взаимодействия реактуализируются в своем первичном филогенетическом значении элементарные психические парадигмы — агрессия и фобии — как средства социальной мобилизации режимных сообществ и формирования социальной идентичности их членов. Ресоциализированные личности, переходя из режимного сообщества в гражданское, забирают с собой и деструктивные средства конструирования идентичностей. Так бывшие десантники празднуют День ВДВ не слишком оригинально — устраивают национальные погромы. Во многих городах России еще в конце 1980-х годов они в этот день громили рынки, тупо избивая всех торговцев неславянской внешности. Отрицание иноэтничности легко накладывалось на отрицательные социальные стереотипы по отношению к торговцам, традиционные для общественного сознания большинства россиян. Эта «горючая смесь» этносоциальных пластов ментальности детонирует в группах, образовавшихся путем десоциализации. В них факторы культуры утратили свою сдерживающую функцию, открыв шлюз архетипам агрессии и деструктивности.

В данном архетипе проецируются и объективируются вовне внутренние проблемы социума и идентичной с ним личности. Социальная консолидация достигается в логике восприятия иноэтничности, в которой люди-антиподы в общественном сознании рисуются в образах других расовых и этнических типов.

Аналитическая психология объясняет негативные стереотипы иноэтничности через содержание коллективного бессознательного, в котором объективируются «опасные аспекты непризнанной темной половины человека», оживающий в концепции К.Юнга архетип Тени, конкретизированный образами черта, колдуна, демона и пр. «Образ демона является, пожалуй, одной из самых низших и древних ступеней в понятии бога. <...> Эта фигура появляется зачастую как темнокожая или монголоидного типа, если она представляет негативный или же опасный аспект» (Юнг 1998:333).

Теория фрустрации-агрессии, как это следует из самого названия, предполагает прямую связь между деструктивным поведением и фрустрациями — психическими реакциям, возникающими в результате препятствий самореализации. Аспекты фрустрации могут оставаться активными в определенные периоды времени в разных сферах деятельности, и если они происходят из различных событий, то могут складываться в сумме(Megargee 1969:1059–1060).

Есть основания считать этнический аспект насилия следствием фрустрации бытовой агрессии в поле восприятия иноэтничности. В российском обществе, претерпевшем в XX в. ряд этнических и социальных метаморфоз, всегда имелись большие группы людей, в поисках собственной идентичности предрасположенных к поискам всевозможных метафизических антиподов, галерея которых представлена полным этносоциальным спектром: от «врагов народа» до «врагов рода человеческого».

Если в эпоху национальных войн образу антипода вполне соответствовала модель иноэтничности, гражданских войн — иносоциальности, то в эпоху мировых войн образ антипода может быть возведенным только за счет факторов антропологического порядка — эксплуатируя тему антиподов глобального порядка — в полном объеме — от «классового врага» (там, где национальная мобилизация осуществлялась посредством негативного классового фактора), или «расово неполноценных» (там, где национальная мобилизация осуществлялась посредством негативного расового фактора). Поэтому в первом случае наци-

ональная консолидация привела к глобальным внутренним репрессиям в Советском Союзе, во втором — к глобальной военной экспансии фашистской Германии.

Впрочем, нет нужды погружаться ни в глубины антропогенеза, ни в пыль истории, чтобы наблюдать роль образа антипода в консолидации социумов — архетип антиподов успешно эксплуатируется и современной политикой. Левые и правые партии и политические движения в спекуляциях на темы национал-социальных антиподов доходят до того, что в качестве таковых рассматривают в первую очередь друг-друга, хотя логика политической культуры предполагает им видеть друг в друге партнеров, равноправных субъектов общего политического пространства. Политичекая культура также подвержена десемиотизации и архаизации.

О степени архаизации политического сознания говорят образцы политического пиара, в котором успешно эксплуатируются архетипы коллективного бессознательного; в отдельных, наиболее успешных акциях отчетливо прослеживаются архетипы строения мифоритуальных систем.

Об архаизации общественного сознания свидетельствует культ власти и потребность в вожде. Сама по себе потребность в вождях говорит о многом. Как минимум о стремлении к переадресации ответственности от публики к лидеру, ее неспособности к самоорганизации, то есть о проблемах принятия демократической модели, связанных с массовой инфантильностью, за которой кроется страх гражданской ответственности обывателя за судьбу своей страны и за собственную судьбу. В этом наиболее «глубоководная» часть посттоталитарного общества пытается воссоздать комфортную для атмосферу высокого давления, нагнетаемого через инструменты тотального контроля и регламентирования бытия. Здесь нам открывается фундаментальная проблема. Как работают демократические институты в обществе, переживающем архаический синдром?

Вообще-то любые формы информационного контакта предполагают информационную адекватность корреспондента и адресата. То есть, если информация адресуется носителям архаизированного сознания, то информация должна быть выдержана в парадигме архетипического алгоритма. Это во-первых, мобилизационный ресурс филогенетических фобий, во-вторых, идея харизматического лидера. Харизма — это тип власти, основанной на авторитете лидера, персонифицирующего социальные ожидания масс. На современном политическом сленге харизма называется рейтингом.

Политические технологии строятся на техники формирования рейтингов на уровне коллективного бессознательного. Здесь в структурах и процессах пиара прослеживаются алгоритмы архаических мифоритуальных систем. В качестве примера приведем три взаимосвязанных эпизода из предвыборной деятельности В.В. Путина, когда он готовился к конкурсу на вакантную должность президента РФ.

Все помнят, как в СМИ освещалась персона В.В.Путина в период первой предвыборной кампании. Какие наиболее яркие эпизоды нынче, в канун второй предвыборной кампании может вспомнить избиратель? Вот будущий президент в одежде матроса спускается на подводной лодке в морскую пучину. Вот он в костюме пилота взмывает на истребителе в поднебесье. Вот он в белом халате посещает ферму и щупает некую субстанцию типа навоза, комбикорма или удобрений.

Если спросить любого, кто запомнил эти сюжеты — никто не вспомнит, что это были за ферма, лодка, самолет и с какой целью Путин там был. В данном контексте цели и текущие задачи — частности, не имеющие значения на фоне той абсолютной компетенции, которая и была продемонстрирована обывателю визуальным рядом. Дескать, смотрите люди, ваш лидер компетентен во всех зонах универсума — в небе, на земле и под водой; костюмы

подводника, пилота и агронома — знаки этих многомерных компетенций, которые при сочетании в одном лице сигнализируют о его *сверхкомпетенции*.

Если из трех костюмов скроить один, то мы поступим согласно архетипическому канону построения композитного образа медиума, и получим шаманский костюм, в котором объединены знаки верхнего среднего и нижнего мира: что-то от людей, что-то от птиц, что-то от змей. Именно так делается костюм шамана. Шаман, как сверх-компетентный субъект и медиум, объединяющий миры и гарантирующий целостность мироздания — он одновременно и живой, и мертвый. Более радикальная бинарная оппозиция может быть представлена разве что в композитном образе, объединяющем в одном лице демократа и полковника КГБ.

В композиции социальных знаков и символов достигается и объединения социума, что хорошо, и в этом — социальное значение всех мифоритуальных систем. Только проблема в том, что традиционные и архаические общества представляют собой социумы закрытого типа и тотального контроля и жесткого режима, регулируемого целой системой религиозных норм, предписаний, табу и страхов. Современное демократическое общество строится на иных принципах. Поэтому власть, эксплуатирующая архетипы коллективного бессознательного как ресурс управления является продуктом не демократического выбора гражданского общества, но архаического синдрома десоциализированной и дезориентированной массы. Такая власть есть политический шаманизм.

У нас нет оснований подозревать власть и ее политтехнологов в злоупотреблениях структурной мифологией. Скорее всего, они сами, как настоящие художники, действуют интуитивно, неосознанно, чем и добиваются максимального воздействия на коллективное бессознательное, обеспечивая автоматическую ретрансляцию смыслов на массовую аудиторию с максимальной степенью усвояемости, какую может гарантировать только воздействие на коллективное бессознательное.

Это как бы само по себе не страшно, если бы автоматизация построения и ретрансляции массовых смыслов не противоречила бы принципам формирования гражданского общества, основанных на осознании гражданской ответственности, каждого за свою судьбу и судьбу страны. Логическое завершение данной тенденции автоматизации и тотализации социально-политических смыслов — фашизация социума.

Дело не в том, что фашистские организации, начиная с классических, кончая современными, демонстрируют привязанность к архаическим квази-идеологиям: от германского «арийства» до славянского «неоязычества». Это всего лишь побочный эффект, так сказать, визуальный ряд процесса. В основе процесса фашизации социума — идеологический катализ в котором жизнь человека наполняется неким высшим смыслом возвышения его частного «я» до тотальной судьбы нации от сотворения мира до его гибели за систему. В обмен на снятие с него всяческой ответственности система дарует ему право раствориться в ней.

Тотализация жизненных смыслов при автоматизации их формирования и переадресации ответственности - такая сделка особо выгодна маргиналам, представляющие мощный мобилизационный ресурс любой власти. Только не любая власть может его использовать.

Когда слабая (случайная) власть пытается стать сильной (закономерной), у нее всегда возникает соблазн использовать деструктивные факторы национальной консолидации и перейти к спекуляциям на тему бытового расизма, в качестве средства соискания популярности и/или социальной мобилизации. Для того, чтобы говорить о том, что процесс фашизации социально-политического поля России, начиная с его маргинальных сфер, идет полным ходом не надо далеко ходить за примерами: достаточно взглянуть на неконституцион-

ные действия субъектов исполнительной власти, (от проверок регистрации и травли кавзазцев до милицейских облав на призывников на московских улицах), или на фашизированные демонстрации законодательной власти (демонстративный отказ парламента почтить память жертв Холокоста, проблемы с принятием закона о запрещении пропаганды фашизма, попустительство активным акциям неофашистов, этнические «чистки», фашизация отдельных приходов православной церкви на фоне ксенофобных пассажей из уст церковных иерархов, использование демократических институтов - СМИ, судов, партий, парламентов - в качестве инструментов тотального контроля). Ведь эти действия не только не вызывают социального протеста широких масс, но получают с их стороны одобрение. А точнее, такие пассажи власти есть результат популизма — желания нравиться широким массам избирателей.

Не только (и, рискну предположить — не столько) авторитарный стиль правления производит концлагеря, но лагеря, точнее, лагерное мышление общества воспроизводят тоталитаризм. Личность, социализированная в условиях тотального контроля, получая свободу выбирать форму социально-политического устройства, неизбежно возведет здания, архитектурой своей напоминающие бараки и казармы. Общество, охваченное архаическим синдромом со свойственными ему филогенетическими фобиями, при предоставлении ему демократической возможности самоорганизации, выбирает примитивные формы порядка — тотальный контроль и строгий режим. Фашизм — это выбор десоциализированной массы.

Если этого все-таки не происходит и общество не срывается в пропасть, то мы видим причиной эффект антиэнтропии, присущей самой культуре, а также культурообразующую роль тех, кто сумел сохранить ее в лагерных бараках, увидев в собственном заключении «всего лишь» очередную научную командировку (Самойлов 1993).

Литература

Арутюнов С.А. 1989. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.

Асмолов А.Г. 1996. Культурно-историческая психология и конструирование миров. Москва-Воронеж.

Бердяев Н.А . 1993. О назначении человека. М.

Бутовская М.Л. 1999. Этология человека: история возникновения и современные проблемы исследования // Этология человека на пороге XXI века. М.

Гилинский Я. И.1990. Субкультура за решеткой // Советская Этнография. № 2.

Губерман И. 1991. Прогулки вокруг барака. М.

Жирар Р. 2000. Насилие и священное. М.

Кабо В.Р.1990. Структура лагеря и архетипы сознания // Этнографическое обозрение. № 1.

Левинтон Г. А. 1990. Насколько "первобытна" уголовная субкультура? // Советская Этнография. № 2.

Лотман М.Ю. 2000.Семиосфера. СПб.

Потестарность. Генезис и эволюция. 1997. СПб.

Лев Самойлов (Клейн Л.С.) 1990. Этнография лагеря // Этнографическое обозрение. №1.

Тэрнер В. 1983. Символ и ритуал. М.

Юнг К.Г. 1998. Бог и бессознательное. М.

Gennep A. van. 1960. The Rights of Passage. Chicago.

Goffman E. 1971. Relation in public microstudies of the public order. London.

Megargee E.I. 1969. The psychology of violence: a cultural review of theories of violence // Crimes of violence. Vol. 13 Washington.

Turner V.W. 1957. Schism and Continuty in the African Society. Manchester.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редакторов 3
Список трудов Л.С. Клейна 5

Л.С. Клейн и археология в Петербурге

Лебедев Г.С. Л.С. Клейн и петербургская школа российской археологии 29
Платонова Н.И. Истоки Санкт-Петербургской школы археологии (конец XIX — 1 треть XX века: Н.П.Кондаков, В.Р.Розен, А.А.Спицын, Ф.К.Волков, А.А.Миллер) 43

Теория и история археологии

Рандсборг К. На пути к всемирному прошлому 74
Кристиансен К. Кому принадлежит прошлое? Размышления о роли и ответственности исследователя 79
Гарден Ж.-К. Современные достижения в теоретической археологии 87
Колпаков Е.М., Назаренко В.А. Методология археологических раскопок 100
Табачинский С. Реконструкция прошлого: познавательный статус археологических источников 105
Шер Я.А. Еще об археологических источниках и «заключенной» в них информации 114
Ковалевская В.Б. Какую математику выбирает археолог? 124
Лесман Ю.М. Кластерные, хронологически значащие и датирующие типы 138
Васильев С.А. Современное палеолитоведение и российская археология 157
Буровский А.М. Неклассическая и постнеклассическая археология 167
Барфорд П. Польская археология и марксизм: этап уже пройден? 182
Яник Л. «Молчаливый» феминистский вклад в археологическую мысль 198

Время и культура

Мюррэй Т. Архиепископ Ашер и археологическое время 204
Шеннан С. Нео-культурная история: эволюционная археология культурных традиций 216
Хэрке Х. Материальная культура в пост-Советской России: взгляд археолога 226
Триггер Б. Изучение монументальной архитектуры ранних цивилизаций 237
Ковалев А.А. Древнейшая миграция из Загроса в Китай и проблема прародины тохаров 249
Березкин Ю.Е. Сибирско-североамериканские связи в области мифологии 293
Коршунков В.А. Детский фольклор и весенние обряды восточных славян 331

Вещи говорят

Дергачев В.А. Культурная функция скипетров и модель их возможной археологизации (по данным гомеровского эпоса) 338
Бочкарев В.С. О функциональном назначении петель-ушек у наконечников копий эпохи поздней бронзы Восточной Европы и Сибири 385
Избицер Е. Модели "повозок", "флейты Пана" и северокавказская культура 409
Резепкин А.Д. Поселение эпохи ранней бронзы Чишхо и некоторые аспекты происхождения и хронологии майкопской культуры 422
Стеганцева В.Я. Реповидная керамика катакомбной культуры (к постановке проблемы) 437
Щукин М.Б. Умбон из кургана садовый под Новочеркасском 445
Ашешова А.Н., С.В. Белецкий, С.Л. Плотников. Георгиевская церковь на городище Воронич 464

Ученый в "перевернутом мире"

Козинцев А.Г. О перевернутом мире (историко-антропологический комментарий к книге Льва Самойлова) 486
Банников К.А. Режимный социум. Антропология деструктивности 490

TABLE OF CONTENTS

Editorial Preface 3
List of Leo Klejn's publications 5

L.S. Klejn and archaeology in St. Petersburg

Lebedev G.S. L.S. Klejn and St. Petersburg archaeological school 29
Platonova N.I. The sources of St.Petersburg school of archaeology (The late XIXth — the 1st third of the XXth centures: N. P. Kondakov, V. R. Rozen, A. A. Spitsin, F. K. Volkov, A. A. Miller) 43

Theory and history of archaeology

Randsborg K. The race for a global past 74
Kristiansen K. Who owns the past. Reflections on roles and responsibilities 79
Gardin J.-C. Current progress in theoretical archaeology 87
Kolpakov E.M., V.A. Nazarenko. Methodology of archaeological excavations 100
Tabaczyński S. Coconstructing the past: the cognitive status of archaeological evidence 105
Sher Ya.A. Once again about archaeological records and the information they "contain" 114
Kovalevskaya V.B. What kind of mathematics does an archaeologist choose? 124
Lesman Yu.M. Cluster, chronologically significant, and dating types 138
Vasiliev S.A. Current Paleolithic research and Russian archaeology 157
Burovsky A.M. Non-classical and post-non-classical archaeology 167
Barford P. Polish archaeology and marxsizm: just a passing phase? 182
Janik L. "Silent" feminist contribution to archaeological comthought 198

Time and culture

Murray T. Archbishop Ussher and archaeological time 204
Shennan S. Neo-culture history: the evolutionary archaeology of cultural traditions 216
Härke H. Material culture in post-Soviet Russia: an archaeological perspective 226
Trigger B. Settlement archaeology in a postmodern world: a study of architecture in early civilizations 237
Kovalev A.A. The ancient migration from Zagros to China and the problem of the origin of the Tokhars 249
Berezkin Yu.E. Two sets of motifs in siberian and north american mythologies 293
Korshunkov V.A. Children's folklore and spring rituals of Eastern Slavs 331

Making silent things speak

Dergachev V.A. Cultural functions of sceptres and a model of their archeologization 338
Bochkarev V.S. On the function of loops in Late Bronze Age spearheads from East Europe and Siberia 385
Izbitser E. "Wagon" models, "flutes of Pan", and the Severokavkazskaya culture 409
Rezepkin A.D. The Early Bronze Age site of Chishkho and some questions of the origins and chronology of the Maikop culture 422
Stegantseva V.Ya. The turnip-shaped pottery of the Catacomb culture 437
Shchukin M.B. A Shield-Boss from the Sadovyj Barrow near Novocherkassk 445
Asheshova A.N., S.V. Beletsky, S.L. Plotnikov. St.George church on the site of the ancient settlement of Voronich.. 464

World upside down

Kozintsev A.G. World upside down: Marginalia on a book by Leo Samoilov 486
Bannikov K.A. Regimented communities. Anthropology of destructiveness 490

Научное издание

АРХЕОЛОГ: ДЕТЕКТИВ И МЫСЛИТЕЛЬ

Сборник статей, посвященный 77-летию Льва Самойловича Клейна

Директор Издательства СПбГУ проф. *Р. В. Светлов*

Печатается без издательского редактирования
Оформление художника *Е.А.Соловьевой*
Оргинал-макет *Ю.Ю.Тауриной*

Лицензия ИД № 05679 от 24.08.2001

Подписано в печать 16.07.04. Формат 70×100 $^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 40,78. Заказ 160.

Издательство Санкт-Петербургского университета.
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9.
Тел. (812)328-96-17; факс (812)328-44-22
E-mail: editor@unipress.ru
www.unipress.ru

По вопросам реализации обращаться по адресу:
С.-Петербург, 6-я линия В.О., д. 11/21, к. 21
Телефоны: 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post@unipress.ru

Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.

ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

предлагает учебники, учебные пособия, научную и научно-популярную литературу по

истории,
экономике,
психологии,
философии,
филологии,
языкознанию,
естественным и точным наукам

студентам, преподавателям, научным сотрудникам, а также учителям, школьникам — всем, кому интересен мир книги.

Книги можно приобрести в магазинах Издательства, а также через отдел реализации:

199034, С.-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21, к. 21
Телефоны: 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post@unipress.ru

Книги Издательского дома Санкт-Петербургского государственного университета можно приобрести в магазинах Издательства по адресам:

Магазин № 1 «Vita Nova»:
Университетская наб., 7/9
Тел. 328-96-91; E-mail: vitanova@it13850.spb.edu

Филиал № 2:
Петродворец, Университетский пр., 28
Тел. 428-45-91

Филиал № 3:
В. О., 1-я линия, 26
Тел. 328-80-40

Филиал № 5:
Петродворец, Ульяновская ул., 1
(физический факультет)

Филиал № 6 «АКМЭ»:
В.О., Менделеевская линия, дом. 5
(здание исторического и философского факультетов)

Филиал № 7:
В. О., наб. Макарова, 6
(факультет психологии)

Филиал № 8:
Университетская наб., 11
(в холле филологического факультета)

В наших магазинах Вы найдете учебную и научную литературу и других издательств по всем отраслям знаний



Лев Самойлович Клейн, чьему юбилею посвящен этот сборник, – выдающийся ученый, талантливый публицист и писатель, замечательный педагог. Он хорошо известен как культуролог и историк, но главное поле его деятельности – археология. Переоценить вклад Клейна в археологию вообще, в российскую археологию, в частности, и в петербургскую археологию, в особенности, невозможно. Ему принадлежат сотни широко цитируемых статей и ряд фундаментальных монографий, переведенных на многие европейские языки, а в разных странах мира – от Северной Америки до Дальнего Востока – работают сегодня десятки исследователей, считающих себя его учениками.

9 785288 035050